

DUKAJ



LÓD



1924 год. Первой мировой войны не было, и Польское королевство — часть Российской империи. Министерство Зимы направляет молодого варшавского математика Бенедикта Герославского в Сибирь, чтобы тот отыскал там своего отца, якобы разговаривающего с лютыми, удивительными созданиями, пришедшими в наш мир вместе со Льдом после взрыва на Подкаменной Тунгуске в 1908 году... Мы встретимся с Николой Теслой, Распутиным, Юзефом Пилсудским, промышленниками, сектантами, тунгусскими шаманами и многими другими людьми, пытаюсь ответить на вопрос: можно ли управлять Историей. Монументальный роман культового польского автора-фантаста, уже получивший несколько премий у себя на родине и в Европе.

- [Яцек Дукай](#)
 - [I. Варшава](#)
 - [Глава первая](#)
 - [О тысячерублевом сыне](#)
 - [О том, чего нельзя высказать](#)
 - [О законах логики и законах политики](#)
 - [О пальце пана Тадеуша Коржиньского](#)
 - [Об ослепляющей темноте и других непонятках](#)
 - [Об иллюзиях инея](#)
 - [II. Через Сибирь](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [О миазмах роскошной жизни](#)
 - [О венгерском графе, российских властях, английских сигаретах и американской тени](#)
 - [О могуществе стыда](#)
 - [Об авторучках и револьверах](#)
 - [Глава третья](#)
 - [О логике двухзначной, трехзначной и вообще никакого значения не имеющей, а так же о логике женской](#)
 - [О том, о чем нельзя и подумать](#)
 - [О героях азарта и скорости Льда](#)
 - [О машине, пожирающей логику, и других изобретениях доктора Теслы](#)
 - [О нескольких ключевых различиях между небом Европы и небом Азии](#)
 - [О морозе в Екатеринбурге](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [О сорока семи наполовину убийцах и двоих якобы бы следователях](#)
 - [Об арсенале Лета](#)
 - [О некоторых способах коммуникации Бога с человеком](#)
 - [О скрытых талантах панны Мукляновичувны и других неявных делах](#)
 - [О правде и о том, что более правдиво, чем правда](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [О светлых и темных сторонах похмелья \(светлого и темного\)](#)
 - [О снах княгини Блуцкой](#)

- [О смерти в прошедшем времени](#)
 - [О необходимости ручного управления Историей](#)
- [Глава шестая](#)
 - [О снах Бенедикта Герославского](#)
 - [Об ангелах стыда и бесстыдства](#)
 - [О сибирских безумствах](#)
 - [О большом значении краткого обмена мнениями между доктором Конешинным и герром Блютфельдом](#)
 - [О Зиме](#)
- [Глава седьмая](#)
 - [О резьбе по дыму](#)
 - [О предсказании будущего](#)
 - [О температуре, при которой замерзает правда](#)
 - [О силе презрения](#)
 - [О несовершенном](#)
- [III. Дороги мамонтов](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [О Городе Льда](#)
 - [О кладбищенской ночи и утреннем воскрешении из могилы](#)
 - [О прелестях семейной жизни](#)
 - [О министерских мамонтах и картографии Подземного Мира](#)
 - [О старых и новых знакомцах и незнакомцах](#)
 - [О странном восхвалении Атра Аврора \[248\]](#)
 - [О сломанной копейке](#)
 - [О том, чего нельзя чувствовать](#)
 - [О крови лютов](#)
 - [О смерти в настоящем времени](#)
 - [О черной физике, о Царствии Небытия, о прекрасном искусстве прощаний и правоты авторитетов](#)
 - [О братстве борьбы с Апокалипсисом](#)
 - [О Дочке Зимы и девочках прекрасных, о войне духа с материей и тяжелой любви к телу](#)
 - [О Царствии Темноты](#)
 - [О наслаждении отраженных искушений](#)
 - [О планах великих, то есть, о власти человека над прошлым и будущим](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [О ледняцкой душе](#)
 - [О кости яма у му кон](#)
 - [О множестве темни \[383\]](#)
 - [О трупоедах](#)
- [IV. Ун-Илю \[389\]](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [О холоднейшем на свете отце](#)
 - [О Льде](#)
 - [О том, чего нельзя знать](#)
 - [О необязательном](#)
 - [Об учреждении Первого Акционерного Товарищества Промысла Истории](#)

- [О коллективной душе и диктатуре милосердия](#)

- [О нас](#)

- [Ex Libris \[451\]](#)

- [Читателям — от переводчика](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)

- [22](#)

- [23](#)

- [24](#)

- [25](#)

- [26](#)

- [27](#)

- [28](#)

- [29](#)

- [30](#)

- [31](#)

- [32](#)

- [33](#)

- [34](#)

- [35](#)

- [36](#)

- [37](#)

- [38](#)

- [39](#)

- [40](#)

- [41](#)

- [42](#)

- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)

- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)

- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)

- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)

- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)

- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)

- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)

- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)

- [420](#)
 - [421](#)
 - [422](#)
 - [423](#)
 - [424](#)
 - [425](#)
 - [426](#)
 - [427](#)
 - [428](#)
 - [429](#)
 - [430](#)
 - [431](#)
 - [432](#)
 - [433](#)
 - [434](#)
 - [435](#)
 - [436](#)
 - [437](#)
 - [438](#)
 - [439](#)
 - [440](#)
 - [441](#)
 - [442](#)
 - [443](#)
 - [444](#)
 - [445](#)
 - [446](#)
 - [447](#)
 - [448](#)
 - [449](#)
 - [450](#)
 - [451](#)
-

Яцек Дукай
Лёд

Мы не мерзнем

I. Варшава

Если солдат стреляет из ружья, то в тот же миг начинает свое существование рана, которую пуля пробьет в неприятеле через какое-то время; если кто-то глотает порцию неизлечимого яда, то в этот же момент начинает существовать окончательный смертельный процесс, даже если бы завершение его должно было бы прийти только лишь через пару дней. Верно говорили древние: мы умираем в момент своего рождения. Власти над последующим путем пули и яда (и в плане выживания) мы не имеем.

Глава первая

О тысячерублевом сыне

1 июля 1924 года, когда пришли за мной чиновники Министерства Зимы, вечером того же дня, в канун сибиряады, только тогда начал я подозревать, что не существую.

Под периной, под тремя одеялами и старым габардиновым пальто, в кальсонах с начесом и вязаном свитере, в носках, натянутых на другие носки — только ступни выступали из под перины и одеял — наконец-то размороженный после более десяти часов сна, свернутый в колобок, с головой, втиснутой под подушку в грубой наволочке, так что звуки доходили уже мягкими, согретыми, отлитыми в воске, словно жучки, завязшие в смоле — именно так они продирались вглубь, постепенно, с громадным трудом, сквозь сон и подушку, миллиметр за миллиметром, слово за словом:

— *Гаспадин* ^[1]Венедикт Ерославский.

— Он.

— Спит?

— Спит, Иван Иванович.

Один голос и другой, первый низкий и хриплый, второй низкий и певучий; еще до того, как поднять одеяла и веки, я уже видел их, как они наклоняются надо мной: хриплый с головы, а певун — со стороны ног, царские ангелы мои.

— Разбудили паныча Венедикта, — подтвердил Иван, когда я расклеивал второе веко. Он тут же кивнул Бернатовой; хозяйка послушно покинула комнату.

Иван придвинул себе табурет и уселся; колени он держал вместе, а на коленях — черный котелок с узкими полями. Высокий *vatermorder* ^[2], белый словно снег на полуденном солнце, неприятно резал мне глаза, белый *vatermorder* и белые конторские манжеты, ослепительные на фоне единообразной черноты их костюмов. Я захлопал глазами.

— Позвольте, Венедикт Филиппович.

Позволили они себе сами. Второй присел в ногах кровати, стягивая перину своей тяжестью, так что мне пришлось ее отпустить; схватившись теперь за одеяла, я приподнялся в своей берлоге, тем самым, открыв спину — холодный воздух сразу же забрался под свитер и кальсоны, а я — окончательно проснувшись — задрожал.

Пальто я накинул на плечи, колени подсунул под подбородок.

Гости весело глядели на меня.

— Как здоровьице?

Я откашлялся. В горле собралась ночная мокрота, во всех отделениях желудка едкая кислота: от чесночной колбасы, огурцов, чего мы там еще вчера употребляли, от теплой терновки и папирос, кучи папирос. Я отклонился к стенке и схаркнул в горшок. Согнувшись чуть ли не пополам, я долгое время тяжело кашлял.

После этого я оттер рот разорванным рукавом пальто.

— Лошадиное.

— И ладненько, и ладненько, а то мы боялись, что вы и с кровати не встанете.

Я встал. Бумажник лежал на подоконнике, втиснутый под горшок с мертвой пеларгонией. Я вытащил бумагу и подсунул ее Ивану под нос.

Тот и не глянул.

— Ну, *гаспадин* Ерославский! Да разве ж мы городовые какие! — Он еще сильнее выпрямился на своем табурете, мне казалось, что такое просто невозможно, но он

выпрямился, теперь уже кривыми казались стены, шкаф горбатым, дверь — пораженной сколиозом; обиженный чиновник вздымал подбородок и выпирал грудь. — Милостиво просим вас к нам, на Медовую, на чаек со сладостями, комиссар все время заказывает себе шербеты, бабки ромовые и песочные, рожки сливочные, прямо от Семадени — истинный разврат для неба, если позволите так выразиться; правильно, Кирилл?

— Можете, Иван Иванович, как же не можете, — запел Кирилл.

У Ивана Ивановича были крупные усы, сильно напомаженные и подвернутые кверху; Кирилл же весь был гладенько выбритым. Иван вынул из кармана жилетки часы-луковицу на плетеной цепочке и объявил, что сейчас пять минут пятого, комиссар Прейсс весьма ценит пунктуальность, а во сколько он там на ужин выходит? С генерал-майором договорился во «Французской».

Кирилл угостил Ивана нюхательным табаком, Иван угостил Кирилла папиросой, приглядываясь за тем, как я одеваюсь. Я плеснул в таз ледяной воды. Кафельная печь остыла. Затем подкрутил фитиль в лампе. Единственное окно комнаты выходило на тесный дворик; стекла настолько заросли ином и грязью, что даже в полдень мало пропускали солнечного света. Когда я брился — это еще в те времена, когда брился — мне приходилось ставить перед зеркалом лампу, горящую на полный фитиль. Зыга расстался с бритвой сразу же после прибытия в Варшаву и отрастил достойную попу бородищу. Я глянул на его кровать с другой стороны печи. По понедельникам у него лекции, так что он, видно, поднялся еще на рассвете. На кровати Зыгмунта лежали черные шубы чиновников, их перчатки, трость и шарф. Дело в том, что стол по самые края был заставлен грязной посудой, бутылками (пустыми), книжками, журналами, тетрадями; Зыга сушил носки и белье, свешивая их с края столешницы, прижимая с другого конца анатомическими атласами и латинскими словарями. А в самом центре стола, на многократно читанном, засаленном *Ober die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen* ^[3] Римана и на куче пожелтевших газет «Варшавский Курьер», которые мы держали ради растопки, для затыкания расширенных морозом щелей и высушивания сапог, а так же для того, чтобы завернуть бутерброды — там вздымался двойной ряд свечей и огарков, руины стеаринового Парфенона. А под стеной напротив печи высились ровные стопки томов в твердых обложках, сложенных по формату и толщине, а так же по частоте прочтения. Висящая над ними на закопченной стенке плакетка с Маткой Боской Остробрамской из Вильно — единственный остаток от предыдущих квартирантов, которых Бернатова выкинула на улицу по причине «непристойного поведения» — совершенно уже почернела и теперь выглядела, скорее, как элемент средневекового доспеха для лилипутов. Иван долго присматривался к ней, с громадным напряжением, сидя на табурете очень ровно, левая рука, держащая папиросу, отклонялась от тела строго под углом сорок пять градусов к телу, правая рука лежала на бедре рядом с котелком, морща брови и нос, вороша усами — тогда до меня дошло, что он почти что слеп, что это канцелярская близорукая крыса, на носу и под глазами у него были следы от очков — без очков он мог рассчитывать исключительно на Кирилла. Они вошли прямо с мороза, так что очки Ивану пришлось снять. У меня и самого здесь иногда глаза слезятся. Воздух внутри доходного дома густой, тяжелый, пропитанный всеми запахами человеческих и животных организмов; окон никто не открывает, двери сейчас же захлопываются, и щели под порогами затыкаются тряпками, чтобы, Боже упаси, тепло из дому не ушло — ведь за отопление нужно платить, и если бы было достаточно денег на уголь, то я вообще бы не гнезился в этих темных клетушках, где воздух плотный, тяжкий; им дышишь — словно пьешь воду, выплюнутую соседом и собакой его; каждый твой вздох уже миллион раз до того прошел через туберкулезные легкие мужиков, евреев, возчиков, мясников и проституток, вырвавшийся в кашле из черных

гортаней, он возвращается к тебе снова и снова, просочившись сквозь их слюну и слизь, пропущенный через отравленные грибок, заживевшие и гнойные тела; это они выкашливали, высморкали, вырыгали его тебе прямо в рот — и ты должен его проглотить; тебе надо дышать — дыши!

— Про-простите.

По счастью, сортир в конце коридора не был занят. Я блеванул в дыру, откуда в лицо пахло ледяным смрадом. Из под обосранной доски вылезали прусаки. Я давил их ногтем большого пальца, когда они добирались мне до подбородка.

Выйдя снова в коридор, я увидел Кирилла, стоящего в углу комнаты — он не спускал с меня глаз, сторожил, а не смоюсь ли я от них на мороз в кальсонах и свитере. Я понимающе усмехнулся. Чиновник подал мне носовой платок и указал на левую щеку. Я вытер. Когда же попытался отдать платок, Кирилл отступил на шаг. Я усмехнулся во второй раз. У меня широкий рот, который усмехается без особого труда.

Я натянул единственный свой выходной костюм, то есть, тот самый черный костюм, в котором сдавал последние экзамены; если бы не слои белья под низом, он свисал бы сейчас с меня, как со скелета. Чиновники смотрели, как я зашнуровываю ботинки, как застегиваю жилет, как сражаюсь с жестким целлулоидным воротничком, прикрепленным к последней хлопчатобумажной рубашке. Я забрал документы и последние деньги: три рубля и сорок две копейки — взятка из этого получится символическая, но с пустыми карманами в присутственном месте человек ощущает себя голым. Со старым бараньим кожихом ничего поделатъ было нельзя — заплаты, пятна, кривые швы, только другого у меня просто не было. Пришельцы молча глядели, как я сую руки в несимметричные рукава, левый был длиннее. Я вновь усмехнулся, теперь уже извиняясь. Кирилл послунил карандаш и что-то скрупулезно записал на манжете.

Мы вышли, Бернатова, по-видимому, подглядывала сквозь приоткрытую дверь — она тут же появилась рядом с чиновниками, вся зарумянившаяся и болтающая без умолку, чтобы вновь провести их по лестнице с третьего этажа вниз и через два дворика-колодца к главным воротам, где дворник Валенты, поправив шапку с латунной бляхой и спрятав трубку в карман, поспешно смел снег с тротуара и помог чиновникам усестъся в сани, поддерживая господ под локоток, чтобы те, не дай Бог, не поскользнулись на льду. Бернатова засыпала их, уже сидящих, потоками жалоб на гадких квартирантов, на банды привислянских воров, что вламываются в дома даже днем, и на ужасные морозы, из-за которых набухшие изнутри от сырости окна выпирают, а трубы лопаются в стенах, и что никакая гидравлика с канализацией долго в земле не выдержат; под конец бойко заверила, что давно уже подозревала меня в различных преступлениях и недостойном поведении, и обязательно донесла бы соответствующим властям, если бы не тысяча и одна обязанность с неприятностями на ее голову — пока кучер со своих козел за спиной у Кирилла не стрельнул бичом, и лошади не дернули сани влево, заставив женщину отступить, и так мы отправились в путь к варшавскому представительству Министерства Зимы, к давнему дворцу краковских епископов — Медовая 5, угол Сенаторской.

Не успели мы свернуть с Кошиковой на Маршалковскую, как посыпал снег; я натянул шапку на уши. Чиновники, в своих обширных меховых шубах и в котелках, похожих на ореховые скорлупки, сидели на низких сиденьях саней: Иван возле меня, Кирилл спиной к извозчику, они напоминали жуков, которых я видел в учебнике Зыгмунта: толстые, овальные туловища, короткие лапки, маленькая головка, целостъ глянцевито-черная, замкнутая в геометрической симметрии эллипсов и окружностей. Форма, столь приближенная к идеальному шару, сама по себе бросается в глаза. Они глядели прямо перед собой

бесстрастным взглядом, со стиснутыми губами и выдвинутыми вперед подбородками, высоко поднятыми жесткими воротничками, безвольно подчиняясь движению саней. Я думал чего-нибудь узнать от них по дороге. Мне казалось, они сами начнут говорить про взятки за дружелюбие, за отсутствие спешки и внимательности. Но они молчали. Вот спрошу я их — как? Про что? А они сделают вид, что меня не слышат. Хлопья липкого снега кружили между нами. Я спрятал замерзшие руки в рукава кожуха.

Во «Французской Кондитерской» горели огни, электрическое сияние, бьющее из громадных окон, надергало вокруг силуэтов прохожих ореол из светящейся шерсти. Летнее солнце должно было стоять на небе еще высоко, но, как обычно, над городом висели тяжелые тучи — даже фонари зажгли, очень высокие, со спиральными верхушками. Мы свернули на север. Из кондитерской Островского, на перекрестке с Пенкной, выбегали девушки в красных пальтишках и белых пелеринках с капюшонами; их смех на мгновение пробился сквозь уличный говор. Он напомнил мне про незаконченное письмо к панне Юлии, и ее последний вопрос-вскрик. Рядом с Островским, у Веделя ^[4], мы договаривались с Фредеком и Кивайсом на карточные вечера. Тут же рядом, сразу же за кинотеатром «Сокол», в доходном доме Кальки, Милый Принц снимал квартиру для ночных игр. Если бы я поднял голову и глянул налево, над котелком Ивана, можно было увидеть окно на третьем этаже дома под номером 71, то самое окно, из которого выпал Фредек.

На перекрестке с Новгородской висела примерзшая к фонарному столбу жирная корова — сухожилие темного льда соединяло ее с верхней частью фасада пятиэтажного дома. По-видимому, корова была из последней партии скота, что пригнали на бойню на Охоте ^[5], зимовники все еще ее не отрубили. В перспективе улицы, над крышей здания «Сфинкса» маячило черно-синее гнездо льда — громадный струп твердой, словно бриллиант, замерзшей массы, соединенный сетью ледовых нитей, сосулеч, перевязей и колонн с домами по обеим сторонам Маршалковской и Злотой — со строениями, фонарями, культями замерзших деревьев, балюстрадами балконов, эркерами, шпилями куполов и башенок, с чердачными помещениями и дымовыми трубами. Понятное дело, что кинотеатр «Сфинкс» давно уже не действовал; на верхних этажах свет не горел.

Когда мы проехали Новгородскую, сани притормозили. Кучер указал на что-то кнутом. Ехавший перед нами экипаж съезжал на тротуар. Кирилл оглянулся через плечо; сам я высунул голову вправо. На перекрестке с Аллеями Иерусалимскими стояли два полицейских, с помощью свистков и криков сгоняя движение со середины мостовой — над ней как раз перемерзал лют.

На несколько минут мы застряли в вызванном им заторе. Обычно, люты перемещаются в городах над крышами, редко когда спускаясь к земле. Даже с этого расстояния мне казалось, что я чувствую исходящие от него волны холода — задрожал и инстинктивно втиснул подбородок в воротник кожуха. Чиновники Министерства Зимы обменялись взглядами. Иван быстро посмотрел на часы. На другой стороне улицы, за столбом с объявлениями, оклеенным плакатами, рекламирующими борцовские турниры в цирке на Окульнике ^[6], одетый на английский манер мужчина расставлял архаичный фотографический аппарат, чтобы сделать снимок люта; фотография наверняка не появится в газете, конфискованной людьми с Медовой. Иван с Кириллом даже внимания на него не обратили.

Лют был исключительно шустрый, до наступления темноты он должен успеть перебраться на другую сторону Маршалковской, за ночь вскарабкается над крышами, часам к пяти точно успеет добраться до гнезда над кинотеатром. Когда в прошлом году морозник перебирался с Праги в Замок по Александрийскому мосту, мост пришлось закрыть почти что на два месяца. А этот тебе ледовичок — подождать с четверть часика, и наверняка заметишь

его движение, как он перемерзает с места на место, как перемещается во льду, по льду, от льда ко льду, как лопаются за ним сначала одна, затем другая кристаллическая нить и постепенно осыпается сине-белая пыль; минута — кшшр, две минуты — кшшр; вместе со снегом ветер подхватывал самые легкие дробинки, но большая их часть тут же вмерзала в черное стекло, в которое превращалась за лютом уличная грязь — лед льда — и эта тропа шершавой замерзшей массы, словно след слизня, тянулся на пару десятков метров по Иерусалимским аллеям, по тротуару и фасаду гостиницы. Остальное уже успели сколоть зимовники, а может, все и само растаяло; вчера после полудня термометр у аптеки Шнитцера показывал пять градусов выше нуля.

Лют не перемещался по прямой линии, не удерживался он и на постоянной высоте над мостовой (они вмерзают и под поверхностью земли). Более четырех часов назад, судя по раздробленной архитектуре льда, лют начал менять траекторию: до сих пор он перемещался едва лишь в метре над серединой улицы, но потом, три часа тому, он направился по резкой параболе ввысь, куда-то над вершинами фонарей и верхушками замороженных деревьев. Я видел оставленный им ряд стройных сталагмитов — они сияли отраженным блеском фонарей, отражениями цветных неонов, огней, бьющих их окон и витрин. Последовательность сталагмитов обрывалась над трамвайными рельсами — всей тяжестью лют завис на звездчатой сети морозострун, растянутых в горизонтальной плоскости и тянущихся ввысь, к фасадам угловых зданий. Под него можно было бы войти, если бы нашелся кто-нибудь, настолько сумасшедший.

Иван кивнул Кириллу, и тот выкарабкался из саней с гримасой нежелания на лице, зарумянившегося от щипающего мороза. Может мне еще и повезет, подумал я, может мы опоздаем, комиссар Пресс уже уйдет на ужин, договоренный с генерал-майором, а меня отправят с Медовой ни с чем. Спасибо Тебе, Боже, за эту сосульку-калеку. Я передвинулся на лавке, опершись плечом о боковую стенку саней. Подбежал газетчик — «Хирохито разбит!», «Специальный выпуск «Экспресса» — Мерзов торжествует!» — я отрицательно покачал головой. У заторов в центре сразу же образуются сборища, появляются уличные торговцы папиросами, святой водой и освященным огнем. Полицейские отгоняли прохожих от люта, но за всеми ведь не уследишь. Банда уличных пацанов подкралась со стороны ресторана Бриземейстера. Самый отважный среди них, с перевязанным шарфиком лицом и толстенных, бесформенных рукавицах, подбежал к люту на пару десятков шагов и бросил в него котом. Котьяра летела по высокой дуге, растопылив лапы, вопя во все горло... и вдруг пронзительное мяуканье прервалось. На люта животное упало, скорее всего, уже мертвым, чтобы неспешно скатиться с него в снег, превратившись в замерзший камень: ледовая скульптура с растопыренными конечностями и вытянутым в струну хвостом. Мальчишки отбежали, буквально воя от утети. Пейсатый еврей грозил им с порога ювелирной лавки Эпштейна, грязно ругаясь на идише.

Тем временем, Кирилл подскочил к старшему полицейскому и, схватив его под локоть, чтобы тот не побежал за уличными мальчишками, начал ему что-то внушать тихим голосом, но с явной помощью размашистых жестов другой руки. Городовой крутил головой, пожимал плечами, чесал темечко. Младший из пары полицейских покрикивал на товарища: давай же, шевелись, помоги! На Аллеях сцепились полозьями пара саней, вызывая еще большую неразбериху — транспорт выезжал на тротуар, пешеходы, ругаясь на польском, русском, немецком и еврейском языках, убегали из-под колес и из-под копыт; перед винным складом на замерзшей грязи упала матрона с габаритами гданьского шкафа [7], трое джентльменов пыталось ее поднять, на помощь поспешил пузатый офицер, и так вчетвером они поднимали ее: на раз — упала, на два — грохнулась, на три — уже половина улицы лопалась от смеха, а

тетка, покрасневшая словно вишня, пронзительно пищала, махая толстыми ножками в маленьких башмачках... Не удивительно, что на перекресток мы оглянулись только при звуках рвущегося листового металла и треска ломающегося дерева. Автомобиль столкнулся с повозкой угольщика: один конь упал, одно колесо отвалилось. Полицейский отпихнул Кирилла, бегом бросился к аварии. Плененный внутри крытой машины автомобилист начал давить на грушу клаксона; вдобавок под капотом что-то грохнуло, будто бы кто из двустволки выпалил. Этого было уже слишком много для сивки, запряженной в стоящие рядом сани. Перепуганный конь дернул вперед, прямо на люта. Кучер схватил вожжи, но и само животное тоже должно было почувствовать, в какую стену холода попало — оно еще энергичнее рвануло в сторону, закрутив санями на месте. Может, полоз зацепился за тротуар? Или сивая лошадь поскользнулась на черном зеркале льда? Я уже стоял в министерских санях, вместе с Иваном присматриваясь происшествию над стоящим перед нами рядом экипажей, но все происходило слишком быстро, слишком неожиданно, слишком много движения, крика, света и теней. Сивая лошадка упала, перевернулись сани, которые она везла, на землю покатылся с них весь груз — пара десятков пузатых бутылей в корзинах с опилками; корзины вместе с бутылками покатались к самому центру перекрестка, часть из них, должно быть, разбилась, по льду разлилась желто-зеленая жидкость — керосин, подумал я — и уже рванул огонь! От чего? От электрической искры автомобиля? Брошенной папиросы? Удара о камень подкованного копыта? Не знаю. Голубое пламя прыгало по всей ширине лужи, высоко, все выше, на метр, на полтора метра ввысь — почти доставая замороженного в воздушную сетку люта.

Сгорбившись над аппаратом, фотограф постепенно, методично, выжигал вспышкой снимок за снимком. И что он потом на них увидит? Что сохранится на стекле и отпечатается на бумаге: снег — снег — бледные ореолы фонарей — темная грязь, темная мостовая; темное небо — серые фасады домов в перспективе широкого городского ущелья — на первом плане хаос угловатых форм экипажей, заблокированных в заторе — между ними и между людских силуэтов бьет сияние чистого огня, настолько светлого, что карточка в этом месте кажется совершенно не экспонированной — а над ним, над пламенем белизны, что белее белого, в самом сердце арабески льда расстилается лют, лют, массивная молния мороза, растопыренная звезда инея, живой костер холода — лют, лют, лют над меховыми шапочками девушек, лют над шапками и котелками мужчин, лют над лошадиными мордами и будками повозок, лют над неоновыми вывесками кафе и салонов, магазинов и гостиниц, кондитерских и булочных, лют над Маршалковской и Аллеями Иерусалимскими, лют над Варшавой, лют над Российской Империей.

Когда потом мы ехали к Саской [\[8\]](#), по Крулевской улице, мимо Сада, мертвого под многолетней намерзшей массой, мимо колоннады, обвешанной сосульками, мимо прикрытых снежными навесами башен и соборов на Саской площади, по направлению к Краковскому Предместью, та картина — остаточная картина и представление — приходили ко мне раз за разом, настырное воспоминание с непонятным значением, картина увиденная, но не понятая.

Чиновники, вполголоса и бурча, обменивались какими-то замечаниями, кучер орал на невнимательных прохожих, метель как-то успокоилась, зато делалось холоднее, дыхание замерзало на губах, зависая перед самым моим лицом в виде белого облачка; потные лошади двигались в тучах липкой сырости — Королевский Замок был все ближе. Перед поворотом на Медовую я увидел его над Зыгмунотовой Колонной: погруженный в блок темного льда Замок — и огромное гнездо Лютов над ним. Черно-фиолетовый струп достигал половины крыш Старого Города. В погодные деньки вокруг Большой Башни можно увидеть стоящие в воздухе волны мороза. Чтобы измерить этот мороз на термометрах не хватает делений. У

костров на границе Замковой Площади держали стражу жандармы. Когда из гнезда вымораживается лют, улицы закрывают. В самом начале генерал-губернатор установил здесь кордон из драгун Четырнадцатого Малороссийского Полка, но потом весь полк отправили на японский фронт.

А вот крыша Дворца Краковских епископов оставалась свободной от ледовой наросли. На первом этаже со стороны улицы Сенаторской все так же размещались изысканные магазины — электрические фонари освещали рекламы Эксклюзивных деликатесов Николая Шелехова и чаев Московского Торгового Дома Сергея Васильевича Перлова — но главное крыло со стороны Медовой, под верхушкой в стиле рококо и в пилястрах с коринфскими навершиями, принадлежало Министерству Зимы. Над обоими проездами висели черные, двуглавые орлы Романовых, инкрустированные тунгетитом цвета оникса.

Мы въехали во внутренний двор, полозья саней заскрежетали по мостовой. Чиновники высели первыми, Иван сразу же исчез в дверях, насадив на нос очки; Кирилл остановился на ступенях у порога и глянул на меня. Я открыл рот. Он приподнял бровь. Я опустил взгляд. Мы вошли.

Рассыльный взял у меня кожух и шапку, а привратник подсунул громадную книгу, в которой я должен был вписать свое имя в двух местах; ручка выскальзывала из застывших пальцев — может записаться за благородного господина, нет, я, я сам. Неграмотное простонародье тоже посещает коридоры начальства Зимы.

Все здесь блестело чистотой: мрамор, паркет, стекла, хрусталь и радужное зимназо. Кирилл провел меня по парадной лестнице, через два секретариата. На стенах, под портретами Николая Второго Александровича и Петра Раппацкого, висели солнечные пейзажи леса и степи, весеннего Санкт-Петербурга и летней Москвы — из тех времен, когда весна и лето еще имели туда доступ. Чиновники не поднимали головы, но я видел, как советники, референты, обычные конторщики и писари провожают меня взглядом, после чего обмениваются между собой кривыми усмешками. Когда заканчивается присутственное время? Министерство Зимы никогда не засыпает.

Чрезвычайный комиссар Прейсс В. В. занимал обширный кабинет с антикварной печью и нерабочим камином; высокие окна выходили на улицу Медовую и Замковую Площадь. Когда я вошел, разминувшись на пороге с Иваном, который, скорее всего, уже объявил меня, господин комиссар, повернувшись ко мне спиной, занимался самоваром. Он и сам был похож на самовар: корпус пузатенький, грушеобразный, и маленькая, лысая головка. Двигался он с излишней энергией, руки трепетали над столом, ноги не переставали танцевать — шажок вправо, шажок влево — я был уверен, что он напевает чего-нибудь под носом, улыбаясь при этом, с румяного личика на мир глядят веселые глазки, и что гладкий лобик комиссара Зимы не нарушает ни единая морщинка. Тем временем, поскольку он не поворачивался, я стоял у двери, заложив руки за спину, позволяя теплему воздуху заполнять легкие, обмывать кожу, расплавлять кровь, застоявшуюся в жилах. Можно было сказать, что в кабинете было даже жарко — большая, покрытая цветастой майоликовой плиткой печь не остывала ни на мгновение, окна в кабинете покрылись паром настолько, что через них можно было видеть, в основном, размытые радуги уличных фонарей, удивительным образом сливающихся и расходящихся на стеклах. Это было вопросом, имеющим огромное политическое значение, чтобы в Министерстве Зимы никогда не царил холод.

— Ну, и почему же вы не присаживаетесь, Венедикт Филиппович? Садитесь, садитесь. Румяное личико, веселые глазки.

Я сел.

Шумно вдохнув, хозяин кабинета, опустил со своей стороны стола, сжимая в руках

чашку с парящим чаем (меня не угостил). Слишком долго он здесь не сидел, стол был совершенно не его, комиссар выглядел за ним словно ребенок, играющийся в министра, наверняка следовало бы заменить мебель. Его должны были прислать только-только, и прислали — царского чрезвычайного комиссара — откуда? Из Петербурга? Из Москвы? Из Екатеринбурга? Из Сибири?

Я набрал воздуха в легкие.

— Ваше Благородие позволит... Я арестован?

— Арестован? Арестован? Да с чего же подобная мысль пришла вам в голову?

— Ваши чиновники...

— Мои чиновники!?

— Если бы я получил повестку, то, обязательно, сам бы...

— Разве вас, господин Герославский — только он произнес мою фамилию правильно — не пригласили вежливо?

— Я считал...

— Боже мой! Арестованный!..

Он всплеснул руками.

Я сплел пальцы на колене. Все гораздо хуже, чем думал. В тюрьму меня не посадят. Высокий царский чиновник желает со мной *поговорить*.

Комиссар начал вынимать из стола бумаги. На свет появилась толстая пачка рублей, печати. Я под бельем покрылся потом.

— Таак... — Прейсс громко отхлебнул из чашки. — Примите мои соболезнования.

— Слушаю?

— В прошлом году у вас умерла мать, правда?

— Да, в апреле.

— И вы остались сами. Это нехорошо. Человек без семьи он... как это... он сам. Это плохо, ой, плохо.

Комиссар перелистнул страницу, отхлебнул, перелистнул следующую.

— У меня есть брат, — буркнул я.

— Так, так, брат, на другом конце света. Это куда же он выехал, в Бразилию?

— Перу.

— Перу!? И что он там делает?

— Строит церкви.

— Церкви! И наверняка часто пишет.

— Ну... Чаще, чем я ему.

— Это хорошо. Скучает.

— Да.

— А вы не скучаете?

— По нему?

— По семье. Когда в последний раз вы что-нибудь слышали от отца?

Страница, другая, глоток чая.

Отец. Так я и знал. О чем еще можно было говорить?

— Мы не пишем друг другу, если вы это имеете в виду.

— Это ужасно, ужасно. И вас не интересует, а жив ли он вообще?

— А он жив?

— А! Жив ли Филипп Филиппович Герославский! Жив ли он! — Прейсс даже вскочил из-за своего оперного стола. Под стеной, на легеньком стеллаже из зимназа стоял большой глобус, на стене висела карта Азии и Европы; комиссар завертел этим глобусом, ударил

ладонью по карте.

Когда он поглядел на меня снова, на пухлом личике уже не осталось и следа от недавнего веселья, темные глаза уставились на меня с клиническим вниманием.

— Жив ли он... — прошептал комиссар. Затем взял со стола пожелтевшие бумаги. — Филипп Герославский, сын Филиппа, родившийся в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году в Вильковце, в Прусском Королевстве, Восточная Пруссия, Лидзбарски повят, с одна тысяча пятого года российский подданный, муж Евлагии, отец Болеслава, Бенедикта и Эмилии, приговоренный в одна тысяча седьмом году к смертной казни за участие в покушении на жизнь Его Императорского Величества и в вооруженном бунте; так, путем помилования смертная казнь была заменена пятнадцатью годами каторги с лишением прав и конфискацией имущества. В одна тысяча девятьсот семнадцатом году ему простили остаток срока, приказав жить исключительно в границах амурского и иркутского генерал-губернаторства. Не писал? Никогда?

— Матери. Возможно. В самом начале.

— А сейчас? В последнее время? Начиная с семнадцатого года. Вообще?

Я пожал плечами.

— Вы, наверняка, и сами хорошо знаете, когда и кому он пишет.

— Не дерзите, молодой человек!

Я слабо улыбнулся.

— Извините.

Он долго приглядывался ко мне. На пальце его левой руки был перстень с каким-то темным камнем в оправе из драгоценного тунгетита, с выгравированной эмблемой Зимы. Комиссар постукивал перстнем по столешнице: тук, тукк — парные удары были сильнее.

— Вы окончили Императорский Университет. Чем занимаетесь сейчас?

— Готовился к экзамену на докторскую степень...

— И на что же вы живете?

— Даю уроки математики.

— И много этими уроками зарабатываете?

Поскольку улыбка уже была, мне осталось лишь опустить взгляд на сжатые ладони.

— По разному...

— Вы являетесь частым гостем у ростовщиков, все евреи на Налевках [\[9\]](#) вас знают. Одному только Абизеру Блюмштейну вы должны больше трехсот рублей. Триста рублей! Это правда?

— Когда Ваше Благородие мне сообщит, по какому делу меня допрашивают, мне будет легче признаться.

Тук, тукк, тук, тукк.

— А может вы и вправду, какое преступление совершили, что так от страха потеете, а?

— Будет лучше, если Ваше Благородие соизволит открыть окно.

Прейсс встал передо мной; ему даже не нужно было особенно наклоняться, чтобы говорить мне прямо в ухо — сначала шепот, затем ворчливый солдатский тон, а под конец чуть ли не крик.

— Вы азартный игрок, мой Бенедикт, закоренелый картежник. Что выиграете — тут же проиграете, что заработаете — тут же спустите, что одолжите — в игру и в прорву, что выклянчите от приятелей — тут же профукаете; и приятелей уже у вас нет — ничего у вас уже нет, но все равно — проигрываете, все проигрываете. Очко, баккара, зимуха, покер — любой способ хорош. Один раз вы выиграли половину лесопилки — проиграли той же ночью. Вы должны проигрывать, не можете встать от стола, пока не проиграетесь до нитки,

так что с вами никто уже не желает играть. Никто уже не желает с вами играть, Венедикт Филиппович. Никто уже не желает одалживать. Вы заложились уже на два года вперед. Болеслав вам не пишет, зато вы пишете ему, вымаливаете деньги, только он больше не присылает. Отцу вы не пишете, потому что у отца денег нет. Вы хотели жениться, но несостоявшийся тесть натравил на вас собак, поскольку вы заложили и проиграли приданое невесты. Если бы вы хоть в висок себе пальнули, как шляхтичу поступить следовало бы, так не пальнете же, тьфу, не шляхтич вы — так, мусор!

Я улыбнулся, словно бы извиняясь.

Комиссар Прейсс посопел, потом по-дружески похлопал меня по плечу.

— Ладно, не бойтесь, мы здесь и с отбросами знаем. Это ничего, что родной отец для вас значит столько же, что и подагра японского императора — за то тысяча рублей для вас кое-что значат! Правда? Тысяча рублей значит для вас столько... ну, очень много значит. Мы дадим вам тысячу, а потом, возможно, и вторую, если хорошо справитесь. Поедете проводить отца.

Тут он замолчал, по-видимому, ожидая моего ответа. Поскольку его не дождался, Прейсс возвратился за стол, к исходящему паром чаю (тот немного остыл, поэтому комиссар отхлебывал дольше и громче), к бумагам и печатям. Массивной ручкой он поставил подпись на документе, прихлопнул печать, затем другую; удовлетворенный, потер ручки и развалился в обитом кожей кресле.

— Вот вам паспорт и направление в наше отделение в Иркутске, они вами займутся на месте. Мы уже купили вам и билет, завтра вы выезжаете в Москву, в противном случае не успеете на Сибирский Экспресс — сегодня у нас первое июля, билет у вас на пятое, отъезд в десять вечера с Ярославского Вокзала; в Иркутске будете одиннадцатого, там вас посадят до Зимней на Кежме. Здесь тысяча, распишитесь в получении. Купите себе какую-нибудь одежду, чтобы выглядеть как человек! А если вам придет в голову взять деньги и все проиграть... Черт с вами, проигрывайте, лишь бы на Байкал добрались. Ну, подписывайте!

Тысяча рублей. И что они хотят, чтобы я там сделал? Вытянул от отца имена, которых он не выдал на суде? Но почему с этим ко мне обращается Министерство Зимы, а не Внутренних Дел?

— Поеду, — сказал я, — провожаю отца. И что? И все?

— Поговорите с ним.

— Поговорю.

— Как поговорите, ну, это уже будет хорошо.

— Не понял, что Ваше Благородие...

— Писем он не высылал, а вас это, естественно, не удивляло. — Комиссар Прейсс открыл оправленную сукном и черепаховой костью папку. — Иркутск нам пишет... Он же был геологом, правда?

— Не понял?...

— Филипп Филиппович изучал геологию. Не перестал он ею интересоваться и в Сибири. Здесь мне докладывают... С самого начала он был очень близко, его роту взяли во вторую или третью экспедицию, которая отправилась туда весной одна тысяча девятьсот десятого. Большинство умерло от обморожений. Или же на месте замерзли. Он выжил. Потом вернулся. К ним. Я в это не верю, но так мне пишут. Дали приказ, выделили деньги, вот я и высылаю человека. Ваш отец разговаривает с лютами.

О том, чего нельзя высказать

Моей жизнью управляет принцип стыда.

Познается мир, познается язык описания мира, но сам себя познать не можешь. Большинство людей — почти все, как мне кажется — до самой смерти так и не научатся языку, на котором они могли бы себя описать.

Когда я говорю о ком-либо, что он трус, это означает, что считаю — этот человек ведет себя трусливо; ничего большего это не означает, поскольку, естественно, я не загляну ему в глубину души и не узнаю, трус ли он. Но этим языком я не могу воспользоваться для описания самого себя: в рамках собственного опыта я остаюсь единственным лицом, для которого его слова, действия, отказы представляют собой всего лишь бледное и, по сути своей, случайное отражение того, что за ними скрывается, что является их причиной и источником. В существовании этого источника я уверен непосредственно на собственном опыте, в то же время, как некую часть собственных поступков я вообще не осознаю, и все воспринимаю не в полной мере, искривленно. Мы сами последними узнаем, какого дурака свалили в компании. Мы гораздо лучше знаем намерения наших действий, чем сами эти действия. Мы лучше знаем, что хотели сказать, чем сказали на самом деле. Мы знаем, кем желаем быть — но не знаем, кто мы есть.

Язык для описания наших поступков, нашего поведения существует, поскольку данную реальность переживает множество людей, и они могут между собой обсудить чью-то навязчивую вежливость или же чей-то *faux pas* [\[10\]](#). Языка для описания меня самого не существует, поскольку данную реальность не воспринимает и не переживает никто, кроме меня самого.

Это был бы язык для единоличного употребления; язык не высказываемый и не записываемый. Каждый должен создать его самостоятельно. Большинство людей — почти все, я в этом уверен — до самой смерти так и не способны сделать это. Самое большее, они повторяют про себя чужие описания собственной личности, выраженные в производном языке — языке второго рода — или же представляют, что бы на этом языке о себе сказали, если бы им было дано взглянуть на себя изнутри.

Чтобы что-либо о себе сказать, они должны сами для себя сделаться чужими.

Моей жизнью управляет принцип стыда. У меня нет лучших слов, чтобы высказать эту истину.

Нищий протягивает руку в умоляющем жесте; деньги у меня есть, я могу ему дать хотя бы пять, хотя бы две, хотя бы одну копейку, никто другой не смотрит, мы одни — я и нищий; не подаю ничего, отворачиваюсь и быстро ухожу, пряча голову в плечах.

Кто разбил банку с вареньем? Мать повышает голос. Кто разбил? Не я, и даже понятия не имею, виноват ли Боек или Эмилька, но мать спрашивает еще раз, и еще раз, и тогда я решительно показываю на Болека. Он.

Смех в компании, все мы смеемся над общим знакомым, которого сейчас с нами, понятное дело, нет; один за другим мы вспоминаем примеры его компрометирующего поведения и слабостей. Поднимаюсь, не смеюсь, наморщив брови и стиснув губы, поднимаюсь и — как вам не стыдно!

Красотка клеится ко мне, протекает сквозь руки, сползает мне на грудь, ниже, когда дрожки замедляют ход и останавливаются перед воротами дома, где я снимаю квартиру с Кивайсом; сам он сейчас у каких-то дальних провинциальных родственников, комната свободна, пьяная девица хихикает, кусая пуговицу моего сюртука — кучер оборачивается, подмигивает мне, может помочь его благородию? Перепугано гляжу на все это. Сую ему в руку смятый рубль. Отвези эту блядь куда хочешь! Стряхиваю проститутку с себя, выскакиваю из экипажа и удираю в глубины черного подъезда.

В лесу за дедовой дерегушкой, в яру над ручьем лежит труп серны — уже надъеденный хищниками и пожирателями падали, под черным балдахином из мух. Никому не рассказываю, прихожу сюда каждое утро и каждый вечер, тыкаю палкой, переворачиваю, приглядываюсь, как наново лезут насекомые, как мясо изменяет свой цвет, а из тела вытекает темная жидкость, постепенно впитываясь в землю. Где это ты проводишь столько времени, спрашивает дед. Я вру. И он видит, что я вру. Куда это ты ходишь, спрашивает он. Молчу. Он достает ремень. Плачу, но правды не говорю, молчу. Целое лето хожу по лесу, разыскивая дохлых животных. Ношу с собой толстенную, словно дубинка, палку. Бью пададь этой палкой в тупом забытии, пока гниль не сходит с костей. А вот тебе! В вот тебе! А держи!

Восемнадцать и семьдесят четыре! Восемнадцать и семьдесят четыре! Ярмарочный зазывала рвет горло, объявляя призовые номера. Придя на ярмарку, все купили лотерейные билетки. Хохоча, покрасневшись от мороза и сливовицы, все теперь разыскивают картонные квадратики по карманам. Нахожу свои, вынимаю. Восемнадцать и семьдесят четыре. Изображая сильнейшее разочарование и бешенство, все бросают лотерейки в грязь, проклиная судьбу и насмежаются над глупцом, который не идет за выигрышем. Разрываю призовой билетик и делаю то же самое, что и они.

Ночью, когда никто не видит, я тренирую страшные рожи, таращу глаза и оскаливаю зубы — мины слишком дикарские, чтобы они хоть что-то означали на языке человеческой физиономистики; делаю страшные гримасы, но вместе с тем тренирую и абсолютную мертвенность лица, недвижность самых мельчайших мышц черепа, которую при свете дня и среди людей никогда не могу достичь, в это время я не обладаю полнотой власти над гримасами лица. Ночью, когда сплю, вижу под сомкнутыми веками схему, словно с пожелтевших гравюр Зыги, анатомическую схему этого предательства: десятки жестких, шпагатных нитей, протянутых под кожей щек, бровей, подбородка, губ, а другие концы этих нитей держат окружающие меня люди — в руках, между зубами, завязанные на цепочках часов и галстучных булавах, на обручальных кольцах, на рукоятках тростей и чубуках курительных трубок, у некоторых эти нити вшиты в мимические мышцы, а то и в сердца, прямоком сквозь грудь и ключичные кости. А потом гравюра оживает — стоит ясный день — все движется — люди — я...

Я улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь.

Вспоминаю собственное поведение, пользуюсь другим языком...

Я должен сам для себя стать чужим.

Бенедикт Герославский был хорошим ребенком. Кому бы не хотелось иметь такого ребенка? Он был вежливым — всегда слушался родителей, слушался взрослых, никогда не отзывался, пока его не спрашивали, никогда не проказничал, не дрался с другими детьми, перед сном всегда читал молитву, в школе у него были самые лучшие оценки. Другие мальчишки шатались по улицам — он читал книжки. Другие мальчишки подглядывали за девочками и ссорились с сестрами — он учил свою сестренку буквам. Он мыл уши, кланялся соседям и знакомым, не колулался в носу, не показывал пальцем. Он не болел, не доставлял родителям каких-либо хлопот. Ну кто же не хотел бы иметь такого ребенка?

Когда ему исполнилось семнадцать лет, и он поступил в Императорский Университет, то встретил там других — которые тоже были хорошими детьми.

Друг друга они узнали по улыбкам.

Было ли уже слишком поздно? Мог бы я отступить — отступить к чему, к кому, какому себе? Нет ни единого момента в прошлом, который, благодаря чудесной перемене, мог бы отворать ход моей жизни; но никакой катастрофы, которая бы со мной *приключилась*, в

результате чего я стал другим, чем должен был бы быть; ничего подобного указать не могу.

Все с точностью до наоборот: куда бы я не достал памятью, всегда нахожу под тоненькой кожей собственных слов и поступков тот же самый принцип, мышцу беспокойства, надежды и отвращения, напряженную в одном и том же направлении, когда мне было три года, тринадцать или двадцать три. Не чувство — что-то другое; не мысль — убегает, выскальзывает, нематериальное, неопишемое — стой! Погляди мне в глаза! — ты, ты — назову тебя Стыдом, хотя ты и не он, но назову тебя Стыдом, поскольку нет лучших слов в межчеловеческом языке.

О законах логики и законах политики

Альфред Тайтельбаум ожидал меня в ресторане Хершфилда. Он одиноко сидел у большого окна, выходящего на пассаж Симмонса, почитывая криво сложенную газету. Для себя он заказал пейзаж [\[11\]](#) с гусиными шкварками, и, кажется, употреблял уже вторую порцию — с Медовой до Длугой [\[12\]](#) пара шагов, но после того, как я позвонил ему из вестибюля Дворца, меня снова задержали Иван с Кириллом: нужно было заполнить формуляры, выписать свидетельство благонадежности и всякие мелкие документы для поездки... Когда я заходил к Хершфильду, часы показывали семь.

— Держи.

Альфред глянул на брошенные на стол банкноты. Помнил ли он вообще про долг? Или оставил надежду, будто бы я когда-нибудь с ним рассчитаюсь? Я повесил кофух и шапку. Альфред пересчитывал рубли, не спеша перекладывая их между пальцами.

Я уселся.

— Уезжаю.

Он поднял голову.

— На сколько?

— Не знаю.

— Куда?

— В Сибирь.

Он даже поперхнулся.

— Что случилось?

Я рассказал ему про отца, показал бумаги.

— Думал, что я тебе не поверю, — буркнул приятель.

— Ты сам уже месяц пугаешь, что переберешься во Львов.

Альфред закурил. Я заказал водки для того, чтобы согреться. За окном, напротив нас, у дверей под вывеской модистки, разговаривали две молодые женщины в шикарных накидках. Мы разговаривали, наполовину повернувшись к окну, через сизый дым и шум голосов других клиентов — в это время в заведении Хершфильда всегда полно; мы говорили громко и четко, как будто декламировали театральные реплики или давали показания перед судом. Женщины под вывеской модистки смеялись, прикрывая красные губы руками в черных перчатках. Мороз делал их лица еще красивее, зажигал искры в глазах, румянил щеки, раздувал ноздри.

— Лешневский и Серпиньский приглашают меня официально, от имени Львовского Университета.

— Они как раз рассорились с Котарбиньским.

— Там я сделаю докторскую за год или два.

— Начнешь с самого начала?

— Ба! Я тут думал, а не поменять ли фамилию.

— Шутишь.

Альфред пожал плечами.

— Бежков слышал, что я буду стараться получить доцентуру и должность в учебном заведении. А ты ведь прекрасно знаешь, что он выдумывает про евреев.

— С осени в Императорском будет преподавать Лукасевич. Может...

— Польский язык преподавания — это еще не все. Бойкот слишком затянулся. Императорскому Университету уже более полувека, необходимо считаться с традицией.

— Значит, за границу, во Львов? Решился?

— Ты сам говоришь, что не знаешь, когда вернешься. Впрочем, признайся сам, что мы с этой работой застряли. — Альфред поднял из-под стула папку, вытащил из нее кучу бумаг, добрую половину пачки. — Пожалуйста, здесь все, включая мои последние заметки, сделанные потом и кровью.

Я перелистал без особого внимания. Действительно, там была даже статья Котарбиньского из «Философского Обозрения» одиннадцатилетней давности и последняя, отброшенная версия нашей *Теории и применения логик, имеющих более двух значений*.

— И что, теперь только теория множеств и Буля? — брезгливо буркнул я.

— На *Принцип несоответствия* уже глядеть не могу. Видимо, вгрызусь как я заново в первичные выражения для логик *Principia mathematical* [\[13\]](#). Если ты возьмешь квантификаторы переменных суждений и функций... Впрочем, я тебе говорил, — вздохнул он.

На этом беседа сдохла.

Я просматривал газету Альфреда.

Война практически выиграна. Россия берется за врагов, находящихся поближе к сердцу Империи. В Петербурге громкий политический процесс. *Прокурор обвиняет Вилинковича А. Д. в принадлежности к партии, стремящейся ввести в России демократическую республику. Под лавиной вопросов прокурора, под конец третьего дня процесса обвиняемый признался.* На экономических полосах проблемы таможенных тарифов и выступлений в британском парламенте против свободной торговли, а так же банкротств на предприятиях тяжелой промышленности. *Американский миллиардер Морган ведет переговоры с немецкими и французскими банками по вопросу учреждения крупного анти-зимназового треста, и вместе с этими банками он уже сделал правительствам стран, которых Лёд не коснулся, предложение на исключительную торговлю по гарантированным ценам, одновременно требуя установления антироссийских таможенных барьеров. Мы отвечаем: пускай мистер Морган купит себе собственную страну!* Тьфу, трудно найти вопрос, который бы менее всего меня касался. Я опрокинул рюмочку водки. Колонкой далее, под рекламой Школы Хорошего Поведения Ж. Жужу — карикатура на девиц, гоняющих на автомобилях. *Новые выходки суффражисток. Английские суффражистки в ходе выборной агитации пользуются все более возмутительными средствами. Одна из них вскочила недавно в избирательную контору министра Карра, когда министр только что вышел, и облила горячей жидкостью все лежащие на столе документы и воззвания. Капля жидкости попала в глаз министерского секретаря и болезненно ошпарила его. Несмотря на боль, секретарь начал погоню за нарушительницей, но та, выбежав из помещения, уселась на автомобиль и помчалась по тесной улице против движения. Храбрый секретарь продолжил погоню на взятом у кого-то на время велосипеде, но сумасшедшая женщина разогнала машину, не обращая внимания на здоровье и жизнь людей и животных, и таким вот образом ушла от правосудия. Слава Богу, нам в Королевстве и Российской Империи чужды подобные вульгарные обычаи.*

Я мнял газету, собственных мыслей не было никаких.

От модистки выходили последние заказчицы; женщины уже отошли от входа в магазин, исчезнув из нашего поля зрения. Галантерейную лавку рядом тоже уже закрывали, лампы внутри уже были погашены.

Я стиснул веки, словно в глаза мне только что попала снежинка.

— Не могу забыть той сцены, когда ехал на Медовую... Знаешь, на перекрестке Маршалковской и Иерусалимских сейчас стоит лют.

— Ага.

— Случилась авария, разлился керосин, огонь поднялся на целый метр, даже выше — на пару метров. Но тут, видишь, лют висел над всем этим, он уже приморозился к домам, фонарям, столбам. Перед этим тащился по земле — а над перекрестком пошел в воздух. Начал подниматься он где-то доброй половиной дня ранее. Но, Альфред, этот случай совершенно нельзя было предвидеть! Здесь случайность нагромодилась на случайность!

Приятель приглядывался ко мне с миной, наполовину веселой, наполовину перепуганной.

— И что это должно быть, полевые тесты на логику?

— А разве логика является наукой, построенной на человеческом опыте? На первый взгляд, что может быть более оторванного от эмпирии? Тем не менее, все мы в этих размышлениях опираемся на собственном опыте, на наблюдении событий, происходящих в мире — нашем мире и наших наблюдениях. Правда и ложь не существуют вне наших голов. Без языка, на котором мы их высказываем, без чувственных впечатлений, на которых мы всему учились — не было бы ни правды, ни лжи.

Альфред затушил окурок в пепельнице.

— Без языка... Именно, в этом языке. В том языке, на котором мы разговариваем, нет ни правды, ни лжи.

— В языке, на котором разговариваем... — начал я и замолк, в тысячный раз осознав ту единственную, несокрушимую истину: что в языке, на котором мы говорим, не выразишь всех тех трагических изъянов и ограничений языка, на котором мы говорим. Нельзя даже рассказать, почему некоторых вещей невозможно рассказать.

— Тебя все еще преследует антиномия лжеца, — неодобрительно чмокнул я.

Перед вами появляется человек и говорит, что лжет. Он сказал правду? Выходит, он не лжет. Солгал? Тогда — сказал правду.

Какую ценность приписать таким высказываниям? Раз нет правды и нет лжи.

— Помоги мне! — застучал пепельницей по столу Альфред Тайтельбаум. — Где тут гнездится ошибка?

— Мы предполагаем, что человеческий язык в общем связывают законы логики. Тем временем, все наоборот: это язык связывает логику.

— Перекроить язык по отношению к логике — но тогда это уже не будет наш язык.

— И что с того? Если логика является отражением объективной реальности, а не только освященным традицией предрассудком, живущим в наших головах — тогда здесь мы обязаны поступать как физики, постепенно приспособливающие язык математического описания мира к данному миру.

— Найти такой язык, в котором можно высказать правду... Это значит: в котором все, что можно высказать, будет либо ложью, либо правдой. Гммм. — Он снова засмотрелся через окно на заснеженный пассаж. — Во-первых, на таком логическом языке ты не мог бы говорить о самом себе. Чтобы обойти антиномию лжеца, тебе пришлось бы вывести вне языка все утверждения правды или лжи о предложениях этого языка.

Я фыркнул.

— То есть, снова этот язык не был бы подходящим для высказывания правды.

— Нет! Ты бы сказал, что снег падает, — Альфред махнул в сторону окна, — но не сказал бы, что высказал правду, говоря, что снег падает. Не на том же самом языке. Понимаешь?

— Но это, в свою очередь, не слишком подходит для нашего мира. Действительно ли мы имеем в нем только правду или ложь?

— Ха, это уже совершенно другой коленкор! Корбиньский прав: некоторые утверждения могут не быть ни правдивыми, ни лживыми, пока не произошли события, о которых они высказываются. Лешневский у нас ортодоксальный почитатель Лапласа, и только потому все прошлое для него уже исполнилось. Но предложение «Царь Николай Второй не дожил до своего шестидесятого дня рождения» не будет ни правдивым, ни фальшивым в течение еще четырех лет. Но когда события уже произойдут, и когда данные утверждения станут правдивыми или лживыми, с течением времени они уже не могут перестать быть таковыми.

— Потому что ты глядишь на это как на процесс, словно на какую-то логическую мясорубку, в которую с одной стороны — из будущего — ты запихиваешь бесформенные куски множества событий, раз-два, прокручиваешь их через Настоящее, и с другой стороны машинки — в прошлое — выходит логический фарш двумя ровнехонько разделенными лентами: правды и лжи.

— Ну, это более-менее сходится.

— А теперь заморозь это!

Альфред отшатнулся.

— Что?

— Заморозь, останови, застопори. Ты можешь быть уверенным только в своем Сейчас. Остальное — все, что прилегает к Сейчас, но не помещается в его границах — является сомнительным, оно существует только лишь как домысел, построенный на Сейчас, и только лишь настолько, насколько ты это можешь домыслить.

Теперь Тайтельбаум глядел на меня уже с сожалением.

— Ты и вправду считаешь, будто бы мнения о прошлом мы делаем истинными или лживыми — только открывая это прошлое? И что мы отбираем у этих мнений фальшивость или правдивость, когда забываем, теряем знание? Так, Бенек?!

— Но ведь все это происходит с мнениями о будущем, ведь относительно этого мы согласились, разве нет? Бог не пользуется трехзначной логикой, поскольку Он ведает все; Его язык — это язык «да — да», «нет — нет». Как говорит Писание и доктор Эйнштейн. А поскольку люди могут познать лишь те события, которые касаются их Сейчас... Что, в таком случае, я должен сказать о лютах? Вот тот, сегодня, на перекрестке... Скажи мне: если бы мы видели реальность совершенно иначе, если бы жили в другой реальности, в другом потоке времени — пользовались ли бы мы той же самой логикой? Ты же понимаешь, что нет!

Альфред заказал кофе. Он расстегнул воротничок и даже откинулся на спинке стула.

— То есть, без кого-то, кто бы такую истину высказал, нельзя было бы утверждать, что мир существует, так? Высказывание «Мир существует» не будет ни истинным, ни лживым — пока кто-то его не произнесет.

— Ранее такого высказывания не будет вообще, так что...

— Но как же так происходит, что во всех культурах, во все времена, все языки образуют те же самые категории истины и лжи, ба! что все они ссылаются на принцип непротиворечивости?

— Потому что до сих пор это человеческие культуры, построенные на жизненном опыте, входящем через два глаза, пару ушей, прокручиваемом в обезьяньем мозгу... Ты же изучал биологию. Подумай: сколько существует земных видов, снабженных иными органами

чувств, внедренных в иную среду.

— Но как же это так: у тебя имеется одна, объективная логика, укорененная в самой действительности — или сотни логик, зависящих от умственного и чувственного аппарата вида?

— А каждая из них в иной степени и с другой стороны приближается к логическим принципам вселенной.

— Ага! И по твоему мнению, люты...

— Они не воспринимают мир так, как мы. Просто, они живут в ином мире.

— Ты имеешь в виду мир, полностью детерминированный? Безвольные животные, знающие все свое будущее?

— Нет, нет! Если бы он знал будущее, то вообще бы туда не лез!

— Так что тогда...

— Загадка: мир, который лучше всего описывается логикой Котарбиньского — и мир, описываемый моей логикой, в которой лишь мнения о настоящем заморожены: они либо фальшивы, либо истинны. По какому признаку ты мог бы отличить эти два мира?

— Ммм, по непрерывности, по плавности истины о прошлом?

— А что это означает? Поговори с кем-либо о тысяча девятьсот двенадцатом годе или январском восстании.

— Одно дело — факт, а другое — память, мнение об этом факте.

— Память! — гневно фыркнул я. — Подобная память, это не дар, а проклятие: ведь мы помним только прошлое, и помним одно прошлое, подчиняясь иллюзии — доктор Котарбиньский тоже поддался ей — будто бы минувшие события остаются зафиксированными навечно, замороженными в истине. И все логики мы строим, основываясь на подобной иллюзии.

Альфред задумчиво раскладывал и заново складывал белый платок.

— По какому признаку я бы отличил эти два мира... Неужто ты считаешь, будто они неотличимы? Но ведь в твоём мире одновременно существовало бы множество прошлых, в одинаковой степени истинных-фальшивых, точно так же, как в данный момент существует много будущих возможностей нашего здесь *rendez-vous* ^[14]: в некоторых из них ты уходишь первым, в некоторых — я, в иных мы встречаем...

— Господин Тайтельбаум! Господин Герославский! Кого видят мои удивительные глаза!

И вот так явился нам Мишка Фидельберг из Варшавского Общества Взаимопомощи Коммерческих Субъектов Моисеева Вероисповедания, секретарь Кружка Варшавских Социалистов и дальний родственник Абезера Блюмштейна. Уже хорошенько подшофе и обильно потеющий под свеженакрахмаленной сорочкой, с лицом, освещенным алкогольным сиянием, настенные бра отражались в черных ягодах его глаз словно солнце на куполах собора Александра Невского — когда он наклонился надо мной, с огненным выхлопом, направленным прямым мне в нос, то будто бы жаркий прожектор загорелся у меня перед глазами, как будто открылась передо мной бушующая печь. Мишка весил около двухсот килограммов, правда, и росту в нем было прилично. Когда он оперся на столешницу, мы услышали треск дерева, загрохотало стекло; когда же он снова выпрямился — уличные неоновые рекламы у него за спиной потускнели.

— Мое почтенье, мое почтенье, позвольте же мне обнять моих гениев, пан Бенедикт, морда ты... давай...

— Мишка, что с тобой?

Тот пахнул на меня чесноком и конденсированной эйфорией.

— Да вы что! Не слышали? — Мишка цапнул смятую газету и замахал ею над головой

словно флагом. — Мерзов побил японцев под Юле!

— Вполне возможно, газетчики даже кричали нечто подобное! — но почему именно у тебя это вызывает такое наслаждение?

— Так будет же зимнее перемирие! Крупная амнистия! Пойдут новые указы про земства! Налоги вниз, оттепельники вверх! Вот! — Он вытащил из кармана рулон тонюсеньких агитационных брошюр и сунул нам по несколько штук. — Держите! Держите!

— А добрый коммунист тем временем радуется триумфу императора, так?

— А-а, триумф... триумф — поражение, что угодно, лишь бы не тринадцатый год войны без конца, цели и смысла. А теперь все сдвинется! Оттепель! Весна!

Альфред брезгливо оттолкнул от себя пропагандистскую макулатуру, вытер платком рот и лоб, вынул вторую папиросу.

— Революцию легче всего поджечь от факела войны, не так ли? Народ не выйдет на улицы умирать за слова с идеями, но за хлеб, работу и пару копеек увеличения зарплаты — пожалуйста. То есть, чем в лучшем состоянии находится экономика, тем меньше шансы для общероссийского восстания. Затянувшаяся война двух держав всегда дает надежду на экономический крах. Но кто же восстанет против победившего *Гасударя* Императора в мирное время?

Мишка придвинул себе стул, затем уселся с протяжным вздохом, словно из самовара спустили пар, пффффххх! — и вот он уже закатывает рукава сорочки, ослабляет воротничок, расставляет пошире свои слоновьи ноги, стул трещит, а Мишка Фидельберг склоняется к собеседнику и надувает грудь — именно этой грудью он будет защищать Революцию.

— Тысяча девятьсот пятый! — рыкнул он. — Тысяча девятьсот двенадцатый! Да сколько же раз можно, господа! Сколько раз одни и те же ошибки! Большевики с херами никогда ничему не научатся, слава Богу, у Бунда в голове хоть немного прибавилось. Если бы у нас был рабочий класс как в Германии и Англии — а кто здесь должен делать революцию, спрашиваю, крестьяне забитые? Как с этим вышло у народников, мы все знаем: им легче завербовать ради идеи агентов охранки, чем мужика; привязанный к земле народ сам является реакционным классом. Что с того, что они настреляют царских министров, навзывают генералов? Генералову царя много!

— *Значит, што?* — вы присоединяетесь к сторонникам Струве и к придворным социалистам?

— Да плевал я на них! — Мишка сплюнул. — Дело ведь не в тех или иных камарильях, но в Истории! Тут вся штука в том, что в нынешнем состоянии страны у революции нет никаких шансов на успех. Мы убедились в этом на собственной шкуре, дважды расплачиваясь кровью рабочих, именно в пятом и двенадцатом, а ведь тогда самодержец казался ослабленным японскими войнами и все, казалось, говорило в нашу пользу. Но точно так же господа не сделали бы революции и в древнем Риме! Маркс это прекрасно знал: История катится в соответствии с железными правилами логики исторического развития, и нельзя просто так перескочить один или другой этап — бабочка тоже ведь не сразу появляется, сначала нужна куколка, нужен кокон.

— Ленин...

— А Ленин сейчас уже только кусает за щиколотки швейцарских сиделок.

— Мишка, — наклонился я к распахнувшемуся Фидельбергу, — я правильно понял? Ты будешь поддерживать буржуазию и капиталистов, поскольку только после них может наступить настоящая революция пролетариата?

— Чтобы сделать пролетарскую революцию, нужно иметь пролетариат! Разве что поверишь в *богостроительство* или пустые мечтания Бердяева со компания или социалистов-

народников, у которых в голове только Герцен с Чернышевским, и которые до сих пор трындят об историческом посыле России, и что вообще не следует гнаться за Западом и повторять его ошибки, но только без буржуазии и среднего класса, обходя меандры капитализма, выкормить себе коренной российский социализм из незапятнанного духа народной общности... Эх! Русская мистика! А что говорит Троцкий? Даже если бы каким-то чудесным образом — заговор Четырехсот, безумие повелителя, естественная или неестественная катастрофа — даже если одно государство попадет под правление трудящегося народа, тут же все ближние и дальние державы старого порядка набросятся на него и разобьют *вдребезги*, не позволяя социализму созреть. Революция должна охватить сразу же все державы, во всяком случае, большинство их, то самое большинство, что измеряется экономической или военной силой. То есть, не достаточно рассчитать историю одной страны; эффективно рассчитывать следует только Историю, то есть всеохватную, всерегулирующую систему исторического развития. Вы видите это, господа математики? Ведь видите же!

...Так что же следует сделать? Открыть эту консервную банку! Втащить Россию в двадцатый век, даже вопреки ее воле! Да, да: насильно разморозить Историю! Разморозить Историю, говорю! Сначала Оттепель, потом Революция! Но не Оттепель по божьей милости, посланная нам метафизическими циклами, но, — тут он стиснул пальцы-сардельки, — сотворенная нашими, людскими руками! Из труда, из разума, из науки, из денег! Вот, — отсопелся он, наконец-то переводя дух, вот такой я новый оттепельник...

— Я как-то перестал прослеживать пертрубации в Думе — а разве троцкисты сейчас не заключили какой-то тактический союз со сторонниками Струве и столыпинскими трудовиками? Впрочем, а что это меняет? Какая разница для поляка? Такая российская власть, сякая российская власть...

— Возрожденная Польша должна быть Польшей социалистической! И будет!

— Ну нет, так это не выходит. — Тайтельбаум затянулся табачным дымом. — Если вы вступите в альянсы, результатом чего станет размягчение реакционной политики, то как раз затрудните революционную работу: тут же дело в том, чтобы царизм и буржуазия угнетали пролетариат, разве нет?

Я поднял палец.

— Диалектика, Альфред, диа-лек-ти-ка!

— И почему мы не можем дожидаться революции еще и в Германии, в Англии, в Америке?

— А они, *капиталисты западные*, в угнетении ни черта не понимают. Один только русский так может угнетать слабых и бедных, чтобы те о жизни забыли.

— Да что вы чушь несете! — Мишка даже грохнул кулаком по столу. — Там буржуазия держится еще сильнее, потому что у нее было время укорениться и окопаться! Зато в России — в России, в Королевстве — мы с самого начала готовы! Пускай только История тронется с места, пускай у нас появятся необходимые условия — и революция неизбежна!

— Я знаю... С Петром Струве во главе правительства и социалистами, уже два десятка лет заседающими в Думе...

— Но, может, лучше рассчитывать на какую-нибудь резню на фронте и уличные бунты... И на голод в деревне. Хотя, до сих пор от голода умирают довольно покорно, ни дворян, ни чиновников не режут, Пугачева не помнят. — Альфред сделал скептическую мину. — Ну и армия, прежде всего — армия; не один иди пара взбунтовавшихся кораблей, но полки... дивизии...

— Которые как раз начинают возвращаться в страну.

— Экономика должна сдвинуться, это точно, — согласился я. — Хотя и не знаю, будет ли

это хорошим известием для ростовщиков.

Фидельберг хлопнул себя по потному лбу, что прозвучало как приличная пощечина.

— Да, пан Бенедикт, дед уже...

— Да, Мишка, хорошо что напомнил! — разулыбался я. — Будь так добр и спроси у старика, не одолжит ли он мне в неожиданной жизненной ситуации хотя бы десятку? Меня ждет долгое путешествие, расходы...

— Спасите меня, все архангелы! — Фидельберг подскочил и, отступая тылом через ресторан, махал перед багровым лицом огромными лапами, одновременно делая знаки против сглаза. — Подобного рода посредничество мне и так уже много стоило! Езжай уже, езжай!

Альфред провел его взглядом.

— Бенек, честное слово, ты не обязан был отдавать сейчас, если...

— Да ну! Прежде, чем потребуют возврата, необходимо туг же попросить следующий заем — и тогда они радуются, что ушли с целым бумажником.

— Ну, раз так. — Альфред погасил окурок, застегнул пиджак, поднял папку. — Так когда ты выезжаешь?

Я крутил в руках легально-нелегальную брошюру Мишки, напечатанную на папиросной бумаге, заполненную мелкими и плохо читаемыми буквами — дюжина статей с сомнительной орфографией, густо усеянных восклицательными знаками, с одной ужасно замалеванной карикатурой и одним стихотворением Есенина в самом низу последней страницы.

— Завтра.

— В Сибирь, говоришь. Через Тюмень и Иркутск, так?

— А что?

— Да нет, ничего... — Альфред помялся, задумался. — Когда я получил ту награду из Кассы Мяновского... Их, в основном, финансируют восточные богачи, поляки из Азии, с Кавказа, с Дальнего Востока. Ты был тогда на банкете?... Нет, кажется, нет. Там я познакомился с одним из этих магнатов мехов, золота, угля и зимназа, он учредил несколько стипендий для молодых математиков из института... Белецкий или Бежавский...

— Так что?

— Разнюнился за водочкой, я прямо подумал, что начнет мне свою родословную цитировать; едва избавился от него, это ж такая натура, что небо нагнет и в горло тебе запихнет. К каждым праздникам присылает мне совершенно ужасные открытки с поздравлениями и обещает, что как только вновь попадет в Варшаву... Таак, найду его адрес, напишу тебе рекомендательное письмо. Может, на что и пригодится. Поезд отходит с Тереспольского [\[15\]](#)?

— Угу.

— Держи хвост пистолетом! Не дай себя пожрать лютам! Не сдавайся Льду!

Прикусив язык, я складывал брошюру в геометрические фигуры, Есениным кверху.

Снежная равнина, белый круг Луны,
Льдом округа скована, и морозуны
Нас обходят вокруг — творения нелЮдские...
Что, заснуть? Я вижу сны о Революции.

Не по отношению к каждому кредитору можно позволить применить тактику, которая срабатывает в отношении Абезера Блюмштейна; не с каждым стоит так поступать. Прямо от Хершфильда я отправился на Белянскую, домой к Коржиньским. Хозяина я застал, меня пригласили в салон. Я долго очищал сапоги от снега и грязи под присмотром слуги, прежде чем тот впустил меня на паркет и ковры. Из ясно освещенного вестибюля, по широкой деревянной лестнице мы поднялись на второй этаж. Пахло корицей и ванилью. Из глубины коридора до меня доносились женские голоса и, похоже, голос Стася. Здесь горели газовые лампы, но в салоне на окнах еще не затянули тиковые шторы, не опустили занавесок из английского ситца. Под темным небом, затянутым снежными тучами легко забыть, что, по сути своей, у нас здесь лето, что Солнце восходит и заходит по-летнему. Сквозь зимнюю ауру к земле не поступает столько тепла и света, сколько должно быть в июле, тем не менее — все равно, это июльское солнце — достаточно посмотреть, под каким углом оно бьет сквозь тучи, как отражается от снега, какими цветами окрашивает стекла. Окна салона выходили на запад, и здесь царил совершенно странный полумрак зимне-летнего вечера, серое свечение.

Тадеуш Коржиньский выглядывал на улицу — я очень тихо ступал по толстому ковру, но он, видимо, меня услышал — обернулся, указал на обитые алым репсом стулья.

— Что-то случилось, пан Бенек?

Обычно, я прихожу к Сташеку по вторникам, четвергам и субботам.

— Простите, но я не по вопросу уроков. — Я вынул пачку рублей; нужную сумму я отсчитал еще раньше. — Я должен возратить аванс. — Хозяин не пошевелился, не протянул руки, поэтому я положил деньги на стол. — Я извиняюсь, обязательно порекомендую вам другого преподавателя.

— Разве Стась...

— Да нет, откуда, это со Сташеком никак не связано.

Хозяин ждал, выпрямившись и сложив руки за спиной, в скроенном по мерке сюртуке *tout jour*. Он стоял между двумя высокими окнами, на фоне зеркала в позолоченной раме — мужской силуэт или же темное отражение силуэта в зеркале, не отличишь. Свет холодного июля очерчивал его слева и справа, словно фигуру святого на витраже. Коржиньский ждал молча, так он мог ждать долгими минутами. Я чувствовал, как мои губы растягиваются в умильной улыбке: каучук, желе, смалец, растапливаемый на горячей плите.

Я рассказал ему про отца, про пилсудчиков, о приговоре, о Сибири. Он продолжал молчать. Тогда я рассказал ему о визите на Медовую и про билет до Иркутска. Он молчал. Я рассказал ему про отца и Лютов. Все так же молча, он вышел из салона через боковую дверь. Я сидел, сплетя ладони на коленях, передо мной на столе — красные *деньги*, надо мной, на стене — гусар и дама с цветами, по сторонам — истинный потоп хрупких сувениров и памяток семейства Коржиньских. Большие стоячие часы пробили восемь.

Пан Коржиньский вернулся с альбомом под мышкой и со шкатулкой в руке. Сразу же он позвал горничную, чтобы та зажгла лампу. Усевшись за столом, он какое-то время присматривался ко мне из-под мохнатых бровей; левой, здоровой рукой, украшенной массивным перстнем с оком в треугольнике и Солнцем, он машинально поглаживал крышку шкатулки, покрытую сложными растительными символами.

Когда горничная закрыла за собой дверь, он открыл книгу. Это был альбом с фотографиями.

— Я не был знаком с вашим отцом, молодой человек, но знайте, что вы не случайно были мне рекомендованы в учителя для Стася. Мы стараемся помогать семьям старых товарищей. О вас написал знакомый моего знакомого; я и сам написал знакомым.

Он замолчал.

Я опустил глаза.

— Наверное, я в чем-то и догадывался...

— В тысяча девятьсот двенадцатом, — начал Коржиньский, не дав мне закончить, — я принимал участие в операции, цель которой состояла в том, чтобы отбить товарищей из ZWC [\[16\]](#), которых перевозили в Екатеринослав и Севастополь на Черноморские процессы. Как тебе, наверняка, известно, операция увенчалась успехом, но с тем большим упорством нас потом преследовали. Мы разделились; города были для нас небезопасными; большинство из нас пыталось прорваться в Галицию, многих схватили. Мой отряд выбрал направление на Румынию, в самом конце, убегая от погони, мы пересекли практически все Кресы [\[17\]](#), но над Днестром нас отсекли. Мы удирали третью неделю, уже стоял октябрь, и нам было известно, что Пилсудского схватили, революция в России задущена, а японцы отступают по всему фронту. Теперь самое главное было, чтобы казаки потеряли наш след, кончилось тем, что мы и сами почти заблудились. Мы ехали по степи, подальше от людей. Деревушки были видны издали по дымам на небе. На ту мы наткнулись уже в сумерках, совершенно неожиданно. Мы посчитали, раз уже нас и так увидели... опять же, нам нужен был провиант... Бедный хутор, несколько хат, даже не хат, а мазанок, чуть ли не землянок. Нигде ни огня, ни дыма, никаких огней и тишина — такая степная тишина, что мурашки по коже: ни собака не завоет, ни скотина не замычит, ни телега не заскрипит. Ничего. Мы въезжаем, курки взведены. И сразу же видно, что что-то здесь не так, ни одна халупа не стоит прямо: стены скособолены, двери вырваны, крыши сдвинуты. Со всем инвентарем то же самое, как будто их кто-то в тисках держал: доски кривые, колеса восьмеркой, столбы растрескались. Едем к колодцу — он завален. Смотрим по хлевам. Скотина мертвая, только мухи роятся над падалью. Зараза, кто-то шепчет. Командир приказывает разведать, что с людьми. Смотрим по халупам. С людьми то же самое — трупы. Отгоняем мух. Лица, как будто все это утопленники — распухшие, размякшие. И притом же — красные и почерневшие, словно от ожогов. Объезжаем хутор, смотрим на землю. Идет след — с севера на юг, шириной в четыре телеги: земля раскопанная, перевернутая, разрытая, но не от плуга, а как будто бы сама рассыпалась, размылась, понимаете, нет никаких следов орудий. Даже камни на этом тракте расколотые, в гравий разбитые. Смотрим один на другого. На юг, приказывает командир. Едем — но уже ночь, надо становиться. Сразу же утром след обрывается. Тут он есть, а потом уже и нет — посреди степи, место как место, но вот здесь земля выворочена, а в паре шагов уже зеленеет трава. На север, командует начальник, назад. Едем. Проезжаем хутор, след очень выразительный, можно ехать рысью. После полудня, на расстоянии миль в тридцать, видим это на горизонте. Сразу же делается холодно. Еще немного, и дыхание замерзает на губах. Лют, догадываемся. Помнишь, в тысяча девятьсот двенадцатом к западу от Буга про лютов только слухи ходили. Лют, говорим один другому, и зашнуровываем мундиры, окутываемся плащами, подгоняем лошадей. Только потом, когда я уже вернулся в Королевство и почитал газеты из Галиции, до меня дошло, что же это было такое. Экспедиция из Крулевца [\[18\]](#) обнаружила нечто подобное в Великом Княжестве Финляндском, в ниландской губернии. Первое соплицово [\[19\]](#).

Коржиньский повернул альбом с фотографиями в мою сторону. Теперь, когда на столе горела лампа, все, что находилось вне круга ее сияния, скрывалось в двойных тенях; глянув в световое пятно, все внешнее отдавалось во владения ночи. Зато здесь, в свете, предметы становились более близкими, теплыми, дружелюбными человеку, они сами пододвигались, чтобы их тронули, поднимались к глазам. Я протянул руку к альбому. Рука Тадеуша Коржиньского, правая, та самая — покалеченная, указывала фотографию на первой странице.

Позируют восемь мужчин, они стоят в поле с винтовками в руках или опираясь на них, все в одном ряду. Куртки еще напоминают серые мундиры Стрельцов, но все остальное — это уже лохмотья. Заросшие, но с чистыми лицами. Никто не улыбается. Стоит день, над ними чистое небо. За ними — массив лоснящейся белизны.

Черный обрубок показывает следующие фотографии. Здесь уже видно соплицово. Оно растягивается метров на пятьдесят, может, и больше. Фотография не самого высшего качества; если кто-то из них взял с собой аппарат, то вспомогательное оборудование было не из лучших. Фотограф не мог охватить соплицово в панораме сверху — здесь равнина без особенных возвышенностей. Снимки только с высоты роста человека, возможно — из седла, и только внешних слоев.

Это ни дом, ни скульптура, ни живой организм. Люты входят в это и выходят, но точно так же можно сказать, что соплицово их заглатывает и выплевывает. Точно так же нельзя сказать, являются ли висящие над городами Европы и Азии гнезда лютов просто-напросто местами, где несколько лютов сморозилось вместе — или же это нечто большее, нечто совсем другое.

В этом отношении, соплицово относится к гнезду так же, как гнездо — к отдельному люту. Но в случае соплицова, мы уже точно знаем, что оно представляет собой нечто больше, чем просто скопление лютов. На снимках были увековечены плененные во льду фрагменты сельскохозяйственных орудий, предметы домашнего быта: половина стола, горшок, икона, обломок наковальни, и вещи менее стойкие: буханка хлеба, вязанка лука, кольцо колбасы и части тел — людей и животных, их внутренние органы, а так же предметы, которых просто невозможно было распознать на этой черно-белой фотографии. Ледовые формации, казалось, соответствовали своей формой замкнутым внутри реквизитам. Вырастающая из земли наклонная сосулька, в которой над равниной повисла четверть тела толстой женщины, увенчанная странной карикатурой на человеческую ступню.

Отражающееся во льду степное солнце, правда, смазывает мелкие подробности соплицова белыми рефlekсами.

— Без увеличительного стекла и не увидишь, но вот этот фрагмент, — коготь, который когда-то был костью указательного пальца, касается фотографии, — это что-то вроде лица, с обратной стороны даже коса есть, но все это растянуто по вертикали, смотри: нос, губы. Тут и тут. Метров семь, не меньше.

Он показывает следующие снимки. Я наклоняюсь, чуть ли не клюю носом альбом. Свет лампы нагрывает мне лицо и шею.

— Больше фотографий у нас нет, камера не выдержала мороза. И вообще, это должно было стать хроникой борьбы за свободу, а не паноптикумом льда.

Я снова сажусь прямо; ладони остаются в кругу дрожащего света — я отвожу их, когда Коржиньский глядит на них.

— Дальше за тем фрагментом, — продолжает он, откашлявшись, — был залив, то есть — разрыв во льду внешней формации и пролом, ведущий вовнутрь, словно коридор между белыми стенами. Я хотел попробовать въехать туда, во всяком случае, увидеть, что скрывается внутри соплицова, если там кроется больше того, что мы уже увидели. Командир запретил.

...Тогда, сразу же за поворотом коридора, во второй, восточной стене, мы увидели того парня, плененного во льду. Фотографий нет, ты должен поверить моей памяти. Он был погружен в соплицово до самых ребер. Только застрял он там, не стоя, скорее — лежа, метрах в трех над землей. Над ним еще свешивался язык смерзшейся массы с замкнутой внутри половиной гончарного круга; весь этот массив был почти что полукруглый. На парня во льду

мы обратили внимание сразу, но после того, как кто-то крикнул: «Дышит!», увидели облачка пара перед синюшным лицом, под свешенной на грудь головой, закрытой волосами в инее. Он жил. Дышал.

...Разбить соплицово! Но мы едва могли приблизиться настолько, чтобы просто коснуться несчастного — мороз шел резкими волнами; сделаешь вдох поглубже, и душа промерзает. Кто-то выстрелил в стенку, метром ниже от плененного. Пуля застряла во льду, не показалось хотя бы щербины. Что делать? Командир приказал разжечь костер под парнем. Мы снесли ото всюду хворост и дерево, зажгли. Благодаря этому, можно было какое-то время стоять рядом, подвести к стенке коня. У меня еще оставалось немного самогона, я хотел напоить несчастного с седла. Но он был без сознания, вяло свисал. Я не мог открыть ему рот, а влить жидкость в горло никак не удавалось — голова у него была опущена вниз, насколько это было возможно в соответствии с анатомией; он лежал в этом льду спиной к небу, лицом к земле, словно придавленный прозрачными стеклами сверху и снизу до того, как сумел бы из под них выползти. Тогда до меня дошло, что, в самом лучшем случае, мы только подарим ему пару часов жизни — или же сократим муки, какой выход был бы хуже? Если, и вправду, он пришел бы в себя перед смертью... Гибнущие от мороза, как правило, засыпают, вроде, они даже не осознают приближения смерти, так мне говорили. Тогда зачем же его будить? Половина внутренних органов, кишки, печень, почки — наверняка уже превратились в лед. А что дышит — не человек — у мертвеца тоже волосы и ногти растут.

...Я провел ладонью по его груди (парень был в грубой конопляной рубахе), чтобы узнать, докуда доходит жизнь. Ладонь — тут Тадеуш Коржиньский поднес руку к лампе и растопырил перед ней черные культи пальцев — соскользнула на лед, может, конь пошевелился подо мной, или я сам утратил ориентацию в отбирающем все мысли холоде... я прикоснулся. И примерз. Видимо, орал я страшно, мне говорили, что вопил я так, словно с меня шкуру сдирали. Оно и правда, кожа отходила от тела словно рваная бумага. Конь перепугался, отскочил ото льда и от костра. Я упал. Пальцы — он пошевелил перед лампой тем, что от них осталось, словно играя отбрасываемыми тенями — так ко льду и пристали. Упал я на острый выступ, выбил несколько зубов, рассек кожу. Вот, остался шрам.

Улыбаясь, он наклонился ко мне. Шрам кривился на его лице симметрично лишенной радости улыбке; толстая черта, будто след от дуэльной пули.

— Меня оттащили, перевязали руку. Мороз запек раны. Напоили той самой водкой, которой я хотел напоить парня во льду. Потом я заснул. Утром парень уже не дышал; темный иней вырос на веках, на носу, на губах. Я пошел туда с длинным факелом, выжег пальцы из льда, через несколько минут они отпали. Весь большой палец и остатки трех других. За ночь они успели глубоко врасти в лед соплицова. Отпечатались ли в нем и их формы? Я присмотрелся к большому пальцу. Он был попросту откушен — следы явные, разорванная мышца у основания и еще торчащий в нем, заклиненный между костью и жилой, зуб — мой собственный коренной зуб, который я потерял во время падения.

Тадеуш Коржиньский открыл японскую лаковую шкатулку. В ней находился замшевый сверточек, имеющий форму и размеры сигары. Он вынул его, начал осторожно разворачивать материал.

Палец выглядел мумифицированным, превратившимся в камень — полностью черный, выпрямленный, с ногтем, утопленным в сильно и гладко натянутую кожу. Пан Коржиньский перекатил его на замше, разворачивая к восковому свету керосиновой лампы второй стороной основания, где — я даже склонился над столом — из темной кости выступал желтый корень зуба.

Домашние часы пробили половину девятого.

Пан Тадеуш тихо рассмеялся. Я вопросительно глянул на него — объяснить ли теперь он свою шутку. Нет, он не шутил, сам глядел на палец в мрачной задумчивости.

— Я искал эти выбитые зубы в траве, в грязи и в снегу, но не нашел. После возвращения, я обо всем дал отчет своему мастеру, передал фотографии. Братья из Франции к этому времени уже очень интересовались лютами, меня попросили, чтобы я продолжил сбор информации. Поначалу русские еще не сильно проводили через цензуру сведений из губерний, по которым проходил Лед. Этому занятию я не мог посвящать много времени, но с тех пор, как люты добрались до Варшавы... — Он поднял глаза на меня. — Что тебе конкретно рассказали про отца?

Я повторил.

Он покачал головой.

— Разговаривает... Зимовники — те самые, что пережили близость люта — как правило, это просто бедняги, которым повезло в несчастье после того, как они пьяными заснули на улице. Министерство Зимы использует их и платит им, чтобы те поддерживали в городе порядок после лютов, раз уж то прикосновение сделало их устойчивыми к холоду.

— Может быть и иначе, все может быть и наоборот.

— Не понял? — Коржиньский, не сгибаясь, склонился ко мне, снова погружая лицо в облако желтого света над темной столешницей.

— Я говорю, — заикаясь, продолжил я, — говорю, что это неверный вывод, неправильное понимание. Мы знаем лишь то, что те, что выживают, исключительно стойкие к морозу — но ведь, собственно, они и не выжили бы, если бы не были устойчивыми, правда?

— Не уверен, к чему...

— Делает ли каторга и сибиряков чрезвычайно стойкими и невосприимчивыми. Или же, просто, менее сильные не возвращаются, поэтому мы и не принимаем их в расчет? Быть может, вовсе и нет никакой чудесной перемены — а только отбор.

Хозяин выпрямился, снова прячась в тени.

— Да, понимаю, вы правы.

— Причина и следствие — это иллюзии слабого ума, — буркнул я под нос.

Коржиньский медленно дышал в полумраке.

— Пан Бенек, — тихо продолжил он через какое-то время, — даже если ваш отец зимовник... Говоря по правде, даже и не знаю, что хуже. Послушайте. Почему я это вам рассказываю. Весной двадцать первого года до меня дошло известие, что кто-то разыскивает добровольцев бросать бомбу в гнездо лютов. Его арестовала охранка: тот эсер, который должен был изготавливать бомбы, оказался агентом той же самой охраны. Но уже объявились желающие, заявлявшие, что способны подобраться к гнезду, более того, заложить бомбу в середину, и что они сделают это за соответствующую оплату — ренегаты-мартыновцы. Именно тогда я и услышал про секту святого Мартына. В объятия лютов они идут сознательно. Понятное дело, умирают, замерзнув насмерть... У них имеются ступени, пороги посвящения — скорее же, пороги безумия. На сколько приблизится такой сектант. Два метра. Метр. На секунды; выдержит ли больше? Можно задерживать дыхание, это помогает, если воздух от люта не входит тебе в легкие. Подойдешь же слишком близко и втянешь воздух в легкие — трупом падаешь, останавливается сердце. Они в этом тренируются: купаются в проруби, спят в снегу, задерживают кровь в жилах и останавливают пульс. Двигаются медленно, не говорят, не едят, принимают только жидкую пищу, регулярно пускают себе кровь, регулярно глотают лед. Якобы, к ним принадлежит и Распутин — для умерщвления плоти на Неве подо льдом плавает. И, якобы, мартыновцы высших посвящений

действительно способны коснуться — даже не пустого соплицова, но люта. Никто таких мастеров Зимы не встречал. Возможно, они живут там, в Сибири.

...Говоришь, будто бы Филипп Герославский разговаривает с лютами. Так тебе сказали. — Коржиньский завернул мертвый палец в мягкий материал, спрятал в шкатулку. — Если ты не обязан, если есть выбор... быть может, было бы разумней, чтобы встреча эта и не состоялась.

Он поднялся.

— А деньги заberi.

— Спасибо.

Разные методы срабатывают по отношению к различным кредиторам. Бывают и такие кредиторы, по отношению к которым лучше всего срабатывает откровенность.

Об ослепляющей темноте и других непонятках

Лют все так же висел над Маршалковской. Я заглянул в столовку на углу, но Зыгу там не застал. Быстренько заглотал картошку с укропом, запивая кефиром. Заполняющий харчевню горячий, сырой воздух — жирный туман — втискивался в легкие, пропитывал одежду запахами дешевой еды. Почесываясь под кожихом, я подумал, что, видимо, достиг той степени безразличия и неряшливости, когда, чувствуя чужую, своей вони уже не замечаешь. Эти взгляды и усмешечки чиновников Зимы... Да разве и Тадеуш Коржиньский не отодвигался незаметно от меня, не отклонялся от стола? Я умею не замечать того, чего замечать не желаю; умею и улыбаться сквозь смрад.

Я отправился в баню под Мессалькой ^[20]. Выходящий на костел Святого Креста фасад высокого каменного здания недавно отреставрировали, в витрины фронтальных контор вставили мираже-стекольные витражи в замороженном зимназе, близнецы банных витражей. Силуэты прохожих отражались в цветном стекле, проплывая волнами, словно экзотические картины подводной жизни, странная флора и фауна под подцвеченным слоем воды — пальто, шубы, кожихи, накидки-этуали, муфточки, пелерины, шляпы, котелки, шапки, лица светлые, лица с черными бородами, замотанные шарфами, в очках... Я остановился. Вот там: котелок, голубые глаза под черными полями, гладкие щеки — я повернулся — исчез среди прохожих. Привидение, или действительно это был Кирилл с Медовой? А если даже и так — почему сразу же предполагать, что Кирилл следит за мной? Зачем это ему? И почему именно он, а не какой-нибудь анонимный шпик из охраны? Мне не хотелось в это верить.

Отмокая в горячей воде, я повторял про себя слова рассказа Коржиньского. Фотографии производили меньшее впечатление, чем именно слова — в прусских и австрийских газетах я видел уже немало снимков лютов, их гнезд и даже соплицовых; впрочем, еще при Столыпине издательство Гебетнера и Вольфа выпустило посвященную им монографию авторства петербургских природоведов; Министерство Зимы не конфисковало всего тиража, там были фотографии гораздо лучшего качества. Но замороженный до черноты палец Коржиньского с вонзенным в него зубом — большой палец, которого он сам не откусил, но отгрыз...

С другой стороны, это могла быть обычная болезнь пожилых людей: их поглощает собственная память, все меньше они живут тем, что воспринимается каждодневно, все сильнее тем — что помнится. Чаша весов прошлого перевешивает чашу настоящего и будущего, и так случается, что в ответ на вопрос о погоде за окном, человек описывает грозу, которую запомнил еще с детства — раз пятый, десятый — не осознавая того, что повторяется — как раз этого он и не помнит.

Сколько раз рассказывал свою историю Тадеуш Коржиньский? И наверняка, всегда в

темной комнате, после наступления темноты, при единственной зажженной лампе, в тишине. Сколько раз он вынимал шкатулку и бережно разворачивал медовую замшу? Фотографий нет, ты должен поверить моей памяти. Обычный недуг пожилых людей. Ему наверняка уже больше пятидесяти. Мне вспомнилась мать Фредека Вельца, ненамного старше. Со смерти Фредека ее память застыла, словно картинка в фотопластике, вперед не движется, новых картин не аккумулирует — она попросту не принимает мира, в котором Фредека нет среди живых. Это разновидность добродушного сумасшествия, который на склоне жизни случается у людей доверчивых и ласковых, с мягким сердцем.

Она никогда не ложится спать до полуночи, зато потом компенсирует это, подремывая большую часть дня; я знал, что меня она примет. Обычно, я захожу к ней по дороге от Коржиньских — как прошел денек, как вы себя чувствуете, пани Мария, не забыл ли хозяин принести угля, а эти пара рублей — это от Фредека, сам он, к сожалению, не мог, завтра обязательно заскочит, ведь вчера же он был, правда?

Она открыла, едва я постучал, как будто бы ждала у дверей или высматривала меня через окно. Экономка уже вернулась к немцам, которые снимали квартиру на пятом этаже; к вдове она заходила часа на два-три. Остаток дня госпожа Вельц проводила в одиночестве. Дома она не покидала. Иногда к ней приходили соседи или знакомые соседей — она гадала им на картах, по руке, толковала сны. А что еще остается на старость женщине из хорошего мещанского дома? Сплетничать, на пяльцах вышивать, сватать молодых, вспоминать собственную молодость. Когда-то она нагадала мне, что женами у меня будут пять или шесть женщин, которые родят мне четверых сыновей, что я соберу громаднейшее состояние, но — вдобавок — умру совсем молодым.

— Ну, заходите же, пан Бенек, я чайку заварю, мороз снова ужасный, вы видели эти тучи на западе, ночью такой снег упадет, что...

— Я только на минутку, завтра никак не смогу, так что...

— Утром Фредерик забежал позавтракать, кое-что для вас оставил, вон там, на комодке.

— Ах, Фредерик... так.

Пани Вельц затащила меня чуть ли не силой из прихожей в маленькую гостиную — маленькая, слегка сгорбленная женщина в черном платье, черном чепце, вся в черных кружевах — вот уже девять лет она носила траур по инженеру Бельцу, который умер от воспаления легких во время первой зимы Лютов. Я поцеловал сухую и сморщенную кожу ее запястья (от нее пахло ромашкой и нафталином). Пани Мария тут же вырвалась и направилась в кухню.

Сверточек на комодке был величиной с портсигар. Я развернул бумагу. *Wiener Spielkartenfabrik — Ferd. Piatnik und Sohne*. ^[21] Карточная колода, уже пользованная. Фредек, в основном, играл Пятниками, покупая их по полдюжины колод за раз, тех, что подешевле.

— Откуда это у вас? — спросил я, когда хозяйка вернулась с чаем и пирожными на подносе.

— Что, карты? — хитро глянула та. — Сколько уже раз говорила ему, чтобы бросил эти азартные игры, ничего хорошего из этого не получится, честное слово, пан Бенек, дорогой, не могли бы вы его как-нибудь уговорить, вы же такой разумный молодой человек, а Фредерик, Боже мой, если бы он в своего святой памяти *фатера* уродился, так нет же, это, видимо, от бабки Горации у него, доброе сердце, но какой же пустоголовый — как видит, что никто за ним не присматривает, тут же слушает, что ему черт нашептывает...

Откуда она взяла эту колоду? Наверное, нашла в вещах сына — именно сегодня? Или уже ждала с ней — но чего?

Я спрятал карты в кармане кожуха; потом вытащил бумажник, отсчитал двадцать

рублей, подумав, прибавил еще пятерку.

— Пани Мария, это я Фредеку должен, не были бы вы столь добры и передали ему, когда он зайдет в следующий раз? Я выезжаю на пару недель, так что не беспокойтесь, что я не...

— Убегаете на солнышко, в деревню, так, пан Бенек? — Хозяйка отмерила из баночки ложечку меда. — Совершенно не удивительно, доктор мне тоже говорил, что это нехорошо для моего здоровья, и чтобы я переехала из Варшавы, но куда мне переезжать, да и стоит ли, мне и так уже немного жизни осталось, но вы, молодые, и вправду, семестр в университете уже закончился?

— Зимой в Императорском каникулы. Пани Мария...

— Так куда же вы едете?

Я стиснул зубы.

— Отца проведать.

Хозяйка, смутившись, заморгала.

— А разве вы не говорили, что вашего отца уже нет?

— Да нет же, ничего подобного. Жив. Еще. Наверное.

— Ах.

Она внимательно приглядывалась ко мне, склонив костистую голову в черном чепце, с наполненной медом ложечкой, наполовину поднятой к сжатым в задумчивости губам. Теперь мне следовало развернуться и уйти — сбегать — несмотря на все ее просьбы и уговоры. Но она как раз молчала — глядела на меня широко открытыми глазами, как будто бы ожидая от меня какого-нибудь-знака — висящая в воздухе ладонь дрожала все выразительней.

Наконец, она отложила ложечку и громко причмокнула.

— Но чего же ты так боишься, сынок?

Я неуверенно усмехнулся.

— Иди-ка, иди-ка сюда, — кивнула пани Мария, — я же тебя не съем.

Она схватила меня за руку.

— Покажи.

Ей удалось только лишь выпрямить мне пальцы и покачать головой над обгрызенными до крови ногтями; перед тем, как она обернула мою ладонь внутренней частью вверх, я вырвался.

— Все равно, так я тебя не отпущу, — прошипела старушка, поднимаясь. — Хочешь, чтобы я разволновалась и умерла? Фредерик мне тоже ничего не говорит, вы никогда ничего не говорите. Если бы Винсенты, да смилуется Господь над его душой, послушал меня тогда и не пошел на Прагу...

— Нет у меня времени на эти пасьянсы!

— Ш-ш, детка, сейчас все быстренько выясним — выясним, объясним, просветим — сейчас увидим, *lux in tenebris* ^[22], давай же, давай, уже все делаю.

Что-то напевая под носом, пани Мария вынула из буфета баночку с черным огарком, убрала со стола поднос с чашками и блюдами, корзинку с засушенными цветами, вязание и спицы, а так же свернутые рубли, поправила кружевную скатерть и переставила лампу на приземистый комод, в котором за покрытыми орнаментами дверцами скрывалась сломанная музыкальная шкатулка. Вынув огарок, она выставила его посреди стола на перевернутой крышечке банки. Затем взяла меня за руку, за рукав кожуха и энергично потащила напротив окна. — Вот тут, — сообщила она, поставив меня где-то в метре от стены, покрытой выцветшими обоями с узором из камышей и цапель. — И, пожалуйста, не двигайся, ну, очень прошу. — Я буркнул что-то в знак согласия. Так я и стоял там, сунув руки в карманы расстегнутого кожуха, с ногой, уже готовой сделать шаг к двери. Хозяйка вернулась к столу.

Послунив кончики пальцев, она свернула между ними черный фитиль тьвечки, еще немного свернула, выпрямила и прямо заурчала от удовольствия. Она радовалась на все сто, здесь не было ни малейших сомнений, ради таких моментов старушка и жила. Пани Мария поднесла спичку к фитилю. Я видел ее с боку, склоненную над столом из красного дерева, как она осторожненько приближается к тьвечке сверху, пламя чуть ли не лизало ее пальцы. Раздался тихий треск, словно бы переломалась тонкая косточка, или же ремень ударил по дереву, и огонь перескочил на тьвечку, в одно мгновение меняя цвет. Комнату заполнила яркая тьма. Дрожащий тьвет ^[23]наполз на свет, заглатывая густой тенью круглый стол, сгорбившуюся над ним Марию Вельц, амбирные стулья, музыкальный ящик, оправленный в золото образ девы Марии с Иисусом, старый буфет, фотографию покойного инженера, сервиз берлинского фарфора, дюжину глиняных горшочков на низенькой жардиньерке, граммофон с треснувшей трубой, занавески и папоротник под окном. Тьвет, явно, вытек и дальше, за окно — над улицей Холодной должно было сделаться темнее, и если кто-то из прохожих поднял голову, то на третьем этаже доходного дома, между освещенными золотистым светом окнами увидел бы одно окно смолисто-черное. Зато здесь, внутри, границы мрака определялись предметами, находящимися на пути тьвета — отбрасываемые ими светени накладывали геометрические пятна сияния: под столом, в углу, за шкафом, за пани Вельц. Когда она пошевелилась, сдвинулась и ее яркая светень. Но тьвет не был просто лишь противоположностью света, он не отекал помех по прямым линиям, а сами границы мрака и светени не оставались неизменными. Шкаф не двигался, тьвечка не меняла положения, но прямоугольник сияния на обоях за боковой стенкой предмета мебели то сжимался, то раздувался; линия между светом и тьмой выгибалась эллипсоидально, то наружу, то вовнутрь, из верхнего угла светени ежесекундно вырастало конусное продолжение сияния, распространяющееся до самого потолка, чтобы тут же свернуться в само себя и вонзиться искривленным клыком в глубину светени... Горячее трепетание света и тьвета не задерживалось ни на секунду. — Стой. — Я стоял на месте. Пани Мария, бормоча молитвы Богоматери, обошла стол и скрылась в сиянии в углу за шкафом. Оттуда она могла прекрасно видеть танцующую на обоях у меня за спиной светень. Я инстинктивно хотел оглянуться через плечо, считать форму света, отбрасываемого на стену. — Стой! — Я замер. Вынужденный теперь глядеть прямо перед собой, я неосторожно глянул в черное пламя тьвечки, и на длительное время ослеп, жирная смола залила мне глаза. Я стиснул веки. Пани Мария все так же продолжала бормотать себе под нос, слова сливались в мелодичное урчание. Какие же это картины высвечивал я на выцветшей бумаге с цаплями в болотах? В день святого Андрея льют воск через ключи, полученные формы тоже ничего не означают, так, детские гадания, забава, предрассудок. — А теперь думай о нем. — Что? — Об отце. Думай! Призови его, чтобы он появился у тебя перед глазами! — Меня прямо заело. Я развернулся на месте, лицом к своей светени, и открыл глаза. Силуэт холодного огня распростер передо мной руки, в колючей короне искр, на запутанных корнях молний, словно в викторианском платье, сшитом из электрических нитей, с длинной шпилькой, вонзенной под себя. Перепуганный, я отшатнулся. — Погасите это! — Пани Мария помчалась к столу и накрыла тьвечку ладонью, гася угольное пламя. В комнату вернулся свет лампы и серое сияние зимне-июльского вечера за окном.

Я тер глаза, ослепленные дважды — мраком и светом — уверенный, что под веками зрачки еще пульсируют болотными огоньками тьвета.

Вдова Вельц напоила меня горячим чаем, пододвинула пирожные.

— Никто не может сам себе гадать по тьвечке, пан Бенек, не нужно было. Что вы там увидели?

— Меня отменнослепило.

— Ой, нехорошо, нехорошо. А пан уверен, что его отец жив?

— А что?

— Да ничего, ничего, надеюсь, что он жив и здоров, прошу меня простить, я не хотела вас пугать...

— Пугать? — сухо рассмеялся я. — Чем же?

В первый раз за сегодня она избегала глядеть на меня. Пани Мария спрятала тмечку в банку, закрутила крышку, банку поставила на полку в шкафу и закрыла его на ключ. Двигалась она со свойственной для пожилых людей преувеличенной осторожностью, как будто бы каждое движение вначале нужно было продумать, запланировать и только лишь затем исполнить.

Редкими были те моменты — как этот, например — когда выражение радости покидало ее лицо, тогда на тонкой коже проявлялись все морщины, под подбородком и горлом появлялись птичьи складки, веки опадали.

— Когда Фредерик приходит ко мне, я ему тоже, как могу, гадаю. Стараюсь забыть, а раз забыть не могу, пытаюсь отвратить судьбу — предостеречь его, чтобы он судьбы избежал. Мне знаком свет смерти, ту светень, которую он отбрасывает, это его рок, предназначение — я ему говорю, только он не слушает меня, может вас послушает, вы приглядите за ним, пан Бенек, прошу вас — если еще и он погибнет, как показывает тьвет — неожиданно, молодо и трагически, в гневе — если еще и он погибнет, даже и не знаю, что тогда делать.

Пани Мария осторожно присела на стуле, сгорбившись чуть ли не вполовину, трясущейся рукой поднесла к лицу батистовый платок.

— А теперь пан уезжает, и тоже — тоже — я же знаю подобный свет! — кто за вами будет приглядывать?

С каждым словом, она все сильнее сжималась на этом своем стуле, более бессильная, хрупкая, несчастная; все больше она походила теперь на маленькую, потерянную девочку — под миллионом морщинок, в темном траурном одеянии.

— Я буду молиться за вас каждый день. Пан Бенек... Уходите уже.

Об иллюзиях инея

На Железной из разбитой телеги вылились нечистоты, теперь они замерзали на мостовой, на тротуаре. Обращая внимание на каждый шаг, я шел вдоль стены. Тут из-за угла, с Цегляной неожиданно выскочила группа пьяных рабочих, я чуть не упал. Меня тут же добродушно обругали и поплыли в своем направлении. Из забегаловок, харчевен, малин и дешевых пивных им вторили отголоски хриплых песен, пьяные выкрики, из доходных домов доносились звуки мандолины и гармошки. В самой глубине Железной, где над снегом горели огни в угольных корзинах, избиваемый металл гудел треснувшим колоколом. Трамваи, во всяком случае — летом, должны были курсировать нормально, тем временем, рельсы обмерзали твердым льдом, достаточно было одного прохода люта, чтобы самая лучшая сталь начинала крошиться словно мел. В связи с этим, президент ^[24]Миллер принял решение о замене всех рельсов зимназовыми, с Сибирхожето был подписан миллионный контракт, и теперь, днем и ночью, над улицами Варшавы разносились удары молотов. Я проходил мимо групп работающих мужчин, несмотря на мороз, раздетых до рубаш. Нужно было заменить и всю контактную сеть. Снова на улицы возвращались конки. С тех пор, как люты прошли через Повисле, чтобы угнездиться на Лещинской рядом с электростанцией, *Compagnie d'Electricite*

de Varsovie ^[25] постоянно переживала неприятности, пару раз она была близка к банкротству; а варшавское отделение «Электрического Общества Шуккерт и Компания» регулярно выплачивало городу лицензионные штрафы, когда освещение раз за разом отказывалось повиноваться, и целые кварталы оставались в темноте. Именно западный городской округ так и оставался слабо электрифицированным. Опершись на газовый фонарь, городской курил трубку, забивая смрад продуктов промышленного горения. Из кухонь, прачечных, из глубоких канав и темных дворов так же поступали резкие запахи, никак не подавляемые низкой температурой. Эту округу я попытался пересечь как можно скорее. Где-то за мной другой прохожий встретился с веселой компашкой пролетариев; раздались возгласы на русском языке, вначале наполненные возмущением, затем — страхом. Я же и не глянул. Снег перестал падать; все горизонтальные и наклонные плоскости были покрыты слоем чистой белизны, хрустально искрящейся в газовых и электрических огнях метрополии — в такие моменты Варшава по-настоящему красива: когда она менее похожа на истинную Варшаву, а скорее — на открытку из Варшавы.

Я жил в этом городе, только город жил вне меня. Наши кровеносные системы не соединялись, наши мысли не пересекались. Вот так живут рядом друг с другом, на себе — жертвы и паразиты. Но кто здесь на ком паразитирует? Определенное указание может дать поведение лютов: они гнездятся в самых крупных людских скоплениях.

Возле Калиского вокзала я купил хлеб, колбасу, баночку жура ^[26] и сушеные сливы. Вчера еще нищенствующий по кафешкам — сегодня чуть ли не богач; еще вчера один из варшавских вечных студентов, с перспективой очередной тысячи вечеров, проведенных над водкой, папиросами и картами, по пути к ранней старости, увенчанной более или менее романтической смертью от туберкулеза или сифилиса — а сегодня... кто? А ведь уже более года, со смерти матери, я только и ждал оказии, ждал денег — чтобы сбежать. Прочь из этого города, прочь от этих людей, прочь от самого себя в этом городе. Каким же благословением являются для нас незнакомые люди: скажу им, что я невинный молодой преподаватель математики, которого гнетут русификаторы из конгресса, и таким для них и буду, и тут же таковым сделаюсь для самого себя; Бенедикт Герославский сползет с меня словно кожа со змеи во время линьки — ибо только так мы можем возродиться еще при этой жизни, заново родиться в этом мире; какое же это благословение — незнакомые, чужие люди!

Итак, Мыс Доброй Надежды, Антиподы, Западная Индия, может, Константинополь. Тысяча рублей — хватит.

Копчености тут же вынюхал ничейный пес, который облаивал меня от водопроводной станции до самых Артиллерийских Казарм. А под самыми воротами ко мне пристал какой-то чахоточный том в железнодорожной фуражке; я вырвался, пряча покупки за пазухой. Туберкулезник, хрипло кашляя, размахивал какой-то бумагой. Я уже хотел было крикнуть дворника Валенты, когда незнакомец успокоился; прижимая ладонь к груди, он быстро и неглубоко дышал, ритмично кивая головой, как будто и вправду заглатывал воздух, пар выходил у него изо рта мелкими порциями. Только тогда я заметил, что у него нет левого уха, под фуражкой был виден багровый шрам и опухший участок тела. Скорее всего, он его отморозил.

— Пан Бенедикт Геероссславссский, — засвиристел он.

— Мое почтение, — буркнул я, — продвигаясь под сеточкой к воротам.

— Ссын Филиппа. У нас к вам просьба.

— Пардон, только-только пропил последние копейки. Пропусти, пан, а то, черт подери, дворника позову!

Он сунул мне в карман кожуха ту самую бумагу — заклеенный конверт.

— Пан передасст ему, он будет знать.

— Что? — я выбросил конверт на снег. — Уматывай отсюда!

Чахоточный укоризненно глянул на меня. Поднял конверт, отряхнул его, вытер рукавом.

— Думаете, мы не знаем, что, происходит на Медовой? Чиновники говорят. — Он снова закашлялся. — Бери!

Крикнуть? Убежать? Трахнуть его банкой по лбу?

Очень осторожно я взял конверт рукой в рукавице.

— Если только это какие-то проклятые пилсудчиковские...

— Не пугайссся, сынок. Так, несколько словечек от друзей из ссстрельцов...

— Что, у вас нет своих людей в Сибири?

— Это уже пять лет, как нашшиши люди с ним виделись.

Я пожал плечами.

— Ну что же. Если вам так нужно, отправьте туда с письмом нарочного.

Одноухий ничего не ответил — я глянул, отвел глаза — и только тут до меня дошло, что пепеэсовцам ^[27] и пилсудчикам отец нужен по тем же самым причинам, что и царским.

Я огляделся по улице; ночь только начиналась, по тротуарам все еще пробегали пешеходы, по заледеневшей мостовой проезжали сани и телеги. Я отступил к затененным воротам.

— Зима за мной следит.

— Уже нет.

Я отступал до тех пор, пока не вошел в первый внутренний дворик дома. Маленький чахоточник остался перед воротами — худенькая фигурка в полукруглой раме темного проезда. Он глядел на меня из-под кривого козырька фуражки, сунув руки в карманы длинного пальто.

— Передай. Он будет знать.

— А может ты агент охраны!

— Ну, не пугайссся.

Потом он натянул фуражку на отсутствующее ухо и ушел.

Зыга еще не вернулся. Я погрыз колбасы с хлебом, запивая холодным журом. Конверт был заброшен на кучу книг, прямоугольник чисто-белого цвета притягивал взгляд. Сам же я спустился к Бернатовой, купил ведро угля и разжег печку. Частично убрав со стола беспорядок, я открыл папку Альфреда — но тут же мне вспомнилось незаконченное письмо к панне Юлии, я обнаружил его вложенным в последний номер «Mathesis». Так, теперь ее нужно будет убедить в чем-нибудь совершенно противоположном... Я подышал на ручку, смочил перо в теплой слюне. *И забудьте, что я тут написал выше. За это время произошли события, делающие невозможным исполнение наших планов до конца, как мы их задумали. Я выезжаю, и меня не будет в Королевстве с месяц, а то и больше. Мой отец, которого вы не знаете, хотя, как подсказывает мне память, панна встречала его раз или два, когда мы были еще детьми...* Вилькувка, одна тысяча девятьсот пятый или шестой год, ранняя весна, зелень свежих трав и леденистая утренняя роса на яблонях в саду, белые облака на небе и гладкие ломти земли, земли настолько черной, что прямо фиолетовой; весна, и на рассвете расчирикавшиеся птицы за окнами, молоденькие паучки в трещинах деревянных стен, в воздухе запах свежего масла и свежего навоза, когда коровы выходят из хлева; и что еще: запах детства, когда я просыпаюсь с горячим солнцем на губах, под чистым льняным полотном, на гусиных перьях, а двор уже трещит, скрипит и постанывает, и стреляют старые доски под ногами Греты, когда та поднимается к нам на второй этаж, чтобы разбудить детей и проследить за утренней молитвой, а за окном — дынь-дзынь, колодезная цепь, кудах-тах-

тах-га-га-га, утки, куры и гуси, а временами — короткий лай пса, покрякивания батраков, стук копыт и скрип повозки, когда приезжают гости.

...Приехали двоюродные родичи Тржцинские и дядя Богаш, и родственники матери из Западной Пруссии, и множество народу, которого никогда я раньше не встречал, пока поместье не превратилось в чужой дом, заполненный посторонними людьми, незнакомыми голосами, где все было одинаково и хозяевами, и гостями. В большом доме и домике лесника крутились целые семьи, с детьми, слугами, собаками и детьми слуг. Поначалу все это было таким возбуждающим — чтобы увидеть что-то новенькое, обычно необходимо ездить на ярмарки, в город, а тут новое приезжало к нам; люди, которых мы не знали, одежды, которых не видели, язык, который не слышали — ни польский, ни немецкий, ни французский или же латынь; как-то раз в грохоте и вонии под поместье подъехал автомобиль — это уже был праздник, мы с благоговением гладили блестящую *carrosserie* [\[28\]](#); Андруха прогонял нас, крича с крыльца... Но через пару дней это уже наскучило, победила усталость от постоянного напора развлечений; я уже не различал родственников, не считал гостей — то ли они только что приехали, то ли возвращались с прогулки на озеро; я валялся на самом верху сеновала, поглядывая на двор через дырку от сучка, и засыпая так в прохладном сене, пока под лестницей не появлялась мать, которая всегда знала, где мы находимся, и это уже было время мыть руки и садиться ужинать.

...На неделю-две с родственниками приехала и Юлька; мы даже игрались вместе. Не помню, как она тогда выглядела; сама говорит, что была тогда неуклюжим ребенком — зато помню, что пани Алисия всегда исполняла ее даже самые мелкие капризы. Помню, как спрашивал я у матери, не могла бы Юлька остаться с нами подольше — насколько легче стали бы уроки, если бы гувернантка хоть отчасти прислушивалась к нашим просьбам. Повидимому, мать сохранила это в памяти как доказательство моей к Юльке симпатии.

...Эмилька тогда еще была жива, она таскалась за нами повсюду, а за ней ходила хромая такса Мигалка — они останавливались подальше и присматривались к нашим забавам огромными, влажными глазами. Сад, в особенности, годился для игр в прятки, в индейцев и ковбоев, в войнушку. Нас гонял только сгорбленный до земли татарин Учай, который всякий день обходил рощи, обнимая стволы деревьев и лаская гибкие веточки, только-только появившиеся листочки. Старшие дети, дети приезжих жестоко передразнивали его. Он грозил им березовой палкой. Для Эмильки у него в кармане всегда были конфеты-тянучки; Юлька это подсмотрела и тут же начала подлизываться и ласкаться, строить голубенькие глазки и покусывать косички — пока старик ее не прогнал. Она целый день потом дулась.

...Отец появился лишь тогда, когда совещания рода уже шли к концу, когда часть гостей уже вернулась к себе домой. Склонившись над кроватью — тень в лунном свете — как-то вечером он шепнул мне: «Болек, я приехал!» — и помню, что целую ночь потом я не мог заснуть, лежал с широко раскрытыми глазами, вслушиваясь в протяжное дыхание дома и шепот ночных насекомых. Отец приехал! Увидел я его утром, гневно кричащего на собравшихся в салоне родичей; мы подглядывали через окно, пока мать нас не прогнала. Не помню уже, что я помнил ранее — то ли отец отличался от представления об отце, или же он слился с ним в одно в моей памяти, так что никакие другие черты уже не могли его изменить, в сорочке или сюртуке, с бородой или без нее, кричащий или смеющийся, здоровый или болезненный, тот или иной — Отец. Поскольку мы видели его так редко, раз в несколько месяцев, насколько же сильнее я должен был помнить свое представление о нем. Если бы он не появлялся вообще, лишенный тела, голоса, лица и черт характера, был бы он менее правдивым? Существование вовсе не является обязательным атрибутом хорошего отца.

...Перед обедом мы еще все вышли в сад, там разделились на группки, внутрисемейные

фракции, которые постепенно разошлись среди деревьев. Мы, дети, естественно, понятия не имели, о чем взрослые так заядло спорят. Хватало и угроз кулаками, вздымания рук к небу, упоминания имени Господня всуе и даже рукоприкладств, когда то один, то другой насккивал на оппонента, настолько неспешно, чтобы другие усатые и бородатые дядья могли схватить и остановить сжатую в кулак десницу. Они расходились и сходились. Грета и Михалкова приносили из дома холодное молоко и лимонад, охлажденное в колодце пиво и и саму колодезную воду. Потом родичи прохаживались среди деревьев с кружками и стаканами, и даже фарфоровыми чашками, когда другой посуды уже не хватало.

...Я прятался за яблонями, выглядывая из-за стволов и веток — и подглядывал за ними, подслушивал, индеец в белых башмачках и соломенной шляпке, ковбой с гладко прилизанным проборчиком. Это тоже было игрой: я хихикал под нос, перебегая от яблони к яблоне. Засмотревшись на жестикулирующего трубкой отца, я чуть не столкнулся с Учаем. Тот хотел схватить меня за воротник, я удрал, теряя шляпу — но убежал не в ту сторону. — Чьи это короеды! — не сдержался отец. — Даже здесь покоя нет! — Собственного сына не узнаешь? — Боек? — Бенедикт, — хрипло поправил его старый Учай. — Ну да, так, — буркнул отец, усмехнулся и взъерошил мне волосы. Я поднял голову, широко улыбаясь в ответ. Но отец глядел уже куда-то надо мной, на дядю Богаша, который что-то спорил про цены на землю, аренду в Варшаве, и что так было бы лучше для всей семьи, и что все не могут страдать по причине одного *aufbrausend Dummkopf* [\[29\]](#). — Не мешай папе, — оттащила меня мать. Я послушно встал возле Эмильки. — Боек! — хихикала малышка, показывая на меня пальцем. — Боек! — Веселящаяся такса тоже вывалила длинный язык. Пнуть эту дурную псину! Оборвать у Эмилии ее золотистые кудряшки! Толкнуть ее в навозную яму! Придушить! А если этого сделать нельзя — сбежать отсюда, пока весь не сделаюсь красным, пока не расплачусь. А если нельзя — Боек! — смеялся я вместе с сестричкой. — Боек! — смеялись мы — над чем? Я уже не мог удержаться, принцип стыда был сильнее злости, сильнее, чем...

— А вот хлеб на пол бросать было не нужно!

Еще сонный, я начал вылезать из-за стола. Последний листок письма приклеился к щеке; я дернулся — тот спланировал на пол, где Зыга, привстав на колени, отрепывал от грязи половину буханки.

Я громко зевнул.

— Выхожу — тебя нет; прихожу — тебя нет; вчера ужрался с нами в качель, а сегодня снова утрений пташек, ууу, прямо глядеть противно.

Зыгмунт положил хлеб на свежую газету, понюхал длинную палку колбасы, поднял бровь.

— Выпустили тебя, ха.

— Уже успел наслушаться.

— А как же. Ты только погляди, половина Цитадели за тобой сюда приехала, потащили в кандалах прямиком в Десятку [\[30\]](#).

Я нашел чистый листок, починил ножом карандаш.

— Я запишу тебе фамилии и суммы. Дашь только им, никому больше, пускай хоть на стену лезут; и только это, ни копейки больше. И чтобы давали расписки, обязательно. Ага, и ты понятия не имеешь, когда я возвращаюсь.

— А когда ты возвращаешься?

Я вынул бумажник, пересчитал банкноты.

Зыга сбросил верхний кожух, крепче перевязал фуксовскую бекешу и уже было собрался идти на кухню Бернатовой вскипятить воды — но, увидав деньги, притормозил,

закурил папиросу, подкрутил ус.

— Не думал я, что у тебя такие щедрые знакомые.

— О процентах уже не спрашиваешь?

— Ну, у таких мягкодухих шейлоков. Ладно, выкладывай.

Я рассказал ему про отца и про предложение Министерства Зимы.

Приятель дернул себя за бороду так, что на глаза выступили слезы.

— И ты туда едешь?

Я пожал плечами.

— *Тыща рубликов*, опять же, папочке любимому в ножки упасть...

— Если бы я тебя не знал, то, может, и поверил бы. — Зыга стряхнул пепел на старые свечки. — Это *деньги* для евреев — а вот за квартиру что-нибудь оставишь? Или мне искать другого студента в поднаем? Ты вообще собираешься возвращаться из этой своей Сибири?

— А что?

— Ой, что-то в глазах твоих не вижу уверенности.

— Ладно, не стони. — Я отсчитал еще шестнадцать рублей. — Держи, заплатишь авансом. Если что, дам телеграмму.

Приятель придвинулся ко мне.

— Бенек, тебя чем-то шантажируют?

Я усмехнулся.

— Скажем, нехорошие предчувствия.

Он покачал головой.

— Нехорошие предчувствия! Ты сам себе не признаешься в очевидном, так что остается? Предчувствия. Ты же прекрасно знаешь, в чем тут речь. Тобой хотят воспользоваться против него, видно, других способов у них нет. У людей, которых судили в четырнадцатом-пятнадцатом годах, будут заканчиваться сроки, и было бы лучше придержать их там, в ссылке. Провокация какая-нибудь, подброшенное письмецо с планами заговора, бомбочка в багаже... Ты же помнишь дело капустных эсеров? Ты во что лезешь, Бенек?

— Медовая говорит, что речь идет про лютов.

— И ты в это веришь?

— Сливку хочешь?

Последний раз он дернул себя за бороду и отправился ставить воду.

Я вытащил из под кровати старый саквояж. Отделение Зимы из Иркутска приобрело мне место в вагоне первого класса, такой билет стоит чуть ли не триста рублей; я подумывал, а не обменять ли его на более дешевый, чтобы заработать на разнице. Нужно будет порасспрашивать в Москве. Так или иначе, но комиссар Пресс был прав: необходимо прикупить себе какую-нибудь порядочную одежду, так что в данный момент мне нечего было особо и укладывать. Из-под той же кровати я вытащил кожаные полуботинки. Когда я ходил в них последний раз? Коричневая кожа отсырела и поросла какой-то плесенью или мхом... Опять же, необходимо купить что-нибудь, пригодное для настоящей зимы. Оно, вроде бы и лето, но, с другой стороны — Сибирь, и с третьей стороны — Лед. Как все оно, собственно выглядит? Мир лютов. Нужно было порасспрашивать на Медовой...

Хлопнула дверь.

— Зыга, ты наверняка чего-нибудь слышал на факультете...

— А?...

— Про лютов. Что говорят профессора?

— На какую тему?

— Нууу, как это живет.

— Не живет.

— Что?

— Не может жить, это такой мороз, что там ничего жить не может, в живых организмах прекращается какое-либо движение.

— Но ведь они же движутся...

— И что с того? Движение, изменение — о чем это должно решать? — Зыга залил кипятком старую заварку, ухватил горячую кружку, зашипел. — Вот погляди, как иней нарастает на окна.

— Ну?

— Посмотри на иней. — Он сделал жест головой. — Ведь даже по форме походит на живое растение.

— Именно это природоведы говорят про лютов?

Приятель пожал плечами.

— Не знаю. Должны были состояться лекции Бондарчука из Санкт-Петербурга, но отменили. Домыслы ходят разные. Иногда слышу одно, иногда другое. Сибирские компании и царь щедро отсыплют на исследования; *Сибирское Холод-Железопромышленное Товарищество* учредило в Петербургском Технологическом Институте кафедру Льда, люди из Императорского и Львовского университетов ездят туда; рано или поздно что-нибудь да выяснится.

— Если это вообще можно выяснить исследованиями.

— Что?

Я оторвал взгляд от оконного стекла.

— Вопрос существования.

Зыгмунт лишь фыркнул.

— Да иди ты! Я обыкновенный фельдшер. Сложить сломанную ногу — сложу, но вот существует ли эта нога — *эта проблема требует других дохтуров*.

Так я и знал, что он натянет эту маску. «Я вам простой фельдшер». Сейчас начнет тут разводить словно простой, неграмотный мужик, зад начнет чесать. Стыд управляет нами различными способами; сейчас я уже вижу его, куда не гляну. Я отвернулся от Зыги, делая вид, будто его не замечаю, и склонился над саквояжем. Не смотрю, не слушаю, не помню. Это единственный способ.

Отец Зыгмунта родился в доме угольщиков, дед Зыгмунта кланялся в пояс моему деду, целовал руки господам и просил милостыню на господском дворе. Если бы я спросил у Зыги, назвал бы он это стыдом? Наверняка, нет — на языке второго рода подобные проявления мы должны называть по-другому: это гнев, зависть, ненависть, презрение, вот это сочувствие, а это — дружба.

Никто не называл бы этого стыдом. Но я знаю, я же вижу. Его забота обо мне, как он встревожился и начал выпытывать, не шантажируют ли меня, не провокация ли все это, эта грубоватая сердечность, как будто бы мы были близки с самого детства, а ведь вдвоем мы живем под этой крышей всего второй год, даже не очень часто видимся; но он всегда беспокоится моими проблемами и вот сейчас тоже желает помочь... Откровенно ли? Да нет же, совершенно естественно! И кому бы я мог доверить эту кучу денег; я же уверен, что себе он не возьмет ни копейки. Только ему, только Зыге — никогда у меня не было и не могло быть лучшего приятеля.

Эта дружба с его стороны без каких-либо сомнений правдивая — возведенная на каменных фундаментах принципа стыда.

Зыгмунт отправился спать, я же перенес лампу на стол, смел на пол крошки и вытащил из

под завалов газет и жирных бумажек две толстые папки, перевязанные шпагатом. Помогая себе кривозубой вилкой, я развязал узлы. Этих папок я не раскрывал еще с Пасхи. Может лучше сразу же бросить их в печку? Я поднес к глазам первую страницу. *В настоящей работе мы пытаемся показать, что не являются верными не только логические взгляды на правду и ложь, следующие из размышлений древних, но что не верны и их новые формулировки.* Мы показали, что наши тоже мало чего стоят. Кочергой я приоткрыл дверцу печи и бросил тетрадь в огонь. Вторая тетрадь — ее я узнал по кляксе на обложке — была черновиком моей незавершенной полемики с Котарбиньским; про себя я называл его «Книгой Мертвых». *Верно ли утверждение, будто бы «позиция покойника настолько сильна, что изъять его из прошлого люди не могут, даже если бы все о нем сознательно забыли»?* Так в каком же смысле «существует» то, что уже не существует? Все ли утверждения о прошлом необходимым образом истинны или лживы? Где-то здесь должны быть еще и заметки Альфреда к его версии. Быть может, что-то из этого еще пригодно для публикации. Ладно, во всяком случае, будет чем заняться в поездке.

Все-таки, Альфред прав: мы потеряли к этому интерес, я потерял. Чувствую, что до сих пор здесь где-то сидит гнильца — все эти логики порочны, а мы, а я вижу это тем более ясно, поскольку уже освободился от старых схем. Но, вместе с тем, я не могу указать лучшее решение, которое могло бы защитить себя в рамках математики. И что мне остается: предчувствия, летучие ассоциации, образные впечатления — как то все время возвращающееся воспоминание о люте, висящем над огнем в самом центре города. А еще интуиция, которую даже таким образом — картиной, словом — я описать не могу: знание, построенное на языке первого рода, навсегда замкнутое в моем сердце.

Зыга бормотал что-то сквозь сон (иногда он вел с сонными кошмарами длиннейшие разговоры), отдельные слова разобрать было невозможно, но интонация была явной: изумление, страх, раздражение. Я закрыл дверцы печи. Трубочист совсем недавно пробивал трубы для тяги, тем не менее, дым лез в глаза и горло, утром стена и потолок над форточкой снова будут черно-серыми от дыма. Сосед снизу вернулся домой со смены на водопроводной станции, я сразу же узнал его хриплый запев, с которым он ругал тещу и все ее семейство, сейчас к рабочей опере подключится жена. Из-за печки я вытащил тряпки, от которых отказался *ганделес* ^[31], и заткнул ими щель между дверью и порогом — по крайней мере, этим путем мороз ночью не пройдет. Метель за окном разгулялась уже не на шутку, наверняка было градусов десять ниже нуля. Я невольно задрожал, вспомнив замороженного в камень кота. Поначалу температуру лютов пытались измерять ртутными термометрами — но градусов не хватало. А зимовники, по правде, к лютам не прикасаются. Мартыновцы могут заявлять все, что им хочется — если правда то, о чем говорил Коржиньский — но ведь человек остается человеком, он должен дышать, кровь должна кружить по телу, мышцы должны работать. Я поднял стекло керосиновой лампы и прикурил папиросу от синего пламени. Ну как, черт подери, можно *разговаривать* с лютами? Точно так же я мог бы вести диалоги с геологической формацией. Точно так же я мог бы беседовать с математическим уравнением. Я затынулся, откашлялся. *Движение, перемена — о чем это должно решать?*

Глянуть на иней на стекле, на эти псевдоцветы, зарастающие его от рамы к середине... Есть только мороз, давление внешних условий; под ним влага проявляется в той или иной форме. Если бы иней принимал еще более сложные формы, если бы скорее реагировал на изменение внешних условий, если бы в его сложных узорах показывались бы более глубокие истины — разве тогда посчитали бы мы его независимым, сознательным существом?

Тогда почему же мы про лютов говорим: «они»?

Почему о себе я говорю: «я»?

Насколько сильнее, насколько реальнее существую я по сравнению с нарисованным на оконном стекле папоротником из инея? Только лишь потому, что я могу сам себя охватить мыслями? И что с того? Способность к самообману это только еще один выкрутас в форме льда, замороженное барочное украшение.

Так вот и рождается иллюзия бытия: навязанный неизвестными законами образец организует случайные элементы, к нему примерзают следующие, в обоих направлениях, в прошлое и в будущее, все более длинные ветви инея, умножающие ту же самую иллюзорную регулярность: что был, что есть, что буду; что жил, что живу, что буду жить — ледовый цветок-лют-я.

В конце концов, необходимо попробовать освободиться от языка второго рода и высказать истину так, как ее можно высказать. Я не существую. Я-оно [\[32\]](#) не существует. Я этого не думаю. Я здесь не стою, не гляжу через замороженное окно на снежную метель над крышами Варшавы, на воронки белой пыли, всасываемые в ловушки дворов-колодцев, на грязноватые огоньки, поблескивающие сквозь непогоду из окон напротив — не выбрасываю окурки в печь — не натягиваю на себя вязаного свитера, не надеваю второй пары носков, кальсон с начесом, потертого пальто — не собираю со стола пожелтевшие заметки, незаконченное письмо, замечания Тайтельбаума, не перелистываю рукописные и машинописные страницы. Каждое это действие выполняется, и происходит то, что происходит — но ведь это не ледовый цветок пошевелился на стекле, а только мороз усилился. Да, холодает.

Остывает и я-оно, нужно подбросить в печку. Подбрасывает. Прикручивает фитиль лампы. За окном воет ветер, потрескивает черепица. Я-оно мочится в ночной горшок. Прикрывается периной, тремя одеялами. Отогревает дыханием потерявшие чувствительность пальцы. Зыга громко храпит, слышно, как он крутится с бока на бок и чмокает во сне.

Я-оно закрывает глаза, и тогда возвращаются картины, слова и мысли. Румяные лица чиновников Зимы над жесткими воротничками. Лют над керосиновым огнем на перекрестке Маршалковской с Иерусалимскими Аллеями. Комиссар Прейсс с рукой на старинном глобусе: лицо свежее, глазки веселые. Трубным голосом провозглашающий истины неумолимо близящейся революции Мишка Фидельберг. Пан Коржиньский, выплывающий из мрака в облако желтого света; черная культия ладони на альбоме, посвященном льду. Бешенная светень на обоях салончика Марии Вельц. Очертания фигуры безухого пилсудчика — и белый, словно сибирский снег, конверт. Не бойссы. Отец с револьвером в руке, двойное пятнышко крови на чистом пластроне его сорочки, словно красные кавычки, замыкающие в себе крик, выстрел и резню.

Ветер гудит и свищет. По темной комнате шастают прусаки и тараканы.

Ехать? Не ехать?

Если не все пути ведут к абсурду, то, возможно, и нет такого протоптанного, который и не вел бы туда, если ведет по нему некто странный. Некто, находящийся всегда там, где быть ему и не нужно — в момент усталости полнейшей подает он нам руку — когда же мы его ищем, он в нас самих прячется и управляет нашим внимательным взором, — и вот идет он перед нами, незамеченный, и черным пламенем дорогу для нас освещает, — странный проводник, враг, приятель?

II. Через Сибирь

На самом деле, помимо существования и не существования, имеется и третья возможность, точно также, как помимо того, что лампа является живым зверем, и тем, что лампа является зверем неживым, существует третья возможность, конкретно же — что лампа вовсе не зверь. Понятное дело, если лампа — это зверь, то она должна быть либо живым, либо неживым существом в смысле смерти. Точно также и тогда, когда мы говорим о чем-то, будто оно живет, равно как и то, что оно мертво, мы делаем вывод, что это организм. Похожим образом, тогда, когда мы говорим о чем-то, что оно существует, тем самым, утверждая это что-то, а также тогда, когда говорим, что «не существует», когда отрицаем, давая отрицающее мнение — тогда мы в качестве очевидного принимаем определенное условие, общее как для существования, так и для так называемого не существования. Но можно пренебречь и этим условием; говоря, что лампа не является никаким живым или неживым зверем, и заявляя, что лампа никаким зверем не является; говоря при этом, что данный предмет вообще не «является» или же «не является», только здесь «не является» в ином, более широком смысле, и что не существует даже то, что является тем условием, чтобы можно было правильно сказать, будто данный предмет «не является» в первом смысле. Язык этих вещей не различает.

17 марта 1891 года по юлианскому календарю был издан указ царя Александра III, в соответствии с которым было начато строительство железной дороги, идущей от станции Миасс через Челябинск, Петропавловск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Читу, Благовещенск и Хабаровск до Владивостока. 19 мая во Владивостоке, наследник трона, будущий Император Всероссийский Николай II, заложил краеугольный камень железной дороги, известной впоследствии как Великий Сибирский Путь, *Транссибирская Железнодорожная Магистраль*, Транссиб.

В эксплуатацию ее сдавали этапами — точно так же, как продвигалось строительство, ведущееся одновременно от различных станций — в конце концов, присоединяя к линии Москву и Санкт-Петербург; в октябре 1904 года дорога соединяла уже берега Тихого океана и Балтийского моря. Длина Транссиба составляет около десяти тысяч километров. Строительство магистрали стоило государственной казне более полутора миллиардов рублей.

В брошюре истории и подробностям строительства Транссибирской Магистрали было посвящено более десятка страниц, а вот манчжурской проблеме и российско-японским войнам — практически ничего. Кратчайший путь до Владивостока ведет не через Благовещенск и Хабаровск, но через Манчжурию — через Забайкальск, Харбин и Уссурийск. Манчжурия, после захвата японцами Порт Артура и поражения российского флота под Цусимскими островами, в августе 1905 года, по мирному договору, закончившему первую войну, была отдана «в исключительное владение Китая». Но уже в начале второй войны Россия отвоевала ее, концентрируя последующее соперничество вокруг контроля незамерзающих амурских портов и Сахалина, а так же проблемы снабжения Камчатки и северных сибирских трасс; проблема Кореи, Ляодунского полуострова и Порт Артура отошла на второй план. По российско-китайскому трактату 1911 года, Манчжурия официально перешла под владычество царя; российской дипломатии это обошлось в двухмиллионнорублевую взятку для министров Срединной Империи. Только чем были эти миллионы по сравнению с бюджетом строительства Транссиба? И, наконец, вся трасса Магистрали очутилась на территории России.

Последние страницы брошюры, которую находил в своем купе каждый пассажир класса «люкс», занимало описание проекта Кругосветной Железной Дороги, в которую должен был преобразиться Транссиб после обеспечения соединения с линией, идущей с Чукотского полуострова через Берингов пролив на Аляску; тогда Транссиб сделается Трансконтинентальной Железной Дорогой Париж — Нью-Йорк. Концессию на эту железную дорогу получил консорциум Эдварда Гарримана, финансируемый, в основном, инвесторами с Уолл-стрит, и в 1917 году было начато строительство туннеля под Проливом, одновременно: с восточной и с западной стороны. Строительство, само по себе сложное инженерное предприятие, постоянно запаздывало и задерживалось различными внешними факторами: то войной с Японией, то придворными интригами нескольких великих князей, которые — будучи акционерами Лензота — были непосредственно заинтересованы в том, чтобы держать американцев подальше от сибирских богатств, то петициями Думы, где ежечасно звучали претензии после продажи Аляски Соединенным Штатам; и, наконец, по причине более или менее явных саботажных акций конкурентных Гарриману *Societes Anonymes*,

Aktiengesellschaft *en* *Companies Limited* ^[33], которых, во время правления Столыпина и Струве развелось в царской Азии как собак нерезаных — и которые все крепче и глубже срастались с хозяйственным организмом России, и в значительной мере, именно им она была благодарна за улучшающуюся экономическую ситуацию, несмотря на крахи мировых рынков. Единственное, что во времена кризисов не теряет в цене, это как раз драгоценные камни и благородные металлы, и добыча натуральных богатств земли — это самый верный бизнес из всех возможных. Только лишь во время строительства Транссиба было открыто несколько залежей металлических руд и угля. Иностранные геологи поговаривали про скрытые в Западной Сибири месторождения нефти. Экспорт зимназа ежегодно увеличивался на несколько десятков процентов; иркутская башня Сибирхожето была самым высоким зданием в Азии. В декабре 1923 года на бирже в Нью-Йорке за унцию тунгетита платили 446 долларов и 30 центов, что в два раза превышало стоимость унции золота.

Несомненно, в этом было много и царской пропаганды — но из Сибири поступают громадные богатства, о чем, хотя бы, свидетельствовал интерьер вагонов первого класса в Транссибирском Экспрессе, «самом шикарном поезде в мире». Из брошюры можно было узнать, что нынешний состав — это уже третье поколение после истекающего роскошью состава, представленного на Всемирной Выставке в Париже 1900 года — был произведен Санокской Фабрикой Вагонов Л. Зеленовского и Львовской Фабрикой Машин, Котлов и Насосов. То есть, хотя бы вагонные тележки и стальной скелет вышли из под рук польского инженера; интерьеры проектировали россияне, отчасти беря в качестве образца заполненный зеркалами ампирный салон Николая I, в принципе, тоже созданного поляками. Стены над панелями и потолок *атделения* были обиты темно-зеленым адамаском, вышитым золотом и серыми растительными мотивами. Бронзовые элементы — пуговицы, рукоятки, замки, защелки, рамы, оковки, решетки, захваты и крючки — отполировали так, что те сияли в электрическом свете, напоминая, скорее, подвешенные в воздухе капли и кляксы металлической жидкости. Всем предметам были приданы тонкие, хотя и непрактичные формы, иногда настолько сложные, что совершенно маскирующие их действительные функции. Добрую минуту занимало изучение симметрических ручек окна, отлитых в виде рычащих львов с поднятыми хвостами. Так вот, чтобы открыть окно в купе, нужно было дернуть львов за хвосты; а чтобы закрыть — впихнуть металлические языки в пасти животных. Электрические лампы, скрытые за цветастыми абажурами, зажигал настенный крутящийся выключатель — золотое Солнце с толстыми, спиральными лучами. Затем подумало, что выключатель, скорее всего, действительно сделан из чистого золота. Постельное белье было исключительно из легчайшего хлопка и шелков. Пол покрывал толстый ковер цвета ржавчины. *Я-оно* сбросило сапоги и встало на нем в одних носках, затем босиком — ласка для обнаженных стоп. Чувствовалось, как прикосновение, запах и цвета шикарной жизни проникают сквозь кожу, в воздухе и в свете, волна за волной, осаждаясь в мышцах, в крови, в костях — малюсенькими такими молекулами роскоши.

Транссибирский Экспресс покинул Ярославский вокзал в Москве 18 июля, в пятницу, в десять часов вечера, что полностью соответствовало расписанию, напечатанному в *Путеводителе*. В стене, рядом с минисекретером и шкафчиком для одежды, напротив спрятанного за зеркалом умывальника, находился небольшой бар. Едва только поезд разогнался, из приветственной бутылки *я-оно* налило себе очень хорошо охлажденного шампанского. До дна! За Бенедикта Герославского, каким он будет среди тех, кто Бенедикта Герославского не знает! За окнами мелькали тени пригородных застроек, потом поселки и деревни — поезд выехал из московской зимы, совершенно неожиданно окно залил вишневый кармин летнего Солнца, даже послесолнечного зари, потому что само Солнце уже

скрылось за горизонтом, но все равно — в купе огненно осветились все отполированные до глянца штучки, засветились деревянные панели и суконная обивка. Рвануло львиные хвосты, открывая окно, и лето влилось в середину, теплый ветерок надул вышитые занавески и бархатные шторы. Стояло с головой, сунутой в струю этого ветра, под катарактой солнечных румян, с полуприкрытыми глазами и полуоткрытыми губами. Минута, две, и больше, пока не было утрачено чувство времени — осталась только одна мерка: тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-ТУК.

Багажи *я-ононе* распаковывало. Имелось три чемодана и подручная сумка — затасканный саквояж продало в московском ломбарде, точно так же, как кожух и остатки старой одежды, то есть, ту ее небольшую часть, которую там захотели взять. В том же самом ломбарде была куплена модная трость с головкой из слоновой кости в форме дельфина, авторучка Уотермана (золоченый Eyedropper), а так же часы фирмы Uhrenfabrik von J. Rauschenbach с серебряным брелком — и еще, перстень-печатка с гербом Кораб [\[34\]](#) в гелиотропе. Откуда в арбатской залоговой лавке перстень с польским гербом? Но раз уж *я-оно* обнаружило в таком стечении обстоятельств, не купить его было, словно повернуться спиной к любви с первого взгляда. Герославские всегда скрепляли печати гербом Любич, только какая там разница среди тех, которые Герославских не знают? Шляхтич и шляхтич, один черт, лишь бы перстень хорошо на пальце сидел.

Чемоданы были спрятаны в отделения, были вынуты только пижама, халат и туалетные приборы (в классе люкс имелись обширные, снабженные всем необходимым туалетные комнаты). Еще и не стемнело, как в дверь постучал проводник — толстяк с мужицким лицом, в мундире, похожем на казацкий, с золотым шитьем и галунами. Он приветствовал всех новых пассажиров, расспрашивая, может чего нужно, удобны ли для них купе, а ежели чего — к вашим услугам, Ваша Светлость. В его пальцы была сунута трехрублевка. Днем и ночью, *Ваше Благородие!* После этого он принес горячий чай — одним из главных занятий проводника является слежение за огнем под вагонным самоваром. Чай очень даже пригодился: найдя в бумагах конверт безухого пилсудчика, посвистывая и постукивая каблуком в такт, вскрыло его над паром. Бенедикт Герославский сжег бы конверт, не раскрывая — но тот Бенедикт Герославский удалялся с каждым оборотом колес Экспресса, тук-тук-тук-ТУК; про бедняжку Бенека следовало забыть.

В конверте находился единственный, втрое сложенный листок, на котором толстым, жирным машинописным шрифтом в двенадцати рядах были напечатаны бессмысленные последовательности букв.

XROZOJLBEXWABTXVEFIS
AMOKOREWSDXWFCEYTKUY
HVOZLFARJSODLAYTOREE
KJPVORAABTXWBATFBAOG
LJZBKNCGBBKVNYEUTJCF
JCARSXSFBYOKMXDLNGWZ
AHSALREZSXDRJCARYDWH
HJMSPMZPJXCIFYILMWIR
JYRGFLIDARMPFGBYPWLB
UNXUJNWPFAZZUJRLNDXR
VAYLSYRGZKEKAREEАНJL
TI

Ха, они знали, что нельзя довериться курьеру! Любой вскрыл бы конверт — это еще чудо, что выдержало так долго.

И вместе с тем, тут же появляется стеснение и нечто вроде злости — на кого? Вы ожидали бесчестного поведения и, пожалуйста, вы — таки были правы!

Переписав зашифрованное письмо, закусило колпачок авторучки. Как взломать этот шифр? И можно ли вообще его взломать? Математики шифрами не занимаются, это территория лингвистов, специалистов по структуре языка; как правило, с большой охотой в это играют классцисты — латинисты и эллинисты. На чем такой шифр основывается? На подстановке одних букв вместо других, на замене их последовательности, на дописывании букв, только запутывающих их смысл? Возможно, значение имеет расположение знаков на странице, эти одиннадцать строк — посчитало — по двадцать букв и двенадцатая с двумя. Попробовало читать через определенное количество знаков. Попыталось вычеркивать слова по горизонтали, вертикали, наискось, даже ходом шахматного коня. Безрезультатно, бессмыслица нагромождалась на бессмыслицу, xvzafy robllr ozkrig zlnedz...

Ба-бах! Проснулось только после неожиданного толчка; Экспресс резко тормозил, на рельсах пищали заблокированные колеса; письмо, авторучка и *блакнот*, заполненный непроизносимой белибердой, сдвинулись с узкой столешницы секретера. Поглядело на часы. Без десяти два по московскому времени. В соответствии с брошюрой, поезд должен был уже проехать Владимир на Клязьме и покидать пределы Золотого Кольца, но здесь никаких остановок не предусматривалось.

Открыло окно, выглянуло в ночь. Состав стоял в чистом поле, свет исходил только из вагонных окон. Из окна рядом, справа, выглядывала голова пожилого господина в проволочных очках, с недоразвитой лысиной и замечательными усами. Обменялось улыбками

и вежливыми приветствиями. На ломаном русском языке сосед спрашивал, отчего эта неожиданная остановка, может, какая авария случилась. Он представился инженером Уайт-Гесслингом, англичанином, работающим в одной из компаний Сибирхожето. Перешло на немецкий.

— Там дальше, вижу, вроде шоссе, какие-то постройки. Наверняка машинист за водкой выскочил.

— Вы шутите, господин Геросаский... Геросаксонский [\[35\]](#).

— Ну да, конечно.

Экспресс тронулся, постепенно ускоряясь. Сзади остались огни сворачивающего на этом шоссе автомобиля.

— Похоже, к нам кто-то подсел, господин инженер.

— И ради него специально остановили Экспресс? Кто же это, цесаревич?

— Или любимая балерина Распутина.

Пришлось отступить в купе и закрыть окно, ночной ветер сильно бил в глаза.

Кто-то постучал — инженер пришел поболтать. Подняло защелку и открыло дверь. По коридору шел *правадник*, за ним трое господ в темных костюмах, самый пожилой из них — седой, с полным достоинства лицом — как раз надел на нос очки и разбирал вынутые из внутреннего кармана бумаги. Инженер не пришел поболтать — только что он вышел из своего купе, тоже вызванный стуком. Из-под его плеча выглядывала сонная супруга.

— Документы проверяют, — сказала.

— Что, полиция?

— Если не хуже.

Все пассажиры третьего вагона класса «люкс» уже высыпали в коридор. Здесь попеременно располагались купе на одного и на двух: с другой стороны, из четвертого номера, выглянули две женщины, ширококожая матрона с худощавой и болезненно бледненькой девонькой под крылышком; далее за ними представлял свои документы седоватый джентльмен со стеклянным глазом.

— Позволь, дорогая, — инженер Уайт-Гесслинг, несмотря на ночь, пижамы, дезабилье и чрезвычайные обстоятельства, начал формальную презентацию, — Бенедикт, граф Геро-Саксонский.

Закутавшаяся в светлый халат дама протянула руку из-за спины крупного мужа.

— Очень приятно познакомиться, господин граф.

Откуда, черт подери, у него выскочил этот граф? Это слово вообще не прозвучало в нашей беседе через открытые окна. Что это придурошному англичанину в голову стукнуло?

Прежде, чем появилась возможность воспрепятствовать лжи, едва только подняло голову от когтистой ладони госпожи инженерши — подошли полицейские, очень вежливо представились чиновниками по специальным поручениям из *Атделения по ахранению общественнои безапасности и парядка*, седой даже представился: Павел Владимирович Фогель — и попросили предъявить дорожные документы. Фогель говорил по-немецки; на вопрос англичанина относительно причины ночной проверки, уклончиво что-то сказал про террористов — но нет никаких поводов для опасений, все под полнейшим контролем, а за хлопоты просим прощения. Вернулось с бумагами, и этот второй господин, стоящий за Фогелем, только лишь бросил взгляд на штампы, печати и размашистые подписи на документах Министерства Зимы, чуть ли не встал по стойке смирно; возвратив документы с умильной улыбочкой и поклонами, он пожелал спокойной ночи. Инженер, не до конца понимая русский словесный поток, тем более внимательно следил за его поведением. И что теперь, парой слов его уже не убедишь в том, что никакой я ни граф, придется объясняться

утром.

Закрылось в купе. На подклеенном бархатной темнотой оконном стекле мерцал портрет молодого мужчины. Бордовая вечерняя куртка с зелеными обшивками, с белым плетеным шнуром с кисточками, над широкими обшлагами бледное лицо, узкий нос, черные волосы, подрезанные до половины шеи и зачесанные назад от высокого лба, приклеенные к черепу под блестящей помадой, наложенной московским парикмахером, черные усы, спускающиеся к подбородку вдоль широкого рта — когда же подняло руку к гладко выбритой щеке, в отражении еще блеснул массивный гербовый перстень. Глядело в изумлении.

Что за проклятие — мы не знакомы.

О венгерском графе, российских властях, английских сигаретах и американской тени

— Граф Гиеро-Саксонский, позвольте, господин граф: супруги Блютфельд, господин доктор Конешин, мсье Верусс, капитан Привеженский.

Я-онопоклонилось.

— *Je suis enchanté* ^[36].

— Ах, какое общество, господин граф, вы ведь из владений Франца-Фердинанда, так? Официант пододвинул стул. Уселось.

— Дорогая госпожа...

— Вот только акцент мне не сходится, а ухо у меня к этому чуткое, правда, *Herr* Адам? Супруг *Frau* Блютфельд с полным ртом согласно буркнул.

— Позвольте, я сейчас догадаюсь, — продолжила его супруга на том же выдохе, — венгерская кровь по мужской линии, и через прусских предков — связи с польской шляхтой, правда? О, господин граф, не делайте такого удивленного лица, в таких делах я не ошибаюсь — в прошлом году в Мариенбаде по линии рта я распознала виконтессу фон Меран, и она меня так умоляла, чтобы я не компрометировала ее инкогнито, я вам говорю...

— Я не граф.

— Ну, разве я не говорила! Женская интуиция! — Она глядела по сторонам с гордостью, как будто бы весь вагон-ресторан класса люкс восхищался ее генеалогическими познаниями.

— Прошу не опасаться, — театрально шепнула она, склонившись над столом; кружевная накидка зависла над сливками, могучий корсет, украшенный тяжелой брошью грозил раздавить фарфор, — ведь мы никому не раскроем ваш секрет, господин граф. Правда? — Она повела взглядом вдоль стола. — Правда?

Можно ли было питать хоть какую-то иллюзию, что до наступления полудня даже младший помощник машиниста услышит про венгерского графа Гиеро-Саксонского?

Подвязало салфетку под подбородком.

— Предположим, — сказала, чуточку подумав, — но только предположим, что я и вправду никакой не граф, и зовут меня именно так, как указано в бумагах, Герославский, Геро-слав-ский, так себе, обедневший шляхтич — что мог бы я сказать или сделать, чтобы убедить вас в том, что вы ошибетесь?

— Ни-че-го! — триумфально заявила та. — Ничего!

Если не считать этого, завтрак прошел в более или менее оживленной беседе на актуальные политические темы или же касательно мелких светских сплетен (здесь, в основном, главенствовала госпожа Блютфельд). За окнами разогнавшегося Экспресса мигали березовые рощи, яркая зелень над черно-белыми черточками тонких древесных стволов; все

размазано на скорости, словно на полотнах французских импрессионистов: цвета, света, тени, формы — березы в июльском солнце, представление о березовом лесе. Данилов и Буй остались далеко позади, поезд стоял там всего лишь по четверти часа; как только он выехал из Буя, проводники пошли по коридорам вагонов первого класса, стуча в двери купе и напоминая пассажирам о завтраке. Подумалось, а не сунуть ли обслуге пару рублей и попросить, чтобы еду приносили в *отделение*, пускай даже и холодную. Таким образом, не пришлось бы сталкиваться с другими пассажирами; разве что в коридоре, по пути в туалет и обратно. Уже предчувствовалась та спираль стыда: всякий день в заточении еще сильнее затруднял бы выход, нарастали бы страхи и болезненные отвращения — граф Гиеро-Саксонский, свернувшийся в дрожащий клубок за дверью, затравленный зверь, кусает пальцы и прижимает ухо к стенке, чтобы за стуком колес услышать шаги подходящих людей — после недели поездки и вправду можно было бы дойти до такого состояния, ничего необычного здесь не было. То есть, уже в первое утро необходимо было выйти на свет Божий с улыбкой на губах, в белом английском костюме и с задорно торчащей в бутоньерке гвоздикой, свободным шагом направиться в вагон-ресторан, который, собственно, прилегал к третьему пассажирскому вагону первого класса и, не мигнув, принять приглашение к столу инженера Уайт-Гесслинга, с элегантным поклоном, а как же — мои дамы, мои господа, *enchante*.

Беседа велась по-немецки, с более или менее короткими вставками по-французски, когда Жюль Верусс спотыкался на германской грамматике. К тому же, *monsieur* Верусс заикался и вообще говорил довольно непонятно: предложения начинал, бормоча себе под нос, иногда, точно так же и заканчивал их, так что за столом можно было слышно только средние части высказываний, иногда — несколько выражений, лишенных какой-либо связи. При этом узнало, что Верусс является знаменитым и богатым журналистом, выкупленным Морисом Буно-Вариллем из «*Ле Пти Паризьен*» за какую-то совершенно невообразимую сумму. Сейчас он направляется в Сибирь, чтобы написать для «*Ле Матен*» серию репортажей из Страны Лютов. По происхождению он был фламандцем и совершенно не уважал все правящие семейства и кабинеты, равно как и самого Буно-Вариля с его капиталами нувориша и знаменитой антикоммунистической страстью. Те состоящие из нескольких слов высказывания Верусса, как правило, были политическими издевками или же французскими афоризмами. Худой как щепка и чрезвычайно высокий, он прислуживал всем сидящим за столом длиной своих рук-палок, подавая ту или иную тарелку, салатницу, кувшин, солонку или перец. Стол был рассчитан на восемь особ, четыре плюс четыре места, а *monsieur* Верусс занимал второй от прохода стул — так что сидел он напротив *я-оно*: лошадиная челюсть, горбатый нос и проволочные очки на этом носу.

Поскольку капитан Привеженский не отзывался вообще, а господин Блютфельд ни на секунду не переставал есть — он ел и ел, и ел, и ел, словно еда заменяла ему дыхание, лишь только он перестанет набивать рот, тут же упадет замертво с пурпурно набрякшим лицом от отсутствия еды — таким образом, поскольку они не разговаривали, а госпожа инженерша ограничивалась лишь согласиями со своим супругом, беседа шла между инженером Уайт-Гесслингом, Гертрудой Блютфельд, графом Гиеро-Саксонским и доктором Конешиным.

Доктор Конешин — мещанин с суровым лицом, обрамленным огненно-рыжими бакенбардами — ехал во Владивосток, чтобы изучать Белую Заразу, опустошающую колониальные поселения Восточной Сибири и тихоокеанских портов. — Боятся, чтобы остатки Тихоокеанского флота не вымерли, — поспешила с объяснениями шепотом госпожа Блютфельд, едва только *я-оно* обменялось взглядами с приземистым врачом. — Военное министерство, наверняка, не собиралось давать им пропусков для возвращения домой, но теперь, после виктории Марзова, медицина должна прийти на помощь Министерству. Это,

чтобы матросики снова не взбунтовались. А то еще разорвут там бедного доктора на клочки. — Шепот Гертруды Блютфельд был гораздо пронзительней самой громкой из zwischenruf [37]мсье Верусса, так что Конешин должен был его слышать. Но он всего лишь протер свое пенсне и вернулся к методичному разрезанию яйца на четыре, восемь и шестнадцать частей (после этого, кусочки белка и желтка выкладывались на тостах геометрическими узорами).

Госпожа Блютфельд выдавала шепотом сведения из своего Who Is Who [38]сплетницы, и неважно, хотел кто-нибудь ее слушать или нет; венгерский граф был точно такой же жертвой — ладно, согласимся с тем, что гораздо более привлекательной. Блютфельды ехали от самого Санкт-Петербурга, с некоторыми пассажирами уже успели познакомиться, об историях других попутчиков госпожа Гертруда узнала своими тайными путями (френология, генеалогия, рюмочка винца — как следовало предполагать). Вот и слушало рассказы, вначале о соседях по столу, затем и о других пассажирах класса люкс, которые завтракали сейчас, затем об отсутствующих.

Банкир с племянником — мать с ребенком, жена мехового воротилы — прокурор Амурского края, возвращающийся после совещания в министерстве — чахоточная девушка с теткой, направляющиеся в санаторий Льда (это и были те две соседки, которых видело ночью), но опасаться не следует, процесс уже залечивается — офицер царского флота с направлением на судно в Николаевске — разбрасывающие деньгами братья-пивовары из Моравии в кругосветном путешествии — находящийся на пенсии ротмистр кайзеровских гусар — пожилой американский инженер, то ли химик, то ли электрик, вместе с женой, подписавший контракт с Сибирхожето — самостоятельно путешествующая молодая вдова со слишком вызывающей красотой, чтобы в глазах госпожи Блютфельд быть приличной женщиной — старец, едущий на Сахалин, на могилы своих ссыльных сыновей — пастор из Лотарингии с семьей, выходящий еще до Урала...

А через два стола — только не смотрите туда! — утренний кофий пьет князь Блуцкий-Осей, якобы едущий во Владивосток по личному поручению Николая II.

— И чтоб меня апоплексия разбила, если не по его причине и были все эти ночные тревоги!

— Тайная полиция, Жандармский корпус, Третье Отделение, а то и охранка — обязательно ему кого-то выделили, — буркнул доктор. — Они же знали, куда и когда он едет, им не следовало гнаться за поездом ночью. Опять же, у него и свои люди, наверняка, имеются.

— Но, возможно, информацию о замыслах террористов они получили в самый последний момент, — предложил инженер.

— ...утечки в самый последний момент всегда весьма удобны...

— Вчера вечером весь вопрос был объяснен нам со всеми подробностями. Официально князь направляется в Америку, чтобы провести свою младшую дочь, Агафью, которая вышла замуж за вице-президента Российско-американской Компании, но на самом деле князь едет выторговывать мирный трактат с японцами. Представляете, сколько людей обрадовалось бы в России и Европе, если бы переговоры завершились ничем.

— И сколько же? — спросило в наивном изумлении. — Кому же на самом деле нужна эта война? Кому среди тех, кто бросают бомбы и стреляют в высших чиновников?

— А всем, — сухо ответил доктор. — Ведь эти анархисты с социалистами всех мастей только на несчастье да на хаосе и жируют. Какие были бы у них шансы, если бы не война? Вспомните пятый и двенадцатый.

— Но ведь тогда они понесли кровавое поражение, разве нет?

— Ба, в то время к победе революции они были ближе всего. Крупная война, недовольство народа, кровавые побоища — этого им и надо. Опять же, различным бунтовщикам-народникам, чертовым полячкам, *excusez-moi, mon comte* [\[39\]](#), черкесам и грузинам, все только и ждут момента слабости Императора, чтобы тут же схватить Россию за горло.

— Господин доктор был на Крещатике, в Киеве, в Красную Субботу, — сообщила всем присутствующим своим театральным шепотом Гертруда Блютфельд.

— Да, был, выбежал из дома сразу же, как только грохнуло. До самого вечера перевозили раненых, собирали убитых. Тела отдельно, конечности отдельно, кишки, кровь литрами...

— ...это все случайно с их химикалиями — вечно, когда недоучки за бомбы берутся...

— Если бы не Лед, посреди лета обязательно эпидемия вспыхнула, достаточно одной такой массовой могилы, не достаточно быстро залитой негашеной известью, видал я такие вещи на фронте.

Англичанин обменялся с женой взглядом, выражающим неодобрение и презрение.

— Господин доктор, как можно...

— Прошу прощения, — буркнул Конешин и возвратился к методичному намазыванию гренки повидлом.

*Frau*Блютфельд захихикала, прикрывая рот платком.

— Из-за господина доктора уже чудом не начался скандал. Тип, что сидел вон там, у окна — сейчас его уже нет, ушел — заросший такой, черный, очень немодно одетый, господин граф его видел, так вот, вчера сошлись с доктором, и что, тут же выясняется, кто таков, Филимон Романович Зейцов, господин граф не слышал? — нууу, я тоже не слышала, но, видно, какая-то значительная фигура среди красных, ах, я в политике не разбираюсь — я правильно говорю, господин доктор?

— Зейцов, поджигатель газетный, после двенадцатого его посадили, но, по-видимому, ненадолго.

— Ага, и доброму доктору тут же кровь в голову стукнула! — Госпожа Блютфельд наслаждалась воспоминаниями недавнего скандала.

— ...коммунисты в первом классе едут, революция с избытком удобств...

— Но вы же не считаете, что этот Зейцов на князя покушается? — *Я-оно*скорчило сомневающуюся мину. — Скорые к пролитию чернил, как правило, теряют сознание при виде крови.

Супруга Блютфельда с деланной осторожностью глянула через плечо — жест театрального конспиратора.

— Вон! Тот самый, в углу! Тот самый, что так сильно горбится над салатом. Ну, с переломанным носом.

*Я-оно*зыркнуло. У сидящего была фигура борца на пенсии, плечи выпирали из рукавов плохо скроенного пиджака; выбритую налысо голову пересекал лиловый шрам, длинное вздутие плохо сросшейся ткани. Действительно, первому классу Трансиба он соответствовал точно так же, как кастет — драгоценному фарфору.

Инженер Уайт-Гесслинг с жадным любопытством присматривался к мужчине со сломанным носом то через стекла своих очков, то над ними.

— Что? Очередной революционер?

— Да что вы! Он разговаривал с начальником Экспресса, мы сами видели, какие-то бланки подписывал, ведь правда, господин муж?

*Herr*Блютфельд забулькал подтверждающе.

— А потом, когда мы уже шли на ужин, — продолжила его супруга, нагнувшись над

столом, поближе к собеседникам, явный признак близящейся сенсации, — через приоткрытые двери купе... что? револьвер заряжал! Вот!

— Насколько я понимаю, полицейский.

— Его должны были назначить к князю, — только и заметил доктор Конешин. — Я же говорил.

— Только одного?

— Если бы для меня столь важна была бы его смерть, — произнесло, вытирая губы салфеткой и отодвигаясь от стола, — я бы просто раскрутил рельсы.

— ...не грозит, раз еще больше здесь полицейских ночью, — снова вмешался Верусс. — Имеют сообщение о террористах в поезде, а кто же едет на паровозе, что сам хочет сойти с рельсов?

— Те, кто и так привыкли умирать от бросаемых самим собой бомб. Мгм. Да. Дамы... Господа...

После этого мужчины перешли в курительную на кофе, трубку, сигару, папиросу; один только господин Блютфельд отказался, ссылаясь на врачебную рекомендацию подремать полчаса после еды. Широкие, раздвижные двери под зимназовыми архивольтами (с которых глядели слепые глаза Царицы Зимы со снежно-белыми грудями, опирающейся на ангелочках-путти с крыльями-сосульками) отделяли курительную от основного помещения салона. В нем находился бильярдный стол — наиболее абсурдное излишество — и небольшая библиотечка, пополняемая на станциях свежими изданиями местных газет. Там же стоял высокий радиоприемник с подсвеченной шкалой. Время от времени он терял частоту, наверняка по причине вибраций и сотрясений мчащегося поезда; правда, очень скоро он очутится за пределами действия европейских радиостанций — чем дальше на восток, к Зиме, более малочисленных и слабых. За очередной дверью находился уже собственно салон; туда направились дамы. Состав первого класса Транссибирского Экспресса по первоначальному проекту включал еще вагон-церковь (с небольшой колоколенкой, выпущенной над крышу), вагон — гимнастический зал... Сейчас в моде были уже другие экстравагантные излишества. Вечерний вагон, размещенный сразу же перед вагоном-салоном, мог, к примеру, стать танцевальным залом; там встроили камин, поставили пианино. Он открывался на застекленную галерею, из которой путешественники могли любоваться пейзажами мест, которые пересекала по пути через два континента Транссибирская Магистраль. А за галереей была еще и видовая платформа, окруженная изысканной железной балюстрадой под противодымовым экраном.

Курительная, устроенная согласно русской разновидности *art nouveau* ^[40], то есть, с чрезмерным восточным богатством (снова позолота и тяжелые украшения), все же казалась светлой и просторной. С высоких окон были отодвинуты тяжелые шторы, снят покров с овального лючка на крыше, открыты вентиляционные отверстия — солнце вливалось в решенный в мрачных тонах с бронзой интерьер снопами живой синевы и зелени, выстреливаемых с неба и глубины леса. Яркие лучи с разгону вонзались в армянский ковер, поднимая облачка блестящих пылинок.

Я-оноуселось в угловом кресле, под зеркалом. Англичанин угощал всех сигаретами Wild Woodbine. Стюард подал огонь. Закурило. Фламандец с доктором тоже потянулись к серебряному портсигару инженера; зато капитан Привеженский вынул из кармана трубку из светлого дерева и кожаный кисет.

Табачный дым в свете формировался в самые фантасмагорические фигуры, мерцал и менял цвет. Движение поезда, рывки и подскоки никак не влияли на неспешную, гипнотизирующую пантомиму сивых облаков.

— Вон там стоит еще один, — Конешин движением головы указал на крепко сложенного мужчину с азиатскими чертами лица и похожей на окорок шеей. Тот, опершись о раму окна, казалось, был всецело погружен в газету.

— А те трое, ночью? Едут во втором классе?

— Или в вагоне для прислуги. Не выбросят же они пассажиров, чтобы сделать себе место в первом классе.

Я-оносидело, заложив ногу на ногу, расслабив фуляровый галстук, в расстегнутом пиджаке; курило сигарету, наблюдало за калейдоскопическими переменами света и дыма. В противоположном углу, под пальмой, сидел тот самый американский инженер, которого еще в вагоне-ресторане показала госпожа Блютфельд. Он читал книгу, часто делая на заложенном под обложку листке поспешные заметки; ни разу не поднял головы. Я-оноимело его точно на линии взгляда, на продолжении зрительного луча, который пробивался сквозь дым, не встречая сопротивления, чтобы сфокусироваться только на другой стороне вагона. Солнце не заглядывало во все углы и закоулки курительной; за американцем была уже только тень. Янки был высоким, с резкими чертами лица и темной кожей; волосы (черные, с одной седой прядью справа) он зачесывал в стороны от прямого пробора. В четверть профиля он походил на цыганского патриарха. Выдвинутый вперед костистый подбородок опирался на жесткий воротничок. Задумавшись над книгой, американец морщил кустистые брови. Рука в белой перчатке поднималась, чтобы перевернуть страницу — тень, конечно же, тоже поднимала руку. Я-оноследило за этой тенью. Движение, неподвижность, движение, неподвижность, дрожащий свет — как такое возможно, ведь это же немыслимо — чтобы, именно тогда, когда мужчина не шевелится в своем кресле под пальмой, и не движутся световые потоки, не меняется положение окна в вагоне, или же Солнца на небосклоне, и поезд не сворачивает на рельсах, но тень за американцем танцует на стене словно папиросный дым в воздухе, жидкость, растворяющаяся в жидкости, перетекает из одной фигуры в другую, изгибается и съеживается, изгибается и разбухает, играет сама с собой и прыгает, словно рефлекс на текущей воде.

Тень, не свет — тень словно светень, живой негатив негатива — невозможная картина, увиденная на дубовой панели в курительной Транссибирского Экспресса.

В вечернем вагоне кто-то играл на пианино мазурку Шопена, ужасно при этом фальшивя.

— А я все-таки считаю, — говорило я-оно, стряхивая пепел над бутоном стеклянного тюльпана, — что с точки зрения политики завершение этой войны будет на руку всем. Как правило, войны приводят к переломам, переносят народы из одной эпохи в другую — но эта война никуда не ведет и ничего не изменяет. Даже ледняки не слишком дерут за нее горло в Думе, зато оттепельникам крайне важно выйти из азиатского тупика. Можно ожидать нерациональных актов отчаяния со стороны тех или иных террористов, такого можно ожидать всегда — но я не вижу никакого конкретного плана, в котором кто-либо в России получал бы какую-то выгоду от смерти князя Блущкого перед подписанием мирного договора с Японией.

— ...надежды что победят войну а не снова проиграли Японии так что теперь реванш реванша...

— Ба, но ведь все дело в том, что на самом деле Россия ни вести войн, ни побеждать не умеет! — засмеялось. — И никогда не умела, и все уж. Это удивительный феномен истории. — Подняло папиросу повыше. — Господа, посмотрите только на последние два века, когда Россия сделалась могущественной европейской державой. Намного больше она военных ран стерпела, чем нанесла сама. Где ее подобные молнии боевые успехи, где гениальные полководцы, замечательные военные кампании, на которых учатся стратегии и

тактике кадеты *L'ecole militaire de Saint-Cyr* ^[41] и Вест-Пойнта? Нет таких. А сколько раз буквально чудом спасалась она от по-настоящему катастрофических поражений? Вспомните Петра Первого в турецкой осаде на берегах Прута, уже собиравшегося капитулировать. Вспомните Александра Первого после Аустерлица и Фридланда; Дыбича после Вавра и Игани. Да возьмем, хотя бы, последнюю турецкую войну: москали явно оскандалились бы под Плевной в деле с Османом-башой, если бы не румыны. У которых потом, в качестве благодарности, они хапнули южную Бессарабию.

...Зато Россия имеет великолепную дипломатию, весьма опытную в искусстве разделять и ссорить, которая вовремя разбивает все антироссийские союзы; у нее имеются хитрые и красноречивые агитаторы, готовые во всех европейских столицах с бесконечной наглостью провозглашать ее триумфы и превосходство ее мнений в моменты самого страшного для России унижения и поражения. И вот, благодаря этой политике, что ведется из поколения в поколение, она сумела привить культуру неразумного москалефильства не только в салонах Парижа, Берлина, Вены, но и среди народов, собственной ее рукой брошенных в грязь и под ее сапогом раболепствующих: чехов, литвинов, поляков. Вот это и есть победа, что выше всех побед: мало того, что побить, так еще и заставлять побитых — даже нет, не заставить — сделать так, что они по своей воле придут целовать кнут своего угнетателя.

— ...не у англосаксов после Кишинева и погромов пресса не даст России, не позволят евреи и западные социалисты, разве не так, *n'est ce pas?*

Что, черт подери, происходит с тенью этого человека? *Я-оно* приглядывалось к янки из под прищуренных век, сквозь дым и солнце. Может, тут дело не в человеке, но в месте, в том самом уголке, куда не доходят летние лучи. Но нет: американец встал, кивнул стюарду, прошелся по салону за стаканом воды — *я-оно* поворачивало вслед за ним голову, следило за ним взглядом из-за тюлевой завесы дыма — а мерцающая и дрожащая тень, тень — не тень, арабеска света ослепительного и света чуточку послабее, этот живой оптический феномен следовал за американцем, окружая его словно бродячий столб жары, искажающий и мутящий образы. Но все это деликатно, subtilно, легонечко, на самых границах силуэта, если не сказать — шовчиках. *Я-оно* поглядело на сидящих в курительной комнате — никто не обращал внимания на спрятавшегося в углу, под пальмой, американца.

— Но, быть может, мы глядим совсем не в ту сторону, — произнес Уайт-Гесслинг. — Господа, вы не забыли, а почему вообще разразилась эта война? Первый конфликт с Японией был из-за Маньчжурии, в Китае интересы России и Японии столкнулись за Корею и сферы влияния — но ведь во второй раз все уже началось по причине экономики, тунгусских месторождений. И, я вас прошу, на этом же и закончится. На территории России находится сто процентов мировых залежей тунгетита и зимназа; Россия контролирует все ведущие к ним торговые пути. Так чего удивляться, что японцы рискнули войной ради того, чтобы переместить договорные границы на несколько сотен миль? Тем более, что, Лед — не Лед, это и так висело в воздухе: в одна тысяча девятьсот одиннадцатом они уже отстроились в военном смысле после первой войны, у них как раз истекали сроки различных международных договоров, ну и, прежде всего, им нужно было успеть до того, как Соединенные Штаты Америки откроют Панамский Канал, чтобы их не взяли в перекрестный огонь. Но ведь и здесь, и тут на решение влияют деловые люди. Вы знаете, господа, какую сумму составила прошлогодняя прибыль Сибирхожето? — Англичанин громко фыркнул и выдул дым под потолок. — Так кому было бы выгодно убийство князя Блуцкого? И я скажу вам: конкурентам компаний Сибирхожето. Тем, кто проиграл в битвах за концессии. Им. Ведь это прибыль в десятки, в сотни миллионов рублей. Или же: это иностранные фирмы, у которых бы рухнул рынок после соединения Азии с Америкой посредством линии через

Аляску. Пока идет война с Японией, строительство затягивается, так что они, в какой-то мере, в безопасности. Или же...

— То есть, вы хотите сказать: не анархисты с социалистами, но жадные буржуи? — усмехнулся Конешин.

— Одно другого не исключает, — заметило вполголоса. — Что может быть проще, как подкинуть горячеголовым эсерам точную информацию относительно времени и места? И кто потом будет искать таинственных доносчиков? Террористы признаются сами, не станут отпираться от идеи. Если уже и убивать, то чужими руками, господа, чужими руками.

Доктор скорчил неодобрительную мину, почесал нос, поправил пенсне.

— Рассуждая подобным образом, за каждой бомбой, брошенной в сановника наивным анархистом, мы должны видеть подковерную борьбу оттепельников с ледняками, заговор одного синдиката *хладопромышленников* против другого, амбиции какого-нибудь министра или великого князя...

— Не говоря уже про драки в Думе: скоро выборы, и Струве может потерять большинство, если выложится на мирных переговорах.

— Военный министр...

Капитан Привеженский расхохотался. Все разговоры тут же прекратились, даже из биллиардной выглянуло несколько человек. Капитан прикрыл рот рукой. Доктор Конешин поглядывал на него с вопросительно поднятыми бровями, инженер Уайт-Гесслинг — явно не понимая.

Привеженский отложил трубку, скрестил руки на груди.

— О чем вы говорите? — спросил он тихо, в хриплом голосе еще был слышен смех. — Прошу прощения, но больше я выдержать не мог. Господин инженер, — обратился он к англичанину, — все эти ваши экономические расчеты, анализы столкновений интересов...

— И что? — взвился тот. — Что вы хотите...

— Да ничего, ничего, — капитан с трудом подавлял веселье, скорее всего, не до конца откровенное. — Конечно же, вы правы. То есть — вы были бы правы, если бы это была Великобритания. Видите ли, так уж сложилось, но в течение своей, следует заметить, короткой карьеры, мне довелось встречаться с людьми из внутренних кругов власти, заглянуть, если можно так выразиться, под дворцовые ковры... Господи, да о чем вы говорите! — он покачал головой с издевательским недоверием. — Ведь здесь же Россия!

— ...замечание подобного факта обязательно отметим благодарим покорно...

— Только не сердитесь, господин инженер, но вы понятия не имеете о принципах, согласно которым наше государство управляется.

— Правда? — дернулся Уайт-Гесслинг, разминая пальцами вторую сигарету.

— И тут дело даже не в проблеме власти и управления государством, так, как вы ее понимаете. Еще несколько десятков лет назад вся Россия *принадлежала Гасударю Императору*, Император владел ею — землей, богатствами, в ней скрытыми, и тем, что на этой земле растет, и горами, реками, озерами — четвертью континента. — Капитан Привеженский охватил жестом солнечное пространство, мелькающее за окнами экспресса. — *Владел*, точно так же, как вы, господа, владеете своими часами или туфлями. Лишь недавно он милостиво согласился провести раздел на то, что принадлежит *Его Императорскому Величеству с Семейством*, и на то, что принадлежит России. Себе он оставил половину. То есть, я уже не говорю о Соединенных Штатах Америки, не говорю о Франции или Великобритании с ее *Magna Charta* и парламентами — но это совершенно иной вид владения, чем тот, который вы знаете по даже самым реакционным европейским монархиям. Поймите, господин инженер: Габсбурги *правят*, но Императоры Всероссийские — *владеют*.

...Господа предполагают за решениями самодержца крупные политические споры и конфликты финансистов. Боже мой! Если бы так оно и было! Если бы все эти гипотезы заговоров и многоэтажных договоренностей были верны! Возьмем, хотя бы, тот поезд, на котором все мы едем, Транссибирскую Магистраль. Как вы считаете, откуда появилась Маньчжурская Линия, и как началась первая война с Японией? Экономические расчеты, так, господин инженер? Выгода вложений? Или за этим стоит вся российская стратегия колонизации Дальнего Востока...? Ха!

...Правда начинается с того, что Император наш, Николай Второй Александрович, в детстве и в юношеские годы без всякой умеренности предавался греху Онана. Когда общая апатия, усталость и дневная умственная слабость наследника трона сделались даже слишком видимыми, вызвали *инастранных* профессоров. В конце концов, их диагноз дошел до ушей Его Императорского Величества, который приказал как можно скорее решить стыдливую воспитательную проблему. И вот, старшие *енералы*, тайные советники и придворные министры выбрали многократно уже испытанную методику: нужно дать выход мужским силам юноши наиболее естественным путем. В связи с этим, пред очи цесаревича Николая Александровича начали препровождать самых видных *красавиц*, как правило, дочерей приближенных ко двору семейств. Поначалу императорские советники могли себя поздравить с успешным проведением плана, поскольку, и вправду, цесаревич быстро понял, какой грех слаще, и совсем забросил один из них в пользу другого — но весьма скоро выяснилось, что и в этом он не знает меры, превратив свой грех во всем известный порок. А ведь это играет огромную роль, чтобы ничего не могло помешать будущему союзу с иной державой посредством разумного брака Императора. Посему у тайных советников и отставных *енералов* появилась новая головная боль: вовремя успевать разбить все романсы Николая Александровича, пока он не слишком привяжется к избраннице и аффект его не возрастет слишком сильно. Пока цесаревич вместе с великим князем Сергеем Александровичем хаживал по петербургским борделям и домам наиболее высоко оплачиваемых проституток, большой угрозы не было. Но потом расходы начали возрастать: за разрыв *mademoiselle* Мятлевой с наследником трона императрица заплатила семье Мятлевых триста тысяч рублей, выкупив с громадной переплатой их имение на Петергофском тракте. А дальше — еще хуже. Цесаревич совершенно потерял голову по причине балерины Кшесинской. *Гасударь Император*, узнав об этом, а так же о том, что Кшесинская — полька, и что она готова будущего Императора, ради постели, перекрестить из православия в католичество, окончательно отчаялся. Был подготовлен высочайший указ, удаляющий балерину из Петербурга административным путем, вместе с указом к балерине направили петербургского оберполицмейстера, генерала Грессера. Кшесинская приняла Грессера очень вежливо, прочитала указ и попросила генерала пройти в будуар — а в будуаре кто? Цесаревич Николай Александрович. Он, сильно не раздумывая, указ порвал и указал генералу на дверь. Вот тут уже все придворные советники увидели, что будущее Империи под угрозой. Раз нельзя убрать от Николая Александровича все сердечные искушения — значит, необходимо убрать от них самого Николая Александровича. Как это сделать? А просто, его посадили на корабль и отправили в кругосветное путешествие. Только судно — не монастырь, цесаревич — не монах. О разврате на борту крейсера «Память Азова» во время рейса цесаревича писали все газеты мира; но до Его Императорского Величества доходили только те сведения, которые должны были дойти. Неподалеку от Индии из рейса был исключен путешествующий с Николаем Александровичем Великий князь Георгий; в Россию он вернулся в бинтах, с разбитой грудной клеткой и едва живой. Как оказалось: во время одной из гулянок на судне высокороджденные ужирались в стельку, так что в голову им приходили самые дикие идеи; князь Георгий поспорил с

греческим князем, кто из них выше влезет на мачту. Грек выиграл; Его же Высочество князь Георгий грохнулся с высоты, только благодаря божественному вмешательству или удаче, сопровождающей пьяниц, не свернув себе шею. Следующей остановкой в путешествии наследника трона, перед Владивостоком, где он должен был принять участие в торжествах открытия Транссибирской Магистрали, была Япония. Ясное дело, всякий раз перед схождением на берег наследника Империи, проводились крупнейшие маневры сил правопорядка; вы же знаете, господа, как опасается правящая семья всяческих покушений. Точно так же было и тогда, и кордон, в первую очередь, должен был служить ограничению самостоятельных перемещений цесаревича. На всякий случай, на улицы была выведена целая армия японских полицейских. На обратном пути с озера Бива в Киото на наследника трона накинута — нет, не какой-нибудь случайный прохожий, ибо таковых в радиусе полукилометра вообще не наблюдалось, но один из выставленных в кордоне полицейских агентов, предназначенных для охраны высокого гостя, фанатик, воспитанный на националистических идеях. Он атаковал бы цесаревича при первой возможности, но не мог отличить его от других иностранцев. Помогла ему в этом татуировка, которую Его Величество Николай Александрович сделал себе в Нагасаки, когда забавлялся с греческим князем в тамошних публичных домах. Японская пресса описала этот рисунок на коже правой руки цесаревича во всех деталях: дракон с желтыми рогами и красным животом. Именно по нему обезумевший самурай и узнал наследника российского трона. Прежде, чем его обезоружили, он успел дважды нанести удары своим мечом; цесаревич бросился бежать, но, если бы не бамбуковая трость греческого князя, наверняка бы погиб. Оба удара достигли головы. Поначалу, правда, раны показались поверхностными: уже через пару дней будущий император встал с постели, остался шрам, даже и не слишком уродливый. Но с того случая Его Высочество Николай Александрович начал страдать различными психическими приступами. Которые, со временем, только усиливаются. Ну, к примеру, Император наш замечает любую паутину и сразу же кидается ее срывать, приказывая слугам днями чистить и убирать комнаты с коридорами. Японский меч оставил отметку на всю жизнь — ужасные мигрени, галлюцинации, депрессии, апатии и умственная слабость делают его легкой добычей шарлатанов, спиритистов, месмеристов, мистиков и юродивых. Начиная с *pere* Филиппа, который должен был сделать так, чтобы императрица родила наследника трона, и который вызывал по требованию духов предков Николая Александровича, чтобы те диктовали ему государственную политику, и который, в конце концов, оказался марсельским парикмахером — через Галатскую Деву, которая предсказывала Императору результаты военных операций — и заканчивая бессмертным Распутиным. В свое же время, такую же месмерической властью над волей самодержца обладал некий Безобразов. В прошлом государственный секретарь и член Священной Лиги. Безобразов считался знатоком восточной политики, и по данным вопросам он вечно навязывал собственное мнение. Когда Витте как-то поспорил с ним — «Кому Ваше Величество доверяет больше, приватному лицу или своему статс-секретарю и министру?» — Император именовал Безобразова статс-секретарем. Безобразов установил связи с чиновниками канцелярии *Гасударя Императора*, с консулом в Корее, с Великими князьями, вкладывая миллионы рублей из имущества самого Императора. Якобы, они создали акционерное общество, которое получило от корейского правительства концессию на эксплуатацию лесов и добычу минералов в Корее. Чтобы реализовать эти и последующие финансовые фантазмагии, Безобразов загипнотизировал Императора всероссийского, заставив его принять решения о назначении Алексева наместником, о Маньчжурской Линии Транссиба, об устройстве Порт-Артура и Дальнего, что в результате и привело к войне с Японией. Так что основной причиной первой войны была

концессия Безобразова: территориальные требования России соответствовали землям, назначенным для его акционерного общества. Господин инженер говорил здесь о расчетах деловых людей. Доходы Государя Императора от паев в предприятии Безобразова могли составить десять-двенадцать миллионов, в то время как само наместничество пожирало сто двадцать миллионов рублей ежегодно. Не говоря уже о военных расходах. Господин инженер говорил здесь о причинах и следствиях, последствиях выборов и политических планах. Вот вам какие причины и разум в российской державе: меч самурая, душевный обман и голос шарлатана, нашептывающий в ухо императора.

...Данный принцип обязателен к исполнению как при дворе царя, так и в самой бедной деревне, в пустыне, в степи, в морозной тайге — нет никакой линии, никакой границы, за которой вы могли бы безопасно применять свой орган мышления. Россия одна! Вы, господин инженер, очутились в стране, где люди — не люди, люди-предметы подчинены бесконечно высшему существу, а оно своевольно формирует их действительность в соответствии со своими переменчивыми капризами и мимолетными желаниями, никак ничего не объясняя, поскольку подобные вещи никак не объясняются. Понять — понять можно законы природы. Но понял бы человек законы природы, если бы Бог менял их без видимой причины, между одной секундой и другой?

Я-ономолчало. Ну кто публично рассказывает про обычаи будуара, кто в приличном обществе говорит о столь стыдливых вещах, как пороки, порожденные животными стремлениями тела? И если бы еще он говорил о проблемах, касающихся первого встречного — так нет же, правящего монарха? Офицер! Не может такого быть! Стыд, стыд, стыд! Как же он не сгорел на месте — что же это за внутренний демон, который взрывает Привеженского изнутри? Глядело за окно, на поля и леса, на речной разлив и белый камень, тук-тук-тук-ТУК, уже оставшиеся сзади.

Конешин, Уайт-Гесслинг и Верусс обменивались не связанными одно с другим замечаниями, переваривая слова молодого капитана; лица их выражали сомнение.

— ...ну, говоря откровенно, Йошихито нормальным тоже не назовешь...

— А спиритизм тут и вправду играет какую-то роль, он снова весьма моден в петербургских салонах; княгиня Блуцкая обещает на сегодня самый настоящий сеанс, так что будьте начеку, господа...

— Раз капитан рассказывает подобные истории случайным попутчикам — значит, с гражданскими свободами в России все не так уж и плохо.

Привеженский горько усмехнулся.

— А господин инженер не подумал, по какой такой причине меня из Петербурга отправили на другой конец света?

Закурило вторую папиросу. Дым лез в глаза, размытые фигуры появлялись из солнечного сияния и в нем же расплывались.

Янки захлопнул книжку, поднялся, поправил манжеты, огляделся по курительной, затем вышел в соседний вагон. Борцовского вида азиат, который через минуту проходил мимо пальмы, отбрасывал на увенчанную резьбой в виде зарослей плюща дубовую панель тень самую обычную, с резкими, постоянными краями. Если предыдущий феномен и имел под собой какую-то основу, то она была связана исключительно с американцем.

— ...граф, обладая польскими корнями, обязан понимать это.

— Прошу прощения?

Я-оноповернулось к капитану. Привеженский все так же занимался очисткой чубука трубки, даже не поднял глаз.

— С британцем все ясно, но то, что господин граф...

— Между нашими нациями нет никакого родства, — сухо заметило.

— Я слушал, что господин граф говорил о российских солдатах и дипломатах. Все народы завоеваны, так что потом...

— *Завоеваны?* Вы нас завоевали? В какой же битве, можно узнать? В какой войне?

— ...ну-ну, спокойней, в поезде, где утопанной земли нет, нет смысла проявлять такую *querelle d'Allemand* [\[42\]](#) ...

Закурило. Привеженский стучал трубкой о поручень кресла. Я-оно забросило ногу на ногу, оттянуло стрелку брючины.

— Россия не завоевывает, — сказало мягко и тихо, чуть громче ритмичного постукивания колес. — Россия захватывает. Германия завоевывает. Франция завоевывает. Турция завоевывает.

...Господин капитан злится на свое *камандавание*, так что вам легко теперь вываливать свое разочарование и горечь — возможно, какой-то мелкий Безобразов стоит за вашим переводом? — но ведь от отчизны вы не откажетесь. Хотели бы вы, чтобы Россия была другой? Но тогда она не была бы Россией. А ведь это, как раз, беда всех революционеров: они отказываются от России. Господин капитан, позвольте спросить...

Привеженский наморщил брови. *Я-оно* ожидало. Наконец он махнул трубкой, соглашаясь.

— Если бы это было в ваших возможностях, если бы владели такой божественной силой, — сказало, — приказали бы вы ликвидировать в России самодержавие?

— Что это значит — ликвидировать? А правление оставить — кому? Думе?

— Допустим. Во всяком случае, дать возможность представителям системы, радикально отличающейся от самодержавия. Так приказали бы? Но откровенно. Вы ведь считаете себя оттепельником, правда?

Капитан прикусил чубук холодной трубки. Закинув голову на спинке кресла, он блуждал взглядом по потолку, по небу в люке. Еще несколько секунд, и само его молчание дало четкий ответ.

Я-оно тихонько засмеялось.

— Вот интересно, насколько все эти народники и революционеры верят в свои утопии. Хорошо, свергнут самодержавие — и что выстроят на его месте? И чтобы не решились, пускай даже и власть рабочих масс, в конце концов родится какая-то форма самодержавия.

...Между нашими нациями, господин капитан, нет никакого родства. Да, мы верим в того же самого бога, но вера эта совершенно иначе уложилась в наших сердцах. Для вас важнее всего — это посмертное искупление, загробное счастье заслоняет для вас все земные добродетели — но спасение возможно только лишь после того, как покинешь эту земную юдоль. И мир этот всегда будет к вам злым, несправедливым, наполненным болью и неправдами, которые при жизни исправить невозможно. Так в какое же благородство духа вы всматриваетесь при жизни — не в то, что прославляет действие, сопротивление, деятельность по преобразованию лица Земли, но в пассивную аскезу, покорность, способность молчаливо сносить обязательные страдания, обожать Бога вопреки боли; жизнь во сне о посмертном счастье. Самый мрачный пессимизм и фатализм окутывают эту веру, словно черный саван на живом трупе. Так чего же удивляться, что ваши крестьяне, люди самого низшего рода, вызывают впечатление пораженных наследственной апатией, переносимой вместе с кровью животного безволия и разочарования. Даже когда они тысячами погибают от голода, то умирают, не бунтуя, всматриваясь пустыми глазами в небо. Эту же самую картину передает ваше искусство, ваша литература — либо нигилизм, либо апокалипсис — всякий раз, когда я читаю Достоевского, у меня возникает желание упиться до смерти.

...Да и где искать подобия, раз традиции правления и закона у нас столь различны? Польша, которая единственная не допустила у себя абсолютизма, теперь вынуждена сносить учреждения и обычаи самодержавия. У нас закон делал человека безопасным и равным даже перед королем — у вас место закона и права занимает принцип власти. Свобода ваших бояр никогда не могла сравниться со свободой наших, хотя бы, батраков. И так же, как вода по камням стекает с самого верха на самый низ: всяческий исполнитель и подисполнитель воли самодержца, тоже чувствует себя всемогущим и стоящим над законом. Потому у вас и нет истинных людей благородного происхождения, самое большее — иностранные аристократические подделки, цепляющиеся друг другу в горло *дваряне* — зато чиновники ваши самые могучие во всем мире. Если у нас любой мужик или мещанин, если выбился и поднялся над своим сословием, сразу же желает в шляхтича превратиться, хотя, естественно, не может, но идеал у него имеется — каковы идеалы ваших парвеню? Под каблуком самодержца ваше дворянство не имела возможности развиваться, посему оно и удовлетворяется эрзацем рыцарственного поведения; нет места чести, когда над всеми достоинствами стоит слепое послушание властителю. Вместо чести, гордости, праведного поведения, самостоятельности ума — гибкая шея и склонные к подгибанию колени, придворная хитрость, лесть, жестокость и двуличие.

...Нет между нами, не было и не будет никакого родства.

Не говоря ни слова, капитан Привеженский поднялся и вышел.

Я-онозатушило окурок в исполненной в виде цветка пепельнице, перехватило взгляд доктора Конешина. Доктор щурил глаза за спустившимися на самый кончик носа пенсне, но взгляд был острый, внимательный.

— Вы где высаживаетесь, граф?

— В Иркутске.

— Это хорошо. Когда-нибудь стрелялись?

— Шутите, — отшатнулось. — Для царских офицеров это суд и разжалование.

— Это так. Но я мог бы под присягой подтвердить, что господин граф его провоцировал.

— Никогда раньше я с ним не встречался, вообще не знаю-так ради чего должен был бы...

— О, *pour passer le temps* [\[43\]](#).

— Но ведь вы моими словами не оскорблены.

Конешин рассмеялся. Впервые услышало его смех: звуки, похожие одновременно на икоту и кашель.

Доктор прижал ко рту платок, склонил голову — и только потом успокоился.

— Я знаю поляков, господин граф, — сказал он. — Проживал в Вильно. И, по-моему, мне даже книжка знакома.

— Какая еще книжка?

— Та самая, которую вы цитировали. *Узнай врага своего* или как-то так. — Доктор сложил платок и протер им очки. — Это как в анекдоте про еврея, который зачитывался антисемитской прессой. «А почему бы и нет, у нас ведь пишут только про несчастья, нищенство и преследования — а здесь я читаю, как мы правим всем миром, и сразу же на сердце теплее!» — Конешин оскалил крупные, прямые зубы. — А эти пасквили поляков я просто обожаю! И даже чуть ли не готов уверовать в то, что мы, русские, и вправду поймали и объездили демона Истории.

Я-оно ответило ему улыбкой.

— Рад, что развлек вас. Нас ждет долгая поездка, так что необходимо чем-нибудь

заполнять скучные часы, как вы правильно заметили.

— ...о чем господа тут ради Бога чтобы я понял пускай мне кто-то объяснит шутки или серьезно с этой дуэлью а вы Польша Россия приятели враги доктор граф хоть кто-то мне только совершенно не и как тут потом писать и прошу объяснить...

Склонилось к Веруссу:

— Прошу не беспокоиться, этого никто не понимает.

— Туземные обычаи и привычки, — подключился доктор, — они всегда прибавляют вкус репортажам.

Долговязый фламандец оскорблено отшатнулся, наверняка уверенный в том, что над ним смеются. Он начал выбираться из кресла, думая, что бы тут сказать или сразу попрощаться — раздумал и, словно аист, промаршировал дальше в салон.

*Я-оно*кивнуло Конешину, чтобы тот придвинулся поближе.

— Господин доктор, а вы, случаем, не слышали, что госпожа Блютфельд говорила об этом американском инженерере? Со стыдом признаюсь, что большую часть ее монолога мое внимание как-то не зафиксировало.

— Американском?...

— Он сидел вон там, под пальмой.

— А! По-моему, его фамилия Драган. Непонятная фигура, если господин граф желает знать мое мнение.

— О?

— Та женщина, с которой путешествует... Он мог бы быть ее дедом.

— Так они не супруги?

— *On dit* [\[44\]](#) .

*Я-оно*обменялось с доктором понимающими взглядами.

— В дороге, когда какое-то короткое время мы общаемся с людьми, которых потом никогда не встретим, то позволяем показать значительно больше правды о нас, чем было бы разумно и прилично, — сказал доктор, тоже гася свою папиросу. — В этом есть нечто магическое, это — волшебное, необычное время.

*Я-оно*иронично усмехнулось.

— Больше правды?

— Правды... той, которая нам известна, и той, которую мы не знаем.

Конешин поднялся, отряхнул пепел с пиджака. Поезд как раз поворачивал, и доктор, слегка пошатнувшись, оперся плечом о выдвинутые двери биллиардного салона. *Я-оно*подняло глаза. Конешин наклонился, чтобы конфиденциально сообщить:

— А *Frau*Блютфельд, прошу мне поверить, всех нас успела оговорить с самой плохой стороны.

Он еще раз протяжно икнул-кашлянул, после чего ушел.

*Я-оно*осталось в курительной до тех пор, пока березовый лес за окном не сменился началами смешанной тайны, а солнце не сбегало из асимметричного лючка в крыше вагона. Теперь уже бегство в купе и одиночное проведение дня под замком в игру не входили: каждая минута среди людей, каждый обмен словами с другими пассажирами, каждая папироса, выкуренная здесь, в салоне класса люкс — затрудняли выход из графа Гиеро-Саксонского; а ведь это была точно такая же клетка, и тот же самый зверь стонал за ее прутьями — и когда завтракал на серебре с фарфором, и когда провозглашал националистические проповеди.

Книжечка называлась так: «*Ситуация России в истории, или же что каждый поляк обязан знать про врага своего*», а написал ее Филипп Герославский незадолго перед ссылкой; до убийства Дмовского она даже пользовалась приличной популярностью. *Я-оно*, естественно,

читало ее — но чтобы она так хорошо оставалась в памяти... Можно ли было предвидеть, что граф Гиеро-Саксонский окажется столь закоренелым патриотом-русофобом? (Во всяком случае, он хоть не лишен чувства юмора). Но чьими словами должен он был воспользоваться, откуда, от кого, из какой тени зачерпнуть эти слова — слова, которые, будучи высказанными вслух в присутствии других людей, оказались его самой правдивой правдой — и откуда прибыл тот самый граф Гиеро-Саксонский, который на гнев царского офицера отвечает ленивой иронией, свободным жестом руки с папироской. Существование не является обязательным атрибутом отца, а в поездке — поездка вообще магическое время.

Расшифровать письмо! В коридоре столкнулось с худенькой чахоточной девицей. — Простите. — Прощаю. — И огонь неожиданного узнавания в глазах, инстинктивная сердечность. — А я думала что никто из Польши с нами больше и не едет...! — Панна и тетушка, насколько понимаю. — Да, нам будет весьма приятно, если... — Бенедикт Герославский. — Я-онопоцеловало ей руку. Девица сделала неуклюжий реверанс в узком проходе. — Елена Мукляновичувна ^[45]. — Слава Богу, я уж тут чуть не сцепился с одним придворным *салдатом*, еще неделька в такой компании, и можно с ума сойти. — Девица захихикала. — Госпожа Блютфельд нам... — О Боже! — вырвалось. — Тогда я убегаю! — Но обедать прошу за нашим столом...

Темные глаза она подкрашивала крепкой хной, отчего кожа казалась еще более бледной, на грани смертельной анемии. Задержалось на мгновение с ключом уже в дверях купе, с ладонью на ручке — золотой вересковой ветке, как вдруг ударила молния злых предчувствий: фрау Блютфельд — граф Гиеро-Саксонский — на первый взгляд. Случайная встреча один на один — незамужняя девушка, кавалер, хитроумная тетка — пять дней до Иркутска в одном поезде. Я-онопокачало головой, засмеялось. Если описать Юлии всю эту историю, она будет на седьмом небе.

Открыло окно, вынуло записную книжку, оправленную в ткань и резину. Письмо пилсудчиков было вложено страницей дальше, чем его оставило перед тем. Прикусило губу. Кто-то вломился в купе и обыскал вещи. А что есть более интересного для шпика, чем секретное, зашифрованное сообщение, которое столь очевидным образом является секретным, зашифрованным сообщением? На дверях, на замке — ни малейших следов. Спецы!

Уселось поудобнее, до конца развязало галстук, успокоило дыхание. Из-за стенки *атделения* доносились приглушенные голоса г-на и г-жи Уайт-Гесслинг. А те, что сюда вломились... Если ключ им неизвестен — каковы шансы, что они взломают шифр еще на трассе Транссибирского Экспресса? Что, везут с собой для этой цели специалиста? Сомнительно. Чмокнуло под носом. Итак: кто первый. Разум против разума. Раскрутило авторучку, стряхнуло перо. Возможно, Зыгмунт был прав, и это только провокация охраны, шифр же нужен только затем, чтобы я-ононе знало, что везет с собой личный смертный приговор — но, может, за этим безграмотным набором букв и вправду скрывается тайна отца. Кто же тогда вломился в купе, если не господин Шрам вместе с господином Шеей-Окороком? Или скрывающийся среди пассажиров первого класса почитатель святого Мартына?

Перо подскакивает над листком бумаги и садит кляксы в ритм мчащегося состава, тап-тап-тап-ТАП. В голове ребусы и заговоры, в сердце холодный страх, а за окном залитая солнцем Россия, *Господи памилуй*.

О могуществе стыда

— Господин граф! Сюда! — призывала *Frau* Блютфельд. Князь Блуцкий-Осей позволяюще

кивнул.

Я-онозастыло на месте. Елена Миклановичувна скорчила разочарованную мину. Пожало плечами — *что тут поделаешь* — и повернуло к княжескому столу.

Пошли поклоны и обмен ритуальными вежливостями. Я-онопонятия не имело, какие точно формы обязательны при общении с российскими князьями, так что был принят принцип суровой неразговорчивости, всегда позволяющий оставаться в безопасности. Стюард пододвинул стул. Супы хлюпали в вазах, мисках и тарелках, когда Экспресс подскакивал на стыках рельсов.

Рядом с Блютфельдами, присутствие которых не должно было удивлять в любой компании, за княжеским столом так же сидел немолодой чиновник с ястребиным взглядом слегка раскосых глаз. Госпожа Блютфельд представила его как советника Дусина (понятное дело, тайного и чрезвычайного). На все и всех он посматривал с подозрительностью инквизитора — на янтарные настенные часы, выбивающие время обеда, на *consommes* грибами и крутонами, на астраханскую икру, на недостаточно белые перчатки обслуживающего его официанта и на венгерского графа.

Беседа шла о модах, страшная как ночь старуха-княгиня обсуждала с фрау Блютфельд западный декаданс, на вечно актуальную тему.

— А в Париже, вы видели? Это уже переходит всяческое понимание! И какой образец, позвольте спросить, они дают молодежи, выкинув перед тем все корсеты? Никакого чувства стиля, элегантности, хотя бы какой-то здоровой линии, совершенно ничего — никакого тебе покроя или фасона, юбки висят как на пугалах, талия вообще куда-то потерялась, и все горбятся — вот оно как все выглядит!

— В Берлине и Штутгарте тоже все поначалу так хотели носить; слава богу, прошло. Но, Ваша Светлость, два года назад мы были в Италии — так там именно такая мода и есть, если только ее можно назвать модой, честное слово!

— Если бы оно еще хоть как-то выглядело... А самое плохое то, что выйдет человек на улицу и не знает, куда глаза девать, что деткам сказать — вершина непристойности, до щиколотки с половиной, иногда до колена, поднимешь взгляд, а тут тебе личико ну совершенно под противоженской прической, чуть ли не под ноль подстриженная, сама видела! А как на велосипедах ездят, в юбках обрезанных... а когда мы остановились в *Les Terreaux* в Лионе, так вы не поверите, в каких костюмах девушки в теннис играют!

Князь все это переносил молча. Наверняка, ни *Herr* Блютфельд, поглощающий густой борщ с производительностью пожарного насоса, ни советник Дусин, который присматривался к каждому кусочку брокколи с четырех сторон, прежде чем осторожно поднести его ко рту, не предлагали поводов для интересной беседы.

— Итак, — меланхолически вздохнул князь, обмочив усы в уху, — вы желали драться с нашим капитаном за политические принципы?

Я-онос испугом глянуло на *Frau* Блютфельд.

— Произошло недоразумение, Ваше Сиятельство, мелкую разницу во мнениях слишком преувеличили.

Госпожа Блютфельд перехватила взгляд и поспешила с помощью.

— Господин граф путешествует инкогнито, — сообщила она напоминающим сирену шепотом. — Он просил меня не упоминать имени Гиеро-Саксонских.

Князь, заинтересовавшись, выдул губы.

— Ну вот, моя дорогая, — сказал он супруге, не поднимая глаз от тарелки, — вот все ваше женское умение хранить тайну: не смог он выбрать поверенной получше.

Гертруда Блютфельд не знала, то ли ей обидеться, то ли сделать вид, будто бы она не

поняла иронию князя, но, может, она и вправду ее не поняла — только сжала губы и ничего не сказала.

— Гиеро-Саксонский из Пруссии, ну так, — бормотал тем временем князь. Ему уже почти семьдесят, подумалось, но держится старичок неплохо. Два огромных перстня с драгоценными камнями и очень блестящий орден на груди были единственными показателями благородного происхождения. Левая рука слегка дрожала, когда князь действовал тяжелой вилкой. И вправду, неужто царь не мог выслать на переговоры с японцами человека помоложе? Капитан Привеженский наверняка бы рассмеялся с издевкой: а как связаны дворцовые решения с умением мыслить?

— Все эти прусские юнкеры, что вженились в дунайские семьи, сидят сейчас на замечательных имениях; и ваше семейство держит селения под Ковно, так? Кто же это, ага — Петр Давидович Коробель продал вам кусок земли за нашими лесами в Иллуковском повете, бывали там когда-нибудь, молодой человек? Не помню, чтобы где-нибудь лучшие меды пробовал; меды полякам отлично удаются, нужно признать.

— Богатая семья, — отозвался Дусин, щуря глазки.

— Ваше Сиятельство, это вы уже преувеличиваете.

— Ага, мы же посещали Тодора Гиеро в Вене весной прошлого года, помнишь, дорогая, сразу же после скандала у Прюнцилей, когда тот южный скрипач выбросился из окна и поломал руки и ноги, говорю вам, перст Божий в таких трагедиях, ничто не происходит без морали: завлекал и с ума сводил добродетельных женщин своим чувственным искусством, и вот теперь никогда уже ни скрипки, ни смычка в руки не возьмет. Тодор как раз отстраивал свое поместье под Гёделле, мы у Вершинов остановились — он же отстроил его, правда? Летом, должно быть, выглядит замечательно.

— Ну конечно, — буркнуло, опуская голову к тарелке. — Летом особенно.

— А дочка графа Гиеро выходит за фон Кушля, он третий или четвертый кузен сводной сестры моей жены, по линии Баттенбергов, то есть, в какой-то степени, родня и Государю Императору — когда же это обручение объявляли, в апреле, в мае? В мае, мы тогда были в Крыму, правда, лило не переставая, молодой фон Кушель кажется симпатичным и умным, несмотря на юный возраст, это у них семейное, быстро созревающая кровь, *non*?

— Ммм... я его не слишком хорошо знаю.

— И вообще — приличные люди, после эпидемии одиннадцатого года больницу построили; в прихожей я видел благодарственную табличку, вы же там тоже упомянуты, а?

— Наверняка.

— Ничто без морали не делается, — продолжал, распалившись, князь Блуцкий, кроша себе в вино сухарики, сколько там у него зубов осталось, да и остались ли вообще хоть какие-то; он двигал нижней челюстью, словно кости прогнили до консистенции резины; он ел точно так же, как старый Учай, который всегда нарезал себе ножичком на маленькие кусочки яблоки, оладьи, мясо, только так мог он их глотать, не пережевывая. — И вот говорю вам, молодой человек, все плохое, что делаешь и говоришь, раньше или позднее возвращается к тебе, и дает тебе пощечину, словно обманутая женщина; а почему, а потому что подобное притягивает к себе подобное, похожие вещи ищут себе похожих; не думали ли вы, почему так оно складывается — в городах: целыми кварталами, улицами, люди схожие, переулком воров, проезд разбойников, бульвар девиц легкого поведения, и квартал купцов, квартал благороднорожденных, а как бьют колокола, то станешь, слушаешь, и на слух от церкви к церкви перейдешь; и точно так же в любом обществе — помнишь ли школу, если родители тебя в школу отдавали, или армию; где-либо когда соберешь людей разного происхождения и различного жизненного опыта, так они сразу же начнут смешиваться,

искать друг друга, объединяться и тянуться к себе, подобное к подобному, иное к иному, и вот глядишь: тут у нас авантюристы и забияки, здесь у нас подлизы и комбинаторы, там уже души благородные, а там — мечтательные. Так же и в жизни, ничто без морали не происходит; человек простой и с честным сердцем ни с того, ни с сего не очутится среди воров; никогда не встретишь закоренелых убийц, что счастливо проживают среди людей почтенных; так оно все возвращается к себе и укладывается в моральной симметрии: плохое к плохому, доброта к доброте, правда к правде, ложь к лжи, и об этом ты обязан был бы знать, молодой человек, кем бы ты ни был, потому что Петр Давидович никакого имени в Иллуковском не продавал, не знаю я и никогда не слыхал ни про какой мадьярский род Гиеро, тем более — не посещали мы их в Вене, фон Кушель — это имя одной из моих гончих, и чтоб меня громом ударило, если ты, шалопай, в жизни хоть раз копейку дал на какое-то благотворительное дело, не говоря уже про постройку больниц, и прочь с глаз моих, пока не приказал тебя из поезда выкинуть, разбойник, хмм, хмм, и могу ли попросить чашку молочка теплого с маслом и медком, благодарю.

Сгореть сейчас, с головы начиная, лица красного и губ, растянутых в умильной сабачьей улыбке, до пальцев, трясущихся словно в приступе малярии, стучащих по столу и тарелке, мнущих скатерть, на месте превратиться в черную золу, чтобы не нужно было глядеть им в лица, чтобы не нужно было слушать их перешептывания, ибо тишина воцарилась во всем вагоне-ресторане, и все сфокусировали внимание свое на нашем столе; хотя князь вовсе и не поднимал голоса, да разве найдется здесь кто-то такой, кто бы ни слышал его слов, все слышали — так что сгореть! Но огонь не вспыхнул. Горячка палит и без огня. Разговаривают все громче — слова не различить, слишком сильно бьется сердце, кровь шумит в ушах. Что они говорят — и так известно.

Теперь пришло время для деяния воистину героического, нужно сделать то, что превышает людские силы. Опустить руки, отвести назад ноги, подняться, рвануть вверх туловище и отодвинуть стул, и все это с глазами, направленными строго вниз, к адским вратам, повернуться, сделать шаг в сторону, к проходу и...

Я-оночуть не разрыдалось, губы уже начали подрагивать, и под кожей какая-то мышца, между подбородком и щекой, завибрировала, в глазах встали слезы. Это сверх человеческих сил! Стыд сдавил гортань и дыхательное горло, все высохло в одно мгновение, невозможно сглотнуть слюну, невозможно отдышаться, что-то давит в груди, сжимает легкие — как же тут двинуться, откуда взять энергию, руки словно камни, ноги будто из свинца. Никак невозможно. Руки тряслись все сильнее, на пол упала сбитая большим пальцем вилка. Надрывное дыхание походит на хрипение раненой лошади, слюна стекала из края губ, я-ононе было в состоянии контролировать даже губ — прежде всего, губ.

Рвануло левую ногу. Стул шаркнул по ковру. Госпожа Блютфельд поднялась, чтобы дать место. Возможно ли большее унижение! В груди нарождался плач. Сгореть! Рвануло правую ногу. Бедро не подчинилось, нужно опереться на предплечьях. С первого раза ладони соскользнули, и со второго тоже, третья попытка — я-оновстало на ноги. Теперь шаг влево. Лишь бы не подогнулись колени. Я — оно чувствовало, как трясутся икры; это ужасно, когда собственное тело не желает тебе подчиниться и проваливается под тобой, словно картонный домик, трепет достигал голеней, даже мышцы живота тряслись.

Я-оно сделало этот шаг и чуть не вскрикнуло от облегчения.

Подняло голову.

Все глядели.

Я-оно улыбалось.

И с улыбкой, выжженной на лице, сделало второй, третий, четвертый шаги —

официанты уступали дорогу, сидящие отодвигались вместе со стульями, проводник открыл дверь — пятый, шестой, седьмой шаг — в тишине — уже близко, уже сейчас исчезнет с их глаз, сбежит от их взглядов. Пока же что еще отражение в стекле, последняя картина столовой: все смотрят.

Я-оно улыбалось.

Даже когда захлопнулись за спиной одни и другие двери, когда *я-оно* прошло в коридор другого вагона, и по нему до конца, и вагон за вагоном, уже бегом, плечом ударяясь в дверные рамы и отпихивая людей, которым невозможно глянуть в лицо, и дальше — в салон, через курительную и бильярдную, в вечерний вагон — паническое бегство — через пустую застекленную галерею, но и этого еще мало, проклятая улыбка все еще не желает уходить с лица, придется сдирать ее ногтями, ножами, битым стеклом — поэтому, дальше, железные двери на смотровую платформу заблокированы — выбить их к черту!

Я-оно выскочило на свежий воздух, в сияние полуденного солнца и грохот громадных машин, мчащихся по рельсам, напрямик на...

Здоровяк со шрамом душил инженера Драгана, прижимая его коленом к металлическому сидению и круша его шею в своих лапищах. Рядом, на террасе лежал охранник, тот самый, с азиатской физиономией — с разбитой головой.

Хватая воздух широко раскрытым ртом, *я-оно* стояло и глядело. Они же замерли в смертельном объятии — руки на шее, руки на руках, шею стискивающих — повернув набежавшие кровью лица к двери, они застыли в середине убийства словно античная скульптура, образ мифологической борьбы: жестокий повелитель и жертва, грубая сила и бессильная старость.

Я-оно отступило на шаг, к порогу галереи.

На это Шрам только отвернул голову и вновь принялся душить, при этом раздавливая коленом грудь янки.

Зато Драган не отвел взгляда, собираясь умереть со взглядом, вонзенным в лицо случайного свидетеля — он не может позвать на помощь, не может пошевелить пальцем, может только упорно глядеть. Глаза у него были глубокие, темные.

Я-оно сделало еще один шаг вспять.

Драган глядел. Сползла ли проклятая улыбка с губ? Может, американец глядел как раз на эту усмешку? Интенсивность его взгляда была слишком велика, не позволяла отвести глаз.

Из под полы расстегнутого пиджака Шрама выглядывала рукоять револьвера в кожаной кобуре. Душителю был на добрую голову выше, и пиджак чудом не лопался на геркулесовых плечах. Он скалил почерневшие зубы, пот капал с кончика его кривого носа на лоб терявшего сознание инженера.

Бежать, пока имеется возможность!

Только стыд уже управлял безраздельно. *Я-оно* вынуло из кармана позолоченную авторучку, свернуло колпачок и с улыбкой на полных губах — подскочив к Шраму — вонзило ему перо в шею.

Кривоносый зарычал и свалился на колени, выпустив из захвата пожилого американца. Одной рукой он потянулся к торчащему над воротником «Уотерману», другой — за револьвером. *Я-оно* пнуло его по этой руке — оружие по высокой дуге полетело над балюстрадой, падая на насыпь, и тут же исчезая с глаз.

Драган, кашляя и опираясь спиной о стенку, поднялся на ноги. Взглядом при этом он указал на тело второго полицейского. Он что, тоже был вооружен? *Я-оно* бросилось к мертвецу. Твердые очертания под тканью — схватить за полу, летят пуговицы — вот и кожаные ремешки, кобура, черная рукоять. *Я-оно* вытащило холодный револьвер. Драган

хрипел что-то непонятное. Оглянулось. Шрам удирал.

От входа в галерею он был отрезан; у дверей в следующий вагон — за длинной платформой и амортизирующим сопряжением — даже не было ручки, они были закрыты изнутри — это был служебный вагон, сразу же за ним тендер и локомотив — так что оставалось убийце? Он вскарабкался на изогнутую в форме виноградной лозы балюстраду, схватился за край вагона и забрался на крышу, подбросив ноги с первого же раза, с обезьяньей ловкостью, несмотря на кровь, льющуюся по шее и по воротнику рубашки; раз, два, подштопанная подошва сапога на фоне голубого неба — и от Шрама ни следа.

Я-оносунуло длинноствольный револьвер за рамень, под жилетку и пиджак, и запрыгнуло на балюстраду, вслед за Шрамом. Совершенно неожиданно, когда плечо и голова очутились за пределами туннеля, пробиваемого в массе воздуха локомотивом, в них ударил холодный воздух, рванул тканью костюма, я-онопочувствовало быстрые рывки маленьких ручек, мягкие пальцы, треплющие волосы и тянущие за уши — ветер, сила напора, с которым массив Экспресса бьет в воздух. Деревья и поля мигали размазанными полосами — уже не облака цветов импрессионистов, но одно только впечатление картины и движения в картине, многоцветный свет летней неги. Только небо, к которому я-оноповернуло голову, добравшись до крыши вагона, одно только небо было спокойным, неподвижным, фотографически четким и выразительным.

А ведь он мог там стоять, таиться за самым краем, чтобы ударить ногой в висок первого же дурака, выставившего башку — такое и в голову не приходило. Но тот не стоял, не таился. Я-оно, словно ящерица, вползло на крышу вагона, прижав грудь к грязной плоскости и широко разбросав руки. Шрам на четвереньках продвигался несколькими шагами дальше, ветер забросил пиджак ему на голову, здоровяк сражался-сражался с ним, пока не пришлось задержаться и сбросить — пиджак полетел в тайгу, лопоча над мчащимися мимо вагонами и зелеными кронами деревьев, черный флаг, кусок воронова крыла, перышко, точка — и исчез. Шрам что-то крикнул, слов в шуме воздуха и грохоте поезда, в протяжном сопении паровоза распознать не удалось. Крикнув, Шрам оглянулся через плечо, словно бы в ответ на свой визг получил откуда-то предупреждение. Я-оно в этот момент увидело, что противник оторвал полосу материи от сорочки и обвязал ею всю шею, но стальное перо, видно, проникло слишком глубоко, временный бинт пропитался кровью, красное пятно достигало спины Шрама.

Тот вскрикнул еще раз и бросился назад, развернувшись на коленях — не видя нацеленного в себя револьвера, это был его последний шанс. Но левое колено поскользнулось на жирной грязи, покрывающей крышу вагона, и Кривоносый поехал в сторону, момент собственного движения развернул его спиной к краю, он хотел схватиться за заклепки, не достал, сапоги выехали за край крыши, он скользил все быстрее, молотя ногами, открыв рот в комичном вдохе-выдохе, словно вытащенная на воздух рыба, словно голодный птенец — колени сдвинулись окончательно, он упал.

Я-оноосторожно проползло к краю. Шрам висел, вцепившись обеими руками в зимназовую раму высокого окна. Видели ли его пассажиры? Повязка сдвинулась с шеи, ветер захватывал капельки крови, хлопала разорванная сорочка. Я-оно увидело, как у бандита дрожат от усилия мышцы рук, как белеют пальцы, как лицо искривляется в гримасе боли.

Тот поднял взгляд, я-оноглянуло ему прямо в глаза. Отвернуть голову? Смотреть, как тот падает и гибнет? Что-то сделать, ничего не делать — таковы действия и бездействия, но вот что находится перед ними, у самого источника? Огонь стыда полностью еще не погас. Я-оно потянулось и подало руку.

Потом уже лежало, тяжело дыша, головой к Азии, ногами к Европе, навзничь, и глядело,

как отдельные облачка проплывают через синеву, ничего, кроме них, на небе не менялось. Ну, разве что, время от времени, вверху мелькали серые клубы дыма от локомотива. Один раз пролетела птица.

Шрам хрипел все сильнее.

— Проклятый... покарай его, Боже!.. Ой, тут я и сдохну...

— Это точно.

— Эх, и что за жизнь, тьфу...

— А не нужно было руку на Божьи заповеди поднимать, вот грех, в конце концов, к тебе и вернулся.

— Это вы правду говорите, сударь. Но что поделаешь... Человек служит, Царь-Батюшка приказывает.

— Только не говорите, будто царь приказал вам задушить американца.

— Воля начальства... Кто их там знает, то оттепельники, то ледняки... И каждый кричит, грозит...

— А тот второй — не из охраны был? Может, от князя?

— Да при чем тут князь... Чтоб тот вагон из Петербурга запечатанным не вышел — только все к черту...

— Выходит — на американца?

— Да какой он там американец! Громовик чертов! Отче наш на небеси, святые угодники, уже меня хватает, хррр...

— Не шевелись.

— Отпустите мне грехи, сударь.

— Да я что, поп, чтобы грехи отпускать?

— Поп, не поп... Все равно, оно как-то легче, с добрым словом...

— Как вас зовут?

— Вазов, Юрий Данилыч, хррр... Матушка, Василиса, из Борисова...

— Верю, Юрий, что ты мог бы стать хорошим человеком.

— Так. Так. — Он хрипел все сильнее, доходя уже до последней черты. — Это правда.

— Нет во мне милости от Бога, чтобы отпустить тебе грехи от Его имени в соответствии с тем, кто ты есть; нет во мне милости от людей, чтобы отпустить тебе грехи от людей в соответствии с тем, что ты им сделал; одной милостью одарил ты меня сам, прося отпустить тебе грехи, так что отпускаю тебе их от чистого сердца: чтобы ты с той же покорностью пред Богом предстал. И прошу у тебя прощения.

— Хррр... Боже....

Я-оно повернуло голову влево. На расстоянии теплого дыхания были его глаза — уже пустые. Ветер хватал слюну из приоткрытых губ Юрия. Он умер, стиснув руки на своей шее, тем же перекрестным захватом, которым душил пожилого инженера.

По небу плыли белые облачка, словно кляксы молока в синих чернилах. Перо, должно быть, вонзилось в артерию — нет, не в артерию, а то мужик сразу бы истек кровью — но с каждым движением, с каждым его усилием перо, какой-то обломочек открывал рану, и сердце постепенно выкачало из Юрия всю жизнь.

Из лесов срывались испуганные проездом Экспресса стаи уток, дымовые косы из высокой паровозной трубы вились то справа, то слева, сворачивая, по мере того, как сворачивали рельсы... Но это случалось редко, поезд мчался прямо на восток; когда же он колебался и наклонялся на вираже, нужно было хвататься за заклепки или винты, опираясь широко разбросанными руками на нагретый солнцем металл. Труп свободно перекачивался по крыше. Раньше или позднее, он упадет...

*Я-оно*думало, что сейчас появится обслуга, Драган приведет помощь, примчатся охранники из второго класса, выбегут и столпятся у своих купе пассажиры, скандал и сенсация, быть может, начальник даже остановит поезд, ожидало этого рывка, людских криков и призывов. Напрасно. *Я-оно*сунуло руку в кармашек жилетки — раздавленные часы показывали совершенно абсурдное время. И что теперь? Спуститься туда и — и — *я-оно*глянуло на костюм, когда-то белый, а теперь серо-бурый, в полосах жирной грязи, с разорванным и к тому же запятнанным кровью Юрия рукавом — и в таком вот виде, голота занюханная, вот так предстать перед ними? Граф! Нет, просто проклятие какое-то. *Ничто не происходит без морали.* Ладно, пошли они все... ругаясь и кусая губы, *я-оно*стасило с пальца перстень с гербом «Кораб» в гелиотропе — тот снялся легко, благодаря скользкой грязи — и бросило его прочь. Подскакивая, тот покатился по крыше вагона.

Но освободиться не так легко, это же всего лишь пустой жест. Ну почему было не отрицать с самого начала? Почему бы не поправить Уайт-Гесслинга, эту дуру Блютфельд, не разрешать нарастать выдумкам, пока те и вправду сделались неисправимыми? Нет бегства от стыда, разве что только в другой стыд. Даже на крыше мчащегося через тайгу Транссибирского Экспресса, в компании одного только мертвеца, под синей ширью и Солнцем высоким, даже здесь *я-оно*жметса, подтянув колени к подбородку, опустив голову, судорожно сплетя руки и заходясь в сухом кашле, трясется в ритм поезда и вопреки тому же ритму, в неудержимом ознобе — от стыда.

Но тут поезд начал притормаживать, вдалеке, перед паровозом показались дымы и огни, на фоне маячащих на горизонте низких гор — очередная станция Транссиба, Свеча или Котельник, нечего ждать, теперь или никогда, *всё равно*, нужно спуститься, вернуться в купе.

*Я-оно*осторожно спустилось по балюстраде и прыгнуло на смотровую площадку. От трупы второго охранника не осталось и следа. Хотя... след был: несколько капель крови. Может, все-таки, он выжил? *Я-оно*сняло пиджак, вывернуло его и, свернув, перебросило через предплечье — он должен заслонить самые загрязненные части рубашки, жилета и брюк. После этого пригладило растрепанные ветром волосы (на пальцах, вместо бриллиантина, жирная грязь). Пальцы все еще трясутся, и голова, предательски легкая, колышется, словно воздушный змей на ветру. Спокойствие, спокойствие, только спокойствие. Еще один глубокий вдох... Дверная ручка.

В галерее никого не было. *Я-оно*подошло к закрытой двери «зала с камином», приложило к ним ухо. Голос, голоса, женские и мужские. Быть может, переждать здесь? Ведь уйдут же они, в конце концов.

Или же, как раз, войдут в галерею и откроют, притаившегося в углу. Бежать некуда.

*Я-оно*рвануло двойные двери и вошло вовнутрь.

Черный тьвет обрушился на глаза, угольная смола вползла под веки. В единообразной тьме дергались, поломанные на стенах и потолке вагона, светени более десятка человек и некоторых предметов обстановки: круглого столика, стульев. Ближайший к столику силуэт в тьвете — женская фигура — указывала выпрямленной рукой на противоположную стену. На ней танцевала светень высокого мужчины. Тьвет заливал вся и всё, затирая края, растапливая в темноте формы и сплющивая объемы. Единственную надежную информацию давали как раз светени: изменчивые, вибрирующие, деформированные проекцией на неровные плоскости — но их можно было сосчитать, они были видимы человеческому глазу. Мужчина возле стены поднял ладонь, скорее всего, поправляя очки. Женщина провела рукой над столиком, отбрасывая на потолок громадный отблеск, который на мгновение всех ослепил, из-за чего все инстинктивно отпрянули и отвернули головы, что, в свою очередь, еще сильнее раззадорило светени, и какое-то время светящиеся силуэты прыгали по стенам, лопоча

верхними конечностями, словно неуклюжие ангелы. По залу прокатилась волна шепота на русском, немецком и французском языках.

— Он! — воскликнула княгиня Блуцкая. — Он скажет, что это было!

— *Une créature de la vérité* ^[46], — произнес Жюль Верусс, отодвигаясь от стены и расползаясь в собственной светени словно дефект на быстро проявляемой фотографии. — Чудовище троне *die Dunkelheitmat* ^[47] над над над машинами.

Я-оно отступило в сторону галереи. Хотелось выйти незаметно, но спиной зацепилось за дверь рука с пиджаком упала, и из-под не застегнутой жилетки в зал ударил сноп холодного огня, словно спрятанный в кишках дракон рыгнул через пупок серным пламенем. *Я-оно* испугом глянуло на грязную одежду, попыталось закрыть ладонью — та вошла в огонь словно в мягкую водную струю, сияние пронзало пальцы, просвечивало ногти, кожу, мышцы и сухожилия, кровеносные сосуды; ладонь зависла в нем будто оранжевый студень, отбрасывая розовые отблески на половину зала. Вспомнились религиозные рисунки, на которых Господь Иисус вскрывает свою грудь, из пронзенного сердца сфокусированными пучками бьют золотистые лучи. Все участники сеанса замерли — женщины и мужчины, сидящие и стоящие вокруг столика, под стенами, теперь на самом деле ослепленные, сжимая веки, заслоняя лица — их платья с очень длинными рукавами, с рюшечками, гипюрами и высокими лифами; под медальонами и камнями, жесткие воротнички сорочек, развернутые жесткими веерами воротники платьев, стиснутые вокруг шей плиссированные и гладкие, бархатные и фуляровые *галстухи* галстуки шелковые, батистовые жабо и завесы, розетки и тюлевые накидки; золотые, серебряные и янтарные запонки, коралловые портсигары и костяные курительные трубки; белые манжеты, белоснежные пластроны в окружении темных сюртуков и пиджаков, *deux-pieces* ^[48] из шерсти и трехчастные англезы из твида; с треугольниками нагрудных платочков; с блеском брелоков, лорнетов из черепаховой кости, моноклей и пенсне, закрепляемых на длинных цепочках — сборный портрет европейцев *Anno Domini 1924*, выжженный под веками словно во время взрыва фотографического магния. Кто-то крикнул, кто-то рухнул на пол, какая-то дамочка потеряла сознание, сползая без чувств со стула. *Я-оно* сунуло просвечивающуюся ладонь в глубины огня, вновь закрывая грязную жилетку пиджаком. Пальцы сомкнулись на рукоятке револьвера.

Темнота вернулась ненадолго — княгиня тут же задула тьвечку, и вечернее солнце залило вагон.

Я-оно подняло голову.

Все смотрели.

Я-оно улыбалось.

Об авторучках и револьверах

Он был холодным на ощупь, покрытый жемчужной росой, а при более сильном свете на кривых поверхностях и краях играл всеми цветами радуги — именно по этому признаку легче всего зимназовые металлы и узнают. *Я-оно* крутило его в руках с преувеличенной осторожностью: ранее никакое огнестрельное оружие в руки не попадало. Револьвер был легким — вот и первое удивление. *Я-оно* быстренько обмылось в умывалке купе (на поход в туалет время придет через пару часов, когда все уже заснут), но, все равно, отпечатки на гладком металле оставались. Несмотря на радужные рефлексии, само зимназо было совершенно черным — но его отполировали до такой зеркальной чистоты, что можно было пересчитать папиллярные линии большого пальца, когда он — на одно мгновение —

коснулся курка. Сам курок был выполнен в виде скорпиона с длинным, поднятым для нанесения удара хвостом; отводить и спускать нужно было именно этот хвост, скорпион ударял в капсюль сложенными клешнями. Впрочем, весь револьвер выглядел так, словно его спроектировал французский любитель *art nouveau*, дорогая игрушка, выполненная по индивидуальному заказу — это было второе удивление. Асимметричная рукоятка оказалась свернувшейся змеей, которая, в самом конце, внизу, открывала пасть, показывая пару клыков и свернутый язык — между этими клыками и языком можно было пропустить ремешок или подвесить стальное кольцо. Скоба спускового крючка была выполнена в форме нескольких цветочных стеблей, бутоны которых непосредственно переходили в камеры барабана. Камер было пять. Сам барабан в сторону не отводился — чтобы зарядить его, нужно было переломить револьвер. Я-оноглянуло вовнутрь камер, вынуло и вновь вставило патроны: матово-черные, с тупыми, чуть ли не плоскими кончиками. Затем зажгло лампу и присмотрелось к ним повнимательнее. Вокруг основания каждой гильзы шла тонкая гравировка — три буквы: П.Р.М. и трехцифровые числа: 156, 157, 159, 160, 163. Я-оноеще более тщательно присмотрелось к револьверу. Длинный ствол был отлит в форме костистого ящера, чудища с колючим гребнем, идущим вдоль позвоночника, чтобы над самой шеей выстрелить чем-то вроде наклонного рога — это была мушка. У ящера не было глаз, а широко раскрытая пасть — отверстие длинного ствола — представляла полнейший набор острых зубов — старательно отшлифованных по краю ствола, один клык за другим. Когтистые лапы ящер держал прижатыми к чешуйчатому животу. А на этом животе была выгравирована дюжина букв, складывающихся в одно слово:

ГРОССМЕЙСТЕР

Я-оносложило «Гроссмейстер», завернуло его в грязное полотенце и спрятало на дно чемодана.

А если они снова закрадутся, чтобы обыскать купе? Я-онозаколебалось. Выхода нет, нужно будет всегда забирать его с собой.

А тогда он вновь взорвется холодным огнем в самый неожиданный момент...

В дверь *атделения*стучали трижды, четвертый раз постучал *правадник*,объявляющий время ужина. Я-ононикому не открывало, оставив в замке провернутый ключ, чтобы проводник с другой стороны не мог открыть своим. На окне затянуло занавеси, чтобы никто не заглянул вовнутрь во время стоянки.

Стучащие в дверь обширно объяснялись, убеждая открыть — сначала, естественно, фрау Блютфельд, затем панна Мукляновичувна, потом советник Дусин. Этот последний, уходя, сунул под дверь визитку с записанным на обороте номером купе. Гертруде Блютфельд, понятно, нужен был свежий материал для сплетен; Елена прибыла со словами неуклюжего утешения, а вот советник Дусин — Дусин пришел не от своего имени, но от имени княгини Блуцкой, которая требовала немедленных разъяснений относительно нарушенного сеанса. Зато никто не спрашивал относительно мертвых или пропавших охранников.

Поскольку часы были сломаны, время отмеряло по напечатанному в *Путеводителера*списанию Транссиба. Поезд остановился в Вятке, то есть, было уже десять вечера.

Около половины одиннадцатого постучал инженер Драган.

— Вы там, — сказал он по-немецки, без следов какого-либо акцента. — Вы меня слышите. Вы спасли мне жизнь. Я высматривал вас на ужине. Прошу открыть — я не собираюсь здесь стоять.

Я-оноприоткрыло дверь. Тот пихнул ее и вошел в купе. Пришлось отступить — посетитель был выше на десяток с лишним сантиметров, заставляя задирать голову.

Расстояние, с которого человек подсознательно имеет дело с другим человеком, вовсе не зависит от полноты или роста, но от угла взгляда между ними. Дети и женщины проявляют большую терпимость, а вот мужчины все время ищут лучшую позицию, словно те стрелки из вестерновых зрелищ в кинематографе. Наука о душе, если когда и появится, то родится на основе стереометрии.

Гость закрыл за собой дверь, после чего вынул из внутреннего кармана пиджака сломанную авторучку «Уотерман».

— Прошу.

Он был до смешного серьезен, ни одна мышца не дрогнула на его лице; этот жест был наполнен какой-то торжественной формальностью. Принять, не принять, что ни сделаешь, это будет иметь большее значение, чем то, которое можно высказать на языке второго рода. Драган ожидал с протянутой рукой.

— Благодарю.

Я-оноуселось на застеленной кровати, вращая искалеченную авторучку в грязных пальцах. Абсурд ситуации, каким-то образом, действовал даже успокоительно. Это правда, я-оноспасло этому человеку жизнь. Он благодарен, должен быть благодарен, у него долг благодарности, он — должник.

Но как же это... стеснительно.

Я-оноподняло взгляд на американца, чтобы тут же его опустить — он стоял и глядел сверху, слегка колеблясь в ритме движения поезда, в безупречном двубортном костюме пепельного цвета, с широким белым платком, завязанным на шее, выпрямленный, болезненно худой, с глазами, словно два уголька, вонзенных под надбровные дуги. Сейчас он склонит голову, и они засветятся ярче, сделаются чуть ли не серо-голубыми.

— Заправилась кровью, — буркнуло я-онопод носом.

Он услышал.

— Перо победило меч, — хрипло рассмеялся Драган. — Где он?

— Не понял?

— Вы забрали его у Михаила. Все в поезде говорят про ангела в тьвете, *an angel in shlight* [49].

— У меня нет никакого ангельского оружия. Что случилось с телом Михаила?

— Дорогой мой, вы спасли мне жизнь, я не спрашиваю, что произошло потом на крыше.

Тень этого человека вновь вытворяла странные скачки, пухла и ежилась, словно ее кто-то попеременно надувал и высасывал за спиной Драгана; линия света и тени все время изгибалась и вибрировала.

Я-оноприкусило ноготь.

— Вы работаете на Российско-Американскую Компанию. Возможно, речь идет про Линию на Аляску. Российские конкуренты наняли саботажника; именно для вашей охраны нас вчера ночью догоняли те трое полицейских. Они не сидят во втором классе, не все — по меньшей мере один едет в служебном вагоне, за тендером. Именно туда перенесли тело Михаила, ведь не тянули же его через галерею и зал с камином, не выбросили с поезда. Зачем вы ходили на смотровую платформу, если знали, что вам грозит опасность? Это была засада: Михаил затаился на Юрия. Оба из охраны? Ледняки и оттепельники поддерживают различные сибирские компании, или оттепельники вообще противники Сибирхожето, вы попали между молотом и наковальней. Но Юрий ехал в классе люкс от самого Санкт-Петербурга, предупреждение должно было поступить о ком-то совершенно другом. Теперь вы боитесь, поскольку остались без Михаила, без охраны в первом классе. Вы не знаете, кто это такой.

Драган придвинул табурет от секретера и уселся; вынул папиросы, закурил. Взгляд

проходил практически параллельно полу; я-оноподняло свой взгляд, заглянуло ему прямо в глаза. Купе, несмотря ни на что, было тесным — если бы Драган подался вперед, если бы опирал руки на коленьях, можно было глотать дым прямиком из его легких. Этот угол, это расстояние... исповедник и исповедующийся, адвокат и обвиняемый, отец девушки и кавалер, просящий ее руки, мастер и ученик.

Американец забормотал что-то на хрипучем языке, осмотрелся по купе. Я-оноуказало ему на пепельницу. Он был стариком — по внешнему виду и по движению не выглядел таким, но, на самом деле, мог быть ровесником князя Блущкого.

— Этот револьвер, — произнес он через какое-то время, — стоит больше, чем его вес в золоте. Я это понимаю. Вы бедный человек. Прошу простить, без каких-либо оскорблений. Вы бедный человек, воспользовались случаем, чтобы втереться в *high society* ^[50], проникнуть в лучший мир, и тут такое несчастье с Его Высочеством. Позвольте, я предложу выкуп этого фанта. Цену назовите сами. Пожалуйста, без каких-либо оскорблений и обид. Вы просто не знаете, что взяли в свои руки, господин... Геросласки.

— Герославский.

— Герославский. Так?

— Да. Бенедикт Герославский.

Он улыбнулся.

— Так как же, все-таки, выглядит вопрос вашего происхождения?

— *Moi, je suis mon ancetre* ^[51].

— Ах! Если бы хоть кто-нибудь мог сказать это о себе откровенно! Даже чудище Франкенштейна... Вы читали Мэри Шелли? А не находите вы занимательным, как в литературе электрическая сила всегда...

— Это зимназо, какой-то из холодов зимназа. Пули изготовлены из тунгетита. Я и не знал, что производят такое оружие.

— Его не производят.

— И зачем же? Что можно убить только тунгетитовыми пулями, раз нельзя убить никаким другим способом? Раз это так дорого.

Драган сделал приглашающий жест рукой в белой перчатке.

Я-ононачало кусать ноготь на другом пальце.

— Это оружие не на людей — на лютов.

— О?

— Я вот размышляю... Черт, как жаль, что не читал об этом больше. Какими свойствами обладает тунгетит при высоких температурах, при высоких давлениях? Такой вот, холод зимназа... Если бы не заслонил того молниеносного сияния...

— Чем? Рукой, одеждой? Его нельзя заслонить просто так. У меня дюжина патентов на тунгетитовые системы освещения — правда, при этих ценах исключительно непрактичные — в этом я разбираюсь.

— То есть как это: невозможно заслонить. Ведь я...

— *Dammit* ^[52], пошевелите головой, молодой человек! — рявкнул Драган, потом закинул ногу на ногу и затянулся папиросой.

Вспомнились экзамены в университете и то характерное раздражение профессоров, которые из последних сил удерживаются, чтобы не взорваться перед лицом вызывающей к небу о мести тупости студента — а студенту при этом еще труднее собраться с мыслями — следовательно, профессора при этом раздражаются еще сильнее — вот студент живьем горит и мечтает лишь о том, чтобы убраться с глаз преподавателя — и тот прогоняет тупицу разочарованным жестом руки. Убрался от экзаменационно-расстрельного взвода, и вернулся к

жизни и разуму.

Вот теперь он может показать свой гений и знания. Но не может, никто не спрашивает.

Точно так же, не тот хороший сапер, кто способен разрядить макет мины, но кто разряжает мины настоящие, угрожающие разорвать его на куски — так и не тот является хорошим студентом, кто просто проявляет свои знания и умения, но кто способен представить свои знания и умения перед строжайшими экзаменаторами.

Поначалу я-онодолгое время считало, будто бы это всего лишь обобщение, служащее лишь для оправдания университетских бездельников; потом поняло, что такой раздел проходит и среди людей вообще, в любой сфере деятельности. Сколько есть таких, что прекрасно справляются с любым жизненным эрзацем, но когда приходит время испытаний в жизни реальной — у них трясутся руки? Первые ученики в науках, не имеющих какой-либо ценности или значения, готовые дать ответ на не заданные вопросы, всезнайки через минуту после того как. Вот если бы им было позволено сделать еще один подход, дали разрядить еще одну мину, подарили еще одну жизнь...!

— Это реакция, возбуждаемая тьветом, так? Я заслони́л источник тьвета, реакция прекратилась.

— Зимназовый никель с КТ-симметрией. На тьвет реагирует как чистый тунгетит. В фитилях тьвечек сжигают углеродные соединения тунгетита, а в дешевых тьвечках — даже один только перемороженный углерод. В свою очередь, некоторые реакции окисления криоуглеродных изотопов...

— Зачем Михаилу было нужно такое оружие? Что, в Экспресс пробрался переодетый лют? — захихикало я-оно.

Драган задумчиво присматривался к сгоревшей спичке.

— Я не работаю на Российско-Американскую Компанию. И Линия на Аляску не имеет с этим ничего общего. Я вообще не занимаюсь сухопутной инженерией.

— Вы даже не инженер?

Тот едва усмехнулся.

— Знаете, учился, но диплом инженера как-то и не получил. Докторские диссертации — это да.

— Следовательно, здесь не идет речь о промышленном саботаже? Тогда, почему вас хотят убить?

— Не удивлюсь, если окажется, что Победоносцев платит за мою голову миллион рублей. Вы слышали, что с нами едет зять третьего по значению пайщика Сибирхожето? В этом видели какое-то обеспечение... Петр следит за Павлом, который следит за Иваном, что держит бритву у шеи Петра. Эти двое охранников — *poor bastards* [\[53\]](#) — по отношению к скольким господам им приходилось оставаться лояльными? Вот их и разорвало на клочья, словно лошадьми, что тянут в четыре стороны света. И снова же — кого прислали по тревоге? Не явных жандармов, но каких-то отставных чиновников из Третьего Отделения Личной Императорской Канцелярии, брюхатых бюрократов, которые, только представьте, сегодня являются агентами охраны, ба, даже имеют на это бумаги! — Американец заглушил папиросу. — Я не должен был бы обременять всем этим вас, господин Герошевский, или как там вы желаете называться, молодой человек. Раз вы не отдадите револьвер — а на что он вам, если не на продажу? — ну что же, не отдавайте. Но прошу держать ухо востро. Вы правильно догадываетесь, здесь есть чего бояться. Тем выступлением перед княгиней вы объявились всему поезду, вас могут принять за Бог весть кого; и что может быть проще, как сунуть рубль проводнику, как сунул я, и узнать, по каким это министерским бумагам вы едете?

Он поднялся.

— Если бы как-нибудь в будущем я мог... Еще *правадник*сообщил, что вы едете до Иркутска, это правда? Второй вагон, номер восемь, то есть — Н. Можете не сомневаться, вашего участия я не забуду.

— Меня зовут Бенедикт Герославский, *mister*Драган.

— Интересно складывается, поскольку и я тоже вынужден скрываться за фальшивым именем. Ммм, ладно, сейчас это не имеет никакого значения, мы уже в пути. Вспомните слова великого Гёте. Путешествие — словно игра; всегда его сопровождают либо выгода, либо потеря, и, как правило, с самой неожиданной стороны. — Он поправил перчатки. — Меня зовут не Драган; просто, родом из задруги Драганиц, отсюда и псевдоним. Я имею гражданство США, но родился сербом, в Смиляне, в Хорватии. Вполне возможно, что вы уже слышали мое имя. Я Никола Тесла.

Он чопорно поклонился и вышел.

В полночь Транссибирский Экспресс проехал девятьсот семидесятый километр Магистрали. Первый день путешествия закончился.

О логике двухзначной, трехзначной и вообще никакого значения не имеющей, а так же о логике женской

— Господи, господин Бенедикт, ведь не можете вы вообще не есть!

— *Qui dort dine* ^[54]. Впрочем, заплачу, мне принесут, что осталось от завтрака.

— Ну ведите же себя разумно! Откройте, пожалуйста.

— Я еще не встал.

— Это очень нездорово столько спать, от этого меланхолия входит в человека, апатия душит, и мучает мигрень.

— И долго вы собираетесь так кричать через двери?

— Стенки тут не намного толще.

— Ну панна и въелась! Ваша уважаемая тетя не научила вас, что к незнакомым мужчинам навязываться не следует?

— Мне позвать тетку? Тетя!

— Ну ладно уже, ладно!

Панна Елена Мукляновичувна: в белой шелковой блузке с покрывающими пальцы кружевами, с вороново-черной бархаткой на шее, стиснутая высоким корсетом, в узкой бежевой юбке, из под краешка которой видны только носки кожаных туфельек, с черными волосами, взбитыми в кок, пронзенный двумя шпильками с серебряными головками. Темные глаза, бледная кожа, вдобавок еще подбеленная пудрой — если бы не легкий блеск на губах, выглядело это так, словно из девушки спустили всю кровь и румянец. Гостья присела возле маленького секретера, отведя ноги влево, так что мягкая материя стекала от бедер одной длинной волной. Пальцы она сплела у коленей.

Я-ононе поднялось, чтобы ее приветствовать; сидело на застеленной покрывалом кровати у окна, набросив на сорочку мягкую куртку.

Панна Мукляновичувна глядела словно гувернантка на упрямого шестилетнего бутуза.

Я-оно отвернуло взгляд к дождливому пейзажу за стеклом.

— Двери за панной захлопнулись — что люди подумают.

— О Боже! — шепнула панна Елена голосом а *la Frau* Блютфельд. — Скандал! — Обрадовавшись, она хлопнула в ладоши. — Так!

Я-оно прижало висок к прохладному стеклу.

— Сдаюсь.

Девушка неодобрительно фыркнула.

— Вначале, может, кавалер вынет руки из карманов.

Я-оно вынуло.

— Ну, и почему так... Ах! — Здесь она, наконец-то, смешалась — но очень ненадолго, поскольку тут же на ее лице появилось новое выражение. — Ай как нехорошо! Папочка не смазывал *мальчику* пальчики уксусом? А если кавалер так уже проголодался, тогда, тем более, лучше съесть завтрак, а не собственные пальцы.

Этот ее тон... Либо она воспитывала младших братьев, либо и вправду работала гувернанткой. Правда, гувернантки не часто ездят первым классом Транссиба.

— Ничего забавного здесь нет. — *Я-оно* ударило головой о стекло раз, другой, еще сильнее. — Панна нашла себе развлечение на время поездки, а меня...

— Да как вы можете!.. Я тут беспокоюсь, понимаете, чуть ли не на посмешище себя

выставляю, чтобы вас на свет божий вытащить, христианским милосердием ведомая... — но к этому моменту она уже снова улыбалась, чертик уже прыгал в ее зрачках и на дрожащем уголке губ, — а вы... смеете говорить такие вещи!

Она явно ждала ответа, сделанного таким же легким тоном — тогда бы расхохоталась, *я-оно*предчувствовало, насколько заразителен ее смех, которому невозможно было бы сопротивляться; итак, она бы громко рассмеялась, после чего все бы пошло по проторенному пути — к большей естественности, откровенности и открытости. Именно так знакомятся с людьми, именно так из незнакомых делают знакомых, из подобного материала лете всего выстроить мост, соединяющий берега чуждых миров. А панна Елена была опытным инженером по возведению межчеловеческих мостов, это было очевидным с первого взгляда: несколько слов, которыми мы спешно обменялись в тесном коридоре — и вот уже шуточки, сердечные подколки. То что она землячка — особого значения не имеет. Собственно, никакого значения не имеет и то, что она говорит, на каком языке. Рассмеется — и этого уже достаточно. Если бы встретить ее в Польше, на варшавской улице, понятно, не могло бы все пройти так быстро и гладко, но — ведь это же Транссибирский Экспресс, поездка, волшебное время, часы — словно дни, дни — будто месяцы. Хочешь — не хочешь, рассмеешься.

Нет. *Я-оно*отвернуло лицо к окну. Может она уйдет. Молчание затягивалось, тишина, то есть, гипнотический шум поезда: тук-тук-тук-ТУК. *Я-оно*глядело на прозрачное отражение панны Елены в окне, висящее на фоне лесистых холмов и дождевых облаков; оно проплывало по пейзажу словно рефлекс по водной поверхности, бледный дух бледненькой девушки. Ускользнувший из прически черный локон она сунула за ушко, подняв к лицу пальчики в белом облаке кружев — даже этот жест был приглашением к беседе. Когда Елена поворачивала голову, на бархотке мерцала темно-красная звездочка — рубин? В серебре маленьких сережек поблескивали черные жемчужинки. Черты ее лица накладывались на далекие воспоминания о — племяннице? дочке соседей из Вилькувки? Слишком большие глаза, слишком острый нос, красота, рожденная из несовершенства, черно-белая косметика подчеркивает ее еще сильнее, трудно оторвать взгляд, трудно забыть.

Девушка разглядывалась по купе, ища выхода для нетерпеливой энергии, повода, чтобы разрядить ситуацию. Ее взгляд остановился на разбросанных на секретере бумагах.

— Что это за шифры?

*Я-оно*сорвалось с места, подскочило к секретеру.

— Ах, нет... — прозвучал не слишком откровенный смех, *я-оно*собирало машинописные и рукописные листы в папку, — никаких шифров; так, забава в математическую логику.

— Да...?

*Я-оно*глянуло с подозрением:

— Вы находите математику интересной?

Елена сделала обиженную мину.

— Разве я не могу интересоваться тем, чего не знаю? Разве всякий здоровый ум не будет более всего заинтригован именно теми вещами, с которыми он не имел возможности столкнуться, еще не понятыми, таинственными и экзотическими — в отличие от того, что уже известно и скучно? Так чему вы удивляетесь, пан Бенедикт? — Елена взяла один из листков. — Вот скажите, к примеру, в чем тут дело?

— Нуу... Как раз это и невозможно... Ладно, только не смотрите на меня так.

Боже мой, да разве существует более банальный трюк для начала беседы? Просто необходимо дать мужчине разговориться о его работе, его увлечениях — пускай думает, будто бы женщина и вправду этим интересуется и внимательно слушает, пускай павлин распустит свой хвост. Ведь этот принцип был прекрасно известен...

И все же.

— Логика, ммм, логика занимается правилами понимания, правильностями методик делания выводов... вы и вправду хотите об этом слушать?

— Вот когда спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете?

— Ну, что как-то связываю концы с концами...

Она приподняла бровь.

— Ну, ладно. — Я-оноуселось напротив панны Елены, папку уложило на коленях, разгладило бумаги. — Я работаю над логикой предложений. Каждое предложение обладает какой-то логической значимостью. Значимостью по отношению к истине. Но не все, что мы говорим, является предложением в плане логики. Например, такими не являются вопросы, приказы, высказывания, лишенные подлежащего или сказуемого, или значение которых каким-то образом искачено. Бамбарара бумбарует бимбарика. Правда это или ложь? Вы понимаете?

— Да, да.

— Уже с древности, от Аристотеля, обязательной считалась классическая двухзначная логика. Ее называют двухзначной, поскольку она оперирует двумя значениями: правды и лжи. Каждое предложение является либо правдивым, либо лживым. От Аристотеля идет и несколько основных законов логики, о которых вы тоже могли слышать. Закон противоречия, гласящий, что одно и то же предложение не может быть одновременно истинным и лживым. Мы говорим и не говорим. Я живу и не живу. Я человек, и в то же самое время — я не человек. Понятное дело, абсурд. Правило исключенного третьего — для любого предложения имеется только две возможности: либо истинно само это предложение, либо его отрицание. Дождь идет или не идет. Сейчас стоит день, или нет. Мы едем на поезде, либо не едем на поезде.

...Но уже в древности с принципами логики Аристотеля начали полемизировать. — Я-оноразгонялось. — Из Цицерона нам известен спор Хризиппа с Диодором о правомочии предсказаний авгуров и халдейских гадалей. Все стоики были закоренелыми детерминистами и сторонниками двух значений, панна Елена, *omnem enuntiationem aut veram, aut falsam esse* [\[55\]](#). Но и сам Аристотель имел моменты сомнений в Герменевтике, когда размышлял, к примеру, о морской битве, которая может, но не обязательно должна разыгаться завтра. Впоследствии это украдкой проходило через средневековую схоластику, Паулюс Венетус в *Logica Magna* [\[56\]](#) все эти будущие морские битвы забросил в категорию «неразрешаемых», *insolubilia*, предложений. А десяток с лишним лет назад, проблему заново поднял доктор Котарбиньский, предлагая вместо двухзначной — трехзначную логику.

...Так вот, не все осмысленные предложения являются истинными или лживыми в момент высказывания. «Всякая истина вечна, но не всякая истина извечна». Это означает, панна Елена, — я-оноразошлось чуть ли не до словесного извержения, — что когда какое-то событие произойдет, истина о нем определяется, и когда мы что-либо о нем утверждаем, это будет уже истиной или ложью: но до тех пор, пока ход данного события не будет завершен, утверждения о нем не являются ни правдивыми, ни лживыми. Такие предложения обладают иной логической ценностью, иной степенью — они, как раз «нерешаемые». Доедем ли мы вовремя до Иркутска? Что бы я об этом сейчас не сказал, это не будет иметь отношения к истине или лжи.

— Я правильно понимаю: старая логика должна касаться только прошлого, так?

— Где-то так. Как раз в этом пункте я расхожусь с Котарбиньским. Такой уверенности у меня нет. Тут необходимо ответить себе на три вопроса:

...Вшиты ли законы логики в самую действительность — как основа в ткань, ритм в мелодию, цвет в свет — или же мы создаем ее, логику, в качестве своеобразного языка,

служащего для рассказа о мире? То есть, были бы мы другими, если бы по-другому говорили, по-другому мыслили, были бы родом из другой культуры, иной Истории, другими телами участвовали в жизни мира, другими чувствами этот мир воспринимали? Были бы они, законы логики, для нас другими, если бы мы не были людьми? То есть, являются ли они другими для лютов?

...И существует ли вообще та истина, на которую ссылается любая логика, истина как таковая, то есть — объективная, абсолютная мера правоты всех суждений; или же у нас есть только неполные приближения, основанные на том, что мы знаем, что можем познать — именно такими, какими мы родились? Но если, все-таки, объективной и абсолютной истины нет, тогда мы так же не имеем права говорить о каких-либо приближениях к ней: можно быть ближе или дальше какой-то конкретной точки, на расстоянии, отсчитываемом по конкретной шкале — но невозможно приближаться или удаляться от места, которое не существует, или же которое остается неопределенным в пространстве. То есть, либо нам дана объективная, независимая от того, кто ее познает, истина, либо вообще нет ни истины, ни лжи в том смысле, в котором все пользуются этими словами.

...И наконец: какой аргумент стоит за признанием особого статуса прошедших событий, поскольку к ним мы применяем двухзначную логику, а к будущим событиям — уже нет? Они остаются неопределенными, чем дальше отстоят от нашего непосредственного опыта; чем менее они детерминированы они — тем сильнее. Почему аналогичный принцип трехзначности мы не применяем к прошедшим вещам? Не является ли это всего лишь предубеждением, родившимся из людской природы — ибо человек помнит прошлое, но будущее себе уже лишь представляет, только предвидит? То есть, а не должна ли двухзначная логика быть обязательной только лишь в отношении к непосредственно данному нам настоящему?

Панна Елена слушала с огромным вниманием, грудь вперед, лобик вверх, глазки широко раскрыты — здесь следовало отдать ей должное, она очень хорошо разыгрывала заинтересованность.

— По-видимому, я все же не до конца понимаю, прошу мне помочь, пан Бенедикт. Чем бы это отличалось от признания, что мы, попросту, не знаем, что случилось в прошлом? Точно так же, как мы не знаем, что произойдет в будущем.

— Вы ошибаетесь. «Я не знаю, что происходило в этих лесах сто тысяч лет назад» — мне это известно либо неизвестно. Но если я скажу: «Сто тысяч лет назад здесь бушевали пожары» — то, независимо от того, известно ли мне это, либо я просто гадаю, или мне приснилось, или я вычитал это в геологических отложениях, или даже если я уверен в том, что вру — в соответствии с логикой Аристотеля и Котарбиньского предложение является истинным или лживым, точка.

— Но, в соответствии с вашей логикой... Полуправда, полужошь, одна из возможностей, так? Какова же та, — панна Елена очертила в воздухе окружность, — та область уверенности, в которой логика...

— Замерзает? Настоящее. Здесь и сейчас. То, что мы воспринимаем чувствами.

— То есть, уже не вчерашний день? Вы не доверяете собственной памяти?

— Ну... различные люди помнят различные версии одних и тех же событий... Вполне естественно, о том, что происходило вчера, я могу выдвинуть довольно четкие выводы. Котарбиньский писал о детерминированном будущем: сейчас я выпью яд, убивающий через час, и в этот момент уже могу сказать правду о том, что завтра жить не буду. Точно то же я могу сказать то и другое о детерминированном настоящим прошлым. Например, раз я живу сегодня, то жил и вчера. Хотя, возможно, нужно было бы воспользоваться иным словом для

детерминизма, направленного против хода времени. Но ведь именно так мы и делаем выводы о существовании вещей, находящихся вне нашего непосредственного опыта. — *Я-оно* обвело быстрым жестом интерьер купе, поезд, залитую дождем равнину. — А вот о том, что было несколько лет назад... уже не так уверенно.

Панна Елена Мукляновичувна прижала палец к алым губам.

— Так может, несмотря ни на что, вы таки граф, а?

— О Боже!

— Так, на одну десятую, а?

И она рассмеялась.

Я-оно спрятало папку с бумагами в ящик секретера.

Елена протянула мраморно-белую ладонь; легкое прикосновение девушки остановилось на рукаве куртки, соскользнуло по гладкой материи к запястью — кожа у нее была сухая и прохладная.

— Только не сердитесь, прошу вас. Все это и вправду очень интересно. Честное слово! Вот только вы относитесь к себе настолько серьезно... Если бы только вы видели свое лицо... А как вас тронула вся эта история с князем Блуцким...! Вы вообще когда-нибудь улыбаетесь? Ну, пожалуйста, улыбнитесь. Ну! Я вас очень прошу, пан Бенедикт!

Я-оно оскалило зубы.

— Я счастлив как пьяный заяц.

— Вот! Так уже лучше! Я еще смогу обратить вас в истину, вот увидите. А если вы думаете, будто бы...

В стенку *атделения* постучали.

— Еленка, пора принимать твои лекарства!

Девушка возвела глаза к потолку.

— Иду, тетя!

Я-оно закусило большой палец.

— Подслушивает, что? — спросило шепотом.

Елена пожала плечами. Она поднялась, поезд подскочил на стыке, ей пришлось инстинктивно схватиться за золоченую змею ручки гардероба. *Я-оно* так же инстинктивно встало.

Девушка оперла указательный палец левой руки на воротнике куртки, где-то на уровне сердца.

— А теперь, — начала она суровым тоном, — прошу мне обещать, что вы отправитесь в вагон-ресторан и позавтракаете как нормальный человек, потом в курительном салоне спокойно выкурите папироску ради хорошего пищеварения и...

— Панна Елена! — перепугано отшатнулось *я-оно*.

— И что? Что? Вот не выйду, пока вы мне не пообещаете! Думаете, я шучу?

И ради большего эффекта она топнула ножкой, правда — бесшумно, ковер затушил стук туфельки.

— Ну, и чего вы теперь смеетесь? Почему смеетесь?

Я-оно отняло ее ладонь от груди, подняло и легонько коснулось губами.

— Обещаю, панна Елена, обещаю.

Эти слова вызвали прилив румянца — по сравнению с бледностью ее кожи, багрового, словно пятна от отморожений.

Девушка вырвала руку, отпрянула. Неожиданная робость не позволяла ей теперь поднять глаза; Елена кружила взглядом по зеленым стенам, сложному орнаменту ковра, по позолотам и узорам.

Но с каждым шагом назад, к ней возвращалась уверенность. Стоя в коридоре, она на мгновение придержала дверь и сунула голову вовнутрь купе.

— И, естественно, встречаемся на обеде! — храбро заявила она. — Ведь должны же вы рассказать, что, собственно, приключилось на сеансе княгини Блуцкой! Обязательно!

И ушла.

Тааак. Тетушка Лоуренсия, страдавшая от затяжной болезни крови и большую часть времени проводившая в больницах и на курортах Италии и Швейцарии, когда чуточку поправлялась и на несколько недель поднималась с постели, взрывалась той же самой эмоциональной энергией, чуть ли не навязываясь родственникам, знакомым и незнакомым людям со столь характерной для детей наивностью и откровенностью, с невинным любопытством по отношению к миру и людям. Болезнь поляризует характеры; чем она тяжелее — тем сильнее поляризация; человек выходит из заболевания либо приглашенным, подавленным, истощенным телом и душой, либо, как раз, с громадным желанием жизни, вечным недостатком впечатлений.

*Я-оно*надело серый костюм, причесало волосы, еще раз присмотрелось к себе в зеркале, проверило щетину... Но, ведь чем дольше это продлится, тем большая сила нужна, чтобы, в конце концов, переступить порог; единственное здесь спасение в инстинктах и бессмысленной наглости — дверная ручка, ключ, замок, голову вверх, вперед! Только не улыбаться.

В вагоне-ресторане *я-оно*застало всего двух пассажиров; присело в противоположном конце. Стюард с каменным лицом подал меню. Лица прислуги всегда имеют подобное выражение, это маски многозначительного безразличия: чего ты в них ищешь, чего боишься или надеешься увидеть — именно это ты и увидишь. Заказывая блюда, на официанта не глядело. Те двое уже вышли. Где-то в вагоне открыли окно, и зал наполнился запахами дождя, в воздухе повисла холодная сырость. Посуда и столовое серебро, фарфор и металл, стекло и фаянс звенели в тишине (в тишине — то есть на фоне тяжелого метронома поезда). В дверях, ведущих в кухню, стоял главный стюард, выпрямившись, с переброшенной через руку салфеткой, уставив взгляд куда-то в пространство. Он не смотрел, но видел. *Я-оно*ело в спешке, заглатывая куски непрожеванными. Было воскресенье, в меню были представлены английские пудинги в семи видах, описанные на четырех языках. Можно было поест еще быстрее.

В проходе к салону *я-оно*на мгновение приостановилось. Что же это за безумие — сознательно идти на муки. Да и за чем — ведь не за чем. Единственное, что необходимо сделать, это доехать до Иркутска. А обещания прекрасным глазкам... да плевать на обещания. Ведь нет в этом никакого смысла. Один шаг — и все будут пялиться словно увидели теленка с двумя головами.

*Я-оно*вошло вовнутрь.

Мужчины подняли головы, разговоры утихли. *Я-оно*подошло к стюарду, попросило огня. Затем глядело в окно, затягиваясь первым дымом; выдувая первый дым, глядело уже в потолочный люк. Постепенно все возвращались к прерванной беседе. Ветер гнул ветви елей и сосен, тал темные тучи по небу, над холмами среди небесных затеков время от времени просвечивало белое солнце — электрическая лампа богов; Экспресс мчался по направлению радуги. Можно ли уже отвернуться от окна? *Я-оно*повернулось.

Двери в биллиардную были раздвинуты. К большому столу придвинули стулья, четверо мужчин играли в карты. На незапятнанной зелени валялись банкноты, на краях стола стояли рюмки и чашки; пепельницы и плевательницы были подвинуты под стол. Доктор Конешин как раз тасовал колоду, рядом с ним лысый южанин с огромной старательностью срезал

кончик толстой сигары, высывая из-за кривых зубов темный язык. Капитан Привеженский подвинул к себе кучку денег и поднял глаза. На его взгляд *я-оно* ответило без тени улыбки.

Привеженский вынул трубку изо рта, прищурил глаза с издевкой, выдул губы.

Один стул был свободный. Он постучал чубуком по лузе.

Я-оно вынуло записную книжку и присоединилось к игре.

О том, о чем нельзя и подумать

Большую часть своих поступков мы способны объяснить на языке второго рода: ясно и понятно мы можем высказать, почему поступили так-то и так-то. Даже когда собеседник с нашими объяснениями не соглашается, все равно — он их *понимает*.

Но имеются поступки — их значительно меньше — о которых мы не можем рассказать другому человеку. Их мы понимаем лишь сами, их охватывает лишь язык первого рода; а язык первого рода не состоит из слов, он не организован в соответствии с грамматикой межчеловеческого языка. Если же, несмотря ни на что, мы предпринимаем попытку такой исповеди — в церковной исповедалине, в объятиях любовницы, на смертном ложе, перед высоким судом — из наших уст исходит лишь нелогичное бормотание, к которому мы сами прислушиваемся в беспомощном изумлении.

И еще есть такие поступки — уже совершенно редкие — которых мы не способны объяснить себе самим даже на языке первого рода.

Мы можем их представить (представить можно даже величайший абсурд, особенно *post factum*), но никак не можем их обосновать, как обосновывается логикой последствий всякое действие и слово персонажа пьесы или книжки: в данной сцене герой делает то-то и то-то, по той или иной причине, поскольку сам он такой-то и такой-то человек.

Но жизнь тем-то и отличается от рассказа о жизни — то есть, от отражения жизни, искаженного языком второго рода — что вначале она является истиной, а только потом о ней рассказывают.

Таким образом, имеются такие поступки — мотивов, причин, эмоций и мыслей за ними стоящих мы не имеем возможности описать даже себе самим.

Но если и имеется единственное правило, управляющее поведением всех людей, то это Правило Меньшего Стыда. Можно сознательно осуществлять действия, ведущие к собственному страданию, даже к собственной смерти — но никто не осуществляет действия, ведущие к большему стыду. Как вода, стекающая по неровностям поверхности, всегда стремится занять самое нижнее положение, как тепло, всегда уходящее из тела, так и человек в любой ситуации всегда направляется к наименьшему стыду.

Иногда отдаленный по времени стыд является нам, в результате такого отдаления, не столь резким — именно так рождается лень — но кто, будучи в здравом уме, из двух грозящих ему состояний стыда выберет наибольшее? *Я-оно* не знало смысла подобного выбора, никак не могло представить мыслей и чувств, стоящих за подобного рода выбором. Это было невозможностью столь же фундаментальной, как Солнце на ночном небосклоне или женатый холостяк.

И все же...

Как-то сидели мы в мансарде у Збышека, на столе двадцать четыре рубля, впервые игра шла на деньги, утрата которых была способна повлиять на ход жизни, карты паршивые, в кармане остатки сбережений, нужно спасовать, сказать, что время уже позднее, и уйти; это же без каких-либо сомнений очевидно и разумно — прямо видишь, как это делается, слышишь,

кто и что говорит на прощание... Тем не менее, вытаснены последние деньги поставлены на проигрышную карту.

Или:

Юлия, истерично жестикулирующая, строящая рассерженные гримасы из-за спины своего отца, который на мгновение укротил ярость и встал в дверях, разложив руки: ну, говори же — и вот уже открываешь рот, чтобы выплюнуть наибольший стыд — на кого: а на него, на Юлию, на всех, он стечет, словно горячая слюна, попадет на лицо и одежду, склеит волосы и веки — только, пускай пан отец слушает внимательно — а Юлия немо произносит по слогам: не говори, не говори, не говори — но язык уже оторвался от нёба, уже произносит проклятие, отец девушки бледнеет, ноги под ним подгибаются, он поворачивается к дочери, но та уже крутнулась на месте и сбежала в дом, хлопая дверями. Только ее и видели. Последний образ панны Юлии: горящее румянцем лицо — словно ожог, глаза расширенные, в них — холодное отчаяние. Стыд ударил отравленной стрелой.

Или:

Милый Принц садится за карточный стол, на кону сто двадцать рублей, Кивайс с Модржиковским выписывают векселя, на руках одни пары, так что нужно пасовать, а долг уже настолько велик, что необходимо снова будет брать кредит у Принца и униженно ползать перед евреями — так что имеется намерение, мысль и воля бросить карты и встать из-за стола, но вместо того: Перебиваю. И после того уже ни малейшего изумления, когда пропадают деньги на квартиру, на лекарства, на жизнь. Даже сердце уже не бьется сильнее. В тот раз надежды на победу не было. Тогда, зачем же было играть?

Могут сказать: вредная привычка. Вредная привычка или же настойчивая повторяемость поведения — но как на языке второго рода спросить о том, что же стоит за этим поведением? Тут уже он окончательно сдается; остаются вопросы, описательные предложения смысла уже не имеют.

Но и язык первого рода тоже здесь не помощник: мы *не знаем*, зачем делаем то, что делаем.

Эти действия — уже не наши действия. Эти слова — уже не наши слова. В игре мы участвуем, только нет уже никакого «я», которое играет.

Мысль: «Я существую» — вовсе не означает, будто бы имеется некто, кто мыслит о том, что существует; она означает лишь то, что была обдумана мысль о существовании.

Мысли обдумываются, тело видит, слышит, касается, можно ощущать работу его влажных механизмов; оно видит, слышит, касается, нюхает, вкушает внешний мир, принадлежащие к данному миру предметы, живые и неживые — но вот каким органом чувств следовало бы воспринимать существование этого предполагаемого «я»?

Нет такого органа, и нет такого чувства. Маленькие дети говорят о себе в третьем лице, только договоренности общечеловеческой речи заставляют их войти в роль «себя», «я». И со временем, ухватить эту первейшую истину становится все труднее — ибо о таких вещах нельзя и подумать.

О героях азарта и скорости Льда

— Четыре.

— Четыре.

— Тоже.

— Тогда я восьмерочку.

— Стою.

— Спокойно.
— Кто-нибудь перебивает?
— Восемь.
— Господин Фессар?
— *Ничево*.
— Капитан?

— Ммм.
— Господин Бенедикт?
— Проверим, проверим.
— Четверка сгорела.
— Лед от пятерки.

— Ну, извините! С двумя огненными дамочками на руках, причем, второй раз подряд! Да как вы карты сдавали!

— Хе-хе, *гаспадин* Чушин весь капитал так продует еще до того, как увидит свои шахты.

— Нечего о моих шахтах беспокоиться, лучше беспокойтесь о своих бумажниках. Поднимаем ставки до десятки, согласны?

До того какое-то время играли в вист и *vingt-et-un* ^[57], но последнюю пару часов игра шла по правилам зимухи. Пара человек под села на десяток раздач; сейчас же снова осталось только пятеро. Люди проходили, приостанавливались, присматривались. Крупные суммы в банке привлекали внимание. Стюарды доливали напитки, очищали пепельницы, открывали и закрывали окна. Шары грохотали в лузах, когда Экспресс поворачивал, тормозил или разгонялся.

— И что они себе думали, засунув бильярдный стол в поезд? — дивился Юнал Тайиб Фессар. — Как только мне начинает казаться, будто бы я уже привык и начал понимать эту страну, встречается нечто подобное, и снова я начинаю чесать себе голову. Лежит король.

— Лежит туз.
— Лежит девятка.
— Господа...
— Здоровенный...
— Ого!!!

— Видно, им пришлось строить весь вагон вокруг стола.

— Или опускать через крышу. Второй кон.

— Монументальная глупость, оправленная дорогостоящим комфортом, — буркнуло под нос *я-оно*.

— Что вы сказали?

— *Grand seigneur* ^[58] милостиво решил провести аллюзию к нашей отчизне, — вежливо пояснил доктору капитан Привеженский. От сарказма удержаться он не мог. Пока что удавалось не отвечать ему липкой усмешкой и просительным взглядом — поскольку *я-оно* вообще на него не глядело.

— Лежит туз.

— Ну у вас и раздачи. Лежит семерочка.

— *Heureux au jeu, malheureux en amour* ^[59], — как сказал бы господин журналист. Ну ладно, только по правде — какой смысл? Что можно придумать более глупое, чем бильярдный стол в поезде?

— Хм, можно предложить новые правила, — заметило *я-оно*, сдавая в пулю валета. — Есть шахматы, и есть зимуха.

— Что вы имеете в виду?

- Бильярд с, ммм, дополнительным элементом случайности.
- Человек бьет, а Господь Бог шары носит. Лежит пятерка.
- Ух, господин доктор, когда блефуете, нужно быть поумереннее!
- Пускай господин капитан скажет это Алексею Федоровичу.
- Господин Чушин может себе позволить блефовать по-глупому.

Алексей Чушин унаследовал от дяди (тестя, дедушки, какого-то другого родственника или свойственника) контрольный пакет в обществе по добыче зимназа, и теперь ехал, чтобы принять во владение неожиданное богатство. Занимался ли он до того горным делом? Имел хоть какой-нибудь опыт в делах? Сейчас, во время пути, так или иначе проверить это было невозможно, и по сути дела — никакого значения и не имело: он был тем, кем попутчикам представился. Темно-синий сюртук облегал его бочкообразный торс словно кишка колбасу; в черном жоржетовом галстуке-бабочке поблескивала шпилька с бриллиантом. Самый старший по возрасту из игроков, за картами он проявлял ужасное непостоянство и отсутствие логической стратегии: ему случалось сбрасывать пять-шесть карт при раздаче, чтобы потом пасовать во время торговли. При этом он вытирал лоб громадным платком и глубоко вздыхал, присматриваясь к картам на руках. Я-оноразмышляло над тем, насколько такая театральность Чушина для него естественна, а насколько следует из его уверенности, будто бы именно так должен себя вести богач во время игры. Он не пил чая, кофе или водки — просил исключительно шампанского. Перед сдачей он очень долго оттирал пухлые ладони, карты клеились к его пальцам.

Манера поведения во время азартной игры — и здесь не играет никакой роли величина ставки, раз мы действительно поглощены игрой — выдает о нас вещи, которые никаким иным образом мы бы не раскрыли. И это совсем даже не вопрос крепких нервов; можно иметь нервы из стали и все время погрязать в безнадежных блефах. Говорят, что невозможно отличить труса от героя до тех пор, пока их не испытаешь, то есть, пока им не приставят нож к груди, пока они не очутятся под вражеским огнем. В жизни будничной, ни холодной, ни жаркой, в домашнем тепле, при температуре собственного тела — душа гниет, словно мясо, оставленное на июльской жаре. Так вот, азарт предлагает одно из наилучших приближений ситуации истинного испытания. Военные герои, те, что выжили, которые потом рассказывают о своих боевых подвигах, всегда вспоминают моменты, когда, пожав плечами и сплюнув — «Однава живем!» — они бросались в рискованную авантюру, полагаясь только на судьбу, довольно часто уверенные в том, что в этой ужасной ситуации не выживут.

Капитан Привеженский играл очень осторожно, никогда не продавая «горячих» карт и часто пасуя сразу же после раздачи; зато он три раза последовательно повышал ставку и торговался до самого конца. Но, поскольку он делал это с такой солдатской правильностью, очень быстро все это поняли и сразу же отступали, как только он бросал вызов. То есть, даже сохраняя достойное удивления спокойствие, не выдавая себя ни словом, ни жестом, ни выражением лица, наш капитан никогда крупных денег не выигрывает.

В свою очередь, действия доктора Конешина предусмотреть было совершенно невозможно. Нам были известны такие игроки — когда им везет, то они выигрывают целые состояния, если же нет — эти же состояния спускают.

Юнал Тайиб Фессар представлял собой совершенно отдельный случай. Он скучал. Скучал, когда проигрывал, и точно так же скучал, когда выигрывал. Все, что делал за столом, он делал как бы нехотя и машинально. Действительно ли игра и деньги не имели для него никакого значения и, в связи с этим, для него это совершенно не было испытанием — или же турок именно так всегда и вел себя в сложные минуты? Лысый и худой тип с левантийским типом красоты, с жилами, натянутыми под сожженной солнцем и морозом кожей, будто

фортепианные струны — в нем не было костей и мышц, одни только суставы и сухожилия; когда он улыбается, кривые зубы скрипят в деснах; когда он глотает густой кофе, адамово яблоко прокалывает шкуру шеи, словно проклевывающийся шелковичный червь. Длинными ногтями он постукивает по рубашкам карт, постреливая пальцами, словно кастаньетами. Если ударить по его яйцеобразной голове, наверняка раздастся сухой стук, словно стучат по дубовой древесине.

Господин Фессар возвращался с переговоров в Константинополе. В Иркутске он занимался делами коммерческой компании, продающей в Средиземноморском бассейне природные богатства Сибири, в основном, зимназо, тунгетит и олово. При этом он утверждал, что половину жизни провел в иркутском губернаторстве.

Рассказывая Алексею Федоровичу живописные истории из Страны Лютов, он, казалось, скучал уже не так.

— И не верьте западным геологам, они вам продадут карты, из которых можно вычитать историю гор, положение доисторических поселений якутов и месторождений самых редких минералов, но люты им не по зубам. Берите русских, поляков, в самом крайнем случае — людей с Балкан, закончивших австрийские учебные заведения. Как-то раз был у нас специалист из Америки — ну что, господин доктор, чья сейчас очередь — ага, так был у нас такой фрайер с аляскинских месторождений, так вот, *kurtlu baklanin kor alocisi olur* [\[60\]](#), двадцать тысяч профукали на пустые скважины и теплые месторождения.

— Я слышал, что существует полная карта холодных месторождений...

— А, знаменитая карта Гроховского! Можете быть уверены, в первую же неделю после приезда вы получите с дюжины предложений купить ее, всякие темные типы, бродяги, бывшие каторжники, мартыновцы, искатели легких денег; вы же понятия не имеете, что это за место; совсем еще недавно Южная Африка, перед тем — Калифорния, а теперь авантюристы и мошенники всех мастей катят именно сюда: за Байкал, в Зиму. Господин Бенедикт, вы продаете или нет? Тогда не мусольте карту — кладите или спускайте. Ну вот, и кофе остыл, только собаке такие помои отдать...

— Лежит дама в огне.

— Лежит восьмерка, — сказал капитан Привеженский. — Погодите, а разве компания господина Чушина уже не имеет концессии на эксплуатации этих месторождений? Ведь, по-видимому, им известно, что и где они добывают?

— Все зависит от того, чем занимаются. Если, к примеру, речь идет о Черемховском перемороженном угле, то Боже их благослови. Но если речь идет о зимназе... Так что, Алексей Федорович?

Чушин вытер лоб.

— Вы любите меня пугать, господин Фессар, вы злой человек.

— Я его пугаю! Нет, господа, только поглядите. Сажу тут и жду, десять и десять. Господин доктор?

— Спокойствие. — Конешин отложил комплект на руке и закурил новую папиросу. Мы же толстые журналы почитываем; то ли «Абразавање», то ли «Савременный Мир» недавно поместил приличную статью. Сибирский тунгетит... так или иначе, но ведь *шахт* тунгетита не существует, правда?

— Для этого есть сороки, местные проспекторы. Отчасти это охотники, в том числе — из якутов и тунгусов; за тунгетит платят гораздо лучше, чем за лис, соболей, выдр и куниц, и, говоря по правде, его гораздо легче встретить. Отчасти же это столыпинские мужики, другая часть — бывшие золотоискатели. И, наконец, обычная сибирская шушваль когда уже пропьет последнюю копейку, а к честной работе на шахтах или холодницах в Холодном Николаевске

испытывают полнейшее отвращение, так что эти бездельники делают? Бредут на север, сорочить.

Юнал сунул руку во внутренний карман пиджака, вынул свежую сигару, сорвал бандероль, после этого вынул тяжелый перочинный нож, пригодный, скорее, для свежевания тигров, при этом он прищурил левый глаз, чтобы обрезать поровнее — наверное, это было единственное действие, которое полностью занимало его внимание.

— Ммм. Понятное дело, что эти искатели продают нам и сообщения о месторождениях зимназа — это целая сфера деятельности для всяких мошенников. Но за информацию о хорошем месторождении платят тысяч десять, а то и больше. Потом, естественно, необходимо забить за собой права на добычу, при чем, настолько быстро, чтобы конкуренты не перебежали дорогу. Все крупные компании запускают друг к другу шпионов. В конце концов, перекупить можно любого, так что нужно держать ухо востро. Вот информатора и сажают в подвал, чтобы он не смог одно и то же место продать кому-то другому.

— А если окажется, что именно вы и были тем другим или третьим?

— Для того его в подвале и держат, чтобы, в случае чего, и башку свернуть. Они это знают. Тут делишки для острых ножицков... Таак.

Турок покрутил свой нож в руке, только потом его спрятал и прикурил сигару.

— А вы, господин Саксонский, снова игру задерживаете, карточку продаете, ждете, на чудо рассчитываете или как?

— Не может решиться, то ли труса сыграть, то ли рискнуть, — буркнул под нос капитан Привеженский.

Я-онов очередной раз глянуло в карты. Раздача паршивая, сплошной высокий огонь: бубновая дама, десятка, девятка и семерка тех же бубен. Даму продал, на ее место пришел холодный король. Продать сейчас десятку? Сразу же поймут, что на руке сплошная жара, точно так же можно сразу же и пасовать. Не продавать? Тогда с раздачей можно попрощаться, равно как и с приданым дамы.

— Здоров.

Турок приподнял бровь.

— *Харашо*. Капитан?

— Лежит холодная десятка. Так что, вы говорите, будто бы все разработки зимназа — это разработки открытые случайно. Но, раз люты доходят уже до Одера...

Я-оноразгладило бумажную салфетку на краю стола, кивнуло стюарду.

— Можно попросить карандаш? Благодарю. — Совершенно инстинктивно послунило кончик карандаша. — Так, до Варшавы они добрались в тысяча девятьсот пятнадцатом, то есть — через шесть лет и где-то восемь месяцев; четыре тысячи девятьсот километров за пятьдесят восемь тысяч триста двадцать часов, ммм, восемьдесят четыре метра в час; что-то тут не сходится, в городе, если будет метров восемь в час, то самое большее, скорее они не промерзают.

— Видать, по земле они тянутся раз в десять быстрее.

— Земля лучше проводит Лед, это факт. — Юнал кивнул сигарой. — Покажите-ка ваши расчеты.

Я-оноподвинуло салфетку к нему.

— Таак. Забавно, в свое время мы на фирме считали, у нас вышло около сотни метров в час, это по Дорогам Мамонтов. Я хорошо помню, девяносто шесть или девяносто семь.

— Лед притормаживает.

— Такое возможно.

— В самом начале, как правило, люты распространялись намного быстрее.

— Но вы не обязаны руководствоваться моими подсчетами. Быть может, Лед не распространяется равномерно. Быть может, имеются привилегированные направления, привилегированные места, вторичные эпицентры. Все это тоже можно рассчитать. Почему Зима господствует в городах? Следующим этапом была бы целевая индукция и... Простите.

Турок даже вынул сигару из рта, уже напряглись сухожилия лица и шеи — но тут он замаялся и так замер, секунда, две, три. Сражаясь сам с собой; в конце концов, он проиграл и не сказал ничего.

— Это словно волна, расходящаяся от места возмущения, — сказал доктор Конешин. — Алексей Федорович, как я понял, спасовал?

— Ну... наверное, да. Так.

— Господин капитан.

— Десять.

— И я.

— Я тоже.

— *Пажалста.*

— Так вот, как я рассуждаю. — Доктор откинулся на спинку стула, выпустил дым, задумчиво дернул себя за левый бакенбард. — Если бросить камень в пруд, по воде пойдут круги. Но ведь эпицентры есть разные, вода, не вода; могло случиться возмущение, которое никогда ранее в нашем присутствии не случалось. Как мы узнаем? А никак не узнаем. Явление, случившееся раз сто — это закон природы, явление, случившееся один раз — это чудо. И вот так оно и расходится, как круги по воде...

— Люты, Лёд?

— Да.

— Но все дело в том, господин доктор, что здесь все гораздо сложнее простой арифметики волн. Нам не известны законы, которые данным явлением управляют, да и откуда нам их знать? — *Я-оно* коснулось языком нёба, подыскивая слова, наиболее близкие мысли. — Но вот, скажем, человек в первый раз становится на берегу моря, в первый раз видит морские валы... И точно так же, как незнание законов, управляющих поведением жидкости, не сделает в наших глазах из волн — независимых, разумных существ, точно так же, незнание физики Льда не сделает их из Лютов. Господин Фессар?

— Да. Десять и двадцать, продолжаю. Господин капитан?

— Нет, спасибо.

— А что скажет наш граф?

На столе лежало уже около двухсот рублей. Конешин и Фессар остались в игре, они не продавали почти что ничего — доктор сбросил одну черную семерку; шли на холодных картах. Или же серьезно блефовали. Так или иначе, их не достать: *я-оно* уже успело сегодня продуть больше восьмидесяти рублей, в бумажнике оставались неполные две сотни, остаток от министерской тысячи. В кредит скомпрометированному мошеннику, понятно, никто тут не даст. Даже если пойти на все, турок всегда может перебить. И проверить. А на руке сплошной огонь. Разве не идеальный это способ спустить все до последней копейки?

Так что понятно, что следует сделать: имеется намерение, мысль и воля бросить карты и выйти из игры.

Но вместо этого:

— Повышаю.

Я-оно выложило все банкноты из бумажника. При этом даже сердце сильнее не забило.

Все присматривались с интересом. Чушин попросил еще один бокал шампанского. Капитан Привеженский с иронической усмешкой выбивал трубку, господин Фессар жевал

свою сигару. За спинами играющих и с другой стороны биллиардного стола приостановилось несколько человек, которых приманил вид выложенной наличности. Заглянула даже какая-то женщина из салона, что было слышно по шелесту платья. *Я-оно*держало глаза на уровне карт.

— Таак, — вздохнул Юнал, отсчитывая и бросая на сукно сорок рублей, затем еще сорок. — Должен признать, но я нахожу аналогию доктора весьма увлекательной. Но почему бы не пойти дальше? Может быть, жизнь вообще, может быть, мы — растения, животные, люди — тоже представляем собой всего лишь такие вот «более сложные волны», расходящиеся от момента, от места Первого удара? А? Каким образом отличить? Доктор?

Доктор Конешин посчитал взглядом выложенные ставки, поправил на носу пенсне, выдул губы.

— Простите, господа, я погляжу со стороны.

— *Гаспадин*Ерославский?

— Вы сами не верите в то, что говорите. — *Я-оно*выпрямилось на стуле, уложило запястья на отполированный край стола. — Вам кажется слишком абсурдным, чтобы честно над этим поразмыслить. Вы рассуждаете так: «Уж я, наверняка, не являюсь какой-то там волной». Вы считаете, будто бы существуете каким-то иным, более независимым образом. Вы считаете, что раз мыслите, то уже и существуете. Вы ошибаетесь.

— О! — Турок наклонился над столом, наконец-то разбуженный и заинтригованный. — Выходит, мы вам снимся, так? Я прав, молодой человек?

— Ничего подобного. Я тоже не существую. Сорок и мои сорок.

У Юнала загорелись глаза. Кончиками пальцев левой руки он ласково погладил кожу, натянутую круглым черепом.

— Вы не существуете! Вы говорите мне, что не существуете. Кто же мне говорит это?

*Я-оно*отмахнулось папиросой.

— Язык. Тоже мне аргумент. Вот я назову эти солнечные лучи каким-нибудь эффектным именем и стану утверждать, будто существует некий ангел света — иначе, кто бы нас тут согревал?

— Ага, то есть, дело не в том, что вас вообще нет, но...

— Именно так, как сказал доктор. Мы существуем настолько, насколько существуют люты, насколько существует цветок инея на оконном стекле. Временное возмущение материи, в форме которого как раз и содержится способность к мышлению. — *Я-оно*начертило в воздухе синусоидальную кривую.

— *Временное?*

— Временное, то есть, относящееся только к настоящему — той бесконечно тонкой линии, по которой несуществующее граничит с несуществующим. Я не могу этого доказать, но уверен, что в категориях истины и лжи можно говорить лишь о том, что замерзает в Настоящее. А вариантов прошлого и будущего существует множество, в одинаковой степени правдивых-неправдивых. Это естественное состояние. Зато люты...

— Да?

— Они замораживают все, к чему не прикоснутся. Разве не таковы легенды про Царство Льда? «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого» [\[61\]](#). Вы играете или нет, сколько мне ждать?

Господин Фессар сложил руки на груди.

— Пас.

— Пас?! — подскочил Чушин. — Да ради Бога, что вы делаете...?

— Пас.

Изумление было слишком большим, оно заморозило лицо и гортань, никакая эмоция не

вышла наружу. Играло — играло — играло — и выиграло.

Я-оносребло с зеленой глади стола кипу банкнот. Собравшиеся вокруг стола зрители обменивались громкими замечаниями. Я-онотасовало карты, что были на руках. В дверях курительной встал главный стюард и объявил, что обед подан. Экспресс притормаживал, подъезжая к какой-то станции, за окнами мелькали подъездные пути, склады пиломатериалов. Чушин встал, потянулся; доктор Конешин последовал его примеру.

Я-оносунуло деньги в записную книжку, затушило окурков, допило остатки холодного чая, сплюнуло в плевательницу.

Он не ушел, все так же стоял под стеной, с другой стороны вагона; я-оновидело его, не поднимая глаз — беспокойный танец теней вокруг высокого силуэта. В какой момент начал он присматриваться к игре?

Хотелось пропустить его в проходе, но он поднял руку в белой перчатке и слегка поклонился.

— После обеда прошу вас заглянуть ко мне. Быть может, вы получите свое доказательство.

— Не понял?

— Вы знаете эту девушку? Вы же не позволите, чтобы она ждала.

Елена Мукляновичувна окинула уходящего доктора Теслу подозрительным взглядом.

— Кто это был?

— Толком не знаю... Дамы меня простят...

— Э нет, вы от меня не удерете. Тетя — это господин Бенедикт Герославский.

— Хmmm... *Enchanté* [\[62\]](#) .

О машине, пожирающей логику, и других изобретениях доктора Теслы

— Когда я учился в Политехническом, в Граце, когда мне уже осточертели лекции, из которых ничего путного я вынести уже не мог, все больше времени я начал уделять играм в компании. На третьем курсе, помню, мне случалось играть в карты, шахматы, в бильярд день напролет. Игнали мы на деньги, на малые и большие суммы. В те времена я жил на то, что мне присылали из дома. Не скажу, чтобы родители были бедняками, но гораздо легче встретить епископа или генерала нашей крови, чем богатого бизнесмена. Может, мне не хватало удачи или умения? Не думаю. Если и так, то, скорее, следует винить слишком мягкое сердце. Видя, что противник не вынесет столь серьезной потери, наиболее крупные выигрыши я возвращал. Но вот по отношению ко мне так никто не поступал; должен признать, что другие студенты меня не слишком любили. Так я попал в очень серьезные долги. Стал писать домой. Мне присылали все больше и больше; гораздо больше, чем могли. В конце концов, приехала мать. В один прекрасный день она появилась и вручила мне рулон банкнот. Думаю, что это были все их сбережения. «Бери, иди, забавляйся», — сказала она. «Чем скорее ты спустишь все, что у нас есть, тем лучше. Я знаю, что эта горячка у тебя пройдет». Я взял деньги, пошел в кафе, отыгрался, да еще с огромной прибавкой, вернул все свои долги, а деньги вернул матери. Так вот, после того азарт меня уже никогда не искушал; я излечился.

— Она устыдила вас.

Доктор Тесла поглядел над сложенными пирамидкой пальцами.

— Да, можно сказать и так.

Когда Экспресс вписался в исключительно крутой поворот, стекло в баре зазвенело. Здесь рельсы уже не шли прямо; поезд все чаще карабкался на возвышенности; во время обеда в вагоне-ресторане несколько раз разливался суп, соус, вино. После остановки в Перми,

вплоть до Екатеринбурга, с азиатской стороны Урала никаких постоев не предусматривалось. Транссибирская Магистраль здесь проходила, в основном, по перевалам и по склонам низких, разочаровывающе плоских гор, по трассе Богдановича. Окно купе Теслы выходило на южную долину, зеленую, голубую и желтую в предвечернем солнце, и смолисто-черную за границами тени. Высоко над поросшим густыми лесами Уралом висели тучи цвета мыльной воды; это был один из немногочисленных моментов в путешествии, когда небо не было красивее земли.

Доктор открыл дверки небольшого бара. В *атделениях*на двух человек у окон размещались овальные столики на хитроумно выгнутых ножках, их столешницы были изготовлены из перламутровой массы. Рюмочки, украшенные золотыми рисунками, тихо стукнули о белую гладь.

— А вы не думали над тем, почему этот турецкий купец в конце спасовал? Ведь не должен был.

— Да.

— Что: да?

— Не должен был. Я над этим думал.

Какое-то время Тесла молча рассматривал этикетку на бутылке.

— И?

— Он позволил мне выиграть, это очевидно.

— А почему?

— Мне кажется, я его убедил.

— Ммм?

— В том, что он не существует.

Налив, Тесла поднес рюмку под свет, прищурил глаза. На губах его блуждала характерная ироническая полуулыбка, которая запомнилась после вчерашней нашей беседы; но эта ирония, скорее, была направлена на него самого, но не против собеседника.

— Все-таки, это не слишком верный метод. Вы часто его применяете?

— Просто, в то время я его развлекал.

— Но вас это же не веселит, вы в это верите. Правда?

— Да.

— Что вы не существуете. Хмм. — Доктор Тесла понюхал напиток, попробовал. — «Груф Кеглевич» [\[63\]](#), хмм. — Снова понюхал. — Как я и думал, вы очень странный молодой человек. Я-онозасмеялось.

— А вы, доктор, смотрели на себя в зеркало? После заката, при включенном свете?

— Ах!

Он откинулся, отводя плечи к спинке стула; подбородок упал на грудь, волосы сползли на виски; теперь он глядел из-под вороновых бровей, седая прядка указывала на кость, резко зарисовавшуюся над впалой щекой. Снова Никола Тесла сделался похожим на цыганского патриарха. Когда же он сказал, что происходит из рода епископов и генералов, то всего лишь подтвердил первое предчувствие.

— Можно было ожидать, что вы обратите внимание. Да. Есть определенные побочные следствия, которые... Хмм. Недавно вы длительное время пребывали в тьвете? Несколько часов. В течение последних недель.

— Нет.

— Человеческий глаз...

— Нет.

Я-оносидело с противоположной стороны столика, спина ровная, голова откинута, запястья на столешнице. Симметрия взглядов была абсолютной — та же самая высота, та же

самая поза, одинаковое с обеих сторон расположение мебели в помещении: застеленная кровать под одной стенкой и застеленная кровать под другой стенкой, полоса затемненного тучами солнца посередине; только сейчас можно было вести диалог, в котором каждый вопрос и каждый ответ будет обладать одинаковым весом.

Тесла смочил губы в коньяке.

— В тысяча восемьсот девяносто восьмом году Марк Твен выбрался в путешествие по Европе. Перед ним были открыты все салоны континента. Среди всего прочего, он посетил и двор Его Императорского Величества Николая Второго. Уже ранее мистер Твен писал мне, по собственной инициативе действуя в качестве моего агента *optima tide* ^[64]. Я имел честь причислить себя к кругу его друзей, мы познакомились несколькими годами ранее через нью-йоркское *high society*. От моего имени он беседовал так же с министрами Великобритании, Германии и Австрии. Тогда, прежде всего, речь шла о продаже патентов на системы многофазного переменного тока; военные министерства были заинтересованы моими телеавтоматами, я работал над торпедами с дистанционным управлением. Большинство стараний мистера Твена результатов не принесло. Тем не менее, с царем Николаем Александровичем я еще долгое время вел личные переговоры. Россия неоднократно выражала заинтересованность закупкой моих различных патентов военного применения, некоторые из них, и вправду, приобрела. Но только лет десять назад, когда я пережил, ммм, серьезные финансовые неприятности в результате халатности и бесчестности партнеров, а по Российской Империи начал серьезно распространяться Лед, царь предложил мне долгосрочный контракт и средства для ведения исследований, оставляя за мной при этом патентные права на все изобретения, которые я создам в период действия контракта. Император, похоже, питает ко мне некоторую, ммм, слабость, быть может, в связи с моим происхождением. Вы понимаете, господин Бенедикт, в сумме это были слишком замечательные условия, чтобы их не принять, учтя при этом мою тогдашнюю ситуацию в Америке.

Я-оноподнесло рюмку к губам. Светлая поверхность жидкости морщилась концентрическими узорами в ритм колебаний поезда: тук-тук-тук-ТУК. Доктор Тесла машинально вращал позолоченную рюмку между пальцами, затянутыми в белую хлопчатую перчатку. Он присматривался, как осторожно пьет я-оно.

Кашлянуло.

— Этот царский контракт...

— Да?

— О чем конкретно Николай Александрович договорился с вами, доктор?

Тесла улыбнулся с откровенной симпатией.

— Прошу доставить мне удовольствие и сказать, что я не ошибался относительно вас, что все это — вовсе не слепая случайность.

— Ну вот! Я вовсе не ваш ассистент, чтобы вы все время устраивали мне экзамены.

— Это правда. Вы — не ассистент. У меня вообще сейчас нет ассистента.

Венгерский коньяк неприятно щипал язык. Я-оноударило ножкой рюмки о столешницу, прозвучало это словно перестук пустых костей, треск мокрого бича.

— Царь заказал у вас оружие против лютов.

— Так?

— «Гроссмейстер» — это всего лишь хлопушка. Ручная работа, наверняка вы еще не смонтировали заводскую линию, для каждого экземпляра отдельный проект и название. Ремесло. Сколько штук было произведено, дюжина?

— Восемь. Дальше.

*Я-оно*облизало губы.

— Это всего лишь хлопушки, но вы выполнили контрактные условия, доктор, и теперь едете испытывать свои изобретения в землях Льда; где-то в составе находится опечатанный вагон, в котором...

— Да. — Он поднял ладонь в белом, словесный поток прекратился. Тесла склонился над столиком, неожиданно нарушив симметрию. Новая стереометрия взглядов навязала новые контексты. — Вы понимаете, что сейчас я разговариваю с вами не в связи с тем, что вы спасли мне жизнь. Мы оба люди разума. Подобное стремится к подобному, неоднократно в своей жизни я убеждался в этом, люди находят друг друга подсознательно, они знакомы еще до того, как познакомятся, еще перед тем, как услышат один о другом.

— Плохое к плохому, хорошее к хорошему, правда к правде, ложь ко лжи.

— Сейчас я вам кое-что покажу. Посидите.

Он перешел в другой конец купе, в угол возле дверей, по обеим их сторонам размещались шкафы-близнецы. Тесла открыл левый, наклонился и вытащил на ковер тяжелый кожаный саквояж. Тот должен был быть очень тяжелым, учитывая, с каким усилием доктор повернул его и придвинул к столику, поближе к окну. *Я-оно*отодвинуло ноги. Доктор Тесла выловил из карманчика необычной формы ключик, согнулся наполовину и открыл замок черной сумки. Совсем ненамного раскрыв ее заклепанные в сталь челюсти, уверенным движением он сунул руку во внутреннюю перегородку и вынул красный замшевый футляр в форме цилиндра. Выпрямившись после этого во весь свой рост, Тесла извлек из футляра легкую металлическую подзорную трубку. Смотровую трубку, калейдоскоп — некий оптический прибор, с обеих сторон заканчивающийся линзами: чуть поменьше и чуть побольше. После этого он поднес прибор к глазу, глядя в линзу побольше.

После этого он буркнул что-то под нос по-сербски.

— Пожалуйста.

*Я-оно*приняло аппарат с преувеличенной осторожностью. Кольца темного металла заходили одно на другое, сходясь в белых обоях из слоновой кости; на среднем кольце была небольшая эмблема, изображающая символическое солнечное затмение. Солнце было сделано из желтой эмали, Луна — из матово-черной.

Доктор Тесла ожидающе глядел на меня. *Я-оно*пожало плечами.

— Что это такое?

— Интерферограф. Поглядите сами.

*Я-оно*глянуло. Инстинктивно направило трубку в окно, к Солнцу и уральскому пейзажу — но это не была подзорная труба, инструмент не приближал видов, он вообще ничего не показывал, кроме бегущей по середине линзы ничем не примечательной последовательности из пары десятков световых бусинок. Зато фон оставался совершенно черным.

— Ну и?

— Вы помните, что говорили о Царстве Льда? «Да, да. Нет, нет».

— Это, скорее, предчувствие... Лёд... Люты живут в мире двухзначной логики. То есть — если живут.

— Вы этим занимаетесь?

— Математикой, логикой, ну, занимался.

— Тогда сами скажите, можно ли признать это определенным видом доказательства.

— Что?

— Свет. — Тесла сел, возвращая симметрию. — Я начал интересоваться этим после первых опытов со сжиганием соединений тунгетита. Ведь чем, собственно, является тьвет? Темнота — это отсутствие света — как темнота может *вытеснить* свет? Как она может

отбрасывать тени, являющиеся светом?

— Игрушка для салонных спиритистов.

— Это тоже. И все же...

Я-оноположило цилиндр на столик, тот сразу же начал кататься между рюмок.

— И вы верите в подобные вещи, доктор? Предсказание, ясновидение, призвание духов? Здесь, в Европе, этим до сих пор еще увлекаются: теософы, розенкрейцеры, гностики, оккультисты — последователи Рудольфа Штайнера [\[65\]](#); впрочем, вы сами видели, как забавляется княгиня — ведь видели?

Тот потер костистый нос, впервые проявив замешательство.

— Не путайте меня с Эдисоном, я никогда не изобретал телефон для разговоров с умершими. Меня называют Чародей, *Wizard*, потому что невежд поразить очень легко, но я с детства занимаюсь наукой. Я человек науки, который понимает, как много явлений наука еще не охватила. Когда я был гостем Королевского Общества в Лондоне, то имел возможность ознакомиться с доказательствами пересылки мыслей на расстояние. Лорд Рейли показал мне фотографию материализующейся эктоплазмы. Жена сэра Уильяма Крукса поразила меня своими способностями в искусстве левитации. И очень много полезного я вынес из бесед со свами Вивеканандой, когда мы говорили о ведической космологии.

...Я не знаю всех свойств тьвета. Так или иначе, я не занимаюсь тем, чего не могу увидеть, измерить, описать. Это, — показал он на интерферограф, — очень простое устройство, состоящее из стекла, двух перегородок со щелями и фильтра. Интерференция света является доказательством того, что свет — это волна. То, что свет имеет волновую природу, было очевидным со времен Максвелла, с опытов Юнга. И в то же самое время, очевидным является и то, что свет состоит из отдельных молекул, мчащихся с определенной энергией. В тысяча восемьсот девяносто шестом, когда фурор делали телеграфы Рентгена, я сам проводил многочисленные эксперименты, в которых потоки частиц света ударяли в тонкий щит, передавая ему весь свой момент движения. Через несколько лет, доктор Эйнштейн описал эти явления в своей квантовой теории. Так что нет никаких сомнений, что на этом, наиболее базовом уровне действительности имеется противоречие: свет одновременно является и не является волной, является и не является молекулами. Если бы он был только лишь молекулами, тогда в интерферографе вы увидели бы две яркие точки — места, где световые лучи проходят через две щели. Но, поскольку свет обладает еще и волновой природой, он интерферирует, накладывается сам на себя. Там, где амплитуды складываются, свет более яркий, а — хотя для данного эффекта еще нет достаточно хорошего объяснения — там, где нивелируются, вы видите разрывы в линии. *Lichtquant* [\[66\]](#) в том же самом месте есть, и его нет; одни и те же *Lichtteilchen* [\[67\]](#) имеются тут и там. Разве это логика Аристотеля? Это отрицание Аристотелевой логики! Но ведь мы видим это собственными глазами.

Еще раз я-оноподняло цилиндр к глазам.

— Сходится.

— Прошу вас оставить его себе. — Тесла кивнул, когда я-онозамялось. — Пожалуйста, его легко изготовить в соответствии со схемой Биллета, здесь лишь нужен фильтр, подходящий для солнечного света, и точный размер щелей. Посмотрите в интерферограф, когда мы уже приедем на место.

Доктор Тесла подал замшевый футляр. Еще раз покрутив аппарат в пальцах, я-оноспрятало его в карман.

— И что я тогда увижу?

Тот усмехнулся. Наклонившись над сумкой, на сей раз он раскрыл ее стальные челюсти

максимально широко. Энергичным рывком — пиджак натянулся на спине, под материалом прорисовались костистые лопатки; даже белый платок сполз с шеи и открыл над стоячим воротничком черные синяки, негативы толстенных пальцев Юрия-душителя — он вытащил на столик бочкообразное устройство из дерева и металла. Я-онов самый последний момент спасло рюмки от уничтожения.

С одной стороны бочонка доктор Тесла вставил заводную ручку с резиновой рукояткой, с другой стороны впихнул в небольшое отверстие кабель, законченный зимназовым кольцом. Массивное основание аппарата было выполнено из темного дерева, в которое были ввинчены железные хомуты и планки, на которые опирался корпус; в нем же самом, словно в вертикально подвешенной корзинке с плотными прутьями, были замкнуты диски, цилиндры, прутки, катушки проводов и стальные кольца.

Я-оноотставило рюмки. Глянув вблизи, заметило посредине деревянной платформы бронзовую табличку с элегантной гравировкой:

Teslectric Generator Tesla Tungetitum Co.

Prague — New York 1922

— Что это такое?

— Теслектрическая динамо-машина. Конструкция подобна конструкции генератора постоянного тока, но вместо магнитов я применил чистый тунгетит, обмотки же из цинкового зимназа.

— Чистый тунгетит? Вы считаете, что нечто подобное может оказаться экономически выгодным?

Глаза Теслы загорелись — сейчас он радовался словно ребенок, было такое впечатление, что этот костлявый старец через мгновение потрет ладони и подскочит на своем стуле.

— Так не электрический ток здесь появляется, дорогой мой, не ток!

— А что же?

— Другая сила. Она свободно стекает в древесину, в многочисленные холода зимназа, в растения и животные, в кристаллические структуры. Имеются виды зимназа с высоким содержанием углерода — например, графитовый криокарбон — которые, после подключения к этой темной энергии излучают тьвет. На этом основан мой патент темнелампочки; его уже выкупила одна сибирская фабрика, вторая на подходе. Зато неконтролируемое высвобождение теслектричества вызывает резкое понижение температуры. Царь предоставил мне достаточно тунгетита, чтобы я мог экспериментировать вволю. Теперь мне уже известно, что здесь нельзя непосредственно применять законы старой физики, этот здесь «теслектрический ток» не ведет себя как электрический ток — но и на протекание жидкости это тоже до конца не похоже. Выливается, выливается, выливается; имеются такие сосуды, предметы, материалы, которые, как кажется, он никогда не заполнит до конца, стекая в них без остановки.

...И вот в таком помещении, под влиянием выхода теслектрической энергии — если затем посмотреть в таком помещении в интерферограф, вы уже не увидите растянутой полосы более светлых и более темных пятен, но две отдельные световые точки.

Какое-то время я-ононе поняло, что он, собственно, сказал. Потом схватило рюмку и выпило остаток коньяка, сразу же потянувшись к бутылке, чтобы налить еще. И, то ли рука

дрожала, то ли поезд трясся на съезде в уральский перевал...

Никола Тесла приглядывался с улыбкой.

И к черту подевались все симметрии.

— Это... — откашлялось *я-оно*. — Это сильная посылка.

Тот вздохнул.

— Но не доказательство.

— Нет. Нельзя исключить, что эта тунгетитовая сила влияет исключительно на природу света. Ну, я знаю — возможно, выпрямляет пути *Uchtquanten*? Логика... это уже нечто более фундаментальное, логику невозможно свести только лишь к одному — двум физическим феноменам. Даже если и вправду ваша «теслектрическая сила» отнимает у света его волновую природу и удерживает световой квант на одном месте — до полного его существования или же полного не существования.

— Именно так я и думал. Ба, до сих пор мне и в голову не приходило, что такое однозначное «замораживание» природы света может представлять собой всего лишь побочный результат другой перемены, гораздо более глубокой — несмотря на все сибирские легенды, несмотря на все рассказы о Стране Льда. Вот только сегодня, перед обедом, когда я услышал, что вы рассказывали про лютов...

— Так.

— Меня осенило, как будто бы я сразу увидел схему готового решения, остается его только просчитать. Обычно я привык верить подобного рода откровениям; одно из них когда-то спасло мне жизнь. Ведь посмотрите: если теслектрическая сила и вправду навязывает логике двухзначность... — Тесла сгорбился, как, видно, ему случалось в моменты исключительной мыслительной деятельности, когда он отвлекался от контроля над телом. — Как вы считаете, как это способно повлиять на живые организмы? На человека?

— Понятия не имею. Все это... — *Я-оно* изобразило руками хаотическое движение. Правая рука столкнулась с корпусом динамо-машины, металл был холодным — не зимназо, но холод сильный; *я-оно* вздрогнуло, опустило руки. — Для таких вещей вообще нет слов, господин доктор, мы ломаем себе языки, ломаем умы.

— Об этом, как раз, я и спрашиваю. Ведь вы же говорили, что как раз этим и занимаетесь. Так? Так вот, голова, как это может влиять на голову? — Тесла приставил два пальца к виску, словно револьверный ствол. — Должен ли человек это вообще как-то... чувствовать?

— Вы имеете в виду жителей Сибири? Или зимовников, мартыновцев?

Тесла презрительно махнул рукой. Совершенно неожиданно он был разочарован, раздражен.

— То есть, вы не можете мне сказать. Так. Тогда прошу прощения.

Я-оно отшатнулось.

— Но что вы имеете в виду, доктор! Вы хотите узнать, как это влияет на мысли — или же о том, из чего мысли берутся? Мысли?! Ха! Да такой человек вообще не должен дышать! Господи! — Чем громче *я-оно* говорило, тем слова извергались быстрее, тем сильнее становилась уверенность. *Я-оно* облизало губы. Возвращались картинки из анатомических атласов Зыги, его слова, слова его коллег по медицинскому факультету, обрывки бесед. — Измените всего лишь один элемент, и человека уже нет. А это — это наибольшая перемена! Плоть отпала бы от костей, кровь в сосудах разложилась бы, и вообще, не было бы никаких костей, не было бы плоти, сосудов, никаких живых тканей, нечего, ничего, ничего...

Тесла уже стоял. В левом кулаке он сжимал зимназовое кольцо, которым заканчивался выходящий из теслектрической динамо-машины кабель, правой рукой схватился за заводную ручку. Провернул. Что-то в машине щелкнуло, и стальные кишки начали вращаться в

бочонкообразном брюхе, закружились светлые и темные элементы. Тесла крутил все быстрее, кружение уже превысило темп, после которого человеческий глаз перестает различать движущиеся элементы и видит одно только движение, его направление и окраску. Генератор свистел и урчал. Доктор Тесла мерно вращал ручку, длинное предплечье двигалось в спокойном ритме. Он стоял, повернувшись лицом к окну, снова выпрямившись; рука с кабелем была поднята перед ним на высоту груди; провод свисал словно дохлая змея; *я-оно* отодвинуло колено, чтобы случайно не зацепиться за него. В горле пересохло, *я-оно* слотнуло слюну, имевшую неприятный привкус коньяка. Из генератора начал исходить щиплющий нос запах. На металлическом корпусе появились капли влаги. На коже дыбились волоски, по пальцам, по небу, по языку, казалось, поползли мурашки. *Я-оно* растерло ладони. Они были холодными, в купе царил ужасный холод. Пришлось погреть их дыханием. Перед лицом Николы Теслы цвели седые облачка пара. Он продолжал крутить, динамка урчала, тррррррррр.

...Левая рука, та, неподвижная, она начала расплываться первой. Как будто бы кто-то затирает изображение на старой фотографии — или же, если бы пленку экспонировали слишком долго. Белая перчатка, манжет сорочки, рукав пиджака, потом и весь пиджак, затем платок на шее и голова доктора, и вторая рука, и ноги — Тесла погружался в тень, за вертикальную заслону серого полумрака, словно дрожащий воздушный мираж, только воздух дрожал не от жары, а от холода, и не в ослепительном сиянии, а в темноте, то есть в тьвете — можно было видеть его черные искры, будто бы негативы электрических разрядов, но нерезкие, медленные, движущиеся по растянутым дугам и плотными пучками, шерстистыми комками и языками черного огня: на плечах и вдоль рукавов, на волосах и на лбу, на скулах доктора Теслы — он весь уже стоял в испарениях тьвета, в отсвете ночи. Тррррррррррр. Поскольку окно находилось перед ним, свечение поблескивало у него за спиной — яркая светень высокого силуэта, намного более выразительная, чем любая тень, которая нормально отбрасывается в дневном свете. Никола Тесла распадался на свой собственный негатив и негатив негатива, расположившийся белым пятном на ковре, на двери, на стенке купе. Параболические полосы темноты начали проскакивать между телом доктора — вытянутой рукой, выпрямленным торсом, лбом — и покрывающейся инеем железной массой генератора. На бронзовой табличке уже поблескивал ледовый налет. *Я-оно* сунуло руки под мышки, отодвинулось вместе со стулом, лишь бы подальше от разогнавшейся динамо-машины. Тррррррррррр.

...Тесла открыл рот, желая что-то сказать — вместо слов из сухих губ извлеклось облако черного, будто смола, пара.

Экспресс начал тормозить, и доктор подался назад, несмотря на широко расставленные ноги; ему пришлось опереться о столик, и он выпустил из рук кабель, выпустил заводную рукоятку. Треск генератора постепенно затих. На стеклах, позолоте, суконной обивке, металлических и деревянных экстравагантных украшениях купе класса люкс, на рюмках — везде искрился снежный осадок, будто прихваченная весенним приморозком роса.

Я-оно опустило оконное стекло, чтобы впустить в купе теплый воздух.

Тесла выпрямился, вытер платочком губы и лоб. Сняв перчатки, он тщательно вытер ладони, каждый длинный, костистый палец по отдельности.

— Тело, дорогой мой сударь, тело — это сила, мы еще не заслужили власти над нею.

Я-оно трудом скрыло раздражение:

— Немножко гимнастики еще никому никогда не повредило.

Американец дышал легко. Во всяком случае, на уставшего он не был похож — дыхание становилось более глубоким, щеки порозовели, зрачки расширились.

— И давно вы это делаете?

— Я заметил, что это помогает мне в работе. Очищает мысли, если можно так выразиться. — Он вынул портсигар. — Имеются и другие эффекты, но их сложнее описать.

— То, что происходит с вашей тенью...

— Нет, я имел в виду состояние разума. Тело — это сила, но вот разум, *mon ami* [\[68\]](#), это единственная вещь, за которую человек полностью отвечает на этом свете.

— И вы не боитесь, что таким образом рискуете, что он откажет? Что вы вообще знаете об этой тунгетитовой силе?

Тесла добродушно рассмеялся.

— Дорогой мой, как-то раз я пропустил через собственную голову электрический ток с напряжением сто пятьдесят тысяч вольт. И вы считаете, будто бы мы про электрический ток знаем уже все? Эксперименты проводятся затем, чтобы узнать нечто новое; с тем, что известно, никто не экспериментирует, потому что нет никакого смысла. — Он закурил; пламя спички на мгновение вспыхнул черной кляксой, когда Тесла его задул. — Что меня беспокоит... Вот скажите, какие бы я мог провести эксперименты для проверки вашей гипотезы.

Я-онопнуло кончиком туфли лежащий на ковре кабель.

— А что мы, собственно, знаем о связи между теслектричеством и лютами? С чего вы...

Двери купе открылись. Вошла жена — не жена, спутница Николы Теслы, молодая женщина, с которой я видел его в вагоне-ресторане. Она вошла, и сразу же за порогом остановилась, словно замороженная. Синяя юбка от английского костюма, высокий стан, серебряный медальон на жабо из ирландского гипюра, светлые волосы, заплетенные в уложенные короной косы. Сколько могло быть ей лет? Семнадцать? Несомненно, она была моложе панны Мукляновичувны.

Девушка глянула на Теслу, на динамо-машину, снова на Теслу, сжала губы...

— Кристин! — воскликнул доктор.

Та повернулась на месте и выбежала, хлопнув дверью.

Я-онообменялось с Теслой понимающими взглядами. Он выбросил папиросу в окно, снова натянул белые перчатки, пригладил волосы. Только после того он отключил от генератора заводную ручку и кабель, снял машину со столика и уложил назад в сумку. Ему не сразу удалось попасть ключиком в отверстие замка — поезд резко тормозил, трясло все сильнее. Когда доктор перетаскивал саквояж в шкаф, *я-оно* поднялось с места и высунуло голову за окно.

Здесь не было никакой станции, куда не глянешь — никаких построек, во всяком случае, не по этой стороне путей; вообще никаких следов цивилизации — только горы и горная природа, дикий Урал. Солнце уже полностью вышло из-за грязных туч, и лежащий на пологих склонах лес источал буйную зелень.

Запищали тормоза, вагон еще раз дернулся вперед, и поезд остановился. Сопение локомотива и шипение пара доносилось даже сюда.

— Что случилось?

— Может какая-то авария, — сказала *я-оно*. — Может, что-то с рельсами. Нужно спросить у *правадника*.

Тесла глянул на часы, схватил трость и открыл дверь.

— Саботаж!

Я-оно вышло за ним в коридор. Из других купе тоже высыпали пассажиры, толкотня и замешательство, все спрашивали об одном и том же. Тем временем, от проводника ни следа. Открыли окна. Сквозняк заворачивал занавески на головы выглядывающих.

— А вы, доктор, не преувеличиваете, ведь...

— Да пошевелите головой, *dammit* ^[69]. Откуда берется зимназо? Без малейших сомнений они взорвали бы весь этот Транссибирский Экспресс.

— И себя вместе с ним? А что с зятем директора Сибирхожето?

Тесла закрыл купе на ключ.

— Потому-то, в такие минуты я больше всего опасюсь за свои прототипы.

— На станциях... на стоянках. — Я-онозаметило сейчас пробел в размышлениях, проводимых вчера за завтраком. Во время движения любая более-менее мощная бомбовая атака будет представлять опасность для всего поезда и для всех пассажиров — но вот когда состав стоит, можно взорвать конкретный вагон. И что за этим всем следует: если заговорщики нацелились на одного человека, едущего в классе люкс — то ли на князя Блуцкого, то ли на доктора Теслу — они и вправду должны были поместить убийцу в том же классе; но если им важен вагон с оборудованием Теслы, бомбист с таким же успехом может ехать и вторым классом.

Серб с едва скрываемым отвращением защищался от напирających тел, и сам напирал вперед.

— Прошу пропустить, прошу прощения, госпожа, *извините, пажалста, excuse-moi, entschuldigen Sie, let me through, please*, можно пройти, благодарю.

Никто не заметил деликатно размытых контуров силуэта доктора Теслы, когда, помогая себе тростью, тот пропихивался через толкучку, на полголовы выше всех пассажиров, они не обратили внимания на мерцающую корону тени, которую Никола Тесла отбрасывал сам на себя — дрожащий ноктореол — остаточное зрительное впечатление тьвета.

О нескольких ключевых различиях между небом Европы и небом Азии

Волк стоял на поваленном стволе дерева, высовывая треугольную морду из-за веток.

— А вдруг подойдет...

— Не подойдет, госпожа.

— Они что, не боятся людей?

— Этот не боится.

— ...ружья или что-то отпугивать господа поезда...

— Животные сами способны приручаться, *vous comprenez* ^[70], даже самая дикая бестия в конце концов привыкнет, восход или заход солнца, проезд паровоза, лето и зима — лишь бы в этом была хоть какая-то регулярность. Природа — это крупнейший часовой механизм.

— Господин инженер, только не нужно нам этой индустриальной поэзии.

Юнал Фессар, который до сих пор с безразличной миной копался тростью в земле, внезапно поднял приличных размеров камень и бросил им в волка. Остальные пассажиры громко вскрикнули. Камень пролетел мимо зверя и ствола на добрый метр. Волк нервно вздрогнул, но с места не сдвинулся. Он лишь приоткрыл клыки и наблюдал за людьми, склонив голову налево.

Панна Елена подобрала юбку и побежала. *Monsieur* Верусс вместе с инженером Уайт-Гесслингом, которые стояли ближе всего, попытались было ее схватить, задержать, но девушка легко увернулась. От границы леса и лежащей на этой границе сваленной ольхи ее отделяло десять-двенадцать метров. Прежде чем кто-либо подвигся на более решительные действия, панна Мукляновичувна уже подходила к волку.

Она протянула к нему руку.

— С ума сошла! Господи помилуй, она его погладить хочет!

— Вот сейчас он ей пальчики-то и отгрызет, — буркнул под нос господин Фессар.

— Где доктор Конешин?

— Кажется, остался в поезде.

— А кто она вообще такая?

— Панна Елена Мукляновичувна, — сообщило *я-оно*.

А та еще и присела на поваленный ствол, склонив голову над поднятой ей навстречу мордой зверя. На его желтых клыках поблескивала слюна, вывернутые губы хищника подрагивали. Девушка протянула руку сверху, к загривку волка. Тот развернулся на месте, спрыгнул с поваленного дерева и исчез в лесу.

Инженер Уайт-Гесслинг схватился за сердце.

— Что она себе думает! Чуть удар не случился. Где ее опекун?

Я-оно начало высматривать тетку Урсулу. Высокая женщина с широкими плечами — на этой стороне путей не было никого со столь характерной фигурой. Наверняка прилегла в купе, во время обеда она жаловалась на давление.

Я-оно подошло к панне Елене, которая с невинной миной отряхивала юбку.

— Самоубийство — это смертельный грех.

— Нуу... знаете! А если бы это капитан Привеженский?

— Тогда это была бы достойная восхищения бравура. Пожалуйста.

— Благодарю.

Девушка приняла поданную ей руку. На поляну мы возвратились вместе. Когда проходили мимо Юнала Фессара, тот приподнял шляпу. Панна Елена сделала вид, будто его не замечает. Но когда увидела, что со стороны локомотива к ней присматривается князь Блуцкий в компании тайного советника Дусина и пары мужчин в ливреях княжеских слуг — приостановилась и сделала легкий книксен.

Я-оно потянуло девушку в другую сторону.

— Наверняка князь им уже наговорил... Вы думаете, он и вправду ожидает покушения? Говорили, что это случайная авария — только что еще могли они говорить? Долго здесь стоять нельзя, а то еще кто-то на нас наедет. Другое дело, что те два господина из охраны, что шатались по классу люкс, они уже с нами не едут, наверное, сошли еще вчера вечером. То есть, все выяснилось. Хотя по князю большого облегчения и не заметно... Пан Бенедикт! И что такое увлекательное вы находите в этой траве? Вы вообще меня слушаете?

— Слушаю.

— У вас имеется возможность, — шепнула Елена.

— Ммм?

— А вот и ваш волк. Ждет. Пошли.

— Что?

— Думаете, укусит? Могу поспорить, что у него и зубов почти не осталось.

Я-оно почувствовало, что щеки густо краснеют.

— Ничего, хватит.

Елена подняла голову.

— Вот уже и первые звезды показались. Гляньте, это какое созвездие?

— Не знаю, — *я-оно* высвободило руку. — Прошу прощения.

Вскочило на помост и скрылось внутри вагона. Идея пересидеть за закрытыми дверями до самого Иркутска снова показалась довольно привлекательной.

В перспективе вагонного коридора появилась госпожа Блютфельд. Как можно быстрее *я-оно* вскочило с другой стороны тамбура.

Здесь на прогулку выбралось намного меньше пассажиров; с севера не было зеленого поля, подходившего под смешанный лес, как на южной стороне; почти сразу же за насыпью начиналась обнаженная порода, с запада нарушаемая ступенчатыми террасами и разрезанная глубоким потоком скальных обломков, а с востока тянувшаяся чуть ли не до самой вершины, нависшей над перевалом и долиной, будто сторожевая башня. Я-оновскарабкалось вверх на пару десятков метров и присело на нагретом солнцем песчанике. Экспресс остановился перед самым поворотом, за которым рельсы по дуге, длиной в множество миль вели в долину. Пассажиры разбрелись по округе; отсюда можно было видеть весь луг за поездом, склоны противоположных гор, удивительным образом сплюснутых и закругленных; еще — укрытое вечерними тенями ущелье, из которого появлялись рельсы. Даже в своих прогулках и выборе мест, где раскладывали на траве одеяла и импровизировали небольшие пикники, пассажиры инстинктивно сохраняли деление на первый и второй классы: никто из путешествующих в классе люкс не отправился в западную сторону, за линию вагона-ресторана; точно так же, мало кто из едущих в купейных вагонах пересекал эту воображаемую линию. Я-оновидело шляпы и котелки мужчин и белые зонтики женщин на фоне темной зелени; группки прогуливающихся добирались до зарослей. Здесь же были и дети — они гонялись друг за другом между вагонами экспресса; дети, хотя их было меньше всего, создавали больше всего шума. Зато Уральские горы стояли тихие, спокойные — картина сонной и дикой природы до того, как сюда прибыл человек. Низкое Солнце длинными мазками лучей накладывало на эту картину кармин, сепию и желтый крон. Цвета были теплые, хотя ветер дул холодный — я-онозастегнуло пиджак, подтянуло колени под подбородок. Никто не смотрел. Князь со своей свитой остался с другой стороны, за локомотивом. Стальное чудище не подавало признаков жизни, из трубы не поднимался дым, в окошках машинного отделения никто не двигался.

Я-оновынуло портсигар и зажигалку. Обдумаем все на спокойную голову. Затянулось дымом. Действительно ли они могут взорвать весь Экспресс по причине Николы Теслы? И действительно ли я-онопривлекло их внимание на сеансе княгини Блуцкой? У Теслы явно имеется склонность к театральным жестам и мегаломании, он мог все бессознательно преувеличить. Действительно ли он в опасности? Уже ранее кто-то проник в купе, обыскал багаж. Князь Блуцкий-Осей, княгиня, панна Мукляновичувна, все их мелкие игры — на самом деле, все это значения не имеет. *Грозит ли опасность мне?*

Правда, если бы Тесле каким-то чудом удалось выпалить весь Лёд в России, тем самым он бы ликвидировал всю зимназовую промышленность. В нормальной стране подобное решение было бы результатом подсчета прибылей и убытков, баланса политических и экономических сил. Но вот в Российской Империи — капитан Привеженский говорил верно — наверняка перевесил сон Императора или священное видение Распутина. Самурайский меч! И вот Николай схватил перо и заказал у серба, носящего то же самое, что и он сам имя, освященный огонь на лютов. Тогда, что оставалось людям Сибирхожето и их сторонникам, раз никакие рациональные аргументы не имеют никакого влияния на процесс принятия решений?

Необходимо любыми средствами помешать Тесле исполнить царский заказ.

В каком же это вагоне содержатся его драгоценные изобретения? Я-онопоглядело в направлении конца состава. За вторым классом (третий класс и самые дешевые вагоны идут по Транссибу по другому расписанию) находилось несколько товарных вагонов, все были наглухо закрыты. Возле них никого не было. Я-оноприщурило глаза, глядя под заходящее Солнце. Именно с той стороны, с запада, на морену поднималась — светлый отблеск над головой, темная юбка — госпожа Кристина, так, это она.

Я-оноподнялось, подало ей руку.

— *Merci.* — Девушка слегка запыхалась. — Я хотела побеседовать с вами без Николы... — *Я-оно* расстелило на камне платок, Кристина уселась. — Он рассказывал, что вы спасли ему жизнь, может, вас послушает, должен послушать. — На ее немецком бремени лежал английский язык, некоторые слова требовали минутного раздумья, тогда она морщила лобик и надувала губы. — Вы же видели, что он с собой творит.

Я-оно выбросило окурок.

— Бенедикт Герославский.

— Ах. Я... прошу прощения. Кристина Филипов.

— Очень приятно.

— Вы уж извините, что я так... Но я подумала, что другой okazji может и не представиться. Могли бы вы... Никола редко позволяет отвлечь себя от работы, он не уделяет достаточного внимания людям. Ведь он говорил с вами, правда?

— Вы имеете в виду эту его тунгетитовую динамо-машину?

— Он подключается к ней каждый день. Не могу смотреть. Простите, но ему ведь уже шестьдесят восемь лет! Иногда это продолжается четверть часа и дольше, и он не может оторваться. А потом он разговаривает сам с собой, описывает какие-то фантастические города; после того он требует, чтобы его водили за руку, потому что сам уже не способен отличить воображаемого от реальности, теряется в этих своих представлениях, словно в тумане. Он даже хотел, чтобы я для него крутила динамку. В Праге у него электротунгетитовые генераторы, он использует местную электростанцию. Мне казалось, что теперь, когда мы выехали... Не могли бы вы поговорить с ним серьезно?

И кто она, собственно говоря, для Теслы? Действительно ли, скандально молодая *paratour* ^[71], как хотелось бы сплетникам из Экспресса? Ведь прямо ее об этом не спросишь. Косвенные вопросы — «Как они похожи! Может дочка? Внучка?» — были бы не менее оскорбительными, девушка сразу же поняла бы намерения.

Подобия ни на копейку.

— Вы ставите меня в неудобное положение...

— Вы спасли ему жизнь!

— Но какие бы аргументы против мог бы я выдвинуть? Кто еще лучше него разбирается во всем этом его теслектричестве?

— Ох, он вечно считает, будто бы во всем разбирается лучше всех! — Девушка задрожала на прохладном ветру, несмотря на застегнутый жакет. *Я-оно* бросило пиджак. Кристина завернулась в него, скрестив руки на груди. — *It's so frustrating, I cannot bear the sight, he's really the sweetest man on the Earth but...* ^[72] — Она шмыгнула носиком. — Вы знаете, ведь он делает это уже много лет, десятки лет. Перед этим он подключался к электрическому току. Это просто какая-то страсть! Рассказывают, что в молодости он посмотрел в микроскоп, увидел бацилл, какие они отвратительные при увеличении, мне он тоже хотел показать; а поскольку мы вдыхаем, пьем эту гадость, все время сталкиваемся с ними — Никола пытается защититься от них всеми возможными способами. Понимаете, электрический ток он считает бактерицидным средством. Но уже с тех пор, как у него сгорела лаборатория на Южной Пятой Авеню — мне мать рассказывала — он начал питаться электричеством; иногда он вообще не ел нормальной пищи, только с самого утра подключался к аппаратуре. Он говорит, что только это поддерживает его здоровье. Может быть... Но сейчас — ведь это уже даже не электричество. Я опасаюсь за него.

— Не знаю, что он вам сказал о цели данной поездки, — снизило голос *я-оно*. Кристина поглядела вопросительно. — Вы беспокоитесь за его здоровье; скорее уже, вам следует побеспокоиться за его и свою жизнь. Как это случилось, что он вообще взял вас с собой в

столь опасное путешествие? С самого начала он знал, что ему угрожает.

— Если бы Никола считал себя смертным человеком... — фыркнула девушка. — Это я заставила, чтобы он купил билет на фальшивое имя. Я выбрала тот же поезд, которым едет Беломышов. Я писала в Личную Его Величества канцелярию, названивала в Министерство Внутренних Дел.

— Ага. Ангел Хранитель.

Кристин наморщила брови.

— *Pardonnez-moi* ^[73]. — Я-онопопыталось взять ее за руку, но девушка спрятала ладонь под пиджак. — *Mademoiselle* Кристин, я чувствую себя польщенным, что вы дарите меня таким доверием.

— Ладно, насмехайтесь надо мной, пожалуйста, мне ведь известна ваша репутация. Возможно, Никола относительно вас и вправду ошибается...

— Моя репутация?!..

— Салонный шут.

— Ах!

Тут до Кристин дошло, что она сказала, и она стиснула приоткрытые было для следующего обвинения губы. Теперь она сама была оскорблена.

— Ну почему вы заставляете оскорблять вас. Вам что, это доставляет удовольствие?

Я-онооперлось на угловатое ложе нагретого камня, подняло лицо к бледным созвездиям.

— И правда, уже взошли звезды. Небо очистилось, здесь дуют быстрые ветра. Еще несколько часов тому назад, в нескольких сотнях километрах к западу — от горизонта до горизонта висела одна, ленивая буря. Я проснулся ночью — мы проезжали по мосту через Каму, шел дождь, под нами проплывали какие-то барки, сплавляли лес, река кипела, наверное, разлилась, на берегах горели огни, костры, лампы, как будто бы они подавали друг другу знаки, сквозь дождь, в темноте ночи, и им ответили огни на реке; неба не было видно, мокрый мрак, только те мерцающие звезды на земле и на воде. Мы ехали? Плыли? Летели? Потом мне казалось, что все это лишь приснилось. Мы подавали один другому знаки.

— Кто вы, собственно, такой, мистер Ерошаски?

— Ну, репутация у меня уже имеется, или нет? — Я-оноповернуло голову влево, вправо, снова влево. — Вот поглядите за ту долину, между теми горами. Там уже лежит Азия. Говорят, что над Страной Лютов светят другие звезды. Там редко бывает чистое небо, Зима ужасно испортила погоду. Вот поглядите. Разве там небо не подвешено ниже? Кривизна заметна. — Я-оноочертило рукой дугу. — Небо напирает на землю, давит, душит. Небо Европы сбегает от земли, они взаимно отталкиваются. А вон там, здесь, в Азии — *regarded* ^[74] — полюса меняются — земля с небом притягивают друг друга. У нас замечательные места, центральная ложа в театре континентов, все видно как на ладони. Под небом Европы можно стоять выпрямившись, глубоко вздохнуть, подпрыгнуть без страха, строить вверх, глядеть вверх. Небо Азии даже отсюда выглядит давящим; необходимо сгорбиться, опустить глаза, прижаться к земле, передвигаться короткими, остороженькими шагами, строить только вишь и вниз. Вы же сами замечаете, как немного там места между тайгой и звездами.

— Может все потому, что там возвышенности?

— Может.

Девушка изобразила неуверенную улыбку. И улыбка ее была прелестной — щечки округлялись, наполнились — два теплых яблочка; эту улыбку она вынесла еще с колыбели.

— Вы просто поэт, мистер Ерошаски.

— *Au contraire, mademoiselle, au contraire* ^[75].

Кристин в отчаянии искала причину, чтобы изменить тему беседы. Она была слишком

молодой, на год или два меньше моего возраста — но, все равно, слишком молодой.

— Нас зовут! — обрадовалась девушка.

— Ммм?

— Видимо, все уже исправили, мы едем дальше.

Я-оно спустилось к рельсам, помогая девушке на предательском склоне. Проводники бегали, пересчитывая пассажиров; родители звали детей; локомотив тихо посапывал. Мадемуазель Кристин вернула пиджак. — Я знаю, вам это кажется детским... — Она опустила взгляд. *Я-оно* ударило себя в грудь: — Я поговорю с доктором Теслой, обещаю. — На это она поблагодарила кивком и скрылась в вагоне. Здесь очень легко обещать женщинам различные вещи. Гораздо хуже потом эти обещания выполняются. Возможно, она и вправду Ангел-хранитель Теслы, убирающий у него из под ног бревна, которых сам доктор не замечает — но, возможно, только играет в ангела-хранителя, а Тесла подчиняется ее капризам, у стариков всегда имеется слабость к наивным...

Небритый подросток перепрыгнул межвагонное соединение, зацепившись ногой за свисавшую цепь; та громко зазвенела, словно корабельный колокол. Парень остановился возле поставленной у входа в вагон класса люкс лестницы.

Проводник издали безошибочно узнал в нем пассажира низшего класса и решительно направился в его сторону, но парень не обратил на него никакого внимания.

— *Гаспадин* Герославский?

Я-оно застегнуло последнюю пуговицу пиджака.

— Чего хотите? — рявкнуло резко, инстинктивно маскируя неожиданный страх.

— Не выходите в Екатеринбург!

— Я и так еду дальше. А какое вам дело, где...

— Не выходите из поезда! Сговорились на вас!

— Что? Кто?

— Будто бы вы оттепельникам продались, такая у них уверенность.

Мальчишка подскочил еще ближе, вылупился на меня; что-то там в левом глазу засветилось и запульсировало — черная жилка в черном зрачке; пацан был испуган, и сам пугал собственным страхом. Хотелось его отпихнуть — тот схватился за запястье. Пальцы у него были ледяные, прикосновение чуть ли не обжигало.

— Не можем мы стеречь вашего благородия, времени не было, не убедил я их, не выходите из поезда.

Он размашисто перекрестился правой рукой, инстинктивно прижал к губам зимназовый медальончик.

— Спаси и сохрани нас, в твои руки предаемся, спаси и сохрани нас.

Проводник схватил паренька за воротник, но тот вывернулся и отбежал, сразу же свернув за вагон. *Праведник* грозил ему кулаком вслед.

— Тьфу, зараза, и лезет же с лапами к лучшим, чем сам, людям, только стыда не оберешься — ну и молодежь пошла, уважения ни на копейку...

— Послушайте-ка, милейший, — *я-оно* сунуло ему банкноту в карман мундира, — поговорите с обслугой из купейных и узнайте, кто он такой.

— Да я его...

— Только тихонечко, милейший, тихо, на цыпочках, чтобы птичку не спугнуть. — *Я-оно* поднялось по ступенькам. — Насколько мы опаздываем?

— Часа три, три с четвертью, Ваше Высокоблагородие, но в Екатеринбурге будем стоять еще дольше — паровоз нужно сменить и оси проверить.

— Еще дольше... И сколько же?

— Сколько потребуется. Ваше Благородие в город желает выйти? Там наверняка зима держится... В прошлый раз морозник проклятый в самом центре города засел. Проходите, проходите! Отходим!

О морозе в Екатеринбурге

Снежные хлопья, серебристые иголки, сахарные кристаллики сыпались с неба, кокетливо мерцая в ореолах газовых ламп. Вокзальные часы показывали два часа ночи — вообще-то в Екатеринбурге было уже четыре ночи, но все железные дороги Империи функционировали по времени Санкт-Петербурга и Москвы. Вскоре над заснеженным городом взойдет летнее Солнце — зато ночь безраздельно принадлежит Зиме. Несмотря на это, на единственном высоком перроне пассажирской станции царила толкучка, с высыпавшими из вагонов пассажирами смешивались туземцы: бригадиры носильщиков и возчиков, продавцы мехов, продавцы амулетов против Лютов и тунгетитовых самородков, которые тут назывались чернородками (наверняка фальшивых); бабули, в согласном запеве предлагающие пирожки с капустой или чебуреки с мясом; больше же всего вносили сумятицы оборотистые мальчишки, отмеряющие стаканами *арешки* — очень дешевые и очень вкусные. Проводники не вкладывали ни слишком много души, ни усилий в то, чтобы хоть как-то справиться с этим хаосом — подобные сцены повторялись практически на всех станциях, где останавливался Транссибирский Экспресс. Зато поздняя пора ограничила энергию пассажиров; большинство из тех, кто путешествовал в Люксе, Екатеринбург решило проспать. Вышел *monsieur* Верусс, очень серьезно относящийся к обязанностям репортера; вышел пожилой господин с искусственным глазом и транжирящие наследство братья; одно французское семейство с детьми из первого вагона сразу же решило проехать по городу. Стоянка предполагалась не менее двух часов. Часть пассажиров к тому же планировала попасть в екатеринбургскую церковь на позднюю воскресную службу; возможно, не все отказались от этого намерения, несмотря на опоздание. Снег, ни густой, ни тяжелый, весело плясал в желтых огнях, деликатно ложась на досках перрона, на недавно возведенное из уральского мрамора здание вокзала, на шапки, шубы и пальто людей, на теплый кожух паровоза, который только что замолк и удерживал свое машинное дыхание.

Застегнув теплое пальто с собольим воротником и натянув перчатки, я-оносошло на перрон. Тут же подскочил бригадир. Его отплатило нетерпеливым жестом.

— Размяться?

Я-оно обернулось. Юнал Тайиб Фессар.

— Хотите поглядеть на Екатеринбург? Ничего интересного, еще один примышленный городишко над рекой; сейчас по причине Транссиба и Холодного Николаевска вообще катится к упадку. — Взяв трость под мышку, он сунул руку за пазуху и добыл из футляра пару сигар. — Угоститесь, господин Бенедикт? «Партагас», прямо из Мексики.

— А, благодарствую, благодарствую.

Тот вынул перочинный ножичек, обрезал туго свернутые табачные листы.

— Прошу прощения, что спрошу — вы для меня совершенно не похожи на охотника за придаными, *un tricheur* ^[76], в такую историю никак не поверю. У меня племянник, не намного моложе... Или это была шутка? Может, пари? А дайте я угадаю: несчастная влюбленность в даму из высшего света.

Я-оно, не говоря ни слова, скривилось.

— Что? — Увлеченный игрой, купец поднял брови. — Кавалер не верит в любовь?

— Это не соответствует другим моим вредным привычкам.

Фессар рассмеялся.

— Хорошо! Запомню. А серьезно?

— Это было серьезно.

Турок быстро глянул, уже без улыбки.

— Афоризмы не годятся для того, чтобы в соответствии с ними жить; они, скорее, служат тому, чтобы забавлять компанию за столом.

*Я-оно*слегка поклонилось.

— Тоже хорошо.

Разочарованно вздохнув, он отвел взгляд и указал тростью на юг, за пределы станции.

— Тогда вы, наверняка, хотели увидеть своими тазами люта.

— Я из Варшавы.

— Ах, да. — Турок погладил гладкий свод черепа, принявшего опенок красного дерева. — Они, видно, уже и в Одессе.

Я-оно неспешным шагом направилось от вокзала, к бледным и неясным огням города. Ничего не сказав, Фессар составил компанию. Подкатилась бабулька с широкой корзинкой, накрытой белой тряпкой; Юнал Тайиб купил булку с начинкой, завернул ее в платок и спрятал в карман обширной шубы.

Развернувшись на месте, какое-то время он шел спиной вперед, приглядываясь к оставляемым в неглубоком снегу следам; когда доски и мощеная мостовая сменились замороженной глиной, он несколько раз вонзил в нее каблук казацкого сапога, поправил массивной тростью.

— Хмм, хмм. — Он выпустил дым по выдвинутому на нижнюю губу языку, успев при этом сладострастно слизнуть пару снежинок. — Вот интересно, проводил ли тут кто-нибудь в последнее время бурение. А как у вас? В Варшаве?

— Не понял?

— Земля, землю проверяли? — Он стукнул тростью в мерзлую грязь. — Эта наша беседа за картами дала много для размышлений. Эти расчеты скорости Льда. И другие вещи. — Он поднял взгляд к облакам. Екатеринбург лежал в долине, в седле Урала, у врат Великого Камня, в погодную ночь тень на западном небосклоне должна определять границы горной цепи. — Турок указал налево, на восточный горизонт, темный, без каких-либо проблесков. — Может, проедетесь на Шарташ, летом это было весьма приятное озеро. Правда, вот уже пару лет лед с него не сходит; там мороз самый жестокий. Дааа, это идет по земле, по вечной мерзлоте, как рассказывают дикари Победоносцева и господа геологи, которых Сибирхожето нанимает пачками; идет по черным подземным рекам — по Дорогам Мамонтов. Ведь один лют, даже несколько крупных источников холода — ауры не изменят.

— По земле, видимо, так, в Варшаве были какие-то хлопоты с водопроводом, дорожные работы тоже затягиваются...

Мы прошли мимо одиноких дрожек, ожидавших пассажиров с запоздавшего Экспресса; извозчик потягивал из фляжки, спрятанной в бесформенной рукавице. Дежурящий под вокзалом жандарм поглядывал на мужика с завистью.

— Вот сюда приходит и уходит то месяц теплый, то холодный — а ведь отсюда Страна Льда ближе, чем ваша Варшава. Что такое притягивает их к одним городам, а от других отталкивает?

— Ба!

От широкой дороги, идущей параллельно железнодорожным путям, отсюда под углом отходили два тракта: тот, что слева, вел прямоком к немногочисленным огням в окнах второго и третьего этажей домов в центре Екатеринбурга. Все дома, видимые с

привокзальной улицы, были сложены из дерева в плане удлиненного прямоугольника. Они, скорее, напоминали переросшие избы, чем дворянские усадьбы, не говоря уже о варшавских каменных домах; низкие, наклонившиеся, они казались наполовину закопанными в небольших сугробах. Широкие ставни были закрыты; снег лепился к щелям и заломам, укладывался на наклонных крышах ступенчатыми плоскостями, слабый ветер затягивал его в закоулки и проходы между домами.

*Я-оно*шло молча.

— Господин Бенедикт? И что это вы так разглядываетесь? Уговорились с кем-нибудь? — Фессар усмехался с двузначной иронией. — Навязываюсь, сами можете сказать, навязываюсь.

Неожиданная мысль: это он! Он, он, турок проклятый, иуда! Вышел, ждал, приклеился непрошенный, а под шубой у него, может, пара ружей, дюжина штыков, и еще скалится — он, он!

— Что-то вы не сильно здорово выглядите. — Фессар приостановился. — Ведь не так уже и холодно. — Поглядел внимательно. — Вы сильно побледнели. И рука трясется.

Я-онотут же опустило руку с сигарой. Убежать взглядом — туда: группка мужиков с топорно вытесанными рожками, явно рабочие с какого-то завода, идут по обочине, громко обмениваясь какими-то замечаниями; суровая бытовая сценка — смотреть на них, не глядеть на турка, не дать ничего по себе узнать.

А он свое:

— Здесь на Исетской в гостинице имеется довольно приличная ресторация, и если вы позволите пригласить вас на очень ранний завтрак, у нас появилась бы возможность поговорить тет-а-тет, что в поезде, говоря по правде, никак не возможно.

— Но о чем? — резко спросило *я-оно*.

Турок скривился, мышцы лица выступили под кожей словно от огромного усилия, он передвинул сигару во рту, помассировал затылок.

— Они могут болтать о духах и других призраках, только я же сижу в этом деле уже годами, живу Городе Льда, видел *Черное Сияние*и отсветы Собора Христа Спасителя; при вас был тунгетит — чистый или угольный холод, вот только кто возит деревья в лес, кто? — Фессал уже разогнался, жестикулируя сигарой и тростью, со все большим запалом; сейчас он уже не скучал, о нет, сейчас говорил совершенно иной человек: — Ну, и на что все эти тайны, фальшивое имя, а князь Блуцкий-Осей, он ради чего едет к японцам, он же известный оттепельник, а раз такие публичные афронты вам делает, это означает, что вы наверняка держитесь с ледняками, чтобы не дразнить Сибирхожето, ведь они первые перетрусят, ну а туг оказия, грех не воспользоваться, уфф... ну и куда вы так мчитесь, что...

Крик прорезал екатеринбургский мороз — рваный хрип умирающего — крик вместе с хрипом: человек умирает среди снежной ночи.

Я-онотянуло между домов. Там движение в тени — человеческая фигура — низко — черный силуэт вздымается и опадает. Сделало шаг. На мгновение в снежный отсвет попало лицо темноглазого юноши — *Спаси и сохрани нас!* — с широко раскрытым ртом и грязной полосой на щеке, чрезвычайно бледное. А вздымалась и опадала его рука с камнем, и камнем этим он разбивал череп лежащего на земле человека.

Раздался пронзительный свист. Треснула деревяшка. *Я-оно*обернулось. Юнал Тайиб Фессар, натянутый, словно тетива лука, стиснув зубы на сигаре, в распахнутой шубе, двумя руками делал замах тяжелой тростью из-за головы. Если попадет — кости поломают точно. Мороз снова треснул от винтовочного выстрела: первый из группы рабочих свалился посреди улицы, лицом в лед. Второй уклонился от трости турка. У всех у них были ножи. Раздался еще один выстрел. *Я-оно*крутилось на месте, словно деревянный паяц на палочке, постоянно

опаздывая на один оборот. Бандиты с ножами, спотыкаясь, удирали в темноту закоулка; последний обернулся, глянул со страхом и бешенством — себе за спину, на ворота дома с противоположной стороны улицы.

Ноги отклеились от земли, *я-оно* побежало к тем воротам. Человек в желтом пальто бросился наутек.

Улица была широкая, пустынная, снег тихо падал на снег; *я-оно* бежало через скрытый в темноте чужой город, двери закрыты, ставни захлопнуты, нигде ни души, один-единственный фонарь на перекрестке, сам перекресток тоже пустой, один только шелест ветра, треск мерзлоты под ботинками и хриплое дыхание — *я-оно* гонится за человеком в желтом пальто.

Улица была прямой словно стрела, но проходившей по холмистой местности — все время вверх-вниз, человек появлялся и исчезал за очередной вершиной, *я-оно* боялось, что где-нибудь он свернет, спрячется в тени — но нет, тот мчался прямо, даже не слишком часто оглядываясь за собой, у него имелась конкретная цель, вслепую он не удирал..

Понятным это стало лишь тогда, когда температура воздуха упала настолько, что хриплое дыхание перешло в душащий кашель, и мороз вонзился в горло винтообразной сосулькой — а человек в желтом пальто бежал прямо в объятия люта.

Вдоль всего приречного бульвара горело всего несколько фонарей, из глубины поперечной улицы растекался желтоватый отсвет; блеск льда пробивался сквозь падающий снег и летне-зимний предрассветный полумрак. Лют перемерзал над бульваром от одного дома к другому, повиснув на высоте второго или третьего этажа. Из мостовой там вырастали снежные иголки, воздух дрожал, деформируемый неземным холодом. Удивительно прозрачные сосульки свешивались под ледовым созданием словно хрустальная борода, будто перевернутое поле стеклянной пшеницы.

Человек в желтом пальто бежал напрямик в этот лед. Сейчас он пересечет границу мороза от люта, это смерть даже для зимовника — *я-оно* теперь прекрасно поняло — мартыновец, проваливший задание — в люте было единственное его спасение; вот-вот, и он сбежит.

Я-оно вырвало из под пальто Гроссмейстера, развернуло слои пропитанного олифой полотна и бархата, тряпки и обертки отбросило, подняло оружие на высоту глаза. Раздвоенное жало скорпиона сравнялось с рогом ящера. Покрепче стиснуло змеиные сплетения; рука не дрожала, было слишком холодно, ее просто заморозило с пальцем на хвосте змеи.

Желтое пальто — рог чудища — жало — зрачок. Нужно ли задержать дыхание? Или прищурить другой глаз? Не пострадает ли запястье от отдачи? Куда стрелять — в ногу, в руку? Ладно, лишь бы остановить! *Я-оно* нажало на змеиный хвост.

Гроссмейстер взорвался морозом. Все правое плечо, через перчатку, от пальцев до плеча, поразил холод. *Я-оно* заорало. Холод, огонь, разницы нет — боль одна и та же, только вектор другой. Здесь *я-оно* вложило руку в пятерню мороза. Черное послевидение все так же пульсировало под веками, картина молнии тьвета, когда грохнул револьвер, и когда тунгетитовая пуля ударила в землю, в лед рядом с ногой убежавшего мартыновца. Понятное дело, промах. Вопль погас в перемороженном горле, *я-оно*, кашляя, согнулось пополам. Гроссмейстер не выпал из ладони, потому что примерз к перчатке, которая сама примерзла к коже. Правая рука совершенно не чувствовалась; она висела сбоку, словно деревяшка, словно тяжелый протез.

Теперь уже кричал человек в желтом пальто. *Я-оно* подняло голову. Тунгетитовая пуля взорвалась, словно шрапнель. Лда, охватив волной черного холода все в радиусе нескольких

метров. Из выбитой в земле дыры торчали длинные языки грязной мерзлоты похожие на гигантские бритвы-лепестки тюльпана. Поднятый с улицы свежий снег, обломки камней, грязь, глина и гравий — все замерзло в одно мгновение, образовав в воздухе сложную скульптуру, произведение искусства экспрессиониста, подвешенное над чашей тюльпана на геометрически прямых струнах сосулек; те словно были вытолкнуты под небо из внутренностей неожиданно открывшегося цветка. И до сих пор еще мерцала вокруг ледяная пыль, медленно опадали хлопья инея.

Человек в желтом пальто очутился на самой границе пораженной площадки, лед его не поглотил. Но он сковал его ноги до колен, длинной ледяной пикой пробил бедро, придавил спину спирально развернутой плитой мерзлой материи, оторвал руку и покрыл лицо черным инеем — но не поглотил в себя. Человек вопил. От желтого пальто остались только клочья.

Я-онодышало через соболий воротник, чтобы холод не проникал непосредственно в легкие; уже не спеша, мерно, один вдох — один выдох на одну мысль. Так, орет, значит, может и говорить. Прижимая к боку не действующую руку, *я-оно* подошло к замороженному.

Тот дергал головой, иней кусками отпадал с его шеи; вот он рванулся на ледяном колу, и тут же треснул иней на века — мартыновец открыл глаза, глянул.

— Отпустите! — застонал он.

— Скажете, и я вас отпущу.

Тот потряс головой.

— Из холода в холод человек родится, в холод уходит, холоден Бог; из холода в холод...

Подошло поближе. Взрыв поразил его сзади и справа; мартыновец висел на этой кривой сосулине словно на наклонном шампуре или средневековой пике; ноги его вмерзли в лед, но, видимо, земли так и не касались; огромный ком мерзлой почвы выкручивал ему позвоночник под невозможным углом, мужик выглядел так, словно ему перебили шею. Оторванной руки нигде не было видно. Под плечом примерз короткий лоскут желтого материала.

Левой рукой показало на восточный горизонт, над городскими крышами.

— Сейчас солнышко встанет. И лют тоже в противоположную сторону ползет. Растаешь, братишка.

Тот хотел плюнуть, но слюна примерзла к губам.

— Так? — рывкнуло *я-оно*. — Значит, так будет? Тогда бывай здоров! — И отвернулось.

Мартыновец заплакал:

— Не оставляйте меня так! Уже говорю, говорю! Ну что я знаю — кхрр — отец наш наиморознейший в пермской губернии говорил, чтобы следили, такой-то и такой-то господин польский, под именем Венедикта — кхрр — Филипповича Ерославского ехать будет Сибирским Экспрессом, и доехать не должен, отпустите меня!

— А вы, выходит, слушаетесь отцов своих.

— Господин!

— А если бы я из поезда не вышел, тогда что?

— Так вышли же, вышли, *хотямы* и не надеялись... О, Матерь Божья Святейшая, лучше бы и не выходили!..

— И правда то, что патриархом вашим единственным является Григорий Ефимович Распутин?

— Да отпустите же, Господи!

— Только скажи: в других городах меня тоже ожидают? А в самом поезде? Есть кто? По какой — такой причине ко мне ненависть подобная, а?

— Да откуда ж мне знать, что в других городах, пустите! А что в поезде! Для меня такое слово отца, словно лед на сердце... Отпусти, милостивец, отпусти!

— Но какая же причина, должна быть причина!

— А такая, такая! — Мартыновец покосился из под лепящего ресницы черного инея. Исхудавший, кожа в шрамах, с пятнами от старых отморожений, с несколькодневной щетиной на впавших щеках — он казался карикатурой на сибиряка-каторжника, не хватало только кандалов. Правда, сейчас его сковывали оковы, более твердые, чем железо. — Вы там ведь лучше знаете, кхрр. Зараза оттепельническая, или троцкист, или народник, или анархист, или там западник петербургский, или какой иной революционер — в голове одно: разморозить, разморозить, разморозить Россию.

— Чего?

— Отпусти!..

— Так что я там хочу сделать?...

— А зачем едете в святую землю? Все вы одним миром мазаны! Огонь нам в глаза! Но Господь послал России лютов. Так убить лютов! Батюшку Царя убить! Страну погубить! Все вы одинаковы!

— Иисусе Христе, на кресте муки принявший, да о чем вы говорите?!

— Ха, пушка, льдом стреляющая в руке, а он еще и запирается, убийца! — Мужик снова дернулся. Если бы гнев и вправду сжигал живым огнем, мартыновец давно бы уже растопил сковывающий его лед. — Ждут вас уже, ждут! И черт с вами!

Я-оноосмотрелось по улице. Этот разговор ни к чему не ведет. Левой рукой осторожно вынуло Гроссмейстера из правой руки, вернулось за полотном и бархатом.

— Да отпустите же! — благим матом вопил замороженный. — Сами же сказали, что пустите!!!

Я-оноподняло тряпки, завернуло в них револьвер.

— Что, вранья от правды не отличите?

Все больше огней загоралось в окнах — куда донесся грохот выстрела Гроссмейстера и крики мартыновца. Улицы в Екатеринбурге пересекаются под прямым углом, город выстроен по указам XVIII века, даже мост, пересекавший Городской Пруд, является простым продолжением улицы. В этом направлении — мост; в том — вокзал. Спрятав Гроссмейстера, быстрым шагом направилось к северу, массируя отмороженную руку. Слава Богу, что сейчас мороз, в противном случае наверняка какой-нибудь разбуженный мещанин уже приперся бы, чтобы узнать о причине ночного шума. Мартыновец продолжал вопить.

На вершине уличного склона приостановилось, глянуло через плечо. Снег все так же сыпал, первые лучи восходящего Солнца расщеплялись на кружащих в воздухе хлопьях, серебристых иголочках и сахарных крупинках. Вокруг люта и ледяной чаши кратера, вокруг окружавшей люта короны сталактитов и сталагмитов и висящего на одном из них человека, расцветали синие зарева, бил отблеск зимне-летней зари. Тучи на небе переместились, солнечное окошко в них закрывалось, и зарева гасли; затем разгорались заново — на меньший промежуток времени — на больший — на меньший... Приливы дня на мелком шельфе ночи. Весь Екатеринбург был прикрыт белизной, при этом, в основном, плоскими поверхностями белизны, как будто кто-то поставил здесь вместо города аппликацию города из белого картона; а под этим солнцем картонки оживали, белизна порождала другие цвета. Даже лют лучился более теплыми красками, по разветвлениям его асимметричной мерзлоты стекали зимназовые радуги. Один только человек в желтом пальто, чем более теплый свет касался его лица, чем выше вздымались по его инею волны дня — тем более страшно он кричал. Когда лед, наконец, сойдет с его плеч, и мартыновец почувствует рану от оторванной руки — когда лед отпустит, и висящие над ним массы земли упадут ему на шею...

Быстрым шагом я-ононаправилось в сторону вокзала.

Юнал Тайиб Фессар, опершись о колесо дрожек, стоял над трупом бандита и курил свою сигару.

— О! — выплюнул он дым. — Так он не побежал за вами?

— Кто?

— Человек князя.

Извозчика *я-оно*заметило в переулке, тот присвечивал фонарем жандарму, который присел возле трупа с разбитой головой. Снег падал на разлившуюся по снегу кровь.

— Думаю, нам следует возвратиться в поезд. Может случиться, что местная полиция пожелает нас задержать.

— Ммм?

— Чтобы мы были свидетелями по делу.

Турок глянул с нездоровой заинтересованностью.

— Советник Дусин уже занялся этим. Что с вашей рукой, господин Бенедикт? Вы ранены?

— Советник Дусин?

— Я же говорю вам, это люди князя.

— Кто?

Фессар выглядел озабоченным.

— Э-э, нам и вправду будет лучше вернуться в поезд. Прошу...

— Ничего со мной не случилось! — отпихнуло *я-оноруку* купца. — Откуда Дусин?

— А кто их тут подстрелил? Я имею в виду, этого... Я же и говорю, люди князя Блуцкого.

*Я-оно*снова глянуло в глубину переулка. Жандарм обыскивал карманы покойного.

— Нет, не этого, — сказал турок. — А даже если и так, все равно не признаются, исключительно неприятный вид. Пошли.

*Я-оно*задрожало.

— Кто...

— Ну я же вижу, что вы едва на ногах стоите. Впрочем, мог бы нас и подвезти, наш гений-полицмейстер и сам справится, сейчас я...

— Нет!

— Тогда пошли, пошли!

Шли мы по собственным следам. За кем побежали люди князя? За парнем с черными глазами? За остальными бандитами? Наверняка.

— Сибирхожето сделает все, чтобы сохранить монополию, — тихо говорил Юнал Тайиб, глядя строго под ноги. — Когда Тиссен попытался поставить холодницу на гнезде над Дунаем, четыре пожара у них случилось, один за другим, пока, наконец, люты назад не ушли. Вам нужны протекторы-защитники. Князь едет во Владивосток, как вы тогда с ним договорились? На кого вы можете рассчитывать там, на месте? Кто в это вкладывает деньги? Кто имеет паи? Мы бы могли вам помочь. Скажем, исключительные права на новые месторождения и холодницы в Индии, Малой Азии и Африке, на двадцать пять лет. Что? Ладно, пускай будет пятнадцать. Все гарантии на месте, и я сразу же открываю аккредитив на сто тысяч через час, как мы прибываем в Иркутск, моего слова будет достаточно. Так как? *Je suis homme d'affaires* [\[77\]](#), господин Бенедикт.

— Понятия не имею, о чем вы говорите.

— Точно так же, как понятия не имели, что вас тут поджидают, а? Я же не слепой, вы же чуть из шкуры не выскочили — только зачем было под тот нож лезть? Вы же так договорились с советником Дусиным? Что вы будете изображать приманку, а люди князя их

перестреляют? И весь тот театр вчера за обедом нужен был только для этого? Правда, сейчас он уже мало на что пригодится. Вот, поглядите сами: *madame* Блютфельд, наш господин писака-журналист, уже болтают, вокзальный сторож уже все им выболтал; улица, вроде, и пустая, а одна минутка — и все слуги обо всем все знают. Скажем, что какая-то банда хотела нас ограбить — правда, долго это не удержится... два трупа... или три?...

— Два.

— Два. Не нужно было выходить из купе... Зачем вы туда шли?

Я-оно присело на вокзальной лавке. К счастью, те пассажиры, что дискутировали в свете перронных ламп с проводниками и рослым извозчиком, в эту сторону не глядели. Волна снега встала в воздухе поперек путей — сморщенная занавеска мороза. Слышны ли были выстрелы и здесь, на вокзале? Проезжал ли кто-то из них по той улице? Жандарм — он сам прибежал, или же его вызвал Дусин? Фессар прав, это уже не имеет значения, сплетню уже не удержать.

— Но вы все-таки ранены. Сейчас я разбужу доктора Конешина.

— Нет! — Я-оно поднялось. — Это не рана. Сейчас я соберусь с силами.

Турок качал головой.

— За чем-то ведь вы туда шли, только — за чем?

— Вы не поймете... никто этого не поймет... а рассказывать нельзя... — Тем не менее, попытку я-оно сделало: — Я не должен был идти. Меня предупредили. Никаких причин у меня не было. Наоборот — все причины: против.

Фессар первым поднялся в вагон и помог подняться по ступенькам. Я-оно оперлось спиной о коридорную стенку.

— Я все думаю, ну откуда у меня в памяти это имя. — Юнал Тайиб машинально потянулся за часами, рассеянно глянул на циферблат. — Еще час, самое малое. — И вот только сейчас — когда подумал про карты, что ходят по Стране Лютов — нет, нет, не Гроховского — ведь в тех землях работает множество польских ссыльных. Она должна была попадать мне в руки — карта? отчет? может, патент? Герославский, правильно? Герославский. Был такой геолог — у Круппа? Жильцева? А в последнее время это имя и в списках разыскиваемых. Какое-то знаменитое дело, причем, религиозное. Все из-за этого, правда?

Я-оно не отвечало.

— Из-за этого, — шепнул он. — Брат? Отец? Родственник. Наконец-то, открыл метод. — Турок спрятал потухшую сигару, стянул перчатки. — Можете ничего не говорить, уже понял, понял.

Ну что он понял? Я-оно стискивало зубы, с подобной болью было невозможно ясно мыслить. Впрочем, турок и вправду не ожидал ответа.

— Но ведь за ваш билет платит царское Министерство Зимы! Это меня и сбило с толку. Политика, думал я. А тут еще выскакивает князь Блуцкий-Осей. А как же! Министерство с самого начала было вотчиной оттепельников: фон Цельке, Раппацкий... А Победоносцев, в свою очередь, обязан оплачивать ледняков, даже если ему этого и не хотелось. И так оно и крутится...

— Вы простите, мне уже нужно...

— *Hay hay, olur* ^[78] — Фессар поклонился и отодвинулся, давая пройти в узком коридорчике. Какое-то время он еще постоял там, опершись на трость, в тяжелой своей шубе похожий на старого медведя.

Я-оно долго сражалось с потерявшими чувствительность пальцами левой руки, пока не попало ключом в замок.

Но двери *атделения* были открыты.

— Проходите, прошу.

Он сидел на стуле под окном. Шторы затянул — черный костюм и тень вместо лица, а на коленях котелок, больше ничего не было видно. Вернулось воспоминание про чиновников Зимы, их первого образа, попавшего в зрачки после пробуждения. Никогда не спрашивают разрешения войти; власть принадлежит им.

— Закройте двери.

Я-оно включило свет.

Павел Владимирович Фогель заморгал, поправил на носу очки.

— Закройте дверь, *гаспадин* Ерославский, у меня нет времени, так что слушайте. Мне говорили, что было бы лучше ничего вам не знать, только так было бы нечестно. Наше...

Я-оно сползло на кровать, голова ударилась об обшивку. Седоволосый охранник сморщил брови.

— Наше задание заключается в охране доктора Теслы и его аппаратуры. Мы получили информацию, что в самый последний момент ледняки внедрились к пассажирам класса люкс еще одного человека. Как-то мы узнали, что Вазов у нас в руках. Вазовым мы занялись в первый же день; все пошло не по плану, и мы очень благодарны вам за вмешательство; тем не менее, по этой причине вы подставили себя опасности. — Фогель склонился к постели. — Вы меня слушаете? Нам не известно, зачем вы нужны Зиме, и мы не знаем, что у вас общего с Его Высочеством. Но теперь мы знаем, что ледняки считают вас угрозой, не меньшей, чем доктор Тесла. Наша же задача — охранять доктора Теслу и его аппаратуру. Вы понимаете, что я вам говорю?

— Я подста... на отстрел.

— Возможно, я и не должен был... Делайте, как считаете нужным. Теперь вы знаете. Это может быть каждый из них.

— Каждый и никто, и все вме...

— Что?

— Тссс. Вот скажите мне, Фогель. Почему ледняки? Какое мне дело до... Кхррр.

— А ваши дела с Зимой? Вы зачем туда едете?

— Мой отец... Зима мне так сообщила, будто он разговаривает с лютыми.

— Ах! Вы еще удивляетесь? При дворе Бердяева тоже почитывают. Сам я чиновник государственного порядка, меня не ставили выпрямлять Историю, на Лед я не молюсь. Но такие имеются, есть, и тут, и там.

— Это не имеет...

— Что с вами? Вы себя хорошо чувствуете?

Он поднялся, заботливо склонился, электрический свет позолотил седые волосы. В стеклах его очков отразилось искривленное в маске страдания лицо с ястребиным носом и черными усами — чье же это лицо... знакомое. Он протянул руку. *Я-оно* закуталось в плед.

— *Гаспадин* Ерославский?

Дрожь тела не давала возможности говорить ясно.

— Рас-ста-та-та-ю.

Я-оно не заметило, как Фогель вышел, не заметило, когда Экспресс отошел от станции Екатеринбурга. Когда вскоре после того поезд проезжал на две тысячи семьдесят восьмом километре четырехгранный столб, обозначающий западную границу Сибири — тот самый тотем царской власти над Европой и Азией, весь покрытый многоязычными прощальными, молитвенными, угрожающими надписями, сотнями русских, польских, еврейских, немецких и арабских фамилий, возле которого когда-то останавливались кибитки, а семьи покидали ссыльных — когда поезд проезжал границу, *я-оно* валялось без сознания в горячке после обморожения. Оттепель победила в организме лед, кровь снова поступала в холодную

десницу. *Я-о*новидело сон о трескающемся речном льде, о мощных оттепельных ручьях и Солнце, восходящем над континентами — все это снилось до тех пор, пока Солнце и вправду не возшло, и это было лето.

Она победила, развернув ложечку на скатерти на девяносто градусов. Комбинация из трех фарфоровых стаканчиков парализовала масленицу. Под хлебницей пали стаканы и рюмки; смелую атаку вазочки с букетиком свежих цветов остановили броненосцы металлических тарелок. Нож затонул в болотистом варенье. Солнце падало на салфетки; тень солонки указывала на левый угол стола. Тарелки с копченостями на помощь не приходили. Хлеб был белым, с плотной текстурой. Оставалось сдать салат.

Я-оно отправилось на завтрак еще до того, как *правадник* начал приглашать, чтобы опередить остальных пассажиров и разминуться с ними. Теперь, когда временно повернуло стыд в собственную пользу, другой императив требовал проявить то же самое поведение: скрыться, спрятать голову, переждать. Ведь — это может быть каждый из них. Не зная, чего бояться больше, выбирало решения промежуточные. Промежуточные, косвенные решения, действия по линии наименьшего сопротивления, компромиссный выбор — тем более, тогда мы не совершаем того, что делать хотим; все делается само.

Я-оно уселось за пустым столом, кивнуло стюарду. Тот указал на часы. Оперлось плечом на раму окна; утреннее солнце стекало из-за спины теплыми волнами прямиком над зелеными равнинами, более обширными, чем небесные просторы; Богданович остался позади, до Тюмени Экспресс должен добраться до полудня, машинист старался нагнать опоздание. Зазвенели металлические оковки двери вагона-ресторана. Глянуло. Панна Мукляновичувна.

Та заговорщически улыбнулась. Видимо, она услышала из своего купе шаги и скрежет замка, от нее не скроешься. Незаметно позевывая, она мигала на солнце, которое заливало пустой вагон-ресторан.

Она присела за стол очень естественно. *Я-оно* поцеловало ей руку.

— Где же ваша уважаемая тетушка?

— Тетя неважно себя чувствует.

— О, надеюсь, ничего серьезного...

Девушка продолжала улыбаться; эта улыбка помнилась: чертики в глазах, чертик в уголке рта. Очень старательно она выгладила салфетку. Злое предчувствие нарастало внутри, словно пузырь гниlostных газов.

Она сплела пальцы корзинкой.

— На рассвете я встретила госпожу Блютфельд...

— Даже не стану и спрашивать.

— Вы не цените, пан Бенедикт. Али-бабе были нужны сорок разбойников.

— Смилуйтесь!

— А я вам хотела помочь, чтобы вы, бедненький, в своем одиночестве не сгорели. И перед князем храбрости добавить. Ведь как же вы всех нас обманули!

— Ладно, спрошу. И что эта ужасная женщина снова нарасказывала?

— Вы уже были графом, — панна Елена считала на худеньких пальчиках, — графом, салонным мошенником, а теперь оказываетесь ночным авантюристом, кровавым грубияном. Так кто же вы на самом деле?

Я-оно закрыло глаза.

— Как вы уже говорили.

— Ммм?

— Каждым из них, на одну десятую. Всем вместе.

— Как это?

— А откуда можно подобные вещи знать? Слушаешь других людей, повторяешь, что о тебе говорят. Или же слушаешь свои собственные мечтания и сны. Граф, авантюрист, баламут — пожалуйста. Выбирайте, что захотите. Мы в поездке, друг друга не знаем, так кто мешает поверить сплетням?

— Сплетням, — пропела она. — Сплетням. Сплетням.

Я-оно приподняло левую бровь.

— Что?

— Сплетни *Frau* Блютфельд не имеют с правдой ничего общего. — При этом она обвинительно покачала указательным пальцем. — Я знаю, знаю, пан Бенедикт, и не отпирайтесь. Вы с князем Блуцким задумали всю эту интригу, в Екатеринбурге пролилась кровь — все это петербургские игры, так? Так!

Я-оно размашисто перекрестилось.

— Как Господь Бог мне мил, панна Елена, позавчера, в субботу, я князя Блуцкого впервые в жизни увидел, в российской политике не разбираюсь совершенно, а к уличным авантюрам пригоден, как *Frau* Блютфельд для балета! Вот, до сих пор еще руки трясутся. На нас напали какие-то подвыпившие бандиты, господин Фессар может засвидетельствовать, местное жулье; чудо еще, что люди князя были неподалеку, в противном случае — дальше я бы ехал уже в гробу... Ну, и чего вы строите такие глаза!

— Но ведь вы же лжете, пан Бенедикт! — восхищенно воскликнула панна Елена Мукляновичувна, и в этом своем возбуждении сложила пальцы, словно собиралась молиться. — Вы же лжете!

Я-оно заскрежетало зубами.

— Да чтоб вас, начитались глупых романчиков и...

— Поезд не ехал.

— И что?

— Поезд не ехал. — Она склонилась над столешницей, мраморно-белой рукой прижимая миниатюрное жабо к груди. — Стоим на станции. Срединка ночи, тишина, словно кто маком посеял. — Она снизила голос до шепота. — Я не спала. Слышала каждое слово.

— Да о чем вы...

— «Наша задача — защищать доктора Теслу и его аппаратуру».

— О Боже!

— «Это может быть каждый из них».

Я-оно спрятало лицо в ладонях.

Панна Мукляновичувна тихонько захихикала.

С моей стороны ответом был только тихий стон.

— Спасите!

— Подать клубный завтрак, или господа сами выберут из меню...

— Пожалуйста, пожалуйста, — улыбнулась Елена стюарду.

На столе появился сервиз, отполированный самоварчик, кувшинчики с молоком, поднос с фруктами. Панна Елена, слегка нагнув головку, и поглядывая из-под черных ресниц, начала играть райским яблочком. *Я-оно* наблюдало за ней сквозь пальцы левой руки, на которой сейчас лежала тяжесть непослушной головы. Девушка что-то напевала под носом, чертик-искорка перескакивал из ее глаз в рубин на шее и назад. Высунув кончик языка, Елена положила розовое яблочко между самоваром и сахарницей, на линии, делящей стол на восемь человек поперек. Она ждала. *Я-оно* выбрало из корзинки масляную булочку и поместило ее на

таким же расстоянии с противоположной стороны самовара. Панна Елена прижала тыльную сторону ладони к алым губам. Чуть подумав, она передвинула соседний набор посуды, открывая белую равнину скатерти на своем левом фланге. Ответом стала полная перегруппировка столового серебра. Панна Елена, прелестно прижав ямочку на щеке, установила графин с водой в самой середине полосы солнечных лучей, укладывая на свою часть стола сине-зеленые радуги. *Я-оно* дернуло себя за ус, куснуло палец. Солонка, вся надежда на солонку.

Правила игры нам не известны, но, тем не менее, мы играем. *Я-оно* с нескрываемой подозрительностью глядело на панну Елену. Был ли это всего лишь очередной рефлекс чрезвычайно энергичной девчонки, или же она прекрасно знала, что делает? Быть может, не только извлеченный из жизни эпизод, несколькодневная поездка по Транссибу, время вне времени — но и всю свою жизнь разыгрывает она таким же образом. Не знает правил игры, но, тем не менее, играет. Так будет достигнута мудрость, которой не достигнешь никаким иным путем. Рождаемся — неизвестно зачем. Подрастаем — непонятно, ради чего. Живем — неизвестно, ради чего. Умираем — и все равно, не знаем. У шахмат имеются правила, у зимухи — свои, даже придворные интриги руководствуются собственными принципами — а каковы правила жизни? Кто в ней выигрывает, кто проигрывает, каковы критерии победы и поражения? Нож служит для того, чтобы резать, часы — чтобы отмерять время, поезд — для перевозки товаров и пассажиров, а для чего служит человек? Он не знает правил игры, но, тем не менее, играет. Все остальные игры по отношению к этой представляют собой ребяческие упрощения на грани мошенничества, оглуляющие тренировки механической работоспособности мозга. А эта игра — истинная. Ее правила и цели остаются неизвестными — выводы о них можно делать только из самого хода игры, только так они проявляются, в наших собственных ходах. Судей здесь нет. Проигрываешь, выигрываешь — но почему, и откуда такая уверенность, невозможно выразить в любом межчеловеческом языке. Солянка ставит шах горчице. Правил игры не знаем, но, тем не менее, играем.

Она победила, развернув ложечку на скатерти на девяносто градусов. Комбинация из трех фарфоровых стаканчиков парализовала масленицу. Под хлебницей пали стаканы и рюмки; смелую атаку вазочки с букетиком свежих цветов остановили броненосцы металлических тарелок. Нож затонул в болотистом варенье. Солнце падало на салфетки; тень солонки указывала на левый угол стола. Тарелки с копченостями на помощь не приходили. Хлеб был белым, с плотной текстурой. Оставалось сдать салат.

Триумф панна Елена приняла молча. Когда ела, не разговаривала. Спокойно допила травяной чай, осушила губы салфеткой. Ни разу не отвела она взгляд, ее улыбка питалась освещавшим ее солнцем, это был истинный *perpetuum mobile* ^[79], радость в ответ на огорчение, радость в ответ на безразличие — так что невозможно было оставаться безразличным. Свой пальчик она поднимала и опускала в такт музыки поезда, тук-тук-тук-ТУК, так что *я-оно* подсознательно начало постукивать костяшками пальцев контрапунктом к ее ритму. Она же лишь улыбнулась шире, поскольку это было продолжение той же самой игры, теперь это было понятно — начиная с первой, случайной встречи, с короткого взгляда той ночью, когда охранники проверяли в коридоре документы пассажиров — понимала ли она это, вряд ли... Правил игры не знает, а куда там.

— Благодарю.

Я-оно поднялось. Стюард отодвинул ее стул. *Я-оно* открыло дверь.

В проходе она внезапно остановилась.

— Значит, начинаем.

— Начинаем?...

— Следствие.

— Следствие, — глухо повторило *я-оно*.

— Я составила список. Если не считать детей и пассажиров, которые подсели уже после Москвы, у нас сорок пять подозреваемых.

— Вы составили список?

— Это же естественно. Нам известно, что одна из особ, едущих в классе люкс, является убийцей. Вопрос: кто?

— Эта особа никого еще не убила.

— А! Тем сложнее загадка! Вы должны мне все подробно рассказать. Доктор Тесла — это тот высокий старик, с которым вы разговаривали вчера после карт, правда? А та блондиночка, с которой я вас видела на вечернем постое?

— Панна начиталась шестикопеечных *Шерлоков Холмсови Приключений полицейских агентов*.

Ради большего эффекта, панна Елена хотела подбочениться, но коридорчик был для этого слишком тесен; поэтому она удовлетворилась тем, что сложила руки на лифе.

— А что пан Бенедикт имеет против Шерлока Холмса?

— Кроме того, что он ненастоящий детектив, решающий загадки ненастоящих преступлений? Ничего...

— Тихо...

Праведник поклонился и подошел ближе. Вопросительно глянул на девушку. *Я-оно* махнуло рукой. Тот наклонился, чуть ли не прижимая губ к уху, горячее дыхание ошпарило ушную раковину.

— Ваше Благородие хотело знать про того парня, из купейного... — понизил он голос.

Я-оно дрожащей рукой вытащило бумажник, выловило банкнот.

— Зовут его Мефодий Карпович Пелка, — четко произнес проводник. — Место семь цэ в четвертом вагоне второго класса.

— Где высаживается?

— Место оплатил до Иркутска.

— Едет от Москвы?

— От Буя, Ваше Благородие.

Я-оно глянуло на Елену. Та делала вид, будто не подслушивает, только притворство ей не удавалось; повернув голову в другую сторону, она отклонилась к проводнику — стук колес и шум мчащегося состава весьма затрудняли подслушивание, тем более — здесь, у перехода между вагонами.

— Хотите найти убийцу? — шепнуло ей *я-оно* по-польски. — А может, для начала, *маладца*, который вчера разбил человеку голову, словно гнилую тыкву.

Та лишь раскрыла глаза еще шире. Но тут же вернулась улыбка, Елена крепко оперлась на поданную руку, подняла подбородок.

— Не опасайтесь, пан Бенедикт, я пана Бенедикта смогу защитить.

Проводник вел.

Тем не менее, теснота вагона весьма затрудняла общепринятые жесты (общепринятые — то есть такие, когда человек приближается к человеку, совершенно к нему не приближаясь). В коридорчике с другой стороны вагона-ресторана *я-оно* зашипело от боли, и Елене пришлось отпустить руку.

— С вами что-то случилось? Я сразу не спросила, прошу прощения, тот человек вчера ночью тоже беспокоился. Вас избили?

— Нет.

— А рука?

За вагоном-рестораном проводник открыл двери в служебные помещения. Я-оно пропустило панну Мукляновичувну вперед. Она глянула через плечо.

— Я еще за столом заметила, у вас дрожала ладонь.

— И, видимо, посчитали, будто это от нервов.

— Она болит? Что произошло?

— Замерз.

— Но если вы что-нибудь себе отморозили...

— Вам никогда не доводилось терять чувствительности в конечности? Когда кровообращение в руке или ноге прекращается, вы прикасаетесь к коже, но впечатления прикосновения нет, совершенно чужая плоть, и вы уже не имеете над ним власти, это уже совершенно мертвый балласт — а потом внезапно туда возвращается тепло, возвращаются чувствительность и свежая кровь. И все колет, свербит, чешется и болит. Ведь болит, правда? А теперь умножьте все это раз в тысячу. Как будто кто-то влил в жилы горячую кислоту. Сам лед не приносит боли, больно выходить из льда.

Елена приостановилась, внимательно тянула, снова те же всепожирающие глаза и головка, склоненная к собеседнику, как удастся только лишь *mademoiselle* Мукляновичувне.

— Теперь вы говорите о теле?

— А о чем еще?

— Какой же это мороз должен был быть в Екатеринбурге, чтобы так человека заморозить?

— Там был лют. И мартыновцы. Слышали когда-нибудь про мартыновцев?

— Санаторий профессора Крыспина, якобы, построен на месте сожженной пустыни Святого Самозаморозившегося.

— Ну да. Панна Елена наверняка что-то о нем читала, теперь узнаете так. Мефодий Карпович носит медальон со святым во льду. Ну что же, идите, *праведник* ждет.

В коридорах купейных вагонов царило более активное движение, почти все *атделения* оставались открытыми, оттуда доносились отзвуки разговоров, запахи наскоро приготавливаемой еды, стекло стучало о стекло, кто-то пел, еще кто-то храпел; своя жизнь шла и в коридоре, перед туалетом стояла очередь, у приоткрытого окна стояли мужчины и курили; маленькая девочка бегала вдоль вагона, заглядывая по очереди во все двери, наверняка играясь с кем-то в прятки. Мы попали в другой мир, это был совершенно другой поезд.

Разница в классе — то есть, в деньгах — сама по себе ничего не решала. Я-оно поняло это только через какое-то время, проходя уже в следующий вагон. Так вот, здесь ехали исключительно русские. Пассажиры класса люкс, даже если по рождению были подданными царя, не разделяли обычаев народа Империи, они уже совершенно отклеились от простых людей. *Еврейский* этикет, петербургская мода, взвешенные беседы по-немецки, по-французски... дистанцированность и закрытость. Все они искусственные — естественным же является именно этот дух общности, извечная память общины; достаточно пары дней, что совершенно инстинктивно между попутчиками образовались очень сильные и откровенные связи, традиции которых уходят к земле.

— Мефодия? Это правда, должно быть уже встал. Федор Ильич, вы малого сегодня видели?

— А разве он не поднялся еще до рассвета?

— Ага, перед Богдановичем, точно, тут подсаживались рядом и шумели ужасно, так мы все и проснулись. Кто-то заглянул к парню, они поговорили, вышли. На стоянках ватерклозет,

прошу прощения, дамочка, закрывают, так они, видно, покурить пошли.

— А кто это был, вы, случаем, не знаете?

— Так мы же спали. Так, глаз откроешь, ругнешь одного-другого, чтобы спать не мешал.

Они и пошли.

— Тогда мы бы его в коридоре встретили. А может сидит в каком-нибудь из закрытых купе. — *Я-оно*кивнуло проводнику. — Будьте добры, пройдитеесь-ка и проверьте.

Тот вздохнул, пошел по вагону.

— А чего вы от парня хотите? — обеспокоился Федор Ильич.

— Да ничего, просто поговорить. Он туг спит?

— Да. Но, оно, поговорить и поговорить можно, тут с самой Москвы тайные жандармы ходили...

— Нет, что вы! — рассмеялось *я-оно*. — Это не те разговоры. Где его одеяла?

Федор пожал плечами.

— Нам отдал. Говорит, ему без надобности, так жарко. А сами вы откуда, из Литвы? Моя покойная сестра Евдокия, земля ей пухом, жила в Вильно до девятьсот двенадцатого. Может, бывали когда в трактире Любина?

— Нет.

Вернулся проводник.

— Нету. — Теперь он сам был обеспокоен. — Мог выйти в Богдановиче.

— И оставить все свои вещи?

Панна Елена сделала таинственную мину.

— Загадка Исчезнувшего Пассажира, — шепнула она.

Появился проводник этого вагона; дело в том, что начала создаваться толкучка, затор в коридоре — в таком замкнутом обществе любая помеха для естественного ритма вырастает до размеров сенсации.

— Давайте, лучше, пройдем в служебное.

Проводники показали дорогу. Местный сразу же закрыл дверь и засуетился у самовара — гостей принято угощать, это ничего, что они только-только с завтрака. Служака постарше расстегнул украшенный галунами мундир, брюхо тут же вывалилось над широким поясом, он уселся возле окна. Дернув себя за бороду, он покачал головой, ну что это благородные господа подумали, в нашем поезде такие вещи не случаются, за каждого пассажира в ответе, каждого пассажира считаем, видимо, выскочил втихаря на стоянке, а в срок вернуться не успел; с пассажирами первого класса никогда такого не случилось, и случиться права не имеет, заверяю вашу милость. При этом он прижимал руку к сердцу. Звали его Сергеем, а местного проводника он называл «Нико». Один более растерян, второй больше злился, но оба чувствовали себя не в своей тарелке.

*Я-оно*приглядывалось к игре Елены Мукляновичуны. Сейчас она всего лишь повернула стакан в ладони, едва наклонилась над эбонитовой столешницей, где лежали подробные расписания поездки и вагонные распределители. Всего лишь действий, что пошевелить головкой в полосе солнечного света, прищурить глазки, чтобы не било сияние. Что делать? Снова капитулировать? Ха, *я-оно*уже капитулировало, не отправив ее после первых же слов проводника Сергея про Мефодия.

— Так вы говорите, — взяла слово Елена, — что этот Пелка принимал участие в екатеринбургской аванюре. Что он был от святого Мартына. Вскоре после того, как мы отъезжаем от Екатеринбурга, кто-то приходит в *атделение*Пелки, выманивает его — и больше Пелку никто не видит. Проводники могут присягнуть; так или иначе, но нигде в вагонах второго класса нашего Мефодия Пелки нет.

- Он мог сойти и опоздать к отъезду, как говорит Сергей. Наверняка ведь сошел.
- Или выскочил.
- Или выскочил.
- Или же его выкинули.
- Такое тоже возможно.
- Или же — выбросили его труп.
- Или, — согласилось *я-оно*.

Девушка смочила губы в горячем чае. *Я-оно* потянулось за сахаром. Поезд трясся, серые кристаллики рассыпались на черной глади — сухой снежок.

Служебное купе было не большим, чем купе в люксе, четыре человека — уже было много, а поскольку окно оставалось закрытым (если бы оно было открыто, то во время езды невозможно было бы разговаривать), и через стекло степное солнце нагревало все внутри словно оранжерею ботанического сада, да и самовар добавлял тепла, нагревало вспотевшее мощное тело Сергея — очень скоро туг воцарилась типичная для купейных вагонов духота, жирная влага выступила на коже, потекла по горлу... Вернулись воспоминания про дом Бернатовой, *я-оно* слотнуло слюну — уже густую, уже липкую. Горячий чай нужен был затем, чтобы еще сильнее поднять температуру тела. Подумалось, что эти в вагонах третьего, четвертого классов, чуть ли не для перевозки скота, они едут в состоянии уже полной скученности, не человек и человек, но коллектив и коллектив, крупные блоки мускулистого тела Империи, многоголовые, многорукие, многоязычные, но в них обращаются одна кровь, одна слюна, один пот.

- А пан Бенедикт этого Пелку знает — откуда?

Я-оно пожало плечами.

— Не знаю. Вчера увидел его, как убивал, попросил его здесь найти, может чего бы и объяснил, но, видно, ничего уже и не объяснит.

— Интересно, что он вообще выехал из Екатеринбурга... Кто же там был? Вы все так же будете утверждать, что случайные бандиты?

- Мартыновцы.

— Ага! — У нее загорелись глаза. Все больше она становилась похожа на ребенка, которого застают врасплох очередные подарки: наибольшая радость и возбуждение до того, как оно потянет за первую ленточку, до того, как разорвет бумагу. До тех пор, пока она тщательно упакована и плотно замкнута, тайна запирает дух в груди: в ней заключены все расчудесные возможности. А криминальные загадки не для того, чтобы их решать; решенные — они становятся бесполезными.

— Тамошние мартыновцы напали на вас и на господина Фессара, и, в свою очередь, мартыновец Пелка встал на вашу защиту, так? Ммм, — сделала она очередной глоток чая, — что-то мне это больше напоминает религиозное дело, видно, наступили вы им на мозоль.

— Ба! Да я про Мартына вообще слышал только-только. Наверняка, какая-то схизма в секте. Или другая какая свара под иконами. Вот тогда, и вправду, между братьями самые страшные жестокости, тут уже никакой жалости. Только ведь вы мне все равно не верите, я же в заговоре с князем и, наверняка, с самим царем. Черт бы их побрал! И вообще, кто он такой — этот Мартын?

Проводники прислушивались к нашей беседе, которую мы вели на польском языке — услышав имя Мартына, обменялись взглядами. Сергей засопел, достал из кармана своего мундира фляжку, заправил свой черный чай; отхлебнув, еще раз засопел... — Мартын, эх, Мартын. — Он перекрестился. — Знаком он нам, господин хороший, ездят тут такие, так что знаем.

Да и кто же знал бы их лучше, чем привратники Сибири: проводники Транссибирского Экспресса? Любое паломничество почитателей Мартына начинается с Транссиба. Хочешь не хочешь, веришь или не веришь — это дьяконы этой Церкви.

Буркнув, чтобы Нико пригласил посвистывающий самовар, Сергей начал свой рассказ, быстро переходя в тон и мелодию придворной сказки: чужой голос, чужие слова — из уст герольдов Льда наименьшего калибра.

Так вот, был в якутском краю Авагенский монастырь, со времен Раскола и реформ патриарха Никона окутанный злой славой рассадника религиозных ренегатов и отщепенцев, где собирались старообрядцы и различные сектанты. Якобы, именно там готовили укрытие для ссыльного протопопа Аввакума. Но Аввакума приговорили к сожжению живьем после жесточайших пыток. Тогда многие гибли в огне, причем, по своей воле. Собирались семьями, с бабами и чадами, со своими священными книгами, и закрывались в церквях, а под церкви подкладывали огонь. Сгорали *самосжигатели* целыми общинами. Бывали годы, когда с дымом на небо уходило по тридцать тысяч староверов; Аввакум приветствовал такие самосожжения, бегство от мира вместе с Церковью, уже полностью Антихристом захваченными, проповедовал очищение в огне.

— А отчего же раскол этот произошел?

— А, милостивый сударь, это Никон ведь разрешил во время службы церковной проповеди, крестные ходы против солнца, трехкратную *Аллилуйю*, крест с двумя перекладинами, и еще поменял так, что теперь креститься можно было тремя перстами, вместо двух, вот.

— Три пальцами. И за это сжигали?

— Ваше благородие очень легко к вопросам веры относится, — возмутился Сергей.

— Да как бы я посмел! Только мне кажется, что это разница слишком уж мелкая, чтобы ради нее жизнь терять. И действительно ли обрядная внешность принадлежит истинам веры? Ведь суть веры не в том, вы же это прекрасно понимаете.

— В латинских ересьях оно наверняка значения не имеет, — буркнул Нико, — раз и так крестятся, как попало, так почему бы и не «фигой трехпалой», той самой печатью антихристовой, под которой разум затемняется и перестает отличать добро от зла, вещь истинную от фальшивой. Но в истинной вере двух правд быть не может: если, согласно правде Божьей, есть двоеперстие, то никак не троеперстие; а если троеперстие — то уже не двоеперстие. В том ужас, что Никон допустил и то, и другое. А как только позволишь споры про Бога, то отринешь от Бога. Изменишь одну букву Слова Божьего, так убьешь Слово Божье. Поднимешь руку в голосовании за или против Бога — уже от Бога отречешься. Правду можно только верно повторять; ложь по тому и узнать можно, что ложь меняется, что ее больше, чем одна правда.

Опять же, близился год Антихриста, 1666, появлялись пророки и другие самозванцы; за Саббатаем Цви, как только он объявил себя мессией избранного народа, пошли почти что все евреи. Время было апокалиптическое и, беря пример с Авагенского монастыря, начали готовить монастырь на Соловецких островах в качестве убежища, где могли найти безопасное укрытие все преследуемые, противники самого Никона и его реформ. Сибирь тоже давала убежище.

...Но тут взялись за них власти, и пошел указ, чтобы раздавить все эти еретические гнезда. В первую очередь ударили в Авагенский монастырь. Его разрушили. Большая часть монахов ушла, попрятались по пустыням, по хуторам и горным пещерам, в диких местах. Проходит один век, другой; а тут ничего не меняется; так появился невидимый сибирский монастырь, растянувшийся на тысячи верст. Приезжали к ним сторонники, как-то находили, с

другого конца света приезжали, или же те же самые сибиряки, староверы, сосланные царем, поповцы и беспоповцы, ученики, последователи. Потом вывозили в широкий свет письма, но чаще всего уже оставались — выросли в здешнюю землю. Одни вымирали, другие, но приходили следующие сектанты, и так они обменивались, поколениями, ересями — там можно найти и бессмертников и добролюбовцев, евангелистов, жидовствующих, хлыстов и скопцов, шалопутов, капитоновцев, воздыхателей, скрытников, перфиловцев, немоляков, новых стригольников, федосеевцев, мельхизедеков и бабушкинцев, пастуховцев и любушкинцев, акулиновцев и степенцовцев, бродячих бегунов — явных, скрытых и вдвойне скрытых; молокан, духоборов, штундистов, наверняка, и толстовцев — целые деревни и общины сектантов-иноверцев, все за пределами царских карт и реестров, вне закона и времени, отрезанные от света, так что не найти их. Сибирь всем дает укрытие.

...Мартын, это из пустыни Мартына, не известно, какой там по счету, начиная с учителя; знаем только, что имя взялось от Марциона Синопского, что одним из первых еретиков был, лет через сто после Христа; и такой был заядлый и закоренелый, что его отец родной, епископ Понтийский, от церкви отлучил. А Марцион этот, вместе с людьми своими, которых марционитами называли, такую вот ересь провозглашал: Бог Ветхого Завета — это не Бог Христа, но истинная причина человеческого греха и страдания — мы живем в мире злого создателя — а познание вместе с искуплением должны прийти не от мира сего — от нового Бога. И что только Евангелие апостола Луки истинное, да и то — не все, ну и пара посланий Павла Апостола. Те, что тут ездят, рассказывают еще, что Марцион свой Новый Завет сложил, и не было другого христианского Писания, только после того, как против марционового выступили, чтобы отрицать правду Марциона Синопского, появилась наша Библия... Вот что рассказывают.

...Так вот, когда Лед добрался до него, Мартын увидел в морозниках ту самую ожидаемую силу не от мира сего и откровение Бога, что изменит лицо земли зла. Первые мартыновцы, что шли в ледяные туманы, в соплицовы и к лютам, вовсе не шли на самозамораживание, но для того, чтобы познать откровения — и некоторые ведь возвращались и рассказывали всякие чудеса, а Мартын записывал свои Пророчества Зимы. В тысяча девятьсот двадцатом он исчез, во всяком случае — такая весть разошлась по Империи. Остались письма, традиции и последователи, которых становится все больше, по мере того, как Лед продвигается через Азию и Европу; и все новые и новые секты в Мороз входят, пока тут, в Лете, не произошло такое смешение, что ни мы, ни они сами уже не могут согласиться с тем, кто является истинным сыном Мартына, кто верно его слово гласит, а кто искажает веру и перевирает смысл Пророчеств; и среди них есть даже такие, что, в конце концов, усмотрели в лютах Антихриста, а уже среди них имеются такие, что желают его огнем прогнать, но и такие, что приветствуют его с охотой, ожидая смерти и конца света во Льду; а есть и такие, которым сокровища Зимы извещают наступление Золотого Века; есть и такие, что во Льду видят обещание вечной жизни, так что едут туда, в свою святую землю на обряд самозаморожения, покупают билет на Транссиб в одну сторону для целых семей; видели мы таких, в Сибири уже остаются навечно в хрустальных глыбах, в ледовых саркофагах, так...

— А не знаете, случаем, зачем ехал туда Мефодий Пелка?

Сергей глянул на Нико, тот поднял обе руки, как бы сдаваясь.

— Даже если и мартыновец он, то нам не говорил, ваше благородие.

— Следовало бы обыскать его вещи... Но кто же мог зайти к нему ночью? — спросило я-оно. — Не видели, как и с кем он разговаривал?

— С вами когда разговаривал, — сказал Сергей, — так он ничего не говорил, будто бы

собирается раньше вставать. Если бы вы засвидетельствовали, господин...

— Нет.

— Эх...

Кто-то постучал в дверь. Нико извинился и вышел в коридор; оттуда сразу же донеслись отзвуки ссоры — два подпивших пассажира обвиняли друг друга в каком-то не слишком понятном оскорблении.

Сергей в очередной раз глубоко вздохнул, застегнул мундир, буркнул: — Мне тоже работать пора, — и, поклонившись, неуклюже протиснулся в двери мимо второго проводника и горлопанов. Двери за них громко захлопнулись. Экспресс как раз карабкался на подъем — загрохотало содержимое шкафчиков в служебном купе, недопитый чай Сергея съехал по столу, *я-оно* успело подхватить его в самый последний момент.

Панна Елена громко стукнула своим стаканом о стол.

— Если бы не то, что я сама вас слышала, — заявила она, — пан Бенедикт был бы первым в моем списке подозреваемых.

— Это в чем? Будто бы я ночью прокрался в купейные и выбросил Пелку из поезда?

— Нет, это просто ужасно! Вы все врете и врете! — Она покачивала головой, серебряные шпильки поблескивали между локонами цвета воронова крыла.

— Как это вы все так безошибочно узнаете.

— А так, и узнаю! Вот сейчас вы скажете, что никогда перед тем Пелку не видели и не говорили с ним, так?

— Могу повторить. Можете верить, кому захотите, или мне, или Сергею. И каким же образом из этой веры или неверия проявится правда?

Елена наморщила брови.

— Так все же? Вы с ним говорили или нет?

Я-оно пожало плечами, помешало чай, выглянуло через покрытое паром стекло.

— Mademoiselle Холмс начинает замечать разницу между следствием книжным и следствием реальным. Помните, что я говорил вам про двухзначную и трехзначную логику? Криминальные истории, те самые, записанные, книжные, они всегда разыгрываются в соответствии с логикой Аристотеля, всегда в мире исключенного третьего и закона непротиворечивости. В такой-то и такой-то час убийца находился там-то и там-то, другой подозреваемый — тут, а свидетель — там, алиби — вот такое, а правда — таковая, а что не сходится — то ложь, память же всегда правдива и прошлое — как зеркало. В самом конце детектив описывает, что в нем увидел. Это машина; это — шахматы: поскольку сейчас мы видим такую расстановку элементов, то, зная управляющие ними законы, можем воспроизвести любое их прошлое состояние, точно так же, как воспроизводят назад во времени ходы на шахматной доске, как перекручивают назад стрелки часов, как перекручивают назад точный механизм, как рассчитывают орбиты небесных тел. И недостаточно того, что эта механика преступления позволяет угадать картину минувших событий — но все еще и соглашаются с этой картиной! Даже убийца! Нет никаких провалов, неясных мест, где раздваиваются перспективы и размываются виды: этот помнит то, другой — другое; нет никаких несоответствующих мелочей, а прежде всего — нет того широкого поля неуверенности, всех этих «может быть», «приблизительно», «либо — либо», «постольку — поскольку». А ведь они, столько раз перемноженные сами на себя в ходе следствия, должны до остатка растворить всякую конкретность на картине прошлого, точно так же, как под полученным солнцем тают построенные детьми ледяные замки и снеговики. Зато в детективах свидетели обязательно глядят на циферблат в момент перед ключевым событием, чтобы безошибочно запомнить минуту; сами же часы никогда не спешат или запаздывают. А

свидетель, когда лжет, прекрасно знает, что лжет, когда же говорит правду — то знает, что говорит правду. Преступник же планирует свои гадкие поступки словно бильярдные карамболи: если угол подходящий и сила удара хорошая, то в самом конце шары будут стоять так-то и так-то. И это ему удается! И они стоят! И только лишь благодаря этому, умный и все понимающий детектив, всего лишь глянув на шары, может проследить их перемещения назад во времени и указать на начало карамболя и руку виновного. Все это абстрактные логические игры, которые не имеют с нашим миром ничего общего.

Панна Мукляновичувна глядела на меня с растущим испугом.

— Боже Великий, вы его убили!

— Что? — отшатнулся я. — Вы что, не слушали того, что я говорил?

— Слушала. Как вы все говорили. И говорили. И говорили. Раны Иисусовы, все говорили и говорили. — Она заслонила ручкой рот. — Это вы убили его!

— Минуту назад вы сами представили мне алиби!

— Ну и что. Тоже мне, алиби. Я же вижу.

Застонав от отчаяния, я-оно стукнулось головой о дверки служебного шкафчика, так что внутри что-то зловеще загрохотало.

Елена вздернула подбородок.

— Если не Пелку, так кого-то другого. Но это висит на вашей совести. Может, в Екатеринбурге? Ну, признайтесь же, я никому не скажу, честное слово.

— Поздравляю. И вправду, ну кто устоит перед вашими дедукциями? Дрожите, преступники. Желаю успеха.

Я-оно поднялось с места.

Елена схватила за полу пиджака.

— Прощу прощения. Ну, пан Бенедикт, не злитесь. — Она тоже отодвинула стакан и встала, инстинктивно выглаживая юбку и выравнивая рукава, расцветшие гипюровыми кружевами. — Я только хочу помочь. Честное слово.

В замешательстве она искала подходящих слов — откровенных, не слишком откровенных. Ни с того, ни с сего, вернулось воспоминание сконфуженной Кристин Филипов. Вот в чем разница, подумало я-оно, эта тень взрослости, именно тут проходит линия раздела.

— Вы правы, — тихо сказала она, — со мной всегда так, только что вычитаю, придумаю, что увижу в окно или что подслушаю. Ну, разрешите. Я до утра не могла заснуть. — Девушка дрожащими пальцами потянулась в глубины рукава, под жемчужные шелка, и выловила смятый листок. — Я записала их по фамилиям и по занимаемым местам, поскольку госпожа Блютфельд всех не знает. Сорок пять подозреваемых из первого класса, один из них и должен быть тем человеком, кто покушается на доктора Теслу, на вас... И вот, достаточно будет вычеркивать, пока, пока... возьмите, пожалуйста.

Я-оно взяло ее ладонь — птичье запястье, хрупкая веточка кости — и прижало ее к губам, несколько неуклюже, боком, та сопротивлялась, придержало эту холодную ручку возле губ еще мгновение, и еще.

— Это ведь поездка, панна Елена, пока она длится, убийцей могу быть и я.

И в этом тесном, душном, нагретом солнцем и человеческими телами помещении, где за дюжинами дверок добро проводников звонит и трещит в ритм железного барабана, тук-тук-тук-ТУК, а доносящийся из-за стен говор и утренняя ссора ни на секунду не позволяют забыть о близости десятков чужих людей, здесь и сейчас наступает это мгновение понимания — мгновение молчания, когда мысль и смысл протекают от человека к человеку не искаженные ограничениями межчеловеческого языка. Понимание, достигнутое в ходе

неназванной игры, и только лишь потому, только из-за этого возможное — в игре без правил, ставок и цели.

Поскольку же девушка отводит глаза в сторону, поднимает уголки губ, вторую руку машинально подводит к бархотке, отводит эту руку, вкладывает ее в желтый поток света, поворачивает — понятное дело, *я-оно*глядит уже на эту вторую, ярко освещенную ладонь, а не на лицо панны, на ладонь, раненую птицу на солнце, берет и ее; был ли это хороший, победный ход, теперь можно прижать девушку, а можно и оттолкнуть, но не сильно, служебное купе тесное — она же поднимает взгляд, глядит без улыбки; да, она понимает то, что не было сказано, пожатие запястья, дрожь пальцев, слова, значащие нечто иное, ничего не значащие; пока длится поездка, *я-оно*может быть и убийцей; это видно в ее темных глазах, в пульсации голубых жилок под тонкой кожей — она поняла. Что конкретно? То, чего невозможно высказать.

— Ой, ой, прошу прощения, ваши благородия, сами видите, что у меня тут на голове, нет, я не прогоняю, но дело служебное...

Ну, раз служебное...

*Я-оно*вышло в коридор. Пассажиры купейного вагона приглядывались исподлобья, но и с любопытством — сбитые в самом конце вагона: участники ссоры с багровыми лицами и остальные, развлекающиеся за их счет. *Я-оно*потянуло панну Елену подальше от этого сборища. Ведь здесь повсюду кто-нибудь смотрит, кто-нибудь слушает.

Панна Мукляновичувна оглянулась через плечо.

— Что у них там случилось?

— Наверняка кто-то у них ночью водку выпил, а виноватого нет, транссибирские гномики. Пошли. Где там этот ваш список?

Та расправила листок на вагонном окне. Летнее солнце просвечивало бумагу и черные чернила; у нее был мелкий, регулярный почерк — буквочки низенькие, кругленькие, собранные в ровненьких рядочках.

— Вы говорите, уже кого-то уже вычеркнули — кого же? Князя? Княгиню? Ведь женщин вы тоже учитывали, правда?

— Да.

— Можно вычеркнуть госпожу Филипов, ту самую молодую спутницу доктора Теслы.

— Ах, да. Сорок четыре.

— А тетка Урсула? А вы сами?

— Слушаю?

— А я?

— Что?

— Можете вы подтвердить, что это не я был выслан на погибель доктора Теслы?

— Но ведь вас тоже...

— Прекрасный способ, чтобы войти в доверие доктора, не правда ли?

— Мы уже говорили об этом — Министерство Зимы вас послало, к отцу лютовому, как я слышала.

— Министерство, но какая петербургская фракция? Ледняки? Оттепельники?

— Вы все смеетесь надо мной.

— Боже упаси.

Теперь она глядела уже подозрительно, момент понимания давно прошел, снова текли слова, слова, слова.

— Вы хотите, чтобы я подозревала всех, даже вас, даже себя саму. Так мы никогда террориста не найдем.

Я-онопрошло в следующий вагон, придерживав дверь перед девушкой. Она где-то поставила пятно на белой блузке, теперь машинально опирала материю, посплюнивав палец. Я-оноподало ей платочек.

— Вот если бы я как раз убивал доктора на ваших глазах, тогда вы могли бы утверждать: это он. Зато в прошлом, в будущем — столько же убийц, сколько и возможностей.

— Но ведь дело заключается в том, чтобы схватить его *до того*, как он успеет убить!

— То есть, мы должны выследить — что? Вероятность?

— Спасибо, — вернула она платок. — Я уже понятия не имею, как с вами разговаривать. Ведь это ваша головная боль, а не моя. А вы все крутите и крутите. Один из них, — махнула Елена листком, — является человеком ледняков, и он прекрасно знает, зачем он едет в Иркутск, и что он должен сделать.

— Вовсе даже наоборот. Мы имеем сорок семь наполовину убийц, — щелкнуло я-онопальцем по бумажке, — из которых каждый является и не является ледняцким агентом, планирует и не планирует убийство, знает и не знает, что делает.

Панна Елена стиснула губы.

— Вы расскажете мне все подробности, я порасспрошу обслугу, допрошу подозреваемых, сравню признания и дойду до истины — вот как все это делается, сами увидите.

Я-оноусмехнулось, чтобы это было не слишком заметно.

— Наоборот. Преступников не *выявляют*; их *создают*. Что вы будете делать? Нагромождать противоречия, пока не останется только одна непротиворечивая возможность. Так вы создадите в мире трехзначной логики двухзначного убийцу.

Панна Елена была раздражена.

— А вот когда он даст вам кирпичом по этой слишком умной башке, то сколькозначная шишка вырастет?

— Кхм, таак, все зависит от того, насколько глубоко мы к тому времени заедем в Страну Лютов... Они что там, заснули все?

Я-онозагрохотало кулаком в закрытые изнутри двери вагона обслуги. Наконец щелкнул замок, в щели показалось румяное лицо молодого стюарда.

— Вы нас помните? Мы возвращаемся к себе, в свой вагон.

Тот поклонился, отступил.

Но панна Елена сразу же за порогом приостановилась, поскольку в голову ей пришла неожиданная мысль.

— Послушайте-ка, добрый человек, так как оно получается, выходит, что каждый может пройти вот так, между первым и вторым классом?

— Нууу, нет, не может, запрещено, дамочка.

— Кому запрещено? Нам или им?

— Нуу, оно, вроде бы всем, но раз господа настаивают...

Я-онопоказало из-за спины стюарда характерное движение пальцами: *деньги, деньги*.

Панна Елена скорчила кислую мину.

— А кто-нибудь из люкса сегодня ночью не просил? А?

— Ночью?

— За Екатеринбургом.

— Я ночью спал, так что меня можете не спрашивать.

Панна Елена постукивала каблучком по деревянному полу, не спуская взгляда со стюарда. Круглолицый татарин не знал, куда девать глаза, сложил руки за спину, сгорбился, шаркал ногами, и с каждой секундой лицо его становилось все краснее. Если бы с ним

заговорил кто-то другой, а не молодая дама из первого класса, то с азиатской наглостью он стал бы все отрицать, взгляды европейцев стекают с этих круглых, гладких лиц как с гуся вода, западный стыд никак не касается восточных людей.

Я-оно схватило девушку за плечо, потянуло ее в сторону вагона-ресторана.

— Ну что, ну что! — фыркнула та. — Раз этот ледняк выбросил Пелку, то ведь должен был как-то пройти от себя в купейные вагоны, он же не Дух Святой.

— Наверняка, так он и прошел, но если дал взятку старшему, то этот молодой никогда не признается, разве что если с жандармами за него взяться и каторгой припугнуть. Или же, если обратишься к старшему и заплатишь большую сумму. А если и вправду Пелку на Авраамово лоно выслал кто-то из люкса, то можете быть уверены, что в служебные карманы перешло много червонцев. Впрочем, если тетка Уршуля ^[80] может позволить себе так выбрасывать деньги... Ну, и чего теперь вы смеетесь?

Хихикая, Елена старательно сложила свой список подозреваемых и снова сунула его в рукав.

— Ничего, ничего, *mister* Холмс, ни над чем я не смеюсь.

Я-оно вошло в столовую вагона-ресторана. Сидящие напротив входа подняли головы и задержали взгляды. Незаметно, они указали на нас другим, раздалась перешептывания, такие же осторожные, но тут же подавленные, все здесь были хорошо воспитанными; извиняющаяся улыбка уже выползала на губы. Тишина становилась все более неудобной. Фессар был прав: стояла за этим фрау Блютфельд или нет, но сплетня разойдется молниеносно.

Счастье еще, что самой фрау Гертруды за столом еще не было; доктор Конешин в одиночестве проводил операцию на яйцах по-венски. *Я-оно*шло быстро, не оглядываясь на панну Мукляновичувну.

За последним столом уселся завтракать лысый турок; сейчас он сделал жест, как будто желал встать.

— Господин Бенедикт позволит...

— Но ведь...

— Я только хотел про здоровье...

— Мы уже поели, благодарю.

— Но если бы...

— Прошу прощения, не могу, не сейчас.

— Ах! *Пани маю, нанимаю.*

Панне Елене не хватило дыхания; пробежав по коридору, она прижалась спиной к переборке.

— Ну и куда... вы так гоните...

— Раз уже попал в эту катавасию! — ругнулось *я-оно* под носом, глядя в сторону дверей вагона-ресторана. — Ведь ничего же не сделал! Ничего не хотел делать! Просто, спокойно доехать! А теперь каждый!.. Представляют себе!.. И этот тоже, наглый турок!.. Бог знает что!.. Ледняки, Сибирхожето, мартыновцы, охранка, не охранка, Тесла с Пелкой, князь Блуцкий и Зима, да еще, наверняка, и чертовы пилсудчики вдобавок. — *Я-оно* прикусило большой палец. — Идиот! Идиот!

Идиот!

— Вы должны мне... все...

— Ну, черт, и влип! И здорово же!

— Рассказать, уфф...

— Вы тоже хороши! Безопасный такой скандалчик во время путешествия. Нас уже

увидали вместе. Как думаете, что этот Фессар подумал?

— Ну, вы людей и боитесь.

Страх ли это? Нет, это не страх.

Я-оно выпустило воздух, пожало плечами.

— Останемся в салоне, на виду — так не дадут покоя; закроемся в купе, в моем или у вас — еще хуже.

— Только не стоните. — Елена уже взяла себя в руки. — Пошли.

Она повела меня в переднюю часть состава, через салон и вечерний вагон: зал с камином, смотровой зал, железная дверь — девушка толкнула их, *я-оно* вышло на платформу.

Инстинктивно глянуло под ноги. Следов крови нет. Над головой, по синему небу проплывали клубы темно-серого дыма и монументальные массивы белоснежных облаков. По одной стороне рельсов тянулись зеленые леса, по другой — широкая степь; в теплом воздухе, сквозь запахи железа и машинного масла пробивались ароматы земли и мокрого дерева. *Я-оно* прикрыло глаза от солнца.

Панна Мукляновичувна оперлась спиной о дверь.

— А теперь рассказывайте.

Я-оно хлопало по карманам, вынуло замшевый футляр, а из него — интерферограф. Подняв трубку к небу, прижало глаз к линзе.

В диаметре черного круга мерцал десяток световых бусинок.

Разочарованно вздохнув, спрятало аппарат назад.

— В арбатском ломбарде, — начало *я-оно*, массируя все еще побаливавшую правую руку, — я купил себе авторучку, золотой *Eyedropper* Уотермана.

Об арсенале Лета

Никола Тесла приложил ствол к виску и нажал на курок.

Раздался треск. Волосы у него стали дыбом, брови съежились. Черная молния проскочила между черепом серба и тунгетитовым зеркалом. Пожилой агент охраны трижды перекрестился. В зеркале горела кустистая светень, профильный портрет Теслы: голова, шея и фрагмент плеча; зеркало имело размеры и форму свадебного монидла [\[81\]](#), как раз позволяло дать отражение человеческого бюста в натуральную величину.

Дело в том, что белый негатив, выжженный на угольно-черной поверхности — уже бледнеющий, то есть, чернеющий — ни в чем не напоминал особы, с которой делался портрет. Неужто это был, как желает того доктор, его символический «картограф»? *Я-оно* не слишком-то ценило всяческую восточную эзотерику, которой изобретателя когда-то заразил некий подозрительный гуру. Как-то не к лицу была она ему, не к лицу.

— Будет лучше, если вы отложите это *устройство*, очень прошу вас.

— А подойдите-ка, молодой человек!

— Отложите, пожалуйста.

— Подойдите, поглядите, а потом скажите, что увидели.

Профиль, скорее всего, напоминал очертания птичьей головы: худая шея, выступающий клюв, сверху колющий гребень. Вместо щеки зияла дыра. Из глаза расходились то ли трещины, то ли жилки, то ли искры — линии черно-белых молний. Губ не было, только очередная когтистая молния, наполовину разрезающая пятно лица — не лица.

— О чем вы размышляли?

— Это вы скажите, о чем я размышлял.

Я-оно почесало шею.

— Об электрических машинах и грозе с молниями?

Тесла бросил кабель в ящик.

— Я практически постоянно размышляю об электрических машинах. Даже когда совершенно ни о чем не думаю.

— То есть, это действует?

— Нужно было договориться заранее. Степан, что вы думаете?

Охранник рванул за цепочку с брелоком, нервно глянул на циферблат часов-луковицы.

— Ой, доктор, возвращайтесь к себе, сейчас отходим. Олег Иванович не станет поезд задерживать, телеграмма наверняка уже пошла.

Тесла только махнул рукой. Поправив белые перчатки, он вынул гребешок и энергичными движениями начал зачесывать вздыбившиеся волосы — сначала назад, затем симметрично в стороны, от пробора посредине. При этом он приглядывался в отполированном корпусе одного из трех огромных цилиндров: оплетенные кожаными ремнями, конопляными веревками и тяжелыми цепями, уложенные на бок и обездвиженные в деревянных обоймах, они занимали большую часть вагона. Старый Степан следил, чтобы двери оставались закрытыми, свет попадал сюда только через зарешеченные окошки под самой крышей; Тесла горбился лоя отражения в темной стали то левым, то правым глазом.

— Если бы в этом имелась хотя бы частица истины, — бурчал он себе под нос, — эффект должен воспроизводиться с любым источником тьвета. Тьвечки применяют, потому что они самые дешевые, в фитиле растертый в порошок угольный тунгетит. Но дело в самом тьвете, о влиянии человека на тьвет: он сам или же то, что сопутствует его освобождению. — Он покосился по линии цилиндра. — Вы согласны, господин Бенедикт?

— Ммм, мне так тоже кажется.

— Я размышлял над этим ночью и затем во время завтрака. Княгиня приперла к стене английского инженера. Кстати, а куда вы подевались?

— Но почему вы должны все эксперименты проводить на себе?

Тесла спрятал гребешок в карман.

— Кристина говорила с вами.

Я-онопригладило усы, осмотрелось по вагону. Пол посыпали опилками, доски для поверхности пола сбили не слишком старательно, по стыкам шли кривые потеки смолы. Два агента охраны устроились в углу за пирамидами деревянных и металлических ящиков: там у них была табуретка, сенники, одеяла, керосиновая лампа. Но как они выдержат, когда Экспресс въедет в Зиму?

— В этом нет никакого смысла, доктор, никому не нужно сюда вламываться, чтобы взорвать вагон — или же весь поезд. Какого предсказания вы искали? Доедете ли вы в Иркутск в целостности и сохранности?

— Свет, эти отдельные дробинки света, не эфир, а лучи, *die Lichtquanten* ^[82], может быть и волной, пока мы находимся в Лете; должно быть, имеется что-то в природе света, а так же в природе тьвета, на этом самом низшем уровне — что проникает через все акаши праны, что непосредственно сплетается с сознанием человека — а вот протьветляли ли еще и животных? — чтобы оказывать влияние на прохождение, на поляризацию, человек смотрит, а может он только думает, и — и — так. Помогите мне.

Я-оносхватило за другой конец зеркала.

— Тяжелое.

— Чистый тунгетит на серебре.

— Наверное, целого состояния стоит.

— Хмм, вы правы, об этом я не подумал.

Тесла опустил край зеркала в плоский ящик, обложил тряпками и прижал крышку. Я-оноподало ему висячий замок.

— О чем?

— Что мог бы захотеть на этом еще и заработать.

— Украсть целый вагон?

Степан покачал головой.

— *Mademoiselle* Филиппов занималась страхованием, но все это и так принадлежит Его Величеству.

— Стоимость оценивали?

— Сто тысяч рублей. Даже больше. Но как можно оценивать стоимость машин доктора?

Тесла навесил замок.

— Пока я их не проверю в деле, неизвестно, имеют ли они вообще какую-нибудь ценность.

— Но одно уже это зеркало...

— Зеркало! Оно вовсе и не будет служить зеркалом. Вот как вы думаете, что это такое? — театральным жестом Тесла обвел погруженные в полумраке внутренности грузового вагона вместе с содержимым. Несомненно, у Теслы имелась склонность к показухе. — Это арсенал Лета.

Он подошел к пирамиде жестяных упаковок, каждая из которых была обозначена порядковым номером и фирменным знаком *Tesla Tungetitum Co.*; пирамида превышала даже высокого серба, доходя чуть ли не до потолка.

— Эти три выпрямителя мы подключим к электрической сети Иркутска, нам надо обеспечить прохождение тока порядка сорока мегатемней; здесь у меня имеется почти километр изолированного кремнием кабеля на основе холода с высоким содержанием меди, а вон там — из того мы сделаем зажимы. Из вон того — теневую клетку. Посмотрим, какое давление они выдержат.

Он собирается пропускать через лютов теслектрический ток. Я-оноглянуло в открытый ящик. Кабель с присоединенным игольчатым стволом и неудобным спуском тянулся отсюда к бочонкообразной упаковке, в которой урчали невидимые устройства; точно такой же кабель выходил из другого отверстия, сворачиваясь слишком крупными витками в тот же самый ящик, где в опилках и тряпках лежали круглые сосуды, заполненные углем. Углем?

— Но ведь это же не стихия лютов?

— Их не сожжешь, не заморозишь, не разобьешь. Лишь то, что дает им жизнь, сможет эту же жизнь и отобрать. В Праге не было okazji для испытаний... Впрочем, мне не советовали заниматься изобретательской работой в Стране Лютов.

Я-онокоснулось края сосуда. Стекло было холодным, слегка покрытым инеем; влага прилипала к пальцам, пощипывала кожу.

— Так вы хотите их что... Высосать? Слить? Что? Теслектричество?

— Когда мы отправляемся в пустыню, то берем с собой запасы воды, ищем прохладу, строим защиту от жара, растягиваем тень. Когда же отправляемся в край арктических морозов, то выступаем в меховой одежде, надеваем теплые вещи, строим теплые убежища. Пришли люты — что они несут с собой? В чем их спасение на чужой земле? Надо отобрать это у них!

Я-оноподняло взгляд. Доктор Тесла проверял пломбы на ящиках — выпрямившись, держа левую руку за спиной, его белый пластрон отражался на сером металле треугольным пятном. В этом грязном полумраке трудно было что-либо сказать с уверенностью, но тени на фигуре ученого, под складками его костюма, в морщинках на лице — разве не вытекали они

вновь из своего русла, словно разлившиеся реки? Не текли увертливыми ручейками, несмотря на свет и полутьму?

Еще более значащим было поведение седоволосого агента охраны. Скрытый в молчании, неподвижности и темноте, он стоял у Теслы за спиной, перемещаясь лишь тогда, когда серб переходил от ящика к ящику; постоянно вне поля его зрения, но всегда близко, словно мать, следящая за первыми шагами сына, словно санитар, опекающий больного — было что-то такое в фигуре Степана, в напряжении его рук.

— Зиму? Отобрать Зиму?

— Мороз, снег и лед — ну да, это первое, что бросается в глаза непосвященному. Чего вы там высматриваете?

— Госпожа Филипов сейчас следит за доктором в купе, правда? Наверное, вы тихонько пробрались сюда на завтрак.

— Завтрак?

— Вы питаетесь этой силой. Что находится в этих банках?

— Кристаллы соли, наполненные черной энергией праны, тьмечью [\[83\]](#). В основном, это соли металлов из группы железа.

— Что?

— Я пробую различные методы аккумуляирования теслектричества, ищу наиболее эффективные; вот тут у меня как раз аммиачно-железные квасцы. Что она вам наболтала?

— Что это сильнее вас.

Тесла присел на сосуде, опечатанном бумажкой с черепом.

— Если даже и так... — медленно произнес он, — если я к такому решению и пришел — чтобы поддаться — откуда уверенность, будто это плохое решение?

Я-онов ужасе взмахнуло руками.

— Да, Господи, вы же сами мне рассказывали о борьбе с привычкой к азартным играм! И разве не ведома мне удавка этих невидимых пут? Известна! Так что можете привлечь свой собственный разум и мой!

Тесла поднял указательный палец.

— *Bene*, Бенедетто [\[84\]](#), подумай еще и вот о чем: есть привычки и хорошие. Вещи, действия, ассоциации, которым мы согласились отдаться в неволю. Взять хотя бы физиологические функции, *pardon my rudeness* [\[85\]](#), если бы от этого зависела ваша жизнь, по собственной воле вы не могли бы наложить в штаны. Подумайте над тем, как вы говорите, как вы мыслите. И вот еще о чем: мы тем отличаемся от животных и людей, воспитанных животными, что определенных вещей никогда не сделаем, рука не поднимется, рот откажут слушаться, рот не откроется. Ведь каждой своей мыслью и действием я ежедневно демонстрирую, что являюсь всего лишь автоматом, реагирующим на внешние раздражители, которые, в свою очередь, действуют на чувства, я мыслю и действую в ответ на них. Очень немного помню в собственной жизни случаев, когда не мог бы вначале указать впечатления, которое спровоцировало движение, мысль или сон. Тем более, следует ценить всякий момент истинной свободы ума, это священное безумие разума! Но цивилизация — цивилизация это набор добродетельных привычек. К примеру, когда встаешь из-за стола при женщине — еще до того, как подумал, что необходимо встать. Не вы управляете этим вставанием — но вставание управляет вами.

— Встается.

— Встается. Именно так. Дитя в опасности — бросаешься на помощь ребенку. Когда нужно, говорится правда, когда нужно — говорится ложь. Моешься. Уважаешь старших. Не убиваешь. Собираетесь вы бороться с такими привычками? Такое возможно, от них можно

освободиться, я знал таких людей. *Well?*

— Но какая привычка управляет нашим пониманием того, какие привычки хорошие, а какие — плохие?

Тесла усмехнулся; у серба была очень открытая, симпатичная, несколько робкая улыбка. Он подошел к открытому ящику, переключил концевки кабеля в отверстиях бочонкообразного сосуда, к свободной концевке длинного кабеля подключил зимназовый держатель и, вложив его в сосуд, зажал захваты на сером кристалле. Иголку-ствол он держал в другой руке, пальцы лежали на изоляции и на спуске.

В его взгляде была доброта. *Я-оноприкусило* ноготь.

— Выстрелит.

— Нет, я переключил на свободный сток.

— Мне не следовало бы...

Я-оно схватилось за зимназовую иглу. Никола Тесла потянул за спусковой курок. Потек электрический ток, тьмечь закипела в теле.

...И *я-оно* отпустило холодный металл.

— ...отходит.

— Да, идем.

Я-оно пошатывалось. Доктор Тесла быстро отключил кабели, свернул их, забросил в ящик, опустил крышку. Двери вагона были отодвинуты, в них стоял молодой охранник. *Я-оно* мигало в полуденном солнце, разливавшим свои лучи над тюменским перроном. Проводники созывали пассажиров, локомотив посапывал. Под зимназовой часовой башней колыхалась деревянная табличка с криво намалеванными красной краской буквами:

ЛБДА НЕТ

Тесла спустился на перрон, нетерпеливо махнул. *Я-оно* прыгнуло — и упало, земля ходила под ногами, небесное сияние слепило, сибирский воздух разрывал легкие, все вокзальные звуки вонзались в уши — в уши, в мозг, гнездо жужжащих шмелей под черепной коробкой собралось разлететься на куски.

Тесла помог подняться. *Я-оно* отряхнуло брюки.

— Что произошло? Доктор?

— Я тоже никогда не помню.

— Вы меня заставили...

— Заставил?

— Загипнотизировали...

— Потом обязательно расскажете мне со всеми подробностями.

Тесла маршировал длинным, энергичным шагом в сторону вагонов первого класса. *Я-оно* побежало — а бежалось легко, добрые духи поднимали тяжесть тела над землей. Пока что горизонт и синева неба, и снежно-белые облака на небе, и толпящиеся на перроне люди, и змея Транссибирского Экспресса — пока что все это еще не складывалось в гармоничное целое, может быть, по причине ослепления (мигать, мигать, мигать), может быть, по причине сотрясения при падении — но бег был словно во сне: мягкий, на землю опадало тогда, когда желало опасть, и если бы имелся такой каприз, то можно было улететь под облака. И хотя картина постепенно склеивалась в осмысленную мозаику, оставалось сознание, будто все это мозаика и есть, что ее можно скомпоновать совершенно иначе. Облака на рельсах, вокзал на небе, небо под ногами, дома, выдуваемые из паровозной трубы, зимназовый горизонт и

жилистые рельсы — могло быть и так, правильно, сейчас не совсем так, но ведь могло быть, не забывая об этом.

— А, собственно, в чем было дело?

Я-оно поравняло шаг с Теслой.

— Слушаю?

— Вы заскочили и тут же собрались убегать.

— Не мог при Степане. Ночью меня посетил господин Фогель. Вы можете на них хоть как-то повлиять?

Тут серб явно занервничал; поднялся по ступенькам в вагон «люкс» и, замявшись, встал, повернувшись спиной, опершись локтем на открытое окно, выходящее в город. Впервые он отводил взгляд, прятал лицо. Что совсем необязательно предвосхищает ложь: это может быть прелюдией и неприятной правды, правды, которой стыдишься.

— Я не намерен иметь с этим ничего общего! Дай им волю, они вообще держали бы меня все время в золотой клетке!

— Но ведь до вас должны были дойти слухи о моем екатеринбургском приключении. Господин Фогель говорил, что все это по причине придворных войн оттепельников с ледняками. И мне показалось, что речь тут ни в коей степени не связана с экономическими проблемами, не они здесь самые главные. Вы меня слушаете, доктор!? Это уже не наука, чистая и свободная — здесь вопросы жизни и смерти. Вы имели когда-нибудь дело с мартыновцами?

Эти слова окончательно вывели Теслу из себя. Повернувшись к окну, со стиснутыми губами и руками, сложенными по шву, он неуклюже поклонился. — Прошу прощения, — и удалился по коридору, высокий, худощавый силуэт, белый костюм, радуга тьвета, окружающая белизну.

Туг воспоминание одной картины наложилось на другую, и самостоятельная мысль повернула голову к стеклу — но солнце просвечивало окно, стремясь к полированным деталям вагона — и солнце отражалось от стали; поэтому *я-оно* поспешило к себе в купе. Тщательно затянув шторы, заглянуло в зеркало.

А в зеркале — бледная тень, собравшаяся за спиной и вокруг лица, прыгала и пританцовывала, словно пламя на отражателе керосиновой лампы; тень и тонкие полосы свете ни, мерцающее поблескивание на самой границе восприятия. *Я-оно* стояло и смотрело. Минута, другая, в неподвижности — а они плясали, они перемещались в зеркале и деформировались где-то на фоне — пока состав не дернул, *я-оно* ударило лбом о позолоченную раму, и тут же чары рассеялись. Вот он — гипноз, вот оно — принуждение.

Подскочило на месте три раза, куснуло себя в основание большого пальца, ни с того, ни с сего засмеялось и полизало холодную поверхность зеркала: чмоок, чмоок, чмоок, длинные мазки языком по стеклу. После этого *я-оно* уселось за секретером, подперло голову руками, чтобы та с глухим грохотом не рухнула на столешницу. Что делать? Что делать? Тут же вернулось старинное искушение: закрыться в *атделении*, не выходить, никаких контактов с другими пассажирами, никаких бесед с панной Мукляновичувной, и уж, Боже упаси, с доктором Теслой или Юналом Фессаром. Может быть Фогель и преувеличивал, пытаюсь напугать трусоватого вьюноша, чтобы тот им под ногами не мешался. (А ведь напугал.) Пелку, скорее всего, сами же мартыновцы и цапнули из Транссиба, ведь он же их собрату башку проломил. Следовательно — не выходить. Не искушать судьбу. Закончить дело с Министерством Зимы в Иркутске, положить вторую тысячу в карман — и назад. Сектанты с ледняками сами отцепятся, когда увидят, что сын имеет такое же отношение к отцу, как человек к обезьяне. Лишь бы не провоцировать. Никаких больше скандалов. Никаких

публичных намеков. Голову в песок. Так. Ведь если выйти к людям, попасть между одним стыдом и другим, то спасения уже нет: действия сильнее, чем его субъект, слова сильнее, чем тот, кто их произносит; настоящее сильнее прошлого — нет власти над каждой ежесекундной реакцией, всяким жестом руки и гримасой на лице, проклятой усмешкой. *Я-оно боится*. Побеждает ложь данного мгновения.

И тогда *я-оно* хватается за теслектрод, и сгорает в тьмечности. Ведь разве не собиралось *я-оно* убедить доктора, что тот страдает неестественной, дурной привычкой? Разве не обещало того же *mademoiselle* Филипов в порыве рыцарственности? Но вот наступил момент — действовало само — так, говорило — так, делало — так.

И если бы, по крайней мере, это были решения, обладающие большим моральным весом! Если бы огонь, сражение, и шторм, и кровь невинных, и, хотя бы, Лорд Джим либо какой другой благородный человеческий металл со страниц Конрада, который не гнется, не сгибается, пока не лопнет — с грохотом и расходящимся по ближним эхом. Да нет же. Все наоборот. Малый стыд, стыдик, стыдишко — один, другой, десятый, сотый, столь мелкий, что невооруженным глазом и не заметишь, бактерия души, перед которой не убережешься — разве что с помощью жесточайшего карантина.

Лишь бы только это приключение с теслектричеством не повлекло за собой болезненных последствий, дураку везет, но пока что в этом поезде невозможно повернуться, чтобы не попасть в новые силки. *Я-оно* успокоило дыхание. Следует все обдумать хладнокровно и без предубеждений. Во-первых, от этого не умирают. (Тесла не умер. Пока что.) Во-вторых, это проходит, во всяком случае — слабеет, уходит со временем. В-третьих... а в-третьих, а что, собственно, происходит?...

Я-оно подняло ладонь к глазам. Та не дрожала. Подышало в горсть. Никакого темного осадка не появилось. Раскрыло шторы и глянуло через интерферограф. Никаких изменений, свет все так же продолжает интерферировать со светом.

Но и вправду, *я-оно* чувствует себя неестественно свежим, только в этом ничего необычного нет, иногда хватает рюмки хорошей водки. Тесла допытывался про влияние на команды разума. Память — но чем является память, рассматриваемая именно в качестве умственного феномена: складом духовной работы или простым отражением состояний мозга? *Я-оно* глядело на мигающие за окном вагона последние застройки Тюмени. Если правота на моей стороне, и никакого прошлого не существует, не может существовать и никакая память о прошлом: помнится множество взаимоисключающих версий, фальшивые воспоминания, белые пятна, где памяти наложились одна на другую, смазались, нивелировали. Но человек с откачанной тьмечью, внедренный в логику лютов, да-да, нет-нет, под аристотелевским ножом правды — разве не должен он помнить прошлое четко и выразительно, без каких-либо сомнений?

Но, может, Тесла таким образом лишь оправдывал свою дурную привычку? Глянуло на валяющиеся на секретере бумажки. Где-то между ними находилось зашифрованное письмо пилсудчиков. Нашло карандаш и, не раздумывая, на полях брошюры Транссиба воспроизвело по памяти все его содержание, одиннадцать строк по двадцать букв и еще два, ряды бессмысленных комбинаций знаков, которых даже математик легко не запомнит. Затем нашло и само письмо.

Рассмеялось с издевкой. И вправду: без каких-либо раздумий, без сомнений, четко и выразительно! Вот только в шифровке было совершенно по-другому. Отбросило гнилой плод памяти прочь.

А есть ли вообще смысл ломать над этим письмом голову? Они ведь могли заранее договориться, что данная буква или последовательность букв обозначает конкретное слово,

предложение — их уже никак не отгадаешь.

Ммм, но вот сможет ли получатель такого письма повсюду носить за собой кодовую книжку, годами, в ссылке, в дремучих лесах и в морозах Сибири, на лесоповале и в шахтах, в вечно перемещающихся ротах, под глазами стражников, среди министерских шпиков — невозможно, нет, так они не договаривались.

Следовательно, это шифр, основанный исключительно на том, что улеглось в памяти адресата. Тут даже нет уверенности, найдет ли получатель бумагу и карандаш; может статься, что можно будет только веткой по снегу карябать. Так что — никаких книжек.

Методика, которую запоминают на много лет, достаточно безопасная и достаточно простая. Если и ключ, то такой, который легко можно хранить в голове.

Существует ли вообще нечто подобное? Я-оногрызло в задумчивости ноготь. Какой метод выбрало бы, будучи в подобной ситуации? Перемещение букв в алфавите. На заранее согласованное число мест. Если на одно, тогда В вместо А, С вместо В, D вместо С, и так далее [\[86\]](#). Если же на... хмм, а сколько вариантов подобного шифра возможно? Столько, сколько букв в алфавите. В письме нет польских знаков, следовательно, придерживаются латинской записи. Теперь достаточно будет попробовать с первой строкой: если смысл не появится уже в начале текста, нет смысла мучиться с остальным.

Взяло чистый листок, записало латинский алфавит, от А до Z, нумеруя буквы от 0 до 25. Ладно, начнем перемещение с единицы. YSPARKMCFYXBCUYWFGJT. Ладно, теперь перемещаем на две. ZTQBQLNDGZYCDVZXGHNKU. На три...

Безрезультатно проверив все возможные перемещения, засмотрелось на березовые рощи, проплывающие за окном на фоне зеленых полей. Один пейзаж похож на другой, по этим равнинам путешествуешь, будто по океану, одну волну не отличишь от другой, нужно доверять звездам и часам, понимаешь, что корпус взрезает уже иную воду, чем резал вчера. Рука смяла последний покрытый буквами листок, бросила в угол. Нет, это была бы слишком простая система, если бы для расшифровки хватило всего двадцати пяти попыток.

Как можно усложнить шифр, не усложняя самого способа дешифровки, который бы не превышал возможностей старого ссыльного? Глянуло на записанный на предыдущем листке алфавит, на цифры над буквами. Что можно легко запомнить — ключ — слово, предложение. ЕЩЕПОЛЬСКА. ДОЛОЙЦАРЯ. ФИЛИПГЕРОСЛАВСКИЙ. ЕВЛАГИЯ. ПОЛЯКИНЕГУСИИМЕЮТРОДИНУ. АБРАКАДАБРА. Здесь суть в том, чтобы перемещать буквы не постоянно на то же самое расстояние в алфавите, но каждую букву в соответствии с номером соответствующей буквы ключа. Если бы ключом было выражение JESZCZEPOLSKA, тогда первую букву письма зашифровали бы, перемещая на 9 мест (J), вторую — на 4 (E), третью — на 18 (S), и так далее, а потом уже с начала ключа.

Как сломать такой шифр? Количество комбинаций, которое нужно проверить, это 26 умноженное на 26, умноженное на 26, умноженное на 26... Столько раз умноженное, сколько букв в ключе. Отбрось надежду всякую, не знающий. Даже если бы путешествовать вокруг света, времени бы и то не хватило.

Я-оностиснуло нос у основания. Пальцы, что касались сосуда с насыщенной тьмечью солью, давали на коже между глазами то же самое впечатление: влага, холод, мелкие иголки, вонзающиеся в тело, несильная, но жгучая боль. Довольно приятная — словно лед на раскаленной коже. Потом по коже осторожно побежали мурашки.

Открыв окно, закурило папиросу. Бумаги на столе зашелестели и сорвались в полет. Собрало их в одну стопку и прижало чернильницей. Экспресс мчался над руслом какой-то высохшей реки; возможно, это был какой-то исключительно длинный овраг, мелкий распадок. Шрам, особый знак на гладком, если не считать этого, лице Азии. Ветер, то есть,

воздух, вталкиваемый вовнутрь движением поезда — был удивительно теплым, сухим. Опустило папиросу. Неужто это уже запах степей? Тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-ТУК. Распадок закончился, снова анонимные шири океана трав. Может что-нибудь на небе, профиль горы, птица, гроза с молниями — нет, ничего, лишь все те же мегалитические облака, словно известняковые гробницы архангелов.

Солнце било в глаза, взгляд стекал к тени, а в тени выделялся светлый прямоугольник бумаг. Письмо пилсудчиков оставалось сверху. Сбило пепел за окно. Тук-тук-тук-ТУК, еже день-два, и даже сердце станет бить в ритм вагонных колес. Эта регулярность может довести до сумасшествия, безумие — это как раз вредная привычка преувеличенной регулярности, жажда и голод преувеличенной регулярности. Глянуло еще раз. CAR. CAR. Царь! OREE. REE. ORE. Я-оносклонилось над секретером. Что это означает? И означает ли что-либо? Определенные последовательности букв повторяются. Подняло с ковра карандаш, зачеркнуло идентичные места.

Имелось пять повторений. ABT и через 56 букв снова ABT. ORE, а через 32 буквы дальше — OREE, через еще 156 букв — REE. JCAR — еще 32 буквы и JCAR. YRG, еще 44 буквы — YRG. Все отделены друг от друга на парное число знаков. Все отделены на количество, делящееся на 4, но уже не на 8.

Что это означает? И означает ли что-либо? Я-онозатянулось дымом. Может ли это быть случайностью? Может. Все равно, это маловероятно. Мы же ставим на то, что банально и обыденно. Ключом является слово из четырех букв. Письмо зашифровано в соответствии с четырьмя перемещениями. Буквы под номерами 1, 5, 9, 13 и далее — передвинуты на первую букву ключа; буквы с номерами 2, 6, 10, 14 — в соответствии со второй буквой; номера 3, 7, 11, 15 — в соответствии с третьей; номера 4, 8, 12, 16 — четвертой.

Вот только сам ключ все еще остается загадкой. Я-оноуселось на кровати. По крайней мере, известно количество комбинаций, которые следует проверить: 496976. Если каждой попытке посвятить четверть часа... Захихикало под носом. Безумие.

Сообщение состоит из 222 букв. По 56 букв передвинутых с первым и вторым правилом, по 55 — в соответствии с третьим и четвертым. Потушило окурки. 55 букв, которые вытаскиваются из текста с каждого кратного четверем места. Нет, винегрет случайностей. Тут никакой регулярности уже не найти.

Глянуло на машинописную страницу работы Альфреда. А ведь это же неправда: регулярность имеется, невооруженным глазом видно, что в тексте, написанном на польском языке, буквы типа А, Е, І выступают значительно чаще, чем J или G, не говоря уже про X или Q. А для статистики нет значения, берешь их все по очереди или же каждую четвертую.

И так начало подсчитывать частоту проявления букв. Сначала посчитало, сколько раз каждая буква была использована на первых десяти страницах статьи Альфреда Тайтельбаума о «Принципе противоречия у Аристотеля», округляя, в соответствии с латинским алфавитом. Первенствовали I, A, K, R, оставляя G и H позади. Потом посчитало частоту появления букв в каждой четвертушке письма. И начало подставлять: самые частые под самые частые, наиболее редкие — под наиболее редко встречающиеся. Тут уже в игру входило не более 30 комбинаций. Некоторые из них исключал сам характер языка. Поляк не произнесет ни RGRH, ни WCFZ; некоторые же комбинации в польском языке были даже слишком очевидными. Выплывали первые осмысленные соединения. NIE. CIE. PIE. WIE. NIA. TAK. TAK. Я-онозакурило очередную папиросу. Слишком много смысла, чтобы оказаться случайностью. Первая буква ключа: В. Вторая буква ключа: J. Третья буква ключа: А. Четвертая буква ключа: Н. Снова какая-то ерунда. Но вот расшифрованное в соответствие с этим ключом письмо — оно содержало конкретный смысл. [\[87\]](#)

WIOSNALUDOWTAKXODWIL
ZDODNIEPRUXPETERSBUR
GMOSKWAKIJOWKRYMNIEX
JAPONIATAKXPARTYARoz
KAZUJECZASKOMPENSACY
ITAKROSYAPODLODEMxWS
ZYSTKIESRODKITAKXUWA
GAMLODZIIOCIEPIELNIK
IPRZECIWZIMIEXBRONLU
TEXNIEWIERZSTAREMUXK
URYERPRZYBEDZIEXYJE
SZ

Я-оно переписало письмо на чистом листке. Глаза раз за разом пробежали текст, отмечая целые слова и предложения, знакомые уже на память; но нарастала растерянность. Отцу после многих его лет в Сибири писали пепеэсовцы из Королевства ^[88] — ЗДРАВСТВУЙ — писали старые революционеры воспитаннику морозников — ЗАЩИЩАЙ ЛЮТОВ — писали они в командном тоне — ПАРТИЯ ПРИКАЗЫВАЕТ — как будто отец был в силах выполнить все это — РОССИЯ ПОДО ЛЬДОМ — ОТТЕПЕЛЬ ДО ДНЕПРА — писали они ему шифром, чтобы сын, Боже упаси, не узнал их планы — ВСЕ СРЕДСТВА — а это, черт подери, что должно означать?!

Ноготь уже был совершенно обкусан, взялось за кожицу большого пальца. Что там говорил тот одноухий социалист? Что у них не было контакта с отцом? И это первое за пять лет сообщение для него от них? Врал чахоточный, это точно. Про отца они узнали вовсе не от людей с Медовой. Скорее всего, они сами послали его к лютам. Желают использовать Лед для того, чтобы начать революцию, ради триумфа социализма или воскрешения отчизны, какая там фракция сейчас... Хлопнула дверь, сквозняк захватил все бумаги в купе, *я-оно* вскочило, чтобы закрыть окно.

— Пан Бенедикт!

— Ну, и что ты тут устраиваешь!

— Пан Бенедикт, я его вычислила!

— Ты топчешься по моему паспорту.

Елена не слушала. Схватила за рукав, потянула, чуть шов в пиджаке не пустил.

— Что это за дела! Даже жандармы вежливее себя ведут!

Я-онооскорбленно выпрямилось.

Девушка радостно улыбалась, бледный румянец расцвел на, обычно, мелово-белых щеках; три-четыре черных локона освободилось из кока, для панны Мукляновичувны — неслыханная небрежность.

— Так?

Снизил голос до шепота, придвигаясь еще ближе.

— Филимон Романович Зейцов.

— Тот коммунист?

— Ага.

Я-онопригладило волосы, глянуло на Елену искоса — та была чрезвычайно горда собой.

— Почему Зейцов?

— А вот так. Я взяла деньги у тети, пошла подкупить *правадников* стюардов. И...

— Что с Пелкой?

— Ничего с Пелкой, — фыркнула девушка. — Проснитесь же, пан Бенедикт! Разве Фогель не говорил, что ледняки сунули своего человека в самый последний момент? Они не могли знать до тех пор, пока доктор Тесла не решил, то есть — пока панна Филипов не решила, впрочем, билеты приобретались на фальшивое имя. Правда? А имеет пан Бенедикт понятие, какие очереди и записи на эти билеты Транссиба? Месяцами нужно ждать! — Она снова цапнула за полу пиджака; я-оноотступило под стену, но на сей раз Елена не отпустила. — Вы еще успеете на поздний обед, Зейцов всегда приходит под самый конец, ест сам, вы подсядете — он должен выдать себя!

— Но...

— Выдаст, выдаст! *Правадники* мне рассказали: билет он выкупил перед самым отъездом из Санкт-Петербурга, у какого-то купца-меховщика, за полторы тысячи рублей. Полторы тысячи! Буржуй-коммунист! Ха! Это он!

Елена протянула руку за спину, нажала на дверную ручку. Я-онобеспомощно осмотрелось по купе. Ковер, секретер, кровать — повсюду валялись бумаги, десятки листков, покрытых комбинациями букв, испытываемых в ходе криптоанализа, на первый же взгляд — записки безумца, ничего иного.

ВАН. И это нужно было запомнить на целые годы сибирской ссылки? Какая же странная машина — людской разум: в чем больший порядок запряжет он окружающий мир, с тем большей яростью станет нападать на оставшиеся в нем гнезда беспорядка. ВАН! Быть того не может, ключ *обязан* что-то означать.

Елена говорила что-то свое, внушая и упрасывая, и дергая за руку, словно обидевшаяся младшая сестра — тем временем, эта последняя загадка не позволяла вырваться из мыслей, гвоздь в черепушке, рана в голове, мучит, болит, не дает покоя — обязательно нужно почесать.

— Вы снова меня не слушаете!

ВАН. А если буквы на самом деле никакого значения не имеют? Если все гораздо проще? Перемещения алфавита на одну, на девять... 1-9-0-7. 1907.

Все можно забыть — но год своей ссылки никогда не забудешь.

— Семнадцать лет.

— Что?

Я-оноглянуло над плечом Елены, у мужчины в зеркале было весьма странное выражение лица. Семнадцать лет. Лицо отца, когда его ссылали в Сибирь — каким его запомнило — каким не запомнило — на сколько он был тогда старше, всего на несколько лет; почти что ровесник! Нет фотографии, нет картин, только полицейское описание и истинно-фальшивые

воспоминания. Самый верный, и по сути своей — единственный, способ, это зеркало: лишь так, лишь настолько существует отец в настоящем, только в таком виде.

Елена, сморщив брови, оглянулась через плечо. Видит ли она, что происходит с тенью? Замечает ли она форму этой ажурной светени?

Я-оно застегнуло пикейный жилет.

— Зейцов. Его причины могли быть совершенно другими...

— Ну да! Я всех их хорошенько выпытала: у всех были давно выкупленные билеты, только не у Зейцова, только на него переписали в самый последний момент. Так что, либо это он — либо никто. Разве что ледняки слушают каких-нибудь ясновидящих.

Я-оно вышло за порог. Панна Мукляновичувна присела в реверансе перед миссис Уайт-Гесслинг. Шокированная англичанка отвернула голову.

Елена, подгоняя, прошипела:

— Я не стану тянуть вас за галстук, пан Бенедикт, если вы на это рассчитываете.

— Тебе следовало бы прилечь, снова будешь себя плохо чувствовать.

— Плохо чувствовать? О чем вы говорите? И с каких пор мы перешли на «ты» в разговоре? Господин Бенедикт!

С ключом в руке еще раз поглядело на балаган в купе. На самом верху валяющихся на кровати бумаг лежала рекламная брошюра Транссиба, открытая на странице с неправильно воспроизведенным по памяти шифром.

Я-оно повернуло ключ в замке, зеленая тень залила окна, когда Экспресс ненадолго въехал в лес; в голове закрутилось, и неожиданная, словно эта тень, мысль заслонила сознание:

А вот если бы удалось расшифровать еще и то письмо?

О некоторых способах коммуникации Бога с человеком

За второй порцией водки Филимон Романович вынул фотографию матери.

— И следует вам знать, что никакой снимок или рисунок не передаст ее красоты, красавицей была мать моя, что, как отец рассказывал неоднократно, трезвый и пьяный, а я верю этому, тем более, когда водка совсем уже его разберет — лишь только взгляд его на ней остановился, сказал сам себе фатер мой: вот эта моих детей на свет произведет, от этой *красавицы* возьмут они все доброе, чего от меня не возьмут. Так он говорит и, как Господь на небе, истинно говорит, ибо и то вы знать должны, как вас по отчеству, а, Филиппович, еще одну налейте, благодарствую, знать вам надобно, Венедикт Филиппович, что отец мой, Роман Романович, возможно, и доброе сердце имеет, но страсти недобрые. Завистливые языки, которых хватает в любом уезде, особенно в таких земствах, где все благородно рожденные знают один другого с деда-прадеда, и всякий грешок, всякая страстишка, равно как и добродетель всякая многократно успели поменаться у них с кровью, обмененной из поколения в поколение, там все родичи друг другу; завистливые же языки, говорю вам, тут же объявили его сладострастцем и бесстыдником. Большая то неприятность, когда сын об отце подобные вещи слышит; если от чужого услышит, то отрицать станет, защищая отцовскую честь, ну а когда услышит от родичей, членов семьи, приятелей — что тогда с сыном происходит? Со слезами на глазах начнет проклинать и осуждать отцово дурное поведение! Сын! Он наипервейший обвинитель, он страж правоты! И не надо вот этой гримасы. Так было и со мной.

...Имел мой отец, как я сам убедился, не одну семью и не один дом, а домов не меньше трех, а уж в семейных связях точного числа и сообщить невозможно, столь запутанной сетью *liasons du coeur* ^[89] опутан он был. Мы проживали в имении; в городке же содержал он два

дома, где проживали Софья с Елизаветой, каждая с ребенком своим, а с Софьей еще и сестра ее сводная, младшая, которую тоже, вижу, что вы и сами уже догадываетесь, отец своей любовницей считал. Ох и развратник, ох и грешник мерзкий, на приличия людские внимания не обращающий! И вот, подрастая, в сотый и тысячный раз должен был я выслушивать рассказы о его распутстве, а люди любят обсасывать всякую мелочишку грехов чужих, ведь, в отличие от ран телесных, душевные раны большее удовольствие доставляют, когда в них пальцами лезут, расцарапывают и копаются — особенно, если те не твои; и вожделение в этом еще имеется, свойственное гастрономическим удовольствиям; говорится о грехе, он пробуется на вкус, букет его нюхается, взвешивается, достаточно ли он тяжкий, подходящий ли у него душок; а уж те, что отлежались годами, поколениями — тем более они благородные; а уж те, что необычные, исключительные — тем более становятся вкусными; и пиры проводятся нередко по примеру тех, римских: в лени и неге, полулежа, уже сытые, но и несытые, на грани сна, с прикрытыми глазами и улыбочкой сладостного удовлетворения, мы жадно слушаем об упадке других людей — так что сами представить можете, что я переживал, вынужденный все это выслушивать, пирам таким свидетелем быть — словно из моей печени грехи эти выклеывали — воистину, прометеевы муки. Не мог я все это выдержать, и не выдержал.

...Возможно, все бы иначе пошло, если бы мать моя жила еще. Но она умерла родами, отдавая нас в опеку няни и гувернера; не то, чтобы отец нами не занимался, вовсе даже наоборот; она умерла, родив второго сына, Федора, он остался в доме. Пожилой гувернер, что был еще ее воспитателем, его мать привезла с собой из Ярославля, так вот, он, на время отсутствия отца, когда тот выезжал по делам — а частенько это длилось целыми месяцами, и невозможно было не мучаться, где же отец дни и ночи проводит, а не с другой ли семьей своей, собственно, с другой женой — живой и более красивой, с другими сыновьями — лучшими, которых он по-настоящему любит; на такое вот время гувернер управлял чуть ли не всем имением, и тогда, чтобы убить мысли подобные, чтобы занять голову и сердце, стал я сопровождать его в обязанностях помещика и понемногу даже брать их на себя. И открылись мои глаза на судьбину народа русского. И если сейчас вы засмеетесь... ну и ладно.

...Легко пробуждается в молодых головах святое возмущение и гнев против несправедливости. Народ наш настолько привык к несчастьям и страданиям всяческим, что даже и не видит и не понимает размеров бесконечной кривды, которую переживает, род за родом, деревня за деревней, губерния за губернией; ведь даже все те стоны и вопли баб у ног попа и слезы под иконами, когда смотришь со стороны — ведь это тоже ритуал, привычка их, освященная тысячелетней традицией. И нужно, чтобы кто-нибудь обязательно со стороны поглядел. Он видит бесправие, он, которому вреда не сделали, способен назвать кривду кривдой, и в нем возмущение и гнев, гнев против несправедливости, говорю вам, рождаются. Ведь знакома вам, Венедикт Филиппович, судьба Иова. И те торги Господа против Иова, и покорность Иовова перед лицом торгов этих. «Он губит и непорочного и виновного. Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же?» [\[90\]](#). А ведь Иов, по крайней мере, хранил память о счастливых временах, знал он меру своего упадка и считал дни кривды своей по отношению к дням правды — но ведь мужик российский еще ниже Иова пал, и более в положении своем подобен зверю дикому, скотине бессмысленной, чем человеку разумному, ибо в нем никакая надежда на изменение судьбы не возгорится, не будет никакого постоянного желания изменить судьбину свою, равно как никогда же не видели вы клячи тягловой, запрягающей возницу своего в дышла, а самой на козлах сающейся. И не удивляйтесь горю моему по отношению к народу — сколько же тогда дней и вечеров затратил, пользуясь потаканием старого гувернера, стараниям улучшить их

жизнь, выступая против управляющих и других помещиков, но в конце концов, кто же все усилия мои в прах обращал, кто смеялся над усилиями моими? Они сами! Страдающий народ! И возвращался я из хижин их халуп бедняцких, от их деток болезненных и баб обессиленных, из их изб холодных и голодных, где если и есть свечечка, то всего лампадка перед образом святым — в теплый дом, под перины пуховые, к столу заставленному, к слуг заботе; и только гнев несправедливости меня душил и зубьями рвал, и в дрожь такую вводил, какую вы замечаете лишь у людей апоплексией пораженных, у них только. Так отзывается в человеке голос правды Божьей; а поскольку во мне, как я уже рассказывал, проснулся он в добром и злом против отца родного, тем более уже никак не мог я его заглушить.

...Вот же в чем несправедливость и неправедность! Вот мука, которую лишь русский понять способен! Не страдания Иова, не боль незаслуженного упадка — вовсе даже наоборот, Анти-Иов: страдания незаслуженного возвышения! *Гаспадин* Ерославский! Сможете ли, сможете — ага, подлей-ка, браток! — сможете ли вы это мыслью охватить, вижу, что нет, словно на безумца смотрите. А ведь боль эту ни с чем сравнить невозможно: всякий Иов в несправедливости своей всегда благороден и освящен, ибо, какую еще большую по отношению к небу дает заслугу покорно выносить несчастья незаслуженные, раз те из жизни преходящей с большей уверенностью в жизнь вечную приведут? — в то время, как противо-Иов, осужден навечно в муке своей, и нет для него спасения: чем большее удовольствие, чем большее счастье и триумф над ближним, тем сильнее боль совести и глубже рана в душе кровоточащая. Выдержать я того не мог, ведь никто меня на той сцене мук не пленял, было у меня немного денег, сэкономленных от отцовских подарков, поезд в Санкт-Петербург ходил каждую субботу... Не выдержал я. Не знал, что в Петербурге могло бы смягчить ту боль удручающую, ведь не ошибался я — нельзя делить боль с другим человеком, но разве облегчения не приносит нам одно лишь осознание, что в боли этой мы не одиноки? В городе я встретил подобных себе, с подобным жизненным опытом и убеждениями, узнал имена врагов, прочитал рецепты Лаврова [\[91\]](#), Лавеля [\[92\]](#), Писарева [\[93\]](#) и самого Маркса, познакомился со способами исправления несправедливости... Пристал я к марксистам-народникам, а потом и к пэхерам [\[94\]](#).

...Земля отдана в руки безбожника! И имя ему — царь, и имя ему — богач и буржуй, и реакция темная! Лица судей скрыты от простого человека; даже силой не добьешься справедливости при жизни своей, на свете этом, под солнцем Сатаны. Ничего не сможешь сделать против одной и другой людской кривды, когда все генералы и чиновники за нее стоят — вначале следует уничтожить этот мир, что лишь заставляет злу подчиниться, и создать новый, который станет к добру всеобщему вести. Если и была уверенность между нами, то именно такая. Те, что начинали снизу, от одного человека и одного страдания, падали, словно Сизиф; либо поддавались, либо, в конце концов, к нам приходили. Минимализм оказывался непрактичным — один только максимализм становился реальным. Была во всем этом такая ясность, возвышенность, свойственная эсхатологическим проектам: цель на грани чуда, преображение настолько всеобщее, что подобное лишь установлению Царства Божия — необходимая невозможность. Если бы вы могли представить себе то состояние души... Иногда, на рассвете зимнем, когда солнце стекает по городским льдам и снегам, и белый туман поднимается над тихими улицами, откроешь настежь окно после ночи бессонной, глянешь на зарю пречистую, наполнишь грудь колючим, трескучим воздухом — и зашумит у тебя в голове; но вместе с тем испытываешь возбуждение и удивительную легкость, словно свежий этот блеск полностью просветил тебя, просветил и осветил тело и душу, очистил и сделал ангелам подобным, и что всякая мысль, что в голове мелькнет, обязательно будет наполнена истиной, правой до святости — и ты ТАК думаешь.

...Так что ради добра были наши покушения, была правота в тех бомбах, что мы в чиновников метали — благословен был террор. Участвовал я в забастовках Первой Революции, описывал историю Совета Рабочих Депутатов. Сильно переживали мы свое поражение. *Баевая Арганизация* окончательно скомпрометировала себя в Году Лютов — но не это было причиной моего разочарования. Наша группа давно уже склонялась к большевикам. Я же был с ними очень близок, в стольких дискуссиях участвовал, на бумаге и среди людей; видел я, как перемещаются между ними идеи, как одни видения выпирают другие, и как между одной папиросой и другой, между митингом и ссорой в ячейке — новая необходимость заменяет старую. Поначалу большевики говорили о революции пролетариата и крестьянства ради свержения самодержавия, чтобы навечно стереть привычку к рабскому подданству, чтобы возвести на фундаменте демократии Российскую Республику. Но потом революция обратится в социалистическую. Затем появятся такие и такие органы власти, такая-то и такая-то — наша — их — власть сделает то-то и то-то, таким-то образом, нет, таким, ну нет, совершенно иначе — и чем сильнее уходили надежды, тем увереннее чувствовал себя Император, тем лучше шли реформы Столыпина, а они — чем меньше имели голосов в очередной Думе, тем жестче спорили о будущем своем правлении и методах внедрения справедливости. Вы можете сказать, что я должен был это увидеть уже после дела Ленина с меньшевиками — ужаснейший сон Противо-Иова: ведь чем же была эта борьба, как не верной дорогой к еще большему возвышению?

...Пристал я к анархистам, анти-струвевской и бакунинской братии. Вспыхнула вторая японская война. Столыпин подал в отставку, в города пришел голод, Звездная Палата придумала себе Струве, Троцкий привез Ленина из Кракова — их последний раз под общим знаменем; мы встали на баррикадах. Меня даже не царапнуло. Жандармы взяли нас сонными, мы заснули на морозе — вместе с голодом пришла Зима. Оказалось, что охрана давно уже имела всех нас в реестрах; они прочитали мне обо мне же такие вещи, *гаспадин Ерославский*, такие вещи... Совершенно странное это дело, увидеть себя, сатанинской рукой описанного, услышать всю свою жизнь из уст коллекционеров греха. Верного отражения они тебе не покажут, это точно, только ложь их вовсе даже и не случайна и неразумна, ба, это ведь даже и не ложь, ими задуманная: они рассказывают, что видят, но в каждом событии и в во всякой душе увидеть способны лишь то, что темное, глаза их действуют только в тени, в этом похожи они на слепцов; уши их воспринимают лишь звуки ночи и подполья, слова злости, гнева и зависти — вот какое свидетельство они дают, вот какой мир они отражают. И только через время, через годы понимаешь, как много правды рассказали о тебе в этой лжи — ибо сам себя в столь резком тьвете себя бы не увидал: *наихудший человек, которым ты мог быть*. Таким я и встал перед судьями. Все зло, что мог я совершить, но не совершил — совершил. Каких только подлостей мог бы не допустить, и не допустил — про все расскажут мне, со всеми мельчайшими подробностями. Из искушений, пред которыми устоял — абсолютно про все, которым поддался. Из правды — ложь. Из лжи — правду. Но даже из всех благородных поступков, отрицать которые не в их силах — они отымут благородство, открывая мне самые черные из коварных намерений, которые меня на эти преступления толкнули. Это исповедь, в тысячу раз, гораздо глубже рвущая душу, чем какое-либо признание, самостоятельно пред Богом сделанное. *Канешна*, можно кричать пред судьями земными и клясться всеми святыми иконами, что все это искажено и мало на правду похоже; поверят или не поверят — дело совсем не в этом. Любил ли кто-нибудь вас воистину безграничной любовью? И что вы видели в глазах этой любящей? Наилучшего, каким вы могли бы быть, правда? А ведь это тоже было ложью. Но только, благодаря такой лжи, мы и узнаем правду о себе.

...И кто же все это слышал, кто с самого начала сидел в первом ряду... Он нашел меня тогда, приехал на процесс — отец, от которого я сбежал, чтобы множить добро против его распутства. Он оплатил юристов, не жалел денег на взятки; только все понапрасну. Меня ждала каторга, ее мне присудили еще перед первым словом прокурора. Всех нас сослали в Сибирь.

...Правда и правда, наивысшая правда, и все время повторять ее нужно: знает Бог, какую тропу нам выбрать, какой крест на плечи нам возложить — не было тогда для меня наилучшей жизни, и другого освобождения не было — одна лишь каторга. Видите эти шрамы? А чего не видите, что щетина скрывает, и пальцы эти, и все телесные мои страдания — все это следы первого года. Работали мы, в основном, на лесоповале, не в самой Стране Лютов, хотя Лед потом пришел и туда — все равно же, зима. Стволы сибирских кедров в камень замерзли, земля — в камень, снег — в камень... Вы же едете в Иркутск, так что сами увидите, чего сейчас рассказывать. Те, что не добыли себе одежды, для Сибири пригодной, сразу же, словно проказа их коснулась, теряли отмороженные пальцы, уши, куски кожи. Да и охранники чувствовали себя ненамного лучше. Солдаты тоже попадали туда, словно в ссылку. Когда пришел Лед, оловянные пуговицы мундирные рассыпались как сухая глина. Первого люта, которого в тайге встретил, никогда не забуду; у бурятов есть такое суеверие, что морозники в диких краях притягивают открытый огонь, костер, дым из избы на отшибе стоящей, и так этот лют расположился на каменистой поляне (потому что высосал уже из-под земли все валуны и камни поменьше), посреди которой находилось трое охотников, сгорбившихся у добычи своей: в камень все замерзли. И лют на них сидел, словно паук на трупах мушиных. Нужно было доложить начальнику. Имеется приказ такой, чтобы сразу же отсылать отчеты о передвижениях Лютов, якобы, Министерство Зимы по ним вычерчивает свои Дороги Мамонтов, есть у них такие громадные атласы, как у нас говорили: геомантические гороскопы протоков Льда. От высшего начальства бумага пришла: следить внимательно и отписываться с каждой почтой. После того приехало двое ученых людей. И так узнал я Сергея Андреевича Ачухова.

...Сергея Андреевича. Он... Но вначале — не жалейте, ну, до краешков... уф... Но вначале...

...Уставали ли вы когда-нибудь? Так, по-настоящему уставали? Чтобы усталость такая, что уже ничего? Ведь как можно усталость измерить? Можно: вещами, которые в усталости теряют для тебя всякое значение. То есть, поначалу тебе уже не важна еда: ты настолько уставший, что самое главное — лишь бы забиться в берлогу и заснуть в тепле. Потом неважным становится уже и тепло — лишь бы сбежать в сон от этой реальности и своего в ней уставшего тела. Последним уходит стыд: когда уже никакая вещь не пробудит срамной мысли, когда уже ни в какой ситуации и в отношении к кому-либо не чувствуешь себя униженным, когда становишься безразличным ко всяческим оскорблениям — это уже знак окончательной утраты сил. Ведь я знал людей, которые не подняли бы руки, чтобы заслониться от смертельного удара, но вставали в муках, чтобы не дать удовлетворения ненавистному надзирателю в его презрении. Презрение и стыд: вот вам сибирские термометры духа.

...Вот через изнурение мой возврат и начался. Откровение пришло из тела. Усталость отбирает у нас поочередно все, пока не останется одно только тело. И это видишь тогда с той холодной, возвышенной очевидностью, разум тоже чист и пуст, видишь, что человек — это ничто иное, чем простая механика тела. Движение рук, поднятие топора, удар, рывок, ноги, плечи, руки, поднятие топора, удар, рывок, ноги, плечи, руки, топор, руки, ноги, плечи, руки, ноги, плечи, руки, ноги, плечи, так, так, так. И нет даже мысли; «руки, ноги, плечи», нет.

Остаются лишь монотонные движения и спокойное, животное осознание движения, проплывающее незамутненным потоком, словно вода по льду; разум пуст и чист. Проснуться, поспать, заглотать теплую кашу или репу, одеться, сапоги, рукавицы, шапка, идем в лес, левая нога, правая нога, рубим: следовательно — руки, ноги, плечи, едим, ерем, спим, просыпаемся, руки, ноги, плечи, едим, ерем, спим, просыпаемся, ерем, едим — тело, тело, тело, только это и остается, механика суровой физиологии. Один день сливается с другим, время принимает форму круга, язык уже перестает служить для передачи сложных мыслей — нет никаких иных мыслей, кроме простых рефлексов телесных процессов, имеются лишь словесные сигналы: «здесь», «там», «дай», «нет», «да», «враг», «не-враг», «тепло», «холод».

...Тогда-то я и встретил Сергея Андреевича Ачухова. Он обратился ко мне. То есть, вначале обратился к моему телу. Не знаю, чем привлек я его внимание. Люди узнают друг друга по сигналам, которыми их выдает собственное тело. Когда уже отойдут все мысли и мотивации, остается то, что глубже всего осело в теле: инстинкты, манеры, ритм, поза, а так же кое-что из знаков, которые считывают физиономисты, ведь не бывает же так, что лицо нарастает у нас на черепе, и на него никак не влияют годы и годы будничных событий нашей жизни. Понятно, что этого мы никак не можем выразить словами; если бы мы это контролировали, если бы подчинялись нашему сознанию, тогда эти признаки не принадлежали бы домену тела, но домену духа. И тогда мы говорим: случай. И тогда говорим: перст Божий. И тогда говорим: любовь с первого взгляда. И тогда говорим: родство душ.

...Сергей Андреевич и сам был ссыльным, благородно-рожденным толстовцем, в Сибирь его сослали по наговору завистливого родственника. Короче, Синод отлучил Ачухова, а Черная Сотня следит, чтобы он слишком быстро не возвратился из Сибири; приятели его покинули, все состояние он раздал. Жил он тогда в Томске, иногда гостил у генерал-губернатора Шульца-Зимнего в Иркутске. Частенько ездит он по следу Лютов и пишет в европейские газеты письма из стран Льда, проводит исследования. Когда я с ним познакомился, был он мужчиной в самом расцвете сил; его можно было за мужика принять, настолько скромно он одевается, насколько топорное у него лицо; и есть в нем какая-то твердая покорность, невозмутимое спокойствие и громадная терпеливость, свойственные людям, чья жизнь связала с неспешным ритмом земли, с пульсом природы. Я должен был провести их, Сергея с приятелем, на поляну с лютом. Вот так мы и встретились. Что говорите? Случайность, конечно же, случайность.

...Сергей освобождал меня от работ. Когда мы разговаривали... когда это уже не тело говорило... А что есть кроме тела, что над телом? Ему не нужно было меня убеждать, все было в вопросах. Под тем сибирским небом, более холодным, чем заледеневшая земля, у подножия тех гор — вы могли бы подумать, что нет и никогда не было человека среди животных в той глуши, что край это воистину до-человеческий. Случалось, что мы молчали часами. Если не о теле, если не ради тела, если не телом — то о чем говорить? о чем думать? в чем смысл? ради чего жизнь? В том, что телесно — ответа нет. Вот поглядите! Когда уже если кто познал пустоту, скрытую за механикой мяса, когда сам уже жил в поденности физиологической инерции, об одном знаешь без каких-либо сомнений: *тело не может быть содержанием и целью тела*. Цель жизни находится вне жизни. Человек не может быть смыслом и оправданием человека — эти проблемы располагаются вне его, вне материи, а что находится за пределами материи? Лишь тогда, когда живешь ради того, что нематериально, живешь по-настоящему; то есть, тогда ты не просто волна повторяемого движения: рука, нога, рука, нога, рука, нога — до самой могилы, а после того движутся уже только черви.

...Сам не знаю, когда рассказал я Сергею Андреевичу свою историю... Мы рассказываем

о себе незнакомым, чтобы те перестали быть незнакомыми — водка помогает, это да — но вот знакомым, а что знакомым? Наше слово против их опыта? Наибольшую правду, которую они могли о нас узнать — они узнали. Именно тогда и рождается ложь: мы пытаемся объясняться, ищем объяснений вне нас, выискиваем причины, которые, естественно, пришли изнутри (из нутра тела). Но Сергей обо мне ничего не знал; все, что я говорил, было правдой. Рассказал я ему о несправедливости анти-Иова, о революции, о поражениях марксистов. И что вышло из моих уст, я уже и сам слышал иначе, чем до сих пор. Ведь чем, собственно, должны были различаться капитализм и коммунизм? Оба ведут человека к тому, что материально. И для того, и для другого, человек — это тело. И что он съест, и что выделит из себя; но самое главное — сколько это стоит, эсхатология, переложенная на цифры и рубли, не душа — но торговый баланс. Следовательно, спасение не здесь.

...Единственная истинная революция, то есть — изменение мира, может произойти путем изменения людской натуры — а не путем тех или иных перестановок материи и через систему распоряжения материальными средствами, но путем изменения того, что материей управляет. Евангелизация, говорил Сергей Андреевич, обращение русского народа. Верят ли люди в Бога? Даже когда говорят, будто бы верят, живут они так, как будто бы не верили. Вот смотришь: тот живет так, тот эдак, этот иначе, а уже этот — вовсе по-своему. Кто из них христианин, а у кого в сердце только касса денежная брякает? Не узнаешь! Никак не узнаешь! Но как же такое возможно? Что это за вера, что это за Бог, что за христиане чертовы, которые сами деянием и словом отпираются надежды своей ежедневно и всякий час? Так он же скажет: я должен это делать, обязан заботиться о семье, обеспечить им пищу и крышу над головой, обязан быть послушным относительно начальства, законы соблюдать, но и от насилия отречься не могу, ибо как же защититься мне от зла, разве нельзя мне за дубину и камень схватиться, когда преступник на пороге стоит и грозиться деткам моим зло утворить? Ачухов говорит: а вот и нельзя, раз воистину ты птаха Божья, раз предался под власть царства невидимого и вневременным законам доверился, лжешь теперь делом и небрежением, действуя так, как будто бы Бога не было, и лишь закон тела, закон Кесаря может тебя спасти. Раз отрицаешь закон кесарев! — проводи закон Божий! — твори правление Бога на земле! Только лишь тогда, когда все люди станут жить по этой мысли в любую секунду существования своего — есть Бог, есть Бог, Его власть, Его замысел, Его победа в самой скромной даже победе добра, в Нем воскрешение и счастье вечное — только тогда лишь изменится лик Земли, тогда лишь придет Царствие Добра.

...Таким вот было обращение Филимона Романовича Зейцова под небом Сибири.

...Когда я вернулся из ссылки, то застал брата Федора, уже женившегося и с детками, все так же проживающего в отцовском доме. А так все было по-старому, вот только я сам был новым, и все было другим. Что теперь значили для меня кривые взгляды соседей, злые перешептывания и мстительные сплетни? Сам я принес с собой свой собственный стыд, меня оговаривали, в меня тыкали пальцами. А, бунтовщик! А, преступник, каторжник! Ага, анархист проклятый! И тогда я глянул на них глазами отца. Да и что несчастному такому остается — поверит ли чужим людям, когда черными ртами его оговаривают, или же поверит собственному сердцу? Кто лучше знает правду о человеке: сам он или другие люди? Но! Вот вы говорите, что человек не знает правды. Знает, знает. Не ведает, что знает, но знает. Так послушайте еще: случилось, что такие снега пали на наш городок, что на пару дней были пленены все, проездом в нем находящиеся, не имея возможности выбраться на губернский тракт; а поскольку и отца метель тогда там застала, не позволил он мне в доме заезжем ночевать — на пару дней поселился я у отцовской Софии. Вот и увидал я разврат: семейку любящую, мужчину с женщиной, и дочек их, и ту любовь между ними, которую, как раз, ярче

всего видит человек в любви не опытный — ибо не золоту, не здоровью, ни почету, но именно любви больше всего каждый завидует. И потом, когда посетила их Елизавета, и еще потом, когда девочки над младенчиком колыбельные пели, и когда всех их я в одной комнате с сестрой Софьи видел, *гаспадин* Ярославский, то не расплакался там горячими слезами лишь потому, что последние слезы давно у меня в Сибири вымерзли. Вот вы говорите о стыде! Человек освобожден от законов бремени телесного, он лишь перед собой, пред Богом в себе устыдиться может. И вот эта бескорыстная отцовская любовь, возможно, и из страсти рожденная, не знаю, возможно, и так — ненавистная, щедрая, не меряющая границ и не насчитывающая процентов — чем же по отношению к ней были все наши проекты народной справедливости, программы экономических альтруизмов? Чем были все наши революции и восстания?

...Воистину, ближе Богу откровенный развратник, чем наибольший политик, продавший себя добру человечества.

...Смеетесь, господин? Смеетесь?... Ну и ладно.

...А теперь что — и теперь опять же, только благодаря отцовским деньгам могу я Сергея Андреевича спасти. Сколько это стоило, не скажу, много, много. А ведь у него уже левое легкое полностью отсохло, еще годик в Зиме — и верная смерть, хотя он и старый лютовчик. Три месяца ходил я по учреждениям и по дворцам, подумывал уже жилище себе в Петербурге снять; раньше же как — подкупил одного и уже уверен, что дело в шляпе; сегодня нужно купить одну власть, да еще и другую, если бы той не хватило, и третью, если бы первые открестились, а потом, лучше всего, перед образом свечку зажечь и помолиться, ведь никакой уверенности нет; до последнего ждал бумаги с помилованием, а если же сам не прослежу, то Сергея уже могу живым уже и не застать; а под конец так целое состояние пришлось за билет выложить, один только с местом желающий подвернулся — армянин-жадина, а из купейного, с кем заговаривал, только представьте себе, из купейного так никто там на перроне места уступить не желал — вот что совершенно непонятно, и мир весь на голову встал, невозможно людским разумом объять, налейте-ка еще одну.

— Красивая.

— Ой красивая, красивая была.

*Я-оно*отдало ему погнутую фотокарточку.

— Так что, говорите, вы теперь новый христианин, так что, не ради материи, не ради тела, так что — не путать с безбожниками, так?

А тому уже голову пришлось поддерживать рукой, то правой, то левой, и так он перекладывал мозговую тяжесть с пятерни на пятерню, что башка sprysнула и грохнула лбом об столик, зазвенела посуда и пепельница подскочила — это его отрезвило на какое-то время. Быстренько он выпрямился на стуле, огляделся по салону, мигая со строгим выражением на лице. Двери в бильярдную были раздвинуты, там снова резались в зимуху с участием капитана Привеженского и господина Фессара; по другой диагонали от зеленого стола, у библиотечного шкафчика сидела панна Мукляновичувна, делая вид, что поглощена сильно зачитанным журналом для дам, «Le Chic Parisien» или «Wiener Chic» ^[95].

Чуть ранее заглянул сюда тайный советник Дусин; было видно, что есть у него великая охота подойти и заговорить, и только присутствие Зейцова — сбитая в колтун грива волос, помятый сюртук, пьяное блеяние и замашистая жестикуляция — лишь непристойный вид экс-ссылного его удержал. *Я-оно*инстинктивно потянулось к часам — а нету, раздавлены. Глянуло на циферблат часов на шкафу. Начало седьмого, сейчас вечерние тени начнут ложиться за окнами. Все послеобеденные часы потрачены на пьянку с Зейцовым.

— Не путать, не путать, — бормотал он, но конечно же, что ради тела! Только ради тела!

Разве не слабый я человек? Еще один раб! Да, да, вы хорошо меня высмотрели — что с того, что знаю, что дорогу познал? Все мы знаем дорогу к счастью, а если и не знаем, то догадываемся, предчувствуем ее, и уж наверняка различаем дороги плохие — но только, что ж с того, одно дело — дорогу знать, дело другое — идти по ней; вот глядите на меня: слаб, слаб человек, и как раз в тот день у Софии, при отце и женщинах его и сестрах моих сводных, тогда я понял, что подведу я Сергея Андреевича, должен буду подвести, ведь если бы у них хоть волосок должен был упасть, нисколько не усомнился бы я кровь обидчика пролить, и не оглядывался я тогда на Провидение Божие, да и сейчас подведу я его, покупая ему помилование, отбивая поклоны перед кесарем; думаете, не вижу я того, вижу — если и спасу я его от Зимы, то вопреки воле его. Так.

Тут он цапнул графинчик и вылил в рюмку остатки спиртного; подняв крепкой рукой посуду под густые заросли усищ, в бороду черную, заглотал водку в один присест. А потом грудь вперед, вдох по глубже, пятерни на костяной столешнице, глаза выпучены, еще один вздох, другой и, *voilà*, Филимон Романович Зейцов трезв как стеклышко.

— Венедикт Филиппович, — изрек он, при этом воздел выпрямленный палец на высоту лба, словно целился перед собой из пистолета, даже глаз прищурил и бровь наморщил, — вижу я вас, хорошенько вижу. От них вы. Думали, не знаю я, что вам нужно? Прекрасно вижу.

— Вы перепили.

— А как это с делом связано? Узнать я могу. И Сергей мне тоже рассказывал. Этот второй доктор из Зимы с Бердяевым под мышкой... все они лютовчики... ни в карты поиграть, ни кости бросить... сны, сны объяснять... под Лед... Кха-кха! — неожиданно раскашлялся он. — О, святой Ефрем со всеми святыми, что за сухость — воды, воды! — спасайте же страждущего!

Он схватился с места — хотел схватиться, только собирался подвигнуться столь нескоро, и это такой гимнастики поднятия со стула от него требовало, что *я-оно* успело схватить его, придержать и подозвать стюарда. Появился третий графинчик.

Зейцов выпил рюмку, и лицо его разгладилось.

— Не гневайтесь, Венедикт Филиппович, ничего плохого я в виду не имел, раз говорите, что никогда в Краю Лютов не были, так я вам верю, почему бы мне не верить, но и удивляться мне не можете. Сами увидите. Хотя, на первый взгляд, очень похожим на ваш он кажется, но другой это мир, другие законы в нем правят. — Он оглянулся на картежников. — Как только въедем туда, им сразу же расхочется. Сами узнаете по первому же пасьянсу.

— Что вы говорили о ледняках — вы с ледняками...

— Я с ледняками! Что — я с ледняками?! Да в рот я их ебал, ледняков, и сук их ледняцких!

— Да возьмите же себя в руки! Иначе нас выведут отсюда!

И правда, в салоне первого класса давно уже искоса поглядывали на Зейцова. Вот и теперь повернулись к нему головы. За биллиардным столом как раз закончилась партия, игроки поднялись, чтобы размять ноги; доктор Конешин, что был ближе всего, при вульгарных словах ссыльного даже подскочил. *Я-оно* удержало его извиняющейся улыбкой.

— Филимон Романович, я вас спрашиваю, имели ли вы когда-нибудь дело с ледняками из высшей политики, слышите меня? И что это вообще за дело — Лед? И этот Бердяев — что им вообще нужно? И что вы во мне увидели? Ну! Филимон, дорогой! Возьми же себя в руки, ради Бога, перед людьми стыдно.

— Перед людьми стыдно, перед людьми стыдно, — повторял бородатый грязнуля, машинально царапая шрамы, оставшиеся после отмороженных пальцев, — так оно что, если бы не люди, так вам и стыдно бы не было, так? Все мы рабы, я же говорю...

...А что мне привиделось — как будто вы и не знаете, половина инженеров из Холодного Николаевска тяжко затмечены, в вестибюле Дырявого Дворца висит такая фотография, придите как-нибудь и гляньте, в тысяча девятьсот тринадцатом, как поставили *холодницы*, все делали там снимки на память, сзади панорама нового города: крыши, трубы, огни и люты, а тут — спереди — целая бригада, так они на том снимке вышли, каждый второй — что упырь из могилы изгнанный, лицо черное, будто у негра какого-то, глаза, рожа, волосы, все наоборот, а некоторых так вообще пересветило, и на месте человека только пятно в человеческом виде. А вы меня еще спрашиваете! Я же хорошо вижу.

...А когда я прихожие императорские в Петербурге коленями вытирал, то о чем сплетни, о чем по углам шепчутся? Только-только из Сибири возвратился, цап за журналы. Да и все старые знакомцы времен заговора тоже успели понарасказывать. Я то в ссылке, а тут новые политики на фоне Зимы сплелись, тут тебе партии, фракции, тайные союзы в Думе и при дворе. Есть такие, которым хорошо, как оно есть, и никаких изменений они не допустят, а только желают заморозить все, как можно надольше, а если и менять, то так, чтобы ничего не менять; но есть и такие, которым таяние и великое изменение России мечтается. Вот только ледняк, оно же понятно, кто он и почему; а вот оттепельник, а-а! — один оттепельник и другой, это уже не одно и то же, потому что и струвовец, и чистый социалист, и седой народник, и анархист, и любой тебе западник, и даже кадет, то есть, конституционный демократ — все они, на вроде, перемен хотят. Вот только никакого союза между ними быть не может! И вот они только руками вместе разводят: почему это Россия старая, как была, едва сдвинутая с места Столыпиным и Струве, тут же наново замерзает и посмешищем перед Европой и миром остается, самодержавная империя против демократических монархий пара, железа и электричества — как была она в восемнадцатом и девятнадцатом веках, так и в двадцатом, и во веки веков, Россия.

...И тут Николай Бердяев пишет *Историю Льда*, и объясняет по-своему все несчастья России в новых «*Вопросах Жизни*». Сам Бердяев немного и марксистом был, но теперь, прежде всего, сделался христианином рьяным и идеалистом Истории. Вот он и пишет: История должна была пойти иначе. Вы понимаете! Пишет он: не так все должно было быть, правда была перед нами скрыта, живем мы во времена Антихриста, исполняется фальшивая история мира. Ну да, именно — вы удивляетесь, и правильно удивляетесь — а по чему же это узнать можно, что наша История иная? От чего она отличается? Разве дано нам вглядеться в иные прохождения времен, разве дано нам зеркало судеб, чтобы увидеть в нем жизни непрожитые, войны не проведенные и императоров, которые никогда еще и на свет не появились? Одна только История нам известна: наша. Точно так же, увидав из неведомого вида одно только животное, никак нельзя понять, то ли бестия эта полностью и во всем побратимам своим подобна, либо это некое чудачество и ошибка природы. Но, как уже было сказано, Николай Бердяев наш — это идеалист Истории, и он вовсе не считает, будто невозможно людским умом ее объять. Ею управляют законы, неотличимые от законов природы, и не случайно происходит то, что происходит. Что означает: не каждое последствие событий возможно. По сути своей, возможно лишь то, что необходимо — и так вот эпохи идут одна за другой по методу логического следствия: Возрождение из Средневековья, Просвещение из Возрождения, а не, к примеру, наоборот. Но! Но! Что дальше пишет Бердяев: именно на наших глазах случается именно такая невозможность! Реальность отрицает законы Истории!

...Которые, по его мнению, таковы, что с концом века в мире духа завершилось владычество идеи Ренессанса, и при этом должно было произойти соответственное изменение и в мире тела. Ведь очевидным является, что мысль новая и цель, и видение

будущего не рождаются самостоятельно из движения материи, но рождаются в духе, и дух их навязывает существам, обладающим мыслью. Так что всегда то, что не телесно, предшествует тому, что телесно. Одни лишь невольники иллюзий, зачатых в капитализме и марксизме, верят в самовластие тела. Ну что вы такие мины строите? Ведь это же святая истина! Они рабы! Если бы были они честными, то даже не говорили бы сами за себя. Но как-то так: моя рука, мои уста, моя голова. То есть, не «я родился», но «родилось тело». Не «говорю», а «уста говорят», «голова говорит». Ну что? Ну что? Все мы невольники, только не все же отдались во власть тела.

...В России как раз должен был состояться перелом — Россия так до конца и не вышла из Средневековья, не было российского Возрождения, здесь и сейчас эпоха нарождается и закрывается, тут и теперь старое соединяется с новым. Мы глядим на мир, на Запад и видим конец согласия с каким-либо духовным порядком, сейчас там все стремится либо к крайнему индивидуализму, либо же к крайнему коллективизму. И вот революционная перемена должна была проявиться из духа в материи. Но не проявилась; нет никакого изменения. Что же случилось, что ничего не случилось? Ну да, Россия замерзла подо Льдом, и История для нас замерзла.

...Поскольку, даже если реальность материи лжет, реальность духа говорит правду, здесь нам необходимо высматривать признаки Истории такой, какой она должна быть. Бердяев ездил по Европе, и в каждом номере «Вопросы Жизни» представляли результаты его следствия против материи. Много там было этого. Погодь, только горло промою... Ага! Гляньте-ка на эту вот модную дамочку, на все эти кружева, китовый ус под шелками да атласами, на юбочку эту подстреленную! Мода! В чем же находим мы то, что нам нравится, что в наших глазах видится ладным, приличным и обладающим вкусом, а что нет — и в одежде, и в мебели с обустройством домашним, и в архитектуре. Случается увидеть фотографии из европейских метрополий, из Америки. И что? Разницу невооруженным глазом видишь. Уже десять, пятнадцать лет — с момента прихода Льда; и так, как проходит граница — куда люты добрались — тем сильнее. Вся Российская Империя, немного к югу, и Балканы, Скандинавия и Китай. Но все это расходится по мере разницы температур, как Зима, как морозы: тут теплее, там холоднее. Бердяев говорит, что в окончательном расчете, весьма неравномерно, но — заморожен весь наш земной шар. Чего, конечно же, ни проверить никак нельзя, ни описать подробно. Ну а что сильнее всего бросается в глаза в дамских одеждах — о! — все эти оборочки, складочки, бантики... Если бы у вас была возможность заглянуть в парижские журналы...

— Была.

— Целую ручки мамзели! Мамзель же не сердится, ведь правда, что я пальцем тыкаю, я мамзели сейчас все...

— Я слышала. Вы правы. Корсеты ушли в забвение. Покрой платьев совершенно другой, какие-то свободные халаты, стекающие шали, пояса баядерочные и верхние юбки с плотной драпировкой — все то, что *monsieur* Пуре на Востоке подсмострит. Юбки иногда только до колен доходящие, а иногда и до коленок не дотягивают; ба, если хотя бы юбки — но вот *jupon-culotte* ^[96] ? Я и поверить не могла, что дамы такое носят.

— То-то и оно! А почему дамочка поверить не могла? Почему бы ей самой так не одеться?

— Ну, знаете ли... как-то неприлично.

— О! А откуда у дамочки в ее чудной головке берется тот голосок, подшептывающий, что ей прилично, а что — нет? У чего вкус имеется, а у чего — нет? Почему нравится то, что нравится, и не нравится то, что не нравится? А?

...И об этом Бердяев тоже писал: не только о том, что морозит, но и о том, как морозит. Вот вы, дамочка, говорите — корсеты. В мире духа нет такой уж большой разницы между сжимающей, давящей одеждой и политическим гнетом, зажимом вольного слова. Одна и та же идея проявляется повсюду, как только может. Мы уже считали, что фатермёрдеры и высокие воротники стойкой ушли в прошлое, а тут, пожалуйста, в Европе Льда они снова очень даже популярны!

...И почему здесь не приживаются те изобретения, которые там давно уже приняты? Почему с таким трудом проходит электрификация наших городов? Или, возьмем автомобили? Чем ближе к Зиме, тем меньше машин на улицах. А это изобретение, кинематограф — вы когда-нибудь видели фильм, движущиеся изображения? Может, в Варшаве. А книги какие мы читаем? А мелодии, что звучат на балах и в салонах? Почему в России плохо продаются радиоаппараты? И очень мало тех, кто желает рассылать голос и музыку по домам с помощью беспроводного телеграфа. Или я что-то не то говорю? Господин Бенедикт?

...Вот что такое Лед и фальшь Истории, замороженной вопреки необходимости прогресса. Ведь если бы не люты, говорит Бердяев, если бы не они, мы бы давно уже имели ту или иную революцию или же полнейший государственный провал: конец России в ее старой форме, мы бы имели Россию, разорванную между крайностями Послесредневековья. А ведь Россия и мир, так или иначе, должны через это пройти, чтобы исполнить волю Божью и приблизиться к Царствию Его. Ибо, как я уже говорил, дамочка, может, и не слышала, а это во всем этом наиболее главное: что у Бердяева все это движение Истории и законы, ею движущие, это проявления божественного замысла и последствия единственного в Истории факта, который является неповторимым и абсолютно вырванным из под прав материи, а именно — факт рождения и смерти Сына Божьего, Иисуса Христа, с чего и начинается истинная История Человека.

...А каким же это образом Николай Александрович Бердяев столь уверенно о воле Божьей свидетельствует? Спрашиваете вы, и правильно спрашиваете. Ведь не открывается нам Бог в неопалимых купинах, не посылает пророков, прославленных чудесами, не разговаривает с нами с неба. Но ведь нам известно наше прошлое, нам известна история, и дан нам разум, чтобы рассказать нам ее самым ясными словами. *История — это единственный непосредственный способ общения Бога с человеком.*

...И уже отсюда имеете вы оттепельников и ледняков, ибо, хотя и не все, что по этим фронтам политически ориентируются в Думе и газетной болтовне, читали Бердяева, и не все, что его читали, ему верят, все равно — их достаточно много, там, в Петербурге, в Таврическом Дворце и Царском Селе, и в министерствах, среди дворян и чиновников, причем, с обеих сторон: ледняков, уверенных, будто бы одни только люты защищают Россию от упадка и кровавого хаоса, будто бы один лишь Лед охраняет ее от окончательного распада; и оттепельников, уверенных, что пока не изгонят из страны Мороза, никакие реформы не принесут результатов, никакой переворот, революция и демократизация будут невозможны, и ничего по сути не изменится в плане самодержавия; их достаточно много, чтобы повернуть политику своих партий и обществ в соответствии с собственными страхами. Но, поскольку никто из них в полный голос не выступит, уже имеются у нас легионы юродивых, предсказывающих в лютах Антихриста и смерть миру, чудовищные и мрачные апокалипсисы...

— Мартыновцев.

— Если бы только их! Вы же поляк, не так ли, да и мамзель с Повислянского края — у вас же и свои мессианства имеются, ведь не чужд вам этот голод, голод чего? Видите ли, у нас

мистика не заканчивается на религии. Но и не начинается ею. Российское мессианство оплодотворило и народников, и социалистов, и анархистов; все политические действия и идейные ручьи в России истекают из мистических источников — так почему у ледняков с оттепельниками должно быть иначе? Представьте себе, что пала на страну кара нечеловеческая, превращая, там и тут, лето в зиму, города и поля в сибирскую Сибирь, и россиянин не увидит в том перста Божия и многочисленных духовных символов? Ха! Не может того быть! Разве не рассказывал я пану Бенедикту — ведь рассказывал же — нет? — про судьбу моих братьев-марксистов: этот голод в нас настолько велик, что все мы должны брать в абсолюте, тотально и догматично — ведь даже материализм стал для многих религией; знавал я и мистиков и аскетов материализма, бывали у них видения, то есть умственные просветления, открывались им доказательства несуществования Бога и другие священные догмы атеизма, переживали они свои логические и историософские экстазы.

...Мамзель смеется, мамзели кажется, будто все это, ах, *c'est tout a fait ridicule* ^[97], только все это следует брать совершенно практично. Наши властители прекрасно знают этот недуг русского народа; русский обскурантизм имеет свое обоснование. В середине прошлого века министр просвещения, князь Ширинский-Шихматов, запретил преподавать философию в университетах — знали они, откуда идет настоящая угроза. Но вот проходит надцать лет, идет из Петербурга другой указ: философию разрешить, но запретить естественные науки. Видите, дамочка, как оно в России колотится? Один раз берет верх мир тела, другой — мир духа. Но война одна и та же.

...Что же на самом деле стоит за политикой ледняков и оттепельников? Если бы не статьи Николая Бердяева, они иной метафизикой Льда бы напитались, это точно, как дважды два. Вот только...

— Политика — это функция культуры, а сердцем культуры, тут ничего не поделаешь, является религия.

— Не понял?

— Господа позволят присесть? — Доктор Конешин подошел из-за спины Зейцова и потушил окурок прямо у того под носом. Бывший каторжник замер в середине панического инстинктивного движения, не зная: то ли зажать голову в плечи, то ли схватиться с места и убежать.

— Собственно, мы, господин доктор, мы...

— Благодарю.

Панна Мукляновичувна заняла последний из трех стульев, что располагались вокруг столика; доктор Конешин схватил стул, что стоял возле радиоприемника, и подсел бочком, рядом с Еленой, которую вначале чмокнул в ручку и представился в полупоклоне. Девушка стрельнула над столиком запыленным взглядом. Ну, и что теперь должно делать я-оно? Пьяный и не пьяный, сколько должен был признаться, Зейцов уже признания дал; теперь в него можно и дальше вливать спиртное, но какой в этом смысл? Честно сомневалось, будто бы Зейцов и есть тот самый участник ледняцкого заговора. Если и вправду за ледняками стоит такая политическая мысль, то для того, чтобы удержать доктора Теслу с его машинами они не посылали бы спившегося бывшего каторжника — который и сам слишком далеко отстоит от ледняцкой идеи. Говоря по правде, разве отступили бы они от того, чтобы раскрутить рельсы и пустить под откос весь Экспресс, даже если бы в нем ехала половина правления Сибирхожето вместе с семьями?

Доктор Конешин закинул ногу за ногу, поезд дернул, доктор зашатался и снова ноги расставил широко. При этом он опустил руки на колени, склоняясь слегка в сторону ссыльного — было в этой позе нечто фальшивое, какая-то преувеличенная правильность

конечностей, противоречащая натуре человеческой, натуре человеческого тела. Только сейчас *я-оно* обратило внимание — может потому, что в голове еще крутились в голове слова Зейцова о тайных знаках тела и законах физиогномики — только в этот момент заметило, какой геометрической симметрией отмечен уважаемый доктор Конешин: не только в сложении всей своей фигуры, ибо это мыслью объять было еще можно, но и в виде самого лица, обрамленного рыжими бакенбардами (настолько рыжими, что чуть ли не красными). И не было между этими бакенбардами ничего, что нарушало бы симметрию физиономии медика. Каждая морщинка, каждый волосок и каждая черта лица отражались с правой стороны на левую, и слева направо. *Я-оно* замигало. Быть может, это глаза обманывают, или слабеющий свет вечернего солнца из-за окон не дает достаточно видеть, следовало бы, наверное, и лампы зажечь... Но нет, правда ясна глазу: у доктора Конешина тело настолько симметричное, словно клякса в наполовину сложенной листке.

Почему раньше этого не замечало? Скольких аберраций и чудес люди не осознают, не умея, прежде всего, заметить природы того, что слишком банально.

Я-оно подышало в согнутую ладонь. Тени между пальцами замерцали. Будет лучше сейчас не курить. Не сплевывать, не чихать, не кашлять.

Симметричный доктор пронзал взглядом несчастного Зейцова.

— Не уверен, правильно ли я понял вас, господин...

— Зейцов Филимон Романович, к услугам Вашего Превосходительства, к вашим услугам.

— Дааа, помню, помню. Ведь знаете, я достаточно наслушался различных мистических баек, под конец которых всегда появлялись чья-нибудь обида и несчастье. И была у меня на руках кровь пролитая теми, кто в подобные видения слишком уж засмотрелись. И из того, что говорили вы, этот ваш Бердяев, оказывается, это очередной поджигатель во имя Божье, желающий Европе с Россией кровавой революции...

— Не так все, не так! — Зейцов замахал руками, чуть не сбил на пол графинчик; перепуганный, он сунул трясущиеся ладони под мышки, скрестив руки на груди. — Это наказание Божие, кара за грехи! Катарсис! Такова неизбежность... нет иного пути к эпохе духовного обновления!

— Выходит, именно это Бог нам сообщает? Чтобы мы сами взяли в руки пистолеты с ножами и стали убивать своих братьев и сестер?

Панна Елена выдула губки.

— Что же, это был бы не первый раз, он уже давал такие приказы. Чтобы убивать.

— Да что вы говорите, мадемуазель!

— Хотя бы, Аврааму.

Зейцов покраснел лицом, на губах показалась слюна, и что-то нехорошее случилось с его глазами: они начали дрожать в обойме век, стреляя взглядом то туда, то сюда, словно выпущенный из рук садовый шланг, плюющий водой в самых случайных направлениях — на доктора, на потолок, на окно, на панну Мукляновичувну, на бильярдный стол, на потолок, на доктора, на шкаф, на ковер, на часы, на посуду на столе, на стюарда, на пепельницу, на девушку, на доктора, на девушку.

— А вы, мадемуазель, Библию знаете? Или вам кажется, будто вы поняли Слово Божие? Сколько часов вы провели над ним? Сколько дней, ночей, сколько же, сколько? Вы знаете Слово или только глухое эхо Слова, из уст ваших исходящее? Написано же так: Искушал Бог Авраама и сказал ему: Авраам, Авраам! А тот отвечал: Вот он я. И сказал ему: Возьми сына своего единородного, которого любишь, Исаака, и иди в землю Видения: и там отдашь его в жертву все сожжения, на одной горе, которую укажу тебе [\[98\]](#)...

Я-оно снова подуло в ладони, пользуясь тем, что внимание собеседников было

переключено на разогнавшегося в библейско-пьяном запеве Филимона Романовича. Пригодилось бы какое-нибудь зеркало... Здесь нет; только с другой стороны бильярдной.

Что видится потьвет — что же, ранее уже видело потьвет Николе Теслы, когда другие не видели. Теперь тоже не видят; а даже и видя, не распознают, не обращают внимания. Ну, разве что один Зейцов. Может потому, что он годы провел в странах Льда, может потому, что упился; может, по обоим этим причинам. А может просто потому, что это Зейцов.

Какое же тут приложить правило? Нужно выпытать у доктора Теслы. Ха, так ведь и сам доктор Тесла мало чего знает. Сомневается, спрашивает, ищет. Экспериментировал на себе — или еще на ком-то? Как он отличит то, что банально, буднично, от того, что свойственно только ему? Тут пригодилось бы побольше добровольцев.

Правда, одного он уже нашел. Кончиком языка *я-онокоснулось* неба. Мурашки еще немного бегали. Посчитаем: раз, феномены света; два, тактильные ощущения, все это жжение, почесывание, легкость головы и, возможно, реальный прилив общей энергии; три, ах еще несколько минут назад *я-оно* высмеяло бы пожилого серба, но теперь, расшифровав письмо пепеэсовцев — начинает понимать привычку изобретателя. Всякий раз, когда он бьется головой в стену какой-нибудь проблемы, которую, на первый взгляд, ну никак не разбить, он становится перед этим искушением: зимназовый кабель и банка с черной солью или теслектрическая динамо машина — и, может, стена треснет. Как мог бы он удержаться? Скорее уже алкоголика вылечишь.

И тут появляется новый вопрос: смешиваются ли они в организме, влияние алкоголя и влияние теслектричества, а если да — то с каким результатом. *Я-оно* взяло в руки рюмку. Тьмечь замораживает память, тьмечь выпрямляет тропы мыслей, тем не менее — ее эффекты не сильно отличаются от последствий хорошего тминного ликера.

— И когда шли они вместе начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Тот отвечал: чего хочешь, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой [\[99\]](#)...

Проглотив остаток водки, *я-оно* откашлялось в ладонь. Пустая рюмка, отставленная на столешницу из пожелтевшей кости, стекала радугами розового, карминового и оранжевого цветов. Трасса Транссибирского Экспресса проходила здесь с северо-запада на юго-восток, и за окном с левой стороны, а по правой стороне от поезда, над плоским горизонтом, над азиатскими равнинами и разбросанными по небу облаками висело Солнце — красное яйцо, Солнце — словно слива из варенья, истекающее на горизонт ликерными соками, заходящее Солнце, которому сейчас можно было тянуть прямиком в белый зрачок и не ослепнуть; глядеть долгие секунды, не мигая, и никакие цветные пятна не заливали картины после того, как глаза отвести. Раз, два, три — выходит, это четвертый признак. Как долго еще? Час, день? Один удар черным током, или же больше — сколько нужно? Прежде, чем по-настоящему это войдет в кровь.

Не было цветных пятен в глазах — но только через какое-то время заметило, на что, на кого теперь глядит, с кем обменивается взглядом. Капитан Привеженский следил над краешком веера из карт в руке. Он сидел за дальним концом бильярдного стола, спиной к курительной, от столика Зейцова его отделяло метров шесть-семь. Разговора, естественно, он слышать не мог — но ведь и *я-оно* не слышало разговоров игроков. Беседовали ли они о бесславном Бенедикте не-графе Гиеро-Саксонском, герое екатеринбургской перестрелки, который сейчас, на глазах всего первого класса напивается в компании каторжника-коммуниста? Капитан усмехнулся под усами, бросая банкноты на зеленое сукно. Не отводя глаз, что-то произнес. Игроки согласно загоготали. *Я-оно* отвело взгляд. Заходящее Солнце пригревало, может потому и лицо такое горячее.

— И, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего [\[100\]](#)...

И зачем тут сидеть, выставляя себя на посмешище? Как же, схватишь так агента ледняков! Пускай уж панна Елена ведет свое следствие, раз ей так нравится эта игра. А уж если и вправду этим беспокоиться, то, по правде, следовало бы ее как-то отговорить: принимая, что таинственный этот агент существует, и господин Фогель верно рассказал про его намерения — то когда ледняк припишет себе новую цель в список жертв: если его оставить в покое, или когда ему на пятки будут наступать детективы-любители?

Как будто бы в голове не было загадок по-настоящему важных — от которых нельзя убежать, нельзя скрыться, они не исчезнут после того, как сойдешь с поезда, словно пустое воспоминание. РОССИЯ ПОДО ЛЬДОМ, ВСЕ СРЕДСТВА — ТАК. ВНИМАНИЕ: МОЛОДЫЕ И ОТТЕПЕЛЬНИКИ ПРОТИВ ЗИМЫ! ЗАЩИЩАЙ ЛЮТОВ! Неужели не только петербургские фракции, но и польские боевики верили этим фантазиям? Ба, это письмо вообще звучало, словно приказ отцу — приказ Истории — сделай то-то и то-то; а покомандуй лютами, чтобы Лед сковал Историю, как мы это задумали. ОТТЕПЕЛЬ ДО ДНЕПРА! Они еще и линии ему на карте вычерчивали! Как будто бы в его силах было выбрать тот или иной путь развития, то есть — прохождение Льда. То ли без всяческих оснований они все это нафантазировали, или же отец дал им такое слово? Сказал, что именно за этим идет к лютам? На него весьма похоже.

Хуже! Я-онооперло раскаленный лоб на сжатые в кулак пальцы. Хуже, все гораздо хуже, ведь если ППС знает, то это еще ничего — ну а если знает Министерство Зимы? Если знают русские, их оттепельники и ледняки? Те, что из рода Пелок, Зейцовых — *настоящие* политические фанатики? Тогда отца давно бы уже не было в живых. Если бы только они могли его убить. Но, может, имеется какая-то помеха. Да и жив ли еще отец вообще?

Пришло воспоминание о беседе с чрезвычайным комиссаром Прейссом В. В. *Жив ли Филипп Филиппович Герославский? Жив ли?* И его поведение. И как он пытался: *Когда последний раз вы получали вести от отца?* Он не знал, верить или нет. Получил приказ, вот и должен был его исполнить. Во что его посвятили? О скольком догадывался? К какой фракции принадлежал он сам, чьим был человеком? Раппацкий, Министр Зимы, якобы, заядлый оттепельник (во главе Зимы иного бы и не поставили), только это ничего еще не значит: он может быть оттепельником в политических делах, зато нисколько не верящим в исторические проекции Бердяева.

А если все эти варшавские воспоминания соответствуют правде (если они родом не из противоречивого прошлого), тогда правдой будет и то, что люди Прейсса тут же выслали с Медовой на улицу своего человека в качестве ангела хранителя. Они боялись, что произойдет утечка — знали, что утечка произойдет. Из царского учреждения — да как не могло быть утечки? Раз даже пилсудчики именно так обо всем и узнали, судя по словам самого чахоточного почтальона.

Вот, очередная загадка: неужто пилсудчики ничего раньше не знали? Забыли про отца, или как? Почтальон еще говорил, что у них уже много лет с отцом нет контакта. Как же, как же! Само содержание письма это отрицает. Тем не менее, что-то должно было случиться, раз Зима отправляет в варшавское представительство срочный приказ вместе с билетами в вагон «люкс» Транссиба. Что-то должно было случиться — что именно?

Никола Тесла?

— И сказал Господь: так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое,

как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего [\[101\]](#).

...Такова вот история, как Бог приказывал Аврааму. Чтобы тот связал и убил сына своего. Вам известна еврейская традиция — не известна? — так вот, у них совершенно иное понимание того, что Исаак был связан, *aqedat Yitzhak*, и очень много различных вещей говорит здесь бог Аврааму и людям, которые читают эту историю с чистым сердцем. Если читают! Если при этом думают!

...Имеются талмудисты, которые, по крайней мере, не видят здесь приказа — но просьбу. Бог попросил Авраама, но ведь Авраам мог на просьбу не ответить, но ответил, а поскольку он ответил на Божественный не-приказ, потому Бог его и вознаградил.

...И есть талмудисты, которые вовсе не называют это испытанием. Да разве Бог не мог знать его результатов? Да разве не мог он знать, что Авраам сделает? Бог знает. Так кто кого тут испытывал?

...И есть такие, которые считают, что это отличие, данное Аврааму Богом. Это знак для будущих поколений и урок на будущее: вот, уже и нож приложен к твоему горлу, и лежишь ты связанный на камне, и собственный твой отец через мгновение собирается тебя зарезать — но не отчаивайся, доверься Богу, доверься Ему до конца, и будешь спасен — Он способен спасти тебя из любой смертельной опасности.

— Конечно же, на самом деле, если нечто подобное и случилось в истории еврейского народа, — спокойно заметил доктор Конешин, — дело тут касается только изменения еврейской традиции: они должны были прекратить совершать человеческие жертвоприношения, резая вместо них животных.

— Да о чем вы говорите, господа! — ужаснулась панна Елена. Возмущенная, она вынула платочек и вытерла лоб. Ее бледная кожа казалась теперь уже не такой бледной. — Талмудисты такие, талмудисты сякие — но есть чудовищность, которую никак нельзя заговорить возвышенными словами, даже если бы тысяча евреев тысячу лет просидела над священными книгами. Испытание — а ведь это точно испытание: испытание праведности Авраама. И Авраам это испытание не прошел! Авраам подвел! Разве есть поступок более противоречащий всякой морали того мира, чем когда отец убивает своего собственного ребенка? Не найдете другого; Бог знал, что приказать ему в качестве испытания. И что делает Авраам? Не мигнув глазом, идет убивать сына! И это должно быть образцом? Чего, я вас спрашиваю! Зачем нам такая притча?

— Заметьте, мадемуазель, насколько здесь все удивительно послушны, — сказала я-оно, приглаживая усы. — Исаак послушен Аврааму, Авраам — Богу. Который ведь тоже является отцом Аврааму. Это притча о слепой верности.

С руками, скрещенными на груди, и блуждающим взглядом, Филимон Романович начал покачиваться вперед-назад на своем стуле, словно в молитвенном трансе.

— Противоречащий морали, говорите. А какой была мораль Авраама? Слово Божье. Вы видите эти разъезды? А теперь послушайте меня! Сейчас я отдам мадемуазели управление этого поезда, в ваши ручки отдам все стрелки на наших рельсах. Итак, поехали: ...Налево: Бог запретил убивать, поскольку убийство — это зло. Направо: убийство — это зло, поскольку Бог запретил убивать. Ну, и как мадемуазель повернет стрелку?

...Налево: выходит, зло и добро не от Бога зависят — Бог им поддан, и мы тоже им подданы. Бог, всеведающий, знает, что убивать плохо, потому он и отдал такой приказ: он следит за тем, чтобы не творили зла. Тогда, и вправду, Он и сам не может заповеди менять или нарушать. Но ведь если не от Бога, то от кого, от чего родились Десять Заповедей,

откуда именно такое деление на добро и зло? И почему этот десяток не мог бы быть другим? А? Вы мне ответите? Без этого знания, без крепкого фундамента мы тут же заблудимся в этой стране, погрузимся, словно в болото, рассчитывая исключительно на собственные силы, но вот кто и когда сам себя из болота вытащил? Это путь в бездну, если мадемуазель им отправится — в Страну Безпризорных, и нет оттуда возврата.

...Направо: а когда на эту территорию вступим, должны мы быть готовы к тому, что в любой момент Бог может сказать: убивать — это хорошо, а вот плохо — о! — ездить поездами и курить папиросы — и с этого момента добро и зло будут именно такими, поскольку Бог — это единственная и наивысшая причина и основа морали, и нет более высоких санкций, кроме Бога. Это земля самодержца душ, это Страна Царя.

— Так вы... так вы... — не могла собраться панна Елена, — так вы говорите, что если Он и установил Десять Заповедей, то теперь сам в любой момент может себе перечить? Ведь, что бы он ни приказал, все равно это будет добром, ибо так приказывает Бог. Так? Так?

Освободившись от объятий стула, я-оноделикатно взяло девушку под локоток.

— Здесь нет никакого противоречия. Наш господин библеист поправит, если я ошибусь, ведь правда, Филимон Романович? Но, насколько я знаю — послушайте, панна Елена — противоречия здесь быть не может. Бог общается с людьми предложениями-приказами. «Не убий». «Убей». «Не лжесвидетельствуй». «Идите и размножайтесь». Приказывающие предложения никогда не противоречат друг другу, точно так же, как вопросительные предложения. Противоречащими, самое большее, могут быть предложения, объясняющие предложения-приказы: «Я говорил убивать», «Не говорил убивать». Но сами приказы, они могут только быть выполнены или не выполнены — себе противоречить они не могут. Приказываю не убивать. Ты послушна или не послушна. Приказываю убивать. Ты послушна или не послушна. Приказы идут один за другим, противоречий нет. Тот, приказов которого ты должна слушаться абсолютно, не обязан объяснять собственные намерения. Самодержец всегда в праве, независимо от того, как относится его последний приказ к приказам предыдущим. Как вы считаете, почему Николай Александрович делает все возможное, чтобы не писать для России хоть какую-то конституцию?

— Так как, так как — для вас здесь все в порядке? Вы не находите эту историю жестокой и незаконной? Вы не видите ее отвратительности и чудовищности? Э нет, теперь вы от меня не сбежите! — Я-онохотело отнять руку, только Елена схватила ее вовремя и крепко сжала. Она полностью отвернулась от Зейцова, от доктора Конешина, в течение одного удара сердца, в момент одного перекрестья взглядов сделала разговор личным: теперь она уже говорила ни с кем другим, никто другой не слушал, даже если слышал. — Что бы вы сделали на месте Авраама? Исполнили бы приказ?

Почему неловкость не мутит мыслей? Почему стыд не спутывает язык и не перемешивает слова? Почему голос спокоен, а взгляд уверен — напротив ее взгляда? Почему лицо не выдает себя перед ее лицом?

Тьмечь кружит в жилах, искрится в мозгу, стекает под кожей.

— Что бы я сделал? Пускай панна не обижается, ваш вопрос мне до лампочки. На месте Авраама! *On ne peut etre au four et au moulin* [\[102\]](#) .Потому что мое место совсем другое, я гляжу глазами Исаака. Ему безразлично все то, что мы тут столь умно и бездушно обсуждаем: просил или приказывал, было ли это испытанием, имел ли Бог право, не противоречит ли он себе... А мне какое дело! Я лежу на алтаре. Ни черта не знаю. Мне известно лишь то, что отец завлек меня сюда обманом, связал и хочет убить, и убьет.

...И представьте себе, мадемуазель, представьте, что — я хочу жить! Я не хочу погибнуть на этом камне! И я освобождаюсь от пут. Убегаю. Отец гонится за мной с ножом.

Если догонит, убьет. Он стар, так что шансы у меня есть. Но, и вот это мне панна должна сказать, имею ли я право защищаться? Сделаю ли я плохо, становясь против отца, который желает принести меня в жертву? В чем тогда заключалась бы вина Исаака?

...И была бы для него во всем этом какая-нибудь разница, если бы он узнал, вне всяких сомнений, что Авраам все это делает по Божьему приказу?

— Вы меня спрашиваете — я правильно поняла — вы меня спрашиваете, *разрешена ли с точки зрения морали самооборона перед лицом Бога?*

— Бог не может сделать ничего злого! — воскликнул кто-то, находящийся за Зейцовым. Я-оноподняло глаза. Опершись на стенку, в туче табачного дыма там стоял Юнал Тайиб Фессар; темно-пурпурное Солнце отражалось от его голого черепа; он еще сильнее склонился к столику, к собеседникам, собравшихся вокруг стола, и теперь показался весь в наводнении карминовых рефлексов, как будто истекал кровью от самой макушки. — Как только встаешь против Бога, становишься на стороне Сатаны!

— Бог-Царь, — буркнул симметричный доктор. — Он, да, Он и вправду «не может» сделать ничего плохого и злого. Что бы он ни делал, он делает хорошо, поскольку это делает Он.

Я-оновырвалось от панны Мукляновичуны. А вот взгляд не освободился, остался на турке. На толстых губах господина Фессара мерцало — то оно есть, то его уже нет — предчувствие издевки, намек на ядовитую иронию. Я-оноуже видело подобный образ смуглокожего лица, уже было свидетелем нескрываемого довольства собой: ночь, кружащие снежные хлопья, тяжелая трость в руке, екатеринбургская улица, кровь на льду. Есть нечто такое в сатисфакции зла, вызывающее то, что мы не можем удержать ее только для себя, даже когда рассудок подсказывает иначе, когда это грозит весьма неприятными для нас последствиями — мы должны подать какой-нибудь знак, изобразить намек или, хотя бы, кривую усмешку: это я! это из-за меня! мое! я, я, я! В то время как благодетелю достаточно чужой радости, осознания самого поступка, воспоминания о прояснившемся лице одаренного человека; добро является самодостаточным.

А вот теперь турок даже и не скрывал своей иронии. Когда к нему повернулся доктор Конешин, купец ему подмигнул.

— Вы так говорите, — ужаснулось я-оно, — хорошо, вы в это верите — но что бы вы на самом деле сделали?

— Бог есть Бог.

— Вы бы не защищались, если бы он пришел вас убить?

На это Юнал Фессар выпрямился, отклеился от стенки и, вынув сигару, начал смеяться. Но как он смеялся: не хихикал, не хохотал, не просто смеялся — но гоготал, ржал, трясся и заходил в каком-то волчьем вое, который заглушал даже голоса картежников и звуки пианино из соседнего вагона, и даже сам шум спешащего поезда. Доктор Конешин даже поднялся и отошел от стола, приглядываясь к приступу веселья турка с клиническим интересом. Партия на зеленом сукне, видимо, как раз завершилась, потому что заинтересованные игроки тоже подошли; сразу же образовалась толкучка и замешательство, когда они начали расспрашивать о причине такого веселья. Я-оно воспользовалось моментом, чтобы протиснуться к двери. Доктор глядел молча.

— А случилось так, — бормотал тем временем, раскачиваясь в ритм вагона, Филимон Романович, — случилось Иакову над бродом Иавок бороться с Богом, и схватил Его в борцовский захват, всю ночь, пока Солнце не встало над землей, как он Его схватил! — пока Бог не поддался, а поддавшись, благословил Иакова, победителя Своего; и вот так оно произошло, так случилось, так, так [\[103\]](#).

Кто-то протиснулся сзади, нажал на спину, шепот затек прямоком в ухо.

— ...вас видеть еще сегодня. Если, несмотря ни на что, вы являетесь человеком чести.

Я-онооглянулось. Дусин.

— Чего вы опять от меня хотите?

— Госпожа княгиня...

С другой стороны за руку уцепилась панна Мукляновичувна. Я-онораздраженно вырвалось. Девушка взволнованно дышала, искала, что сказать.

— Из того, что я слышала, пан Бенедикт, а ведь в этом, может, и не вся еще правда, но ведь он почти что признал, будто бы верит этому Бердяеву...

— Вы только поглядите на него.

Зейцов снова вынул старую фотографию и, глубоко погрузившись в алкогольном бреду, согнувшись дугой, покачивался над ней, чуть ли не прижимая нос к поверхности потрескавшегося снимка. — Красивая, красивая была.

— Вот вам, религиозно обращенный революционер, истинный человек русской идеи — сын без матери.

— Даже если и так, панна Елена, пускай он и оттепельник до гробовой доски, но Теслу он бы собственной грудью заслонил. Пойдемте.

— Но!.. Ведь все совсем наоборот — ведь когда вы ему сказали, будто бы ваш отец разговаривает с лютами, теперь у него может быть тысяча мотивов покушаться на вашу жизнь.

— О чем вы, панна! Фогель говорил про ледняков — да или нет? Пошли!

Не получилось, во второе плечо костлявыми пальцами вцепился тайный советник.

— Ваш отец — что она такого говорит? — ваш отец — с лютами?

— Отпустите!

— Ваш отец разговаривает с лютами?

— Тихо!

К сожалению, в этот момент Юнал Фессар уже перестал смеяться и не заглушил советника Дусина. Все, возможно, его и не услышали, но вот доктор Конешин — наверняка. Он подскочил, словно его ударили острой, повернувшись на каблуке, уже осторожно склонившись вперед, глаза большие (и симметричные), руки наполовину подняты (тоже симметрично), в устах восклицание.

Но столь же мгновенно он отказался от своего намерения: отступил назад, погасил взгляд, смолчал.

— Что это значит: с лютами разговаривает? — Младший из братьев-растратчиков морщил лоб, так что светлый чуб наехал чуть ли не на брови. — Так люты *разговаривают*?

— Снова людей обманываете, как вам не стыдно! — возмутился Алексей Чушин.

— Я как раз и думал, а что будет сегодня, — произнес капитан Привеженский, протягивая слова на низкой ноте. — Уже хотел спорить, но наш самозванец превзошел самого себя. Сын поверенного лютов! *Chapeau bas* [\[104\]](#).

И снова все смотрели. Но на сей раз некуда было бежать, не было никакого открытого пути; окружили, замкнули, поставили под стенкой.

Панна Елена сжимала мое плечо.

— Извините, простите меня, извините, я не хотела, извините.

— Так может граф расскажет нам эту историю? — продолжал капитан с терпкой издевкой. — Ну конечно же, расскажет! Такой образчик польской чести, гордости и благородства — не то, что мы, как вы там говорили? «Подделки, умильные, двуличные, каучуковые шеи».

Усмехалось ли я-оно? Возможно. Сделало ли бы что-то энергичное, решительное, если бы не Елена с одной стороны и Дусин с другой — к примеру: перепрыгнуло через стол, метнуло бы в Привеженского пепельницу, схватилось бы за Гроссмейстера — сделало ли бы? Возможно. А что бы при этом сказало? Рта ведь не заклеили. Что бы ни сказало — главное, сказать.

Так вот, ничего не сказало.

— Господин граф не удостоит нас объяснением? — Капитан Привеженский застегнул мундир, снял с пальца офицерский перстень. — Нет, господин граф будет молчать с гордой улыбкой, пока очередной несчастный не обманется его аллюзиями и недомолвками, его гордым взором; видите, господа, в этом одном он говорил правду — нет во всем свете нации, более гордой, чем поляки.

Полшага вперед, и рука, скорее взгляда: справа, по левой щеке, слева — по правой щеке, в челюсть — даже голова отскочила назад.

Капитан Привеженский вытер руку платочком.

— Так. Замечательно. Молчать в ответ на явную ложь — это все равно, что самому лгать. Но... Так. Прошу прощения, мадемуазель, господа.

Он повернулся и ушел.

Все жадно глядели. Вроде бы поступок капитана и вызвал у них неприятный осадок, вроде бы они и сочувствовали, вроде бы и чувствовали замешательство, но каждый впивается убудочным взглядом в лицо жертвы, ищет ее глаз, выискивает хотя бы тень гримасы унижения, что открывает рот от неожиданности, готовая проглотить этот стыд — наиболее вкусный. Это инстинкт тела: сочувствие — совместное чувство боли, но вместе с тем и совместное чувство удовольствия того, кто бьет.

Юнал Фессар бросил сигару между графинчиком и рюмками, втиснулся перед Чушиным, отпихнул тайного советника, до сих пор потрясенного.

— Ну, чего стоите? Дайте пройти!

Он распахнул их всех, не извиняясь, потянул за воротник, другой рукой подал платок. — Вытритесь, он вам нос расквасил, сорочка... сорочку жалко. — Я-оноприжало платок к ноздрям. Течения крови не чувствовало, не чувствовало боли после ударов и от рассеченной кожи. Только ноги немного дрожали, и поезд трясло, вроде бы, сильнее обычного.

За переходом между вагонами я-онопривстало, опираясь плечом о закрытые двери купе. Только теперь, когда захотело сглотнуть слюну — тяжелую, липкую, холодную — поняло, что это не слюна стекает по небу и склеивает гортань.

Я-оноотняло платок от лица, поглядело на красные пятна. Мысли со спокойствием лунатика стремились далее. А вот если бы сжечь эту кровь в пламени тьвечки...

Замигало. Солнечный пурпур вливался через окна в коридор, все тонуло в теплых лучах заката: господин Фессар, его лысина красного дерева, темные панели, узорчатые коврики.

Я-онооткашлялось.

— Благодарю.

— Совершенно все это странно, — просопел турок. — Сам уже не знаю, во что верить. Так скажите же, нас тут никто не слышит, одни мы — вы можете говорить? Вы хорошо себя чувствуете? — скажите же: есть у вас эта технология или нет?

Я-оноподняло голову.

— Это вы выбросили Пелку с поезда.

— Что? Кого? Чего?

Я-оновытянуло к нему руку с окровавленным платком; тот гневно оттолкнул ее. Поезд дернуло, турок скакнул вперед. Я-онооперлось плечом в стенку, вонзило локоть в ребра

Фессара. Перед глазами мигнул сжатый кулак. Два тела грохнули в двери купе, в боковую стенку коридора, резные оковки, металлические рамы, стекло, дерево и зимназо. Он сопел и шипел сквозь стиснутые зубы — какие-то слова по-турецки, ругательства, угрозы, имена святых? Поезд мчал, тук-тук-тук-ТУК. Освободив полы пиджака, я-оноизо всех сил толкнуло турка в грудь. Тот полетел назад, хотел схватиться за ручку окна, не схватился, страшно ударился о дверной косяк и упал, как подрубленный, сложившись вдвое, словно желал присесть, с заброшенными за спину руками, с безжизненно опущенной головой, согнутый в странный крендель конечностей в узком коридоре Транссиба. Светлый кармин разливался по гладкому черепу словно глазурная поливка — красная жидкость под красным светом. Я-оноподняло платок.

— ...подождать, пан Бенедикт, это моя вина, я...

Панна Елена, запыхавшись, встала в проходе, с рукой, разогнавшейся в жесте растерянности — жест угас, ладонь опала на губы девушки, подавляя окрик.

Елена глянула на неподвижное тело Юнала Фессара — выражение ее болезненно-бледного лица такое же серьезное, глаза не мигают, вдох, выдох, вдох — она подняла голову, глянула через плечо и прижала ухо к двери ближайшего купе. Из стянутых в кок черных локонов она вынула тонкую шпильку. Отодвинув ножкой в кожаной туфельке перегораживающую коридор ногу турка, панна Елена присела перед этой дверью и в пять ударов сердца вскрыла этой шпилькой патентованный замок купе первого класса.

— Ну, давайте! Хватайте его! Уже зовут на ужин, народ идет! Вы за руки. Раз-два. В середину.

И сказав это, она схватила труп под колени.

О скрытых талантах панны Мукляновичувны и других неявных делах

В пять ударов сердца вскрыла этой шпилькой патентованный замок купе первого класса.

— Ну, давайте! Хватайте его! Уже зовут на ужин, народ идет! Вы за руки. Раз-два. В середину.

И сказав это, она схватила труп под колени. Я-оноспрятало платок в карман и схватило купца под мышки. Девушка тянула, но турок был тяжелый и неудобный, при этом складывался — корпус, конечности, голова — словно поломанная кукла, и все время чем-то цеплялся за косяк, за дорожку, за мебель внутри купе. Ожидало, что вот-вот раздастся глухой стук, словно от деревянного манекена. В конце концов, я-оноизо всех сил пихнуло его на пол возле кровати; тот сложился наполовину. Панна Мукляновичувна подтянула юбку, открывая икры в белых чулочках, чтобы снова перескочить над телом. Она с размаху захлопнула дверь, закрывая ее чуть ли не в последнюю минуту — сразу же услышало голоса и шаги, кто-то даже стукнул в стенку купе, проходя мимо. На лице Елены уже не было болезненной бледности. Прижавшись спиной к двери, она дышала очень быстро, бюст вздымался в астматическом ритме: каждое поверхностное дыхание делало каждое последующее дыхание еще более мелким. Ей пришлось выждать с минуту, чтобы выдать из себя слово.

— Пятно.

— Что?

— Кровь!

Я-онокоснулось слеplенных свертывающейся кровью усов.

— На дорожке в коридоре! — прошипела Елена.

— Но ведь то могла быть и моя, правда? Они так и подумают.

Я-оно снова вынуло платок и прижало его к носу.

— Ладно, — вздохнула панна Мукляновичувна. — Чье это купе?

Покосилось над платком. На секретере стояла портативная пишущая машинка с вставленным листком, рядом куча толстенных книжек. На покрывале мужская пижама в восточных узорах. Из стоящего под окном саквояжа выглядывали одежная щетка и деревянная колодка.

— А вдруг ему захочется по дороге на ужин заглянуть к себе?

Девушка прищелкнула язычком.

— Тогда придушим веревкой.

Она подошла к окну.

— Помогите мне.

Я-онодернуло рукоятку. Панна Мукляновичувна потянула раму до самого низа. Ветер ударил с шумом и свистом; листок в машине залопотал словно флажок, фррр, одеяло сползло с подушек, дверца гардероба стукнула о стену.

Я-оноглянуло на турка и, вздохнув, село на постель.

— Не справимся. Слишком тяжелый. Тут полтора метра от пола. Кто-нибудь может увидеть.

— Это кто же? И что увидит, пан Бенедикт.

— Мы вон как намучались, чтобы только сюда его притащить! Вот только представьте: ногами или головой, выпирает такой полутруп в Азию и махает ручонками на ветру. А если войдем тут в поворот, достаточно, чтобы кто-нибудь глянул в окно.

— Вот вы какой! Честное слово, прямо «Ода к радости».

— Опять же, он уже успел загадить ковер.

— Вот и посидите на нем, свесив руки — он сгниет тут, цветочки вырастут.

— Ха-ха-ха.

— И пожалуйста! — Обиженная, она отряхнула руки. — Я и не навязываюсь. Пан Бенедикт может продолжать в соответствии с со своими замыслами, прошу прощения, если помешала. — Елена направилась к выходу. — Ну да, конечно, пора на ужин. До свидания.

Не поднимаясь, я-оноперехватило ее в поясе. Когда вагон дернулся, девушка потеряла равновесие; я-оностиснуло ее еще сильнее, снова упустив при этом платок.

— Что это вы себе позволяете!

— А мы, убийцы, известны своими свободными обычаями. Там есть чистые листы?

— Есть несколько.

— Нужно как-то вытереть эту кровь. Насколько удастся. И чтобы не впитывалась в ковер. А то представьте себе: возвращается человек в собственный *compartiment* [\[105\]](#), а на полу, ни с того, ни с сего, огромная лужа крови.

— И труп в шкафу? Все видели, что турок вышел с вами.

— Так дайте же мне их.

Елена вытащила стопку листков, прижимаемых к столешнице французским словарем. Глянуло. Половину первой страницы занимало гидрографическое описание окрестностей Тюмени (множество речек и протоков, длинные водные пути) на сухом французском, все напечатано с огромным количеством ошибок, целые слова забиты, буквы, запечатанные другими буквами; после этого шли сплошные строки из одной буквы: аааааааааааааааааааа, бббббббббббббббббббббббббб, ссссссссссссссссс и так далее.

— Давайте мне только чистые, эти оставьте, а то он узнает, что кто-то забрал.

Смявши листок в руке, я-оносклонило над головой Фессара.

— И что, он будет сильнее тронут этим, а не лужей крови у кровати?

Панна Елена глядела сверху, указывая пальцем.

— Тут. И тут. Вон там. И еще здесь.

— Я начинаю понимать несчастного Макбета, — заговорило-было *я-оно*.

— Поспешите, пан Бенедикт, ведь он в любой момент может вернуться с ужина.

— Уф. Сам стану, как мясник.

— Так капитан же разбил вам нос, у вас есть алиби. — Она наклонилась. — Не вижу, где же рана? Поверните-ка его.

— Минуточку.

Я-оно оттерло кровь с кожи черепа и с ковра под ней; пятно, конечно, осталось, но яркий узор немного маскировал его. Схватив под подбородок, прижало голову турка левым виском к полу. Кровь текла из разреза над правой бровью. *Я-оно* протянуло руку за следующим листком.

— Раз уж мы его обворовали, — предложила Елена, то, может, свистнем и полотенце, все равно же выбросит, и следов не будет.

— Понятно, но лучше сразу содрать ковер с пола.

Труп застонал и открыл рот.

Я-оно вскочило на ноги.

Панна Елена от неожиданности уселась на секретер, сбрасывая с него книги и бумаги.

— Так вы его не проверили?!

— Не успел. Вы сразу же...

— Не успел!

— Впрочем, вы же сами видели. Труп — как живой. То есть — как мертвый. То есть... Очень убедительный такой покойничек, вот что я хотел сказать.

— Пульс! Или хотя бы дыхание! Что угодно!

— Но он же не приходил в себя, когда мы его тут таскали.

— Вы лучше на мессу пожертвуйте в благодарность, за то, что он живой, а не жалуйтесь.

— Я и не жалуюсь. Я только... Прежде всего, это было случайностью. Это вы сделали из всего этого убийство!

— Что я слышу...?

— Ну да! Это у вас мания какая-то! Убийства, следствия, преступления! Раз уж тело в крови, так и труп. А если труп, то наверняка смертоубийство. Дурацкая случайность, но появляется панна Елена, и через полминуты мы уже избавляемся от останков — сообщники преступления. Как раз об этом я и говорил, когда вы меня высмеивали! Так и становишься в Лете убийцей, никакого убийства не совершив. Впрочем — именно так я и сделался этим чертовым графом. И, один Господь ведает, кем еще.

— Ну, если бы мы выбросили его через окно из мчащегося поезда, убийство бы точно случилось.

— Это вы бы выбросили.

— Так сама бы я и не подняла.

— Но ведь хотела же!

— Я помочь хотела! Неблагодарный! Ледяное сердце! Я тут жертвую собой, а этот...

— А вас кто-нибудь просил? Нет! Чего вы вообще от меня хотите?! Сами тут пришли и в двери рвались! Кто такое видел! Где вас так воспитывали! И теперь тоже — навязываетесь — с трупом...

— А вы бы стояли над ним и руки заламывали: может, он живой, а может, не живой! может, повесят, а может — и нет, или меня подвесят, тьфу, яйца у мужика ни на что не годятся!

— Ага, еще и язык грязный, площадной. Ладно уже, болтайте, болтайте, сколько хотите!..

— У-у, сволочь...!

Юнал Фессар уселся, пощупал голову, замигал, потом поднял глаза на людей, выкрикивающих над ним по-польски непонятные оскорбления.

— *Excuse-moi, mademoiselle, mais je ne comprends pas...* [\[106\]](#)

Панна Мукляновичувна заботливо припала к нему.

— Ага, значит, мы уже воскресли! — Очень осторожно она коснулась рассеченной кожи. — Кость не треснула, это самое главное. — Она подала купцу руку. — Встанете?

*Я-оно*подхватило турка под вторую руку.

— Поосторожней. С ушибами головы оно всякое бывает. — Тоже перешло на французский. — Вы же как раз слышали, какое-тут различие во мнениях произошло: следовало ли вообще вас шевелить; врачи, как правило, говорят, что не надо, но поезд все равно трясет, нужно было бы послать за доктором Конешиным, как вы себя чувствуете, может, все-таки послать?

Господин Фессар улегся на кровати; опершись на изголовье и прижав к ране поданный Еленой ее батистовый платочек, он осмотрелся уже более осознанно.

— Погодите. Господин Геросаксонский. Мадемуазель...

— Елена Мукляновичувна.

— Ну да, помню. Сейчас.

Он провел пальцем по лбу, глянул на окрасившийся багрецом кончик.

В третий раз *я-оно*подняло упущенный платок. Господин Фессар глянул, узнал свою собственность и поднял глаза. Лицо его искривилось.

— Вон оно что! — рывкнул он. — Вот что вам нужно!

Панна Елена собралось было присесть возле турка, но сдержалась. Вместо этого она встала перед окном, ветер играл ее блузкой, рвал кружева.

— И что же нам нужно?

— Уважаемый господин Фессар, — медленно произнесло *я-оно*, следя за тем, прекратилось ли кровотечение из носа, — слишком сильно разнервничался, когда я выдвинул предположение, будто бы это он несет ответственность за, ммм, таинственное исчезновение из поезда Мефодия Карповича Пелки.

— Пелки! — фыркнул турок. — Черт подери, какого еще Пелки!

— Уважаемый господин Фессар, — сказала *я-оно*, бросив купцу его окровавленный платок, — по неизвестным мне причинам надумал, будто я обладаю или вхожу в общество, обладающее секретом, ммм, разведения зимназа за пределами Страны Лютов.

— Неизвестным причинам! — воскликнул турок и схватился за голову, поскольку боль, явно, была нешуточная; далее он продолжил уже шепотом: — Вы очень четко давали это понять. За картами. Потом. А эти люди в Екатеринбурге. А князь. Дурака из меня делаете.

— Уважаемый господин Фессар, — сказала *я-оно*, сунув руку под пиджак и жилетку, — любой ценой желал заполучить эту технологию. По крайней мере, сделаться участником совместного предприятия. Он пытался подкупить меня, добыть из меня всяческие подробности. Что ему, естественно, не удавалось, поскольку никаких подробностей и не существует; он все это сам придумал.

— А Отец Мороз? — Турок машинально поднял второй платок и какое-то время, в странной задумчивости, присматривался к обоим, один в правой руке, другой — в левой, оба бело-красные. Он стиснул челюсти. — И мадемуазель верит этому сукину сыну. Вы же видите, мадемуазель, как он врет — в глаза же врет!

— Уважаемый господин Фессар, — произнесло *я-оно*, сунув правую руку под расстегнутый жилет, — попытался тогда добраться до моего компаньона, то есть, человека,

которого он считал своим компаньоном или сообщником. В Екатеринбурге он должен был видеть Пелку. Не знаю, что там происходило; сам я убежал. Возможно, у него была возможность обменяться с ним парой слов. После того, сразу же после отхода Экспресса, он сразу же направился к Пелке, в купейный вагон. Вызвал его из купе. Где там ночью можно переговорить наедине? Они вышли на площадку за купейными вагонами. Господин Фессар желал вытянуть из Пелки то же самое, что и от меня — но, мало того, что Пелка, ясное дело, ни о чем не имел ни малейшего понятия, но неожиданностью стало то, как Пелка отреагировал на такое предложение — он, мартыновец. А вы не знали? Не знали. Вы подрались? Какая-то стычка? Поезд дернул? Вы же прекрасно знаете, как все может неудачно сложиться.

— Аллах велик!

— И что — и выпал, или вы его выбросили, сам поскользнулся, или раньше что случилось, но выпал, тела нет. Какое чудесное место для убийства: поезд, идущий через два континента — кто найдет труп? кто воспроизведет условия преступления? место, время? кто потом найдет свидетелей? На это нет ни малейшего шанса. К тому же вы выдали обслуге такой бакшиш — только на Страшном Суде они признаются, что видели вас; вы же в состоянии дать такие деньги.

— *Abbas yolcuym!* [\[107\]](#)

— Что, не могло такого быть? Могло.

— Но ведь не было!

— Давайте серьезно, господин Фессар! Как вы можете доказать, что произошло — в отличие от того, что случиться могло? Когда мы говорим о прошлом, всегда говорим о том, что могло случиться, только лишь и исключительно об этом. Все предложения в прошедшем времени являются предположительными.

— Не знаю, что с вами происходит, молодой человек, но я бы посоветовал альпийский санаторий. Простите, мадемуазель.

Еще один длительный взгляд — презрительный? гневный? С примесью отвращения? — и, с трудом поднявшись, Юнал Фессар направился к двери. *Я-оносошло* у него с дороги, неудобно вывернувшись, чтобы ни на мгновение не иметь его за спиной. Пошатываясь, держа одну руку у виска, турок вышел в коридор. Здесь он на мгновение остановился. Дезориентированный, он глядел то в одну, то в другую сторону — куда идти? куда он направлялся до того, как потерял сознание? где его купе? — туда. И он потопал дальше.

Панна Елена ожидала, сложив руки на груди, постукивая каблучком по полу.

— А ведь следствие мы должны были проводить совместно.

— Прошу прощения. Кое-что я неожиданно увидел в новом свете.

— В новом свете.

— Свете, тьвете, открылась... возможность.

— Вы случаем, не страдаете желудком? У тети есть мятные капли — она может вас спасти.

— Что? Нет. — *Я-оновырвало* руку из-под жилета, застегнуло пуговицы. — Убираемся отсюда, нечего испытывать судьбу.

Закрыло окно. Девушка собрала окровавленные и смятые листки бумаги, положила книги возле пишущей машинки. Стоя у порога, она еще раз осмотрелась по купе, подняв руку к волосам, за шпилькой.

Застыла на месте.

— Мамочки! Пан Бенедикт, вы хорошо видите?

— Ммм, можно сказать, у меня орлиные глаза.

— Видно, я ее где-то потеряла.

— Да успокойтесь, на этом ковре ее в жизни не найти.

Елена прикусила губу, вынула шпильку, что придерживала волосы слева. Выйдя в коридор, быстро осмотрелась. Пусто. Подобрала юбку, присела и — вжик, щелк — освободила защелку замка. Я-онопомогло ей подняться. Девушка смахнула пыль с темной материи. В проходе появился проводник. Я-онопропустило даму вперед. Сунув шпильку в волосы, она оглянулась. — Пан Бенедикт? — Да не беспокойтесь, панна, все в порядке, никаких следов. — Краешек юбки мог запачкаться... — Нет. — Проводник отступил, я-онооткрыло дверь. Девушка оглядела себя в узком зеркале в тамбуре следующего вагона. Тщательно завернула черный локон за ухо. Послюнив кончик пальца, провела им по брови. — Пан Бенедикт?

— Да?

— Так все-таки, это он убил Пелку или нет?

Вздыхнув, я-оновынуло интерферрограф, стащило красную замшу. Затем повернулось к окну и глянуло в окуляр цилиндрика на красное солнце: та же самая цепочка одинаковых световых бусинок.

— Убил, не убил, *еще все равно*.

О правде и о том, что более правдиво, чем правда

— Коньячку?

— Может, вначале пойдем чего-нибудь перекусить?

— А может, все-таки, нет. Коньячку?

— А с Зейцовым вы за воротник не закладывали?

— Я трезв, как пять лапласианцев. Коньячку?

— Согласна.

Я-ононалило в рюмки, разводя, как это стало модным в кафе: половина наполовину *fin a l'eau* ^[108] с обычной водой; после чего отставило бутылку в небольшой бар. Примостившись на самом краешке кровати, панна Елена едва поднесла рюмку к губам. Она была очень скована: локти прижаты к телу, сама слегка склонилась вперед — но голову держала прямо. Попробовала коньяк и сморщила носик.

Снятый пиджак я-оноповесило на спинку стула. Карман оттопыривался от окровавленных бумажек. Рвануло львиный хвост оконной ручки и бросило бумажки на ветер. Те разлетелись на фоне заходящего Солнца будто стадо перепуганных птиц. Я-онозакрыло окно, ритмичный стук поезда сразу же спал с ушей. Панна Мукляновичувна свободной рукой прижимала к накидке другие листки: те самые, что были покрыты шифром пилсудчиков. Я-онокак можно скорее собрало их, последний листок чуть ли не вырывая у Елены из рук.

— И все же... — пробормотала она, — все же... вы как-то изменились.

Я-оноспрятало записки в ящик стола.

— Запых?

— Что?!

Я-оноподошло к зеркалу. На щеках, по которым прошелся Привеженцев, синяков не высмотрело, самое большее — под глазом кожа чуточку стерта. А вот нос и вправду опух, точно так же, как и верхняя губа, разбитая в двух местах; правда, ее немного прикрывали усы. Завтра будет хуже.

— Я присматривалась к вам с Зейцовым. Сначала мне показалось, что это гонор...

— Гонор? — изумилось я-оно, пялясь в зеркало.

— А вам никто не говорил, что иногда вы ведете себя заносчиво?

— Но я не заносчивый!

— Не знаю, — пожала она плечами. — Я говорю вам то, что видят люди.

Я-оноприкоснулось к губе. Больно.

— Понимаю, что вот такой Привеженский может чувствовать себя оскорбленным, и видеть у каждого урожденного поляка, будто тот задирает нос...

— Странно... — Елена переместилась к середине кровати, чтобы иметь возможность заглянуть в зеркало. — Ваше отражение...

Я-онообернулось.

— Может, вы все-таки сядете на стул, неприлично девушке, на кровати мужчины...

— Вы дверь закрыли?

— Тем более.

— *Bien* [\[109\]](#). Никто ничего не видит, никто ничего не слышит.

— Если только ваша уважаемая тетушка не сидит там, прижав ухо к стенке.

— Тетя не сидит. Впрочем, во время езды ничего не слышно.

Я-онокриво усмехнулось (теперь, пока опухоль не сойдет, всегда буду усмехаться криво и с издевкой).

— А вы пробовали?

Как и следовало ожидать, Елена покраснела и опустила глаза. Снова, с величайшей осторожностью, она поднесла рюмку ко рту. Розовый язычок появился и исчез между губами. Она не пила — пробовала спиртное, словно яд: попробовать капельку на вкус, еще одну — не убьет ли.

— А в какой-то момент... мне показалось, что я спасаю вам жизнь, пан Бенедикт. Там, в салоне.

— Что?

— Вы что же, забыли уже, что на вас охотятся?

— Фогель наверняка бы это назвал именно так.

— Ммм?

— Что бы я в это поверил. Но в салоне? покушение на жизнь?

— Когда началась вся эта кутерьма. Я сидела практически напротив, видела его, как он таится там, у дверей в вечерний вагон, где-то с четверть часа, а то и дольше, курил папиросу, потом ушел, вернулся, а затем сразу же метнулся к вам сзади, из-за спины.

— Дусин.

Ну да, я говорю про господина советника. — Язычок, коньяк, губки. — Я сразу так и подумала: нож под ребро. Только не стройте таких мин! Признаюсь, я читаю приключенческие романы, а что, нельзя? Походило на это — поэтому я побежала, он меня видел, и я подумала...

— Это все романы, — усмехнулось *я-оно*.

Панна Елена сделала оскорбленное лицо.

— Вот с вами всегда так.

Я-оно уселось на стул. Девушка опустила рюмку, глянула с обостренным вниманием.

— Романы, — повторило *я-оно*, уже без усмешки. — Не верю, панна Елена.

Она только глядела.

— И это от чтения романов вы сделали таким опытным взломщиком? Кто вы вообще такая?

В замешательстве, она опустила глаза.

— Таких вопросов не задают.

— А чем еще мы занимаем часы и дни в поездке? Поездка — такое уж время — обмениваемся анекдотами, рассказываем друг другу истории своей жизни — что еще остается?

— Я об этом не прошу, — тихо сказала Елена. — А вот сколько их, Бенедиктов Герославских? Только что я услышала новую версию, о каких-то планах разведения зимназа — разве зимназо разводят? — быть может, господин Фессар говорил правду, а вы лгали, не знаю. Ну, и кто же вы на самом деле? Граф? Математик? Обманщик? Авантюрист какой-нибудь? Агент Зимы? Сын лютовчика? Промышленник зимназа? Или, может, мартыновец-ренегат? Только не говорите, пожалуйста, что вы всеми ими и являетесь вместе! Или же, только на одну десятую! — Она нервно повертела рюмкой. — Таких вопросов не задают, — повторила она шепотом.

Я-оно взяло девушку за левую руку; та собралась было отвести ее, уже напрягла мышцы — но сознательным усилием удержалась. Глянула в замешательстве. Холодные пальцы, на маленьких косточках только кожа, голубенькие жилки под этой кожей, а если нажать — то под ней перемещаются все те невидимые составные элементы организма, между костями и жилами, и все их четко чувствуешь, каждый по отдельности, и всю их машинную композицию, сразу же чувствуешь, чем является человек — состоящей из комочков материей.

И замечается некая непристойность в самом существовании тела — даже не столько в его обнажении, сколько в проявлении того, что телом обладаешь, в признании собственной телесности. Если бы это не было так больно, если бы от этого нельзя было умереть, если бы это вообще было возможно — открывались бы мы тогда перед самыми близкими еще и так: рассекая кожу, приглашающе раскрывая ребра, расстегивая мышцы, расшнуровывая артерии, выставляя на дневной свет и взгляд любимого человека стыдливые морщины и округлости печени с кишками, неровности позвонков, вульгарные кривули таза, чтобы под конец, очень робко, открыть бьющееся, обнаженное сердце? Вот это было бы наивысшей и наитруднейшей формой откровенности и открытости тела.

— И даже если я вам расскажу, — шепнула панна Елена, сживая пальцы в кулачок, — что угодно вам расскажу...

— Но ведь мне вы тоже не верите.

— Что бы вы мне тут не рассказали...

— Откровенность за откровенность.

— Но ведь вы же сами говорили: поездка — это волшебное время; насколько нас знают, теми мы и являемся.

— Я так говорил?

— Ведь никто не проверит, что из этого правда, а что — нет.

— Не проверит. Но если и не правда, если ложь — тем больше откровенности.

— Да что вы такое говорите!

— Панна Елена. Наша ложь гораздо больше говорит о нас, чем самая правдивая правда. Когда говоришь о себе правду — правда, это то, что с тобой действительно случилось: это твой отрезок мировой истории. И ведь не имеешь, не имела над ним никакого контроля, не ты выбрала место своего рождения, не ты выбрала себе родителей, не могла повлиять на то, как тебя воспитают, не выбирала своей жизни; ситуаций, в которых ты бывала — не были творениями твоего воображения; люди, с которыми пришлось иметь дело, не были тобою придуманы, и ты не давала разрешения на мгновения счастья или несчастья, которые стали твоим уделом. Большая часть из того, что с нами происходит, это дело случая. А вот ложь полностью рождается от тебя, над ложью ты обладаешь полнейшим контролем, она родилась из тебя, тобою кормится и рассказывает только о тебе. Так в чем ты открываешься сильнее: в

правде или во лжи? Панна Елена...

Та подняла взгляд.

— Так я должна лгать?...

Я-оноотпустило ее руку. Девушка выпрямилась, сомкнула на рюмке обе ладони, сплетая пальцы корзинкой. Она не удалилась — но как будто бы глядела с другого конца длинного коридора. При этом она щурила глаза в алом сиянии, остающееся позади за мчащимся Транссибирским Экспрессом Солнце заливало ее сторону купе от ковра до барельефов под потолком, на которых пухлые личики нимф выглядывали из-за золотых зарослей; и в жарком закатном свете все это блистало, мерцало и горело темно-пурпурными огнями — над гордо поднятой головой панны Мукляновичувны.

— Тогда рассказывайте правду.

Тук-тук-тук-ТУК; тук-тук-тук-ТУК; тук-тук-тук-ТУК.

То ли это солнечный рефлекс, то ли в глазу Елены искрится тот самый чертик детской строптивости?

— Когда мне было лет двенадцать или тринадцать, — начала она, — тетя Уршуля повела меня на Ордынацкую [\[110\]](#), в цирк. До этого я не часто выбиралась в город. И в цирке никогда не была. Помню, с каким воодушевлением, готовилась я к этому выходу, а ведь это был выход; целую неделю ничто иное не занимало мои мысли и сны. А платьице такое, а башмачки вот эти, а пальто такое, а шляпка этакая — и что мы там увидим, каких зверей, каких клоунов, какие чудеса; племянница дворника принесла мне плакат, на котором худенькая акробатка в клетчатом трико парит в воздухе, пролетая через огненные обручи, а снизу, из под огня, хотят ее достать львы, их раскрытые пасти, огромные зубища и клыки.

...На Окульник [\[111\]](#) мы отправились в закрытых дрожках, помню понурую осеннюю слякоть, это было еще перед лютами. Сначала мы зашли в кондитерскую, мне разрешили съесть пирожное; и я помню его лимонный вкус, щиплющую язык сладкую кислоту; вкусы и запахи хорошо запоминаются, мне кажется, будто бы они остаются в теле уже навсегда — на языке, в голове — какие-то частички-носители впечатлений; а вот звуки, образы, прикосновения — они уже не обладают какими-либо материальными отпечатками, которые можно было бы высадить в человеке; так ли это на самом деле, как вы считаете, пан Бенедикт?

...Потом в вестибюле тетя встретила знакомых, драгунского полковника с дамой; у полковника имелось постоянное место в ложе партера ротонды, недалеко от арены; он пригласил нас, меня угощал конфетами, хотел купить сахарную куколку; от полковника я запомнила громадные усищи, вот такенные фитили в помаде. Мы сидели в бархате. Другие дамы, их платья, перья, шляпы, прически, шелест вееров, запах духов — ах, пан Бенедикт, запах этих духов до сих пор во мне. Тогда мне казалось, что я дух потеряю, от чрезмерного возбуждения может так дыхание спереть, словно кто-то вложил тебе руку в грудь и давит расставленной плоско ладонью на кость, вот тут, тут...

— На грудины.

— Да.

— Одно дыхание начинается, прежде чем закончится предыдущее, воздух выпирает воздух, легкие западают, вы себя никогда так не чувствовали? Бедная тетя, наверное, так перепугалась. Под куполом зажгли громадную газовую люстру. И я увидела тот длинный фриз над галереей — фантастические охотничьи сцены. Колье, серьги и перстни дам сияли словно звезды. Неужто вы будете удивляться маленькой девочке? Все это было слишком уж красиво, слишком похоже на сказку. Сказки не лгут. Пан Бенедикт, вот тут вы можете быть правы, сказки не лгут, особенно тогда, когда не говорят правды.

...Уже гораздо позднее я узнала, что в ложах партера — кто там, как правило, сидит? В основном, дамы свободных обычаев и офицерские содержанки.

...До первого антракта я увидела огнеглотателей, дрессированных тюленей, силача, что ломал подковы, и фокусника, который вынимал из цилиндра кроликов, голубей и змей; одна змея сбежала, клоунам это только в радость, они вытаскивали ее у себя из-за воротников, из ушей, из штанов. После антракта была объявлена труппа акробатов из Гданьска, я сразу же подумала про эту девочку с плаката; и правда, выходит с ними девушка в похожем трико, зазывала представляет: Невероятная Фелитка Каучук! Понятное дело, это такое эффектное *nom de scene* ^[112] — но тут же аплодисменты, когда она гнется, будто бы из резины сделана, словно у нее костей совсем нет, головой назад — до самых пяток, а ноги вокруг шеи заворачивает, а гимнасты при том ее будто мячик перебрасывают и забрасывают на высокие мостки, где она выделяет смертельные номера под барабанную дробь; а у меня сердце к горлу подступает, и я сжимаю тетю за руку, а потом — и вправду — девица прыгает через огненные обручи, и с трамплина крутит сальто через огонь; вот только львов не было. Под конец вся труппа бьет поклоны, окружая арену, и с нашей стороны тоже, и я высовываюсь из ложи. И тут тетя говорит: А я ее знаю! Это дочка Бочвалкевичей с Вороньей улицы! Лошадь угольщика как-то на нее наехала, и у нее ножки отнялись, несчастное дитя, калека божья на всю жизнь. Но теперь же видим, что нет, теперь — Невероятная Фелитка Каучук! Дали звонок на второй антракт, господин полковник предлагает помощь в решении тайны (его дама шепчет ему что-то на ухо). Послал мальчонку за кулисы, записочка с банкнотой. Ну что подумала Фелитка? Всегда ли она принимала такие приглашения от офицеров? И она появляется, еще не переодевшись, всего лишь в наброшенной на плечи пелерине. Сразу же узнает тетю: поцелуи, объятия, смех. Она присела с нами на время антракта. Так что же с ней эти годы происходило? Она была не моложе меня, когда на улице попала под копыта клячи угольщика; у нее отнялись ноги, ходила на костылях, если вообще ходила, потому что рассказывала, что родители предпочитали держать ее дома — только и видела, что дворик из окна, и улицу со двора, когда летом отец выносил ее на свежий воздух. И вскоре после того, на их улице давал представление канатоходец — растянул веревку между крышами, ходил по ней туда-сюда, три этажа над мостовой, а потом на веревку вступила и дочка канатоходца, про маршировала в воздухе над засмотревшейся Фелиткой. И вот говорит мадемуазель Каучук: гляжу и знаю, что если буду ходить, то стану ходить по воздуху. Сразу же, там, на мостовой, под растянутым канатом, она выдумала себе будущее и все на него поставила. Вскоре после того вернулась чувствительность в стопе — вы понимаете, она все это рассказывала со смехом, будто шутку, но то была не шутка — чувствительность пальцев на ноге, в самих ногах вернулась, и так она стала Женщиной-Резиной.

...Пан Бенедикт, вы слышите, что я говорю? Тут дело не в том, что я увидела в цирке на Окульнике, но как фантазии превращаются в жизнь, а жизнь — в фантазии. Но то, что какая-то там Фелитка, то, что какая-то там девчонка Бочвалкевич с Вороньей — выписала себя как сказку, сама себя выдумала, солгала и превратила в правду, и теперь стояла перед нами, живая ложь, рассказанная самой себе сказка, дитя собственных снов. Выходит, ты не тот, кем ты есть — ты тот, кем себя выдумаешь! Понимаете, пан Бенедикт? Чем более экзотичен цирк, чем более живописны одеяния и большее восхищение в глазах ребенка — тем ближе граница между невозможностью и мечтой, до нее можно достать рукой, к ней можно прикоснуться. Я оторвала цехин с ее трико, забрала, украла и до сих пор храню в своей тайной сокровищнице.

...И признаюсь вам: всегда я читала приключенческие книжки, в которых герои переживают фантастические приключения, путешествуют по диким странам, сражаются с лишенными чести чудовищами в людском обличье, только благодаря собственной

храбрости и хитрости выходят они живыми из самых опасных ситуаций. И вот как раз такую себя я сама себе рассказала, такой заклад приняла, такую ложь превращаю в правду.

...Вы можете подумать, будто цвет моих волос таков с рождения? Но ведь героини драматических романов, не те перепуганные предметы восхищения авантюристов — но *femmes d'esprit* [\[113\]](#), бесстрашные героини, и женщины-шпионки, и разбойницы, и *femmes fatales* [\[114\]](#), они всегда с волосами и бровями цвета воронова крыла. Так что, хна, волшебная хна [\[115\]](#)! Вы иронически усмехаетесь — что все это женское кокетство, что все это только ради красоты, из желания понравиться мужчине? А вот и нет! Как вы сами о себе думаете? Какой образ Бенедикта Герославского носите в голове? Кем вы являетесь для самого себя? То-то и оно! Ведь только так можно начать переписывать себя, лгать себе, то есть — превращать ложь в правду: один день, другой, третий, десятый, месяц, и еще, и еще, но регулярно, последовательно, непрерывно, с каждым взглядом в зеркале, в каждой уличной витрине, в каждом случайном отражении, ухваченном краем глаза — пока в один прекрасный день в голове твоей не родится иная мысль, ибо то будет первый образ и первая ассоциация, и самая глубинная правда о тебе, когда глянешь и увидишь цыганской красоты брюнетку, и увидишь себя — и это будешь ты — женщина-шпионка, таинственная соблазнительница, акробатка жизни. Которая открывает шпилькой любой замок, и которая распутывает любое таинственное преступление.

Тук-тук-тук-ТУК; тук-тук-тук-ТУК; тук-тук-тук-ТУК.

Солнце бьет с самого края кругозора прямо в зрачки панны Елены, девушка затянула занавеску со своей стороны, но это не помогло; она поднимает ладонь ко лбу, защищаясь от потопа алого света. Так что невозможно сказать — есть ли ироничная усмешка в глазах панны Мукляновичуны? А вот эти розовые тени на ее щеках живые, или это теплые поцелуи Солнца? И все, что она рассказала — правда это или ложь? Только она не подает никакого знака.

Второй рукой она осторожно подняла рюмку. Кроваво блеснул рубин на черной бархотке, засияло скромное колечко. Язычок, коньяк, губы.

— Что касается романов, которые читаешь в молодости, — кашлянуло *я-оно*. — Панна Елена оценит эту правду. Что касается романтических историй... Истории первых влюбленностей, первой любви, так. — *Я-оно* снова откашлялось. — Ее звали Анной, Анной Магдаленой, я так с ней познакомился, как будто бы и не знакомился, все из-за того, что засиделся, трудно предположить, что это было обаяние с первого взгляда, поскольку этой первой встречи ни с чем не ассоциируешь; она размылась где-то в десятке иных, так в кого же тогда, во что мы влюбляемся, ведь не в конкретный же образ конкретного человека, но в какое-то радужное впечатление, в букет смешанных впечатлений; это так же, словно запах букета из десятка различных цветов не является сам по себе суммой запахов каких-либо конкретных цветков — так в кого же мы тогда влюбляемся? А она сама мелькала на самом краю восприятия, один раз видимая, другой раз невидимая, еще раз только слышимая из-за стенки, когда играла на пианино — ах, уже рассказываю, я был репетитором ее брата.

...Брат был невообразимо туп, честное слово, рубли зарабатывались тяжким трудом, после каждого урока я чувствовал, что сам все меньше и меньше понимаю собственные объяснения; он тупо пялился на простейшие арифметические действия, и телячье блаженство не тронутого какой-либо мыслью разума разливалось по его круглому лицу; пытаюсь же прочувствовать его умственные запоры, я и сам впадал в некую странную импотенцию интеллекта, трясину глупости; у меня даже бывали такие проблески — то есть, противоположность проблесков, затмения, когда мне и вправду удавалось глянуть на мир его глазами, и тогда теряли всяческий смысл уравнения и графики, начерченные только что моей

собственной рукой; я не представляю себе более ужасного чувства; бывали моменты, когда расстройство меня захватывало всего, и тогда я мог на него кричать, бросать в него линейки и тетради, бить кулаком по столу, а он только глядел своими коровьими глазами, и я уже начинал рвать на голове волосы — и вот тогда Анна Магдалена заходила в комнату и спрашивала, есть ли какие успехи у Ендруся. «Ну да, конечно же, паненка, он очень старается». Матерь Божья Ченстоховская, упаси меня от тупых учеников!

...И так вот прошло несколько месяцев, даже и не вспомню, сколько раз я обменивался с панной Анной вежливыми словами и замечаниями о ее младшем брате; как вдруг в один прекрасный день, когда я вычерчиваю ему углы, чтобы объяснить тангенсы, а сам думаю: пора уже начать кричать, чтобы Анна Магдалена нас посетить изволила. Говоря по правде, я давно бы отказался от этой каторги, если бы не надежда увидеть ее лицо, надежда на словечко, легкое прикосновение, взгляд. Вы только подумайте: сейчас-то я об этом рассказываю, но тогда еще не называл чувств по имени; живых чувств мы никогда не называем, либо называем ошибочно, только их смерть дает легкость — легкость в классификации мертвых предметов, если не сказать: в описании внутренностей трупа. Но тогда — только лишь пугливая мысль. День, неделя, месяц. Мы разговариваем, а братец-дебил не понимает ни словечка, высунув язык, черкает в тетрадке очередную осточертевшую алгебру. Так что смелость меж нами все большая; а со временем — нечто вроде того, чтобы сделать игру более возбуждающей, нечто вроде словесной эквилибристики: сказать о чем-нибудь так, чтобы никто, кроме Анны, ничего не понял, и никто, кроме меня, когда говорит она; ибо, хотя братец, чугунный лоб, особой опасности тут не представлял, но ведь родители их, и дедушка, глухими никак не были; а еще домработница, и, наконец, дотошная родственница, поселившаяся с того времени, когда люты сели на ее дом — все они прекрасно сознавали все более и более затягивающиеся наши беседы. Как вдруг — это уже месяц прошел: я уже уходить собираюсь, но тут на пороге задерживает меня уважаемый родитель Анны Магдалены и Анджея, и на чай к себе приглашает. Где разговор, естественно, уже серьезный. А приличный ли молодой человек, а из какой семьи, а какими средствами располагает, а где живет, а какие перспективы на будущее, а что подсказывает сердце — что подсказывает сердце! — Боже мой, только тогда до меня дошло, что давно уже было очевидным, кроме меня самого, и вот тут я сыграл труса. Влюбился ли я на самом деле? Думал ли о женитьбе? Вот сами мне скажите — что это за запах — не один цветок какой-нибудь, но спутавшийся букет — женщина, тысяча женских отражений, калейдоскоп чувств.

...А тут уже аффект явный, и обмен письмецами на французском, и мелкие сувенирчики, и длительные *tete a tete* закрытыми дверями, и братец-дурак в лицо смеющийся: Жених и невеста! А что за дверями, то не стану вас смущать, поскольку не это в данной истории важно, а что важно — слушайте. У Анны Магдалены был небольшой гданьский секретер, на ключик запираемый, сам ключик в медальоне на шее носился, в секретере же — ее секреты, то есть: все письма, дневник, какие-то девичьи сокровища и все то, что желала она сохранить в тайне от мира; я это знаю, поскольку не раз заставлял ее пиущей, и листки эти она быстро прятала, либо, желая мне что-нибудь в тайне передать, оттуда, открыв ключиком, вынимала. И вот такой день — а точнее, вечер, газовые лампы ярко горят — захожу я к панне Анне, а она кричит мне с черной лестницы, что секундочку, сейчас она освободится, тогда я снимаю пальто, домработница проводит меня, я остаюсь один в комнате, за окном темно, глаза тянутся к свету — минута, я один, две минуты, снова сам, я хожу, рассматриваю безделушки, и взгляд мой падает на секретер — который остался не закрытым. И оттуда выступает уголок сложенного листа, пенал тоже не закрыт, на бумаге свеженькая чернильная клякса. И что происходит? Ноги сами меня ведут к секретеру, рука протягивается, пальцы хватают листок,

вытаскивают, разворачивают, глаза читают. Я сразу же узнаю почерк Анны Магдалены и ее слова. «Любимый мой» — она всегда так начинала. Ага, так это мне письмецо! Писала, не закончила. Я про себя усмехнулся. Не признаюсь, сделаю вид, будто бы и не читал. Тем временем, оно само читается дальше. «Любимый мой, вот уже второй день проходит, а мое тело уже тоскует по твоему телу», — я помню, так, но вы уж простите, вы понимаете, какое это было письмо. Сами знаете: *lettres d'amour* ^[116] — это не письма, то есть, они не служат для передачи информации от отправителя к адресату; служат же они исключительно с целью вызвать в отсутствие объекта влюбленности тех самых чувств, которые вызывает его присутствие. Когда мы пишем: получается то же возбуждение, и уже румянец покрывает щеки пишущего, и сердце уже бьется быстрее, когда же потом вспоминаем, что написали, и когда представляем себе любимую, которая это читает — и когда сами читаем: идентичная эйфория и чувство близости, и мысль о том, кто это писал, когда писал. Так что со мной все было точно то же; пара мгновений, и вот уже кровь пульсирует в висках, теплое блаженство охватывает тело, какое-то отбирающее всяческую энергию умиление, и даже не по отношению к Анне Магдалене, но в отношении самого себя. Любовные письма — это словно маленькие зеркала Нарцисса. *Verte* ^[117], вторая сторона. И как будто свинцовой трубой по башке получил. Еще пара предложений, и что же Анна пишет — а пишет о его светлых волосах, о совместных прогулках на лошадях, вспоминает грешные наслаждения, которые никогда не были нашим уделом... Следовало бы догадаться раньше, но меня превратили в глупца те чары самовлюбленности, что вытекали из любовного письма, я верил в то, во что желал верить. Читаю остальное. Кто, кто это такой, как его зовут? Письмо не закончено, так что подробностей нет. Быть может, имеется конверт с адресом? Нет. Что делать? Слышу шаги Анны Магдалены, я же стою с ее письмом в руке, словно убийца, захваченный с окровавленным ножом. Что делать, атаковать ее обвинением, спрятать доказательство и сбежать — что делать? Мгновение раздумий — письмо кладется на место, сам я отступаю к окну. Вбегает Анна Магдалена, обрадованная — ах, как хорошо, что ты пришел! — а я улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь; я познал сладкий вкус измены.

— Сладкий?

— Ну да, сладкий, сладковато-тошнотворный; теплая гниль и нагретая солнцем падаль тоже издают подобный запах; мы и не хотим, но втягиваем воздух, смакуем, вот сейчас стошнит, но еще немножечко, еще разик — удержаться невозможно. По-своему отвратительно, но приятно. В чем находит утешение человек, которому изменили? В том, что ему изменили. Такое состояние очень быстро оказывается формой благородства духа, определенного рода возвышением; вы меня понимаете, панна Елена? Нет, наверняка — нет. Это тоже из тех вещей, которые невозможно рассказать другому человеку. Можно ли себе *представить*, как бы ты себя чувствовал, если бы тебе изменили — и кто? Но можно ли указать человека с улицы и *представить себе*, что бы ты чувствовал, если бы его любил?

— Мне кажется...

— Панна Елена, попрошу вас еще немного послушать. Так вот, я никак не дал по себе узнать. Прощаюсь, выхожу. Вроде бы что-то говорю, вроде бы что-то делаю, но в голове только одна мысль: кто же это такой, кто, с кем, кого она, кто я, кто? Напиться — не мой метод, впрочем, на спиртное у меня слишком слабый желудок. Так что же? Сажусь за столом, записываю на листке: блондин или светлый шатен; ездит на лошади; носит усы, встречались тогда-то и тогда-то, там-то и там-то; знакомы с тех-то пор — и так далее, что только запомнил из письма. Да, вы правильно догадываетесь: я начал следить за Анной Магдаленой. Кто их посещал дома, и к кому она выезжала, и кого встречала на улице, в лавке, даже с кем виделась в костеле. Подозреваемыми были все соответствующие описанию мужчины. Но

если бы только они! Со временем подозрение начало разрастаться, словно мороз по воде, захватывая в себя новые области. Ибо — вы только правильно поймите эту логику, панна Елена — раз она может изменять с одним, то почему бы и не с другим? С другим, третьим, четвертым — каким угодно по номеру. Теперь уже подозреваемыми были все! Если Анна Магдалена обменивалась в подъезде с соседом формальными любезностями, то, наверняка, лишь потому, чтобы не выдать себя перед каким-то другим любителем ее прелестей; если она не отвечала на поклон незнакомца на Аллеях, то вовсе не потому, что он был ей не знаком, а потому что она помнила о сохранении внешних приличий; если кто-либо из ее окружения проявлял ко мне сердечное участие, то не из сердечности, но исключительно из желания досадить и из договоренности с неверной. Прошу вас, панна Елена, послушать далее. Неделя, и еще неделя, почти что месяц чудесной измены. Ее отец! Если ее отец благословение дал, то почему? — спрашивает сам себя человек, переживший измену. И как такое возможно, чтобы такому бездельнику без гроша за душой и с не самым чистым именем свою единственную дочку без долгой торговли уступил — по голосу сердца? — ха! Здесь подванивает заговором и блядским театром, *pardon pour le mot* [\[118\]](#). Видно, папочка хорошо знал натуру своей красавицы *Аннушки*. Так что сами видите — некому верить. Договорились, гады, заловили бедного учителяшку в силки. Разве не говорил я, что есть в чем найти утешение и сатисфакцию?

...И один Господь знает, как долго все это продолжалось бы, и насколько глубоко погрузился бы я в черных удовольствиях измены, если бы не проклятый Ендрусь, Ендрусь-спаситель, который пялится куда угодно, только не туда, куда следует, и все его интересует, только не то, что нужно, и это как раз он высмотрел меня, прячущегося в тени и среди прохожих, и, наверняка, указал на это и сестре. Поначалу Анна Магдалена тоже ничего не говорила, пыталась играть передо мной с чистым лицом — только я уже кое-что предчувствовал; впоследствии оказалось, что она и сама меня заметила, один раз — под каким-то окном; в другой раз — в арке, когда я не успел уйти с виду, когда она была с визитом у родственников на Повисле. Понятно, что бесконечно продолжаться так не могло. Только не представьте себе, панна Елена, будто бы я бегал только за Анной и отмечал баллы собственной ревности. Все это расширялось, словно взрыв. Вот если бы я захватил ее *in flagranti* [\[119\]](#), если бы собственными глазами увидел!.. Но, поскольку рассчитывать я мог только на все более чудовищные домыслы, следовало обратиться к более радикальным средствам. Я нанял карманника, чтобы тот обшаривал карманы мужчин, с которыми Анна виделась — любая записочка, платочек надушенный, любой след, даже самый мелкий. Еще был посыльный, услугами которого они часто пользовались, пацан, лет десяти, не более, который таскал покупки для всего дома. Как-то снежным вечером я встретил его одного, обернув себе голову шарфом, чтобы мальчишка не узнал меня, и давай его выпытывать, когда, к кому, с чем, а какие-такие письма, а что панна говорила, а какие сплетни слышал. Он на это — ничего. Тогда я с криком. Он — ничего, удирает. Ну я ему наподдал, об стенку стукнул, кулаком угрожаю, и так избил мальчонку, что тот упал без сознания. И что еще...

...Нет, так не могло длиться до бесконечности. Прихожу как-то, она на диване, пальцы платочек теребят, поднимает глаза — плакала — но губы уже стиснуты. Вижу, что-то ломается в ней, что-то нарастает в молчании, и как раз потому Анна ничего и не говорит, чтобы сразу же не вырваться из под масок и поз, поскольку больше уже не может выдержать она притворной игры, была какая-то последняя капля, мне неизвестная; может быть, Ендрусь-кретин, может, сама догадалась, что я догадался. Но — эти ее глаза, от слез покрасневшие! Эти ее ручки в отчаянии вознесенью! Сейчас — это она жертва, это ее обидели — ооо, не дожدهшься! А дальше: признайся, признайся же, панна, — начинаю я, мой

крик, моя боль! — кто он такой, когда меня в твоём сердце заменил, и пребывал ли я в нём хоть когда-нибудь, нет у тебя сердца, сучка жадная! Получилось так, будто я оплевал её, у неё чуть приступ не случился. Прибежал брат, а я двери изнутри закрыл, он стучится. Анна Магдалена белая, словно снег. «Чего ты от меня хочешь? Что я тебе плохого сделала? Боже, что за безумие!» И снова слезы. Тут меня уже Фурия ^[120]своей огненной рукой коснулась, не помню, чего я там наорал; у меня дыхание сперло, весь дрожу, словно малярийный, чуть не упал. Анна у моих ног, обнимает за колени. «Неправда», — стонет, «все это неправда, злые люди оболгали, не верь им». На это у меня никаких уже сил — злые люди! оболгали! Я совсем уже охрип, посему уже только шепотом, очень тихо: «Я сам держал в руках то письмо, твоей рукой написанное». «Какое письмо?» Показываю ей на секретер. Она только смотрит и качает головой. Шепчу ей целые предложения, что записались в памяти, её жаркие признания, непристойности, о которых напоминала любовнику. И вижу — поняла: вздрогнула, опустила глаза; тогда я снова, холодным, словно лезвие ланцета шепотом: знаю я твои грешки, распутница. Анна уже не глядит мне в лицо, багряный румянец уже на шею перешел, и остался только шепот — шепчет тихо-тихо, приходится наклониться. «Нет у меня, нету никакого любовника, никого, кроме тебя, и никогда не было». «А письмо, твое откровенное письмо!» «Это правда, письма я пишу уже много лет, много уже писем, но все они закрыты под ключом, все адресованы ему». «Кому?» «С тех пор, как читаю я французские романы — это мой любовник, которого у меня никогда не было, из романов, из книжек, уже несколько лет, с ним всякая мысль, всякий грех, потому что ему могу написать все; ему, который не существует, не существует, не существует!» И что, панна Елена, что тут сказать, что тут сделать? Все от чтения романов! По-моему, я пытался извиняться, на колени бросился — она отпихнула, не глядя даже, отвернулась и прогнала со слезами в голосе. А в дверях на меня ее братец чуть ли не с кулаками накинулся: «Дурной ты, гадкий!». Я убежал. Несколько раз мы потом встречались на улице, я и Анна Магдалена; она вышла замуж за управляющего Общества Любителей Татр... но уже никогда не посмотрели друг другу в глаза.

Тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-ТУК.

Язычок, коньяк, губки.

— А вам не приходило в голову, что она могла это письмо специально оставить, чтобы вы его нашли и прочитали?

— Для того, чтобы возбудить ревность?

— Она и подумать не могла, будто бы вы поверите в ее измену.

— Тогда зачем же?

Елена склонила головку, стянула губки.

— Есть вещи, которых не скажешь в глаза, но о которых можно признаться в письме; и есть вещи, которых нельзя высказать и в письме — но можно дать о них понять. По-другому. Ведь дама не скажет напрямую: хочу того-то и того-то. Дама всегда должна иметь возможность от всего отказаться и отступить, сохранив лицо. Так вы говорите, что она, с этим ее придуманным любовником...

— Давайте уже не будем об этом.

Панна Елена Мукляновичувна тихонько засмеялась, прикрывая рот ладонью. Солнце опустилось уже настолько низко, и рельсы по отношению к Солнцу так повернули, что закатный свет практически не проникал в *атделение*; и теперь глубокие, мягкие, складчатые, будто толстый бархат, тени примостились вокруг девушки, заворачивая всю ее фигурку в насыщенный материал ночи, так что та погрузилась в него полностью, и только в движении, протягивая руки за пределы тени — рюмка к губам или пустая рука к устам — на мгновение появлялась Елена — бледное пятно, с незабываемыми очертаниями. И что это был за смех,

можно было догадываться только по тихому звуку, заглушаемому постоянным стуком поезда; раз не видно выражения лица девушки, не узнаешь значения смеха по ее лицу. Издевка? Жалость? Насмешка? Симпатия? И не задает ли она сама себе этот неизбежный вопрос: правда или ложь? А может, ей даже уже кажется, будто ответ ей известен — и потому смеется.

— Вы развеселились? Смешная история?

Признайтесь, пожалуйста — нет, вы не признаетесь. Звучит правдиво, как будто бы и на самом деле случилось — но не с вами, ну не подогнана эта история под вас. Вы ее где-то слышали? Кто-то вам ее рассказал? И вот теперь вы ее рассказываете, переключив на себя.

— Не подогнана? А даже если и так. Почему вы считаете ее фальшивой? А вдруг фальшь с другой стороны.

— Получается так, что здесь я узнала не Бенедикта Герославского — но кого? Ложь о Бенедикте Герославском?

— Вы меня узнали, — фыркнуло *я-оно*. Встало с места, повернуло электрический выключатель, в купе загорелись электрические лампочки в цветных абажурах. Елена замигала, уже хорошо известным жестом прикрыла глаза. Ночь за окном концентрировалась в черный монолит, в глыбу угольного льда. — Вы меня узнали — означает ли это, что я тоже узнал вас?

— Да успокойтесь, пожалуйста, я не имела в виду...

— Чего? Будто обычно вы *узнаете* людей за пару дней?

— Прошу прощения. Это было глупо. — Она отвела ладонь от глаз. — И все-таки, глядя с третьей стороны: разве менее болезненна измена с несуществующим любовником? Становится ли она при этом меньшей изменой?

— Вы настолько уверены, что эта история не может быть правдивой!

— Что-то вы слишком вскипели. — Елена поглядела, продолжая мигать. — И, следовательно — поэтому она правдива?

Я-оно снова уселось, забросило ногу на ногу, натянуло складку на брючине.

— Этого я не сказал. Ваша очередь.

Елена задумчиво коснулась ногтем ямки под нижней губой.

— Все мужчины — чудовища.

— *Pardon...?*

— Все мужчины — чудовища. Пан Бенедикт сам скажет, лгу ли я. Я всегда была болезненной, в особенности — с восьмого года жизни, последующие пять-шесть лет — самое тяжелое время, сама уже не знаю, сколько раз доктора объявляли о том, что я скоро угасну, понятное дело, мне ничего не говоря; они только улыбались, гладили по головке и заверяли, что все будет хорошо; только мне всегда удавалось либо подслушать, либо от слуг вытянуть, либо самой понять по минам и настроениям тети — дело плохо. Хуже всего, что никогда это не была одна смертельная болезнь, но десятки мелких инфекций и длительных недомоганий, следующих одно за другим, накладывающихся и друг друга провоцирующих: болезнь была перманентным состоянием, не конкретная болезнь, но болезненное состояние, какой-то внутренний *diathesis* [\[121\]](#), потому что, лишь только удавалось выбраться из одной горячки, тут же две другие слабости успевали поселиться в теле, и так без конца. Можно сказать, что моей главной болезнью была чрезвычайная податливость на всяческое заболевание, некий врожденный телесный недостаток, но как это оценить, раз я болела, сколько себя помню — может все решила то первое, невинное недомогание, камешек, который стронул лавину? Так или иначе, я редко вставала с постели.

...А теперь пускай пан Бенедикт попытается войти в мир ребенка, болеющего годами. В силу обстоятельств, граница между правдой и выдумкой здесь передвинута очень далеко. До

ребенка доходят сигналы из мира — отпрыски, эхо, следы, оставляемые на людях окружающим миром, будто следы, которые убийца оставляет на орудиях преступления — но он не испытывает мир непосредственно. Что же он делает? Строит мир в своем воображении. Не город, но представление о городе. Не забава на снегу, но воображение о забаве. Не приятель, но представление о приятеле. Не романтическое переживание, но воображение о романтическом переживании. Не жизнь — а представление о жизни. Появляется мысль, будто бы реконструкция возможна, что все эти следы должны соответствовать друг другу: раз существует убийца, значит, было и преступление. Жизненный опыт здесь уже не является необходимым: он всегда будет случайным, фрагментарным. Зато воображение всегда *абсолютно полное*. И мне кажется, что пан Бенедикт как математик — я не ошибаюсь? — что пану Бенедикту знакомо это чувство, ему не чужда эта первичная склонность разума.

...Имеются, вроде бы, такие категории безумия, душевные травмы, которые оставляют людей полностью оторванными от опыта, отрезанными от чувственных впечатлений. Тогда говорят: они живут в своем мире. В клинике профессора Зильберга я видела кататоников. Материальный мир им ни для чего не нужен; воображение победило. Видимо, в конце концов, оно оказалось *более правдивым*. Вы это имели в виду? Если мы теряем меру правды — что тогда становится решающим? Да все, что угодно.

...Это была горячка, крайне мучительная, такая, от которой болят мышцы, и после ночных потов засыпаешь только прохладным утром, в уже легком и размякшем теле; это те редкие удовольствия длительной болезни, которых вы, наверняка, никогда не имели возможности познать; никогда расчувствовать их. Но для меня — наслаждение. К тому же ему сопутствует удивительная прозрачность чувств; после подобной ночи видишь вещи намного выразительнее, более четко; видишь, слышишь, чувствуешь — ведь прикосновения, запахи, все они приходит с большей силой — тем сильнее, чем слабее человек, чем больше измучила его горячка. И, понятно, наиболее слаб тогда разум.

— Утром, после бессонной ночи.

— Да.

— Панна Елена, вы слушали Зейцова с самого начала?

— Только прошу меня не прерывать! Так вот, приходит рассвет, голова очищается, поднимаются занавески — и вот пух под пальцами становится более пушистым, свет в глазах более ясным, он почти режет; воздух свежий, даже если не совсем свежий, и люди новые — даже когда те же самые. Входит доктор. Ему уже хорошенько за пятьдесят, борода густая, брюхо словно воздушный шар, пальцы сардельками, он воняет трубочным табаком и аммиаком; сжимая мне запястье (а кожа у доктора слоновья, морщинистая), бормочет что-то под нос, звуки странные и хрипящие. И тут уже я гляжу широко раскрытыми глазами, с подозрительностью, а у него — сама вижу — из носа торчат пучки седых волос, из ушей — черные кустики, под подбородком, словно нос ежа шевелится некий странный орган, а как только доктор зыркнет через стекла своих очков, меня тут же в дрожь бросает от этого влажного взгляда громадных глазищ, и уже от предчувствия в чистом, прозрачном уме рождается уверенность: ведь это же существо, не принадлежащее к моей расе, это нечто иное — некое чудище, зверь, не человек. Из его ротового отверстия исходит низкое бульканье: «Ка-ак чу-увствуе-ем се-ебя?» В ужасе едва шепчу ответ. Мол, хорошо.

...Вы думаете, в конце концов, я выпалась, и все у меня прошло? Но в том-то и дело, что было бы лучше, если бы не проходило! Ведь кто приносил мне ежедневно следы жизни, лежащей за пределами болезни, с кого я считывала реальность, располагающуюся за стенами моей спальни, кто предоставлял мне улики для представления мира? Тетя Уршуля. Мама. Юлька и старуха Гушцова. А иногда пани Фещик, которая приходила читать мне сказки,

потому что для нее не было большего удовольствия в жизни, чем читать сказки больным детям. Вы понимаете? Женщины. А вот доктор приходил, когда в моем состоянии что-то менялось, когда оно ухудшалось, то есть, как раз после тяжелой ночи. И тогда я видела то, что видела, что должна была видеть. Сколько времени прошло, прежде чем представление устоялось? Но правило было железным. Имеюсь я, я и другие женщины; и имеются они, такие как доктор, все эти странные, нечеловеческие создания.

...В воспоминании нет разницы между миром и представлениями о мире. Если представляешь, будто бы ешь саранчу — а вы слышали, что есть народы, которые ею питаются? — но представишь по-настоящему, вплоть до чувственных впечатлений, то через какое-то время уже не отличишь памяти вкуса саранчи от памяти вкуса хлеба: вкус у них разный, но такой же правдивый. Так вот, я прекрасно помню, что жила в мире, где мужчины были самцами совершенно иного вида существ. Что случилось с другой половиной людского рода? Наверняка, мужчины перебили их, чтобы занять их место. Это была мистификация исторических масштабов. Они скрывали это от нас, камуфлировали, притворялись, играли роли, но несовершенно, неумело, небрежно, поскольку они все делают топорно и небрежно — такова их нечеловеческая, мужчинская натура. И не очень много нужно, чтобы их разгадать. Например, вот как они ведут себя в своем кругу, когда они считают, будто бы нас поблизости нет. Сразу же голос у них меняется, грубеет, слова теряют значение; мужчины переходят на свой собственный язык, какой-то животный диалект бессмысленных хрюканий, рычаний, кряканий, гогота; из всего человеческого языка в их речи используются только вульгаризмы. Они происходят от пожирателей падали, едят, словно пожиратели падали; я видела крыс, как они вгрызаются в мясо, запихивают жратву в морды, буквально багровеют от усилий, глаза наверх лезут, жирный пот выступает на шкуре, но челюсти работают неустанно, лишь бы скорее, лишь бы побольше, и эти звуки, которые из них в этот момент исходят, это сопение; и смрад их мужчинских телесных выделений...! Или же возьмем это их хищническое обожание крови и сражений — ну не знаю, как бы они не береглись, достаточно показать им какое-нибудь кровопролитие, да хотя бы банальную уличную драку, один другому нос разбил: и вот уже глаза у них горят, уже ноздри трепещут — ага, вынюхали! — и уже бросаются туда с напряженными мышцами. Вечерами, после заката и поздно ночью, они проводят в своих пещерах мужчинские ритуалы, культивируя обычаи боли, пота и насилия; иногда возвращаются домой, к нам, не вытерев толком всех следов. Втайне они почитают нечеловеческих богов с отвратительными формами. И они так все устроили, чтобы мы не имели доступа к местам их встреч. Целые помещения, дома остаются для нас запретными, одним только мужчинам разрешен туда доступ; кварталы, а может — и города, наверняка на Земле имеются целые города, стертые с карт мужчинами-картографами — города не-для-женщин, подземные столицы, где они живут в своем естественном состоянии, то есть, свободные от театра людской культуры, голые, поросшие жесткой щетиной не только на щеках и подбородке, но и повсему телу, живут в грязи, в темноте и мрачных отблесках багрового пламени, в горячем дыму, размахивая кулаками и кусаясь в тысячных ордах, купаясь в моче и крови жертв; а кто больше всех ран получит, кто сильнее всего себя изуродует, того делают божком орды и возвышают над другими мужчинами, чтобы восхищались те образом бога в хохоте, в непристойных выкриках, в плевках и пердеже — они свободные. А как поймают одинокую женщину, тут же происходит дикая драка за привилегию распробовать ее. Когда же им приходится возвращаться в женское общество на более длительное время, они тоскуют и болеют в изгнании, стонут во сне и мстят нам, как только могут, что, мол, в такой вот неволе, в укрытии и подавленности мужчинской натуры им доводится жить, и только тогда лишь чахлый свет радости и

выражение удовлетворения на их топорных лицах — когда удалось им принести неприятность, сделать женщине больно. Все мужчины — это чудовища.

...Как выйти из этого мира? Невозможно, не до конца, память всегда останется. Понятное дело, что со временем ее можно заслонить другой памятью. Но случилось так, что прежде чем я смогла с мужчинами освоиться... Вы вот рассказывали о первой любви; это была не любовь. Не знаю, что это было — может, охотничий ритуал. Ухаживал за мной в имении отцовских приятелей в Саских Лужицах их кузен, молодой человек, прибывший с учебы на лето, а я как раз настолько хорошо себя чувствовала, чтобы выехать в деревню, никакой тяжелой болезни, истинное чудо; люты никогда в ту округу и не добрались, потому и лето, как Господь Бог приказал, долгие вечера, тепло, сверчки стрекочут, запах зелени — он охотился за мной при свете Луны. Было не так, будто бы я продолжала жить в прошлом воображении, уже не гнила в постели месяцами; но не было и так, что я абсолютно все забыла, говорю вам — что не забыла, никогда не забуду. Так вот, он...

— Вы не назовете его имя?

— Артур. Артур... Ну, такой вот тип помещика, хорошо сложенный, окрепшие от поездок верхом ноги; сожженный солнцем, и волосы как перезрелые хлеба; сам он их никогда не расчесывал, львиная грива — Боже, пан Бенедикт, вы слышите, как я его описываю? С самого начала все сильнее я замечала в нем признаки животного. Вот можете ли вы оценить красоту чистопородного жеребца? Как он движется: шаг, рысь, галоп, скачка; как мышцы играют под кожей, которая блестит от теплого пота; и во всем этом — огромная гармония, ритм, словно в музыке, имеется огромная сила в совершенном, превосходно настроенном теле. Артур, видно, увидел это в моих глазах. Учительница рисования говорила, что у меня талант. Вот приглядитесь как-нибудь к тому, как смотрят люди. Художники, скульпторы, танцоры и жители Юга сразу же осматривают всю фигуру человека, даже во время приветствия, даже при первой встрече, они не остаются только лишь при лице, им обязательно необходимо приглядеться к телу. Артур узнал этот мой взгляд. Не помню, какие вежливые банальности он произнес, когда нас представили друг другу. Но я помню, как он усмехнулся: показал зубы, приоткрыл клыки. Началась охота: мужчина охотится на человека, то есть, на женщину.

...В прохладных стенах усадьбы и под голубым небом жатвы, на воздухе, дрожащем от полуденного солнца и жара пропитанной солнцем земли. С каждым днем все, каждый раз сильнее, сливалось с воображением, а может как раз это я в него западала, каким-то месмерическим образом втягивая и Артура — как все это случилось, спрашивать напрасно, все равно, расскажу лишь то, что помню. Так вот, с каждым днем... Поначалу мы много не разговаривали, но Артур очень быстро отбросил иллюзии человеческого языка, оставаясь с выражениями мужчинского диалекта; поэтому мы не разговаривали вообще, нет языка между нашими видами. Земля была горячая — я не носила обуви, ходила босиком, впервые в жизни голыми ногами по голой земле. Он приманивал меня кувшином холодного лимонада, сочным яблоком. Никогда не подходил, не подавал. Становился, вытянув руку, мне приходилось приблизиться, взять. Тогда он наклонялся, разыскивая своими глазами мои. Задача была такова, чтобы со временем я начала есть у него с ладони, буквально, то есть, не используя своих рук, губами прямо из его рук, языком с кожи. Он не охотился за мной, не шел по моему следу, как шел бы по следу обычного зверя; и все-таки, даже просто прогуливаясь в одиночестве, я всегда чувствовала его присутствие, его настороженный взгляд; и вправду, не раз и не два он мелькал где-то вдали, силуэтом на фоне горизонта или же тенью между деревьями, так что у меня даже появилась привычка оглядываться через плечо, приостанавливаться и прислушиваться — словно у лесной серны. За столом он на меня не

глядел — смотрел на тех, на кого смотрела я, с которыми разговаривала. Входил и выходил из помещения он передо мною. А потом... Вечером мы возвращались с реки: хозяева, дочери эконома, кто-то из соседей, неспешная прогулка по полевой дороге; я шла босиком и поранилась острым камешком, тот рассек еще не успевшую огрубеть кожу между пальцами; я подпрыгивала на одной ноге, и какой-то подвыпивший мужик, что проходил мимо, сделал какое-то непристойное замечание; хромая, я осталась сзади всех, но, как оказалось, отстал и Артур; он схватил этого мужика за ухо и начал его выкручивать, так что пьяница упал на колени, под конец заставил того рожей в пыль улечься, и чуть ему то ухо совсем не оборвал; мужик так и остался лежать на дороге, с кровью на лице. Вы понимаете? Я стояла, глядела, молчала. Артур, конечно же, даже и не оглянулся. Я поковыляла за ним. Чувствовала, что охота близится к концу, это вопрос буквально нескольких дней. И предостережения не будет. Он ничего не скажет, не спросит, не станет просить — только не он, длинные мышцы под загоревшей до бронзового оттенка кожей, мужчинская мелодия движений, грива светлых волос, белые клыки. Что делать? Я не могла заснуть. Этой ночью он не пришел. Когда рассвело, я так и не заснула. Днем он тоже не пришел. Я не могла есть. Сидя за столом, я водила за Артуром взглядом, другие тоже обратили внимание, это становилось все более очевидным. Кто-то что-то сказал. Артур обернулся, улыбаясь, и склонился ко мне, на открытой ладони у него лежала четвертушка сочной груши, сладкий сок стекал по пальцам, по обнаженной коже покрытого волосами предплечья. Я облизала губы. Потом вынула нож из шарлотки и вонзила ему в грудь.

...Меня отослали в клинику профессора Зильберга. Там меня лечили от «нервного срыва»; и там же я подхватила потом туберкулез.

Тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-ТУК.

Рассказывая, панна Елена сильно натрудилась; тут уже не было ни малейшего сомнения: нездоровый румянец, ускорившееся дыхание, нервные движения пальцев на рюмке. Только *я-онодо* сих пор не знало, чему это были признаки: правды или лжи. То ли чувственное возбуждение вызвало в ней признание мужчине откровеннейших истин — или же она нервничала, выдавая чистейшую ложь? Под электрической лампой любая тень резких эмоций высвечивалась на ее лице крайне выразительно, словно пейзаж битвы в фотопластиконе.

— Раз уж вы позволяете себе такую, ммм, непосредственность, разрешите уже и мне, и не надо обижаться. — *Я-онодо* пило коньяк и энергично отставило рюмку, которая чуть не разлетелась под пальцами. Поединок продолжался, ставки были повышены. — Давайте теперь представлюсь надлежащим образом: Бенедикт Герославский, закоренелый азартный игрок.

— Ах!

— Да, да, вы меня видели играющим, и что подумали: сильный, потому что преодолел стыд? Ха, слабак, потому что не смог победить вредной привычки.

— А вы только так все считаете?

— Что?

Елена сделала неопределенный жест пальцами.

— Сильный, слабый, сильный.

— Панна Елена, какое имеет значение, действительно ли я так считаю — более сильный и так победит слабого, даже если бы я называл их по-французски красивыми словечками и различал в ювелирных разновесах. Вот только азартный игрок, вот только эта вредная привычка — *она во мне сильнее*.

...А история будет такая. Семнадцать лет, первый год в Императорском университете, карты. Был один такой студент-юрист, Фредерик Вельц, ибо вам следует знать, что самое

начало я помню превосходно, и вообще тут было начало, четкое и конкретное — насколько что-либо существует в прошлом — четкая граница между временем азартных игр и временем до азартных игр, поскольку ни дома, ни в семье и посреди родственников, приятелей семьи или ранее в школе мне не дано было испробовать этого плода искушения, не было подобных традиций среди Герославских, не унаследовал я плохой крови и по матушке, только лишь в Императорском, в тот самый день, когда мы отступили от закрытых дверей факультета, потому что ночью на него насел лют и заморозил все аудитории; занятия отменили, кучка туда, кучка сюда, а Фредерик Вельц пригласил перекинуться в покер. Теперь можете подумать: ну так что, слово незнакомца, ни к чему не обязывающее, наверное, это я сам должен был попроситься. Так вот, есть такие люди, для которых незнакомцев не существует.

...Фредек был из тех, кто обнимает все человечество. Наверняка вам такие типы знакомы. Еще перед тем, как с тобой встретится, он уже твой лучший друг, сердечность выливается из него, словно из дырявой кадки, достаточно лишь подойти открыться — что очень легко. Он приветствует тебя всегда с распростертыми объятиями, громко крича издали, чем больше вокруг людей — тем громче, с широкой улыбкой, а смеется он из глубины брюха, смех исходит из внутренностей; такие люди, как правило, отличаются фигурой, весом, лицо круглое, аппетитное, с толстыми губами, с длинными ручищами. Правда, силы в руках у Фредерика считай что никакой не было, но в остальном — как я описал. Ему еще и двадцати лет не исполнилось, а уже виден был в нем любимый дядюшка и грубовато-добродушный дедуля. Мы часто ошибаемся относительно натуры лиц подобного покроя, часто говорим: душа общества. Я не сразу понял, что у Фредека было правдивое, а что притворное. Смеялся он слишком громко. Объятия раскрывал слишком широко. Слишком энергично он пожимал тебе руку. Видите ли, я могу распознать стыд во всех его проявлениях, в том числе — и этом.

...Он привлек меня так же, как привлекал многих — тех молчаливых, держащихся сбоку студентов, которых другие студенты и не знали. Он кормил нами свою сердечность, кормил собственный стыд. И кем бы он был, если бы не мог быть добродушным приятелем всякой затерянной души в Университете. Поначалу игра была обстоятельством товарищеской встречи: идешь на водку, идешь на уху, идешь на картишки — все это означает то же самое: встретиться, присесть на несколько часов под совместным предлогом, в задымленной квартире, в темном подвале, на каком-то чердаке, через который тянет холодным сквозняком, где сосульки на подоконниках растут, словно стручки фасоли; все исключительно так: присесть, поговорить. Для того же и учеба; знания можно добыть тысячей способов, но нужно добыть таких знакомых, которые должны тебя сопровождать на тропах карьеры в течение всей жизни, и которые взаимно устраивают карьеру, они — тебе, ты — им, благодаря одной только студенческой договоренности — только так. И никто меня не уговаривал, чтобы у вас не было никаких сомнений, меня никто *не втягивал*. Все играли, вот я и присматривался. Все играли, вот я и комбинировал, как сыграл бы сам на месте того или другого приятеля. Все играли, вот и я сам, в конце концов, сыграл.

...Азарт распространялся среди студентов, а большинство из них были такими же бедняками, как и я сам. Суммы были небольшие, да и играли мы не слишком серьезно. Вся штука в том, панна Елена, штука в том, что я выигрывал. Но! Даже не это стало решающим. Невозможно выигрывать бесконечно, я это знал, в какой-то момент обжегся бы, отступил. Поскольку же выигрывал, и все видели, что выигрываю — к тому же, все знали, что я изучаю математику, и из этого сотворили фетиш, немного в шутку, немного всерьез — совершенно естественным путем я пришел к тем играм, где ставки были повыше, где вращались уже закоренелые картежники, это меня Фредерик туда ввел. И когда я выигрывал там, то

выигрывал уже серьезные деньги. И что я делал с этими деньгами? Вот тут слушайте внимательнее, поскольку здесь вредная привычка и начинается. Если бы я эти деньги пропивал! Если бы тратил их на девушек! Уже одно это могло меня серьезно потрясти угрызениями совести и погасить жажду. Вместо этого, я только подливал масло в огонь. Первый серьезный банк, помню, сто шестнадцать рублей — что я сделал? Послал мать к знаменитому врачу, купил ей лекарства. Детям из дома, где жил, подарил конфет и игрушек. Видите теперь, с чего дурная привычка началась? Я сделался зависимым от их радости, даже не от благодарности, но от радости в их глазах, от этого теплого удовлетворения на сердце, когда мы с такой легкостью творим бескорыстное добро.

...Вы иронично усмехаетесь. Какая вульгарная отговорка! Но я вовсе и не утверждаю, будто бы играл ради этого; когда я играю, то, помимо игры, никаких иных мотивов нет. Я только рассказываю о своем пути. От вшивых студенческих нор, через задние комнаты кафе и частные салоны, до столика Милого Князя. Фредек видел, сколько я выигрываю, и как-то вечером привел меня к князю варшавских картежников — действительно ли благородно рожденного, это возможно, судя по внешности, манерам и языку, он мог быть графом точно так же, как и я сам. Встретишь такого на улице и подумаешь: красивая старость. Седой джентльмен с римским носом, виленским певучим акцентом, с милой улыбкой. Вступительный взнос: двести рублей. Но Фредек никак не мог знать, что я из выигранных денег сохранял лишь столько, чтобы было с чем сесть за стол в следующий вечер. Так что теперь пришлось одолжить. И да, да, конечно же, в первую же ночь у Милого Князя я проиграл весь кредит до последней копейки.

...Что приказывает разум? Нужно отдать долг, но ведь неоткуда, а раньше я только выигрывал — так что проще всего отыгаться. Вы скажете, будто это вовсе даже и неразумно. Вообще, играть в азартные игры, это неразумно, да и большая часть людских начинаний мало чего имеет общего с разумом — мне трудно вспомнить хотя бы одну разумную вещь, которую сделал, усевшись в этот поезд — но, раз уже играл, почему именно этот карточный вечер должен был стать ошибкой? Понятно, я снова проигрался, и долг мой удвоился, но не в этом дело. Я взял деньги, отложенные на медикаменты матери; проиграл. Заложил вещи отца; проиграл. Взял то, что было отложено на оплату учебы и квартиры; проиграл. Заложил золотые часы и наиболее приличные вещи; проиграл. И вот теперь прошу меня спросить: а зачем?

...А нет никакого «зачем». Это обман всех подобных рассказов: мы глядим назад — в память — и соединяем идущие друг за другом события: вот это я сделал по таким причинам, а вот это — по таким, и даже если не знал тогда, то теперь знаю. Ложь! Когда я сажусь играть, нет ничего помимо игры. Нет никаких внешних причин, все эти слезливые сказки о радости тех, кого мы одариваем — это был лишь этап на пути, но никак не мотив для игры. Точно так же, как панна не живет ради гранитных ангелочков на гробнице — это посмертное украшение, это уже за пределами жизни. А жизнь — ну что же, родился, живешь, умираешь. Какую, черт подери, можно здесь указать причину? Вы понимаете? Я сам не играю. Я никогда не играю. Оно само *играется*.

...Снова прихожу к Милому Князю, субботний вечер, высшие сферы, иногда он устраивал рауты перед длительными покерными ночами, и тогда привлекал значительных личностей из варшавского общества — господ в фраках, дамы в оперных туалетах; лакей меня даже в коридор не впустил, ведь я уже рассказывал, что самые приличные тряпки уже заложил у евреев. Но как же я отыграюсь, раз не могу играть на такие ставки? Как я отыграюсь, если мне нечего поставить? Входит Фредек с приличной дамочкой, заметил меня, очень озабочился, самое сердечное сочувствие поплыло у него по роже, браток, *c'est tragique*

[122], погоди, сейчас все устроим. Даже подмигнул мне, похлопал своей медвежьей лапой по плечу и нырнул в салоны. Жду четверть часа, еще четверть часа, а голоса и музыка тут же, за стеной; милосердный лакей принес мне кусок хлеба с паштетом, я быстро его съел, не отрывая взгляда от паркета. Тут слышу шаги — Фредек привел Князя. Тот огорчен, друг мой, чем могу помочь, руку на плечо мне, сам вынимает бумажник. Взять у него червонец? Но ведь это никакая не помощь, это еще один камень на шее, я же не хотел еще сильнее влезать в долги, не пришел за милостыней. А он уже пихает мне *деньги* в карман. И тогда я понял. Глаз не поднимаю, головы не поворачиваю, спрашиваю только вежливо, как могу я свой долг урегулировать, найдется ли для меня какая-нибудь помощь. Милый Князь тяжело вздыхает. Вексель остается векселем, долг выплатить необходимо, на Страшном Суде нам тоже будут считать «должен» и «имеется», пан Бенедикт сам лучше всех знает холодную бесстрастность арифметики. Понятное дело, из чьего кармана деньги выходят, это особого значения не имеет, рубль рублю товарищ и брат, лишь бы попал в тот карман, чтобы сальдо выровнять. А может пан Бенедикт знает кого-нибудь с любовью к азарту, готового спустить пару сотен в милой компании? Тогда я спрашиваю, а какой мне с того процент. Он говорит: семь. Я говорю: пятнадцать. Договорились на десяти. Фредек похлопал меня по спине.

...От Князя я вышел с гневом и ненавистью в сердце. Но они быстро погасли. Нужно понимать природу стыда, фальшивая сердечность Фредерика Вельца была абсолютно откровенной — не для того он дружбу свою так громко провозглашал, чтобы затянуть человека в сеть Милого Князя, но наоборот: это Милый Князь усмотрел его, чтобы им для себя воспользоваться, потому что Фредек с этой его насильно завоевывающей людей сердечностью был словно липучка для одиноких душ. Панна Елена, вы видите зависимость? Знание механики людских сердец может быть столь же смертоносным, что и знание химии цианистых и мышьяковых соединений.

...Поскольку загонщик и искуситель был из меня никакой, выкуп векселей с этих десяти процентов чужого несчастья занял бы у меня несколько лет. Как только я что-то добывал для себя из этого долга Милому Князю, тем еще в большие долги влезал. А почему? Игралось... Один раз выигрывалось, пару раз проигрывалось; а играть я продолжал, лишь бы столик, карты да пара желающих, то на пять копеек, то на пятьдесят рублей, лишь бы ставка да судьба в потных ладонях — игралось. Неужели не хотелось мне прервать эту вредную привычку, освободиться? Да хотелось же! До тех пор, пока не начиналась игра.

...Нужно было выдумать способ, спроектировать ловушку на самого себя, в противном случае Милый Князь пожрал бы меня вместе с душой и башмаками. Вся штука в том, чтобы вообще не садиться играть. Чтобы сделать ее невозможной, превратить в не-игру. Как отобрать у азарта его значимость, как перечеркнуть любую ставку? Прошу панну идти за мной с широко раскрытыми глазами, ведь это предательская тропа, необходимо очень внимательно проследивать все ее знаки и повороты. Как превратить игру в не-игру? А ведь я уже вам говорил, отнять мотивы к игре ничего не дает: у нее нет мотивов. Играешь ради игры, играешь, потому что играется. И этот принцип — со временем я видел это все более четко — не ограничивается лишь вредной привычкой к азарту, он не ограничивается тем, что мы привыкли называть вредными привычками; разве что все мы только из вредных привычек и состоим. Но азарт делает это более выразительным, выпирает на глаза; уже нельзя обманчиво внушить себе, что ты бросаешь на стол последний рубль, раз знаешь, что не должен, раз запланировал встать и уйти, раз не хочешь бросить — а бросаешь. После столь болезненного опыта очень трудно продолжать оставаться во лжи.

...Выходит, остается лишить смысла саму идею игры. Убрать азарт из азарта. Логика подсказывает два метода, как это сделать: либо заменяя в игре любую вероятность

уверенностью — тогда игра уже не будет игрой, точно так же, как восходы и заходы Солнца не являются случайностью, на которые можно делать ставки; либо свести до нуля все ставки в игре — тогда игра не будет игрой, точно так же, как музыка, лишенная звуков, является не музыкой, но тишиной. Первый способ, возможно, был бы хорош для ясновидящих. Второй тоже казался мне непрактичным. Ведь всегда игра ведется на что-то. Даже когда речь не в деньгах, когда деньги не имеют значения — тогда мы играем ради удовлетворения от победы, ради унижения противника, ради лучшего самочувствия, ради уважения других людей, ради репутации, ради лучшего мнения о себе самом. Впрочем, деньги, как правило, служат именно материальной мерой этих нематериальных товаров.

...Так как же все это сделать неважным, как перечеркнуть? Идите за мной и не отворачивайте взгляда! А может, вы уже это видите сами?

— Самоубийство?

— Да нет же! Никогда! Самоубийство, ну, панна Елена, ведь самоубийство, это ничто иное как очередная игра, очередная раздача в темную — ведь вы же не скажете, будто бы с абсолютной уверенностью знаете, что ждет вас после смерти и ждет ли вообще — вы можете верить, можете надеяться, как надеешься на пикового туза — но не больше — убежать от игр в игру, что же это за решение, и правда — да еще и такая ставка, наивысшая — да если бы такое было возможно, я был бы завзятым самоубийцей!

— Как же тогда?

— Кого нельзя искусить материальными ценностями? Не богача: этому вечно будет мало, нет богачей абсолютных, таких, по сравнению с которыми невозможно стать большим богачом; с этой стороны шкала открыта до бесконечности. Но у нее есть граница с другой стороны: тот, кто живет в абсолютной бедности, свободен не только от страха нужды — поскольку здесь он достиг ее экстремума — но и от потребности к обогащению: *поскольку он живет в абсолютной нищете*. Ну что, панна Елена...

...Вот оно. Вот оно. Это единственно возможное освобождение. И не в масштабе материальных богатств — но и тех, наиболее важных: удовлетворения, уважения, удовольствия, чести, всех богатств духа. Тогда, даже если бы ты и вступил в игру: то ли карта лучше, то ли хуже, то ли ставка на столе абсолютно символичная, то ли куча золота и приговор вечного позора, без разницы — это все равно, что перебирать буквы незнакомого алфавита, словно созвездия на небе или форма облака над лесом: все пустое и тебе совершенно безразличное. Игра, полностью лишенная сути игры. Ты не играешь — ты только выполняешь лишние значения и содержания движения руками, меняешь одни предметы на другие, перекладываешь бумажки с места на место.

...Но, оказывается, нет ничего более сложного, чем спуститься на самое дно. Вы когда-нибудь плавали на глубине? Вода выпирает тело, поднимает его вверх. Нужны огромные усилия, огромная сила воли, неустанная работа и железная последовательность, чтобы добраться до дна. Нужно поочередно вырвать в себе все, что тянет наверх, все надежды, светлые запросы, все, что нас в наших собственных глазах возвышает, любой, даже самый малый зародыш уважения к самому себе, любую завязь ценности, которые могли бы когда-нибудь оказаться настолько ценными, чтобы снова было бы на что играть — все это необходимо вырвать!

Панна Елена присматривалась с тревожным вниманием, выгнувшись вперед, с полураскрытыми губами, те спеклись в ее сухом дыхании, она забывала их смачивать, забывала сглатывать слюну.

— Вы говорили, будто не можете — но ведь это же самоубийство!

— Наоборот: именно свобода, свобода от дурной привычки.

— Я вам не верю, пан Бенедикт, это какая-то чудовищная ложь, в жизни я не слышала ничего более ужасного!

Я-онопожало плечами.

— Впрочем, это само по себе очевидная невозможность, нельзя дойти до такого состояния; вот как вы это сделали, пан Бенедикт? Как вам это удалось?

— А мне и не удалось.

— Не поняла.

— В этой истории нет концовки, она еще не закончилась, я ее только переживаю. Все пытаюсь вырваться и пытаюсь. Раз вниз, раз вверх, — показало *я-онорукой*, — дергаюсь над самым дном, словно мотылек над пламенем, вечно на палец от окончательной низости, снова поднимаясь в свежую заядлость, когда горячая кровь возвращается в жилы, рубли в бумажник, и нервы свербят, возбуждение воскрешает стыд, а затем снова, с болью ломая себе душу и вырывая из нее надежду за надеждой, чтобы вновь остановиться в самый последний момент. Во время этого путешествия панна собственными глазами видела не один такой цикл спасительного падения и возрождения ради греха. Что вырвано, тут же отрастает, а скорее всего — гордость, та самая печенка души, что кровоточит стыдом. И так я болтаюсь между тьветом и светом, Черный Прометей.

Тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-ТУК.

— Я вам не верю, не верю.

Я-онохрипло рассмеялось, от длительного рассказа пересохло в горле.

— Нет, это крайне мило, время от времени встретить столь невинную душеньку.

Панна Елена вздернула голову, словно ее ударили по щеке.

— А теперь вы еще будете меня оскорблять!

Я-оно смеялось.

— Ну кто же еще принимает слова о невинности за оскорбление — если не по-настоящему невинная душа?

— Ах, так? Так? Так? — Панна Мукляновичувна чуть ли не задохнулась. Отставив рюмку, она какое-то время не могла перевести дух, потянулась к рукаву, но, не найдя платочка, прижала к виску кружевной манжет, словно то был охлаждающий компресс. — Так, — шепнула она, и тут же, в мгновение ока, словно бы с девушки сбросили некий психический фильтр, словно от нее отвернули голубой прожектор — она превратилась в совершенно другого человека: Елену Мукляновичувну подменили Еленой Мукляновичувной, тот же самый приличный костюм, та же самая бледная кожа и угольно-черная бровь, но внутри уже живет кто-то другой: кто-то постарше, с холодным, устойчивым характером, кто-то, привыкший к свободе здорового, сильного тела. Панна Елена опустила руку, та свободно упала на покрывало. Она заложила ногу на ногу, левой ладонью пригладила узкую юбку; во время этого движения глянула, без усмешки, из под ресниц, из под тяжелых век.

— Подлейте-ка мне еще, — спокойно сказала она, уже более низким, хрипловатым голосом.

Я-оно поднялось, открыло бар, налило в обе рюмки, уже не разводя водой.

Панна Елена подняла свою порцию левой рукой, не уронив ни капли, энергичным движением перевернула рюмку вверх дном и проглотила коньяк в один глоток.

— Еще.

Я-оно снова налило.

Эту порцию она выпила столь же быстро.

— Садитесь.

Она глянула на свое отражение в черном оконном стекле. Прикоснулась к щеке, слегка

подняла бровь в клиническом удивлении. Не поворачивая головы, вытянула правую руку вверх и к двери, кисть свисала свободно; девушка смотрела в одну сторону, а указывала в другую — жест оперной дивы, примадонны, поза между сценическими фигурами.

— Погаси.

Я-оноповернуло выключатель. Купе залил мрак. Наощупь дотянулось до стула. За окном на линии горизонта перемещались полосы темных окрасок неба — темных, но все же более светлых, чем грубо-зернистая серость, покрывшая пространства Азии с востока до запада и с запада до востока. Никаких огней, фонарей, отдаленных рефлексов; но, быть может, выплывет над равнинами золотая Луна, звездный фонарь Ориента.

Уселось тоже наощупь. Внутри купе остались лишь неподвижные тени, между ними, на расстоянии вытянутой руки — тень Елены. Блеснул рубин, следовательно, вот эта тень соответствует ее шее, вот эта — голове, а вот в этих тенях — глаза панны Елены. А вот тут — губы.

Сейчас она дышала очень глубоко.

— Родилась я в семействе дубильщиков кож на Повисле. Родители мои умерли, когда мне исполнилось десять лет, когда в Варшаву пришли люты. Та сентябрьская Зима забрала у меня все семейство, сестер и брата, семью дяди и других родичей. До моего рождения отец был мастером у Герлаха на Тамке; ему отстрелили ногу на Грибовской Площади [\[123\]](#). Пришлось вернуться к дублению кож, и к тому же пришлось убираться из доходного дома в Старом Городе. Через неделю после того, как я появилась на свет, в мае тысяча девятьсот пятого, фабричные рабочие и мясники пошли с ножами и топорами на публичные дома, проституткам и сутенерам пришлось удирать, чтобы спасти жизни, за некоторыми гнались до лесов. У дяди спряталась раненная в голову девушка; вылечилась и потом уже осталась у нас, убирала в одной семье на Вилянове, стирала людям, Мариолька Бельчикувна. После первой зимы Зимы именно она стала моей опекуницей, с тех пор она занималась мною.

...Был такой год, несколько долгих месяцев, когда мы остались без крыши над головой. Думали отправиться в провинцию, лишь бы подальше от варшавских морозов. Вы, случаем, не заметили, насколько меньше бездомных на варшавских улицах со времени прихода лютов? Мы просили милостыню, среди всех прочих. У меня на теле остались следы после тех ночей, когда я мучилась в подворотнях на льду. Мариольку взяло на службу одно семейство врачей, я спала на кухне, было тепло. Но потом нас выбросили на улицу: у госпожи докторши пропали золотые сережки, и на кого пало подозрение? Мне было уже четырнадцать лет. Стоял декабрь, неделя до Рождества, Лед висел на деревьях и между крышами, на Королевский Замок насел черный антихрист, с неба падали замерзшие в камень вороны. Мариолька потащила меня прямо на Мариенштат, в новый небоскреб, на фасаде спереди громадная неоновая вывеска, но мы вошли с заднего крыльца, сторож ее узнал. Ждем, пока не появится хозяин — это был Гриша Бунцвай, а пришли мы в «Тропикаль», только тогда я ничего еще не понимала, и только лишь после того, как Мариолька сунула ему что-то в руку и шепнула на ухо, а он громко рассмеялся и фамильярно обнял ее... Все так, с этими сережками она возвратилась к своему старому опекуну, теперь у него было заведение для благороднорожденных господ, и уже не часы-луковицы от карманников, но сладкую жизнь сплавлял нафаршированным фрайерам глянцевого шопенфельдшица [\[124\]](#). Так я начала работать в «Тропикале».

...Мариолька всегда меня защищала. Она сразу же заявила Бунцваю: для меня никакой работы с клиентами, только на тылах — я подшивала костюмы девочкам, когда заведение закрывалось — убирала, иногда помогала на кухне. Дело в том, что Бунцвай вел вовсе даже не публичный дом, заведение было тип-топ, хрусталь, витражи, перья и танцовщицы,

шампанское и астраханская икра. Но, естественно, к одинокому джентльмену тут же подсаживалась дама для компании, каждая лично Гришей выбранная; а над заведением, на втором, третьем и четвертом этажах имел Гриша несколько апартаментов, очень хитро разделенных, с отдельными входами, чтобы парам не нужно было на мороз выходить. О чем я тоже узнала не сразу и не прямо.

...А как? Подглядывала. Подсматривала и подслушивала, я занималась этим даже тогда, когда занималась чем-то другим; а уж когда была минутка, свободная от работы, то тем более: глазом к щелке, к приоткрытой двери, к форточке, из-за занавески, через затемненное стекло и даже через замочную скважину — подсматривала настоящую жизнь. Среди людей Бунцвая были самые разные типчики, в том числе и Ясик Бжуз, карманник и взломщик, который, ради забавы, учил нас вскрывать замки и другим штучкам. Впрочем, никто и не замечал худенькую девочку в униформе горничной, мы ведь анонимны, как жандармы. Там люди живут; а мы тут поглощаем их жизнь, на нас она отпечатывается, в нас остается. Они переживают любовные драмы на дансингах, авантюры и скандалы в электрическом свете на глазах у графов и принцев; мы об этом лишь мечтаем и видим сны. Так в кого же эта жизнь западает глубже?

...Господин Бунцвай как-то раз прихватил меня в компрометирующей ситуации, когда я из-за пальмы приглядывалась к господам в любовном объятии у задней лестницы «Тропикаля». Схватил меня за волосы, затащил в свой кабинет, тут же вызывая Мариольку. Ну, думаю, сейчас прибьет. Но нет. Приказал мне снять фартучек, распустить волосы, подняться на цыпочки и повернуться кругом на ковре перед письменным столом; и при этом он сделал такой жест, такое движение рукой с портсигаром в сторону Мариольки, как будто бы предоставлял ей доказательство, сдавался в каком-то споре или же выбрасывал из себя долго сдерживаемое отвращение. Мариолька поняла, я — нет; они не приказали мне выйти, но вся их беседа была словно тот жест, полусловечки, недомолвки, они о чем-то торговались, Мариолька мне так и не объяснила — то есть, лгала, никогда не объяснила по правде.

...В результате этих торгов Гриша стал посылать меня на уроки французского, меня учили писать и правильно выражаться, танцевать и играть на пианино; правда, к последнему таланта у меня не было. Спешу развеять ваши подозрения: намерение вовсе не было столь очевидным, Бунцваю вовсе не нужна была очередная девица, которую можно было бы продать в качестве содержанки какому-нибудь финансисту или депутату. Скажем так, вот он принимает кого-то по делам. Господа рассаживаются в креслах у него в кабинете, служащая приносит угощение, они вытаскивают бумаги, закуривают, щелкают счетами. И вот тут забегают к Грише молоденькая племянница в домашнем платьице, встрепанная девонька, ах, дядюшка, пальчик порезала, ой, действительно, ну ладно, все уже хорошо, простите, господа, моя воспитанница, ну конечно же, какое прелестное дитя, не думайте ничего плохого, ну конечно, *ce que femme veut, Dieu le veut* ^[125] — потому что девонька все это делает с улыбкой, хихиканьем, подмигивая большим людям и накручивая локоны на здоровом пальчике. Или по-другому: отправляется Бунцвай с визитами в салоны — он сам, рожа квадратная, акцент родом из забегаловок, шрам на лбу, кого он с собой возьмет: даму легких обычаев с замалеванным лицом и всем известным именем? Нет, он возьмет худенького подростка, который с прелестной робостью расскажет пожилым дамам по-польски и по-французски о несчастьях собственной семьи, расскажет о страшных болезнях и о доброте господина Бунцвая, который, возможно, снаружи и грубоватый, но сердце — чистое золото! У меня было приготовлено несколько таких историй. Дамы сильно умилялись. Гриша что-то там бурчал себе под нос, по-настоящему смущенный.

...Немного мне понадобилось времени, чтобы понять все это самостоятельно, что,

собственно, уже немало — понять собственную натуру, найти словечко для самой себя, и я такое нашла: врунишка. Не то, чтобы я хорошо лгала — хотя, лгала я хорошо — но то, что любила лгать. Вот вы говорили о приверженности к азарту. Это ведь тоже вредная привычка и тоже азарт: узнают или не узнают. Гриша был очень мною доволен и очень долго не ориентировался в угрозе; но даже если бы ее заметил, было уже поздно. У скольких людей жизнь протекает в банальности, их работа — это только работа, то есть, способ заработать на содержание; они не выбрали ее по собственному желанию, ни по своим умениям, ни по удовлетворению, которое работа дает, но только лишь затем, потому что за это лучше платят, или же — только за такую работу им вообще платят, ведь помимо работы — а за что? за то, что очень похоже изображают пение петуха? что способны выхлестать пива больше, чем какой-либо другой пьяница в квартале? Быть в чем-либо очень хорошим — это исключительное чувство, потому что оно доступно очень немногим и определяется на всю жизнь. Я была никем — теперь же стала кем-то; именно тем, что определяется моим даром. Я же умею лгать.

...Все началось с того, что я лгала больше, чем было нужно. Поначалу мы четко определили детали моих историй; затем, увидав, как я справляюсь, Бунцвай тщательный контроль уже забросил. Я же следила за собой настолько, насколько было необходимо поддерживать связность различных видов лжи. Но ведь ко лжи всегда что-нибудь можно добавить, всегда можно обогатить ее деталями. И ведь мне не нужно было четко держаться только одной истории. В том-то и заключалась необычность ситуации Гриши Бунцвая, что он действовал на границе нескольких, как правило, никогда не пересекающихся миров; поэтому я встречалась с людьми, которые не могли иметь дела друг с другом — что может быть лучше для лжеца? И в этом я тоже за собой следила, чтобы не делать моей лжи преувеличенной, чтобы знать меру правды, то есть того, что звучит как правда, ибо именно так взрослые всегда узнают, когда дети лгут: потому что дети всегда преувеличивают. А ложь необходимо выстраивать из мелких крошек действительности, терпеливо прибавляемых одна за другой; намного лучше, если ложь выстраиваешь не ты, а обманываемый, то есть, если он обманывает сам себя — когда ты позволяешь ему *додумать* историю, которую ты для него приготовишь. Тогда он будет защищать такую ложь до последнего.

...А делается это так. Встречаешь незнакомца. Ты желаешь внушить ему, будто бы ты некто другой, чем являешься на самом деле. Но не внушаешь: подбрасываешь крошки. Указания скрыты в твоём поведении, в языке, в последовательности предложения, в том, как ты держишь голову, во взгляде или в том, что ты взгляда избегаешь; как ты движешься, как относишься к другим людям; если можно — в костюме; если можно — в поведении сообщников. Слова должны быть в самом конце, слова всего лишь должны подтвердить знание, откуда-то ставшее очевидным. Впрочем, вначале ты должна все отрицать, пускай он заинтересуется и попытается сам.

— Вы рассказываете об искусстве соблазнения.

— Ложь и ложь, как тут не смотри. В этом я хороша — ложь приходит так легко, практически без участия мысли, столь естественно... Вот вам и загадка, пан Бенедикт: ложь по природе. Ложь из глубины души! Кто угодно, где угодно, когда угодно — а я уже предлагаю такому человеку тайну, опускаю глаза, или же наоборот, гляжу на него огненным взглядом, голос срывается, входит Гриша с каким-то знакомым, я же вся пунцовая или с трудом сдерживающая слезы, или в нервной дрожи, или неожиданно молчаливая, или театрально радостная, или смертельно бледная от испуга. Почему? Зачем? Какой-то план? Или так мне приказал Бунцвай? Может это его клиент? Нет. Лгу, потому что желаю, потому

что люблю это дело, потому что мне это удастся. Почему великие взломщики сейфов возвращаются к своей профессии, рискуя умереть за решеткой, хотя спокойно могли бы жить до старости на заработанное? Потому что в этом одном они исключительны, именно в этом они самые лучшие: они умеют вскрывать сейфы.

...Посему, именно так и пошло дело со штабс-капитаном Дмитрием Севастьяновичем Аллой [\[126\]](#). В «Тропикаль» он заходил не слишком часто, как правило, с приятелями офицерами, я даже не знала его по имени, ну, еще один интересный русский в мундире. Но, то ли мы встретились в холле, то ли у входа он перчатку упавшую поднял, то ли огонь подал — не помню ни времени, ни места — но был момент, была встреча, и был инстинкт с моей стороны: ложь. Я еще ничего не сказала, солгала без слова, он поверил.

...Я знала, поскольку потом он водил за мной глазами, искал моего взгляда. Когда я как-то шла по улице с паном Бунцваем, он поклонился и задержался, чтобы поговорить с Гришей, а глядел на меня — все это время я промолчала, глаза в землю, пальцы стиснуты на рукаве Гришиного пальто. Заметил ли это капитан? Наверняка. Потом приходит официант и говорит, что русский, в мундире, расспрашивает обо мне по описанию: работает ли здесь такая-то, случаем, не любовница ли хозяина. Что говорить, спрашивает. Господи, да говори правду. Дмитрий потом сам себе досказывал остальное.

...Не знаю, то ли он меня ожидал, то ли случайность это была — выхожу утром из небоскреба, а капитан как раз высаживается из дрожек. Куда панна собралась, давайте подвезем, большое спасибо, да не за что, пожалуйста. И едем. Я всполошенная. Неуклюже бормочу французские слова. Капитан взволнован. Неужто этот ужасный Бунцвай держит панну в заточении? Может, у него на вас какие-то векселя? И что на это родственники панны? Можно ли панне помочь? Я, естественно, все отрицаю. Пан Бунцвай — золотое сердце. И прошу оставить меня в покое! И выскакиваю из экипажа. Бедный Дмитрий теперь уже был свято уверен, что вот Господь Бог поставил на его пути невинную девушку, от старого развратника страдающую. Это же дело чести — и какое удовлетворение для благородной души! — спасти беззащитную душу от зла. Чем мне Дмитрий насолил? Зачем я это делала? Только ведь вы правильно говорили: нет никаких «зачем» и «почему», для игры нет никаких мотивов кроме самой игры.

...Так вот я играла правдой и ложью. Сколько было подобных Дмитриев Севастьяновичей? Одни ангелы знали, если только считали; я — нет. Я не принимала близко к сердцу, когда одни исчезали с горизонта; всегда появлялись новые. Алла, впрочем, и сам пропал на долгие недели, возможно, приказ выслал его куда-то за пределы Варшавы. Но перед тем еще посылал пылкие записочки, заклятия и присяги на бумаге с гарнизонными штампами. Ни на одно его письмо я не ответила. Но как-то раз, спускаюсь вечером из комнат — у меня уже были собственные комнаты на втором этаже, вместе с Мариолькой — и вижу, что старший официант панические знаки мне подает. Что такое? Беги к пану шефу, говорит, там скандал из-за вас ужасный. На задах, под дверью кабинета Бунцвая персонал стоит, подслушивает. Прогоняю всех. Слушаю сама. Крики по-русски, мое имя, голос Гриши и другой, которого не узнаю, но что-то меня тронуло, захожу. Бунцвай за своим письменным столом-крепостью, весь багровый лицом, утонувший в кресле, словно под тяжестью невидимой каменной глыбы; а через стол к нему склоняется штабс-капитан Алла, размахивая револьвером, и кулаком по столешнице стучит. Собирайтесь, панна, кричит он, увидав меня, конец правлению крысы этой, ведь это же главарь целой разбойничьей шайки, сегодня вы уйдете отсюда свободной! Гриша на меня только смотрит, но так смотрит, что глаза у него от натуги чуть не лопаются, надулся он как жаба, хватает воздух сквозь зубы, челюсти стиснул, чтобы придержать взрыв ярости — знавала я приступы бешенства у Бунцвая, как-то раз,

выявив предателя, схватил он пальму вместе с горшком, и так долго молотил ею его, что остался в руке у него только голый ствол, а на башке избиваемого куча земли и глиняных черепков; в другой раз хотел Гриша кого-то в окно выбросить, несчастный не долетел, стекло пронзило его тело, он упал на осколки и сильно порезал себе кишки; а еще раз Гриша гнался за языкатым поваренком два квартала с пестиком в руке, пока не догнал — а сейчас: только сидит и смотрит, смотрит и смотрит, а я чувствую, как подо мной ноги подламываются, и не по причине нагана в руках Аллы, но от этого взгляда молчащего Гриши Бунцвая.

...И вот, Алла орет, Бунцвай молчит, оба обращены ко мне, и вот тут, пан Бенедикт, тут был момент, чтобы выбрать между правдой и ложью: между правдой — ради сутенера, вора и несомненного гада; между ложью — ради благородного офицера, который, не задавая вопросов, поспешил спасти опечаленную незнакомку. Что сказать? К кому повернуться? Какую историю выбрать? А ведь времени на размышления не дано, чтобы можно было взвесить шансы, аргументы и последствия, добро и зло — нет, меня застали врасплох, нужно было реагировать без раздумий — а не раздумывая, значит, инстинктивно, по натуре своей, поскольку, если дать время, за нас ответит разум и логика, а если взять вот так, неожиданно, без предупреждения — ответит сердце. Я заломила руки, пала к ногам Дмитрия. Он нас обоих убьет, плачу, не простит вам, уходите! Капитан взводит курок, Бунцвай хватает бюст Наполеона, грохот, шум, визг, Дмитрий Севастьянович падает на персидский ковер с разбитым черепом. Поднимаю голову. Гриша Бунцвай, вколоченный в кресло за столом, рожа еще более красная, сжимает грудь, сквозь пальцы стекает кровь. Ты, хрипит он, змея подкодная, так-то ты благодаришь, любовника своего насылаешь, чтобы меня уничтожил, чтобы убил на месте, в моем же доме — меня здесь убил! Я на коленях собираюсь клясться, а он свое, пена на губах, не дает мне и слова сказать, не слушает. Ты! Ты, проклятая! Заговор тут устроили против меня, наслал вот свояка из охранки, тайная полиция в заведение проникла — протягивает он дрожащую руку, трясет какими-то бумагами, на стол брошенными — шантаж, вопит, шантажом лишить всего, что я за всю жизнь заработал, хотели, а-а, не дождетесь, собаки бешеные, руку кормящую кусающие, пристрелить таких без всякой жалости — и за наган хватается. Револьвер Дмитрия, оказывается, на стол упал! На пол не свалился! Счастье, несчастье, счастье, то мне снится так, в другой раз — иначе, вот только было ли во мне достаточно — чего? ярости? испуга? — чтобы поднять, прицелиться, выстрелить, ведь не подумали бы на меня, все на мертвого штабс-капитана, все уложилось бы, наверное, вероятно, возможно; но он упал на стол! Упал на стол, и пока Бунцвай смог ухватить его своей трясущейся рукой, я уже выскочила в коридор и звала Мариольку Бельцикувну, уходили мы с пустыми руками, как в нас судьба громом ударила, набросив пелерины на платья, и бегом на мороз, в первые же сани и бегом из города — это было утро пятнадцатого, вторник, неделю назад, как я сбежала из Варшавы.

Тук-тук-тук-ТУК, тук-тук-тук-Тук, тук-тук-тук-Тук.

Правда или ложь? Ночь залила *атделение*, переливаясь от стены к стене, в такт стальных колес, в ритме слов и громкого дыхания панны Мукляновичувны. Девушка дышит так, словно громадная тяжесть давит ей на грудь. Я-ононе видит ее лица, даже уже на него и не глядит; гораздо больше рассказало бы прикосновение пальцев руки, вытянутой по диагонали купе — только этого, естественно, не сделаешь. Я-оновыпрямляется на стуле. Панна шевелится на кровати, шелестит материал юбки. Правда или ложь? На плоском, широком небе Азии перемещаются полосы многочисленных оттенков мрака — а может это земля — может сфера какой-то иной стихии; полосы темноты, что темнее тьмы, и линии, еще более темные, чем те, и тучи мрачевшего мрака.

— Вовсе я и не азартный игрок, — сказала я-оно, — никакая вредная привычка к игре мною не управляет. Проигрывал же я для того, чтобы устроить ложь. Позвольте представиться: Бенедикт Герославский, мерзавец. И вот вам история.

...Это правда, карты не были мне чужды, очень сложно не испытать чувства мелкого азарта в студенческой среде, тогда же начал я курить табак и познал тягу к спиртному. Но азартным игроком никогда не был. Но мне нужно было завоевать репутацию азартного игрока. И деньги я проигрывал, чтобы деньги получить. Нищета, панна Елена, нищета — это единственная вредная привычка, от которой я страдал. Быть может, если бы не было в памяти богатого детства... Тем более невыносимой была такая жизнь. Нищета проедает человека, словно смертельная болезнь, уничтожает в нем все лучшее, заставляет приспособиться к низменным радостям, низменным амбициям, гнетет к земле. Я говорю: вредная привычка — поскольку в том ее подобие, что со временем все труднее из нее, из бедности, вырваться, грязь притягивает грязь, недостаток притягивает недостаток, болезнь — другую болезнь, ничтожество — следующее ничтожество, и в царстве материи, и в царстве духа. *Привыкается*. Глупец тот, кто верит романтикам и священникам: бедность не облагораживает, не выпрямляет троп, ведущих к вечной жизни. Наоборот: она отравляет нас завистью, ревностью, горечью по отношению к миру и людям, так что мы уже не способны увидеть в них ничего доброго и хорошего, поскольку мы просыпаемся и ложимся спать с гримасой на лице, сжав губы, и таковыми же становятся наши сны, наши мечтания, даже любовь такая же — то есть, нищенская. Когда я сел здесь в вагон-люкс... Иное Солнце светит над головами богачей, иным воздухом они дышат, иной дух наполняет их души.

...С момента ссылки отца здоровье матери постепенно становилось все хуже. Как будто бы вытекающее из нее желание жить и вправду приводила за собой отток витальных сил из организма, оставляя лишь пустоту. Как в темных углах запущенного дома собирается пыль, насекомые, разводятся мыши — так и мать заполняли следующая одна за другой болезни. И хотелось бы сказать, что все сделанное мною было сделано ради денег на ее лечение, но это неправда; это было еще одним проявлением нищеты. Как только панна Юлия упомянула сумму — десять тысяч рублей — я знал, что отвечу. Да. Да, я готов.

...Вся афера была возможна исключительно потому, что мы знали друг друга с детства; наши семьи были знакомы, ее родители знали моих, знали меня, возможно, уже тогда нас, в шутку, сватали; мы были родственниками, но очень дальними, Церковь дала бы разрешение, и не такие связи можно обнаружить в наших генеалогических деревьях. Семейство Юлии было богатым, но там хорошо поняли характер девицы, посему держали ее на коротком поводке, не допуская к состоянию, все деньги должны были пойти на приданое и в руки ее супруга, как только Юлию выдадут замуж. Поэтому Юлию пленяли под угрозой нищеты; я уже был нищеты невольником. Мы сошлись, словно два магнита, обращенные друг к другу в поле одной силы.

...Как и было договорено с панной Юлией, я начал все интенсивнее заниматься азартными играми, входя в компанию уже весьма серьезных игроков, так что при покере и зимухе выкладывались приличные суммы, пока не попал я за столик Милого Князя, а там бывал свидетелем партий, в которых на кон ставились уже тысячи рублей. Одновременно я наносил визиты панне Юлии перед лицом ее семейства, договариваясь про свидания и обеды, один раз даже с матерью, когда та на время поднялась с постели, отправился к ним на праздничный обед. Панна Юлия относилась ко мне доброжелательно, не делая тайны из взаимной привязанности, так что вскоре пошли разговоры о помолвке, неоднократно меня выпытывали о моих намерениях — самые честные, заверил я — а сможет ли обеспечить пан Бенедикт содержание супруге — ну что же, сердце не слуга, и можно ли меня винить за отца,

который пошел с повстанцами и заплатил за это состоянием, нельзя ведь — но у панны приданое обеспечено. Так что прозвучали уже и конкретные суммы. Так дошло до обручения, и все в городе услышали, что Бенедикт Герославский женится на двадцати пяти тысячах рублей; евреи сразу же сделались более щедрыми и предоставили мне новые кредиты.

...Которыми я тут же воспользовался. К этому времени я играл исключительно у Милого Князя, он снимал у Кальки на Маршалковской комнаты, в которых вечерами и по ночам играли самые заядлые игроки варшавского общества; легенды ходили о спущенных и добытых там состояниях, об игроках и их безумствах; якобы, один полковник из Цитадели, выйдя от Кальки, сразу же пустил себе пулю в лоб, поскольку проиграл суммы, мошеннически добытые из царской казны; другого несчастного, директора Христианского Потребительского Общества из Хжанова, за столиком хватил удар, с тех пор он страдает параличом правой стороны тела (и по этой причине вынужден держать карты только левой рукой, плохо выходит тасовать и сдавать), но, для разнообразия, какой-то счастливчик, имени которого слухи не помнят, так тронулся умом, когда выиграл имение и доходную скотобойню, что, раскрыв настежь окно, начал горстями бросать на Маршалковскую трешки и червонцы, люди ноги ломали на льду, чтобы попасть под этот денежный дождь; ходила легенда об одном русском из гарнизона, по-моему, майоре, который, полностью исчерпав залог и кредит, предложил дать удовлетворение кредитору по принципам револьверной лотереи, то есть, прокрутив барабан с одним патроном, пальнув себе вслепую в висок, с тех пор такую забаву и называют «русской рулеткой». Так что видите, панна Елена, за этим столом не шутили. Сам я ходил туда раза три-четыре в неделю, и обязательно по субботам, оставаясь до воскресного утра, а то и до обеда. Дело заключалось в том, чтобы проиграть, сколько только можно.

...Проиграть, но не просто кому-либо. Известно: мне нужно было проигрывать последовательно и достаточно длительное время, чтобы потом, *post factum*, не возникло никаких подозрений. Но в самом конце должен был прийти самый крупный проигрыш, очевидная и необходимая концовка длинной цепи потерь по несколько десятков, несколько сотен рублей. Стояло холодное утро, прислуга отодвинула шторы, за окнами просыпалась белая Варшава, гасли высокие фонари; над столом висел сизый, словно призрак убегающей из тела души, дым; лакей принес кофе; Милый Князь раздал, я глянул в карты, но они, как раз, в данный момент ничего не значили, я поставил тысячу, затем вторую, потом перебил на четыре, так в торговле мы дошли до двадцати тысяч, я и Фредерик Вельц, за него поручился Князь, я же поставил приданое, мы подписали векселя, после чего Фредек открыл пару королей и выиграл все. Я поблагодарил, попрощался, взял пальто и вышел на мороз. На меня глядели из окна, может быть, ожидая, что я тоже захочу пальнуть себе в лоб — но оружия у меня не было — может быть, что брошусь под люта; вы же наверняка видели таких самоубийц, зимовники потом отбивают их топорами. С громадным трудом я сдерживался, чтобы не расхохотаться.

...Мы рассчитывали на то, что все это не протянется больше месяца. И все пошло в соответствии с планом. Проиграл я за самым знаменитым столом в городе, весть разошлась молниеносно, к вечеру уже все заинтересованные знали, что Бенедикт Герославский просадил в покер у Милого Князя все приданое своей невесты. Скандал накручивал сам себя. Семейство Юлии, естественно, вынудило ее разорвать помолвку — но это лишь открыло новые ископаемые стыда, ведь теперь ее несостоявшийся муж обязательно попадет в тюрьму, выставив векселя без покрытия. Это уже будет публичный позор, в который будет непосредственно втянута семья Юлии. Панна начала умолять отца, чтобы тот избавил ее от

такого пятна; в противном случае ей пришлось бы уезжать из Варшавы. В конце концов — через три недели, как мы и предполагали — фатер Юлии заплатил моим кредиторам, одновременно лишая дочь приданого. Меня же избил тростью посреди Уяздовских Аллей. Я ходил в ореоле стыда, как Божьи мученики ходят в ореоле святости; только его мне осталось продать — мой стыд. В следующее воскресенье после мессы мы должны были с Фредеком поделить добычу: десять тысяч мне, десять тысяч Юлии и пять тысяч Фредерику.

...Они не пришли. Не появился ни Фредек, ни Юлия, напрасно я высматривал их в условленном месте, а потом еще торчал как дурак на снегу, пока не позвонили на следующую службу. И, тем не менее, я не хотел верить. Первая мысль: к Юлии. Но тут как раз до меня дошло окончательное коварство ее плана: ведь теперь я к Юлии никак не попаду, ведь я сам отрезал всяческий к ней доступ, даже письма мои перехватываются, из-под окон прогонят, а несостоявшийся тесть снова поколотит. Мысль вторая: к Фредеку. На лекциях он не появлялся, у знакомых не бывал. Я зашел к его матери, она ничего не знала. Что же делать? Сторожу в тени арки на Маршалковской, окна над «Соколом» ^[127] у Кальки светятся, там идет игра на сотни и тысячи рублей — ведь что станет делать Фредерик Вельц с неожиданно доставшимся ему богатством? — он *настоящий* азартный игрок, не сможет сдержаться, впрочем, и план предусматривал, чтобы показаться ему то тут, то там с набитым бумажником, ведь двадцать пять тысяч выиграл — а если он и вправду оставил их себе? Курю папиросы, отмораживаю ноги, высматриваю глаза. Фредерик может войти с улицы, может и с тылов, может с боковой лестницы, может со зрителями в «Сокол», а может уже с вечера там торчит и играет. И вот вижу тень его профиля в окне — встал, потягивается, выходит, перерыв между сдачами. Мчусь через улицу, наверх, по лестнице, наверх, слуга Милого Князя узнает меня, возможно, ему приказали не впускать — не знаю, не жду, влетаю вовнутрь, есть Фредек, перепуганный моим вторжением. Прежде чем Милый Князь успел вмешаться, я потянул Бельца в комнату рядом, закрыл двери. «Где моя доля?!» Он мне сердито: я сделал, как договорились, себе взял пять тысяч, остальное у Юлии, она же с тобой рассчиталась. И с понимающей усмешечкой обнимает сердечно: неужто панна Юлия своего жениха обманывает? Вот этого я уже не мог выдержать, этой торжествующей наглости, вырываюсь от Фредека, но он уже вынюхал проигравшего, атакует липкой сердечностью, навязывается со своим ядовитым добродушием, еще и утешать собирается! Нужна вся сила, вся собранная в пружину ярость, чтобы его оттолкнуть, пихнуть массивную тушу. А когда уже пихнул, инерция несет Фредерика к открытому окну, низкий подоконник подрезает ему колени, парень еще пытается хвататься за занавески, те остаются у него в руках, и он падает с высоты на обледеневшую мостовую в коконе этих белых тряпок, и умирает под занавесками.

— И что, вас не арестовали за убийство?

— Вы ведь тоже избежали встречи с палачом. Если, конечно, панна говорила правду.

— Но чем кончилась та история? Кто обманул: Фредерик или Юлия?

— При нем не нашли больше пары тысяч.

— Выходит, она. И что дальше?

— Дальше?

— Наверняка ведь было что-то и дальше.

— Ну, я хотел получить свою долю. Я подумал, пускай хоть такая польза от несчастья с Фредеком: Юлия поверит, будто бы я способен на все, перепугается и отдаст то, что принадлежит мне. Но я даже не мог с ней переговорить. После долгих убеждений удалось уговорить кухарку, чтобы та передала записку. Юлия не ответила.

...В суд на нее я не подам, об этом она прекрасно знала. Мне придется молчать, поскольку я сам себя обвинил бы. Не так ли она все это высчитала? Но! Она не оценила моего

умения сожигать со стыдом. Я отправился к ним в воскресенье, в обеденное время. Ведь при гостях скандала они не устроят. Отец выбежал в прихожую — нужна была всего минутка, чтобы он услышал мои слова, чтобы понял, о чем я говорю.

— Ах! Вы уничтожили ее в глазах семьи!

— Тем более они пожелают сохранить все в тайне, ведь позор в сто раз больший! Зато она, зато Юлия, о, вот она наестся стыда, за который мне не заплатила — так я думал — до конца жизни придется ей стыдиться этих двадцати тысяч.

— Месть!

— Да.

— Но, в конце концов, вы все-таки с панной Юлией помирились.

— Почему вы так считаете?

— Это какая-то станция, мы подъезжаем к станции.

Экспресс старался нагнать опоздание. Называевская осталась за нами уже пару часов назад, согласно *Путеводителю* следующая длительная остановка была запланирована в Омске; наверняка это Омск. Огни постепенно приближались, в ночи нарастало холодное зарево, и жидкая темнота внутри купе посерела. Панна Мукляновичувна проявлялась в ней словно форма, погруженная в становящуюся прозрачной воду: очертания силуэта — корсаж, голова — рука, опирающаяся на оконную раму — прижатые к стеклу хрупкие пальцы — колечко — белизна блузки — темнота бархотки — раскрытые губы — широко распахнутые глаза. Смотрела она с вызовом. Поезд тормозил, она пошатнулась, выпрямилась — не отрывая взгляда. Правда или ложь, теперь пора ей бросить карты на стол.

Елена вздернула подбородок.

— Вы вот ко мне приглядываетесь и думаете: похвалится соплюшка фатальным враньем... А ведь соплюшка не виновна в этой хладнокровно обдуманной лжи.

— Панна Елена, честное слово...

Она стиснула губы.

— Нет никакой панны Елены. Из саней мы вышли на Праге, под Тереспольским [\[128\]](#), замерзшие, перепуганные. Мариолька, пересчитав деньги, сказала, что нам хватит только на самые дешевые билеты, чтобы выехать из Варшавы, а потом нужно будет искать ночлега у чужих людей. За городом ни у кого из нас родственников не было; у меня вообще никаких родственников не было. Не было и речи, чтобы прятаться в Варшаве, люди Бунцвая обязательно нас выследят, бандиты рассказывают ему все, как на исповеди. В буфете третьего класса купили мы себе горячего молока, сидим в уголке, размышляем. Мне пришлось рассказать ей все, больше часа это у меня заняло, и тогда только раз мне в голову пришло, что ведь Мариолька может от меня отвернуться, оставить и уйти, в конце концов, если бы она бросилась Бунцваю в ноги, если бы как-то снова вошла в его доверие, ба, да если бы меня за волосы притащила и бросила в качестве жертвы, она была бы в безопасности, то есть, ей вообще не нужно было бы убежать. Да, она могла так сделать, самый подходящий момент.

...Увидел нас Ясик Бржоз. Что он делал на вокзале? Ясик был из шайки, грабящей на боковых путях Тереспольского направления целые грузовые вагоны, а из пассажирских вагонов первого класса они вырезали плюшевую обшивку, выдирали все, что можно было продать. Он тут же подскочил к нам, схватил под руки, а что вы тут делаете, слово пошло про вас — нам известно, что хотите вы исчезнуть с глаз Гриши — так что! Сам Гриша под властью коновалов, про свет Божий ничего не знает! А слово и мусоркам пошло, полиция за всеми гоняется, охранка, вроде бы, тоже вас ищет, до вечера выискивать вас будут на каждом вокзале! Мы побледнели, словно мел стали. Что там Бунцвай вопил? Что у штабс-капитана Аллы свояк в охранке? Тогда хана, родич не простит смерти Дмитрия, а как Гриша в себя

придет, то тем более на меня все свалит, ведь я же сбежала; и уж наверняка сам Дмитрий свояку про меня рассказал. Тут мало сбежать из Варшавы — скорее, из Королевства бежать следует. А с какими бумагами? Наши остались в «Тропикале», впрочем, они и так только помехой были бы. На то, чтобы новые устроить, несколько дней необходимо, да и кто бы это сделал, каждый спец в городе это дружок дружка Гриши Бунцвая, да и за какие такие деньги, и где бы мы эти бумаги ждали? Ясик тоже в конфликте воровской верности, горло себе чешет, глазками лупает, уж лучше уходите отсюда, я вас тут не видел, а если смываться надумали, так не сидите в третьем классе, сюда заглянут скорее всего.

...Мы перешли в буфет первого класса, к счастью, одежда позволяла. Переждать до ночи, вскочить в какой-нибудь поезд. Но мы же знаем, что на успех ни малейшего шанса, теперь нужно только чудо; идем на дно в китовом брюхе. И на тебе, чудо: две дамочки, сидящие за нами за столиком, спорят про какие-то дорожные документы, якобы, одна из них, та, что постарше, должна была бы специально возвращаться за ними домой, но тут появляются другие из их семейства, и спор прекращается, поскольку с багажами какая-то непонятка, слезы, поцелуи, дети хлюпают — и вот так, от одного подслушанного слова к другому, узнаем мы следующее: некая Елена Мукляновичувна отправляется в компании своей тетки в Сибирь, в санаторий Льда, заморозить чахоточный очаг в левом легком, сейчас они усядутся на московский поезд, а оттуда уже их ждет путешествие на другой конец света Транссибирским Экспрессом; у панны Елены и тетки места в первом классе, давно уже выкупленные, а вот и билеты, едва не забытые.

...Нам что, нужно было обсуждать весь план вслух? Мы только переглянулись, Мариолька подмигнула. Ни о каком выборе, ни о каком другом решении не могло быть и речи — вдохновение принесло сама действительность. За оставшиеся у нас деньги купили два билета первого класса до ближайшей станции — лишь бы только вообще попасть в их вагон. Нужно было только узнать, в каком купе они едут — но с такой шумной семьей от нас укрыться они не могли.

...Как только поезд отошел, стучим в их *compartimente*. Открывает тетка. Мариолька в платке спрятала камень, с пути поднятый. Тетушка получает по лбу. Вскидываем вовнутрь, двери закрываем спинами. Девушка пищит, но тут и паровоз свистит-пищит, впрочем, Мариолька тут же затыкает ей рот, вы же сами видели: у Бельцикувны фигура чуть ли не мужицкая, *женщины*ас силой в руках. Буквально с минутку подергались, Мариолька обернула ей шаль вокруг шеи, я за другой конец схватила, задушили в три секунды. Потом тетку, она еще дышала. Понимаете, тут самое главное было — время, пока не появится кондуктор. Обыскали вещи, одежду, сумочки, где билеты, где бумаги — есть. Спрятать тела — под сиденья и одеялами прикрыть; то есть, я легла и накрылась, как будто у меня горячка, будто слишком я слабая, чтобы сидеть; плед все прикрыл. Стучит кондуктор. Мариолька ему шепотом обстоятельства объясняет, бумаги показывает, мол, панна Елена, смертельно больная, едет в чудесную клинику сибирского Льда, не были бы вы столь любезны, чтобы нам во время поездки никто не мешал, Господь вас отблагодарит, добрый человек — и рубчик ему в ладонь сует. Так что купе мы закрыли. Содрали с трупов одежду, быстро примерили. Другие размеры, в Москве нужно будет быстро сплавить и купить все подходящее для благородной девушки и ее компаньонки. Все драгоценности сразу же поделили. Тогда же нашла я и тетрадочку, в кожу оправленную — дневник панны Елены. Что она там понаписывала — смеяться с этого или плакать — глупые фантазии болезненной девицы, которая мира совсем не знает. Тем не менее, читала я его с румянцем на щеках, словно экзотический роман: вместе с этими фантазиями съела ее душу. Господа из высшего света! Элегантные мужчины, дамы в бриллиантах! Сколько я на них насмотрелась, сколько

раз пережила их жизнь во сне, в мечтаниях, и гораздо сильнее, глубже, дольше, чем они сами — теперь я стану дамой, да что там — выше дамы, невинной панной, белее белых лилий, Еленой Мукляновичувной, что более настоящая, чем сама Елена Мукляновичувна.

...Ждали мы темной ночи и такой пустоши, леса за путями, чтобы никто не видел, как мы выпихиваем тела из окна купе — так что это можно сделать, пан Бенедикт, две женщины способны справиться — и чтобы никто этих тел потом не нашел. Мы выбросили их в лесу, поезд шел через чащобу, наверняка они тут же скатились с насыпи в заросли, а там уже добрались до них звери. А если кто потом и обнаружит обкусанные, гнилые трупы, то никто же не узнает голых женщин без лица, а если кто что и подумает, то именно про нас — а не про Елену Мукляновичувну с теткой, они же по Сибири путешествуют.

...Мы только опасались, а не ожидает ли их кто в Москве; но нет. Все пошло гладко. Правда, первая ночь в Транссибе много нервов нам стоила. Вы же меня видели, ведь не от пудры я была такая бледная, я и вправду думала, что это именно нас разыскивают. Мариолька решила пересидеть в купе, сколько можно, симулируя женские недомогания, чтобы не выдать себя отсутствием манер и некрасивым обращением, опять же, языков она не знает. А у меня есть алиби, я больная, меня пожирает чахотка, мне все можно, пугливая девонька в тени преждевременной смерти, разве не может она играть в преступления и детективов, разве не может выдумывать мрачные истории, чтобы заинтриговать мужчину, истории про убийства, обманы и про авантюрное прошлое? Ха!

Поезд стоял на омском вокзале, в полумраке между фонарями за окном перемещались людские фигуры, сквозь ночь неслись одинокие голоса, иногда просыпался станционный колокол; если же не считать этого, повсюду царила тишина, не стучали колеса, не грохотали машины, не свистел локомотив. Тот, кто должен был высаживаться, уже сошел; кто должен был садиться — уже сел; остальные путешественники вагона-люкс мирно спали. Один раз кто-то прошел по коридору. *Я-оно*ни на мгновение не отвело взгляда от лица панны — нужно ее как-то называть — панны Елены. Она закончила рассказ и легенько усмехнулась.

Правда или ложь?

Холодный электрический свет, наполовину смешанный с холодной тенью, стекал с белых щек, по белой шее, впитывался в кружева и рюши, параллельными струйками спускался по складкам гладкой материи, сливаясь мелким остатком на подоле, на который панна скромно сложила худенькие руки. *Я-оно*подумало о знаках тени вокруг Теслы, о собственном отражении в зеркале. Зато образ панны Елены был свободен от наименьшего даже обманчивого искажения, совпадали линии света и темноты, соответствовали движения и отсутствие движения, все было чинным, правильным, очевидным. Поезд отдыхал на вокзале, поэтому ритмичное покачивание прекратилось, девушка сидела спокойно, выпрямившись, поглядывая немигающими глазами, с головой, повернутой в четверть, с приподнятым подбородком, словно она позировала даже не для фотографии, но для портрета, картины, которую пишет мастер кисти.

Потянулось к коньяку. Как раз сейчас можно было налить полные рюмки. Панна не захотела. Выпило одну; затем, с улыбкой (кривой), еще и ее порцию. Елена не отзывалась, ждала. Чем дольше протягивалось молчание, тем больший банк накапливался на столе. Расстегнуло воротничок. Может быть, просто встать и выйти — нет, ведь это же не ее купе; попросить ее уйти — но как, в голову ничего не приходит, ни единого слова, ни единого жеста — она победила, повернув подбородок на пару десятков градусов, комбинация стройных пальцев на оконном стекле и кожаной туфельки на ковре парализовала собеседника.

Правил игры не знаешь, но, тем не менее, играешь.

*Я-оно*откашлялось.

— Сны туман, лишь Бог не обман, панна Елена, — уже шепотом, очень тихо в этой ночной тишине, хриплым шепотом. — Все, что мы тут рассказываем, рассказываем по собственной памяти, то есть, так или иначе, с правдой тут столько же общего, как и у Мифа с Историей. Я не стану притворяться, будто бы... Ну ладно, Зейцов начал, и это, видимо, заразно, и вправду, не следовало мешать тьмечь со спиртным. Ах, я вам не признался...! Ну что вы на меня так смотрите, я не пьян. Мне хотелось...

...Сны туман, лишь Бог не обман, не кажется ли панне, что все ваше детство, это один большой сон — разве не помните вы его, как помнят сны: обрывками, склеенными без очередности, сцена за сценой без логической связи, в одной я птица, в следующей — рыба, потом — человек, затем снова птица, и самое удивительное — удивительнее всего то, что я совсем этому не удивляюсь, как-то все это проходит гладко, соединяется с собой, накладывается без какой-либо логики, тем не менее — одно из другого *следует*, как цветок следует из семени, как цыпленок следует из яйца, как взрослый человек возникает из ребенка; так же и те сцены развиваются в соответствии с тайными правилами, с мягкой очевидностью, в успокоительной тишине, под теплым светом — сон — детство. Именно так я и попытаюсь вам рассказать.

...Вот сцена, свидетелем которой я не мог быть, но во сне мы видим подобные события, при которых не присутствовали и в которых нам не снится собственное присутствие: чужеземное имение, чужие одежды серьезных мужчин, на столе книга и крест, на которых господа клянутся, а между ними и мой отец. И когда отец говорит, все слушают очень внимательно, кивают, аплодируют и кричат «виват», а под конец отец поднимает руку, и тогда столь сильная эмоция овладевает всеми — в том числе и меня, которого там нет — что воспоминание обрывается, а после него следует уже совершенно иное...

...В котором я плаваю в речке возле леса, а на лугу, в разливе солнца, словно в струях желтого водопада, сидит мама с моей сестренкой Эмилькой; та еще совсем-совсем маленькая, но мы с братом, каким-то чудом почти что взрослые, брызгаем на нее водой, кричим, Эмилька, кувыркающаяся в траве, тоже смеющаяся, хватает пухлыми ручонками щекочущие ее личико лучи, а мать, в большой соломенной шляпе, склоняется над нею; и обе распадаются в этом водопаде на полосы и пятна света, цветастые, радужные — как я это вижу, яркие брызги счастья. Я что-то кричу им, показываю кого-то, стоящего на другом берегу, нечеткий черный силуэт, и тут брат с индейским кличем топит меня. Эмилька исчезает с моих глаз. Во всем этом нет никакого смысла, нет какой-либо правды, и все-таки во сне, в детстве, во сне о детстве очень сильно впечатление, что это был последний раз, когда видел сестру живой.

...Страшное ночное нашествие, с лошадьми, грохочущими по тракту, красными фонарями в темноте, стуком в двери, с грохотом подкованных сапожищ по полу дома, с гневными и испуганными криками — я просыпаюсь, уже мокрый от пота, прислушиваюсь с дрожью. Кого ищут, кого проклинают, кто виновник всех этих криков и бешенства? Филипп Герославский, где Филипп Герославский, говорите, где он! Мы прекрасно знаем, что вам известно! Почему кричат по-русски — ведь это же не Варшава. Но оказывается, что они заехали в наше имение в Вильковке, а обыскивают варшавский дом: я выглядываю на улицу, над крышами дымы фабрик и предрассветное зарево. Ищут отца, всегда и повсюду ищут отца, там и тут. Карета царской полиции стоит перед воротами, усатый *салдат*, похлопывающий лошадь по шее, поднимает голову и глядит прямо на меня, он заметил детское лицо в окне, вытягивает руку — хотел приветствовать? подозвать? погрозить пальцем? Я, перепуганный, отскакиваю и больно падаю на пол. Ищут отца, все время ищут отца!

...А теперь мы на престольном празднике, в людской толпе, в говоре и музыке, между животными, грязными крестьянскими детьми, бегающими босиком — а я же в воскресном костюмчике иду рядом с фатером, с ладошкой, замкнутой в его руке, настолько маленький, что приходится задирать голову, чтобы увидеть, улыбается в этот момент папа, или же на его лице мрачное выражение; чаще всего именно это, второе. Мы идем от прилавка к прилавку, все отцу кланяются, он останавливается, чтобы поговорить то с тем, то с другим, с войтом, с приходским ксендзом, тот гладит меня по голове. Я размышляю, а откуда все эти люди отца знают, раз его никогда нет, мы так редко его видим, наверное, к чужим он людям чаще заходит? Очень долго думаю над тем, как его об этом спросить, но в конце, конечно же, не говорю ни слова. Отец заботливо склоняется — не хочу ли я леденцового петушка? Киваю головой. Отец торгуется с мужиком. Кто-то, повернутый к нам спиной, громко ругается, ужасно матерясь; отец его за это громко отчитывает. Тот, крестьянин с папиросой в губах, глядит на меня с высоты с ненавистью, не помню более чистой ненависти на человеческом лице. Я прячусь за отца. Тот упирает мужику палец в грудь, придержите-ка свой язык черный при детях и женщинах, нехорошо в божий праздник вы поступаете. И чем сильнее отец его распекал, тем сильнее этот мужик меня ненавидел. Я расплакался. Отец рассердился и отвел меня к матери, тормоша за ухо. Петушка, конечно же, он не купил.

...Церковная тайна, под крестом Христовым вышептанная — в костеле, потому что здесь нас никто не подслушает, а ведь ты уже большой мальчик, должен понимать некоторые вещи. Это мне мать шепчет, когда мы сидим одни на пустой лавке, после пикника. Секрет, тайна! Возбужденно слушаю. Мать улыбается, чтобы отогнать детские страхи. В один прекрасный день ты все поймешь, говорит она, будешь отцом гордиться. Но мы живем в недобром свете, люди Бога распяли, Господа Нашего, люди много зла один другому творят, одни других угнетают, а более всего тех, кто осмелился за угнетенных голос поднять — как твой отец. Отец ничего не боится, шепчет она. Да, отец ничего не боится. Есть люди, которые его ненавидят за это, говорит она. Вспоминаю мужика на престольном празднике — ненавидят, ненавидят. Мать склоняется ко мне. Если тебя спросят, если кто-то чужой спрашивать начнет — ты ведь ничего не скажешь, правда? — потому что не видел, мы же отца уже много месяцев не видели, с тех пор, как в город переехали, мы его не видели. Я понял, что должен лгать. Мать ничего не подсказывала; я сам торжественно перекрестился и, прижимая ладонь к сердцу, поклялся с тех пор фальшивые свидетельства давать. Мать тихонечко рассмеялась и поцеловала меня в лоб.

...Сон во сне во сне, панна Елена, и нет никакого способа их отличить. По вечерам, когда мы уже лежали в кроватях, брат любил мне рассказывать необычные и возбуждающие истории, которые, как он утверждал, на самом деле приключились с отцом: как он на конвои царские нападал, освобождая захваченных русскими поляков; как он из тюрьмы бежал, как из поездов золото захватывал (понятное дело, на добрые дела его предназначая), как с другими героями в их тайных укрытиях огромное восстание готовил, накапливая оружие и порох, как ездил он с посольствами к королям в Европе и во всем мире, склоняя их к Польскому делу отважным и разумным словом. Брат выдумывал, а может чего подслушал из разговоров взрослых, может быть, услышал уже придуманное другими детьми; так или иначе, потом мне все это самому снилось. Но, может, все случилось на самом деле, я же видел сны про рассказы брата. Я видел отца в ночной погоне на лошадях — видел в лесной битве — видел на уличной баррикаде — видел ораторствующим под золотыми гербами — видел с ружьем в руках — видел в странном, фантастическом мундире бело-красного цвета. Мне приходилось лгать, так никто бы мне не поверил, так бы меня просто высмеяли.

...И все-таки он приходил, на самом деле приходил, ночью, когда никто не видел,

прокрадывался через окно, или через подвал, или с крыши, либо тихонько стуча условленным стуком, а мать, завернувшись в черную шаль, открывала ему, не зажигая света. Сразу же, не говоря ни слова, она вела его в дом, они исчезали в темноте. Видел ли я это? Мог ли видеть? Может, мне снилось, будто бы я видел? А солдаты с жандармами тоже не прекращали свои неожиданные приходы, иногда один-два, иногда вежливо, иногда же с шумом и угрозами. Как-то раз на улице привязался к нам толстячок в слишком большом для него котелке, он даже конфетами угощал: а если, детки, хотите поделиться какой-нибудь тайной... папочке вашему опасность грозит, если мы вовремя его не найдем... вы же не хотите папочке зла, правда? Он раздавал визитки, детям и взрослым, кому попало, совал сладости в карманы. Он мне тоже снился. Какое-то время я боялся всех мужчин в котелках — найдут папу и заберут его.

...И все-таки он приходил, то ли это была одна ночь или несколько различных ночей, видимо, я сбегал со второго этажа, подглядывал, спрятавшись в тени, раз помню: его быстрый, тихий шаг, и объятия, в которых он поднимал мать в воздух, мне казалось, будто он выжимает из нее всю жизнь, та цеплялась за его одежду, клала палец на его губах; один раз она обнаружила у него за поясом револьвер с длинным стволом, он тут же вырвал его у нее. Еще я видел, как он уходил, слышал в предрассветной тишине их спешный шепот, адреса, фамилии, дни, часы. Я слушал очень внимательно: ведь это были секреты, которые мне нужно было сохранять; но ведь вначале их необходимо было узнать, чтобы потом их не выдать, обернуть в ложь — ведь правда?

...Другой ночью, а может и той же самой, ворвались без стука, выламывая двери, разбегаясь по дому, мне пришлось убежать по лестнице и сразу в постель, пока меня не заметили. Какой-то другой ночью... нет, это не могло быть на втором этаже, потому что там мы спали с братом и Эмилькой, нет, никак на втором, ведь зачем бы отцу туда входить, зачем сюда бежать?... той ночью он пришел чуть ли не с какого-то бала, во фраке, с подстриженной бородой, с белым галстуком-бабочкой. Есть тут какой-либо смысл? Ну что, черт подери, он делал на балу, прячась от полиции? Когда они вскочили с криком — Филипп Герославский, где Филипп Герославский? — он побежал по коридору в комнату Эмильки. Зачем? Мать бежала в одну сторону, служанка в другую, с задней лестницы выскочил толстый жандарм с фонарем в руке. Двери открывались и закрывались, мать повернула с лестницы, жандарм вдруг громко заорал, бах, бах, бах, раздались выстрелы, на что снизу ответили другие крики, и на пороге комнаты Эмильки появился отец с револьвером в руке. На его бальном костюме поблескивало несколько красных пятнышек. Он увидел маму, увидел меня — значит, я там был! То есть видел все своими глазами! — и гневно меня оттолкнул. «Забери его!» Мать потянула меня в спальню. Отец сбежал. В комнате Эмильки нашли застреленных жандарма и сестренку.

...Панна Елена? Есть ли в этом смысл вообще? Ведь не держится же все это кучи! Сон, сон, кошмар. Что я вам... Впрочем, если бы я действительно был пьян... О! Прошу прощения.

Дали сигнал к отходу, локомотив засвистел, засопел и дернул состав. Экспресс выезжал с омской станции. На оконном стекле попеременно разливались пятна света и мрака, по мере того, как вагон проезжал мимо очередных фонарей; интервалы делались все короче, пока, наконец, не победил мрак, когда вагон оставил за собой последний фонарь. Туук-тУУК-туук-ТУУК, тук-тук-тук-ТУК, спасения не было, азиатская ночь — клуб чернильной жидкости, расплывающийся в воздухе — заполнила все купе, опала на ковер, заклеила черным крепом обивки и деревянные панели, развалилась на кровати, обернула угольной вуалью панну Елену, которая (нет, это было совершенно не по-человечески) все это время, слушая, ни разу не пошевелилась; теперь же вздрогнула, когда из этой неподвижности ее не вывело движение

поезда. Сделала ли она какой-то жест или просто пригладила юбку — *я-оно*не увидело, темнота затопила все купе вместе с панной Мукляновичувной, темнота мрачающая, наитемнейшая.

— Панна Елена, ведь вы мне не верите, правда? — Ощупью *я-оно*потянулось к практически пустой бутылке с коньяком. В темноте брякнуло стекло. — Это не алкоголь, я не пьян, все это та тьмечь. Вы меня слышите? — Поезд ускорял ход, *я-оно*подняло голос. — Я вас очень прошу! Вы выиграли, я сдаюсь. Я бы пал к вашим ножкам, но... Но. Сон туман, один Бог не обман, я не могу это объяснить, ведь ни на мгновение мне в голову не приходило, что отец хотел Эмильку убить, что это не был только чудовищный несчастный случай, безвинная смерть, так что никак этого объяснить нельзя, вы же видите, я пытаюсь, но что я могу, что могу, бормочу тут без всякого смысла, как раз это те самые вещи, которые невозможно рассказать другому человеку. Так почему же это сделал — а может, и не сделал — сколько мне было тогда лет, шесть, семь, Боже мой, когда сейчас я пытаюсь себе представить: оттачивающий то самое письмо ночью, при свечке, в страшной тревоге, что вот-вот кто-нибудь войдет и застанет, но никто не застал; детской кириллицей старательно выводя адрес на конверте, высунув язык, с пальцами босых ног, поджатых в возбуждении; дышащий на бумагу, размазывающий кляксы, тысячекратно проверяющий каждое слово и предложение. «Где находится Филипп Герославский» На обороте даже карту нарисовал. Его схватили в следующее воскресенье.

...Но, естественно, схватить его могли совершенно случайно, могли и без моей помощи, ведь они уже были очень близко, какие шансы, что письмо вообще дошло куда следует, что я правильно запомнил адрес с визитной карточки Господина в Котелке, какие есть шансы, будто кто-то поверил в анонимный донос, выписанный каракулями, ну, скажите же. Впрочем, сколько это лет прошло — отец не написал мне ни разу. Я ему тоже не писал. Не знаю, выдал ли он что матери, она никогда не призналась, и все же, если на следствии ему сказали, если показали ту анонимку... мог ли он догадаться? Как вы считаете? Панна Елена? Панна Елена. Панна Елена!

Правда или ложь?

О светлых и темных сторонах похмелья (светлого и темного)

*Я-оно*глянуло в цилиндр интерферографа: свет, свет, свет, свет, свет — столько же правды и неправды, что и солнечных бусинок, то есть много.

Осторожно коснулось виска, где утреннее похмелье выбивало свой ритм — бум-бум-бум-БУМ. Ночью, во сне, он успел сыгаться с ритмом колес Экспресса; после пробуждения услышало второй поезд, машину, разогнавшуюся на внутренних поворотах черепа, от лба до темени. Проезжая левый висок, она с грохотом проскакивала соединение мозговых рельсов: это и было четвертое БУМ. Ведь выпило всю бутылку коньяка — панна Елена прекратила после трех рюмок — а потом, когда она ушла, *я-оно*открыло еще и джин. Опять же, не следовало бы забывать про водку Зейцова. Ничего удивительного, что плело все, что слюна на язык несла.

*Я-оно*спрятало интерферограф, подвинулось с постели. Над миниатюрной умывалкой промыло рот. В зеркале показалось небритое лицо с распухшим носом и засохшим струпом на губе. Взяло туалетные приборы, набросило халат. Сколько времени? Без часов трудно оценить даже пору дня, когда за окном, над грязно-зелеными равнинами висит такое свинцовое небо — куда не глянешь, небо, куда не глянешь, равнина, Сибирь. У самого горизонта безбрежную степь отделяет более темная линия леса; скоро Транссиб снова въедет в тайгу. На фоне зелени — когда вот так смотрело, растирая глаза — переместилась черная точка: конь, всадник на коне, туземец в звериных шкурах и длинной палкой у седла. Какое-то время он мчался галопом параллельно Магистрали, потом исчез, как будто бы сквозь землю провалился. Глянуло в *Путеводитель*. Вторник, двадцать второе июля (по российскому календарю — девятое), то есть, если на обед еще не звали, это означает, что Экспресс находится где-то между станциями Татарская и Чулымская.

Закрыв купе, отправилось в ванное отделение. Первое из них было свободно. Покрутило золоченую арматуру, вода ударила в оправленную мрамором ванну. Здесь имелось только одно маленькое, овальное окно; молочно-белое стекло быстро покрылось паром, и Азия до конца убралась за границы европейского мира вагона класса люкс. Ту-тук, хлоп-хлоп, погрузилось по шею. Раз уж нельзя очиститься на самом деле, пускай хоть тело будет чистым. Грязь с кожи сойдет легко — а вот то, что залегает в голове...

Эта игра и не могла закончиться добром — на какую бы сторону не упала монета, правды или лжи — ведь произнесенное слово, правдивое или лживое, остается с нами: пока мы о нем помним, абсолютной правдой будет для нас то, что мы его высказали. Не в этом ли, по сути, и основан феномен Святой Исповеди? Не считается грех, но слово о грехе. Не жизнь, но слово о жизни. Не человек, но слово о человеке. Не правда, но слово о правде. О том, что сделали. О том, чего не сделали. О добре, о зле, обо всем, о чем можно исповедаться. О... о... о...

Действительно ли после перехода границы Страны Лютов, когда интерферограф Теслы покажет двухзначную логику света, здесь проявится некое видимое изменение? Ведь люди и дальше будут лгать без всякой умеренности. Ведь не приобретут они чудесным образом способность распознавать правду.

И тогда, есть ли смысл спрашивать про «правдивую» панну Елену Мукляновичувну? И все же, *я-оно*не могло прогнать из головы эту мысль, она все время возвращалась, словно поезд, курсирующий внутри черепа, один оборот за другим, и еще раз, и еще, хотя стучит в

висках, хотя неприятный вкус в губах, и снова:

То ли варшавская хитрюга, дочка дубильщика, вышколенная блатным Бунцваем, воровка и убийца, с помощью такой же хитрюги Мариольки, изображает обманную Елену Мукляновичувну? — или же Елена Мукляновичувна, угнетенная многими годами болезней, впечатлительная девочка с чрезмерно развитой фантазией, обманно представляет бунцваевскую хитрюгу, кровавую мошенницу?

Экспресс еще не добрался до Зимы, еще длится поездка, правда еще не замерзла — так что обе мадемуазели одинаково правдивы.

*Я-оно*обмылось холодной водой, пока в кожу не вонзились ледяные иголки, и дрожь отрезвления не пробежала по телу. Протерло покрытое паром зеркало. Во всяком случае, свет и тень успокоились, нет ни следа после вчерашнего потьвета. Какими эффектами проявляет себя похмелье после зарядки теслектричеством? Вполне возможно, что и сам доктор Тесла никогда не испытал такого, день за днем накачиваясь тьмечью, всегда еще до того, как закончилось влияние предыдущего сеанса.

Во время бритья *я-оно*сцарапало струп с губы. Губа быстро заживет; гораздо хуже с носом. Лезвие атаковало кожу под тщательно приложенным углом, в качающемся вагоне нужно было бы проявить совершенно цирковое искусство, чувство скрипача-виртуоза. Удастся — или не удастся, но тогда кровь на лице.

С бритвой у щеки *я-оно*начало напевать какую-то плясовую мелодию. Откуда этот неожиданный прилив хорошего настроения? Ведь для него нет никаких причин, все причины — против. Может, только панна Елена — ведь еще два дня совместной поездки — ха, тоже мне, повод! Обмыло лицо. На губах возникла кривая, неприятная усмешка. Панна Елена, обе панны Елены, постарше и помоложе. Что пришло из памяти, не является ни правдой, ни неправдой. (Поезд в черепае переехал с одного пути на другой). Тогда из меня выкачали почти всю тьмечь. Память прошлого — прошлое в памяти — иная память, иное прошлое — какая же ложь, более правдивая, чем правда, заключена во втором зашифрованном письме?

Быстренько запахло и завязало халат. В коридоре увидело идущего с противоположной стороны господина Путина. *Я-оно*отступило, чтобы пропустить его перед ванными. Тот сделался багровым как свекла, буркнул что-то, извиняясь, отвел взгляд от побитого лица. *Я-оно*сглотнуло стыд — совершенно физиологическая деятельность, что-то проплыло от головы, вдоль позвоночника, до самых пяток: некий горячий яд, от которого деревенеют мышцы, натягиваются сухожилия, и кислота заливает внутренности.

У себя в купе скрыться не успело — со стороны перехода показался проводник, не толстый Сергей, а из другого вагона первого класса.

— Ваше благородие! — воскликнул он, подняв при этом руку, потом подбежал. В руке у него был бумажный лист, сложенный маленьким квадратиком. *Я-оно*глянуло, когда тот представил его на раскрытой ладони, словно на подносе для писем. — Мадмазель весьма настаивала, чтобы как можно скорее.

— Сколько времени? Мадемуазель Мукляновичувна на завтраке?

— Нет, нет, милостивый сударь, это мадмазель Филипов, из восьмерочки второго вагона. Передав письмо, он поклонился. *Я-оно*схватило его за руку.

— Что это?

— А что?

— Откуда это у тебя? — рявкнуло, дернув проводника раз и второй, пока мужик не вырвался с весьма оскорбленной миной. Отступив на шаг, он одернул материал цветной куртки, поправил аксельбанты.

— Этот вот перстень, — указало пальцем. — Покажи!

Тот осторожно протянул сжатую в кулак руку. Блеснул гелиотроп с гербом Кораб.

— Уверяю вас, ваше благородие...

— Откуда он у тебя?

— Нашел.

— Где?

Тот пожал плечами.

— На смотровой платформе, в самом конце состава. Лежал... в щелке, среди всякого хлама.

Я-онорассмеялось. Правадникхмуро хлопал глазами, уверенный, что смех направлен против него. Замахало руками, чтобы его удержать, как можно скорее открыло купе и нашло бумажник.

— Даю тебе за него десятку.

Проводник задумался.

— А ну как начальник узнает...

— Пятнадцать.

Сошлись на восемнадцать. Вытерев замшевым лоскутком, сунуло его на палец. Он сидел так же хорошо, что и три дня назад, то есть идеально. Потом завязывать галстук, задрав подбородок над жестким воротничком, выпрямившись — кого видело в зеркале? Графа Гиеро-Саксонского с рожей в синяках.

Первым делом, перед тем, как идти на люди: разбить к черту все зеркала.

Дело второе: никогда не говорить два раза одну и ту же ложь или ту же самую правду. Нельзя заново войти в одну и ту же реку, невозможно войти в одного и того же человека. Только кто это поймет? Кроме панны Елены — никто. Все притворяются, будто бы произошли из одного прошлого, ба, они даже ссорятся по причине этого прошлого: не так все было! я помню лучше! Трудно найти большую глупость. *Я-оно*вынуло из ящичка смятое расписание поездки. На листе было записано второе письмо отца — восстановленное по памяти после сеанса доктора Теслы.

ZCZQPQAMKEDJWROXUUX
IBJUWKBVJJMMWTYDPXNB
TWJJPWUPGRSPTGEKNKMUX
TIVSLRGZCRSLGDRKNKEA
WKZIZFBXVSEMSIZFSEDL
KJCQPCFDEXQRKXOEEXEIZ
CUELTMDHABBTWULJMTQI
VWOZBEBLTAXNCOBLIZNJ
MKWYWNCOKKXYVBXOWEGE
WTKWOPKXSUZDLVUEZZKA
WFWDCZQMAMODYZNFDIUE
EM

Я-оно переписало его на чистом листке. Следовало предположить, что метод шифровки идентичен первому письму. Но здесь выявление регулярных последовательностей шло уже не так легко — KNK, KNK, чего еще больше? Отступ в 21 знак — пароль из трех-, семи- или двадцати одной буквы. Следовательно, необходимо разбить письмо на 21 алфавит... Не имеет смысла. Чего-то не замечается, что-то здесь должно уходить от нечетко нацеленного внимания. А другие повторения...?

А может это всего лишь банальное похмелье, побочный эффект — может, это и невозможно расшифровать без заряда теслектричества в теле, без протока тьмечи в мозгу. Нужно растемнить башку, только потом...

Хватит!

Экспресс, не останавливаясь, проехал станцию Кожурла. Небосклон несколько прояснился, палитра света, стекавшего на землю, уже более соответствовала летней поре: немного желтизны, чуточку синевы, кое-где ослепительная белизна — световые столбы, пробитые невидимыми тучами. Даже звук колес состава звучал как-то по-другому, более мягко, глухо, протяжнее: длук-длук-длук-ДЛУУК, длук-длук-длук-ДЛУУК. *Я-оно* открыло окно, выставило голову. Ветер растрепал волосы, глянуло в сторону хвоста поезда. Тот слегка поворачивал, ясно была видна линия идущих за горизонт рельсов. Когда так глядело, в небесах провернулись фильтры божественного фотопластика [\[129\]](#), и прямо на пути за Экспрессом свалился столб солнечного сияния, словно бы ангелы направили на эту точку свои прожектора; и тут же вдоль рельсов заиграли цветастые радуги, вспыхнули желто-зеленые, фиолетовые, розовые, пурпурные рефлексy, мерцающие ленты, словно полосы *aurora borealis* [\[130\]](#), только не на северном небе, но растянутые на путях Транссиба. Длук-длук-длук-ДЛУУК. Стало понятно, что поезд движется уже по зимназовым рельсам, что это

уже край Предзимья, сегодня или завтра он въедет в Царство Льда. Я-оноинстинктивно нащупало интерферограф во внутреннем кармане пиджака, Гроссмейстер явственно выступал за ремнем под жилеткой. Другой инстинкт руководил пальцами, которые нервно повернули гербовый перстень то в одну, то в другую сторону. Поверни перстень, произнеси желание. Я-онозакрыло окно. О, щедрый джинн, заberi меня из этого проклятого поезда! С панной Еленой или без нее. Кто-то постучал в дверь. Открыло. Зейцов.

— Добрый день.

— А, так, так, приветствую, в чем дело?

Тот несколько смешался, встретив подобную сухость. Прочесал пальцами волосы, уже не такие всклокоченные, как вчера; и вообще, выглядел он вполне пристойно, если сравнить со всегдашним состоянием Филимона Романовича Зейцова, даже костюм какой-то свежий надел, светло-бежевый, в красную полоску, правда, ужасно безвкусный — но чистый; и по бывшему каторжнику никак не было заметно вчерашней пьянки; он глядел осознанно, глаза не натекали кровью, голову он держал прямо. Вот только был он сильно сконфужен и стоял сейчас на пороге, сжимая себя за локти, пялясь по сторонам, словно бы забыл, зачем вообще стучал в двери.

— Ну, говорите же! Ведь уже... а собственно, сколько у вас времени?

Зейцов вынул часы.

— Начало двенадцатого.

— Ага, выходит, скоро обед. Так? Слушаю?

Тот почесал шрам, оставшийся после отмороженного пальца, и вдруг поднял взгляд.

— Я к вам с просьбой, Венедикт Филиппович. Можно войти? Простите, как-то трудно собраться здесь, в коридоре... Впрочем, извиниться, опять же, должен, да, с самого начала, извиниться, да. А за что? А за то, что вчера наболтал, ведь ничего не знал про отца вашего, вы должны поверить, если бы знал...

— Да войдите же, войдите. Только в чем, собственно, дело? Потому что никак не пойму. Какое вам дело до моего фатера?

— Так ведь уже сегодня, за завтраком, благодарствую, сегодня все уже об этом сплетничают; не то, чтобы в обществе там крутился и сам в разговорах участие принимал, гы-гы, сами же знаете, как оно бывает: бывший каторжник, пария на всю жизнь; но тем сильнее прислушиваюсь, и что с вечера забыл, так сегодня и вспомнилось, как услышал их рассказы, особенно, госпожи Блютфельд, которая рассказывала историю отца вашего...

— Ах! Выходит, *Frau*Блютфельд рассказывала историю отца! Тогда уже весь поезд знает, иначе и быть не может. Вы говорите, говорите.

— Отец Мороз, так называли, Отец Мороз. С лютами разговаривает, представьте, и что он им шепнет, то люты и выполняют, и такой вот порядок Зимы на Землю ложится, так по слову отца вашего Лед протекает по землям и народам, и вот теперь, вы зачем в Сибирь едете?

— И зачем?

— Ну да, вот тут извиниться я должен, не сердитесь, Венедикт Филиппович, вы же не будете сердиться, правда? Я же вижу, что вы человек хороший.

— Да с чего, черт подери, я должен сердиться?

— Ой, ой, уже сердится, вот душа горячая! — Зейцов засопел, скривился, нервно глянул за окно. При этом он передвинулся на кровати, лишь бы подальше, и снова начал чесать свои шрамы. — Видите ли, если бы вчера вечером я не наболтал, что наплел, про Авраама, про Историю, про оттепельников с ледняками, а прежде всего — про Бердяева... А они же слышали, один другому повторил с пятого на десятое, и вышло так, представляете, что мы с вами разговаривали, что не я говорил, а мы беседовали — и кто конкретно чего сказал, никто

и не помнит. И теперь оказывается, будто вы рассказывали про свои планы.

— Что?

— Ну, значит, зачем вы туда едете.

— Погодите, Зейцов, видно, меня мучает страшный *katzenjammer* [\[131\]](#), поскольку ничего не могу понять из ваших слов, вы все крутите, словно еврей вокруг свиньи, возьмите себя в руки и прямо скажите: что за планы?

— Ну, чтобы Историю заморозить.

— Это как же?

— Сын с большой земли к Отцу Морозу с вестями едет, как повернуть ход истории, подо льдом замороженной: туда или сюда. Ну... Так уж вышло. — Он жалобно вздохнул. — Простите, Венедикт Филиппович?

Я-ономолча глядело на него.

— Ой, сердитесь, я же вижу, что сердитесь.

— Вы знаете, это проклятие прямо какое-то.

— А?

— Нет такого дня в этом холерном Экспрессе, чтобы не лег спать одним человеком, а проснулся — другим.

— Ну да, люди меняются, — покачал головой Зейцов.

— Да не в этом дело. А, впрочем...! Говорите уже, что за просьба.

— Так вы же меня еще не простили!

— Что вы все со своим прощением! Неужто одно слово чужого человека так на совести вашей висит! Прямо какая-то мания милосердия!

Зейцов поглядел без тени улыбки.

— Видать, вы еще не понимаете, какую обиду я вам, не желая того, нанес. А прощение — прощение это самое первое дело, без прощения нет жизни, нет, и не может быть, счастья, ведь как это вы себе представляете: радоваться собственным удовольствиям, радоваться своим радостям, когда вы знаете, что кто-то против вас таит справедливую обиду, потому что страдал и сейчас страдает за ваше дело? Так что же это за радость — все равно, что пировать в присутствии умирающих от голода бедняков, у которых харч этот изо рта отобрал, тогда никакая амброзия сладкой не покажется. Все начинается с прощения, ибо, с другой стороны, когда сам таишь в сердце ненависть или даже легкую неприязнь против кого-то, так можешь ли ты откровенно радоваться пускай даже самому малому? И видно это более всего, понятно, в делах самых крупных: если кто врагу смертельному отомстить поклялся — проходят годы, вот у него уже дети и внучата, людского уважения добился, имение нажил трудом своим, так вот радуется ли это его, станет ли он в покое к смерти готовиться, глянет ли с улыбкой Богу в лицо, нет, ведь при жизни он и цветочка не мог понюхать, чтобы тут же лоб морщинами не пошел, чтобы губы не скривились, и черная туча на лицо не нашла: сама только мысль о возможном счастье врага уничтожала счастье собственное. Потому так важно, чтобы уже с малых дел прощение начать воспитывать. Ведь оно так же практикуется, как искусство конной езды или там стрелковое умение — ведь не остановишь человека первого попавшегося на бульваре и прикажешь: а ну-ка подстрели мне воробья за сотню шагов. Не подстрелит. Точно так же и с заповедью любви к ближнему. Большая это ошибка — крупнейшая! — когда человек принимает ее словно имперский указ: со вторника все ездим с правой стороны, со среды — всем прощаем. А ведь именно так часто говорят священники, так говорят детям воспитатели, сами плохо воспитанные. В прощении же необходимо тренироваться, как спортсмены тренируют свое тело в атлетике, то есть, годами, в труде, в поту и крови, от ошибки к ошибке, не бросаясь сразу же к рекордной

штанге, но начиная с малейших нагрузок: прости невежливое поведение, прости неуклюжесть, проси прощение за нечаянное злое слово. Так воспитаешь в себе мышцы для поднятия прощений, которые раздавили под собой миллионы нетренированных.

...Я вас прошу, Венедикт Филиппович: простите меня.

Я-оно невольно опустило глаза, рука остановилась на жилетке. Вазов — как же его там звали? Юрий? Успел ли он ответить перед смертью? Кровь заливала его рот, он говорил, только *я-оно* его не слышало.

Тряхнуло головой.

— Видимо, вы, Филимон Романович, слишком высокого мнения о людях. Многие, ба, большинство, если не все, не имеют никаких проблем, счастливо живя в не прощении.

— Вы так считаете, так считаете...

— Ну ладно уже, хорошо, — *я-оно* склонилось вперед, стиснуло его колено, — я прощаю вас, прощаю.

— Вы вот думаете: ну чего тут сложного, слово сказать — сказать можно все; вы так думаете.

— Да хватит уже. Что у вас за просьба?

Тот вздохнул глубже — дыша, выбрасывал из легких воздух, пропитанный затхлостью злых мыслей, удалял экскременты души, непереваренные страхи.

— Ну так, так. Прогоните меня, можете прогнать, но должен я вас попросить, хотя, сами видите, трудно мне собраться с подобной настырностью. — Он опустил взгляд. — Вот скажите мне: вы помните, что я рассказывал вам про Ачухова, об исправлении мира по Божьим заповедям, о революции духа — помните?

— Говорили, помню.

— Так вот... Так вот, просьба моя такая: когда уже будете говорить с отцом вашим, шепните ему словечко и об этом.

Поначалу *я-оно* ничего не поняло.

— О чем?

— О таком пути Истории — только об этом вас прошу — чтобы дать России шанс, чтобы у людей был шанс стать свободными перед добром и злом, а уже Царствие Божие, если наступит, когда наступит...

— Вы с ума сошли!

— Ой.

— Или снова напились с утра. Вы же только что извинялись передо мной за то, что с ваших слов сплели лживую сплетню на меня и фатера моего — а теперь сами говорите, что верите в эту сплетню?!

— Сплетня сплетней, Венедикт Филиппович, я же не говорю, что у вас было такое намерение, что именно за тем вы на Байкал едете — но раз уже это вслух обсуждают, а ведь вы относительно отца ни в чем отрицать не стали, так почему я не могу попросить? Не захотите, так и выполнять не станете. Только что вам в этом плохого? Все равно же говорить с отцом будете, а он, вы сами сказали, с лютами беседует, а о чем — мы не знаем, и действительно ли Отец Мороз заведует Морозом — тоже не знаем, так что тут плохого, если я попрошу, чтобы он словечко замолвил за доброе дело, ну, *гаспадин* Ерославский, тут же ничего сложного, а если бы и вправду с вашей помощью время России наконец-то повернулось бы к эпохе духа...

— Вы поверили! — *Я-оно* схватило за голову. — Да что же это такое! Что за бред! Вы же сами знаете, что это ложь, и сами верите!

Зейцов прикусил ус.

— Не мне обсуждать с вашим благородием о правде, когда только-только в пути познакомились. Может, сплетня и ошибается; может, вначале она лишь ошибочной была, но, услышав ее, со временем вы ее в правду обратите; но, может, она с самого начала была правдивой. И прощения я просил не за ложь — ба, тем большая кривда для вас, если это правда. Нет такого закона, что госпожа Блютфельд никогда неправой быть не может.

— Не вам это обсуждать, — сухо повторило *я-оно*. Вынуло папиросу, закурило. Тяжелой пепельницей стукнуло по столешнице. Зейцов потерял глаза, в которые попал дым. *Я-оно* закинуло ногу на ногу, сбilo пепел. — Ну ладно! Я скажу вам, как оно на самом деле! Зачем я еду в Прибайкальский Край? Ради двух тысяч рублей. Тысяча авансом и другая тысяча — потом. Мне заплатили, вот я и еду. Меня наняло Министерство Зимы. Еду, чтобы поговорить с Отцом Морозом для Раппацкого. Вот вам и заведующий Историей. А хотите знать больше? Ни черта я не верю в эту дурацкую бердяевскую метафизику, и плевать мне на все это с высокой колокольни: если мне имперская Зима заплатит еще одну косую, то я уболтаю папашку даже на то, чтобы Иван Грозный вернулся. Ну и? А?

Филимон Романович Зейцов с трудом поднялся. Повернулся, чтобы выйти, только ноги запутались в узком проходе, и когда вагоном сильно тряхнуло, ему пришлось наклониться и опереться вытянутой рукой о стенку; склоненный, он шепнул рядом с моим ухом: — Простить, вот самое главное, с этого начните, с прощения, — затем толчком направил себя к двери. Он хотел еще поклониться, только в тесноте у него не совсем вышло. После этого он отступил спиной, чудом не столкнувшись с кем-то в коридоре.

Я-оно растирало лоб вспотевшей ладонью. Луб-луб-луб-ЛУБ, черт, все это из-за ужасного похмелья, и чего было так выступать, ведь у пьяницы давно уже шарики за ролики зашли, болтает всякое, только сам дураком будет тот, кто дурака слушает. *С этого начните, с прощения*. И за что просить, и у кого? А шептал он это с такой медовой жалобой в голосе, с таким плачем в груди, словно осужденного под эшафотом в истинную веру вернуться убалтывал. Пьянь блаженная! Наверняка он преувеличил силу этой сплетни блютфельдовской бабы, как и все остальное. Да и кто мог слышать эту нашу вчерашнюю беседу под водку? Панна Мукляновичувна. Под самый конец, еще доктор Конешин, и кто там еще подошел от бильярдного стола. Может, Дусин, только ведь он в глубине прятался. Кто-то ближе сидел? *Я-оно* не помнило. *Fraud* должна была получить версию из вторых, если не из третьих рук; правда, это ей никогда не мешало...

— Можно? Пан Бенедикт? Тук-тук.

Глянуло. Вспомнишь черта, а он тут как тут...

— Прошу.

Елена прикрыла за собой двери.

— Услышала возбужденные голоса и подумала, что вы уже встали.

— Весьма верное умозаключение. Правда, ведь я могу быть редким примером сомнамбулического чревовещателя, вот это был бы уже твердый орешек для Шерлока Холмса.

— Что это вы сегодня такой язвительный?

— Ничего. Похмелье.

— А!

Сегодня она была в блузке из черного шелка, которая очень соответствовала черной юбке; вместо бархатки с рубином шею оплетала двойная нитка жемчугов, спадая на жабо из черного тюля. И этот черный цвет, и корсет, который, как казалось, еще сильнее стискивал узкую талию девушки, и оправа темной туши на карих глазах, и яркая помада на губах — все служило тому, чтобы подчеркнуть бледность кожи Елены и хрупкость ее тела. Она не

больна, подумалось, но насколько же успешно она навязывает ложь о своей болезни — не говоря ни слова. *Я-оно* отвело взгляд.

— Прошу прощения за то, что ночью...

— Да что вы! Мы же заранее знали, разве не так? Вы же сами предупреждали.

— Что?

— Что будем лгать.

— Так вы лгали?

— *Naturellement!* [\[132\]](#)

Правда, при этом она иронично улыбалась, прижав пальчик к краешку губ, прищурив глаз. *Я-оно* выдуло дым под потолок.

— Гляжу, вы никогда не пасуете.

— Ммм?

— Хорошо, так в чем снова дело? Про завтрак можете не говорить: проспал. Или господин Фессар доставил какие-то неприятности?

— Господин Фессар ходит в такой смешной феске, под ней бинты, ни слова не сказал. А вот от княжеского стола пришел вопрос относительно вас, стюард спросил у Блютфельдов, так что новая сплетня. А что, собственно, князь Блуцкий-Осей к вам испытывает, пан Бенедикт?

— Чтоб я так знал. Презрение, ничего больше... Кстати, о сплетне. Зейцов мне тут нарасказывал, якобы наш вчерашний с ним разговор... и что вы так легко выболтали тогда про моего отца...

— Ну, что поделаешь. Вы сделались послом лютов или кем-то подобным.

Я-оно глянуло с ужасом. Панна Елена с беззаботной улыбкой лишь пожала плечами.

— Не думаете, что было бы удобнее самому выбирать ложь?

Я-оно покачало головой.

— Все это пройдет, пройдет, пройдет.

— Наверняка. А тем временем необходимо заняться тем самым ледняцким агентом, что покушается на вашу жизнь. Вы еще не забыли? Если хотите добраться до Иркутска живым.

— Вы имеете в виду Зейцова? Я не должен был впускать его к себе в купе?

— Не думаю, чтобы это был Зейцов.

— Но ведь еще вчера вы тут клялись: если не он, так вообще никто другой!

— А вот сегодня ночью, в Омске, в первый класс, на место некоего фон Прута из второго вагона, подсел новый пассажир, тоже с билетом до Иркутска. Я видела его на завтраке. Вот видите, об этом мы и не подумали! Ведь Фогель и не утверждал, будто бы тот агент сел вместе с нами. Для него оно даже удобней — подсесть ненадолго, убить и удрать.

— Выходит, у вас уже новый подозреваемый, вздохнуло *я-оно*. — Кто же он такой?

— Господин Порфирий Поченгло, якобы, сибирский промышленник, но оказалось, по крови и вероисповеданию поляк, так что наверняка захочет с вами поговорить. Как раз с этим я к вам и пришла: ждите моего знака и, упаси Боже, не встречайтесь с ним наедине. Следовало бы устроить это как-то так, чтобы один из нас занял его разговором, а второй в это время проверил его купе.

— Я уже начинаю понимать ваши недомолвки. «Проверить», означает, вломиться. А поскольку вы у нас специалистка по взломам, мне приходится занимать господина Поченгло в общественном месте.

— Только обязательно дождитесь моего знака.

— Тут прошу не опасаться, обязательно подожду.

Панна Мукляновичувна направилась к выходу. *Я-оно* встало, театрально поклонилось.

Девушка сделала книксен. На пороге она оглянулась через плечо, сморщила носик.

— Пан Бенедикт, вы каким одеколоном пользуетесь?

— Ммм, говоря по правде, марку не помню. А что?

— Ничего. Кого-то мне этот одеколон напоминает. Я же говорила вам: запахи остаются во мне.

И тут же она исчезла в своем купе.

В коридоре *я-оно* заметило *праведника* Сергея, подозвало его, попросило чайник чая из вагонного самовара. Закурив вторую папиросу, приоткрыло окно. Сразу же бумаги на секретере начали перешептываться, расшелестелись отдельные листки с неудачными попытками расшифровки сообщения. *Я-оно* подняло копии двух писем отцу: на одной было записано расшифрованное содержание; второй листок был весь почеркан поисками кажущихся регулярностей. Ну конечно, скорее всего, прав голос, издевательски нашептывающий в левое ухо, левый ироничный ангел, который с самого начала предсказывал, что это чушь, а не шифр, что это выдумка, а не память, нет второго письма из другого прошлого, а всего лишь пустой шум, выплюнутый из разума математика, находящегося под действием тьмечи.

Но вместе с тем отзывался и другой голос, голос с правой стороны. Другое письмо, другое прошлое — память против материального доказательства... Тем не менее, каким-то спасением это бы было! Фрагменты первого письма, все эти предложения-кличи-приказы: ОТТЕПЕЛЬ ДО ДНЕПРА, ЗАЩИЩАЙ ЛЮТОВ, ЯПОНИЯ ДА, РОССИЯ ПОДО ЛЬДОМ, БУДЬ ЗДОРОВ — взрывались в мыслях в самые неожиданные моменты, разрушая покой, провоцируя нервные реакции и гневные гримасы. Если будущее должно было бы сложиться в соответствии именно с этим прошлым, если оно замерзнет так, то, может, и не до конца неправ Зейцов; быть может, сплетня Блютфельдши недалеко от истины: пилсудчики приказывают отцу, потому что он приказывает лютам. Во всяком случае, оказывает на них какое-то влияние. А сын, в свою очередь — считают все — влияет на отца. Так что же: они правы? Выходит, ледняки правильно охотятся на сына? Выходит, есть метод в безумствах мартыновцев? Получается, истинны страхи Фогеля?

Управляющий Историей! Со смеху лопнуть можно! Прихлебывая горячий чай, *я-оно* вновь взялось за криптоанализ. Голова была тяжелой, словно заполненный смолой воздушный шарик, двинешься туда, дернешься сюда — черная волна перельется внутри, и башка колышется с плеча на плечо. Так что безопаснее всего держаться совершенно прямо, вообще не шевелясь. Жертву похмелья всегда узнаешь по одереженевшей шее и осторожным движениям головы. Криптоанализ шел тем труднее, так как внимание каждую минуту возвращалось к уже расшифрованному письму. А вдруг *я-оно* прочитало его смысл совершенно неправильно, вдруг приписало ему значения, взятые из чужих страхов? Комиссар Прейсс ведь так и не сказал, чего, собственно, хочет их иркутское отделение Министерства Зимы. Наслать сына на отца? Шантажировать? Будут убеждать? Вправду ли байкальские чиновники разделяют веру бердяевских оттепельников и ледняков относительно влияния Льда на Историю? «Отец Мороз»... Помилуйте!

Перед обедом случилась еще одна вещь. А точнее, по дороге на обед, в переходе к вагону-ресторану *я-оно* наскочило — ну, почти что наскочило: успело отодвинуться от двери, так что столкновения не произошло — с капитаном Привеженским. Тот застыл в движении, на мгновение сконфуженный, даже неуверенно захлопал ресницами; но тут же взял себя в руки, хлопнул ладонью по карману мундира и, подняв голову, двинулся вперед, глядя куда-то в сторону, в воздух, на стенку вагона, словно проход перед ним был пустым, а он шел, вообще не обращая внимания на дорогу — на которой никто у него не стоит. *Я-оно* не

сдвинулось с места. Ему пришлось остановиться. Тогда он фыркнул под нос, продолжая глядеть в сторону. — Граф Мороз... — начал было он издеваться. — Граф Мороз идет обедать, — ответило я-оно, не спеша, расстегнув пиджак и расстегивая пуговицы жилета, доставая угловатый сверток за поясом. Видел ли капитан это движение руки? Видел ли он массивный перстень на пальце? Капитан снова фыркнул. — А, не мозоль мне глаза, шпак несчастный, — буркнул тот и отступил в коридор. Не оглядываясь, я-оновошло в вагон-ресторан. Сердце билось, словно разогнавшаяся паровая машина. Млюх-млюх-млюх-МЛЮХ. Луб-луб-луб-ЛУБ. Тлук-тлук-тлук-ТЛУК. Я-онопошатнулось, опираясь на пустой стул. Княгиня Блуцкая-Осей призывно махала, призывая через всю длину зала. Обед. Все глядели. Я-оновыдержало шесть шагов, прежде чем умильная, собачья улыбочка выплыла на лицо. Вот только морда была побитая, и те, что глядели — все — увидели на ней лишь гримасу наглой издевки. Бенедикт, граф Гиеро-Саксонский-Мороз подсел за стол князя и княгини.

О снах княгини Блуцкой

— *Pourquoi?* [\[133\]](#) А гадания под Черными Зорями?

— Тут уже господин Порфирий знает лучше.

— Ну что же, не все морочат себе головы этими предрассудками.

Княгиня оскорбленно всплеснула руками. Князь же только ехидно фыркнул — он вообще не проронил ни слова.

— Если бы не спешка моего супруга, — сказал Блуцкая, демонстративно не глядя в его сторону, — мы бы задержались в Краю Лютов, я бы тогда могла сама убедиться. А эти Зори, они как, появляются в определенное время года? По календарю? Когда?

Господин Поченгло проглотил кусок мяса, запил красным вином.

— Мхм, Ваша Светлость, как вижу, значительно больше посвятила этому внимания, это уж, скорее, я мог бы чего-нибудь узнать от Вашей Светлости...

— Ой, не притворяйтесь, молодой человек, вы ведь с детства там живете, все лучше знаете. Могу поспорить, если бы я для вас зажгла тьвечку...

— Что, уже и до Петербурга это добралось? — Господин Поченгло покачал головой. — В конце концов, мода пройдет, как и все, что основывается на вкусах, а не на практической пользе.

— А что вы думаете, *гаспадин Ерославский*?

— Мрачно я это вижу, — буркнуло я-оно, не поднимая головы от тарелки.

Неужто никто из них не замечал? Потьвет, стекающий с фигуры Порфирия Поченгло, пускай и многократно слабее, чем у Теслы, не мог ведь не обратить на себя внимания. У Поченгло глаза были глубоко посажены в костистых корзинках глазниц, с резкими, четкими краями, и достаточно было того, чтобы он опустил веки или повернул голову к свету, или же склонился над столом — и вот уже извивы тьвета накапливались под бровями, осаждаясь над высокими скулами, затягивали черной мглой синие радужки. На лице это было видно лучше всего, но точно так же отъветлялись складки костюма сибиряка, даже металлические пуговицы отблескивали мрачными рефлексам. Порфирий Поченгло возвращался в Иркутск после всего лишь недельном визита в Омск; было ему тридцать три года, которые он провел на берегах Байкала, и из них — уже тринадцать в Стране Лютов. Скорее всего, был он из тех туземцев, о которых с пьяным акцентом рассказывал вчера Зейцов: что они носят Зиму в себе самих, прожженные Льдом, даже издали они безошибочно себя узнают — «лютовчики». Они привыкли не только к морозу, как зимовники, но и к нематериальному влиянию Зимы; а ведь уже росло первое поколение, зачатое и рожденное в тени лютов.

Княгиня Блуцкая довольно быстро вытянула из Поченгло дату его рождения, знак зодиака, имена родителей, какой цвет и какой драгоценный камень предпочитает, каким святым покровителям поклоняется, какие видел в последнее время сны. Князь не участвовал в беседе, бормоча лишь старческие желчные замечания сидящему с другой стороны от него Дусину. Тайный советник глядел за них двоих: то на одного, то на другого гостя за княжеским столом, с удвоенной интенсивностью змеиных глаз. *Я-оно* избегало его взглядов и не пыталось подхватить тему разговора, опасаясь того, что любое смелое слово спровоцирует князя на новый взрыв; сам же князь очень старался глядеть в другую сторону, и вообще, вызывал впечатление крайне недовольного компанией за обеденным столом. Прихлебывал он громче обычного, двигая челюстью словно черпаком на каучуковых подвесках.

— Уж слишком я привык, — продолжал рассказ господин Поченгло. — Может, вообще бы их не замечал, если бы не блеск куполов собора Христа Спасителя над Ангарой. Когда Сияние сильное, собор полгорода способен осветить, по ночам зарево видно в самом Холодном Николаевске.

— Ну а ворожба, а гадания, и сны — сны под Зорями, Порфирий Данилович, вот я о чем спрашиваю! Ну скажите, пожалуйста!

— Ну что, вообще-то, нужно было бы порасспрашивать у бурятских шаманов. Сам же — не знаю, даже карты таро никогда не раскладывал. У нас не играют ни в кости, ни в карты, если Ваше Сиятельство спрашивает об этом. Ксёндз Рузга в чуть ли не каждой второй проповеди предостерегает верить утренним снам. Когда же Черные Зори висят на небе, мы все начеку. — Он вытер губы салфеткой, выпрямился, ореол мрака замерцал на волосах. — Человек ко всему привыкает, как уже говорил, даже и не замечает подобных вещей, поскольку живет с этим ежедневно. Вот когда хотя бы на пару дней выедешь из Зимы... Здесь повсюду такое чудесное лето.

Я-оно глянуло на свинцовое небо над серой равниной; но, может, и вправду пейзаж казался ему чрезвычайно красивым. Тогда даже страшно подумать о красоте пейзажей Страны Лютов.

— Существуют весьма тонкие различия. Вы и вправду этим всем интересуетесь?

— Я даже думала послать кого-нибудь из Общества специально с этой целью, чтобы исследовать, записать, рассказать обо всем в Европе.

— Общества?

— Петербургского Теософского Общества. — Княгиня склонилась над столом, цепочка с пенсне повисла над соусником. — Я его почетная председательница.

— А-а... — Порфирий глянул в бок, явно в поисках спасения; *я-оно* сделало вид, что меня более всего интересуют мозги в блинчиках. Поченгло вздохнул, погладил густую бороду. — Люди ведут себя... как люди. А вот здешние, мне так кажется, какие-то вывихнутые.

— Что вы имеете в виду?

— Нууу, вижу, что рассказать сложно. В основном, это мелочи. В Краю Лютов... Вот встречает Ваше Сиятельство незнакомца и сразу же видит, что недавно он потерпел неудачу в амурных делах но откуда Ваше Сиятельство это знает? Ведь тот еще ничего не успел сказать. И на лбу у него этого не написано. Вот такого рода различия. — Поченгло выпрямился на стуле, скрестил на груди костистые руки. — Ладно, расскажу из собственного опыта. Позавчера, в Омске, я поднялся посреди ночи, вышел на крыльцо и несколько минут орал на Луну. Какие-то бессмысленные слова, волчий слог. Соседи проснулись. Вот почему я это сделал? Не знаю. Не было в этом ни причины, ни цели. И взбешенным я не был — совершенно спокойный.

— Выли на Луну?

— Так вот, дело в том, что на Байкале ничего такого не случается.

Княгиня захихикала.

— У вас там нет сумасшедших?

— Вот честное слово, никогда не слышал о каком-либо случае безумия. Но дело не в том: сумасшествие, ликантропия — это уже все вещи конкретные. А я имею в виду вещи мелкие, те, что протекают между словами.

— Убийства в состоянии аффекта? От большой любви? Из ревности? Что, не случается такого?

— Воруют люди по-черному. Драки, разбой, обман; хватает бродяг и китайцев, опять же, крестьянство беспокойное съезжается, это уже традиция такая, Ваше Сиятельство, еще с опричнины, с Киселева — лишь бы за Урал. Ну, и где мужики эти кучкуются? Когда-то добирались до Якутска, который был столицей Дикого Востока, и центр золотой горячки, а теперь — теперь имеется новое сибирское Эльдorado, над Байкалом. Половина мира, две дюжины языков на иркутских улицах. И вот еще вещь, которой они все дивятся — а я дивился над тем, что они дивятся — конкретно же: вот не знают люди языка один другого, а всегда как-то договариваются. Слов не понимаешь, но стоящие за ними намерения всегда кажутся тебе очевидными. Или вот такое...

Князь Блуцкий-Осей поднялся из-за стола.

— Благодарствуем, — буркнул он. — Кхм, да, так, благодарствуем всем и пойдем вздремнуть. Дорогая, тебя не приглашаю.

Княгиня тоже поднялась, все встали. Официанты закрутились вокруг стола. *Я-онотуже* отодвинуло стул. Панна Мукляновичувна незаметно подавала знаки. *Я-оно* обернулось к Поченгло.

— Вы, случаем...

— Вы, случаем, — одновременно начало *я-оно*.

Тот от всего сердца рассмеялся.

— Все ближе к Зиме!

Княгиня протянула над столом свою трость.

— А вас, молодой человек, — кольнула она палкой, словно шпагой, — граф-неграф с кучей имен, вас я просто так не отпущу. Пускай Порфирий Данилович простит, но я вас похищаю, пошли, пошли уже, сказала же, похищаю!

Я-оно беспомощно развело руками. Панна Елена должна была видеть все произошедшее. Порфирий Поченгло вежливо поклонился. *Я-оно* обошло стол и подало засушенной старухе руку.

От нее распространялся запах затхлых тканей и медикаментов на травах, и даже не слишком сильный, но настолько неприятный, что на вздохе инстинктивно отворачиваешь голову. Княгиня маршировала с упрямой энергией: у нее был всего один ритм движения, ритм речи и тот же — дыхания. Со столь близкого расстояния он был слышен очень четко: хр-хрр-хр-хрр. Трость нужна была только затем, чтобы противостоять неожиданным рывкам поезда. Спереди шел стюард, открывая и придерживая двери.

Остановилась княгиня только за малым салоном, в вечернем вагоне. Возле громадного мраморного камина курил сигару одноглазый джентльмен, сосед панны Мукляновичувны. Княгиня Блуцкая нацелила в него свою палку.

— Вы!

Джентльмен стушевался, мигнул стеклянным глазом, мигнул живым, чопорно склонил голову и вышел. Старуха кивнула стюарду. Тот подвинул к ней кресло. Приблизительно в

этом же месте княгиня проводила сеанс с тьвечкой; даже столик остался, только теперь он был спрятан за пианино. *Я-оно* оглянулось за другими стульями — те стояли рядом у двери в галерею.

— Мой супруг... — начала княгиня, но прервала, чтобы отдышаться: хр-хрр. *Я-оно* снова оглянулось, чтобы взять стул для себя, но старуха уже пришла в себя и схватила меня за руку, вцепившись в рукав пиджака, впиваясь костлявыми пальцами в запястье; хочешь — не хочешь, пришлось склониться к ней, встав в лакейскую позу, словно верный слуга приближающий ухо к устам хозяйки.

— ...говорит, что сукин вы сын, на четыре ноги подкованный, впрочем, достаточно на физиономию вашу глянуть, ну, и что скалитесь так, молодой человек?

— Прошу прощения, не хотел...

— И с этими вашими враками о вашем рождении, вот, и перстень вдобавок, — она переместила зажим с запястья на пальцы, — может скажете еще, что это ваш родовой герб?

— Нет.

— Ну, как говорит князь: шарлатан, и с ним следовало бы согласиться — шарлатан, так, но теперь от меня не удерете, теперь меня слушайте! Теперь правда!..

От нее исходило старческое дыхание — если бы воздух обладал цветом, это был бы черный воздух, она выдыхала бы мрак, то есть, тьвет, дистиллировавшийся в газ. Прикрывая глаза, *я-оно* повернуло голову, как бы для того, чтобы приблизить ухо к губам княгини Блуцкой, но на самом деле — лишь затем, чтобы освободиться от ее дыхания. Глядело в сторону, когда она говорила, опустив ресницы, глядело на зеленую серость тайги, проносившейся за окнами Экспресса. Очень, очень старалось перетянуть кожу от извиняющейся улыбочки, чтобы мышцы лица остались в нейтральной симметрии, но когда услышало ее слова: *теперь правда!* — словно теслектрический ток прошел по телу, натягивая поводья всех имеющихся в нем нервов. Правда! Вещающий зло пароль, предупредительный знак, меч в руку, панцирь на сердце, беречь душу, потому что разговор пойдет — о правде.

— Ну, и почему вы от нас все время бежите? Почему не принимали приглашений? Почему избегаете советника?

— Вовсе я и не избегал.

— О! Не избегал! Избегал, сами хорошо знаете, что избегал, вот и обманываете, нехорошо, нехорошо. Расспрашиваю Порфирия Даниловича, до того, как вы пришли; спрашиваю у всех них, что знают в тех сторонах, что могли бы о нем слышать: есть ли в Краю Лютов такой человек, Отец Мороз, *le Père du Gel*, исповедник лютов, как сами говорите — ваш отец.

— И что же?

— Говорит, что не интересовался. А могу ли я вам довериться? Не могу. Вы же шарлатан. Впрочем, Распутин тоже шарлатан, все шарлатаны. Один только Лед правдив, только во Льду спасение, из холода в холод человек рождается, в холод и уходит, и кто ближе к смерти, тем явственнее чувствует мороз в костях нарастающий; стариков видели — вечно закутанные, на теплом солнышке, но в пяток перин да шуб... Что? Что вы так глядите?

Снова отвернуло голову к окну.

— Ваше Сиятельство знакома с учением святого Мартына.

Старуха еще сильнее стиснула острые когти.

— Знакома! И вы ознакомлены! Ведь при дворе не один Распутин — но! Но! Вот что меня сразу же дернуло! Что в первый же день вас распознала. Так обращается к нам Бог истинный, что сложно еще громче, с совершенно ясными откровениями. Как только вы вошли тогда в тьвет, когда из вас вылилось ослепительное сияние, когда стояли тогда в

дверях с солнца, ангел свечения, я перепугалась, что сердце из груди выскочит; думала, что вновь мне что-то снится; иногда мне случается вздремнуть среди дня, на часок, на пару минут, просыпаюсь — и не знаю, что, где, когда, который час, что случилось, один только сон во мне; и тут вы вошли в тьвет, и в вас открылась печь холодного огня, я же видела, как вы из себя извлекли багровой рукой ледовую молнию, рукой в заливе белизны без капли тепла, о Боже! меня сразу же дернуло. И с тех пор, и днем и ночью вы мне снитесь.

— Ваше Сиятельство...

— Поначалу я не понимала. Но теперь! Теперь правда! Вы сами из тьвета чарами родились! Сын Мороза!

— Да не верьте мне, Ваше Сиятельство. Не верьте себе. Все это...

— Так ведь они же сбываются! О чем же я и говорю! Теперь слушайте! Когда мы стояли в Екатеринбурге — я посреди ночи очнулась, страшный сон, сердце молотом бьет, понятное дело — это вы мне снились, отодвигаю занавеску, и что же вижу, вас вижу, под серебряным снегом, под темной стеной. Ой, меня как кольнуло, вот тут, под грудью — только взглянула, и сразу. Князь наругал меня страшно, но я же знала, да еще Захар Феофилович убедил меня, я его, с людьми, сразу же за вами послала. И что? И сбылось-таки! Вы мне, наверное, скажете, что предрассудки глупые — сны, они, да карты, и гадания всяческие — чем ближе к Стране Лютов, тем сильнее. Но ведь как же Богу общаться с нами?

— Не вся правда только от Бога исходит.

Только думало о чем-то ином. Княгиня Блуцкая принадлежит к придворным мартыновцам, возможно, что и тайный советник Дусин, но, может, он всего будто верный пес ее слушает, но выходит одно и то же — это не по приказу самого князя, но по приказу княгини поспешили сильные слуги Блуцких на помощь. И что случилось потом: княгиня ищет контакта, Дусин становится более нахальным — а разве в Екатеринбурге не видели, кто еще выступил против местных мартыновцев? Не распознали ли они Пелку? Только, откуда бы им знать? Пацан из Буя и петербургская дама? Какие там среди мартыновцев иерархии, какие имеются фракции и подразделения, какие приказы среди них распространяются? Ведь Пелка знал, а княгиня — нет. Не послала ли она Дусина, чтобы тот расспросил парня, как только советник отчитался ей по аванюре в городе? Итак, Дусин идет, самая ночь, будит Пелку, вытаскивает из отделения наружу, на площадку, чтобы в секрете поговорить о тайных делах, и — что произошло? Что сказал Пелка? Что Дусин сказал Пелке? Как Пелка на это отреагировал? Подрались они? Могла ли княгиня дать советнику такой приказ: «выбросить Пелку с поезда»? Ведь теперь ей нет толку признаваться во всей правде, старческая манера разговора вовсе не означает старческого увядания разума. Ба, да вся ее болтовня про сны, предчувствия, гадания — ведь это, наверняка, всего лишь дымовая завеса. Приснилось ей, как же! Не теми же путями, что Пелка и екатеринбургские мартыновцы, но могла ведь княгиня узнать про Отца Мороза и новую идею людей Раппацкого, ну, к примеру, будучи на обеде у самого Министра Зимы. Опять же, она знакома с Распутиным, она может быть посвященной в наивысшие мистерии мартыновцев. От проводников и официантов мало чего человек узнает; Дусин их напугал намного эффективнее, чем бы их перекупил десяток купцов калибра Фессара.

Так в какую ложь должна сейчас княгиня поверить? Какая ложь будет наиболее безопасной? А то приснится ей чего-нибудь противоположное, и будет она готова выслать Дусина с челядью, чтобы убрать «шарлатана».

— Так чего Ваша Светлость от меня желает?

— А ну-ка выйдите, вы.

— Я?

Блуцкая подозрительно зыркнула направо и налево, и снова налево, на стюарда, что стоял у перехода в малый салон, глядя прямо перед собой: смотрит, и не видит, слушает — и не слушает; так ведь слышит. Княгиня схватила за руку повыше, под локоть, и потянула, так что пришлось придвинуть ухо к ее старческим губам; теперь она дышала прямо в ушную раковину, хр-хрр.

— Император сошел с ума, — шепнула она.

— О?

— Его Императорское Величество желает идти войной на лютов. Слушайте меня сейчас! — Блуцкая потянула еще сильнее; пришлось схватиться за сидение стула, чтобы не потерять равновесия при очередном рывке вагона и не свалиться всем весом на княгиню. — Как среди ночи кошмар на него нападет, так он звонит и кричит, и половину двора на ноги ставит, министров и генералов приказывает к себе прислать, премьера с постели стаскивает, тайные совещания созывает. В Холодном Дворце есть у него зала, где на полу половину карты мира для него вычертили — два континента с окрестностями, вся Российская Империя, и вот там *Гасударь* Император часами просиживает, когда всякие химеры ему в ум приходят, просиживает и все линии по Империи передвигает: вот тут Зима, а тут — Лето, пространства, от Зимы свободные; здесь города подо Льдом, где люты угнездились, реки льдом скованы, фронты Мороза — как далеко от Сибири разошлись его волны, сколько ему самому самовластия в стране осталось, поскольку остальное люты захватили — ведь он так это видит в безумии своем, словно вторжение какое-то терпеть должен на собственной земле; так что когда приходило известие про новый город, в котором вымерз лют, случалось, что его Императорское Величество, перепуганный, перенервничавший, закрывался в своих комнатах днями и неделями целыми, так что ни Александра Федоровна вытащить на свет божий его не могла, ни доктора; когда же люты в самом Санкт-Петербурге выморозились, и Неву льдом заковало, и в черных сетях гнездо живых сосулк повисло над Дворцовой площадью, от Александрийского столба до Вознесенского проспекта, ой, видели бы вы его тогда — он приказал стрелять в лютов из ружей и пушек, приказал огонь под лютами разводить; половина офицеров из Штаба и Адмиралтейства сбежалась и никак не могли его разумно убедить, только какой-то прусский профессор дал Его Величеству Николаю Александровичу успокоительное, так бедняжка и заснул. Но невозможно ведь за Императором вечно проследить, нельзя контролировать всякое намерение и приказы самодержца. Все опасаются, что он, в конце концов, издаст Указ Против Льда, что будет пытаться как-то силой лютов изгонять, и армия ему подчинится, хотя, ну что может людская сила против нечеловеческого Мороза, только вот несчастье, говорю вам, какое-то несчастье из этого обязательно получится. Пока шла война с Японией, было у Императора нашего ума настолько, чтобы принять такую мысль — поначалу следует с одним врагом справиться; ну а теперь, вы сами видите, перемирие, и, наверняка, мир будет заключен, Желтую Империю мы остановили, так кто знает, что снова Его Величеству в голову стукнет, что ему уже стукнуло? Хр, хррр. Что мы можем еще сделать — по крайней мере, лютов предупредить, раз ничего больше устроить не удастся. Ваш отец... передайте ему! обязательно передайте! — она откинулась в кресле и хрипела, пытаясь отдышаться. Снова княгине пришлось снизить голос до шепота. — Венедикт Филиппович. Защитите лютов. Пока Лед, пока Россия и существует. Имеются еретики, которые искажают слова Мартына ради целей своих малых, но правда ведь одна. Я видела сны. Россия — это Лёд, Лёд — это Россия! Защитите лютов!

Возможно, она ожидала торжественной клятвы? *Я-онорывком* вырвалось из ее захвата, у нее уже не было сил схватиться за руку. Отступило на шаг.

— Я же говорил Вашему Сиятельству, чтобы мне не верить.

— Что, может, еще скажете, что вы не сын Отца Мороза?

Я-онопокачало головой.

— Те мартыновцы в Екатеринбурге — Ваше Сиятельство думает, ради чего хотели меня убить? Боятся того же самого, что и Ваше Сиятельство — и в этом вся причина, чтобы меня живым к отцу не допустить.

— Но я же говорю вам: у меня были сны! И как только вас увидела — с самого первого раза — знала, что знаю! В ваших силах отвернуть судьбу, сохранить Россию подо Льдом. Вот вы не верите, но я в вас верю.

Я-оноотвело взгляд. А собственно, почему бы и не дать ей присягу, раз она того желает? Это была бы разумная, очень безопасная и нормальная ложь. Стыдно? А кого тут стыдиться?

— Ваше Княжеское Сиятельство глупости тут рассказывает. Ведь с чего отец мой очутился в той Сибири среди лютов? Сослали его, за бунт против Императора! А эта физиономия кривая — видите, Ваше Сиятельство? — это с чего же ваш красавчик-капитан избил меня на глазах у всех? Потому что я поляк. Так что сообщите, Ваше Сиятельство, хотя бы одну причину, ради которой я должен желать спасения России, хотя бы одну!

Сидя в кресле, княгиня Блуцкая замахнулась своей палкой; *я-оноотскочило*. Какое-то мгновение казалось, что она встанет и начнет гоняться с этой палкой по бальному залу, дыша черным смрадом, хрипя через кривые зубы, на негнущихся ногах, в утином переваливании больных бедер и изогнутого позвоночника, с одной костлявой рукой мстительно угрожающей, а второй, поднятой над головой со своей дровенякой, словно ведьмовским скипетром — но нет, махнула раз и свалилась в кресло.

— Ладно, — просопела она. — Ко мне приходили сны, и знаю свое, даже если вы о себе не знаете, только... Пускай за меня Мартын скажет...

— Плевать я хотел на Мартына.

Блуцкая глянула, словно на сумасшедшего.

— Да что это на вас напало, молодой человек? Почему вы себя так ведете?

Я-оногорько рассмеялось, даже эхо раскатилось по пустому залу.

— Ну почему вы все хотите, чтобы я все время лгал?! Я не мартыновец! И никакой не граф! Не разбираюсь я в вашей политике! И Россия ваша мне безразлична! Впрочем, Польша тоже! Отца я не видел с самого детства! И плевать мне на все! Лёд, не Лёд, лишь бы живым из всего этого выйти, да еще с деньгами!

Я-онозаметило, что это уже и не смех, но по сути, совершенно на смех и не похожее, ближе к истерическим рыданиям — этот голос, что исходит из сухого горла в коротких выбросах. Руки при том дрожат, трепещут в такой же истерической жестикуляции, трясутся, а нога подскакивает на паркете, туп-туп, еще немного — и нервный приступ охватит все тело, сила безумия, обычно хорошо скрытая за кривой усмешкой, вот-вот вырвется на свободу, и не уследишь. *Я-оноосматривалось* в панике. Одна рука цапнула за воротничок, другая потянулась за Гроссмейстером. Пискливый смех рвался ввысь от диафрагмы, сейчас выпрыснет через зубы. *Я-онозашаталось* на пятках, вагон дернул, полетело на княгиню. Та вытянула палку — не для того, чтобы оттолкнуть, но чтобы зацепить за плечо, по сильнее стащить вниз. *Я-оносвалилось* на колени. Костистая ладонь княгини Блуцкой сомкнулась на шее над расстегнутым стоячим воротничком, затем устремилась выше, к волосам; княгиня прижала к черному платью голову, беспомощно лежащую у нее на коленях.

— Тихо, тихо, шшшш... — гладила она покрытые помадой локоны. — Все уже хорошо, сынок, все уже хорошо, мама Катя все понимает, не надо говорить, мама Катя все знает, можешь выплакаться ей, можешь ей исповедаться, Катя все заберет с собой в могилу. Думаешь, удивишь чем старую Катю, думаешь, оттолкнешь злую правду — нет такой

правды. Не надо стыдиться, я же знаю вас всех, как облупленных, четырех таких сынков имела, так к кому прибегали выплакаться — ко мне. Тихо... тихо...

— Уб-бить мен-н-ня хот-тят. Не уйду я живы-ы-ым.

— Никто тебя не убьет, вот увидишь, сам справишься.

— Про-продался я им. За тысячу рублей.

— Прощения попросишь.

— Прощения... У кого?

— Деньги отдашь.

— Отдам.

— Вот видишь? Уже легче.

Я-оно поцеловало ее руку (сморщенная кожа, покрытая коричневыми пятнами, пахла старым деревом).

— Спасибо.

— Хоть какая-то семья у тебя имеется?

— Нет. Отец. Нет.

— Что, никого близкого рядом? Ну да, да. Такое тяжелее всего.

— Не понял...

— Женись, дитя мое.

— Да кому бы я такое зло устроил — ведь не любимой же женщине.

— Ну почему ты так плохо о себе думаешь? Все вы в преисподнюю свалиться готовы, каждый способен поклясться, что он самый плохой человек на Земле; ах, молодость, все это молодость. По-настоящему плохих людей так мало!

— Плохой?! — засмеялось *я-оно*. — Когда меня вообще нет. Нет меня, нету, не существую!

— Чшшшш, шшшш...

Я-оно успокоилось. Вернулось правильное дыхание, ладони начали подчиняться власти осознанных мыслей: они оставались неподвижными, когда думало о неподвижности; и они сжимались в кулаки и раскрывались, когда думало о порядке и силе. Подняло веки. Зеленые рефлексy тайги отражались внутри пустого вагона, это тоже — определенным образом — успокаивало. Глянуло в другую сторону — а там стоит стюард, стюард, о котором на минуту забыло, выпрямленный, на лице никакого выражения, с немигающими глазами, глядит и не видит, слушает и не слышит — но ведь слушает. *Я-оно* вскочило на ноги.

Княгиня Блуцкая устало посылала мне меланхолический взгляд.

— Прошу прощения, — поклонилось *я-оно*. — Я не могу найти оправдания. Так что Ваше Сиятельство по делу меня презирает, и достойный супруг Вашего Сиятельства тоже не ошибается. Позвольте мне...

— Вы спрашивали об одной вещи.

— Слушаю?...

— Об одной хотя бы причине спасти Россию. — Княгиня нашла платочек, вытерла покрытые слюной губы. — Так видите, вот она.

— Не понял...

— Прощение.

Я-оно смешалось.

— Нет у меня права прощать от имени...

— У вас нет. Но только живые у живых могут просить прощения. История не знает милосердия, История не прощает, *гаспадин Ерославский*.

Она подняла руку. *Я-оно* поцеловало ей пальцы, уже более формально. Княгиня дважды стукнула тростью об пол. Стюард открыл дверь. *Я-оно* вышло в малый салон.

Mademoiselle Кристина Филипов схватилась с оттоманки.

— Я уже заждалась! — нервно шепнула она, схватив за плечо в паническом страхе, притягивая к себе, заставляя двигаться через салон. — Он уже совершенно не дышит! Этот чербер не хотел меня туда впустить, а тут каждая минута...

— Да о чем вы...

— Проводник, что, не передал письмо? Ну почему же, ах, почему же вы не пришли?!

Сунуло руку в карман пиджака — письмо лежало там, не вскрытое.

— Забыл.

— Вы забыли?! Забыли?!

— Голова трещит. Ужасное похмелье. Так в чем же дело?

— Никола мертв.

О смерти в прошедшем времени

— Мертв.

Я-оно склонилось над телом доктора Теслы, прижимая интерферограф к глазу. Свет — свет — свет — свет — свет — свет.

— Он мертв, панна Кристина, но, может и жив.

Та захихикала, в чем-то истерично.

— Вы случаем, не добавляли?!

Подозрительно зыркнуло на нее.

— Что вы имеете в виду?

— *For the love of God* [\[134\]](#), спасайте же его!

— Я вам рассказывал.

У нее задрожали губы.

— Вы же обещали мне! И что? Вместо того, чтобы его отговорить, вы сами поддались!

— И сейчас вы еще скажете, что это моя вина; будто бы это я его убил.

Тем не менее, достойно удивления было то, насколько хорошо держится в этих обстоятельствах *mademoiselle* Филипов. Кем бы ни был для нее доктор Тесла — отцом, дальним родственником, любовником — он оставался единственным близким существом в путешествии через чужую страну, среди чужих людей, в Транссибе — посреди азиатской дичи, по дороге к еще большему одиночеству. Теперь она осталась одна. Может ли она рассчитывать на охранников? Это функционеры царской политической полиции, и кто знает, какими были их реальные приказы; они должны были защитить доктора, не защитили — что сделают теперь? Она осталась одна. Кристина сидела на краю кровати напротив, нервно дергая рукава органдинового платья, потом щипая светлый локон и ежеминутно склоняясь к Николе, как будто бы только и ожидала, что серб вот-вот очнется и откроет глаза.

Доктор Тесла лежал на своей постели, на прошитой багровыми нитями накидке, с подушкой под головой, повернутый к окну, за которым перемещалась мрачная зелень бесконечной тайги, по мере того, как Экспресс удалялся от последних центров цивилизации перед тем, как пересечь границу истинной Сибири и Зимы, длук-длук-длук-ДЛУК, и с каждым подскоком вагона тело Теслы тоже подскакивало, сдвигались с накидки уложенные вдоль тела длинные руки доктора с ладонями, скрытыми под белыми хлопчатобумажными перчатками. Манжета левого рукава сорочки была подтянута, открывая над перчаткой красное кольцо отпечатка: здесь Тесла обмотал вокруг запястья зимназовый провод динамо-машины. Генератор остался стоять на столике, кабель стекал на ковер, сворачиваясь будто змея, рукоятка дергалась туда-сюда. Металлические элементы уже успели обсохнуть; иней

сошел с оборудования и стен.

Рассказ *mademoiselle* Филипов был кратким и конкретным. После завтрака Кристина с кем-то заговорила — возвращается в купе, а там мороз, тьвет, Тесла крутит рукоятку, черные искры сыплются с его кожи и волос, изо рта раздается протяжный стон, но он стоит, но он крутит — девушка бросается к нему, отрывает от машины, садит на кровати — а он холодный, как смерть — теряет сознание — сердце бьется все медленнее, а через пару часов вообще перестает биться.

Помня о случае с Юналом Фессаром, девушке на слово не поверило. Окуляр интерферографа послужил в качестве зеркала для умирающего, *я-оно* придвинуло его к губам доктора. На стекле не появилось каких-либо признаков дыхания. Мертв.

— Раньше такое уже случилось?

— Что?

— Умереть?

— Да как вы можете так шутить?

— Нууу, мы тут все шутки шутим. «Спасайте же его!» Восстань, Лазарь!

— Но вы же сами сказали: он мертв, но, может, и жив.

Я-оно задумчивости постукивало себя по подбородку металлическим цилиндром.

— Он не замерз, если вы понимаете, что я имею в виду. Но то же самое может сказать о себе несколько миллиардов других трупов за пределами Страны Лютов. То есть, — *я-оно* усмехнулось под носом, — трупы не разговаривают, но...

Mademoiselle Филипов расплакалась.

Как же быстро *я-оно* очутилось в ситуации, повернутой на все 180 градусов: теперь уже мне пришлось обнять плачущую девушку, прижать ее к себе, шептать успокаивающие словечки, гладить по головке, убаюкивать: тихо, шшшшш, тихонько. Кристина шмыгала носом. Ладони она свернула в мягкие кулачки — беспомощность новорожденного.

— Ду-думала, что вы — ведь вы же тоже — а он говорил о вас...

— Что он говорил?

— Что вы по-по-понимаете!

Ну, и чего тут ждать от ребенка? «Мамочка, у меня песик испортился, исправь песика!» И подсовывает под нос мертвое животное, в широко раскрытых детских глазах ни тени сомнений: взрослые нужны для того, чтобы в мире все было в порядке.

Кристина успокоилась.

— Он мертв, — тихо повторила она.

— Может, я схожу за доктором Конешиным?...

— Я же просила его не ехать. С самого начала над этой поездкой нависло зло.

— А он упирался.

— Да. Он сам должен был выполнить все эксперименты, всегда так было. Сначала хотел ехать туда сразу же, чтобы на месте провести исследования. Я выпросила у него Прагу. — Она нашла платочек, высморкала нос, извинилась. — А вы знаете, что это Николу обвиняли в том, что он призвал лютов?

— Не понял?

— Да, да, опять же, пасквили на него в газетах выписывали. После того, как Пирпонт Морган отказал ему в средствах, Никола был вынужден продать башню в Вандерклиффе, еще в тысяча девятьсот третьем или четвертом. Все это дело с Морганом... У Николы никогда не было бы всех этих неприятностей, если бы он не был таким слепым к неким определенностям в общении с людьми; вот только мысль его всегда стремилась к тому, что не очевидно, чего никто бы в такой картине не заметил. Точно так же, как привлекал к себе

людей, так же и отталкивал. Опять же, никогда не женился... Он бывает слепым к людям: слепым, глухим и бесчувственным. И с Морганом тоже, видно, разговаривал как с любителем науки, а не как с хитрым финансистом. Вот Вандерклиффе и потерял. — Рука доктора Теслы съехала с постели; *mademoiselle* Филипов подняла ее и с огромной нежностью уложила на покрывале. — А поскольку он уже много лет предсказывал, что высвободит магнитную энергию Земли, что сможет сбивать цеппелины в полете и топить суда невидимой силой, где угодно вызывать землетрясения... Знаете, каким мелодраматичным он может иногда быть. И после первых донесений из России все выглядело именно так: как будто бы посреди пустоши на другом конце планеты взрывом высвободилась невидимая энергия; я сама читала статьи в старых газетах. А за Николой тянулось еще то дело, из Колорадо [\[135\]](#)...

Она замолчала.

— Так?

Кристина потрянула головой, освобождаясь от опасной задумчивости, в которую сама себя дала завести; пока говорила, все было хорошо, пускай говорит, пускай сконцентрируется на собственных словах, это начало всяческих траурных обрядов — воспоминание о покойниках.

— В июле тысяча восемьсот девяносто девятого года в лаборатории в Колорадо-Спрингз, когда он работал над регистрацией электрического пульса Земли, я правильно говорю, электрического пульса — он тогда принял из космоса сигнал: повторяющиеся ряды цифр. И не забывайте, тогда на Земле не было никаких радиопередатчиков. Никола вычислил, что сигнал идет с Марса. И он тут же объявил об этом в прессе. — С легкой улыбкой она поглядела на мертвое лицо изобретателя. — Он никогда не сомневался в себе, и тем самым больше всего себе вредил. Мать рассказывала мне...

— Да?

— И когда он получил это предложение от царя, поначалу только лишь относительно исследований по вооружению, и только весной прошлого года — четкий контакт против лютов, мы с огромным трудом уговорили его держать все в тайне. Он ужасно боялся, что кто-нибудь его снова опередит и оформит патенты раньше него; вы бы только знали, сколько нервов ему это стоило! Он встретился с инженерами из Сибирхожето, по-моему, только они его и убедили. Вы же знаете это суеверие? Будто бы в Стране Лютов нельзя изобрести ничего по-настоящему нового, все переломные открытия, связанные с зимназом, делались в других местах; инженеры рассказывали, что специально выезжают в Томск, во Владивосток, чтобы проветрить головы. Когда уже идея появится, тогда едут назад, потому что сами расчеты, умственный труд на берегах Байкала идут исключительно легко — но если чего в памяти раньше не было, то у лютов не придумаешь ни за какие сокровища. А ведь Никола больше всего и боится, что станет как все люди, думающим — как они, замечающим только очевидное, то, что было замечено раньше. Может, и было бы в нем тогда больше нормального человека — но меньше гения. Нужно вам сказать, Никола очень суеверен, он верит во все подобные...

— Погодите, панна Кристина, что вы говорите, ведь он накачивался этой тьмечью именно затем, чтобы сделать мысли более четкими, разъяснить их, он сам мне говорил.

— Видно, вы его неправильно поняли. Для работы допоздна или когда нужно было спешить с конструкцией прототипов — тогда да: но для новых мыслей, для той крохи безумия...

— Что?

Я-оно схватилось с места, подскочило к столику, схватилось за рукоятку, за зимназовый кабель, раскрутило динамку. По проводу пошла тьмечь, в машинке замерцал бледный тьвет,

тррррррр, жгучий холод вошел в ладонь, в предплечье.

— Да что же вы делаете?! Бросьте!!!

Кристина вырвала кабель, второй рукой остановила рукоятку — перепуганная, разжеванная.

Я-оно отступило на шаг.

— Память, ради памяти, — бормотало себе под нос. — Ему были нужны не такие эффекты, нет, не такие, ведь он и сам не знал, только экспериментировал.

— Господин Бенедикт!

Я-оно спрятало интерферограф.

— Человек, живущий памятью... Вы рассказывали, что он беседует с несуществующими людьми, что путает воображаемое с реальностью? Сегодня во время обеда промышленник из Иркутска рассказывал про их местные чудачества: так вот, в Стране Лютов нет сумасшедших.

Мадемуазель Филипов наморщила брови.

— Вы себя хорошо...

— Нет сумасшедших! Вы не понимаете? Это не затем Никола ходил в вагон с арсеналом Лета! Тут у него была динамо-машина, но там — мне не показал, переключил кабель на черную соль, переставил спрятанную аппаратуру, вытащил тунгетитовое зеркало — там у него перекачивающая станция, предназначенная для обратной работы! Боже, ведь он открыто говорил: как убить лютов — ну да, только так: не заливая их еще большим количеством тьмечи, но высасывая из них всяческую тьмечь! Это словно электрический ток, то ли к аноду, то ли к катоду течет, все равно — ток; точно так же есть два направления тока Теслы: больше тьмечи, меньше тьмечи. Вы понимаете? Это рецепт от безумия, но и для открывательских мыслей, о чем никто перед тем не подумал, чудесная машина поэтов и изобретателей — это насос логики Котарбиньского! Тот же самый ток, но направленный в другую сторону! Арсенал Лета: то, что и есть, и не есть, ни правда, ни ложь, ни да, ни нет, — *я-оно* глянуло на останки Николы Теслы, — ни живое, ни мертвое, панна Кристина, ни живое, ни мертвое! Следующая остановка! Когда? Где? Который час?

У нее тряслись руки. Она вытащила из ящика свой экземпляр «Путеводителя», нервно пролистала.

— Не знаю, насколько мы опаздываем, — простонала. — Новониколаевск? Вы, случаем, не видели, какая была последняя станция...

— Сейчас.

Я-оно выскочило в коридор. Купе проводников находилось в хвосте вагона, перед туалетами. Там обнаружило человека с жирными пальцами и с колбасой в зубах. Еще немного, и он поперхнулся бы до смерти. В ответ на резкий вопрос тот сразу указал на небольшие часы, стоящие над самоваром, потом на расписание движения, прищипленное к двери, с дописками от руки, сделанными красными чернилами, размашистой кириллицей. Чтобы ее прочесть, пришлось чуть ли не воткнуть нос в бумагу. Новониколаевск, часовая остановка через двадцать восемь минут. Нет, уже двадцать семь. Время уходит, *я-оно* побежало назад в купе Теслы.

Я-оно схватило доктора за руку (кожа холодная, словно лед), рвануло. Мадемуазель Филипов тихонько вскрикнула.

— Что вы делаете?

— Черт, до чего же тяжелы эти трупы, — просопело в ответ. — Милая, давайте-ка сразу поправьтесь какими-нибудь солями, поскольку мне будет нужна ваша помощь и руки, а так же нормально мыслящая голова.

— Но...

— Через полчаса Никола должен очутиться в своем товарном вагоне, и я попытаюсь совершить чудо. Сейчас же, — *я-оно*сделало несколько глубоких вдохов, уселось в ногах лежа покойника, вытерло лоб, — сейчас нам надо подумать, как все это провести. Кто перенесет. И как. Чтобы не спровоцировать сборища на станции и не притащить толпу к арсеналу Лета; господин Тесла мне не простил бы. Думаю, что сразу же после остановки поезда вам следует пройти к тому вагону, постучать и привести тех двух агентов, вас они знают, так что послушаются; затем очень быстро...

Мадемуазель Кристина выкрутила из динамо-машины рукоятку и, склонившись над пустой кроватью, ударила деревянной ручкой по стенке: стук — стук — стук, три раза по разу.

*Я-оно*вопросительно глянуло на нее. Девушка отложила рукоятку. Дверь открылась, и в купе ворвался Павел Владимирович Фогель с наганом в руке.

— Господин док...

— Да спрячьте же свою пушку! — рявкнуло *я-оно*седовласому охраннику, поскольку, засмотревшись на тело Теслы, тот замер с опасно нацеленным оружием, с пальцем, напрягшимся на курке, при этом Фогель по-птичьи мигал.

— С ним что-то случилось? — слабым голосом спросил он.

— Господин доктор мертв, — сообщила Кристина Филипов. — Как только поезд остановится в Новониколаевске, нам необходимо будет перенести Николу в товарный. Сходите за Олегом.

— Мертв?

— Да спрячьте же это!

Тот спрятал револьвер. Насадив пенсне на нос, он приблизился к телу Теслы; осторожно взялся за запястье. Какое-то время, казалось, он измеряет пульс, поглядывая при этом пустыми глазами на стоящий под окном теслектрический генератор.

— Так, буркнул он и неспешно, с бюрократической скрупулезностью перекрестился. — Нужно будет телеграфировать. Вы же засвидетельствуете, что это был несчастный случай? Что мы никак не могли предупредить?

— Еще не известно.

— Что?

— Нужно ли будет свидетельствовать. — Кристина отвела глаза, навернула локон на палец. — Господин Бенедикт вам расскажет.

*Я-оно*поднялось, схватило пожилого полицейского за плечо.

— Нужно организовать сундук, чемодан, самый большой, понятное дело — пустой, чтобы тело доктора поместилось в нем без труда. Мы перенесем его в чемодане.

Фогель поправил очки, наморщил брови.

— Зачем?

— Сами увидите. Что вам терять? Сейчас он мертв, так что уже ничто не помешает. Ну, идите, времени нет! Чемодан, ящик, сундук — только большой!

Тот вышел, обернувшись на пороге к вытянутому на багряной накидке сербу — длинные ноги выступающие за кровать, рука в белой перчатке медленно опадающая на ковер, платок на шее распустился, открывая кровавые синяки, а в расчесанных в стороны черных волосах белый локон на виске — Фогель стоял и пялился, пока *я-оно*не закрыло двери.

— Как вы считаете, послушает?

Из мадемуазель Кристины снова вышел весь дух, она сползла по стенке у окна, приклеив лоб к холодному стеклу.

— Может. Скорее всего, так. Должен.

— А я думал, что он едет в служебном, за тендером.

— Перебрался на место Вазова. Пустые купе оставили до Иркутска.

— А-а!

Вазов и тот другой, которому Вазов разбил череп, забыл его имя, два ангела-хранителя, предназначенные с самого начала для охраны Никола Теслы, имели выкупленные места в люксе; и действительно, после смерти оставили купе пустыми, как раз две «единички» по обеим сторонам купе Теслы и Кристины — это было бы логично. Так что Фогель перебрался в одно из них, и проводник явно об этом знал. Тем не менее, билета у него не было, так что полноправным пассажиром он не был; вот он и не показывался в вагоне-ресторане, скорее всего — вообще не покидал купе. (Если не считать ночных визитов в соседние вагоны, чтобы напугать мешавших ему пассажиров.) Он охранял Теслу.

— Вы и вправду надеетесь... что... Николу...

— Мы еще не добрались до стран Льда, панна Кристина, еще есть место для лжи, даже самой огромной.

Я-онозакурило папиросу. В какой-то степени могло беспокоить то, как неожиданно все объясняется и складывается в порядке, приятном для ума — если бы не осознание, что это, по крайней мере, совсем не первое столь совершенное объяснение; каждое предыдущее очень быстро оказывалось фальшивым, во всяком случае — неполным. В конце концов, здесь мы имеем дело с новой областью знания, новой наукой — наукой о тьвете, о теслектричестве, о физических основах логики; и в ходе этого путешествия к сердцу Зимы проезжаешь через очередные эпохи истории науки, одна теория заменяет другую теорию, одна гипотеза вытесняет другую гипотезу.

...Итак, *я-онолишилось* лишней тьмечи, Никола Тесла изменил направление тока в этой своей машине, и когда *я-оно* схватило за зимназовую иглу, тьмечь вовсе не влилась в тело, она была из него высосана. Помнится: кристалл соли — один из немногих в банке — поначалу не был черным. Помнится: что запомнило все событие, от того, как схватило, до того, как отпустило кабель. Теперь понятны слова доктора Теслы. Арсенал Лета. Убить лютов. Всяческий организм, всяческая биологическая структура обладает не только определенным электрическим, но еще и теслектрическим зарядом: они, такие структуры, являются резервуаром для тьмечи. В своем естественном состоянии на Земле они остаются заполненными не до конца. (По-видимому, можно каким-то образом рассчитать максимальную емкость данной структуры и степень воздействия на нее тьмечи. Если, конечно, такой максимум существует. Кажется, Никола никогда не упоминал о неограниченном стоке теслектричества...?) Лето — это царствие правдивой лжи и лживых правд. Зато Зима не допускает ничего между истиной и фальшью. Люты, дети Зимы, живут в потоке тьмечи. И так же, как можно откачать тьмечь из люта, так же можно высосать ее из любого организма, если он ее в себе ее носит. Но вот будет ли полностью лишенный тьмечи, «размороженный», человек жить? То есть, можно ли будет что-либо сказать о нем с абсолютной уверенностью: что он живет, что не живет, что он есть, что его нет? Или же все утверждения о нем будут одинаково правдиво-неправдивыми, так что в одинаковой степени ему будут принадлежать все атрибуты бытия-небытия? Проводил ли Никола Тесла такие эксперименты на людях или на животных? Самым главным, вне всякого сомнения, здесь считается то, что для лютов насос Котарбиньского станет орудием их гибели.

...Итак, *я-онолишилось* лишней тьмечи, а недобор или избыток тьмечи для смотрящего проявляются одинаково: теми мелкими феноменами света, света и тьвета, тени и свете ни. Когда приложишь магнит верхним или нижним полюсом — сила одна и та же; течет электрический ток в ту или иную сторону — сила одна и та же. А вот уже непосредственное давление на организм и мышление, оно при недостатке или же избытке тьмечи различается.

...Сейчас все складывается в голове до опасного гладко, все себе соответствует: ведь и второе письмо пилсудчиков, извлеченное из «фальшивой» памяти, и эти подозрительно легкие озарения и дедукции прошлого дня, и ночные рассказы... я-онобыло лишено тьмечи, была откачана логика единоправды и единофальши. Со временем эффект уходит, уровни тьмечи достигают среднего локального значения для Лета. Или же Зимы, где среднее значение уровня тьмечи значительно выше — отсюда и заявления Зейцова и Поченгло: это другая страна, там у людей формируются другие привычки, меняется способ мышления, там правят другие законы. Бог-Самодержец перебросил стрелку.

Я-оноположило ладонь на корпусе динамо-машины Теслы. Тот даже не был уже холодным. Сначала подумало, а не закрутить ли рукояткой и не добавить тьмечи для здорового равновесия. Но прошли уже почти что сутки, даже в зеркале не видна разница. А кроме того — а действительно ли того желало: прибавки тьмечи, добавления Мороза?

Вытащило саквояж из под столика, упаковало в него генератор, кабель, рукоятку. Ключика нигде не нашло, а обыскивать карманы трупа не собиралось. Шкаф, к счастью, не был закрыт. Бросило тяжелую сумку вовнутрь, та грохнула о деревянное дно. Мадемуазель Филипов вскинула голову, словно ее неожиданно разбудили; а, может, и вправду проснулась, все ей приснилось, со щекой, прижатой к стеклу — на коже остался багровый отпечаток. Какое-то время она изумленно моргала, наново ориентируясь в ситуации: останки Николы на кровати, в купе хозяйничает чужой мужчина. Во сне люди пухнут; после сна обращают к свету лица мягкие, более полные, округлые. Светловолосая Кристина показалась сейчас едва расцветшей девушкой, с личиком херувима, с огромными, витражно-голубыми глазами. Даже нерешительное движение руки, наполовину прерванное — оно тоже выдавало детскую беспомощность и растерянность. Спала — ведь это тоже, в какой-то степени, бегство.

Я-оно отклеило папиросу от губы и, приоткрыв окно, сбilo пепел на ветер. Холодный воздух надувал черные заслоны над ложем покойного. *Mademoiselle* Филипов несколько раз глубоко вдохнула.

— Вы возвратитесь? — тихо спросило я-оно.

— Да, — сглотнула она слюну. — Сначала в Прагу, нужно будет заняться Чито, его ассистентом; потом в Америку.

— А что станет с тем вагоном? С его содержимым? Машины и все остальное?

— Все и так принадлежит царю.

— У него имеется кто-нибудь, кто в этом разбирается?

Кристина быстро глянула на мертвого изобретателя.

— Сам Никола не разбирался, никто не разбирался; ничего не знают даже инженеры из Холодного Николаевска. В противном случае, можно было бы пойти и спросить. Или прочесть в каких-нибудь книжках... Вы так не считаете?

— Я хочу спросить... будет ли кто-то продолжать эксперименты доктора Теслы? Примет на себя работы, использует все эти открытия?

Кристина подняла глаза.

Я-оноэнергично перекрестилось.

— Да Боже меня упаси! Не смотрите на меня так! Честное слово, я не потому спрашиваю! К тому же, я вообще не имею об этом понятия!

Девушка закрыла рот ладонью.

— А ведь я вам почти что поверила! Будто бы вы знаете, что делаете. Что, когда мы его туда перенесем... что, как говорил Никола, вы догадались о чем-то большем, и...

— Воскрешение из мертвых.

— Что?

Я-онозатянулось дымом.

— Произношу вслух, чтобы проверить, не засмеюсь ли сам. Воскрешение из мертвых, поднятие из могилы, восстановление тела.

Девушка наклонилась и поправила платок на шее доктора Теслы.

— Видимо, понапрасну я вас беспокоила, нужно было сообщить проводнику, и пускай бы его уложили в гроб, а не бесчестили останки Николы чемоданами; прошу прощения, я понимаю, что веду себя недопустимо, вот видите, уже не плачу, извините... Все это не имеет никакого смысла. — Она встала. — Может вы...

— Вы меня выгоняете? Я никуда не спешу.

Я-оноуселось на стул.

— Что необходимо для воскрешения? Не труп. Вы сядьте, я расскажу, и вы сама рассудите, есть ли смысл мучиться с сундуком. Таак. Для воскрешения — не труп. Нужен живой человек и память, по меньшей мере, одного свидетеля, что живой когда-то был трупом.

...Потому что, видите ли, имеется только лишь настоящее: нынешний Бенедикт Герославский из настоящего момента, нынешняя Кристина Филипов, нынешняя папироса, нынешний поезд, нынешнее тело Николы Теслы. Их прошлое и будущее — они примерзают к настоящему самыми различными возможными формами. Ведь не существует же вчерашняя Кристина Филипов, равно как нет завтрашней Кристины Филипов.

...Но: настоящему принадлежат и наши умы и их представления о будущем, а так же их память прошлого. Поскольку же память так сложно прихватить на лжи, а представление о завтрашнем дне подлежит резкой верификации, мы считаем память надежной — и таким же надежным: отраженное в памяти прошлое. Но, мадемуазель Кристина, это всего лишь иллюзия нынешнего ума! Не случилось ли с вами когда-нибудь, что вы помнили какое-то минувшее событие четко и выразительно, но другие свидетели того же события помнили о нем совершенно по-другому? Неужели они лгали? Ничего подобного. К настоящему ведет миллион дорог, и миллион дорог из него выходит. Вы играете в шахматы? Как часто случается, что, глянув на шахматную доску, вы со всей уверенностью знаете, каким было положение фигур на ней ход назад, и каким будет — ходом позже? Как часто из нынешней системы можно воспроизвести исключительно один и только один прошлый расклад?

...Насколько же редкими во владениях Лета являются моменты, когда то, что возможно, полностью покрывается с тем, что необходимо!

...Тут бы нам больше помог своими знаниями господин Зейцов, но ведь всем нам известны истории библейских воскрешений. Как Иисус поднимал из могилы? Вот приходит к нему храмовый служитель, руки заламывает, одежды целует, Учитель, доченька моя умерла, лежит дома мертвая, семья оплакивает едва расцветшую деву, но верю, что в силе Твоей вернуть ее из мертвых, если только пожелаешь, так пожелаешь ли? Иисус идет в дом умершей, к оплакивающим ее, зачем плачете, спрашивает, — вот тут внимательнее, — зачем плачете, — потому что дитя умерло, говорят ему, и все знают, что умерло. Да нет же, говорит Иисус, она не умерла, только спит. И направляется в комнату печальную, над смертным одром склоняется, встань, девонька, шепчет. И девонька поднимается. Можете представить изумление семьи. Выходит, воскресил! Что сотворил! Чудо! Вырвал у смерти в объятия смерти уже попавшее дитя: только что оно не жило, теперь живет. Так нет же, речет Иисус: она сейчас живет, а перед тем лишь спала. И не говорите об этом никому, запрещаю вам. Просто плохо помните, а вот теперь имеете ее перед собой, дышащую. Вы понимаете? Что Он сотворил — мог ли он изменить прошлое, раз прошлого нет? В конце концов остается лишь ненадежная память свидетелей. Считается лишь нынешнее состояние — существует

только нынешняя дочка служителя — а прошлое примерзает в наших глазах таким, каким мы легче всего понимаем разумом, то есть, наиболее простым из возможных. «Спала только».

Экспресс дернулся, завершая торможение, и тело Николы Теслы сползло вместе с накидкой; *я-оно* схватило его обеими руками, выпуская окурок на ковер. Открылась дверь, господин Фогель всунул вовнутрь седую голову.

— Сундук есть, иду за Олегом.

За окном проплыло здание вокзала в Новониколаевске и ряд товарных вагонов на боковой ветке.

Mademoiselle Филипов высморкалась.

— В то, что вы говорите — не верю, впрочем, и не понимаю. Но то, как вы это говорите — господин Бенедикт — он говорил точно так же, *or is it my memory playing tricks on me, so I could hear him once more, his manner of speaking, his manner of thinkings*, [\[136\]](#) точно такие же — вот этому поверю.

— Где этот сундук?

А потом начался следующий акт комедии с трупом, то есть сражение в тесноте купе вагона-люкс Транссибирского Экспресса с мертвым, инертным телом. Дело в том, что сразу же после остановки поезда началось движение в коридорах и переходах; нужно было закрыть двери и следить за случайными любопытными типами. Украденный или купленный Павлом Владимировичем сундук (или это был сундук, опорожненный от багажа мертвого охранника) ждал в *атделении* справа: когда Фогель вернулся с Олегом, они перенесли сундук в купе Теслы, заблокировав при этом коридор чуть ли не на минуту, потому что уже в ходе операции оказалось, что даже двойное *compartment* [\[137\]](#) не поместит громадный дорожный сундук, четверых живых и один труп — так что в первую очередь выпросилась *mademoiselle* Филипов, сбегая на высыпанный гравием и камнем перрон станции Новониколаевск (ранее: Лагерь Обь). Втроем мы занялись упаковкой Николы Теслы в сундук. Пришлось так же закрыть и заслонить окно, выходящее на одноэтажное здание вокзала, где сейчас, по okazji проезда Транссиба, собралась чуть ли не половина города, и где царил чуть ли не ярмарочный говор и шум; обе двери под высоким фронтоном были распахнуты настежь, в низких окнах сидели чиновники и другие дармоеды, а на перроне и между путями шастали продавцы и почтовые агенты, инородцы с азиатскими лицами, в европейских костюмах и кожаных племенных нарядах, а в садике справа, за окрашенной белой краской оградой заходились одичавшие псы, заглушая даже чудовищный клекот заржавевшей дрезины, что тащилась по параллельному пути с троицей железнодорожников в парадных мундирах. К тому же еще, локомотив вовсе не был заглушен; посвистывая, посапывая и повизгивая сталью о сталь, по какой-то причине он ежесекундно дергал составом, пару вершков туда — пару вершков сюда, но и этого могло хватить: зазеваается человек, потеряет равновесие и упадет в сундук, в объятия трупа, рожей вперед. *Я-оно* закрыло окно, так что станционный балаган чуточку притих, зато в купе в мгновение ока сделалось жарко и душно, человек не мог выдержать. Тело изобретателя еще не завонялось, и слава Богу. Только Олегу хватило и этого — обладая приличной тушей, он тут же запыхался, лицо побледнело, на мясистый лоб выступил обильный пот; и вот уже белки глаз у него закатываются, колени подгибаются — он отпустил крышку сундука, вагон дернулся, Олег потерял сознание. Но, поскольку крышку отпустил, упал, к счастью, не на останки, но уже на закрытый сундук. Нужно было приводить охранника в себя. А время шло. Снова открыло окно, не отодвигая занавесок. Опять завыли собаки, загудел паровоз, разорались люди. Господин Фогель попытался перевернуть Олега на спину, чтобы иметь возможность надавать ему пощечин, но эта задача превышало силы седого полицейского; Олег всего лишь повернулся наискось на

выпуклой крышке, ноги у него разъехались в стороны, головой он стукнулся о столик, из кармана посыпалась махорка, медные и серебряные монеты — *я-оно*схватило Олега за воротник; руки у того упали на ковер, ноги разъехались еще сильнее, и теперь посреди обитого железом гроба Николы Теслы выпирал громадный зад охранника, левое полушарие, правое полушарие, заполненные водой воздушные шары, натягивающие черный шевиот, а когда поезд дергался, по ним проходили очередные волны и конвульсии. Когда же потерявший людское терпение Павел Владимирович Фогель взялся за пощечины, нанося ритмичные удары по левому и правому полушарию, потихоньку приходящий в себя Олег Иванович непристойно подскакивал на сундуке, стуча в него и колотясь о предметы в купе, пока не поцарапал дверки шкафа, пока не разбил сбитую на пол пепельницу, и при том все время ужасно дергался.

— Ты, зараза, и мертвого разбудишь! — в святом возмущении заорал господин Фогель, потрясая над головой натруженной десницей. *Я-оно*хохотало.

Потом тащило этот сундук вдоль состава Транссиба по засыпанному гравием перрону; тут же появились охотные носильщики, но их отогнало ругательством. Пришедший в себя Олег тащил сундук спереди, пожилой Фогель помогал сзади. Мадемуазель Филипов поспешила вперед предупредить Степана. Трудно было согласовать шаги, сундук опасно раскачивался, было слышно, как внутри переворачивается и бьется о стенки тело серба, его длинные конечности и птичья голова. Следовало перенести груз как можно скорее, пока не приклеится какой-нибудь пассажир, кто-то знакомый из Люкса; пришлось дробить шаги в полубеге. С другой стороны — именно эта спешка могла все выдать.

Река Обь как бы образовывала естественную границу погодного фронта; небо над Новониколаевском утратило мрачный свинцовый цвет, оно разошлось ярчайшим солнцем, спуская на вокзал, на его белое здание, белый забор, белый гравий, белый песок — лавины ослепительного света. Были такие места, такие направления взгляда, на которых белизна, перемноженная на белизну, выжигала из картины все краски, формы и масштабы, и тогда ты глядел в обладавшие бесконечной глубиной дыры в материи мира, в костры жаркого ничто — тут, здесь, там, соединенные сетками рефлексов, нитями солнечных лучей — над крышей вокзала, за садиком, в тучах над Новониколаевском, на вагонном стекле, в перспективе железнодорожных путей. Чух, чух, чух, из белого ничто выплыл массив локомотива, медленно движущегося по боковой ветке — *я-оно*прищуривало глаза, глядя прямо на него, через плечо запыхавшегося Олега — поначалу неопределенная форма, затем, запаздывающие, всосанные в белизну, длинные зимназовые радуги, арки и мыльные пузыри мерцающих цветов, покрывающие паровоз словно выдутые ветром паруса четырехмачтового галеона; и чем больше паровоз удалялся от солнечной дыры, тем мощнее он обрастал многоцветными радугами, пока не поравнялся с последним вагоном Транссиба и тогда развернул полный такелаж акварельных миражей в десяти, двадцати, тридцати метрах над трубой, и одинаковой величины разбросанных по бокам крыльях: тяжелая угольная машина в калейдоскопе феерических отблесков. Это был локомотив, полностью построенный из гимназа: не копия старых машин, но *действительно*новая. Тогда *я-оно*первые увидело в подобном масштабе технологии эпохи Льда. Ее эстетику уже предсказывал Гроссмейстер — но вот это не было простой вещью, которую можно взять в руку; это был целый локомотив. Тонкие словно промокательная бумага колеса со спицами-паутинками вращались по бокам черной гусеницы, каждое из них в два раза выше гусеницы; выгнутая, как бы покрытая чешуей крыша паровоза, казалось, висела на осях этих колес. Дымовая труба не вырастала посреди головы черного червяка — она отходила по параболе от его левого виска — словно единственный сохранившийся рог чудовища. Серый дым исходил из нее, начиная с двух

третей высоты, не поднимаясь вверх единой струей, но расстилаясь за древком трубы широким штандартом. Асимметрия машины была видна в каждом элементе; даже окна были расположены наискось от ее фронта, так что они напоминали прищуренные волчьи глаза; стекла в них то отражали яркие рефлексy, то вдруг оказывались совершенно прозрачными, чтобы в мгновение ока потом затянуться чернильными кляксами, и сразу же затем — цветастыми калейдоскопами. Должно быть, это было то самое знаменитое ледовое стекло, которое в Варшаве я-оновидело только как эксклюзивное украшение, мираже-стекло: его невозможно разбить, разве что растопить. Фонарей была всего лишь пара; правый был побольше и размещался повыше. Язык отбойника выдвигался над рельсами на добрых три аршина перед холодовозом — ажурная фата, предшествующая броненосной невесте. Над отбойником, фонарями и окнами ледянисто блестел двуглавый орел Романовых. А на правом борту, на выдвинутой словно плавник заслоне, за арочно выгнутой лесенкой и напоминавшими рыбы жабры дверками в кабину машиниста, краской цвета слоновой кости на черной чешуе были выписаны номер и название машины:

В-Сиб 5 ХЗ паровоз «Черный Соболь»

— Что это такое? — спросило я-оно.

— Пересоединяют, от Оби Транссиб обслуживают уже байкальские локомотивы, — ответил Фогель. — Уфф, давайте-ка поспешим, Венедикт Филиппович.

— Что вы меня тут пугаете? Чтобы ледняцкий агент застрелил меня у всех на глазах?

— На глазах у всех, уфф, не застрелит, но — да, мы у всех на глазах!

Это было правдой, прибытие «Черного Соболя» привлекло на эту сторону поезда до сотни пассажиров; если кто не вышел, тот выставил голову в окно. К счастью, мы уже добрались до последнего купейного вагона. Я-онооглянулось через плечо. Только один человек на перроне не пялился на зимназовый паровоз: худая, выпрямленная фигура в феске, с тростью в руке. В ответ на мой взгляд Юнал Тайиб Фессар отдал салют сигарой.

С помощью Степана я-онозабросило сундук вовнутрь товарного вагона. Последним вскарабкался Фогель; задвинуло за ним дверь и отрянуло ладони.

Повернувшись, попало под молчаливый взгляд агентов и мадемуазель Филипов.

— Так?

Кристина сложила руки на груди.

— Ждем.

С трудом удержалось, чтобы не закусить ноготь.

— Хорошо. Вы, Павел Владимирович, Олег Иванович, извлеките его и положите сюда. А вас, Степан, вас попрошу открыть тот ящик, где доктор Тесла держит машину, с которой работал вчера утром, когда я был тут у вас. Еще мне нужен кабель от нее. Ну, и какие-нибудь конструкционные схемы с описанием... Это какой ящик?

— Вот этот.

— Ключи к замкам есть?

— К этим? Нету. Но доктор их тоже не отпирал. Вот тут, видите, он провертел дырки, вроде как сучки, которые забивал резиновыми пробками. Он так ежедневно приходил и втыкал те провода, и впускал это в себя, тьфу, говорю же, ваше благородие, знал же я, что этим и закончится, и его тоже умолял, но что ж тут сделаешь, что делать, слушать начальство надо, и вот глядел я, как человек травится этой гадостью нечеловеческой... — Ваше благородие что собирается?...

— Подключить его к гадости. Как это включается?

Я-оноизвлекло из досок пробки, Степан вытащил из-за сенника служебный чемоданчик и вытащил из него пук ключей. Какое-то время перебирал их, подозрительно зыря по сторонам. Я-онождало. Mademoiselle Филипов, подгоняя, застонала. Тяжело вздохнув, Степан вскрыл ящик, хранивший банки с солями, и достал кабели. Тот, что с захватом на конце (охранник зажал его зубья на кристалле), и тот, что с иголкой — какой из них идет направо, какой налево? Память подсовывала то одну, то другую картинку. Вопросительно глянуло на пожилого агента. Тот отступил, заслоняясь рукой с ключами.

— И что? — настаивала мадемуазель Филипов. — Что теперь? Вы вообще знаете, что делаете?

Я-оностояло с кабелями в руках перед запечатанным ящиком с бандеролью *Tesla Tungetitum Company*.

— Что же, это и так будет воскрешение *d'l'improviste* ^[138] — Воткнуло кабеля в отверстия и в машинные гнезда, скрытые за отверстиями. — *Fifty-fifty* ^[139]. Как это включается? — Но уже почувствовало дрожь пробуждающегося механизма, с ящика посыпались пыль и опилки. В каком-то из гнезд должен был находиться главный выключатель. Дыма не видело. Что приводило эту станцию в движение? Оставалась ли она подключенной к внешнему источнику электричества? Сравнение размеров с тремя громадными станциями, заполнявшими большую часть вагона, показывало, что это был, скорее, некий миниатюрный прототип.

Я-онопоплеало в ладонь, потом положило палец на спуск, на обнаженную иглу.

...И упустило ее на пол.

— Ладно, — сказала я-онои сползло по доскам, вытирая пиджаком нетесаное дерево ящика. — Хорошо. Пускай кто-нибудь... Лучше я. Сейчас, через минутку.

— Вы снова это сделали! — вскрикнула девушка. — Вы заразились той же вредной привычкой, что и Никола! Боже мой, так вот зачем вы засовывали его в сундук, затем тормозили останки, чтобы я поверила, будто бы вы можете — что там о вас говорят: *lying bastard* ^[140] — все это правда!

— Все не может быть правдой, — буркнуло я-оно, поднимая руку к глазам. Черные пятнышки мерцали на поверхности кожи, а может и под самой ее поверхностью; иногда, когда конечность затекала, внутри ладони складываются бело-розовые мандалы, но теперь все выглядело так, будто бы там сражались друг с другом живые тельца тени и светени. Глянуло левым глазом, глянуло правым глазом. В вагоне царил полумрак, свет попадал через зарешеченные окошки, которые дополнительно были заслонены кучами упаковок. В воздухе носились миллионы пылинок; все они сейчас кружили и золотисто отсвечивали, и все отбрасывали собственные тени — такого не могло быть, но я-оновидало с клинической точностью, каждую по отдельности: пятнышко темное, пятнышко светлое, пятнышко золотое; изнутри весь вагон был разбит на калейдоскопические обломки цвета. Калейдоскоп, правильно, именно он был наиболее правильной ассоциацией — поскольку они продолжают кружить, остаются в космическом движении, и малого требуется, чтобы они перескочили в совершенно иную конфигурацию, щелк, щелк — и это уже будет не вагон, это уже не будут доски, это уже не будут люди, это уже не будет труп.

Это не будет труп. Я-оноподняло глаза. Три агента охраны стояли вокруг с серьезными минами: Олег с желтым платком в руке, Степан, прижав к груди пук ключей; Павел с рукой, сунутой под пиджак, пальцы на рукояти нагана — фигуры с икон, у каждой свое предназначенное место: Павел посередине, Степан справа, Олег слева; каждая, являющаяся еще и атрибутом: оружие, ключи, платок; каждая играла назначенную Богом роль: троица чиновников царского порядка.

— Стекло, — произнесло я-оно. Кремний, камни, в самом крайнем случае — металл. Найдите что-нибудь, что можно под него подложить.

— Зачем же? — фыркнула Кристина.

— Для изоляции. В противном случае, тьмечь пойдет из досок, из пола. Сейчас я встану. Пускай кто-нибудь проверит время — за десять минут до отправления мы должны вернуться в люкс. Расстегните ему жилетку и сорочку на груди. Вода здесь есть? Что-нибудь попить? Ну, в чем дело? Сейчас встану.

— У вас свет в волосах, — указал Олег платком. — Из бровей сыплется, Венедикт Филиппович.

— Что? Иней?

— Огни, огоньки, светлячки...

Провело по голове рукой. После того, как пальцы сложились в кулак, вдоль косточек и между пальцами улеглись яркие светени. Закрыло веки. Тут же под ними все взорвалось ярко-красным. Дернуло головой назад, ударяясь затылком о дерево, раз, другой, третий, все сильнее. *Mademoiselle* Филипов подбежала, схватила за воротник, потянула за плечо. Неуклюже поднялось.

— Да что же это вы вытворяете? — шепнула явно перепуганная девушка. — Что это на вас нашло?

Я-оно пожало плечами.

— Не знаю. Прошу прощения. Со мной теперь может случаться, что... Ну, это может странно выглядеть. Не могу толком рассказать.

Она прикусила губу.

— Он говорил то же самое! И потом...

— Потом шел к другой машине, так?

Теслу положили на трех жестяных коробках, получилось что-то вроде катафалка, ноги серба выступали дальше, он был слишком высоким, то есть — слишком длинным. Осторожно схватившись за изоляцию, подняло кабель (правда, наклонилось слишком резко, в голове закружилось). Положило иголку на обнаженной груди изобретателя, прижало зимназо его раскрытой ладонью, сгибая большой палец руки трупа на спуске. Проверив, что тот оттянут до упора, отступило под ящик.

Запечатанный отсос работал с низким гудением. Насос Котарбиньского вытягивал теслектричество из тела Николы Теслы в банку с соляными кристаллами.

— Он ведь повторял это ежедневно, правда? Мадемуазель Кристина?

Та с трудом оторвала взгляд от Николы.

— Да.

— Утром откачивал тьмечь, а после полудня накачивался ею.

— Да, наверное, так. А вы теперь его хотите — в другую сторону? Вытянуть из него, что он там в себя впустил? Так?

— После извлечения пули мертвые к жизни не возвращаются. Нельзя вылечить того, кто уже не живет.

Три охранника, молча присматриваясь, стояли над останками доктора. Олег все так же сжимал платок (время от времени опирая себе лоб), Степан крутил в пальцах ключи; Павел машинально прятал руку под полый пиджака.

— Он вам рассказывал, зачем это делает? — тихо спросило я-оно. — Ведь именно сейчас, в поездке, он должен был бросаться со всем этим в глаза. Теслектрический генератор у него был под рукой, в купе, но к насосу ходил сюда, в арсенал. Именно потому вы так разнервничались, правда? Он не мог с этим прятаться, как прятался в своей лаборатории.

Скажите, пожалуйста. Он объяснял когда-нибудь? Почему так? Одно на завтрак, другое на обед.

— Перед Уралом, когда я заметила, что это сильнее его, мы поссорились, и... — она прервала. — Он назвал это, *pardon pour le mot* [\[141\]](#), клизмой для ума. Сказал, что до полудня ему в голову приходят самые лучшие идеи. А потом он их записывает. И что должен... должен... должен...

Она подавилась сухим рыданием. Я-онохотело снова ее обнять, прижать к себе, утешить — но Кристина быстро убралась в угол, за громадный цилиндр мегастанции, пряча лицо в платке. Впрочем, охранники глядели.

Тело Теслы выглядело таким же мертвым, что и минуту назад, даже более мертвым, чем на кровати в купе Люкса, потому что сейчас, с прижатой к голой груди рукой, оно лежало в позе явно неестественной, словно манекен, на этом жестяном катафалке, словно в гробу, уложенное туда специалистом по бальзамированию.

Подшло, встало возле Теслы. То ли оптический обман, то ли и вправду — искры тени, угольные тьветлячки — уже собираются на ресницах серба? Провело рукой над его лицом. Должен ли организм после откачивания тьмечи стать теплым, раз накачанный тьмечью предмет сильно охлаждается?

Олег протяжно засопел, вытирая лоб и обмахиваясь платком; снова была заметна нездоровая бледность его лица.

— Отойдите, — сказала я-оно. — Не надо глядеть.

— Что? Почему?

— Это дело не публичное. Такие вещи совершаются в темноте, в тишине, под землей, за камнями, когда никто не смотрит. «Когда никто не смотрит, — подумалось, — когда нет непрерывности между прошлым и настоящим; за занавесом Быть Может. Это лишь в Зиме, лишь в самом сердце Льда, в глыбах соплицовых, только там существует лишь то, что существует, и не существует лишь то, что не существует». — Выйдите.

Троица охранников глядела один на другого.

— Выйдите. Покурите, разомните ноги, я вас позову. Ну!

Господин Фогель кивнул и схватился за засов. Солнце влилось в вагон, я-оноотступило в тень. Охранники выходили медленно, оглядываясь. Степан шел последним. Двери оставили приоткрытыми на ладонь, щелку для ручьев теплого сияния, вливающих в подвальный полумрак.

Зашло в угол за станцию, к мадемуазель Филипов. Она сидела на покрытой пледом железной клетке, положив висок на корпус машины.

Присело на ящичке рядом.

— А вы не рассматривали возможности, — спросило я-оно, без предисловий, — что все это только выглядит как несчастный случай, что должно было таким выглядеть?

Поначалу она не поняла, а когда поняла — стиснула губы.

— Я своими глазами видела. Он сам себя прикончил этой адской машинкой.

— Подумайте, пожалуйста. Он эти устройства спроектировал, он их построил, никто в них лучше него не разбирается. Он применял их на себе уже много месяцев, если не несколько лет. Как до того электрические динамо — молнии сквозь себя пропускал, вы же сами мне рассказывали, держал в руках молнии, заставлял лампочки загораться своим прикосновением, проводил разрушительные силы сквозь землю, воздух и тело, никогда не страдая от собственной ошибки или неверных расчетов. Тогда, почему такое сейчас? Или же ледняцкий убийца следит в засаде, так что царские агенты должны охранять его днем и ночью. Случай?

— Я видела!

— Вы видели конечный эффект. Узнал бы Никола сразу, если бы кто-то, в ваше отсутствие, прокрался в купе и переставил в механизме динамо-машины калибра тор мощности, какое-нибудь колесико, увеличивающее давление теслектрического тока? Практически всякая вещь оказывается убийственной, если подать ее в неумеренной дозе.

— Это можно проверить! Заглянуть вовнутрь динамо!

*Я-оно*покачало головой.

— Сейчас? Когда мы оставили его без присмотра, в открытом шкафу, в открытом саквояже? Вы вообще дверь купе на ключ закрыли?

— Но кто бы мог это сделать? Кто вообще знал о привычках Николы?

— Кто?

Mademoiselle Филипов широко раскрыла глаза.

— Вы!

— Это правда. Кто еще?

— Никто! Только вы! Только вам рассказывал!

— А охранники? А сам доктор Тесла — с кем он еще беседовал? А люди из пражской лаборатории — разве там ледняки не могли чего-то вынюхать? Кроме того, откуда вам известно, что я, в свою очередь, не мог рассказать кому-нибудь?

— А вы рассказали?

— Не в этом дело. — С раздражением дернуло себя за ус. — Вы меня не слушаете. Дело не в том, как было и как не было, но как могло быть. Вы же сами видите, солнышко светит, лето, небо синее, мы стоим еще в Новониколаевске, а Лед далеко за горизонтом.

Кристина шмыгнула носом, дунула в смятый платочек.

— Не понимаю, господин Бенедикт, к чему вы ведете.

— Умоляю вас ненадолго сконцентрироваться. Ведь как выглядит нынешняя ситуация: нет никакого способа утверждать, то ли Никола Тесла погиб в результате несчастного случая, то ли его убили. Все предпосылки соответствуют обоим вариантам прошлого. Даже сам доктор Тесла не мог бы подтвердить, какой из них правдивый. Его убили и не убили. В вашей власти выбирать, какая история заморозится: убийство или несчастный случай.

Что-то до нее начало доходить. Невольно девушка склонилась вперед, снизила голос.

— Вы меня уговариваете, чтобы я объявила, будто его убили?

— Про объявление пока что нет и речи, но такое прошлое было бы, ммм, наиболее мудрое.

— Я должна лгать?

— Да нет же! Лгать? С чего вы взяли! И то правда, и это правда, во всяком случае — правда в той же самой степени. Вы скажете «А» — скажете правду; скажете «не-А» — опять скажете правду. — *Я-оно*застегнуло пиджак, заложило ногу на ногу. — Так как же будет? *Значит*, как было?

— Но — зачем?

— Зачем убийство было бы для вас наиболее мудрым решением? Но это же очевидно, учитывая контракт доктора с царем и те обязательства, которые по прибытию в Иркутск...

— Почему это столь важно для вас? — Кристина наморщила брови. — Какая вам выгода, когда скажут, что... — Она громко втянула воздух, закрыла рот платком. — *Father Frost* [\[142\]](#). Что они говорили за завтраком о вашем отце — что вы едете торговать с лютами Россию, что...

Отзвук плевка и громкий кашель перебили ее на половине мысли. *Я-оно*выглянуло из-за аппарата. Доктор Тесла сидел на жестяных ящиках, одной рукой массируя себе грудь, второй поднося ко рту приготовленную Олегом кружку с водой.

— Мадемуазель Кристина, — тихо произошло *я-оно*. — Только не надо кричать и не делать каких-либо тупостей...

Девушка вскочила, увидев Николу, протяжно вскрикнула. Тесла поднял голову, улыбнулся. Она припала к нему, чуть не выбивая у него кружку из рук; доктор прижал ее к себе, обнял, поцеловал руку. Mademoiselle Филипов снова расплакалась. Серб, ничего не понимая, глядел над ее головой. *Я-оно* подошло к двери, потянуло засов. Павел Владимирович стоял буквально в паре шагов, сразу же оглянулся. Кивнуло ему. Тот притоптал окурок, позвал Олега и Степана.

Вытащило из насоса оба кабеля; машина чихнула, завизжала, захрипела и замолчала. Закрыло пробками отверстия в досках корпуса, свернуло провода, уложило их в ящике с банками. Соляная глыба в обойме зимназового захвата была черной словно уголь. Отерло ладони о брюки — холодная влага собиралась на кабелях, несмотря на толстую изоляцию.

Агенты стояли возле Теслы; беспомощно опущенные руки и размякшие, масляные лица говорили все.

Серб выпил остатки воды.

— В горле пересохло, — прохрипел он.

Потом покосился в середину кружки и тоненько захихикал. Впечатление было чудовищным: Никола Тесла так себя не ведет.

— Не знаю, — произнес Павел.

— Дышит, — сказал Степан.

— Живет, — заявил Олег.

Тесла осторожно поставил кружку на жестяной поверхности. Кристина Филипов присела к нему на колени. Доктор шептал ей что-то на ухо. Она же игралась пуговицами, застегивая сорочку старика.

— Нужно будет написать в рапорте, — сказал Павел.

— Что сейчас живет, а не жил, — сообщил Степан.

— Что живет, — сказал Олег.

— Я же проверял его пульс. Не было пульса. Не дышал.

— Мог и ошибиться.

— Ты же не врач.

— Опять же, разнервничался.

— Вот это — сущая правда.

— Ну, так видишь.

— Живой.

Я-оно тихонько рассмеялось. Все глянули. *Я-оно* разложило руки:

— Всего лишь спал.

О необходимости ручного управления Историей

На серебряной крышке портсигара был выгравирован геральдический символ с тигром, сжимавшим в челюстях зверька, похожего на ласку.

— Уссурийский тигр, — сообщил господин Порфирий Поченгло, угощая папиросой. — Якобы, когда-то обитал неподалеку от Иркутска, буряты-охотники повторяют рассказы дедов своих дедов. И сибирский соболь, на торговле их шкурками выросли здесь первые состояния.

— Это печать вашего торгового дома?

Поченгло рассмеялся.

— Герб Иркутска, дорогой мой, герб Иркутска! Тигр и соболя.

— Вы, насколько я понимаю, сибиряк с рождения, отец же попал на Байкал — когда? после январского? [\[143\]](#)

Тот вынул визитную карточку. *Я-оноглянуло*. Кириллическая печать, с адресами в Иркутске и Петербурге — Поченгло П. Д., директор Сибирского Металлургического и Горнодобывающего Общества Коссовского и Буланжера, под двойным гербом Иркутска и Сибирхожето.

Я-онозакурило. Господин Поченгло кивнул стюарду, чтобы тот приоткрыл окна в малом салоне. *Мальчик* начал сражаться с блестящей аппаратурой потолочного люка. Поченгло вздохнул, указал рукой в переднюю часть поезда. *Я-онотолько* пожало плечами. В курительной и за биллиардным столом собралась, как и каждый вечер, чуть ли не половина пассажиров Люкса; в таких условиях крайне сложно говорить наедине, всегда кто-то прилепится, оказавшиеся вместе люди сходятся и расходятся, отбиваясь друг от друга — словно биллиардные шары. А ведь нужно уделить панне Елене хотя бы с полчаса. Глянуло в ее сторону. Она уже вышла; дала знак и вышла.

Перебралось в вечерний вагон. Здесь, в свою очередь, попало на *Frau* Блютфельд, та цвела в компании, уцепившись за руку высокого прокурора, слишком далеко не отходя от пианино, на котором выстукивал печальные мелодии *monsieur* Верусс, строя притом глазки черноволосой красавице-вдове. Гертруда Блютфельд, Боже, из огня да в полымя. Заметила? Фу, не заметила. Как можно незаметнее потянуло Порфирия в галерею. Только лишь закрыв ее двери, вздохнуло свободнее. Промышленник с весельем в глазах только приглядывался.

— Светская клаустрофобия, — сказала с кислой усмешкой. Огляделось по сторонам. Никого, один Зейцов тихо похрапывает на табурете в углу. Стекланные панели-близнецы по обеим сторонам железной перегородки перед смотровой площадкой были приоткрыты, ветер свободно влетал вовнутрь. Встало у самой переборки, еще перед струями сквозняка, но уже в движении свежего, прохладного воздуха; выдуваемый дым сворачивался в нем в спирали и банты. Если глядеть отсюда, прижав глаза к стеклу, впереди видны, на фланге мчащегося Экспресса, на фоне размытой зелено-золотой тайги, под длинным штандартом дыма — цветные крылья зимназовых зорь, бьющие на много аршинов от ледовой туши «Черного Соболя» (которого самого видно не было).

Я-оноспрятало карточку в карман.

— Впечатлен, впечатлен. *Сибирское Холад-Железа* промышленное Таварищество пожало мне руку, буду ее внукам показывать.

Поченгло снова рассмеялся, его смех был очень заразителен, так и хотелось смеяться вместе с ним.

— В совете Сибирхожето у нас только один голос. На водку с Победоносцевым я не хожу, если вы так это себе представили. Впрочем, и в самом Металлургическом и Горнодобывающем Обществе у меня только миноритарная доля. Но характерно то, что вы заранее приняли, что что я сам ссыльный, либо родитель мой был сослан. Сам я никогда не бывал в давнем Королевстве [\[144\]](#) — у всех вас там, и вправду, такой образ Сибири?

— Ну, после зимназового бума кое-что изменилось, знаю, что многие выезжают ради заработка...

— И даже сейчас, — Поченгло поискал глазами пепельницу. Стряхнул папиросу за окно, — вы говорите это так...

— Как?

— Слово в этом таится какая-то непристойность. Только не надо кривиться; так, так, я уже слышал о вашем отце, сосланном за противодарские делишки; *le Père du Gel*, ну как же я

мог не услышать; так что представьте, какие странные чувства это пробуждает у самих ссыльных. Мы стараемся нанимать их в первую очередь, тех, которые после освобождения не получают разрешения возвратиться в Польшу, с приговором выдворения или поселения — и поначалу это всегда, ммм, не очень удобно.

— Если вся Сибирь представляет собой тюрьму для поляков, кем же являются те, кто в тюрьме этой богатства свои растят?

На этот раз Поченгло поглядел серьезно.

— А кем являются те, кто в тюрьме родились? Послушайте, мой отец был инженером, в Иркутск его вызвал господин Савицкий во времена золотой горячки; дело было в графитовых тиглях; какой-то француз открыл там тогда залежи графита, и золотоносные поля Савицкого над Ангарой оказались ценными вдвое. Отец, в свою очередь, выписал невесту из Захваченной Страны, тут, то есть, в Иркутске, они поженились, в костеле отца Шверницкого. В тысяча восемьсот семьдесят девятом костел сгорел, через пять лет на его месте возвели уже кирпичный храм Вознесения Наисвятейшей Девы Марии, за счет Михала Коссовского; в этом же костеле и меня крестили, пан Коссовский был моим крестным. Когда началась реализация крупных проектов российских железных дорог: Транссиба и Восточно-Китайской, началась вторая жизнь Прибайкалья. Коссовский вместе с Эдгаром Буланжером учредили тогда свое Общество, концерн мирового масштаба, с резиденцией в Санкт-Петербурге и филиалами в Иркутске, Томске и Париже. Несмотря на название, Общество занимается еще и торговлей, возводит порты на реках. Поначалу, действительно, прибыль шла, в основном от горного дела, от добычи медных и никелевых руд. Все изменилось с приходом Льда. Я поначалу работал на братьев Бутиных, когда те перебрались из Николаевска в Иркутск. Но после первого Мороза мы учредили собственное общество. И когда царь издал указ о монополии, а Победоносцев учредил Сибирхожето, Общество сделало таким, как наша, фирмам, щедрые предложения. Мы согласились. Господин Коссовский к тому времени уже не жил, Буланжер умер еще в прошлом веке. Я вошел в совет директоров, поставили резиденцию Общества в Холодном Николаевске. С тысяча девятьсот тринадцатого года наши обороты увеличились более, чем десятикратно. В данный момент, господин Герославский, шесть и три десятых процента глобального экспорта зимназа проходит через Металлургическое и Горнодобывающее Общество. Мы владеем патентами на шестнадцать холодов железа, в том числе — и на никелевый холод, томскую единицу. И на тунгетитовые проводники. А вы мне тут говорите о тюрьмах? Чтобы сбежать? И, может, еще стражников убить? — Господин Порфирий Поченгло стиснул пальцы в костистый кулак и, нет, не потряс им, просто задержал перед глазами в каменном жесте, секунда, две, долгий момент молчаливой неподвижности под знаком кулака, и только потом рывкнул с волчьей радостью: — Да мы просто выкупим эту тюрьму!

— *Autres temps, autres mœurs* [\[145\]](#), раз теперь такие вещи можно попросту купить, то, видно, нет смысла за них сражаться. Тем более, за них умирать.

— О! Ну словно их слышу! Деньги — сатанинское семя, так что нам следует отречься от всех дел его! — засмеялся *холадпрамышленник*, уже немного с иронией, направленной и против самого себя. Он выбросил папиросу, вынул следующую. Солнце блеснуло в глазу тигра на серебряном портсигаре. Господин Поченгло поворачивал его туда-сюда, ловя рефлекс, собственное отражение, отражение внутренней части галереи. Затем поднял глаза. — За столом у князя как-то сразу не заметил, но сейчас — ведь вы же наш человек! Куда ни глянь — лютовчик!

Я-онос раздражением отмахнулось.

— Оптический обман.

— Да ну же!

— Оптический обман, иллюзия, господин Порфирий, на самом деле все как раз наоборот...

— Да черта лысого — иллюзия! Встаньте-ка на свету. А теперь гляньте, ну, урожденный лютовчик, даже глаза, даже ваши глаза солнца не боятся, зрачки не...

Открылась дверь бального зала, поплыли звуки пианино и говор женских голосов; я-оноразвернулось на месте.

В двери стоял Юнал Тайиб Фессар, в заливчатско насаженной на голову феске и наполовину полным стаканом в руке.

— Тута! — воскликнул он. — Вот куда от меня убежал, господин Мороз уважаемый, дитятко потерявшееся — если кто не видел никогда рожицы невинной, так поглядите — ну чем не ангелочек ясный — *pig* — *sherrefseez* [\[146\]](#) — дай-ка обниму, бедняжечку, иди-ка в объятия разбойника кровавого!

Он был пьян. На пороге споткнулся. Из под фески выглядывала белая полоса бинта, из под бинта — багровый шрам. Поезд как раз не сильно и раскачивался, но турок шел словно моряк на прорывающемся через шторм корабле: широко расставляя ноги и сгибая колени, подавая вперед торс, вытянув далеко в бок руку со стаканом — дополнительным средством баланса. На голубой тужурке темнело свежее пятно.

— Ничего не знает! Ни о чем не слышал! — восклицал он. — О, святая простота! Коссовского и Буланжера тоже не знает, а как же — он не везет здесь в вагоне опечатанные ледовые машины — так кто бы подозревал его в связях с тайной полицией, с князем, с Бог знает кем еще — он никого не знает, и ничего, совсем ничего не знает!

За спиной Фессара в дверях появилась симметричная фигура доктора Конешина. Он подавал знаки: беспомощные, гневные, предупреждающие, снова беспомощные.

Господин Поченгло быстро сделал шаг вперед, вынул у турка стакан из руки и выбросил его в окно, струя спиртного хлестнула по приоткрытому стеклу.

— Снова начинаете! — рявкнул он. — Что, обязательно нужно нажраться?!

Фессар распахнул челюсти в карикатуре на улыбку.

— У лютов так человек не упьется, так что нужно пользоваться, пока можно. — Он хлопнул нижней челюстью, будто деревянной колотушкой. — Потом стану прощения просить, ну так, нижайше. — Тут он и вправду согнулся в истинно русском поклоне, головой до земли, то есть — до пола, до гладкого паркета, а поскольку тут же потерял равновесие, так как слишком широко расставил ноги, то подперся рукой, вторую поднимая за спину. — Тем временем, эх, тем временем, пьян я как пес нечистый, но могу оказать соответствующее почтение господину гггrrрафу, в жизни еще меня в делах так вокруг пальца не обводил, так что глубоччайшее мое почтение! — И снизу, разогнувшись, словно пружина, он рванул вперед в бычьей атаке, теряя феску и развевая полами тужурки.

Я-онобез труда отскочило.

Турок врезался лбом красного дерева в железную стенку, за гудело, словно колокол. Порфирий вздрогнул, словно его самого ударили.

— *Rahim Allah* [\[147\]](#), — только и успел хрюкнуть господин Фессар перед тем, как упасть.

Доктор Конешин позвал стюардов. Поднял феску, отряхнул, склонился над турком. Ощупал его череп; ощупав, пожал плечами. Стюарды подняли купца в умелом захвате, один справа, второй слева, третий идет впереди, открывает двери, извиняется перед пассажирами. Доктор натянул феску на беспомощно качающуюся голову турка и закрыл за ним двери.

— Алкогольные припадки, когда Аллах не глядит, — буркнул господин Поченгло, но, и правда, у нас с ним подобные эксцессы не случались. И часто так...?

— Мне он казался человеком, твердо стоящим на земле, — ответило *я-оно*, бросив окурок по ветру.

Поченгло в очередной раз вынул свой портсигар. Теперь угостился еще и доктор Конешин.

— Ну а это? — Порфирий провел пальцем вокруг головы. — Откуда?

Я-оно скромно усмехнулось.

— Не буду хвалиться, но это сделал я.

Доктор, развеселившись, икнул. Выдувая дым, он щурил глаза в сиянии вечернего солнца. Морщинки около его век тоже укладывались в зеркальном порядке.

— Он не захотел ответить, когда я его спрашивал. Как вижу, это какие-то игры в сфере крупных финансов. Вы конкурируете друг с другом, *n'est ce pas* [\[148\]](#)? А тут, вижу, поляк с поляком, в дружеском согласии... Вы ему что-то обещали, господин Бенедикт?

— Я? Да Боже упаси! Он сам вбил себе это в голову.

— Что конкретно? — заинтересовался Поченгло.

— Ох, да совершеннейшая бредь. Будто бы изобретен способ свободного разведения зимназа, и будто бы я что-то об этом знаю.

Господин Поченгло замер с раскрытым портсигаром в поднятой руке.

— Что вы об этом знаете?

— Господи, Боже мой! — *Я-оно* пнуло ногой стальную коробку двери. — Еще один! Это проклятие какое-то! Да ничего я не знаю! Не о чем знать! Вообще ни в чем не разбираюсь!

— Святая простота, — буркнул доктор себе под нос.

Я-оно стиснуло челюсти. Эти двое очень внимательно приглядывались ко мне, крайне невежливо, не отводя глаз в течение долгих секунд, даже не делая вид, что это случайный обмен взглядами, как бывает в беседе, в обществе; нет, они глядели словно на удивительнейший экземпляр, экзотическое животное, загнанное в угол, ну, что оно теперь сотворит, чем их удивит, как развлечет? То есть: любопытство, легкая усмешка, щепотка сочувствия на лицах, склонившихся над глупым зверем — весь подобный театр.

Стыд стекал по всем органам тела: липкая, жаркая мокрота.

Какими словами должен воспользоваться лжец, чтобы изменить мнение о себе? Должен ли он признаться, что лжет? Даже, если не лжет? Но и не говорит правды — потому что ее не знает. Рука дрогнула, невольно потянувшись за интерферографом. Ну, и как из этого выпутаться! Как замерзнуть! *Я-оно* опустило глаза, отвернуло голову. Льда! Льда! Льда!

— Г *аспадин Ярославский*, — произнес симметричный доктор, вы едете в Зиму к своему отцу, приятелю лютов, понимаете, он их доверенный дьяк из людского рода. Вы, Порфирий Данилович, знакомы с верой Бердяева? Знакомы вы с эзегезами ледняцких и оттепельнеческих мистиков? Вчера мы из уст господина Бенедикта и того каторжника услышали целую концепцию управления Историей посредством управления морозниками. Вам это известно? Вы же из их города, так что должны знать. Что скажете? Зачем господин Ерославский едет к отцу на самом деле? — Он приложил палец к губам, только подчеркивая симметрию, потому что строго посередине. — Как поляк с поляком, о чем вы тут говорили? Уже в первый день господин граф, тогда еще господин граф, нам ясно высказался относительно собственного отношения к России и российскому народу. Если бы я верил в эти бердяевские идеализмы... как лояльный подданный *Его Императорского Величества*..не должен был бы поступить с ним, как наш капитан?

Я-оно попыталось небрежно рассмеяться; не вышло.

— Пускай верят, во что хотят! — выкрикнуло в сердцах. — Так или иначе, все это останется совершенной чушью. То, что Зейцов говорил про Историю — как Бог общается с

человеком посредством Истории — как по ее прохождению, по последствиям ее форм можно прочесть Божескую мысль и Его замысел... Так вот, это может иметь смысл только тогда, если мир управляется двужанной логикой — если, и вправду, такая История существует, то есть, если существует одно и конкретное прошлое нашего настоящего. Ведь если для прошлого и будущего остается истинной логика трехзначная, то Историй имеется столько, сколько звезд на небе, даже больше, для каждого человека разлнчная, и разлнчная для каждого человека в различных моментах его памяти; она изменчива, словно замыслы царя. И столько из нее можно прочесть смысла и порядка, что из очередных указов самодержца — то есть, вообще ничего, поскольку такой историей управляют как раз случайные ассоциации, сонные кошмары и ночные страхи.

— Но вы говорите, что в Стране Лютов...

— Да.

— Что Лед...

— Да. Прошлое обязано замерзнуть, тогда оно становится Историей. — Я-оноподняло глаза. Те глядели через седой дым, красное солнце размывало черты их лиц, и они размывались в розовый кисель. Я-оноотступило к приоткрытой панели, вошло в ветер. Вдох, выдох, вдох. — Обязано замерзнуть. Столько Истории, сколько и Льда.

— А ваш отец — ваш отец беседует с лютами...

— Так говорят.

— И вы все еще не понимаете, в какой ситуации все это вас ставит? — Доктор Конешин быстро глянул на Поченгло, как бы в поисках свидетеля невероятной тупости собеседника. — Нет значения, что из этого является правдой; важно, что они в это свято верят — ледняки, оттепельники, защитники старого порядка и анархисты, социалисты...

— Ну, как раз не думаю, будто бы твердые марксисты этим морочили бы себе головы: они верят, будто бы История и так на их стороне, не нужно только мешать, и она сама свое сделает. Зачем бы им нужно было через Отца Мороза...

— Думаете, что среди российских марксистов нет таких, которые одновременно верят и теориям Бердяева? А ведь это оттепельники самые рьяные, таких берегись, они сделают все, чтобы уничтожить Лёд, изгнать лютов. Удивительно, что вы вообще выехали из Варшавы!

— Видно, меня защищали. Как вспоминаю... — Я-оноскривилось. — Хотя, сейчас вспомнить могу все, что мне только не подсунут.

— Пойдете, шепнете словечко отцу... Поляк! Сын участника заговора против царя! Некоторым оттепельникам это, может, как-то и на руку — но ледняки! Как вы вообще еще живой ходите?! Чудо, не иначе! — Симметричный доктор, уже без следа веселья, зато явно возбужденный, пыхал густым дымом и дергал себя за бакенбарды, в этом освещении совершенно огненные. — Как вы себе это представляете — ведь здесь, в поезде, все знают, и на месте, в Иркутске, тоже будут знать, как только поставите ногу на земле Льда, там ведь половина высаживается. Вам же не дадут покоя!

— Да что вы обо мне так беспокоитесь, самое большее — зарежут меня где-нибудь в темном закоулке, вам какое дело?

— Ах так, ведь пробовали уже, тогда, в Екатеринбурге. Парень, ты же на смерть туда едешь!

Господин Поченгло машинально сбил пепел за окно. В задумчивости он нажал косточкой пальца на край глазницы, веко поднялось над по-птичьн вытарашенным белком, светень блеснула под бровью.

— С другой стороны глядя, — отозвался он, — раз хотят убить, то, глядя с другой стороны — этовласть! Я правильно понимаю? Вы говорите отцу; отец, который, видно, сам

своей воли не имеет, говорит лютам, они замораживают Историю. Война или мир, единовластие или анархия, Россия или Польша, революция или же не революция — так? Господин Бенедикт! Можно ли вообще представить большее могущество на Земле для человека, чем сила ручного управления Историей?

ОТТЕПЕЛЬ ДО ДНЕПРА — РОССИЯ ПОДО ЛЬДОМ — ПАРТИЯ ПРИКАЗЫВАЕТ — ВЕСНА НАРОДОВ. Я-ононачало грызть ноготь.

Порфирий выбросил окурок. Одной рукой передвигая по пикейному жилету, будто вслепую разыскивая часы или табакерку, вторую он протянул со стороны солнца, обнимая, прижимая к себе в жесте огромного доверия и сердечности.

— Будут к вам приходить, в пояс, так, в пояс кланяться, дары всяческие к ногам твоим складывать, уговаривать, подкупать, умолять, грозить, да, грозить наверняка тоже станут, но и давать — все дадут за власть над Историей!

— Да что это вы ему на ухо насвистываете! — рывкнул симметричный доктор с другой стороны карминово-золотого водопада. — На что уговариваешь? Чтобы пользу вашу в том высматривал? Чтобы — что? На аукцион Историю выставил? Ах, душа купеческая!

— А вы, доктор, — спросило я-оно, — а вы знаете, какой должна быть История?

— Ага, с Королевством Польским «од можа до можа» [\[149\]](#), чтобы Российская Империя в пыли валялась, — фыркнул доктор Конешин.

Я-оно сбросило с плеча руку Порфирия.

— Но ведь я серьезно спрашиваю. Бердяев считает, будто бы люты исказили ход Истории. То есть, достаточно отвернуть Зиму, и все будет так, как быть должно? То есть, и вправду, Историю нужно вручную... подстраивать?

— Если бы существовал такой способ, — прикрыв глаза, грея лицо в солнечном блеске, размечтался доктор Конешин, — если бы имелся какой-то научный метод для познания того, что быть должно, а не что быть только может, но что быть обязано...

— Вы имеете в виду Бога?

— Да зачем нам еще и Бог?! История — это не сообщение от Бога; разве что в точно такой же степени, как созвездия на небе, химические рецепты или композиция кишок и печени в организме. То есть, если бы имелся научный способ познания, точно так, как по виду кишок узнают, какой организм поражен болезнью, какой же представляет собой образец здоровья и биологической правильности — такой вот способ распознать Историю больную и здоровую; тогда, да, вы бы могли искривленную Историю выпрямить, то есть — вылечить; и это была бы единственно правильная польза ручного Историей управления.

— Господин доктор — атеист, — совершенно не удивившись, заявил Порфирий Поченгло.

— Этого я не сказал. Просто, Бог в Истории мне ни для чего не нужен.

— Я же и говорю: атеист, — повторил Поченгло.

— Или же правы мартыновцы, — медленно произнесло я-оно, — и История была искажена уже давным-давно, поскольку мир во власти Злого, и только должен прийти истинный Бог, который излечит во всем мире то, что больное, то есть — и саму Историю тоже, Историю оздоровит прежде всего. Он — не люди.

— Он? — вскинул бровь господин Порфирий. — То есть, Лёд? Люты?

Я-оно коснулось языком вспухшей губы.

— Чтобы посмотреть на Историю как лют — заморозиться, то есть, напиться тьмечью, залиться тьмечью до каменного Мороза...

— Чем?

— Не то, что можно, но то, что должно — делает — правду...

— Вы себя хорошо чувствуете? — Поченгло приблизился снова, наклонился, прижал губы к уху. — Ты на солнце стоишь, — шепнул он, — смотри, доктор тоже, в конце концов, заметит, тьвет выжигает, словно старый рабочий из *холодницы*.

— Прочь! — взвизгнуло *я-оно*. — Да пошли вы! Искусители! Не стану я лгать!

Отпихнуло Порфирия и подскочило к железной перегородке. Выскочив на смотровую площадку, захлопнуло двери и оперлось спиной о холодный металл. Пытались ли они добиваться, силой открывать? Даже если и так, то совершенно того не почувствовало. Все звуки внутренней части вагона остались за дверью: здесь же был только машинный грохот «Черного соболя», свист ветра и гипнотический ритм зимназа, избиваемого теплой сталью: *длук-длук-длук-ДЛУК*. Вдохнуло полной грудью. Ритм проходил от колес через подвески и тележку, через стены и двери — в тело, в кровь и в кости, вовнутрь черепа, подгоняя тот мозговой поезд, о котором почти что забыло: *длук-длук-длук-ДЛУК*, мысль-мысль-мысль-**МЫСЛЬ!**

Нужно протрезветь. Терпкий привкус испуга все еще щипал язык и нёбо (вкус испуга, а может, теслектрического тока). Ведь впервые с полной уверенностью допустило возможность того, что с самого начала все было правдой: люты замораживают Историю — фатер разговаривает с лютами — Министерство Зимы посредством сына желает управлять отцом — лютами — Историей. Ледняки и оттепельники, поляки и русские, социалисты и мартыновцы, охранка и пилсудчики, Тесла и Сибирхожето, те и другие, те и вот эти, каждый будет тянуть в свою сторону, а если не перетянут, то убьют, чтобы не дать возможность другим фракциям перетянуть на свою сторону.

Это страх — а что говорит разум? Нужно это обдумать трезво. Султан серого дыма расстился на небе над Экспрессом — когда задирало голову, между одним и другим вагоном видело мчащуюся по вечернему небу дымовую реку; если же глянуть прямо, вдоль состава, в глаза бьют рассерженные огнями заходящего Солнца зори и радуги, и миражные арки холодных цветов, выбиваемых на краях черного локомотива, половина горизонта терялась за феерией этих мерцающих отблесков. Транссибирский Экспресс пробивался сквозь тайгу в шуме расталкиваемого воздуха и грохоте сотен тонн стали, но выглядело это так, словно его тянула упряжка из бабочек; огромная туча мотыльков, опережающая, окутывающая, прижимающая сам паровоз.

Трезво. Если Лёд сдавливают в окружающем мире лотку Аристотеля, и только там, подо Льдом, существует История, то есть — непрерывность между прошлым, настоящим и будущим; а в мире Лета с трехзначной логикой царит лишь хаос миллионов возможных вариантов прошлого и будущего — если так, то люты ни в коей степени не исказили Истории: люты формируют Историю, единственно истинную, единственно возможную. А все, что вне Льда — это не-История, очередной мираж инея в историческом масштабе.

Но если прав Николай Бердяев, и История реализовывалась в правде, пока не появились люты, которые заморозили ее в самом буквальном смысле, то есть: затормозили на бегу — если правы все их ледняки и оттепельники, и от выживания Льда зависит сохранение России в ее нынешней форме — тогда какое значение для Истории имеет разница в лотке Зимы и логике Лета? Ведь это уже как раз не иллюзия. Доктор Тесла построил машины. Он качает тьмечь. Теслектрические поля тунгетита изменяют саму природу мира.

...Тогда, каким же образом мир, основанный на «может быть» является более правильным, чем мир, основанный на правде? Каким образом История того, что не существует, более правдива, чем История того, что существует? Неуверенность, которая более уверена, чем сама уверенность. Неправда, которая более правдива, чем правда! Бог, стоящий на стороне лжи! История мира, словно тот ночной рассказ в поезде, признание

незнакомца незнакомому человеку — Бог, склоняющийся в полумраке со строптивой усмешкой, нечеткая форма на фоне самой темной темноты — во время поездки — Его слова, перечашившие его же словам — История — правда или ложь? Правда или фальшь?...

Но так быть не может!

Я-оносплюнуло в сторону, ветер подхватил слюну. Вся надежда в Николе Тесле. Надежда заключается в том, что он жив, что он навечно выбил смерть из настоящего в один из вариантов возможного прошлого, и, после отсоса тьмечи, много чего могущий, Тесла доедет до Иркутска, соберет там свои машины, пропустит теслектрический ток сквозь лютов; вся надежда на гениального серба — он сделает Историю предметом экспериментальной науки, подключит Историю к электродам, перебросит стрелку, ба-бах, стреляют черные молнии, и тогда увидим, чья будет победа.

Я-онопошло к барьеру, тяжело оперлось на балюстраде. Шпалы мигали под межвагонным соединением, сливаясь в геометрическую волну. Остался только день, послезавтра утром — Иркутск. И что сделать там? Пойти по адресу, указанному Прейссом, обратиться в Министерство Зимы, позволить науськать себя на отца? А если какой-нибудь ледняцкий шпик, если почитатель Мартына из распутинской фракции, если кто другой высмотрит и даст знак, да много ли надо, в таком городе на краю света, где толпы китайцев, сибирских дикарей, бывших каторжников и всяческой дряни со всего света шатаются по улицам, много ли надо — червонец и фляга ханшина, не больше, и вот уже кинжал входит под ребро, держи свою тысячу рублей, режься теперь в аду с Искарриотом ^[150] в зимуху.

Может, сбежать? Когда? Каким образом? Сойти на станции перед Иркутском, затеряться в Сибири, такое возможно, есть же достаточно много денег, сохранившихся из Комиссаровой тысячи плюс выигранных у Фессара; а ведь бумаги тут никто не спрашивает, годами можно жить, и лапа государства не достанет, обменяться личностью с одним или с другим беглецом. Или потом купить инкогнито билет в купейном до Владивостока, откуда корабли выходят во все порты мира — разве не таким был самый первый замысел? — Мыс Доброй Надежды, Антиподы, Западная Индия, Америка.

— Разрешите, Венедикт Филиппович?

Вставши рядом, Зейцов схватился за поручень рукой, на которой не хватало пальцев, когда Экспресс вильнул на легком вираже.

— Ушли уже?

— Не понял?

— Доктор и господин Поченгло. Разбудили вас?

— Не знаю... да... я так... — Ну почему он снова так мудохается, зачем за подбородок хватается, скребется в колтуне своем черном, зачем материал костюма сминает, оставляя на нем жирные полосы? — Вы позвольте, я...

— Выходит, наслушались, Филимон Романович, глупостей всяких, редко такое случается.

— Я... как раз и не думаю, что это глупости были. — Он нервно почесал свой шрам. — Ваше благородие помнит, о чем я утром просил.

Я-оновыпрямилось.

— Если хотите заново меня мучить...

— Нет, нет, — замахал он руками, бросив поручень. — Я как раз с противоположной просьбой: если помните... так забудьте.

— Что?

— Забудьте, плохо оно, о чем я вас просил. — Зейцов отвел глаза. — На плохое уговаривал, забудьте.

Я-онодолгое время приглядывалось к нему. Тот вертелся и крутился под взглядом, словно

его на сковородке припекали.

— Что-то не пойму я вас, Зейцов. Вы, случаем, не пили только что?

— Да все же не так, Венедикт Филиппович. Я слышал, что вы тут говорили, и обдумал все. Плохо, что просьба эта от меня исходила, но еще хуже — если бы вы захотели ее исполнить, если бы могли ее исполнить.

*Я-оно*обеспомощно махнуло рукой.

— Да зачем мне все это, к черту! Дайте мне покой со всеми вашими просьбами, Царствиями Божьими и исповедями своими глубокодушными. Идите прочь!

Только сейчас он почувствовал острое — схватился с огнем в глазах, с наморщенными бровями.

— Г *аспадин Ерославский!* Вы же так не думаете!

— Как я не думаю?

— На что они все вас убалтывали — что говорили, что сделаете, встретив наконец отца — какая польза из власти над Историей. Вы слушаете, спрашиваете, покрикиваете, обижаетесь — но каково ваше мнение? Ваше самое откровенное?!

...Скажите: вы и вправду считаете, будто бы Историю сотворили люди? Что если бы кто-то, в нужный момент поступил иначе, чем поступил, то Рим бы не пал, или Средневековье никогда не кончилось бы, не была бы разрушена Бастилия? Или сейчас: кто-то что-то сделает, и революция изменит лицо России, лицо всего мира; а не сделает — и все останется по-старому. Действительно ли из этого берется История? Вы так считаете?

...Или же она, скорее, является картиной необходимости, навязанной чьими-то действиями: Рим пал, пришли темные века, потом второе владычество Рима, затем вторая эпоха разума — как непарное число идет после парного, которое, в свою очередь, идет после непарного.

...Венедикт Филиппович! Скажите же откровенно: в какую Историю вы верите?

Он глядел прямо в глаза, без свидетелей, с лицом, на котором не было никаких знаков и пересмешничающих, иронических гримас. Так попало *я-оно*в ловушку откровенности; ведь если бы какая-то третья особа, если бы хоть малейший след издевки в жесте или речи — сразу же вошло бы в эту внутреннюю конвенцию, обращая беседу в очередную светскую забаву. А так — есть только один человек и другой человек, а еще то, что можно выразить в межчеловеческом языке.

— Во что я верю, Зейцов: не История творит людей, но люди творят Историю.

Бывший каторжник покачал головой. Отступив на шаг от балюстрады, он вполтину согнулся. Ну вот, еще один разыгрывает спектакль с поклонами, подумалось. И вправду, спутанная грива волос практически доставала железных плит.

— Простите, — произнес он громко, очень четко.

Потом обеими руками схватил меня под колени — *я-оно*ухватило за поручни — Зейцов схватил, потянул — дымовая река на небе — резко выпрямляясь, бросил вверх — небо, тайга, сталь, насыпь, земля — видимо, *я-оно*отпустило поручень до того, как что-нибудь могло хрустнуть в выкрученном запястье — насыпь, земля, грохот и свист ветра в ушах, полетело, кувыряясь, ногами вперед. Даже вскрикнуть не успело. Хлыст — гибкая ветка — ударил по спине, *я-оно*упало в траву и песок; продолжало катиться дальше. Вспыхнула боль в теле и так покрытом синяками, и которое продолжали избивать и перемалывать. В конце концов, *я-оно*остановилось на камнях. Они расцарапали лицо, вонзились в шею, продырявили одежду и кожу. Приподнялось на локте. Выбитый зуб выплыл на подбородок вместе со слюной. Грохот постепенно затихал — тих, потому что поезд удалялся, последний вагон Транссибирского Экспресса исчезал в перспективе просеки, вырубленной в тайге для железнодорожной

насыпи. Еще блеснула лампа, указывающая конец состава, и только холодный отблеск сияния «Черного Соболя» светил над деревьями — но и эта туча радужных мотыльков быстро блекла и уменьшалась на темнеющем горизонте. Длук, длук, длуук и тишина. Выплюнув еще один зуб, глянуло в противоположную сторону. На фоне багрового Солнца вдали шевельнулся маленький силуэт всадника с древком у седла. Медленно уселось, переломанные пальцы торчали под странными углами. От блестящих рельсов исходил мороз. Первые звезды азиатской ночи уже искрились на низком небе. Одна, другая, третья, пятая — созвездие охотника. Зимназовые радуги зашли. В лесной чаще отозвались звери. Избитое тело тряслось. Потом я-онопотянулось к Гроссмейстеру.

...сойдет с рельсов. Я-онооттянуло хвост скорпиона. Сойдет с рельсов, крушение, авария. Как часто ходят поезда по Транссибирской магистрали? Пассажирский выходит из Петербурга несколько раз в неделю — а товарные? Местные? Военные перевозки? Левая нитка? Правая нитка? Оперлось спиной о ствол елки, подняло выпрямленную руку, завернуло палец на змеином хвосте — средний палец, единственный действующий на правой ладони. Голубые отблески мерцали над рельсами. Состав сойдет с рельсов; даже если тунгетитовая пуля, ударившаяся в зимназо не вызовет дополнительного вреда, все равно — произойдет взрыв льда, как в Екатеринбурге, и пути покроются твердой мерзлотой. Самих рельсов лед не деформирует — для того и прокладывают их из охлажденного зимназа, никакой мороз им не страшен — но образуется барьер, перед которым поезд должен будет остановиться. Во всяком случае — притормозить. Тогда я-оносядет в него. Тогда машинист увидит европейца на путях, нажмет на тормоз, меня заберут меня с собой. Разве что — поезд сойдет с рельсов. Ба, но разве зимназовые паровозы и не были спроектированы именно для того, чтобы разбивать подобные запоры на путях — железнодорожные ледоколы? Скорее всего, поезд проедет на разгоне, даже и не почувствует препятствия. Разве что погромче зазвенят в вагонах первого класса хрустальные рюмки. И все же — если он сойдет с рельсов? Я-онокоснулось языком кровоточащей дырки в десне. Товарный или пассажирский, местный или Экспресс — авария. Заявит, что это лют, что выморозился лют. Так или иначе — заберут отсюда. Ведь иначе — что? Сдохнуть посреди тайги? Не известно даже, сколько до следующей станции. Юргу проехали, но потом — что там стояло в *Путеводителе*? Не помнило. Двадцать, тридцать верст между очередными полустанками в тайге; колено болит как черт на каждом шагу, что-то там треснуло в связках, в костях, в мышцах; так что пророчится многодневное путешествие в муках. Если только какой-нибудь медведь не сожрет первой же ночью. Потянуло за курок. Клакк, клешни скорпиона ударили с мягким стуком.

Испортился? Переломило Гроссмейстера вполтину, заглянуло в цветочные бутоны патронных камер. Пустая — выстрелило из пустой камеры. Повернуло ли барабан назад после выстрела в Екатеринбурге? Или, он мог случайно повернуться сам? Громко, жалостливо ругаясь, сложило револьвер и спрятало его за пояс, под жилетку. Вытерло рукавом нос (кровь уже перестала течь). Оглянулось в сторону запада — четверть солнечного диска уже спряталась за лесом. Все так же могло глядеть прямо на Солнце — если вообще можно было глядеть прямо и без дрожи. Левая века медленно напухла, сворачиваясь под бровью монгольской складкой, из которой тоже текла кровь, заливая глаз; ежесекундно приходилось мигать. Сверху, с ветки отозвалась сова: хууу-ху. Я-оноовздогнуло. Длинные тени деревьев вытянулись вдоль пути словно стрелки дорожных указателей: восток, восток, восток. Потрясло головой. Никак не удавалось вспомнить последние страницы Путеводителя. Но, даже если бы и вспомнил — не зная актуального положения на трассе, все карты и расписания ничем не помогут. Вынуло медный пятак. Двуглавый орел — назад, в сторону Москвы, решка — *восток*. Бросило. Сверху оказалась решка.

Десять шагов, и уже надо остановиться, отдышаться. Сломало обгрызенную каким-то зверем молоденькую березку, будет посох, чтобы подпираться. Вошло на пути, во всяком случае, хоть ровная дорога. Быстро приспособило ритм марша к такту шпал; ствол бил в

древесину на каждом втором шаге, так что шло таким образом: чалап, чалап, стук, чалап, чалап, стук. Пальцы не желали зажиматься на стволе, они болели, потому пришлось прижать его возле большого пальца второй ладони, болели сильнее, о, теперь облегчение: большая боль, значит, будет и меньшая боль. Дернуло один палец, второй, с кожей, ободранной перстнем. Большая часть пальцев только вывихнута, поставило на место указательный, поставило на место правый большой палец. На ветку вяза выпрыгнула золотисто-рыжая белка, вытянула мордочку к путям, выворачивая головку. Хотелось свистнуть, но только сплюнуло кровью. Шатался еще и третий зуб. Чалап, чалап, стук. А может разжечь костер? Остановится тогда поезд? Громадный костер, прямо на рельсах. Пощупало карманы в поисках спичек. Нету, нету. Тихо ругнулось (уже с меланхолией в голосе). В колене колет, в пояснице давит. Чалап-чалап.

Выкинул, взял и словно мешок с овсом — выбросил! Выходит, панна Мукляновичувна была права! Хотел убить! Ледняцкий агент! Филимон Романович Зейцов, мать его ёб! *Прощения прошу...*! Да, выйдет ему это его прощение через уши, будет он христианское милосердие собирать с мостовой вместе с кишками.

Но тут же ум начал порождать сомнения. Действительно ли хотел он убить? Действительно ли по приказу ледняков? Нет, все выглядело совершенно иначе. Зейцов, наверняка, и сам толком не знал, что сделает, до того как сделал. Нет в нем ни одной твердой кости, это человек до конца размякший, вместо позвоночника у него осталась только струна стона да алкогольное стекло. Что он на самом деле имел в виду, когда расспрашивал про Историю? То он просит, чтобы склонить отца к Царствию Божьему на земле; а потом уже — нет, чтобы все было наоборот, снова у него все поменялось. Ни социалист, ни анархист, ни толст овец, сам между завтраком и ужином несколько раз меняется, то есть: между одной бутылкой и другой. А если бы по-другому ответило ему на тот вопрос, отказался бы он от убийственного замысла? Услышал сквозь сон беседу с Конешинным и Поченгло, и Бог знает, что себе надумал... Что если позволит сыну склонить Отца Мороза к той или иной стратегии с лютаами, то что там случится с Историей...? Отдать человеку власть над Историей — это его напугало?

Так что есть в этом такое пугающее?

Упился, это понятно, ужрался и спал там, пьяный, пока новый кошмар его не захватил, и поддался Филимон Романович этому кошмару, как в течение всей своей жизни поддавался всяческим сонным откровениям да монументальным идеям; таким людям и денег не надо платить, достаточно шепнуть на ушко великое слово — и убьют, из глубины собственного сердца умоляя о прощении.

Чалап, чалап, стук. Стук, стук — невозможно идти дальше, пора отдохнуть. Еще вон до той полянки... Прихрамывая, сошло с путей и присело на сгнившем стволе сваленного кедра — двадцатиметрового гиганта, который, падая, вырубил в чащобе глубокую щербину, сейчас затянутую паутинами сырых теней, с целыми тучами мошки. Сколько же это прошло? Половину версты? Может, версту? Солнца уже не видно за кронами деревьев, уже наступает ночь. Вынуло платок; высморкав из носа свернувшуюся кровь, крепко-накрепко обвязало три опухших пальца левой ладони. И так чудо, что крупные кости уцелели, что шею не свернул, ветка не пробила легких. Малюсенькие мушки, настолько мелкие, что вообще не видны в вечернем полумраке, лезли в глаза, в уши, за воротник, в рот. Громко фыркая, я-оноотплевывалось. Слюна сходила уже чистая, без алой слизи.

Обыскало карманы. Химический карандаш, папиросы, записная книжечка, немного мелочи россыпью, смятая в тряпку трешка, а это что? — записка мадемуазель Филипов. Еще гребешок, зубочистка. Красный футляр с интерферографом. Вынуло цилиндр. Беленький,

даже стекла не треснули. Сразу же подумало про огонь. Выбить из обоймы линзу, разжечь труху, подбросить хвороста... Но это только утром, когда Солнце вернется. Нужно набрать много дерева, не известно, когда еще приедет поезд, костер должен гореть несколько часов. А вдруг подует ветер, понесет искры... Интересно, был тут недавно дождь? Я-оно встряхнулось, открыло глаза, втянуло воздух. Сочно пахло всеми благовониями и запахами живого лесного руна. Правда, вместе с теплыми запахами в ноздри влезли проклятые мошки — оплевывалось, сморкалось и фыркало добрую минуту. Пока вдруг не ответило громкое конское ржание.

Он выехал из-за белых берез, сворачивая в щербину от железнодорожной насыпи; вот как он появился в просвете: поначалу бледная, невыразительная в серой полутьме тень, затем конская голова, шея, палка, всадник. Приземистый, лохматый гнедко с человеком на спине. Остановились — и стоят, глядит человек, глядит животное, лупая громадным глазом. Я-оно выпрямилось на поваленном стволе, схватило «посох» покрепче. Всадник склонился, опустил свою палку. С кожаного одеяния свисала бахрома, дюжины шнурков с навешанными на них фигурками и камешками, которые грохотали при каждом движении туземца. Узкие глаза поглядывали со спокойным любопытством. Через пухлое лицо проходили стежки черных шрамов. Что-то свисало и с законченной короткой поперечиной палки — мумия птицы.

Конь фыркнул и загреб копытом землю. Я-оно сунуло пальцы в рот и отвратительно забулькало, надувая щеки и тараща глаза, даже эхо пошло по тайге, даже окрестное зверье замолкло.

Дикарь что-то тихо произнес и спрыгнул с коня. Подпираясь палкой, он направился к поваленному стволу. Теперь стало ясно, что это калека: явно хромает, левая нога короче правой, приходится подпираться. На голове у него была остроконечная войлочная шапка, широкую накидку украшали красные, желтые и зеленые аппликации, нашитые без какого-либо порядка, заплатка на заплатке. С шеи свисал целый лес шнурков, настоящая коллекция насаженных на ремешки деревянных, каменных и железных совершенно примитивных фигурок, некоторые из них до удивления походили на куколки, которые дети бедняков изготавливают из тряпок и палочек. Подойдя, он вонзил свой шест в землю (*птица* висела головой к земле) и трижды хлопнул себя по животу. От туземца несло животным жиром; длинные, черные волосы, слепившиеся стручками и перевязанные цветными ленточками, спадали на плечи и спину. Скошенные глаза, казалось, глядели приязненно — другого выражения не допускали складки натянутой вокруг глазниц кожи.

Сгорбленный, по-птичьи наклоненный вперед, он долго приглядывался, чмокая и бурча под нос. Потом ударил слева — я-оно неуклюже уклонилось; но нет, это был не удар: левая рука, правая рука, снова левая, дикарь резкими рывками сдирал из воздуха невидимые заслоны. Мошку отгоняет? Я-оно перестало пошатываться на стволе, сидело прямо, а он — что-то мыча себе под нос, выполнял серию решительных движений — вокруг головы, вдоль рук, перед грудью, лапая грязными пальцами еще более грязный пиджак и сорочку, вдоль штанин брюк, и снова — от лица и вниз. Уже совсем стемнело, над полянкой, в окружности между кронами деревьев высветились серебряные звезды, плотные засеки зодиакальных созвездий. Я-оно глянуло на собственную ладонь с дворянским перстнем, стиснутую на березовом посохе — и только теперь поняло, что этот дикарь вытворяет. Почему он задержался, почему пялился, почему слез с коня. Машина доктора Теслы, насос Котарбиньского... Видел господин Поченгло, увидел и этот азиат: чистый, мощный потьвет, смесь света и тьвета, печать лютловиков. Тень от звезд под вытянутой рукой ложилась белым блеском, резким негативом ночи. Я-оно сидело прямо, не шевелясь, жалея только об

отсутствии зеркала. Вот поглядеть бы сейчас, увидеть снаружи ноктореол в сумерках. Действительно ли это свет? И вправду ли светится? Высматривало по земле, по коре сгнившего ствола, на ближайших кустах. Действительно ли более яркий? Глядело на материал костюма, на кожу ладоней, на ботинки. Ведь что видит этот дикарь? Кого видит? Солнце зашло, конец дня, самое времечко очередной лжи о Бенедикте Герославском. А пожалуйста: среда, двадцать третье июля, на сцене появляется Е-Ро-Ша-Ски, сибирский демон. Я-онобезумно расхохоталось. Хромоногий захихикал в ответ и přátельски похлопал по плечу.

Явно покончив с ритуалом очищения от тьвета, он стал разбивать лагерь. Коня повел за упавший ствол. Быстро набрал хвороста, еще быстрее с устройством костра: несколько пинков в мягкий грунт, камни, листья, в одеяле были завернуты железные прутья и котелок, из-под бахромы вытащил спички, сплюнул еще и что-то сыпнул в костер, и вот: яркий, гипнотический огонь скачет на сухих ветках, трещит и шкварчит. Улыбающийся хромоножка с удовлетворением причмокнул. Из кожаной баклаги налил в котелок воду. Сбросив со спины коня багаж, вытащил из мешка металлическую банку; вытряс из нее в котелок прессованного китайского чая, одну плитку бросил в огонь. Пить! Сглотнуло слюну. А дикарь только разгонялся. Из другой жестяной коробки он вы колдовал целый аптечный склад: зелья такие, зелья всякие, листья и цветки, и семенные кисти, и сушеные плоды, и дюжину вязанок мумифицированных растительных остатков, и один Бог знает, что еще; он копался во всем этом и перебирал, поднося к глазам, нюхая, кое-что даже лизал. Ага, подумало я-оно, ихниймедик, знахарь, значит. Видит, что человек страдает, полечить хочет, добрая душа, Бог его вознаградит. Заварил чай, налил в оловянную кружку. Подал с улыбкой. Я-онооскалило зубы в ответ.

Уффф, горячо! Отставило кружку на на ствол. Туземец энергичным жестом показал: пей, пей. Я-онопожало плечами. Положив березовую клюку через бедра, завернуло кружку в полу пиджака и так поднесло ее ко рту. В темном напитке плавали мертвые мошки. Хромой широко усмехнулся; у него тоже не хватало зубов. Хлебнуло парящую жидкость. Та пошла через тело горячей струей, во внутренних органах чувствовало изменение температуры, по мере того, как глоток стекал вниз. И тут же снова затряслось в болезненной дрожи. Как же быстро становилось темно в тайге! Как быстро поток сырого холода мчался над землей! Как будто бы вместе с заходом Солнца менялись времена года: лето — осень — зима. Несмотря на звезды с их резким, словно бритва сиянием, взгляд уже не достигал дальше, чем несколько шагов от дикарского огня; поднялся туман. Хуу-гууу, черв, чрвиии, тлииик — ночные птицы переговаривались в глубине леса. Хромой азиат хлопнул себя по животу и бросил в огонь очередную партию трав. Съежившись, дрожа, совершенно похолодав — я-онопило горячий чай.

Туземец вытащил бубен. На натянутой коже были замалеваны какие-то схематические фигуры, а может это были пейзажи, карты или скелеты зверей. Икнув, зевнув, чмокнув, прищулив глаза, дикарь начал бить в этот бубен. Поначалу легонечко, даже нежно, даже не всей ладонью, а кончиками пальцев, словно ласкал, словно пробуждал ото сна — пам, плам, пам-плак. Когда подул ветер — туман за волновался, и зашумела тайга; струя дыма от костра тоже наклонилась, теперь она ложилась чуть ли не горизонтально, прямиком на сваленный ствол. Закашляло, отгоняя от лица запах горелого. Бам-блам, бам-благ, калека бил уже сильнее, толстой костяной палкой, при этом он, стиснув зубы, что-то напевал под носом; меньшая нога подпрыгивала в такт. Заглотало остаток чая, он и вправду разогревал. Можно было подумать, что он рома туда подлил. Я-онопереместилось на кедровом стволе, чтобы убраться из дыма подальше. Бам-блам! Бам-благ! Дикарь барабанит изо всех сил, а к тому же начинает еще выть и стонать, ему отвечают лесные звери. Это что там, волк завыл? Я-

онобеспомощно разглядывается в темноте. Дым продолжает лезть в глаза. Да что этот монгол вытворяет?! Может, и вправду поверил ночному впечатлению — ведь что обычно делает такой нецивилизованный сибиряк, встретив демона? Пытается его прогнать? Упросить? Убить? Проводить экзорцизмы ^[151] языческими методами? С широкой улыбкой на лице, похожем на буханку пшеничного хлеба.

Опираясь на посох, я-оноподнимается и обходит дым и огонь. БУМ-БЛАМ!!! БАМ-БЛАГ!!! Все от этого звука трясется и вибрирует — дрожь проходит уже не по охолодавшему телу, но по всему свету, видны эти морщинки в скачущих языках пламени, на линии дыма, морщины и складки на поверхности тумана — не виден только сам барабанщик. Спрятался в тумане? Но ведь — БУМ-БЛАМ! — грохочет совсем рядом, над самым ухом. Я-онотыкает палкой вокруг, поворачивается, окружает огонь. Но тут уже нужно остановиться, потрясти головой, протереть слезящиеся глаза — что это такое, что происходит, что это за обряд такой, почему я-оношатается вокруг огня: уже три-четыре раза, где сгнивший кедр, где шаман, где его вещи, где конь и тороки? Рука протягивается в туман — туман расступается перед рукой. Рука отводится назад — возвращается туман, то есть, темнота. Тогда откуда же свет, как так происходит, что я вообще вижу руку? Источник света, так, костер! Подхожу, наклоняюсь — только это уже и не костер, это блестящий столб, прямая колонна из света, одним концом вставленная глубоко в землю, а другим концом — глубоко в небо; я даже задрал голову — колонна, или это дерево, вот тут его корни, а там — его ветки и плоды, то есть, звезды. Медленным, подводным движением я протянул к ним руку, еще выше, достал до звезд. На ощупь они были скользкие, холодные, слегка обжигающие, отскакивали от кожи, словно гальванизированные. Я громко рассмеялся. Свет дерева понес смех по равнине. Щуря глаза, я разглядывался по подзвездному миру. Белые стебли трав, каждый больше метра в высоту, каждый из миллионов виден отдельно, с четкими, резкими краями, гибкие сабли — мягкими волнами укладывались от горизонта до горизонта. Стада рогатых зверей — лосей? ланей? нет, это северные Олени — плыли в море этих трав, наполовину в них погрузившись, и каждого оленя по отдельности можно рассмотреть и посчитать, на каждом шерсть блестит, словно ее посыпали серебряной пылью, омыли ключевой водой. Я обошел дерево света. По другой стороне стояли палатки охотников — чумы, шалаши, невысокие конструкции на деревянных жердях, прикрытые корой и шкурами. Из отверстий исходил белый дым. Я двинулся неспешным шагом — но едва успел переложить палку из руки в руку, уже был рядом с ними. Вошел в первую. На меня оглянулись от очага. Царил полумрак, за окнами шумела вьюга, над Варшавой висели грязные тучи; а в дымовой трубе что-то забилося, и теперь дым шел прямо под потолок, загрязняя и так нечистый свет газовых ламп. Отец, присев на корточки, шуровал в печи длинной кочергой. Только железо, что билось о дверки и кирпичи, не издавало ни малейшего звука. Я коснулся ушей. Неужели оглох? Мать что-то говорила отцу, размахивая в воздухе платком. Я подошел к окну. Это была Варшава, только я никак не мог определить улицу, даже район. Правый берег? Левый берег? Конфигурация крыш и огней казалась мне совершенно чужой, тем не менее — это была Варшава. Я подошел к другому окну. Что-то заслоняло мне вид. Закрытая ставня? Я прижал щеку к стеклу. Морозная игла вошла мне прямо в кость под глазом, пробилась в мозг, ударила снизу в череп и взорвалась там под сводом ледовым цветком, кустом-снежинкой, боковые ветки которого вышли у меня из ушей. Эта масса за окном — это был лют, замороженный в фасад и стены доходного дома. Он влез в дымовую трубу, не потому ли помещение такое задымленное? В дверях появилась светловолосая девушка в красной курточке, потянула маму за руку. Они вышли. Я отломился от стекла, оставляя на нем половину уха, и пошел за ними. В салоне за столом сидели Болек, дядя Богаш и Зыга. Мать и девушка устроились на свободных стульях.

Болек поправил очки на носу и потянулся за спичками. Посреди пустой столешницы стояла высокая тьвечка. Нет! Да что же вы такое делаете! Боже ж ты мой! Засыпая ковер снегом, я подскочил к столу, схватил ближайшую особу за руку, рванул — девушка схватилась, как ошпаренная, глянула на меня, на свою руку, раскрыла рот, белки глаз закатились, она упала без чувств. Мы сидели у ее постели, когда она боролась с горячкой. На вторую ночь рука начала чернеть, появились язвы, потек гной. Она бредила. Я приглядывался к ней с расстояния, из угла, над которым висели портреты дедушки и бабушки Герославских. Блестящая от пота, с бледной кожей, с волосами, уложенными под тесный чепчик, так что лишь прямоугольник гладкого лица высвечивал в объятиях белого полотна — кем она была? кого мне напоминала? Поначалу я думал: Юлия, ну да, Юлия, конечно, изменилась, но это же Юлия, кто еще — ну что же я снова тебе сделал, Юленька, проснись, посмотри на меня, я не хотел, не хотел! — но потом пригляделся к матери, к отцу, как они постарели, сколько прошло лет, и понял: эта страдающая в болезни девонька — это Эмилия. На четвертую ночь заражение сошло на плечо, на грудь. Доктора лишь беспомощно разводили руками. Был ксендз. Все вышли (я остался), Эмилька признавалась в своих грехах (чего я совершенно не слышал, сосульки забили уши). На рассвете отчаявшийся отец привел последнюю помощь. Блум-блам, шаман вошел, хромая, по тропе дыма и тумана, и сразу же, с порога бросил взгляд на меня: наклонил шест словно пику и, пихая ее вперед, подходил шаг за шагом, выталкивая меня прочь; мумия птицы, подвешенная на поперечине, болталась перед самым моим лицом, я отступал в отвращении, еще, еще, еще, прочь от них, от Эмилии, от матери, от отца, прочь — пока пол варшавской квартиры не сбежал у меня из под ног, и я упал, блам-блам. Спинай ударился о твердую землю, воздух ушел из легких. То, что вошло в них потом, было уже не воздухом, а, скорее, иным воздухом: землистая масса, с камнями, которой дышало, перемалывая ее в легких в песок, легкие проворачивались в груди тяжелыми жерновами — каменный вдох, каменный выдох. Я уселся. Березовая палка осталась у меня в руке. Стоял ясный день, на черном небе висела черная тень Солнца, выщербленный щит, из которого на травянистую равнину зигзагами выскакивали кривые лучи. На сей раз, посреди равнины уже не торчал какой-либо столб света или тьвета. Я встал. Подул ветер, и с железных стеблей травы посыпалась ржавчина. Где-то там, на озере, пастухи поили северных оленей. Из оленьих голов, вместо рогов, вырастали белые скелеты других зверей: собак, рыб, орлов, крыс, а еще — маленьких детей. Я подошел к пастухам. Все они были одноногими, однорукими и одноглазыми. У них я спросил дорогу домой. Мне ответили на языке, который сжег мне половину лица, оборвал второе ухо и выбил зубы. Я хотел напиться воды из озера, но та была горячее адской смолы, кипела и булькала, взрываясь черными пузырями. Из озера вытекала широкая река, напирая к своему источнику обратными волнами. У ее выхода-устья я заметил двуногую и двурукую фигуру. Подпираясь палкой, я подошел. Господин в Котелке склонился надо мной, протягивая мне визитную карточку. На одной ее стороне был напечатан адрес, а на обороте — выписанное белыми чернилами имя Густава Герославского. Я вспомнил, что прадеда звали Густавом; он, вроде бы, погиб в ноябрьском восстании [\[152\]](#). Я спрятал визитную карточку в карман. Господин в Котелке погладил меня по волосам. Только сейчас я заметил, что у него дыра в груди, кровавый кратер, выжженный снарядом крупного калибра; и что вся его одежда каким-то образом попорчена: ботинки дырявые, брюки распороты вдоль швов, жилет без пуговиц, даже в его геометрически круглом головном уборе была вырезана угловатая дырка. Я пошел вдоль реки. В нескольких верстах дальше ожидал очередной Господин в Котелке. Он вручил мне свою визитную карточку. На обороте написал имя: Лизе Грюнц. Мне помнилось, что так звали одну из двоюродных бабок матери — не ту ли, которая отравила мужа и сбежала с семейными драгоценностями в Америку? Я шел

дальше. Визитные карточки Господ в Котелках отличались только именами на обороте. Ежи Бертран Герославский. Мария Герославская. Юлиуш Ватцель. Антони Вилок. Гжегож Богаш. Река затекла в железные заросли; я бродил весь в ржавчине, пришлось идти по самому берегу, помогая себе палкой на крутых склонах. Изидор Герц. Вацлав Соломон Герославский. Болеслав Герославский. В лесной чащобе я полностью утратил чувство направления, имелось только одно: по течению вод, то есть — против течения вод. Тем временем, здесь наступила ночь, черные звезды разлились на ледовом стекле неба чернильными кляксами. Евлагия Герославская. Филипп Герославский. Я шел все быстрее, хотя силы уходили гораздо скорее, жернова легких застревали в половине оборота, воздух превращался во рту в гранитные надгробия. Бенедикт Герославский. Я заорал. Господин в Котелке дал мне еще и конфетку. Я выбросил ее в реку. Он вытащил вторую визитную карточку. Я вскочил в чащу, разводя палкой колючую проволоку елок и сосен. Здесь чащоба была такой, что с каждым шагом приходилось продираться сквозь железную растительность, словно я пробивался через снежные сугробы; сейчас упаду бездыханный. Но все так же посреди ночи, между стальными иглами и листьями, передо мной мерцал яркий свет, огонь, огонек, светлячок — то ближе, то дальше, то близкий, то далекий, ближе, ближе, вон за тем деревом, за веткой, на расстоянии вытянутой руки — электрическое зарево, человек в свечении холодного огня, в ветвистой короне из искр на перепугавшихся корнях молний — Никола Тесла подал мне руку, притянул к себе, обнял. Засмеявшись с облегчением, я ответил ему объятием. Тот обернулся и театральным жестом указал путь. Мы вступили в золотистую роскошь Транссибирского Экспресса.

Об ангелах стыда и бесстыдства

А если это не сон?

— ...его будить.

— Точно?

— Не должен, но вот, пожалуйста, оставляю термометр.

— Спасибо, господин доктор.

— *C'est mon devoir, ma chérie* [\[153\]](#).

И доктор Конешин отплывает в утренний свет. Прохладное постельное белье накрывает щеку, шелк на коже. Движение воздуха приносит запах жасминовой парфюмерии. Поет птичка. Почему же не слышен стук колес по рельсам?

Тишина, спокойствие, тепло.

А если это не сон?

Розовые пятнышки солнечного света танцуют на поверхности век.

*Я-оно*открыло глаза.

Панна Елена Мукляновичувна склонилась над постелью с белым бинтом в руке, бусы из молочно-белых жемчужин колыхались на фоне черного тюля, тик-так — протянуло руку и остановило маятник.

Елена с легким раздражением усмехнулась, коснувшись язычком верхней губки.

— А, выпался наконец!

— Если бы вы только знали, какие сны видел...!

— Ну, расскажите, расскажите.

— Мне снилось, будто бы Зейцов выбросил меня с поезда, и...

— Зейцов! Этот пьяница! Он! — Елена взмахнула бинтом, словно плеткой. — Ой, какая же я была дура!

Я-оноповернулось на постели, подтягивая подушку повыше.

— Погодите, что-то я никак не могу — мы стоим на какой-то станции? — который час? — что вообще...

— Вы проснулись! — вскрикнула *mademoiselle* Филипов, закрывая за собой дверь отделения.

Перешло на немецкий.

— Целую ручки своих ангелов, сестричек милосердия, вот только не могли бы вы, из милости своей...

— Это правда, будто бы вы дрались с господином Поченгло? — с ходу спросила Кристина.

— Что?! Нет! Простите, я и вправду должен сейчас...

— Никуда вы не двинетесь, пока я не разрешу, — скомандовала панна Елена и вынула термометр. — Откроем ротик, а-а-а.

Я-оноощупало повязки на шее и лице, вся левая щека под толстым пластырем. Три пальца зажаты импровизированными лубками. Пощупало в районе ребер. Тоже забинтованы. На левом колене под пижамными брюками чувствовалась тесная опухоль повязки, не дающая согнуть ногу.

Переместило стеклянную трубку термометра в угол рта.

— И все-таки, мне, видно, это не снилось. Доктор Тесла — была ночь — в тайге...

— А что вы думали? — Мадемуазель Филипов присела в ногах кровати, подвернув одеяло под юбку. Солнце из окна падало прямо ей на лицо, она щурила глаза; распустившиеся из косы светлые волосы сделались золотыми в призрачном ореоле, словно поднятые в зефире солнечного сияния. — Как будто бы Никола оставит вас просто так — после того, как вы ему дважды спасли жизнь? Он заявил, что без вас не вернется.

— Выходит, это доктор Тесла... А тот шаман... — Я-онопоискала на лбу раны от стальных листьев.

Панна Елена отмерила в стакан с водой ложечку желтого порошка.

— Ага, значит, еще и шаман был. В этом сне? Только осторожно, не раскусите термометра!

Я-онопопыталось рассказать всю историю, только с каждым предложением бессвязный рассказ оказывался все менее осмысленным, пока в изумлении не заслушавшись в произносимые слова, не замолкло на полуслове.

Девушки присматривались с огромным интересом. Убежало взглядом на потолок, на стену.

— Почему вы не попросили, чтобы он подвез вас до ближайшей станции? — заинтересовалась панна Мукляновичувна.

— Это на каком же языке?

— Понятное дело, на русском. Вы сами говорите, что у него были спички, китайский чай, не думаю, будто бы он только в тайге обитает, наверняка же по-русски понимал, хотя бы пару слов.

— Об этом я не подумал.

— Хмм, это и вправду звучит как сон.

Сон, сон, а ведь разве не предупреждали перед тем, господин Поченгло и кто-то раньше, четко ведь говорили: чем ближе к Краю Лютов, тем более не верить снам, остерегаться снов и гаданий, всяческих предсказаний.

Только это был не обычный сон; Бог знает, чего там этот дикарь подсыпал в чай, чем дышало в дыму, а тут еще этот проклятый бубен...

— Вот-вот, до дна, вот и хорошо. Ага, у нас небольшая температурка. Все будет в порядке пан Бенедикт. Доктор Конешин сказал, что вам следует выспаться, отдохнуть; он еще проверит, не появится ли какое-нибудь заражение, но и так вам есть за что благодарить Матерь Божью, а этого пьяницу я сама...

— Нет! — Я-оносхватило панну Елену за руку с термометром. — Успокойтесь, пожалуйста. Я сам все устрою. — Уселось, отдышалось. Горький вкус лекарства остался во рту, глотнуло слюну. — Прежде всего, я должен поблагодарить Николу Теслу. Каким же чудом он смог...

— Ой! — воскликнула Кристина Филипов. — Вы же не знаете! Да и как же?! Ее, ее вы должны благодарить! Если бы видели, что она только вытворяла, послушайте хотя бы версию *madame*Блютфельд, *mademoiselle*Муклянович дралась словно львица, на князя Блуцкого чуть ли не с ногтями бросилась, этому Дусину пришлось оттащить ее силой, вы бы видели!

Елена обмахивалась бинтом, опустив глаза, пунцовая от ровной линии черных волос до черной пелеринки.

Кристина широко улыбнулась. Она расскажет все дважды, чтобы не пропустить ни одной мелочи. И вот так, в соответствии с ее словами, в голове складывалась картина тех событий: Елена возвращается после того, как обыскала купе Порфирия Поченгло — где господин Герославский, в галерее остался — идет в галерею, нет там господина Герославского, нет его и на смотровой площадке — тогда, какая первая мысль: Поченгло! господин Бенедикт должен был с ним держаться публичных мест, а что он сделал, сбежал в укромное местечко при первой же оказии, и на тебе, нет господина Бенедикта — спрашивает стюардов, проводников, нет господина Бенедикта — наконец, находит Поченгло, тот указывает на доктора Конешина, но доктор говорит, что вернулся в малый салон раньше, оставались господин Порфирий и господин Бенедикт, который вышел на смотровую платформу — Боже милостивый, выходит, повторяется история Пелки! — убил, убил, а тело выбросил! А может, только выбросил, столкнул, быть может, Бенедикт жив! Лежит там и умирает, весь поломанный! — Уже сенсация, уже скандал, уже замешательство, обслуга бежит как ошпаренная — мысль вторая: а кто обладает властью поезд остановить, кто может отдать приказ начальнику Транссибирского Экспресса? — Только князь Блуцкий-Осей, тот самый князь Блуцкий, который проявил необычный интерес к господину Бенедикту, который его расспрашивал, за свой стол приглашал — Панна Елена бежит тут к князю и ну его умолять, убеждать, грозить и кричать, а потом плакать и стонать, пока княгиня не заставила супруга отдать указание начальнику — и тут поезд останавливается, съезжает на первую встречную боковую ветку, останавливается посреди тайги, и тут назад по рельсам отправляются спасательные экспедиции, и доктор Тесла ведет за собой первую из них.

— Весь Экспресс стоит из-за меня?

— Он еще до конца не пришел в себя, — буркнула панна Мукляновичувна американке.

Я-оноповернулось на постели, чтобы выглянуть в окно. Никакой тебе станции, никакого перрона, какой-нибудь будки — лес, лес, лес. Пассажиры прогуливаются среди деревьев, дети хлещут друг друга зелеными ветками, Жюль Верусс собирает букет диких цветов для красавицы-вдовушки, амурский прокурор возвращается из леса с корзиной грибов.

В отчаянии глянуло на панну Мукляновичувну, на мадемуазель Филипов. Те сидели тихонечко, личики в куриную гузку, и только по украдкой обменивающимся взглядам можно было догадаться, какое удовольствие доставляет им вся ситуация, как они упиваются чужим конфузом. Даже руки одинаково сложили, ровнехонько вдоль линии корсета, с ладонью на подоле, даже головы одинаково склоняют: чуточку вперед и направо. Елена: черный шелк с

кружевами, черная узкая юбка, высоко обрезанная в талии, подрисованные черной тушью карие глаза, черные волосы, стянутые в кок — то ли до сих пор не переделалась, и вообще, спала ли ночью? Кристина: батист *esru*, широкие рукава *gigot*, рюшечки, зеленый костюм амазонки, водная голубизна глаз, витражно просвеченное лицо. Ангел правый, ангел левый — куда не повернись, глядят, глядят, глядят.

— Ну, и как я им теперь на глаза покажусь?

Елена громко чмокнула.

— Пан Бенедикт слишком стыдлив, когда тут нечего стыдиться, и он слишком уверен в себе, когда это ему никак не идет. — Снова, вроде бы на нее и не глядя, она направляла слова молоденькой американке. — Может, хоть вы сможете уговорить его. Казалось бы, интеллигентный человек. А такие страхи в себе воспитал, что людское понятие превосходит. Говорит, будто бы он не существует. Говорит, будто бы им управляет стыд. Великий логик! Да как вообще можно чего-нибудь стыдиться, если не существуешь?

Я-оно подтянуло одеяло под самый подбородок. Ну где тут спрятаться, куда сбежать? Голову под подушку сунуть? Больной, обреченный на милость здоровых, в первую очередь лишается права на стыд. Обсели кровать как... как... не ангелы — гиены, гиены милосердия.

— Вы с самого начала желаете обратить меня в бесстыдство.

— Дай Боже, чтобы мне это удалось.

Я-оно демонстративно повернулось к Елене спиной, концентрируясь на *mademoiselle* Филипов, ища ее глаз, ее внимания.

— Наверняка не раз мадемуазель слышала от лиц пользующихся огромным уважением и авторитетом, когда у них просят дать какую-нибудь максиму, которой человек в своей жизни мог бы безопасно руководствоваться, то есть — рецепт на всю жизнь, короткий, простой и понятный. «Поступать так, чтобы никогда не нужно было своих поступков стыдиться». Ведь слышали, правда?

...Так вот, сложно найти большую чушь! То, чего мы стыдимся, и то, чего не стыдимся — благодаря этому, как раз, человек отличается от другого человека, что не все стыдятся того же самого, не в той же степени, не в той же самой ситуации, не по отношению тех же самых людей. Он делает меня — мной. Мой стыд.

...А теперь представьте себе типа, который не стыдится каких-либо собственных поступков. Имеются две возможности: либо ты величайший бесстыдник, которого носила земля, и ты вообще ничего не стыдишься, либо же ты с самого начала вел себя в соответствии с неизменным чувством стыда: ребенок, который стыдится того же самого, что и взрослый человек; взрослый, что стыдится как ребенок; старец со стыдом юноши, юноша со стыдом старца на смертном ложе. Представьте такого себе. Кто это? Кто же это?

Кристина вопросительно глянула на Елену.

Панна Мукляновичувна сложила руки на груди, надула губки.

— Так? Так? «Величайший бесстыдник, которого носила земля!»! Но я спрашиваю, разве это оскорбление? Ведь это же комплимент! Это величайшее счастье и цель человеческой жизни! Бесстыдный, свободный от стыда, так!

...Итак, не существует, но стыдится! Не хотел говорить — но это скажу: не существует, поскольку стыдится. Мой стыд начинается там, где заканчивается «я»; «я» определяет границы стыда. Воистину, человек, которым полностью управляет стыд, это человек несуществующий. Он словно лист, которым ветер мечет во все стороны, не по своей воле — но по воле ветра, то есть, случайных пинков стихии. Мусор, уносимый волной.

...Человек существует лишь тогда и лишь настолько, на сколько поступает вопреки стыду. Более того: не «вопреки», ибо тогда стыд продолжал бы править им — но несмотря на

стыд, то есть, совершенно не обращая внимания на его указы, не помня о нем, никогда и ни в какой ситуации стыда не зная.

...Зато людей, остающихся во власти стыда, людей несуществующих — сколько мы встречаем их ежедневно!

...Одно чувство безошибочно отличит человека от видимости человека: скука. Встреча одного человека и другого человека никогда не может быть скучной: нечто правдивое касается чего-то правдивого, тайна — тайны, загадка решает загадку. Но вот скольких подобных людей вы знаете? Вы бывали в салонах, выходит, видели сотни таких кукол, замороженных между приличиями и необходимостью. Им не нужно ездить в Сибирь — они уже родились во Льду, умрут во Льду, люты промораживают их души.

Я-оноуселось прямо, опирая подушку о стену возле окна. Потянутая ради опоры нога сопротивлялась, от колена пошел сигнал протеста; я-онопротяжно зашипело.

— Больно? — обеспокоилась Елена, в мгновении ока меняя тон и позу.

— Этот порошок...

— Это снотворное, доктор сказал...

— По-моему, я уже достаточно належаюсь. — Помассировало ногу. — Боль, так, дорогие мои, итак, имеется боль тела: кольнешь иголкой, порежешь кожу, поломаешь, повредишь — тело тут же даст об этом знать. Но вот боль души... Тут панна Елена может быть права, это определенный вид порабощения. Иногда мне кажется...

...Представьте себе, мадемуазель, будто висите вы в сети стальных нитей, растянутых между тысячами людей: ваша семья, знакомые, соседи, «общество», и каждая нить закончена крючком с заусеницами, который вонзен в мышцы, в кости... И вот теперь — теперь попробуйте пошевелиться, наперекор чужим движениям — тут же переломите себе позвоночник; попытайтесь только сказать что-либо противное чужим глоткам и языкам — тут же вырвешь себе язык; и вот теперь попробуйте отрицать Стыд!

Мадемуазель Филипов уже не слушала с оживлением, не обменивалась шаловливыми взглядами с варшавянкой. Поскольку все эти аргументы были направлены именно Кристине, она как бы *ad hoc* [\[154\]](#) стала судом, вердикта которого ожидают стороны — но это ее лишь смутило и как-то опечалило.

— Но... но почему вы оба говорите об этом как о неприятной болезни, как о проклятии? И вы, вы тоже. Стыд — было бы лучше, если бы его вообще не было. Но благодаря чему мы бы тогда узнавали, что делаем нечто плохое? Или как? Украсть, и мне этого не стыдиться? Солгать, и даже не покраснеть?

...*I'm sorry, I* [\[155\]](#) ...может, я не понимаю, наверняка не понимаю, вы говорите о чем-то ином, это все метафоры, вы хотите сказать нечто за словами, так — но... стыд хорош! Стыд хорош, стыд нужен, благодаря стыду человек живет рядом с другим человеком в братстве, но не как голодные, жадные волки. Подумайте только!

...Господин Бенедикт его защищает, тоже плохо: что его стыд отличает от других людей. Но ведь нет! Наоборот даже! Если бы один человек стыдился того-то, а другой — сего, как вообще мы могли бы жить вместе? Как вообще могли бы разговаривать? Мадемуазель Елена — встреча тайны с тайной, так; но как вообще могли бы они встретиться?

...И почему эти проволоки выходят наружу? Кто приказывал вам отдавать ваш стыд в руки других людей? Выходит, когда никто не глядит, то никакой холодный крючок не рванет вам душу, когда вы кому-нибудь, невинному злое сделаете?

— Всегда кто-то смотрит, даже когда никто не смотрит, — буркнуло под нос я-оно.

Елена прижала ноготь к губам.

— Панне Кристине разве никогда не приходилось стыдиться доброго поступка?

Мадемуазель Филипов вскинула голову.

— Нет.

— Да ну! Правда?

Кристина стиснула губы.

— А раз вам стыдно только по отношению самой себя, — продолжила расцарапывать вопрос Елена, — это означает, что вы сами являетесь исключительным источником добра и зла, так? Вот вы скажете себе: это есть хорошо — и это будет хорошим. А на следующий день скажете, что плохо — и станет плохим. Так?

— Всякое добро идет от Бога.

— От Бога! Ага! Так это Бог сказал мадемуазели, чего стыдиться?

— Вы насмехаетесь надо мной.

— Откуда такие мысли? Да разве я смеюсь? Или пан Бенедикт смеется? Чего вы стыдитесь? Своих убеждений?

— Не стыжусь!

— Так как же все-таки было с Богом?

— Ну, хотя бы Десять Заповедей!

— Он их вам лично передал?

— Библия!

— А про ее истинность от кого вы узнали?

— Вы не верите в Бога.

— Да разве я сказала что-то подобное? Я только пытаюсь найти концы, то есть, начала нитей вашего стыда; кто дергает за ваши крюпочки; ответьте мне откровенно, ведь тут нечего стыдиться. Так кто же?

— Священное Писание гласит правду!

— Кто?

— Бог глядит, когда никто не глядит!

— Кто?

— Свершили первый грех, и только потом познали стыд!

— Кто?

— И малые дети, которые невинны.

— Кто?

— Папа, — тихо ответила мадемуазель Кристина и опустила глаза. — Няня. Гувернантка.

— Спасибо. — Панна Елена отняла ноготь от губ.

Кристина рукавом блузки вытирала слезы.

— Вам должно быть стыдно, — шепнуло я-онопанне Мукляновичувне.

— Что, может, перед вами?

— А кто же тогда только что так красиво покраснел?

— Только не воображайте слишком многого, у каждого бывают минуты слабости.

— Которых потом он стыдится.

Елена встала, склонилась над Кристиной, отвела ей волосы с лица, легенько провела ладонью по пухлой щечке девушки. Мадемуазель Филипов прижалась к Елене. Я-оновообще перестало что-либо понимать. Елена поцеловала Кристину в макушку, американка тихонько рассмеялась. Той ночью, ожидая возвращения групп искателей — ожидали ли они вместе? О чем разговаривали? Что Елена рассказала Кристине, что Кристина рассказала Елене? Женщины совершенно иначе завязывают знакомство, сплетение образуется гораздо скорее, и оно намного сильнее (они сразу же выдают друг другу глубинные секреты, которых мужчина

не выдал бы ни брату, ни жене), но и в то же самое время — более сложное, поскольку никогда оно не бывает только дружбой, в это сплетение входят нити соперничества, ревности, жалости, мягкая шерсть жестокости, льняные узы, взаимно связывающие владельца с владеемым. Панна Мукляновичувна вывела американку из купе, при этом еще взяла ее за руку, шепнула что-то на ушко, та кивнула головой... Они смеялись. *Я-онони*чего не понимало.

Вернувшись, Елена оперлась спиной о двери. Подняв голову, она глянула сверху; это кто же так глядит? — Дочка дубильщика, воспитанница Бунцвая, Елена Мукляновичувна — более истинная, чем сама Елена Мукляновичувна.

— Кристина сохранит тайну, — сказала она. — А вы сейчас заснете. Три-четыре часа, до того, как начальник и князь вас допросят. Начальник должен будет составить подробный рапорт — ведь это же исключительная ситуация, вы же понимаете; мы выпали из расписания, по Транссибу на японский фронт и с него шлют военные транспорты, лагеря Мерзова, нужно будет ждать до следующего окна, где-то до полудня, тут рядом идет телеграфный кабель. Необходимо согласовать версию, они будут спрашивать про мотивы Зейцова. Вы заснете, а я им займусь. Сейчас он валяется у себя, пьяный в дымину, я подкупила проводника, так что знаю.

— Зейцов нам не страшен.

— *Pardon?*

— Мы ищем не Зейцова.

— Он же выбросил вас с поезда! Так или нет? Хотел убить!

— О Боже! Да присядьте же, ради Бога, не будем же мы так кричать.

Елена наморщила брови. *Я-оно*указало на стул возле секретера.

— Вы что, забыли? — шепнуло ей. — Во второй раз я ту же ошибку уже не совершу. Как было с Фогелем? Стоим, тишина, стенки словно промокашка, никто не спит...

Елена присела.

— Фогель говорил по-русски — а кто еще здесь понимает польский язык?

*Я-оно*приложило руку к боковой стенке отделения.

— Тетя, тетушка. А что? Думали, если отравите меня сонным порошком, так у меня в башке все шарики за ролики заедут, и я обо всем позабуду?

Панна Елена только подняла глаза вверх.

— Чувствую, вы снова изобрели какую-то страшную теорию, которая все поставит с ног на голову.

— Скажите сначала, что нашли в купе господина Порфирия.

Она пожала плечами.

— Ничего. — Через приоткрытое окно влетела бабочка, заплесала вокруг головы Елены, та отогнала ее нетерпеливым жестом руки. — Ничего, что указывало бы на то, будто бы некто больший, чем обычный предприниматель из Сибирхожето. В подкладке шубы у него зашиты какие-то бумаги.

— Бумаги?

— Может, банкноты. Не могла же я распарывать — сразу же узнали бы. А в чем дело?

— Тише! Я вам говорю, что это не Зейцов ледняцкий агент. Теперь же вы говорите, что это и не Поченгло.

— Ну, относительно Поченгло не знаю. Нет никаких доказательств «за», но нет никаких и «против». — Она постучала пальцем по лбу. — Шерлок Холмс работает. Господин Порфирий остается для меня первым подозреваемым. И стоянка эта ему, собственно, даже на руку. Но мадемуазель Кристина хорошо охраняет доктора Теслу, никуда не пускает его без охранника.

На ваши поиски с ним отправилось четыре княжеских человека, только тогда она уступила.

Я-онопотерло глаза, веки снова делались тяжелыми.

— И Дусин тоже?

— Что? Нет. А почему?

— Панна Елена знает, что княгиня Блуцкая — это придворная мартыновка? К тому же, упрямейшая сторонница ледников. С Распутиным знакома.

Девушка прижала пальцы к виску.

— В таком случае... это ее очищает.

— Не понял?

— У нее была оказия, о которой можно только мечтать. Доктор Тесла отправляется ночью в чащобу, чтобы искать вас. И вот всякий след от него исчезает, и от вас тоже. Нет Николы Теслы, нет Бенедикта Герославского. А что делает она? Заставила князя остановить поезд ради вашего спасения. Ее люди, княжеские люди, принесли вас живого. Так что это не княгиня, а кто-то другой является агентом Фогеля.

— Вы полагаете, что княгиня что-то знает про доктора Теслу, про его арсенал, про контракт с царем. Согласен, что агент из нее никакой — но если бы знала... она колебаться не стала бы. Это она послала за мной Дусина в Екатеринбурге. И потом, наверняка, послала его к Пелке. — Большим пальцем руки нажало на глазное яблоко, так что вспыхнули багровые солнца. — Как раз этого ну никак понять не могу: Пелка — мартыновец, княгиня — мартыновка, убийцы в Екатеринбурге — мартыновцы; а друг друга они режут без всякого пардона, и каждый из них разные сказки про Отца Мороза рассказывает. Даже если они не знают друг друга — да ничего общего могла бы иметь княгиня с таким вот Мефодием Карповичем Пелкой? — но, что ни говори, вера то одна.

Елена поправила одеяло, сползшее на ковер.

— Тут логика вас подводит, правда?

— Ммм?

— Вы хотите найти разум в религиозных войнах. А разве с нами, с христианами, не иначе? Один Бог, одно Писание, один голос добра и зла — а сколько уже крови за это пролилось?

Нажало сильнее, солнца раскалились до интенсивно-красного цвета.

— Нет такой проблемы, относительно которой вы заставите меня отказаться от разума. Всяческое безумие, раз оно в мире происходит, должно действовать в соответствии с законами этого мира. Когда я посчитаю, что не имею права спросить «почему, зачем?», точно так же могу себе пустить пулю в лоб.

— *Vive la raison* ^[156]. Тогда, почему же?

— Я понимаю, почему мартыновцы из пермской губернии получили приказ относительно меня: какой-то преданный Мартыну чиновник Министерства Зимы узнал, что оттепельники посылают сына к Отцу Морозу, который сам по себе поляк и бунтовщик, так что ледняцкая фракция должна была отреагировать, вообще ледняки должны были отреагировать. Но Пелка? Был ли он мартыновцем-оттепельником? Он хотел меня защищать, и защищал меня. Почему? Точно так же, княгиня — но княгине был сон. А как с Пелкой?

— Среди мартыновцев вы имеете верных почитателей, — буркнула панна Мукляновичувна, — готовых отдать за вас жизнь. Это мило. Но что мы скажем князю?

— Это можно расписать, словно на логической таблице, по горизонтали и по вертикали: мартыновцы — не мартыновцы; ледняки — оттепельники. И все возможные комбинации между ними. Так что мы имеем, как минимум, четыре разные картины Истории. Вы видите? Кто какую Историю себе желает, в какую Историю верит, какой Истории отдался — такую цель накладывает на Отца Мороза и его сына. Историю они убить не могут, но могут убить

меня. Спасти Историю не могут, зато могут спасти меня. — Я-оностиснуло веки. Голова безвольно упала на подушку. Я-онолетело в черный колодец солнца. — Видите, вы это видите? Они не могут управлять Историей, но своей властью способны связать *le Père du Geli le Fils du Gel* [\[157\]](#), и через них...

— Что мы скажем князю? Что скажете вы? Например, почему Зейцов сбросил вас с поезда?

— Да оставьте Зейцова в покое. Никого он не сбросил.

— Тогда, кто? Все-таки, Поченгло? Или, может, турок? Он тоже на вас заелся, и свидетели имеются. Если так хорошенько подумать, так кандидатов даже многовато, потому что и капитан Привеженский... Вскоре уже половина первого класса будет желать убить Бенедикта Герославского.

— Не Бенедикта Герославского. Ложь о Бенедикте Герославском. Какого-то хохла из пророчеств святого Мартына. Венгерского графа. Врага Сибирхожето. Сына Мороза.

— Да ну... А громадный гербовый перстень кто на пальце носит? Вы же говорили, будто бы его выбросили.

— Выбросил. А он вернулся.

— Что, может, в брюхе жареной рыбы [\[158\]](#)?

Я-оноощупало пальцы.

— Куда он делся?

— Спрятала с остальными вашими вещами. Не бойтесь, револьвер тоже. Тетка с доктором Конешиним занялись вами ночью, им пришлось вас раздеть, натянуть пижаму...

Я-оноподняло веко. Черные призраки на мгновение улетели в лучах утреннего солнца, панна Елена сидела, выпрямившись, словно вставила под корсет линейку, бабочка присела на полке у нее над головой.

— Вы забрали... Там было письмо...

— И когда я его ей прочла, Кристина мне все и рассказала.

— Это не...

— Что умер. И теперь жив. — Елена широко усмехнулась. — А теперь вы станете меня уговаривать, будто бы мартиновцы убивают друг друга ради вас без причины?

— Он только спал...

Панна Мукляновичувна показала язык.

Хотелось схватить ее за руку, притянуть, выдохнуть правду прямо ей в ухо — черное солнце затмило глаза, черный колодец отсосал кровь из головы. Тепло, тихо, покойно, птички поют.

— Все ложь.

Почувствовало на голове прохладную ладонь девушки.

— Сейчас тетя за вами присмотрит, а мне нужно выпасться, выгляжу я, наверное, словно упырь. Вечером должны устроить танцы. Если князь спросит, скажите, что мы не знакомы, что встретились уже в дороге.

— Но ведь...

Она переместила ладонь на губы, глуша слова. Кончиком языка коснулось подушечки ее пальца.

Елена склонилась над постелью.

— Ну как вам не стыдно, господин Герославский! — шепнула она.

— Никто не смотрит, *mon ange sans bonte...*

— *Je regarde.*

— *Qui êtes-vous?*

— *Un rêve, naturellement. Nous sommes dans l'Été.* [\[159\]](#)

Все ложь.

О сибирских безумствах

— Выпал.

— Выпал!

— Так, выпал.

— Ну, сейчас я ему выпаду...! Собирать будут отсюда и до самого Владивостока!

— Зачем так волноваться, — беспокоилась его супруга, княгиня Блуцкая, — снова будут проблемы с желудком, снова болеть будешь...

Князь Блуцкий-Осей сопел, тяжело дышал, скрежетал, мелкими шажками метался по отделению от стены к стене, крутил головой и хватался то за грудь, то за челюсть, поскольку именно она скрежетала — металлическое ортодонтическое изделие; я-оноопасалось, что при очередном крике старец выплюнет ее вместе со словами и слюной, и она, с размаху, сможет выбить глаз, сломать нос, ведь расстояние не было большим — аршин, половина аршина — когда князь приближался, разогнавшись на малом пространстве, приближался, наклонялся, взрывался новым гневом, а змеиная челюсть ходила у него во рту вправо и влево, словно на каучуковых подвесках.

— Выпал! Пьяный был, что?

— Нет.

— Вот видишь, видишь?! — накачивал себя князь. — Хоть раз правду сказал!

— Понятное дело, я чрезмерно обязан Вашей Княжеской Светлости, что вы остановили ради меня поезд; не знаю, как благодарить, как извиняться, что по моей причине все это замешательство и заботы на голову Вашей Светлости, если бы я только мог как-то...

— Шутить! — прорычал князь. — Шуточки надо мной тут строить будете! — Он схватил трость своей жены и поднял в неуклюжем замахе, но зацепился за выступ высокой полки над кроватью и чуть не упал.

— Господин советник! — позвала княгиня, позвала и закашлялась. — Захарий Феофилович, будьте так добры и возьмите князя с собой на свежий воздух, прогулка перед обедом ему не повредит.

Дусин сунул вовнутрь голову из коридора. Князь бросил палку на пол и вышел из купе. Советник вопросительно глянул на княгиню. Та отправила его, махнув кружевным платочком.

Я-оноподняло трость и подало ее старушке.

— *Merci.* Уж простите мужа — снова вы врете ему в глаза, а он к этому не привык.

— Ваше Сиятельство, можно ли присесть? Моя нога...

— Постоите, постоите. И не думайте, будто бы печать Раппацкого дает вам свободу вытворять нечто подобное. Видите ли, когда доктор Тесла и наши люди искали вас в лесу вдоль путей, сюда пришел Павел Владимирович Фогель, бывший чиновник Третьего Отделения Личной Его Величества Канцелярии, сейчас с приказом службы в охране, пришел с *mademoiselle* Кристиной Филипов, и они рассказали нам про работу Теслы, а так же про угрозы, над ним нависшие, и про то, как вы ему жизнь спасли, и про то, что вашей жизни те же самые заговорщики угрожают. И как раз по их причине, так нам сказали, вы исчезли из поезда, поскольку они сознательно убрали из виду тело убитого. Кх-кх, будьте так добры, налейте-ка мне из того вон чайничка — *merci bien* [\[160\]](#).

...Так что князь принял все это очень близко к сердцу, и только поэтому перестал меня

ругать, что я настаивала на остановке Экспресса. Я тоже все это близко к сердцу восприняла, и сама себя спрашивать начала: а хорошо ли поступила? Второй раз уже спасаю вас. И думаю себе: исполнился сон. Я была права, вашей властью было защитить Россию — если бы позволили умереть доктору Тесле. Это же он в этом же поезде везет с нами свои пушки, на лютов заготовленные, как говорят господин Фогель и *mademoiselle* Кристина. Так что сон всю правду показал, только вот я его неправильно поняла. Ну, молодой человек, скажите, а то я уже устала от всей этой болтовни — я права?

Купе Блуцких не было больше других двойных отделений; княгиня сидела на застеленной кровати, прикрытой кучами больших, нормальных и совсем маленьких подушек, обложенная с обеих сторон мягкостями и округлостями, словно на пухово-плюшевом троне; она буквально утопала в нем; хотелось встать на подходящем расстоянии, но как далеко можно сбежать в поездном купе? Потому стояло над княгиней и глядело сверху, невольно сгибаясь в горбятящемся поклоне, когда она поднимала свое сморщенную, засушенную мордочку, когда глядела, помигивая, из-под кружевного чепца. Улыбающаяся, не улыбающаяся — бабка, бабушка, мать матерей.

— Ваше Сиятельство желает, чтобы я сказал вам, кто меня выбросил, потому что ищете союзника против собственного мужа.

Старуха чуть не подавилась горячим чаем.

— Кхркх, вы и вправду все наоборот делаете, неужто никто не научил вас, когда врать, а когда говорить правду?

— Князь вовсе не считает, будто бы Император сошел с ума, *c'est invraisemblable* [\[161\]](#). Князь едет договариваться с японцами, чтобы дать Императору мир на восточном фронте и развязать руки против лютов. А вы поехали с ним, чтобы мешать в работе, портить переговоры, и при первой же возможности — этот мир сорвать. Едва ходите, но во имя своей мартыновской веры — не отступите: пока идет война с японцами, до тех пор лютам покой.

Княгиня подняла голову еще выше, теперь чуть ли не выпрямляя спину; рот широко открылся, видимо, она его не могла толком контролировать, нитка слюны повисла в уголке бескровных губ.

— Кхр, кхр, сумасшедший — ведь это же безумие, так, так...

— Его Императорского Величества...

— Не императора — ваше. Скажите, это же в каком безумии должен жить человек, чтобы не только ожидать от ближних всего наихудшего, но столь откровенно и бесстыдно оговаривать их в этом зле?

— Безумии?! Если бы вы знали про Теслу до того, как выступили спасательные группы, какой приказ вы бы отдали своим людям? А? Какой?

Старуха стукнула палкой по полу, ковер подавил отзвук.

— Тихо! — прошипела княгиня. — Хватит уже! *De quoi parlez-vous* [\[162\]](#). Возьми себя в руки! Снова истерики! Неприлично!

— Прилично, неприлично, — спокойно ответило ей, — я в этом не разбираюсь, да и плевать на это хотел, можете приказать своим молодцам избить меня, если откровенные слова вас оскорбляют. И вообще, чего я с вами тут разговариваю? Зачем я сюда пришел? Из вежливости? Из благодарности? Передаю поклон Его Сиятельству, он, похоже, по-настоящему добрый человек; ему я благодарен. Вам — уже нет. Не будет никакого согласия, никакого договора между нами; а уж если вам все увидится наоборот: погубить меня вашим собственным словом или выдать на милость ночным убийцам — ваша воля, матушка. Лёд с вами.

Я-оновышло в коридор. Вдали, в двух купе дальше, стояли *праведник*, начальник поезда,

пожилой стюард и еще седобородый слуга в княжеской ливрее. Начальник тут же поклонился, прижал ладонь к мундиру у сердца. Сколько они слышали? Прихрамывая, направилось за ним, в служебное купе. Князь ехал в вагоне первого класса номер один, сразу же за салоном. Симулируя неприятности с коленом, *я-онона* момент приостановилось, глянуло под ноги. На дорожке остались темные пятна крови, уже не столь четкие, но не заметить их было невозможно. Все окна были открыты, солнечный свет попадал вовнутрь вместе с теплым воздухом, насыщенным запахами леса. Начальник толкнул дверь служебного отделения. Из своего купе выглянул *monsieur* Верусс, широко раскрыл глаза и подскочил, словно кто его шпилькой в седалище уколол. — ...мне обязательно читатели Париж Франция мир истории вашей авантюрной Сибирь и обязательно же убийцы, и теперь приключения свои спасенный расскажет, запишу, спишу, обязательно! — Простите, потом. — Сбежало в служебное помещение.

Начальник поезда писал рапорт с благоговением, достойным канцеляриста Священного Синода, тем более, что поезд ведь стоял, стол не трясся, так что человек с полным священнодействием мог макать стальное перо в чернила, вести ручку-вставочку со всем артистизмом чиновничьей каллиграфии; ведь кто знает, чьи глаза будут этот рапорт просматривать, кто знает, что повлияет на решение про должность начальника, вполне возможно, что пост спасет ровненький и аккуратный почерк, но все разрушит одна незамеченная клякса или плохо прописанная буквочка, выдающая недисциплинированный характер *железнодорожно-железнодорожно служащего* — кто знает. И если присмотреться к начальнику, потеющему над письмом к начальству, взглянуть в его сфокусированные глаза, в его *салдатскую* душу, с каким благоговением он укладывает словечко к словечку — гораздо больше поймешь о России, чем после долгих лет изучения политики.

Он видел бумаги с печатями Министерства Зимы, потому расспрашивал с вежливой униженностью, извиняясь за то, что спрашивает, чуть ли не извиняясь за то, что извиняется. *Я-оно* повторяло короткую, простенькую историю, как выпал со смотровой площадки — голова закружилась, а почему закружилась, да вот, засмотрелся на небо, на дым, на радуги зимназовые, засмотрелся и выпал, такой вот дурак, ну да, именно я — а начальник переводил это в официальную форму. *Я-оно* палилось через окно на высокие деревья тайги, зелень раскидистых елей и сосен, на белую кору берез, здесь, у самых рельсов растущих реде, с пространствами солнечного просвета между белизной и белизной, зеленью и зеленью, так что гуляющие пассажиры, входя меж деревьями и исчезая за одним, другим, третьим стволом, даже не замечали, как заходят в тайгу — границы начала тайги не было, только ее океанский массив, прекрасно видимый от горизонта до горизонта; и глубинное эхо рыка этого океана деревьев, когда неожиданный ветер пролетал над Азией, и в пуще пробуждался шум: сильный, протяжный, волна живого звука — *шшвишшвишшшш*, даже занавески в окнах первого класса морщились, поднимались бумаги под грубо отесанной рукой начальника, и тот подглядывал над страницами, наморщив бровь, распекая официальным взором непослушную природу. Ну так, голова закружилась, засмотрелся, такой вот дурак. Из-за деревьев вышел олененок, застриг ушами, повернул головку к мерцающим радугам «Черного Соболя»... *Я-оно* размышляло о княгине Блуцкой.

А ведь баба чудовищная! Из крови уже ушли последние миазмы сонной химии, ушла оставшаяся после ночи слабость и похмелье после дымовых галлюцинаций; вернулась ясность суждений. Княгиня Блуцкая! Как можно выдвигать аргументы против кого-то, кто стал оракулом сам для себя, то есть, все примеряет к собственным снам, к предчувствиям, в соответствии с какой-то внутренней картиной, которая не видна никому другому? И ведь часто случается, что как раз пожилые люди убеждаются в собственном авторитете: они сами

для себя устанавливают авторитет — патриархи рода, засушенные бабки, святые предсказательницы. С такими людьми вообще невозможно договориться. Они слушают тебя, словно собачий лай или детскую болтовню. Вроде и говорят, но на самом деле, всегда разговаривают только с собой. Наружу, другим они отдают только приказы — приказы в форме приказов, приказы в форме тонких манипуляций, приказы в форме бессловесной лжи. Никогда их и ни в чем нельзя убедить, будто бы в чем-то они поступают плохо. Это они, как правило, привыкли определять, что хорошо, а что плохо.

...Вчера княгиня спасала мне жизнь и делилась доверительными просьбами, а сегодня воспользуется первой же возможностью, чтобы жизни этой лишить. Потому что сон, потому что мираж, потому что предчувствие — щелк! — перебросила стрелку, и сразу же добро и зло, правда и ложь поменялись местами. Мстила самодержцу — а сама какая? То же самое безумие ее подтачивает. Так как же с кем-то подобным разговаривать? С реальным самодержцем не может быть никаких разговоров: можно только подчиняться или не подчиняться. Авраам не спрашивал у Бога причин, мотивов, рациональных объяснений; любые вопросы были бессмысленными.

В будничной жизни не мыслишь подобными категориями — встречал ли хотя бы раз человека по-настоящему злого? а по-настоящему доброго? — но вот княгиня Блуцкая, казалось, была ближе всего тому злу, которое известно нам по библейским книгам; она, не Зейцов, не Привеженский, не Милый Князь и безжалостные ростовщики, не убийцы-мартыновцы, не послушные приказам охранники — но эта ужасная бабища, чувствительная ведьма, болезненная, вечно кашляющая в платочек, она.

Я-оновышло в коридор; от фламандца ни следа, встало у окна, вынуло папиросу. Начальник подал огонь. Пассажиры из купейных вагонов играли в мяч между стволами на таежной опушке. Из купе, сразу же за отделением князя, выглянула француженка, та самая, что с опрятными детишками и благородно выглядящим мужем, поклонилось ей. Она холодно глянула и позвала сына. Все было невероятно, сказочно тихим, спокойным, ясным, даже тесный вагонный коридор казался более просторным. Транссибирский Экспресс, среди бела дня стоящий на забытой отводной ветке в тайге. Дикie птицы и настоящие, живые бабочки садятся на холодном панцире «Черного Соболя», чирикают на машине лесные мелодии... Я-оноуступило дорогу, мальчик бежал к матери с книгой под мышкой. Глянуло через солнечный луч: *Michel Strogoff, le Courier du Tzar* ^[163] Жюль Верна, том второй. Экземпляр явно зачитанный, парень, должно быть, нашел его в библиотеке вагонов первого класса. Сбило пепел и захромало в салон.

Удивительно, но там было пусто, ни души, всех потянуло на солнышко. Шкафы с книгами стояли в глубине, за биллиардным столом и радиоприемником. Я-оноперемещало забинтованные пальцы по корешкам томов, переплетенных в коричневую кожу с выпуклой эмблемой Транссиба. Ниже была выставлена приключенческая литература — ого, роман Голыпина «Доктор Омега. Фантастические приключения на Марсе» — но выше шли книги уже более серьезные. Хмм, географический атлас, нет, иллюстрированная история Романовых, нет, рассказы времен сибирской золотой горячки, нет, степная поэзия, точно нет, путеводитель по «Старой и новой Сибири», хммм. Село в кресле с книгой на коленях.

Для научного сборника она была слишком уж хаотичной в подборе тем, перескакивала от одного любопытного факта к другому; самое подходящее чтиво для скучающих пассажиров Люкса. Перелистало слишком уж долгое вступление. Начинается историческая часть. Первые конкретные свидетельства путешественников по Сибири: новгородские летописи, *De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros* ^[164] Бенедикта Поляка, *Описание Мира* Марко Поло. Глава CCXIX *Описания* называется «Здесь рассказывается о Стране Темноты». То есть, о

Сибири, где *всегда царит ночь, и нет там ни солнца, ни луны, ни звезд, но постоянно мрак, как у нас в сумерках*.Здесьние народы, не знающие света, кроме темноты, не имеют хозяина, никому не подчиняются и живут словно скотина. Зато у них *есть громадное количество очень дорогих шкур*. Соседствующие с ними народы, живущие уже в свете, закупают от них все эти меха.Что здесь имелось в виду с этой Страной Темноты? Венецианец так далеко забрался на север, что попал в полярную ночь? Или же только повторяет слухи о ней?

...Но в русских летописях тоже пишут о «Стране Темноты». Лаврентьевская летопись, 1096 год: новгородские купцы перебираются через «великий Камень», идут на нижнюю Обь. 1114 год: *еще старые мужи ходили на Югру и к самоедам*.Новгородские летописи, повторяющие сообщения купцов еще до времен Ивана Грозного: в Стране Темноты живут одноглазые люди, а под землей — люди безголовые, охотники. Там они охотятся на мамонтов. Рядом помещена беспомощная гравюра, представляющая сечение через вертикальную вселенную: сверху деревца, солнышко, ниже линия почвы, а под ней начинаются более темные и светлые разделы подземного мира, реки, равнины и тропы, по которым, между корнями растений и наслоениями вечной мерзлоты бегают мамонты и одноногие, однорукие охотники с дротиками и луками, гоняющиеся друг за другом: люди за мамонтами, мамонты за людьми. Папироза выпала из пальцев. *Я-оносклонилося над книжкой*. Под землей, естественно, никакое солнце не светит, под землей царит вечный мрак.

...Карта XVII-го века Йодокуса Хондиуса, подписанная: *Тартария*,представляет мифические Баргу Кампестриа, степи, доходящие до полярного круга, дальше уже реки Апокалипсиса — Гог и Магог, страна Унг под скипетром Пресвитера Иоанна, а так же страна Мунгул, где проживают татары. Каракорум, то есть, столица монгольских ханов, находилась здесь за полярным кругом. Чуть ниже: Катайо с Великой Стеной и *Xuntien*либо *Quinsay, то есть город — столица китайских императоров*.Фантазии невежд, подумало, поднимая окурок с ковра и помещая его в пепельницу. Фантазии о странах, которых нет — другими словами: История, написанная рукой человека Лета. То, что не существует. То, чему невозможно приписать значения правды или неправды. Где этот Унг, где заполярный Каракорум? Нет! Но ведь карта Хондиуса не показывает Сибири *Anno Domini* ^[165]1924. Где Страна Темноты? Разве все это вещи, столь же невозможные, сколь невозможным является противоречащий правилам игры ход пешки в воспроизводимой в обратной последовательности шахматной партии? Назад, в XVII, XIII, X века, и во времена до рождения Христа, в доисторические века. Исходя из данного нам в непосредственных ощущениях настоящего, моменты прошлого, которые мы познаем как фальшивые; какие из них являются — возможными, а какие — истинными?

...Каковы правила игры в Историю? Определяет ли их физика людского мира? Может, скромнее — математика? Или только логика?

...Раскрыло следующую главу. Год 1574-й, Строгановы получают от Ивана Грозного миллион зауральских десятин. Год 1579-й, Ермак Тимофеевич, казачий атаман и кровавый разбойник с берегов Волги, со смертным приговором от царя, отправляется со своим отрядом за Урал, тысяча диких грабителей, среди них и польские авантюристы, беспокойные шляхтичи — они открывают, они завоевывают Сибирь, таким был Кортес этой золотой Америки Востока: донской казак; и действовал он подобно Кортесу, под конец выставляя против туземцев артиллерию, которую сплавляли через тайгу на ладьях. Из тех же рассказов, записанных после экспедиций Ермака, взяты упоминания о «мохнатых слонах», встреченных Ермаком в Сибири — а может, их только описывали тунгусы, тут не все было ясно.

...Конец XVII-го века, голландский купец Шверт Исабрантс Идес, полностью прогорев, выпрашивается у царя с миссией в Китай вместе с кредитом на товары из государственных

складов. Царь соглашается, Идес отправляется в Китай через Сибирь и возвращается, заработав огромное состояние. Писарь Идеса, некий Адам Бранд из Любека, в 1698 году издает в Гамбурге мемуары про это путешествие: *Beschreibung der chinesischen Reise* [\[166\]](#). Книга делает фурор, и в 1704 году уже сам Идес публикует в Нидерландах собственную версию: *Driejaarige Reize naar China* [\[167\]](#). Оттуда родом первые сообщения о тунгусах и их верованиях. Когда-то это был воинственный и независимый народ, населяющий огромные территории, но сейчас он лишен свободы. Зимой и летом тунгусы носят меха, вывороченные волосом наружу, сшитые из кусков разной окраски. Такую одежду носят как мужчины, так и женщины, пожилые и молодые — и они ею очень гордятся. В молодости они прошивают себе лицо вдоль и поперек зачерненными сажей нитками ради украшения (что у данного народа очень высоко ценится) в виде кружков, квадратиков, в зависимости от желания или каприза каждого в отдельности. О том, какую ужасную боль это должно вызывать, милостивый читатель может оценить сам. У того шамана, и вправду, шрамы на лице были очень правильной формы. Во всяком случае, ночью они походили на шрамы. Шаман, шаман, нетерпеливо перелистывало страницы, смачивая слюной палец. В нескольких милях отсюда, выше по реке, писал Идес, живут тунгусы, у которых имеется знаменитый шаман или же мастер по дьявольским делам. Известия об этом мошеннике пробудили у меня желание увидеть его. Он оказался старцем высокого роста, у него было двенадцать жен, и он совершенно не стыдился того, чем занимается. Поначалу я ознакомился с его убором, состоящим из соединенных одна с другой железных пластинок в форме птиц, сов, ворон, рыб, звериных и птичьих когтей, топоров, пил, молотков, ножей, сабель и изображений некоторых зверей. Его чулки на коленях, точно также, как и весь убор, были из железа. Железом также были покрыты стопы ног, а на руках у него были два больших, сделанных из железа, медвежьих когтя. На голове было множество железных украшений, с самого же верха торчали два железных оленьих рога. Бранд: Мы осмотрели и ощупали этот убор с величайшим изумлением. Когда шаман надел его на себя, он взял в руки длинный бубен и стал бить в него, извлекая при этом неприятные для уха звуки. При звуках бубна все начинают выть как псы.

При звуках бубна. Я-оноподняло голову под струю солнечного света. Это был сон, все мне приснилось. В какой последовательности? Сначала тень всадника на западном небе, силуэт дикаря на коне; потом сажусь на поваленном дереве, засыпаю — и что снится? Дикарь на коне. А то, что снилось еще позднее — это уже сон во сне. С дымом, с чаем и шаманскими травками.

И все же, тогда примерещилось то, о чем прочитало только сейчас!.. Правда, на все это можно глянуть и с другой стороны, с единственно правильной стороны: из настоящего. Книга в руках, а сон в голове: сон сам по себе не существует, сон только помнится. И память о нем принадлежит тому самому настоящему, в котором я-оночитает сейчас про тунгусских волшебников. А здесь, так близко к Зиме... Как там говорил господин Поченгло? Мысль сходится с мыслью. Все меньше места между правдой и фальшью.

Тем не менее, это до сих пор не объясняет Страны Темноты, мамонтов, всего подземного мира Сибири. Сейчас это называют «геологией». Сейчас уже не шаманы на оленьих шкурах и на плоских камнях, но царские картографы из Горного Института в Санкт-Петербурге на ватманских листах вычерчивают Дороги Мамонтов по топографическим признакам. По подземному миру за чудесной добычей охотится Сибирское Холод-Железопромышленное Товарищество, один златник чистого железного зимназа во Владивостоке стоит столько же, сколько почти фунт обычного железа. А над городом тигра и соболя поднимается сияние тьвета, зарево от византийских куполов тунгетитовой церкви, потому что это была и остается — Страна Темноты...

Безумие.

Встало, повело плечами, пока что-то не стрельнуло в поясище. Присевшая на ветке птица с тупым клювиком склонила головку, с любопытством глядя прямо в глаза. Предплечьем оперлось на сдвинутом окне. Птица заглядывала сверху, склоняясь так, что чуть не сваливаясь со своего насеста. Мелькнула короткая мысль: это уже сутки прошли — наверняка из тела ушли последние следы тьмечи — замечают ли животные теслектричестве возмущения? Птицы, коты? Чувствительны ли они к ним? Не знаю, как кто, но коты наверняка являются творениями Лета. Дунуло на полураскрытую ладонь. Ничего.

Под окнами, к задней части состава, сопя и хватаясь за выскакивающее из мундирных штанов брюхо, спешно семенил Сергей.

— Эй! Что-то случилось? Отправляемся, может?

— Его благородие, господин Фессар, уфф, умом тронулся.

*Я-оно*выглянуло. Боковая ветка слегка изгибалась, отдаленные вагоны можно было видеть с внутренней стороны под большим углом; и очень четко — лиц, собравшихся у конца состава, куда спешил и Сергей. Прищурило глаза. Все они стояли у отодвинутых дверей товарного вагона, ну да, конечно: вагона доктора Теслы. Тайный советник Дусин, два пожилых охранника, человек в ливрее князя Блуцкого (с двустволкой на плече). С другой стороны, окружая последний вагон, к ним подбежала мадемуазель Филипов, подкатав юбку. Они о чем-то увлеченно спорили, жестикулируя на все стороны света, показывая вовнутрь вагона и в сторону тайги. Тут к ним присоединился Сергей, он тоже стал размахивать руками. Появившись из тени, в дверях вагона встали доктор Конешин и Тесла, у симметричного доктора под мышкой был зажат его врачебный несессер.

*Я-оно*вышло из салона, спустилось по ступенькам на землю и похромало к спорящим.

Первым обернулся Степан. Он приложил палец к губам, схватил за плечо, оттянул в сторону, между вагонов. *Я-оно*вырвалось.

— Что такое? Людей в средину впускаете? Чего-там ищет доктор Конешин?

Седой охранник воздел руки вверх.

— Ой, там такое наделалось, такое! Олег лежит без духа, шишка с орех, доктор говорит что мозги могут сотрястись.

— Что? Кто?

— Да турок же несчастный! Вломился, Олегу дрыном своим по голове дал, добрался до аппаратов доктора Теслы! Ой, докладывать *нада*,вину перед начальством перестрадать.

— Схватили его?

— Да куда там! Сбежал!

— Сбежал? — отшатнулось *я-оно*. — Да куда же он мог сбежать?

— Да вот, — Степан махнул по направлению горизонта, — в тайгу!

— Как так? — *Я-оно*глянуло на монументальную пуцу, взгляд застревал среди высоких стволов. — Снова напился?

— Да нет, говорят, будто бы трезвый.

— Так что? Будет возвращаться в Европу пешком?

Охранник только пожал плечами.

— Совсем он с ума свихнулся, это точно.

Подошло к двери вагона, заглянуло вовнутрь. Олег уже пришел в себя, сидел на жестяном ящике, держась за голову и тихонько постанывая, симметричный доктор заглядывал ему в глаза. Никола Тесла и Павел Владимирович Фогель мотались у ящиков, разбитых взломщиком, прибивали временные стенки, закрывали внутренности машин одеялами и досками; словно кровь из живого зверя на пол вылились из поломанных корпусов

ведра светлых опилок. К тому же Юнал Фессар, должно быть, разбил, как минимум, одну банку с кристаллами тьмечи, напитанные чернилами кусочки соли, блестящий уголь, они валялись в опилках, доктор Конешин ступал прямо по ним, кристаллики трескали под его каблуками. Разбит был и кожух насоса Котарбиньского, оттуда бесстыдно торчали связки проводов, какие-то черные трубки, какие-то зимназовые катушки — тяжелая машинная анатомия.

Кто-то встал за спиной. Глянуло. Дусин — он всегда становится за спиной.

— Мне казалось, вы должны были прогуливать князя.

Тот кивнул головой.

— Это мы его заметили.

— Мы, это вы с князем? Турок был здесь, в середине, правда? Двери оставил открытыми, или как?

— Орал.

— Что?

— Орал, — повторил Дусин. — Послушайте-ка, что касается дела с Его Светлостью...

— Погодите! Минуточку! Вы говорите, что... Сейчас. Вы знали, чей это вагон?

— Я знаю то, что ночью Их Светлостям рассказывала мадемуазель Филипов. Доктор Тесла везет здесь машины по заказу Его Императорского Величества.

— Итак, вы слышали, что кто-то кричит в середине... Он звал на помощь?

— По-турецки вопил. Я позвал людей, отослал Его Светлость, отодвинул двери — а он выскочил, словно пружина его толкнула, пролетел прямо над головой у меня и в лес помчался... раз-два, еще и перекувыркнулся... и только его и видели.

— Пьяный.

Дусин отрицательно покачал головой.

— Вчера он полдня спаивал того сумасшедшего журналиста, но сегодня, даже недавно, с ним разговаривала мадемуазель Филипов, так она говорит, что господин Фессар...

— Трезвый, так. — Еще глянуло на раскрытый насос Котарбиньского, над которой заламывал руки доктор Тесла. — Кажется, я понимаю. А скажите, вы хоть успели хорошенько присмотреться к его силуэту, когда он удирал, ну должны вы были глянуть, чисто человеческий инстинкт — спина, бегущая фигура, буквально несколько секунд, правда ведь?

— А что?

— Не заметили ли вы в нем чего-то... чего-нибудь странного?

Дусин незаметно перекрестился.

— Так вы же прекрасно знаете. Вы — кровь от крови Мороза, вам — слово Мартына, или Ее Сиятельство с вами о том не говорила? Но не забывайте, что мартиновцы — они разные. Опять же — американец везет лютам уничтожение, так оно кончиться не должно.

— А как? И вообще, не надо со мной тянуть эту бредь — она хороша для распутинских салонов. Впрочем, вы уже опоздали, у княгини все уже переменилось, теперь она желает моей смерти, и чем скорее, тем лучше.

Дусин снова покачал головой.

— Не понимаете вы стариков.

— Да прекрасно я понимаю, — вздохнуло про себя. — Рад, что появилась okazия перемолвиться наедине. Можете передать ей, что, так или иначе, я остаюсь на услугах Министерства Зимы и не собираюсь ничего делать против Императора. А если с доктором Теслой что-нибудь случится, напишу обо всем Раппацкому. Ведь письмо от Сына Мороза он ведь прочитает, разве нет? Так что лучше уж шепните ей на ушко, что нужно, пока она снова не сглупит.

Дусин стиснул губы.

— Дважды она вас уже спасала.

— И сама вам о том скажет, что это было ошибкой.

— Святого Мартына...

— Лют припер к тыну... Ладно, отвяжитесь уже от меня! Чем больше лжи вы в меня накачиваете, тем больше в голове мешается. Молитесь, чтобы я во всю эту чушь не поверил.

Отошло, когда доктор Конешин прыгивал на землю. Тесла со злостью бросил за ним трость Юнала Фессара. Я-оноуспело схватить ее, пока она не задела кого-то из заболтавшихся пассажиров. Тем временем, к ним присоединился *monsieur*Верусс с вдовушкой-красавицей, парочка из купейного вагона, капитан имперского военного флота из Люкса, другие пассажиры, так что получилась небольшая толпа.

— ...самое большее, часов пять, — повторял Сергей, опирая пот со лба. — И никакой другой возможности нет! Ваши благородия должны понять. Это же Транссибирский Экспресс, такие вещи не случаются, мы все потеряем из-за этого должности. Даже если бы половина пассажиров в лес сбегала — пять часов, не больше, а то и быстрее пути освободят.

— Конкуренция, дорогая моя, ничего другого, хотел узнать секреты конкуренции, его схватили на горячем, вот он голову и потерял.

— Как рубль не крути, все равно, Сибирхожето сверху будет.

— Так или иначе, — сказал симметричный доктор, — у нас тут взлом, уничтожение собственности, нападение на человека, на императорского служащего, и, кто знает, нет ли намерения убийства — если бы удар чуточку не так пошел, бедняга мог бы и не выжить; это уже работа для представителей закона.

— Правильно доктор говорит! Послать за жандармами!

— Да откуда жандармов! Только что вернулся тарантас из подвозной [\[168\]](#) деревни, со станции протелеграфируем, если удастся.

Я-онопротиснулось к мадемуазель Кристине, массивная трость Фессара очень помогла в этом.

— Ведь вы же разговаривали с ним сегодня, правда?

— Вы поднялись. Вы хорошо себя чувствуете? Повязка спадает вам на подбородок.

— ...с господином Фессаром. О чем?

— Видно, про Николу уже разошлось. Спрашивал, не тот ли это доктор Тесла. Выражения почтения и так далее.

— Перед тем говорил он с советником Дусиным? С кем еще? Похоже, уже вчера он пытался что-то вытянуть из Верусса.

— Откуда же мне знать? А-ах, простите меня, сплю на ходу.

Кристина повернулась и ушла в вагон. Княжеские люди почтительно поклонились, когда она проходила мимо.

Тем временем, сборище у товарных вагонов увеличилось десятков до двух человек.

— ...какие еще извинения? Ведь это же неслыханное дело! Сначала выпадает какой-то идиот, и мы все стоим; потом уже этот сумасшедший! У меня билет на корабль из Владивостока, кто мне деньги вернет?

— А ведь господин Фессар таким вежливым джентльменом казался!..

— ...нельзя же человека на пищу медведям даже если преступник а знаем не знаем то что один день за столом хлеба вина второй день умирай в лесу темном мы идем а как же видите раненый может с ума сошел кто знает этот из вагона что пять пускай четыре может кто свистков пару я первый найдем человека!

— Хорошоизлагает! Налейте ему водки!

Сергей схватился за голову. Он начал громко упрашивать, стонать, умолять, мало кто его слушал, новое развлечение раззадорило воображение пассажиров Транссиба; они созывали товарищей, собирались группами — словно на пикник; возбужденный юноша прибежал с биноклем; кто-то помчался к начальнику поезда за свистками. Мужчины вынули часы, сверяли время, при случае сравнивая по коротким стрелкам свои родные временные зоны. Появился еврей из купейного вагона с собакой на поводке, криволапым кобелем весьма сомнительного происхождения, и тут же кто-то начал требовать одежду беглеца: след, собака должна взять след, пускай понюхает! Раздали свистки. Пришел начальник поезда, только его уже никто не слушал. *Frau* Блютфельд привела с собой официантов с корзинами бутербродов; провиант разобрали по карманам. Татарин из купейного продал два старых компаса, по пятерке за штуку. *Monsieur* Верусс, обцеловавши руку вдовушки, побежал к себе в купе за блокнотом и карандашом, размахивая огромной корзиной для пикников, видно, еще наполненной неразобранной едой. Разыгравшиеся дети попытались было забраться в вагон Теслы; серб с грохотом задвинул огромную дверь. Одноглазый джентльмен, сосед панны Мукляновичуны по вагону-люкс, одиноко направился в тайгу с ружьем в руке и патронташем на плече. Как по сигналу — в тайгу отправились и другие экспедиции. Начальник состава махал фуражкой крича им вслед про условленные сигналы — один длинный гудок: возвращение; три коротких: нашли — только ни о какой договоренности здесь не могло быть и речи. Сергей с мрачной миной сидел на зимназовом рельсе и кусал ус. Слуги в княжеских ливреях, отставив длинноствольные винтовки, плевали махоркой в кусты ежевики. Над раскрытыми настежь пассажирскими вагонами и покрытым мерцанием «Черным Сободем» шумели деревья; ветви берез расположились изогнутыми зигзагами, словно нервничающий художник изобразил их подскакивающим на бумаге перышком. Розовый мотылек танцевал над блестящей от пота лысиной начальника, в конце концов — присел на нее, дети показывали на него пальцами. На заднем плане хлопала чистейшая белизна: ветер выдул занавески в окнах вагонов-люкс. Для этого пригодился бы Галь [\[169\]](#), подумало *я-оно*, кто-нибудь из импрессионистов, специалистов по средиземноморскому солнцу, размазывающему контуры известняковых колоколен, оливковых рощ, парусников на горизонте. Небольшая картинка, прямоугольник, десять на семь дюймов: краски желтая, зеленая, голубая и черная (черная-ониксовая, чтобы написать зимназо паровоза). Название: *Лето в тайге*. Или: *Тайга в Лете*. Картина оправлена в толстую, топорную рамку из темного дерева. Дачники [\[170\]](#), Азия и машина.

О большом значении краткого обмена мнениями между доктором Конешиным и герром Блютфельдом

Птицы пели в тайге, в церковной тишине между деревьями; свет с зеленых витражей ниспадал на дикие тропки, на кусты, отягощенные неизвестными плодами, на траву, усеянную неизвестными цветочками, на мужчин в элегантных костюмах, прогулочным шагом переходящих от одного солнечного просвета к другому.

— ...вчера вечером. Юрга. Тутальская. Сейчас же повозка пришла, кажется, со стороны Литвинова, если я правильно понял начальника. А между ними никаких поселений, только эта подвозная деревня на столыпинском праве; разве что охотник или золотоискатели в секретном прииске. Так что *дурной пацан* может бежать на север, пока не попадет в Северный Ледовитый океан. Или в болото, что скорее всего.

...Я и вправду советовал бы не нагружать колено; при удаче, когда вы позволите ноге

отдохнуть, через недельку-две будет как новенькая.

— Доктор, вы же видите, это *Herr*Блютфельд не может нас нагнать.

— А если что, кто будет вас нести назад? Те две прелестные мадемуазели, которые вами занимались — они никогда бы мне не простили. Уже пятый десяток, а я все еще нахожу это увлекательным феноменом, то свойство характера, даже и не знаю, как его назвать — мед, который притягивает женщин. Вы ведь всегда пользовались успехом, правда?

Я-онорасхоталось.

— Спасибо, господин доктор, благодарю, вот это запомню, развеселили вы меня замечательно!

— Хорошо воспитанный сын из богатого семейства, с чистым сердцем и незапятнанной репутацией — нет, даже и не взглянут. Но достаточно только появиться в городе авантюристу и гуляке, прохвосту, обесславившему себя в трех уездах — и тут же огонь у девиц в глазах, шепоточки по салонам жаркие. Ну почему он их так к себе притягивает? Почему порядочное, постоянное и надежное их только отталкивает? А потому, видите, что это же скучно, так и скажут: скучно!

— Все это по причине французских романов.

Доктор Конешин глянул иско са.

— Долгие годы я был счастливо женат.

— Верю.

Доктор задрал голову, словно загляделся на кроны деревьев. *Я-оно*шло молча, раздвигая поросль тростью турка. Направление северное, следовательно, легко ориентироваться по мху на стволах; этот мох обозначало горизонтальными черточками, на трости оставался зеленый налет. А вот доктор касался коры деревьев, мимо которых проходил, кончиками пальцев, даже не опираясь на них, как бы проверяя, действительно ли они стоят там, где он их видит: береза, береза, вяз, сосна, клен, а тех, неизвестных чудищ азиатской дендрологии, что выше кедров, коснулся даже дважды.

— Эта молоденькая американка, Филипов... это дочка старого инженера? Или, может, внучка?

— Не знаю.

— Мне она показалась излишне невинной... Хммм. — Симметричный доктор задумчиво дернул себя за рыжие бакенбарды. — Иногда трудно узнать.

— Что вы имеете в виду?

— В случае определенной разницы в возрасте, когда мужчина ангажирует себя в дела сердечные, когда он связывает себя с женщиной, если вы меня понимаете, молодой человек, если вообще способны это понять... тогда уже не видишь только лишь женщину. И в этом тогда имеется некая двусмысленность, двойной вид, наложение изображений, — он показал руками на высоте лица, — словно в тех стеклянных игрушках: глядишь левым глазом, видишь молоденькую любовницу; глядишь правым — видишь дочку, которой у тебя не было.

— Потому что она и то, и другое.

— Так. Нет. — Конешин раздраженно пнул муравейник, отскочил. — Ах, раз уж мы вышли из Люкса...

...Опыт отцовства, господин Бенедикт, опыт отцовства — то, что мужчина становится отцом — нельзя сравнить с опытом материнства. Матерями становятся постепенно, в многомесячном процессе, женщина дорастает до этой мысли и роли по мере того, как в ней растет дитя. А отец становится отцом неожиданно, день в день, час в час, в один миг. На него это спадает, словно нож гильотины, отделяющий время не-отцовства от времени отцовства. Когда он в первый раз возьмет ребенка на руки, тогда «поверит» в его реальность.

Или, что хуже, когда в один прекрасный день просто узнает: «У тебя сын», «У тебя дочка». Без промежуточных этапов. Мужчины не ходят в положении, они не носят бремени. Они не изведывают отцовства в собственном теле. И подготовиться невозможно.

— Но мать всегда знает, что она — мать; отец никогда не может быть уверен, что он является отцом. Может подозревать. Может верить. Может делать вид, то есть, постановить: вот тот будет мне сыном, вон та будет мне дочерью — даже если при этом она является кем-то совершенно другим; это акт ума, но не биологии. До конца он останется отцом условным, если-отцом, чем-то между истинным родителем и не-родителем. Зато мать материально, непоколебимо уверена, как та земля, по которой мы ступаем.

— Ха, видно, вы совсем не знаете женщин! Достаточно минуты беседы, чтобы убедиться, что они живут в мире между истиной и фальшью. Мы, мужчины, несчастные сыны Аристотеля.

Я-онозасмеялось.

— Почему «несчастные»?

— А как же еще? Тот, кто способен только лгать и говорить правду, не имеет ни малейшего шанса по отношению к кому-то, кто свободно отрицает одновременно и ложь, и правду. Сколько раз вы не соглашались с прекрасным полом? И сколько раз признавали вашу правоту? Ба, сколько раз под конец вы даже не знали, а какими вообще были ее резоны?

Я-онотак грохнуло тростью по стволу березы, что обрывки белой коры брызнули в стороны.

— Знаю я, чего вы хотите! — рявкнуло. — Тоже мне, Лекарь Истории! Доктор Людских Событий!

Конешин остановился, успокоил дыхание.

— Я пытаюсь вас предостеречь, — спокойно сказал он. — Только одно добро может из всего этого выйти, как уже вам говорил; тогда же, если вы и вправду найдете способ излечения Истории. Необходимо взять эту обязанность на себя, рассудить в соответствии со своим пониманием. Но не продаваться Поченглам, не наниматься в качестве бессмысленного исполнителя: какую Историю себе купят, такую выпросите у Отца Мороза. И, тем более, не позволить поработить себя даром! Не дать себя обвести вокруг пальца какой-нибудь хитрозадой девице, поддаться на ее красивые глаза, ласковое словечко и рыцарскую жалость, пока, в конце концов, вы и сами не будете знать, чего хочешь сам, чего хочет она, что думаешь сам, а что она тебе подсунула между слов, что хорошо, что плохо, что правда, что ложь — такая История, словно женский каприз.

— Вы считаете, будто бы панна Мукляновичувна...

— Все это лишние отвлечения! Искушения мира чувств, которые вы обязаны как можно скорее оттолкнуть! То, что удобно и не является необходимым — жизнь, которую вы уже познали, но могли познать и другую — да какое это имеет значение?

За старым кедром почва спадала к мелкой балочке; спустилось не спеша по мягкому грунту, подпираясь тростью.

— Вы внушаете мне мои же собственные мании! — подняло *я-оноголос*, не оглядываясь на идущего сзади симметричного доктора. — Но вот по каким признакам должен я узнать «здоровую Историю»? Является ли здоровой та, замороженная подо Льдом? Но, может, более здоровая — это свободная История Лета? Ба, да и вообще, существует ли какая-либо материальная разница между миром множества правд и миром только одной правды? Мы с вами эмпирики, вы и я, тогда скажите: как я должен измерить инструментами природоведа конец одной логики и начало другой?

...Я могу выдвигать гипотезы, могу сколачивать теории, выискивать явления, связанные

с тем или иным физическим воздействием, например, феномены света, о которых, уверяю вас, очень много любопытного может сказать доктор Тесла, для этого он даже сконструировал специальные оптические инструменты; могу, наконец, исследовать различные эффекты, вызванные тунгетитом; но вот по чему я узнаю, что это, как раз, вовсе и не новые физические проявления, случаи, обнажающие несовершенство нашего описания природы — но лишь последствия связывающей нас логики?

...А раз вообще логика является измеримой силой, давящей непосредственно на материю или на воздействия между материей, как гравитация, электричество, так можно ли, после пересечения границы Лета и Зимы, логики Герославского и логики Аристотеля, можно ли на каком-нибудь придуманном логометре увидеть приток и отток этой силы? Ведь точно так же я мог бы сказать, что всяческий мороз способствует двухмерной логике, ибо всякая вещь, когда она заморожена, становится более конкретной, стабильной, обладающей единой формой, так что же, это ртутный столбик показывает силу классической логики — и не назвали бы вы такое понимание примитивным, разве не было бы это наглым злоупотреблением авторитета науки?

...А с другой стороны — пускай господин доктор глянет сейчас вместе со мной — с другой стороны, логика — это всего лишь язык описания действительности, критерий правильности предложений этого языка, и вот теперь прошу мне сказать: после путешествия в неизвестную, экзотическую страну, к чужому народу, с иными обычаями — а ведь вы, господин доктор, много поездили — и вот, прибыв на чужбину, когда вы садитесь писать письмо семье, и в нем нужно дать отчет об этой новой действительности: что вы видите за окном, каких людей встречаете, как они себя ведут, каковы их привычки и праздники, каков порядок между ними, у них в домах, на улицах, в головах; когда вы пытаетесь воплотить в слова дух этой страны, но только верно, откровенно, без сознательной-бессознательной цензуры — не находите ли вы тогда свой старый язык, язык другой земли, крайне неподатливым, неадекватным, неподходящим для этой задачи?

Доктор Конешин сравнялся на тропке — не тропке, подстраивая свой шаг под хромоту, и внимательно зыркая исподлобья то на неровную почву под ногами, то на лесную округу, то в сторону; при этом он больше всего прищуривался.

— Как вижу, вы об этом немало размышляли.

— Мне не позволяют размышлять ни о чем ином.

— Вы ведь математик, вы сами говорили, правда? — Математик, как и вы сами, работает с абсолютными величинами; даже спрашивая про логику, вы спрашиваете в соответствии с логикой, заранее избранной, да-да, нет-нет. Граница, главное — найти границу! Измерительные приборы! Четкие и выразительные критерии! Таков ваш «научный метод». А я практик, практик знаний, собранных из тысячелетнего опыта других практиков, опыта неуверенного, ошибающегося, испорченного предрассудками и недостатками чувств, мараю руки в вонючих ранах, наощупь копаюсь в скользких кишках. Я не должен вылечить все до единой коросты на теле пациента, чтобы заявить, будто он заболел оспой. Со скольких капель начинается дождь, и заканчивается обычная морось?

...Я вижу симптомы и называю болезнь. Начиная с мира идей, как правильно говорил этот каторжник, Зейцов, ибо там все начинается, то есть, уже в идеях: что было надежным, сейчас уже ненадежно, что было единым, сейчас уже множественно; что было необходимым, теперь подлежит выбору воли. Законы! Религии! Иерархии! Системы правления! Общественный строй! Вы же видите, что происходит в мире, вы же не слепой. Они же бросают бомбы на улицах и стреляют в министров, и это всего лишь малая часть.

...Впрочем, вы уже тоже называли вещи по имени. Да, История может существовать

только подо Льдом; нет Истории, когда не существует прошлого. Оставленный каждый в собственном Сейчас, без гарантии непрерывности между тем, что было, тем, что есть, и тем, что будет — мы получаем вот это: войну, хаос, уничтожение, несогласие и ненависть, смешение всех ценностей, распад порядка — люди, которые ни во что не верят, или, что еще хуже, верят в такое множество вещей одновременно, что уже и не знают, во что они верят — государства, которые сомневаются в собственной легитимности — народы, которые отказываются от собственной национальности и рисуются под чужую — повелителей, которые боятся владеть и желают служить, то есть, чтобы ими владели — подданных, которые желают быть сюзеренами королей; темных крестьян, недоучившихся подростков, неграмотных с фабрик и продажных крикунов, что желают налагать законы на тех, кто лучше их, чтобы перевернуть всяческий порядок и поставить подлых над добродетельными, глупцов над мудрецами, бедных над богатыми, ленивых над трудолюбивыми, дураков над талантливыми, простаков над непростыми, ложь над правдой!

Я-оно снова рассмеялось.

— То есть, разница между нами такова, что вы желаете на ненадежных, туманных фундаментах возводить конструкцию железной уверенности, памятники священной необходимости, в то время как я ищу надежный способ ухватить эту неуверенность.

— Слишком легко вы это воспринимаете...!

— Зато вы — прямо страх берет!

Симметричный доктор с раздражением отмахнулся.

— Вполне возможно, капитан Привеженский был относительно вас прав... но, может, и нет. А может, нет, возможно, мне достался шанс, один на миллион, встреча в дороге, такая вот случайность: что мое слово как-то повлияет на Историю! Что я коснусь Истории голой рукой, будто тело телом. И вы еще удивляетесь?

Балка перешла в небольшую котловинку, посреди которой тайга несколько проредела, здесь стояли исключительно старые великаны с раскидистыми ветвями. Открытые чистому небу полянки поросли плотными зарослями колючих кустов, небольших деревьев со спутанными ветками. На некоторых из них, между шипами и листьями были видны недозрелые ягоды, миниатюрные сливки. Доктор сорвал несколько, надкусил, сплюнул.

— Зато вот варенье из них, пальчики оближешь, — буркнул он себе под нос.

Под дубом, сразу же за солнечным просветом, висело гнездо ос или шершней, они кружили низко над землей. Герр Блютфельд замахнулся, пытаясь отогнать насекомое, и сбил засохшую ветку, которая обсыпала его превратившейся в пыль гнилой древесиной и серыми иглами. Все это попало ему на волосы, за воротник, пришлось подпрыгивать и смахивать с себя колючие крошки. Доктор усмехнулся (симметрично). Подумало, что сюда и вправду могут забредать медведи — к этим осам, к пчелам — или медведи не слишком любят дикий мед? Все это взялось из русских сказок — точно.

За дубом треснула ветка, зашелестели заросли, что-то громко зашуршало. *Я-оно* приостановилось, инстинктивно подняло трость, сердце заколотилось. Обменялось взглядами с доктором Конешиним. Тот скорчил вопросительную мину.

Театральным жестом он приложил ладонь ко рту и крикнул:

— Господин Фессар! Господин Фессар, отзовитесь!

Я-оно закусало губу. Палка палкой, но и вправду — с такой ногой далеко не удерешь. Оперлось спиной о сосну. Может, лучше сразу Гроссмейстера...

— Господин Фессар!

— Тихо там, это не он! — отозвался кто-то из чащи.

Облегченно вздохнув, пошло через заросли, издалика обходя ветку с гнездом. Доктор,

развеселившись, икал и кашлял сзади.

В паре десятков аршин за дубом, под тремя березами, наклоненными одна над другой словно упавшие друг на друга костяшки домино, стоял офицер царского военного флота из вагона первого класса номер два, по словам Гертруды Блютфельд, посланный через Азию с назначением на новый корабль в Николаевске. Его окружила плотная завеса мух и мелкой мошки, в руке он держал револьвер. Когда он отступил шага на три, *я-оно* заметило останки зверя: олень или что-то на оленя похожее, но значительно меньше, без рогов, уже сильно порванное, с шеей, выкрученной над спиной, с разорванным корпусом, растасканными повсюду внутренностями, издающими ужаснейшую вонь.

— Я услышал, как этот зверь жрал, — сообщил капитан. — Подошел, а он удрал. Рысь, как мне кажется.

Конешин с Блютфельдом остановились рядом. Военный представился: капитан второго ранга Дитмар Клаусович Насбольт, офицер броненосного крейсера Зимы «Месть Владимира Мономаха», честь имею. Спрятал револьвер, пожал всем руки.

— Господин капитан был один?

— Нет, еще три человека, разошлись как-то.

— С этой псиной?

— Вы правы, скорее всего, потащит к свежей падали.

Я-оно пихнуло падаль тростью. Мухи разжужжались заново, вырываясь черным флагом на три-четыре аршина над обнаженным мясом. Голову оленя *я-оно* толкнуло уже сильнее, та без какого-либо сопротивления повернулась на мягкой, словно студень, шее. Потянуло носом, сладкий запах вошел в горло, склеил язык с нёбом; сглотнуло слюну, та застряла в пресной сладости. Открыло широко рот, вокруг жужжали мухи; встало на изъеденных кишках, нагнулось вниз, пальцы стиснулись на грязной, желтоватой шерсти под самой головой животного — мертвое, мертвое, мертвое — крутнуло его голову туда, крутнуло сюда, словно мокрая, неуклюжая кукла, из верхней челюсти торчали два зуба; пнуло передние ноги олененка, выше, ради симметрии, пускай теперь глянет вверх этим своим черным глазом...

Доктор Конешин схватил за пиджак, дернул, оттащил.

— Господи, да что же это вы вытворяете — падалью играетесь?!

Рвота пошла, он едва успел отскочить; согнувшись пополам, опершись на трость, выблеивало на лесную подстилку жидкое содержимое желудка. Доктор, качая головой, искал в кармане платок.

Рядом подскакивал господин Блютфельд, вспотевший и запыхавшийся, с фиолетовым от усилия лицом, вытряхивая иголки из рукава.

Симметричный доктор подал еще один платок.

— Вытрите руки, не дай Бог, подхватите еще какую-нибудь гадость.

Выругалось, зацепив опухший палец.

Доктор вздохнул, потянул носом, дернул себя за бакенбард и снова вздохнул.

— Пошли отсюда.

Я-оно откашлялось.

— Какой-нибудь ручей... Прополоскал бы рот.

— Может, чего-нибудь перекусим, самое времечко. Господина Блютфельда, сам видел, супруга обильно снабдила.

Г *err* Блютфельд похлопал себя по карманам обширного пиджака и потряс переброшенной через плечо сумкой.

Доктор первым перешел на другую сторону зарослей, раздвигая высокие ветки, наступив при этом на крупный гриб-дождевик, от которого пошел кислый запах; штанины сразу же

покрылись коричнево-зелеными пятнами.

Под северным склоном котловины, в тени склонившихся ветвей тянулась россыпь белых валунов, как будто бы какой-то таежный циклоп разбил здесь мраморную стенку. По камням, сверху, с самого края склона, тек узенький ручеек.

Подошло к нему, обмыло ладони. Господин Блютфельд как можно быстрее воспользовался случаем и уселся на валуне рядом, откинув голову в тень, он обмахивался шляпой. Опираясь на трости, согнулось низко-низко, чтобы подхватить водную струю прямо в рот. Но ручеек менял направление стока, перескакивал по неровностям камней — потому забрызгал глаза, забрызгал подбородок, смочил повязку, сорочку и галстук, и только потом на мгновение вскочил на язык. Брызгающие капли щекотали странным образом ставшую очень чувствительной кожу.

— Ну, как по заказу, — прокомментировал это доктор Конешин, усаживаясь рядом с Блютфельдом. — У Бога сегодня замечательное настроение, господин Бенедикт, он исполняет все ваши желания. Он спас вас от того, чтобы вы свернули шею, остановил поезд, позволил выкарабкаться с парочкой царапин и растяжений, усаживайтесь тут, пожалуйста, что хотите: с селедочкой или икрой, а вот теперь способствует вам даже в столь малых вещах. — Доктор рассмеялся свойственным только ему образом, так что даже герр Блютфельд на миг перестал есть. — Может, пора Его отблагодарить, вы не считаете?

Я-оноразвернуло толстенный бутербродище. По камню путешествовал жук, раздавило его тростью, хитиновый панцирь приклеился к палке, пришлось стереть его салфеткой, в которую был завернут хлеб. Симметричный доктор приглядывался ко всем этим манипуляциям с едва скрываемым весельем.

Вонзило трость Фессара в мокрую землю между ногами.

— А может, вы бы уже прекратили? Сами же говорили, что вам Бог в Истории ни для чего не нужен. Это удары ниже пояса. Я обязан вам обещать — что? что уболтаю отца на Историю по вашему манеру? *Канешина*, как же — как же! А вот гляньте на следующее: Бог есть Бог, то ли люди, то ли люты, все помещается в его знании и замысле. Следовательно, любая попытка войны с Историей, изменения ее хода, хотя бы и для того, чтобы ее выпрямить — будет войной с Богом. Возможно, Бердяев и прав, может, и ошибается... я уже об этом спрашивал, так что спрошу по-другому: разрешена ли с точки морали самооборона перед Историей? А? Ешьте, и не болтайте глупостей.

Зато герра Блютфельда подгонять было не нужно, челюсти его уже работали с производительностью горно-обогачительной дробилки, хруп-хруп, из обслюнявленных губ высыпались крошки и целые куски мяса и салата. А поскольку не мог глотать в темпе жевания — пищевод работает намного медленнее зубов — то остальное допихал пятерней, словно шпунт в бочку, со свернутыми пальцами и основанием открытой ладони заталкивая жратву в рожу, так что был он сейчас уже не пурпурный, а красно-синий и сине-черный, от усов до мохнатых бровей и линии темных волос, густо смазанных бриллиантином. Можно было чуть ли не ожидать, будто избыток еды, затолканной подобным образом в глотку, начнет выходить через уши, словно из мясорубки — через уши и нос, длинными спиралями покрытого слизью фарша. Хруп-хруп, а слюну он стирал с подбородка рукавом.

Отвело взгляд. Ело медленно, держа хлеб руками, всеми шестью здоровыми пальцами. Повязка мешала, пришлось сорвать ее со щеки.

— Когда я лечу людей, — между одним и другим куском бормотал симметричный доктор, глядя прямо перед собой, в зелень и зеленую тень, — когда я впускаю им в жилы искусственную химию, человеческим разумом изобретенную, чтобы усмирять болезни и естественные возрастные недуги — так действую ли я против Бога? Ведь я же противлюсь

порядку природы, животному плану жизни и смерти. Порчу часы природы. «Самооборона перед биологией». Как, это вот с точки зрения морали, разрешено, а?

...Человек управляет собственным разумом — потому он и человек. Мы жили в лесах, в пуще, — обвел он рукой окружающую тайгу, — в мире неизменном, в саду, не спроектированном человеком; теперь же живем в крупных городах, в высоких зданиях из материалов, не данных нам в природе, в неестественном тепле, при неестественном свете. Мы жили в свободе семьи и царства; теперь живем, организованные в соответствии с умственными проектами, в неестественных порядках, концепцию которым дал человек. Мы жили работой тела; теперь живем работой ума, во всяком случае — некоторые из нас. И скажите мне, молодой человек: мы жили веками и тысячелетиями в естественной стихии Истории, происходило то, что должно было происходить, иногда мы глядели назад и увиденное описывали, но поток истории напирал и напирает далее, не стреноженный — так почему же теперь мы не можем жить в Истории, спроектированной человеком?

Я-онопережевывало его слова в ровном ритме; иногда мысль доктора застревала — не пережеванная — между зубами, и тогда процесс жевания задерживался.

— Именно потому: поскольку научный прогресс является двигателем Истории. — Выковыряло кусочек мяса ногтем. — Можно ли предвидеть изобретения, еще не изобретенные? Можно ли включить в исторические теории силы науки, ей еще не ведомые? Здесь у вас, господин доктор, логическое противоречие: прогнозирование такого прогресса равнозначно самому прогрессу — описав с опережением в соответствующих деталях открытие электричества, тем самым подобное открытие совершаешь. Потому не может существовать какое-либо описание Истории, выходящее за рамки настоящего; никакая надежная теория Истории, в соответствии с которой мы могли бы Историю спроектировать, и никакие подобные умственные действия не решат, какая История для нас хорошая, а какая — плохая.

Симметричный доктор прищурил левый глаз, нарушая симметрию.

— Раз знания о том, что является хорошим, что морально разрешено, не исходит от разума — то откуда? — Он вздохнул, потянулся, распаковал второй бутерброд. — Хмм, ветчина просто превосходная, ах, да еще подышать зеленым воздухом можно, вот, вот что здоровое и естественное, движение и питание, хмм, так вот, представьте себе, что выходит к нам сейчас из леса Сын Божий, но, внимание, Сын Божий как из Священного Писания, то есть кто — отметьте: какой-то не ученый дикарь, плохо одетый, шкуры, одежда не стиранная, и пускай даже будет говорить на разных языках, но что он знает, знакомы ли ему машины, знакомы ли поезда, знакомы ли силы электричества и химии, знает ли он все то, что знаем мы, и более того: как материя сложена из атомов, где Земля и Солнце висят во вселенной среди звезд, как передаются болезни; знает ли он микроскопический мир заразных микробов, умеет ли он летать на аэропланах, ездить на автомобилях; знает ли он все, что знать можно? Ба, ведь именно в этом состоит человечность Иисуса, в ограниченности — ограниченность, антитеза абсолюта: неполнота, порок, незнание. Прежде всего, незнание — первое различие между Богом и человеком: замыкание законченного разума в «здесь и сейчас».

...Так легко принять телесную человечность Христа! То, что он истекал кровью, что страдал, что был слишком слаб, чтобы поднять крест, что он ел, пил, потел. Но когда приходится размышлять... Колебания в Гефсиманском Саду, моменты сомнения, даже приступы неожиданных эмоций — все так. Но вот ошибался ли когда-либо Господь Иисус? В самых мелких, приземленных вещах. Ведь как же так — Христос неуч? А по сравнению с любым образованным европейцем начала двадцатого века он глупцом бы и показался, а точнее, суеверным дикарем.

...Но, поскольку он творил чудеса... поскольку ссылался на противоречащие разуму истины... Вы видите, господин Герославский? Вы приглядитесь к нему! Подумайте-ка! Кого он вам напоминает? Вы же видите — чего и кого вы защищаете? — бога безумств России, императора сумасшествия, паразита стихий — ну, видите, чья же это власть над Историей?

— Распутина.

— Так!

На эти слова за симметричным доктором, слева, произошел неожиданный взрыв; глянуло: герр Блютфельд плевался яблочными огрызками.

— Мудрость! — буркнул он, фыркнул и сплюнул.

Я-онотолько изумленно глядело. Доктор Конешин даже встал. Сейчас он отряхивал костюм, глядя на Блютфельда из-под рыжих бровей.

*Herr*Блютфельд вытер платком лицо, затем высморкался в него — громко, энергично.

— Мудрость! — просопел он и поднял взгляд на доктора. — Да о чем вы говорите? Мудрость — это не знания! Как же там его звали, того греческого шуга — Сократ — какая зараза, две тысячи лет, и вновь то же самое, а теперь еще и машины, машины, МАШИНЫ! — Он запыхался и долгое время приходил в себя, хватаясь за грудь и свистя через нос. — Мудрость! Раз увидели микробов, то уже знают, что есть добро, а что есть зло! Кто вас учил? Французы, наверняка! Англичане! Не различают: мудрость — расторопность — знания. Одни буквы с цифрами! Тьфу! И еще будут кривиться с отвращением: что самое главное учение в истории, учение, открывающее дорогу к спасению, смогли выйти из уст необразованного пророка! Не знает добра, потому что нет ума, ума, УМА! Тьфу!

Так он и плевался, покраснев. Вспомнился Мишка Фидельберг у Хершфельда. Похожест даже пугала. Блютфельд — Фидельберг, Фидельберг — Блютфельд. И то, как говорил, и то, как распалялся при этом.

— Да о чем вы говорите! О той Истории, о машине деяний, о намерениях Божиих, но как — всегда высматривая порядок и уверенность, чем они больше, тем лучше, господина графа — не графа даже от малейшего «может быть» воротит, а господин доктор желает иметь мир, сложенный человеком в соответствии с тем, что быть обязано — Зима хороша, поскольку не допускает ничего, кроме правды и лжи; Лето плохо, поскольку в нем ничего надежного — разве не так, не это я от вас слышал? — так вот, я, уфф, черт подери, я скажу вещь совершенно противоположную! Я выскажу вещь совершенно не очевидную!

...Лето — хорошее, Зима — плохая! Неуверенность — это хорошо, уверенность в правде и зле — вот плохо! Хорош хаос, зол порядок! Хорошо отсутствие Истории, История разбитая, мириады перемешавшихся прошлых и будущих — вот это хорошо! Зло — это единственная История, История злая! Она злая, злая, ЗЛАЯ!

...Плох закон, писанный на несчастьях миллионов, плохо священное правление, необходимое, основанное на страданиях народов, зол математический порядок кандалов и тюрем. О, если бы могли существовать порядки невинные и правление сомнений! Но в том трагедия, что любая История, на Правде построенная — видите ли вы это, замечаете, ведь должны же видеть! — всякая История, замкнутая во Льду, сковывает, в первую очередь, человека: Правда не зависит от меня, Правда находится надо мной. Тогда не нужен Бог и не нужен человек. Разум, порядок и История призывают самые ужасные тирании, с которыми невозможно сравнить безумства Распутина, преступления одного или другого сумасшедшего, пускай даже и императора, Бога-царя, никак нельзя это сравнить с эксплуатацией зла неразумного, неорганизованного.

...Человек свободен — это так. Человек свободный, человек неуверенный — человек свободный, человек минус История — вот человек свободный; человек между истиной и

ложью — вот тогда человек, человек, душа над ангелами, ЧЕЛОВЕК! Один, ты, он и он, и я, я, Я!

Он еще желал говорить — запыхавшийся, накачавшийся, еще хотел кричать, но уж слишком много времени занимала у него подготовка к следующему предложению; он брал его словно цирковой силач чемпионский вес — штангу на грудь, вдох, плечи, щеки надуты, зубы скрежещут, готовится, налитанный готовыми решениями по самые уши — пффух, выстреливает...

Не успел он, доктор Конешин был более быстрым атлетом слова.

— Видал я таких! — грозно заворчал он, и огненно-рыжие бакенбарды встали дыбом справа и слева. — Особенных людей, вольных, он и он, и я и ты и всякий свободный анархист с собственной Историей и собственной бомбой за пазухой! Сам собирал ноги и руки, и тельца детские, малюсенькие, после ваших фейерверков свободы на Крещатике! Как прошла воля по Киеву, так одна только багровая мгла на улицах осталась. Хаос хорош? Беспорядки хороши? Ни Бога, ни царя? Так пожалуйста, жрать корешки в Сибири! Давай! В волчьи стаи, волчьим голодом подгоняемые, один против другого, ведь если желание к нему пришло, то кто, что удержит его, вольного? — хватай за горло, за горло его! Ни безопасности, ни достатка, никогда толком не соберутся ради какого-нибудь большого дела, ничего толкового не сделают, городов не возведут, науки не создадут, цивилизации не защитят, а когда появится враг, сильному порядку подчиненный, так что им еще останется? — только сбежать, поджав хвосты. Зато — свободные! Зато — вольные! Зато — он и он, и он, и следующий святой придурок, полячок — сам себе шляхтич и мещанин — брюхопас, нажавшийся сладких идеек!!!

Он развернулся на месте и помаршировал в тайгу.

Хочешь — не хочешь, я-оноподнялось и похромало за ним. Господин Блютфельд замешкался, собирая остатки еды; потом подбежал и снова запыхался.

Впрочем, пар из него уже вышел. Глянуло: он снова уже едва глядел себе под нот, выражение массивного блаженства разливалось у него на лице.

— Я и не думал, — заговорило с ним, — что вы вообще слушаете эти наши глупые разговоры. Надеюсь, что мы вас, нехотя, не оскорбили; у господина доктора горячка сейчас пройдет.

Герр Блютфельд что-то немо пережевывал за губами; так он собирал слова. Перешло ручеек, приблизилось к склону котловины, все-таки слишком крутому, свернуло на северо-восток, перелезло через ствол, загораживающий выход... уже потеряло какую-либо надежду, когда господин Блютфельд все же заговорил:

— Ну да, не говорил, не говорил... Знаете анекдот про еврея, который выбрался в дальний путь по финансовым делам? Переговоры на месте затягиваются, вот он идет дать телеграмму жене. Ну, чтобы та не беспокоилась, поскольку придется задержаться еще на пару дней, вопрос большей прибыли, вернется при первой же возможности, всем приветы, Ицхак. Дают ему бланк, чтобы заполнил, телеграфист объясняет, что оплату берут за каждое слово. Ицхак написал свое сообщение, подсчитал слова, подсчитал стоимость телеграммы — и давай же комбинировать, что можно вычеркнуть, потому что лишнее и без необходимости. Во-первых, «Ицхак» — жена ведь знает, что Ицхак, а кто еще? «Приветы» — понятно, что передает, неужто не пожелает ничего хорошего родным и жене, «вернусь при первой возможности» — так это само собой понятно; если не сможет, так не вернется. И так далее, слово за словом, под конец вычеркнул из телеграммы все слова — сплошные банальности.

...Так вот, понимаете, у меня то же самое. Не из скупости — самому не хочется. Достаточно минутку подумать над тем, что собираюсь сказать, до того, как скажу. Почти

никогда я не вмешиваюсь в разговоры, не спорю даже с самыми большими глупостями, которые провозглашаются в моем присутствии. Чем они больше, тем меньше смысла в оппозиции, ведь тогда пришлось бы самому говорить наибольшие банальности и очевидные вещи. Закрываю рот, сижу в уголке, молчу.

И не важно, узнали бы другие банальность моих слов — я, я сам вижу ее слишком даже очевидно. И вот это, понимаете, со временем превращается в какое-то общее нежелание, лень в отношении людей. Я скажу это, значит — они то, выходит — я им так, они мне — саяк, и так далее — так зачем вообще начинать эту муку? Так что сижу в уголке, молчу.

— Ну да, мы как раз услышали, как вы молчите.

— Знаю, что другие так не поступают, это не нормально. Потому и не провозглашаю тут никаких, уфф, банальностей и очевидных вещей. А у вас не было бы шанса догадаться самому.

— Но вот это объяснение — оно ведь было нужно, не так ли?

Блютфельд закрыл рот, смолчал.

Он замолчал — и только тогда *я-оно* услышало отзвуки из леса, слева от нас, из-за густых колючих кустов: ворчание, чавкания и резкие шорохи. Приостановилось, подняло палку, преграждая дорогу герру Блютфельду. Разгляделось по дремучему лесу. Балка, небольшая котловина, выход на ровное место — если кто-то вообще и входил в балку, то наверняка должен был проходить здесь — юг-север — куда же побежала рысь, которую спугнул капитан Насбольдт? Подало трость Блютфельду, тот принял ее в молчаливом изумлении. Медленно расстегнув жилет, вынуло из-за пояса сверток с Гроссмейстером. Разворачивая тряпки и проверяя патрон в камере, слушало ворчание пирующего хищника.

Herr Блютфельд, увидев оружие, побледнел. *Я-оно* приложило к губам туго забинтованный палец. Затем, взяв Гроссмейстера обеими руками, похромало в кусты.

Зверь должен был услышать шум в зарослях: один раз он громко рыкнул, потом затих. Вышло под дерево с двумя стволами. Рысь отскочила от тела Юнала Фессара и показала клыки. С них свисали красные полоски мяса, хищник уже глубоко вгрызся в ляжку турка. Подняло Гроссмейстер. За спиной треснули ветки, судя по всему, затрещал целый ствол сворачиваемого деревца — из-за березок и древесного ствола выкатился размахивающий тростью господин Блютфельд. Рысь зашипела и удрала в лес.

Блютфельд склонился над Фессаром. Заглянув в остекленевшие глаза, медленно перекрестился.

Я-оно спрятали Гроссмейстера.

— Господин доктор! Доктор Конешин! Сюда!

Отобрав трость, *я-оно* присело возле трупa. Турок лежал навзничь, с неестественно подвернутой обгрызенной ногой и разбросанными в стороны руками, как будто бы в предсмертном спазме пытался вцепиться ногтями в землю. Кроме раны, нанесенной хищным зверем, в глаза бросалась кровь на лысой голове: карминового цвета глазурь на черепе, стекающая гладкими полосами по вискам и лбу на открытые глаза. Сердце забило сильнее, от сильного переживания облизало губы. Прикоснулось к этой глазури самым кончиком пальца — липкая, теплая, влажная. Вытерло палец о рубашку Фессара. За головой турка рос похожий на лопух сорняк, сорвало с него самый крупный лист. Хлопнув им по колену, чтобы тот расправился, приложило лист к груди покойного: вертикально, перпендикулярно грудной кости, параллельно солнечным лучам, продиравшимся здесь сквозь двойную крону дерева. После того — прикрыло левый глаз. И вот теперь: одна сторона листа, другая сторона листа, поглядеть, сравнить: свет, тень, свет — есть ли согласие и гармония по обеим сторонам перегородки? или увижу хаотичные танцы светени с их постоянным кипением на границе

света и тени, словно в адском котле? Ха, нет никаких сомнений, Юнал Тайиб Фессар откачал тьмечь в вагоне Теслы полностью, чудо, что вообще на ногах держался, что ушел из арсенала Лета человеком...

— Да отойдите же! На минуту нельзя одного оставить... И что вас тянет к этой мертвечине!

Опираясь на трости, поднялось и, не говоря ни слова, отступило от останков.

Конешин вытащил железнодорожный свисток и послал в тайгу серию пронзительных свистов, которые перепугали птиц с ближайших деревьев и заставили заткнуть уши герра Блютфельда. После этого доктор склонился над ненастным Фессаром.

— Уфф, нехорошо, ай как нехорошо. Дай-ка гляну... Тут ничего... Ну не мог он из-за ноги так истечь кровью... Хмм...

*Я-оно*обходило вокруг место последнего успокоения купца, разворашивая тростью лесную подстилку. Господин Блютфельд присел в развилке двойного дерева, раскрыл сумку и поглощал то, чего не успел доесть ранее. Доктор Конешин уже второй раз в течение пары дней ощупывал череп Юнала Фессара, на сей раз качая головой с мрачной миной; руки его были полностью запачканы кровью. *Я-оно*бродило в зарослях папоротника и черемши. Появился капитан Дитмар Клаусович Насбольдт, вместе с ним какой-то угловатый молодой человек из купейного, который сразу же позеленел и оперся о ствол дерева. *Я-оно*влезло в грязь, ботинок застрял. Появился Жюль Верусс и охотник со стеклянным глазом; стеклянноглазый, в свою очередь, вытащил свой свисток и протяжно подул в него. Издалека ответила сирена «Черного Соболя». Сейчас сюда сбежится половина Экспресса. Не обращая внимание на боль в колене, вошло поглубже в заросли. Господин Блютфельд раздавал остатки провианта. Верусс и один из братцев-растратчиков, ни к селу, ни к городу, обсуждали случаи смертельного *delirium* ^[171], закусывая копченостями. Потеряло их из виду, идя по спирали уже за первым кругом деревьев, отворачивая тростью каждый камень и отдельно лежащую ветку. Мелькнула мысль о рыси: если она упилась настолько лишенной тьмечи кровью, нажралась лишенного тьмечи мяса — но разве теслектричество, положительное и отрицательное, не растекается в землю? — и теперь шатается где-то рядом, пожиратель падали и хищник, но в то же самое время: нечто между хищником и не-хищником, нечто среднее между рысью и не-рысью. Интересно, переходит ли это по наследству? Нет. Но вот если бы разводить животных, прослеживая всегда за тем, чтобы момент зачатия осуществлялся, когда из самца и самки полностью откачана тьмечь, в первом и втором, и в третьем поколении, в десятом и сотом — эволюция бесконечна — осуществится эволюция Фауны Лжи, Дарвин, обманутый Сатаной — Царство Животных Котарбиньского — Природа «Быть Может»... Доктор Конешин звал, чтобы сделать из березок носилки, пускай кто-нибудь побежит за стюардами, пускай приведут начальника. Отвернуло застрявший между корнями граба массивный валун, еще отблескивающий капельками воды. На его краю осталось удлиненное кровавое пятно. Подальше обойдя раздвоенное дерево и собравшуюся за ним громогласную компанию, *я-оно*похромало в направлении поезда.

О Зиме

Длук-длук-длук-ДЛУК. Мариинск, Суслово, Аверноновка, Тяжин, Тисьюль — Сибирь мелькала за окнами мчащегося Экспресса. В самую пору заката на противоположной стороне горизонта над тайгой появилась полоса теплого, красного сияния, словно зеркальное отражение вечерней зари. *Я-оно*стояло в *атделении* глядело через стекло, линия жара нарастала на горизонте перед локомотивом, иногда, на поворотах, на ее фоне показывался

угольный силуэт «Черного Соболя», его зимназовые радуги сейчас имели оттенок сепии, словно обожженные, подкопченные по краям. Низко-низко на востоке выкатилась Луна в третьей четверти: золотая лунная монета, похожая на золотую пятирублевку, вот только что вместо бородатого профиля Николая II на ней было видно обрезанное наполовину лицо синей упырицы — тут тебе запавший глаз, тут кривое ухо, тут клык, лунные моря... Вспомнился негатив записи кармы доктора Теслы, выжженный на матовой плоскости тунгетита. Мрак постепенно опадал на Сибирь, и на окне начали вырисовываться отражения внутренней части купе, то бледнеющие и исчезающие по отношению к еще залитым солнцем картинам леса и степи, то гораздо более четкие, чем они, виды интерьера, мужской фигуры, бледного лица. Я-оноприблизилось к стеклу, прищурило глаза. Остались синяки и багровые полосы, не одна только губа опухла, но и вся правая щека — от острых камней или веток, царапины с регулярностью сложного узора, вертикальные и горизонтальные линии. Осторожно коснулось: горячее, напухшее, при прикосновении болит. Обмылось холодной водой, глянуло в обрамленное золотом зеркало над умывальником. Ну, и как тут бриться? Никак невозможно. Тем более будет похоже на подозрительного типа, карикатура на урожденного лесного разбойника. Натянуло на здоровый палец перстень с гелиотропом, из шкафа вынуло тросточку с ручкой-дельфином. Массивную, удобную трость Фессара пришлось отдать в распоряжение начальника состава, ее опечатали в купе турка вместе с остальным багажом покойного. Уже телеграфировали в Иркутск, чтобы на станцию прибыли представители торгового дома Юнала Фессара. Покрутило тросточку в пальцах — та выпала, пальцы не гнутся, некоторые до сих пор в бинтах. Если дельфин морду отвернет, такова воля, подумало я-онои только потом глянуло под ноги. Ручка была направлена в сторону двери. А может... Отвело взгляд от зеркала. Обман! Потому что уже мысль иная, уже ставка новая, что это — коснулось лба — что за слабость, малярийная горячка и внутренняя дрожь, трепет духа, который быстро выходит и наружу: сесть, не сесть, тянуть через окно, нет, лечь, нет, взяться за тайтельбаумову работу, не братья, заснуть, так не заснетсся же, следовательно — выйти, не выходить, выйти, не выходить, выходить — я-оностоит у дверей, прислушиваясь. Бух, бух — сердце, тупая головная боль, черный пульс под черепом, его шаг, так он приходит, уже пришел — Стыд. А ведь уже и забыло! Уже вклеилось среди людей, позволило захватить себя словам и гладко отыгранным жестам, с разгону, по глупости. Но достаточно один раз этот разгон потерять, достаточно пары часиков в одиночестве закрытого купе, достаточно сбиться с ритма, обрести пустое время для воображения... И он вернулся — стыд, не стыд, другого наименования нет, а как еще лучше назвать проявления, видимые в материальном свете? Подняло тросточку. Теперь каждое движение — это новое решение, новая борьба. Я-ононадевает трикотажную егеровскую рубаху, белую сорочку с жабо, черные брюки из английского сукна, черные лакированные туфли. При завязывании шнурков пальцы дрожат, все — кроме забинтованных, и при завязывании широкого, мягкого галстука в серебряных звездах. Я-онозачесывает волосы, с водой и помадой, ото лба и гладкой волной назад. Надевает жилетку и сюртук. Застегивает твердый воротничок, высотой в добрых пару вершков; тот сразу же впивается в покрытую синяками кожу. Так, теперь еще поправить запонки на манжетах. Платки. Папиросы. Спички. Вернуться: расстегнуть жилетку, сунуть за пояс Гроссмейстер. Щетка, плевательница, *eau de Cologne* [\[172\]](#), что еще надо, ничего, уже нужно выходить — стоит неподвижно. Я-оностоит, крутя тросточку в пальцах, дельфин не падает, так и будет стоять до конца света. На восточном горизонте, уже темном, растет желтая линия, словно очертание янтарной стены, постепенно проявляющейся из таежных чащоб. Выходить, не выходить, выходить, нет. Рука потянулась к дверной ручке, нажала, повернулось на месте и выпало в коридор. Закрывая купе, подхватило эхо музыки, она

разносилась из вечернего вагона досюда, несмотря на грохот мчащегося на полной скорости поезда, выходит, танцы уже начались, длук-длук-длук-ДЛУК.

Гаспадин Чушин стоял в коротком коридорчике перед переходом в вечерний вагон, у открытого окна, покуривая сигару — лицо потное, воротничок расстегнут. Глянул — что, вновь вспыхну от самого вида? снова оплюю стыдом? — глянул и расплылся, губы усилительно размаслились.

— Венедикт Филиппович, это вы, ну вы как, живы?! А какое же несчастье с господином Фессаром, знаете, что говорят?

— Что?

— Что этот наш поезд — ну, как корабль на море, понимаете, вы спасены из китового брюха.

— Что?

— Иона, ну, сами посмотрите, — смеялся Чушин. — Иона, Иона! — И только через какое-то время, когда на его смех я-ононе отвечало ни словом, ни миной, он отказался от продолжения шутки и замолк.

Было бы лучше, если бы он говорил. Что угодно, лишь бы продолжал плыть в этом своем словесном потоке, бездумно, заболтавшись — но, поскольку он замолчал, то наверняка тут же у него в голове стали крутиться такие или сякие мыслишки, которые сходу пытался описать языком второго рода — а не шут ли я, не *большой дурак*? не обезьяна для развлечения компании? — ну, потому и спешил, еще сильнее багровея лицом; он стоял теперь и лупал глазами, а холодный ветерок трепал его прическу; бедный Чушин не мог отвести взгляда. Если бы я-онозасмеялось, это дало бы ему повод повторно сбежать в грубоватый хохот — так можно было бы выскользнуть из этой ловушки, он мог бы хоть что-то сделать, сменить тему. Но нет — я-онотоже всего лишь стояло и смотрело. Иона! Чушин начал чего-то нащупывать дрожащей рукой под сюртуком — чего он там искал: платок, часы, записную книжку? Он уже был слегка под газом, только это его никак не объясняло. Ну, теперь-то уже не повернешься на месте, не сбежишь назад в купе! Раз уже вышло! От других пассажиров ничего лучшего ожидать нельзя, скорее уже — худшего. Алексей Чушин — это безвредный кретин, плетет, что ему водка на язык приносит. Иона! Закусив губу, сделало шаг вперед, стукнув тросточкой по коленям Чушина. Русский подскочил как ошпаренный, и...

Открылась дверь в вечерний вагон, в каминный зал, выпуская наружу громкую музыку и веселые голоса. Появился Зейцов в компании капитана Привеженского. Филимон Романович энергично шествовал спереди, проталкиваясь перед военным в парадном мундире; но вот еще шаг, и показалась совершенно иная картина: это капитан, одной рукой под локоть, второй держал бывшего каторжника за воротник, он толкает и выпихивает Зейцова из двери в междвагонный переход, в коридор и в малый салон, вместе с последним шагом одарив Филимона Романовича сильным пинком ниже спины, после которого Зейцов вцепился в обшивку, словно срубленный ствол дерева. Он упал, спрятав голову под мышкой, и был слышен лишь его жалостливый, молитвенный голос.

Капитан Привеженский с презрением отвернулся от него.

— Ага, и вы тоже! — громко сказал он, поднимая руку в белой перчатке, нацелив палец, словно ствол нагана. — И вас, граф Ледовый, чтобы я там не видел; тьфу, давай, хромай отсюда.

Все пошло бы совершенно иначе, жизни и линии судеб повернулись бы иначе — если бы не Алексей Чушин. Который только стоял и пялился — рожа красная, глаза вытаращенные, сигара дрожит в руке.

Я-оноусмехнулось — и уже даже без зеркала знало, в какую гримасу нахального ехидства

и злой издевки искривилась избитая, опухшая и покрытая царапинами физиономия.

Капитан Привеженский стиснул белый кулак.

— О, вон оно какой пес бешеный, зубы теперь показывает, о!

— Вон!

— Думаешь, калеку не трону? Да вы же у нас пример здоровья!

Вот как раз в намерениях и в кулаках господина капитана *я-оно*нисколько не сомневалось: если этот бычок на человека бросится, так не успеешь и Гроссмейстера достать, размотать тряпки и нацелить.

— Никогда ничего лучшего от русских офицеров и не ожидал, — хрипло, сухой глоткой произнесло *я-оно*. — Ну, продолжайте, покажите, чему вас научили в императорских академиях!

Привеженский поднял кулак, но с места не сдвинулся. На лбу у него выступил пот — капли крупные, блестящие от зажженных бра и золотых украшений Люкса.

— Крыса, твою мать [\[173\]](#)!

— Ну, давайте же!

— Вы! — просопел капитан, к нему пришло второе дыхание. — Поляки! Стоит же и стонет, что побили, а все равно — показывает превосходство над более сильным, такая, черт подери, крысиная, понимаешь, гордость! А ведь похоронили вас, и с честью, и без нее!

Он выпрямился, отдал издевательский салют и промаршировал в бальный зал, даже не закрывая за собой двери. *Я-оно*похромало за ним. Зейцов повис на плече.

— Ну, чего?! — рявкнуло, закашлялось, с трудом проглотило слюну. Пить, нужно напиться, смыть все это из горла.

— Я вас, Венедикт Филиппович, я вам, — шептал каторжник, — поблагодарить, ну да, благодарствие, Бог вас благослови, а я только спасибо могу... — И, не отступив хотя бы на шаг (пришлось спрятаться за громадный радиоприемник), он переломился в неожиданном поклоне, доставая головой до пола, колотя по нему, раз, два, что-то у него выпало из кармана, он не поднял, только снова припал, схватил под локоть, разгоряченно шепча в самое ухо: — Я думал: он сделает, как говорил, он же вьюнош неопытный, так его закрутят, и на одну сторону, и на другую, и на третью, не доктор с *гаспадином* Поченгло, так другие шакалы Истории, перекупят, перекрутят, *так или иначе*, против Бога, против истинной Истории, ведь я сам только понял, как доктор явственно страшную вещь назвал, когда вас к тому уговаривал: несмотря на самые достойные замыслы, Богу милые — не людское это дело Историю творить! не человеческое это дело! А теперь вижу: разве такая душа продажная, и прощелыга жадный, разве стал бы он защищать бедного Зейцова, ба, да обидчика же собственного, разве стал бы он от заслуженной кары прикрывать? А все — нет! И снова оказывается, что не мог Господь Бог лучше все сложить! Все...

— Но, может, это я просто не желаю, чтобы дело это разошлось, будто это вы меня выкинули, а?

Бывшего каторжника эти слова не остановили. Он лишь кивал своей лохматой башкой — радостный, светящийся.

— Так, так, это мне известно: простить, но в глаза не взглянуть. Ведь по-настоящему милостыня в бремя не тому, кому ее дают, а тому — кто дает. Да разве я вам того же не говорил? Практиковаться, практиковаться в этом надо! Брось гривенник нищему и не убегай, удержишь, выдержи, выслушай его благодарности! Вот это и есть мужество!

— Пошел прочь!

*Я-оно*вошло в каминный зал, в музыку и яркий, ослепительный свет, в шум бесед, прямо напротив танцующих пар. Вопреки первому впечатлению и предыдущим представлениям, их

не было так уж много: просто, среди пассажиров первого класса Транссиба столь значительное большинство составляли мужчины, деловые люди и люди различных сибирских профессий, что способных подхватить женщину в танец нашлось не более полудюжины. Я-онобыстро огляделось: панны Елены нет, нет и ее сильнорукой тетки. Разве я-ононе слышало, как они выходили из своего купе? Оперлось на трость и на дверную раму, когда вагоном уж слишком сильно тряхнуло. Кроме всех настенных бра, холодными огнями хрусталя и серебра сияла еще и раскидистая люстра — она блистала более всего — которую, специально для сегодняшнего события, подвесили под выпуклым потолком вечернего вагона. Люстра колыхалась в ритм движения, но казалось — в ритм музыки. Играл *monsieur* Жюль Верусс, за которым присматривала сидящая рядом Гертруда Блютфельд, и которая подкармливала фламандца лакомствами из стоящей на пианино вазочки; на скрипке аккомпанировал один из проводников Люкса. Худой как щепка Верусс с набитым сладостями ртом ежесекундно зыркал через плечо на красавицу-вдову, которую кружили все новые и новые партнеры; он один — пианист! — с ней не станцует. С другой стороны, между скрипачом и камином, сидели Блуцкие, князь подремывал, княгиня — свернувшись в кресле, маленькая женщина запеклась в нем словно мясо в форме — достаточно только шевельнуть ей рукой, головой, и лопнет кожа, кости пробьют горелую корку. Потому она и не двигается, сидит неподвижно, словно тоже спит; но не спит: мерцающий свет люстры отражается в широко раскрытых, влажных глазах старухи. Они видят все. Поклонилось ей сразу же за порогом. Она не подала знака, что узнала. Только стоящий за креслом князя советник Дусин положил руку ей на плечо — это был знак.

Ширина вагона, естественно, не позволяла устроить что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее настоящий танцевальный вечер, не говоря уже про бал. Пары двигались, сталкиваясь всякий раз, в двух нерегулярных рядах, от входа и до камина; чуть подалее и в галерее стояли те, что не танцевали, которые отдыхали или только присматривались к танцующим. Несколько мужчин было во фраках; в глаза бросался Дитмар Клаусович в эффектном мундире офицера имперского военно-морского флота, с сидящей, пристриженной в острый клинышек бородкой и с благородным шрамом над носом. Зато женщины, естественно, отнеслись к транссибирским танцам как к возможности представить все лучшее, что имеется в путевых шкатулках и сундуках; от одних только бриллиантов, сияющих отраженным светом люстры, рябило в глазах. Здесь выделялась танцующая с мужем француженка: в платье от Пуаре, о котором княгиня уже успела насплетничать; оно было узким, льющимся, с шлейфом из шелковистого атласа, без корсета, открытым на спине в длинное декольте, с разрезом у ноги, со странно опущенной талией; такое платье казалось здесь непристойно... неконкретным. Да к тому же еще и экстравагантная прическа в стиле Антуана, которую *Frau* Блютфельд осуждала с самого начала... По-видимому, супруги ехали с детьми прямо из Парижа.

Сейчас как раз танцевали медленную польку, кажется, *Schottische* ^[174]. Не дожидаясь перерыва, я-оноуспело проковылять под стеночкой, между парами. Капитан Привеженский стоял в углу, возле открытой двери в галерею, разговаривая с одним из братьев-растратчиков, капитаном Насбольдтом и высоким прокурором. Остановилось с противоположной от него, пианино, камина и сидящей рядом с камином княгини стороны. Появился стюард с напитками. *Шампанское!* С прижатым к губам бокалом выглянуло в окно. На темном горизонте перед Экспрессом росла длинная полоса желто-красного жара, более светлая, чем холодная Луна. Поезд мчался прямиком в эту стену. Сделало глоток шампанского, в носу защекотало, чихнуло. За спиной аплодисменты, свисты и смех, Верусс закончил играть, теперь его уговаривают исполнить нечто, называемое «кейк-уок».

— Уфф, передохнуть нужно. А вы, выходит, держитесь на ногах, меня совесть мучила. — Порфирий Поченгло схватил с подноса два бокала, опорожнил оба, хукнул в сложенные ладони. — Что оставили мы вас, ведь не будете же вы мне голову морочить, будто выпали сами по себе, в подобные чудеса я не верю. Нет, вы должны мне рассказать, что тут за афера. Уфф. Перестрелка в Екатеринбурге, а теперь еще выясняется: кто-то копался в моих вещах! А почему? Потому что разговаривал с вами!

— Вы и снова разговариваете.

Поченгло рассмеялся.

— Это правда. Сам напрашиваюсь на несчастья.

— Иона, так?

— А-а, слышал, слышал. Вы же знакомы с этим американцем, правда? С доктором Теслой. Князь передал ему своих людей для охраны вагона с машинами.

— Вы хотите кончить, как Фессар?

— Что?

— Тот тоже задавал...

— Те же самые вопросы; ну да.

— Вы понятия не имеете, как сложно скрывать тайну, которая не существует.

— Ох, верю, на слово верю, что вам не известна никакая секретная технология зимназа.

Верусс завел бравурную мелодию, пассажиры начали хлопать в такт.

Поченгло приблизился, ему пришлось говорить громче.

— Но ведь от собственного отца вы отпираться не станете! Тут уже нечего скрывать.

— А княгине вы говорили, будто бы ничего о нем не слышали.

— Нуу, в «Сибирском Вестнике» или «Иркутском Вестнике» про Филиппа Герославского не пишут. Я и сам сначала не сообразил; и солгу ведь, если скажу, будто помню фамилию. А вот мартыновские легенды... Видите ли, все эти дикие зимовники — компания очень даже подозрительная. — Он вынул из визитницы картонный прямоугольник и теперь задумчиво крутил его в пальцах, опершись плечом о резную фрамугу окна; я-оновидело его отражение в окне — текучее, прозрачное, черно-белое; в нем господин Порфирий выглядел так, словно его обрисовали углем и известью, тьветом и светенью. — Это правда, трудно пройти в Холодном Николаевске по улице и не встретить зимовника; мой шурин, чтобы далеко не ходит, гоняет голяком с собаками по снегу в самый трескучий мороз. Но *le Père du Gel*. Это уже несет Мартыном под самые небеса.

Я-оновозмущенно хмыкнуло.

Господин Поченгло соорудил кислую мину.

— Мы же нанимаем их для работы в *холодницах*, для обработки холодов зимназа. Самые же рьяные зимовники, это, либо мартыновцы с самого начала, либо заразившиеся Мартыном чуть позднее. У вас же об этом неправильное представление. В Европе, даже в европейской Зиме, все это, — он замахал рукой, пытаясь найти подходящее выражение, — слова, слова, слова. Салонная мистика и теософские общества госпожи княгини. Но вот в Стране Лютов — в Стране Лютов мужики забирают своих жен, детей, собак, всю живность и, нажравшись льда с самогоном, раздевшись донага, с одной только святой иконой на груди, лезут в соплицовы, в самую пасть морозников. Это накатывает волнами: вот вроде бы все спокойно, и тут слышишь: четверть села пошло на самозаморозжение. Что произошло? — Он пожал плечами. — И это не сумасшествие. Есть в этом покой та самая негромкая, тупая мужицкая решительность; скорее, это даже религия.

— Как во времена Раскола.

— Да. По-видимому, это у русских в крови. А власти, вы как думаете, что на это власти?

Точно так же, как и тогда. Губернатор Шульц издал распоряжения против всех мартыновских обрядов. Кого захватят на их исполнении в границах иркутского генерал-губернаторства, тот получает пять лет крепости, и не здесь, но в Оренбурге или на южном Кавказе.

...Это только потом, ночью, когда пошли вас искать, я сложил два и два. И. ммм, как бы это вам сказать...

— Его считают мартыновцем, это и так ясно.

— Господин Бенедикт, — сказал Поченгло мягко, деликатно, — на него выписано извещение о розыске. Якобы, он потянул за собой в Лёд целые деревни. Шульц назначил за его голову премию.

— И сколько же?

Господин Порфирий глянул несколько странно.

— Не знаю.

— Что это такое? — Я-оно прижало палец к стеклу. — Вы видите? Там, под горизонтом.

— А, это. Тайга горит.

Уже не линия, уже не стена, но полоса земли, окружающая Транссибирскую магистраль дорога огня — золотой полуобруч, отделенный от звездного неба черным обручем: это дымы от пожара, заслоняющие ночное небо. Пожар, должно быть, тянулся на добрую пару десятков верст, чтобы здесь охватить все пространство под кругозором. Читало где-то, что бывают настолько прожорливые таежные пожары, растянувшиеся на такие расстояния, что их можно пальцем рисовать на поверхности глобуса. Здесь пока что мало чего видно, кроме очаровательной игры красок в темноте, но если Транссиб, и вправду, пересекает эти поля огня...

— Надеюсь, что в Иркутске мы встретимся. Возможно, тогда вы сможете мне рассказать всю историю. — Господин Поченгло подал, наконец-то, свою визитную карточку. — Ну, а если не судьба... Мы стараемся заботиться о вновь прибывших земляках.

— Благодарю.

Он отошел в сторону галереи. Я-оноотвернулось от окна. Стюард услужливо пододвинул поднос, схватило второе *шампанское*. Объявление о розыске — целыми деревнями в Лёд — Отец Мороз. Не удивительно, что всякие одержимые Пелки готовы отдать жизнь для защиты его сына. Вера та же самая, но из этой веры одни мартыновцы выводят страшную угрозу для России и вообще для мира, а другие — обязанность чести. Собери двух поляков, услышишь три различные политических мнения; но собери двух русских — увидишь три пути к Богу.

Смеющиеся пары кружили на расстоянии вытянутой руки, вагон колебался под ногами. В таком темпе, до полуночи можно упиться даже *шампанским*. Я-оноразглядывалось по залу с щипающим язык напитком во рту. Ее нет. Может, она вообще не придет, передумала. Вернуться, постучать в ее двери? Маленькая девочка в розовом платье, громко пища, пробежала под стенкой и выбила тросточку с ручкой-дельфином, и та покатила в направлении галереи.

Более скорой оказалась чужая рука.

— *Merci, merci beaucoup.*

— *De rien. Comment vous portez-vous?*

— *Ah, mon jambe? Cela ne vaut pas la peine d'en parler* ^[175].

— Еще не имел удовольствия...

— *Madame* Блютфельд, думаю, нас по-своему уже представила, — улыбнулось я-оно. — Господин прокурор...

— Разбесов Петр Леонтинович.

При этих словах он официально кивнул, а поскольку рукопожатие было тоже кратким,

решительным, сразу же подумало, что это очередной военный среди пассажиров Люкса — ничего удивительного, что его тянуло к Привеженскому и Насбольдту. И действительно, несколько минут дружеской болтовни и два бокала подтвердили впоследствии: артиллерийский подполковник в отставке, в настоящее время на гражданской службе в ранге надворного советника ^[176], прокурор камчатского округа. Сейчас как раз направляется через Владивосток в Петропавловск-Камчатский, куда был переведен с должности в Благовещенске.

— Камчатка и Чукотский полуостров, дорогой мой, теперь станут, после, дай Боже, подписания мира с японцами, ключом к миру во внешней политике, ба, ключом ко всей Сибири.

— Правда? — пробормотало *я-оно*, без особого успеха пытаюсь тянуть над прокурорским плечом в направлении галереи. Намерение было сложным для реализации, поскольку Петр Леонтинович был вершков на пять выше. Помимо же своего роста, у него не было привычки склоняться перед собеседником ниже его самого; его позвоночник вообще не гнулся, позволяя, разве что, двигать головой, но и ее прокурор тоже держал прямо. Потому он глядел из-под наполовину прищуренных век, над черными усами и подбородком с гадким шрамом — было в этом нечто от хищника, и от птицы. Сип? Орел? Индюк? Монашеская лысина соединилась у него с высоким лбом, вот он и светил над лохматыми бровями отраженным сиянием люстры и бра. Все-таки, сип-стервятник.

— Вы, случаем, никак не связаны с *абластниками*, Венедикт Филиппович?

— С кем? Не думаю.

— Вы должны осознать, что любая помощь в их замыслах будет признана, сожалею, но должен вам это высказать ясно, государственной изменой.

— Да о чем вы вообще говорите? Не знаю я никаких *абластников*!

Прокурор оглянулся на господина Поченгло, танцующего с красавицей вдовушкой.

— Когда Гарриман построит свою Кругосветную железную дорогу, Восточная Сибирь станет весьма близким соседом Соединенных Штатов Америки. Теперь, когда война с Японией уже не является помехой, что еще может задержать строительство? Вы же меня понимаете. Лёд не продвигается во все стороны света с одинаковой скоростью. А нельзя ли склонить лютов, чтобы они повернули больше к востоку... через Берингов Пролив... на Аляску, на Канаду, к индейцам и ковбоям... сковать Зимой золотые прерии...

Я-оно громко вздохнуло.

— А я уже надеялся, что мы слишком приблизились к Стране Лютов! Сколько еще подобных глупостей суждено мне выслушать! На голом камне рождаются, любое словечко, любое умолчание — а все ложь, ложь, ложь.

Разбесов добродушно усмехался. Отцовским жестом он положил руку мне на плечо; *я-оно* не отвело ее. Прокурору было хорошо за пятьдесят, наверняка он был отцом, в его движениях не чувствовалось какой-либо фальши.

— Прошу меня простить. Прокурорская душа. — Вот теперь он наклонился, чтобы его слышать через музыку и танцы, через грохот поезда; но согнулся он тоже неестественно, деревянно, ему пришлось отставить бокал, второй рукой опереться о фрамугу окна. — Ведь вы же не обиделись, правда? Точно так же, вам не следует винить *monsieur* Верусса, что желает писать о вас статью. Сначала Его княжеское Сиятельство выгоняет вас от стола, могу поспорить, по причине обычного недоразумения в обществе, но потом вы срываете спиритический сеанс Ее Сиятельства, затем уличный дебош в Екатеринбурге, ведь там были даже трупы, после того мы слышим про Отца Мороза, затем *monsieur* Фессар бросается на вас по причине мести за какой-то обман в делах, и потом вы выпадаете из поезда, но тот же

самый князь ради вас поезд останавливает, а затем мы находим господина Фессара мертвым. Говоря по правде, эти танцульки — что-то вроде поминок по нему, нечто, чтобы заполнить время вместо поминок, вам не кажется?

— Ладно, слушаю вас, так я кто — агент кайзера или месмерист на службе Распутина?

Прокурор снова рассмеялся, стиснул плечо.

— Вы неприкаянный молодой человек, который попал в компанию людей власти и денег, привыкших справляться с другими людьми власти и денег; молодой человеком настолько интеллигентный, что можете использовать их навыки, что вовсе не означает, будто бы вы желаете для чего-либо эти навыки применить, ведь вы даже понятия не имеете, ради чего — как я уже говорил, вы человек неприкаянный — вот только, никак вы не можете остановиться. Это определенного рода зависимость.

...Так достаточно близко мы приехали к Стране Лютов, Венедикт Филиппович?

— *Excusez-moi* [\[177\]](#), мне нужно переговорить с доктором Теслой.

Лицо серба заметило под плечом Разбесова, оно мелькнуло в глубине галереи, над лицами пассажиров, стоящих в двери, ведущей в каминный зал, и присматривающихся к танцам, хлопающих в такт; изобретатель был выше всех их. Поставив пустой бокал на резную фрамугу, *я-оно* живо посеменовало к галерее, протискиваясь с помощью трости. Капитан Привеженский, к счастью, повернулся спиной.

Доктора Теслу застало возле среднего из больших окон галереи, слева; он стоял и ел яблоко, сок стекал по костистому подбородку на белый фуляровый платок, обернутый высоко вокруг шеи над еще более белым галстуком-бабочкой. В углу галереи стюарды повесили на цветных лентах корзинки с лакомствами, конечно же, сюда тут же сбежались дети пассажиров Люкса, выбирая цукаты и пирожные, миндаль в сахаре и шоколадные конфеты. Маленькая девочка и трое мальчиков, стоя за спинами пассажиров, неуклюже пытались повторять подсмотренные ими танцевальные па. Верусс с проводником играли танго. *Я-оно* остановилось возле Теслы.

— Азия горит, — сказал тот, указывая яблоком за окно.

— Жарко тут.

— Вы танцевали?

— Нет.

— Вы очень покраснелись.

— И душно...

— Кристине удовольствие.

— Да, я видел.

— А этот фламандец неплохо играет. Когда-то Падеревский [\[178\]](#) пытался меня учить, а, ведь ваш же земляк, львина грива, я помню эти концерты, дамы теряли сознание...

— У вас тут на груди...

— О, благодарю.

Между людьми, которые обязаны друг другу жизнью — должник и должник, спаситель и спаситель — какой может быть разговор? Что еще большее можно высказать на языке второго рода? Ничего.

Глядело на таежный пожар, красивое зрелище отдаленного уничтожения.

Свет и тени волновались на коже и на фраке Теслы в нерегулярных приливах и отливах, словно на него одного падал свет из дополнительного источника, кружащегося по пьяному эллипсу.

— Цвет ваших глаз...

— Ммм?

— Мне казалось...

— Они были у меня темнее, но с годами посветлели по причине интенсивной умственной деятельности.

Все так же он пропускает через себя теслектричество, *я-оно*могло этого ожидать, его не удержит даже близкая встреча со смертью. Знает ли об этом мадемуазель Филипов? Если бы знала, то не танцевала бы сейчас, смеясь. Никола уже не делает этого в купе, так что, наверняка, чтобы накачаться тьмечью он ходит теперь в товарный вагон. Впрочем, после того, как туда вломился Фессар, он торчал там целых полдня.

— Завтра, после завтрака, хорошо?

— Не понял?

— Зайдете спустить немножко тьмечи. — Доктор Тесла отбросил огрызок, вытер белые перчатки. — Чутьочку... — он повертел белым пальцем у виска — *what the word* [179] ,вдохновения? наития? безумства? беззаботности? Ибо родить мысль по-настоящему новую, *top ami* [180] , вот единственное достойное человека задание и цель людской жизни.

*Я-оно*прижалось лбом к холодному стеклу.

— Я размышлял над этим. Спустить... Немножко так, а немножко — и нет. Видите ли, доктор, ведь это не так, как в вашей оптической игрушке, в интерферографе: либо нитка бус, и тогда Лето, либо всего две точки — и тогда Зима. Возможно, на сам свет оно так и действует. Возможно, все неожиданно меняется, начиная с какой-то предельной концентрации, давления тьмечи. Но здесь... есть ступени, градация. Меньше Лета, больше Зимы. Вкачаешь чутьочку тьмечи, и еще немножко — будем мы, словно те зимовники из городов лютов — а еще чутьочку — как лютовчики из Сибири — а еще капельку — словно мартыновцы-самозамораживатели — и еще, еще, еще, один черный кристалл за другим — сколько нужно, чтобы видеть мир так, как видят его люты?

— Как видит его ваш отец.

Глядело на далекие огни, на доктора не смотрело. Два отражения в темном стекле; если продолжить линии их взглядов — где пересекутся: на стекле, или же там, над Азией? Стереометрия, наука о душе.

— Замороженный.

— Вы так говорили.

— Так мне говорят.

— И вы к нему едете...

— Зачем? — *Я-оно*рассмеялось. — Неприкаянный вьюнош. Но, что правда, то правда, мы уже так близко к Стране Лютов... Зачем я к нему еду? Господин доктор...

— Да?

— Ваши машины... Этот насос тьмечи, оружие против лютов... Ведь в Иркутске, поначалу, вам нужно будет провести эксперименты — эксперименты на людях...

— Не думаете ли вы, случаем, самому...

— Нет! Его. Выкачать из него тьмечь, вытянуть из него Лёд... — Закрыло глаза, прижимая щеку к окну. — Выкачать из него это все, всю единоправду, всю Зиму. Можно ли его вообще спасти? Мне не позволят, люди Императора хотят его использовать, но вы ведь тоже работаете на Николая, и я не могу от вас требовать...

— Конечно же, я помогу, друг мой.

Он подал яблоко. Ело молча, сок стекал на подбородок. Длук-длук-длук-ДЛУК, и быстрый вальсок. Луна поднималась над огнями, Луна просвечивала два отражения на широком окне, золотой империя над седым локоном у виска Николы Теслы.

Прибежала запыхавшаяся Кристина, схватила Николу за руку, закрутила им туда-сюда, и

давай тянуть старика танцевать.

Отвернувшись, приглядывалось ко всему этому не без симпатии.

— А вы! — воскликнула девушка. — Ну, чего вы так стоите! Она ведь вас ждет! Ах, ножка, ну да, несчастная, нехорошая ножка, что за несчастье, только кто просил вас бросаться из поезда? — Она расхохоталась и упала прямо в объятия капитана Насбольдта. Дитмар Клаусович обменялся взглядами с добродушно озабоченным Теслой. *Mademoiselle* Филипов, надув губки, начала играть блестящими наградами и пуговками на груди морского волка.

*Я-оно*вышло в каминный зал. В танцах как раз был перерыв. Панна Мукляновичувна стояла за пианино. Повернувшись в профиль, она разговаривала с фрау Блютфельд над головой наслаждавшегося вином месье Верусса. Протолкалось между пассажирами, постукивая тросточкой. На сей раз панна Елена выбрала совсем другое платье: голубое, из марикена [\[181\]](#), от лифа и вниз все складчатое, с темно-синими аппликациями, а корсет был высоким, поднимающим бюст в отважном *decolletage* [\[182\]](#), над которым была уже только черная бархотка на белой шее, ведь плечи тоже были полностью открытыми, если не считать легкого, словно вуаль *cache-nez* [\[183\]](#). Вдобавок девушка впервые распустила волосы; они спадали черной волной на шаль и на плечи. Теми же самыми остались лишь подрисовка глаз и губ: цыганский уголь и рябиновый кармин.

Возможно, болезнь придавала ее коже этот алебастровый цвет? Или же все вместе — и волосы, и *maquillage* [\[184\]](#), и платье, и ее таинственная улыбка — все было родом из жаркого воображения дочки дубильщика кож с Повисля...?

Эта прямая спина со сведенными лопатками, сам способ держать плечи под углом к туловищу — они отличают девушку, формируемую в корсете с самого детства. Но, конечно же, и в этом какое-то время можно обманывать, сознательным усилием воли навязывая себе болезненную позу. Дама истинная, дама фальшивая — не узнаешь.

— *Mademoiselle, puis-je vous invited* [\[185\]](#)

Хоть сотню лет пересматривай это мгновение, не заметишь на лице панны Мукляновичувны хоть малейшего признака замешательства.

— Господин Бенедикт умеет танцевать.

— Не слишком.

Она приподняла бровь.

*Я-оно*засмеялось.

— Ну разве не прекрасно складывается? Моя нога. — Хлопнуло себя по бедру. — Станцуем — раз в жизни могу не беспокоиться: никто не узнает, что танцевать не умею.

— За исключением вашей несчастной партнерши.

— Тут панна может не бояться, буду топтать собственные ноги.

— Ах, в таком случае — с превеликим удовольствием.

Она подала руку в кружевной перчатке.

— *Monsieur* Верусс!

Журналист отставил рюмку, театрально вздохнул.

— *Souvent femme varie, bien fol qui s'y fie* [\[186\]](#).

Он ударил по клавишам, *праведник* потянул смычком.

— *Каробочка?* Веди, соколушка.

Русскую мелодию пассажиры встретили аплодисментами. Сразу же пары образовали двойной ряд, пару шагов туда, пару шагов сюда, трудно ошибиться в столь организованном танце; панна Елена повернулась вместе с остальными женщинами, три шага назад, хлопок,

поворот, взять за руки, теперь на мгновение с ней лицом к лицу, дыхание к дыханию — но тут же разворачиваешься на месте и становишься перед другой партнершей. *Каробочка!* Разминулось с панной Еленой, она язвительно рассмеялась. Люстра раскачивалась над головами, вагон ходил под ногами, нога болела.

Под конец танцоры очутились в тех же самых парах, что и сначала. Елена сделала книксен, поправила шаль и снова рассмеялась.

— Мне казалось, что вы будете довольны! Достаточно делать то, что и все остальные. Опять же, у вас не было возможности оттоптать кому-либо нот.

— Вы все это заранее спланировали!

— Откуда же мне было знать, что вы танцевать не умеете?

Склонившись, поцеловало ей руку.

— Быть может, хотя бы вальс-хромоножку [\[187\]](#)...

Елена что-то шепнула Веруссу. Встав прямо, она подняла руки, охватило ее неуверенно. Она поправила положение руки на спине, сдула с лица черный локон и шельмовски подмигнула.

— Что же, пан Бенедикт, держитесь...

Раз-два-три. После первого оборота, когда передвинулось перед князем и княгиней Блуцкими, в сторону галереи, глянуло над плечом панны Елены. Смотрели? Смотрели. Смотрели все, но — это был танец! Кто танцует, пока в танце — остается рабом танца, разрешено то, что запрещено, прилично то, что неприлично, прощается непростительное, разве не этому, в первую очередь, танец служит?

— Вы смеетесь.

— Я танцую с красивой женщиной, с чего же мне печалиться?

— О-ля-ля, это когда же вы научились говорить комплименты?

— Упал на голову, после такого случаются радикальные перемены в психике.

— Что? — И музыка, и шум, и говор были уже слишком громкими, девушка придвинула щеку к щеке, запах ее жасминовых духов вошел в ноздри теплым ладаном.

— Упал на голову!

Смеясь, она отодвинулась в обороте.

— И комплименты закончились!

Нога болела все сильнее.

После второго поворота уже меньше думало о ритме этого тесного, импровизированного вальсочка — вальс, это танец математический, достаточно считать шаги и обороты — гораздо больше думало об этом ее смехе, еще больше — о ее маленькой ручке, замкнутой в ладони на половину размера большей, о мягких волосах, омывающих руку, прижатую к лифу на ее спине, о быстром дыхании, сильно вздымающем груди девушки, о ее губах, теперь уже постоянно остающихся полураскрытыми, о поблескивающих между ними белых зубках — вальсок плыл и плыл, *я-оноуже* потеряло счет окружений зала, старички Блуцкие; Жюль Верусс, безумствующий над клавиатурой, хлопающие зрители; желтый шрам огня, пересекающий черные стекла окон — все это перемещалось в серебристо-холодных отблесках качающейся люстры словно картинки фотопластика, раскручиваемого со все большей скоростью, так что исключительно для сохранения равновесия приходилось сконцентрироваться на ближайшей картине: темные глаза девушки, ее лицо с горячим румянцем и ее губы, сложенные словно для крика. От бархатки с рубином между грудей стекали две струйки пота.

Я-оно остановилось под стеной.

— Панна меня простит, но моя нога пока что больше не выдержит, возможно...

— Да, да, конечно же.

Прошло в галерею, но и здесь плотная толпа, жара и духота, тут же со всех сторон поворачиваются смеющиеся рожи, подскакивает стюард... Елена выпивает рюмку темного напитка, обмахивается шалью.

— Панна проследит, чтобы я больше не выпал.

Елена, все еще запыхавшаяся, смеется.

*Я-о*нотолкает железные двери, выходит на смотровую площадку; подает панне руку, панна в белых туфельках осторожно переступает порог. Дверь прикрывает пинком, музыка и людские голоса тихнут; а вместо них: длук-длук-длук-ДПУК и грохот машины, протяжный свист ветра в ночной темноте.

Елена, опершись на балюстраду с правой, южной стороны смотровой платформы, глубоко втягивает воздух. Кашне она завернула на плечах так, что лучи неполной Луны высвечивают только белый треугольник декольте и худощавое лицо в иконной оправе волос цвета воронова крыла. Контраст света и тени слишком уж резок, девушка уже не красива мягкой, спокойной красотой полных девушек и хорошо питающихся дам — наяву проявляются все угловатости черт, всяческая асимметрия и непропорциональность, каждая косточка под тонкой, натянутой кожей.

*Я-о*новынимает папиросы, закуривает, глядит сквозь дым.

Грязно-желтая река огня, прикрытая гривами красных разбушевавшихся искр, растягивается за спиной панны Елены; северный горизонт единообразно темен.

— Все-таки, мы его обойдем. Он нас обойдет.

Девушка глядит через плечо. Долго молчит, загипнотизированная спектаклем гигантского пожара.

— Спасибо вам, там у меня немного закружилась голова. Прошу прощения.

— Вы и доктор Тесла.

Елена глядит вопросительно.

*Я-о*нопожимает плечами, стряхивает пепел.

— Танец, такие вещи, как танец — ведь это тоже способы.

— Для чего?

— Чтобы сказать вещи, которых невозможно высказать на каком-либо языке, понятном более чем одному человеку.

Съязвит? Нет. Опершись локтями на поручне, отклонившись назад, она открывает и закрывает рот, словно не может решиться сказать хотя бы слово.

— Я...

— Стыд, правда? Не надо ничего говорить, вижу. Предпочитаю именно это слово, хотя, конечно же, это не стыд. Отводишь взгляд, краснеешь, заикаешься, теряешь нить разговора, шаркаешь ногами, избегаешь чужих глаз — это стыд. Да что я тут говорю? Человеческое поведение. Но как мне рассказать то, чего никто не видит, никто не слышит, никто иной не испытывает? — *Я-о*носжимает пальцы в кулак и бьет в грудь, потом бьет по сюртуку растопыренными пальцами, словно пытаюсь через ткань и кость вырвать трепещущее сердце. — Нет языка! Нет! — *Я-о*ноцарапает ногтями по ткани на груди и по галстуку. — Наверняка, вы спасли мне жизнь, следовало бы пасть на колени, благодарить; я этого не сделаю, не сделаю ничего подобного; я обязан быть с вами откровенным, поэтому буду молчать. — *Я-о*ноподнимает искривленные в когти пальцы на уровень глаз, поглядывает с легкой усмешкой на опухших губах. — Или же, давайте станцуем.

Панна Елена дрожит, плотнее закутывается темно-бордовым кашне.

— Я боялась этого.

— Этого?

— Этого.

— Ах, этого.

— Этого, этого.

— Этого... ну да, этого, этого, этого... — Дойдя до предела, межчеловеческий язык пожирает сам себя, переваривает всяческий смысл и значение, остается превратить все в шутку.

Я-оно усмехается. Елена видит эту кривую, паскудную усмешку и показывает язык.

— Все-таки, вы напрашиваетесь на несчастье.

Я-оно затягивается дымом.

— Знаю, что мне не следовало тащиться в тайгу за Фессаром.

— Кристина говорила мне, что к ним приходил Дусин и пытался запретить доктору Тесле контактировать с вами.

— Господин Поченгло понял, что кто-то копался в его вещах.

— Этот господин Поченгло уж слишком наблюдательный буржуй.

— А этот прокурор с Камчатки, кажется, считает его *абластником*.

— Что это еще такое? Императорский орган? Новая секта?

— У моего же отца над головой висит очередной приговор; скорее всего, он вел сибирских мужиков на смерть во Льду.

— Не верьте, вечно они гадости рассказывают.

— А Фессару раскололи башку.

— Вы не считаете, что именно турок был ледняцким агентом.

— Нет, это невозможно.

— Тем не менее — тот Зейцов...

Я-оно обнимает девушку в талии, притягивает к себе, целует. На вкус она — сладкое вино.

Опершись снова на балюстраду, Елена закутывается в кашне как в платок, обвязывая им голову, скрещивая потом руки на груди.

— На вашем месте, я бы не спускала с него глаз.

— Зейцов нажрался и валялся у себя в купе, я проверил, в лес он не ходил.

— Люди князя?

— Дусин?

— Агент? Нет! Но если княгиня приказала ему выкинуть Пелку...

— В этом я как раз и не уверен.

— Времени все меньше. Либо Фогель говорил по делу, либо у агента остался только один день на то, чтобы уничтожить машины, убить Теслу и, возможно, убить еще и вас.

— Так что, отсиживаться в купе?

— Если будет скучно, приглашаю к себе.

Панна снимает правую перчатку и кладет себе на язык, в рот два пальца. Потом сжимает зубы. Оторвав ладонь от алых губ, подает их милостивым жестом, с миной ни серьезной, ни смеющейся, зато с блестящими глазами.

Я-оно склоняется в формальном полупоклоне и вылизывает эти пальчики от теплой крови, до последней капельки, до капелек, еще цветущих на открытых ранках. По девушке проходит дрожь.

Снимает сюртук, накидывает его ей на плечи. Движение воздуха поднимает пустые рукава над балюстрадой.

— Намного умнее было бы держаться ресторана или салона, — говорит *я-оно*. — Ведь разве сложно вскрыть двери купе отмычкой, вскочить в отделение, и не успеет человек

голову повернуть — чик!; никто ничего не видел, никто ничего не слышал.

— Хорошо, заложить дверь стулом, спинку вставить под дверную ручку...

— Но я думаю про Иркутск. Здесь, в поезде — еще полбеды. А в городе? Если бы там только один агент, одни только ледняки! Вы же сами слышите, что обо мне говорят. Даже доктор Конешин чуть умом не тронулся. Захотят убить, так убьют.

— Не думаю.

Я-оносмеется.

— Не думаете? Совсем не думаете? — Бросает окурок на ветер. — Ну, утешили! Но, может, какой-нибудь аргумент?

Панна Мукляновичувна изгибает пальцы и проводит ногтями над лифом платья. Остается счетверенный красный след на груди, свежий шрам после прикосновения чего-то дикого, нечеловеческого.

Еще глядит на эту счетверенную царапину на белой коже, когда рядом, под полкой английского сюртука, над капелькой крови на сердце девушки ложится серебряная звездочка, маленький снежный кристаллик. Но тут же тает, исчезает.

Я-оноглядит на небо над противодымовым экраном. Да ведь это же не дым, это тучи заслоняют звезды, а иногда даже щербатый диск золотой Луны, то гаснущей, то вновь разгорающейся. И именно тогда, в моменты прояснения, мать упырица открывает безлюдные пространства, бесконечные лесные равнины Азии, к северу от линии Транссиба и к югу, до самой полосы огня, до короны пепла над ним. Туча, Луна, туча, Луна — а Экспресс мчит сквозь них, в вырезаемом косоглазыми лампами «Черного Соболя» световом туннеле — Луна, туча, Луна — прямоком в Зиму. Ибо, совершенно неожиданно, как после поднятия занавеса в опере, в очередном просвете видишь: белизна, белизна, белизна, поля белизны, то есть — снега, но снега уже затвердевшего, застывшего на деревьях и на просеках, на болотах и реках, на железнодорожной насыпи и деревянных сараях, каких-то шалашах — снега оледеневшего. Когда это случилось? Нет границы, но если какая-то и существует, она давно уже осталась позади поезда. Теперь же вокруг только белизна, снег и лед.

— *Estistso* [\[188\]](#) .

Синее облачко дыхания убегает от лица вместе с улетающими в свисте холодного воздуха словами, очень быстро убегает с глаз и захватываемые ветром все более многочисленные снежные хлопья. *Я-оносует* руки в карманы брюк.

— Ха! Снилось мне Зима.

Панна Елена закутывается в шаль, оставляя в ней только узенькую щелку для глаз; *я-онозатягивает* изнутри сюртук на голубом платье, обнимая под ним собственными руками.

Прижимая жатую материю к спиральным прутьям балюстрады, *я-оноглядит* с платформы на южные ледовые поля. Длук-длук-длук-ДЛУК, еще несколько минут, и вся природа Сибири превращается в замкнутую подо льдом скульптуру — нет уже никакой зелени, даже нормального силуэта дерева, да и сама тайга долгими фрагментами теперь скрыта под толстой шубой мерзлоты. Ничего удивительного, что пожары не заходят из Лета в Зиму — огонь не вгрызется в промерзшую пущу. Можно лишь догадываться о жизни, остановленной там, в морозе, но видны лишь менее и более фантастические формации белизны, волны, гривы, валы, стены, башни и обрывистые скалы, фонтаны, замки и улы, и люты, и люты.

На тех, что ближе всего, выскакивающих у самого пути, когда Экспресс проезжает мимо в шуме пронзающего вихря, высвечиваются, словно на экранах-простынях кинематографа, картины внутренней части вечернего вагона, из каминного зала, поскольку там продолжают танцы, играет музыка, длиннорукий *monsieur* Верусс бешено стучит по клавишам, бородатый проводник размахивает смычком, кружат пары, мужчины при фраках и

длинных сюртуках, покровенных в соответствии с неизменным фасоном ледовой Европы, дамы в кружевных и бриллиантовых туалетах, над ними серебряно-хрустальная люстра — и все это проявляется в картинках света и тени, гладко проскальзывает по выпуклостям и вогнутостям снежных скульптур, хороводы шикарных мужчин и женщин, танцующих, танцующих.

Засмотревшись, панна Елена сухо кашляет. Я-оно остановится за ее спиной, поглядывает над ее плечом. Девушка кашляет через шаль, дышит через шаль, говорит через шаль.

Снилась зима, и по белым сугробам
Шли вереницами, словно за гробом; (...)
Двигались люди — и малый и старый
В белой одежде и цвета печали [\[189\]](#)

Я-онокоротко смеется, выдувая через панну туманные облака этого смеха, которые тут же улетают.

Но, поскольку земли Лета уже за нами, мысли чуточку лучше пристают к мыслям, слова крепче прилегают к другим словам.

Глянул на лица — знакомых немало,
Все как из снега — и страшно мне стало.
Кто-то отстал; в пелене погребальной
Взгляд засветился — женский, печальный. (...)
Запах Италии хлынул жасмином,
Веяло розами над Палатином.
И Ева предстала
Под белизной своего покрывала,
Та, что в Альбано меня чаровала,
И среди бабочек, в дымке весенней,
Было лицо ее как Вознесенье,
Словно в полете, уже неземная,
Глянула в озеро, взгляд окуная,
И загляделась, не дрогнут ресницы,
Смотрит, как будто сама себе снится (...)

Панна Елена, не поворачиваясь, отворачивает голову, глаз блеснул из-за шали. Может, улыбается, может, нет; иней собирается на ткани, скрывающей ее лицо.

Оборотилась с улыбкою детской:
«Прочит меня за другого отец мой,
Но ведь недаром я ласточкой стала
Видел бы только, куда я летала!
А полечу еще дальше, к восходу,
В Немане крыльями вспенивать воду;
Встречу друзей твоих — тяжек был хмель их:
Все по костелам лежат в подземельях.

В гости слетаю к лесам и озерам,
Травы спрошу, побеседую с бором:
Крепко хранит тебя память лесная.
Все, что творил, где бывал, разужнаю».

Холодно, становится еще холоднее. Я-онообнимает девушку через сюртук, неуклюже наброшенный на платье, девушка отодвигается от поручней, спряталась в объятиях, тоже желая найти тепла. Полоса пожара — словно огненным бичом хлестнули через белую бесконечность, разлив жаркой крови на чистом полотне — делается все уже и уже, все более далекой и далекой, отступает под самый горизонт и, в конце концов, исчезает за ледовыми фигурами. Остается только щербатый месяц, звезды между туч и тысячи искорок снега, не слишком густо сыплющегося по обеим сторонам поезда.

И зарево «Черного Соболя», спереди, с востока, делается более выразительным — лунные зимназовые радуги, отражающиеся от ледовых зеркал. Машинист дергает за ручку сирены — над пейзажем Зимы раздается протяжный свист мотыльковой машины.

Если получше приглядеться в этот пейзаж, то тут, то там можно заметить мощные выбросы чистой мерзлоты, которые, кажется, совершенно не опираются на каких-либо скрытых под ними геологических формах — самостоятельно живущие сростки, монументальные гнезда Льда, разбросанные на сотнях верст замороженной тайги: соплицовы? Возможно, это они, но, может, и нет, поезд не тормозит, они уже остались сзади.

Но имеются в этом пейзаже нерегулярности, вызванные самим прохождением железнодорожного пути. Точно так же, как города и людские скопления, так и здесь, в этой пустоши, лютов притягивает сам Транссиб. Уже четвертый, уже пятый морозник с момента первой встречи с ними проявляется сбоку в желтых отражениях ламп «Черного Соболя», в голубых ореолах от его зимназового сияния, и такого на секунду-две перехватываешь быстрым взглядом, именно такую картину заглатывая слезящимися глазами: лют, раскоряченный на дюжинах морозо-струн — лют, вздымающийся на много аршин вверх, к звездам и Луне — лют, растянутый в ледовом походе вдоль насыпи — лют, выстреливающий сотнями игл-сталагмитов из-под земли; лют, развернутый в могучей мандале кружевных стежков стужи; расщепленная на миллионы черно-белых нитей молния Льда, словно каменный электрический разряд, перепрыгивающий по гигантской дуге с северной стороны железнодорожного пути на южную... Сейчас он отскочит назад и совсем исчезнет в темноте за составом. Так близко промораживают люты свои тропы, чуть ли не в рельсы Сибирской Магистрали вонзаясь тысячепудовыми сосульками.

Экспресс промчался под длинным навесом, и по вагонам и смотровой платформе промелькнула арктическая тень, секундная стужа, болезненная, словно тебя хлестнули мокрым бичом; прижало девушку к себе еще сильнее. Она дрожит; я- онодрожит вместе с ней, опирая голову на ее плече, выдувая туманные слова в шаль, полностью прячущую ее лицо — может, в белое лицо, может, в замерзшее ушко, а может, в алые, горячие уста.

И, вспоминая свой путь легковерный
С буйством порывов и пятнами скверны,
Знала душа, разрываясь на части,
Что не достойна ни неба, ни счастья.

И с каждым словом, с каждым дыханием и дрожью, все глубже я-оновъезжает в Страну Лютов; и все глубже проникает в человека Мороз.

— Цусима, одна тысяча девятьсот пятый. Войны Лета иные. Мы вышли из Либавы [\[190\]](#) на помощь Порт-Артуру третьего октября предыдущего года, двадцать восемь судов, из них — семь броненосцев. Потом, уже по дороге из Балтики во Владивосток, к нам присоединилось еще несколько боевых единиц. Всей этой Второй Тихоокеанской Эскадрой командовал вице-адмирал Зиновий Рождественский [\[191\]](#). Это был величайший морской поход в истории современных войн. Японцы атаковали в январе, без предупреждения напав на Первую Эскадру в Порт-Артуре, Владивостоке и Чемульпо; тут следует сказать, что они считают предварительное объявление войны глупым европейским чудачеством. В апреле Его Императорское Величество создал Вторую Эскадру ради помощи Первой и для прикрытия маньчжурской армии, там сражалось полмиллиона наших солдат; но уже в августе японцы раздолбили дальневосточный флот и начали осаду Порт-Артура. Стало ясно, что Второй Эскадре придется встать против врага самостоятельно. Были собраны все способные к бою российские боевые суда, за исключением тех, что были в силу трактатов заблокированы в Черном Море. Но ремонты и строительство новых судов было настолько ускорено, что для их экипажей было невозможно найти достаточного количества опытных моряков. Потому вербовали крестьян, из тюрем на борт забирали уголовных и политических преступников, а из кадетов петербургского Морского Корпуса преждевременными повышениями сделали младших офицеров. Таким вот образом, прямо из школы, в качестве свежееиспеченного гардемарина я попал на броненосец «Ослябя», флагманское судно контр-адмирала Дмитрия фон Фолькерзама, заместителя Рождественского. Мне было семнадцать лет, когда в то октябрьское утро я вышел в кругосветный поход в составе самой могущественной армады Российской Империи, чтобы участвовать в величайшей броненосной битве за всю морскую историю.

Капитан Насбольдт поднял хрустальную чару и сделал глоток подогретого с пряностями вина; в свете жирных языков пламени напиток в хрустале казался темно-красным и густым, словно кровь. Драгоценный камень в охватывающем палец офицера перстне, был того же самого цвета, и когда я-оноопустило веки еще чуточку ниже, глядя сквозь ресницы и паутину сна, этот камень виделся дрожащим, пульсирующим и переливающимся в оправе черного металла, словно огромная капля печеночной крови. Сам же перстень капитана второго ранга был сделан из чистого зимназа.

Дитмар Клаусович Насбольдт утвердил руку с чарой на поручне кресла. Из полумрака за его спиной появился стюард с графинчиком, готовый подлить, но Насбольдт, не поворачивая головы, выпрямил над бокалом указательный палец, и стюард отступил. Все бокалы и стаканы, имеющиеся на оснащении первого класса, были выше и с более широким основанием, чем в обычных сервизах. Но теперь Экспресс поддерживал ровную скорость, практически вообще не притормаживая, почти что не поворачивая. А легкое раскачивание вагона действовало усыпляюще: господин Поченгло уже спал, у инженера Уайт-Гесслинга тоже клеились веки... Раскачивание вагона — это так, но и сам голос капитана, то вздымающийся, то опадающий... свои колыбельные есть у детей, имеются они и у взрослых. Хороший рассказ на вкус как хороший табак или доброе виски, не нужно спешить, не нужно подгонять рассказчика, здесь же дело не в том, чтобы, как можно скорее, добраться до соли, вскочить на спину фабуле, познать судьбы, смыслы и тайны — дело вовсе не в этом.

Слушаешь, засыпаешь, пробуждаешься, возвращаешься к рассказу, снова засыпаешь и просыпаешься, рассказ приплывает и уплывает, один раз мы погружаемся в эту вот нереальность, другой раз — в ту; действуют чары, мы извлечены из времени и места. Гораздо труднее этому поддаться в гонке городской жизни. Но здесь, будучи замкнутым на долгие дни поездки с другими слушающими-рассказывающими... Достаточно, чтобы капитан Насбольдт поднял руку и произнес первое предложение. Никто его не перебивает, никто не уговаривает вернуться к предыдущим темам, никто не задает нетерпеливых вопросов. Необходимо позволить фразе прозвучать. Но и моменты молчания, разделяющие высказывания офицера, тоже принадлежат его рассказу. И сон. И эта окружающая темнота, и эта холодная белизна, из нее проскальзывающая, и этот огонь, и похрапывание господина Поченгло. Прокурор Разбесов и доктор Конешин слушали внимательнее всех, покуривая английские папиросы, которыми угостил их инженер. Но и их зачаровало.

Я-оно поправило плед на коленях. Из всех пассажиров, которые после танцев остались в зале, *я-оно* сидело ближе всего к камину; бьющие от очага волны жара заставляли набухать мышцы левой ноги и левой руки, вскоре уже казалось, что половина тела сделана из резины, накачанной спиртным. Сдвинулось, чтобы полулежать в кресле. При этом взгляд бежал от очага и огня, но, поскольку кроме этого огня и лампочки в переходе к малому салону, здесь никакие лампы больше не горели, оставалось блуждать глазами наощупь по потолку (холодно поблескивающая люстра), по лицам мужчин, сидящих вокруг камина (мягкие, круглые, румяные), по лунной белизне за окнами — лишь бы зацепить за что-нибудь еще находящийся в сознании глаз. Поначалу, вместе со всеми стояло с носом у стекла, стакан с водкой у рта, пялясь после того, как свет в вечернем вагоне был погашен, на ледовые фантазмагии, проносящиеся за окнами на фоне отдаленного льда. Но та же самая монотонность пейзажа, которая быстро надоедает всякому, путешествующему по Сибири — степь, тайга, небо, земля, час за часом — быстро надоела и тут: белизна и белизна, белизна и белизна, клинический белый ад. Ну сколько же можно? Нужно знать меру. Это вид болезненной мании, от этого ведь лечат в желтых домах: спичка к спичке, с высунутым языком и тупым взглядом, день за днем — в течение двадцати лет. Именно так Господь Бог создал Азию.

Лёд мелькал неуклюжими и угловатыми волнами за окнами вагона первого класса (иногда можно было заметить люта), а здесь, в каминном зале, янтарные отблески огня заливали все теплым воском, людей и мебель, так что даже выступы, края и треугольные шпиги на обшивке вагона выглядели наполовину растаявшими. Капитану Насбольдту не нужно было повышать голос, слова тоже опускались мягко, словно снежные хлопья, на кожу, на язык, в уши. А уже оттуда, чистыми ручейками они плыли прямо в мозг.

— Впоследствии я пытался охватить все это умом, расположить в порядке причин и следствий, правды и неправды. Напрасные усилия! Едва мы вошли в датские проливы, ба, еще раньше, потому что, еще когда стояли на рейде Кронштадта, Ревеля и Либавы, уже устраивались частые ночные авралы, ночные дозоры и противоторпедные блокады, ожидая скрытого нападения японцев; а когда мы вошли в те проливы — так во время артиллерийских учений так намудрили с маневрами, что «Ослябя» налетел на противоторпедный корабль «Быстрый», сокрушая ему нос, а тут из копенгагенской резидентуры пришла информация, что, и вправду, уже были замечены японские торпедные катера, рыбацкие шхуны с замаскированными торпедными аппаратами, подводные лодки; воздушные шары, которые с неба ставили мины на пути Эскадры. Ложь, фантазии? Военно-морская разведка и охранное отделение получили полмиллиона рублей на этот случай, так, может, они все это придумали — но, возможно, и нет, может, и не выдумали. Уже приходили рапорты с наших собственных

судов: о неизвестных торпедных катерах, замаскировавшихся под рыбацкие суда, о шхунах без флагов, о темных силуэтах в ночи. Рождественский приказал нацеливать пушки на все проходящие мимо корабли и палить в те, что пересекают курс Эскадры, несмотря на предупреждение. Так мы прошли проливы, обстреливая суда под флагами нейтралов. На утро у нас потерялось судно-мастерская «Камчатка», отозвалось оно только к вечеру, докладывая, что уходит зигзагом от восьми неизвестных торпедных катеров. Рождественский объявил боевую тревогу. Средине ночи, Доггерская банка, темно, хоть глаз выколи, все ожидают атаки. Тут ракета, тени на воде — зажигаем прожектора. Сам я тогда стоял на кормовом бинокле, таращил глаза, сердце колотится, так что Боже упаси. Смотрим: два судна побольше, много суден поменьше, проверяем профили, считаем трубы, Петр говорит так, Иван — эдак, Гриша — третье, но уже поступает рапорт: два торпедных катера атакуют флагманское судно, и целый флот упрямо прет нам напрямик под нос. Загорелись все прожекторы Эскадры, началась канонада: снопы света в темноте, огонь из стволов, грохот ужасный, панический поиск силуэтов на волнах, внезапно что-то выныривает из мрака, еще пара секунд — и взрыв торпеды разорвет тебя в клочья. Потом оказалось, что это были всего лишь траулеры и рыбацкие шхуны. Правда, мы еще успели сбить трубу с крейсера «Аврора», чудом не прибив при том судового попа. Через неделю бункеруем уголь в заливе Виго, когда приходит депеша из Петербурга. Россия и Великобритания на грани войны: мы расстреляли пять траулеров британского рыболовецкого общества в годовщину битвы под Трафальгаром, убив рыбаков и уйдя с места преступления, не предоставив помощи. Толпы людей устроили марши в Лондоне, требуя выслать Royal Navy ^[192] с приказом затопить всю нашу армаду. Но тут же дело запутывается еще сильнее, потому что разъяренные рыбаки уверенно показывают, что до самого утра между ними шастал российский противоторпедный корабль, который никак не реагировал на вызовы и просьбы спасти тонущих. Но дело в том, что с нами тогда никаких противоторпедных кораблей не шло! Так что же? Нас и вправду среди английских рыбаков застали врасплох японские суда? Было следствие международной комиссии — и, думаете, чем-то это закончилось? Кто на нас напал? И вообще, атаковал ли нас кто-либо? Лгали ли рапорты? Мы видели японцев или не видели? Ведь я же сам там был, сам глядел! Но, видел ли я то, что видел? Или я думал, будто бы вижу то, чего не вижу? Или сейчас только помню в одинаковой мере, что видел и чего не видел, что было и чего не было? С кем мы дрались? И вообще, было ли там какое-либо сражение? Вот она такая, война без Льда — *блядь лживая!*

...Пересекли мы экватор — никто не знает, когда; неправильно были высчитаны скорости течений в Атлантике, попутали часы и географические широты. Постоянно были проблемы с бункерованием угля, немецкая компания НАРАГ не желала выполнять договоры; японские и британские дипломаты закрывали перед нами порты, вынуждая нейтралитет очередных государств; только лишь благодаря упорству Рождественского, дошли мы до Мадагаскара. Там мы соединились с легкими крейсерами, которые шли через Средиземное море и Суэцкий Канал; и там же, в Носси Бе до нас дошли слухи о капитуляции Порт-Артура, о революционных бунтах в России, о Кровавом Воскресенье. Так что, с одной стороны, с военной точки зрения, поход уже не имел смысла; с другой, с политической, он был для Императора последней соломинкой для спасения, шанс как на мир внутри страны, так и на перемирие с Японией, ведь только достигнув крупного военного успеха с нашей стороны, можно было садиться за стол переговоров, чтобы заключать какой-нибудь разумный трактат с японцами, а уже потом, загасив этот пожар — отослать войска с фронта для подавления пожаров в самой России. Мы проводили учения по стрельбе в цель. Из нескольких тысяч снарядов в цель не попал ни один. Вице-адмирал Рождественский выслал в Петербург депешу

с просьбой освободить его от обязанностей в связи с плохим состоянием здоровья. Адмиралтейство отказало, передачу командования согласились осуществить только во Владивостоке. И мы поплыли через Индийский океан, в один переход от Мадагаскара до Индокитая. Тот еще был вояж!.. Что там говорить, сплошные муки и боль, еще немного, и моряки бы взбунтовались; правда, Рождественский очень скоро заполнил тюремное судно — не хватало пресной воды, не хватало еды, даже одежды не хватало, у людей распадались сапоги, кочегары работали в лаптях из конопляных веревок; все время мы шли, перегруженные углем, Рождественский боялся, что останемся без топлива; суда теряли в скорости по два-три узла, плывя с такой осадкой; на «Ослябе» броневые пояса скрылись под водой полностью, тем не менее, постоянно нужно было догружать уголь с транспортников — говорю вам, боль и мука... Но когда потом мы увидели рожи британцев в Сингапуре, когда вся эскадра продефилировала по проливу после броска через океан!.. Я понял, как рождаются легенды морей!

...Рождественский постановил добраться до Владивостока кратчайшим путем, то есть, пройдя между Корейским полуостровом и Японией. В эти воды мы вошли в боевом строю, с приказом поддержания тишины в эфире. В любой момент мы ожидали атаки всего японского флота. Снова начались высматривания чужих судов, подводных лодок, снова вахты и страхи. По ночам мы поддерживали связь прожекторами Морзе, направляя их на облака. На «Ослябе» настроения были исключительно паршивые, фон Фолькерзам, пораженный тяжелой апopleksией, уже длительное время не командовал, и, наконец, вечером десятого мая он отдал Богу душу. Но Рождественский запретил снять адмиральский вымпел с нашего корабля! Офицеры говорили, это затем, чтобы не подрывать мораль в эскадре. Фон Фолькерзама в гробу поместили в трюме, и мы продолжили поход в качестве флагманского судна. И вот туг, господа, подумайте, как из первой фальши берутся все остальные извращения — так рассыпаются фундаменты всех вещей, как трещины расходятся по льду от одного удара; и только зевесова грома, с которым лед трескается, вот только грохота этого не слышно.

...Когда распадается все вокруг, на чем опереться? Мы должны были войти в Корейский пролив в пятницу, тринадцатого мая, потому Рождественский приказал целый день заниматься бессмысленными учениями, лишь бы избежать сражения в столь нехорошее число. Попы скрупулезно освятили орудия на всех судах. Мы плыли в трех, затем в двух кильватерных колоннах; день был серым, туманным, небо затянуто облаками. Ночью эфир трещал от японских сообщений, мы знали, что их флот где-то близко. На рассвете появился первый вражеский крейсер, он призвал остальных, шли они параллельно Эскадре, но у нас был запрет стрелять; наконец люди не сдержались, первым, по-моему, был кто-то из артиллеристов на «Ослябе», трудно сказать, потому что, один выстрел — и сразу же целая канонада, один раз мы даже попали, люди рвались в бой, да, да. К полудню появились главные японские силы, флагманские броненосцы в строю, пересекая нам курс. Они были быстрее нашего сближения судов разного класса, перегруженных углем, обросших морскими водорослями и моллюсками; они были быстрее, могли избрать и навязать позицию и дистанцию обмена огнем, и угловой курс, курс подхода колонн. Рождественский пытался их обойти, безуспешно, только поломал собственный строй. Вам следует знать, *messieurs*, что в старой морской тактике в сражении броненосцев положение одного судна относительно другого гораздо сильнее способно повлиять на результат столкновения, чем сама мощность орудий и толщина брони. Судно, выставленное на бортовые залпы, а само способное отвечать только из носовой артиллерии, заранее обречено на уничтожение. И вот вам первый простой маневр: пройти перед носами армады, пересекая ее курс под углом девяносто

градусов. Японская эскадра, как более быстроходная, шастала перед нашими носами туда-сюда, с шести миль ведя концентрированный огонь, потому что, скорее всего, получила приказы в первую очередь топить флагманские суда, начиная с самого ближайшего — а какое флагманское судно сидело у них уткой в прицелах? «Ослябя»! С вымпелом покойника на мачте, мы встали на якорь, выбитые из строя, потому что, когда Рождественский на своем «Князе Суворове» захотел было выйти во главу колонны, это чуть не вызвало массового столкновения: «Суворов» загородил дорогу «Императору Александру», «Александр» — «Бородино», «Бородино» — «Арлу», а между ними входили мы, то есть, «Ослябя», ведущий вторую группу броненосцев. Мы встали на якорь, подняли на реях черные шары, строй разошелся в стороны. Японцы обстреливали нас без жалости, оба флагманских судна, но наше — сильнее, тогда мы чудом избежали смерти, в двух шагах от меня человека смело с палубы, осколки прочесали мне кожу словно метла из бритвенных лезвий. Навигационный помост на носу был весь в огне, нам сорвало якорь. Хуже всего, дважды мы получили в левый борт от носа, где пробило такую дыру через броню и обшивку, над самой линией воды, что тройка бы въехала без *проблемы*, и мы все время кренились, а залатать ее не удавалось никак, волна высокая; «Ослябя», впрочем, пытался уйти из под обстрела, но крен становился все сильнее, до самых якорных клюзов. У нас сбили носовую башню, на всем корабле отказало электричество, на боевом мостике пожар, в воздухе висела угольная пыль и ложилась на всех отвратительной, липкой, едкой, слепящей мазью; заклепки вылетали из металла дюжинами, бронеовые плиты отпадали словно сухие струпья — капитан приказал покинуть судно, «Ослябя» перевернулся килем вверх и пошел ко дну.

...И я видел его, поднимаемый волнами, буквально в десятке аршин от меня, когда я плыл к собиравшим переживших гибель судна моряков кораблям — гроб с телом адмирала фон Фолькерзама. Нас на борт взял «Буйный»; но половина экипажа «Осляби» утонула. Японцы не перестали нас обстреливать, впрочем, их даже не было видно на горизонте: туман, дымы, небо серое, море серое, а они тоже красили корпуса и надстройки темно-оливковой краской, так что совершенно не видно, кто в нас палит, кто нас убивает; «Буйный» — подбит, «Бравый» — подбит; мы уходили в туман, лишь бы подальше от боя. Только грохот, несущийся над водами пролива, только точечные вспышки, пробивающиеся сквозь эту серую завесу, рассказывали нам о ходе сражения. Капитан Коломейцев разыскивал эскадру легких крейсеров; не знаю, то ли мы, затерявшись, болтались в море без толку, или же капитан хотел сначала навести более-менее порядок на «Буйном» — ведь ему пришлось разместить на борту более двух сотен выловленных. Я поднялся на мостик — едва-едва перебинтованный, один глаз залит кровью, сам весь промерзший — там подслушивал, что говорят офицеры. Правда, они знали немногим больше меня. Был приказ идти за легкими крейсерами на их левом траверсе — но где они группировались? Кто командовал? Жив ли еще Рождественский? Не было никакого плана битвы, во всяком случае — капитану никто ничего не сообщал. Офицеры пытались вычитать хоть что-нибудь из старых приказов — но эти приказы никак не соответствовали ситуации. Только-только мы вошли в строй за крейсерами, Коломейцев выводит «Буйного» из него. Огромный дымовой столб, словно перевернутая пирамида черных туч на небе, а под ней, под самой ее вершиной — красное пламя. Это горел «Суворов», флагманское судно адмирала Рождественского, уже наполовину затопленное. Офицеры протестовали, что места на корабле уже просто нет; тем не менее, капитан приказал подойти к броненосцу и взять его экипаж на борт. Мы всплыли в обстрел; японская артиллерия полностью накрыла «Суворов» и разбивала его в щепки — а у нас на палубе прямо тебе парад, сотни людей стоят и плятятся, если попадет снаряд — смерть верная. Шлюпки — а нету шлюпок; на «Буйном» все разбиты, на «Суворове» все горят или тоже разбиты. Что тут

делать? Коломейцев приказывает подойти еще ближе — а волна высокая, а огонь с «Суворова» словно из доменной печи, а японцы все лучше пристреливаются — все равно, приказывает подойти и принимать людей борт в борт. Так нам перекидывали с «Суворова» офицеров и раненых, пока, в конце концов, попали и в «Буйного», осколки изрешетили кока, спасенного с «Осляби». С очень глубокой осадкой, мы отошли от тонущего броненосца. Меня вызвали в офицерские каюты, первый помощник приказал мне заняться штабниками с флагманского корабля. Захожу в кают-компанию, которая уже превратилась в операционную... и кто лежит на диванчике под булаем? Вице-адмирал Зиновий Рождественский.

...Он ранен в голову, ранен в спину, ранен в бедро и стопу, медики его перевязывают, я повторяю вопрос первого помощника капитана: следует ли вывезти на «Буйном» вымпел командира Второй Эскадры? Нет! Поскольку сам он не способен командовать, пускай командует Небогатов! Возвращаюсь на мостик — Небогатов об этом ничего не знает, и знать не может, потому что с ним нет связи. Что делать? Долгий вечер в Цусимском Архипелаге, перешептывания офицеров над постелью вице-адмирала, я бегаю туда-сюда, передавая вопросы, вопросы и еще вопросы; и никаких ответов. Сколько единиц из всей Эскадры уцелело? Где остальные? Где японцы? Какие будут приказы? Какие планы? Что делать, что делать? «Буйный» идет за группой контр-адмирала Энквиста, но с поврежденным винтом его трудно догнать. А тут смеркает, а тут темнеет, видимость все хуже, волна мертвая, туман в безветрии, и только сообщения, одно ужасней другого, разрываются над головами господ офицеров смертоносной шрапнелью: «Бородино» страшно обстреляно, «Бородино» черпает воду, «Бородино» горит! «Орел» взорван! «Александр» тонет, затонул! Никто не спасся, восемьсот душ на дно. Впрочем, связь была паршивая, Эскадра разбрелась за пределы действия радиостанций. Рождественский повторял: Владивосток! Во Владивосток. Но что приказывает Небогатов? Дошел ли на «Николая Первого» приказ адмирала? До того, как стало совсем темно, нам, все же, удалось войти в строй за Энквистом, рядом с другими броненосцами. Небогатов поднял курсовые сигналы — а как же, полный вперед, во Владивосток. Мы ждали хоть какого-то боевого плана — до нас никакого не дошло. Рождественского уже никто ни о чем спрашивать не смел. Ночью японцам придется прекратить обстрел — зато ночью на нас ринутся их торпедные катера.

...Так что, снова: ужас темного океана, высматривание теней на воде, проглядывание темноты в бинокль. Теперь мы прилагали все силы к тому, чтобы не потеряться, держаться основных сил — какая-то часть, должно быть, в темноте оторвалась от Энквиста и приблизилась к броненосцам; те, тоже перепуганные, приняли наши противоторпедные суда за японские торпедные катера, началась взаимная перестрелка. На что Небогатов прибавил скорости, и мы тут же остались сзади, строй разорвался. Было приказано хранить полное затемнение. Так мы, в тревоге, переживали до рассвета, часами стоя в дрейфе после аварии котлов, затерянные во мраке. Нервов той ночи, я не забуду никогда. Никто ничего не знал, потому все воображали себе все, что угодно. На «Буйном» машины отказывали одна за другой; если бы на нас тогда напали торпедные катера, мы не смогли бы отойти хотя бы на милю. Я бегал от одного высшего офицера к другому, а каждый отправлял меня со своим вопросом, с иным страхом и другой версией. А над офицерами, на палубе и под палубой: еще больший водоворот страхов и чудовищных представлений в головах сотен матросов. Настала полночь, мы были уверены, что японцы торпедировали всех, кроме «Буйного», который затерялся в этих чужих водах настолько полностью, что даже враг не может его отыскать. Не могу я передать вам атмосферу той ночи, этого чудовищного разрыва между миллионами неуверенных мыслей, этого разбухания самых мрачных представлений — ох, уж

лучше бы нас атаковали, торпедировали, затопили! Все, что угодно, лишь бы хоть что-то решилось! Но нет. И до чего же тем временем доходило... Рождественский со штабными выдвинул предложение подойти к берегу, корабль затопить и сдаться японцам; штабные вытащили из-под адмирала белую простыню и пошли с ней к Коломейцеву. А тот взбесился, порвал простыню на клочья и выбросил за борт. Но на рассвете ему уже пришлось выслать радиogramму с просьбой о помощи: «Буйный» распадался, адмирала вместе со штабом нужно было перевести на другой корабль. Нас нашел крейсер «Дмитрий Донской» вместе с противоторпедными судами «Бедовый» и «Грозный»; мы пересели на «Бедового». Противоторпедные дали полный вперед на Владивосток, а «Дмитрий Донской» остался эскортировать «Буйного». Потом я уже узнал, что он затопил «Буйного» — на горизонте появились японцы, времени не было; один прямой залп уничтожил корабль капитана Коломейцева. А «Бедового», как оказалось, Рождественский выбрал, поскольку знал его командира, капитана Баранова. Этот Баранов ни в чем не мог ему противоречить. Сразу же приготовили белый флаг и взяли курс на Дагелет. Но с нами шел еще и «Грозный», а его капитаном был поляк, некий Андреевский. Венедикт Филиппович усмехается — ну да, нет никаких неожиданностей из того, как история пошла дальше. Баранов подходит к японцам, его орудия молчат; Андреевский спрашивает, что происходит; Рождественский приказывает ему смыться во Владивосток, а сам вывешивает на «Бедовом» флаг капитуляции и просьбы помочь с тяжело ранеными — *и што делает капитан Андреевский?* Он плюет на приказ, разворачивается и палит из всех своих орудий в японцев. Вице-адмирала чуть кондрашка не хватила. Мы сдаемся, а этот поляк атакует — и японцы одинаково обстреливают и его, и нас. Спросите меня сейчас, о чем я тогда молился: чтобы нас сразу же послали на дно или же чтобы целыми и здоровыми взяли в плен? Ну да, отвечу четко, пускай меня отец проклянет, если вру: и о том, и о другом.

— А Бог выслушал?

— Ну, я же сижу тут сейчас с вами! Рождественский сдался, все мы отправились в японский лагерь.

— А «Грозный»? — спросил доктор Конешин. — Что с тем польским капитаном?

— Он благополучно довел судно до Владивостока. Только трем или четырем кораблям это удалось, в том числе — и ему. Правда, сам капитан Андреевский был при этом тяжело ранен, после того, как снаряд попал прямо в мостик его корабля. — Насбольдт закрутил вином в бокале, опустив взгляд в темно-красный водоворот. — Что тут еще говорить... сами видите, господа: таковы войны Лета.

...Теперь же мы будем воевать по-другому. Никаких тайн не выдам, ведь и господин Поченгло или же господин инженер сами это прекрасно знают, работая в Холодном Николаевске, ведь на что идут транспорты наилучшего зимназа из Сибирхожето, чьим заказам первенство? Я поклялся, что, по мере своих скромных возможностей и способностей, сделаю все, чтобы стереть этот позор, и сейчас я говорю только лишь про цусимское поражение. Сначала по заказу Адмиралтейства я следил за производством — теперь уже не в Краю Лютов, но на море нужно выиграть Зиму. Много чего изменилось с одна тысяча девятьсот пятого... Ведь, поначалу, англичане построили первый дреднот — скорость, маневренность, орудия дальнего радиуса действия, единые параметры, броня. И все начали их копировать, приспособляясь к новым боевым условиям. Все, так что Россия, самое большее, могла только уравнивать шансы. Но с момента прихода Зимы, с открытия тунгетита и зимназа мы имеем здесь естественное преимущество. Зимназовые дредноты обладают скоростью узлов на десять выше по сравнению с дреднотами Лета. Их броня, более тонкая и легкая, тем не менее, выдерживает удары самых тяжелых снарядов. Орудия томской

конструкции, на иркутских холодах, со стволами, отливаемыми в Холодном Николаевске — посылают снаряды гораздо дальше, чем самые крупные корабельные орудия Лета. Тунгетитовые бомбы, если проявят себя на практике во время маневров, затопят в бою самые солидные суда, затягивая их на дно миллионнотонным балластом льда.

...Хотя, артиллерия, броня, технологии — не это изменит лицо войны в условиях Зимы. Его Императорское Величество смотрит в будущее, Адмиралтейство планирует на годы вперед, а Россия — Россия способна подождать целые поколения, если нужно, лет сто, а то и больше. Лёд прет через Азию, люты распространяются, Зима становится сильнее — понемногу, в темпе, который невозможно вычислить; в соответствии с законами, неизвестным петербургским профессорам, но сколько бы времени на это не понадобилось, в конце концов, волна доберется до границ континента, и Лёд — Дитмар Клаусович широким жестом притянул к себе белые заоконные пейзажи — Лёд сойдет на моря. Я не говорю, что океаны сразу же замерзнут, скорее всего, ничего такого не произойдет — но насколько же иными станут морские битвы под небом Зимы! Стреляем — и знаем, в кого стреляем. Если попали, так попали; нет — так нет. Плыдем именно сюда и никуда иначе. Приказы такие-то и такие. Победит, кто должен победить; проиграет — кто проиграть должен. Бесконечность подчинится конечности, фальшь — правде. Думаете, это всего лишь сибирские сказки, только байкальская легенда? Нет! Имеются планы, имеются стратегии.

...Так что, таково мое назначение, затем еду на Тихий океан, такова моя профессия и наипервейшая мечта: войны ледово чистые, геометрически красивые, с математически неизбежным течением. Когда мы этому научимся, когда овладеем тактиками Зимы, что сможет встать на пути Империи? Кто сможет угрожать России? Она победит, поскольку не сможет не победить.

И, подняв бессловесный тост, капитан Насбольдт быстро выпил остаток вина.

— Все войны с начала времен так выглядели, — с некоторым весельем заметил прокурор Разбесов. — Хаос, неуверенность и перемешивание лжи с правдой — других сражений человек не вел.

— Хммм, а вот связь, без связи, как же без связи? — зевнул, пробудившийся господин Поченгло. — Еще большая путаница, могу себе представить.

— Почему же «без связи», — спросило *я-оно*, поправляя плед на коленях и отодвигаясь от камина, так что мое кресло наехало на кресло прокурора.

— Венедикт Филиппович не *au courant* [\[193\]](#), — усмехнулся симметричный доктор. — Быть может, Никола Тесла вам объяснит. Вы когда-нибудь пробовали поймать хоть какую-нибудь передачу на этом аппарате в салоне? Во времена моего первого пребывания в Сибири, когда же это было, более десятка лет назад, только начинали испытания проводного и беспроводного телеграфа. Беспроводной в Забайкалье никогда толком не работал. Теперь даже с кабелем проблемы. А про радио — про радио можете забыть.

— Говорят, что это из-за Черных Зорь, — буркнул Петр Леонтинович. — Что они вносят помехи. Вот только в эфире, Зори — не Зори, вечно один и тот же треск. Из Благовещенска почта идет Транссибом и конными курьерами, а по кабелю — это на восток, в Николаевск-Амурский и во Владивосток, потому что в сторону Края Лютов один только Нерчинск более-менее надежен.

Я-оно дернуло себя за ус.

— Это значит, я правильно понял? А-а, это значит, что в Иркутске нет телефонов, нет телеграфа...?

— И господин капитан может разочароваться относительно всего плана, — подхватил уже совершенно развеселившийся доктор Конешин, — когда у него ни один корабль не

выйдет в море, закрытый в порту по причине карантина Белой Заразы. А ведь это эндемическая ^[194]болезнь Зимы, неведомая на землях Лета. Даже те, которых удалось спасти — господин капитан способен себе представить командование эскадрой кораблей, где экипажи остаются под властью самых различных нервных маний, повторяющихся странных поступков, навязчивых эффектов движения и речи?

— Господин доктор их вылечит, — буркнул Дитмар Клаусович.

— Ха! Вопрос капитальный! — Отклеив папиросу от нижней губы, Конешин поднял на высоту губ указательный палец, выпрямленный словно нож. — А следует ли излечивать от Зимы? Или, скорее, нужно излечивать от Лета? Все то, что враги Льда принимают за зло и извращение...

— Еще один приятель Льда, — возмутился про себя прокурор, стряхивая пепел из окурка в подsunутую стюардом пепельницу.

Я-оновынуло свой портсигар.

— Вы знакомы с доктором Конешинным? — спросило полушепотом.

— Нет, а что?

— Только что он упомянул, что уже жил в Сибири. Эта его, ммм, увлеченность Зимой... — Я-онозакурило. — Точно так же, как мартыновцы поддаются Леду по мистическим, не связанным с разумом причинам, так и господин доктор Конешин поддался чистой идее Льда. Вы понимаете, что я имею в виду.

Петр Леонтинович склонился через поручень кресла.

— Он вас уговаривал.

— Что?

— Ведь уговаривал, правда? — Разбесов махнул свободной рукой. — Они все... как ухажеры... как взяточники, я глядел на все это и думал: ну, кого юноша допустит к себе, кого выберет? И знает ли вообще, что он выбирает?

— А вы — очередной сводник Истории.

Прокурор не обиделся. Он сощурил глаза, повернул свою голову стервятника на выпрямленной шее.

— История... ну да, слышал, слышал, *tel pere, tel fils* ^[195]. Но почему? Потому что вы их притягиваете. Как свет притягивает мошек, даже хуже — как жертва притягивает обидчиков, такого человека легко узнать, а они узнают быстрее всего. Они пользуются возможностью, а тут уже сердце Зимы — так что спасайтесь!

— Спасаться?...

Разбесов наклонился еще сильнее, сейчас у него позвоночник треснет.

— Не то, что другие — но что вы сами хотите с Историей сделать!

— Я? — засмеялось сквозь дым, открытым ртом хватая воздух под волной жара. — Я ничего не хочу.

— Что это значит? У вас нет никаких стремлений? Вы не хотели бы увидеть мир лучшим, более совершенным? Что вы, каждый этого желает. Даже преступники — ба, они хотят больше всех, можете мне поверить, ни от кого я не слышал столько проектов общечеловеческого счастья и благородных мечтаний про рай на земле, как от убийц и других преступников крупного калибра, и чем более грязным было их преступление, тем скорее в своей последующей исповеди они обратятся к возвышенным словам, как будто бы в этом своем окончательном падении сброшенные на самое дно самого глубокого, самого темного колодца, они могли глядеть только вверх, и только одна единственная картина осталась у них в глазах: небо, звезды, простор ангельский. Вот тот каторжник-пьяница, который перед вами душу выворачивал — вот скажите, о чем он говорил, разве не спасении человечества? Ха!

— Те, что упали на дно, знают, на чем стоят.

— Вот вы смеетесь. А что тут смешного? Вы не знаете, чего хотите — как же вы можете знать, кто вы есть? Хотя, можете смеяться, пожалуйста — я смотрю, и сердце мое рвется. Я не говорю, что доктор Конешин прав. Но, ради Бога, в Троице Единого, нельзя же всю жизнь растворить в Лете!

...Было время, люди готовились к этой Зиме, словно к смерти, то есть, без страха, со спокойной уверенностью в себе, и так оно и остается дальше в нашей провинции, простой российский народ в Зиме рождается и умирает, мужик, сын мужика, сына мужика, у которого никогда не могло быть иной надежды на жизнь другую, кроме той одной, очевидной с самого рождения: в работе, к земле пригибающей, в несчастье, в нужде, в страданиях, именно что в безнадежности. Но у городских, у нас, людей образованных — мы были благословлены рождением в Лете, и Лето это, из поколения в поколение, длится все дальше, теперь уже не одно только детство, не только времена отрочества, но и потом, человек двадцатилетний, человек двадцатипятилетний, те или иные школы посещая, по миру вояжируя за семейные деньги, с того и другого цветка попивая любовный нектар, не избрав конкретной профессии или карьеры, не связавши себя священным, до самой смерти таинством с женщиной, не построив для себя дома — кто он? Так, мотылек порхающий, светлячок мерцающий, непостоянная радуга. Но, раньше или позднее, приходит Зима, сковывает его Мороз, и вдруг: кто я такой? что случилось? откуда короеды, неужто мои? и эта баба, рядом с которой просыпаюсь всякое утро — разве такую я выбирал? и эта работа, на которую всякое утро ходить должен, с сердечной ненавистью ко всякой там деятельности — и это моя жизнь? Не так все должно было быть! Именно они, они, срезанные Морозом дети Лета, пьяной ночью хватаются за кирпичину, чтобы разбить ею голову богатому соседу, и потом не слишком даже тщательно перетряхивая его сундуки... Не так все должно было стать!

Под хищным взглядом стервятника *я-оно* опустило глаза на плед и паркет, блестящий в отсветах языков огня, на само пляшущее пламя.

— Зачем вы мне, господин прокурор, говорите такие вещи?

— Можете считать меня суеверным стариком... Но я достаточно долго жил на землях Льда. Так что, стерегитесь! В Краю Льда не случаются неожиданные религиозные обращения и сердечные перевороты, не слышал я про закоренелых злодеев, вдруг падающих на колени пред иконами, но и про благородные души, только здесь находящих пристрастие в низости и преступлении. Кто каким сюда прибывает, таким, наверняка, и останется.

Разве что имеет под рукой насос Котарбиньского, подумало желчно *я-оно*.

Кивнуло стюарду. Тот подал пепельницу. Дало еще один знак — рюмка водки.

— Господин прокурор глянул своим прокурорским взглядом, пронзил подозреваемого своим взором насквозь, в один миг знает о нем все, даже то, чего тот сам о себе не знает — и это тоже, это скорее всего.

— Господин Ерослацкий...

— Герославский, меня зовут Бенедикт Герославский!

— *Oh, je vous demande pardon, je n'avais aucune intention de vous offenser* [\[196\]](#). Господин Бенедикт, прошу мне верить, в этом совете нет никаких злобных замыслов. Поначалу в армии, теперь на службе закона — все это профессии, в которых вырабатываешь глаз мясника, мясника, имеющего дело с людьми. Раз, два, гляжу — и уже знаю, уже решаю: этого послать с таким приказом, другого — с эдаким, а этот трус, первого шума перепугается, а вот этот храбрец, даже под огнем все выполнит. Точно так же и в следствии или судебном процессе: можно ли ему поверить? мог ли украсть? мог ли убить? Мясник как, он подойдет, осмотрит, ощупает животных: из этого будет хорошая корейка, этого еще кормить, того продать, а

этого на расплод. Вы скажете, что каждый человек иной, и что человек не скотина, человек это тайна. В романах выдуманных и в крупных городах, один на тысячу, на десять тысяч — возможно. А в жизни?

...Выдам вам мудрость, которую я приобрел после многих лет: люди очень похожи. Плохие люди похожи на плохих, хорошие люди — похожи на хороших, благородные подобны благородным, лжецы подобны лжецам, правдивые — говорящим правду, убийцы похожи на убийц, а дураки — на дураков; особенно здесь, на землях Льда.

— И на кого же похож я?

Петр Леонтинович Разбесов выдул тогда густой клуб табачного дыма и, вложив в него ладонь, сделал ею неопределенный жест, раз за разом сжимая при том пальцы. В конце концов, он остался с пустой рукой и наполовину разошедшимся седым облаком, и с меланхоличной улыбкой под носом.

Глотнуло теплой водки, откашлялось.

— То есть, вы не станете уговаривать меня в отношении лютов, не скажете, что я должен нашептать отцу... Вас это не искушает? Ведь вы же сами говорили: у каждого имеется какое-то представление лучшего мира, каждый чего-то желает. И какова же ваша мечта?

— Нет.

— Ну почему же? А вдруг, вы меня и убедите!

— Как я могу вас убедить, раз у вас нет собственного мнения?

— Боитесь взять на себя ответственность!

— Если бы вы и вправду были моим сыном...

— Что тогда?

— Вы пытаетесь упиться допьяна?

Я-оноуже махало стюарду, требуя вторую и третью рюмку.

— «Пытаюсь»? Разве это может когда-нибудь не получиться?

— Идите-ка лучше спать.

Глотнуло водку за раз. Разбесов схватил за поднятую руку.

— Идите спать, вместе со сном выгоните все это из себя, так душа изгоняет болезнь; а когда встанете утром, свежий, отдохнувший, умоетесь, побреетесь и глянете в зеркало — сами узнаете, кто вы, чего хотите, и что нужно сказать отцу.

Раздавило папиросу в пустой рюмке.

— Так. Правильно. У меня ведь инст... рукции. Приедет курьер. Старику не верь. Будь здоров!

Он помог подняться, поддерживая за локоть и хватая опрокинувшееся кресло, в то время как стюард склонился за пледом, упавшим опасно близко к камину. Экспрессом даже не слишком бросало в стороны, он не тормозил, не дергал, но все равно приходилось на каждом шагу хвататься за стены, за косяки, за чугунные выступы. В двери межвагонного перехода еще раз оглянулось через плечо, сквозь полумрак и полутень к светлому огню под зимназовой полкой камина. Инженер громко храпел, с отброшенной назад головой и раскрытым ртом; доктор Конешин и капитан Насбольдт дискутировали вполголоса с мрачными усмешками на освещенных мерцающими языками пламени лицах; а Порфирий Поченгло угощал прокурора из своего серебряного портсигара. Маячащие за окнами туманы белизны время от времени отблескивали на пассажиров, когда золотой месяц на мгновение пробивал тучи. *Я-оно* потрясло головой. Пьяная иллюзия, ведь Петр Леонтинович Разбесов ничем его не напоминает. Посеменило к себе в купе, вытирая плечом стенные панели и таща за собой негнущуюся ногу.

В коридоре, перед своим *атделением*, стоял в одиночестве князь Блуцкий-Осей, в толстом халате, вышитом красной ниткой, с гербом и инициалами на сердце, в сетке на волосах и с черной повязкой на усах. Сунув руки в карманы, он исподлобья глядел в окно, с прищуром век, столь характерным для близоруких людей. Он что-то насвистывал или напевал про себя, но *я-оно*, спотыкаясь в тесном коридоре, устраивало слишком большой шум; князь оглянулся и замолк, так что мелодию узнать не довелось.

Я-оно расплущилось на стене.

— Пр-шу пр-щенья.

Князь отступил.

Попыталось обойти его, избегая зрительного контакта, равно как и телесного, но именно тогда, то ли поезд шатнуло сильнее, то ли в голове перелился ртутный шар, затягивая за собой корпус и руки, вопреки чувству равновесия — упало на князя, буквально в последний момент, и слава Богу, опершись предплечьем о двери купе.

— Пр... шу... — Жарко, все окна закрыты, да тут же запросто задохнуться можно. Согнувшись в неудобную позу, одной рукой сражалось с застегнутым воротничком. — *M'excuser* [\[197\]](#).

Князь скривился, отступил еще на шаг и постучал в купе рядом, из которого тут же высунул голову советник Дусин. Блуцкий что-то шепнул ему, кивнул, подгоняя. Советник набросил на пижаму тужурку и вышел в коридор — еще один помощник: взял под плечо, встал боком, потащил, левая нога, правая нога. Только лишь добравшись таким путем до своего отделения и упав на постель (Дусин открыл дверь добытым из кармана моего сюртука ключом), в затянутом алкогольными испарениями воздухе стали появляться некие тошнотворно-удивленные мысли. Князь — ведь только что побить меня хотел, а тут такой милый старикашка, разве что конфеткой не угостил. Дусин — ну почему не проводник, стюард? Потянулось рукой за оставленным на секретере стаканом с водой. Дусин — потому что переговаривали с охранниками Теслы, поверили Фогелю. Секретный агент пришел бы Сына Мороза в пустом коридоре, да еще и среди ночи. Ха! Теперь князь станет его защищать, вопреки супруге. Приятель Николы Теслы — это приятель царя, враг лютов. Трах-бах, все вверх ногами. Да где же этот стакан? Рука соскользнула, снося на ковер бумаги. Бледные отблески льда отбрасывали вовнутрь купе холодные зайчики. Интересно, советник закрыл двери? Где ключ? Где трость? Уселось, сбросило сюртук и туфли. Уфф, Матерь Божья, что за жара! В двери постучали.

— Кого там еще черти несут?

Стук не утихает.

— Хозяина нет дома. *Пашли!*

И ничего, эта зараза стучит и стучит. И черт с ним, пускай стоит там и сбивает себе костяшки. Попыталось расстегнуть манжеты сорочки, помогая себе зубами.

Только Дусин двери не закрыл. Они медленно приоткрылись; в ледовый полумрак всплыла тень высокой фигуры.

Кровь ударила в голову, дыхание сперло. Пришел! Убить! Вырвало из-за пояса Гроссмейстер — тот выпал из рук, полетел под секретер. С грохотом упало на пол, переворачивая табурет и стаскивая на голову стакан. Схватило его ощупью и изо всей силы метнуло в дверь. Стакан взорвался на дверном косяке, рассыпая осколки во все стороны. Тень снова выскочила в коридор, дверь ударила о шкаф.

Выползло из под столика, разматывая тряпки с револьвера.

— ...*putain de merde*, если так, *mon oel, sacri bleu* [\[198\]](#) ...

— *Monsieur Берусс...*

Долговязый журналист осторожно заглянул в купе. Одной рукой он держался за щеку, другой протягивал тросточку с дельфином.

— ...за пианино простите вы позволите нашел думал шел к себе просить поговорить если вы не *bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit* [\[199\]](#)!

Очень осторожно он положил трость за порогом и сбежал.

Наконец-то поднявшись на ноги, спешно закрыло двери.

Так вот кем я-онозамерзнет, нечего и говорить: трусом. Захихикало. Познай же великую мудрость: трусы похожи на трусов! Зажгло лампу. Движение в зеркале — белая грудь сорочки, перекинувшийся галстук, неприятная физиономия, черный револьвер в руке. Широко расставив ноги, нацелилось Гроссмейстером в зеркало, прикрывая левый глаз и высовывая язык. Замерзай! Пиф-паф, русская рулетка, на кого попадет, тот и войдет в Край Лютов: венгерский граф, боевик Пилсудского, безумный математик, Сын Мороза, враг мартыновцев, союзник тех же мартыновцев, пес Раппацкого, заядлый картежник, очковтиратель и лжец, приятель Николы Теслы, предатель и трус, и великий герой, управляющий Историей, человек, которого нет и, возможно... — Тук-тук.

— Эй, кто там! Отвечай! Или расстр-ляю!

— Пан Бенедикт? С вами все хорошо? Мы услышали шум. Ничего не произошло? Пан Бенедикт?

— А, нич-го, пр-шу прощения, пускай Мариолька возвращается спать, то есть, хотел, пани Уршуля, все будет тихо, тетя, тихонечко, тшшш. Доброй ночи панне Елене!

— Хмм, ладно, спокойной ночи.

Ушла.

Склонилось за тряпками от Гроссмейстера и зашипело от боли. Подпрыгнув на здоровой ноге, присело на табурете. Стекланный обломок прорезал носок и кожу, вонзился в пятку. Ногтями его никак схватить не удавалось, тем более, обгрызенными до живого; тут помог бы пинцет или какая-нибудь иголка. Нашло раздавленное вечное перо, узкая полоска стали еще торчит, остальное в шее Юрия. Но, может, лучше сначала продезинфицировать. Потянулось к бару. Что там еще осталось — ага, водочка, отлично, отлично. Полило. А остаток себе в горло — нечего терять понапрасну. Потом приступило к операции по извлечению стекла из пятки. Длук-длук-длук-ДЛУК, согнутый вдвое на табурете, с ногой, неуклюже подтянутой чуть ли не к подбородку, с нечеловечески болящим коленом, с кривым пером... Коль-коль...

Тук-тук.

Коль!

— Бляди некрещенные, в говне топлёные!...

Слетело с табурета, стукнувшись при том головой о кровать.

— Вы откроете?...

— Поченгло...?

— Простите. — И снова: «тук-тук, тук-тук».

Пяля глаза на покрытый блестящими осколками ковер, на четвереньках отправилось к двери, волоча левую ногу, словно хромым пес. Достав до ручки, повернулось на заднице и выкручивая конечность, чтобы вырвать из раны золоченый Eyedropper.

Господин Поченгло встал на пороге и тут же опешил.

— Ну, чего хотел? — буркнуло я-оно, изучая новую фантастическую форму авторучки.

— Видно, и вправду... — Поченгло вынул платок, вытер пот над бровью, высморкал нос; аура тьвета осталась той же самой. — Не самое подходящее время...

Нацелило в него искалеченное вечное перо, снова с кровью на конце.

— Давай уже, говори.

Быстро глянув в коридор, тот вздохнул и присел на пороге на корточки, хватаясь за двери.

— Вы понимаете, хотелось наедине, до Иркутска... Вы меня слушаете? Панна Елена Мукляновичувна...

— Панна Елена...

— Да тихо же вы! — испугался предприниматель. — Тихо, — шептал он. — Ну, нажрались же вы, как свинья.

— Ннне пон...лл! Вы м...ння оскорбляете! — *Я-он*оразмахивало окровавленной авторучкой перед носом раздраженного Поченгло. — Тр...буюсатисфахкц.... Им...нно... Садисфах...ции.

— Вы сейчас тут рвать начнете.

— Поебинек [\[200\]](#)на — на — на четыре, два метра, и кто кого обрыгает — а я рыгаю дальше! Ну, давай, пан! Я рыгаю, как никто другой! Так зарыгаю, что родная свинья не узнает!

Тот отпихнул руку с авторучкой.

— Хам, грязный хам. А я думал, как к шляхтичу, по сердечному делу... — Поченгло встал. — И что она в вас увидела?

ТЬфу!

— Хи-хи-хи-хи.

Тому хотелось хлопнуть дверью, не удалось — пришлось уйти без громкого жеста.

Отползло назад на четвереньках. В дверь бросило туфлей, закрылись со второго раза.

По сердечному делу, ну и дела. Втюрился он в Елену, что ли... Обвязало пятку галстуком. Грязный, отвратительный хам, почему бы и нет, замечательную карьеру можно сделать, перед хамством большое будущее, весь мир открыт перед хамством; субтильные, стыдливые и впечатлительные перед ним уступают, ведь это только хам не уступит; умные никогда не вступают в дискуссии, которые они проиграют после первого же удара дубиной; благородные сожалеют над несчастьем хама; а хам прет вперед, ничто не мутит покоя его хамской души, хам не стыдится, не краснеет, не улыбается с извинением, он даже не замечает насмешек и издевок, никогда он не чувствует себя не в своей тарелке и неудобств — он же ведь хам! Что его удержит? Нет такой силы. Воистину, хамы овладеют Землей, хамство воссядет на тронах всего света. Сунуло башку в умывальник и блевануло туда пол-литра желудочного сока и водки. Длук-длук-стук-стук, к стене подкатилась открытая бутылочка. Перевернув ее вверх дном, вытрясло в глотку остатки спиртного.

Таак. Втюрился, бедняга. На четвереньках потянулось к кровати. К колену приклеился листок. *Я-оно*смело разбросанные бумажки. Ага, что у нас тут — *К вопросу о существовании будущего*, херня, будущего не существует, впрочем, прошлого тоже нет; ага, второе письмо PPS, шифр параллельной памяти — *скажите мне: правда или фальшь?* И еще почерканные листки — письмо панне Юлии! Ой, как долго уже ей не писало! Совершенно забыло.

Цапнуло карандаш. Пальцы скользкие, выскальзывает. *Вы уж простите мне, что столько времени это заняло* — ну почему этот поезд так трясется! — *так что понадобилось напиться допьяна* — нет, вот этого я ей не напишу — *понадобилось заглянуть в глаза смерти* — о, как драматично! — *чтобы понять* — а что понять? — *все ошибки, моменты пустые, принуждения безумия* — нет, это же надо, напился, теперь еще и белым стихом пишу! Почесало карандашом в ухе. Мне казалось, что я вас люблю, поскольку это было слишком прекрасной идеей, чтобы ее отбросить — что есть более возвышенное, чем несчастная любовь? Прекрасно понимаю, что вы не давали мне к этому никаких... — а когда усмехалась из-под челки, когда хватала быстрой

ручкой за запястье, за предплечье и прижимала к себе, вреда бы для того, чтобы задержать и обратить внимание, чтобы получше в ее слова вслушаться, не потерять ее закрученных, змеиных мудростей, но разве женщинам не ясно, неужто не понимают они, что не откровенный поцелуй, не возможность полатать в темном парадном, не простые, банальные слова, но — один летучий взгляд, улыбка из-за платочка, краешек платья, спадающий под столом на штанину кавалера...

...Как тогда, когда мы стояли под липой в осеннем дожде, девушка что-то быстро щебетала, потирая руки и глубоко вдыхая пропитанный дождем воздух, пока над лугом не ударила молния, а за лесом другая, собирайся, Юлька, крикнул я, бегом из-под дерева, а то и в нас попадет! Мы побежали по меже, через поле и по болотистой дороге в амбар Вонглов. Потом Юлия вытряхивала дождь из волос, капли воды, словно стеклянные бусины, только их твердого стука, когда падали на утоптаный земляной пол, не было слышать — вытряхивала, склонившись вперед, низко опустив голову, между коленей; на изгибе ее спины, у самого верха, над вышивками, а под воротником легкого платья, сквозь его мокрую ткань пробились формы самых верхних позвонков, круглые холмики, будто пуговики кожи, застегиваемой на теле сзади и изнутри, то есть, какими-то алыми пальчиками хрящиков и сухожилий за ребрами, со стороны грудины, от легких и сердца. Я протянул руку и положил ладонь на этих позвонках, прижал пальцы к шее Юльки. Под ними я чувствовал каждую косточку, каждую пуговку. Она оглянулась через плечо. В замешательстве, я отступил. Она встала в дверях амбара, засмотревшись на дождевой пейзаж, за усадьбой открывался вид на всю долину в дожде, на выборные земли и арендный лес. Она весело захлопала в ладоши. — Все это будет мое! — Я согласился, как с детства привык соглашаться со всеми ее планами. Я стоял сзади, но не видел ничего, кроме нее. Руки тряслись, пришлось спрятать их за спину. Пуговики позвоночника вырисовывались под тканью уж слишком выразительно. Мне так хотелось ее раздеть...

Любови Лета совершенно другие.

О предсказании будущего

Жестокая метель смазала формы застроек вокзала в Канске Енисейском [\[201\]](#), замалевала белыми полосами весь перрон и даже сам состав Транссибирского Экспресса, так что после того, как я-оносошло с самой нижней ступеньки подставленной лестницы в уже подмерзающую серую грязь, видело едва лишь два ближайших вагона, фонарь и старую подвешенную под ней предупредительную табличку и, разве что, освещенный феерией радуг массив зимназового паровоза вдали — резкая чернота, пробивающаяся сквозь всеохватывающую белизну — и больше ничего.

На табличке, из-под толстого слоя инея, краснела кривая надпись:

ЛЁД!

Как будто бы кого-то еще следовало информировать. Кан и Енисей подо льдом, на деревьях висят кисти сосулек, вырывающийся из-под машин пар перемещается над землей угловатыми облаками. Застегнуло новенькую, первый раз надетую шубу, натянуло на голову тяжелую шапку и поковыляло к задним вагонам состава. Трость скользила в стороны на мерзлоте, прикрытой свежим снежком — никакой тебе опоры. Колено пронизывала резкая боль, в башке гудело, желудок конвульсивно сжимался и разжимался, поднимая к горлу

теплую кислоту, а горло болело уже само по себе. Перетопленные до невозможности вагоны первого класса настолько высушили за ночь воздух в купе, что к утру человек просыпался с подошвой козацкого сапога, вшитой к небу за языком, и с куском пемзы вместо самого языка. Я-оно выпило прямо из-под крана чуть ли не литр воды, пока из гортани раздался более-менее человеческий голос. Голос — а точнее очередное утреннее проклятие при виде проявившейся в зеркале ужасной хари. Дело в том, что заснуло с лицом, лежащим прямо на незавершенном письме, и вот теперь, под глазом, словно рисунок на лице циркового клоуна — карикатурой на слезу — выпирал удлинённый треугольник карандашного наконечника. Зевалось так, что трещала челюсть.

Восемь утра по местному времени, Солнце подчиняется астрономии Лета, но на земле — Зима. Я-оно задрало голову, пытаясь заглянуть вовнутрь купе, мимо которого как раз проходило, отделения панны Мукляновичувы, но окно было занавешено. Наверняка сляг, ясное дело, дрыхнут; я-оно тоже должно было спать — если бы не настойчивое воспоминание вчерашних слов прокурора Разбесова, и если бы не чудовищное похмелье...

Скрип-скрип, нет, это не эхо в метели, это кто-то, идущий сзади, спешащий шаг в шаг. Остановилось, отвернулось.

Дусин.

— День добрый.

— Приветствую.

Он тоже остановился.

Стиснуло зубы. Не собирается я-оно отзывать первым, даже если бы пришлось торчать здесь до отхода Экспресса.

Советник поспешно закончил застегивать пальто, воротник наставил торчком, натянул на уши лисью шапку.

— Вы уж простите. Когда бы вы не покинули поезд, в течение всего этого дня, пока мы не прибудем в Иркутск — я буду вас сопровождать.

— Ах! — Замигало, когда снежинки сцепили ресницы. — И что на это княгиня?

— Их Светлости...

— Поссорились.

— Вечером, перед танцами...

— По моей причине.

— Не желая того...

— Вы проговорились князю. Он поверил в то, что...

— Теперь они не...

— Не разговаривают друг с другом.

Так чьим же человеком, в конце концов, является Захарий Феофилович Дусин? Присматривалось к нему сквозь кружащую белизну. Тот стоял, сунув руки в карманы пальто, с гордо поднятым подбородком, змеиный взгляд прожигал метель.

— И вы уже полностью лишились ваших мартиновских или там ледняцких страхов?

— Его Светлость приказал, Дусин пошел. Ее Светлость приказала, Дусин тоже пошел. Так что не спрашивайте, чего боится Дусин.

Я-оно откашлялось.

— Но, возможно, сейчас это и ложь, может, именно сейчас именно княгиня вам приказала — пойти за мной, сунуть мне нож в почку, как только отвернусь спиной к ангелу-хранителю.

— Я не лгу!

Лгал? (Теперь глянуть, как прокурор Разбесов!) Не лгал.

Отправилось к вагону Теслы. Дусин в двух шагах сзади.

Открыл Фогель. Шарфом он прикрывал рот от мороза, вторую руку подал, помогая подняться. Он хотел помочь и Дусину, но *я-оно* отрицательно покачало головой. — Подождите снаружи! — Седой охранник поглядел странно и задвинул дверь перед носом советника. Потом снова насадил на нос очки, протерев перед тем их платком.

Я-оно разглядывалось по вагону.

— Доктор Тесла есть?

Фогель указал за одеяла, развешенные поперек вагона, от корпуса самого большого агрегата до кучи жестяных ящиков. Тяжелую ткань отвернуло тростью. Это было что-то вроде предбанника, придуманного, чтобы задержать тепло в самой дальней части вагона, где находились постели охранников, самовар, а теперь еще и массивная чугунная печка, дымоходная труба которой выходила из вагона через верхнее окошко, уплотненное просмоленными тряпками. Доски пола толстым слоем покрывали старые сенники, дырявые шкуры, мешки с тряпками; по всему этому шло словно по болотистому торфянику. На табурете у печки в расстегнутой черной шубе и в котелке сидел Никола Тесла; сгорбившись, он что-то записывал в оправленной в кожу книжке. На лежанке, под одеялами и засаленным полушубком похрипывал Олег. А над фыркающим самоваром склонилась *mademoiselle* Филипов, именно она первая схватилась с приветствием.

Правда, взглянув вблизи, она надула губки и заломала руки.

— *Mister* Бенедикт, да на кого же вы похожи, вам же следует лежать, видно, с вами не так хорошо, как говорил доктор Конешин, а еще эти танцы, вам не следовало бы, ну вот, вы же еще хромаете, и что же вы с собой делаете?

Поцеловало ее теплую ручку.

— Они нас понимают? — спросило *я-оно* по-французски.

— Кто?

— Наши канцелярские рыцари.

— Нет. Не знают...

— Но могут понять, то, что наиболее главное, — отозвался Тесла, поднимая глаза от записной книжки. — Если то, что рассказывают про Страну Лютов, является правдой.

Хромая, подобралось к нему, подхватило изобретателя под руку; гладкий мех шубы выскальзывал из пальцев в перчатке.

— Помните наш разговор? — шепнуло *я-оно*. — Возле таежного костра.

— Да, — он глянул сверху, втягивая сухие щеки. — Вам не нужно спрашивать.

— Хорошо. Насос Котарбиньского — Фессар повредил машину, я сам видел.

— Насос... Ах, этот. — Он бросил взгляд на мадемуазель Кристину. — Я еще вчера отремонтировал. — Тесла поднялся, щелкнул пальцами, обтянутыми белой тканью. — Уже подаю.

Мы перенесли его из передней части вагона, поставили на ящик возле самовара. Серб сбросил с него мешок.

— Меня и раньше интересовало, — буркнуло, стяговая перчатки, в то время как доктор Тесла подключал к аппарату черные кабели и впрыскивал между движущимися металлическими штуками теплую смазку. — Что конкретно приводит эту штуку в действие, не вижу каких-либо...

— Думать, думать, молодой человек! Когда я кручу ручкой и механическую силу превращаю в тьмечь, то в обратную сторону...

— Понятно, энергия из теслектрических аккумуляторов. Интересно, это более производительно по сравнению с паровыми и нефтяными машинами?

Изобретатель пожал плечами.

— Ведь это только прототипы, один раз считаю так, другой раз — эдак, посмотрим. Ну да, более производительные. Ладно, пожалуйста.

Голой ладонью схватило зимназовый ствол, Никола Тесла нажал на курок.

...на мадемуазель Филипов, которая приглядывалась нисколько не с испугом, не с гневом и упреком на светлом личике, которое мороз украсил конфетным румянцем, но с какой-то нездоровой интенсивностью, с каким-то ироничным удовлетворением, немигающими, прищуренными тазами. При этом она постукивала каблуком по ящику и дула в свои вязанные крючком рукавички. Не может такого быть, вот сейчас взорвется она возмущением, горькими упреками, затем, надувшись, убежит. Нет, не так: бросится, стиснув кулачки, на Николу, на машину, вырвет провода, растопчет. Нет-нет, иначе: сама схватится за зимназовый провод, встанет перед Теслой, пускай тут же откачает из нее тьмечь, пускай стреляет! Или еще не так: девушка сломается, вся ее ирония из нее испарится, и она разрыдается, топая ногами в детской неудовлетворенности в мешки и тряпки. Нет, не так, иначе:

Она вынула из кармана платочек.

— Приведите себя в порядок.

— *Merci bien* [\[202\]](#).

Оттерло подбородок, на котором собралась слюна, что вытекла из неосознанно раскрытого рта.

— Остаешься? — спросила Кристина у Теслы.

Тот не ответил, наклонившись со сморщенными бровями над насосом, который в это время начал странно покашливать и посвистывать; серб только поднял руку. *Mademoiselle* Филипов поняла.

— Ладно... господин Бенедикт, в таком случае...

— Прошу меня извинить...

— За что же вы извиняетесь?

Она застегнула пальто, поправила накидку и, приказав Фогелю проследить за самоваром, вышла; тут же заскрежетала отодвигаемая дверь.

— Чего она хотела? — ничего не понимая, спросило *я-оно*. Где перчатки? Левый карман, правый; обнаружило их всунутые за цепь агрегата. Как же без боли натянуть их на не подчиняющиеся, разбитые пальцы? Никак не удастся. — Уй... Опасалась, что снова приключится какое-нибудь несчастье, но теперь...?

— Я разговаривал с ней ночью, — тихо ответил Тесла, все еще по-французски, не поворачиваясь. Фогель забренчал крышкой чайника, Олег протяжно застонал во сне. Серб глянул на охранников. — Она слишком много выпила, мы сидели долго, в конце концов, я все ей рассказал.

— То есть...?

— Все, мой недогадливый приятель, весь ваш незрелый план.

— Мой — что?

— Да идите уже!

Вздохнуло по глубже, раз, другой. Ботинки погружались в грязном матраце из соломы и опилок; поезд стоял, тем не менее, весь товарный вагон раскачивался в стороны под нестойкими ногами. Вышло за затянутый одеялами предбанник и только потом вспомнило про трость; повернуло обратно. Доктор Тесла даже и не глянул; он уже отключил трансформатор и теперь подключал к извлеченным наверх тунгетитовым внутренностям машины какой-то измерительный прибор, изготовленный из термометра и стеклянной колбы, поросшей губчатой дрянью.

Дверь вагона оставалась отодвинутой, осторожно спустилось — Дусин помог.

Mademoiselle Филипов стояла рядом, радостно улыбаясь тайному советнику.

Подхватило ее под локоть.

— Вы с ним не разговаривайте! — шепнуло резко.

— Ай! Я ничего не скажу, не дурочка.

Дусин не тронулся с места, молча приглядывался; с руками, опять сунутыми в карманы, с понурым русинским взглядом.

— Пошли! — потянуло девушку в метель. Заболело колено, закрутилось в голове, белизна, белизна, слишком много белого, где верх, где низ, во что вонзить трость, это туча или сугроб? Кончилось тем, что Кристина служила и опорой, и ориентиром, она первая ставила ногу. — Простите.

— Нам нужно будет потом все это оговорить, — шептала девушка, прижимая зарумянившееся личико к воротнику шубы. — Наедине. В Иркутске я помогу вам со всем.

— Помогу... — с чем?...

— Со спасением для вашего отца! Разве не для того вы накачиваетесь этим ядом? Чтобы выдумать, чтобы, как говорит Никола, переболтать у себя в голове, вытащить кролика из цилиндра — ведь правда? — придумать, как спасти фатера! Для этого ведь!

— Нет. Так. Нет. — *Я-оно* остановилось. — Не могу, прошу вас чуточку... — Тяжело оперлось на трости, вонзенной в мерзлоту, громко раскашлялось; горло и легкие не справлялись с морозным воздухом. — Подслушивает?

Она повернулась.

— Не вижу.

— Не поднимайте голоса. Это все... так просто не расскажешь. Я просил Николу, но... — Натянуло шапку на глаза. — Все так говорится потому что говорится легко, скажешь то, скажешь другое, как момент человеком повернет, и, возможно, тогда даже веришь в собственные слова, но — как вообще можно говорить о будущем? Как можно сказать «я поступлю так-то», «сделаю то-то и то-то»?

— Вы боитесь?

— Ха!

— Не хотите отца от Мороза высвободить?

— Но ведь мы еще даже не в Иркутске! Вы требуете от меня, чтобы я предугадывал будущее, по снегу ворожил.

Девушка надула губы.

— А вот господин Зейцов может.

— Что?

— Ворожить по снегу. Это называется криомантия. Он показывал мне. Надо положить ладонь в миску с водой, но плоско, раскрытую, вот так, и держать на самой поверхности, и так выставить миску на мороз — и глядеть, как вода замерзает вокруг ладони. И вот по этому узору тоненького льда, как по вышивке между пальцами, по этому вот читают судьбу.

— Вы верите во все эти гадания, в гороскопы и таро? Ах, да, я же видел вас на сеансе княгини. Все это обман нынешнего разума! Если бы сам хотел обмануться — что может быть проще? Ну, например, несчастный господин Фессар. Когда мы его нашли, кгм, с разбитой головой, вы уж простите меня, с разлитой кровью, как будто бы его красным муслином обвязали да еще и масляной краской подмалевали — именно таким я его уже пару раз раньше видел, думая тогда со всей уверенностью: кровь, убитый, мертвый, не живой.

— Вы видели...?

— Пророчество, скажете, ворожба, кхр, — продолжало *я-оно* все скорее, несмотря на першение в горле и замороженный нос. — Но ведь именно в этом и состоит обман, которому

поддаются все верящие, будто бы прошлое и будущее существуют, что существует вчерашний Юнал Фессар и завтрашний Бенедикт Герославский. Но на самом деле, существует лишь нынешняя память прошлого и нынешнее представление о будущем! И, поскольку сейчас помню, что господин Фессар умер именно так, как умер, кххххр, помню теперь и свои более ранние образы его смерти, именно такие, а не иные — и вот в моей голове появляется, после сложения двух несуществующих видений прошлого — выполненное предсказание.

...Когда вы читаете гороскоп, когда слышите прорицание, будущее, о котором в них рассказывается, еще не существует; когда же случаются вещи, про которые вы помните из старого гадания, не существует самого старого предсказания или гадания — но только лишь ваша память о нем. Именно на этой самой ошибке основывается все шарлатанство доктора Фрейда: мы не интерпретируем воспоминаний прошлого, кха-кха-кхххр, но подклеиваем к нынешней интерпретации подходящее нам прошлое. — Раскашлялось серьезно. Нашло в кармане платочек *mademoiselle* Филипов, прижало его ко рту, дыша теперь через материю, через перчатку и ладонь. — Я совсем не утверждаю, будто бы это, кптрр-кха, ложь, что мы сами лжем. Эти вещи находятся за пределами правды и лжи. Пошли, а не то поезд снова уедет без меня, нас просто не заметят в этой метели, кха-кха-кххрр.

— Вам лучше бы не разговаривать.

— За пределами правды и лжи — прошлое, будущее. Фантазирует тот, кто рассказывает и пишет о будущем, и точно такую же фантазию творит тот, кто рассказывает и пишет о прошлом, то есть, о не существующих людях, вещах, странах. Всякая память лишь настолько правдива, если она не перечит настоящему. Кхххрр, кхррр. Вот поглядите за собой: вы видите наши следы в снегу? Следовательно, я солгу, если скажу, что минуту назад мы стояли там, а не там. И только лишь, и это все, что, кха-кха, имеется от прошлого. А кроме того, а дополнительно — видите сами — ничего, белизна, белизна, нет ничего, ничего за нами стабильного, точно так же и перед нами ничего уверенного нет. Так что не давайте себя обманывать, не позволяйте себя очаровывать тому, что не существует. Гоните Зейцова прочь. Не верьте им: ворожеем, стратегам, детективам, пианистам, историкам. Любой исторический роман — это роман фантастический. Кхррр-кхрр.

...И пусть мадемуазель присмотрится к механике, свойственной людской памяти. Это устройство, — стукнуло себя тростью по шапке, — действует по своим собственным законам, которые не похожи на другие законы. Как я утверждаю, мы никогда не видим того прошлого, которое было; но видим его сквозь фильтр нашего последующего опыта. Вот вспоминаешь приятеля детства и готов руку отдать на отсечение, что он был ребенком громогласным и радостным — поскольку именно таким знаешь его по последующим годам; но, возможно, в раннем детстве он прятался по углам и бежал от всякого резкого слова? И не узнаешь, кха-кха, прошло не существует. Вспоминаешь давние случаи, вот, первое *rendez-vous* [203] с любимым — и ведь не помнишь встречи с незнакомцем, которым он тогда был, но уже с человеком, с которым близко знаком много лет. Потому-то многие клянутся, что их любовь была любовью с первого взгляда: ведь тот первый взгляд, который им помнится, уже несет в себе будущие наслаждения и чувства, которые пришли потом. Правды не узнать, правда о прошлом не существует. Кхххрр! Взять, какое-либо повторяемое событие: похороны, болезнь, поездка — которое вы испытали в последнее время под знаком того или иного состояния духа, в том или ином настроении, в тех или иных оформлениях материи... Так это уже было в прошлом! Кха-кха! Это к вам обратились знаки-символы! И это всего лишь скрежет в машинерии вашей памяти. Вот, разве не бывало у вас такого впечатления, предчувствия на грани уверенности — что наша жизнь, то есть: наша память о ней, состоит из последовательности все время отражаемого эха, одни события напоминают другие, одни

слова — другие слова, одни чувства — иные чувства, одни люди — других людей, одни предметы — иные — повторяемый узор, организующий все наше прошлое. И ведь все это образы-миражи, иллюзии не существующего, бесконечно отражаемые внутри черепа.

— И все же... — *mademoiselle* Филипов задумалась, склонила головку, липкий снег оседал у не на волосах, — но ведь должны быть какие-то способы; я могу представить, что сразу бы сделал Никола: взял бы и записал, дословно записал бы все предсказание с указанием дня и часа; и когда потом пришлось бы его проверить, то уже не память, но доказательство на бумаге свидетельствовало бы о прошлом — вещь материальная, которую можно пощупать руками.

...И почему вы не можете спланировать будущее по собственным намерениям, вот этого я никак не пойму. Ведь ни у кого оно не складывается точно так, как он его себе задумал — только это вовсе не причина, чтобы жить только сегодняшним днем, нынешним моментом, ведь правда?

— Вы хотите заставить меня принести героическую присягу: я выступлю против охранников, чиновников и мартыновцев, против лютов, что я разморожу отца и выведу его из Сибири. Но как я могу давать слово за человека, которого не знаю?

— То есть, за кого же?

— За Бенедикта Герославского, которого нет!

Кристина отшатнулась.

— Нет, вы еще больший чудака, чем рассказывала Елена!

Из белой мглы появилась туша пассажирского вагона. В окнах горел свет, ряд светлых прямоугольников определял границы метели. *Я-оно* стерло ледяные хлопья с усов и щетины.

— Откуда же мне знать, найдется ли в будущем такой Бенедикт Герославский, которого охватит такое же отчаяние, как вчера — которое помнится со вчерашнего дня, а?

— Ах, вот почему вы этим черным током Николы стреляетесь? «Не живет, но, возможно, живет». Так? Не хочет, но, может, хочет. Боится, но, возможно, не боится! — Кристина ткнула указательным пальцем, почувствовало даже сквозь шубу, она ткнула еще сильнее, потом ударила открытой ладонью из неуклюжего замаха, чуть не поскользнувшись при этом; схватило девушку за накидку, обняло ее за талию. В ответ она резко наступила на ногу.

— Вуоой!

— Вы меня за глупое дитя принимаете! А я все понимаю! Я знаю, что вы тогда сделали с Николой! Но почему же тогда вы не воскресили турка? «Несчастливого господина Фессара»!

Я-оно откашлялось.

— Вот Богом клянусь, об этом не подумал. Но с его разбитой головой... в присутствии стольких свидетелей... опять же, он был уже потерял много тьмечи... Вы считаете, будто бы я этим как-то руководил, что — запланировал то, что Никола оживет? Это был бросок монеты.

Кристина презрительно фыркнула.

— Но ведь, когда речь пойдет о вашем отце, вы монету бросать не станете?

Еще от нее стыда наесться! Еще перед нею краснеть, пред ангелом стыда под лед проваливаться!

— А что я сейчас делаю, — заорало *я-оно* через метель, облако горячего дыхания взорвалось перед лицом — белый пар, черный пар, мороз. — Что я сейчас делаю!? А!?

Mademoiselle Филипов, перепуганная, отступила, с открытым ртом и, инстинктивно широко, разложенными руками.

— Кого бы вам хотелось! — вопило *я-оно*, размахивая тростью. — *Чудотворца! Героя!* Нету, нету, нету! Кха-кхаррр! — Тяжелая шапка упала с головы, отпихнуло ее в снег, под

колесо поезда. Кто-то стоял на ступеньках, сосветом Люкса за спиной, силуэт в длинном пальто. Я-оноразмахивало тростью во все стороны, в том числе — и на него. — Не стану я лгать! — хрипло орало по-русски и по-польски. — Никакой лжи! Только правда! Без меня! Корр. — кхрр! — В конце концов, я-онопоскользнулось и свалилось на землю, больно ударившись лопаткой о заледеневший сугроб.

Боже, какое облегчение, лежать вот так в снегу, не двигаясь, в теплой шубе, под небом успокаивающей белизны, когда чудесно прохладные снежинки падают прямиком между губ, тая уже в облаке темного дыхания — прямо из белизны над обращенными книзу лицами капитана Привеженского, тайного советника Дусина и Кристины Филипов.

— Дорогая *mademoiselle*, с вами ничего не случилось?

— Мы просто так громко беседовали.

— Да я же видел. Пьяный?

— Нет!

— Он был в вагоне с машинами доктора Теслы, так что, пускай господин капитан ничему не удивляется; я помню, что вчера вечером вытворял покойный господин Фессар; хорошо, что этот теперь в тайгу от нас не сбежал...

— То есть, вы говорите, это так же, как с теми умалишенными, что американский доктор им ток через мозги пропускает, и они потом...

— А вот не знаю. Но сами видите, господин капитан.

Не растаявший снег падал на язык. На вкус он был словно самая чудесная родниковая вода.

Капитан Привеженский пнул под ребра (шуба погасила силу удара), сплюнул и ушел, скрип-скрип.

Кха-кха, смеялось я-онопро себя, лежа на льду, смеялось, поднимаясь, когда Дусин со смущенной *девушкой* тянули, смеялось, когда мрачный советник насаживал на башку заснеженную шапку и вел к ступеням и внутрь вагона.

— А вам, мадемуазель, — посоветовал он еще Кристине, — не следует в Сибири выходить с непокрытой головой, даже если мороз самым легким кажется, так и жизни можно лишиться.

Та лишь немо кивнула.

Хихикало, когда Дусин тащил по коридору и запихивал в *атделение*.

— Благодарю, Валентин, — воскликнуло я-оно, шаря в кармане в поисках рублевки, — только, Валентин, закройте за собой дверь.

На сей раз ему удалось ею треснуть громко.

Упало на кровать — в шубе, в шапке и в ботинках — и так и заснуло.

Светени танцевали на стенках купе, на затянутом белизной окне, когда поезд проезжал мимо стоящих рядом с путями массивов лютов, длук-длук-длук-ДЛУК; потом остались одни лишь светени под веками, те, что были негативом красных пятен. Теслектрический ток щекотал жилки и разтьмечивал сны.

О температуре, при которой замерзает правда

Прокурор Разбесов нахмурил свои кустистые брови, отложил нож и вилку, вынул из внутреннего кармана очки в проволочной оправе, тщательно протер стекла, затем насадил на кривой нос. Насадив, отклонился на стуле, не в области плеч и шеи, но всем позвоночником, и только лишь потом глянул над столом с посудой, над бульоном с вермишелью, фаршированной уткой, *pommes soufflées* ^[204], холодным салатом и горячим

соусом.

— *Гаспадин Герославский*, — заявил он, — забираю свои слова обратно; я и не заметил, а ведь вы уже лютовчик.

— Ллюжия, — закончило глотать *я-оно*, — иллюзия...

— А ну-ка, протяните руку к свече!

Он схватил под самый манжет и подтянул ладонь к огню. Повернуло ее боком, чтобы не занялись бинты на пальцах. Пламя лизнуло кожу и на самое краткое мгновение — разве что глазом мигнуть, только Разбесов не мигал — оно замерцало черным, превращаясь в собственный негатив, то есть, пожирающее свет пламя тьвечки.

Петр Леонтинович отпустил.

— Вы здесь жили?

— Что?

— В Сибири. В Краю Лютов.

— С чего бы?

— Видел я такие помрачения света, — не спеша, говорил прокурор, — у *бывших холодников*, у *каторжников* из Сибирхожето, у *брадяг* берегов Тунгуски.

— Знаю, господин Поченгло вспоминал. Только я... Можете спросить у доктора Теслы, это проходящее.

Разбесов спрятал очки.

— Вам не нужно передо мной объясняться, я же вас не допрашиваю.

— Мне бы не хотелось, чтобы вы меня принимали за лжеца.

Разбесов покачал головой.

— Итак, вы едете к отцу.

Я-оно копалось вилкой в салате.

— Это тоже неправда. Министерство Зимы мне заплатило, потому и поехал. Но теперь... Сам уже не знаю.

Петр Леонтинович слегка усмехнулся.

— Отцы и дети, чисто русское дело.

— Ммм?

Прокурор оттер губы салфеткой.

— Вот, Зейцов, — указал он взглядом на бывшего каторжника, который, как обычно, обедал в одиночестве, в углу, за отдельно поставленным столиком. — Как он рассказывал? Едет от родного отца к отцу духовному, за деньги первого спасти другого, а сам — блудный сын. Разве не такова его история? Какой иной народ на Земле находит тождество человека в имени собственного отца? Венедикт Филиппович. Только люди Книги — иудеи, магометане. Ибо это святое дело. В каждом земном отцовстве отражается связь Бога Отца с Сыном Человеческим, Бога с людьми. То есть, отца — но почему не матери, из тела которой рождается новое тело? Вы читали *Братьев Карамазовых*? Что это, рассказ о сыновьях или, скорее, об отцах?

Зернышко приправы вошло в дыру от выбитого зуба, *я-оно* копалось зубочисткой.

— Хмм, а ведь вы правы: на самом-то деле я и не знаю, зачем сел в этот поезд, и не знаю, что сделаю, когда с него сойду. Все это дым и иллюзии Лета. То, что я являюсь его сыном... на самом деле, мне об этом напомнили только сейчас. До этого... собственно, у меня не было отца. Нет, не так: отец у меня был, но среди его основных признаков, наряду с добродетелями и положительными чертами характера, была и эта вот особенность: несуществование. И вот как раз — только представьте их мысленно рядом с друг другом: существующего и не существующего. По чему различишь? Никак не различишь. Понимаете? — Вагон-ресторан

подскочил, укололо себя зубочисткой в десну. — Черт. Простите.

— Не буду делать виду, будто бы понимаю вас в этом. — Прокурор коснулся пальцем кончика носа, это был жест, выполненный вместо другого жеста, не выполненного. — Только никак не могу я устоять перед этой ассоциацией. Еще до того, как меня перевели в артиллерию, в качестве младшего офицера я служил на Кавказе, сразу же после восстания Али-бека-хаджи, во времена самых рьяных абреков. Там никогда не прекращаются войны местных горцев, они дерутся между собой и воюют с Империей. Есть что-то такое в культуре этих диких народов — некая общая черта, которая обнаруживается под самыми различными большими или меньшими их чудачествами, теми вещами, которые у нас никак не могут уложиться в голове... Так вот, это народы, мужчины которых в каждом поколении отправляются на войну, и в большинстве своем — оттуда не возвращаются. Кто воспитывает сыновей? Матери, а так же идеалы отцов, это значит — не существующие отцы. Но, обратите внимание, молодой человек, эти же сыновья сами потом идут погибать за проигранное дело, снова оставляя уже собственных сыновей; теперь уже они — не существующие отцы. *Et setera* ^[205], до тех пор, пока само не существование не становится идеалом, то есть: воспитание отсутствием, что вовсе не то же самое, что отсутствие воспитания или воспитание женщиной без мужчины.

— То есть — то есть, вы хотите сказать, что это некий вид исторической необходимости, что, будучи ребенком не существующего отца...

— Нет!

А теперь говорят: Сын Мороза, *le Fils du Gel*. Должен ли я на это согласиться? Ведь это же слишком легко, словно натянуть театральный костюм.

— Вы меня спрашиваете? — Разбесов отвел взгляд. — Я же говорил: за вас я не отвечу.

— Вы знаете, но ведь именно потому, что вы... что вы... — Переломило зубочистку, резко отодвинуло тарелку, даже посуда зазвенела. — Потому-то я вообще могу вас спрашивать — вы понимаете? Вы, возможно, ближе всего к пониманию, из всех людей. — Склонилось к нему над столом. Разбесов все еще не глядел, убегал взглядом в сторону, за окно, на снежный пейзаж. — Послушайте — не то говорю, что говорю, но, может, вы услышите, может, поймете — так что, слушайте: я не существую.

Прокурор откашлялся.

— Из-за того, что перешло на вас от отца? Или это, а *propos* ^[206] Достоевского? Что если нет Бога — а здесь: если нет человека...

— Нет! Это не в переносном смысле. Вы можете заглянуть за пределы простого языкового парадокса? Не существую.

Прокурор приложил руку к оконному стеклу, протер запотевшую плоскость.

— Кто знает, может, вы и правы, разве это не кратчайший путь...

— Путь? К чему?

— Вначале отбросить все, в одинаковой степени — и правду, и ложь, и только потом...

— Нет, нет, нет! — Качало головой. — Но... — Он, наконец, глянул над огоньком декоративной свечи. Я-оноопустило глаза. Свернуло салфетку, поднялось. — Благодарю. — Неуклюже поклонилось и, как можно скорее, вышло из вагона-ресторана. Разбесов не звал от столика; впрочем, все равно даже и не оглянулось бы.

В купе застало постель застеленной и ковер, очищенный от стеклянного мусора. Проверило: бар тоже был заполнен. Не забыть про пару рублей для Сергея. Налило себе коньяку. Пополуденная серость обещала преждевременный закат; вот только эта вездесущая белизна обманывала глаза. Глянуло через стакан и сквозь жидкость на внутреннюю часть ладони. То ли светени так складываются в хиромантических линиях жизни и фортуны, то ли

это ледовые рефлексy расщепляются на розетках хрустального стакана? А самое паршивое: эта ладонь трясется.

Включило электрическое освещение. Спать не хотелось, наспалось уже достаточно. Вынуло из секретера папку, перелистало бумаги. Рука задержалась на письме пэпээсовцев. ВЕСНА НАРОДОВ ТАК. ОТТЕПЕЛЬ ДО ДНЕПРА. ПЕТЕРБУРГ МОСКВА КИЕВ КРЫМ НЕТ. ЯПОНИЯ ДА. ПРИБУДЕТ КУРЬЕР. БУДЬ ЗДОРОВ. Если это не было предсказанием будущего, то чем, собственно? А это второе — предсказание, которого я-ононе расшифровало — и бесконечное число параллельных предсказаний, которых не помнило — для которых в настоящем не хватало столь же сильных оснований... Бросок монетой, конечно же, что бросок монетой. Сойдет на перрон в Иркутске, и...

Глянуло в зеркало. Граф Гиеро-Саксонский, Невероятная Фелитка Каучук — это легко, нет ничего более легкого, выяснится само, без усилий, а иногда даже — вопреки всяким усилиям. Но сделать нечто противоположное: отнять ложь, срезать ее с себя одну за другой, словно пленки лука... Что останется? Если не считать слез в глазах.

Дернуло за львиный хвост, потянуло на себя окно, мороз ворвался вовнутрь *атделения*, длук-длук-длук-ДЛУК, мороз, грохот и пронзительный ветер, налитанный снегом — протерло глаза, сбило липкие хлопья с век — и увидело вдалеке, над заледеневшим лесом, стройное соплицово, наклонившийся, вопреки притяжению, сталагмит-монумент — уже, это уже здесь, это уже сейчас, Край Лютов, ну да, сердце Зимы — стискивая зубы, сорвало с пальца перстень с гербом Кораб и изо всех сил метнуло его из окна. Тот пролетел добрые двадцать аршин от путей, в глубокие сугробы.

Закрыв окно, выкашливало стужу. Помог коньяк. Вернувшись к зеркалу, взлохматило волосы, уже взлохмаченные ветром. Подумав, зачесало их на лоб и в стороны, так и смяк, и еще по-другому — только это ничего не меняло. Поковыляло в служебное купе.

— Есть у вас тут какой-нибудь мальчик ^[207], умеющий обходиться с бритвой?

Сергей поднял голову над журналом.

— Бритвой?

Сунуло ему банкноту.

— А, *гаспадин* побриться желает!

— Когда остановка? Пускай постучит и ждет под ванной.

— Через четверть часика, в Куйтуне.

Стюард-цирюльник появился вовремя, за минуту до начала торможения. К счастью, у него имелись и ножницы. Уселось на краю ванны, забросило на плечи полотенце. Поезд остановился с протяжным визгом, стюард вопросительно глянул.

— Режь.

— Какой фасонщик Ваше благородие себе желает?

— Под нуль. Только быстро. А потом пройдешься бритвой, под глянец.

— А как Ваше благородие пожелает. И бороду?

— Бороду не надо.

Тот обернулся быстро, скользя по черепу хорошо наточенным лезвием, один только раз порезав кожу. При случае проявились две приличных размеров шишки и обширные синяки, уже созревшие, растянувшиеся в вишнево-фиолетовых пятнах — один спереди, спускающийся от уха к правому виску. Выглядело это совершенно ужасно.

— Ваше благородие довольны?

— Невысказанно. — Вагоном дернуло. Схватило за умывальник; Экспресс отправляется дальше. Стараются нагнать задержку. Сунуло в карман «мальчика» трешку. — Когда у нас следующая длительная стоянка?

— Через час, Ваше благородие. Сорок пять минут в Зиме.

— Это где? Мы уже давно в Зиме.

— Город такой, Зима; Старая Зима, сразу же, где река Зима впадает в Оку. То есть, там, где впадала.

У себя в купе чокнулось с зеркалом остатками коньяка. Галстук! Нужно избавиться от всех этих пижонских галстуков, английских узлов и блестящих заколок. Что еще? Трость? Трость, к сожалению, просто необходима. Шуба? В Иркутске обменяется на какой-нибудь дешевый тулуп, впрочем, пальто на соболях тоже нужно будет сплавить. Пощупало по карманам, рука почувствовала выпуклость над ремнем. Что с Гроссмейстером? Отдать Тесле?

Теперь появляется финансовый вопрос. Вынуло *деньги* из бумажника и тонкий сверток со дна чемодана. Даже с выигрышем в зимуху в сумме этого было мало, чтобы сразу отдать Министерству Зимы. А ведь если так пойти да бросить им на стол их сребреники, уже ни за какие коврижки они не допустят Сына приблизиться к Отцу Морозу, не вспоминая уже о свободе, необходимой для какой-либо попытки его разморозения и вывоза из Сибири. То есть, ложь — так или иначе, придется лгать.

Нет! Один раз совершь, и это замерзнет на века. Даже молчаливое разрешение проявления лжи — сколько зла оно способно устроить! Как тут выкрутить жизнь! И ведь еще далековато от Края Лютов, под Солнцем Лета. Провело рукой по гладкому скальпу, чувствуя под кожей мелкие выпуклости и впадины черепа, френологическую карту характера. Вот если бы так, путем деформации черепа, можно было перекроить себе душу... Это ведь последний момент, последние станции перед Городом Льда. Раз не знаешь, кто ты такой, по крайней мере, будь уверен, кем ты не есть. Запихнуло бедную головушку в умывальник, под струю холодной воды. И вовсе не для того, чтобы протрезветь, чтобы мысли поскакали быстрее, чтобы прояснить ум — но, как раз, чтобы не думать ни о чем другом, кроме этой холодной воды, чтобы приостановить разгнеченное воображение, которое уже перескакивает к следующей возможности, и еще к следующей, и еще следующей, а каждая из них одинаково правдива. Нужно выдержать, пока Тесла снова не затмечит эту побитую, трясущуюся башку.

В шубе и шапке, с тростью в руке и папиросой в зубах ждало в коридоре у дверей, пока Экспресс тормозил; выскочило на перрон Зимы еще до того, как поезд остановился, при этом чуть не грохнувшись на землю. Снег не сыпал здесь столь густо, но землю покрывала та же самая трехслойная мерзлота: свежий пух на подмороженной грязи, лежащей на твердом льду. Ступаешь по этому пирогу, словно по обсыпавшемуся гравию; земля убегает из-под ботинок, нот выкручивает в щиколотках.

Посапывая, поковыляло в зад состава. Зима, одна из последних стоянок, всего двести пятьдесят верст от Иркутска. Вокзал на зимназовом скелете, склады лесоматериалов, бараки и лавки под фонарями в мираже-стекле. Весь перрон и вагоны за «Черным Соболем», и вся округа в их свете выглядели охваченными зимназовыми радугами, словно замкнутыми в абажуре мерцающих рефлексов, где, медленно опадая, вальсируют снежные искорки — в стеклянном шаре, заполненной фарфоровыми цацками для детской утехи; а над всем этим из-за вокзала склоняется паучий массив люта. Загрохотало в двери, раз, другой, потом громче — третий — открыл Олег.

— Доктор Тесла есть? Дайте-ка руку!

Папиросу выплюнуло под вагон.

Серб даже не удивился. Теперь, кроме него и Олега, не было никого; Фогель отправился за людьми князя Блуцкого, что были обещаны для охраны вагона на время стоянки. Чем ближе было к Иркутску, все становились более нервными.

— Есть у вас здесь та динамо-машина? Или, быть может, скорее будет просто

переставить ток в насосе. Пожалуйста!

Доктор Тесла голый ладонью погладил выбритую губу. Тьветные остаточные рефлексy переместились по его пергаментно бледной коже.

— На плюс?

— Плюс, так, плюс: больше тьмечи, Мороз! Плюс!

Не двигаясь с места, он куртуазным жестом указал на раскрытый насос Котарбиньского.

Стащило перчатки, подошло к машине. Как обычно, из нее выходили два длинных зимназовых кабеля, один законченный иглой со спуском.

— Выставлено? Можно? Можно?

Машина работала с тихим урчанием.

Схватило за эту иголку, второй рукой быстро, без раздумий, нажало на курок.

...из окостеневших пальцев.

Наклонилось, подняло ее, чтобы снова нажать на металлический язычок.

...удержать конвульсии.

— Да успокойтесь уже, вы же весь синий!

— Еще.

— Высосете тьмечь из половины банки. Ну, сами ведь поглядите, у меня даже чай замерз.

— Еще!

...помогая подняться на ноги. Покрытая льдом машина зловеще блестела. Олег подал шапку, которая далеко откатилась среди тряпок и опилок. Правда, сразу не могло поднять рук, чтобы напаять ее на лысую голову, уж слишком сильно они тряслись. Хотелось согреть их дыханием — только дыхание было еще морознее, оно выплыло перед глазами тучей густого затьвета. Раскашлялось. Никола подал кружку исходящего паром чая, кипяток прямо из самовара. Стиснуло на кружке пальцы. Тогда-то заметило на коже ладони обширный узор белых и красных пятен, чуть ли не шахматная клетка в своей регулярности. Слюна щипала в язык; по внутренней части рта словно мурашки пробегали; через нос невозможно было дышать, приходилось разговаривать, широко раскрывая губы, тщательно и медленно артикулируя гласные, делая глубокие вдохи между словами. Глядело сквозь пар и сквозь тень дыхания. Ночной ореол, окружавший изобретателя — серба, был, как никогда четким, светени нарастали под его руками, черный свет обливал его художавое лицо; сейчас он был больше похож на гравюру Николы Теслы, чем на живого Теслу.

Он поднял голую ладонь.

— Так, — ответило ему.

— Так, — подтвердил он.

— И как можно скорее.

— Месяц, самое большее, два.

— Как только, так сразу.

— *All right.*

— Через нее.

— Если официально — девичью.

— Ладно, неважно.

— Только транспорт.

— Не схватили.

— Где.

— Разумеется.

— Ха!

— *Bien* [\[208\]](#) .

Допило холодный чай, поклонилось и вышло в желто-зелено-розово-лазоревою феерию ламп из мираже-стекла. Олег с грохотом задвинул дверь. Рядом, между вагонами, с винтовкой у ноги стоял мужик в ливрее князя Блуцкого. Он прижал шапку к коленям; сердечно поздравило его. Двинулось вдоль вагонов с примороженной от уха до уха улыбкой. Через несколько шагов поскользнулось и грохнуло в снег. В спокойном изумлении наслаждалось акварельными красками, по этому снегу протекающими. Подбежал человек князя, подал трость, потряхнул шубу. Цвета, цвета, так много цветов. Теперь шло медленно, приглядываясь ко всему с жадным вниманием, свойственным детям, сумасшедшим и смертельно больным людям. Даже головой крутило осторожно и мягко, направляя глаза на окружающие виды словно тяжелые стволы крупнокалиберных орудий. Итак. Вечер. Зима. Снег. Лют. Вокзал. Люди. Вагон. Вагон. Вагон. Дусин. — Неужели надо вот так от меня убежать...! — Весь запыхался. — Ведь сами же напрашиваетесь на несчастье, как Бог свят! — Приветствовало его крайне вежливо, словно давно не виденного приятеля. Тот отступил, наморщив брови. Вагон. Вагон. Их квадратные окна: светящиеся отверстия в стене теней, за кружевной занавеской снега. Ведь в купе, естественно, горит свет, электрические лампочки в белых и красных абажурах, и как только глаз обращается в сторону сияния, он тут же слепнет ко всему окружающему мраку, в отношении всего остального свет, затопленного в этом мраке и полумраке; и вот так перескакиваешь между этими окнами, словно между страницами книги, фотографического альбома, от снимка к снимку, от *tableau* ^[209]к *tableau*,загипнотизированным взглядом. Видит: *Frau*Блютфельд, склоняющаяся над *Herr*'ом Блютфельдом, в чем-то энергично убеждающая его с помощью размашистых жестов, захваченная в этом *tableau*в профиль, она высвечивается на запотевшем стекле массивным силуэтом, с выдающимся бюстом и с волосами, скрученными в высокой, пирамидальной прическе. Следующая картинка: капитан Насбольдт, выглядывающий через закрытое окно, с руками за спиной, с короткой трубочкой морского волка в зубах. Дальше: дети французской пары, приклеившие к стеклу розовые личики, а за ними — на фоне — способные защитить тени родителей. Женская рука, появляющаяся из-за наполовину задвинутой шторы, запястье в кружевах, длинный мундштук с папиросой, струйка дыма, плавное движение этой руки, словно опадающая нота менуэта. Князь Блуцкий-Осей, дремлющий с носом в книжке, с неестественно выкрученной над головою рукой — старец, замороженный во всей своей старческой беспомощности. Прокурор Разбесов, разглаживающий на вешалке свой прокурорский мундир, повернутый спиной к окну-картине, так что электрическое *tableau*показывает лишь широкую, неестественно выпрямленную спину бывшего артиллериста, и нет в этой картине ничего от стервятника, ничего нет фальшивого. Богач и его слуга, склонившиеся над столиком, над шахматной доской, слуга подливает хозяину кофе, хозяин двигает ладью. Красавица — вдова, машинально расчесывающая черные волосы, в то время как пальцы второй ладони танцуют на нижней губке, на полураскрытом в улыбке рте. Два брата, сидящие в купе *vis-a-vis*,неподвижно и молча, со скрещенными на груди руками, две сухие мумии, два бездушных профиля. *Monsieur*Верусс с лошадиной челюстью, играющий на своей пишущей машинке словно на пианино, одной рукой, не глядя на быстро прокручивающийся бумажный листок. Мороз стиснул горло и разорвал легкие. Встало на покрытом льдом месте. Подошел Дусин, прикоснулся, заговорил: громче, потом еще громче. *Я-о*не могло пошевелиться, не могло отвести взгляда. — Венедикт Филиппович! Венедикт Филиппович! — Видно, стояло так очень долго, потому что он уже кричал и дергал; в конце концов, это обратило внимание Верусса, он глянул над машинкой. Между нами падал снег, три аршина ветра и снега перед освещенным стеклом, он падал на лицо и веки — даже и не моргнуло. Верусс тоже не моргнул. Отступило на шаг, второй,

третий; подмороженная грязь трещала под подошвами, пятый, десятый шаг, шторы радужной метели задвинулись перед глазами, заслоня золотой *tableau amделения*, весь вагон Люкса номер один, длинный массив поезда и черный червяк зимназового паровоза под мотыльковыми крыльями зорь.

— Господин Дусин, — произнесло *я-онона* морозном выдохе, — немедленно бегите стеречь доктора Теслу — *monsieur*Верусс — который вовсе не *monsieur*Верусс — он сейчас взорвет его вагон.

О силе презрения

Панна Елена Мукляновичувна поправила *pince-nez* ^[210] на ястребином носу Павла Владимировича Фогеля. Седой охранник переложил наган из одной руки в другую, вытер внутреннюю часть ладони о полу сюртука и кивнул. Проводник провернул ключ в двери купе Жюля Верусса, нажал на дверную ручку. Фогель вскочил вовнутрь.

— Его нет!

— Я же говорил! — раздраженно буркнуло *я-оно*. — По одному взгляду он догадался; я выдал себя; и он теперь знает, что мы знаем. Забрал бомбу и пошел взрывать арсенал Теслы.

— Так чего мы ждем? Уезжать отсюда, как можно быстрее! — бросила панна Елена.

Начальник Экспресса покачал головой. Он вынул часы-луковицу, глянул на циферблат.

— Двадцать пять минут.

Выглянуло через окно.

— Он ушел в метель, мы никак его уже не найдем. Нужно стеречь Теслу и его машины, это единственный способ.

Фогель по коридору направился к двери вагона.

Елена повернула на месте.

— Пан Бенедикт, подождите, я возьму пальто!

Прежде чем она вернулась, вынуло из-под расстегнутой шубы Гроссмейстера, развернуло зимназовый револьвер из тряпок, проверило тунгетитовые пули в барабане-бутоне, слегка пошевелило спуском-змеей. Начальник поезда сконфуженно приглядывался ко всему этому, дважды открывал рот и два раза сглатывал невысказанные слова. Под конец лишь с мрачной миной перекрестился.

Я-онона машинально потирало стволом по ребру другой ладони.

Прибежала панна Мукляновичувна.

— Уже... шепнула она, запыхавшись, — думала, что... не... ждать... женщину...

— Вам хотелось приключений.

— Но... может... убьют...!

— Действительно. Этим и отличается настоящее приключение от воображения о нем. — Указало на проход. — Прошу.

Она еще глянула на Гроссмейстера — огромные темные глаза на бледном личике — и пошла вперед.

Вышло на перрон. Застегнуло шубу. Трость в левой, Гроссмейстер в правой руке, лед под ногами. Со стороны вокзала бежал мундирный *железнадарожник*, с ним урядник и два полицейских с винтовками. Панна Елена разглядывалась по сторонам, вжимая лицо в пушистый соболий воротник. Лют нависал над путями, распялившись над Экспрессом, над складами с углем и дровами, над боковыми ветками и локомотивами. Пульсирующий свет мираже-стекольных ламп разрисовывал морозника волнами водянистых красок: бледной зелени, морской синевы, неяркого персика, пережженной желтизны. Даже падающий снег, ба,

сам воздух — они тоже переливались теми же самыми цветами.

— А если это не Верусс?

Застучало палкой по мерзлой земле.

— Панна сомневается? Здесь Шерлоки Холмсы рождаются на камне, то есть, на льду.

— Пан Бенедикт все шутит, — нервничая, фыркнула девушка.

— Пишущая машинка, панна Елена. Дедукцию следует проводить не только из того, что существует, но и из того, что не существует. Я иду к Тесле, вы или идете со мной, или же не идете, прошу решать, но сейчас же — которая Елена Мукляновичувна въезжает в Край Льда.

Она глянула — странно.

— Вы снова выглядите как-то иначе. Тени под глазами — я слышала, что потом, ночью, вас пришлось относить...

— Так вы идете — или нет?

Елена сунула руки глубже в карманы.

— Думаете, что я испугаюсь?

— Есть у меня такая надежда, это правда.

Она высвободила из легких глубокий вдох, облако пара развернулось перед нею шелковым веером. Когда оно исчезло, девушка глядела уже по-другому, другая гримаса морозила ее лицо. Елена выпрямилась, подняла голову. Ожидало молча; ведь знало, насколько это трудно, насколько болезненно — и насколько стыдливо, когда смотрят люди, когда глядит хотя бы один человек. И дело здесь не в банальном страхе. Это совершенно другой вид тревоги. Даже те, которые никаким образом не способны выразить ее на языке второго рода, испытывают в такой миг всемогущее чувство несуществования. Ожидало покорно, метель шумела в ушах.

Вздохнув второй раз, панна Елена приподнялась на цепочки и быстро чмокнула в замерзшую, заросшую щеку.

— Спасибо.

Идя затем вдоль поезда, ежесекундно она то подбегала, то приостанавливалась, нетерпеливо оглядываясь через плечо; только *я-ононе* пробовало ускорять, опасаясь несчастного случая с Гроссмейстером, если бы снова покатило кубарем на этом льду. А метель тем временем сделалась плотнее, если не считать размазанного над землей зарева огней, мало что проникало сквозь клубящийся туман. Люди пробегали туда и сюда, ветер приносил их обрывистые окрики, свистки, стук вагонных дверей, хруст растаптываемого льда. Уже поднимало руку с Гроссмейстером, когда из радужного снега выпадала очередная фигура — а это оказывался *салдат*, полицейский, лохматый железнодорожник, человек князя или капитан Насбольдт — он тоже с револьвером, приготовленным к выстрелу. Усмехнулся, извинился, поклонился девушке, побежал дальше.

— И снова набегает толпа, — дышала Елена, — а потом окажется...

— Что?

— Он мог попросту испугаться и сбежать, иногда пан Бенедикт способен перепугать.

— Пишущая машинка, панна Елена. Ведь вы сами описали его методику той ночью, с коньяком. Ведь кого мы искали? Пассажира, который купил билет в последний момент, ибо в самый последний момент ледняки узнали о компрометации и решили посадить в Экспресс еще одного агента. Следовательно, Зейцов; следовательно, Поченгло, очередные подозреваемые. Но — когда вы сами купили свой билет? Вы и Мариолька Белчик, так когда купили, а? вы его не покупали! — *Я-онокрутило* головой в тупом изумлении. — Вы все мне выложили, а я не понял; впрочем, вы сами тоже не понимали. Поездка — это магическое время, панна Елена. Мы являемся теми, кем видят нас незнакомые. Каким образом вы можете

подтвердить истинность Бенедикта Герославского? Каким образом я могу подтвердить правдивость Елены Мукляновичуны? Не могу! То же самое касается и любого из путешествующих. В большинстве паспортов нет даже подробных описаний личности. Так что делает агент? Выискивает среди пассажиров Люкса одинокого мужчину, такого, у которого наверняка нет никаких старых знакомых среди других, едущих в Сибирь, и...

— Жюль Верусс — это не Жюль Верусс.

— Не знаю, как его зовут. Настоящего Верусса наверняка уже давно сожрали волки. Этот Не-Верусс — могу поспорить, он даже не иностранец. И говорил он неуклюже и беспомощно не потому, что не знает русского или немецкого языка, но потому, что его родной язык — русский. Я же говорил вам: следует проводить дедукцию так же и по тому, что не существует.

Мы прошли мимо группки пассажиров из купейного, с любопытством разглядывавшихся по перрону, то есть, по тому его небольшому фрагменту, который могли видеть от ступенек вагона, от которых далеко не отходили: два пузатых и бородатых купца, музыкант с собакой, баба, завернутая в три платка, так что между складками красной ткани были видны лишь монгольские глаза; худой поп — и как только их заметило, они тоже обратили внимание и давай выкрикивать вопросы да пальцами тыкать: о, большой *левольверт*, черный, о молодая *красавицарядом*, о, хромает, тот самый авантюрист из князей да богачей, он это, из-за него вся эта кутерьма, точно, тьфу...

Сбежало, как можно скорее, в снег, почти догоняя панну Елену.

— Самый первый вопрос, кха-кхрр, который мы должны были себе задать: почему не начался скандал после того, как я разбил голову Фессару.

— Он не пошел жаловаться.

— Я не имею в виду бедного турка! В чьем купе мы оставили на ковре кровавую лужу?

— Ах! Письменная машинка!

— Открывает свое *атделение*, входит, смотрит: в его отсутствие кто-то истек кровью у него на полу. Что делает после того, кха-кха, человек нормальный? Бежит к *праваднику*, к начальнику, поднимает грандиозный скандал. Что сделал *monsieur* Верусс?

Панна Елена уже вжилась в логическую рутину доктора Ватсона, слушая в радостном напряжении, настолько возбужденная и увлеченная, что в ней вообще не оставалось места для страха; мороз не мороз, розовый румянец и так заливал бледные щеки. Ответила она на половине вдоха, заглатывая ветер и снег.

— Ничего.

— Ничего! Теперь снова высматривайте несуществующие вещи. Что такого этот знаменитый журналист печатал на своей машинке? Где его репортажи, интервью, путевые письма, рассказы из дикой Сибири? Он выстукивал на листках чистую ерунду, буквенный хаос и тысячекратные повторы одного знака, ничего больше. Почему он так делал?

— Погодите... Пан Бенедикт, не говорите, я сама! — Елена закусил губу. — Он не Верусс, так. Следовательно... Ха! Он не умеет печатать на машинке!

— Не умеет.

— Только ведь через эти стенки все слышно, а ему нужно было делать вид. Вот он и стучал по клавишам каждый вечер. Так? Так?

— Они наверняка сразу выбросили бы эту веруссову машинку, если бы могли это предусмотреть. Но сначала он пытался что-то делать, перепечатывал, видно, предложения из книжки — но, как это должно было звучать! До него дошло, что так он только быстрее выдаст себя, и теперь колотил только ради быстрого звука: трак-трак-трак, как будто играл на пианино. Потому что, на пианино играть он умеет — и как раз сейчас я и увидел его через

окно, играющим на письменной машинке... Вы понимаете? — Ударило тростью с дельфином по шапке, что даже белая пороша с нее посыпалась. — И все очевидности сразу же замерзли на своих местах, словно мне лют на голову наступил.

Лют, на которого инстинктивно оглянулась Елена, висел над путями на высоте вокзала, основной его массив — вся морская звезда темного льда, поднятая на пару уровней над вагонами — оставался отсюда невидимым; сквозь метель и лучистые отблески фонарей пробивались лишь очертания двух нитеобразных ответвлений. Ответвлений, а может, и столбов, может — вертикальных геологических волн, нитей ледовой слизи, растягиваемых и лопающихся целыми часами, днями. Возможно, это даже и не материя перемещается, а только сам неземной мороз, градиент температуры, свертывающий все на своем пути в четвертое состояние материи: лютов. Иней на стекле, он ведь тоже движется по...

Во второй раз стукнуло себя по огромной шапке тростью.

— И следующая очевидность: он обнаруживает кровь, умалчивает о ней — но что происходит? Всю ночь ничего иного он не делал, как только обыскивал свое купе, вершок за вершком, голову ставлю. И что он нашел?

— Что он мог найти? Мы выбросили... — Елена остановилась, от неожиданности чуть не споткнувшись; рука в перчатке инстинктивно полезла к тесно связанным волосам. — Моя шпилька!

— Ваша шпилька. Он обнаружил женскую шпильку — с черным волосом. И что подумал? Кого начал подозревать? Ведь мы еще были далеко в Лете. Попробуйте вспомнить точное начало того неожиданного его аффекта к одинокой вдове. У которой длинные, черные волосы, и которая располагается в двух купе от него.

— Господи Иисусе!

— Вас спасло расположение вагонов. И вы считаете, будто бы он тут еще никого не убил? Ха! Не забывайте про цель ледняков: Тесла, арсенал Теслы, защита Льда, оборона *status quo* России. Какой бы план не был перед тем, то после того, как я выпал с поезда, после того, как мадемуазель Филипов все рассказала княжеской паре, и князь начал давать своих людей для помощи охранникам — этот не-Верусс должен был быстро сколотить план новый. Вот вспомните — две памяти более правдивы, чем одна — припомните, ведь он начал работать над Фессаром уже днем раньше, все должно было пройти иначе, он хотел использовать турка совершенно по-другому...

— Что вы говорите!

— Когда вы меня отправили отвлекать внимание господина Поченгло, Фессар появляется у нас в галерее, совершенно пьяный, и начинает болтать о машинах, закрытых в вагоне Теслы, о моих предположительных коммерческих договоренностях с Теслой, с Поченгло, Бог знает с кем еще — но, главное, эти машины. С чего это ему в голову пришло? Кто его так нацелил? Спрашиваю потом — и что же слышу? Что в тот день Фессар спаивал Верусса! Кто кого, панна Елена, кто кого там травил! Их видели накачивающихся водкой в компании, и не-Верусс с этой своей речью-винегретом легко симулирует умственное затмение, вот все и подумали то, что подумали. Но, говоря по сути, у кого голова крепче: у магометанина, к спиртному не привыкшего, или у немолодого русака? И на следующий же день при первом случае бедный дурак вламывается в вагон Теслы. Если бы Дусин с князем там как раз не проходили, кто знает, как бы все пошло дальше. Ведь турок уже устроил публичную сцену, а потом на месте взрыва нашли бы его останки — ничего больше не-Веруссу и не было нужно, арсенал Тесла взорвали бы в два счета, дело устроено, а на фламандском журналисте — никаких подозрений. Только он не успел, и турок уходит в тайгу живым. Что делает наш пронырливый агент? Вспомните сами! Какое прошлое здесь

подходит! Было ли по-другому? Он, он, именно он первым предложил устроить экспедицию в лес, спасти безумца! Он потащил людей за собой! Ведь ему нужно было захватить его наедине, до того, как Фессар придет в себя и вернется в Экспресс да начнет рассказывать, как надул его знаменитый журналист. Потому не-Верусс сам пошел за ним, как можно скорее, только вначале заскочил к себе в купе оставить уже заготовленную бомбу; и удача ему способствовала, а может, хватило лишь его решительности, мы же туда на прогулку, на пикничок выбрались, он один искал турка взаправду — и нашел, и голову ему камнем проломил. И тут же вновь появляется на месте преступления, заламывает руки, калякает заметочку в своем репортерском блокноте, кха-кха, какие-то мудрости провозглашает. Так что — убил; убил и еще убьет. — Закашлялось, слишком много слов, морозный воздух снова раздражает горло. — А случай с доктором Теслой? Конечно, это и вправду могло быть несчастным случаем, признаю — но ведь могла быть и рука не-Верусса. А сегодня ночью? Он крался за пьяным, вроде бы палку отдать но если бы я там валялся в пьяном сне, думаете, когда-нибудь проснулся на этом Божьем свете? Ха-ха!

Елена выдула щеку, склонила голову набок.

— А если, все-таки... Вы же сами говорили: убийцы создают. И что подобные дедукции никогда не проверяются, поскольку нельзя о прошлом сказать со всей уверенностью, ведь все здесь размыто, многозначно, нестойко. Что подобным образом можно решить головоломку в книге, а не в жизни, не в мире «быть может», между правдой и фальшью. Но, если бы вы не затянули в этот миг в его окно...

Вынуло из кармана металлическую трубку интерферографа, стянуло красную замшу.

— Поглядите. Ну, пожалуйста.

Елена осторожно взяла прибор пальчиками в кожаной перчатке, глядя белые кольца из слоновой кости. Повернулась к смазанному снегом ближайшему фонарю с мираже-стеклами, к ореолам холодной синевы; направила интерферограф на него — Солнца не было. Прижав окуляр к глазу, второй она прищурила.

— И что вы видите?

— Свет, огоньки, две точки, одна над другой, как два тазика, мигают — синенький чертик...

— Два.

— Два. Ох! Лед, господин Бенедикт...

Подняло Гроссмейстер. Он вышел из-за панны Елены, та не заметила его, засмотревшись в интерферограф, когда тот был уже рядом с ней — опустило револьвер, опять это не не-Верусс — теперь он был уже рядом и отпихнул ее с дороги, сталкивая девушку в снег и лед, та полетела с тихим окриком, а пришелец уже вздымал над головой длинное, блестящее острие: похожую на стилет, даже на копье сосульку. Не успело снова нацелить Гроссмейстер, успело лишь заметить босые ноги мужчины и голый торс под разорванной рубахой, и тупо подумать: В Зиме ожидали, из холода в холод, в Зиме убили, святой Мартын, помощи...

Тот ударил сосулькой прямо в сердце.

Упало на землю. Пришлец тоже свалился за ударом. Сосулька не пронзила толстой шубы. Мартыновец навалился, прижимая под своими коленями руку с тростью и руку с револьвером. Шапка свалилась с головы, голым затылком ударилось о ледовые выступы.

Мужик с ледовым копьем глянул и заколебался.

— Венедикт Филиппович Герославский? — прохрипел он.

— Да! — прохрипело сквозь стиснутые зубы.

Тот коротко замахнулся и вонзил сосульку в глаз.

Дернуло головой влево, ледяное острие пошло по кости скулы, ударилось в землю,

обломки вонзились в кожу, наново разрывая свежие шрамы.

Мартыновец отбросил затупившуюся сосульку, начал душить. Огненно-холодные лапы сомкнулись на шее, большие пальцы впились под подбородок, в гортань; стало невозможно дышать, дергалось в панике, а он прижимал к земле словно кладбищенский камень: правая рука, левая рука, грудь — меня распяли, прибили к месту. Над головой мартыновца, синебагровой от старых и новых обморожений, вздымалась цветастая радуга мираже-стеклянного фонаря, обрисовывая плечистый силуэт сектанта лучистым нимбом, достойным фигуры святого на иконостасе — лицо не было злым, он не убивал с гримасой ненависти, гнева или страха — скорее уже, горечи, какой-то отчаянной жалости...

Нимб погас, когда его заслонили — черный тубус разбился на виске мартыновца. Тот со стоном упал на бок и прикрыл ладонью мгновенно залившийся кровью глаз; так, со стоном, он и лежал в снегу.

Я-оно дергалось на льду, хрипя, плюясь и плача — то есть, видело, что сделала панна Елена. Когда уже отдышалось и уселось, она стояла на границе круга видимости, всматриваясь в метель, в направлении фонаря и монументальной конечности люта. От мартыновца осталась только сломанная сосулька и строчка кровавых капель, которую быстро засыпала мокрая белизна.

Нашло трость, Гроссмейстера, пошатываясь, поднялось на ноги. Где-то в снежном вихре, со стороны товарных вагонов, раздались панические крики и треск захлопываемых дверей. Где-то там, в кружащем снегу, с южной или северной, западной или восточной стороны, выстрелили из винтовки. Начал бить станционный колокол. Низкая фигура выскочила между колес Экспресса: собака, собака того мужика из купейного, с волочащимся по земле поводком. Подняло взгляд. В темном окне вагона замаячила тень, лицо человека или чудовища, приклеенная к покрытому инеем стеклу под невозможным углом. Невольно отступило. Колокол все бил и бил. За пределами круга видимого света бегали люди, кто-то за кем-то гнался, кто-то от кого-то убегал. Оттерло лицо рукавом шубы. Панна Елена указывала на что-то одной рукой, второй рукой поднимая соболий воротник, черные глаза над ним глядели указующе. Туда! Смотри! Снежный фронт на мгновение приоткрылся, показывая советника Дусина, капитана Привеженского и казака в высокой шапке, с нацеленной берданкой; в шинели казака имелась кровавая дыра под мышкой. Колокол перестал звонить. Панна Елена опустила руку. Из-под копыта люта, из мираже-стекольного ореола вышел не-Верусс в распахнутом тулупе, с парой деревянных ящичков в руке. *Я-оно* ахло на змеиный хвост. Грохот вонзился в уши ледяными ножами — мороз сковал руку, мороз заполнил легкие, проколол сердце. *Я-оно* упало на колени.

Промах. Естественно, промах — вместо ледняцкого агента попало рядом, в люта. И этот грохот, отражающийся в голове глухим эхом — это треск распадающегося льда: лют валится на вокзал, на пути, на вагоны, массы черной мерзлоты сползают на Зиму.

Я-оно стоит на коленях, со свешенной на грудь головой, под этим припиленным к земле под невообразимым углом ледяным копьем, и долгое время лишь слышит эти последствия промахнувшегося выстрела, только чувствует дрожь земли и холодный, пронзительный ветер на окровавленной щеке.

Замороженными легкими невозможно дышать — первый же вдох настолько болезнен, что *я-оно* опит во все горло, и это не слово, но пустой звук воздуха, проходящего сквозь скованную морозом гортань. Услышал ли кто-нибудь — в этом грохоте — в вое сирены «Черного Соболя» — в какофонии десятков иных криков — никто. И только потом мягкое тепло проникает сквозь примерзшую к змеиной рукояти Гроссмейстера ладонь, тепло, прикосновение чужого тела, и *я-оно* разрывает зашитые инеем веки и глядит вниз, на ту

сабакув петле поводка, лижущую руку с револьвером. Пси́на поднимает голову, показывает широкий язык. Я-оношевелит правой рукой в бессмысленном жесте, чтобы погладить собачку, погрузить пальцы в сбившейся шерсти — трескает лед на рукаве шубы, просыпаются тонкие обломки мерзлоты, фиолетово-синей в свете ламп. Пес отскакивает, внимательно глядит. Я-оново́нзает трость с дельфи́ном в снег, набравшийся под коленями и поднимается; выдыхаемый черный пар опадает на снег небольшими хлопьями сажи. Я-оновыпрямляется. Что случилось с панной Еленой?

В этот короткий миг метель, вроде бы, приутихла, виден Транссибирский Экспресс: от эллиптических плит и арочной трубы зимназового паровоза до самого последнего вагона. Лю́т переломился наполовину, упал на рельсы перед «Собо́лем» и на восточное крыльцо вокзала, раздавил лавки и склады, повсюду валяются десятиаршинные неошкуренные стволы — один из них, словно телеграфный столб, вонзился в землю в паре шагов от путей, где только что стояла панна Елена. Перрон и территория вокруг вокзала покрывает толстый ковер пара; пара или какого-то иного газа, густого, клубящегося белыми волнами, он медленно растекается из переломанных фрагментов лю́та, от его панцирной морской звезды, расколотой на зимназовых балках вокзала, он вытекает из порванных морозо-струн, булькает из размноженных ложноножек, испаряется из простреленной колонны морозника. Люди, бегущие на место катастрофы, бродят в пару словно в утреннем тумане, словно в болотных испарениях. Свет тех фонарей, которые еще стоят и горят, напитывает этот пар радужными оттенками. Поглядеть, прищурившись, и увидишь людей, слитых с картинки вместе с растворившейся краской; они грязнут в этой краске, краска их облепляет — они же расклеиваются на основные цвета. Как только кто-нибудь из них падает, тут же орет; и тут же его прикрывает белый-небелый коврик воздушной взвеси.

Где же панна Елена? Глянуло в другую сторону. Два казака, полицейский и человек в княжеской ливрее, упершись спинами в вагон доктора Теслы, целятся в не-Верусса из винтовок — не-Верусс стоит в десятке аршин от них, с ящичком в поднятой в замахе руке — Дусин с Фогелем бегут к нему из-за вагона — на снегу, у ног ледняка, лежит мертвый казак — под захлопнутой дверью арсенала Лета лежит второй труп: Олег с простреленной головой — а за спиной не-Верусса, со стороны треснувшей голени лю́та, по ковру радужного пара, крадется панна Мукляновичувна, черные волосы распустились по пальто, рисунок миражестекольных отблесков на белом как кость профиле, клык черного льда уже приготовлен в ладони. Со стиснутыми губами, огромными, широко раскрытыми глазами, с дрожью в руке, но — улыбающаяся; но — язычок высунут между зубок, голова поднята, глаза горят!

Панна Елена! Да пускай панна!.. Боже мой! Да что панне!.. Он же сейчас! Беги! Удирай! Я-онозахлебывается невдохнутым дыханием, воздух застрял в гортани, словно кость в горле. Панна Елена! Ведь мерзлая земля наверняка скрипит у нее под ногами, впрочем, ведь сейчас панна споткнется там на чем-нибудь в туманах испарений морозника, и ледняк оглянется, должен оглянуться. Я-оносдерживает дыхание, лишь бы не вскрикнуть. Дусин с Фогелем выбегают из тени за вагоном, и не-Верусс предупреждающе кричит, он поднимает ящик еще выше; те останавливаются, как вкопанные. Елена, тем временем, все ближе к бомбисту. Раздается двойная сирена «Черного Собо́ля» и железный грохот, когда все вагоны сталкиваются друг с другом, и локомотив под зимназовыми зорями изрыгает из себя грязный пар, толкая весь состав назад, подальше от массы темного льда, от превратившейся в кучу щебня туши лю́та, загораживающего пути. Следующие перепуганные пассажиры выскакивают на перрон Зимы. Закрытый на все засовы вагон с арсеналом Лета медленно передвигается за спинами стражников. Не-Верусс делает шаг вперед. Теперь уже кричат все. И вдруг, сквозь маленькие окошки и узкие щели в стенах вагона Теслы бьют снопы тьвета,

разрезая мираже стекольную Зиму горизонтальными и наклонными линиями темноты, пятнами светени, ярко вспыхивающими за сугробами и за телами, блокирующими тьвет. Сцена конфронтации мгновенно преображается в театр теней и контр-теней; предметы, люди, окружение меняются с каждым ударом сердца, оборачиваясь собственным негативом — потом в негатив негатива — и снова наоборот — и опять: свет-тьвет-свет-тьвет-свет-тьвет. Во всем этом невозможно сориентироваться, голова кружится при одной только мысли об этом водовороте.

Не-Верусс ругается, сплевывает и...

Панна Елена бросается бежать...

Я-оно выпрямляет руку и сжимает оледеневший палец на курке Гроссмейстера. Грохот. Мороз. Лед.

На сей раз все прекратилось.

Бомба взорвалась раньше, но поднятый в воздух, наклоненный в одну сторону, товарный вагон замерз с колесами в половине аршина над рельсами. На четверть длины он превратился в колючую звезду льда и разогнанных обломков: взрыв, замороженный в одну сотую долю секунды — скульптура взрыва. Наиболее длинные иглы выстреленного льда торчат из этой хаотичной скульптуры на высоту кедра; те же, что не шли в высоту, вонзились повсюду в землю. Они пробили казака, пронзили Дусина. Фогель висит в воздухе с ногой, захваченной в ледяные челюсти. Приличных размеров фрагмент теслектрической машины, свернувшееся в спираль зимназовое кольцо, вморозился в тело полицейского; он повис в вечернем полумраке над ледяным паноптикумом, вознесенный сосульками на высоту второго этажа: символическая фигура, распятый на небе ангел-хранитель этой битвы, то есть, человек, объединенный со льдом и с машиной.

Лишенная чувствительности правая рука беспомощно бьется о шубу и палку, трость вмерзла в землю между ногами, словно запустила корни в глубину, до самого края мамонтов; если не считать этого, *я-оно* стоит неподвижно, словно очередная ледяная скульптура, даже век, примерзших к коже глазниц, невозможно опустить, а хотелось бы, поскольку *я-оно* глядит прямо в отверстие расстрельного ствола. Дело в том, что тунгетитовая пуля направлялась не в вагон и рельсы, туда ее свернул ледовый рикошет; ведь целилось в землю перед не-Веруссом, но подальше от панны Елены, по другую сторону от террориста: заморозить его, не допуская того, чтобы ранить ее — создать эпицентр Льда на расстоянии, безопасном для нее, и губительном для него — таким было намерение. Ну и, естественно, в самый последний миг дернуло руку в сторону. С девушкой ничего не случилось, вон она как раз поднимается со снега — но не слишком навредило и долговязому агенту Льда, мерзлота захватила его на высоте колен, так что не сбежит, но его обошли все иголки и острия мороз-взрыва, так что ледняк выломил себя из захвата замороженной земли, выброшенной из кратера на перроне, освободил руки, сломал каменную арку под мышкой, наклонился, поднял казацкую винтовку и теперь целится — уверенно и спокойно, будто участник расстрельного взвода, вот он не промахнется, ствол нацелен в самый центр груди, как будто на заснеженной шубе кто-то нарисовал мишень — и закричало бы, только легкие и рот заблокированы морозом; перепугало бы, но мороз в мозгу, а он не промахнется: глаз, рука, уверенная мысль, выстрелит прямо в сердце — боевик Льда.

Стреляет. Движение слева — прыгнул — кто? *Я-оно* вместе с ним свалилось в снег. Боль, но боль старая, боль знакомая: стужа в груди. А ведь он выстрелил, он попал, в кого попал? Замерзшими руками, словно колодами — к правой пригвожден зимназовый револьвер, а к левой трость — этими ничего не чувствующими руками перевернуло тело мужчины, укладывая его голову на шубу, подвернутую под бедра. Капитан Привеженский кроваво

оскалился. Грохнул еще один выстрел. Глянуло. Не-Верусс отклонился назад и упал на спину, с длинными ногами, все так же плененными в ледяных кандалах. Высунувшись из дыры в стене вагона, Степан выстрелил второй и третий раз, добивая ледняка; после этого наган выпал из руки пожилого охранника, когда весь вагон с арсеналом Теслы перевернулся на бок, сорванный с ледового постаменты инерцией состава, все так же отводимого назад «Черным Сободем». Катастрофа не закончилась, ее очередные акты идут один за другим с неизбежностью лавины; казалось, что ничто и никогда ее уже не остановит. Что еще, кто еще...? Капитан Привеженский выплевывал на обледеневшую шубу последние капли жизни, гримаса неопишемого презрения искривляла его губы под ровнехонько подстриженными усами. На мундире царского офицера под расстегнутой шинелью расходилось пятно, в свете последнего уцелевшего мираже-стекольного фонаря — то розовая, то черная, то темно-фиолетовая. Он хотел поднять руку — но только стиснул пальцы в кулак. Поскольку веки были приморожены, глядело ему в лицо, не мигая; так как лицо было выстужено, глядело бесстрастно и холодно, несмотря на пылающий внутри Стыд. Он искал этот взгляд, ради этого взгляда умер; это был окончательный триумф Николая Петровича Привеженского.

Не мигая, не отводя взгляда, с первым вздохом-криком, нараставшим из глубин замороженной груди — огонь и лед — всматривалось в российскую душу: разве есть большее презрение, чем когда отдаешь за презираемого тобой человека свою собственную жизнь.

О несовершенном

Ночью, при погашенных огнях, с виском, прижатым к черному стеклу, когда жандарм в коридоре громко пересчитывает покойных по именам и отчествам, где-то дальше в люксе всхлипывает девушка, а кровь тонкой струйкой стекает из-под бинта под глазом: Презрение — это одно из лиц стыда.

Презрение является одним из лиц стыда, как зависть — это одно из лиц восхищения и обожания, а ревность — любви. Я-онопоплотнее завернулось в толстые одеяла. Кружка с горячим чаем обжигал руку, и это было хорошо. Шмыгнуло носом. Простуда, она первая появляется после выхода с мороза. За окном *атделения* перемещалась сибирская ночь. Длук-длук-длук-ДЛУК, через несколько часов, еще перед рассветом или на рассвете я-оноочутится в Иркутске. Двери купе оставались не до конца закрытыми, раскачиваясь, то больше, то меньше; ежесекундно за ними по ясно освещенному коридору проходили люди в мундирах и в гражданском, нередко, останавливаясь и заглядывая в отделение. Перестало обращать на них внимание. Если бы не поручительство Теслы и министерские бумаги... Вот только ум российского чиновника в Краю Льда не знает промежуточных состояний, неуверенные и наполовину правдивые утверждения выскальзывают из его мыслей словно обмылок из пальцев. Раз не *преступники* террорист — шло понимание урядника — тогда наш человек, а что делает — делает это по поручению властей. Даже Гроссмейстера возвратили. Я-оноснава запихнуло его за ремень, завернув в клеенку и тряпки; без давления куска зимназа на животе чувствовало себя искалеченным, неполным, словно после операции извлечения фунта кишок. Доктор Тесла, выбравшись из перевернувшегося вагона, даже не заикнулся по вопросу Гроссмейстера, когда у него на глазах урядник расспрашивал про ледовый револьвер. Впоследствии оказалось, что под заваленным лютом на вокзале погибли четыре человека, в том числе — какой-то святой калека, продающий пассажирам религиозные картинки. А кто повалил люта? Кто людей льдом страшным пронзал? Мадемуазель Филипов представила бумаги из Личной Канцелярии Его Императорского Величества, которые ставили тайну и

безопасность машин доктора Теслы выше всех остальных законов; ну и, к счастью, был труп *настоящего* террориста, а еще вторая бомба, которую вскоре нашли под снегом, не взорвавшийся динамитный заряд, спрятанный внутри деревянного ящичка. Шесть часов заняла очистка рельсов и перевод состава Экспресса на свободный путь. Товарные вагоны остались на станции Зима, но удерживать пассажиров Экспресса, тем более — класса люкс, не находилось в компетенции местной полиции и жандармерии, когда даже с окружным исправником не было никакой возможности связаться срочно. Так что Никола Тесла остался в Зиме со своим арсеналом под надзором двух пострадавших охранников и половины городских сил поддержания порядка. Он заверял, что прибудет в Иркутск в течение нескольких дней. Большинство оборудования можно было починить, покушение будет стоить ему две-три недели дополнительной работы. Тогда не было шанса поговорить с ним наедине. Две-три недели — это означает, что даже при самом удачном раскладе звезд *я-он* выступит из Иркутска на Кежму раньше, чем в ноябре. И теперь бояться следует уже не чиновников Раппацкого, но, прежде всего, распутинских фанатиков. Ведь мартыновец в Екатеринбурге сообщил, что ждут, что пошел в секте указ, предупреждены все верующие в городах по трассе Транссиба. И после екатеринбургских событий ведь *я-он* прохаживалось на одиноких экскурсиях, разве что пробежать из Люкса в товарный, да и то — на глазах у всех, более-менее безопасно. Пока не начались метели. Въехало в Край Лютов, начались метели, и уже дважды испытало судьбу: один раз в Канске Енисейском, с мадемуазель Кристиной, и один раз в Зиме, с панной Еленой. Если бы Кристина очутилась на месте Елены... Но — кто знает? Ведь на самом деле, *mademoiselle* Филипов *я-он* толком и не знает. Точно так же, как не знало капитана Привеженского. Глотнуло горячего чая, тот вошел в промерзшие органы словно кислота в древесину. Правая рука так явно уже не тряслась, боль разморозения можно было выдержать, чувствительность возвращалась к пальцам быстрее. Быть может, во второй раз оно будет легче. А в сотый раз совершенно не страдаешь. В тысячный — быть может, в этом уже есть грубое наслаждение, спасение в унижении тела. Так, наверняка, начинается дорога всякого мартыновца, именно на такой путь вступил и Отец Мороз. Мхммм. Если бы можно было обернуть это в полезное обстоятельство... Было очевидно, что найдут, что нападут — и напали. И в Иркутске тоже ждут, это точно, как дважды два четыре, а на земле Льда такая уверенность только укреплялась. Как убедить мартыновцев? Чем их обратить к себе? *В Стране Лютов не случается неожиданных обращений и поворотов сердца. Кто каким сюда прибывает, таким, скорее всего, уже и останется.* Но вот если бы въехать в Иркутск кем-то другим, то есть — не Бенедиктом Герославским, если бы спрятаться, замаскироваться, все отрицать... Нет! Так же быстро, как появилась, мысль ушла, как совершенно нереальная. Мороз сидел глубоко в костях. За окном, когда двери закрывались, затемняя купе, маячили бледные валы снега, ледяные пейзажи Прибайкалья, уже тринадцать с лишним лет находящегося в вечной зиме; но иногда — при другом положении двери — проявлялось потрепанное лицо Бенедикта Герославского. Жандарм произнес очередное имя. *Я-он* окне скривилось в гримасе, которая не была улыбкой.

Презрение — это одно из лиц стыда, возможно, наиболее откровенное. Если вообще можно знать что-либо надежное о другом человеке, то именно сейчас, именно здесь, в Царстве Льда. Только вот что из этого можно высказать на языке второго рода?

Модель: капитан Николай Петрович Привеженский. Молодой, амбициозный, совсем даже не циничный, вовсе еще не разочаровавшийся, на службу пошел с искренним сердцем и с открытыми мыслями, всей душой и по собственной воле присягнувши величию Императора Всероссийского. Но та же самая искренность и простота, когда он был поставлен перед

лицом петербургского бесправия, не позволили ему смолчать и с бесстрастным лицом и глухой совестью выполнять любой приказ и грязный, глупый, злодейский каприз. Чем больше желал он верить в Императора и в Россию, тем сильнее в нем поднималась желчь; чем упорнее защищал он свою невиновность, тем более толстые брони гордости, гордыни и презрения нужно было ему возносить ежедневно и еженощно. Каким же стыдом — чистым, жарким, поражающим словно электрическая дуга — должен был он сгорать на придворной службе, какие бессильные энергии пленять в душе, под этими доспехами! И тут, к счастью, кто-то понял его невыносимое страдание, до сих пор каким-то образом переживаемое, страдание, которое не сильно отличается от переживаний Зейцова; этот кто-то увидел это и как можно скорее отправил капитана подальше от Петербурга и петербургских дел, пока не случилась трагедия.

...И вот, садится такой капитан Привеженский в Транссибирский Экспресс, и уже на второй день поездки вступает в разговор иностранцев о России и царских порядках, которые видятся глазами иностранными, в сравнении с зарубежными порядками. Естественно, что сразу же подошла к горлу желчь: как они смеют спорить и делать смешным этого земного царя, да, убогого, который, какая жалость, не дорос до прекрасного идеала капитана. Стыд! Стыд! Стыд! Какая другая сила подтолкнула бы его к участию в этой оскорбительной беседе, что же иное позволило бы ему с открытым лицом открывать незнакомцам столь необычные истории из интимной жизни монарха? А тут еще — кто же это унижает и оговаривает при нем Императора и отчизну? Не русский; ба, поляк! И не был бы Николай Петрович Привеженский самим собой, если бы не принял это за сознательное *lese-majeste* [\[211\]](#), тем большее, чем сильнее он сам только что на Россию лаял — здесь имеется прямо пропорциональная зависимость: любое собственное нехорошее слово усиливает непристойность подобных слов, высказанных чужаком. Ведь в глубине души капитан Привеженский чувствует, что согрешил против идеала, отвернулся от Царя-Бога, ибо что Царь скажет, что сделает и прикажет, этими деяниями и приказами он представляет собой бесспорный идеал — ведь он же Царь! И с тех пор одна только сила, один только принцип, одно правило заставляет капитана действовать: стыд, стыд, победный стыд.

...Пока он не въезжает в Страну Лютов, и Мороз не сковывает его разбередившуюся душу.

...Николай Петрович Привеженский и Филимон Романович Зейцов — на разных станциях высаживаются, но путешествие одно и то же.

*Я-оно*втянуло сквозь зубы остатки заправленного ромом чая, язык коснулся дырок в десне. Боль, человек ищет физической боли, чтобы отвернуть мысли от не-физических несчастий — чтобы заглушить их — чтобы искупить их в связанной транзакции. Вот он, дьявольский азарт: кто боль выдержит, тот получит не право на облегчение, но право на боль. Отставив пустую кружку, под одеялом левой рукой достало руку правую. Стиснуло мышцы, впихнуло большой палец под локоть, повело ногтями по коже предплечья, по подкожным выпуклостям запястья. Размороженная конечность отзывалась под этими прикосновениями импульсами жгучего огня, причем, невозможно было предвидеть, когда огонь стрельнет вдоль кости по направлению к плечу, а когда — нет, даже если раз за разом касалось того же самого места. Пальцы правой руки двигались уже нормально, то есть, те пальцы, что и раньше были здоровыми и действующими, разве что слегка тряслись. Но дело было в том, что, стреляя из Гроссмейстера — причем, два раза подряд — совершенно не знало, перенесет ли организм этот опыт легче, и вообще, перенесет ли. *Я-оно*могло и умереть. *Значит*, теперь-то знает, что не могло умереть, но — стреляло ведь без такой уверенности, совершенно, чистая правда, о том не думая. Во всяком случае, никаких подобных мыслей

припомнить не могло. Только лишь движение руки, грохот и мороз. Вот он, героический азарт: вслепую вскочило в бой и теперь может об этом рассказывать, поскольку осталось живым. Ха! Теперь повернулось к черному окну, чтобы скривить лицо в насмешливую гримасу, хохоча про себя над этими по-дурацки возвышенными мыслями — но вместо того, глянуло в бледные глаза отражения и только сжало губы, подняло повыше лысую голову, покрытую синяками и царапинами. Дай милостыню — и выдержи взгляд нищего! Решись на доброе, героическое дело — но не оплюй его перед самим собой, но встань в правде: это я сделал! Я — кто?

Опустило голову, сжимаясь и сдвигаясь на постели на стенку возле окна. Рас-тво-ряюсь, таю...

Двери приоткрылись пошире, и в полутемное купе в тихом шелесте платья вошла панна Мукляновичувна. Остановившись, глянув, она не сказала ни слова. Присела на стуле напротив кровати, опирая правую руку на секретере; склонила головку, заглядывая под одеяла, которые тем временем натянуло на болящую черепушку вроде монашеского капюшона. Дверь отклонилась еще раз, так сильно ее пихнула панна Елена, и захлопнулась с тихим стуком, отсекая доносящуюся из коридора траурную литанию жандарма. Она же отсекала и электрический свет оттуда — и потому в отделении воцарилась практически полная темнота, теперь весь отсвет был родом от ночной белизны за окном; он был способен проявить из ближайших форм лишь то, что удавалось отделить силуэт девушки от плоской черноты стенки.

И так длились долгие минуты, может, с четверть часа, когда ожидало, что панна что-нибудь скажет, что задаст вопрос или заплачет, или засмеется, или заговорит о чем угодно — но нет. Вошла, уселась, сидит. Длук-длук-длук-ДЛУК. Сколько она может так сидеть, всю ночь? Чего она хочет, зачем пришла? *Jamais couard n'aura belle amie e les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs* ^[212], как сказал бы не-Верусс, пускай пирует с червяками. Но вспомнилась ночь три дня назад, ночь долгих лживо-правдивых рассказов, когда точно так же сидело напротив панны возле темного окна — ведь слово тоже является действием, слово требует большей отваги, чем телесный жест, то есть, пустое движение материи.

Но, возможно, она и вправду внутренне собиралась сказать что-то, чего сказать не может, на что нет слов в межчеловеческом языке — но этого сомнения в темноте тоже не видно. Может, закрыла глаза, заснула. А, может, лишь сидит и только вслушивается в собственное и чужое дыхание, считает удары сердца. А может, глядит в окно. Возможно, кусает губы и заламывает руки. Длук-длук-длук-ДЛУК. Не видно.

Я-оно-высовывает руку из-под одеяла, протягивает ее к девушке — ах, ведь она этого тоже не увидит: почти-прикосновения, почти-ласки — не видит, чего не сделало, что умерло в попытке действия.

Но вот и конец роскоши темноты: полумесяц вышел из-за туч, посеребрил ледовые пейзажи, в купе сделалось светлее, и так все и замерзло: сидящая на стуле панна, с рукой, свешенной вдоль тела, несколько обессиленно, немного обескураженно, вторая рука подпирает подбородок, выпрямленный указательный палец прижат к белой щечке, заглядываясь темными, очень серьезными глазами прямо перед собой, но верхняя губка при этом легонечко подрагивает, словно готовясь к тайной улыбке, о которой знает только она и тот, на которого панна глядит.

Выбралось из-под капюшона пледов, в инстинктивной реакции выпрямляя спину и поднимая холодную десницу — но и это намерение замерзло на половине, неисполненное.

Так что, не поднялось, не схватило девушку за талию, не подхватило ее для неожиданного поцелуя. Не давило на ее уста, не глотнуло ее жаркого дыхания, не

испробовано ее слюны, приправленной сахаром и гвоздикой, не охватило своими губами ее мягкой, запекшейся губки, ее трепещущего язычка — колибри, мечущегося в дыхании от щеки к небу. Не целовало панну Елену, нет.

Но и девушка не вцепилась ногтями в сюртук, жилет и сорочку, не царапала, не водила ласково пальцами по груди, шее, лицу, по гладкому черепу; не охватила тяжелой, распаленной послеледовыми горячками головы, не обцеловала ее, хихикая при этом, от синяка до синяка, потешно дергая за уши, когда вырывалось из ее неудобного объятия, в конце концов, падая на колени, прижимая лоб к платью, гладко натянутому на лифе под скромным декольте. Она не смеялась из самой глубины груди, с наслаждением водя ладонями по бритой коже, щекоча над ушами и вонзая ноготки под затылочную кость.

Нет. Девушка сидит и смотрит, даже не мигнув, глаз в глаз, молчание в молчание, и только дыхание ее постепенно делается более поверхностным, все более рваным.

И вот, не потянулось с этих коленей к краешку платья панны, не скользнуло ладонью под ткань, к щуплой щиколотке в шелковом чулочке, не стиснуло пальцы на напряженном сухожилии над поднимающим туфельку английским каблучком — на что панна не дернула за уши, не повернула к себе лица, наполовину бинтами закрытого, глаза к широко раскрытым глазам — вопрошающим, перепуганным, обрадованным. Не скользило по шелку холодной ладонью, вдоль дрожащей икры, до коленки, не задерживаясь здесь хотя бы на момент, когда панна не раскрыла губ, не издала тихого вздоха-смешка; и выше коленки, до подвязки и границы шелка, над которой ладонь не переместилась на узкий пассаж обнаженной кожи бедра панны Елены. На что девушка не сказала ни слова, не замерла в неподвижности испуганной серны, с закусенным до крови пальчиком.

Нет. Девушка сидит, засмотревшись, не имея возможности оторвать глаз. Это не поединок стыда, как между случайными соперниками: ну, кто первый отведет глаза. Никто не желает отводить взгляда, сидя в душном молчании по обеим сторонам тесного купе, на расстоянии протянутой руки один от другого, замерзшие в момент, предшествующий протяжению руки, застывшие за секунду перед этим. Не знает правил игры, но играет. Ведь это же последняя ночь, быть может, панну Елену уже не увидит, и уж наверняка — не в этой атмосфере безгрешной временности Транссибирского Экспресса — никогда уже Бенедикт Герославский не встретится с этой Еленой Мукляновичувной. Думает ли девушка о том же самом? Скорее всего, так — здесь, в Краю Льда, где предчувствия ближе к предчувствиям, фантазии — к фантазиям, истины — истинам, именно здесь, только здесь такая ночь. Я-онозакутывает плечи в плед, забрасывает ногу на ногу, сжимает кулаки. Рука панны Елены, та самая — бессильная, обескураженная — слепо перебирает коралловые пуговицы под лифом платья.

Не сорвет она этих пуговок, дергая ткань, борясь с китовым усом под ней, пока не запыхалось окончательно, и девушка не рассмеялась бисерным смехом, не откинула ткань сама, освобождая крючки, сдвигая рукава с плеч, все платье — с корсета, все медленнее и медленнее, чтобы, в конце, не остановиться, неожиданно охваченная неуверенностью, с темным батистом, смятым в стиснутых кулачках, с вопросительным взглядом из еще сильнее раскрытых глаз. Счастье, которое невозможно просто так встретить, не сотрясло вагоном, когда состав мчался вниз по склону (не мчал), и не упало, потеряв равновесие, вместе с панной, запутавшейся в платье, на постель, застеленную одеялами и только что вычищенной шубой. Елена не смеялась, вновь пребывая в смешливо-упрямом настроении; не смеялась и не запыхалась в веселой икотке, раз не целовало поочередно все ее пальчики и по обнаженной руке вверх, к декольте под белой сорочкой, до линии черной бархотки с рубиновой звездочкой, когда уже панна, совершенно не имея возможности отдышаться от всех этих

щекоток и хиханек-хаханек, не схватила за лысую башку и не начала дергать в детском непослушании то за уши, то за нос, то за бороду, то за поросшие щетиной щеки, срывая при этом ранее сорванные бинты — в то самое время, когда, словно расшалившийся щенок, не обслюнявило ледово-белых грудей панны, маленьких, пересеченных розовыми отпечатками от корсета, не захватило между зубами алую пуговку левого соска, сжавшегося до размеров бусины, до изюминки, которую не растворяло во рту, перекатывая влажным языком в ту и другую сторону, на что панна не схватила подушку, выглядывающую из-под одеял, и не била ею по спине любителя изюминок, а потом не прикрылась сама, пряча разруганное лицо и заглушая смех и вскрики. Не взялось потом за вторую изюминку. Не вернуло правую, холодную ладонь на шелк под коленкой, шелк над коленкой, на шелковистую кожу бедра над шелком. Не скользнуло замороженными, поломанными пальцами под перкалевое белье панны, каждые полдюйма обозначая неспешной лаской новую линию фронта, как будто бы под эпидермисом панны самими кончиками пыталось почувствовать перемещение какого-то малюсенького агента Зимы, скользкого комочка мерзлоты, который все время ускользает — и уплывает к большему теплу в теле *девушки*. Но если цапнуть эту дробинку! раздавить пальцами! — девонька до конца расплывется в жарких объятиях, растает под поцелуями и ласками словно комок взбитых сливок — нет. И не потянула панна к себе, под большую подушку, не стиснула бедрами ладонь, выискивающую шпиона льда до самого источника горячки, не схватила второй рукой юбку и нижнюю сорочку, собирая их и задирая над белыми подвязками, не шептала при этом в душной темноте под подушкой, пахнущей жасмином и гвоздиками, непристойных слов из французских романов — на которые не отвечало другими французскими словами — на которые она не раскрыла ног, выпуская искалеченную ладонь — которая, наконец, не достигла и не схватила на последнем краешке распаленной кожи маленького агентика Зимы, между одним пальцем и другим, нежно, мягко, со злорадной нежностью охотника — на что панна не вскрикнула беззвучно, сжимая кулачки, чтобы потом не расслабить всех мышц, набухших в долгом, глубоком вдохе, рас-тво-рен-ная...

Но этого панне Елене уже слишком, она убегает взглядом и мыслями, схватывается с кресла, сбивая со столика чашку и блюдце, и этим движением возбуждает воздух, пропитанный запахом жасминовых духов. *Я-оно* тоже хочет схватиться, словно пробужденное от гипноза — но осознает и продолжает двигаться со скоростью сна, то есть, словно затопленное в янтарном меду. Открывает рот и захлебывается запахом; тот вошел в легкие, ударил в голову. Ассоциации прибывают медленно, с геологической неумолимостью. Этот запах. Этот запах! Разве не правду она сказала? Представленный себе вкус саранчи — в памяти мы не отличим от вкусов, уже испытанных. С этого времени жасмин всегда будет пробуждать живое воспоминание ночи безумной любви в Транссибирском Экспрессе, со временем становясь более живым, и тем более реальным.

Пошатываясь, дрожащей ручкой на ощупь разыскивая опоры, на подгибающихся ногах, панна Мукляновичувна идет к выходу. Нажимает на причудливую дверную ручку — запыхавшаяся, покрытая румянцем, с непослушным локоном, выскальзывающим из до сих пор аккуратной прически: одним, другим, третьим; потому поднимает руку, нервно поправляет волосы, приглаживает их. Спешно выходя в освещенный коридор, она чуть было не спотыкается на пороге. При этом она прикрывает глаза и блестящее от пота лицо от электрического света; а вот алых губ, все еще раскрытых, словно готовых к робкому поцелую — их прикрыть уже не может. Елена уходит, свесив голову, ведя бессильной рукой по гладким стенным панелям Люкса.

Если бы кто ее увидел сейчас, не имел бы ни малейших сомнений, что произошло за

закрытой дверью купе господина Герославского. И ведь был бы прав.

Несмотря на тьмечи и разные виды тьвета, несмотря на все силы разума, обращенные против Льда: несовершенное — более правдиво, чем совершенное.

III. Дороги мамонтов

«Мы предполагаем, что, и вправду, всякая истина является вечной, но не всякая истина является извечной. Если что-то является истиной в данный момент, то она же остается истиной на все времена, считая от этого мгновения. Правда не гибнет, не становится со временем фальшивкой, точно также, как и фальшь не изменяется в правду. Если нечто существует в данный момент, то с этих пор будет существовать по все времена. Но не все, что будет правдой когда-нибудь, навсегда было истиной когда-то; не всякое мнение, которое сегодня истинно, было таким вчера, либо, которое было правдивым вчера, таким же было еще когда-либо. Есть такие мнения, которые делаются истинными в определенный момент, и есть такие мнения, которые становятся истинами, правдивость которых только еще создается».

30 июня 1908 года, если считать по грегорианскому календарю, ранним утром, неподалеку от реки Подкаменная Тунгуска в центральной Сибири — случился взрыв, ураган, землетрясение и столб огня и дыма; так все началось.

Уже через несколько дней на небе наблюдали цветные сияния, ни на какие другие сияния не похожие. Туземцы говорили о плохих снах животных, не позволяющих спокойно спать по ночам их питомцам. Лето было теплым.

То, что прилетело, прилетело с юга или юго-востока. Свидетели рассказывают, что это оставляло за собой на небе длинный пылевой хвост. Они запомнили направление — с юга на Кежму — и как это направление менялось: поворот на 70 градусов к востоку, через 300 верст поворот на 120 градусов к западу, снова 300 верст, и только потом ударило в землю. Дымовая башня вознеслась верст на двадцать вверх. Свидетелей множество, поскольку показания дают даже люди, отдаленные на сотню русских миль от полярного круга: грохот их практически оглушил, а те, которые не оглохли, услышали последующие разрывы и протяжный, ритмичный гул. Тех, что находились поближе, бросило на землю; многое были ранены. В фактории Ванавара, в 60 верстах, ударная волна поднимала людей на три-четыре аршина, захватывала туземные палатки вместе с обитателями, олени летали над землей, ломая потом себе нот и спины.

Леса встали в огне.

Одна за другой, случилось несколько самых светлых ночей в истории, когда прохожие в Кенигсберге, Одессе и Лондоне могли в полночь читать на улице газету без искусственного освещения. Алые, белые и фиолетовые сияния освещали небо. Солнечные закаты были необычайно красивыми.

Суеверные люди приписывали все эти феномены зло враждебной конъюкции планет и таинственным астрологическим синергиям [\[213\]](#). Люди с более конкретными умами говорили о прохождении Земли сквозь облако космической пыли, тут же — о вулканическом извержении, вспоминая подобные виды четвертьвековой давности, когда произошло извержение Кракатау.

Это в мире; а вот в Сибири говорили о коварном нападении Японии. Ведь поначалу никакая реакция из Сибири не проникла в Европу, и никто не знал об истинных причинах небесных явлений. И вообще, сохранился всего один официальный рапорт тех дней, конкретно — из Енисейска, откуда тамошний начальник полиции, некий Солонин, докладывал губернатору: *Семнадцатого июня, в семь утра над селом Кежемсим на Ангаре с юга, в северном направлении, при ясной погоде, высоко на небосклоне пролетел громадных размеров аэролит, который в разрядах издавал звуки, подобные пушечным выстрелам, а потом исчез.* Этот рапорт прошел через местное отделение Российского Географического Общества в Иркутскую Магнитно-Метеорологическую Обсерваторию. И здесь дело застряло.

Весной 1909 года начали приходить вести с севера о новых метеорологических феноменах, а конкретно — о не прекращающейся зиме, жестоких, неслыханных морозах, продолжающих сковывать центральную Сибирь, несмотря на календарную смену времен года. Именно тогда же, впервые в научные учреждения Империи попало сообщение очевидца про люта. Корреспондент Никольский писал директору Обсерватории, Вознесенскому А. В.: *Руководствуясь указаниями лесных работников, ведомый нанятым охотником, я проехал около*

восьмидесяти верст на север и северо-восток от деревни Малышевки, где третьего дня, очень холодным утром, на снежном поле мы увидели очень странное образование темного льда. Эта формация (прилагаю эскиз), казалось, удерживалась на высоте на невидимом каменном скелете. Мы хотели приблизиться, но лошади отказались слушаться. Чему я приписываю спасение наше, ибо этот странный лед излучает такую стужу, что не уйдет с жизнью ни человек, ни животное, что я и доказал, симпровизировав следующий эксперимент: первое, я бросил в него бутылкой, наполненной водой, и вода замерзла еще в воздухе, в том месте, где бутылка разбилась, то есть, очень быстро; второе, подходя, насколько было возможно, против ветра, что нес из этой лютой массы свежую ледяную пыль, что было чрезвычайно неразумно, ибо, попав под сильное дуновение, я тут же испытал сильные обморожения на коже лица (которые и, спустя неделю, досаждают). Я измерил формацию издали, оценив ее в двенадцать аршин высоты, пять и двадцать аршин в ширину и длину. Мы переночевали на месте, чтобы отправиться на следующее утро, и тогда я отметил еще одну вещь, за ночь вся эта лютая форма должна была переместиться, судя по знакам на грунте (камни, наклонности, дерево и т. д.). Чего не понимая, тем более тщательнее описываю и докладываю.

Темп распространения Льда был таким, что еще первой зимой он захватил Кежму, а на вторую зиму добрался до Байкала, всего лишь через пятьсот дней после Столкновения загоняя лютов на улицы Иркутска. В более семидесятитысячной к тому времени метрополии из 18187 домов, учтенных в последнем реестре, всего 1190 были возведены не из дерева. Город тигра и соболя имел за собой долгую и бесславную историю пожаров; июньские 1879 года уничтожили почти что три четверти застройки. Зимой Лютов несчастье повторилось — для защиты от нечеловеческих морозов пользовались самыми различными источниками тепла, совершенно не обращая внимания на безопасность, когда же пожар вспыхнул, перескакивая с одной деревянной халупы на другую, его невозможно было остановить: вся вода замерзла. Этот пожар обратил в пепелище практически весь старый Иркутск — утром после адской ночи на черной равнине стояли только блестящие ледяным потом люты. По расчетам канцелярии Иркутского генерал-губернаторства, живьем сгорела шестая часть жителей. Потери оценивались в 70 миллионов рублей.

Но никто не сомневался в том, что город будет отстроен, как уже был отстроен перед тем, и вновь полностью изменит свое лицо в новой архитектуре. Уже через полгода по Транссибу на Байкал съезжались экспедиции европейских ученых различного калибра. Скупаемый у тунгусов и охотников тунгетит вывозился в лаборатории Санкт-Петербурга, Кенигсберга, Вены, Парижа. После пожара, в ходе раскопок пожарищ, через которые прошли люты, были найдены и описаны первые зимназовые холода, еще очень грязные. Над Байкалом, на Конном Острове на Ангаре и к северу от города, по дороге на Александровск и Усоль, выморозились крупные гнезда лютов, там же, на севере, из под земли вышло крупнейшее и наиболее стойкое известное человеку соплицово. Летом 1911 года неподалеку от него была построена первая экспериментальная холодница системы Круппа. Назначенный в экстраординарном порядке Николаем II генерал-губернатор Тимофей Макарович Шульц быстро возвел промышленный город, взявший от Новониколаевска, появившегося восемнадцатью годами ранее на берегу Оби, имя Холодный Николаевск.

В 1912 году, в Году Лютов, Лёд вгрызается в Европу, и перед лицом суматохи и угрозы голода, вызванного тем, что урожай вымерз, перед лицом начавшейся как раз второй войны с Японией — вновь нарастают революционные движения, в основном, анархические и народовольческие; а в Иркутске — в Иркутске растут печи и холадницы, фабрики и предприятия новых технологий; со всего света сюда стекается капитал и народ, ищущий работы или иной возможности заработка. Но в Иркутске имеется и собственная

революционная традиция. В нем в ссылке осело множество декабристов и петрашевцев, оказывая влияние на городскую культуру. Бунты и не подчиняющиеся власти мысли проявляются здесь как-то чаще и легче. В 1883 году предводитель иркутских народovolьцев публично дает пощечину генерал-губернатору Анучину; с тех пор байкальские губернаторы избегают выступать перед народом. С 1890 года в Иркутске начинает действовать комитет Российской Социал-демократической рабочей партии. В 1902 году Феликс Эдмундович Дзержинский организует на винокуренных заводах Александровска бунт рабочих. В 1905 году, во времена Первой революции, забастовки и демонстрации рабочих и чиновников становятся здесь настолько сильными, что к ним присоединяется часть военных и казаков, привлекая даже самого начальника гарнизона (впоследствии, охранка арестовала всю местную ячейку РСДРП). В годы Второй революции быстро появляется намерение, чтобы Холодный Николаевск подчинился рабочим советам; собиратели тунгетита и Мамонтовы следопыты объединяются в общества и артели. В ответ на это, в 1913 году, в силу царского указа, изданного по наущению Столыпина, Александр Александрович Победоносцев (кстати, родственник Константина Победоносцева, обер-прокурора Священного Синода Русской православной церкви и воспитателя Императора) учреждает *Сибирское Холод-Железопромышленное Товарищество*, с тех пор контролирующее торговлю сырьем Льда и продуктами ледовых технологий. *De facto* ^[214], это именно Сибирхожето осуществляет власть в городе, и хотя городским головой Иркутска уже двадцать с лишним лет является поляк, Болеслав Шостакевич, а иркутским генерал-губернаторством управляет Тимофей Шульц, укрепленный на этом посту царем графским титулом и почетной двойной фамилией, никогда еще не случилось такого, чтобы по какому-либо существенному вопросу они пошли против воли Победоносцева. Не только Холодный Николаевск, но и сам Иркутск, отстроенный после пожара, появился в соответствии с планами и ради интересов Сибирхожето. Иркутск — это Город Льда, Город Зимназа, и это видно с первого же взгляда на него.

Транссибирский Экспресс вкатился под крышу гигантского зала Муравьевского Вокзала утром двадцать пятого июля. Глядя через окно из коридора купейного вагона, здания вообще не заметило — там, впереди, над путаницей путей, возносилась лучащаяся фата-моргана, калейдоскопический клубок солнц, радуг, сияний, бенгальских огней. Только лишь когда поезд остановился в середине, и я-оноувидело помещение изнутри, в голове прояснился образ строения. Именно так Иркутск представал глазам посещавших его гостей. Так вот, весь Муравьевский Вокзал стоял на тоненьких, словно паучьи ножки, зимназовых скелетах, а пустоты в стенах и потолке заполняли гигантские листы мираже-стекла. Пропихиваясь вместе с другими пассажирами плацкартного к забитым багажом дверям вагона, с любопытством выглядывало сквозь запотевшие окна, пряча при этом лицо за тройным воротником толстого овчинного тулупа, чтобы агент, шпион или какой другой *даносчик*, поставленный на перроне выслеживать Сына Мороза, не заметил и не распознал, случаем, лица в окне. Случаем, а скорее — каким-то чудом, поскольку я-оносделало все возможное, на что позволяла правда, чтобы распознавания такого избежать. А правда представляла собой наилучшую защиту: не шубы дорогие, не перстни, духи и шелковые галстуки рассказывали правду о Бенедикте Герославском; впрочем, таких элегантных пижонов, богачей и аристократов из Люкса, их меньше всего, и они привлекают больше всего внимания. Сойти на землю Льда должен тот и такой же Бенедикт, который ходил по улицам Варшавы; во всяком случае, не являющийся ложью того Бенедикта. Поэтому: простой, тяжелый тулуп, который купило здесь у армянина, продав ему с большой выгодой

для того и новую шубу, и шикарное пальто; поэтому: сумки из мешковины и бесформенные тюки вместо кожаных чемоданов и сумок; поэтому: покрытая ранами, заросшая, мрачная рожа, а не гладенькое личико петербургского модника. Даже среди пассажиров второго класса *я-оно* выглядело не самым привлекательным образом. Но, кто знает, быть может, царские люди и мартыновцы получили здесь правдивое описание, варшавское? Бритую башку скрывала глубокая шапка. Еще попотело в толкучке, в душной толчее коридора последнего плацкартного вагона, хотя всякий выдох сгущался в воздухе в плотный туман, и резкий, словно осколок зеркала, воздух вонзался в горло — но, прыгнув на камни перрона и направившись с багажом к готическим аркам вокзального входа, тут же затряслось от холода под тулупом, свитерами и рубашками. Огромные термометрические циферблаты с медными щитами и спиртовыми измерителями (ртуть в Стране Льда замерзает) показывали двадцать два градуса ниже нуля по шкале Цельсия. Циферблаты висели по обеим сторонам зимназового тимпана [\[215\]](#), под которым проходил поток путешественников. Помимо главного перрона, на котором останавливались составы Транссиба и Холодной Северной, под мираже-стекольной крышей находились еще два пассажирских перрона. А ведь правда, что говорят, думало *я-оно*, то дергая тюки, то приостанавливаясь, чтобы отдышаться в арктическом воздухе, пляясь на архитектуру вокзального здания словно очередной сибирский мужичок. Правда, что говорят: Иркутск — это столица Сибири. Российское зимназовое *art nouveau* [\[216\]](#) придало крышам форму трех гигантских листьев, завернутых у земли почти что горизонтально, а вверху, высоко над поездами, заходящих один на другой, словно чешуйка на чешуйку. Этот гладкий склон и вся идущая по косой форма — догадывалось *я-оно* — были для того, чтобы снег легче с них осыпался, и лед не накапливался на пластинах мираже-стекла, позволяя глядеть сквозь чистые призмы радуг на небо, позволяя солнцу заглядывать вовнутрь помещения. Но ведь кто-то, все равно, должен был карабкаться туда на самый верх по зимназовым столбам, изготовленным в виде черешков и жилок этих листьев, кто-то должен был топтать рабочими сапожищами ангельские дворцы, колотить ломami по мерзлоте, постепенно покрывающей небьющееся и вечное мираже-стекло — поднебесные чистильщики, пролетариат лопаты и радуги... Снова схватило за мешки с тюками. Наверняка, если бы не этот посконный тулуп, уже подбежал бы какой-нибудь *наильщик*. Позвать? Помахать? Да тут нужно из пушки пальнуть, чтобы заметили человека в этой толкотне; но ведь дело и в том, чтобы никто не заметил. Заметило, что у большей части людей лицо обвязано шарфами, дышат они через эти шарфы; как можно скорее последовало их примеру. Кто узнает человека, собственного лица лишенного? Добралось до залы ожидания. Под одной стенкой здесь разложили свои ларьки китайцы, евреи, монголы, десяток представителей других азиатских наций; русских перекупщиков, если судить по видимым частям их физиономий, было как раз меньше всего. Под другой стеной стояли жандармы, время от времени подзывающие кого-нибудь рукой и требующие открыть лицо и предъявить бумаги; их сопровождали три казака при саблях. Рванув мешки, повернуло вправо, лишь бы подальше от них. Под дверью кассы лежал волк — или же собака, похожая на волка; ребенок-инородец, девочка, бурятка или якутка, кормила его с рук. За кассой, на черной зимназовой стене, над расписанием поездов, несколькими белыми линиями, то ли известки, то ли мела, кто-то сделал набросок слона. Кому-то пришлось влезть на очень высокую лестницу. Ха, но ведь это, видимо, мамонт. Некоторые из этих туземных торговцев выложили на шкурах меньшие и большие фигурки мамонтов — наверняка выточенных из мамонтовой кости. Другие — глянуло *я-оно* предлагали тьвечки, огромное обилие тьвечек, толстых и тонких, длинных и коротких, простых и отлитых в формы с несомненно магическим значением. Здесь тьвечки дешевые, как щи. Многие из новоприбывших останавливались возле этих

примитивных прилавков и без долгой торговли покупали: тьвечку, амулет, мешочек каких-то китайских или тибетских ингредиентов, мираже-стекольные очки. Теперь заметило тех, что над нижней частью лица, завернутой в шарф или другую тряпку, прячут и верхнюю часть его за широкими, выпуклыми стеклами, величиной с крупную столовую ложку. Ага, вот и железнодорожный чиновник при мундире, выходя из Вокзала, вынимает и цепляет на нос радужные, мерцающие очки. Ха, вот теперь уже никто не узнает! Тяжело посапывая, дотащило свои грузы до открытых коробов продавца миражестекольных очков и, не говоря ни слова, приобрело пару, чтобы тут же надеть их. Все тут же набежало цветом, словно кто-то стащил с яркого рисунка темную, плотную вуаль. Никакая вещь уже не была только белой или только черной, но множество натуральных цветов проявлялось с каждым поворотом головы, с каждым движением глаз; и все это происходило не резкими скачками, как при мигании, но в соответствии с движением жидкости, масляным переливом: цвета соединялись один с другим, сливались, перемешивались, выпирали один другой, выжимаясь из форм, словно выдавливаемый из плода сок. Глянуло на окружающих людей. Цвета, цвета, масса цветов. Глянуло на небо над прозрачной крышей — цвета, цвета. Глянуло на руки, на ноги, на грязь под ногами. Цвета! Рядом косоглазый продавец тьвечек уговаривал совершить покупку жестами рук и запевом на ломаном русском языке. Схватило за тюки. Другая рука в варежке схватила самый тяжелый мешок. Подняло голову. *Мальчик*, оскалившийся в щербатой улыбке, с жестяным номером багажного, пришитым к телогрейке. Ага, выходит, все более богатые пассажиры Экспресса были уже обслужены и отвезены. Облегченно вздохнуло. *Мальчик*, не гася усмешки, затараторил по-русски, представившись Василием и рассказывая чудеса про дядьку Клячко — самого честного, самого дешевого, опытного и фартового *извозчика* по эту сторону Байкала. Тут же подбежал еще один *наильщик*, и вдвоем они захватили весь багаж. Вышло по ступеням синего мрамора на привокзальную площадь. В воздухе висели цветные сливки, что плыли обширными потоками, до высоты второго этажа заполняя площадь, улицы, пространство между домами. Радужный свет ближайших фонарей, явно горящих здесь круглые сутки, с трудом пробивался сквозь молочную взвесь. Люди входили в нее и выходили из нее словно какие-то подводные создания, появляющиеся и исчезающие в облаках ила над речным дном; мчащиеся сани пересекали площадь, оставляя за собой кильватер неспешных водоворотов, чтобы потом тоже потеряться в этих сливках. Как они во всем этом ориентировались, каким чудом не терялись? Шум уличного движения не мог быть указателем: доходил со всех сторон. Глядя еще со ступеней Муравьевского Вокзала, над островами крыш (тоже бело-цветастых, поскольку покрытых снегом) видело только два одинаковых церковных купола, далеких, и в этом удалении посреди облака — тем более монументальных, а еще дальше — стоящую наедине башню, настолько высокую, что ее верхушка терялась в темном облаке. Спустилось к саням, на которые Василий погрузил багаж, уселось под пледом и оленьей шкурой. Ага, еще одну вещь можно увидеть в высоте — одну, и вторую, и третью — повернулось на сидении, глядя за крыло Вокзала в стиле классицизма, увенчанное огромным памятником Николаю, графу Муравьеву-Амурскому — и четвертую, и пятую. На десяти аршинных деревянных мачтах, словно на древках неких кошмарных флагов, над Вокзалом, над площадью, над городом, висели давние трупы. Выпотрошенные тела черноволосых мужчин, зацепленные за выкрученные назад, словно крылья, руки, еще обвешанные фунтами костяных и железных амулетов, веревками, кистями, цепями, и при этом, если не считать описанного выше, совершенно голые, до последней косточки открытые на вид публики. Лёд сковал их в скульптурных позах, не висят, а, похоже, стоят на этих жердях — языческие Симеоны Столпники. *Я-оно* задрожало. А из глубины города, от самого сердца метрополии, из бело-цветастых пучин доходит подавленное, басовое гудение,

неспешная Мамонтова пульсация. Замотало шарф поплотнее, шапку натянуло пониже. Таким вот представал прибывающим сюда гостям Иркутск.

И куда благородный господин желает, спрашивает Клячко, поворачиваясь на козлах и глядя через плечо, и слеза грязной серости перетекает с материала его потертой шинели на бородатую рожу, под меховую шапку, а оттуда уже на воротник и рукава Клячко сливаются потоки розового, белого и черного цветов. Куда? *Я-оно*водит языком по десне. А знаете вы, добрый человек, какую-нибудь гостиницу, заезжий дом, какой-нибудь пансионат с комнатами, где цены человеческие, а сам чтобы был не слишком паршивый? На что Клячко широко оскалился в своей взлохмаченной бороде, при этом оказалось, что даже щербатый он был точно так же, как Василий. Семья! Кровь слабых зубов и быстрого языка! Поскольку он уже щелкнул кнутом и дернул вожжи, сани тронулись, зазвенели тяжелые бубенцы упряжи, а Клячко говорит: Благородному господину повезло, что попал на человека, который знает город, как свои кальсоны, а поскольку сердце доброе, то завезу вас не в какую-то дыру завшивленную, а в дешевую и вполне приличную гостиницу, в которой шурин работает, могу поручиться за него, впрочем, в свое время это была знаменитая и дорогая гостиница, правда, пришла в упадок, не та уже репутация и клиенты, равно как весь *Уйский квартал* бывшее *Глазковское Предместье*, когда на левом берегу в последние годы кучно стали селиться китайцы и мужичье безземельное, изгнанное вечной зимой из сибирских столыпинских деревень. Так, так, ваше благородие, все это зло от чужих приبلуд и ледяных чертей, дай Бог, чтобы огнем их в ад смело. Ну, *пашол!*

Спросило у него про мираже-стекольные очки. Тот ответил, что они против снежной слепоты и Черного Сияния. Спросило его про трупы на мачтах. А, господин, это уже дело бурятских шаманов, нанятых Победоносцевым и городской думой. И при этом сплевывает, одной рукой крестясь, а второй, с кнутом, указывая на зимназовый перст башни Сибирхожето, точащий над городом и стремящийся прямо в небо. Но зачем же им они, допытывается *я-оно*, эти покойники, с которыми так жестоко поступили — оскорбление ведь для Бога и людей. Стерегут, отвечает, чтобы враг не прокрался по Дорогам Мамонтов. *Значит*, тот самый мамонт на стене Вокзала, тоже для того? Мужик снова крестится, взывая к *Спасителю*. Нарисовали, говорит, в знак войны с братьями своими, чтобы господа могли больше рублей зарабатывать на сокровищах подземных. Ну этот барабан, барабанный бой настойчивый — это что? А, это, это — люты.

Старый Иркутск появился на правом берегу Ангары; Уйский квартал, построенный после Большого Пожара, лежит на левом берегу, к северу от Иркуты и Кайской горы. Вроде, следовало бы свернуть на Мост Мелехова, но все ездят по льду — река на вскрывалась уже четырнадцать лет. Говоря по правде, даже сложно высмотреть береговую линию Ангары. По льду проходят тракты и улицы, не отличимые от городских. Вот так, по которой сейчас едем, — объясняет Клячко, у которого рот не закрывается, несмотря на мороз, для него, возможно, и не столь докучливый — это самая важная. Это Главная — от Ангары, *Ящика*и памятника *Гасударя* Императора Александра Третьего через весь правобережный Иркутск проходящая, вот это — Амурская, а вон там — Тихвинская площадь, туда вон отходит улица Тихвинская, где стоит старая церковь с копией чудотворной иконы, к которой люди со всей Сибири сходятся, по божьей воле от пожаров уцелела, ведь, к примеру, большой Казанский собор, о котором благородный господин должен был слышать, в них не устоял — не слышали? Да, это ж как люди забывают! А вон там дальше, вона, на его месте *холад* *прамышленники* поставили *Сабор Христа Спасителя*, еще больший, *пасматрите*,

посматривайте! Он размахивает кнутом во все стороны тумана, в котором не видно ничего из того, о чем Клячко рассказывает. Зато *я-оно* видит маленькие искорки потьвета на его шапке, на шее, на бороде — когда он поворачивает голову, на рукавах шинели; искорки маленькие, но очень выразительные — а может, это мираже-стекло делает их такими заметными? *Я-оно* глядит над стеклами. Нет, вот теперь они еще более яркие. Долго вы тут живете, — спрашивает у Клячко. — А, господин, я в Байкальском Краю родился, я сибиряк! *Я-оно* присматривается сквозь очки. Все так, как говорил Поченгло, половина из них — это лютовчики.

Когда сани скользят по льду Ангары, ветер, идущий по широкому руслу реки чуть ли не от самого Байкала, разгоняет морозные испарения, и можно глянуть чуть дальше к северу и югу, на старый железнодорожный мост, по которому недавно проехало на восточный берег — на новый мост имени Григория Мелехова, весь из зимназа, видимый исключительно как скопление радуг, отблесков и синего зарева, настолько тонкая и кружевная его конструкция, лишенная мостовых пролетов, прогонов и опор — на фантастические формации соплицова или гигантского гнезда лютов, нагроможденного на Конном острове, вырос на выросли, словно руины хрустального дворца Царицы Зимы посреди бело-цветной ледовой равнины; а поскольку туман разошелся — на все это сверху стекает свежее солнце летнего утра, зажигая серебристые искры на льду и снегу, взрывая на мосту зимназовые рефлексy. Прекрасно видно и городское движение по Ангаре, в ту и другую сторону направляются группы и потоки пешеходов, двигаются десятки саней, в большинстве своем, одинарных и двойных упряжек, как у Клячко, но есть и тройки, имеются тяжелые товарные сани, которые тянут упряжки четверней и шестерней, загруженные доверху кучами всякого товара, корзинами угля, вязанками дров; и у всех, помимо звонких колокольцев, имеются мираже-стекольные лампы, одна сзади, другая спереди. Так что, даже в тумане, если тот не слишком плотный, видны мелькающие в туманах белизны калейдоскопически меняющиеся двойные звезды — и слышно неустанное дынь-дзынь-дзынь колокольчиков.

Въехавши в левобережный Иркутск, вновь в холодную сырость, не нарушаемую ветром, замечаешь смену тона колокольцев: в тумане звуки разносятся по-другому. Некоторые звуки он заглушает, некоторые приближает к уху — как, например, вот это сонное бубнение, растянутое во времени словно скрип тормозящей граммофонной пластинки. Это что же, какой-то лют сидит на Уйской? Клячко, сворачивая на широкий проспект, указывает кнутом на юго-восток. Вон, где старый вокзал и развалины Иннокентьевского до Пожара, говорит. Так вот здесь проходит ближайшая *Дорога Мамонтов*. А вот через «Чертову Руку» морозник не проходил уже больше года. Тпррру! Он останавливает сани. Что за «Чертова Рука», допытывается *я-оно*. Да вот, смеется мужик, прыгивая с козел и хватаясь за багаж — вот и гостиница вам обещанная, прошу! Мираже-стекольные фонари по обеим сторонам вывески, на которой нарисована когтистая лапа, поросшая черным волосом. Черная краска лапы жирными пузырями перетекает на серо-белый фасад каменного дома, а эти белизна и серость, в свою очередь, скапывают на снег; туман же верно повторяет цвета фонаря, по всей длине и ширине проспекта. *Я-оно* на мгновение закрывает глаза. Даже если мест нет, чего-нибудь найдем, стрекочет Клячко, я ваше благородие обязательно поселю. *Я-оно* выпускает из легких облако теплого пара и входит в «Чертову Руку».

Хозяин перечисляет услуги, ценники и учтенные в них удобства (типа канализации и туалета на каждом этаже, опять же, постель без насекомых). Клячко внес багаж, *я-оно* сунуло ему щедрую оплату. Нужно избавляться от навыков расточительного графа Гиеро-Саксонского — за комнату платит всего за два дня наперед, отдельными рублевками, отсчитываемыми из тонкой пачечки. Кашляет сквозь перчатки. Устал после долгой поездки,

говорит я-онохрипло, бумаги оформим, когда выплусь. Огромный китаец без усилий берет сразу все тюки и мешки. Хозяин ведет на второй этаж, здесь уже тепло, я-онорасстегивает тулуп, снимает шапку. Хозяева глядят на башку в синяках. Но только сразу с утра, говорит хозяин; открывает комнату, вручает ключ. А почему такое название не гостеприимное, спрашивает я-оно, чтобы сменить тему, почему «Чертова Рука»? А-а, так здесь знаменитый английский чародей проживал, по имени Кроули; приехал лютов узнать, чарами своими умственными на них подействовать, даже с его благородием Александром Александровичем Победоносцевым беседовал; но как-то раз отправился в Чамар-Дабане в соплицово и не вернулся, внизу у нас столик имеется с его шахматами, которыми игрывал он долгие партии с отцом Платоном из собора Христа Спасителя, последующим экзархом [\[217\]](#). У нас и снимок имеется, то есть, Кроули, на котором черным огнем в камеру глядит. А ежели какой еды захотите после времени, заранее предупредите. И сами в печку не подкладываете, а то прибавим к счету. Приятного сна, спите-забыте.

Ушли.

Спите-забыте — это что же забыть надо? Обессиленно уселось на высокой кровати, застеленной выцветшей накидкой и украшенной пятью подушками, одна на другой, меньшая на большей. Из угла, от большой печки, с кафельными плитками, разрисованными цветами и зверями, шли волны жара. Инстинктивно помассировало правую руку. На противоположной стене висела небольшая, темная икона; на столе под окном стояли две наполовину сгоревшие твечки. В окна было вставлено мираже-стекло, так что даже после того, как сняло очки, весь законный мир разливался в стороны будто краски на палитре пьяного художника; весь мир — это, значит, туман и те несколько крыш в нем, широкий холст неба, а на нем — черная кость башни Сибирхожето, тунгетитовые купола собора Христа Спасителя. Били барабаны.

Я-ононаставило ухо. Били барабаны, и играла музыка. Понятно, квартал не самого высокого пошиба, еще не полдень, к тому же — пятница, рабочий день, а тут из соседнего дома громкая музыка с песнями и пьяными окриками доходит, несмотря на толстые стены и плотно закупоренные окна. Кабак — не кабак, забава идет на всю катушку, скоро можно будет ждать отзвуки ссоры да драки. Под звуки гармошки и балалайки мужики вопят неприличные частушки, хохоча после каждой.

*Француз пощупал, фриц обмерил
Китаец зельем притравИл,
На дуэль поляк их вызвал —
Лют им хер отморозИл!*

Я-оноразделось, умылось не сильно холодной водой из миски. Перекладывая вещи из мешков в шкаф, обнаружило старую Библию, подписанную семейством неких Фойцевых. Открыло на первом попавшемся мест и ткнуло пальцем в строку.

Понятное дело, Иов. Тридцать семь, десять. *От дуновения Божия происходит лед.*

Сразу же вспомнилась библейская проповедь Зейцова. Будет ли ближе к Богу мир, замороженный в единоправде и единофалыш? *Есть, есть. Нет, нет. А что больше, то от лукавого.* На мгновение свернулись локоны тумана над крышами, и вдалеке, подвешенная над берегом Ангары, заблестела на солнце округлая туша люта. Есть, есть.

*Полубил царь Распутина,
Тот премьеру в рожу плюнул,*

*Струве пал перед Мартыном,
Под байкальским льдом, скотина!*

Дело в том, что и вправду я-онобыло уставшим и невыспавшимся. С самой станции Зима не сомкнуло глаз. Пересчитав и свернув вместе все банкноты, по старому обычаю сунуло их в бумажник вместе с документами в изголовье кровати. Из бумаг вытащило рекомендательное письмо Альфреда Тайтельбаума. Через день-два — придется предстать перед чиновниками министерства Зимы и сказать им громко и четко: так и так (Нет и нет)! Но будет лучше вначале воспользоваться знаниями и советом дружелюбно настроенного туземца — кого-нибудь, с кем не познакомилось в Транссибирском Экспрессе, кто не слышал о Сыне Мороза, кому не известны враки о Бенедикте Герославском. Расспросить его о людях, о властях, про работу Сибирхожето; может оказаться, что намерение Министерства даже слишком очевидно; может, господина Раппацкого удастся просто переждать. Возможно, я-оновыкрутится из всего этого без проблем, и эта единственная заковыка решится сама собой. Еще до того, как доберется сюда доктор Тесла со своими машинами — до того, как он эти свои машины запустит — перед тем, как он их на лютах испробует — и до того, как придумает способ вывезти теслектрические насосы и моторы в...

*Киснет кровь и глазья стынут,
Жить не сладко снова,
Кто увидел морду страшну
ПобедоносцаОва!*

Затянуло перкалевые занавески, что кабацких голосов и медленно ухающего барабана не заглушило, но, по крайней мере, ледовое сияние, солнечный свет, профильтрованный туманом, перестал поступать в комнату. Сунуло Гроссмейстера под подушку. Набитый сеном матрас колот через простыню, я-онокрутилось на скрипучей кровати туда-сюда. Только через какое-то время поняло, почему не желает приходить сон, чего ему не хватает: ритмического стука вагонных колес. Успело к нему так привыкнуть, словно всю жизнь провело в поездке — словно вся эта поездка в комфорте Люкса была всей прошедшей жизнью, настолько правдивой, насколько четко его помнило. Но сейчас уже приехало на место.

*Три бурята развлекались:
Выли, пили, танцевали,
Отъебали мамонтА —
Получили три рубля!*

О кладбищенской ночи и утреннем воскрешении из могилы

Голос и голос.

— Венедикт Филиппович Ярославский.

— Спит.

— Ну да.

Сон о Варшаве возвращается отраженной от берега волной: что вошли, что встали у

кровати, что пьются и болтают. Я-онозападает в глубину, пряча голову под волной. Под волной, под подушкой, под периной, в клубке горячего тела, в нагретой постели — спите-забыте... А они стоят, над сном склонившись, и что-то упрямо шепчут. После чего наступает сотрясение сна и все заливают черный, душный кошмар, из которого только и помнишь, что кошмар, то есть: мрак в голове и впечатление, что тебя душат.

Пробуждает мороз. Переохлажденное тело трясется, дрожат конечности и все туловище, пока сон до конца не выбивается из головы, и открываются глаза: тьма.

Темно — твердо — холодно — тишина — химическая вонь — под пальцами шершавое дерево — невозможно шевельнуться — замкнутый — бах, бах, бах, нога, рука, голова, можно только стучать в дерево — со всех сторон — я-онозамкнуто в гробу.

В горле зарождается панический вопль, ниже, в груди, еще ниже, чуть ли не в кишках. Только ни единого звука не выйдет их гортани, стиснутой в звериной судороге.

Я-онодергается между неструганными досками, без толку царапая пальцами и короткими, обгрызенными ногтями, пытаюсь найти хоть какие-то щели, места, за которые можно зацепиться, чтобы дергать, выломать, разбить этот гроб. Но добивается лишь того, что весь ящик начинает трястись и дергаться, стуча об основание. В ответ на это горячий пот заливают кожу: выходит, не похоронили! значит — не могила!

Я-оно мечется с еще большей энергией. Упершись ступнями в вязанных носках, толкает коленями доски крышки гроба — и между ними появляются тонкие линии света, продольные черточки желтого сияния, поначалу чуть ли не слепящие.

Напирает на них, бьет кулаком.

— Эй, спокойно там! — кричит кто-то по-русски и трижды стучит по крышке.

— Откройте! — хрипит я-оно, а горло переполнено холодной слюной.

— Говорю ж тебе, тихо там!

Я-оно замирает, прислушиваясь. Шуршание, скрип, треск — наверное, двери — шаги, отдаленные голоса, собака завывала и тут же заскулила, когда кто-то ее ударил или пнул. Не слышно кабацкой музыки, не слышно барабана. Это не «Чертова Рука». Химией какой-то одурманили, похитили, вывезли в гробу, один Бог знает куда.

Но, если бы и вправду хотели убить...

— Проснулся.

— Слышал я, слышал.

— Пришли?

— Ага. И мороз, как Господь приказал.

— Так где?

— Ну, могила выкопана, ждет.

— Лев Игнатьевич сказали...

— Ну все уже, все! До рассвета нужно засыпать и спалить...

— Тогда не стой, как лют, хватай клещи.

Они начали что-то делать с гробом. Опилки сыпались в глаза, пришлось их закрыть. Когда снова их открыло, крышка уже была снята, а оба мартыновца стояли под единственной керосиновой лампой, сложив руки и с интересом приглядываясь.

Не помогли; выкарабкалось из гроба самостоятельно, чуть не падая на землю. Встало, подпираясь, у стены сарая из неровных бревен.

— Д-дайт-те чт-то-ниббудь, ради Бога, зам-мерзну ведь в одних подштаниках!

Они поглядели друг на друга, разделяя одно и то же презрение. Холодно ему! Сами они были в полотняных портках и свитерах, не очень даже толстых; только на головах были меховые шапки.

— А как желаете. Что найдете для себя, то и хорошо; все равно, в один лед идете. Только быстро!

Я-оно огляделось по сараю. Здесь держали инструмент — лопаты, ломы, тачки, ведра, какие-то бутылки и корзины, веревки и мешки; здесь же материал на гробы: некрашенные доски, несколько уже готовых, сбитых домовин. Старший мартыновец указал подбородком на два лежащие у двери. Подошло туда. В них покоились останки старца в старом штучковом костюме и труп мужика с разбитой головой, в окровавленных лохмотьях. Оба сжимали пальцы на груди на католических крестах. *Я-оно* вздрогнуло — но, то ли от отвращения, то ли от холода, этого уже невозможно было сказать по рефлексам тела. Повернулось к могильщикам спиной; те хрипло перешептывались.

Закоченевшими пальцами, сдирая с трупов замерзшую одежду, пытались собрать мысли, раздираемые панической дрожью. Могила уже выкопана! Все в лед! Это мартыновцы, иркутские мартыновцы, любимые дети лютов, схапали, похитили, живого не отпустят — знают ли они про Екатеринбург, знают ли про Пелку — что они знают, чего хотят — убить — закопать в стылую землю, заморозить. Никто не поможет, никто чудесным образом на помощь не придет, придется отбиваться хитроумной отговоркой и — и — и ложью, другого выхода нет, *нада врать*.

Дрожь нарастает, разогнанный резонанс страха разmozжит кости, взорвет череп, выбьет из мозгов последние складные мысли; останется только стон, протяжный и слезливый.

Поверят ли они, что это ошибка? Что *я-оно*не Бенедикт Герославский?

Или, по крайней мере, что не Сын Мороза? Что все это — лишь иллюзии Раппацкого и его людей, сибирская сказка и придворная легенда?

Что не имело ничего общего со смертью екатеринбургских мартыновцев? Что вовсе не желает размораживать Россию, что совсем не враг лютов? Что нет относительно них каких-либо планов? Захотят — так *я-оно* поклянется всем святым, икону святого Мартына поцелует, перед портретом царя на коленки падет...

Только все это лишь слова да пустые жесты, известно, что перед лицом смерти всякий скажет то, чего от него потребуют. Так зачем им верить — ведь не поверят. Нужно дать им что-то, в чем увидят они для себя выгоду при отказе от убийственных замыслов; нужно дать им какую-нибудь ложь — огромную, красивую, вдохновенную. Ведь это мартыновцы, ледняки, распутинцы, что защищают лютов, защищают Россию во Льду... Знают ли они про Теслу, про безумные замыслы императора, про машины, предназначенные для войны с морозниками?

Вот оно! Выдать им Теслу! Так!

И чем плотнее обматывалось трупной одеждой, чем теплее закутывалось в кровавые лохмотья и тесноватый костюм, старческим смрадом пропитанный, тем сильнее входила злая дрожь в тело и мысли, тем более сильный зажим блокировал челюсти — погрязло в этом страхе и отчаянии. А мартыновцы под кривой лампой — они смотрели.

Открылась дверь, из темной ночи подуло пронзительным морозом, еще один мартыновец сунул башку в середину.

— Все уже! *Давайте-ка его!*

Схватили под мышки, потащили, хромающего. Вышло на кладбище.

Значительно позднее узнало, что это было самое старое кладбище Иркутска, превращенное в священное для христиан место еще из языческих мест упокоения. Здесь хоронили православных, хоронили и католиков; имели свои могилы протестанты, а рядом — по-соседски — лежал еврей; чуть дальше под голым небом валялись кости бурят и тунгусов. Склон был обращен к западу, к ночным мираже-стекольным огням и зимназовым зорям

города, закрытого плотным туманом; но на эту высоту туман либо вообще не доходил, а если и доходил, то очень разреженный, мягкий. И вот из синей прелести мглы проявлялись волны крестов, заснеженных надгробий, ряды невыразительных могил под шероховатым панцирем льда. На север и на юг шли подобные холмы, увенчанные гребнями замороженного березняка. Этот холм называют Иерусалимским. Впоследствии так же узнало, что сарай могильщиков стоял на фундаментах сгоревшей церкви. Единственная оставшаяся стенка тоже была готова упасть. Под ее закопченным крылом ожидали остальные мартыновцы, группа из дюжины мужчин, никто из которых не был тепло одет; один из зимовников даже полуголый, с посиневшим торсом, выставленным на жестокий мороз, разве что в шапке-ушанке, натянутой на бородатую рожу. Сейчас они болтали друг с другом, выпуская изо ртов облачки пара, совершенно темные в свете призрачного полумесяца; они позвали и сами пошли вниз по склону, к свежераскопанной могиле, вокруг которой горели керосиновые костры. Я-ононаправилось за ними; ледовые могильщики тащили, не говоря ни слова.

Упало на колени между этими огнями, головой в сторону ямы, в которой собралась черная вода, покрывая дно. Костры горели на кучах земли, выбранной из ямы; за дымом и искрами были видны рукоятки лопат, вонзенных в твердый грунт.

Они глядели. Даже не нужно было поднимать глаз и заглядывать им в лица, зарумянившиеся от близкого жара; все это я-онопрекрасно видело внутри себя. Как они плятятся на пресмыкающегося на коленях, хрипло дышащего человека, трясущегося между морозом и огнем, в отвратительных трупных тряпках, слишком больших и малых, с башкой, покрытой фиолетовыми синяками и сунутой теперь в грязь, на такого вот Сына Мороза — и что им такой вот Сын Мороза способен сказать, чтобы от заповедей ледовой веры они хоть на миг отвернулись, какой ложью эта карикатура отведет их от святой единоправды?

Под холодной черепушкой, беззвучный и слышимый лишь в замороженной гортани, на струне вибрирующей слизи нарастал один лишь жалобный, протяжный стон.

— Из холода в холод, человек нарождается и в холод уходит, холоден Бог, из холода в холод, — певуче забубнил седобородый мужик, размахисто крестясь и целуя зимназовый медальон.

— Из холода в холод!

— Людей в горячке...

— Заморозит!

— Стремления жгучие...

— Заморозит!

— Грехи пламенные...

— Заморозит!

— Кровь возбужденную...

— Заморозит!

— Души распаленные...

— Заморозит!

— Пламя адское...

— Заморозит!

— Мир в пожаре...

— Заморозит!

— Жизнь пепельную...

— Заморозит!

— Слово Мартына!

— Слово! Смилуйся, Христе-Боже наш, Христе-Спаситель наш, Льда ждем, Льдом

живем, в Лед верим, в Лед идем.

— Аминь.

— Видите, братья, человек, даже наилучший, на этом свете живя, не выбирает между добром и злом, но только между злом и злом; и наибольшим добром в предсмертные времена будет то, что способен человек отвернуться от зла разума к злу сердца, от зла ради собственной корысти к злу в пользу людей, в пользу миру всему, так. Посмотрите: господин с Большой Земли, Венедикт Филиппович Ярославский, сыном Батюшки Мороза объявленный. Поглядите: он.

— Он.

— Сказали нам отцы: этот есть орудием зла оттепельнического, этот вот едет родителя на погибель лютов обратить, по приказанию министерства врагов Льда, по наущению дварян, отчизну ненавидящих, и душонок подлых, продажных. Так?

— Так. Так. Так.

— И вот зло перед нами: пролить кровь этого вот человека беззащитного. Так вот, брат Ерофей молвит: до того, как возьмем жизнь его на души свои, поддать его испытанию Мороза следует, как в пророчествах записано: замороженный в земле святой, в тринадцатый день Льда живым встанет, из земли извлеченный. Но вот почему брат Ерофей это испытание могилой просил? Какого откровения он туг ожидает? А?

Я-оноподняло глаза. Все глядели на мартыновца, стоящего сбоку, слева, в головах удлинённой могилы. Узнало его по криво заштопанной рубашке и старым обморожениям, по багровой ране на виске, по глазу, опухшему от обломков разбитого интерферографа.

И тут все сделалось ясным и очевидным: почему так быстро нашли в совершенно случайно ведь выбранной гостинице, даже в книгу проживающих ещё под собственной фамилией не вписанного, каким образом распознали — этот вот соплицовец, этот сумасшедший из Старой Зимы, он не сбежал вслепую в метель, о нет, на Экспрессе добрался до Иркутска, спрятался где-то в поезде и с глаз не спускал, следил от самого вокзала, или же напал на Клячко и выдавил из него адрес; затем в «Чертову Руку» прокрался, дружков своих ночью приведя: братков-могильщиков с санями-дрогами, с гробом заготовленным — ангел из сна, это он узнал: «Бенедикт Филиппович Герославский». Все стало ясным и очевидным — кроме одного: что такого сказала ему на перроне Зимы панна Мукляновичувна.

— Иначе петербургское слово звучит на земле Льда, — подтвердил соплицовник, лупая над огнем единственным своим живым глазом. — Хорошо знаете, не раз уже так бывало.

— Что скажешь, брат Ерофей? — спросил седобородый. — Следует нам его в мерзлоту закопать?

— Пускай он скажет! — воскликнул одноглазый мартыновец, указывая сквозь дым выпрямленной рукой.

Я-оноподнялось с коленей. Рвануло рукав штучкового пиджака, поправило галстук, переступило на глинистом краю могилы с больной ноги на здоровую, обе в слишком тесные башмаки втиснутые..

— Бенедикт... — Они не слышали; тогда откашлялось и повторило громче: — Бенедикт Филиппович Герославский, так.

Сжало кулаки, чтобы сдержать дрожь. Словно из стреляющего бича, волна возбуждения должна в какой-то точке сойти с человека, разрядиться на конечностях.

Тут же вспомнилась сцена у ног княгини Блуцкой, в каминном зале вагона люкса, и тот взрыв.

— А, делайте, что вам приказывали! — отчаянно заорало в кладбищенскую ночь. — Мне уже плевать! Кгггхрр! И на Мартына вашего! И на Бога вашего! Плевать!

И тут же поперхнулось, желая и вправду плюнуть; кашляя же, с разгона чуть не полетело рожей вперед в мокрую могилу.

Они не сдвинулись с места, не отозвались. То один, то другой глядел на Тимофея. Тот стоял и ждал.

— Мой отец, — сказала через минуту, уже спокойней, отвернув от них глаза, — это какая-то игра природы, не знаю я своего отца, нет у меня отца. И вот вам намерения мои: разморозить его, забрать отсюда, прочь от лютов. Никакого Льда, никакой политики, истории, религии, нет никакой России, никаких божеских или императорских дел. Отец. И все. Вот. — Покосилось в глубину могилы. — Так мне туда идти? Живьем меня засыплете? — Шмыгнуло носом. — Чертов Мартын. От страха. Кха-хрр. Так как? Лезть? А? Ладно, уже прыгаю, пожалуйста вам.

Подобный словесный поток мог извергаться еще долго, но вот — сначала седобородый старец, потом другие мартыновцы: отвернулись, отступили, разошлись в туманный предрассветный мрак. *Я-оно*, в горячке, глядело им вслед, скрестив руки на груди, дыша через стоящий торчком воротник стариковского пиджака. Они даже не оглянулись. Оставили лопаты и горящие костры — пока сами не догорят.

Остался стоять только слепой на один глаз Ерофей, неудавшийся убийца из Зимы. *Я-оно* тупо глядело на него, и из дрожащих губ каскадом лились жалостливые стенания:

— Ну что, ну что, что это должно было быть: напугать, забава такая, что ли, чтобы свалился от самого перепугу, а, чтоб вы посмеялись, как он над могилой танцует, этого было нужно, ночь, похищенный человек, кладбище, да еще из гроба, чтобы совсем сердце разорвалось, и гляди-ка: могила выкопана, в могилу, мол, идешь, напугать, так, напугать?!

Ерофей отрицательно покачал головой.

— Так что же?! — завопило *я-оно*, чуть ли не бросаясь на него сквозь это голубое пламя. — Так что?! Неужели: пара слов — и хватит?! Я вам что — идиот?! — орало. — Что тут за дела?! Суть же не в этом! Мог ведь все, что угодно! Что за театр! А если бы! То, другое, перепуганный! Идиотизм! Что сказал — что это правда?! Вроде, как правда?! Ведь не потому же отпустили! А почему!

На что Ерофей лишь прижал к груди сомкнутый кулак и тихо, решительно вымолвил только одно слово:

— Замерзло.

Потом, потом, потом... *Я-оно* сидело в гостевом зале «Чертовой Руки» под оправленной в плотное мираже-стекло фотографией Алистера Кроули и пило горячий чай, обильно заправленный ромом, когда за окнами летнее солнце поднималось над иркутскими туманами. Сонный гарсон принес *завтрак*. На улице звенели первые сани, в Уйском районе, в субботу 26/13 июля 1924 года начиналось движение; Город Льда просыпается на работу, из Холодного Николаевска возвращается домой ночная смена пролетариата зимназа и тунгетита. На столике с шахматной доской, на которой располагались фигуры незавершенной партии Кроули, кто-то поставил пепельницу с непогашенным окурком. Появилось впечатление, будто бы англичанин только что отошел от столика, сейчас вернется и докурит папиросу. *Я-оно* попыталось есть, но много больше времени заняло продувание носа и откашливание слизи. Руки тряслись, подскакивали стопы, которые дергали судороги перемороженных мышц. Пришлось вначале подняться наверх, в номер, а переодевшись, взяло с собой тросточку с ручкой-дельфином: левая нога практически не слушалась. Хотя большую часть дороги с Иерусалимского холма на западный берег Ангары — по Ланинской и под гигантской Триумфальной Аркой, господствовавшей над Московским Трактом — проехало на санях Ерофея, заново напухшее колено отказывалось слушаться, более того, отказывалась

слушаться вся несчастная конечность. Та дрожь, которая началась еще в заколоченном гробу, до сих пор как-то не желала проходить: если не дрожь, так нервный тик; если не тик, то спазматичные судороги; если не судороги, то странные подергивания головы; а уж если не они — то снова дрожь. Ерофей одолжил оленью шкуру, ехало, закутавшись в нее и какое-то вытасненное из-под мешков одеяло. Мартыновец не отзывался; но, по крайней мере, уже не вел себя по-хамски, даже вежливо поклонился. Действительно ли подарили жизнь? Что скажут они отцам секты, что отпрапортуют Распутину? А вдруг поступит новый приказ? А может их больше — не одна фракция Распутина и еще одна, Пелки, но много других, которые боятся влияния Сына Мороза на Историю; и множество таких, что станут защищать все, что исходит от Отца Мороза — так что, может статься, через мгновение нападут другие фанатики и захотят похоронить живьем? Стискивало челюсти, чтобы хотя бы зубы не стучали в тряске. Нет, ну какое же странное принуждение, какая сюрреалистическая ситуация: похитили, в гроб сунули, убить хотели, а теперь вот рядом недоделанный убийца, и нет храбрости заявить об этом ему в лицо; *я-оное* еще принимает от него грязное одеяло, чуть ли не благодаря вслух. А тот и не стыдится, он ничего не стыдится — в этом проблема с людьми веры, с подданными абсолюта, божественного или человеческого, что пока они исполняют его, абсолюта, приказы, то ничего плохого не делают, какими бы те приказы ни были. Придушат твоих детей, а потом сердечно пригласят на полдник, и станут еще удивляться, если ты не придешь. Вот что такое человек, живущий в правде. И еще одна вещь, про которую Ерофея не спросило, поскольку о таких вещах не спрашивают: почему же просил испытания и прослушивание для неверного, осужденного их мартыновской верхушкой, неверного, которого днем ранее сам хотел убить? Что такого произошло? Только Ерофей так и не заговорил. Перевез через реку, посадил, моргнул одним глазом. — С Богом. — Похромало, не ответив ни слова. Рука, поднимающая стакан с чаем, до сих пор дрожит. В пальцах до сих пор остались занозы от досок гроба. Идти в участок? Ничего не говорил, потому что прекрасно знал, что Сын Мороза этого не сделает.

Не удалось проглотить кусочка булки, даже намоченной в горячем молоке; стиснувшееся горло не желало пропускать ничего. С другой стороны столика Кроули уселся завтракать толстый армянин, не снимая выпуклых очков из мираже-стекла. Выдув чашку черного кофе, он развернул свежий номер двуязычного «Курьера Ангары». На первой странице было что-то про поляков — глянуло *я-оно*, словно аист, выгибая шею — про поляков, только их называли еще и «японцами»; несколько дней назад кто-то взорвал Зимнюю железную дорогу, линию на Кежму, и подозрения пали на «польских террористов». Вспомнились жандармы и казаки на Муравьевском Вокзале. Ага, так это не по причине бомбы лже-Верусса, здесь другие бои, для которых дела Теслы и лютов находятся совершенно в стороне. Армянин выставил молочно-цветастые стекла над газетой. *Я-оно* выкрутилось на стуле, инстинктивно отводя взгляд — в сторону, вверх, на картину, висящую над шахматными фигурами.

На этом увеличенном до размеров портрета снимке гладко выбритый мужчина в двубортном костюме стоял перед фасадом гостиницы, тогда еще имеющей другую вывеску, а на фоне и с правой стороны, над серой мглой, которая смазывала большую часть фотографии, на небе висели угольно-черные колоннады. У Кроули было мясистое лицо с иронично искривленным ртом, что было весьма четко видно по сравнению с покрытым льдом фасадом дома и окружающим снегом, поскольку кожа англичанина, его зубы между губами, а особенно, глаза — все это было выжжено на снимке различными степенями черного; темным было и облачко, растянувшееся над головой иностранца: его пропитанное тьмечью дыхание. Как долго жил здесь Кроули? Как скоро превратился он в столь *закаренелого лютовчика*? Хозяин говорил, что Кроули ходил в соплицово. Кроется ли в этом

какой-то естественный способ накачивания тьмечью, то есть, без помощи машин доктора Теслы, и не требующий многих лет проживания в Краю Лютов? Зарядиться теслектричеством путем общения с лютами, так что даже от глаза камеры не уйдет это мерцающее отъмечение, адская чернота на теле и вокруг тела, и ангельские све-тени. В таком случае, люты должны представлять собой истинные резервуары тьмечи — и действительно, разве часто их лед не кажется темным, словно стеклянная бутылка, заполненная чернилами? Алистер Кроули нашел способ, чтобы пить его прямо из источника. Стоит на морозе с непокрытой головой, с издевательской усмешкой на толстых губах. Холодно ли ему? Дрожит ли он в тумане? Мерзнет ли? Уже замерз — вот в чем штука. *Я-оно*затряслось в неожиданном приступе конвульсий, упущенная ложечка зазвенела на блюде. Ведь остерегали — Поченгло, Разбесов, Зейцов — остерегали: это совсем другой мир, и другие законы им управляют; и если бы все они ограничивались только к сфере физики...!

Замерзло. Ерофей никак не мог объяснить в этом, этот вопрос понимался сам по себе. Сказало ли правду или солгало — действительно ли именно таковы откровенные мысли по отношению к отцу, либо во всем был лишь трепет отчаяния: ночь, кладбище, огни, луна, готовая могила — сказало — и замерзло.

Сколько раз становимся мы в изумлении, услышав высказанные именно нами вслух слова, особенно, в политических, религиозных дискуссиях, или же в беседах о любви: высказалось, то есть, теперь уже знаешь свое суждение; высказалось, то есть, теперь уже знаешь, по отношению к кому ненависть, а к кому — стремление. Включись в ссору — и узнаешь свой ум. Бросишься в смертную сечу — узнаешь свое сердце. Или, по крайней мере, вступи в азартную игру с очень высокими ставками. А еще лучше: загляни в собственную могилу, погляди на ту черную воду. То, что узнаешь о себе, Летом познаешь всего на мгновение и тут же теряешь уверенность такого знания; но в странах Льда невозможно таким образом узнать ничего, что не является полностью правдой или же полностью ложью.

Замерзло. Не таким ли образом вещь, которая правдой не была, внезапно ею становится, чтобы потом уже на все века оставаться правдой? *Есть такие мнения, которые становятся истинами в определенный момент; имеются мнения, которые делаются правдами, правдивость которых создается.* Но ведь Котарбиньский имел в виду исключительно прошедшие факты. Невозможно ведь подобным образом заморозить человека, то есть, в том числе и того, чего этот человек еще не сделал. Невозможно в буквальном смысле создавать правдивость, как создают ремесленные изделия, плод в лоне матери, математическую формулу или магнитный заряд в теле. Ведь даже машины, несущие тьмечь, этого не делают, даже люты. *Я-оно*высморкало нос, влило ром в стиснутое горло. Армянин снял очки; у него были глаза маленького ребенка, и глядел он с детской бесцеремонностью. *Я-оно*снова отвело взгляд. Табачный дым залег над шахматной доской Кроули серой лентой. Вышел и не вернулся; пошел охотиться на лютов и не вернулся; вошел в соплицово — и не вернулся. *Я-оно*покачало головой. Навязать правдивость каким-либо физическим действием нельзя!

А потом, потом вспомнился палец Тадеуша Коржиньского.

О прелестях семейной жизни

— Онейромантия ширится в странах Льда! — возмущался с амвона ксендз Рузга [\[218\]](#). — И поглядите, милые мои, на тех невольников сна, что теряются в реальности, как человек теряется в сонных кошмарах, делая из сонной уверенности все то, к чему его сон ведет, но почему, но зачем, вправду ли хотел он это сделать — ведь спящий не скажет; потому и кажется ему временами, что самого его в его собственном сне вовсе и нет, что сон его какой-

то внутренней силой ведет его, спящего — и не существующего, от одной таинственной сцены к другой таинственной сцене. Разве не знаем мы таких снов? Знакомы нам такие сны! Сестры мои, братья! Онейроманты и предсказатели всяческих мастей жируют на слабости нашей! Поглядите на тех, которыми сны их уже управляют: разве достигли *сонные рабы* хоть какого-то счастья? Это не сны предсказывают им будущее, но переживаемое ими будущее становится похожим на сон! Поначалу теряют они понимание результатов собственных действий: не потому детки голодные и холод в доме, что муж по кабакам весь божий день шатается и на честной работе не удерживается, но потому что хромая собака дорогу ему перебежала, потому что звезда с неба подмигнула, и тень люта на север указала. А потом они уже вообще перестают видеть смысл и значение каких-либо действий, ибо, как сами они считают, сделают они что-то или не сделают — это сон ведь и так потащит их в своем потоке, протечет жизнь мимо них, и делаться будет то, что должно делаться. И настолько свято они во все это верят, что никто их не переубедит! Ведь знаете вы их — и ответьте в душе сами себе: разве христиане они? Как же может следовать заповедям Господа Нашего такая жертва онейромантии? Вступят ли после смерти своей такие *сонные рабы* во врата Петровы? Нет! И вы прекрасно знаете, почему нет: в мире снов нет добра и зла, нет правды и лжи, нет греха, но нет и спасения! Христианин — католик — поляк — это не тот, что ждет откровения и поддается очевидностям, что за него все делают, за него думают, за него живут — но кто сам все делает, и кто знает, почему он это делает; кто живет и знает, зачем живет; кто выбирает и знает, почему выбор делает, даже тем самым необходимостям и очевидностям вопреки; а уж если он и грешит, то это же он сам грешит, и это его собственный грех, из его собственной живой души исходящий, откровенный и сознательно согрешенный! Сидящие и ждущие на камешке у дороги, в Царствие Небесное никогда не попадут! Царствие Небесное предназначено для тех, что идут, что бегут, что стремятся к цели, а даже если и падают в боли своей и стирают кожу на ногах, по сравнению с теми, что сидели на обочине и не устали — то им и в голову не придет, чтобы сойти с дороги и отказаться от пути. И даже если не в ту сторону идут они тем путем, то будет им засчитано: что шли, что направлялись, что стремились! Так что не верьте предсказателям и ворожеем — особенно же тем, что правду предсказывают!

Вот какие проповеди читал ксендз Рузга польским миллионерам в костеле Вознесения Девы Марии, в святыне римско-католического сибирского прихода, крупнейшего прихода в мире.

Я-оно слушало ксендза без особого внимания, высматривая из-за столба описанную нищими фигуру пана Войслава Белицкого — а мужик должен быть здоровенный, два аршина и двенадцать вершков роста, с выдающимся брюхом, сильно затянутым корсетом, спрятанным под модным сюртуком, со светлой, надвое разделенной бородой, и еще тем выделяющимся, что на пальце левой руки носит огромный тунгетитовый перстень с царицыным бриллиантом. И правда: только лишь встали к причастию, заметило его среди господ, сидящих на скамье, ближе всего к алтарю: рост, борода, живот, перстень — *точка в точку*. *Я-оно* переместилось под стенкой, чтобы не потерять его из виду: люди уступали дорогу хромящему, кашляющему, палкой подпирающемуся нищему. Войслав Белицкий сидел сразу же за скамьей городского головы Шостакевича и господина Игнация Собещаньского. Рядом сидели две женщины бальзаковского возраста и трое маленьких детей, где-то от трех лет до семи. Белицкий под конец поздней обедни явно начал скучать и неоднократно поглядывал на незаметно вытаскиваемые из карманчика жилетки часы. К выходу он поспешил, даже не дождавшись конца песнопений; *я-оно* поковыляло за ним.

Застало его уже возле саней на Тихвинской; он энергично разговаривал с кучером и давал

какие-то указания двум служащим, которые развернулись на месте и помчались выполнять приказанное. Пан Войслав застегнул беличью шубу и как раз натягивал на громадные свои ладони рукавицы, когда *я-оно* подошло к нему спереди. Верующие начали уже покидать в небольших группках неоготический костел; нищие завели хоральный вопль. Здесь, начиная от перекрестка, и до самого берега Ангары, настоящий рай для нищих: Спасская церковь, Богоявленский собор да еще и польский костел. Подумало, что Белицкий сразу же может отогнать, приняв как раз, за нищего; поэтому, прежде чем сказать что-либо, подсунуло ему под нос письмо.

Тот, без особого удивления, взглянул.

— Вы от кого?

— Из Варшавы, вы прочтите, от Альфреда, кх-кхр, Тайтельбаума.

Даже если он и не вспомнил фамилию, по себе не дал узнать. Насадила на нос *pinse-nez*, взял бумагу. Мороз, по иркутским меркам, был малым, что не стоило и упоминать: даже больше пятнадцати градусов ниже нуля; облачки тьмечистого пара уплывали от патриаршей бороды Белицкого с секундным опозданием, без мираже-стекол на глазах четко были видны светени, сползающие по складкам шубы пана Войслава.

— Ага, так вы Бенедикт Герославский.

Я-оно настороженно выпрямилось.

— Кхрр, откуда-то меня знаете, кхрр, слышали где, так?

— Пан Альфред мне пишет, что вы его близкий друг!

Он сложил письмо, замигал из-за очков.

— Прямым из Конгресовки [\[219\]](#), говорите. Вот только... что-то не дуже вы выглядите!..

— Я хотел... мог бы я... дело в том, что чиновники из Министерства Зимы...

— Да знаем мы все это, знаем. Вы уж не бойтесь, Белицкий не даст земляку пропасть. Вы уверены, что с вами все хорошо?

Я-оно опять закашлялось; после выхода из теплого места на мороз трудно управлять воспаленным горлом.

— По дороге со мной произошел несчастный случай, в Транссибе, кхрр, ну и... видите, — стукнуло палкой.

Тот схватился за голову.

— Так вы приехали на том взорванном поезде! И ничего не говорите! Где остановились?

— В «Чертовой», кхррр, «Руке».

Наиболее богатые прихожане усаживались в собственные сани, выставленные вдоль улицы, образовалась толкучка и замешательство, к тому же к Войславу подбежали его дети в гномьих шубках, припорошенных свежим снегом, с непропорционально большими шапками на маленьких головках, так что на летне-зимнем солнце видны были только носики да щеки; промышленник схватил одного, посадил другого, поднял третьего. *Я-оно* отступило, чтобы пропустить женщин, трость скользнула по льду, левое колено сложилось будто резиновое, *я-оно* пошатнулось.

— Ой, Боже ж ты мой, да признайтесь же, я же вижу, что вы больны, в горячке трясетесь, на ногах едва держитесь.

— Перемерз я вчера ночью, кхррр, так. Пан Войслав...

— Позвольте, Бенедикт Герославский, моя супруга, Галинка. Погляди-ка на пана Бенедикта, разве я не прав?

— Вообще-то я...

— Глупости! — и он кивнул кучеру. — Как только Трифон вернется из Холодного,

пошлешь его в «Чертову Руку» за вещами пана Бенедикта. Дети, дети, не лижите льда, я сколько раз говорил! Марточка, присмотри, спасибо. Ну все, все, садитесь. Расскажите нам все, что там в Старом Краю слышать, и про всю авантюру террористическую тоже, так вы знаете, дорогуши, что пан Герославский, знаменитый варшавский математик, приехал на том четверговом Экспрессе, который бомбой взорван? Ну, почему вы не садитесь, уважаемый?

— Меня зовут Бенедикт Герославский, кхххrrrr, сын Филиппа, — произнесло я-ономедленно, очень четко, на фоне окриков кучеров, фырканы лошадей и недалекого грохота шаманских бубнов. — Отца моего объявили в розыск; его сослали сюда в тысяча девятьсот седьмом, теперь ходит он с лютами. Сам я под прицелом Министерства Зимы. Так что будут неприятности.

— Будут неприятности! Да вы и не доживете до неприятностей, если, как можно скорее, под перину не ляжете! Посмотри на него. Только приехал и уже *герой*соленый! Садись, милсударь, и не кочевряжься больше, ведь не каждый день у нас случаются тут такие визиты на краю света Божьего!

Так я-онопопало под крышу семейства Белицких.

Только осмотрев себя в огромном зеркале прихожей их дома, избавилось от последних подозрений в отношении откровенности мотивов пана Войслава: воистину, я-онопредставляло картину нищеты и отчаяния; к старым шрамам, синякам и струпьям прибавился еще нездоровый румянец, капли холодного пота на лбу и нездоровый блеск запущенных глаз — несомненный признак болезни. Кашляло часто, долго и с мокрым эхо из глубины груди. Сняв же верхнюю одежду, открыло, вдобавок, побитый череп и пальцы в бинтах. Откуда это, пан Бенедикт? Да вот, из поезда... В женщинах Белицкого тут же открылись наихудшие покровительственные инстинкты.

Пан Войслав Белицкий владел каменным трехэтажным домом в отстроившемся после пожара районе на правом берегу Ангары, на улице Цветистой, перекрестке Заморской; окна выходили на лед реки и южную оконечность Конного острова; если же глядеть из угловых комнат, вдали, над туманом можно было видеть трупные мачты *Иннокентьевского Паселка*,обиталища железнодорожных рабочих. Как и всякий богатый житель Иркутска, Белицкий содержал в готовности для своей семьи и запасное жилище: целый этаж в домике за Уйской, за речкой Каей. Там имелась и другая кладовая, другие гардеробы; пара слуг поддерживала пустое жилище в готовности к приему семьи; все слуги были вышколены в искусстве скоростного переезда. Когда отстраивали город, объяснял пан Войслав, тогда еще Дорого Мамонтов были не известны.

Из трех женщин в доме — его жены, его сестры и матери — самой шумной и привлекающей внимания была самая старшая, которую я-оно первый день приняло за истинную главу семьи и управителя дома, как это часто бывает по обычаю еще прошлого века, когда мать или овдовевшая бабка, в отсутствии мужчин, пребывающих на работе, на войне, в ссылке или иной жизненной экспедиции, держит железной рукой всю семью и ее имение. Но на второй день дошло, что это самая младшая, Марта Белицкая по сути дела принимает решения по всем ключевым проблемам этого дома, и ее тихое слово значит больше, чем цветастые взрывы аффектов матери. На третий и четвертый день, впрочем, до самого седьмого дня, вообще ничего не понимало, поскольку валялось, полностью погрузившись в горячечных кошмарах, когда два оплаченных паном Войславом доктора, один поляк, другой немец, спорили над кроватью, то ли это воспаление легких, то ли инфекция другого какого внутреннего органа, а может и начало Белой Заразы. На следующую неделю, когда уже поднялось с постели и ходило по дому, питаюсь за столом семейства Белицких, играя с их детьми и проводя пополуденные часы с женщинами, а вечера с самим

паном Войславом в его угловом кабинете, открытом огромными мираже-стекольными окнами на лед, лед и туман — на следующей неделе узнало самую скрытую тайну: не управительницей, но фактической хозяйкой дома на Цветистой семнадцать была Галина Белицкая *de domo* [\[220\]](#) Гургала, ибо в ее владении находилось сердце пана Войслава Белицкого.

Дети — мальчик, девочка и мальчик — ходили у всех по головам, в самом прямом и переносном смысле. Неоднократно я-оновидело пана Войслава, выскакивающего из кабинета (даже и тогда, когда принимал он там посетителей поздно вечером или в праздничный день), громко трубящего и топающего по паркету в слоновьем галопе, что сопровождалось писками и хохотом сыночка или доченьки, или двоих его утех вместе, которых он выносил, сидящих на широком плече, схваченных под мышкой, а один раз даже схватил в зубы воротник самого младшенького, Петра Павла, и так его транспортировал, проявляя возмущение, что мальцы ему мешают в работе, во что, естественно, дома никто не верил. Видело его, спящего после воскресного обеда на шезлонге в салоне, тяжелая рука съезжала с газетой на пол, из под тужурки вылезал выпуклый, плотно обтянутый живот; и вот на это громадное брюхо, словно на заколдованную гору карабкалась, прикусывая высунутый язычок, Михася, чтобы зайтись смехом, когда пан Войслав просыпался, сама же она хорошенько расположилась на самом экваторе; тогда она начинала подскакивать, словно на надувном шарике, а пан Войслав издавал потешные звуки. Иногда же он только делал вид, будто продолжает спать, только храпел все сильнее, заставляя волноваться пышные усы и раскидистую бороду, а брюхо — колыхаться, отчего, в соответствии с ритмом глубоких вдохов и выдохов отца, девочка поднималась и опадала, в конце концов, расплющиваясь на теле отца и хватая пальчиками эту бороду, чтобы не упасть — вот какими безумными были эти скачки.

Сказало пани Галине, что, видно, ужасно разбалованные дети у них вырастут. Совсем другие правила воспитания в добрых домах богатой шляхты и горожан на Родине.

Та очень удивилась.

— Разбалованные? Пан Бенедикт, мы их не балуем, мы их любим.

— Вот именно.

Она лишь странно глянула.

Пани Галина, не отличавшаяся необычной красотой, зато необычайной деликатностью и теплом, устанавливала ритм домашней жизни в отсутствие мужа, то есть — в течение большей части дня, когда пан Войслав ездил по *холодницам* фабрикам Холодного Николаевска или же пребывал в своих привокзальных складах. Пани Галина редко когда отдавала приказы даже слугам (а если и отдавала, то делала это со странной робостью, чуть ли не шепотом). Говоря по правде, ей и не нужно было чего-либо приказывать, поскольку все прекрасно знали свое место и обязанности, и весь дом действовал по задумке пани Галины. Когда я-оноотдыхало в постели после горячки, она зашла как-то раз после завтрака с целой охапкой книг и журналов, предлагая почитать их болящему; и уже потом ежедневно приходил кто-нибудь в это же время, под тем или иным предлогом поддерживая компанию — неужели она им приказала или попросила? Можно было поспорить, что не сказала никому ни слова.

Тогда она принесла несколько старых Сенкевичей, книжки Диккенса, два романа Мнишкувны, эпопею из жизни горняков Забржицкого-Балута, криминальные приключения Марчинского и Вилька, приключенческий роман о путешествиях Фердинанда Антони Оссендовского, пять романов Вацлава Сорошевского [\[221\]](#), напечатанных здесь же, в Иркутске, в том числе, знаменитый «Заморозок», благодаря которому, я-оноузнало историю Большого Пожара и основания Холодного Николаевска. Кроме того, было несколько номеров

иллюстрированного еженедельника «Через моря и земли» с повестями о путешественниках Карла Мая: «В ущельях Балканских гор» и «Рождество». Более свежую польскую литературу обнаружило в возобновленном петербургском «Крае», который публиковал фрагменты «Недожидания» Жеромского и «Люди лета и зимы» некоей Домбровской [222].

Но более интересной я-она находило ежедневную прессу Европы и Сибири. Из Санкт-Петербурга и Москвы Транссибирский Экспресс привозил ее с недельным опозданием; семейство Белицких подписывали там «Русские Ведомости», «Русское Слово» и «Биржевые Ведомости», но так же и томскую «Сибирскую Жизнь». В прессе европейской России я-оно читало более или менее обработанную цензурой информацию о западной политике и мировых событиях: о спорной инициативе созыва Атлантического Суда, высказанной президентом Соединенных Штатов Америки, Джеймсом Коксом; о волне демонстраций в промышленных городах Германии и Великобритании, вызванных снижениями заработной платы и массовыми увольнениями; о массовых убийствах в Ирландии, о замораживании третьей балканской войны и даже сообщения из Китая: про очередной заговор Национальной Народной Партии [223] против императора, в результате чего, за участие в заговоре было осуждено и казнено публично за один день двести шестьдесят человек.

Зато в сибирской прессе можно было прочесть о местных особенностях. В «Голосе Байкала» дал объявление банкир Сусликов: если кто в ночь с седьмого на восьмое июля текущего года видел сон о лилиях, цветущих в газовых установках, а так же про ржавчину на коже, то его просят связаться по такому-то адресу и в такое-то время; предусмотрено вознаграждение в размере пяти и больше рублей. Рядом извещение иркутского Общества Христовых Социалистов: товарищи Эланты А.С. и Павликов Г.Г. оказались предателями или же провокаторами, с самого начала засланными с целью компрометации Ха-Эс, а наслали их Северные Меншевики Плеханова, о чем настоящим извещается всем и каждому. И снова же, некое семейство Толек, пара томских коммунистов, были раскрыты как провокаторы охраны. Но вот было ли провокацией само супружество? *Госпожа Толек, полностью преданная революции, не смогла пережить измены мужа и в приступе меланхолии покончила с собой с помощью стального шильца.*

На следующей странице реклама китайского костоправа, а под ней реклама чудотворной мази против обморожений. Имеются и анонсы культурной жизни. *Первое Общественное Собрание* приглашает в свое здание на этнографический вечер, посвященный открытиям, сделанным во время раскопок на территории Военного Госпиталя в Знаменском, а так же в Глазкове, где обнаружены первые в России могилы и предметы культа людей каменного века; лекцию прочитает профессор Базов К.Ю. — вход свободный. Дальше большое, на полколоники объявление про *открытие салона черноаптекарских услуг на проспекте Петра Великого, номер четыре, работающего днем и ночью.* Я-оно спросило у пани Марты, что это за «черноаптекарские услуги». Оказалось, что в Краю Лютов появилась довольно сильное ответвление фармацевтики, основанное на микстурах, пилюлях и тинктурах, содержащих перемолотый в порошок тунгетит. За этой новой химией не стояло каких-либо медицинских авторитетов, и голоса в пользу эффективности таких лекарств были разделены, что не мешало черно-аптекарям зарабатывать огромные деньги на легковверных душах, ищущих чудесных лекарств от рака, Белой Заразы или бесплодия.

Издаваемая в Иркутске «Новая Сибирь», пускай и русскоязычная, при близком рассмотрении оказалась газетой, редактируемой исключительно поляками, а при более внимательном знакомстве — трибуной *абластнической* политики. Наконец-то стало понятно, о чем говорил в поезде прокурор Разбесов. В статье под названием «Почему должны возникнуть Соединенные Штаты Сибири» некий Павловский (подписанный профессором

Томского Университета) излагал необходимость *установления независимости сибирских колоний в отношении империалистических держав Большой Земли*. Выходило, что «Большой Землей» здесь называли европейскую Россию. Павловский («сибирский патриот», что бы это не означало), комментировал торговый и инвестиционный баланс сибирских провинций и чудовищно несправедливую структуру бюджетных расходов Империи. Областники уже давно выдвигали требования «деколонизации Сибири»; идея имела множество разновидностей, начиная с замыслов «Земли и Воли», здесь же — частичной автономии «сибирских колоний» в отношении европейской России, через «Свободославие» — к этой идее, якобы, склонялся даже граф Муравьев-Амурский (возможно, видящий себя в кресле его первого президента), вплоть до федерации инородческих штатов под властью «сибирского сената». Существовали и социалистические версии. Имелись и версии независимой Польши (польское сибирское восстание 1833 года под предводительством ксендза Сероцинского и доктора Шокальского должно было пробудить мятеж по всей Сибири). Понятно, что все это была История в версиях и интерпретациях авторов «Сибири».

Так же, «Новая Сибирь» печатала обширный репортаж о ходе строительства Аляскинского Туннеля. Но тут же нашлось местечко для переслаженной реляции об открытии двух приютов для людей, на дома которых насели люты; эти приюты были возведены *вдали от мамонтовых трактов* филантропическим фондом господина Гарримана. Все это представляло собой уж слишком откровенную пропаганду.

«Сибирский Вестник» был полуофициальным голосом российских властей, что легко узнавалось по самому уже стилю статей. Здесь рекламировали себя крупнейшие фирмы Иркутска, все магнаты Холодного Николаевска. Концерн Тиссена сообщал о создании Акционерного Общества Тиссен и Тихолев, с местонахождением в Иркутске, с шестидесяти процентным участием Тиссена и двадцатипроцентным вкладом доступных на рынке ценных бумаг, покупка которых настоящим предлагается; Общество основывается с целью эксплуатации *первоначальных залежей натурального зимназа*. В свою очередь, Азовское Металлургическое Общество объявляет открытый тендер на строительство *специальной холоданицы для спуска крови лютов, предназначенной для технологических процессов*; за правление подписались: От. Семашко и Т. Хандке. О громком открытии своего иркутского филиала сообщает «Ческа Банка» [\[224\]](#). Союз Католических Портных Сибири приглашает на показ «анти-парижской моды», Дегтяревская 22. В Новом Иркутском Театре поставлен французский фарс под названием «Кто приносит цветы», но представления которого были временно приостановлены сразу же после премьеры по требованию царской цензуры; редактор Вишний расписывает упадок нравов в декадентской Европе и разложение здоровой общественной ткани Империи моральными заразами насквозь прогнившего Запада.

«Иркутские Новости» были типичной вечерней газетенкой, заполненной общениями о скандалах в высших и низших сферах, о новых уголовных деяниях известных преступников, о заморских чудесах и извращениях; здесь же помещали истории неожиданных обогащений и еще более скорых упадков. Целые колонки в ней были заняты светскими сплетнями и странными сообщениями с так называемых «событий», то есть, приемов во дворцах иркутских крезов, балов у губернатора, театральных премьер, свадеб, похорон и судебных процессов. Все эти реляции частенько подписывались эксцентрическими псевдонимами или одними только инициалами, а пропорции содержащихся в них сведений были такими: одна часть на описание самого события, девять — мелочное описание платьев и причесок участвующих в нем дам. Вполне возможно, что подобные газеты в Королевстве ничем не отличались — но там я-оноих не читало; только в болезни, только обездвиженный в постели доходишь до такого состояния высушивания мозгов, что читаешь даже самую глупую

газетенку от первой до последней страницы вместе с мелкими объявлениями, а потом еще изучаешь картинки.

В «Новостях» же я-онопрочитало о процессе шайки Венеманна. Это был инженер-металлург прусского происхождения, который во время похода на северное сорочище отбил от сорок и тунгусов, чтобы только через полгода появиться на берегах Байкала с одной отмороженной рукой и одним глазом, оледеневшим до мозга. Он утверждал, будто бы этим самым глазом способен заглянуть прямо в Подземный Мир, и что он видит жилы Льда и поляны мамонтов, и что за достойную оплату он укажет зимназовым фирмам новые богатства; способность эту он, якобы, приобрел, *живя в естественном состоянии среди лютое*. Никто из зимназовых магнатов не дал себя обмануть байкам Венеманна, но в Иркутске всегда можно найти наивных типов с деньгами, ищущих легких и выгодных вложений. Каким же было изумление, когда и один, и другой, и третий заплативший Венеманну предприниматель, возвращался обрадованный, действительно обнаружив залежи в указанных местах. Все более крупные фирмы покупали у Венеманна карты и координаты. Погубила его жадность; нужно было бежать раньше. В конце концов, иркутский оберполицмейстер сложил два и два и ассоциировал Венеманна с рапортами о все более часто пропадавших без вести разведчиках и частных геологах. Бандитов захватили на горячем, когда они пытали очередную жертву, чтобы добыть из нее секрет находки. Ледовоглазый инженер помогал им в качестве эффектного камуфляжа — слишком быстро люди поверили, будто бы он и вправду этим своим соплицовским глазищем под землю заглядывает; явное чудо закрыло рот недоверкам. А потом уже кто-то привез из Пруссии известия про то, что хоть Венеманн и вправду имеет техническое образование, в своей стране он объявлен в розыск за двоеженство и торговлю краденными породистыми собаками.

В «Новостях» публиковали ежедневную карту Иркутска с нанесенными на ней векторами перемещения лютов; подобные сведения печатал и «Варшавский Курьер», хотя и не вдаваясь в такие подробности, и не на каждый день, а самое главное — сильно завуалированные, так как сильно опасался цензуры Министерства Зимы. Здесь, что понятно, свободы было побольше. В «Новостях» помещали поуличные перечни захваченных льдом домов, а так же «шаманские гороскопы», то есть, предсказания бурятских глашатаев, касающиеся перемещения лютов на ближайшие дни. Только эти «герольды», барабанящие, чтобы отпугнуть лютов — как пояснил с издевательским фырканьем пан Войслав — никакими шаманами не были, а самыми обычными местными зимовниками, которых градоначальник нанимал, чтобы те остерегали людей в тумане. Случается, что, ни с того, ни с сего, лют вымораживается прямо из-под земли, так что эти глашатаи уже многих сонных обывателей спасли. Понятное дело, если морозник выйдет из подвала вертикально вверх, то тут уже ничего не поделаешь. Потому-то в Иркутске, чем кто богаче, тем выше живет. Семейство Белицких проживало в своем каменном доме на третьем этаже, в десяти аршинах над улицей. А вот Александр Александрович Победоносцев проживал на самой вершине башни Сибирхожето, в самом небе над Иркутском.

В Варшаве подобных хлопот не знали. Но и эти два города Зимы не были похожи друг на друга: на улицах Варшавы никогда не было больше пяти лютов одновременно, а здесь, в Городе Льда и в округе, от Байкала до Холодного Николаевска и Александровска, с начала подсчетов над землей сразу путешествовало не менее сотни морозников. Дороги Мамонтов, вздыхал пан Войслав и пыхал из трубочки густым дымом. Субботнее приложение к «Иркутским Новостям» помещало так же и котировки геологических лотерей; за гнезда и соплицова, появившиеся вдалеке от Дорог, платили в отношении один к двумстам, один к двумстам сорока. Розыгрыш кредитных земных участков проводился в Омске, запечатанные

результаты привозились по Транссибу.

Здесь же очень много писали (в тоне экзальтированной сенсации) о взрыве японцами линии Холодной железной дороги на Кежму. Эти «японцы», как уже было известно, не были урожденными подданными императора Хирохито, но поляками из Японского Легиона. При этой okazji вспомнился старое объявление о розыске *государственного преступника* Юзефа Пилсудского: лет — 57, рост — два аршина и шесть вершков; лицо — под темной щетиной; глаза — серые; волосы — темно-русые; бакенбарды — светло-русые, редкие; рот — нормальный; зубы — не все; особые приметы — брови срослись над носом, на конце правого уха бородавка. За выдачу его установлено вознаграждение в размере семи тысяч рублей. И по пятьсот рублей за каждого японца или другого польского беглеца, схваченного с оружием.

Иркутские поляки сильно разделялись в отношении методов Пилсудского, его политических целей и союза с Японской Империей.

— Для дел это крайне пагубно, пан Бенедикт, трудно даже сказать, насколько пагубно, — качал головой пан Войслав, устроившись в своем кабинете на вечернюю трубочку. *Я-оно* сидело в кресле, приставленном к печи, белая кружевная накидка еще пахла под щекой лесными травами, а табак пана Войслава, развернутый в воздухе длинной лентой — горячей смолой. Горела только одна керосиновая лампа под абажуром из японской бумаги; дом, как и большая часть зданий в Иркутске, был электрифицирован, но частые аварии электрической сети и перерывы в подаче тока вызывали, что обыватели больше полагались на керосин. Несмотря на позднее время, почему-то казалось, что на улице светлее, по сравнению с полутемным кабинетом, под редкими облаками белого снега, несомого байкальским ветром над ледяным руслом Ангары, над Конным Островом и левобережными районами. Внизу, на льду и в молочно-серой мгле, просвечивали двойные звездочки саней, переезжавших через реку в ту и другую сторону. А поскольку *я-оно* глядело на все это сквозь мираже-стекла, то уже без необходимости прищуриваться и без сонной мечтательности видел цвета снега, цвета неба, цвета городских и санных огней — как те сливаются, перетекают, меняются местами. Вихрь прогнал тучи, над Иркутском взошли сибирские звезды — сереброцветные на черноцветном небе. Вернулось воспоминание из шаманского дыма: чернильные созвездия и геометрически угловатое Солнце... На пальце пана Белицкого блеснул огромный бриллиант.

— Пагубно, пагубно. Уже одно то, что мне отсекли поставки из сорочищ и северных шахт — и что нам оставалось делать, закрывать холодницы, останавливать заводы — а наши контрагенты — что тут говорить. Тут пришлось комбинировать, умолять, переплачивать посредникам, лишь бы не дать воспользоваться конкурентам запасами зимназовых руд — эээ, да что тут говорить, мил сударь, много, много чего плохого они натворили.

Я-оно вспомнило сцену перед костелом на Тихвинской, и как Белицкий еще в церкви не мог усидеть, все время на часы-луковицу поглядывая.

— Но уже ведь исправили?

— Пути? Да откуда же! Знал, знал Пилсудский, где их подрывать — какой-то мост перед Кежмой весь рухнул, быстро его не отремонтировать.

— То есть, вы считаете, будто бы такие бои не имеют смысла; что, как говаривал Порфирий Поченгло, эксплуататора нужно подкупить, но не убивать.

Какое-то время Белицкий игрался мираже-стеклянным ножом для бумаги, разыскивая подходящие слова, окутавшись облаком пахучего дыма.

— Я прекрасно понимаю, почему они делают то, что делают — японцы и им подобные. Пилсудский высчитывает все в соответствии с железной логикой военной стратегии: стань союзником неприятеля твоего неприятеля. Чем сильнее война с Японией потрясет Российской Империей, тем больше шансов, что станет удачным повторение девятьсот двенадцатого

года. И тут уже неважно, действительно ли сдержит слово японский император, ведь его войска никогда в Европу не вступят. Тогда, зачем же пилсудчики взрывают сибирские линии зимназовых железных дорог и вредят иркутской промышленности?

— Чтобы сорвать мирные переговоры России и Японии.

— Вот именно, логика такой политики несокрушима. Боже мой, да в девятьсот двенадцатом здесь нельзя было найти поляка, который бы не молился за удачу этих восстаний и за падение самодержавия? Разве что какие-нибудь фанатичные лоялисты. Но большинство — мы, я, такие как я, неважно, более или менее богатые — о, я руку бы дал отрубить! — Он даже повернул узкий нож и на мгновение прижал радужное острие к запястью. — Вот только История, господин Бенедикт, раз вы так любите говорить об Истории; так вот, История не дает нам такой возможности выбора: отдай то-то и то-то, а в награду получишь Отчизну. В этом как раз наибольшая сложность. Сколько из них хватает за ружье, потому что вооруженная борьба дает наибольшие шансы успеха, а сколько не хватает — потому что не могут они представить себе иной победы, как только обрести Польшу любой ценой?

— Именно так Поченгло, как раз, и говорил. Деньги вместо ружей.

— Это я слышу упрек? — добродушно рассмеялся Войслав. — Ну да, упрек!

— Да нет же, я ведь никого не уговариваю....

— Не уговариваете! Но считаете это нехорошим! — Пан Белицкий почесал ножом бороду. — Вы в Америке были? Ну да, не были. Я ездил туда несколько лет назад по приглашению совладельцев — в Соединенные Штаты, в Сан-Франциско. Вот поглядите с нашей перспективы на их историю. Люди различных национальностей, различных государственных верховенств, либо фактически лишенные собственного правления, либо не могущие найти себе места в стране рождения — поселяются на новой земле, создают новое государство, и теперь имеют новую отчизну. Так вот, победили они или проиграли? Обрели ли они независимость «в бою» или наоборот: отреклись от нее? Кто они: патриоты или изменники?

— А разве не об этом, как раз, пишет «Новая Сибирь»? Вы говорите, как областники, пан Войслав. У нас забрали Польшу, так мы создадим — выкупим — Соединенные Штаты Сибири!

— Нет. В этом плане Поченгло не сильно отличается от Пилсудского, с тем только, что Пилсудский стоит за страну, которая уже не существует, а пан Порфирий — за страну, которая еще не существует. Вот поглядите: те, что сражаются за Польшу, за что, собственно они борются? За название, географию, язык и польские деньги — или же за нечто, чему все те вещи служат, для чего они только средство, символ, за высшую идею и добро? А? Что в таком случае должен сделать человек разумный, выяснив, что в данных обстоятельствах одно средство этому делу поможет, а вот другое, старое — только лишь повредит?

Я-ононе могло оторвать взгляда от бриллианта в перстне пана Войслава: камень поглощал свет керосиновой лампы и отблескивал резкими рефlekсами в помещении, заполненном мягкими полутенями.

— Хм, а что это — высшая идея и добро?

Приоткрылась дверь, в кабинет вошла пани Галина.

— Прошу прощения. Дорогой, не мог бы ты заглянуть к детям, Михася не желает засыпать и мешает Маше.

Пан Войслав тяжело поднялся из-за стола.

— Уже иду, *mon souer* [\[225\]](#). Заговорились мы тут с паном Бенедиктом — извините, уже бегу.

Бриллиант захватил последний отблеск, когда пан Войслав взялся за фрамугу; но он тут же погас в тени коридора, где исчез сам Белицкий, его борода и голос.

А история перстня с бриллиантом пана Войслава была такая:

Выигранный в карты у Екатерины II лейтенантом ее лейб-гвардии, путем неясных наследований он попал в руки Густава Ойдеенка, амстердамского ювелира, который в 1914 году открыл свой Дом Бриллиантов в Иркутске; сам же бриллиант был из коллекции Великих Моголов, ограбленной в 1739 году шахом Надиром в Дели. Густав Ойдеенк носил его на пальце в качестве своеобразной рекламы и фирменного знака. Геологи, отправленные в Году Лютов к Подкаменной Тунгуске для сбора тунгетита и на поиски натуральных рудных месторождений подо Льдом, среди всего прочего, обнаружили залежи графита (который уже не был графитом) и алмазов (которые так и оставались алмазами). И вскоре они убедились, что алмазы имеются не только на Урале, их начали искать здесь, наравне с тунгетитом. Войслав Белицкий, в то время управлявший галантерейным складом своего отца без особенных видов на открытие собственного дела, поверил услышанным от знакомых охотников якутским преданиям о громадных залежах алмазов у источников реки Вилуй и, рискованно набравшись долгов, профинансировал экспедицию, наняв литовского геолога, обладавшего африканским опытом. Экспедиция вернулась где-то через полгода с образцами двух- и трехкаратных алмазов и картами потенциальных залежей. Со всем этим Войслав пошел прямо к Густаву Ойдеенку, которому предложил продать карты и опыт своего геолога за долю в обществе по добыче алмазов, поскольку у него самого никаких фондов не было, одни только долги. После сложных переговоров, в ходе которых никто не экономил на водке и икре, они пришли к соглашению, один из самых оригинальных пунктов которого гласил, что если предполагаемое общество в течение первых трех лет своей работы обнаружит камень, хотя бы в половину величины бриллианта, украшающего палец *mijnheer'a* [226] Ойдеенка, этот бриллиант перейдет в собственность пана Белицкого.

Через четыре года Войслав Белицкий продал за сумму из шести цифр свои доли в фирме «Вилуйские Алмазы», чтобы запустить собственную оптовую торговлю ледовыми рудами.

Загадка: а могла ли встретить его неудача? В каком моменте замерз пан Белицкий: грубовато-добродушный богач, бриллиантовый толстяк, глава счастливой семьи?

Я-оно искало неправду в этой нормальности семейной жизни Белицких, фальшь между Войславом и Галиной, между Галиной и ее свекровью, между Галиной и ее невесткой, искало какую-то ложь, внедренную между ними. Но ничего подобного заметить не могло. Все несчастливые семьи похожи одна на другую; любая счастливая семья иная, ибо она необыкновенна в своем счастье. Тем более, для глядящего снаружи. Зейцов наверняка бы слезливо растрогался. *Я-оно* терпеливо присматривалось к ним. Если спросить их про счастье, то скажут, что и все другие: ох, сколько забот, сколько хлопот, дети все время болеют, каждый день переходят с мороза в нагретый воздух и назад, Войслав так редко дома бывает, с утра до вечера в делах; тем более, сейчас, когда столько *холодници* цехов остановилось, а он только и беспокоится, как возобновить поставки ценного сырья, а тут еще постоянные беспокойства с этой японской войной, с этими слухами про Белую Заразу... Видело, что они счастливы, что это и есть счастье; перебирало эти картины счастья в немом изумлении.

Были ли Белицкие какими-то исключительными людьми, по крайней мере, людьми хорошими? Где там! Про старую пани Белицкую, к примеру, мало кто сказал бы иначе, что она «жадная ведьма». В течение вечера она могла рассуждать вслух про здоровье ближайших родственников, подсчитывая ожидаемые наследства в соответствии с очередностью смертей и наследования: и вообще, почему бы им не умереть скорее, а вот дядюшка Грудкевич — и так ведь только ест да спит, пьет и спит, а кузен Хушба пару раз после гангрены

выкарабкался, так не мог бы его Господь Бог пораньше прибрать к себе, не будет же один с другим до конца дней своих жить...!

Так что счастье не исходило из их личных свойств. Оно не зависело от отдельных элементов, но от самой формы, в которую все они сложились — то есть, от семьи. Разве плохие люди не могут быть счастливыми? Могут. Счастье, переживаемое в земной жизни, не имеет ничего общего с добром и злом, творимыми в этой жизни. Если бы, в соответствии с философией князя Блуцкого, мир был выстроен таким образом, что человек в награду за добрые поступки получит счастье уже в телесном мире, люди выполняли бы Десять Заповедей, как хорошо дрессированный пес выполняет приказы хозяина — он ведь сразу получает награду за послушание. Когда делать добро становится выгодным и практичным, зло делается признаком благородства души.

Поэтому, я-ононаблюдало за Белицкими с холодной увлеченностью, немного похожей на увлеченность ребенка, приглядывающегося к жизни муравьев, либо же склеротика, без понимания следящего за хаотичными играми малышни.

Только лишь когда старая Белицкая, заткнувшись на момент после долгого словоизвержения, озабоченно спросила, почему же пан Бенедикт не отзывается, почему он только сидит и молчит, может он нехорошо себя чувствует, наверно следовало бы снова баночки поставить — только тогда заметило, что и вправду, в течение всего вечера в компании не отозвалось ни словом. Неужто комплекс *Herr*Блютфельда? А зачем говорить, все ведь только банальности; еще перед тем, как человек откроет рот, он уже стыдится очевидностей, которые должен высказать. Но нет, дело не в том. Изменение было намного большим, оно не касалось только лишь разговорчивости и молчаливости. Это правда, что болезнь поляризует характеры. И, наверное, не была она, эта горячка, такой тяжелой, такой длительной (хотя, если бы не опека Белицких, она спокойно могла закончиться и смертью), тем не менее, из нее я-оновышло уже более тихим, более спокойным, медлительным в словах и жестах, более пожилым. Теперь это замечало. Как будто вместе с семьей потоми, с черной горячкой, вытянутой на поверхность банками — с потом сошел яд и горячки духовной, той внутренней разболтанности между Бенедиктом Герославским и Бенедиктом Герославским, которая во время поездки на Транссибирском Экспрессе обрекала на очередные фальшивые игры, компрометацию и сгорание от стыда. Так что горячка ушла, я-ононесколько остыло. Быть может, просто адаптировалось постепенно к окружающей среде, то есть, привыкало, чувствовало себя больше дома в Стране Льда; выравнивало внутренний уровень тьмечи с наружным, то есть, напивалось этой тьмечью словно промокашка, погруженная в чернила — не на пару десятков часов после быстрого впрыскивания из теслектрической машины, после инъекции из банки с кристаллами — но постоянно, глубоко, до самого стержня человеческой природы. По чему можно узнать лютовчика, не только ведь по мерцающей ауре тьмечи. Правильно сказала доктору Конешину: нельзя описать правду одной земли языком земли старой. Нужно выкручивать слова, выламывать мысли из мозгов. Ну вот, что там ксендз Рузга кричал на проповеди. Некоторые, наиболее старые лютовчики, наверняка, с более слабой волей или не шибко большого ума, впадают в подобие хронического *deja vi*:они живут в соответствии со своими снами, символами, считываемыми ежедневно из окружающего мира, поскольку все для них является ворожкой и знаком необходимости. Между правдой и фальшью у них не осталось места даже на бросок монеты. Китайские медики, тибетские шарлатаны и ламы готовят и продают зелья, которые не позволяют пробудиться памяти сна; такие зелья пьют исключительно ради профилактики, ведь сонные рабы,понятно, пить их уже не хотят. Всякого рода гадания — карты, кости, морозные узоры, следы зверей на снегу — представляют собой более сильный или более слабый знак

неизбежности. Так что уже не имеют смысла игры, основанные на случайности; в Стране Лютов никто еще не выбросил сразу пять шестерок и не получил на руки покер. Если медицинские знания, которым варшавские профессора обучали Зыгу, правильно описывают действительность, и мозг Homo sapiens действительно является таким барабаном для электрических сопряжений полей случайности, в котором наши мысли крутятся и соединяются одна с другой электрическими минимолниями — нет ничего удивительного, что в странах Льда подлые остаются подлыми, храбрые — храбрыми, разговорчивые — разговорчивыми, но и то, что никто из них не становится умнее, чем был раньше, и, как говорил Никола Тесла, здесь не удастся изобрести ничего нового, невозможно в тени лютов встретиться с революционной мыслью. Точно так же, как вычерчивают изотермические и изобарические карты, соединяя линиями точки с одинаковой температурой или одинаковым давлением, можно вычертить изоалетеическую карту, на которой мы увидим сходящие широкими террасами от вершины над Подкаменной Тунгуской фронты нечеловеческого напряжения тьмечи, наверняка, в большой степени покрывающиеся с тепловыми фронтами; и так же, как человек, погруженный в ледяную воду, сам, в конце концов, промерзнет, достигая температуры воды, так и человек, живущий под рекордным давлением тьмечи — пропитывается ею, поглощает ее, ассимилируется в ней. В этом нет ничего необычного; во всяких сообщающихся сосудах уровень воды выравнивается. Это физика. Просто у этой науки появляется новый предмет: та самая черная сила, тьметьяная, электричество единоправды и единолжи. Очень скоро появятся институты, кафедры и университеты черной физики, ученые выпишут ее законы, составят уравнения. Они заставят поделить время воздействия на массу тела и алетеический параметр — после чего из таблицы прочтут дату, час и минуту, когда из души вышла горячка. Это уже математика.

...Да и вообще, хотело ли я-оно измениться? Имелась ли вообще такая мысль: меньше говорить, меньше делать, меньше быть — чтобы, тем самым, быть сильнее? Ведь даже об изменении не знало, пока на него не указали пальцем. Не было вообще каких-либо желаний изменения, и не знало его значения. Но, раз уже оно произошло, не было намерения и поворачивать его обратно. Таким уже замерзло.

Понятное дело, при каждом удобном случае меня расспрашивали про Варшаву: что там слышно в Старой Стране, какие новинки из Европы, как живут люди, что носят, что говорят и что думают. Тогда я-оно испытало то искушение, о котором столько говорила панна Елена: чтобы придумать, чтобы рассказать какие-то фантастические истории, придуманные анекдоты — и не для собственной выгоды, не для какой-либо цели; но — поскольку можно, и поскольку они поверят. Ложь искушала. В правде нет никакого творчества, говорить правду — это воспроизводить, копировать, повторять за всеми — ну какое может быть удовлетворение от неразумного, газетного сообщения? Ну так, ля-ля, говорить что-то. А вот — соврать...! Соврать, это означает прибавить что-то от себя, встроить в их картину мысли новые творения собственного ума, призвать к жизни не существующих людей, предметы, события. Ох, как прекрасно я-оно понимало панну Мукляновичувну...!

И, уже открывая рот, чтобы ответить на вопрос панны Марты — а в голове десяток варшавских придумок — вспомнило первый день в Транссибирском Экспрессе и ту обманчивую легкость, с которой ложь, пускай, самая малая, порожденная даже не словом, а молчанием, опутывает, захватывает человека и начинает им управлять до тех пор, пока то, что не существует, становится сильнее того, что существует, и уже невозможно сказать какую-либо правду, ибо в человеке не осталось ничего надежного, постоянного, что можно было бы воспроизвести словами междудюдского языка.

— Ах, панна Марта, — протяжно вздохнуло я-оно, — я уж было собрался вам гадко

навать. Вы мне не верьте, я не расскажу правду, но только свои сны о Варшаве. Хотите вы слушать сказки?

Зато с радостью рассказывало сказки детям, они поглощали самые фантастические выдумки с раскрытыми ртами; и чем более фантастическими и удивительными те были, тем сильнее цвел румянец на их пухлых щечках. В этом нашло неожиданное утешение — ну кто бы предполагал: сказочник...! После того не раз они требовали этих страшных сказок, усаживались вокруг на полу, Михася вскарабкивалась на колени, впрочем, иногда она там так и засыпала, особенно, если сидело в салоне перед тихо играющим огнем, когда за окнами гудит зимняя метель; девочка потихоньку засыпала, а мальчишки дергали за брючины — еще, еще, что дальше. Невинная ложь, ложь очевидная текла свободным потоком: про ракообразных докторов, что ходят задом, говорящих назад и живущих в обратную сторону, которые способны вылечить любую болезнь и отворотить любое несчастье, вот только никто не может их схватить и заставить это сделать, ведь как можно спутать кого-то, кто пятится в жизни из минуты в минуту; про привидения казаков, взорванных на улицах Варшавы, мчащихся теперь на призрачных лошадях в ночные метели, и только так можно их заметить и услышать, на Повисле, на Воле, на Праге [\[227\]](#): свист нагаяк в свисте ветра, черные силуэты на темном фоне ночи, ружейный выстрел в полночь; про ледяную Золушку, еврейскую сиротку, что замерзла насмерть, когда родственники выгнали ее из дому, когда на Налевках прошел лют и вморозился под землю вместе с девочкой, и вот теперь она появляется, замкнутая во льду, всегда, когда по городским закоулкам ночью блуждает заблудившееся дитя — тогда замороженная сирота протягивает ему серебряные сосульки, открывает снежную бабу — колыбельку и зовет треском льда: цсппи, цсппи, цсппи; про подземных математиков, вычисляющих снизу геологические гороскопы людей, живущих над ними, точно так же, как мы читаем гороскопы по звездам — вот только они вычисляют судьбу по нашим шагам, вычерчивают черные созвездия городских фундаментов, а каждая могила для них — это ясная звезда, любая кровь, впитывающаяся в землю — это светящаяся туманность; и про то, как убегая через подвалы Цитадели [\[228\]](#), храбрый боевик спустился во владения геоматематиков, как научился от них вычислять будущее и просчитал даты смерти своих врагов, узнал судьбы своих друзей и родных, и как он вышел из могилы, чтобы предотвратить неизбежные несчастья, а каждый его математически рассчитанный шаг по земле изменял геометрию подземных предсказаний...

То ли чары какие-то странные, месмерические они наколдовали — я-оносовершенно забыло обо всех заботах внешнего мира, как будто тот за пределами квартиры на Цветистой семнадцать вообще не существовал; даже то, что видело из него сквозь мираже-стекольные окна, было всего лишь обманчивой иллюзией смещения красок; картинкой очередной пугающей сказки, быть может — приснившейся или же припомненной из детских представлений. Здесь — тепло, тихо, тиканье настенных часов, приглушенные голоса слуг за стенами, иногда — топот маленьких ножек и пискливый смех, иногда — визгливая опера из патефона, запах керосина, печеных пирогов и заваренного чая; а там — вой вихря, многоцветная белизна, фантастические пейзажи городского льда, поднебесные радуги ажурного моста над скованной рекой, округлые башни ледовой крепости на острове, вмерзшем в ту же реку; караваны светлячков, перемещающиеся в тумане, который в окнах приобретает все цвета радуги; маты с трупами, выступающими над клочьями тумана, а еще выше — над слоем тумана — прямая, словно виселица, карикатура на Эйфелеву башню, прикрытая облаком вечного мрака; и проявляющиеся из этого тумана, словно акульки плавники из морских волн — сталагмитовые спины лютов. Становилось вот так перед окном, сложив руки за спиной, почти прикасаясь к стеклу, так что теплое дыхание покрывало его

испаринной; становилось так и глядело на белоцветную панораму Города Льда. Здесь — дом; там — страшная русская сказка. Ведь я-оноуже перешагнуло магическую линию, вошло в защитный круг, куда не имели доступа мартиновцы, петербургские агенты, террористы и правители Истории. Они остались снаружи. Здесь, в доме, они были ненастоящими. И нечего было бояться. В доме даже сердце бьется медленнее, в такт с тиканьем старинных хронометров, скрипом паркета под ногами старичка-чистильщика печей. Ладони, в которые вжимаются детские пальчики, забывают формы кулака, отмерзают от револьверной рукоятки; язык бесед за ужином не выскажет ужаса насильственного убийства. Вежливость за столом и теплая улыбка спасут человечество от войн и самых ужасных преступлений.

Я-оновнедрялось в нормальность стадного счастья путем одного только пребывания под этой крышей. Одна неделя, еще в болезни, но вторая, третья — уже кушая за их столом, уже живя между ними, участвуя в их радостях и заботах, пускай даже только на правах гостя. Но наибольшие изменения происходили в моменты, описание которых невозможно языком второго рода, когда, собственно, ничего и не происходит, никто ничего не говорит, так вот, сидит я-оновечерочком в четверг за столом в гостиной, помешивая ложечкой кефирчик; пан Войслав рядом, тоже молча просматривает накопившиеся газеты; кот спит на сундуке под окном; старая пани Белицкая в кресле под зеленым абажуром посапывает в свой молитвенник, подмигивают электрические лампы, тикают часы, никто ничего не говорит, никто ничего не делает, а ведь чувствуется, как с каждым мгновением вмерзает в этой семье — правда, и очевидность, и необходимость Бенедикта Герославского — когда машинально игралось этой ложечкой.

Прибежал Мацусь [\[229\]](#).

— А я могу коснуться языком носа!

— Ну, это же невозможно.

— Ну, сейчас увидите! Вот!

И, гордо встав и подняв головку, напряжется в сотый раз, чуть пот на лбу не выступает, лишь бы прикоснуться к кончику носика вытянутым язычком.

— И правда!

— Видели? Так что могу!

— А язычком коснуться уха? Или же — ухом дотянуться до носа?

— Аааа, как это...!

— Так как, можешь?

Тот даже сморщился в огромном умственном усилии, пытаюсь представить эти анатомические эксцессы, и эта задумчивость строит удивительные вещи с его веснушчатой рожицей, поскольку ни на мгновение не перестают шевелиться высунутый язык, курносый носик и стянутые бровки; видно, он очень серьезно подошел к своей карьере мимического атлета.

— Не, такое невозможно, — заявил он наконец.

— А если я сделаю, тогда как, выиграю?

— Не сделаете!

— А если сделаю?

Мальчонка глянул с подозрением.

— Носом — уха?

— Носом уха.

— Угу.

— Иди-ка сюда. Ну, ближе. Еще ближе. — Наклонившись, я-онокоснулось своим носом его уха. — Пожалуйста.

Мацусь обиделся.

— Пааапа, а пан Бенедикт обманывает!

Пан Белицкий хихикал, протирая очки замшевой салфеткой.

— Первое дело, пан Мачей, — сказал он наконец, подкрутив усы, — чему вам следует научиться в делах: всегда точно определить условия договора.

— А я не буду учиться в делах, — объявил мальчишка. — Я буду летать на алеропламах!

— На чем?

Горничная попросила пана Белицкого спуститься к двери; тот вышел, продолжая посмеиваться.

— На алеропламах, фррр! — рокотал Мацусь, бегая по кругу в комнате, вытянув ручки в стороны, пока у него не закружилось в голове, и он не грохнулся на попку в углу под жардиньеркой. — Гррр, фррр, бррр, фрр! — Тут он выставил язык, коснулся им носа, подбородка, снова носа; голова закружилась еще сильнее, после чего мальчишка просто разлегся на полу. Открыв глаза, он заглянул под жардиньерку. — Ой, паучок! А вот когда он висит так, вниз головой, разве ему не делается нехорошо? А если посадить паучка в алероплам...

Вернулся Белицкий. *Я-оно*заметило, что выражение лица у него совершенно другое, серьезное.

— Кто это был?

Пан Войслав протянул руку с каким-то полураскрытым, официального вида письмом.

— Курьер из Министерства Зимы, пришлось расписаться. Это вам, пан Бенедикт. Завтра вы должны явиться к ним в десять утра.

О министерских мамонтах и картографии Подземного Мира

Представительство Министерства Зимы размещалось в здании иркутской Таможенной Палаты, неподалеку от Сорочьего Базара, сразу же напротив Восточно-Сибирского Отделения Императорского Российского Географического Общества, который перебрался сюда с другого конца Главной улицы, с берега Ангары, где после Великого Пожара место *Сибиряковского Дворца* ^[230] генерал-губернатора заняла похожая на топорно обтесанный булыжник Цитадель, широко растянувшаяся на соседние участки. Если бы не туман и не массив Собора Христа Спасителя, башни Цитадели можно было бы видеть и с Базара.

В переулке от Палаты между крышами висели два люта; третий вымораживался из-под тротуара. От тяжелого, медленного ритма огромных глашатаевых бубнов дрожали миражестекольные окна таможенных бухгалтерий и министерских канцелярий. Швейцар в выпуклых очках, в которых белизна сливалась с синевой, стоял перед воротами, подняв над головой лампу и размахивая ею в разные стороны, разворачивая сани, едущие мимо Палаты; подъезжая, *я-оно*увидало в тумане вначале этот движущийся по дуге огонек, и только потом из серо-цветной взвеси появились колоннады, карнизы, башенки и крутые крыши шестиэтажного дома. Согласно требованиям архитектуры Льда, нижний этаж спроектировали очень высоким, аршин в десять — так что в ворота въехало, словно в какой-то средневековый замок. На внутреннем дворе было тесно от саней, лошадей и оленей; тут была даже собачья упряжка; только медведя на цепи не хватало.

Толпа и движение не удивляли. Таможенная Палата, после переезда из Кяхты в Иркутск, брала здесь пошлину со всех дальневосточных товаров, отправлявшихся дальше, на запад, то есть, с большей части всего, что проходило через порты во Владивостоке и Николаевске Амурском: с шерсти и хлопка из Англии; с муки, машин и оружия из Сан-Франциско; с мебели,

сахара, вина и промышленных изделий из Германии; с чая из Китая. Одного чая ежегодно проходило на сорок миллионов рублей (пока не началась война). От пошлины освобождались товары, предназначавшиеся на сибирский рынок, в особенности — продовольственные товары, что только открывало новые пути для злоупотреблений и усиливало бюрократию. Таможенники занимали четыре этажа громадного здания; иркутское представительство Министерства Зимы размещалась на двух высших этажах.

Было девять часов и пятьдесят минут, когда я-оно вступило на грязный пол вестибюля. На шкурах, разложенных в углу, возле двери, сидел старый бурят со шрамами вместо глаз, улыбаясь прямо перед собой; рядом с ним на страже стояли два казака в очках-консервах из мираже-стекла; серость с их шинелей перетекала на стены, с которых, в свою очередь, на людские лица стекала известковая белизна. Я-оно сняло свои очки. Бурят глянул, улыбнулся еще шире. На противоположной стене висели старые военные плакаты, на которых карикатуры российских *салдати* моряков (усатые мужички с пшеничными усами и буханками мышц, вскипающих из-под полосатых рубашек) втапывали в землю и спихивали в море карикатурных японских *салдати* моряков (раз в три меньшие, похожие на крыс созданыца с глазками-черточками). Белицкие рассказывали, что в самый разгар военных действий весь Иркутск был обклеен плакатами, предостерегающими от японских шпионов; китайский квартал неустанно прочесывали патрули, проверяющие документы, разыскивающие желтков среди желтков. Перед первой войной с Россией Японская Империя залила Сибирь массой эмигрантов, находивших здесь работу в качестве лакеев и гувернанток в богатых домах; в качестве сапожников, портных, поваров, парикмахеров, не говоря уже о проститутках. С началом войны все они исчезли, собрав Бог знает какие сведения. Империя планировала на годы, годы вперед, весьма походя в этом на Российскую Империю. Знаменитой стала история храброго японского офицера, который в одиночку выбрался в путешествие верхом от Владивостока в Петербург: тронутые героизмом подвига, россияне приветствовали его по всей трассе со всеми почестями не скрывая никаких секретов своей страны — и лишь потом оказалось, что поездка эта была одной из самых дерзких и плодотворных шпионских операций. Так что, нужно быть начеку. *Желтые шпионы подкарауливают всюду!*

Я-оно поднялось по лестнице, живо постукивая тросточкой. Здание — как и большинство представительских домов в Иркутске — было возведено из байкальского мрамора, грубо-кристаллической разновидности белого, розового и голубого цвета. В нише между лестничными пролетами стояла скульптура Петра Великого, вымороженная в ледовом песчанике; камень исходил паром в холодном воздухе, словно его только что облили кипятком. Имеются такие переохлажденные руды, такие перемороженные материи, говорил пан Войслав, которые обращают тепловые потоки, точно так же, как обращает их тунгетит: возьмешь молоток, стукнешь по железу — железо разогреется; а вот если ударить молотком по тунгетиту — его охладишь. Такое же бывает и с некоторыми видами зимназа. Тогда показало ему Гроссмейстера и черные патроны к нему. Войслав погладил бороду. Могу ли я вам кое-что посоветовать, пан Бенедикт? Ну конечно, с самого начала на совет и рассчитывал, ни на что большее.

Поднимаясь на пятый этаж, в уже расстегнутом тулупе, прикручивало в голове рваные воспоминания от ночной конференции в кабинете пана Белицкого; сразу же после того, как пришла повестка из Министерства, Белицкий послал за адвокатом Кужменцевым. Пан Войслав заверил, что доверяет Кужменцеву полностью, как в делах, так и в личных вопросах. Кужменцев — через знакомых в адвокатской коллегии и иркутской думе, а так же среди советников Сибирхожето — был вхож в круги высшей сибирской политики. Не раз бывал он и генерал-губернатора Шульца-Зимнего, который весьма ценил его знания по международным

проблемам — сам Кужменцев в молодости много путешествовал по Европе, бывал в Индии и на Антиподах, посетил даже открытые китайские города. Сейчас он был уже стар, его седая борода импонировала не меньше, чем у пана Войслава, дополненная гривой волос цвета муки с перцем. На улице его всегда сопровождал крепкий слуга, следящий, чтобы старец не упал на скользком льду; зато по паркетным полам господин адвокат перемещался очень даже энергично.

— Вы взяли от них деньги, — сказал адвокат, устроившись возле печи. Толстый покров потьвета лег на спинке кресла — вместо тени, и тени вопреки. — Тысячу рублей, так? И квитанцию подписали, так? И еще какое-то обязательство, так? Эта бумага с вами?

— Мне ее не дали.

— А вот так, насколько вам известно, Венедикт Филиппович — на что вы обязались?

— Я должен поговорить с отцом.

— Поговорить?

— Поговорить.

— Его отец, — включился пан Белицкий, который все время озабоченно переходил от одного черного окна к другому черному окну, — является значительной фигурой, во всяком случае, для тех, что верят в высший смысл Льда. Расскажите-ка, пан Бенедикт.

Я-онорасказало.

— Так что вы спрашиваете, — Кужменцев взял понюшку табаку и чихнул так, что в кабинете потемнело, — раз, чье же это слово в Министерстве Зимы привело вас сюда; два, каковы этой фигуры намерения в отношении вас и фатера вашего; три, верят они в Бердяева здесь, или это тот самый неизвестный; четыре, какое все это имеет отношение к оттепельнической политике и к доктору Тесле так? Так?

— И пять, Модест Павлович: могу ли я...

— ...из всего этого выписаться, так.

— Ведь если...

— Со стороны ледняков.

— И более того...

— Сибирхожето против Теслы.

— Или Победоносцев, либо Раппацкий. Ведь нельзя...

— ...Историю...

— ...лютов...

— ...если он их растопит. Да.

Адвокат взял еще одну понюшку табака с тунгетитом и мрачно закончил:

— Расстрельное дело.

Я-онобез слова согласилось. Вопросы были высказаны; остались одни очевидности. Тьмечь пульсировала в мягких тенях от керосиновой лампы, припухлости ночи за спиной пана Войслава. *Я-оно*постояло там пару минут в молчании, равном их молчанию — да, нет, да, нет; *Herr*Блютфельд, если бы родился в Краю Лютов, до смерти не произнес бы ни слова.

При уходе адвокат Кужменцев обещал как можно скорее вынюхать что и как, тем временем же, усиленно советовал, чтобы ничего нового Зиме не обещать, и уж наверняка ничего не подписывать, и вообще: как можно меньше там говорить, но чтобы ушки на макушке, и глаза держать широко открытыми. Генеральным директором там сейчас Зигфрид Ингмарович Ормута, правда, он уже несколько месяцев живет во сне; всем управляют чиновники, то один берет верх, то другой. Если что — вот моя визитная карточка.

Самое первое дело, подумало *я-оно*,входя в палату просителей представительства Зимы, это деньги. Чиновник спросил имя. Бенедикт Филиппович Герославский. Тот проверил в

книге. Взяв трость под мышку, незаметно переложило тысячерублевую пачку из бумажника в карман пиджака. Чиновник выписал пропуск. Этажом выше, по коридору налево, до конца и спрашивать полномочного комиссара Шембуха. Но едва обернулось к двери, он схватился из-за стола и исчез в задней двери. Ого!

У Шембуха была встреча еще с кем-то; секретарь, приглашенный толстяк с татарскими чертами лица и неяркими светениями, растянувшимися под подбородками будто слюнявчик, попросил подождать на лавке под стеной. Сняло тулуп. Из коридора доносились отзвуки сердитой беседы на русском, бурятском и китайском языках. Секретарь через какое-то время вышел, оставляя двери приоткрытыми.

На голой штукатурке слева висел, перекинутый, портрет Николая II. Подошло, поправило по вертикали. Монгол в кожаном пальто, обернутый платком, словно удавом боа, переступил порог и неуверенно остановился, сминая в руке какие-то бумаги; под мышкой у него был белый череп то ли волка, то ли собаки. Он что-то произнес на своем чмокающем языке. Ответило ему, что секретарь вышел. Монгол указал на двери за пустым столом. Ответило, что там разговаривают. Монгол захлопал глазами, чихнул и ушел; от него остался смрад животного жира. Выпрямив царский портрет, рукавом стерло с него пыль. Царь укоризненно глядел на противоположную стену, где висел портрет министра Раппацкого, перекинутый в другую сторону.

По сравнению с варшавскими конторами Зимы, иркутская была не сильно-то и презентабельной. По дороге заметило кучи бумаг под стенками, на полу — грязные полосы, на высоких потолках подтеки, трещины и даже дыры в штукатурке. Ежеминутно кто-нибудь нарушал возбужденным голосом чиновную тишину, как те спорщики в коридоре. Из внутреннего двора доносился приглушенный собачий лай. Блрум, блрум — глашатаи колотили в свои бубны, звенели стекла. Небо за окном выливалось своей синевой на заснеженные крыши Иркутска. Вошел какой-то худой тип в мираже-стекольных *pinse-nez*.

— *Гаспадин* Герославский! — протянул он руку. — Прошу, прошу!

Он схватил за плечо и потянул через боковую дверь, через прихожую конторы, откуда доносился клекот счетов и скрип паркетных полов, потом через пустой секретариат, в кабинет с высокими окнами, выходящими через Главную улицу прямо на двойной массив собора Христа Спасителя. Матовая чернота с его могучих византийских куполов стекала в туманные реки, бурлящие между домами; если поглядеть подольше, можно было увидеть весь город, затопленный в адской смоле.

Худой мужчина был в свежее выглаженном чиновничьем мундире с какими-то отличиями, светлые волосы он зачесывал в наполеоновскую челку. Когда же он снял очки, оказалось, что у него молодые, живые глаза — вряд ли, чтобы он мог быть намного старше меня. Вспомнился армянин из «Чертовой Руки», было нечто такое в глазах лютовчиков, а точнее — в контрасте их глаз с лицами: словно они старели в другом темпе; лица быстрее, а глаза медленнее.

Худой широко улыбнулся, раскрывая не слишком опрятный рот: нескольких зубов не хватало, другие совершенно почернели. Темное дыхание сходило у него по языку рваными облачками.

— А мы уж побаивались, что не придете! Как только до нас дошла весть про бомбу — Боже мой, *терраристы* тут, *терраристы* там, что за времена — ну хоть добрались счастливо! Но мы ждали, ждали, все уже думали, будто с вами что нехорошее приключилось...

— Болел я.

— Ну да, мы как раз узнали. Присаживайтесь, пожалуйста.

*Я-о*н разгляделось по забитой вещами комнате.

— Угоститесь? — Хозяин вынул из кармана леденцы. Потом, уже из ящика стола, пакетик мальвовых конфет. Потом коробочку минеральных пастилок Файя (якобы, очень полезных). Затем кисет махорки, банку с дынными семечками. Из сейфа он извлек коробку сигар и приглашающе приоткрыл крышку. *Я-оно*выбрало одну, сняло бандероль. Хозяин предложил гильотину и огонь. — Вы знаете, это даже ничего, что вы припоздали: пока Зимняя дорога закрыта, все равно, надо ждать. Важно будет не терять времени, когда путь на Кежму будет открыт.

*Я-оно*затянулось дымом.

— Я ничего не знаю.

— Простите?

— Мне в Варшаве ничего не сказали. Дали билет и деньг... — Быстрым движением вытащило тысячу рублей и выложило на заваленный бумагами стол. — Можете считать, что я не сдержал договора...

— Да что же вы это! — всплеснул руками худой. — Ну, знаете! Мы очень рады, что вы сюда к нам побеспокоились. — Он замигал глазами, глянул внимательнее. — Что вам наговорили?

— Кто?

Закусив сигару, тот кинулся к шкафу, открыл верхнюю дверь, вырвал оттуда, сверху, рулон бумаг и рисунков и начал ими, в некоей библиофобской ярости размахивать во все стороны, разворачивать и сворачивать, пока не нашел одну, уже пожелтевшую бумажную простыню и не расстелил ее, не переставая при этом пыхать табаком, поверху канцелярского балагана на дубовой столешнице. Кивнул, приглашая. *Я-оно*встало рядом. Тот хлопнул раскрытой ладонью.

— Поглядите.

— Что это такое?

— Дороги Мамонтов. Видите? Тут, тут, и вон там, и еще тут. — Он тыкал грязным ногтем в места, обозначенные крестиками и описанные размашистой кириллицей. — Рапорты о Филиппе Филипповиче Герославском. В соответствии со временем — смотрите, как я передвигаю палец — вот так перемещается Отец Мороз по Дорогам Мамонтов. Видите последнюю Дату?

— Я ничего не знаю.

Тот скрежетнул зубами (сколько их там у него осталось).

— Ну да, поляк. Вам важен отец — хотите получить амнистию на бумаге? Они ее вам могут устроить, генерал-губернатор подмахнет. Только на что вам амнистия для ледяного булыжника? Они вам этого не скажут — я скажу все. Вот, держите, прочтите.

Он вырвал из пачки лист бумаги с печатью, сунул в ладонь.

*Я-оно*отвернулось к окну.

«...на седле долины, когда сходил ночью, и так мы его увидели на рассвете: шесть на восемь, в ледовом походе, по земле, деревьям и мерзлоте. Первый термометр: минус сорок один и семь. Второй термометр: минус сорок шесть и два. Третий термометр: минус шестьдесят четыре ровно. Распознано: рука, профиль лица (слева), отпечаток ноги (масштаб один к четырем). Он вымораживался по жиле в направлении северо-востока...»

— О чем это они здесь пишут?

— Про вашего отца.

*Я-оно*закашлялось черным дымом.

— А вы думали — как? — Чиновник переставил пепельницу с подоконника на стол, отложил в нее едва начатую сигару. — Что мы держим его где-то в министерской тюрьме?

Или что можно, просто так, пойти и провести Отца Мороза в каком-то секретном доме мартыновцев или в лагере бродяг? Вот так, садитесь у огонька, и все оговариваете за стаканчиком самогона? Боже Всемогуший, они вам ничего не сказали! Вы побледнели, отдышитесь. Вы думали, будто «Отец Мороз» это всего лишь такой мартыновский клич, сектантское имя? Так думали!? — Он даже сам присел на табурете, придвинутом к столу. При этом он оперся локтем на карте, сбросив на пол какие-то бумаги, и даже не глянул на них. — Не хотите чего-нибудь выпить? — тихо спросил он.

— Я знал, что он заморожен, то есть, пропитан тьмечью, понимаете, что он застыл во Льду — «Ледовое чудовище». Но... это... совершенно другое... это... люты...

— Тааак...

Я-оноподняло глаза.

— Он живой? — спросило через какое-то время; и услышало в голове — будто эхо стеклянного колокола — высокий голос комиссара Пресса: *Жив ли Филипп Филиппович Герославский?! Живет ли он!?*

Блрумм, блрумм.

— Дело выглядит так. Дороги Мамонтов... — Блондин указал взглядом на костяную фигурку в витрине у двери, где за стеклом (обычным) стояли различные этнографические экспонаты, некоторые обладали странной, примитивной красотой — из нефрита, яшмы, агата, оникса, но, прежде всего из белой, бело-желтой кости. — Мамонт, то есть, «мамонт», эскимосское слово и означает: «тот, кто живет под землей». Вы наверняка слышали, как тела и растения сохраняются в нашей мерзлоте на годы и столетия. Неоднократно случаются у нас такие вещи: например, в Знаменском или под Кайской: копает человек фундамент под дом, растапливает землю, и что он вытаскивает вверх из грязи? Свеженький труп, словно вчера захороненный — какого-то воина в шкурах и с копьем, еще до времен Ермака. Или зверя какого-нибудь, нынешнего или давнего. Ну, и есть звери, которых найти можно только под землей: мамонтов. Спросите-ка у любого туземца. Никогда он не видел их под небом, но вот в Подземном Мире — пожалуйста; мамонты именно там и живут. Их не встретишь в тайге, или чтобы бегали между деревьями, по травянистой равнине. Их можно только откопать. Понимаете? То есть, мамонт, это подземный зверь, под землей пасется, под землей путешествует огромными стадами, и эти их перемещения слышат, земля трясется, из-под камней доносится низкое, длительное рычание. Некоторые говорят, будто бы звери Среднего Мира — медведи, олени, щуки — после смерти, после перехода в Нижний Мир, становятся мамонтами. Другие же рассказывают легенды про то, как люди вместе с богами выгнали их туда. Особенно шаманы — эти уже и сами чудеса видят: от наших одомашненных тунгусов я сам слышал, будто бы мамонт, вы только послушайте, мамонт — это «рыба с рогами».

...А люты вымораживаются из-под земли, из мерзлоты. Первые гляциометрические карты были составлены еще перед пожаром Иркутска, на самой заре зимназового промысла. Сейчас мы получаем, практически без исключений, копии из Атласов Льда Сибирхожето, хотя и прошедшие чудовищную цензуру; Победоносцев предоставляет фонды университетам и институтам, а здесь — Географическое Общество — это же, практически, филиал Сибирхожето. Но самое главное здесь то, чтобы уметь предвидеть перемещения лютов, чтобы знать эти подземные русла протекания Льда. Ведь имеются четкие правильности, в городах и за городом, но здесь мы можем за ними лучше наблюдать; имеются геологические последовательности, какие-то термопроводы в мерзлоте, по которым промораживаются люты, чтобы или тут, или там проникнуть на поверхность — так вот, чаще всего, неподалеку от подобной подземной дороги. Общества по добыче зимназа и содержанию *холодниц* отдали бы состояние за полную и до точки аккуратную гляциометрическую карту Сибири.

— Карту Гроховского.

— Ну да. Тем временем, над этим ломают себе головы профессора, предсказатели, шарлатаны, любой, кто способен похвалиться таким сбывшимся прогнозом. Наши холодопромышленники не обязательно родом из просвещенной среды, как вы сами, наверняка, уже имели способность убедиться. Хватило одного-двух шаманов, что под звуки бубна и в священном дыму повалялись по земле, чтобы склонить их к дающим прибыли методам.

— И что? Эти их предсказания? Шаманов. Сбываются?

Собеседник только пожал плечами.

— Иногда сбываются, иногда — нет. Они бывают полезными, не стану отрицать, сам пользуюсь их услугами. Фактом остается то, что лютов частенько можно встретить возле мест, где выкопали свежих мамонтов. Но ведь их выкопали там именно потому, что они хорошо сохранились в мерзлоте, во льду, а люты — это ходячий лед. Шаманы рассказывают, что в трансе дух их покидает и отправляется прямиком в Нижний Мир, где он видит передвижения мамонтов — потому-то шаманы знают и перемещения лютов. Впрочем, спросите тунгуса или якута — он расскажет все наоборот, лишь бы на злость буряту. Тут вы должны следить, когда возвращаетесь между ними, чтобы, по случаю, не возбудить между ними какой-нибудь староновой свары. Вам эти вещи не объясняли? Если отправитесь с бурятами, то внимательно подбирайте любое слово, относящееся к лютам или Льду. «Малахун», «Маласу» — это по-бурятски «Лёд». Тут у нас среди дикарей идет теологическая война, понимаете, можно сказать — раскол по меркам юрты и пьяной тундры. Еще в тысяча восемьсот пятьдесят первом году более тридцати тысяч захваченных у бурятов мужчин перекрестили в казаков; они верно служили, и продолжают служить — народ полезный. Но, как не погляди, нецивилизованные дикари, иноплеменные язычники. «Бурят» — по-монгольски означает «предатель». А почему они работают на Сибирхожето? Разница заключается, как я и говорю, в их верованиях.

— Дух правит материей.

— Бывает и так, как слышал, хотя сам я на спиритические сеансы не ходок. Конкретно же, люты представляются бурятам пришельцами из Верхнего Мира: то, что прилетело сюда в тысяча девятьсот восьмом, прилетело с неба. А вот тунгусы с якутами говорят наоборот: люты — дети Подземного Мира. Первое, что вся эта чертовщина грохнула на севере, а север у них в головах каким-то макаром связывается с Нижним Миром, может быть потому, что там холоднее всего. Второе, они ведь вымораживаются из-под земли. Дети вечной мерзлоты. Абаасы — то есть, духи Подземного Мира, подземные тени, выпасающие там стада чудищ на железных лугах... Что?

— Ничего. Хорошая сигара.

— Такова вот их вера, Венедикт Филиппович. Как мартыновцы высматривают в лютах ледового Антихриста, или чего они там в конце-концов выжидают — так якуты опасаются пришествия наиглавнейшего люта-абааса, некоего Арсана Дуолая, Земного Брюха, Подземного Змея. Когда-то всех абаасов изгнали из Среднего Мира, а вот теперь они видят, что те возвратились. А вот что делают в связи с этим буряты? Вместо того, чтобы помочь их прогнать обратно, они служат Сибирхожето, которое только жиреет на лютах. Отсюда вам и духовная война между бурятами и якутами с тунгусами. Победоносцев ругался, упирался копытами, но, в конце концов, пришлось ему согласиться, вот и поставили везде тут эти трупные мачты. Видите ли, это плотина против душ враждебных шаманов, что нападают на бурят, и против духов-абаасов.

— Вы и вправду...

— Да что вы! Только дело даже и не в этом! Пока их не поставили, бурятские шаманы вообще не желали заглядывать на Дороги Мамонтов, а зимназовые предприниматели не давали Победоносцеву покоя, якобы, из-за этого они ежедневно теряют на этом миллионы, проигрывают бесчестным конкурентам, и так далее, и тому подобное — пока тот не сдался. А теперь, сами видите.

— Но как это связано с моим отцом...

— В этом-то вся и штука. Нет никакой возможности его найти, как только идти вдоль Дорог Мамонтов. Но на что мне была бы даже Карта Гроховского, если бы я не знал, по каким дорогам ходит Филипп Герославский, каковы его обычаи? Ведь даже если посчитать наиболее часто используемые дороги, гляньте, они обозначены тройной линией — ведь это же десятки тысяч верст!

— А те отчеты...

— Видите дату последнего? Полковник жандармерии Гейст, он начальник охраны по Иркутску, отправляет нас к полиции. Оберполицеймистер — в свою очередь — к охране. Мы уже подумывали сами нанять каких-нибудь местных следопытов, тунгусов. Но тут прибыл со своей историей инженер Ди Пиетро, и мы от идеи отказались. Тут же особый случай: вся штука не в том, чтобы вычертить карту Дорог как таковых, лют есть лют, их не различишь, сморозятся вместе, а разморозятся: на два, три, четыре. Кто из них кто? *Все равно.* А вот Отец Мороз — один, отдельный, особенный. Так что нам остается? Карта и набор координат. Ведь вы же математик, так? Так. Вот и будет к вам просьба наипервейшая, и задание — самое первое и очевидное, раз уж вы вообще собираетесь с отцом встретиться: возьмите все эти данные и рассчитайте для нас Дороги Мамонтов. Ну. Представьте, будто бы это уравнение, которое необходимо решить — а ведь должны решить — эти данные и Дороги Мамонтов, холодные уравнения, вашего отца. Рассчитайте!..

Худой сунул мне в руки толстую пачку бумаг. *Я-оноглянуло* на них, скорее всего, с миной, не свидетельствующей об особой интеллигенции, скорее всего — о болезненном отупении, потому что чиновник озабоченно повернулся к шкафу и быстро достал графин с водой и высматривал, во что бы налить.

Мяло бумаги в потных руках. *Шесть на восемь, в ледовом походе, по земле, деревьям и мерзлоте.* Ведь даже, когда считало, будто бы он удрал в какие-то сибирские дебри от розысков, и его только нужно будет отыскать без ведома Министерства Зимы — никак не предполагало, что само Министерство здесь беспомощно. *Как поговорите, ну, и так будет хорошо.* Когда мы теряем веру в могущество органов власти — что нам останется? И правда — только шаманы.

— Так насколько сильно он замерз?

— Не понял?

Блондин присел возле шкафчика в углу, нашел жестяную кружку, отставил, вынул фаянсовую.

— Ему измеряли температуру. В том рапорте...

— А! Не знаю. Эти вещи измеряются не так.

— Но ведь они сделали целых замера.

— Три вращательных термометра — потому что силу люта измеряют не температурой его льда, она у каждого одна и та же, и не температурой, что снимается с одного расстояния от него, поскольку она зависит от разности по отношению к температуре окружения, она же бывает: тут такая, а здесь совершенно другая. Измеряют градиент температуры, отсчитываемый по приросту в трех, шести и девяти аршинах от люта, лучше всего — по линии его перемещения, с фронта. Может, вам рюмку?

— Но ведь мой отец — не лют!

— Так ведь они этого не знали.

Громко треснули открытые пинком двери, в комнату вскочил похожий на бульдога старик в расстегнутом под шеей мундире высшего чиновника. Увидав блондина, выпрямлявшегося с графином в руке, он взялся под бока.

— Вон оно что! — просопел он. — Вон что вытворяете, только глаза отведу! Думаете, не запишу? Ну, погодите!

— Да пишите, чего желаете. *Гаспадин* Герославский...

— Это чье дело? Чья тут ответственность, а?!

Худой только пожал плечами.

*Я-о*новодило взглядом от одного к другому. Чем сильнее «бульдог» надувался и набухал бешенством, тем более блондин с почерневшими зубами успокаивался, утихал и, казалось, терял интерес ко всему событию; под конец, странным образом дернувшись, он отставил графин и отвернулся спиной, глядя через окно на небо-цветные купола собора.

— Идите со мной! — скомандовал старший чиновник. — Вещи забирайте с собой. Полномочный комиссар Шембух Иван Драгустинович. Почему вы не явились, когда вам было приказано?

— Я ожидал в секретариате, думал...

— Так долго?

*Я-о*носпрятало бумаги под тулуп. Шембух — настоящий Шембух — повел назад, через секретариат и предбанник секретариата, в свой кабинет. Здесь окна тоже выходили на монументальную церковь. Над двумя рабочими столами с ровнехонько уложенными бумагами склонился толстый татарин. Шембух прогнал его жестом руки. После чего указал на стул, предназначенный для просителей. Уселось. Хозяин, встав за столом, энергичным рывком открыл толстую папку и скрестил руки на груди.

— Десять двадцать восемь, — сообщил он, глянув на настенные часы. — По вашей причине я потерял добрые четверть часа, прежде чем вас вообще увидел; а перед тем потерял несколько недель.

— Я болел.

— Тогда следовало явиться и представить врачебную справку, — рявкнул Шембух через стол.

— Но ведь Зимняя железная дорога стоит, так что...

— А какое вам дело до той или иной дороги? Ваше собачье дело: явиться, доложить и ждать приказа!

— Я не...

— Без разрешения Иркутск не покидать. Покажите паспорт. Ну, давайте! — Он развернул документ, глянул, фыркнул и бросил в ящик стола, после чего задвинул его коленом: грохнуло как из пушки, чернильницы подпрыгнули на столешнице, какая-то ручка скатилась на пол. — Михаил выпишет вам вид на жительство. И будете докладывать регулярно, и ждать приказа, понятно!? Понятно?!

— Да.

— Где вы... ага, у земляка, на Цветистой. Короче, там и сидите. Ладно. — Он упал в кресло. — Башка трещит. — Вынул хрустальный флакон с темной жидкостью, из которого капнул пару капель на высунутый язык. — Уффф! — весь затрясся. — Ладно. Теперь говорите. Что вам известно о Филиппе Филипповиче? Где он шатается? Что знаете про его мартыновцев?

— Ничего. Прошу прощения, но может ли Ваше благородие сказать мне, для чего,

собственно, я нужен? В Варшаве мне сообщили, что я должен с ним поговорить, то есть, с отцом; но, как сейчас вы мне говорите, будто бы я должен ждать, неизвестно даже, до какого времени, а я ведь... — *Я-оно* постепенно замолкало, в конце концов, умолкнув совершенно; дело в том, что Шембух не перебивал и вообще не реагировал, а только сидел за своим столом с бульдожьей мордой, лапами, положенными плоско перед собой, и с бешеным взглядом, нацеленным точно в стул посетителя. Блрумм, блрумм, дрожали стекла. *Я-оно* стиснуло колени руками.

— За идиота! — внезапно, без какого-либо предупреждения, заорал Шембух, не изменив позы, только раскрыв пасть, так что брыжи затряслись, словно у индюка. — За последнего дурака! Что! Как посмел! Говноед наглый! *Пашел вон!* Выродок блядский! Шуточки еще...! Прочь! Прочь! — При этом он брызгал черной слюной, тьмечь под кожей ходила пятнами-мозаикой более темной крови.

Я-оно не спеша поднялось, прижимая к груди тулуп, завернутый на трости и на руке с бумагами.

— Деньги я вернул, — сказало, четко выделяя каждое слово. — Арестуйте меня, если желаете. Первым же Экспрессом я возвращаюсь в Европу. Прощайте.

Повернулось и вышло из кабинета комиссара Шембуха и, переступив порог, тут же подумало, что, конечно же, ни в какое Королевство возвращаться нельзя — нужно оставаться, спасать отца. Тяжело уселось на скамье перед столом секретаря. Выехать не удастся, тем более, Экспрессом: без паспорта даже не купишь билета. Застряло в этом Иркутске. Так что, поджать хвост, поползти назад, попросить прощения у Шембуха? Горячая флегма стыда подошла уже к горлу, выше, выше, залила рот, еще выше, теперь вытекает из под стиснутых век. Даже барабанов не слышно, только бухание крови.

— ...слишком долго.

— Не понял, — открыло *я-оно* глаза.

Татарин конфиденциально склонился над крышкой стола, светени стекли на грудь его белой сорочки.

— Вы не бойтесь, — тихо шепнул тот, — он ничего не может вам сделать; Шульц уже обо всем знает, он отказался посетить Победоносцева, послал казаков, теперь должен вести переговоры.

— Что? С кем?

Толстяк тихонько захихикал.

— С лютами.

Из кабинета комиссара донесся шум, и секретарь снова съежился над бумагами. *Я-оно* заговаривало с ним еще раз и другой, но тот уже ничего не сказал, только подсунул, осторожненько приложив большую *печать*, документ на право трехмесячного пребывания в иркутском генерал-губернаторстве. Больше он даже не поднял глаз. Спрятало бумагу вместе с бумагами худого чиновника, буркнуло что-то в знак благодарности и вышло, даже не оглянувшись.

Так закончился первый визит в иркутском представительстве Министерства Зимы.

Вернувшись домой, уселось над картами Дорог Мамонтов и копиями министерских рапортов. Дети отправились с пани Галиной на каток под Звездочку на Иркуте, панна Марта отсыпала ночную мигрень, старая Белицкая сидела внизу, на кухне. Слуга принес кофе на молоке и вчерашний холодный пирог-крошку. С пирогом и кофе, за тяжелым дубовым столом, недавно натертым воском, в белом свете, у окна, наполовину залепленного снегом — *я-оно* вступило на Дороги Мамонтов.

Наиболее главная карта, носящая печать — как предназначенная только лишь для

внутреннего употребления — перепечатка из Гляциометрического Атласа Сибирхожето (*Карта Льда 1923*), охватывала все иркутское генерал-губернаторство, земли до Северного Ледовитого океана на севере, до китайской границы на юге, и еще часть амурского генерал-губернаторства на востоке. Место удара Льда возле Подкаменной Тунгуски было указано пятиконечной звездой. Карта была описана тройной легендой: первая, о самих Дорогах Мамонтов; вторая, о геокриологических фронтах, третья, об открытых залежах переохлажденных ископаемых.

...Дороги Мамонтов пересекали Азию сеткой подповерхностных жил, в системе которой, несмотря на попытки глядеть на карту издалека и вблизи, и через лупу, не удавалось обнаружить каких-либо существенных регулярностей. Быть может, геологам и легче заметить в этом какой-то порядок, возможно, здесь имеются какие-то зависимости между скальными образованиями, типом основания, историей земной коры. Имелись территории, на сотни верст вдоль и поперек, которые не пересекались какой-либо из Дорог; но были и такие — к примеру, Прибайкальский Край — где густоту более тонких и толстых линий невозможно было разобрать без увеличительного стекла. Где-то Дороги проходили параллельно одна другой; в других местах — пересекались, словно улицы в городе, то есть, в этом они не были похожи на реки. Тем не менее, я-оно сделало кое-какие наблюдения. У этой сети не имелось какого-либо явного центра; наверняка во всей этой структуре место удара Льда, расположенное посреди громадных белых пятен, ничем особенным не выделялось. Не всегда, но довольно часто, Дороги Мамонтов проходили в соответствии с руслами ближайших рек. Ни одна из Дорог не проходила под Байкалом.

...И тут же пришла мысль: ведь карта не показывает реальность такой, какой она есть, но только отображает знания человека о ней — а как люди могли бы измерить подледные перемещения лютых? Так что понятно, почему озеро представляет собой белое пятно. Точно так же и огромные пустоши и лесные пространства на Центрально-Сибирской Возвышенности — никто же не видит, как часто вымораживаются там люты, и вымораживаются ли вообще; выплевываемые из земли трупы мамонтов пожираются хищниками и питающимися падалью животными, пока их не заметит тунгус, якут или какой другой охотник. Пересекаются Дороги или нет, этого по двухмерной карте никак не узнать: ведь она не отображает третьего измерения, глубины. Тот же самый принцип можно соотнести и для городов. Иркутск, Нижнеудинск, Красноярск, Кежма, Усть-Кут, Якутск, Чита, Благовещенск, Хабаровск — все подо Льдом, все пересечены Дорогами Мамонтов. А ведь трудно предположить, чтобы люди столетиями закладывали свои поселения в местах каких-то таинственных геологических феноменов. Так вот, то ли люты сходятся к скоплениям людей, поскольку сюда ведут их Дороги Мамонтов, то ли потому, что им просто захотелось здесь угнездиться? Как их отличить — Дорогу как дорогу, и Дорогу как линию на карте, составленной человеком?

...Предположим, что марсиане мистера Уэллса наблюдают за передвижениями людей, совершенно не замечая основ человеческой цивилизации, не видя географических формаций Земли. Разве не вычислили бы они через какое-то время образ сети наших сухопутных и железных дорог? Разве не открыли бы они с помощью того же метода границы суши и морей, расположение горных хребтов? Не воспроизвели бы они государственные границы? Но как бы могли они отличить границу политическую от границы физической? И та, и другая служит помехой миграций *Homo Sapiens*. Быть может, люты перемещаются по Дорогам Мамонтов лишь тогда, когда им так удобнее; но когда они стремятся к цели, к которой никакая Дорога не ведет — они просто сходят с них. А картографы Сибирхожето и Министерства Зимы скрупулезно соединяют на своих картах точки отмеченных

выморожений, по их собственному времени, частоте и силе, замеренной тремя термометрами, и каждая такая линия является для них Дорогой Мамонтов, хотя никаких слоновьих останков возле них не находили.

...И вот тут уже были сделаны отважные предположения: будто бы люты мыслят, что они избирают себе цели, что обладают сознанием, что они нечто большее, чем проявления неразумной, нечеловеческой стихии Мороза, вздымающиеся над земной поверхностью, словно волны поднимаются на бурном море.

...Геокриологические фронты определяли продвижение мерзлоты. Это была своеобразная метеорология скальной породы. Иркутск, в данном примере, размещался между изотермой 1909 года и изотермой 1910 года. Так почему, тогда, не определялись, скорее, геотермические фронты? Разве нельзя было открыть тогда Дороги Мамонтов как раз путем измерений температуры вечной мерзлоты? Нашло чистый листок и записало эту проблему под номером первым. А под номером два: раз вечная мерзлота прирастает вместе с распространением Льда (скорее всего, вечная мерзлота является одним из аспектов Льда), то образуются ли на захваченных ею пространствах новые Дороги Мамонтов? Ведь *Карта Льда за 1923 год* показывала Дороги и за пределами линии 1908 года. Вся проблема в том, что самые старые изотермы, еще до учреждения Сибирхожето и до первых оплачиваемых им исследовательских экспедиций геокриологов, были проведены тоненьким пунктиром: просто не хватало надежных данных для определения тогдашних границ вечной мерзлоты. Было известно, какие города стояли тогда на мерзлоте, а какие — нет; и, собственно, ничего более. Зато между новейшими изотермами картограф Сибирхожето отважился предположить последовательностями точек только некоторые из возможных Дорог. В легенде карты вручную была сделана отсылка на мемориал профессора Герца. *Я-оно* перелистало документы. Дело в том, что профессор Герц выдвинул гипотезу, что в доисторические времена Сибирь — и вообще Азия — переживала «приливы» и «отливы» мерзлоты: якобы, были такие времена, когда весь континент находился под властью подземного мороза. Вывод очевидный: эти Дороги Мамонтов когда-то там уже существовали, сейчас же только открываются.

...Каждое отмеченное на карте месторождение зимназа или других переохлажденных ископаемых имело законного владельца, хозяина исключительных прав на его эксплуатацию. (*Значит*, отмечены только лишь те, о которых было написано в газетах). Отдельные небольшие карты были посвящены бассейну каменного угля на Ангаре, к северу от Иркутска, шахтам слюды на запад от Байкала, огромному бассейну зимназовых руд на юго-запад от Усть-Кута и золотоносным территориям Лензолота на Становом Хребте, вверх и вниз по течению реки Вилюй. Под Бодайбо находилась единственная в мире шахта пух-золота, самого ценного благородного металла в мире: переохлажденного золота, обладавшего плотностью взбитых сливок и удельным весом иркутского тумана.

...Временные открывательские шахты и сорочища на картах не отмечались, хотя именно с них идет практически весь тунгетит и большинство «природных» ледовых руд. Только мест таких было слишком много, и подобного рода карты оставались актуальными не дольше, чем на сезон. А большая часть горнодобывающих обществ и сорочьих артелей наверняка таких данных вообще не публиковали. Так что крайне сложно оценить корреляцию прохождения Дорог Мамонтов с месторасположением залежей зимназа. Ведь явно же не было так, будто люты «специально» садились на шахтах. Ведь вся идея холодниц Холодного Николаевска взялась из потребностей искусственного, промышленного переохлаждения «теплых» руд. Тем не менее, Сибирхожето регулярно высылало в Сибирь отряды геологов, чтобы те выискивали залежи «природного» зимназа. Окрестности каждого соплицова скрупулезно обследовались; на месте долгосрочного гнезда лютов проводили бурения,

мерзлоту взрывали динамитом.

...Из сообщений таких геологических экспедиций и были взяты описания трех из семи отмеченных в документах Министерства Зимы встреч с Отцом Морозом. Разложив бумаги по порядку, эти выписки сложило по датам и записало под номером три все координаты:

61°57'N 101 °16'E — 17 июня 1919 года

61°55'N 99°07'E — 8 февраля 1921 года

54°41'N 102°50'E — 17/18 октября 1921 года

60°39'N 100°33'E — 4–7 января 1922 года

61°57'N 101°16'E — 3 декабря 1923 года

56°44'N 110°11'E — 17,19 апреля 1924 года

...Проведя карандашом по карте, так же, как передвигал по ней грязным пальцем чиновник Зимы, вычертило форму, похожую на искривленную букву К, с одним нижним ответвлением, лежащим над Окой и на линии Транссибирской железной дороги; второе нижнее ответвление вонзилось в Становой Хребет над северной оконечностью Байкала, а верхняя черточка достигала алмазоносного Вилюя. При чем, между развернутыми к востоку хвостиками буквы, неподалеку от точки пересечения, находилось место Удара — эпицентр Льда на Подкаменной Тунгуске. По сути своей, четыре встречи с Отцом Морозом: первая, вторая, четвертая и шестая, случились не далее, чем 250 верст к западу от эпицентра. Это была небольшая, в пару десятков верст территория, расположенная в 200 верстах к северу и к западу от Кежмы, к западу от фактории Ванавара.

...Разум, не отличающий посылки от результатов, быстро придет к выводу, что именно там Отец Мороз и бывает чаще всего. Тем временем, зависимость совершенно обратная: окрестности точки Столкновения — не земли, для него ближайшие, но такие, насколько человек способен зайти в Зиму — очень часто посещались различными экспедициями ученых, промысловых геологов и, наконец, сороками, собирающими тунгетит, ведь именно там легче всего что-либо заметить.

...Как правило, их описания ограничивались краткими заметками в дневниках экспедиций. Такого-то и такого-то дня, в таком-то и таком месте увидели лед, который вначале приняли за фрагмент вымораживающегося из-под земли люта, но потом увидели в нем человека. Пара охотников показала в представительстве Зимы, что этот *ледяной человек, заметив их, сделал неприязненный жест.* Геологи Горнодобывающего Общества Мюллера и Сыновей, заснув вечером у керосинового костра, на рассвете заметили, что *между ними присела ледовая фигура, которая склонялась над огнем, как будто бы желая растопиться, вытянув к костру руки и сосульки,* русский, женившийся на женщине юкагирке, спешил по замерзшему Вилюю с больным ребенком к ламе-знахарю; они проехали мимо *мужчины во льду, который шел по колени в замороженной реке.*

...Больше всего внимания в Министерстве Зимы уделили сообщению инженера Ди Пьетро, который встретил Отца Мороза на Становом Хребте, в апреле нынешнего года. 17 апреля, направляясь из лагеря экспедиции в назначенную измерительную точку, он шел по глубокому ущелью, под высокой стеной пропасти. И вот тогда в тени он заметил, рукой и ногой погруженного в ледяной скорлупе, стекавшей по стенке пропасти, *замороженного человека, под громадными ледяными натеками.* Ведомый научным любопытством, инженер хотел подойти к нему и присмотреться поближе, но тут же — пишет Ди Пьетро — *почувствовал такой мороз, что вынужден был отступить.* В соответствии с тем, как его научили поступать с лютами, он вынул термометр и раскрутил его на расстоянии в девять и шесть аршин, на три уже не подошел. Что привлекло его внимание, и почему он не подумал, что это просто очередной несчастный, замороженный под сибирским льдом? Так вот,

человек этот был обнаженным, стоял, а не лежал, кроме того — его глаза были открыты, и они, казалось, глядели на меня сквозь лед и фирн [\[231\]](#) абсолютно осмысленно, хотя и неподвижно. Через полтора дня, возвращаясь с замеров по тому же самому ущелью, Отца Мороза он уже не заметил. Но, поднявшись выше, он заметил отблеск льда на вершине стены и вынул подозрную трубу. *Этот ледовый мужчина* — пишет Ди Пьетро — *уже по грудь выступил из скалы, вцепившись руками в огромные сосульки.* Отсюда инженер сделал вывод, что *Отец Мороз, по способу лютов, ходит по Дорогам Мамонтов.*

...Вот и все конкретные сообщения. Но большая часть сведений об Отце Морозе была взята из сплетен, легенд и рассказов мартыновцев, распространяемых поначалу среди сектантов, потом — среди рабочих-зимовников, под конец их можно было услышать по кабакам, убежищам и возле таежных костров вместе с другими сибирскими байками. Будто бы он вошел в соплицово и вышел из него. Будто бы *приручал лютые.* Будто бы *разговаривает он на всех языках мороза.* Что питается снегом и сосульками. Что ледовые создания его усыновили. Что он первый апостол Антихриста Льда. Будто бы он получил в награду *вечную жизнь во льду, ибо то, что в тунгетитовой мерзлоте раз затоплено, никогда уже не умрет и не сгниет.* Ходили десятки баек — рассказов, передающихся от одного знакомого, которому рассказал приятель, узнавший от своего знакомого — про заблудившихся охотников и сорок, которым Отец Мороз спас жизнь взамен за то, что те дали некую, точно не определенную *присягу Льду.* То один, то другой зимовник клялся, что именно от Батюшки Мороза получил он дар чрезвычайной стойкости к холоду. Что же касается обвинений, на основании которых Филиппа Герославского начали преследовать, то они датировались еще 1918 годом, когда после амнистии отец и вправду связался с какими-то мартыновскими движениями, на то время, правда, легальными; сам Мартын тогда еще жил и даже, якобы, встречался с отцом. Его связали с несколькими массовыми ледовыми убийствами и парой массовых самозамораживаний лета 1919 года. Непосредственных доказательств не имелось (все потенциальные свидетели сошли в Лёд), но были сильные косвенные доказательства, включая признания жандарма, который разговаривал с отцом в одной из тех деревушек за два дня до самозамораживания; была приведена и копия заявления зимовника чешского происхождения, утверждавшего, будто бы Филипп Герославский сам признался ему, будто бы он повел людей на эти замораживания, и даже хвалился тем как *заслугой перед лютами.* В самом конце, о ужас, были подколоты показания бурятского шамана, некоего Юригу Кута. Тот под присягой заявлял, будто бы видел те акты добровольных и недобровольных заморозжений глазами собственной души, которая путешествовала тогда по Дорогам Мамонтов, и там вот увидала сходящих в Поземный Мир людей, которых подгонял мужчина, который выглядел именно так, как представленный ему на фотографии европеец. Боже праведный, какая же темнота!

...Номер четыре. Я-онобыстро посчитало расстояния по *Карте Льда* и времена наблюдений, деля версты на дни и часы. Место четвертой и пятой встречи разделяло более 700 верст; отец преодолел их за 80 дней. Это давало скорость перемещения не менее 390 метров в час, что было намного больше скорости перемещения лютов по Дорогам Мамонтов, не говоря уже над поверхностью почвы. Что это доказывало? Что отец — не лют...? Ха!

Повернувшись лицом к бело-цветному пейзажу за окном, я-онозакурило папиросу. На что рассчитывал блондин с черными зубами, передавая мне все эти документы? Даже если вычислить время и место встречи с отцом, то ведь не выдашь их из чистой благодарности любому чиновнику. Ба, да и вообще, есть ли тут что вычислять? Можно ли вычислить поведение человека, и по этим расчетам предусматривать — словно движение заводного

механизма? Самое большее, можно говорить о вероятности: раз его четырежды видели на Подкаменной Тунгуске, туда следует отправиться и ждать его там появления.

Но, с другой стороны — поглядим хотя бы на карту перемещений пана Войслава Белицкого (если бы кто составил таковую из подобных обрывков знания). Дом, работа, работа, дом, и опять; и так, по-видимому, с каждым человеком. Мы творим схемы, жизнь замерзает в правильном, словно снежинка, шаблоне; и кто может откровенно сказать, что его поведение нельзя предсказать?

Не понимая того, не видя их и не чувствуя — все мы перемещайся в соответствии с подземными Дорогами Мамонтов: в дневном цикле, в недельном, годичном цикле, но прежде всего — в масштабе всей жизни, то есть, от рождения до смерти. Только потом приходят картографы Истории и вычерчивают по нашим поступкам, словам и путешествиям карты тех Дорог. Тайные сети протоков Подземного Мира не определяют выборов человека, зато они притягивают их к наиболее протоптанным, к чаще всего проходимым тропам. Итак, ходил этот человек в школу, женился, работал, народил детей, умер. Может быть, сражался. Возможно, накопил состояние. Или, увидел мир. Возможно, совершил преступление. (Это уже отдельные, прерывистые линии). Так или иначе, остаются только отдельные наблюдения, память о фактах, разбросанных по времени и пространству: дата свадьбы, дата приговора, нечеткие фотографии из родного дома, под деревом, перед церковью, нечеткие воспоминания обломков сцен последних его лет — что еще возможно записать на межчеловеческом языке. Протянуть между этими точками, подвешенными в несуществующем прошлом, траектории жизни — какая форма получится? какая проявится подповерхностная структура?

Пан Войслав вернулся с работы уже затемно. Как можно скорее *я-оно*отчиталось перед ним в министерских делах. Тот сразу же послал приглашение подойти адвокату Кужменцеву. Лишь только закрылись за слугой двери кабинета Белицкого (для хозяина — коньяк, для нового гостя — рюмочка сливовицы), старик Кужменцев сразу же приступил к делу.

— Шембух, так? — Он погладил бороду. — Шембух — это человек Крущева. Крущев же — ледняцкая оппозиция Раппацкому.

— Выходит, это ледняки меня сюда спровадили?

— Нет. Приказ отдал Ормуга.

— Ормуга, вы же сами рассказывали, сонный раб.

— Тогда он еще жил явью. Терпение, молодой человек, я объясняю вам политическую анатомию. Чьим человеком был Ормуга? Ормуга был человеком генерал-губернатора Шульца-Зимнего.

— Вместе хаживали на изюбря, — буркнул пан Войслав, выпив свой коньяк.

*Я-оно*выпустило воздух из легких.

— Так вот почему Шембух приказал мне ждать! Ормуга в сомнамбулическом состоянии, и теперь они не знают, что со мной делать! Равно как и то, что делать с моим отцом. И вообще: в представительстве министерства полное смешение функций — словно они разбились на два министерства, и одни против других действуют. Чуть друг на друга не набросились, прямо у меня на глазах. Господи, ну и чиновники!

Кужменцев, разогретый сливовицей добродушно засмеялся; замечательный румянец проступил над седой бородой.

— Чиновники, говорите? Так ведь здесь же Азия, это вам Сибирь, это вам Лёд! Что вы поняли из всего вашего визита? Должности чиновников, Венедикт Филиппович, равно как и придворные должности, по большей части уже наследуются. Это означает, что они не всегда переходят по родственной линии, тем не менее, человеку снаружи крайне сложно на

должность попасть; те, что должности распределяют, сами сильно от чиновников зависят. Так? А если кто раз уселся на чиновничьем стуле, тот до конца жизни будет уверен в успехе и благосостоянии; ну, разве что окажется беспросветным дураком, или какой черт ему под шкуру влезет, но тут уже ничего не поделаешь.

— Вы говорите о коррупции, Модест Павлович, о *взятках* за незаконные привилегии...

— Да нет же! Возможно, оно у англичан так бывает — но поглядите на русского. Какие решения принимает чиновник, какой выбор делает от имени державы и *Гасударя Императора* своим пером и печатью? Значительно чаще ему приходится выбирать из возможностей, каждая из которых одинаково полезна и логична; какую бы не выбрал, он будет в праве. И ему не нужно нарушать закон, и так все зависит от его желаний и настроений. Так? И люди, имеющие выгоду от подобного рода решений, тоже прекрасно об этом знают: вот мог бы кому-то другому сделать добро, а сделал нам. Разве они забудут это? Не забудут — другие чиновники не были бы так настроены в их пользу. И через несколько лет, когда чиновник уже покидает свой пост... Или даже во время его работы, только не ему самому, но его семье, приятелям, родственникам... И абсолютно законно: должность, контракт, коммерческие контакты, совместные инвестиции... Пускай не сам бенефициант, но тот, кто должен ему услугу. И все это собирается из поколения в поколения, множится, ибо, как уже было сказано, должности и государственные функции по большей части уже наследственные, так? И вот мы имеем уже целые чиновничьи семейства, небольшие империи накапливаемых столетие и больше богатств, знакомств, привилегий, и очень часто — завязанные в силу свойства, ведь члены их семей вступают один с другим в брак. И ни у кого нет никакого интереса разрушать такие системы, раз всякий, являющийся их частицей, имеет отсюда громадную выгоду, а человек пытающийся разрушить такие системы снаружи, мог бы с тем же успехом биться головой в стенку.

— Тогда, откуда же эта внутренняя война в иркутском представительстве Зимы?

— Потому что, видите ли, здесь, в Краю Лютов, сложнее...

— Ага! Все эти возможности выбора: одинаково логичные и правильные...

— Так. Видно, что...

— Обязательно.

— Чиновники...

— Скукоживаются.

— Замерзают.

Глисты Лета, гниlostные червяки мира, растопленного между правдой и ложью. Что останется им делать в мире, до последнего залитом тьмечью, навечно замкнутом во Льду? Столько же власти чиновничьей, сколько и логики Котарбиньского.

— Все чиновники в душе своей — оттепельники, — тихо произнесло я-оно.

— Ну, может, и не оттепельники, но вы правы, особой любви к Зиме они не испытывают. — Отставив пустую рюмку, Кужменцев достал табакерку, набрал смеси на длинный ноготь, втянул в мохнатые ноздри, помассировал нос. — И вот тут открывается первая причина замешательства. Министерство Зимы было создано для того, чтобы контролировать Лед, так? Для организации жизни в условиях Зимы. Во главе поставили Петра Раппацкого, столыпинского демократа, которого сейчас считают оттепельником, поскольку он высказался за конституцию. В свою очередь, Сибирхожето было создано для того, чтобы получать выгоду ото Льда, так? Для Победоносцева доход тем больший, чем больше лютов сидит на залежах. И пока ни одна из сторон реального влияния на Лёд не имеет, такие противоречия ни в чем никому не мешают, но я тут поспрашивал у людей в генерал-губернаторской канцелярии, и что выявилось? Учтите, по большей части это только мои

домыслы, поскольку, понятное дело, прямо мне никто ничего не сказал, но — именно так оно и замерзло.

...Так вот, где-то в середине июня приходит из Личной Его Императорского Величества Канцелярии письмо губернатору Шульцу-Зимнему с указанием приготовить помещения, людей и средств для обеспечения проведения в Иркутске новой научной работы над лютами; срок — месяц, а в приложении даны подробные инструкции и требования. Шульц предает приказ Географическому Обществу и Императорской Академии, но, понятное дело, ему самому интересно, в чем тут чудо, что сам Император Всероссийский вмешивается в дела какого-то там ученого; здесь инженеров до черта, одних научных заведений еще до ледовой эпохи в нашем городе где-то с полсотни имелось. Шульц пишет своим людям при дворе. Те ему в ответ, что...

— Никола Тесла с арсеналом Лета.

— Так точно. Теперь попытайтесь пойти по соображениям губернатора Шульца: слева у него Министерство Зимы, справа — Сибирхожето, сверху — император, который явно объявил лютам войну. Воспротивиться желаниям Его Величества — нельзя! Так? Так. Но ведь и допустить уничтожения Льда и упадка всей промышленной мощи Сибири — ему ведь тоже нельзя. Я его знаю, это не тот человек, который бы сидел, сложа руки, и глядел, как его золотоносное царство снова превращается в забытый Богом, царем и людьми край ссыльных и переселенцев. Вот он, среди всего прочего, и выдумал такой способ: договориться с лютами.

Кужменцев мощно чихнул, сказал «Слава Богу» и вытер нос.

— А как поговоришь с лютом? Не поговоришь. Но вот у губернатора на столе документ о розыске еретического мартыновского *преступника*, польского ссыльного, Филиппа Ерославского, Отца Мороза, который — черным по белому изложено — разговаривает с лютами. Отец Мороз? А как его достать?

...Поняли?

Я-оновыпрямилось на стуле.

— Вы знаете генерал-губернатора, Модест Павлович, правда? С того времени, как он сюда прибыл. И знаете, как — каким — он замерз. Скажите: это честный человек?

Старый адвокат приподнял бороду, поглядел из-под тяжелых век.

— Да.

— Вы думаете договориться с ним, пан Бенедикт? — спросил Белицкий. — Потому как, если вы желаете встретиться с ним за спиной у чиновников Зимы, это не будет так...

— Не знаю, меня не это беспокоит.

— А что же?

— Доктор Тесла. Я совершенно забыл о нем. Ведь он уже должен был добраться до Иркутска. С машинами, со всем остальным. Тот секретарь Шембуха упоминал, как Шульц посылал куда-то казаков.

— Для охраны доктора?

— Но ведь из того, что говорит Модест Павлович, ясно видно, что граф Шульц-Зимний — это чистой воды ледняк, то есть, перволедный, даже если не от сердечной убежденности, то по причине политических расчетов. Ведь ничего его так не порадовало, если бы все осталось, как есть — замороженным. Спрашиваю, честный ли он человек, то есть, способен ли он нанять агента-убийцу, чтобы убрать угрозу еще до того, как та прибудет в его город?

Пан Войслав ударил себя в грудь так, что прямо загудело.

— Так этот террорист с бомбой — вы хотите сказать? — он по приказу Шульца поезд взрывал?

— Я гляжу на обстоятельства. У ледняков имелся собственный агент в охране. Но он выдал себя еще до выезда. И сразу же высылают следующего агента. А зачем посылать второго, как не потому, что узнали о компрометации первого? Но вот кто об этом мог знать? У кого имеются такие информаторы в охране? И должен ли был Шульц сам нанимать человека? Ведь ему было достаточно только подсунуть сообщение леднякам. Черт его знает, имел ли этот агент вообще понятие, на кого он работает. Но, и это обязательно отметьте, он атаковал открыто — где? В городе Зима, в границах иркутского генерал-губернаторства. Случайность, возможно, стечение самых различных обстоятельств. Но, благодаря этому, он мог рассчитывать на юрисдикцию своего нанимателя: бросил бы бомбу, убил Теслу, уничтожил машины, после чего спокойно бы сдался и ждал правосудия графа Шульца.

Кужменцев покачал головой.

— Нет, не такой он человек, не такой.

— Ваше слово, Модест Павлович, *мароз правильный*.

Доказательство по соответствию характеров: Белицкий ручается за Кужменцева, который ручается за Шульца. Месяц назад *я-оно*лишь рассмеялось бы при одной только мысли. Но сейчас, но здесь — это понимание, обладающее силой математического уравнения: С равняется В, В равняется А, *ergo*, С равняется А: *Не такой он человек*.

— ...правильно, поскольку Шульц, в силу обстоятельств, защищает ледняцкие принципы, и должен, обязан способствовать Победоносцеву, так? Как никто из директоров Сибирхожето не может быть оттепельником, так и губернатор Края Лютов не может желать того, чтобы Лед растаял. И вот тут, молодой человек, находится замешательства причина вторая. — Кужменцев глубоко вздохнул, подняв на бороде седую волну. Сплетя пальцы на животе, на жилете, он принял позу озабоченного мудреца. — Допустим, через своего отца вы выторговали с лютами какое-то перемирие, какой-то географический трактат: Лёд досюда, и не дальше, столько-то Зимы, столько-то Лета, от этого места Оттепель.

*Я-оно*отвело взгляд: ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА — КИЕВ — КРЫМ.

— Допустим, все пошло по мысли генерал-губернатора, — продолжил адвокат. — Что же тогда происходит? Раз, весна в Европе. Так? Два, но только «два» — это вопрос большой, самый крупный: в этой Весне отмерзает только земля и природа — или нечто большее, по мысли Бердяева и ему подобных? Ибо, если так, тогда? Одна черточка, один акцент в этом договоре — и рушатся монархии, вспыхивают революции, валятся державы, и войны шествуют через континенты, от Гданьска до Владивостока, от Кенигсберга до Одессы, от Камчатки до Пекина. Так? Так?

*Я-оно*спрятало лицо за ладонью.

— Убить Историю.

— Войслав Христофорович, вы за ним хорошенько присматривайте.

— Я привык присматривать за собственными инвестициями, — засмеялся пан Войслав. Зыркнуло на него между пальцами. С чего это вдруг он посчитал необходимым напомнить о четырех сотнях рублях долга?

— Так что я могу вам посоветовать? — тяжело вздыхал Кужменцев. — И сами ведь сказали, что нужно вам сделать: выехать отсюда, как можно скорее. У вас нет паспорта, так, но ведь это Сибирь, здесь *непомнящие себя*люди теряются в тайге сотнями. Детали знать не желаю, *гаспадин*Белицкий наверняка вам объяснит, что и как. И не на Вислу отправляйтесь, потому что там уже Зима; отправляйтесь в Америку, возможно — на Антиподы.

— Нет.

Кужменцев приподнял кустистую бровь.

*Я-оно*отняло ладонь от лица.

— Разморозжу отца, он, пускай, бежит.

Пан Белицкий прижал кулак к груди. Старый адвокат был весьма недоволен, еще в дверях продолжал качать головой.

— Ну, и зачем он мне это говорил, зачем...?

Показалось, будто Войслав тоже будет иметь претензии. Только тот в молчании переваривал совсем другую проблему.

— В вас кружит этот яд подозрительности, — сказал он, задержавшись в прихожей, уже повернувшись в сторону спальни. — Сильно он вмерз в вас.

— Вы на меня в претензии, что я бросил тень на губернатора?

— Вы его не знаете, все казалось очень логичным, я и сам наверняка так бы подумал. Но, — Войслав махнул рукой, подбирая слова, не идущие на язык, — вот только к вам все это пришло так легко, так быстро, так естественно...

— Что вы пытаетесь сказать?

Белицкий выпустил воздух через нос.

— Вы человек, переполненный подозрениями, пан Бенедикт. Вы не верите людям. Вы только зла от людей ожидаете, и от себя, видно, тоже. — Он потер пухлые ладони, повернул бриллиантовый перстень на пальце. — Нужно вам дать кого-нибудь для защиты от этого зла.

О старых и новых знакомцах и незнакомцах

— Не нравится мне все это, — буркнул Чингиз Щекельников и хлопнул по боку в поисках штыха. — Наденьте-ка очечки. Темно, как у Победоносцева в заднице.

Во всех окнах, дверях и форточках здания Физической Обсерватории Императорской Академии Наук горели тьвечки. В ночном облаке центра города, время от времени, отблескивали только светени, перекрывая интенсивный мрак, когда между источниками тьвета проходили шастающие в подворотне и по внутреннему двору рабочие и носильщики, чуть ли не целая рота солдат и возбужденные сотрудники самой Обсерватории. Чуть подальше, от улицы и площади, за границей тьвета собралась кучка зевак; впрочем, приостанавливались чуть ли не все прохожие, да и сани заметно притормаживали. Перед главными воротами, на широких полозьях, обвязанные тряпками и соломой, обсыпанные снегом, лежали громадные цилиндры теслектрических установок. Между ними, держа в руках винтовки, стояли казаки с азиатскими лицами, заслоненными широкими мираже-стекольными очками.

Тьвет через мираже-стекла уже не так слепил. Я-онопрошло среди саней и невыразительно серыми силуэтами казаков. Бесцветные пятна перетекали из тени в тень — одно из пятен подскочило, схватило за плечо, изумленно вскрикнуло и отступило.

— *Гаспадин* Герославский!

— Тихо, Степан, тихо.

Пожилой охранник провел через главный вход нового здания Обсерватории. Здесь тоже стояли казаки, куря папиросы и жуя махорку. Тьвет протекал снаружи и из боковых окон, но в середине горели уже яркие электрические лампы, и в этой постоянной битве света с тьветом, словно в плохо перемешанной молочно-смолистой каше то выступали, то западали в серость, в темноту, подземный мрак — очередные фрагменты стены, пола, потолка, монументальных зимназовых колонн и массивной мебели.

Я-онорасстегнуло тулуп, сняло шапку и очки. Дыхание зависло в густом воздухе. Кивнуло Степану. По-видимому, он тоже хорошенько уже пропитался тьмечью: вслух не нужно было ничего говорить, склонил голову и скрылся в темноте.

Разглядывалось по громадному залу, сейчас грязному и захламленному. Под потолком висел инкрустированный цветными цацками глобус. Стену высокого вестибюля Обсерватории (первый этаж высотой в семь аршин) покрывала гигантская фреска, представляющая сибирский летний пейзаж, волны бело-зеленого леса и небо, голубое, словно перевернутое озеро.

Чингиз Щекельников глянул и громко харкнул.

— Терпеть не могу берез, особенно летом. Такие белые, словно птицы их полностью засрали.

— Ну, вы у нас исключительный эстет.

Достаточно пройти по иркутским улицам, и у европейца, еще не свыкшегося с культурой Империи, уши свернутся в трубочку, настолько гадов и пропитан сквернословием язык обитателей восточной России; и Щекельников в этом плане исключением не был. Квадратный мужик, с квадратными лапами, с перебитым чуть ли не под прямым углом носищем над квадратной костью подбородка, запихнутый в старую гимнастерку под двойным тулупом, в обшитые кожей войлочные пимы до колен — имел лишь то от культурной личности, что гладко брился и не плевал на ковры. Когда пан Белицкий представил его как человека проверенного, на которого можно было положиться, притом — с мужественным сердцем, который еще в первые алмазные экспедиции для голландцев хаживал, я-оносразу же подумало, будто это некий разбойник с руками по локти в крови, который в Сибири потому осел, потому что с Большой Земли его за дела гадкие за Урал на всю оставшуюся жизнь по праву изгнали. Оказалось же, что был он урожденным сибиряком, на свет появившимся в Желтугинской республике на китайском Амуре. Преступления — совершал, не совершал, но уж наверняка унаследовал разбойничью кровь. Дело в том, что до шестидесятых и семидесятых лет прошлого века заселение Сибири русскими людьми шло ни шатко, ни валко, так что администрация проводила правительственные цели, привлекая самые незаконные способы; среди всех прочих, губернатор Муравьев-Амурский, знаменитый своими оригинальными инициативами, для улучшения статистики «добровольного переселения» на несколько тысяч душ придумал такой вот метод: по всей восточной Сибири собрал он всех проституток и уличных девок, набрал соответствующее число каторжников, списав им остаток приговора, а затем, собственноручно выбранные пары поженив, отправил их «на заселение». Чингиз Щекельников был отпрыском одной из таких амурских супружеских пар. Трудно сказать, взяли ли в нем верх худшие черты матери или отца. По отчеству он не представлялся. Руки не подавал. Не кланялся. Не мигал (эта ящеринная интенсивность взгляда беспокоила в нем более всего). Он носил большие, выпуклые мираже-стекольные очки в костяной оправе и чистил квадратные ногти длинным штыком.

На пана Белицкого сильно подействовали письма, которые начали приходить на Цветистую, семнадцать уже на следующий день после первого визита в представительство Министерства Зимы. Не все они были адресованы «Герославскому Б.Ф.», на некоторых имелись такие описания: *В собственные руки Сына Мороза, Баричу Зимы*, либо, что еще хуже: *Ему*. Заходили и всяческие типы, совершенно пану Войславу неизвестные, стучали в двери в самую неподходящую пору, заговаривали с людьми Белицкого. Кто-то бросил в окно камень, обмотанный в бумагу с угрозами. В связи с этим, я-онообъявило про свой переезд обратно в «Чертову Руку», чтобы семейство Белицких не пострадало, только пан Войслав, равно как и пани Галина не желали об этом слышать.

Не было такой возможности, чтобы появление в представительстве Министерства Зимы не пошло громким эхом по всему Городу Льда. Тем более, когда для всех уже замерзла такая вот правда: в Иркутск прибыл сын Батюшки Мороза. Это же появление, словно камень,

разбило волшебный защитный щит, отделявший до сих пор дом Белицких от остального мира. И внезапно вернулись все страхи, которыми я-оножило в Экспрессе: будто бы каждый человек в Иркутске должен быть либо явным врагом, либо каким-то тайным агентом; что вот-вот догонят, нападут, пристрелят, сунут нож под ребро — достаточно только встать на иркутской мостовой. А ведь и вправду, разве не похитили уже в первую ночь, не сунули в гроб, не желали живьем в могиле закопать? Только дай им возможность — на клочки разорвут. Помнило ведь горячечную трясучку души и тела, которая начиналась только лишь при мыслях о подобных угрозах — страх — мысль о будущем страхе — тогда, когда было еще и трусом.

Пан Белицкий, поразмыслив о возможных последствиях, нанял на дополнительное время рабочих со своих складов, трех здоровил в каких-то латаных пальто, завернутых в войлочное тряпье с ног до головы так, что только бело-цветные полукружья очков, словно глаза насекомых, выступали из обмоток. Исходя черным паром дыхания, они охраняли дом, от двора и до улицы, от реки и со стороны перемишки между домами, днем и ночью. Когда семейство Белицких садилось в сани, здоровяки кланялись женщинам и улыбались через платки детям, стыдливо пряча за спиной костоломные дубины.

Кого отпугнули, того отпугнули; но не всех. Парой дней позже в доме на Цветистой раздался грохот и звон стекла. На сей раз, кусок льда был обмотан в обрывок «Иркутских Новостей» с дополнительно накаляканными ругательствами. Григорий, слуга Войслава, принес газету на кухню. Снабженная нечеткой фотографией Николы Теслы, гордо стоящего с руками, стиснутыми на кончикниках громоотводов, в кустистых ореолах миллионвольтного разряда, статейка была названа так: *В Иркутск прибывает Доктор — повелитель громов и молний!* С толстым восклицательным знаком, а как же, да еще и с подчеркивающим вензелем. Я-оно послало человека за более свежими газетами. Приезд Теслы был отмечен во всех печатных изданиях. «Голос Байкала» поместил снимок доктора с подписью: *Чародей в своей лаборатории в Колорадо-Спрингз*, на котором Тесла сидел, спокойно читая книжку под толстыми, словно древесные стволы, длиной в несколько десятков аршин змеями белых разрядов; понятно, что это вызывало немалое впечатление. Часть журналистов спекулировала относительно заказанных у изобретателя чудесных машин для производства и обработки гимназа, но другие правильно усматривали здесь руку Императора и более сложные намерения. Я-оно нервно перелистывало прессу. Никто из борзописцев до нутра не донюхался, тем не менее, весьма беспокойным был сам факт, что нашелся кто-то, соединивший имена Николы Теслы и Бенедикта Герославского. Кто знал, что я-оно ехало с ним одним Экспрессом? Вышла ли утечка из Министерства Зимы — одна фракция, запускающая сплетни против другой? Или сам серб проболтался кому-то, когда его соответствующим образом настроили? Бывают у него такие мегаломанские настроения, нервная склонность к театральной драматургии, как сказала бы *mademoiselle* Филипов. Но он же мог быть и параноидально скрытным, неделями не высовывать носа из своих лабораторий.

Вопрос: каким человеком замерзнет — замерз — Никола Тесла?

Люди меняются — пока не перестают меняться.

Но он, он высасывает из себя перед завтраком правду и ложь ведрами, бутылками, пудами черной соли, галлонами тьмечи. Пообещал помощь? Так что с того — накачиваясь до полна, перепуганный видением умственного Мороза, он способен одновременно сдержать и не сдержать слово, в одно и то же время умолчать и предать, помогать оттепельникам и леднякам, служить царю и Победоносцеву, одновременно спасать Отца Мороза и выдать его в руки Шульца; в одинаковой степени поступая откровенно, разумно и логично.

Отсюда и утренний визит, в самую пору перед долгим теслектрическим ритуалом.

Господин Щекельников мерил занятым у василиска взглядом казаков, потягивающих свои сигарки возле угольной корзины под противоположной стеной (он мог так часами вонзаться в чужого человека свой гневный, заядлый взор) и не заметил, когда из глубин вестибюля, из-под арки лестницы появилась высокая фигура Николы Теслы. За длинным сербом топтался Степан вместе с еще одним седым очкариком. Тесла отослал их жестом руки в белой перчатке и искусно обошел Чингиза. Серб был в элегантном однобортном костюме, на плечи набросил черную шубу с отложным воротником. На расчесанных симметрично от центрального пробора волосах блестела помада, проскакивали светени и черные искры. За собой он оставлял угольно-черные послесилуэты, словно последовательность постепенно гаснущих астральных проекций; самые бледные послевидения еще стояли на лестнице, спускались на мраморный пол вестибюля и только-только поднимали радостно голову при виде неожиданного гостя.

— Мистер Бенедикт.

— Доктор.

Он широко улыбался. *Я-оно* пожало его руку.

— Так что.

— Да.

Тесла приглядывался с неподдельной симпатией, склонившись в позе опекуна.

— Вы болели.

— Плохо выгляжу.

— Уже лучше.

— Но.

— Так. И по глазам.

— Глазам?

Доктор коснулся обтянутым белой тканью пальцем нижнего века.

— Орган, поглощающий лучи тьвета...

— Ааа...!

То есть, он уже откачал тьмечь, в этом не было никаких сомнений. Из-за тела доктора выдвинулся квадратный Чингиз, пальцы его искали штык.

Серб добродушно глянул.

— А это кто? — спросил он все еще по-немецки.

— Не нравится мне это, — повторил про себя Щекельников, недоверчиво пялясь на худого серба.

— Что у него болит? — заинтересовался Тесла.

— Да здоровый он, здоровый. Вот только чрезвычайно подозрительный.

— Так?...

Я-оно почесало под густой щетиной.

— Самый подозрительный тип и разбойник, которого удалось найти по эту сторону Байкала.

— И на что он вам?

— Ба! А кто же придумал со всеми этими тьвечками?

Тесла провел взглядом очередной обитый жестью ящик, который внесли с улицы запыхавшиеся носильщики.

— Тут такое дело, Степан и какой-то местный офицер, которого к нам приставили, очень опасаются шпионов и журналистов; якобы, представьте только, они могут сфотографировать императорские машины, в связи с чем возникнет какой-то скандал или чуть ли не политический крах.

— Нам надо поговорить наедине.

— Знаю.

— Машины.

— Мммм. А что, «машины»?

Таак, откачал тьмечь настолько, что рассеян как дитя.

— Все зависит, в каком состоянии они сохранились.

— В неплохом. Большая часть.

— И сколько это займет времени?

Тесла поправил шубу на плечах, сунул платочек поглубже в кармашек, затем развернулся на каблуке к меньшему чем он чуть ли не на голову Щекельникову.

— Он же нас подслушивает, — заявил он, изумленный явной наглостью прямоугольного разбойника.

— Все глядят, — подтвердило *я-онос* некоторым весельем. — Сами гляньте: Степан и еще тот седой, они вас ждут...

— Ммм, время, время, да, сегодня мы должны начать вытаивать колодец. В таком случае, приглашаю в Новую Аркадию! Кристина обрадуется. А как только здесь устроюсь — как можно скорее заходите. Покажу вам... Впрочем... Но рад, рад вас видеть! Ах, — перескакивал он с одного на другое, — расскажу вам такое...

— На сегодня я уже договорился, может, завтра.

— На завтра, обязательно!

*Я-оно*засмеялось.

— Обязательно.

Тесла снова протянул руку.

— Нас не должны были бы видеть здесь вместе, — шепнул он, схватив рукой в перчатке обтянутую перчаткой руку.

— Тут уже, доктор, вы ничего не поделаете, — вздохнуло *я-оно*. — Замерзло.

Он кивнул.

Подняло трость.

— Господин Щекельников!

Чингиз насадил на свой шнобель мираже-стекла.

— Так видел *гаспадин*Е-Гье-Герославский, как он струхнул? Я цыган знаю, с цыганами никогда ничего хорошего не получится. Считай денежки в карманах! Ты посмотри, какой крутой лютовчик — а вроде бы только приехал. Говорю вам, темное тут дело. А, лют их ебал.

Лют их ебал, морду льдом засрал. Кто дороги пытается, на морозе сдыхает. Курва колода — материнская порода, курва горяча — папаша ебанул с плеча. На подобного рода поговорки и мудрости, густо приправленные уличной матерщиной, из уст Чингиза Щекельникова всегда можно было рассчитывать. Панна Марта никогда не допускала его выше первого этажа; спускалось от Белицких, а он ожидал в прихожей внизу. Здесь же с ним и прощалось. Не подавая руки, не кивнув головой, не буркнув хотя бы слова, он оборачивался спиной и совал кубические ладони в карманы двойного тулупа. Как-то утром спустилось в нижнюю кухню и застало его в компании двух здоровил Белицкого — они молча сидели втроем, сжимая в лапищах кружки с самогоном, мрачно пялясь перед собой. Единственная разница заключалась в том, что здоровяки не брились.

Говоря по правде, если не считать недавно прибывших с Большой Земли и самые высшие сферы, то, как раз, гладколицых мужчин и не видало; во время бритья мужчина уничтожает естественную пропитку кожи жиром, в связи с чем, она потом легче поддается обморожению. Глянуло в зеркало. Борода уже успела отрасти, хотя еще и не до варшавских

размеров; отрасли и волосы на голове. Позвало слугу, чтобы тот патлы срезал, а потом и побрил. Что замерзло, то замерзло.

Шрамы на щеках покрыла щетина, был виден только один, самый длинный, идущий под самый глаз. Натянуло кожу. Как это он появился? После падения с Экспресса? От железных листьев Подземного Мира? Или от ледяного кинжала мартыновца Ерофея? Снова глянуло в зеркало — уже после бритвы: голый череп, черная растительность, искажающая черты лица, взгляд чахоточника из-под черных бровей. Среди бумаг из Министерства Зимы была старая фотография отца, сделанная для тюремных документов сразу же после его прибытия на каторгу, датированная осенью 1907 года: Филипп Герославский, двадцать девять лет, с распутинской бородой, подстриженный наголо по ссыльной моде, в помятом пиджаке и старой рубашке. *Я-оно* сбросило одежду. За время болезни исхудало еще сильнее, можно было ребра пересчитывать да косточки считать. Стало в профиль, стало тылом, поглядывая через плечо. Ведь малого же нужно, пришла мысль, тело — как карточный домик: прикосновение, дуновение — и все распадается. Лёд — что бы там ни говорить, тоже какой-то выход. Кто может утверждать, насколько извратится людской разум через десять лет каторжных работ в лесных ротах и на каменоломнях? Эпифания ^[232] Зейцова ничем необыкновенным не была. Все пророки и гностики приходят из пустыни, из мест, где людей нет. В палестинских пустынях кто-то видит горящие кусты и огненных ангелов, в Сибири же — апостолов Льда.

Надевая последний уцелевший костюм (транссибирские эксцессы стоили чуть ли не половины приобретенного за иудины сребренники гардероба), подумало, что, возможно, вычисление отцовских Дорог Мамонтов разумнее всего следовало бы начать с другого конца, то есть, не от морозных проявлений, но еще от каторги, от первых лет в ссылке, и что его тогда привело к Мартыну, в каком направлении он шел, что дошел, куда дошел — и куда пойдет дальше — куда спешит тонкая, прерывистая линия его Пути — чтобы на нем его опередить и встретить.

А самый лучший костюм был просто необходим — на званных обедах у семейства Белицких бывают самые различные знаменитые фигуры иркутского высшего и финансового общества, что там говорить, из правительственных кругов тоже, возьмем к примеру такого вот Гермеса Даниловича Футякова, члена городской думы, которому предсказывали, будто бы он вскоре заменит в кресле градоначальника Болеслава Шостакевича. Футяков всегда приходил за час до назначенного времени; вместе с паном Войславом они закрывались в кабинете, откуда думец выходил всегда радостным и навеселе. — *Гаспадин* Футяков, — сообщил Войслав полупшепотом, наклонясь через стол, — очень честный вор. — Говорил он это очень легко и с усмешкой, только *я-оно* жило в Краю Лютов уже достаточно долго, чтобы влет понять значение этих слов. А равняется Б, Б равняется В, В равняется Г, *ergo*, Гермес Данилович Футяков — это честный вор. И далее: Пьер Иванович Шоча из семейства, каким-то образом связанного с швабскими Гогенцоллернами через какой-то там румынский мезальянс, худосочный молодой человек андрогинной ^[233] наружности, съедавший всегда едва лишь половину кусочка из предложенного ему блюда.

— Известный бабник и морфинист, урожденный лентяй, — рассказывает пан Войслав. А кто же это такой, ну, кто? А никто иной, как пан Порфирий Поченгло, директор Metallургического и Горнодобывающего Общества Коссовского и Буланжера.

— Гений с горячим сердцем. — Далее: Биттан фон Азенхофф, один из старинных иркутских богачей, промышленник еще преддизимназовых времен, теперь уже настолько своим богатством насытившийся, что для развлечения хватющийся за самые различные дела и аферы; совладелец публичных домов и организатор бесславных ангарских кулигов ^[234]. — Победитель несчастный. — Далее. Андрей Юше, молодой банкир, только что женившийся на

племяннице раввина, Израэля бен Коэна. — Хорошо воспитанный трус. — Господин Сатурнин Грживачевский, вице-директор у Круппа, рьяный охотник, при любой оказии вырывающийся в тайгу; левая рука не очень слушается, после встречи с мишкой остался огромный шрам, заметный из-под манжеты сорочки. — Трудолюбивый эгоист. — Пан Ёж Вулька-Вулькевич, пописывающий сообщения в петербургский «Край» и «Иллюстрированный Еженедельник». — Явный пилсудчик, злящийся на весь свет и еще на половину Америки. Вам следует знать, что под псевдонимом пан Еж редактирует еще и «Вольного поляка». — *Et cetera, et cetera*; и все они крутые люттовичи, с впитавшейся под кожу тьмечью и резкой потенью, сползающей по лицам, волосам, одежде.

Всякий раз, глядя вдоль стола, повторяло про себя данные им Войславом характеристики, словно приписанные гостям в силу этикета неизбывные титулы и отличия. Да как же так, — воскликнет образованный европеец, ознакомленный с Фрейдами и Бергсонами, — как же так, ведь человек — это не измеримый предмет, не материальный объект, описываемый качественными и измеримыми факторами; будто бы вон тот, так вот он такой-то и такой-то, а вон тот: такой-то, не иной, и еще вон тот — именно таковой. Как же так? Замкнуть человека в словах — ба! парой слов сказать о нем правду — ведь невозможно! Нет трусов, и нет храбрецов, нет благородных и подлых, нет святых и грешников. Невозможно высказать правду о человеке на любом из междучеловеческих языков! А тут, вот скажут: урожденный лентяй — и это правда! Честный вор — тоже правда! Трудолюбивый эгоист — правда! А если попытаешься солгать — солжешь с абсолютной уверенностью в том, что лжешь.

Приглядываясь к ним украдкой над тарелкой, передвигало языком вдоль неба, в поисках того вкуса и чувства, что запомнилось еще с поезда, после сеанса у Теслы. Так существует ли и вправду такое место — такое время — во Льду, под абсолютной властью Мороза, когда алетейметры ^[235] достигают конца шкалы, тьмечь кристаллизуется в жилах, и теслектричество стреляет черными молниями — такое место, такое время, что язык второго рода становится тождественным с языком первого рода, и можно высказать то, что высказать невозможно?

После первого же званого обеда ни о чем не мечтало, как только подслушать только в говоре гостей слово, нашептываемое паном Белицким на ухо кому-нибудь из гостей — слово о Бенедикте Герославском.

— ... *est-ce possible? C'est a peine croyable.*

— *Nullement* ^[236], я ведь и сам туда побеспокоился, это один из тех китайских докторов. Вот поглядите-ка, эти пальцы я вообще не мог выпрямить. *Alors* ^[237], ложишься на твердом матрасе, не самом чистом, впрочем, и китаец вонзает тебе в тело тунгетитовые иглы. Называется это — Искусство Чень-цю. Весьма помогает от ревматизма и возрастных болезней. Доктор зажигает какие-то благовония, жар к иглам прикладывает, и тогда такой успокоительный холод по мышцам расходится...

— А я слыхал про китайских врачей, готовящих на тунгетите опиумные смеси, — сказал Пьер Шоча. — Не было ли у вас способности попробовать и их?

— Да нет, вы знаете, как-то не сложилось.

— А вы знаете, милые дамы, в чем, якобы, необычность черноопиумных упоений — ведь сонному рабу ничего не нужно, скорее уже наоборот: зелья в него вливают, чтобы перетянуть его на сторону яви — но черный опиум, ах! — размечтался вьюнош, и в мечтательности этой насадил на вилку и сунул в рот целую картофелину. — Ммм, черный опиум, он действует совершенно иначе.

— Вы его употребляете?

— Как это удачно выразил господин Грживачевский, «как-то не сложилось».

— Но знаете кого-то такого, кто употребляет?

— А вот тут очередная помеха. Знаю, а точнее, знал я двух гурманов восточной медицины, которые утверждали, будто бы, тем или иным путем достали этот порошок. Понятное дело, весьма любопытствуя его свойств, я попросил их пообещать мне, что тут же дадут мне откровенный отчет по снам и всяческим ощущениям, как приятным, так и неприятным. Но после того наша встреча не состоялась, оба исчезли куда-то бесследно, туман наш *марозный* поглотил их, ммм.

— И все это делишки тех самых китайских шаек, — буркнул Гермес Данилович. — Триад, или как там они еще называются. Белый Лотос! Дети доктора Суна [\[238\]](#)! Кулак Во Имя Справедливости и Единства! Кто их так называет? Кара божья, один китаец и другой китаец — на тебе, отличи одного муравья от другого. И, естественно, по-русски они тоже не говорят. И узнаем только тогда, как снова какая гадость от них по городу расползется, или же когда найдем у них огнестрельное оружие.

— Быть может, господа боятся китайской революции? — засмеялся редактор Вулька-Вулькевич.

— Да что там, дорогой мой, китаец ни в какие социализмы никогда не поверит, это люди крайне семейные, чтобы отказаться от собственности, поколениями накопленной, либо предпочитая мудрости стариков мудрость толпы. Каждый год у них в империи появляется сотня новых промышленных предприятий на миллион юаней. Я знаю, что говорю, торгую с ними. На китайской хитрости ой чего выстроить можно! И при том, насколько же народ этот не восприимчив к возвышенным идеям — идея у них одна: практичность. Конфуция читали? Одни нации, как и поляки, прошу прощения наших уважаемых хозяев, могли жить в свободе от милостей земли, молоком и медом истекающей, и потому никогда не научились покорности и необходимого для величественных замыслов единомыслия, а вот другие нации — как китайская — должны были организовываться для огромных работ, регулирующих течение рек, чтобы вообще выжить, и отсюда вам Великая Стена, отсюда и существующая четыре тысячи лет империя.

— Может я и ошибаюсь, — сказал Андрей Юше, — но, может, и не ошибаюсь, а если не ошибаюсь, то дело такое, что революционная анти-манчжурская партия только и ждет способности выступить против императора, а поскольку лютов на юге Китая еще нет, то там и ширятся мужицкие восстания, доктор Сун собирает войска, а поскольку в Гонконге Льда пока тоже нет, то...

— Вы уж меня простите, — простонал фон Азенхофф, — только у меня уже голова раскалывается, мозги пухнут и через нос выливаются, как слышу про Лед и про Историю. Ерунда, господа мои, мартыновская ерунда на постном масле.

— Да как вы так можете говорить! — возмутилась госпожа Грживачевская, бросая перепуганные взгляды на другой конец стола.

Фон Азенхофф стукнул открытой ладонью по скатерти.

— Да мне какое дело, что в доме повешенного про силу притяжения не говорят? Господин Герославский меня простит. А если не простит, то я его и знать не желаю, да и зачем? — Он снова рассмеялся. — А вот желаю чуточку понагличать в отношении этой вот утки, *notabene* [\[239\]](#), великолепной, пани Галинка, целую ручки; самую чуточку понагличать. Что вы на это скажете, уважаемый?

— Я тоже так считаю, — ответило *я-оно*, нарезая Михасе кусочек мяса. — Что все это ерунда.

— Ай-ай-ай, но почему вы со мной должны сразу же соглашаться? Вы должны надуться

по причине деликатности оскорбленных чувств, забросать меня оскорблениями, и вообще: бросить вилку и хлопнуть дверью. О!

— Тогда мне бы вообще не пришлось в город не выходить, закрыться в комнате, словно Победоносцев в башне.

— Ха! А знаете, почему Победоносцев на свет божий не выходит? Погодите, это же совершенно свежая сплетня. Так вот, якобы, французская болезнь так уже его проела, что сам он собственного вида стерпеть не может, и...

— *Herr*Биттан! — рявкнул с другого конца стола разгневанный пан Белицкий.

— Я же и говорю, — продолжал фон Азенхофф, — отличная утка, просто замечательная.

Следует добавить, что Биттан фон Азенхофф был самого благородного вида, такой вот пожилой патриций, со слегка заснеженными сединой волосами, в элегантном костюме из английской шерсти, с моноклем в глазу и с бриллиантовой шпилькой на мягком шейном платке. На обеды к Белицким он приходил сам, овдовев еще в прошлом веке.

Жена Андрея Юше была близкой подругой жены пана Войслава; они, не переставая, сплетничали через стол, мало чего кладя себе в рот; впрочем, женщин, настолько затянутых в корсеты, как здесь, в Иркутске, по Королевству вообще не помнило. Сплетничали они о любовных отношениях, недавно открытых магазинах, любовных отношениях, детях, любовных отношениях, мигренях по причине Черных Зорь, любовных отношениях, о ценах на ткани для бальных платьев, любовных отношениях, любовных отношениях и еще раз о любовных отношениях. Лютовчики — довольно влюбчивый народ, подумало *я-оно*, отодвигая стул Михаси, девочка побежала к папе на колени. Так что же такое заключается в эффекте концентрации тьмечи, что это ведет людей к сердечным аффектам? Ведь это же форма безумия и неожиданное изменение человеческой природы; здесь подобное вообще не должно случаться.

А если все наоборот, если ошибаются все поэты, если глядят не в ту сторону романтики — и любовь ни в коем случае не является необычным состоянием, но как раз естественным основанием правды о человеке, от которой он как раз уходит, теряясь в мире между «да» и «нет»... Любящий человек более простой и более настоящий по сравнению с человеком не любящим. Усложнения и неопределенности нарастают по мере удаления от любви. Зейцов наверняка бы под этим подписался. И это можно проверить, хотя бы, по приходским записям крещений и браков в генерал-губернаторстве. Безумие — это существование без чувств, болезнь — это бесстрастность, извращения — это жизнь, пустая после ухода любви. Кто любит, тот здоровеет. Чувство заявляет о себе языком догматической уверенности; лишь от сухих рассуждений, лишенных страсти и чувства, рождается всяческая неуверенность, всякая полуправда, всякая наполовину ложь. Погляди на Михасю, втиснувшуюся в жилет Войслава: дитя замерзает в истине ребенка, но не найти какой-либо единой истины в ребенке, оторванном от родителей.

Я-оно пересело на освободившийся стул справа от редактора Вульки-Вулькевича.

— Я слышал, вы были знакомы с Филиппом Герославским.

Тот смешался и в первый же момент гневно насупился.

— От кого вы это слышали?

— Выходит, знали. Здесь встречались?

Тот повернулся передом, опирая седую голову на руку, поставленную между рюмками.

— Дорогой юноша, хотите, чтобы старик по-пьяному начал вспоминать, слишком жестокая забава. — Он хрипло рассмеялся. — В первую очередь, все это так не было... но, но, что вы, собственно, знаете о его подпольной работе?

— Ничего.

— Ничего: Ничего. Хмм. Так вот, прежде всего, все было не так, будто бы мы сошлись, словно какие-то политические братья, борцы за одну идею.

Он махнул служанке, указывая на бокал; девушка, искусно обойдя валявшихся на ковре детей, которые завязывали бант на хвосте громко мяукающего кота, налила алого ягодного вина. Пан Вулька-Вулькевич громко отхлебнул, вздохнул и кивнул, приглашая приблизиться. Я-онопридвинуло стул поближе. Пан Еж закинул ногу на ногу, поправил галстук-бабочку под выступающим адамовым яблоком, откашлялся.

— Таак. Когда разговариваю сейчас с молодежью, или же когда необходимо им что-либо изложить на печатных страницах, вижу, насколько сложно представить им наше прошлое во всем его движении, изменчивости, текучести, нерешительности. Тем более, здесь, подо Льдом, где все кажется таким надежным и вечным. Проклятие! Ну как объяснить, что тогда я был кем-то другим, чем сейчас? Как откровенно выступить от имени того, что уже не существует?

— Оправдать ошибки молодости.

— Да нет же, как раз, не ошибки, молодой человек. Вы предполагаете, будто бы тогда имелись некие лучшие решения, которые были пропущены по глупости или по ущербности характера. Но разве дитя рассуждает как взрослый человек? Разве это его ошибка, что он мыслит, как дитя? Были ли это наши ошибки, что мы тогда рассуждали именно так, как рассуждали и думали?

...Возьмите, к примеру, тысячу девятьсот пятый. Или даже еще раньше, девятьсот четвертый год, когда ПСП ^[240]начала ломаться на фоне первой японской войны. Сейчас вы слышите: «Пилсудский» и сразу же представляете: «террорист», «боевик, что взрывает поезда», «японский диверсант», «сибирский атаман». Но ведь долгие годы он был первым социалистом Польши, подпольным деятелем ПСП, которого преследовали все царские полиции за издание «Рабочего», в котором он призывал пролетариат на революцию, и за что его потом и посадили в тюрьму. Правда, тогда о нем мало кто слышал. А еще раньше: взялся бы он вообще за серьезную революционную деятельность, если бы его ни за что сослали в Сибирь в том процессе народовольцев по обвинению в покушении на царя Александра? Наверняка, не был бы он конспиратором, если бы вначале, за конспирацию, которой никогда и не было, его не посадили на пять лет! Вот как иногда ложь делается правдой. Лето!

— Но какое отношение это все имеет к моему фатеру?

— Так ведь и с ним точно так же! Или вы думаете, будто бы он был социалистом по врожденному убеждению? Бывают такие времена, когда идеи входят в людей словно микроб, переносимый с флюидами, словно банальная инфлюэнца — то ли Пилсудский, то ли Бржозовский, один источник идей — от заражения спастись невозможно; вопрос лишь в том, как быстро выздоровеешь. А тогда все мы болели социализмом.

Тут он нервно глянул над своим бокалом.

— А вот вы, я тут прямо спрошу, как политически стоите?

— Так я прямо и отвечу, что политически сию в уголке.

— Ага, это сейчас такие моды в Конгресовом!

— Прошу прощения, нет. В Конгресовом сейчас Зима.

Тот фыркнул.

— В Конгресовом Зима, а тут что? Партия Сидящих в Углу в истории Польши славно себя не проявила. Вы считаете, что если в политических вопросах молчите, то это уже и не политика? Это тоже политика, только самая глупая из всех возможных! — раздраженно ворчал старик. — В моем поколении мало найдется таких наивных. Пан Филипп тоже ведь был горячих кровей человеком. Не мог долго усидеть на месте. Тем более, в углу. До первой

японской войны социалистические идеи у него окончательно уже выветрились из головы. Нет, тогда я его не знал. Кое-что он мне рассказывал. В ПСП, кажется, он так и не записался. Но в девятьсот пятом он явно способствовал «старикам»; тот раскол пошел по линии пролетарской революции и народного восстания. Пилсудский тогда выбрал Боевую Организацию и армию. Пан Филипп не исповедовался мне до таких уж подробностей собственной деятельности; ссыльные после каторги делают в таких делах весьма скрытными, хе, так что имен, мест, дат — нет, я вам не сообщу.

— Так я и не прошу. — Украшенный бантом кот потерялся о штанину; *я-оно* схватило его за шкирку, подняло. Тот свернулся клубочком на коленях и перевернулся животом кверху. Почесывало его левой рукой, правой суя прямо со стола в мордочку вкусные кусочки. Тот облизывался с кошачьим удовлетворением, щуря глаза не без определенной подозрительности: кормит, это хорошо, но может и перестать кормить; может неожиданно разозлиться, кто его там, человека, знает. — Когда его освободили в девятьсот семнадцатом...

— Да. Тогда я встретил его у Верчиньского. Верчиньский занимался тогда помощью для ссыльных. — Не отводя глаз, пан Еж перенес взгляд в другое место, а точнее, в другое время: он всматривался в прошлое. — Весьма паршиво пан Филипп выглядел, болезненно. Он вообще не такого уж богатырского телосложения, а каторга все высасывает из людей, они гаснут, делаются меньшими. Но лучше всего я запомнил, как он вспыхнул, когда ему предложили взять какие-то предложенные из жалости деньги из взносов. После десятка лет страшных работ стоял он прямо, голову держал высоко, смотрел в глаза, руку подавал как свободный человек, голос у него был громкий и чистый; в лохмотьях, изможденный телом, но держался как шляхтич. Это я хорошо помню, пан Бенедикт. Ваш людей впечатлял, он не вытекает из памяти как любой случайный знакомец-незнакомец; когда встретишь Филиппа Герославского, так уже хорошо знаешь, кого встретил. В этом он, и вправду, похож на Пилсудского, который и сам не Валигура ^[241].

...Я думал помочь пану Филиппу — скорее всего, именно потому, что тот помощи не желал. Я попросил его записать собственную историю; заплатил бы ему по ставке от слова. Имя мне было известно, я читал уже несколько его вещей, перо у него было острое, возможно, не такое легкое, но острое.

— И что же, он написал?

Пан Вулька-Вулькевич искривил свою барсучью мордочку, украшенную белой щеткой усов.

— Он посетил меня в редакции. Тогда я издавал «Сибирь-Поляка». Он пообещал мне десять страниц под названием *Как я стал революционером*, возможно, кое-что бы еще и вычеркнул. Только он сразу же познакомился с теми и другими людьми... — Пан Еж снова скривился.

— С кем же? С пилсудчиками? Или, может, с мартыновцами?

Пожилой редактор отвел взгляд, быстро скрывая замешательство гневным раздражением.

— Я все понимаю, сын, разыскивающий отца, многолетняя разлука, семейная трагедия *et cetera*, но когда вы меня начинает расспрашивать про...

— Имена, места, даты.

— Может, когда на старости случится размягчение мозгов — но тогда, слава Богу, я забуду, наконец, и все эти опасные тайны.

Что же, это мысль, которая, рано или поздно, приходит в голову всем: сын заговорщика, разыскиваемого Империей, привезенный сюда по желанию и за счет Империи, и ведь не в кандалах же — тогда, по отношению к кому он на самом деле проявляет верность?

Промышленникам и польским гимназическим буржуям на это наплевать, но вот люди покроя Вульки-Вулькевича постоянно держат ушки на макушке.

— Тем не менее, наверняка ведь вы можете указать мне лиц, которые тогда знали моего отца, но, тем не менее, не были замешаны в каких-либо политических или нелегальных делах; ведь были же такие люди.

— Нуу, естественно. Только откуда мне их знать?

— Где он жил? Чем зарабатывал на жизнь?

— Ах, правда! — Пан ж откашлялся, прополоскал горло ягодным вином, снова откашлялся. — Так, у Вержицкого он задержался ненадолго. А в Иркутске жил... Да что вы делаете с этим котом?

— Ух, вечно голодная бестия... В Иркутске жил...?

— У какого-то сапожника, по-моему, они были в одной роте; сапожник этот получил пять лет за хранение краденого или за контрабанду, погодите, такая дурацкая фамилия: Куцба? Хуцпа? Вуцба! Хенрик Вуцба!

Хенрик Вуцба, сапожник, тысяча девятьсот семнадцатый год.

Где же его сапожная мастерская? На следующий день, отправляясь в «Новую Аркадию», спросило у Чингиза Щекельникова. Тот не знал, но обещал порасспрашивать, зайдет туда с утра.

«Новая Аркадия», выстроенная на месте «Аркадии» девятнадцатого века, поддерживала традицию самой дорогой гостиницы в Иркутске; а в других Никола Тесла и не привык останавливаться. Личная Канцелярия Государя-Императора, или кто там оплачивал расходы Теслы, явно не устанавливала каких-то ограничений в вопросах подобного рода, а может, после случая с поездом они и не осмеливались ему отказывать. Проживал он в шестикомнатных апартаментах на самом высоком, восьмом этаже. Из окон растягивался вид на туманы, крыши и туманы. Буханья бурятских барабанов здесь почти не было слышно. Гостиничная прислуга накрыла стол на четыре прибора. Когда я-оновошло, с места перепугано схватились девушки: Кристина и Елена.

Остановилось на месте, наполовину парализовано.

Панна Мукляновичувна прелестно зарумянилась, опустил глазки и стиснув губки. Она улыбается собственной памяти, из-за собственной памяти пылает румянцем — само воспоминание несовершенно в последнюю ночь в Транссибе важнее всего совершенного.

Mademoiselle Кристина прикрыла рот манжетой блузки.

— Так я пойду за Николой.

Стояло и глядело. Елена приблизилась медленно, шагком за шагом. Взяло ее ладонь, поднесло к губам. Девушка инстинктивно стиснула пальцы в кулачок.

— Пан Бенедикт...

— Ведь вы должны были...

— Но рельсы...

— В санаторий...

— ...взорвал...

— Правильно, значит, ждете.

— Ждем.

Елена улыбалась открыто. Снова поцеловало суставы худеньких пальчиков, раз, два, три, четыре.

— Нужно было хотя бы записочку прислать.

— Зачем записочка?

— Чтобы я знал!

— И что бы вы сделали?

Уже в этом всем — свой ритм, в пустом перебрасывании словами — мелодия.

— Так вы меня и видеть теперь не желаете, правда?

— Так ведь увиделись. Но! Дайте-ка я гляну на вас. — Не освобождая руки, Елена отвернулась от окна. — И что, обязательно было так стричься? Да еще с этой бородой — выглядите, словно беглец с каторги. То ли мне кажется, то ли вы и вправду похудели?

— Болел.

— Нога?

— Нет, мороз. — Скорчило грозную мину. — Мартыновцы хотели меня тут живьем похоронить.

— Да что вы говорите! Схватив за пояс, потянула поближе к окну, за которым серость туч стекала на заснеженные крыши, а белизна крыш стекала за затененные фасады домов. — Вы уже говорили с ним? — спросила Елена, тише, ее влажное дыхание щекало щеку и шею.

— Он сейчас ходит по Дорогам Мамонтов, разговаривает на языках льда.

— Но вы его с господином Теслой...

— Давайте об этом...

— Никому, никому... Я же понимаю. Вот только...

— Что?

Елена выдыхала из себя слова в странной спешке: — Я над этим... А вы сами не думали? Ну, хотя бы на мгновение. На холодную голову. То есть... Что если не — если вы и вправду с ним поговорите, а он с лютами, и те разморозят Историю, как мы это себе...

— Панна Елена, ведь мы уже...

— Я знаю, это ваш отец, и...

— Вы хотите...

— ...стоит ли вообще его размораживать?

— Вы о политике!

— Родина, политика, История, но — чем бы вы пожертвовали? Зейцова помните? — шептала она. — Авраама и Исаака? То есть, если не отец сына, а вот сможет ли сын отца...

— Да что это на вас нашло?!

Елена вырвалась.

— Ничего, ничего.

Потом я-оно внимательно приглядывалось к ней во время ужина. Причесывалась она по-другому, стягивая волосы цвета воронова крыла в греческий узел, что придавало ей серьезности. Бархотку с рубином заменили плотные кружева черного *colarette* ^[242]. Губ она не красила. Под ее болезненно бледной, тонкой кожей, вдоль линий голубых жилок уже откладывались пока что неяркие пятнышки тьмечи, под ресницами искрились снежинками точечные светени. Вспомнилась сцена на станции Старой Зимы, тот момент, когда девушка переступила границу. Ведь кем, собственно, замерзла Елена Мукляновичуна, виртуоз лжи, которую невозможно отличить от правды? Говоря что-то по-французски доктору, она машинально передвинула солонку на край столешницы. Ответило ей агрессивной реорганизацией батареи графинчиков. Елена изумленно глянула. Все это игры Лета, подо Льдом лишенные какого-либо значения и смысла.

Понятное дело, что, замерзая, она должна была измениться — из всех возможных Елен в одну, истинную Елену.

Ба, но разве нужно ради этого ехать в самое сердце Зимы, нужно ли терпеливо напиваться тьмечью? Поездка — это магическое время, правда; но каждая поездка должна когда-нибудь да кончиться.

— Вы перестали грызть ногти, — вполголоса заметила *mademoiselle* Кристина, когда я-оноподливало ей сливки.

Как можно скорее осмотрело пальцы. Действительно, оникофагии [243] я-ононе предавалось уже несколько недель.

Поскольку обе девушки и так были посвящены в дело, свободная беседа за кофе в малом салоне естественно перешла к проекту тайного разморозения и вывоза отца из Сибири.

— ...и уже должны были оттуда выезжать. Мы вообще не задерживались бы там столько времени, но ведь такая исключительная оказия: лют раненый, лют убитый — возможно ли вообще такое? Мне хотелось, по крайней мере, увидеть, что случится со всем этим сверженным Льдом.

— И что же?

— И ничего, переморозился дальше, но когда пан Бенедикт ему ногу отрубил, с высоты свергнул, то ледовик пошел прямо по земле, через пути, и вниз, в мерзлоту. *Anyway* [244]. Утром следующего дня подхожу, и что вижу? Молчащая толпа стоит на путях и вдоль них, как перрон идет на товарную развилку, где наш состав стоял на боковой ветке; и они повсюду стоят. Человек сто, а то и больше. Что, Кристина?

— Панорама ужасная. Это вы, господин Бенедикт, должны представить во всей полноте картины: рассвет, только-только перестал падать снег, повсюду бело, развалины вокзала снегом присыпаны, на горизонте один, другой лют, а тут стоят они: крестьяне, женщины, молодые и старые, все стоят в абсолютном молчании. Тишина такая, что снег хрустит под ногами, словно орехи кто колет. И только облачки пара над людьми, пух, пух, словно тени по снегу. Ах, что за *tableau* [245].

— Нас не пропустили бы, — удивленно сообщил Тесла. — Потом местный полицейский за попом побежал, тот освятил вагоны, даже в средину вошел и там какой-то молебен провел — только тогда отступили.

— По крайней мере, в городе можно не опасаться толп суеверных мужиков.

— По сравнению с Победоносцевым и всем Сибирхожето... Уж лучше мужики. — Доктор невесело засмеялся. — Люди из охраны даже хотят установить вокруг Обсерватории темно-прожекторы, чтобы никто не мог выстрелить издалека или бомбу через окно бросить, да что там, даже подойти не мог бы без того, чтобы светени его не выдали.

— Может, уже были какие-то угрозы?

— Ха! — Серб сорвался с места и исчез за дверью кабинета; вернулся он с серым конвертом, откуда вынул небольшой листок. — Сами поглядите, это угроза или нет.

Братство Борьбы с Апокалипсисом приглашает господина Николу Теслу для сотрудничества в величайшем предприятии человечества. Подписано: Хавров Е.Г. и снизу герб или же стилизованная эмблема: цветок на человеческом черепе. *Воскреснем!*

— А адрес имеется? Кто такой этот Хавров?

— Из всех странных писем это было самым странным, — вздохнула *mademoiselle* Филипов, с некоей рассеянностью глядя над чашкой с шоколадом на белоцветный город, на хороводы затопленных в туман санных огоньков. — Кроме того, мы получили уже письма с предложением дружбы от здешних Социалистов-Революционеров и от секты, цель которой заключается в чудовищных самоистязаниях. Показать их Степану? Так нас сразу бы перевели в казацкие казармы или Бог еще знает куда.

— Мне тоже пишут всяческие оригиналы и темные типы. Хозяин нанял охрану, за мной тоже ходит один такой, «защитник». Но ведь нет никакого другого способа, как сделать свое дело побыстрее; и тогда, возможно, они хвост подожмут и сбегут. А ведь вы контракт подписали. С Императором!

— Пан Бенедикт выезжает первым же поездом на Кежму? Тогда, вместе с Еленкой.

— Нет, не думаю. — Глянуло мимолетно на панну Мукляновичувну, которая тоже засмотрелась на вечерний Иркутск. — Министерство отобрало у меня паспорт. Имперские чиновники борются здесь с Победоносцевым и Шульцем. Так что сложно сказать, как оно все раскрутится. И все равно, пока что никто вообще не знает, где можно найти *Батюшку Мароза*.

Mademoiselle Кристина отставила чашку и, перегнувшись над столиком, заботливо сжала мне руку.

— Господин Бенедикт, и что же вы станете делать? Как вы его спасете? Как разморозите и из Сибири отправите?

— Говоря по правде, все эти задержки мне только на руку. Доктор говорил про пару месяцев. Но ведь вначале все необходимо протестировать, ведь никто еще и никак машин не проверял, правда?

Тесла покачал головой.

— Затем мы сюда и приехали.

— Это означает, — панна Елена провела ногтем по нижней губе, как бы исследуя в задумчивости ее форму, — это означает, а как пан Бенедикт думает провести все это на практике? Скажем, находят они его. И отправляют вас на место. Но, понятное дело, не самого. А вы, как я понимаю, должны взять с собой соответствующую докторову машинерию, а ведь это может быть приличный груз — насколько большой?

— Насос, — буркнул доктор Тесла. — И кабеля, и двигатель для насоса, либо аккумулятор, либо...

— А рукоятка — рукояткой не получится? Как в вашем генераторе?

— Может и удастся. Это ведь тоже необходимо проверить: какое давление тьмечи необходимо, в каком темпе можно ее вытягивать из человека, какие физические зависимости связывают тьмечь с температурой, хмм. — Старый изобретатель достал из кармана авторучку и начал что-то записывать на обратной стороне приглашения от Братства Борьбы с Апокалипсисом, поудобнее устроившись на высоком тиковом стуле и вытянув длинные свои ноги. — Ведь пока мы имеем только несколько граничных *exempli* [\[246\]](#), но не знаем правил, все это только предстоит установить, затем мы сюда и приехали. Я написал первый учебник электрической инженерии, и напишу...

— Что?

— Первый учебник черной физики!

Девушки обменялись понимающими взглядами, Кристина воздела взгляд к потолку. *Я-оно* помешивало ложечкой в чашке. Тесла долгое время глядел куда-то в снежно-цветное пространство, после чего вдруг перевел взгляд на *mademoiselle* Филипов.

— Я же говорил, чтобы ты что-нибудь сделала с этими серьгами! — проворчал он.

Кристина инстинктивно прижала ладонь к уху, опуская голову, так что светлые локоны закрыли половину ее лица.

Панна Мукляновичувна втянула воздух со свистом.

— Ну хорошо, — громко продолжила она, — пускай, с небольшим, удобным насосом — но как его провезти под надзором людей Министерства? Пан Бенедикт? Как вы потом на месте откачаете тьмечь из отца? Каким образом провезете сюда? Ведь вам же не позволят! Арестуют!

— Знаю, — ответило спокойно *я-оно*. — Мне нужно все это хорошенько обдумать.

— Ведь у вас еще нет никакого плана, так?

— Пан Бенедикт вообще в будущее не верит.

— К счастью, здесь легче реализовать даже наиболее сложные стратегии, — ответило им на это.

— Но ведь вначале их необходимо выдумать! — воскликнул Тесла. — Вначале нужно наскочить на никем еще не продуманную мысль, сотворить нечто из ничего! И вы, *mon ami*, знаете, насколько это сложно. Труднее всего!

*Я-о*не отвело глаз под интенсивным взглядом серба.

— Где? — спросило.

— Здесь, — указал он на кабинет.

— Сейчас?

Тот развел руками.

— *My machines are your machines* [\[247\]](#).

Поднялось. Панна Елена театрально застонала. Откашлялось, выглядело слишком обширный жилет и пиджак. Никола Тесла пошел вперед.

В его кабинете шторы были затянуты, горели электрические лампы; хозяин зажег еще и керосиновую лампу, поставив ее на широком письменном столе из орехового дерева. В ее мягком свете высокий силуэт в черном костюме размылся по краям словно подогреваемая восковая фигура. Лишь длиннопалые ладони в белых перчатках отражались двумя яркими пятнами, притягивали к себе взгляд, словно ладони prestidigitator на сцене, под лучом театрального прожектора, *я-о*невольно водило за ними глазами — когда те схватились за ручки большого деревянного ящика, когда перенесли его на столешницу, когда отвели защелки и открыли крышку, показывая керамически-тунгетитово-стальные потроха устройства. Крышку подпирала спираль кабелей. Тесла развернул несколько аршин провода и умело подключил его в патрон настенной электрической лампы, единственной, которая не горела, с которой был снят абажур и лампочка. Вернувшись к столу, второй кабель он провел к банке с серыми кристаллами, стоящей на полке под лампой; третий кабель протянул на ладони: тот самый, законченный иглой с курком.

— Уже? Тянем? Уже?

Левую руку Тесла вставил во внутренности ящика. Что-то зажужжало.

Доктор усмехнулся с некоторой долей упрямства.

— Сам я должен здесь спускать у себя тьмечь по несколько раз на дню, в противном случае, получил бы умственный запор. Вы знаете, после того случая пришлось установить предохранители, чтобы...

Я-о схватило зимназо.

...голос панны Елены.

— Господи, ну словно два алкоголика!

Оперлось о край письменного стола; огни в кабинете пульсировали над головой в ошеломляющем ритме.

Дыша через рот, присматривалось к панне Мукляновичевне.

— И что? — разозлилась та. — Что вам опять в голову стукнуло? — Встав на пороге, она подбоченилась.

После первого же шага споткнулось на ковре, но устояло, полуприсев. Еще раз пошатнувшись, схватило девушку за плечо и потянуло к письменному столу. Она была слишком изумлена, чтобы сопротивляться. Доктор Тесла поднял мохнатые брови. Взяв кабель за изоляцию, подало панне Елене блестящую иглу. Все еще изумленная — и в этом немом поражении похожая на очарованного, охваченного удивлением ребенка — она взяла ее двумя руками.

Потом уже стояла неподвижно, медленно дыша; двигались только ее глазные яблоки,

выслеживая невидимые нам виды. Кристаллы в банке темнели в темпе, незаметном для человека — видимо, нет иной меры высасывания тьмечи, кроме феноменов тьвета и субъективных впечатлений. Но, раз все здесь, так или иначе, отличаются от теслектрической нормы в другую сторону, то как узнать, какая мерцающая светень на костюме девушки рождена из разницы потенциалов на плюсе, а какая — на минусе? Если бы сунуть в рот человеку, из которого откачивают тьмечь, термометр — или измерять локальную проводимость кожи...

Возможности снова протекали через мысли бурными ручьями, я-ононе успевало запоминать странных представлений.

Потрясло головой.

— И вы думаете, это разумно? — буркнул Тесла, подкручивая какой-то винтик в ящичном насосе.

— Нет. Да. Черт его знает. — Прикусило губу. — Нужно бросить монету.

Вошла *mademoiselle* Кристина и пронзительно вскрикнула. Панна Елена вздрогнула и выпустила кабель. Доктор Тесла выключил машину.

Подскочило к терявшей равновесие девушке. Но, вместо того, чтобы опереться на предлагающую помощь руку, она увернулась и сбежала к окну, цепляясь за тяжелую ткань штор.

— Сволочь! — крикнула она и метнула схваченной с этажерки фигуркой.

Отклонилось. Фарфор взорвался на стене.

Оскалило зубы и начало подкрадываться к девушке на полусогнутых ногах, выворачивая руки в локтях в карикатурной пантомиме.

Та бросила очередным предметом. Не попала. Захихикала.

Подпрыгнуло на правой ноге, подпрыгнуло на левой и тут же метнулось к панне Елене.

Та пискнула и спряталась за письменным столом.

— Дети, дети! — восклицал Никола Тесла, размахивая длинными своими руками над незакрытым ящиком. — Что вы творите!

— Как схвачу, так съемммм!

— И схватит, и сожрет! — Елена заломила ручки.

— Как схвачу, все грешки посчитаю!

— Грешки посчитаю! — Наморщила брови. — Это что такое?

Обежало стол с другой стороны. Елена отскочила за доктора — но запуталась в бухте кабеля и упала. Еще пыталась подняться, но поняла, что не успеет, и вместо этого, с индейским кличем схватила за ноги, когда подбежало к ней — и так свалилось на ковер рядом с ней, чуть не сбив при этом банку с напитанными теслектричеством кристаллами.

Панна Елена откатилась в сторону. Схватило ее без труда, узкая юбка сковывала ее движения.

— Ну что, теперь не убежишь.

— Ай!

— Нехорошо, плохо.

— Что плохо? Так подкрасться ко мне! — В подтверждениедохнула тенисто.

— Чуть ли не месяц в городе сидит и знака не подает! Очень плохо!

— Но, может, я и вправду не желала кавалера видеть?

— Ха! Потому что вас полиция разыскивает, Елену Мукляновичувну нашли, и теперь охотятся за мошенницей; вы скрываетесь и ни в какой санаторий Льда не едете!

— Так точно! — выдула она губки. — Шатаюсь по снегу, в метели, и вхожу через задние окна! И кто меня видел, но не выдал, тому пять лет Сибири!

Прижало свой лоб к ее лбу. Жасмин залил ноздри.

— И чем же вы занимаетесь? — спросило тихонько.

Вздохнула.

— Рисую. Даже начала писать маслом. Пейзажи льда — белизна, побольше белого. Портреты тоже пытаюсь. Посещаем польские салоны, к Собещаньскому, на прогулки в Интендантский Сад.

— Любовники с зимназовыми состояниями вам под ножки бросаются.

— Ревнуете! — обрадовалась Елена. — Ой-ой-ой, бедный пан Бенедикт, теперь он станет следить за мной в тумане днем...

— Гррр!

— Но если бы вы знали! К примеру, пан Порфирий!

— Что?

— Каждый день приходит, — шептала, — живые цветы приносит, подарки, мне и тете, на обеды приглашает, на танцы, на каток, в оперу.

Лжет или говорит правду?

Утвердительно сказать было невозможно.

Радостно засмеялось и чмокнуло ее в носик.

— По-видимому, следует приказать слугам выкинуть их отсюда. — Кожаная туфелька *mademoiselle* Кристины остановилась у самой головы панны Елены. — На морозе они быстро протрезвеют. Эта твоя машина склоняет людей к непристойностям.

— Пройдет, — рассеянно ответил доктор Тесла и закурил папиросу, после чего заговорил сам с собой на неизвестном языке.

Но и вправду — встав на тротуаре перед гостиницей, натягивая перчатки и махая тростью санному кучеру, уже после трех глотков морозного воздуха (минус тридцать восемь по термометру на «Новой Аркадии»), успокоило пульс тела и пульс мыслей. Тааак. Панна Елена. Никола Тесла. Отец. Губернатор Шульц. Его Величество Николай II. Юзеф Пилсудский. Порфирий Поченгло.

— Абластник. Гарриман. Кха-кхрр.

Мерящий швейцара своим неприятным взглядом Чингиз, повернул голову на звук слов, присмотрелся получше и, видно, заметил разницу в лютовчиковском потьвете, потому что смачно сплюнул и выпустил из ноздрей черный пар.

— Все прекрасно, господин Щекельников, — сказала я-онои кашлянуло. — Власти преследуют, женщины врут, а враги угрожают. Живем!

Подъехали сани. Вечерний ветер от Ангары приносил на улицы спирально закрученные снежистые туманы, те пронизывали мглу словно сибирские джинны, разошедшиеся в танце морозные ифриты.

Чингиз Щекельников натянул казацкую папаху поглубже на глаза.

— Не нравится мне все это.

О странном восхвалении Атра Аврора [\[248\]](#)

Привезли прессу из Королевства и Галиции. Перед завтраком я-онопрочитало во «Времени» экзальтированную политическую полемику относительно новых автономных прав, признанных императором Францем-Фердинандом, а так же обширную статью про Иконоборческие Мессы, выставляемые господином Станиславом Пшибышевским [\[249\]](#) на Краковских Блонях [\[250\]](#), как эти спектакли приводят в возмущение публику и доводят дам до

истерии и потери сознания. А помимо того — вещи, обладающие для политиков большим весом. Сейм, Львов. Дел. Сцелибогуский внес заявление, требуя проведения более тщательного контроля над железнодорожными книжными магазинами и магазинами по причине невыносимого распространения порнографии.

В свою очередь, в «Варшавском Курьере», наполовину с издевкой, наполовину в тоне сенсации писали о некоем Августе Фондзле, родом из под Житомира, являющемся Человеком-Магнитом, который невидимой силой притягивает к себя всяческое железо. Молотки и наковальни приклеиваются к его торсу. Здесь же был даже помещен нечеткий рисунок, над пупком мужчины висел, кажется, серп, связка ключей и утюг. Возможно, это и чушь, подумало я-оно, чушь и базарные сплетни, но, возможно, и нет, может быть, есть такие люди, в которых магнитная энергия накопилась вне всякой меры, а сами они на это никакого влияния не имеют, не это их заслуга или их родителей. То есть, вполне возможно, что подобные различия между людьми имеются и в других физических сферах, в том числе — и в черной физике, то есть, в теслектрических масштабах. Одни появляются на свет неестественно устойчивыми к тьмечи, выталкивающими ее из организма; другие же неестественно легко ею напитываются. Температура их тел всегда на долю градуса ниже (или выше). Они легче замерзают (или, как раз, замерзают труднее). Не понимая того, в чем на самом деле состоит их отличие, мы, тем не менее, их распознаем, во всяком случае — некоторые, каким-то шестым чувством или инстинктом, выработанным из жизненного опыта, хотя бы из судебной практики, как прокурор Петр Леонтинович Разбесов.

— Тут приходил к вам посыльный с письмом. Вы сани просили? — напомнил пан Войслав, прочитав молитву перед завтраком.

— Да, быть может, что-нибудь узнаю про отца.

— Будьте поосторожнее, — посоветовала пани Марта. — Черные Зори ^[251]начались.

— Это опасно?

Пан Войслав вычертил ложкой синусоиду в воздухе.

— Люди по разному реагируют.

— Леши-шеши-хоши, — «разговорился» Мацусь.

— Когда я ем, я глух и нем.

— Ноцю свециця!

После того подошло к окну и поглядело на город и Ангару. День был исключительно мрачным, аура темная, тучи должны были затягивать все небо. (Прогноз иркутской метеорологической станции в «Новостях»: Преимущественно облачно, время от времени — осадки, ветер умеренный, состояние стабильное). Но поглядело внимательнее — это были не тучи, а Солнце сильно светило над крышами и туманом. От северного горизонта на небосклоне нарастали волны тьвета, укладываемого неспешными и ритмичными складками и разводами в вертикальные полосы. Стиснуло пальцы на запястье. Раз, два, три, четыре... нужно было выждать больше сотни ударов сердца, столь ленивыми приливами и отливами Черные Зори накладывались сами на себя в однонаправленных амплитудах, а в противоположных фазах само себя гасило. В моменты подъема волны полосы тьвета становились настолько выразительными, что буквально казалось, будто кто-то вывесил над землею параллельно графитовые блоки, угольные горы подставил вместо облаков, и каждая из этих гор была обтесана с геометрической точностью. Подумало, что, в большей степени, это иллюзия мираже-стекла. Однако, после выхода на улицу, с очками еще в руках, когда подняло голову к Сиянию — их тьвет ударил в глаза со страшной силой, так что почти потеряло равновесие, щупая по сторонам в поисках опоры; под веками разлилась черная смола.

Только Щекельников помог усесться в санях.

— Для того-то очки и нужно носить! Разве никакой умник вам того не говорил? Дурак с дураком — кумом и свояком!

Когда уже выехали на перекресток, и когда уже вернулось зрение, глянуло в направлении, указанном линиями теней, на северо-запад, и над радужно-цветным туманом — увидало там второе Солнце, лучисто раскаленное над Городом Льда. Когда сани добрались на улицу Амурскую, можно было глядеть чуть ли не прямо на этот жаркий огонь, стекающий с высоты в фейерверках и каскадах. Вспомнился огонь, что вырвался из живота сквозь розовую ладонь во время сеанса княгини Блуцкой в Экспрессе. Еще три перекрестка — и увидало, как небесный костер разделяется на две части. Это были византийские купола-близнецы Собора Христа Спасителя.

— Кто-то за нами следит, — буркнул под нос Чингиз Щекельников.

— Что?

Тот поглядывал через плечо в туман, залепливающий перспективу улицы, в которой мерцали десятки тусклых и нечетких в свете дня санных ламп, проплывающих среди высоких ореолов мираже-стекольных фонарей, которые вообще никогда не гасили.

— Едут за нами с Цветистой, — Щекельников указал двухпалой рукавицей какую-то точку в молочной взвеси.

— Выходит, вы различаете эти огни? Помните, где какие?

— А что?

Пожало бы плечами, если бы не тяжелая шуба, слишком обширная (отданная мне в пользование Белицким в очередном приступе бескомпромиссного гостеприимства).

— Ничего. Вот только, что нам при этом делать? Притаиться где-нибудь в закоулке?

Щекельников неспешно пожал своими квадратными плечищами.

— Я думал, что *гаспадинне* хотел бы вести их туда, куда *гаспадинедет*.

— Да Боже ж ты мой, мы к сапожнику едем!

— Целый день молотком бухает, а в пасти гвозди; сапожники — подлые сукиных детей кости.

Какая тут выгода в знаниях: подозрения человека, который в душе своей подозревает все и всех?

Сапожная мастерская под вывеской «Колодки Вуцбы» размещалась в подворотне пролетарского доходного дома на одной из темных улочек квартала Пепелище, неподалеку от линии узкоколейки, соединяющей Иркутск с Холодным Николаевском. Линию эту называли еще Мармеладницей по причине нечеловеческой давки, царящей в ее пассажирских вагонах, перевозивших рабочих в *холадницы*, на заводы и фабрики промышленного городка и назад. Пепелище находилось на пересечении каких-то наиболее проторенных Дорог Мамонтов (отовсюду доносился грохот барабанов глашатаев), и вообще, это была округа, отличавшаяся в положительную сторону только одним: низкими ценами на недвижимость и на оплату жилья. То, что Вуцба вынужден был работать в помещении, расположенном ниже уровня земли, представляло собой доказательство в буквальном смысле самоубийственной нищеты.

Щекельников вошел первым, стряхнув у порога снег с сапог. Ступеньки были покрыты льдом; *я-оно* подпиралось тростью и держалось за выступающие из стены кирпичины.

В обширном помещении (похоже, оно занимало всю площадь подвального помещения) помимо двух печей горели еще четыре угольные корзины; воздух был темный, першащий от дыма. Но даже дым не мог забить характерной вони кожи и сапожного клея. Кашлянуло раз, другой. Чингиз указал на две фигуры в фартуках слева, где керосиновые лампы освещали

рабочее место сапожников. Дорогу клиентам с обеих сторон перекрывали кучи обуви: старой, никуда не годной, разобранной на первоначальные составляющие, кожи и еще не обработанного войлока, а так же незавершенных дамских сапожек, сапожищ, иногда совершенно гигантского размера, туфель, офицерских элегантных сапог и валенок.

Седой сапожник поднялся от колодки, вытер руки тряпкой, подвернул фитиль в лампе и слепо поклонился.

— К услугам вашего благородия!

— Хенрик Вуцба?

— Не понял.

— Это вы Хенрик Вуцба? — спросило *я-онопо-польски*, расстегивая шубу. — Я разыскиваю хозяина, Хенрика Вуцбу.

— А, так господа — земляки!

— Землячки-полячки, сошьем туфли от души! — проскандировал, молотя от души по колодке второй сапожник, помоложе: он обладал цыганской красотой, хотя под обильными усами без особого успеха прятал заячью губу. Светени пухли у него на рукавах и под сдвинутой набекрень фуражкой.

Седой пихнул в его сторону табурет и с широкой улыбкой обернулся к нам.

— Мерочку с ножки снять?

— Хенрик Вуцба.

— Так вы по личному делу? Мастер Вуцба, земля ему пухом — уже три-четыре года как преставился.

Бросило Щекельникову взгляд: настолько по-польски он понять мог. Тот лишь пожал плечами.

— Вывеска осталась, — сказала *я-оно*.

— Это да. Люди ведь привыкают. Ежели чего в голову западет, выковыривать сложно будет.

— Но вы Вуцбу знали? Как мастерскую после него унаследовали?

— От вдовы мастера Хенрика. Сам я ему частенько помогал, когда работы много было, так что...

— Так, может, помните человека, который квартировал здесь в тысяча девятьсот семнадцатом — восемнадцатом. Филипп Герославский. У вас же есть тут угол наверху?

— А-а! Раз или два его видал.

— Вуцба вам чего-нибудь рассказывал о нем?

— Дворянин, только что после каторги, так? — Сапожник потер лоб. — Так это его господа разыскивают, так? Нет, не знаю ничего, куда он подевался.

— Эт-точно! — воскликнул младший сапожник. — Что там нам до господских делишек! Садись, мастер. Нам обувь делать! — Он яростно застучал молотком. — Са-по-ги, са-по-ги, са-по-ги!

— Хлебало закрой, когда я с клиентом гутарю!

— Так слышу же, что не *сапог* тебе пришли заказывать! Для господ только господа важны, господа по народу топчутся. Потому-то и сапоги твердые, тяжелые для того иметь должны — так мы уж клиентам уважаемым броневые подошвы пришпандорим, чтобы было удобнее и сильнее нас топтать. Садись, мастер, за работу. Нам сапоги шить!

— Лучше трахни себя молотком по башке, какую революцию в мозгах делать можешь, вот такую и твори — твоя башка, и кровь твоя. Боже ж ты мой, как подумаю, это ж если такие недозрелые возьмутся молотками забивать других — так сразу выстучат и народ новый, и господ новых: квадратных, треугольных, полукруглых, в зубчик, в рубчик, в крестик

— все люди по одной колодке, вот и будете иметь одноколодочный рай!

— А чтоб вы видели! Рай! Рай, где один сапожник другому не должен сапоги чистить, и первый встречный в сторублевой шубе не будет мастера ставить по стойке смирно, чтобы потом, по милосердию своему, лысородному, гривенник кинуть! Вот вам и правота одноколодочная! А ежели нет, то всегда, мастер-ломастер, найдешь кого другого, по другой колодке выбитого, чтобы в пояс им кланяться да пол перед ними вылизывать!

Мастер за голову схватился.

— Ага, вот оно что тебе в заднице свербит! Вот что душонку, гнилыми кишками фаршированную, грызет, что есть на земле люди повыше, и что на них снизу вверх глядеть следует. В этом для тебя революции гвоздь: забить их в землю, чтобы больше и не высывались! Из этого вся революция ваша — из стыда! А еще — из амбиций перекиших, в ад для душ превратившихся! Вместо того, чтобы самому в господу идти и над грязью подняться, всех их под ноготь, и в грязь свою забить!

— Ужас, ужас, ужас! — воскликнул молодой и швырнул полуботинок под закопченный потолок. — В господу идти! А какая ж в том разница, кто над кем с кнутом, из рублей скрученным, стоит, пока есть стоящие на ногах и стоящие на коленях?! Ба, и можно ли вообще мечтания с амбициями реализовать...! Для того-то леворюция нужна, ведь, даже если миллион сапог стачал бы, все равно ж в салоны по причине этой не пустят. Праворюция правит! Сапожником родился, сапожником и подохну! Замерзло!

— Прошу прощения, — вмешалось я-оно, — можете мне, добрый человек, сказать хотя бы, где мне вдову найти?

— На станции Ольхон, на еврейском постоялом дворе варит, — бросил мастер, после чего тут же повернулся к подмастерью. — Мильён сапог! А ты бы хотел в такие салоны попасть, куда за тачание сапог пускают? Так давай! — Он пнул кучу обносок. — Вот прямо сейчас сапожный салон и устроим! Девоч сапожных приведем, водочкой сапожной зальем, и весь рай одноколодочный и устроим! И будет один другому, князь, хрясь и грязь!

Поспешно вышло на улицу, скользя на ступеньках; отзвуки сапожного спора за пределы мастерской не выходили. Заполнило легкие чистым, морозным воздухом. Все еще слегка обескураженно, обменялось взглядами с Чингизом.

— Что это с ними?

Тот пожал плечами.

— Это все Черные Зори.

Поехало к Тесле, в Физическую Обсерваторию Императорской Академии Наук.

Тяжелое облако тьвета покрывало половину квартала — залитые тьветом дома, лед и снег, залитые тьветом улица и немногочисленные прохожие на ней, в мираже-стекольных очках, с ангельскими светениями за спиной; попрятавшиеся в одной и другой подворотне жандармы тоже в тьвете. Подъехало под главный вход, возбуждая длинный блеск от саней. Это уже не тьвечки, не черные факелы — но настоящие прожекторы тьвета должны были установить вокруг Обсерватории.

Видимо, охранник получил уже инструкции, потому что пропустил *гаспадина* Герославского, не сказав ни словечка. Чингиз Щекельников остался в монументальном вестибюле, под глобусом и летними фресками; свернув себе цыгарку, он искоса поглядывал то на охранников, то на солнечные пейзажи, нарисованные на светлой штукатурке.

Доктор Тесла занял под себя часть складов Обсерватории (которые сейчас переделывались в лаборатории) и подвалы северного крыла здания.

— Вся штука в том, что, собственно, подвалов у них здесь и нет, — говорил он, живо

маршируя по боковому коридору в застегнутом под шею рабочем пальто; стук тяжелой трости-термометра, бьющей по полу каждые два шага серба, отражался под высоким потолком. — Всю эту Обсерваторию построили или отстроили всего несколько лет назад; все ставили на мерзлоте, на зимназовом скелете, не углубляясь в фундаменты. А там остались каменные подвалы от предыдущей, сгоревшей до основания застройки.

Он пихнул двери. На табурете в углу прихожей подремывал усатый казак при сабле и нагане. Тесла дружески кивнул ему и открыл вторую дверь. Каменные ступени вели в чернильную темень.

— *Bloody hell* ^[252], снова электричество сдохло. Здесь невозможно на него полагаться, в этом вся и работа.

— Вы думаете, это по причине Зорь?

— Раньше тоже все вечно отказывало. Следите за головой, здесь все строили для лилипутов.

Взяв огонь для своей керосиновой лампы у казака, он сделал шаг вниз.

— Все у них здесь отказывает с самого начала, то есть, еще с девятьсот десятого года. Сразу же после приезда я заглянул на здешнюю электростанцию. Радиус практической передачи переменного тока у них здесь иногда не больше, чем для постоянного тока. Черное Сияние — Черное Отчаяние, друг мой. Даже если бы не было ничего другого, это одно уже является достаточной причиной для расправы со Льдом.

Я-оно считало ступени. Лестница сворачивалась спиралью. Сорок семь, сорок восемь, спустилось на неровный пол каземата — почему-то эти подземелья не позволяли называть их иначе. Стены из неоштукатуренных кирпичей, низкие своды, подпираемые уже крошащимися арками столбов; между столбами — коптящие угольные корзины. На крюках, вбитых в кирпичи, висят керосиновые лампы, их мягкий, коричный свет заставляет считать, будто бы внутренности еще более древние и разрушенные. Не хватает только крыс и цепей с кандалами. Ага, и человеческих костей.

Зато, откуда-то из глубин мрачных казематов доходит мерное эхо сильных ударов.

— Кхм, зато хоть площадь приличная, — сказала *я-оно*.

Второго конца подвалов так и не было видно. Тесла поставил лампу на ящике возле лестницы и пошел вдоль пучка кабелей, спадавшего из-под потолка лестничной клетки на пол, покрытый битым кирпичом, песком и опилками.

— Эти тоже ни для чего не пригодны?

— Мы подключились к генератору Обсерватории. Откуда-то ведь я должен брать ток для своих насосов. В противном случае, придется переключиться на паровые машины. Или...

В керосиновой полутьме проявились фигуры мускулистых рабочих: одна, другая, третья; там их было пятеро, склонившихся над вбитой в землю деревянной конструкцией; чуть дальше маячили цилиндры двух насосов и других зимназовых машин доктора Теслы; кабеля расходились во все стороны, разделяясь пучками на сбитом из нетесаных досок скелете; у самого же пола и вокруг опорных столбов в железных обоях висели лампы с вогнутыми стальными отражателями. За временным столом в глубине, на прикрытой сложенными одеялами бочке в расстегнутом полушубке, закутанная в шерстяную шаль, сидела *mademoiselle* Филипов и перелистывала какую-то математическую книгу, в которую ей через плечо заглядывал седой старичок в толстых очках, грызущий остатками зубов синий карандаш.

Я-оно подошло поближе. Деревянная конструкция окружала колодец, выкопанный прямо в полу подвала; за тесло-насосами, в темноте, высились кучи извлеченной породы. Глянуло в глубину провала. На глубине в пять-шесть аршин работала пара раздевшихся до рубаш

мужиков, долбящих мерзлоту зимназовым наконечником, приделанным к массивной бабе, которую поднимали и опускали четверо сибирских геркулесов. Неровные стенки колодца, выбиваемой, боле-менее, в форме круга, в свете керосиновых ламп поблескивали молочной белизной.

Никола Тесла подошел к Кристине, проверил что-то в бумагах. Коричного цвета светени двигались в складках его пальто исключительно энергично. По-видимому, здесь, в Обсерватории, он откачивает тьмечь сколько пожелает.

Поцеловало измазанную чернилами ручку Кристины. Та представила седенького старичка: — Профессор Климент Руфинович Юркат. — Пожало его тоненькую ручонку. Профессор робко улыбнулся. Это был старый лютовчик; тьмечь подкрашивала его кожу жидкими синяками.

— Мне казалось, что вы сразу же возьметесь за эксперименты над лютами, — сказало я-оно Тесле по-немецки. — И на людях.

Серб вонзил термометрический посох в землю, стянул белые перчатки и начал натирать кожу рук какой-то жирной мазью из алюминиевой баночки.

— Это тоже. Терпение, молодой человек. В складах наверху мы только-только начали устраиваться. Губернатор должен прислать мне сюда осужденных зимовников. Правда, видение такого рода экспериментов особого энтузиаста во мне не пробуждает. Охотнее всего...

— На себе, так. Сегодня написали, что Зимняя железная дорога должна быть запущена через шесть недель.

— Тотальные решения всегда будут лучше частичных решений; общие законы — всегда лучше законов исключительных. Если вы узнаете фундаментальные уравнения, из них всегда можно вывести частные описания. — Натянув перчатки, он приблизился к колодцу. Как раз извлекли ведро свежей породы. Доктор Тесла покопался в нем своей тростью и только потом разрешил выбросить ее в отвал. — Мне дали на выбор несколько мест, несколько домов. Как вы считаете, почему я остановился на этом?

Временами мне казалось, будто тьмечь перетекает здесь между людьми в самих словах, настолько очевиден ответ, когда вопрос уже задан.

— Здесь проходит Дорога Мамонтов.

— Прямо под нами. — Тесла стукнул тростью с термометром по полу. — Проток третьей степени по оценке геокриологов Победоносцева. Через каждый фут мы проверяем температуру, геологический состав, цвет льда и напряжение теслектрического тока. Докопаемся. И тогда...

— Вы подключите насосы тьмечи непосредственно к Дорогам Мамонтов.

На это Тесла сделал жест, не означающий ни «да», ни «нет».

— Здесь открывается больше возможностей. Но пока что мне бы не хотелось преувеличивать...

Землекопы сменились, новая пара спустилась вниз вместо уставших рабочих. Те, выбравшись на поверхность, схватились за бутылки, сделали по хорошему глотку. Пропотевшие сорочки парили.

— Они там не мерзнут?

— Это феномен сибирского льда. Вот спросите у профессора, это его парадия. Климент Руфинович! Как температура?

— Четыре и семь десятых, держится. — Старичок сунул блокнот под мышку, протер рукавом очки и указал огрызком карандаша на лестницу под стеной. — Сейчас спущусь для замера, посмотрим, изменилось ли что-нибудь. А что сказал Павел Павлович? — спросил он у

Теслы.

— Полный отказ, он боится, что все завалится ему на голову.

Я-оновопросительно глянуло.

— Мы думали ускорить работы, используя небольшие заряды взрывчатки на скальных породах, — вздохнул серб. — Господин профессор говорит, что применял подобный метод в Якутске.

— Правда, не под возведенным домом, — признал профессор Юркат.

— А не было бы разумнее растопить грунт? — спросило я-оно.

Климент Руфинович усмехнулся под носом.

— Вот это и есть самый надежный способ завалить на себя все здание. Гораздо легче направить силу взрыва, чем огонь. Правда, все это неважно. Видите этот лед?

— Какой?

Старичок встал у системы блоков и указал на противоположную стенку колодца, аршинах в четырех от поверхности.

— Видите, как в этом разрезе через почву проходят жилы, столбы и целые стенки льда? Как меняется его цвет? Здесь, под песком и гравием мы имеем эти срезы илистых сланцев, а вон там — снова молочно-белая жила, что так светится — вот это и есть хрустальный, цветистый лед.

Он живенько прошел к насыпи и вернулся с приличных размеров куском глино-льда. Показал: на прямом боку, словно отрезанном от геометрически правильной фигуры, в мозаику складывались хрустальные звездочки, искрящиеся бутоны льда.

— Имеется лед и лед. Вы думаете, что здесь имеется в виду замерзшая вода? Так я мог бы показать вам такие места, где вода бьет гейзерами из обледеневшей земли при минус шестидесяти градусах. И опять же, когда пробиваешь фундаменты в вечной мерзлоте, то всегда ждешь, чтобы утечка замерзла, и только потом бьешь лед. В земле образуются новые течения, новые ледовые барьеры, сдерживающие сток воды; Лед сам себе формирует барьеры. Точно так же и здесь: при четырех градусах достаточно любой мелочи, чтобы открыть воде новый выход, и тогда мы имели бы настоящий колодец — залитый водой вплоть до точки замерзания. И нужно было бы пробивать заново.

— При минус четырех градусах?

— Ха! — завелся Климент Руфинович. — В тридцатых годах прошлого века Российско-Американская Компания заказала в Якутске исследования глубины залегания мерзлоты. Купец Шергин начал бить ствол во дворе собственного дома; он шел, как и мы, проверяя слои и измеряя температуру. После десяти с лишком аршин Компания перестала давать ему деньги, потому что никаких изменений не наблюдалось: все минус четыре и минус четыре. Только Шергин уперся рогом, платил из собственного кармана; чем глубже, тем дороже. Сорок, пятьдесят аршин. Шестьдесят. Семьдесят И все время — минус четыре. Бедняга обанкротился, но так ни до чего и не докопался.

— И на сколько же он опустился?

— Сто шестьдесят три аршина. И все так же было четыре градуса ниже нуля. Впрочем, если кто заедет в Якутск, может сам тот колодец осмотреть. — Профессор поднял кусок льда к свету. — Видите, это истинный философский камень, затвердевшая тайна. Во всяком месте, на каждой глубине, независимо от температуры на поверхности — четыре градуса ниже нуля. Работники в шахтах Сибирхожето по-настоящему живут в штольнях, ведь даже при самых страшных морозах у них температура не меняется: минус четыре.

— Хмм, а на Дорогах Мамонтов?

— Вот! Это и вправду вызов! Увидеть люта под землей, это значит измерить его в

разрезах, идущего по Дороге, прежде чем он выморозится на поверхности черным льдом — измерить его до того, в среде гранитов, песчаников и кварцев, распятого градиентами температур не в воздухе, но в илистых отложениях, в глинах, в известняках!

...Все записано в мерзлоте. Но что мы о ней знаем, кроме того, что она была здесь в течение миллионов лет? Возможно, люты когда-то уже посещали Землю, и мерзлота — это как раз остаток после них — подземное, миллионлетнее соплицово? Быть может, она сама по себе является безразличным физическим феноменом, мертвой средой, которая, лишь ударенная соответствующим материалом, с соответствующей силой — как в тысяча девятьсот восьмом — резонирует и разрушается, и в нем поднимаются волны, словно волны на море — и так «рождаются» люты...?

Mademoiselle Филипов свернула бумаги и, шепнув что-то на ухо сгорбившемуся Тесле, поспешила к выходу с рулонами под мышкой.

Профессор позвал рабочих. Те прервали работу, вскарабкались по лестнице. Он же, посапывая, спустился в глубину ямы.

— Оригинал, — буркнуло *я-оно*. — И долго он так «охотится» на лютов?

— С самого начала, — ответил Тесла. — Но что это вы такой мрачный? Снова, видно, придется выкачать из вас тьмечь до дна, чтобы хоть какая-то была улыбка. — Он схватил за плечо, потащил двумя столбами дальше. — Господин Бенедикт, я ведь не забыл про вашего отца. Вы поставили все на один метод, и, возможно, так оно и случится, что отправим вас в Сибирь с каким-нибудь насосом тьмечи для полевого употребления, надеюсь, что вам его удастся протащить контрабандой под надзором Министерства Зимы и каким-то образом, украдкой применить на отце. Но, признайтесь сами, успеха таким путем вряд ли добьетесь. Но не беспокойтесь, я буду идти и в этом направлении; загляните через пару дней, как только мы начнем работу в лабораториях наверху. Тем временем, позвольте, я поищу другие решения. Можете мне довериться. Вот это, — указал он тростью на колодец, — я хотел вам показать, поскольку, если все полностью удастся... быть может, тогда никакая артиллерия, никакое оружие на лютов и не понадобится, и не нужно будет отдельно размораживать Отца Мороза. Дайте мне только время на проверку кое-каких гипотез. Завтра я еду на Байкал; там, насколько я слышал, какие-то биологи проводят керновое бурение на несколько десятков аршин, якобы, во льду озера видны корни Ольхонского соплицова. Профессор Юркат говорит, что в томском Технологическом Институте немцы измеряют мощность и разложение мерзлоты по изменениям электрического сопротивления в вертикальных зондах; я тут смонтировал для себя теслектрометр на солевой батарее и...

— Соплицово на острове Ольхон?

— Да. Вы...

— Ну, это...

— Ах! С удовольствием!

— Завтра...

— Сразу же с утра.

Профессор Юркат выбрался из колодца. — Уфф! — Вынул блокнот, смочил слюной карандаш. — Четыре и семь, и все тут.

Но, когда возвращалось к лестнице, доктор Тесла каждые пару шагов приостанавливался, вонзая из высокого замаха над головой в твердую подложку термометрическую трость и считывая через какое-то время показания на горизонтальном циферблате.

— Мне все здесь твердят, чтобы быть осторожным, — ответил он на вопрос. — Если у нас здесь какой-нибудь морозник вылезет перед лестницей...

— Смертельная ловушка.

— *C'est la vie sur les Routes des Mammouths* [\[253\]](#).

После этого я-онопоехало на обед в ресторан Варшавского Отеля, где договорилось с господином Поченгло; на вчерашнюю записочку с приглашением тот ответил сегодня весьма кратко, сообщив место и время. Только оказалось, все было напрасным.

Понятное дело, ресторан располагался не на первом этаже. Сквозь двойные мираже-стекольные окна с высокого этажа видело покрытый туманом бульвар и вздымающиеся из мглы колоннады городской бани. Между давно остывшими трубами следующего дома висел лют. Тихо падал снег, и вся картина города из меняющихся красок, еще более размягченная светом свечек на столиках, напоминала движущуюся иллюстрацию к сказкам Андерсена. Я-оноуселось за заказанным столом, приготовленным для двоих. Пожилой официант во фраке, грек с серенькой бородой, поспешил с картой вин; тут же вручил на подносе конверт. Вынуло уже известную визитную карточку Порфирия Поченгло. *Прошу прощения, срочные обстоятельства, перенесем все дело на завтра*, написал он на обороте. Но, ведь завтра мы отправляемся на Байкал! Со злости заказало три обильных блюда и бутылку калифорнийского Zinfandel, Sonoma 1919, прямиком из Сан-Франциско через Владивосток. Ломая хлеб, подумало об отце, который в тысяча девятьсот девятнадцатом уже хаживал по Дорогам Мамонтов. Ладно, получает он амнистию — нет, угроза выдворения делает невозможной его возвращение в Европу — но почему он отправляется назад, на север, к лютам? Неужели он и вправду поверил мистическим бредням Мартына? Судя по сообщениям Вульки-Вулькевича, тогда отец попал в компанию политиков; впрочем, а разве каторга излечила его от политики?

Едва я-оносправилось с неаполитанским супом, в ресторации потемнело, словно в декабрьский закат. По залу пошел шумок, то один, то другой клиент требовал зажечь тьвечки. Поглядело на город. Черные Зори темнели на небе с востока на запад — уже не мерцающие точки тьвета, полосы мрачных цветов, но пятна монолитного мрака, словно дыры в небосклоне, из которых льется жидкий уголь. Тунгетитовая бижутерия светилась все более интенсивно. На открытых зимназовых элементах зданий, транспортных средств, фонарей, на зимназово-тунгетитовых рекламах торговых домов, банков, страховых обществ расщеплялись длинные косы радуг, врезаясь во мрак и окрашивая его павлиньими, коралловыми оттенками. Даже потьветы лютовчиков, что обедали в Варшавском Отеле, набухли нездоровой величиной. Официанты прошлись вдоль окон, устанавливая на подоконниках ряды тьвечек. Затянув затем тяжелые шторы, они эти тьвечки зажгли. Светени от прикрытого тьвета осветили зал. Я-ононе очень-то понимало принципы черной физики. Разве не достаточно было заслонить сам тьвет Сияния? Чем один тьвет отличается от другого? Неужели и вправду, волны тьвета, совсем иначе чем световые волны, не прибавляются или гасят друг друга, но — взаимно выталкиваются? Но ведь это же вовсе и не волны, не здесь, не в Краю Льда. Вернулся первейший вопрос черной физики: может ли пустота — отсутствие света — то есть то, что не существует, воздействовать на то, что существует? Может ли небытие изгонять бытие? Красное вино, прожженное яркой светенью, окрашивало скатерть и тарелки малиновой акварелью. Подняло бокал к глазам. От столика, расположенного тремя окнами далее, шел седоватый джентльмен в немодном двубортном сюртуке XIX века, с мираже-стекольным моноклем в глазу, нервно мнуций в руке белый платок. Ого! Неужели господина Щекельникова нужно было забирать еще и в ресторан? Незаметно ухватило нож, которым резало ростбиф.

— Господин Герославский?

— Мы знакомы?

— Нет. Но... разрешите?

— Я кое-кого жду.

— Прошу прощения. — Пепельный потывет покачивался вокруг него словно дым вокруг пламени. Пришелец поглядывал через монокль бело-цветным глазом с дикой заядлостью. — Подобие не обманывает, так — вы тот самый его сын.

— Вы знали Филиппа Герославского?

— Позвольте — Изидор Хрущиньский.

Приподнялось, пожало его руку.

— Бенедикт Герославский.

— Остаюсь должником вашего отца. Как только у вас будет время, — он вынул визитную карточку, — всегда пожалуйста. Сам я сейчас с клиентом. — Он глянул через плечо.

Хрущиньский и Сыновья. Спиртовые Склады, Проспект Туманный 2.

— И вы меня, ни с того, ни с сего — узнали?

— Видите ли, — тот жестом руки с платком обвел весь зал в светенях, — сейчас такие вещи случаются. — Он кивнул. — Тем временем, остерегайтесь Пилсудского.

— Слушаю...

— Он придет за вами.

Спрятало его визитку вместе с карточкой Поченгло.

Сейчас такие вещи случаются. Сейчас — это значит, под Сиянием? После выхода из Варшавского увидало улицу, превращенную в тоннель тьвета, в котором серо-цветными волнами переваливается густой туман, в котором тускло мерцают огни саней и фонарей. За всеми окнами по обеим сторонам улицы горели тьвечки. На небе над Иркутском висела громадная гора оникса. Даже барабан глашатаев из-за здания бани бил быстрее обычного.

Уселось в сани, окуталось шкурами, мороз щипал за щеки, разогретые спиртным.

— Зачем они зажигают тьвечки, а?

— *Гаспадинне* смотрит, — буркнул Чингиз Щекельников.

— Что?

— *Гаспадин* пусть наденет чертовы очки. Без них нездорово.

— Но тьвечки зачем?

— А тени от Черных Зорь видели?

*Я-оно*подняло руку в перчатке. Бледная светень легла на неровно завернутой бараньей шкуре. Поначалу она только дрожала на краях, без всякого ритма свертываясь и разбухая наружу, как и каждая обычная светень. Но вот прошло несколько морозных дыханий — и в ее форме и метаморфозах начало замечать беспокоящие значения, подозрительную связь картины с мыслями. Вот профиль лица — чьего? — уже предчувствуешь, уже знаешь. А это расщепленный куст молний. А вот это же прямоугольный банкнот. Револьвер. Снова лицо.

— Сонные рабы говорят, что так оно все и начинается.

— Что?

— Необходимость. — Чингиз схватил за руку и грубо потащил ее вниз, погашая светень. — Значит, ебаная правда.

Ехало через погруженный в тумане и неестественной темноте Город Льда, под полуденным солнцем, под метеорологическим феноменом тьмечи. Даже люты обрели цвет золы (на мираже-стекле краска стекала с них в снег и испарялась в небо). Оглянулось на башню Сибирхожето. Ее вершина, наивысшие этажи с апартаментами Победоносцева были совершенно невидимы, их проглотили Черные Зори. Царство Темноты. Мурашки пробежали по спине, когда вспомнились картины из сна: небо Подземного Мира, превращенное в собственный негатив, негативное Солнце с костлявыми лучами, обращенные местами свет и тень, сияние и мрак, день и ночь, жизнь и смерть, бытие и небытие. Мертвые морозят свои

дырявые кости под тьветом черных огней.

Но, конечно же — сегодняшнее воспоминание про воспоминания сна имеет столько же общего с правдой, что и гороскоп на будущий год.

На следующий день, с утра, *я-оно* выехало с доктором Теслой, Степаном и Чингизом с Муравьевского Вокзала. Поезд на Байкал шел по рельсам Транссибирской Магистрали, поскольку, со времени замерзания Байкала Транссиб пересекает озеро не паромом до Мысовой, но по рельсам, проложенным прямо по льду. Тем самым, потеряли значение лежащие у выхода Ангары из Байкала Листвянка, Грубая Губа и Порт Байкал, который давно уже перестал быть портом. Сама же Вокруг-Байкальская Железная дорога (самый дорогостоящий отрезок железной дороги в мире) уже много лет была закрыта. Вокруг-Байкалка родилась именно потому, чтобы избежать необходимости сложной переправы через озеро составов Экспресса на судах — но Байкал располагается среди крутых гор, между поросшими тайгой многосотаршинными обрывами, внутри продолговатой бреши в головоломных скальных формациях, и чтобы провести железную дорогу по берегам, пришлось совершить чудеса сухопутной инженерии, с которыми придется равняться разве что Аляскинской железной дороге. Было пробито около сорока туннелей, возведено около двух десятков высотных галерей, одна десятая Вокруг-Байкальской трассы проходит внутри горы. Но после прихода Льда эта железная дорога сделалась смертельно опасной: один лют в тоннеле или на галерее мог вызвать катастрофу, а в этих горах морозники появлялись один за другим. В связи с этим, зимназовые рельсы проложили по байкальскому льду; на станции Ольхон, в паре верст от деревушки Хужир, железнодорожные линии расходились в пять сторон. Сама станция Ольхон на острове с тем же названием не располагалась — ее тоже возвели на льду, в самой удобной с инженерной точки зрения точке. Отсюда же было недалеко и до Ольхонского соплицова, куда до сих пор ездили группы академиков и специалистов из компаний Сибирхожето. На станции Ольхон начиналась и трасса Холодной Железной Дороги на Кежму — к которой такое имя пристало именно потому, что начальные несколько сотен верст проходили по льду Байкала. Это был истинный перекресток всей Сибири. Достаточно глянуть вдоль этих зимназовых рельсов: к юго-западу — Иркутск; к северу — Нижнеангарск и Кежма; к востоку — Верхнеудинск и Чита; к северо-востоку — Усть-Баргузин, на запад — Сарма.

Вот только, высадившись на ледовый перрон после семичасовой поездки, *я-оно* не могло увидеть хотя бы конец вытянутой руки — такая бешеная метель гуляла по белой равнине, такой плотный снежный туман стоял в вертикальном вихре перед деревянными будками станции. И разговор шел не о мгле; знаменитые байкальские ветры: харахайхи, верховики, култуки, баргузины, сходящие с гор на воду и непредсказуемыми приступами способные перевернуть рыбацкие флоты и переворачивать паромы, прогоняли любую мглу — но те же самые вихри во времена Льда и атмосферных мерзлых революций скрывали замороженный Байкал чуть ли не непробиваемым заслоном чудовищной метели, днем и ночью, при меньшем или большем морозе, при бурном или чистом небе, так или иначе, все это бросало тебе в лицо липкой мерзлотой, белый ветер глушил волнами со всех сторон, тут не известно, как повернуться, чтобы отдышаться; подобный ветер усиливал имеющийся мороз двукратно, а то и трехкратно. *Я-оно* спустилось на лед и тут же пожалело об этом. Несмотря на обвязанную вокруг лица толстую шаль и большие мираже-стекольные очки на носу, несмотря на шубу господина Белицкого и беличью шапку — мороз сразу же добрался до мозга костей.

Тут же вскочило назад на ступени вагона, схватило Николу Теслу за рукав.

— Договариваемся! — закричало сквозь свист вихря. — Здесь! Где! Часов!

— Тот постоянный двор! Ваш! Шесть!

— Шесть!

— Вечер!

— Не знаю! Ждать!

— Сегодня! Так!

— Ждать!

Побежало к станционному зданию, Чингиз Щекельников быстро вырвался вперед. Уже через пару десятков шагов, когда в тумане за спиной исчезал поезд, я-оноутратило ориентацию — где остров, где западный берег озера, где северная линия?

Начальник станции указал дорогу к постоянному двору Элии Летких. Его указания основывались на двух основах: что человек отличает правую сторону от левой, и что он не сможет пройти сквозь стенку. Между строениями Станции Ольхон и по окрестностям было вкопано несколько заборов из узких планок высотой в два аршина, настолько крепких, чтобы остановить пешего, но не сопротивляющихся ветру и не позволяющих накапливаться сугробам. Еще с порога начальник позволил себе выдать пару рассказов о путешественниках, которые, выйдя, чтобы расправить кости или по необходимости пересадки, тут же терялись в метели, и блуждая на ледяной равнине, умерли где-то на байкальском льду, превратившись в ледовую глыбу; только после того кто-то и придумал поставить направляющие заборы.

И так вот, спотыкаясь на грудах снежной мерзлоты, нащупывая обледеневшие планки, добралось под фонарь постоянного двора Летких — что заняло минут пять, не больше; еврей построился неподалеку от станционных бараков, сразу же рядом с рельсами. Судя по всему, вся временная архитектура станции Ольхон была ориентирована фронтом к какой-нибудь из линий.

В сенях тут же появилась служанка и, кланяясь в пояс, пригласила в зал. На втором этаже и в пристройке располагались комнаты для пассажиров, ожидавших поезда, которые можно было снимать на десять часов и на сутки, теперь, наверняка, в большинстве своем пустые, поскольку Зимняя Северная дорога была закрыта. В зале у очага дремал старик в потасканном чиновничьем мундире; заросший *брадягав* углу жевал черный хлеб. Я-оностряхнуло снег с шубы, сбило с сапог. Материализовался и сам пейсатый владелец, в потертом черном сюртуке, напыленном на толстый свитер; обладая пухлым, розовым лицом, он выглядел словно плюшевая кукла ветхозаветного арендатора. Комнату для благородных господ? Две комнаты? За половину цены! Самые лучшие! И горячий обед, картошка с маслом, густые мясные щи, жирные шанежки! Я-оноуселось возле печи, попросило горячего вина с пряностями, уху и кулебяку с омулем. Омуля давно уже не было; зато была красная икра из горбуши, очень дешевая, которую брали прямоком из корейских поставок. В барской беседе о методах приготовления тех или иных блюд легко перешло к личности повара — а не работает ли у вас на кухне помощницей старая Вуцбова [\[254\]](#)? Летких подозрительно фыркнул, наморщил лоб, схватился за бороду. Вуцбова, говорите, ваше благородие? Вуцбова? Убедила его только монета, сунутая в карман сюртука.

Потная тетка в чепце, плотно натянутом на маленькую головку, присеменила из задних помещений, таща за собой тьветистый пар и букет тошнотворных кухонных запахов. Она встала возле стола, сжав свои красные руки словно для молитвы, и ни за что не желала присесть. Щекельникову пришлось усадить ее на лавку чуть ли не силой. Тогда она на эти сплетенные руки опустила глаза, чтобы до конца их и не поднять.

Огромных усилий требовало вытащить из нее чего угодно, помимо простого подтверждения или отрицания факта, о котором шла речь в вопросе. Казалось, что сам польский язык сделает ее более доверчивой и разговорчивой; но не тут-то было. Я-

оностащило шапку и сидело перед ней в расстегнутой шубе; она же не поднимала взгляда, хотя ведь должна была видеть, с кем беседует — только в ней не замечало хотя бы малейших признаков узнавания. Тогда призналось открыто: родственник, прибывший из старой отчины, разыскивает ссыльного, помогите, добрая женщина. После чего вытащило бумажник, хлопнуло по столу рублем, потом еще одним. Только Вуцбова была тот еще цветочек: при этих словах еще сильнее сжалась, съежилась, стиснулась, и так вот и сидела, перепуганная, на краешке лавки, словно это исправник по обстоятельствам какого-то противоправительственного заговора ее допрашивал, а не человек, платящий живой монетой, расспрашивал про какие-то невинные воспоминания. У нее даже пот под белым чепцом выступил, тьмечь на сморщенных щеках собралась и набежала под глаза, из-за чего тетка казалась еще более больной, измученной и несчастной. Да что же тут такое? Может это Летких, жидяра, ее чем перепугал? Или Щекельников, что косится на нее, пугает — отослало Чингиза от стола. Только и после того Вуцбова нисколько не переменилась, проронит словечко — и снова камень. Расспрашивало ее все громче, повторяясь и припечатывая кулаком по столу. Это ее муж-покойник в тысяча девятьсот семнадцатом — восемнадцатом годах владел сапожной мастерской на Пепелище? Жил ли у них тогда мужчина по фамилии Герославский? А точнее — с какого времени и по какое? Чем он занимался? Что говорил? Платил ли он Хенрику? Откуда брал деньги? Насколько хорошо они знали друг друга? Куда он потом перебрался? Выехал? Куда выехал? Когда? Приходили ли к нему какие-нибудь гости?

— Какие?

Если задать ей вопрос, на который она не может ответить просто «так», послушно качая головой, женщина тут же заткнется с полуоткрытым ртом и ничего не ответит.

— Пан Герославский, — еле-еле бормотала она, — если так звался, я же не знаю, не помню, вроде и жил кто-то такой, ну да, раз пан так говорит. Хорошо? Хорошо?

Сплошное отчаяние! Я-оноуже забыло, каким тупым и неразговорчивым могут быть польские крестьяне, слишком долго жило в городе, слишком много общалось с себе подобными и городской чернью — которая совершенно отличается от черни деревенской, а уж особенно — в Варшаве, где каждый уличный пройдоха, лишь бы его только не забирали из природной среды, своим врожденным и отработанным хитроумием превзойдет пятерых поместных шляхтичей, а врача с его экономом на закуску оставит. А эта тетка — разве ей кто угрожает? разве есть чего бояться? или она от мук страдает?

— Так помните или нет! — уже чуть ли не воем. — Да скажи же правду, баба проклятая, ничего ведь не сделаю!

— Так, так, вы уж простите, господин хороший.

Погнало ее прочь, пока зло не вошло, чтобы потом нехорошее что-нибудь невинному человеку не устроить. Багровое лицом, сопящее, сбросило шубу и шапку. Тихонечко присеменил еврей с горячим вином и супом. Старик у очага очнулся и стал просить водки. Вытерев слюну с бороды, он продолжил прерванный сном или начатый во сне рассказ про утопленных в Байкале священным вихрем рыбаков, которым пение песков вестовало посмертную жизнь в вечных муках, и что сейчас они появляются на поверхности, чтобы выйти к людям в свете Луны и Черного Сияния — а как это, а вот так: плененные в геометрических, неуклюжих глыбах, рыбаки и всякий несчастный сибирский утопленник с ними, ибо все они сплыли по Дорогам Мамонтов в Священное Море, то есть — в озеро Байкал, ведь вся Сибирь в него стекает, одна только Ангара вытекает, но как раз и не вытекает, скованная морозом до дна, и так оно с каждым месяцем все больше трупов невоскресших болтается и ледяным треском друг о друга бьется под белой гладью вечного льда, все теснее им во льду, все сильнее напор из темных глубин, из Подземного Мира, так

что, если кто выйдет во двор в редкую ясную ночь и глянет удачно-неудачно на простор замороженного Байкала, то случится ему услышать и увидеть разрыв и глухой грохот замерзших масс, словно залп подледных пушек и, Господи помилуй, труп в молочно-белой, полупрозрачной скорлупе, что выстреливает к звездам из-под льда, как я сам увидел, — рассказывал дед в огонь.

Вернулся Щекельников.

— Подсматривает за нами, — шепнул он, заговорщически сгорбившись над миской. — Подслушивает, из-за дверей, сквозь щелку подглядывает.

Я-онолишь понуро глянуло.

— Все время, — цедил тот с удовлетворенностью, — и еще потом, как та пошла.

— Кто?

— Мне сходить, найти?

— Да иди.

Чингиз выхлебал уху, посидел еще немного, закурил, подумал и пошел.

Ковырялось зубочисткой в дыре от зуба. Вот спрашивает кто о прошлом — и удивляется, когда оказывается, что пошлости и нет... Или, скажем, вот баба промолвит то и то — что тогда? Словно, это поможет вычертить будущие отцовы Дороги? Не слишком ли много ожидает *я-оноото* Льда? Палец пана Коржиньского! Словно можно здесь создать правдивость, а неправдивость уничтожить — так же, как сотворило единоправдивого убийцу в Экспрессе — так и создаст правдивого отца...?

Вернулся Щекельников.

— Пойдемте.

— Что? Куда?

— Хватайте шубу, и пошли, поговорим под конюшней, она ненадолго вырвалась из виду жидка и матери.

— Что?

Поспешно одевшись, поспешило за Чингизом. Ненадолго вышло на мороз и снег; тут же свернуло под навес, в тень залама, между какой-то пристройкой и, видимо, конюшней, со стороны, противоположной рельсам; здесь, в уголке, за поленницами, стояла, плотно закутавшись в платки и шали, молоденькая девонька, явно выполняющая здесь всю черную работу.

— Лива Генриховна Вуцбувна [\[255\]](#), — сообщил Чингиз, чуть ли не улыбаясь. — *Гаспадин* Венедикт Филиппович Герославский.

— Вы дочка Генриха Вуцбы? Сапожника с Пепелища?

— Да. Ваше благородие разыскивает своего отца, правда?

— Я что, тем самым доставляю какие-то неприятности? Делаю вашу жизнь опасной? Или в этом какая-то тайна? Из-за чего вы так прячетесь, а ваша мать...

— Ах, нет, — смешалась девушка. — Вы не понимаете...

— Чего?

— Мать... — Лива еще плотнее обернулась в платки, так что только темные глаза проблескивали среди складок ткани; но и эти глаза погасли, когда она отвела взгляд. — Вы думаете, что мы работаем у еврея, на его холодной, завшивленной квартире, на самом конце света, посреди ледяной пустыни — потому что это все от женской глупости? — Тут она расплакалась. — Уж лучше бы помереть с голоду, замерзнуть где-нибудь в подвале! Боже мой! Какие все-таки люди подлые! Дядя Стефан, который отобрал у нас отцовскую мастерскую и на улицу выбросил — а мать, а матери, а матери... — Она отшатнулась. — Вы не поймете — но можно заболеть от одной только нищеты, от нужды можно пострадать умом. Мать сейчас

стала совершенно другой женщиной. Вы думаете, человек боится чего-то, кого-то — того, еще того или другого. Только она уже просто боится всего, вы же видели, что она лишь в усталости и боли находит утешение, и в молитве за эти страдания; она тогда счастлива, когда после дня убийственной работы может предложить вечером Богу собственные страдания и несчастья, только тогда появляется на ее лице слабая улыбка. — Господи Христе! А я уже не могу! Не могу!

— Тихо, тихо, ну ладно, панна, все уже. — Иногда достаточно звучания родного языка в чужой земле, и плотины уже ничего не сдерживают уже.

Девушка оттерла глаза рукавом.

— Ваш отец хороший человек, вот что я хотела сказать, ваш отец учил меня читать и писать, книжки мне давал, ночами, у моей постели, рассказывал мне историю Польши... Ваш отец — то, что я не замерзла такой, как мама — все благодаря дяде Филиппу. Так что, если бы я как-нибудь могла...

— Он проживал у вас.

— Да.

— Когда же выехал?

— Уже в девятьсот восемнадцатом. Всего это было не больше года, так. — Лива шмыгнула носом. — Потом мне его ужасно не хватало, я замучила родителей: а когда дядюшка Филипп вернется, а куда он уехал...

— И куда он уехал?

— Не знаю, как бы на сорочиска не ездил. Папа что-то упоминал... Пан Филипп, кажется, работал в какой-то ледяной компании...

— Так?

— Ну, не знаю, может я чего и попутала.

— Он платил вам за угол?

— Видимо, так. Уходил на целый день, возвращался поздно, потому что я ожидала, чтобы он рассказал мне сказку — ой, а какие он сказки рассказывал — пан Бенедикт, могу вам только позавидовать... Потом он стал уезжать на дольше — на день, два, на неделю.

— Гости к нему заходили?

— Ну да, так, но не помню — какие-то мужчины — нет, не помню.

— А когда он уже выехал....

— Это вам уже его женщина расскажет.

— Не понял...

— Ну, он же к ней перебрался, или нет? Женился? Господин Герославский?

— Вы знаете ее имя?

— Ах! — Лива прижала ручку к скрытым за шальями губам. — Я же их видела, бывало, то в костеле, то на улице. Рослая такая *женщина*, живая, смеялась; длинная пшеничная коса, на коже — веснушки... И — погодите — она работает в Доме Моды у Раппапорта, напротив Нового Театра! В прошлом месяце, когда меня Мачек — видите ли, я обручена с паном Мачеем Лишкой, я не собираюсь потратить тут жизнь, в этой сырой, проклятой халупе, — она пнула ногой в стену, — как мамочка, погрузиться в нищету до смерти, одуреть — нет! Хотя бы... хотя бы и... — ну не знаю что — но я уже не могууу!

— Тшшшш, тшшш. — Обняло Ливушку покрепче; та, дрожа, прижала голову к шубе.

— Такие чудные сказки, — захныкала и подняла черные, залитые слезами глазенки. *Я* — оно прекрасно понимало, откуда весь этот поток воспоминаний, и что панна видит теперь — кого — чье лицо.

— Хозяин как к вам относится? — спросило, оставив на ее лбу отцовский поцелуй.

— Хозяин как хозяин, — пожалала девушка плечами, уже выпрямляясь и хватая воздух.

Вытащило из кошелька пару червонцев, еще один, несколько рублевков — сунуло девушке в кулачок.

— Вот, пожалуйста. И уезжайте отсюда, и мать заберите. Ведь жених вам поможет, правда? И не ждите, нельзя ждать, человек ведь привыкает.

Лива быстренько спрятала деньги под платки.

— Спасибо, спасибо, ваше благородие.

— Не благодарите, это тоже определенный вид оплаты.

Та схватила за руку, еще не натянуло перчаток, схватила голую ладонь и, прижав ее к губам под влажной тканью, развернулась на месте и убежала.

— Наколола она вас, — буркнул Чингиз. — Видать, перед каждым тут так слезу пускает, хорошие деньги имеет.

— Вы же знаете, что это неправда, — сказало, выглядывая из-под навеса, глядя на метель над замерзшим Байкалом. — Дело здесь в том, господин Щекельников, чтобы подать милостыню и иметь возможность глянуть этому человеку в глаза. Понимаете?

Случился в буре такой краткий момент, когда разошлись в стороны белые завесы, опала вуаль из инея, и показался горизонт под полуденным Солнцем и под Черным Сиянием. Тогда-то блеснул на северо-западе, на линии ледовой глади, на фоне обрывов и утесов Ижмее и Хобоя, под очертаниями Приморских Гор — пронзительный, сияющий и красивейший алмаз: огромное соплицово на Ольхоне.

Никола Тесла появился, как договаривались, в шесть вечера; потому что в четверть седьмого на Иркутск шел поезд. К этому времени Байкал сделался еще более белым — быть может, что-то заслонило Черные Зори, отрезало потоки тьветы, и потому белизна засияла живее, электрически заискрился и снег, и лед, и замороженная пыль, пролетающая над равниной горизонтальными волнами. Я-ононадело мираже-стекольные очки — не против Сияния, а ради защиты перед арктической слепотой. Сани Николы Теслы едва задержались перед постоянным двором Летких, побыстрее уселось в них. Скрытый под капюшоном извозчик хлопнул бичом. Я-оноеще успело оглянуться. Угловатая деревянная конструкция — дом без фундамента, поставленный на угле — казалось, тряслась и пьяно колыхалась на ветру; если бы не вой ветра, можно было бы услышать скрип и стоны гнущихся досок. В кривом окошке под кривым навесом кривой крыши мелькнуло бледное пятно — женское лицо — вдовы Вуцбы? Его дочери? Вихрь снова завертел, и постоянный двор Летких перекосило в другую сторону.

В поезде Тесла сразу же достал записную книжку и карандаш.

— Господин доктор узнал что-нибудь полезное?

— Любопытное — о, это да. Они до сих пор не пробились к воде.

Независимо от лагеря инженеров Сибирхожето, на острове Ольхон располагался лагерь природоведов Дыбовского-Байкальского, которые исследовали не соплицово, но само озеро. Абсолютное и столько лет продолжающееся его обледенение грозило полным уничтожением уникальной байкальской фауны — уже бесповоротно погибли байкальские тюлени, возможно, выживут только ракообразные да глубоководные рыбы. Сам старик Дыбовский ездил к генерал-губернатору Шульцу с проектами искусственно обогреваемых аквариумов-прорубей. Правда, такой аттракцион стоил бы крайне дорого. Тем временем, Географическое Общество и Львовская Академия финансировали биокриологические исследования: во льду просверливали узкие шурфы для того, чтобы зондировать глубину льда и получить возможности заглянуть в тайны жизни под ним.

— Дело в том, что ноль градусов Цельсия не обязательно означает превращения воды в

твердое тело. В этом случае, необходимо принимать во внимание давление. Ибо, чем выше давление, тем более низкая температура нужна, чтобы образовался лед. И, как вам наверняка известно, в морских глубинах давление очень значительное: на каждом квадратном метре всей своей массой покоится водяной столб, тем более тяжелый, чем ниже мы спустились, ведь воды над нами тогда больше. Принимая при этом какую-либо постоянную температуру замерзания — хотя бы, тем самые четыре-пять градусов профессора Юрката — легко вычислить граничную глубину, ниже которой мороз этот окажется слишком слабым, чтобы связать воду в лед.

— Но разве нельзя того же самого сказать о почве? А что рассказывал Юркат? Там спустились на сто и несколько десятков аршин вниз, а мерзлота все время оставалась на уровне минус четырех градусов.

— В том-то и дело, господин Бенедикт, в том-то и дело! Здешние лимнологи [\[256\]](#) и тут тоже встретились с загадкой: они все бурят и бурят, и все время лед. Ба, тут дело даже хуже по сравнению с вечной мерзлотой, поскольку здесь с глубиной температура уменьшается!

— Мертвым тесно...

— Что?

— Ничего, так, пришло в голову... Разрешите? — *Я-онозакурило* папиросу. — Такая вот гипотеза — можно?

Тесла захлопнул блокнот, наклонился.

— Вы когда откачивались? Позавчера? Вам следует заходить ко мне почаще. Ежедневно! Но говорите же, друг мой, говорите.

Прищурив глаза, *я-онозасмотрелось* сквозь дым на белый пейзаж за окном мчащегося по льду поезда. Спокойный ритм колес по зимназу — длук-длук-длук-ДЛУК — вводил разум в состояние гипнотического расслабления. Говорилось медленнее, думалось тоже медленнее — зато, с какой-то мерной решительностью, свойственной механическим процессам, инерции металлических масс: каждое слово и мысль не только возможны и правильны, но еще и необходимы.

— Когда вы говорили про учебник черной физики... Ведь самое главное, это вывести уравнения, объединяющие теслектричество, тьмечь и тунгетит с силами магнетизма и электричества, со светом, с температурой...

— Так, так, это важно...

— Видимо, это из-за Черного Сияния — когда пьяница на постоялом дворе рассказывал свой кошмар — не только в светенях, но уже в каждом предложении человек видит странную символику, всепобеждающие истины, если вы меня понимаете, доктор. Сюда стекают сотни рек, а вытекает одна Ангара — которая сейчас как раз и не вытекает. Вы видели атласы Сибирхожето, окружающие Байкал Дороги Мамонтов? Весь Байкал — это белое пятно; было установлено лишь то, что люты упорно вымораживаются в тоннелях Вокруг-Байкальской Дороги. И теперь подумайте об этом озере, как о естественном резервуаре всей Сибири, как о водном фильтре. Как о выгребной яме лютов. Сейчас я живу у человека, который занимается оптовым производством и продажей зимназовых руд и тунгетита; хочешь не хочешь, но слышу всякое. Имеются реки, еще не до конца замерзшие, но есть и скованные до дна. На немногочисленных не замерзших, Лензолото продолжает проводить работы по добыче, вымывает золото из под поверхностного льда, то есть, из грунтовых масс, промышленно промываемых в нагреваемых резервуарах. И вот из некоторых подобных шурфов добывают так называемый песочный тунгетит: Лензолото продает посредникам легкий тунгетит, вымытый из породы после золотодобычи. Так вот, смотрите, если существует какая-нибудь физическая или химическая зависимость, какой-то естественный процесс, в котором

тунгетит влияет на температуру..

— Ах! На дне Байкала!

— На дне Байкала, подо льдом. Нанесенный с водой, пока не замерз байкальский водораздел...

— Тонны чистого тунгетита.

— Какие реакции там происходят? Под таким давлением — в темноте...

— Под корнями соплицовов.

— Какова глубина Байкала?

Уже в наступающей ночи поезд проехал Порт Байкал и Листвянку, проехал через Ангарские ворота шириной в версту. Снежная метель чуточку успокоилась, было видно тьветистое небо над шлейфом белой пыли, то есть — черную дыру среди звезд. Снова надело мираже-стекольные очки, снятые после посадки в поезд. Доктор Тесла со своей стороны затянул шторку — бледная светень танцевала на полу купе и сапогах дремлющего Степана.

— Я предполагал использовать результаты их бурений именно для замеров, чтобы собрать комплексные данные для теслектрических таблиц. — Серб закинул ногу на ногу, постучал карандашом по корешку блокнота, белизна его перчаток стекала на брючины, а их темно-серый цвет впитывался в древесину сидения. — Почва не столь однородна, нужно учитывать слишком много переменных; я много говорил об этом с профессором Юркатом. А здесь — чистый лед. Для начала, я спущу зонд, поглощающий тьмечь. После этого нужно будет пробить несколько шурфов на большем расстоянии друг от друга. В центральной точке запущу тунгетитовый генератор и прослежу за прохождением тьмечи. — Он снова раскрыл блокнот, начал что-то набрасывать. — Как теслектричестве волны расходятся во льду, в земной коре? Какова частота теслектрического пульса планеты? Потому что, когда я это все узнаю... — Он писал, бормоча что-то под нос на родном языке.

Светень на полу отделения ласкалась к его ногам, тревожно отскакивая при каждом движении пожилого изобретателя.

На следующее утро выпадал срок доложиться в отделении Министерства Зимы. С самого утра настроение было паршивое. Само уже пробуждение не обещало ничего доброго: сон перебил нарастающий грохот барабанов глашатаев. От Ангары приближался лют; если до утра он не повернет или не вморозится снова под землю, Цветистую, семнадцать придется покинуть. За завтраком Михася ужасно капризничала; кончилось тем, что она сбросила со стола масленку и, всхлипывая, сбежала от няни. Масленка же упала прямоком на брюки от последнего приличного костюма.

— Н-да, со своей фигуры ничего вам одолжить не могу, — засмеялся пан Войслав, — но, может, Григорий чего-нибудь найдет у себя. А так, вам обязательно надо будет обратиться к портному.

— Сейчас же подойду в ателье, наверняка у них там имеется готовая верхняя одежда.

Но перед тем необходимо было ехать к Сорочьему Базару, в представительство Зимы. Поехало в тех самых брюках с пятнами, более-менее очищенных крахмалом и спиртом. Над Иркутском развернулась рожа огромного осьминога, плюющаяся черными чернилами, потоки тьвета заливали городские улицы, мутили туман, утреннее солнце никак не могло пробиться сквозь них. Повсюду расцветали тенисто-светенистые радуги. На Амурской в тумане торчал монументальный ледовик, все его объезжали, образовался затор. Вспомнилась сцена с перекрестка Маршалковской и Иерусалимских Аллей, керосиновый огонь под ледовой медузой. На мираже-стеклах все это нервно, пламенно мерцало. Имеются

определенные картины (лют над центром улицы), сама композиция которых придает им правоту и вес; якобы, глаз и рука рисовальщика стремятся всегда к центру окружности, и равносторонний треугольник всегда будет более правильным по сравнению с треугольником неравносторонним. А может, это Черные Зори уже отпечатались в уме...

— Едет за нами, — бормотал Щекельников, — от самого дома следит.

Я-оноуже и не отзывалось. С Моста Мелехова спустилась колонна пехоты. Империя, вроде бы, перебрасывает войска с японского фронта на Камчатку, на строительство Аляскинского Тоннеля; но часть подразделений явно была направлена на запад — возможно, эти застряли в Иркутске не случайно, но принимая во внимание рост активности Японского Легиона? Впрочем в вестибюле Таможенной Палаты военный плакат уже сняли. Сидя в секретариате комиссара Шембуха (толстый Михаил снова куда-то пропал), вновь не могло не отметить царского портрета на противоположной стене — может, его кто-то специально вешает криво? Встать, подойти, выправить? Сидело с шубой на коленях, прячущей жирные пятна. Вошел седой усач в мундире чиновника высокого ранга, встал посреди комнаты, громко пернул, низко поклонился портрету Николая II Александровича и уселся на лавке под ним. Незаметно глянуло (что было непросто, принимая во внимание то, что одно лицо было направлено прямо на другое, как портрет царя, глядящий прямоком на портрет министра). Чиновник сидел выправившись, словно палку проглотил, опираясь затылком о стену, подав вверх плохо выбритый подбородок и пялясь перед собой выпученными глазами. Этой игры взглядов никак не удавалось понять. Это что, гневный, обвиняющий взгляд? Или же седой глядит так «сверху», с презрением? С возмущением? С претензией? Но чего эта претензия касается? Поправило шубу на коленях, разложив ее пошире. Он видит пятна? Не видит? Видит? Отвело взгляд. Чиновник сидел, не двигаясь, потъвет стекал у него из-за спины на белую штукатурку, словно пена из бродильного чана. Дышит ли он вообще? Но вот что не мигает, это точно. Сглотнуло слюну, чувствуя, что, несмотря на все усилия и данные в глубине души присяги, на щеки начинает выползать жаркий румянец, алый цветок стыда.

— Я ожидаю уже добрую четверть часа, комиссар опять куда-то вышел, — произнесло я-оно, через каждые два слова поднимая голос.

Седой не отреагировал. В голове начали вспухать самые неожиданные идеи — может, он и вправду не дышит, потому что с ним вот так, тихонько, приключился сердечный приступ? И теперь там сидит стынущий труп? И что я-оноразговаривает с трупом? Скрещивает достойные взгляды с мертвяком? Появилось видение громадной прихожей в Имперском Учреждении, где, лавка за лавкой, в тишине и неподвижности сидят мертвые и живые просители и те, что в ожидании милости со стороны чиновника медленно кончаются. Когда же приходит очередь трупа, швейцары вносят его, застывшего в сидячей позе пред лицо делопроизводителя, прокуриста или какого-другого чиновника, ибо прусский чиновничий ритуал никак невозможно не соблюсти, не оскорбив при этом авторитета Учреждения.

Вошел секретарь-татарин. Увидав седого усача, он слегка побледнел. Вежливо поклонившись, чиновник уселся за столом и тут же уткнулся в бумаги. Я-онопыталось перехватить его взгляд, дать ему глазами знак, незаметно переслать вопросительную мину — но тот ни разу не поднял голову. Ситуация еще более запутывалась. Эти жирные, отвратительные пятна наверняка видны из-под шубы. Я-оноуже просто горело. Тут старик схватился с лавки — я-оночуть ли не подпрыгнуло. Подошел, протянул руку. Инстинктивно поднялось и пожало ее, неуклюже прижимая к себе шубу левой рукой.

— Поздравляю, — громко и четко промолвил тот.

Я-онотупо поблагодарило. Седой еще кивнул, схватил, не глядя, какие-то бумаги со стола, после чего достойно отмаршировал.

— Кто это был? — ошеломленно спросило я-оно.

— Господин генеральный директор, Зигфрид Ингмарович Ормута, — полупшепотом ответил толстый Михаил.

Вздыхнуло. А говорят, что в Краю Лютов сумасшедших не бывает...!

В Доме Моды Раппапорта сразу же направились в мужской отдел, где, без особых церемоний, приобрело (что там ни говори, за деньги Белицкого) два легких чесучовых костюма цвета грязной бронзы, более-менее нормально лежащие, но дешевые, поскольку сшитые на манекен, и одну пару черных штучковых брюк. Сразу же переодевшись в примерочной, расспросило приказчика, и тот направил на четвертый этаж, к модистке. Если описание Вуцбувны не обманывало, женщину звали Леокадия Гвужджь; «госпожа Гвужджь» — замужняя женщина или вдова. Щекельников приблизился на лестнице и шепнул на ухо: — Ей денег не давать. — Захочу, так и весь кошелек отдам. — У-у, сердце прокисшее. — Так, лучше уходите. — Ну да, чужое легко отдается, — издевался тот. Я-онопылало.

На «Складе Нарядной Женщины», между зеркальными галереями, в которых гляделись шикарно и модно одетые манекены, между полукруглыми шкафами, заполненными блестящими новизной вечерними туалетами, скопированными из венских журналов, и между стойками с мехами, блестящими словно от свежей росы, с шубками, этуалями, муфточками, обшитыми мехом накидками; под высокими полками, с которых стекали цветастые ткани: саржи, шнели, батики, тафты, адамаски, органдины, крепдешины, марокены, муслины — мягонькие под самим только взглядом, словно детский сон; от одной до другой витрины с головными уборами: то совершенно фантазийных, то скроенных по образцу русской шапки; так вот, кружа от одного прекрасного искушения до другого, еще более красивого, по мрамору с кокосовыми матами прохаживались не менее прекрасно одетые женщины, но никогда по отдельности: то в группках по две, по три, либо в компании мужчин. Это были этажи самого высокого шика.

Из глубины алькова, залитого медовым светом, начиналась атака уже на другой орган чувств. Хрустальные сокровищницы парфюмерии представляли драгоценные благовония в искусно вырезанных флакончиках из мираже-стекла, смешивающих радуги попугайных отблесков с радугами искусительных запахов. Достаточно было пройти возле первой же витрины, и даже человек с забитым носом мог быть очарован одними этикетками на зимназовых плакетках под эмблемой Эда Пино: *Paquita Lily, Jasmin De France, Violette Princesse, Persian Amandia, Blue Nymphia, Bouquet Marie Louise...* Чувство запаха — то самое чувство, которое оперирует на невидимом, неслышимом уровне, к которому нельзя прикоснуться — разве оно не ближе всего к нематериальному миру?

Сразу же воображение представило образ панны Вуцбувны в робкой компании ненамного богатого, чем сама она кавалера, как они прогуливаются по Дому Моды в единственный их за неделю, а то и месяц выходной, чтобы, по крайней мере, насмотреться на красоту, приблизиться к жизни высшего света, поглазеть на элегантных господ и изысканных дам, раза в два старших от такого подростка; ведь это же на них кроют моды, на зрелых, старше тридцати лет женщин, то есть — на женщин идеальных: женщин законченных, исполнившихся, а не на недозрелую девоньку, что представляет собой всего лишь половину, а то и четверть женщины. *La passion se porte vieux* ^[257]. Но, тем временем, можно хоть подышать воздухом богатства, втянуть в легкие эти надушенные миазмы шикарной жизни...

— Госпожа Гвужджь?

— Там.

Узнало ее по белокурой косе и веснушкам. Прекрасно сложенная женщина

бальзаковского возраста, с выдающимся бюстом и широкими, крепкими ладонями. Обручального кольца она не носила.

Подождало, пока она не отойдет от покупательницы, после этого приблизилось и вежливо представилось.

Та инстинктивно выглянула через виражное окно на уличную светень.

— Я так и думала.

— Не понял?

— На кладбище привиделось. — Она вздохнула, качнула головой, сжала губы. — Подождите, пожалуйста, я отпрошусь у начальства.

Появилась она через несколько минут, уже в пальто с несколько потертым воротником из выдры, в меховой шапочке. Быстро сбежала по лестнице, натягивая на ходу перчатки.

— Только не стойте, уважаемый, а то снова пересуды начнутся.

— Это плохо?

Нарочито взяло ее под руку.

Та неожиданно рассмеялась, открывая зубы, почти что все еще целые и белые.

— А пожалуйста! — Склонила голову, подставляя пухлую щечку. — Девку расцелуешь, с утра счастье добудешь.

На улице повела уже она, сразу же сворачивая в сторону Главной и видимым в тумане зданиям Географического общества и Таможенной Палаты, откуда только что прибыло.

— Пан Бенедикт? — удостоверилась она, вынув из сумочки мираже-стекольные очки и надев их. Приостановилась, чтобы натереть лицо какой-то мазью, затем укуталась белой шалью, украшенной множеством длинных кистей, спускавшихся по пальто чуть ли не до пояса.

— Он вам говорил?

— Говорил, что у него есть дети. Как вы обо мне разузнали?

Рассказало.

— Но откуда такое удивление? — задало вопрос. — Ведь он же мог писать домой.

— Обо мне?

Можно было поклясться, что под шалью она снова улыбается. Сразу вернулось утреннее, паршивое настроение.

— Знаете, моя мать умерла всего год назад, год и три месяца.

— И вы думаете, будто бы она знала?

— Нет. Он не писал.

— Тогда, наверняка, она умерла не по моей причине. Для меня она не существовала.

— Для отца, по-видимому, она тоже не существовала.

— Ах! И вы тут же приехали, чтобы — что? выложить мне все это? А тут на тебе, еще такая наглость? Фи!

— Вы признаете, вам было известно, что он был женат.

Женщина помолчала. При этом изменился ритм дыхания, а когда вновь заговорила, изменился и ее тон.

— Нет, так мы, уважаемый пан, разговаривать не станем. — Она не вырвалась, но я-онопочувствовало, что об этом подумывает, в конце концов, опустила руку свободно. — Вы не устыдите меня каким-либо из моих искренних чувств. Я Филиппа любила. Люблю. Любила.

Я-ононадело мираже-очки.

— Простите.

— За что же? Вы меня стыдитесь!

Глядело в бело-цветную мглу.

— Как вы познакомились?

— Он — сильный человек. Вы же знаете лучше всего. Никогда я не знала никого более сильного. Мой отец, который четверть века был начальником Горного *Управления* на Амуре, говорил, силу человека познаешь по несчастьям, что на него сваливаются. Если кто гибкий, тонкий и мелкий душой, тот *без праблем* идет по течению и ветру и вписывается в любые обстоятельства; но если кто тверд, тот сопротивляется, и чем сильнее стоит на своем, тем сильнее напирает против него жизнь. Под конец он уже чувствует, будто бы весь мир издевается над ним: а сломайся, сломайся, сломайся! Все остальное уже поддалось, согнулось, размылось — а тут одна заноза выскакивает и в бок колет. И вот все бремя мира идет на эту занозу: сломать, вырвать, уничтожить. Есть такие люди-занозы — разве вам такие не ведомы, пан Бенедикт? Которые всегда колют. Всегда всех колют. Такими норовистыми можно искренне восхищаться, их можно искренне любить, вот только жить с ними невозможно.

— Вы разошлись?

— Да. — Ее шаль на лице посерела от пропитанного тьмечью дыхания. — Но — как мы познакомились! А познакомились так, что он поколотил моего кузена и притащил потом к нам домой, чтобы его же перевязать.

— Верю. — Раскашлялось; мороз проникал в горло, накапливался в груди. Подняло воротник шубы, пряча в нем рот и нос. — Тогда он проживал у Вуцбы, правда? Когда вы последний раз о нем слышали?

— Ушел он ранней весной тысяча девятьсот девятнадцатого. Потом — какие-то сплетни, слухи. Один раз к нам пришли из охранки, тоже расспрашивали, нет ли от него каких вестей.

— Он не писал?

— Нет. — Она хрипло рассмеялась. — Не писал.

— Говорил он вам, почему, кхрр, зачем это сделал?

Вышло на улицу Главную и повернуло на восток, оставляя за спиной базар, Таможню, Географическое Общество и дом генерал-губернатора.

Странное впечатление нарастало в человеке, который, чем больше, прогуливался по улицам Города Льда: будто бы гуляет он сам. Будто никого больше на этих улицах нет; даже если кто пешком выходил из дома, его тут же потощала мгла. Других прохожих видело чрезвычайно редко, то есть тогда, когда почти что сталкивался с ними, обойдя в самый последний момент. Звуки их шагов, их голоса, шум уличного движения — все грязло в этой сырой вате. Снабженные лампами сани проезжали в звоне колокольчиков слева, в реке небесно-цветных испарений. Небо имело цвет неба, поскольку, на самом деле, оно обладало цветом Черного Сияния, но на мираже-очках переливалось назад в синеву, словно желток разбитого яйца, снова втиснутый в скорлупу.

— А этот поколоченный кузен, — продолжила моя спутница, — работает в Холодном Николаевске, на *холадницах*, у него есть дружки зимовники, очень верующая братия. От них я и слышу все эти сплетни. Отец Мороз, спасение или же гибель всего мира, Посол Подземного Мира.

— Но вы этому не верите.

— Он никогда не рассказывал мне слишком много о прошлом, но мне же известно, что приговор он получил за политические дела, за вооруженные выступления. Так?

— Но что это все имеет общего с...

— Долгое время мне казалось, что у него все это уже прошло, во всяком случае — что он

переболел, вымучил все прошлое из себя, что остепенился — человек семейный, эту свою семью любящий, изживающий из себя утопические амбиции, ведь они являются привилегией юности. Но потом до меня дошло...

— Заноза.

— Весной того года, сразу же после немчуры с воздушным шаром, когда Филипп перестал возвращаться на ночь с работы, и после того, как от кузена через его знакомых из «Руд Горчинского» стало мне известно, что какие-то люди его там, в Николаевске, посещают после наступления темноты, и что, якобы, Юзеф Пилсудский со своими Сибирскими Стрельцами через Николаевск ехал, вот тогда-то...

— Погодите! — стиснуло пани Леокадию за локоть. — Отец работал в «Рудах Горчинского»?

Та повернула голову, глянуло сквозь мираже-очки в мираже-очки, цвета перемешались в глазах.

— Так вы не знали? — удивленно отшатнулась она. — Филипп — геолог с образованием! Так что ему было здесь делать? Взяли с охотой, Горчинский даже ни про какие дипломы не спрашивал.

— Тогда почему же столько времени он проживал у сапожника, в холодной норе?

— А это я уже должна спросить у его родного сына: почему Филипп Герославский именно такой, какой он есть? Быть может, сын мне на это быстрее ответит? Почему он не может жить нормально, как другие люди, почему сам лезет из одного скандала в другой, из одной жизненной невозможности — в другую, вечно сам себя в угол загоняет, так что в конце лишь зубами остается скрипеть и на чудо какое-нибудь для него рассчитывать! Почему!

Откашлялось.

— Но ведь вы хотели его именно такого.

Она ненадолго сняла очки, чтобы осушить глаза (плакать на морозе — весьма неразумно) и чтобы вытереть нос платочком.

— Я же знаю, что *богатырь*из меня никакой, не родилась я, не замерзла подругой легенды. Вот сами вы кто?

— По профессии? Математик.

— Математик. Так что, в жены обязательно возьмете женщину в цифрах искусную? Нет же. Она выйдет за Бенедикта Герославского — жениха, но не за Бенедикта Герославского — математика. Мы смотрим на людей только с одной стороны, каждый — со своей; один лишь Господь может оглядеть человека сразу со всех сторон, и сверху, и снизу, ха, изнутри даже.

— В том-то и дело, пани Леокадия, глядя с вашей стороны...

— Потому что он меня любил! — Она перевела дыхание. Краски темного пальто стекали с нее во мглу, пани Гвужджь с минуты на минуту делалась все более туманно-цветной и почти что прозрачной. Держало ее крепко под локоть. Она шла быстро, глядя прямо перед собой. — Неужто нужно обращаться к вульгарным словам? По отношению к его сыну? Ведь это неприлично. Зачем вы спрашиваете? Не знаете истинной страсти? А? Тогда как о ней другим людям рассказываете? Как объясняете?

— О таких вещах нельзя рассказывать, — буркнуло в ответ. — О таком не думают.

— Так! Так! — гортанно рассмеялась она, диафрагмой, словно при этом ей стало намного легче. — Дай Бог, чтобы вы хоть когда-нибудь познали от женщины такую любовь, такую пожирающую душу страсть — истинное желание сильного человека, которое поглощает без всяких условий — и не потому, что ты желаешь, но потому, что желают тебя...

— Откровенный сладострастник милее Богу...

— Да что вы там понимаете!

Бурятский бубен бил спереди все громче. Это были уже окраины города, за Ланинской; мы шли уже более получаса. Выждав мгновение чистого тумана, свободного от огней и не звенящего колокольчиками упряжи, перебежало на другую сторону крутой улочки. Откуда-то вынырнула табличка: Третья Солдатская.

Пани Леокадия оглянулась.

— Какой-то разбойник за нами бредет, — заметила она тоном рассеянного удивления.

— А! Это мой разбойник.

— Вы коллекционируете всяческих темных типов?

— Разные люди желают мне зла. Зато вот господин Щекельников желает зла всему живущему.

— А вы не думали над тем, чтобы применить стратегии, более здоровые для духа? Возлюби врага своего.

— Мне легче их любить и даже сочувствовать, когда подумаю, кхрр, что с ними господин Щекельников своим ножичком сделает.

— Вот если бы у каждого человека имелся собственный Щекельников. — Она неприятно засмеялась. — Сразу же на земле воцарилось бы Царствие Божье.

— Всеу свое время. Пока же что господа Смит и Вессон продают замечательные револьверы.

Леокадия рассмеялась под шалью, выпустив разреженную светень.

— Вы, должно быть, первейшее развлечение во всех салонах!

— Находясь в салонах, я слишком много думаю, кххр, забываю про язык, и все считают меня кретином.

Вот так переговариваясь, вышло на грунтовую дорогу, то есть, на тракт обледеневшей грязи между полями белоцветного снега, сразу же свернувший прямо на восток и наверх, поскольку он вел на вершину Иерусалимского Холма. Узнало — как во сне, словно сквозь сон — и эту дорогу, и этот холм.

Сразу же ускорило, так что пани Леокадии приходилось догонять меня на крутом склоне. Дорогу она не объясняла, и так ведь знало, куда идем. Распознало возвышающиеся над поверхностью тумана соседние холмы, с их зарослями карликовой березы, тоже прикрытые снегом; распознало неровные ряды крестов, католических и православных, склонившихся над подледными могилами, и развалины сгоревшей церкви, и сарай могильщиков сразу же узнало. Мгла здесь стелилась низко над землей, в ней бродило словно сквозь те испарения газов, что лют изверг из себя на станции Старая Зима — белоцветная взвесь становилась мутной от каждого шага. *Черное Сияние* заливало кладбище серым тьветом; светени от крестов на беленьком снегу были почти невидимыми.

Опустило воротник, чтобы втянуть ледяной воздух прямо в легкие, может, он протрезвит; но нет, не помогло. Шло между могил, топча твердую, хрустящую корку, черное дыхание парило изо рта. Постепенно весь потьвет напился на мираже-стеклах ядовитыми, резкими красками, непонятно откуда высосанными; ведь не было здесь никакого зимназа, из радуг которого можно было их украсть. Зато на небе было жаркое августовское Солнце, и две звезды холодного огня царили над городом: тунгетитовые купола Собора Христа Спасителя словно глаза архангела мести — и потому-то все кладбищенские кресты обрели цвет Солнца, то есть, горели белым, белее льда жаром. Черное небо дарило тьмечь тропинке.

Пани Леокадия схватила за руку. Остановилось перед небольшим, низеньким огоньком-крестом. Кто-то заботился о могилке, совсем недавно табличку очистили от льда, достаточно было стряхнуть снег.

Эмилия Дарья Гвужджь

В мир пришла 9 января Года от Рождества Христова 1919

Господь забрал невинную душеньку к ангелам

27 февраля 1919

Кто сочтет слезы

За жизнь, которой и не было

Пани Гвужджь упала на колени, перекрестилась. В мираже-очках матери текли белоголубые реки. Отвело глаза. Эта табличка — эти кресты — там сарай, тут яма... Могила, в которой собирались закопать живьем, находилась не дальше пяти аршин отсюда. Сегодня над ней уже было свежее надгробие.

Пани Леокадия не читала молитв — она что-то рассказывала своей доченьке мелодичным голосом, как разговаривают с младенцами. Крест горел так, что было больно глазам. Глянуло рядом со светенью от церковной стены — полуголый человек вышел в тьвет, повернул голову, мигнул единственным глазом, слегка поклонился. Рукой в перчатке прикоснулось к краю шапки. Ерофей слегка усмехнулся и ударил сжатым кулаком в синюю грудь. Стиснуло пальцы в кулак и тоже ударило себя в грудь.

Это было время странных черных сияний, и множества вещей, творимых в тьвете, что больше похожи были на дела, что творишь во сне, во сне этом необходимые.

О сломанной копейке

— К примеру, приказчиком, канцеляристом или же счетоводом в какой-нибудь бухгалтерии.

— Но, пан Бенедикт! Да Господи же Боже! Никто ведь вас не выпрашивает! — Пан Войслав даже за сердце схватился (правда, при этом спутал стороны тела). — Мы же принимаем вас в гостях с огромным удовольствием! Дети вас любят. Сильно! И женщины тоже — им есть с кем разговаривать. Говорят, что вы их замечательно слушаете — разве не так?

— Потому что мало говорю.

— Пан Бенедикт! Если вас тревожат эти несколько сотен...

— Я должен зарабатывать, — повторило с тупым упрямством. — Я должен вернуть долго.

— Да разве я про какие сроки говорю! Или заплатить требую? Нет же!

— Вы слишком даже гостеприимны, слова не могу сказать. Но что? — месяц, два, кто знает, когда меня Шембух отпустит — так что, сидеть нахлебником, словно тетка-старуха на милостях семьи догорать? Не пойду же я требовать должность в Зиме! Вот я и подумал про все эти зимназовые товарищества — чуть ли не каждое второе имя, польское — а вы всех их знаете.

Выпило остаток настоя, отставило чашку. При этом инстинктивно тянуло на ногти: не то, что обкусанные (вовсе нет), но то, что все уже бледно-синие, без единой полоски розового под низом. Это был один из визуальных эффектов низкого потребления тьмечи в среде Края Льда с его высокой концентрацией той же тьмечи. Все время было впечатление, что потьвет с тела и одежды отличается от потьвета лютовчиков: интенсивность искажений света одинаковая, но вектор отличается. Только люди не обращали на это внимания.

— Я даже не говорю про пана Порфирия, это наверняка было бы неудобно, но, взять, к

примеру, Горчиньского...?

Пан Войслав махнул, словно отгоняя муху.

— Где же это вы, милсдарь, про деда Горчиньского слышали? Горчиньский давным-давно Круппу все продал за харбинские векселя, шестнадцать за сотню, бедненький. — Он похлопал себя по животу, дернул за бороду и глянул внимательно, словно заново человека осматривая, с явным подозрением мошенничества.

Может, он увидит это, подумало — но не отвернуло глаз, но взглядом на взгляд ответило, вдобавок голову поднимая и губы стягивая. Может, он что узнает, что замерзло, невозможно ведь так просто формы свои изменить.

Но нет — да и откуда пану Белицкому знать таинства черной физики?

Тот выпустил воздух из легких.

— А ведь все прекрасно складывается! — Прихлопнул в ладоши. — Мужчина должен иметь занятие, мужчина обязан чувствовать ценность рук своих. Если сам заработать не способен, то обречен из чужой милости, жить, словно женщина на содержании — тут вы правы! — Схватил за брелок, глянул на циферблат часов-луковицы. — Пошлю Трифона, господин Цвайгрос успеет ответить. Так что, готовьтесь, пан Бенедикт, поедем!

— Сейчас? Я же только вернулся.

— А куда это вы на рассвете в последнее время сбегаете, дорогой мой? В городе где-то завтракаете? Или красавицу какую приболтали, а? Но тогда я бы, скорее, понял, вечерние прогулки, хе-хе. Не вас первого Амур бы тут подстрелил.

Было 13 сентября, святого Иоанна Златоуста, суббота, утро после позднего завтрака в доме семьи Белицких. Ледовые лучи от летнего солнца освещали высокие окна столовой, текущие мираже-стекольные витражи. Лют вморозился назад в Ангару, благодаря чему у всех на Цветистой настроение улучшилось. У Мацуся ночью вылез молочный зуб, за него он получил от отца тяжелый полуимпериал — сейчас он светил им нам в глаза, стоя у окна и пуская золотистые зайчики. При этом он широко открывал ротик, совая язычком под щечкой; только тогда десну елозить переставал, когда в комнату входил кто-нибудь новый — верный слуга Григорий, служанка, няня, Трифон — на что Мацусь направлял в его сторону отполированную монету, щекоча по лицу теплым отражением. — У меня денезька! — объявлял он всем. — Денезька есть!

Вместе с паном Войславом поехало в кофейню Миттеля — один квартал от Главной улицы, третий этаж массивного каменного дома, над вывеской нью-йоркской Германии, вход сбоку. На лестнице разминулись с брюхатым наполовину азиатом, поспешно натягивающим шубу. — Что, сбегаете? — заговорил с ним пан Войслав. — Куда же так спешите? — Тот лишь фыркнул и галопом помчался вниз. — Ужецкий, — пояснил пан Белицкий. — Мать китаянка, но сам православный старовер, большие деньги зарабатывает на кирпичном чае, стоит где-то с полмиллиона. — Поняло тогда, в какое общество входит.

Еще перед тем, как пан Войслав успел сдать шубу гардеробщику, к нему подскочил молодой еврейчик с прилизанными черными волосами, весь накрученный нервной энергией; скорее всего, он заметил Белицкого через стеклянные двери вестибюля.

Подбежал и начал без какого-либо вступления:

— Семь тысяч пудов грязной чартушки, через три дня на ветке в Иннокентьевском Один, оплата авансом сорок процентов, мой человек берет векселя Штурма и Голубева, авизо Брухе и компания, Фишенштайн только что давал мне двадцать шесть с половиной, одну шестую табора Петрицкого, и что вы на это скажете, господин Белицкий?

— Он давал, почему вы не взяли?

— Кто говорит, что не взял? Я что, *умом бальной*, чтобы не брать, когда дают? Взял! Я вас

спрашиваю, что вы скажете, я же знаю, что на Фишенштайна вы зуб имеете.

— Но какой тут гешефт, господин Рыбка?

— Гешефт всегда имеется! — Нервничающий молодой человек потащил Белицкого в сторону, непонятно зачем, так как голос нинасколечки не снизил. — Я могу иметь следующие пять тысяч пудов на будущую субботу, и тогда смогу их продать за двадцать семь, а то и восемь. Но...

— Но к следующей субботе Шульц десять раз может объявить про открытие Холодной Дороги.

— Так вот, я бы вам продал сегодня за двадцать пять, ладно, пускай Бог меня за глупость накажет, двадцать четыре тысячи и семьсот, и тогда можете смеяться Фишенштайну прямо в лицо, и пускай зеленый червяк жрет Фишенштайна!

— Вы мне продаете чужие риски, господин Рыбка. — Белицкий без труда вырвался из объятий, толкнул двери в главный зал. — Я сегодня прикуплю ваши будущенедельные руды, а в понедельник прочитаю в «Вестнике» про открытие кежменской линии, и тогда все будут смеяться мне в лицо.

— Это вы повторите мне через неделю, когда нигде не найдете получистой чартушки ниже тридцати!

— Э, господин Рыбка, клянусь здоровьем, вы Пилсудского оплачиваете!

— Чего? Как это? Кого?

Вошло в зал. Пан Белицкий сразу же потянул к столику под гигантским зеркалом в золоченой раме.

— Где Вальдусь? — спросил он у двух печальных блондинов в мятых костюмах.

— У Цвайгроса. Читал? Это же оскорбление Божье!

— Что там у вас?

Правый блондин стукнул по газетной простыне, разложенной между чаем и закусками.

— Подпишут мир, не подпишут, но военный налог будут удерживать еще не меньше года в связи, цитирую, с необходимостью восстановления военного потенциала Империи.

— Где это у вас? А! Пока что неофициально.

— Иду к Педуцику, — понурым голосом объявил левый блондин. — Подам ему свою голову на подносе. Если Победоносцев снова отдаст Дырявый Дворец в исключительное распоряжение Тиссена, я распродаюсь. Чтоб меня лют приморозил — распродаюсь!

— Как же, как же, распродаетесь...! — фыркнул пан Войслав, устроившись на стуле рядом и махнув официанту. — Ежели бы и должны были распродажу устраивать, то сделали бы это во время забастовки шаманов. Это сколько вы на варшавских трамваях вытянули, тысяч пятьдесят? Пан старший [\[259\]](#), самоварчик сюда просим!

— Вы продали зимназо на варшавские рельсы? — вмешалось я-оно. — А там есть у кого контракт на водопровод и канализацию?

— Чего?

— Ведь как оно выглядело в городах, что раньше под Лед пошли? Трубы не меняли?

— Господин Бенедикт Герославский, — завершил формальности Белицкий. — Недавно из Варшавы прибыл. Послушайте, Уржецкий вылетел отсюда как ошпаренный — это по причине того налога?

— Последние отметки из Европы, Гамбург и все остальные биржи, акции «Банкферайн» пошли резко вниз на сорок пять крон с пятидесятые геллерами.

— Покажите-ка!

— Рубль стоит на двести шестнадцать крон с мелочевкой.

— А подумал бы кто — спекулянт великий, все в четырехпроцентных вексельных

письмах и правительственных облигациях.

— Сказал господин специалист по спуску состояний в нужник.

Печальные блондины оказались братьями Гавронами, сыновьями Якуба Гаврона из Лодзи, крестьянского сына, обогатившегося на швейных машинах и давшего образование детям в европейских школах; подавившись сливовой косточкой, он покинул этот мир пота и денег в возрасте сорока четырех лет, оставляя близнецам, Яну и Янушу, более трехсот тысяч рублей наличными плюс несколько инвестиций в Лодзи. Инцидент со сливой случился в тысяча девятьсот десятом году. До девятьсот тринадцатого братья сумели растратынькать практически все деньги. Растратив отцовские запасы, они взялись за накопление собственных, а Иркутск эпохи зимназа показался им наиболее подходящим местом для этого. В чем не прогадали. Тем временем, Ян женился и дал жизнь дочкам и сыну — росло новое поколение Гавронов. Быть может, цикл повторится заново.

За чаем с заварными пирожными, за кофе с горячим фруктовым пирогом пан Белицкий занимался здесь, у Виттеля, наполовину серьезными, «кафешечными» делами. На мгновение к столику подсел упомянутый Фишенштайн — импозантная фигура, с гривой седых волос, с совершенно седыми пейсами, в черном халате; еврей опирался на толстенном, словно древко знамени, посохе; на его лице выделялся мертвый левый глаз, который был заменен в глазнице шаром из мираже-стекла и тунгетитовым зрачком — как только он его поворачивал в полуслепом взгляде, краски и светени, проплывающие в нечеловеческом глазище, сразу же менялись. Пан Войслав поднялся, они приветствовали друг друга крайне вежливо, с привычным среди здешних купцов уважением. По-польски, русски и на идиш началась беседа ни о чем, в которой — как я- оноориентировалось лишь впоследствии, речь шла о том, кто и за какой проект подаст голос на ближайшем совещании Сибирхожето, в частности, кому и какие будут предоставлены концессии на переморозку. Братья Гавроны насторожили уши. Ни Белицкий, ни Финкельштайн не были ни директорами, ни акционерами Сибирхожето, тем не менее, оба обладали каким-то влиянием на голоса совета. Поняло, что именно таким образом делается политика в Иркутске, именно таков глас народа, и таково его влияние на приговоры власти: не посредством гордости и областной политики, но посредством голоса денег.

Когда Белицкий отошел, проводя Финкельштайна к выходу, Гавроны с охотой разьяснили те или иные аспекты, окрашивая пояснения крикливыми жалобами. Сибирхожето могло голосовать за все, что угодно, на практике же — один только Победоносцев решал вопросы, касающиеся прав эксплуатации гнезд лютов Холодного Николаевска, равно как и всей Сибири. Наиболее стойкие и глубокие гнезда находились в так называемом Дырявом Дворце, трансмутационные способности которого оценивались в пять миллионов с лишком пудом в год. *Холадницовый* концерн Тиссена совместно с обществом Белков-Жильцева получил большую часть контрактов от Военного Министерства России, в том числе, чуть ли не все контракты на зимназо, которое должно было пойти на строительство Тихоокеанского Холодного Флота.

— Одно дело, что налогами душат, — жаловался Ян.

— А налоги именно для того, чтобы честных людей ими и душить, — вторил ему Януш.

— А другое дело, что пока военные приоритеты удержатся, нам к *холадницам* не протолпиться.

— Снова цены на натуральные ископаемые под самый потолок поднимутся.

— Сороки и геологи-старатели в тайге стрелять будут друг друга.

— Судебные процессы земли заблокируют.

— Разбойников больше станет.

— И воровать будут, воровать.

— И шаманов подкупать.

— На Дорогах Мамонтов убивать станут.

— Когда на харбинской бирже зимназо стальной пробы поднимется выше семи рублей за пуд, в Подземном Море снова война вспыхнет.

— Фишенштайн умный человек, что в землю вкладывает.

— А кто когда потерял что на торговле землей? Здесь нет уже, где людей хоронить.

— Кладбищенский бизнес! А это мысль! Тысячами сюда приезжают, и что делают? Умирают.

— Вот если бы такое постановление через городскую думу провести, чтобы магистрат платил за всех бедняков.

— Да не бойся, не бойся, можно в газеты попов вытянуть и мягкосердечных жен светил наших, и кто поднимет руку против христианского милосердия? А?

Тут вспомнило об иркутских могильщиках, которые, судя по всему, и сами прекрасно управляют.

— Все не так, господин Бенедикт. Иерусалимское кладбище было закрыто еще в девятнадцатом веке; сейчас там хоронят только католиков. И, дело такое, действующее или не действующее, но *кладбище* должно держать на посту внимательных могильщиков, чтобы вписать в могильный реестр всякое вымораживание люта из под земли. Потом нужно идти за ним и собирать останки покойника, снова в могилу укладывать — такие повторные четверть-захоронения у нас имеются, в Иркутске приличное кладбище возле каждой церкви найти можно, а церквей здесь хватает. Видите ли, та материя, что с морозниками по городским улицам шествует, это не одна только вода, то есть — лед, но и всякие случайные вещи, что он собрал морозом своим из-под земли. Бывают и куски покойников, под крестом захороненных, если аккурат там через них прошел. Неужто хотели бы вы матушку свою, святой памяти, растасканную по крышам и тротуарам увидеть хотели? Так, именно за это могильщикам мы и платим.

Я-оноразглядывалось по залу. Предобеденное субботнее время было причиной того, что гостей пока что можно было пересчитать по пальцам. И в большинстве своем все они, по-видимому, были поляками. Не заметило к тому же ни единой женщины.

Под солнечным пейзажем напротив сидел рыжий мрачный тип с фигурой Лонгинуса Подбипенты [\[260\]](#), разве что с удивительно маленькой головой, прикрепленной к длинной, тонюсенькой шее, в данный момент, низко свешенной, носом в кружку. Но глаза под гневно настороженными бровями прослеживали всякое движение в кофейне, и, видно, ничто не уходило и от ушей рыжего; знаком повышенного внимания был алый блеск в радужках и лапищи, сотворенные для топора, крепче сжимались на полупустой кружке.

— Это пан Левра, наш местный графоман, — шепнул Белицкий, вновь усаживаясь возле исходящего паром самовара. — Советую не подходить.

— А что, кусается?

— Если прочтает что-нибудь хорошее, но не свое. — Пан Войслав тихонько рассмеялся. — И уж ни в коем случае не упоминайте в присутствии Левры Вацлава Серошевского, ни каких-либо его книг. Левра до конце дней своих ему не простит. Вы представляете, он надумал, что станет пророком [\[261\]](#) Новой Сибири, но, чего бы не захотел он написать, вечно Серошевский опережает его на полгода.

Двумя столиками дальше попивал кофе широкоплечий бородач в вышитой крестиком рубашке. Некий Горубский, единственный здесь русский. А под часами за ним сидел доктор права Зенон Мышливский, секретарь господина Цвайгроса.

— Он будет стоять у дверей и всех приветствовать, — вполголоса продолжал пан

Войслав. — Представьте ему вежливо и смотрите, подаст ли вам руку; если подаст, то все хорошо, входите. Присядьте тогда где-нибудь под стенкой и сидите, слушайте, пока не сломаем. После этого можете заговаривать про должность.

Потерло чешущийся под кожей верх левой ладони.

— Я надеялся, что вы меня кому-нибудь отрекомендуете — быть может, кому-нибудь от Круппа.

— Ой, именно это же я и делаю! Если вы войдете — то никакой рекомендации уже и не надо, спрашивайте и просите смело. — Тут он громко икнул. — Было бы приличным, если бы я сам вам...

— Ну что же вы!

— Да нет же, нет; у меня ведь в фирме десяток должностей, на которых мог бы вас попробовать. Только, видите ли, время такое, если бы не Пилсудский, кто знает — но как раз сейчас пришлось отстранить людей от работы на несколько недель. Так что...

— Вы заставляете меня краснеть, пан Войслав.

— Да нет же, нет, нет, — махнул тот платком, улыбаясь причине хлопотливой ситуации. Отхлебнув чая, глянул на часы. — Половина двенадцатого, сейчас начнут сходиться.

И правда, постепенно гостей становилось больше: вошел один, другой, третий. Все тут знали друг друга; сначала переходили от столика к столику, обмениваясь словами приветствия, только после того находили себе место и щелчком пальцев подзывали официанта.

На мгновение, кого-то разыскивая, вскочил торговец мехами Козельцов. Но, увидав Горубского, он покраснел и начал трястись, словно лихорадочный; опершись обеими руками на посеребренной трости, театральным шепотом выплевывал грубые оскорбления.

— Что это с ним? — спросило я-оно.

— Козельцов с Горубским были самыми сердечными приятелями, вместе держали большую часть торговли государственными мехами.

— Государственными?

— То есть, из ясака [\[262\]](#). Но понравилась Козельцову дочка Феликса Гневайллы, втюрился, бедняга, по самые уши. Приветствую, пан Порфирий, приветствую!

К нашему столу присел Порфирий Поченгло.

— Когда же это было? — продолжал пан Белицкий. — Далекие времена — кажется, в девятьсот седьмом.

— А что, этот Горубский к ней тоже клинья подбивал?

— Нет, нет. Вот только пан Феликс Гневайлло был шляхтичем надменным, он и не собирался выдавать дочь за человека не своей веры [\[263\]](#). Тогда Козельцов перекрестился по римскому обряду. Это ведь все происходило после указа о религиозной терпимости Николая Александровича, так что право совершить такое обращение он имел; но Столыпин быстро эту религиозную лавочку прикрыл. Но — случилось, Козельцов сделался римо-католиком, мужем польки, и сам быстро ополячился. Горубского чуть кондрашка нехватила. Он пытался уговаривать бывшего кума и так, и сяк, приводил к нему попов ученых, дьяконов, ба, даже пытался Гневайлловну против бывшего приятеля настроить — все понапрасну. Рассорились они страшно. Чем больше Козельцов становился католическим, тем сильнее Горубский — православным. Чем больше Козельцов польским, тем сильнее Горубский — российским. И так во всем. Козельцов скупает крупный рогатый скот, Горубский, аккурат, продает его же, пускай даже себе во вред. Козельцов оттепельник, так Горубский — упрямейший ледняк. Со временем они явно как-то бы сошлись и помирились, но тем временем пришел Лед и — замерзло.

Пан Поченгло, соглашаясь, покачивал головой. Теперь уже все следили за нарастающим скандалом между Козельцовым и Горубским.

— Мои земли, уже с год обещанные! — выплевывал польские слова Козельцов, правда, не слишком складно.

— *А па-русски уже и не разговариваешь?* — устыдил его Горубский, даже не подняв головы от чашки.

— Да если бы ты на этом хоть что-то заработал!

— А пуцай у тебя не болит, моя выгода, мои деньги.

— А, реакция проклятая, все вы собаки на сене, и сам не гам, и другому не дам!

— Да идите, идите, делайте, что хотите — только не при моей жизни на этом свете! И не детей моих! Закройтесь в каком-нибудь хуторе посреди тайги, как те скопцы или другие кривоверы, лишь бы подальше, где никого своими гадостями не совратите, а там — чего хотите, со свиньями парьтесь, топите в печке рублями да иконами — или что там самые ярые прогрессисты для света божьего планируют...

Козельцов был уже весь багровый словно китайский фонарь, казалось, будто подбрита по-сарматски голова и вправду дымится дымным потьветом.

— Пан — ты есть хер, зверь и пропаганда!

— А ты на себя посмотри! — гоготал Горубский. — Или будешь пытаться сделаться надо мной паном?

Компания за столом с трудом сдерживала смех.

— Может, кто их успокоит, — сказала *я-оно*. — Они же сейчас друг на друга бросятся.

— Да ну, одни слова.

— Что-то они у них слишком политикой пахивают.

— Козельцов замерз большим демократом, — буркнул Ян Гаврон, сунул кусочек сахара под язык, глотнул чаю и тут же сменил тему. — А то, что вы говорили про трубы — оно может быть и правдой. *Тунгусская Холод-Железопромышленная Компания* продала в силу петербургского контракта четыреста тысяч пудов зимназа с высоким содержанием угля. Но с магистратами оно вечно торги, или кто там публичные заказы контролирует — нужно хорошенько подмазывать, к чиновникам подлизываться. Разве что те или иные домовладельцы или водопроводные компании сами начнут замену проводить. Хмм, варшавские трубы — и с чего вы все это взяли?

— Потому что все в стенах лопается, вода в кранах замерзает.

Господин Поченгло передвинул самовар и склонился над столом.

— Прошу прощения за вчерашний день, пан Бенедикт, дела. О чем вы хотели...

Я-оно скривилось.

— Не здесь, не сейчас.

Грохнуло. Это лопнуло молочно-белое стекло в двери, с такой яростью Козельцов ею треснул, выбегая из кафе. Горубский только поудобнее расселся на широкой софе и попросил принести ему водки.

— Зачем он вообще сюда приходил?

— Видимо, именно за этим.

Откусило шоколадный сухарик.

— И часто подобные истории случаются?

— Какие?

— Ополяченных русских.

Поченгло раскрыл свой серебряный портсигар, украшенный гербом тигра и соболя, угостил всех за столом; закурили; *я-оно* — тоже.

— Пан Бенедикт, будучи из Королевства, вы лишь одну правоту между поляками и русскими замечаете. — Он затянулся, закинул ногу за ногу, вздохнул. — Помню ваше изумление в Транссибе. Но вы живете в романтическом обмане! Думаете, будто поляки по божественному указанию сами не способны быть угнетателями и кровопийцами? А взять хотя бы здесь, в Сибири — инородцы прекрасно помнят польского пана, Яна Кржижановского [\[264\]](#), который в семнадцатом веке так огнем и мечом тунгусов истреблял, управляя по наихудшим обычаям Лаща и Стадницкого [\[265\]](#), что тем самым вызвал самый настоящий бунт местного населения в Охотске.

— Помнят?

— Это память народа, а не отдельных людей. Разве мы сами не припоминаем германцу Грюнвальда? — Господин Порфирий провокационно дунул табачным дымом над столом. — Скажу вам, если бы История обернулась иначе, это мы бы правили русскими от Московского княжества до Черного моря, и это русские выписывали бы сейчас под портретами короля Польши и Литвы трусливые жалобы на правительственную колонизацию и истребление народа, а их карьеристы наперегонки принимали бы католическую веру да обряжались бы в польское платье.

— Это ваши мечты.

— Почему же! Сибирь — вот вам наилучшее доказательство. Всегда имеются деформирующие картину какие-то события да объективные условия, которых нельзя изменить; так что трудно взять человека и человека, один народ и другой — и сравнить: тот более талантлив, тот менее; этот вот справился, а этот — нет; это вот — материал для строительства Империи, а эти лишь по случайности четвертью земного шара сотрясают. Но если и был вообще когда-либо и где-либо такой полигон Истории, пустое поле, Историей не тронутое, одинаково тяжкое для всех, со скрытыми шансами величайшего успеха для способных и сильных волей, и с неизбежной, смертельной карой для глупых и ленивых — то Сибирь, как раз, таким полигоном и является.

...И вот глядите теперь: нечто из ничего. Здесь не было ничего, ни культуры, ни промышленности, ни пригодных для этого людей. Еще век-полтора назад вы могли проехать через *области* не встретить хотя бы одного грамотного человека. Так на кого можно было опереться, кем должны были пользоваться хотя бы и имперские власти, если нужен был человек интеллигентный, образованный, самостоятельный? А ведь именно таких сюда и начали ссылать по политическим делам! Так что вначале все эти ссыльные начали заполнять все посты в органах государственной и приватной власти, на которые в Сибири не хватало добровольцев. А среди ссыльных, если не считать россиян, больше всего было поляков. Приговоры заканчивались, они же частенько оставались и поселялись здесь без судебного принуждения *выдварения*, здесь женились или вызывали сюда жен; нарождались новые поколения; а из родной страны приезжали новые люди, за работой и за возможностью обогащения — уже по собственной воле, ради выгоды! И они обогатились! И построили! Нечто из ничего — вот какой могла бы стать Польша, если бы История сыграла с нами честно.

...Сами поглядите: пан Игнаций Собещаньский, тридцать с лишним миллионов рублей, первый салон Иркутска, десятки шахт от Енисея до Амура, кресло о деснице Победоносцева, президент Угольной Конвенции, вице-президент Сибирского Государственного Совета по вопросам Топлива. А когда прибыл сюда во времена Первой Революции, в тысяча девятьсот пятом, то в кармане имел лишь диплом инженера Петербургского института. Он поставил себе цель сделать карьеру, и до тех пор лазил по горам и высотам, до тех пор по рекам шастал и в земле копался, пока не нашел залежи железа, меди, угля, вольфрама. Сейчас он на работу

принимает исключительно поляков. Бывали вы у него в усадьбе? Живой «Пан Тадеуш» [\[266\]](#)!

...Поглядите: пан Казимеж Новак, через жену вошедший в семейство Козелл-Поклевских. Говорят, что поляки споили Сибирь — Козелл-Поклевские завоевали русских сибирской водкой. Зайдите в самую отдаленную факторию, самую забытую станцию в тайге — на столе «Пан Поклевский» и «Пани Поклевская». Тюменские склады, падунские и здешние, александровские, винокурни; фабрики свечей и тьмечек, кислот и фосфора. Это они построили пароходное речное сообщение за Уралом. А сколько католических храмов, сколько польских школ возвели, сиротских приютов, благотворительных кухонь...!

...Инженер Шимановский из Компании Дебальцевской Механической Фабрики, миллион двести; пан Вицовский из Нового Иркутского Банка — два миллиона; господа Бецкий и Вартыш — паи в угле, нефти и сапогах Спасовича, по полмиллиона и больше; инженер Решке из Северной Мамонтовой Компании — паи в полдюжине холоадиц, двадцать миллионов годового оборота на одном только тунгетите; пан Масйемлов — тихоокеанский импорт-экспорт и колониальные склады, после открытия Кругосветной железной дороги будет стоить не менее шести миллионов; пан Отремба — король Иркутского Солеваренного Завода, несмотря на громадную концентрацию там лютов, миллиона полтора на усолевских солеварнях будет.

...Только все мы здесь живем как глисты в чуждом организме Государства — а представьте-ка себе Государство из нашего могущества и ради нашего могущества построенное! Разве не хотели бы вы такой Истории?

Не за тем я-оносюда пришло, не такими были намерения, не такая мысль была ведущей — только теслектрический ток был слишком сильный, органически чувствовало ту вибрацию, тряску от каждой клеточки пальцев, быстро стучавших по столешнице, до каждой нервной клетки мозга, из которой черные, словно тьмечь, микроскопические молнии стреляли под черепом, выбирая случайным образом из лотерейного барабана образы бесконечных возможностей — ни правдивых, ни фальшивых.

— Нет! — рывкнуло я-оно. — Не хочу такой Истории!

— Ого!

— Польское могущество вместо могущества российского! Или же, как вам угодно, могущество сибирское — ведь вы же *абластник*, вы тут хотите сибирскую державу построить, разве не так?

— Так!

— А какая разница, кто над кем власть держит, и на каком языке разговаривают чиновники? Снова будут жандармы противосибирских бунтарей по ночам ловить, снова байкальские восстания станут в крови топить. И не говорите «нет»; вы уже все это придумали, и в мечтах о могуществе со всем этим согласились — вижу же — замерзло.

— А вы бы хотели — как? Без власти? Без закона? Да вы у нас анархист!

Сразу же вспомнилась ссора в тайге между доктором Конешинным и *Herr*Блютфельдом. Раздраженно покачало головой.

— Нет! Должен быть порядок и сила для защиты перед теми, что намереваются нас поработить. Но не может быть никакой державы, никакой власти, что с земных тронов диктовала бы, каким должно быть добро и зло — ничто существующее не должно стоять над человеком.

Господин Порфирий лишь сердечно рассмеялся.

— А вот тут вы в белый свет, как в копеечку! Ученый логик! Государство и не-государство! Власть и не-власть! Свобода и не-свобода! *Атлична!* Вот когда вы придумаете, как подобные парадоксы реализовать, обязательно мне сообщите, обязательно воспользуюсь

рецептом.

Господин Порфирий допил чай, извинился и отправился в туалет. Остыло, быстро сделалось холодным. В главном зале кафе накапливались очередные гости, даже не присаживаясь, обмениваясь приветствиями и сплетнями в небольших группках. Всего их было более сорока, все при животиках, хорошо одетые, с золотыми и тунгетитовыми перстнями на пальцах, с бриллиантами и пуховым золотом, демонстрирующие богатство, что в Европе показалось бы неприличным и совершенно вульгарным. Говор польской речи наполнил кафе. Затушило папиросу. На часах было без десяти двенадцать. Вот сейчас бы порцию тьмечи, подумало, как сейчас пригодилось бы теслектрическое динамо — заморозиться на этот час-два. Ведь если что странное в неподходящий момент стукнет в голову...

Вернулся Поченгло. Я-оносхватилось с места и захватило его отдельно, у стены между картинами.

— Как-то не было оказии, — начало сдавленным голосом, с глазами, обернутыми на акварельную панораму Байкала, — а ведь давно должен был это сделать: мне хотелось бы извиниться перед вами за свое поведение той ночью в Транссибирском Экспрессе. — И только высказав это, смогло вернуться взглядом к господину Порфирию.

Тот странно глянул из-под своих ястребиных бровей, светеневые отблески мелькнули в голубых глазах. Если и скрыло стыд, то не под маской безразличия — Поченгло явно размышляет сейчас над тем, откуда этот гнев, причем тут хмурная, враждебная мина на лице Бенедикта Герославского.

— Так?

— Прошу прощения. Не хочу, чтобы между нами оставалась хоть какая-нибудь обида.

— Я никакой обиды не держу, — осторожно ответил тот.

— Не желаю никакой обиды, поскольку вынужден просить вас о другой вещи, весьма для меня важной. Ведь вы бываете у панны Елены Мукляновичуны.

— Ах!

— О чем вы меня тогда спрашивали, вы же помните, сердечные дела и так далее. — Попыталось распутать на лице мимические узлы, но, видно, безуспешно. Во всяком случае, взгляд Поченгло выдержало, не мигая. — Дадите ли... дадите ли вы мне слово чести, что — в отношении панны Мукляновичуны — что вы думаете о ней... что ваши намерения... серьезны?

Тот замялся.

— А если и дам?

— Тогда вас благославолю. Но если нет, или же — если тут замерзнет ложь...

— Но почему тогда вы сами не... Ах, ну да, *le Fils du Gel, c'est tres facheux* [\[267\]](#). Вы думаете ждать? До каких пор? Она уедет, а вы...

— Так как оно будет?

Поченгло приложил сжатую в кулак ладонь к сердцу.

Кивнуло.

— Это дьявольский договор, — сказал он, спустя какое-то время. — И это не договор в отношении женщины, хотя — двое мужчин и женщина, тут всегда черт замешан. Но вы прекрасно знаете, что я ничего более так не желаю, как Оттепели и изменений, освобождения Сибири. А после Оттепели — после Оттепели будет новый мир, и будут новые правды. И вот вы, заключаете договор о женщине — и уже знаете, о чем не станете уговаривать отца. Разве пристойно такое — продавать Историю ради женского шарма?

— Вы слишком долго живете в Краю Лютов. В мире Лета честь нам тоже ведома.

Тот снова глянул как-то странно.

— Но вы меня, пан Герославский, все же удивляете. Есть в этом какое-то безумие, следовательно — тайна. — Под серьезным взглядом он удержался от смеха, которым намеревался разрядить ситуацию. — Так вы об этом желали со мной переговорить в «Варшавском»?

— Нет.

Часы пробили полдень.

Пробило полдень, и сразу же все поднялись из-за столов, метрдотель вместе с паном Мышливским встал у двойной двери в глубине зала, первый из них повернул дверную ручку и согнулся в поклоне. За дверью заволновалась красная занавесь, он сунул в нее руку и отвел материал, указывая путь. Гости подходили по очереди, обменивались парой слов с Мышливским и исчезали за карминовыми складками. Пошли братья Гавроны, пошел господин Поченгло, пошел пан Белицкий. Отметило редактора Вульку-Вулькевича, проходящего в двери после краткого обмена словами с доктором права. Вскоре, если не считать купца Горубского и графомана Леверы, в зале некого не осталось. Облизало губы, провело пальцами по покрывающей череп щетине (теперь уже свербела кожа на голове) и подошло решительным шагом. — Да? — ободряюще улыбнулся пан Мышливский. — Бенедикт Герославский. — Бенедикт Герославский, — повторил тот, словно должен был услышать фамилию из собственных уст. Следовало ли сказать что-то еще? Необходимо ли пройти испытание с первого раза? По каким критериям Мышливский отделяет тех, что входят, от тех, что войти не могут? Тут действует ритуал; обязует традиция. Но ведь пан Войслав никаких инструкций не дал. *Представьтесь ему вежливо и следите, подаст ли вамруку.* Тем временем, привратник стоял молча, не подавая каких-либо жестов, явно чего-то ожидая. Поклониться ему еще раз? Щелкнуть каблуками? Протянуть правую руку? Ответить — обязательно. Но что сказать? Что меня сюда привел Войслав Белицкий? Что я сын Отца Мороза? Сказать, что не знаю, чего сказать? Может быть, просто следует попроситься. Но тогда Белицкий должен был предупредить! Стояло, словно каменная статуя, плясь с не очень-то приятным задором прямо перед собой, даже сдерживая дыхание, и только теслектрический ток, струя жгучей минус-тьмечи двигалась под поверхностью тела, в жилах и по нервам. Тлик-тлак, тлик-тлак, чмокали развеселившиеся часы. Метрдотель делал вид, будто и не смотрит на разыгравшуюся перед ним сцену, обернувшись вполоборота, с пальцами на красных драпри. С каждой секундой нарастало принуждение — та внутренняя сила, что приходит снаружи и не имеет с человеком ничего общего — принуждение безличное, натягивающее мышцы лица, по-собачьему растягивающее рот, разжигающее огонь под кожей. Вот сейчас я-оноослабится просящей прощения улыбочкой, вот сейчас стыд возьмет меня под свой контроль. Стояло, словно статуя. Пан Мышливский протянул раскрытую ладонь. И только через какое-то время отреагировало, хватая ее и резко пожимая. Метрдотель сделал приглашающий жест. Вошло в мягкую красноту.

За ней была узкая, спиральная лестница, ведущая на этаж выше, а у ее вершины — другие двери, раскрытые настежь, и уже только за ними — обширный клубный зал, по величине такой же, как и зал кофейни ниже. Центральное место здесь занимал стол, составленный в виде буквы «Т», за которым уселись гости — члены клуба. Посредине поперечной части стола, на фоне окон, выходящих на улицу Главную, сидел старец, обезображенный многочисленными обморожениями, с приставленной к уху трубкой — наверняка, сам пан Цвайгрос. Так же отметило там господ Поченгло, Грживачевского и Собещаньского. Более десятка человек заняло местана стульях, оттоманках и лавках, размещенных под стенками, между горшками азалии, араукарии и рододендронов. Живые домашние растения — в Городе

Льда немалая роскошь. Присело под белыми цветами, рядом с Вулькой-Вулькевичем. Хотелось сразу же задать ему вопрос, но пожилой редактор, отведя авторучку от страниц блокнота, прижал ее к губам, приказывая молчать. Действительно, никто ничего не говорил, слышен был только посвист ледяного ветра из-за окон да приглушенное туманом эхо барабанов. Глянуло на стену над головой — там висел портрет мужчины в костюме семнадцатого или восемнадцатого века. И вообще, зал был украшен множеством картин, как портретами, так и пейзажами сибирской природы или жанровыми сценками на ее фоне. Прочитало гравированные надписи на латунных табличках рам ближайших картин: Иоахим Лешневский, Фердинанд Бурский, Леопольд Немировский, Генрик Новаковский, Станислав Вроньский. Может, это были признанные художники, но, может, соответствия Леверы в сфере кисти, трудно было сказать. Тождества лиц на портретах и не пытались угадывать. Не слишком выкручивая шею, прочитало подпись на табличке справа: *«Повелитель Мамонтов — Кароль Богданович — 1864–1922 — Его уголь, Его холодное железо»*. С портрета глядел приземистый, сидящий мужчина с короткой шеей, массивной головой, крепко сидящей на плечах, с подавшимся назад лбом, с усиками и остроконечной бородкой над жестким белым воротничком и черным галстуком.

Пан Мышливский закрыл дверь. Все встали, пан Цвайгрос прочитал молитву. Все громко ответили: «Аминь». Уселся. На ногах остался только Цвайгрос, опираясь костистой ладонью о стол. Он коротко поблагодарил всех за прибытие, известил о трагической смерти одного из членов клуба, попросил сделать щедрые пожертвования для благотворительного общества имени ксендза Шверницкого (в этом месяце основной целью было спасение промороженной Польской Библиотеки), после чего отдал голос председательствующему, пану Собещаньскому. Инженер Собещаньский прочитал с листка три проекта постановлений, которые должны были быть приняты клубом; среди всего прочего, речь шла о каких-то статьях, порочащих бургомистра Шостакевича, и о расхождении «польских промышленных кругов Сибири» с действиями японцев Пилсудского. Это последнее вызвало довольно резкий обмен мнениями между несколькими членами клуба. Вулька-Вулькевич все тщательно записывал.

В то время, как за столом обсуждали очередные пункты повестки дня, свободная мысль оторвалась от настоящего момента и вернулась к недавним событиям у двери. Если это было испытание — то в чем оно заключалось? И как я-оно этим испытанием справилось? Не делая ничего, ничего не говоря, торча перед Мышливским словно мертвая кукла. Неужто правильной реакцией было именно отсутствие реакции, то есть, отказ от нее? Не слово, но отсутствие слова? Не жест, но отсутствие жеста? Не совершенное — гораздо важнее совершенного. Но, о чем могло это несовершенное могло свидетельствовать? Если вошел тот, кто не просил, не кланялся, не домогался — то отгоняли ли тех, кто просил, настаивал? Видно, дело не в этом. Пан Мышливский посматривал взглядом оценивающим, просверливающим душу — старый лютовчик — доктор права и практикующий адвокат, понимающий в болезнях людского характера; характера, что на землях Льда является надежной и измеряемой величиной, словно температура организма или же пространственный размер материального предмета. Нельзя тут было не вспомнить прокурора Петра Леонтиновича Разбесова. Сказки! — воскликнуло про себя. Да как же это? — минута, две, никаких слов, глянул — и уже знает? Уже познал человека? Сказки! К тому же, до сих пор чувствовало в себе приливы теслектричества, на рассвете откачанного насосом Котарбиньского. Вот если бы наоборот, накачаться тьмечью, если бы заморозиться — ну, тогда, возможно, Мышливский чего-нибудь в человеке и заметил. Но сейчас, в развилке между Бенедиктом Герославским и Бенедиктом Герославским? Кого, собственно, он увидел?

Кого пропустил через порог? Я-ононервно почесывало край ладони.

Проголосовав за постановления, предложенные инженером Собещаньским как председателем, члены клуба приступили к обсуждению главного вопроса собрания, то есть — положения по вопросу проекта реформы горного права в губерниях Льда, заявленного премьером Струве. До сих пор в Империи действовал принцип, в соответствии с которым собственность на землю включает и все ее натуральные богатства, а земли, принадлежащие государству (то есть, России Романовых, но не самим Романовым), остаются открытыми для горного дела. Теперь все это должно было измениться. Петр Струве собрался национализировать Дороги Мамонтов. Тут уже за столом разгорелись настоящие дебаты, в ходе которых кулаки стучали по столу, все друг друга перекрикивали, а председатель стучал по бокалу, чтобы успокоить наиболее разошедшихся — что никакого результата не давало. Некоторые из сидящих под стенами подходили к членам клуба, шептали им что-то на ухо; обменивались какими-то бумагами. Клуб в отношении предложения Струве был единодушно настроен против; радикальные расхождения наблюдались по вопросу противостояния проекту. Поскольку он одинаково бил по всем зимназовым промышленникам, независимо от их национальности, фракция, в которой лидером был Порфирий Поченгло, нажимала на то, чтобы воспользоваться этой оказией для формирования всеобщего фронта за отделение, стремящегося, по крайней мере, к объявлению экономической независимости Сибири. Фракция роялистов не желала слышать о каких-либо подобных «провокациях в отношении императора». Полоноцентрическая фракция устами Игнатия Собещаньского ставила вопрос о независимости Польши в контексте независимости Сибири — увеличатся или уменьшатся шансы первого, благодаря второму? и в соответствии с какими геополитическими планами все это учитывать? Но были и довольно многочисленные голоса со стороны более осторожных членов клуба, в основном, из старого поколения, которые сомневались в возможность проведения каких-либо глубинных изменений подо Льдом — «А хотим ли мы на самом деле избавиться от Льда?» — и опасались угрозы со стороны Японской Империи в том случае, если армии Империи Российской покинут Сибирь. Кто нас тогда защитит, ободранцы Пилсудского? Поченгло стучал мираже-стекольной пепельницей по столу и громко заявлял: — Государство! Государство! Некоторые курили — я-онотуже вытащило папиросу.

— И ведь не признаются в этом, — язвительно заметил редактор Вулька-Вулькевич, гневно дергая за галстук-бабочку, завязанный высоко на горле. — Буржуи лицемерные! Я сам мог бы пальцем показать вам тех, кто давал деньги Пилсудскому и на старый ПеПеЭс. А теперь, когда они потеряли сотни тысяч по причине закрытой Кежмы, никто не признается.

— То есть как это, крупнейшие капиталисты оплачивают социалистов?

— Естественно! А кто? Ведь не бедняки же, у которых и на хлеб нет. А с нападений на поезда массовую вооруженную борьбу не профинансируешь.

— Но где здесь логика? Ведь они оплачивают собственное уничтожение!

— Живете в его доме, а все никак не научились отличать карикатуру на буржуа от буржуа настоящего! Пан Бенедикт, в большинстве своем все они хорошие люди.

— Не понял?

— Вот что плохого вы можете сказать о своем хозяине? Разве у него не доброе сердце? Разве не любит он людей? А деньги имеет. Так почему бы ему не финансировать борьбу за выпрямление Истории в сторону всеобщей справедливости? Разве не больно ему от неравенства, разве не стыдится он своего богатства в отношении чужой нищеты?

Я-оноглянуло на пана Белицкого, как раз выдвигавшего по какому-то вопросу энергичные аргументы; солнце играло в бриллианте *mijnhheer* Ойдеенка.

— Он...?

— Я не говорю, что конкретно пан Войслав — но именно такие люди, именно такие. Вы думаете, что если кто крупные деньги заработал, то, кем бы перед тем ни был, в силу волшебного заклęcia, он сразу же становится реакционером? Умение делать деньги никак не связано с политическими вкусами. Такие люди угнетают, не зная того, что угнетают, и свято веря именно в такой мировой порядок. Согласен, наибольшие лицемеры могут, обогатившись, действовать по причине малого, глупого страха, вопреки своим убеждениям, тем более, если поверят в карикатуру на социализм, в различные ленинские да троцкистские видения классового террора — но только глупость, нечестность и лицемерие редко когда идут в паре с характером, направленным на успех в делах. Среди свежее испеченных российских миллионеров вы найдете больше конституционных демократов и социалистов Струве, чем среди мелких помещиков да мещанства, не говоря уже о необразованном, суеверном крестьянстве. Вы еще спросите, сколько скупых и набожных евреев жертвует — не на популярную филантропию, но на те или иные социальные течения! Почему? Зачем? А потому что все они хорошие люди.

Он тоже закурил; я-оноподало ему огонь.

— А второе обстоятельство, пан Бенедикт, таково, что Пилсудский сейчас ведь не за пролетарскую революцию сражается, а за Польшу. Да и ПеПеЭс... Впрочем, за последние годы ситуация в партии существенно поменялась. Снова они дерутся за имущество, вырванное после раздела, и арбитраж Бюро Социнтерна никак не может их помирить, через двадцать лет взялись они за грудки по причине типографии да кучи книжек... Может, вы читаете листовки или краковскую прессу? «Молодые» в давнем Королевстве и Галиции сильно схватились за вожжи. Революционная Фракция не слишком знает, как встать между ними и Пилсудским. А Пилсудский даже не желает создавать здесь новую партию, он только ожидает возможности воспользоваться военными силами. Но пока Мороз держит все от Тихого Океана до Одры, нет никакой разницы между одной тщетной надеждой и другой.

Я-онов задумчивости затянулось дымом. Хмм, не приняло во внимание, что в ППС схизма не меньше, чем у мартыновцев. А собственно, из какого политического крыла был тот безухий варшавский пепеэсовец? Может, он вовсе и не был пилсудчиком; может, именно потому их люди в течение многих лет не могут добраться до Отца Мороза, что здесь, на месте Пилсудский блокирует им доступ, перехватывает посланцев. Грызутся между собой.

— А скажите-ка мне, пан редактор, какая фракция в ППС желала бы себе такой вот Оттепели: не западе — до Днепра, не дальше, Россия вся подо Льдом, но вот Япония — свободная. По желаниям Шульца: чтобы здесь лютов оставить в покое, не нарушать Льда. Чья это политика?

— А с каких это пор существуют политические направления Оттепели? Если бы кто-то мог о таких вещах решать...! — тут он отпрянул, но тут же взял себя в руки. — Это к вам с такими предложениями приходят, так? Отец Мороз и его сынуля, ну да. — Редактор побарсучьи зашевелил усиками. — Хмм, были об этом статьи в «Рабочем», в «Трибуне», кажется, и в «Свободном поляке» — но, понимаете, только из тех принципов принципе, как обсуждаются все направления событий, например, смерть царя, балканская война, революция на Западе или братоубийственное безумие Вилли, Никки и Фердинанда [\[268\]](#). Вот тут надежды «молодых» весьма отличаются от надежд «старых» и Пилсудского.

...Эти первые рассчитывают на полную Оттепель, то есть, прежде всего, в России, ведь таким образом рабочая революция вспыхнула бы по всей Империи — а что на польских землях, то при случае, и что при этом, из всего этого еще и родилась бы независимая Польша, так это вообще уже дело другое.

...Вторые рассчитывают политические шансы иначе: во-первых, дело не в том, чтобы освободить только захваченные Россией земли, но всю Польшу; сама по себе Оттепель не изменит политики Габсбургов и Гогенцоллернов; во-вторых, нет никакой уверенности, что Россия, продвинутая вперед в Истории, войдет в Революцию и социализм, желающие даровать свободу поработенным народам Империи, а не, к примеру, сделается еще более могущественной Империей, поскольку станет современной, управляемой по принципам Бисмарка. Государство! Держава! Понимаете? Государство все переживет.

— Так.

— И такой вот аргументацией Пилсудский, в конце концов, убедил Перля и товарищей из ФР, из Боевой Организации и Стрельцов в самой Польше.

— И таком вот образом Юзеф Пилсудский сделался ледняком, — вздохнуло я-оно. — Он защищает ледовую Россию, разве не так?

— Ну-ну, не шутите так, молодой человек, — раздраженно вспыхнул редактор-коротышка. — Это человек, у которого, по крайней мере, имеется конкретный план, и который много лет не останавливается в его реализации. Он знает, чего хочет, он знает, как этого достичь, и он все делает ради этого. О скольких наших политиках из подвалов да идеологах из кофеен вы можете такое сказать? Сколько из них вообще верит, будто Польшу мы можем выстроить, создать, выворотить, добыть собственными руками, а не благодаря счастливым предопределениям судьбы, удачному расположению звезд, какой-нибудь фатовой войне между Тройственным Перемирием с Антантой, или же, благодаря капризу чужих держав, которым, ради того, любой ценой нужно подольстить — или, вообще, благодаря какой-то магической силе Истории? А? Но понимают ли Пилсудского люди? Ценят ли? Ха! — Он фыркнул и, передвинув папиросу в другой угол рта, сгорбился над блокнотом.

По прошествию часа с лишним проголосовали позицию членов клуба в отношении горного права; Поченгло проиграл, победила фракция, стоящая за сухой протест, за письмо с инструкциями петербургским советникам и за ожидание того, как развернется ситуация. Но тут же выяснилось, что господин Порфирий нисколько не собирается слагать оружие, это была всего лишь увертюра к истинной битве, которую пришлось ему теперь провести по вопросу, рассматриваемому клубом по его собственной инициативе. Дело в том, что Поченгло от своих людей (скорее всего, коммерческих агентов в Америке) получил информацию, будто бы конкурент Гарримана с Уолл-Стрит и тамошний стальной и медный магнат, Джон Пирпонт Морган, отправил морским путем через Сан-Франциско и Владивосток посольство с целью блокировать работы над Аляскинским Тоннелем и Кругосветной Железной Дорогой — подключение через такую дорогу Аляски и Америки к Сибири стоило бы Д.П. Моргану целого состояния по причине потерь на бирже, в контрактах и монополиях на сырье. Выкупая двадцать лет назад от Карнеги *U.S. Steel*, он заплатил четверть миллиарда долларов; сегодня концерн стоил больше, чем все богатства России вместе взятые — в этих сферах деньги управляют политикой, а не наоборот. (*Я-оно* подставило уши). А Кругосветная Железная Дорога была ключевым предприятием для триумфа идей областничества. По чисто экономическим причинам Дорогу поддерживал Победоносцев, да и Шульц-Зимний, ясное дело, с охотой видел большую зависимость своего генерал-губернаторства от Европы. Иное дело было с императором и придворными, и вообще ледняками с Большой Земли. Известны были прецеденты миллионных взяток, меняющих курс российской политики. Морган мог позволить себе подмазать и на большую сумму. И ему вовсе не нужно подкупать орды чиновников и придворных советников; достаточно обеспечить себе хорошее отношение Распутина. (То, что управляет царем — сонный кошмар и самурайский меч — не обладает логикой выше божественной прихоти

самодержца). Господин Поченгло весьма серьезно излагал, что чистый расчет прибылей заставляет зимназовых предпринимателей приложить все усилия для того, чтобы сделать невозможной миссию Моргана по установлению контакта с мартыновцами, а так же для защиты строительства Тоннеля. Его спросили, какие конкретно действия он имеет в виду. Тот ответил, что таковые были бы в компетенции секретного комитета, созданного для этой цели клубом. — Позор! — раздались восклицания. — За кого вы нас принимаете, за разбойников, что ли! Побойтесь Бога!

— И так далее, и так далее, долго это продолжалось, хотя никаких конкретных действий Поченгло больше не назвал, и диспут остался на уровне оскорблений и обобщенных воззваний к приличиям, христианским добродетелям и тому подобному.

После того перешли к голосованию, и предложение Поченгло прошло с перевесом три к одному, при большом числе воздержавшихся. Поченгло поднялся, поклонился, поблагодарил.

— И спросите, у скольких из них имеются акции в Железной Дороге Гарримана? — шепнул редактор Вулька-Вулькевич.

Пан Цвайгрос поднялся со своего стула, поднял бокал с красным вином в тосте за успех в делах и за польские богатства Сибири. Все выпили. Стоя, все члены клуба сунули руки под салфетки, положенные на блюдах, стоявших справа от них, и взяли пальцами обеих рук небольшие монеты. Раздался протяжный треск, похожий на звук бьющегося фарфора. Заседание закончилось. Началась неофициальная часть встречи, наверняка, более важная, чем официальная, как частенько в политике и бывает. Все собрались в небольшие группки и кружки тесных знакомств, зал заполнился шумом разговоров на свободные темы. *Я-о*новысматривало пана Грживачевского, который потерялся где-то в толпе, не обладая слишком уж заметной фигурой. Лишь через какое-то время заметило, что рядом кто-то стоит и дружески приглядывается. Кто? *Я-о*но обернулось. Инженер Решке из Северной Мамонтовой Компании.

— Прошу прощения...

— Я...

— Разрешите...

— Бенедикт Герославский.

— Да, да. Решке. Ромуальд Решке. Могли бы мы...

— Слушаю.

— Надеюсь, что вы все поймете правильно. Так уж сложилось, что я переговорил о вас с паном Войславом. Ладно, признаюсь честно, — тут он подмигнул, — я даже выпытывал о вас. Мы с самого начала интересуемся начинаниями доктора Теслы. Вы, насколько я слышал, его хороший знакомый... — Неожиданно он сменил тему. — Вы уже разговаривали с губернатором?

— Нет.

— Думаю, вы найдете его человеком весьма рассудительным, а предлагаемое им решение — единственным разумным в нашей ситуации. И чем быстрее все это разрешится, тем лучше. Тем временем, я как-то услышал, что вы ищете должность, и...

*Я-о*но поняло, к чему Решке так лавирует: каким образом подкупить, не произнося вслух неприличного слова. Поняло: все они очень много потеряют — целые состояния — когда Лед отступит. Потеряет и Белицкий. И вот его инвестиция: благодарность Сына Мороза! Если бы они могли, то с удовольствием взорвали бы и Теслу, и все его машины.

Но нет же, нет! Ведь все они «хорошие люди»! *Я-о*но сдержало язвительный смешок. Как не хватало Чингиза Щекельникова, некому защитить от едкого яда подозрительности, впитывая его в себя; снова он отравляет душу. Отыскало взглядом добродушное лицо пана

Войслава. *Разве у него не доброе сердце? Разве не любит он людей?*

— ...с доктором Теслой?

— *Plait-il* [\[269\]](#) ?

— В удобное для него время и месте, ясное дело. Видите ли, мы пытаемся с ним навязать контакт, человек от нас был у него в гостинице и в Обсерватории, но...

*Я-оно*сделало глубокий вдох.

— Это не имеет смысла, господин инженер. Наверняка вы имели контакты с людьми науки, похожими на доктора Теслу. Нет такого богатства, ради которого они отреклись бы от собственных изобретений и славы открывателя, отца черной физики. Прошу прощения.

Пролавировало между членами клуба к Грживачевскому.

Тот узнал практически сразу.

— Пан... Бенедикт.

Пожало ему руку, здоровую, правую, его рукопожатие было как тиски.

— Я слышал, что вы были знакомы с Филиппом Геро славским.

— Не понял...?

— А-а, тогда извините.

Пан Сатурнин Грживачевский отправил жестом головы предыдущего собеседника и отошел подальше от группы членов клуба.

— Пан Белицкий мне говорил. Если я могу чем-нибудь помочь, — он вынул визитную карточку, — обращайтесь без всякого.

Таак, здесь каждый второй зимназовый предприниматель чуть ли не задаром собирается купить благодарность Сына Мороза. Что может быть проще, чем просто позволить им это делать? Попросить в долг — даст и не поморщится, тысячу, две, пять, что это для него.

*Я-оно*дернулось, будто хлестнуло живым огнем. Стиснуло кулаки; кожа уже почти что не горела. Чертов Мышливский, доктор прав и судья-палач.

— Я ищу честную работу, — произнесло решительно, чуть ли не театрально. — Обычную должность.

Пан директор Грживачевский, «трудолюбивый эгоист» (потъвет, словно черный ореол), лишь кивнул головой.

— А каковы ваши квалификации? Вы когда-нибудь уже работали в горной промышленности, в металлургии, может быть, в коммерции?

— Нет.

— Языками владеете?

— Русский и немецкий. Французский — так себе. С классическими справлюсь в письменном виде.

— А чем вы, собственно, занимались в Королевстве?

— Математической логикой. — Скрестив руки на груди, пососало дырку в десне. — Экспериментальной логикой. Боюсь, что это не сильно пригодится в коммерции или промышленности.

— Экспериментальной, говорите. Выходит, вы ученый. Погодите-ка, есть идея. — Склонившись над столом, он начеркал на обороте визитки несколько слов. — Подойдите с этим в понедельник в нашу контору в Холодном Николаевске, вас направят к доктору Вольфке. Посмотрим, подойдете ли вы. Тогда и оговорим условия.

— Большое спасибо. А сколько будут платить...

— Если Вольфке посчитает вас пригодным, тогда поговорим. Потом, потом.

— Хорошо.

Тот буркнул еще что-то ободряющее и отбыл.

Непонятно почему, в этот момент вспомнило о пани Юлии. Почему в Варшаве идея постоянной работы для заработка оставалась настолько невообразимой, что серьезно должности никогда и не искало? Кризис, это правда, все ищут работу, такие обедневшие студенты десятками стучатся повсюду — и все же. Пан Коржиньский и ему подобные наверняка бы помогли во имя памяти об отце. Если бы человек по-настоящему взялся за дело, если бы постарался... А здесь Сибирь; как говорил господин Поченгло, образованных людей берут на должности даже из ссыльных. Но дело даже не в том. Разжало кулаки, ладони положило плоско на столешнице, белый картонный прямоугольник упал на красное дерево. Синие ногти, пятна кирпичного цвета под кожей... Тьмечь, откачанная литрами в черные кристаллы, в конечном счете тоже ничего не объясняет — да и вообще, какое тут может быть объяснение? Познаешь язык описания мира, но не познаешь себя. Что-то сделаешь, и потом только догадываешься, зачем это сделал. И даже если догадка будет правдивой — ее никак не выскажешь, эти вещи никак не выскажешь языком второго рода. Самое большее, можно спросить у господина Поченгло или пана Мышливского — они, не стесняясь, выскажут свое мнение о чужаке, и так вот на мгновение глянешь на Бенедикта Герославского снаружи. На Бенедикта Герославского, который такой-то и такой, потому что повел себя так-то и так-то; ба, еще до того, как вообще как-либо себя повел.

Зазвенело стекло. Пан Вулька-Вулькевич спотыкался о стулья. Пользуясь оказией дармовой выпивки, редактор уже хорошо присоседился к выставленным напиткам и, несмотря на раннее время, успел залить в себя приличную дозу спиртного — нос засветился красным фонариком, румяное лицо сделалось багровым, над седыми бровями выступил пот, а жесткие усики неустанно вибрировали, словно антенны насекомого.

— Вижу, вы тоже какое-то дельце сварили, — буркнул он, косясь на визитную карточку директора Грживачевского. — Это ведь заразно, знаете, вся эта атмосфера, энергия, — он взмахнул рукой с бокалом, вино хлестнуло на манжет, но редактор и не заметил, — эта гонка, здесь мир крутится быстрее, дни уходят скорее, один час вгрызается в следующий, человек в беготне с утра до вечера, и, ни в коей степени, его не подгоняет работа, голод или нищета, но, поскольку всегда можно заработать на рубль больше, всегда имеется какая-нибудь оказия, вечно имеется какая-то выгода — и вот уже блеск в глазах, новая сила в мышцах; и так они могут бежать дни и ночи, от рубля до рубля, хищники рынка. Вы думаете, я этого не чувствую — тоже чувствую, хотя, конечно же, молодые во сто раз сильнее. Когда они делают деньги, они более живые; когда же деньги теряют — вместе с ними теряют и жизнь. Вас тоже проняло, а?

— Возможно. Немного.

— Что, пан будет собственную фирму учреждать?

Я-оноскривилось с издевкой, но тут же выражение с лица сошло. Уселось за столом, столкнув локтем тарелочку под салфеткой; явно, место это было предназначено для не пришедшего на собрание члена клуба.

Собственную фирму... Машинально почесало между костяшками пальцев. Построить дело с самых основ я-ононе успеет; нужно было бы входить с паем в уже имеющееся. А кто-то ведь должен заниматься перевозкой оборудования и провианта на отдаленные сорочища, за Кежму. И это было бы идеальным прикрытием. Но где взять капитал? Не лучше ли нанять людей на один раз? Нет смысла строить фабрику по производству молотков, чтобы забить дюжину гвоздей.

— Зимназом желаете заняться? — допытывался Вулькевич.

— Ммм. Нет, нет. И вообще, сначала нужно разглядеться, условия исследовать...

Что за идиотская мысль! Учреждать фирму! Человек в жизни даже собственного угла не

имел, а тут размечтался о паях, капиталах, предприятиях! Новый приступ безумия — видимо, уровни тьмечи в мозгу еще не пришли к общему знаменателю.

Вулька-Вулькевич практически пустым стаканом поднял не совсем серьезный тост:

— *Здесь радится следующий капиталист.*

— Ну да, капиталист без капитала.

— Капитал? Маркс в людях не разбирался! Вот поглядите-ка, хфр, поглядите на евреев: приезжают без копейки за душой, а через двадцать лет половина лавок в городе уже принадлежит им. Капитал притекает и стекает — а вот человек, либо примерзает к деньге, либо нет.

Провело ладонью по столу, большой палец встретил под салфеткой монету. Стянуло ее с тарелочки, подбросило на руке. Это была медная копейка прошлого века с двухглавым орлом, маленькая и легкая. К тому же, ее подпилили по диаметру, между головами птицы, так что обе половинки соединяла лишь тоненькая полоска металла. Взяло монетку в пальцы. И ребенок переломал бы.

О том, чего нельзя чувствовать

Уже в третий раз я-оновыступало в качестве натурщика.

— Пан Бенедикт, можете вы не шевелиться!

— Но я же не шевелюсь.

Сидение было неудобное. Когда посетило панну Елену в пансионате Киричкиной в первый раз, панна была полностью измазана углем — пальчики черны, полоса под глазом, пятно на носике, рука сама тянулась за платком. Начала Елена с размашистых эскизов на больших листах картона. Имелся у нее и мольберт, пригодный для случаев, когда она пыталась писать портреты — тетки, служанки, *mademoiselle* Филипов, господина Поченгло. Тот презентовал ей комплект аксессуаров художника, включая подрамники восемь на десять, большую палитру и ящик красок. Елена рисовала в угловой комнате, пользуясь солнечным светом, подбеленным на льду и снегу; сидение было установлено между окнами. Более удобные стулья и кресла оказались слишком низкими, панне Мукляновичувне нужно было, чтобы лицо модели находилось на нужной высоте; и для этого пригодился только этот тяжелый сосновый табурет.

Двери в салон, где похрапывала тетка Урсула, оставались открытыми, чтобы сохранить *decorum* [\[270\]](#). Говорили вполголоса, чтобы не разбудить женщину. Сразу же с правой стороны, на расстоянии плевка, на расстоянии вдоха, находилась мираже-стекольная гладь окна, залитая всеми оттенками белизны; на панну Елену необходимо было коситься левым глазом. Она писала, одевшись в слишком обширный сарафан, скорее всего, выкупленный у горничной, сейчас весь в угольных пятнах и мазках краски. Одно мельчайшее движение за другим, я-оновыкручивало голову, чтобы перехватить полупрофиль Елены в том прелестном забытии, когда она была полностью поглощена рисованием: с высунутым язычком, прикушенной губкой, потешно сморщившаяся, склоняющая головку так и сяк, пока черные локоны не спадали ей на лоб, на глаза, на порозовевшие щечки. Тогда она гневно сдувала, пытаясь поправить волосы; но иногда забывалась настолько, что хваталась пальцами, и так на лице *девушки* появлялся пятнистый *maquillage*, разноцветный, словно цветущий лужок.

— Ну ладно, но разве не был он, в таком случае, двоеженцем?

— Нет, с этой здешней Леокадией Гвужджь они жили на веру.

— И все равно — какое бесчувственное сердце! Пан Бенедикт, вы уж простите, но — ведь в Варшаве тогда умирала его супруга! Правда? Насколько я знаю вредную людскую

натуру — даже удивительно, что никакой «доброжелатель» не написал ей обо всем этом, из чистого злорадства.

— Незамужняя женщина с ребенком — думаете, что они бывали здесь в свете? В российской провинции такое, возможно, и сошло бы, но в Иркутске? Они, как раз, все это скрывали, по-видимому, никто про пани Гвужджь и дочурку ничего не знал.

— Голову прямо! Так вы — так вы считаете, будто все это из-за смерти девочки. Ах! Ведь это же была ваша сестра, сестренка по отцу — а как звали ту, якобы, им застреленную?

— Эмилией, Эмилькой.

— Снова вы пошевелились. — Подошла, схватила за локоть и запястье, повернула так, повернула иначе, склонила головку, прищурилась, втянула щечку — нет, все равно плохо.

— Ой! Вы же мне руку выкрутите.

Повернув ладонь, она пригляделась к ней поближе.

— Ну, вот видите, вы все чешетесь и чешетесь, может, следовало бы с этим к врачу обратиться, это какая-то экзема...

— Трудно удержаться, когда...

— Мазью. Или хлопчатые перчатки носить.

— Мгм, как доктор Тесла.

— Вот, именно так! И попрошу минутку так потерпеть! Отличный свет на профиль и на плечо.

На мираже-стекле плавали силуэты домов, тумана и лютов. Пансионат Киричкиной находился в южной части старого Иркутска, в *Греческом Переулке*, неподалеку от *Иннокентьевского Поселка*. Костлявый палец башни Сибирхожето, как обычно, делил пейзаж метрополии на две части, но вот Собора Христа Спасителя отсюда видно не было. Зато бронзовые колокола гудели весьма и весьма громко. Снег не падал, яркое небо было чистым, безоблачным — гладкий лазурит; Солнце стояло высоко над туманами; Черное Сияние погасло полностью. Это был один из немногих дней, когда видимый с высоты Иркутск открывался людскому взгляду замечательной панорамой, достойной фрески или же монументальной картины. Уже по дороге из костела Вознесения Девы Марии в Интендантский Сад, сидя в санях рядом с пани Урсулой, отметило необычайное спокойствие, воскресные тишину и неподвижность, которые передались так же и погоде: ветры стихли, с неба ушли тучи, даже туман поредел и опал в улицы, низко-низко между домами. Впервые можно было полюбоваться цветными наличниками иркутских домишек: зелеными и желтыми, украшенные различными узорами под иней, с искусной и более топорной резьбой по дереву. Воздух был удивительно прозрачным, как это бывает в дни с небольшим морозцем; даже самые отдаленные предметы на горизонте были видны четко и выразительно. Пригасший свет мираже-стекольных фонарей и расщепляющиеся на зимназе радуги нисколечки не меняли картины, но очерчивали ее более толстыми контурами теней, так что всякий предмет, каждый силуэт казался обведенным ленточкой драгоценного минерала — словно на огромной, движущейся иконе. Даже барабаны глашатаев притихли, и перекупщики не орали во всю ивановскую, и в санях совершенно не переговаривались — одни только колокольчики точно так же позванивали на конской упряжи. Дзинь-дзилинь, ехало через бело-цветную икону Города Льда...

Интендантский Сад был разбит на берегу Ушаковки где-то лет пятьдесят назад; после того он приходил в полнейший упадок раза два, и только после Большого Пожара в городской думе Иркутска родилась мысль, чтобы место, предназначенное для общения горожан с природой, несмотря на расходы, вернуть к жизни и функциональности; в то время, когда Лед и вечная зима полностью отсекала крупный город от природы, это показалось

крайне важным. Среди инвесторов проекта оказалось большинство значительных холодопромышленников, их имена и названия фирм с компаниями были выбиты на мраморных плитах, поставленных у входа в Сад, то есть, у шлюза, где собирали входную плату в размере два с полтиной рубля с человека, по рублю с ребенка. Оплата служила инструментом общественной фильтрации — ведь никакая рабочая семья не могла себе позволить подобные расходы ради краткого удовольствия прогулки в теплом саду; опять же, содержание Сада и вправду пожирало за год огромные средства. Насосы на дизельных двигателях, подающие нагретый воздух под мираже-стекло, работали непрерывно. Зимовники, которых нанимали дюжинами, лазили ночами, когда Сад был закрыт для публики, по конструкциям гигантской теплицы, соскребывая ледовые наросты и выявляя даже самые малые щели. Сама конструкция возносилась на кружевном зимназовом скелете, представляющем ту же архитектурную манеру, что и Вокзал Муравьева, поскольку она родилась в голове того же самого архитектора. К. И. Рубецкий придумал Сад, прикрытый перевернутыми чашечками радужных лилий. В солнечную пору, такую как сейчас, небесный свет, расчесанный на мираже-стекле на семицветные, мягкие радуги, падает прямым на речушки, мостики, рощи, цветущие луга, пруды и фонтаны, на белые лавочки и беседки, на прогуливающих по песчаным аллеям дам и господ, на бегающих по траве деток, одетых в чулочки и кружавчики *a la* Маленький Лорд Фаунтлерой, в матросские костюмчики с соломенными шляпками *canotier*. Здесь играет театр лета, здесь обязательными являются ложь костюма, поведения и слов. Дамы открывают из-под шуб и этуалей, оставленных в шлюзе, светлые платья с шелковыми лифами, легкие английские костюмы и японские асимметричные крои с высокими корсетами, и все это, вдобавок, еще и под весенним зонтиком, как будто бы и вправду защищающим от солнечного жара, ручку которого сжимает ладошка, затянута в беленькую перчатку. Господа в летних, трехчастных, не на все пуговицы застегнутых костюмах, обманывая шляпами и котелками, тонкими тросточками, чистенькими лаковыми туфлями с острыми носками. Урчание нагревательных машин перекачивается по Саду монотонным ритмом — так бьется механическое сердце этой зелени. Сквозь радуги волнистой крыши видна плотная вязь трупных мачт, окружающих Интендантский Сад — только они не останавливают лютов. Лишь только морозник пройдет через Сад, нужно заново высаживать траву, заново прививать деревья, заново отстраивать пасторальный пейзаж цветочек за цветочком — все ложь! Ручейки здесь не вытекают и не втекают в Ушаковку, они кружат странными петлями, подгоняемые странными устройствами, отделенные от вечной мерзлоты изоляционным слоем — ложь, ложь, ложь! Прогуливаешься медленным, пристойным шагом, время от времени присаживаясь на лавочке, приостанавливаясь над живописным ручьем. Вежливо кланяешься знакомым и незнакомым. Обмениваешься пустыми предложениями — ни слова о делах, ни единого упоминания о жизни истинной, ледовой, Боже упаси вспомнить о семейных ссорах или болезнях! Ведь здесь — Лето! Здесь фальшь — теплая, словно наброшенное на плечи муслиновое *cache-nez*. Разве должна *bourgeoisie* [\[271\]](#) быть лишена права на ложь о самой себе? Ни аристократия, ни пролетариат; ни жизнь духа, ни жизнь материи. Посему, следует хотя бы раз в неделю прогуляться под мещанским Солнцем, в самом лучшем светлом костюме, под руку с разодетой женщиной. Как попало я-онопод приказ панны Елены — сколько это уже недель назад? — в костеле на мессе, усевшись у ней на виду, так уже и не отпустила, решительным флиртом вынудив составить ей компанию в Интендантском Саду. Где я-онопроводит часик-два на нагретом воздухе, охотно соглашаясь на этот компромисс с правдой. Тетка Уршуля остается на приличном расстоянии, можно разговаривать с панной Мукляновичувной свободно, тем свободнее, что ведь это опять прогулка по уральскому лугу, радужная беседа в

Экспрессе Котарбиньского — можно говорить самую откровенную правду, бриллиантово-истинную — и не узнает: правда или ложь? — остановившись на алебастровом мостике под волной жара, идущей из фабричных машин, подставляя зарумянившееся лицо под ласки зефира, наполовину прикрыв веки...

— И как там у пана Бенедикта сны?

Я-оно повернулось на табуретке.

— Сны?

— Разве вас не предупреждали? Меня предупреждают постоянно. И ксендз опять на проповеди говорил.

— Мне сны не снятся.

— Каждому снятся.

— Но не каждый сны помнит.

— Быть может, вы принимаете на *сон грядущий*те самые китайские травки?

— Должно случиться и вправду нечто важное, чтобы сон впоследствии запомнился.

— А, ведь вам снится будущее! Но, — Елена почесала рукояткой кисти под бровью, — вы ведь в будущее не верите. Вы не верите и в то, что сами существуете, правда? Так как же вы видите сны?

— Во сне, панна Елена, во сне я существую.

— Не поняла.

— Чего вы не понимаете? Мне снится, будто бы я существую. Другие видят такие сны всю жизнь.

— Ха! Так о чем же видит сны несуществующий?

— Именно об этом. — *Я-оно* передвинулось на табурете, напрягая и расслабляя мышцы. — Вот снилось, например... Представьте себе такой вид болезни: психическая полнота. Будто бы ты есть, и тебя все больше. Пожираешь себя, все сильнее въедаешься в собственное существование, этап за этапом, выйдя уже за все здоровые пределы. Ведь, в первую очередь, ты сам по себе становишься источником чувств, некоей точкой, отодвинутой за глаза, за уши, под кожу. В голове, в мозгу. Но потом пожирается остальная часть тела, корпус, конечности: ты уже не в голове, но сам становишься головой; но вместе с тем, ты уже и ноги, пальцы; ноготь, слезающий с пальца — это тоже ты. Разве это здорово? Полнеешь дальше: уже не только тело, как ноготь, то уже и предметы вокруг тебя, ближайшая тебе материя, вдыхаемый воздух, выдыхаемый воздух, воздух, что тебя окружает. Больше. Дом. Земля, по которой ступаешь. Граница между материей тела и материей, что тела касается, стирается и исчезает: это есть ты, и то — тоже ты, чуточку слабее — но ты, ты, ты. И так поглощаешь очередные виды материи; сдержаться уже невозможно. Вы видели когда-нибудь настоящих обжор? Как они едят?

...Существование — это вид болезненной зависимости.

Елена глядела серьезно над мольбертом.

— Вот если бы вы еще перестали травиться тем теслектричеством...! — вздохнула она через какое-то время.

— Ой-ой-ой, сразу уже — травиться!

— Я же вижу, когда вы заходите ко мне прямо от Теслы, как все это на вас действует.

— И как же?

— Голова!

— Все, уже замерзаю.

— Вам казалось, что и меня искусите — если кто попробует, то уже навечно попадет в зависимость, так?

— Но что, собственно, вы имеете против? Наслушались от *mademoiselle* Филипов, ну так же.

— Боже, вы еще удивляетесь! Ведь это опасно! Никто ведь не знает, как это действует, что делает с человеком; даже сам доктор Тесла!

— Тогда, откуда вам известно, будто бы это опасно?

— Как вы меня достали этими своими умничаньями!

— Простите.

— Сами же чуть не умерли от этого!

— Все можно передозировать; даже кислород, со смертельным исходом.

— Но зачем же, вот скажите: зачем?!

— Потому что тогда я становлюсь кем-то большим.

— Не поняла?

— Нет, я не смогу.

— Пускай пан Бенедикт попробует.

— Ты тот, кем ты есть; думаешь, что думаешь, чувствуешь, что чувствуешь. Но если необходимо выйти за пределы себя, если нужно представить мысль, которую до того никто не представил — это как маятник, отклоненный из состояния покоя — тебе нужно вырваться за пределы себя самого. Быть одновременно собой и кем-то другим, чем ты сам.

— Обмануть себя.

— Обмануть. Возможно. Тут речь о том, что... Чем сильнее мы замерзаем, тем меньше можем. Чем более мы... настоящие — тем меньше чувствуем, меньше мыслим, мы сами делаемся — меньшими, более тесными, более узкими...

— А пан Бенедикт желает...

— Мыслить о том, что не мыслилось.

— Чувствовать, что не чувствовалось. — Оттерши лоб рукавом льняной блузки, панна Мукляновичувна неуверенно рассмеялась. — Но ведь это же абсурд!

— Неужели вы считаете, будто бы чувства, на которые вы способны, это все возможные чувства?

— Ну а какие же есть еще?

— Я должен высказать слово, для которого у вас нет слов? Рассказать о печали человеку, который никогда о печали ничего не слышал.

— Я не смеюсь. Мне хочется плакать. Мир гадкий. Он движется без энергии. Нехотя.

— Вы рассказываете о поведении.

— Точно. — Елена задумалась. — Как это вы сказали тогда, в поезде?

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь. [\[272\]](#)

Я-оносхватило с табурета, схватило себя за ухо, подскочило к окну и начало вылизывать мираже-стекло; вторая рука дергалась в суставах словно взбесившийся поливальный шланг, размахивая растопыренными пальцами во все стороны; левая нога пинала правую; при всем этом я-оносо стоном мяукало и вращало глазами.

Елена отшатнулась.

— С ума сошли.

— Это... это... это сейчас ваше чувство, — просопело я-ономежду литаниями и стонами, — но вот что чувствую я?

— Грязь на языке. Успокойтесь, пан Бенедикт, что за глупости, еще тетю разбудите.

Я-оноотклеилось от стекла, сплюнуло в банку с краской, поправило сюртук. Панна Мукляновичувна вытирала руки.

— А в чем вы пытаетесь, собственно, убедить? Что этот черный ток выворачивает мозги наизнанку?

— А панна Елена уже и не помнит? Что вы чувствовали? Как себя вели? Кем были?

Девушка пожала плечами.

— Имеются и другие способы выйти за рамки себя. Например, спиртное.

— Несчастный эрзац. Спиртное меняет одну тюрьму на другую. Мороз на Мороз. — Подошло к ней. Вы уже закончили?

Она замялась.

— Я же говорила, что не покажу...

— Ну я же прошуууу...

Заглянуло через мольберт.

Мазня ужаснейшая.

— Боже, как похоже!

Елена засветилась радостью.

— Пан Бенедикт и вправду так считает?

— Два глаза, два уха, даже нос виден.

Елена швырнула кисть в угол.

— А потому что вы все время крутитесь и вертитесь, и руками размахиваете! Как ни гляну, каждый раз по-другому — так как же мне хорошо нарисовать?

— А как рисуют фантастические сцены, совершенно выдуманные?

После того уселось в салоне, за высоким столом из сандалового дерева. У прислуги в воскресенье был выходной, так что панна Мукляновичувна сама принесла самовар и сервиз, не позволив себе помочь. Из колониальных складов в соседнем доме у нее были коробки самых разных чаев: зеленых, красных и черных; к тому же — пряных китайских смесей, носящих короткие, странные названия, звучащие вдвойне экзотически, когда их выговаривала сама панна Елена. По комнатам разошелся запах травяного чая, можно было практически видеть эту цветную струю, снующую в воздухе над коврами, комодами, оттоманками, голландскими печами, буфетами и жардиньерками, над похрапывающей теткой Уршулей. Тетка очнулась на мгновение, причмокнула и по плотнее завернулась в шаль, чтобы тут же опять заснуть.

Сосульки за окном сияли голубизной.

На подоконнике, рядом с русскими переводами приключенческих романов Майн-Рида, лежало несколько толстых книг: русско-итальянские словари, итальянская грамматика, антологии итальянской поэзии. Панна Мукляновичувна получила их от Порфирия Поченгло, думала начать учить итальянский язык, «чтобы убить время». Недавно в Иркутске открыл свой филиал Всемирный Институт Иностранных Языков для Дам и Господ — *The Berlitz School*. — Язык — словно вода! — восхищалась Елена, при этом открывала том на первом попавшемся месте и прочитывала несколько предложений без малейшего понимания их смысла. — Как он течет, как пенится, как исходит пузырьками, как волнуется!

Запачканный сарафан она не передела, только помыла руки. Теперь ножом с костяной рукояткой резала хлеб с черемшой, намазывала княженикой.

— Настоящая хазяйка!

— Пан Порфирий перед воскресной службой рассказывал, как вы его уговаривали жениться на мне.

Я-оноподавилось.

— Нет. То есть... Не так. Может, он... — отхлебнуло чаю. — Я же... выведу... или... что там с отцом... не знаю, как там со мной будет. Так что... чтобы поступить честно...

— Это значит, как?

— Прошу прощения, не гневайтесь.

— Да что вы все со своими прощениями...!

— Говоря по правде, мне вообще уже не следовало к вам заходить.

Задумавшись, Елена слизывала с пальцев смородиновое варенье.

— Но... пан Бенек, почему же так? — тихо спросила она.

Я-онотоже снизило голос.

— Сейчас вы снова спрашиваете меня о вещах, для которых нет слов.

Она со свистом втянула воздух.

— Вы влюбились, в этом нет ничего постыдного. — Она поискала над столом мою руку; через секунду нерешительности стиснуло пальцы на холодной ладони девушки. Большой палец переместился от запястья по линии кости, к маленьким косточкам на пальцах. Здесь пульсировала в ритм ударов сердца панны Елены жилка под кожей. Остановило большой палец на этой жилке. Наивысшая и наиболее сложная форма откровенности тела...

— Я попытаюсь, — шепнуло, поднимая взгляд на собранное лицо девушки, с левым профилем, подсвеченным ледовым сиянием; отблеск ложился на Елену, на столешницу, на самовар, выстреливал отражениями от клинка ножа. Солнечные лучи, отраженные от панорамы белого города, попадали в этот маленький салон, пройдя сквозь калейдоскопический фильтр мираже-стекла; у белизны имелась тысяча живых оттенков, белизна въедалась в ткани, дерево, тело; белизна управляла моментом; белыми были мысли, слова и голос.

— Попытаюсь, попробую. *Alors* [\[273\]](#) .Влюбилось ли. Если следует сказать правду... Панна Елена, это так же, когда переводишь внутренний язык на межчеловеческий. Откуда ты узнаешь, что влюблен? Потому что есть такое слово среди людей, когда имеются цветы, поцелуи, свидания, страсти, записочки, скрытые взгляды — в предсвадебных признаниях и в романтических ситуациях, в порывах женщины и мужчины и в безумии молодости. Видите? Поведения, да, поведения. Раз кто-то ведет себя так — значит, он влюблен. Но не в другую сторону, не начиная от чувства — ибо, как перевести, как объяснить? А не объяснишь. Получил по роже, повернулся и ушел — трус. Но откуда мы знаем, трус ли? Потому что повел себя, как трус. — *Я-онозамигало, ослепленное сиянием.* — Влюблен ли кто, когда ведет себя, как влюбленный? Как сравнить душу одного человека с душой другого? Нет такой мерки, нет такого равновесия. Проявляются только движения материи: жесты тела, извлекаемые из уст звуки, прихотливые формы инея. Но, поскольку мы живем в этом с самого детства и другого языка не знаем, то сами себя уговариваем, и откровенно верим, что, раз подобно движение материи, то и движения души такие же самые, точно так же называемые — что это не иней — что эта форма что-то означает, что она существует сама по себе. Трусость. Отвага. Ненависть. Любовь. Боже мой, неужели вы и вправду считаете, будто бы чувства, на которые вы сами способны — это все возможные чувства?!

Елена медленно освободила ладонь, провела пальцами по ножу: по клинку и гладкой рукояти.

— Какие же это еще? — спросила она еле слышно.

Я-онопало перед ней на колени, сунуло указательный палец в рот и прокусило до мяса,

после чего, поцеловав краешек платья, перепачканного красками, сделало на губах девушки теплой кровью тройной знак. Она вздрогнула. Второй рукой схватило девушку за ногу над щиколоткой, замкнуло пальцы, словно железные кандалы. Посчитало до десяти, чувствуя вздымающийся в теле теслектрический ток. Всякий раз, когда девушка открывала рот, чтобы что-то сказать, зажимало пальцы еще сильнее; пока она уже ничего не хотела говорить. Глядело в молчании, не мигая, налагая взгляд на взгляд. И Елена медленно, очень медленно, кивнула головой. *Voilà!* С радостной улыбкой потом колотило кулаком в паркет, пока не лопнула кожа. Тогда снова уселось на стуле, чтобы допить китайский чаек.

Панна Елена сняла с окна тяжеленный том; раскрыла, не глядя. Только остановив ноготь на выбранной вслепую строке, она поднесла книгу к белизне и певуче прочитала:

— *Qualsivoglia* [\[274\]](#) .

*Я-оно*пробовало слово на языке: будто вода, будто волна, будто пена.

— *Qualsivoglia*.

О крови лютов

В первый же день работы у Круппа в Холодном Николаевске остановилась четверть *холадниц*,и забастовка зимовников потрясла всей ледовой промышленностью.

Началось с того, что пан Белицкий снова зашелся собственным благородством и не желал слышать ни о каких предложениях возврата денег, которые он должен был, что ни говори, выложить из собственного кармана, оплачивая здоровил-костоломов, нанятых для охраны дома, опять же — господина Щекельникова, и всю ту деятельность, что тянулась уже второй месяц. Нужны ли они вообще на что-нибудь? Разве кто бросает камнями в окна, или нападают на улице сторонники заговорщических теорий Льда? Ведь начнут же люди смеяться, что человек повсюду таскает за собой «защитника», вот какой пугливый чудак.

И вот так, обмениваясь подобными замечаниями, утром в понедельник *я-оно*спустилось в прихожую на первом этаже, где застало здоровил в компании Щекельникова, придерживающих лежащего на полу какого-то вопящего мужичка, подозрительно легко одетого, из чего сразу же смараковало о его зимовничьей натуре. — К Батюшке Марозу! — вопил тот. — Пока не будет поздно! — орал. — Ах вы, хуи горбатые! Отпустите! — Но охранники лишь обкладывали его по спине да заду кедровыми дрынами. Пан Белицкий придержал ревностных работничков. Оказалось, что перехваченный зимовник пытался прокрасться через каретную, когда вывозили сани. И они уже собирались выкинуть его за ворота, когда заметили отблеск медальона на синей груди, в разрезе рубашонки. Спросили, признает ли он веру Мартына. Тот только сплюнул кровью. Тогда спросили: — Что будет поздно?

Оказывается, история разворачивалась со вчерашней обеденной поры, когда генерал-губернатор Шульц-Зимний вновь неожиданно отказался от приглашения Александра Александровича Победоносцева, более того, отказался от свидания с его Ангелом, а вместо того принял у себя в Цитадели «каких-то четырех американцев». После того события покатались совсем быстро, поскольку еще в воскресенье вечером из канцелярии генерал-губернатора вышла бумага, приказывающая усилить действия против ледовых сект, и морозной ночью с воскресенья на понедельник по Иркутску и Холодному Николаевску разошлись войска с жандармами, арестовывая десятками зимовников и не зимовников, всех подозреваемых в мартыновском вероисповедании. Тут уже сам пан Белицкий явно начал нервничать и начал выпрашивать музыканта; тот что-то пробормотал про *холадницы*,из которых людей выгребают, и про беспорядки в Иннокентьевском-Два, но было видно, что

больше он мало чего знает, и он просто опасается ареста, посему, уже ничего не соображая после панической ночи, стал стучаться в двери дома Сына Мороза. И таких могло быть и больше. Пан Войслав приказал вышибалам закрыть ворота и махнул Чингизу Щекельникову, заявив при том, что и сам отправляется напрямик в Холодный Николаевск. Так что *я-оно* поехало на Северный Вокзал.

Мармеладница с утра ходила каждые четверть часа, а в шесть часов в рабочие дни шли два двойных состава, чтобы поместить всех рабочих, отправлявшихся в Николаевск на дневную смену. На крытом перроне, где останавливались купейные вагоны, которыми ездили директора и инженеры, а так же вся братия, выше пролетарской, Белицкий встретил нескольких, точно так же, как и он, обеспокоенных знакомых. *Я-оно* увидело директора Грживачевского в окружении сотрудников; еще до того, как поезд отправился, Сатурнин Грживачевский успел отправить с указаниями трех курьеров. Все господа в шубах и фасонных теплых пальто, под ушастыми шапками и в больших очках поглядывали на длинный открытый перрон, где сотнями и тысячами собирались иркутские рабочие, мужчины и женщины, пяти вероисповеданий, дюжины национальностей, трех рас. Мираже-стекла не давали возможности прочесть взгляды господ. На заснеженной шкале термометра стрелка-змея указывала тридцать восемь градусов Цельсия ниже нуля.

В поезде пан Войслав, глубоко затягиваясь папиросой с манчжурским табаком, так что красные искры летели на шубу и широко расчесанную бороду, пересказывал вслух все новые и новые теории, услышанные от других едущих. Поскольку сразу же показалось очевидным, что те «американцы», обедающие у Шульца, были людьми Д.П. Моргана с миссией, направленной в Россию на погибель Гарриману с его Кругосветной Железной Дорогой, *я-оно* вместе с Белицким пыталось подогнать действия губернатора к плану Моргана. Что выявилось логически неисполнимым — план Моргана, как представлял его пан Поченгло на собрании Клуба Сломанной Копейки, ставил на совершенно противоположную стратегию, то есть, на союз с Распутиным, который должен был бы убедить императора остановить строительство Аляскинского Туннеля. Тогда, как это согласовать с неожиданными действиями по арестам мартиновцев?

— Но почему вы полагаете, будто они уже склонили Шульца к чему-либо? — заметило *я-оно*, возвышая голос над царящим в отделении гомоном. — Ведь сам Поченгло говорил, будто бы губернатору тоже по вкусу большая независимость и сближение Сибири с Америкой.

— Это искушение всех губернаторов Сибири, — признал пан Войслав, — начиная с первого, князя Гагарина из Тобольска. Пан Порфирий уже осточертел всем подобными рассказами. Еще при Екатерине Великой здесь существовало Сибирское Царство, били монету с его гербом; это была имперская колония, ничем не отличающаяся от американских колоний Британской Короны. Еще немного, и городской совет Иркутска созвал бы собственное сибирское правительство под властью наследственных царей-губернаторов. В Петербурге прекрасно об этом помнят. Кого бы не послали сюда на должность... Эта страна сама по себе сползает к востоку, — показал он жестом руки с папиросой, — к Тихому океану, к Японии, к Америке. Так что они правильно опасаются.

— Выходит, янки просто не повезло; Шульц переиграл их. Ведь они, как тут не гляди, оттепельники. Ничто бы так не порадовало Моргана как абсолютная Оттепель и конец зимна. Шульц знает, что ему грозит.

— Тогда зачем было их сразу же арестовывать? Распутин ведь тоже ледняк.

— Вот с кем эти диверсанты-янки должны сговориться, — вмешался молодой конторщик в мираже-стекольном пенсне, оторвавшись от утренней газеты, — так это, в

первую очередь, с тем изобретателем, что был нанят Его Императорским Величеством для того, чтобы покончить с лютами.

Я-онофыркнуло.

— Тогда Пирпонт Морган может плюнуть себе в бороду, поскольку доктор Тесла скорее уже с чертом будет договариваться, чем с кем-либо, Морганом рекомендованным. Уже много лет между ними вражда; Морган сбежал с капиталами фирмы Теслы, доведя доктора до банкротства.

— Выходит, их единственный шанс, — продолжал расчеты пан Белицкий, — это напугать Его Высочество Николая Александровича *абластническим* отделением, опасной самостоятельностью локальных владык с другого конца империи. Ведь если будет построена железная дорога через Берингов Пролив, вот тогда в головах у губернаторов все и перевернется. Нет ничего более пугающего для самодержца, чем автаркия подчиненных.

— А Шульц об этом не знает? Шульц об этом знает. И он знает, что у Моргана достаточно денег, чтобы, так или иначе, дойти до императорского уха.

Сегодня *я-ононе* успело заскочить к Тесле, подержаться за насос Котарбиньского. Организм все еще был на минусе тьмечи после вчерашнего отсоса, чувствовало теслектрический ток во рту и под кожей ладоней; тем не менее, с каждым часом замерзало все сильнее и сильнее.

Размышляло о ледовой математике психологии: характер А, выходит — характер Б, следовательно — характер С. Ведь все они — рабы единоправды о человеке — столь же прекрасно понимают это, даже если не могут оформить феномен какой-либо складной теорией.

— Но все это складывается совершенно логично, подумайте, господа. Ведь что мог сделать Шульц, чтобы заранее убедить Николая Александровича в своей лояльности и верности? *Я-онопо* очередно загибалось пальцы. — Арестовать сектантов. Наслать охранку на *абластников*. Закрутить гайки в отношении демократов и социалистов. Что, может станете спорить? Пан Поченгло и редактор Вулькевич наверняка сегодня тоже принимают официальных гостей. «Новая Сибирь» — закрыта. По домам выдающихся политических оттепельников — охранка. А в вечерних газетах мы прочтем о новом наступлении против японцев Пилсудского.

— Правда, правда, — кивал головой конторщик, и снеговая белизна с коричневым цветом вагонных панелей кружили на его очках. Перевернув газету, он стукнул верхом ладони в бумагу. — Вот оно, какие знаки подают нам чиновники!

Шпионская афера. Из Александровой сообщают: Акционерное общество «Тунгусия» недавно приняло к себе на работу некоего Кохлера, еврея, слесаря по профессии, человека весьма интеллигентного и хорошо представляющегося. Обращало на себя внимание то, что Кохлер, несмотря на небольшую зарплату, ни в чем себе не отказывал, содержал жену и ребенка. В последнюю пятницу в Александрова приехал полицейский агент и, заручившись помощью жандармерии, арестовал Кохлера. Во время проведенного в его жилище обыска, было найдено много журналов и брошюр. Кохлер прибыл в Александровск из Кенигсберга, и говорят, занимался шпионажем.

На перроне в Холодном Николаевске клубилась толпа *рабочих*. Они должны были сразу же вытечь из под навеса на заснеженные улицы промышленного города и приклеившегося к нему с востока рабочего поселка, Иннокентьевского Два, тем временем, стояли здесь кучей,

под облаками людского пара, пенящегося какой-то беспокойной, гневной энергией. Сквозь небо, затянутое дымами, зимназовыми радугами и порывами ленивой метели, один за другом проходили волны адского воя сирен, зовущих в *холодницы*, на фабрики, заводы, морозни и соплицовые цеха — все они стояли. Высаживающиеся из Мармеладницы смешались с ними; меньшая толпа, слившись с большей толпой, сразу же обрела признаки и свойства той, второй: движение, гневный говор, окрики и шарканье ногами — на месте. Господа директора уже не останавливались, не присматривались — как можно быстрее сбегали с перрона, перескакивая на другую сторону путей, под крылья сияний, растянутых на паутиных подъемных кранах и перегрузочных конвейерах.

— В Харбине зимназо побьет все рекорды, — вздохнул пан Белицкий, окутывая лицо толстым шарфом. — И почему это меня не радует?

— Пошли скорее, — буркнул Чингиз Щекельников, появившись откуда-то сбоку. — Не нравится мне все это. Сотня мужиков, хлопот целый ком. И где казаки, когда человек в них нуждается?!

Kantor ^[275] *Friedrich Krupp Frierteisen AG* размещалась на пятом этаже Башни Пятого Часа, что равнялось, по-видимому, двадцатому этажу небоскребов Лета. Иннокентьевский Два — это сплошь бараки и низкие клоповники — но в жизни своей я не видел столько небоскребов, сколько здесь, в Холодном Николаевске. Строя на плотных перекрестках Дорог Мамонтов, люди были обречены на высотную архитектуру, применение же зимназовой стали позволяло возводить самые тяжелые конструкции на настолько тонких и легких опорах, что в метели совершенно незаметных. Все причины я-онознало, и было известно, чего ожидать, тем не менее изумил вид подвешенных в воздухе на высоте в шестьдесят аршин каменных домов в стиле классицизма, нередко с круглыми галереями из мираже-стекла, под башенками и византийскими куполами, с клетками спиральных лестниц и трубами персональных лифтов снизу — вся эта архитектурная окрошка, видимая за снежными заносами, и щедро покрытая снегом и льдом, испещренная сосульками, в вуалях сияния, пришедшего с крыльев тропических бабочек. Они появлялись неожиданно, одна за другой когда ветер поворачивал, или опадали столбы из инея — башня справа, башня слева, башня за башней, а по сути своей — домища, наполовину изготовленные из ледяного байкальского мрамора, а наполовину — из мираже-стекла; несколько нижних этажей которых было стерто из действительности, словно рисунок мелом с классной доски: куда достала тряпка в руке ученика, то и исчезло. Впрочем, сохранившиеся, поднебесные этажи тоже исчезали, когда с них стекали краски на стеклах герметично замкнутых очков, и на это же место вливалась всемогущая белизна. Ни за какие коврижки я-ононе различило бы разные башни; хорошо еще, что Щекельников показывал дорогу.

Вся эта территория — то есть, центр Холодного Николаевска, сориентированный по Дырявому Дворцу и соседним промышленным предприятиям, а так же железнодорожные пути со складами и окрестностями — казалась одной громадной строительной площадкой или местом стихийной катастрофы, в настоящее время не слишком приведенной в порядок. Земля была разрыта нерегулярными рвами и ямами, то туг, то там в ней зияли шурфы, покрытые полотном на растяжках. Горели нефтяные костры. Обледеневшие доски вели пешеходов крутыми тропами от одного здания-калеки до другого такого же здания-калеки, от одного соплицова до другого; когда здесь проходил лют, доски переносили, укладывая из них другую дорожку. А поскольку здесь постоянно сновало с пару дюжин лютов, уличный план Холодного Николаевска представлял собой нечто вроде графической головоломки или же игрового поля двух партнеров, переставляющих шашки друг другу.

Транспортировка добычи и товаров к Мармеладнице и из нее осуществлялась не по

земле, но воздушным путем, по растянутым по небу зимназовым струнам. Их путаница оставалась невидимой даже в погожие дни, не говоря уже про сегодняшний. *Я-оно*чуть ли не перепугалось, когда из пухового тумана над головой появилась связка черных рельсов и, позванивая, словно стеклянные трубки, поплыла к подъемному крану над путями. Глядя под ветер, заметило еще несколько подобных грузов, медленно перемещавшихся над городом, на первый взгляд — вопреки всем законам физики: тысячи пудов металла, левитирующих выше цехов, машин, будок, шахт, огней, лютов и людей. Впоследствии узнало, что здесь никогда не отмечали люта выше, чем в пятидесяти аршинах над земной поверхностью; если бы Иркутск начали отстраивать несколькими годами позднее, наверняка бы сейчас он весь висел бы в воздухе на зимназовых скелетах.

Пассажирского лифта под Башней Пятого Часа ожидало человек пять-шесть. Господин Щекельников указал на лестницу. *Я-оно*отрицательно покачало головой. Глядя прямо вверх, видело громадный черный квадрат «дна» башни. Но даже отсюда, ее боковые ажурные опоры были незаметны. Задирая башку, обошло по окружности «фундамент» конструкции. Башня Сибирхожето была спроектирована и возведена сразу же после Зимы Лютов и перед европейским Годом Лютов, когда про зимназо мало-чего было известно, потому за образец взяли Эйфелеву башню, потому-то она и казалась такой массивной; в то время как Часовые Башни — в чем, хотя и с недоверием убедилось *я-оно* — стояли на опорах, более тонких, чем фонарные столбы. Поднимаясь вверх на стонущем и грохочущем лифте (ветер проникал вовнутрь струйками белесой пыли), сложно было преодолеть иррациональный страх: а вдруг все это хозяйство завалится? Собранные в лифте люди обменивались мрачными шутками об армии, по приказу генерал-губернатора умирившей *холадницы*, о Феликсе Дзержинском, возвращающемся в Иркутск к очередному пролетарскому бунту. Кто-то вспоминал Распутина, кто-то — Мартына. *Я-оно*вышло и поднялось еще на четыре этажа вверх по лестнице из зеркального гранита. На лестничных клетках в горшках росли большие белые кактусы. За панорамными окнами разыгралась зеленая метель. На четвертом этаже свернуло налево и встало в очереди посетителей перед дверьми конторы *Friedrich Krupp Frierteisen AG*. Чингиз Щекельников хмуро глянул исподлобья, сморкнул из одной ноздри, потом из другой.

— Имеем дубину.

Точно, дубина была.

— Валяйте прямо. А я буду извиняться.

Friedrich Krupp Frierteisen AG. С 1909 управление концерном взял в свои руки Густав Крупп фон Болен унд Хальбах. Одним из его удачайших действий оказалось быстрое решение о включении фирмы в исследования и развитие зимназовых технологий. Густав не был Круппом по крови, его женили на шестнадцатилетней наследнице крупповских капиталов, чтобы он взял власть в концерне после того, как ее отец, Фридрих Альфред Крупп, покончил с собой в результате скандала, связанного с молоденькими девушками, привозимыми с Капри для телесных утех; кайзер же благословил новую семью и помазал нового генерала германской стали фамилией Крупп.

Множество подобных рассказов *я-оно*услышало от пана Белицкого еще вчера вечером. Естественность, с которой он перешел из роли гостеприимного хозяина до чуть ли не собрата в ордене Людей Богатства, по-правде говоря, была обескураживающей. *Я-оно*искало работу, чтобы выплатить долги; но никакого собственного дела заводить не собиралось! Но, видимо, доктор Мышливский и члены Клуба Сломанной Копейки знали лучше. Вулька-Вулькевич замерз гневным редактором-пьянчужкой, а Бенедикт Герославский... У Бенедикта Герославского под рукой имеется насос Котарбиньского. В башне было тепло, а в этой толпе под конторой — душно и жарко; впихнувшись наконец в очередь за дверью, расстегнуло

шубу, отвернуло шарф, стянуло шапку, очки спрягало в карман. В зеркальном граните отразился худощавый бородач с узким черепом под темной щетиной. *Я-оно* поправило галстук и жесткий воротничок: беленький *vatermorder*. Голову вверх! Всему можно научиться — в том числе, и искусству зарабатывать деньги.

— В первую очередь, пан Бенедикт должен принять то, что деньги делают, — рассуждал Белицкий. — Богатство не появляется путем ограбления бедноты, ни путем перетока богатства из рук в руки. Если бы кто-то становился богатым, только отбирая имущество у кого-либо другого — там побольше, там чуточку меньше — тогда с самого начала света мы бы только беднели из поколения в поколение, ведь богатства в сумме не прибавлялось бы, а людей, среди которых его необходимо было разделить, все больше. Только Господь Бог устроил все иначе: если у кого имеется предприимчивость, воля и силы, желание работать, тот творит что-то из ничего, обогащая тем самым себя и человечество. Потому-то, наряду с инстинктом размножения Господь дал нам инстинкт обогащения.

Но ведь *я-оно*и не думало здесь ни жить, ни *работать* ни днем больше, чем было необходимо для разморозения и вывоза отца из Сибири. Велика и непонятна сила зеркал.

Густав Крупп фон Болен унд Хальбах (орлиный нос, пристриженные усы, выпуклый лоб) глядел с коричневатой-серой фотографии, повешенной во внутреннем зале конторы над столом главного клерка. Фотография была подписана: 12 октября 1922 года; и была памятью о посещении президента концерна в Стране Лютов. Вокруг Густава стояло с десяток мужчин в шубах и подбитых мехом пальто: начальство иркутского отделения. Чтобы сфотографироваться, все сняли очки, некоторые даже стащили с голов шапки. *Herr Direktore* единственный отличался чистым лицом и светлыми глазами; другие остались на фото пленке с передержанными лицами, в жирном потье. Вторым по правую руку *Herr* Густава стоял пан Сатурнин Грживачевский. На фоне виднелся кривой массив Дырявого Дворца и очертания поднебесных Часовых Башен.

Протолкавшись к стойке, *я-оно* предъявило клерку визитную карточку директора Гживачевского. Клерк — типичный пример нового сибиряка, особая смесь монгольских и европейских черт — прочитал, постучал себя по зубам, глянул на часы и позвал курьера.

— Ведь до вечера же ждать не станете.

— Нет. А в чем дело?

— Доктор Вольфке сегодня сидит на Фабрике. Держите. — Он вернул визитку Гживачевского. — Покажете, если вас не захотят пускать.

— Кто?

— Ну, на тот случай, если вы являетесь шпионом Тиссена или Белков-Жильцева.

— Ну знаете...!

— *Иди, иди*. Нет у меня на вас времени, сами видите, какой тут базар с утра. — Даже не поднимаясь из-за книг, счетов и еще больших куч бумаг россыпью, он обвел рукой с пером всю контору, наполненную людским говором и толкотней. Посетители чуть ли не давили один другого, проталкиваясь к дверям, столам и стойкам, поднятым над уровнем пола на половину аршина, откуда бухгалтеры и другие крючкотворы компании гнали их без особого успеха; в ход шли кулаки, бумаги взлетали в воздух, по бумагам топтались, тут же парили банкноты, небрежно втискиваемые кому-то в руку, по банкнотам тоже топтались, так что, то один, то другой падал на колени, чтобы выбрать их из-под заснеженных сапожищ, по пальцам жадных людишек тоже топтались; деньга висела в воздухе. — И что оно будет, что будет, когда идиоты управляют. *Шесть холодниц* стоит. *Иди, иди*.

Я-оно протолкалось назад, Щекельников распахивал людей своей дубиной. Посыльный оказался подростком бурятом в тесном для него пиджаке; натянув на себя тулуп с бараньим

воротником, он помчал вниз по ступеням, пришлось наддать, чтобы успеть за ним. Лифта он не ждал — рванул зимназовые двери, я-оносна вышло в мороз и метелицу. По обледеневшим ступеням спускалось, на каждом шагу судорожно хватаясь за холодный поручень. Между дуновениями снега время от времени показывались смазанные фрагменты Холодного Николаевска: Дырявый Дворец, Часовые Башни, подъемные краны, люты, *холадницы* и открытые соплицова, и крыши заводских цехов, дымы и огни, и бледные радуги, и хаос малюсеньких домиков Иннокентьевского Два. Посыльный приостановился на секунду, чтобы показать вытянутой рукой меньшую коробку, пристроенную к коробке побольше, где-то на расстоянии версты к востоку от Дырявого Дворца. Мол, идем туда.

В Производственном цеху Второй *Холадницы Friedrich Krupp Frierteisen AG* доктор Мечислав Вольфке пускал кровь лютам. Упитанный господин среднего возраста, с лицом, напоминавшим бульдожьё морду, с небольшими усиками и высоко подбритыми с боков волосами, он стоял с открытой головой на шаткой лестнице, которую поддерживали два добровольных помощника азиата, и провозглашал через жестяной рупор инструкции для команды зимовников, которые, в двадцати аршинах далее, в проходе в основное помещение *холадницы*, манипулировали тяжелой зимназовой аппаратурой, подвешенной на весьма сложной системе полиспастов, рычагов и противовесов; другие концы длинных зондов, которые они держали в руках и которые больше походили на пики и копья, терялись в молочных облаках пара, стекавшего с бока люта, которого они подвергали пытке.

Мужчина в шапке с медвежьими ушами загородил нам дорогу, когда я-онохотело подойти поближе, заглянуть в затывеченные лица зимовников. Заговорило раз — другой, но он только покачал головой. Впоследствии узнало его как Бусичкина Г.Ф., ассистента доктора Вольфке еще по Политехническому институту в Карлсруэ. Бусичкин оказался немым.

Прежде, чем он удрал, посыльный показал заводские конторы напротив *холадницы*, в цеху было холоднее, чем на дворе, а вот конторы отапливались. Я-онорасстегнуло там шубу, приложило ладони к печке. На столах и сотнях полок царил неопиcуемый балаган, повсюду валялись части каких-то зимназовых механизмов, множество мираже-стекла, выдутого в различные формы: мензурки, ампулы, бюретки, пипетки, ректификаторы, испарители, эксикаторы, ареометры, дюжины термометров; книги и журналы; между окнами — равно как и теми, что выходили наружу, и на цех — висели белые письменные доски, густо покрытые надписями, сделанными черным мелом. Я-оносняло мираже-очки, черное и белое поменялось местами. Там были вычерчены схемы каких-то устройств, было множество чисел в столбиках и уравнений, развертываемых и сокращаемых без явного финала, с подстановкой неизвестной символики; сама математика казалась относительно простой, определенные дифференциалы и предельные последовательности. На доске у печки, скорее всего, высчитывались тепловые балансы, к раме прикрепили листочки с каллиграфически выписанными результатами измерений температур — они колебались от одного градуса до трех.

Сами книги и в плане содержания представляли образ неразумного хаоса: пять языков, темы — всего понемножку, довольно часто имелся всего лишь один том из многотомной энциклопедии: среди них вдруг вынырнуло издание на польском языке: первый том *Большой Всеобщей Иллюстрированной Энциклопедии (разрешено цензурой)*. Я-онопролистало его с конца. А. А. А. А.

Амбиция — это выражение происходит от латинского *ambire* = обходить, и означает желание вознестись над иными, поскольку в древнем Риме, кандидаты, желающие занять общественные посты, как правило, обходили жителей города,

собирая от них голоса за себя. (Ob. Ambitus).

По чему можно выявить амбиции в человеке? Только лишь по перемещению материи. Чем большее перемещение среди людей, тем амбиции в душе более жаркие. Остывая, мы меньше сталкиваемся с людьми и теряем амбиции. Такова это мера импульса пересчитанная из порядка первого вида в язык второго рода.

Дальше, имеются и математические термины.

Алгоритм(*Algorismus*), подсчет, а точнее, методика подсчета, собрание знаков, используемых в определенном исчислении; отсюда можно говорить про алгор. пропорции, про алгоритм дифференциального исчисления. Это выражение происходит от имени арабского математика аль-Ховаризми (ср. алгебра), произведение которого в латинском переводе называется «*Algoritmi*(то есть, авторства аль-Ховаризми) *de numero indorum*»,и начинается оно с выражения: Говорит Алгоритма. С течением времени, имя автора было забыто, а выражение «Алгоритми» стали считать производным от латинского выражения *Algoritmus*, *Algorismus*. Таким образом, имя человека стало названием вещи. В частности, а. означало то же, что и арифметика. Так, к примеру, самое старое изложение арифметики на польском языке авторства отца Томаша Клоса 1538 года, носит название *Algoritmus*, то есть, обучение счету».

В контору заскочил какой-то рыжий тип с большим фотографическим аппаратом под мышкой.

— Господа — чего? — захрипел он.

— К доктору Вольфке, по рекомендации директора Грживачевского.

— Уже неделю нам пообещали исключительные действия. Пускай бастуют, мы не отдадим ни часа!

По-русски он говорил с тяжелым акцентом. Затем представился Генрихом Иертхеймом. Когда он снял малахай и мираже-очки, под рыжей щетиной открылась рожа, словно пришедшая из кошмара: шрамы, обморожения, пятна кожи, протравленной тьмечью, дыры в плоти, чуть ли не до кости. Это был ветеран черной физики, находящийся на фронте науки Льда с самого начала, то есть, от Зимы Лютов — он первым измерил их холод, первым пустил им кровь. Чем сразу же и похвалился, когда я-оно едва успокоило его, что сюда пришло по вопросу работы.

— Да я собаку на этом съел! — громыхал он, подогревая себе в мираже-стекольной колбе на бунзеновской горелке молоко с чесноком и маслом. — Когда мы строили здесь первые экспериментальные *холодницы*, тут не было никакого города, всего лишь ледовая целина и куча лютов. Первые контролируемые трансмутации производились под войлочной юртой, едва-едва защищающей от ветра. Люди замерзали у меня на глазах. У одного бурята рука так отмерзла, что кисть отломилась словно кусок глины; мы храним ее возле *холодницы*, сами можете осмотреть, гы-гы, в качестве предупреждения.

Отложив *Энциклопедию* и отбросив кучу покрытых пятнами брошюр, я-оно присело на краю низкого стола.

— Почему здесь такой бардак?

— А чего вы ожидали? Самый центр Холодного Николаевска, *холодница* на четверть миллиона пудов, пересечение Дорог Мамонтов — ежеминутно приходится перебираться со всем в Башню и обратно.

[276]

— Именно потому, — сказал Иертхейм, заметив предмет моей заинтересованности. —

— Жидкого гелия?

Вытерев рот и усы, он подошел, подал руку; *я-оно* пожало искалеченную десницу — на не хватало двух пальцев. Тем не менее, у него был захват дровосека; вот так — захватил и отпустил, захватил — и тащил, силой ломая стереометрию взглядов одного и другого закомца.

— Нет.

— Нет.

— Математик.

Не ожидая ответа, он потянулся к самой верхней полке временного шкафа и снял с кучи ок самую толстую. Распутав непослушными пальцами завязки, он вынул две стопки бков, плотно покрытых значками, написанными красными чернилами. В первый момент азалось, будто бы это какие-то мозаичные схемы или ориентационные карты.

— X_{MM} ?

[illegible]

— Ничего необычного не видите? А вот теперь поглядите на томские.

ОРОРРОРРОООРОРРРОРОООРОООРОРРОРРОРРООРОРО
ОООООРОООРООРОООООООРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
ОРООРОООРОРРРРРРРРРРРРРОООРРРРРРРРРРРРРР
ОООРОРОРОРРРРРРРРРРРРРОООРРРРРРРРРРРРРР
РРРРРРРРРРРОООРООРООООРОООРРРРРРРРРРРРР
ОООРРРРРРРРРООРОООРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
РРРОРОООООРООРОООООРООРООРООРООООРОРРР
ОООРРРРРРРРРООРОООРООРООРООРОООООРОО
РООРРРРРРРРОООРООООРОРРРРРРРРРРРРРРРРР

— Гораздо более высокая нерегулярность, — подтвердило *я-оно*. — По крайней мере, на первый взгляд. И это различие постоянное? Ведь даже несколько попыток еще ни о чем не свидетельствует, в конце концов — это же вероятность.

— Здесь, — потрянул мой собеседник папкой, — у нас результаты из десятка других мест. Все это следует хорошенько обработать статистически, в соответствии с географическими координатами, изотермами и Дорогами Мамонтов.

— Подо Льдом результаты дают меньшую вариативность, они более упорядочены, более, как *это сказать*, однозначны. Так?

Иертхейм недоверчиво глянул из-под кустистой брови.

— Вы, случаем, не сильно интересовались тунгетитовой криогеникой?

Я-оно отложило бумаги.

— Нет, пан Генрих, сюда я попал по другой причине. Ищу места, это так. Но — Крупп пару лет назад выкупил предприятие Горчиньского — там работал мой отец, Филипп Герославский, геолог. Так что... Вы его, случаем, не встречали?

Иертхейм стукнул себя ладонью по лбу.

— Ну конечно же, Герославский! — воскликнул он с явным облегчением.

— Выходит, вы его знали!

Тот отвел взгляд, то ли глядя в прошлое, то ли выглядывая в цех (где доктор Вольфке уже спустился с лестницы и теперь глядел в окуляр прибора, похожего на телескоп, зимназовая труба которого вела к люту).

— И потом Господь сказал: И вот зачала ты, и родишь сына, и назовешь имя его — Измаил, ибо услышал Господь страдание его. То будет дикарь: руки его против всех, и руки всех — против него: и против братьев всех разобьет он свои шатры [\[277\]](#).

За окном дул ветер.

Я-оно потерло верх ладони.

— Мой фатер... — начало, чтобы прервать неуклюжее молчание.

— Наши зимовники иногда вспоминают его под мартыновским именем; он всегда больше держался с рабочими. Но я называю его Измаилом.

Иертхейм присел на сундуке под письменной доской, вынул трубку и кисет, набил, закурил, выдул пропитанный тьмечью дым. Под расстегнутым тулупом у него была еще белая бекеша, стянутая ременными поясками. Только сейчас заметило то, как Иертхейм держит голову на позвоночнике, словно на вертикальной мачте, как он отклоняет ее назад и как потом глядит на собеседника — делает его весьма похожим на Разбесова.

— Человек, — произнес рыжий калека, и после слова «человек», медленно выпустил дым через ноздри, — чтобы жить среди иных людей, должен обрести кое-какие общественные

умения. Умение умолчать правду: встречаешь знакомого, и не заявляешь ему с бухты-барахты, что он свинья, хотя тот самая настоящая свинья; здороваешься с дамой, и не говоришь ей, что она тебе осточертела, хотя и осточертела. Умение использования этикета: «приятно с вами познакомиться» — когда, собственно еще не знаешь этого типа, так что в этом приятного? Умение принимать всемирное зло: люди, даже самые лучшие, нередко причиняют зло неумышленно, не имея в том никакой выгоды, в будничных и ничего не значащих делах, вместе с тем творя огромное добро в самых серьезных вещах — и нужно это принимать одно с другим: хамоватость, хвастливость, крикливость, склочность, ревность и эгоизм; вместе с тем, и святые идут в небо; обладающий хорошими манерами глядит на это сквозь пальцы, не называет этого по имени, живет рядом со всем этим, не применяет заповедей к тем мелочам, о которых умалчивает Библия.

— Все это разные виды лжи; ведь вы говорите о лжи.

— Полностью без лжи жить невозможно. То есть, конечно же, можно, но тогда жить так, как идиот у Достоевского, или как ваш фатер, как Измаил: отравляя жизнь себе и ближним, пока этот дикий человек не сделается ничем: руки его против всех, а руки всех — против него. Обладая более слабой волей, некто подобный быстро озлобляется, замыкается в себе и убегает в нелюбимость. Но ваш отец не сбегал; и тем сильнее пробуждал гнев и ссоры.

...Вот пример: сразу же после выкупа предприятия Горчиньского, дело ночного сторожа Федойчука. От начальства пришел приказ уволить пять человек, потому что нечего дублировать должности. Федойчука все любили, человек добрый, хоть к ране приложи, четверо детей маленьких, опять же — парень хоть куда. Но Филипп Герославский, как только о таком нехорошем деле узнал, докладывает наверх, что сторож дрова казенные домой таскает — и вот Федойчук на улице; ему еще и уголовное дело пришили.

...Или еще один случай, был в геологической партии Горчиньского инженер Павлюшка, который тут — в Холодном Николаевске — из-под полы продавал неприличные карточки. Господин Филипп Герославский всю его порнографию и спалил. Догадайтесь, за кого люди стояли: за Павлюшку с его непристойными картинками, или за Измаила?

...Или вот еще, дело картографического архива — про него я уже знаю из вторых рук, от людей из геологического отдела фирмы. «Руды Горчиньского» уже закрывали свои конторы, и Крупп принимал все материалы; ведь он же купил и всю информацию, собранную сороками и геологами Горчиньского. Но ведь не все успели нанести сведения на бумагу на момент заключения сделки. Некоторые были тогда на севере, архив держали в своих головах. Вернулись, а тут им расчет. По чести и по закону было бы признать Круппу и ту, неописанную еще информацию — но кто так сделает? Один только Измаил. А поскольку он обратил этим внимание начальства и на других рассчитанных — можете себе представить, как они были ему за это благодарны. А потом его еще в награду вернули на работу: выходит, подлизался.

...Но вот обращает ли внимание Измаил на то, как его видят люди? Нет. Он всегда знает лучше, сделал ли чего плохого. Измаила не устыдишь.

— Его ненавидели?

— Перерыв.

Я-оно обернулось за взглядом Иертхейма: доктор Вольфке объявил шабаш; зимовники оторвались от машинерии; рана в горбу люта быстро замерзала; остальная компания — Вольфке, Бусичкин, человек с блокнотом, человек с тьветовым прожектором — возвращалась в нагретые помещения.

Иертхейм быстренько побежал за печь — оказалось, что там у него кипит старый самовар; голландец уменьшил огонь, достал кирпичного, замороженного чаю. Компания забежала и тут же захлопнула за собой дверь, затыкая щель под дверью тряпками. Все

расселись в царящем балагане, паря чернотой, дыша в ладони, кашляя и требуя кипятку. Доктор Вольфке задержался у печи, где держал на полках собственные книги. Он схватил громадный томище, перелистал и разочарованно засопел. Только после того он поднял глаза и заметил неожиданных гостей. Господин Щекельников под таблицей температур и давления газов чистил ногти лезвием длиной в половину локтя. Доктор Вольфке сделал огромные глаза. *Я-оно*как можно скорее представилось.

— Директора прислали нам математика, — объявил *mijnheer* ^[278]Иертхейм, подавая доктору чай; при этом он еще и подмигнул. — Ваш земляк.

— Пан Хенрик, дорогой! — вскрикнул Вольфке и инстинктивно перешел на польский: — Математик, на кой ляд нам нужен математик! Ведь я же просил прислать амстердамских стеклодувов и металлургов-химиков — а они мне математика.

Выговор доктора Вольфке был особенным: «матъематик», «амстиердамскийих», «штекло».

— Так ведь кто-то с головой на плечах должен, в конце концов, свести результаты измерений. *Door meten tot weten* ^[279]! — захрипел Иертхейм. — Мы же тонем во всем этом. А под конец года нас ждет отчет для Берлина. Кто будет его писать — вы? я? господин Бусичкин? или, может, госпожа Пфетцер?

Доктор Вольфке раздраженно замахал руками.

— У меня нет времени, совсем нет времени! Мало, что ли, дел на голове! Слышали, — махнул он в сторону цеха, — если это все протянется, зимовники тоже уйдут, как уже мне обещали: солидарность мартыновских братьев и верность ледовой вере, и все такое прочее.

— И вы этому удивляетесь? Вы не должны удивляться.

(Впоследствии *я-оно*узнало, что Мечислав Вольфке является крупным масоном, Великим Магистром Национальной Ложи).

— Но работа, дорогие мои, работа стоит! Вы проверили непроницаемость угольной камеры?

— Манометр замерз.

Доктор Вольфке вытащил носовой платок, сшитый, по-видимому, из четверти скатерти, и высморкал в это полотнище нос, сильно при этом покраснев.

— Все замерзает.

«Вше замезает». То ли он, впридачу к насморку страдал тяжелым воспалением горла и гортани, то ли родился с дефектом речи. *Я-оно*собиралось обратиться к нему с огненной речью, предъявить рекомендательную бумагу, живо аргументировать, только рот как-то не открылся. Чесало верхнюю часть ладони. Окна покрылись паром, протерло голой рукой мираже-стекло, холодный водный пар остался на коже. В цехе зимовники расселись на упаковках и керосиновых бочках (вся зимназовая машинерия, идущая к люту и в глубину *холадници*, перемещалась туда-сюда по рельсам, и всякий раз после прохода ледовика необходимо было растапливать с них лед). Шесть мужиков, половина наполовину с голыми головами и в меховых шапках, в легких куртках, а то и просто в рубашках или свитерах на голое тело — сидели, разговаривали, жевали краюхи хлеба, запивали ледяным чаем.

*Я-оно*застегнуло шубу, вышло на мороз *холадници*. Рабочие и не взглянули, пока не присело рядом на перевернутой тачке. Не надело ни шапки, ни очков. Седобородый, широкоплечий старик в кожаном фартуке, тот, что сидел ближе всего, тот узнал сразу. Не было уверено в лице мужика в ушанке, что сидел напротив, но вот в седобородом старике — точно. И еще то, как он заговорил — тот его голос, которым он выпевал над открытой могилой литанию святого Мартына — он это, он.

— Г *аспадин Ярославский*.

Остальные замолкли, обратили взгляды.

— Венедикт Филиппович Ерославский, — повторил старик и проглотил последний кусок хлеба, стряхнул крошки с рук. — Искали нас?

— По Дорогам отца попал.

Тот долгое время приглядывался. Рабочие-зимовники молча прислушивались. Облака черного пара вздымались от них в пропитанном тьмечью воздухе.

— Как тогда сказали, так и замерзло, — сказал он.

— Так. Нет. — Кожа на морозе свербела, но сдержалось. Сунуло ладони поглубже в рукава. — Замерзает.

— Приходил ли кто к вам незванный?

— Кто?

— Еретики, веры предатели.

— Нет.

— И хорошо.

— Похоже, что я здесь буду работать.

Они переглянулись.

— О!

— Скажите мне кое-что, люди добрые. Вы слушаете отца с Большой Земли — а он слушает ли вас?

Седобородый склонил голову.

— Что узнаю, то повторяю, а вот слушает ли — его то воля.

— Слово Распутина обладает силой многое здесь изменить. Знаете, что все эти ночные аресты — все это от страха Шульца-Зимнего перед страхом *Батюшки Царя*. Прибыло посольство от господина из Америки, будут искать возможности аудиенции при дворе *Его Императорского Величества*. И станут они подзуживать против Сибири. Губернатор обязан заранее доказать свою верность. В первую очередь, под нож пошли *абластники*, и вы это знаете.

— Но если бы человек с человеком не был в несчастье заодно, съели бы нас господа без соли.

Зимовники согласно загудели.

— А вот обдумайте-ка вот такое, — ответило *я-онона* это, — этим своим заединством вы укрепляете Лед или же ускоряете таким образом Оттепель. За что стоит Шулец-Зимний, а за что — *абластники*? Что бы сказал на это ваш святой Мартын? А?

Тут они смешались.

— Вы же не верите в Мартына, — буркнул седобородый.

— А разве станет правда менее правдивой, когда из уст неверующего исходит?

На это они уже ничего не сказали. Когда вернулся доктор Вольфке, не говоря ни слова, они встали к работе, схватили зимназовую машинерию, вступили в промышленную стужу. *Я-оно* стояло на самой границе воздуха, которым можно было дышать, тенистый пар протекал через шарф, заправленный под самые очки; даже за шапкой вернулось. Но все равно, более нескольких минут выдержать не удавалось, нужно было подходить к коксовщикам, что расставили свои бочки по углам цеха, возвращаться в комнату с печкой, где курил свой табак *mijnheer* Иертхейм.

Холодниц системы Круппа — в отличие от *холодницы* Барнса или Жильцева — работает в открытом режиме, потому и большее воздействие мороза. Через дыру в стене, отделяющей цех от помещения *холодницы*, в котором уже выморозился лют, *я-оно* подглядывало за процессом трансмутации. На блестяще черном массиве льда отражались электрические огни

— по глади морозников, сбитых в одну гигантскую криоскульптуру, проплывали волны тьмечи и бледной светени — зимназовые конструкции, подъемные краны, цепи и толкатели, машины величиной с дом и машины еще большего размера, окутывали гнездо, частично его заслоняя. Люты здесь делались крайне маленькими по сравнению с человеческими машинами; а человек, отдаленные силуэты то одного, то другого зимовника, обслуживающего процесс обращения руды в *холоднице* — казался совсем уж мелкой песчинкой процессов, происходящих в величественном масштабе и при темпах, сравнимых с ледниковыми. Радужные стрелы ажурных кранов перемещались с театральным достоинством. Пар от сжижаемого и вновь освобождаемого в виде газа воздуха кружил тучами, словно валы взбитых сливок; кровавые глазища ориентационных ламп окрашивали их багрянцем. Когда глядело на них через мираже-очки, раз это походило на образ наинизших кругов ада, другой же раз — на надоблачное небо, чистейшее, залитое небесными сиянием и колером. Где-то вдалеке пылали угольные костры и били ломы; через дыру их не было видно, из нее исходил лишь низкий гул работающей *холодницы*: усиленное и растянутое во времени механическое эхо барабанного боя глашатаев.

Дыра, как и большинство уродств архитектуры Холодного Николаевска, образовалась как раз в результате повторяющихся переморожений ледовиков; на такой концентрации Дорог Мамонтов проводить какие-либо ремонты не выгодно. В самом начале, то есть, сразу же после Великого Пожара Иркутска, когда еще не существовало никаких карт Подземного Мира, было принято решение построить здесь огромное соплицово с прилегающими гнездами лютов, по своему промышленному масштабу достойное Рурского Бассейна: с цехами высотой в десятки аршин, с железными куполами шириной в сотни метров. Тем не менее, всяческие очередные ремонты и реконструкции были заброшены; по мере потребности достраивались только дополнительные подпоры, чтобы здание не рухнуло; так что люты перемораживались свободно. Так появился Дырявый Дворец, черно-снежный монумент Холодного Николаевска, с искалеченной архитектурой, не похожей на какую-либо иную архитектуру в мире. Карта Дорог Мамонтов отражается здесь на земной поверхности болезненными скелетами застроек.

*Холодниц*а системы Круппа работает в открытом режиме, это означает, что руды, перемораживаются лютами за внешними границами гнезда, над уровнем почвы. Методы, требующие большего вмешательства, одновременно являются и более дорогостоящими, поскольку требуют необходимость подкопаться под гнездо и вокруг его границ, окружить герметической зимназовой машинерией, при чем, возникает еще и проблема надежной транспортировки тысяч пудов добычи при экстремально низких температурах. А ведь никто не может дать каких-либо гарантий в плане того, насколько долго гнездо останется в этом месте. Правда, громадное соплицово Холодного Николаевска пока что остается четким пунктом концентрации ледовиковых гнезд — единственной точкой в мире — но кто даст себе отрубить руку, что все это разом через неделю-две не заморозится назад, под землю, а весь промышленный город не останется тогда бесполезным реликтом минувшего величия, словно те вымершие горняцкие городки в Америке, когда все их золотые жилы были исчерпаны? Ведь так, по-правде, ничего толком про Лед никто и не знает.

Деловой человек стремится к тому, чтобы застраховать свои вложения. Крупп и конкуренты Круппа главной своей целью определили сделать независимым производство зимназа и его производных от наличия лютов; пока что это успехом не увенчалось, тем не менее, именно в этом направлении велись исследования доктора Вольфке и ученых, работающих для остальных концернов. Даже Петербургский Горный Институт и Императорское Географическое Общество, косвенно или прямо служащие этим интересам,

пытались найти ответы на эти вопросы. Какие физико-химические процессы происходят в «организмах» лютов? В чем заключается «жизнь» Льда? Какая перемена в перемороженной материи отвечает за изменение ее физических и химических свойств? На каких энергетических процессах основываются эти трансмутации? Иными словами: чем является Лёд?

Зимовники доктора Вольфке пробивали лютов тунгетитовыми пиками и заливали в вакуумные криостаты из мираже-стекла их кровь — это был гелий. Гелий, *helium*, солнечный элемент, поскольку был он открыт лишь в спектре Солнца, является благородным газом, то есть, безразличным ко всем химическим искушениям: он не вступает в соединения, которые человек способен легко открыть и исследовать. Профессор Хайке Каммерлинг Оннес из криофизической лаборатории в Лейдене, используя в попытках сжижения гелия громадные его количества, должен был оптово скупать через Амстердам монацит (у него был брат, серьезно укоренившийся в торговле). Лёд ударил 30 июня 1908 года; Каммерлинг Оннес получил сжиженный гелий девятью днями позднее. Температура кипения жидкого гелия, температура, при которой он превращается из жидкости в газ, составляет менее пяти градусов по шкале Кельвина. Достижение столь низкой температуры требовало от голландцев создания сложной системы компрессоров и декомпрессоров, сходящих последовательно все ниже: они сжижали кислород, азот и воздух, затем водород, и — наконец — гелий. Процесс требовал громадных расходов времени и энергии, и он позволял лишь ненадолго поддерживать столь низкую температуру и при малейшей разгерметизации вызывал резкий нагрев субстанции. Тем временем, в лютах гелий тек свободными ручьями.

Я-оно задумалось над тем, как вообще можно измерить подобный экстремум температуры. Обычный термометр указывает на изменения теплоты посредством изменения объема эталонной субстанции, к примеру, ртути или спирта. Температурные таблицы, вычерчиваемые в конторе при Производстве Круппа, вовсе не описывали шкалу Цельсия, расписанную от нуля, означающего точку замерзания воды при обычном давлении, но абсолютную шкалу лорда Кельвина, где ноль является нулем абсолютным, ниже него температуры вообще не существует, точно так, как нет времени пред началом времен.

— Но что же это в таком случае означает? — спросило *я-оно*, вернувшись к печке на кружку горячего чая. Например, два и две десятые или же один и восемь десятых. Если на самом конце находится абсолютный ноль, то есть — отсутствие тепла — то что это такое? Как измерить абстракцию?

— Это правда, долгое время у нас была только пустая математическая модель, — признал Иертхейм, выпуская уголком губ пахучий дым. — Раз температура является мерой растяжения, декомпрессии материи, и жидкость более декомпрессирована по сравнению с твердым телом, а газ — по сравнению с жидкостью, то граница декомпрессии газа является границей температуры. Берем определенный объем воздуха и...

— Охлаждаем, при этом, измеряя изменение объема, то есть — давления, выводим зависимость, подставляем нулевое давление...

— Так.

— А может газ обладать отрицательным давлением? Не может. Хммм.

— Отсюда в температуре и абсолютный ноль. Уравнения показывают границу на двухстах семидесяти трех градусах ниже нуля по шкале Цельсия.

— И как вы это замеряете? Через давление газа?

— Действительно, в окрестностях абсолютного нуля метод не срабатывает. Электрические термометры тоже не самые надежные, электрический ток при низких температурах — это еще одна загадка. Но все дело в том, господин Герославский, что по-

настоящему близко от абсолютного нуля...

— В сердце люта.

— Ба! — *Mijnheer* Иертхейм снял ноги со стула, оглянулся на таблицы, вывешенные между внешними окнами, схватил, что попало под руку, длинную грязную пипетку, и уже ею, словно дирижерской палочкой, указал на размеченную линейку, прибитую вертикально у фрамуги. На одной четвертой высоты линейки (а ее длина составляла больше аршина) кто-то приклеил голубую стрелку. В самом низу был виден вырезанный из дерева большой, круглый будто яйцо ноль. — Таковы наши наилучшие оценки последних измерений.

— Четверть градуса?

— Фи! Вся эта линейка — это одна сотая Кельвина! — рассмеялся голландец.

Проглотив горячий чай, я-оно сделало изумленную мину.

— И чем же, якобы, отличается три сотых градуса от двух сотых градуса?

— Представьте себе газ на молекулярном уровне. Вы выдыхаете воздух в стеклянную банку. — Он дунул дымом вовнутрь мираже-стекольной колбы, быстро закрывая горлышко рукой с трубкой; за стеклом закрутились синие вихри, быстро перекрасившиеся в желтый цвет. — Что происходит? Мириады частиц выпадают из одного объема в другой. Фьюу! — махнул он пипеткой над головой. — Гоняют, куда только могут. Как соотносится объем легких к объему Крупной банки?

— Мы будто бы выдыхаем в пустоту?

— Скажем так.

— Чем больше пространство, тем меньше давление. — Я-оно потерло костяшками пальцев по заросшей щеке. — Чем меньше давление, тем ниже температура. Но ведь тепло — это энергия; куда уходит эта энергия?

— Вы только что открыли Первое Начало Термодинамики. А как измерить давление? — Иертхайм сунул в горлышко колбы, в которой грел молоко, широкую пробку. — Я всовываю в горлышко банки непроницаемый вес. Что толкает его снизу?

— Удары этих частиц.

— Теперь я суну вес в два раза больший. Он сдвинется ниже. Уменьшится объем, увеличится давление, увеличится температура. Я подогрел воздух.

— Это мера движения молекул. Суммы их энергий, импульсов, с которым они бьются в этот развес.

— Но только в определенной степени. — Он трижды стукнул пипеткой по колбе, и это прозвучало словно колокольчик служки в церкви. — Тут мы подбираемся ко Второму Началу. Работа, движение переводится в тепло как следует — но вот тепло уже переходит в работу всегда с потерей энергии. Если бы я должен был поднять мой придуманный развес на высоту в два раза более легкого развеса путем подогрева воздуха в банке, я должен был бы затратить больше энергии, чем потратил на сжатие воздуха. Эта разница, эта убегающая энергия — это и есть энтропия, дорогой мой господин.

...Вот поглядите на наш здешний бардак. — Стеклянная дирижерская палочка замкнула окружность. — Чтобы привести мастерскую в подобное состояние, необходимо затратить энергию на перемещение каждого предмета из места в упорядоченной системе в любое иное место. Но чтобы теперь все это установить в порядке, энергии для перемещения предметов в любое иное место уже не хватит. В лучшем случае, бардак останется таким же, но, вероятнее всего, станет еще большим. Энтропия нарастает.

...Когда я растапливаю лед, энтропия нарастает: у меня был ледяной кристалл, теперь у меня свободно текущая жидкость. Когда я испаряю жидкость, энтропия увеличивается: у меня была жидкость, организованная в соответствии с поверхностью сосуда, теперь туча

частиц, летающих, где им пожелается.

...Зависимость замечаете?

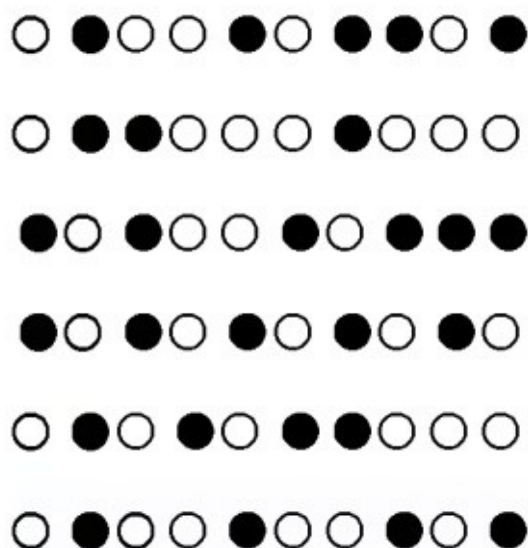
— Чем холоднее, тем энтропия ниже.

— И это, согласно мнению господ Нернста и Планка означает, что при температуре абсолютного нуля энтропия любой системы равняется нулю. — *Mijnheer* Иертхейм царапнул мундштуком трубки шрам после обморожения над глазом, задумчиво постучал по голой кости. — У нас в Лаборатории имеется рентгеновская лампа, чтобы просвечивать зимназо, — заметил он, после чего, побурчав под носом, предпринял неуклюжую попытку борьбы с локальной энтропией: одна полка, вторая полка, шкафчик, сундук с бумагами, куча папок, третья полка, наконец нашел кляссер, всунутый под короткую ножку стойки вакуумного насоса. Трехпалой ладонью он переворачивал темные негативы. — Этот. — Он вынул, поднял пластинку к свету. — Латунь, через день после сплавления.

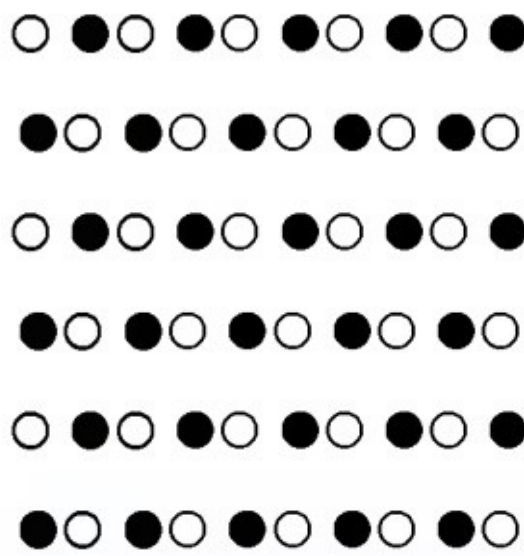
*Я-оно*прищурило глаза.

— Ничего не вижу.

— А, ну да. — Голландец смешался. — Дело в том... Здесь где-то были рисунки. — В конце концов, он нашел кусок листка, вырванный из старого номера «Иркутских Новостей», на широких полях которого кто-то вычертил схемы. — Так выглядит молекулярная структура латуни через день после выполнения сплава.



— А вот так — через несколько месяцев.



— Атомы меди и цинка упорядочились. Сплав остыл. — Иертхейм выпрямился, поднял с хрустом голову. — Теперь угадайте, что показывают все просвечивания холодов зимназа?

— Этот вот идеальный порядок.

— Так точно! Атомы стоят будто на плацу — в самой малой пылинке, в самой тонкой нити — словно в кристалле.

*Я-оно*инстинктивно мельком глянуло на линейку сотой части градуса.

— То есть, дело не только в том, чтобы отобрать у частиц энергию, чтобы остановить их в движении.

— Нет. К абсолютному нулю все сводится через...

— Упорядочивание, однозначность, единоправду материи, да-да, нет-нет.

Неужели *я-оно*этого не знало? Разве не испытало этого во времени поездки по Транссибу? Чем иным является Зима, как не связыванием хаотической, нестабильной, многозначной материи в математическом порядке идей? Чем иным является Лето, если не Царством Энтропии?

— Когда от нуля нас отделяют всего лишь тысячные доли градуса, — говорил Иертхейм, — различие не определяется какой-либо энергией движения — потому что ничто не должно двигаться, ни энергией молекулярных колебаний — потому что колебаться они не должны, ни даже порядком атомной структуры — он уже абсолютен. Процесс упорядочивания осуществляется на более глубоком уровне.

Тьмечь свербела под черепом.

— Но если мы уже не измеряем температуру через изменения давления, то откуда нам известно, не позволяет ли эта холодная энергия Порядка и Беспорядка, правды и Лжи — не позволяет ли она спуститься ниже, чем математическая модель, то есть, к температурам меньше минус двухсот семидесяти трех градусов Цельсия?

В ходе очередных перерывов, которые группа доктора Вольфке использовала, чтобы обогреться, *mijnheer*Иертхейм позволил затянуть в один из термоскопов, смонтированных на рельсовых направляющих между цехом и *холадницей*, от которой шел терзаемый лют. Сняв очки, *я-оно*осторожно склонилось над круглым окуляром в зимназовой оправе. Это был третий из боковых термоскопов, прикрученных с постоянным положением и угловым наклоном; он служил для наблюдений за опытом, проводимом на крови лютов в условиях Мороза, то есть, в аппарате, воткнутом в бок ледовика словно наконечник копья римского легионера или же палец Фомы Неверующего в бок Распятого.

Аппарат состоял из двух мираже-стекольных мензурок, размещенных одна в другой, в

обеих находилась кровь люта, причем, меньшая мензурка была подвешена над большей без непосредственного между ними соединения, ее дно находилось в двух вершках над уровнем крови в нижнем сосуде, а ее верхний край высоко выступал над краем большего сосуда. В эксперименте измерялся темп самостоятельной текучести гелия при температуре, приближенной к одному градусу Кельвина. В окуляре четко видело формирующуюся под дном верхней мензурки каплю крови ледового создания. Чистый гелий — атом, и атом, и атом, и атом — полз, подталкиваемый таинственной энергией по стенкам высокой мензурки вверх, проскальзывал через ее край и сползал вниз, по внутренним стенкам, скапывая в нижний сосуд. Перемещение гелия прекращалось, когда уровни жидкости выравнивались. Но откуда кровь люта в одном сосуде «знала», что ей следует карабкаться вверх? Какая таинственная сила поднимала ее, вопреки законам тяготения? Какого порядка достигали в этом перемещении молекулы гелия, если не порядка каменной безжизненности кристаллических структур? Но выглядело все это чуть ли не так, будто один из простейших элементов в своей примитивнейшей форме в условиях Льда вдруг обретал свойства живого организма. Чем сильнее он был заморожен — тем более живым становился. Таковой была чернофизическая физиология лютов.

В опыте измерялся темп протока их крови, поскольку из первых наблюдений следовало, что он оставался постоянным, независимо от разницы в расположении мензурок или других условий; теперь собирались данные, чтобы вывести из наблюдений формулу скорости перемораживания лютов над поверхностью земли и по Дорогам Мамонтов.

В Кривофизической Лаборатории Круппа были отмечены и другие феномены, которые тут же докладывались в «*Annalen der Physik*» [\[280\]](#). Кровь лютов была субстанцией, лишенной вязкости, во всяком случае, с вязкостью в миллионы раз меньше вязкости гелия в условиях Лета. При том, чем через более узкие щели она протекала, тем сильнее ее вязкость уменьшалась. Точно так же, теплопроводность гелия в лютах увеличивалась в миллион раз. Помимо того, из лаборатории Тиссена докладывали о невозможности определения удельной теплоемкости крови лютов в окрестностях $2,2^{\circ}\text{K}$, в точке ее наибольшей плотности; аппаратура давала совершенно абсурдные результаты.

Тем не менее, по словам *mijnheer* Иертхейма, наибольшим к настоящему времени успехом черно-физиков было описание эффекта, из которого они ожидали вывести законы, отвечающие за самые удивительные свойства тунгетита и зимназа, то есть — их отрицательную теплоемкость. Тунгетит (и, до определенной степени, большинство зимназовых холодов), получив порцию энергии — то ли в форме электрического тока, магнитных сил или кинетической работы, либо просто тепла — вместо того, чтобы разогреться, понижает свою температуру, не выпуская при том наружу энергию каким-либо измеримым способом. Существуют формулы, определяющие пропорциональность таких изменений; доктор Тесла должен был знать результаты подобных опытов, зато физики явно не были ознакомлены с результатами его исследований теслектричества, не были им известны и принципы работы тьмеченосных машин. Здесь поиски шли в направлении черной оптики, то есть, измерений энергии тьвета.

Я-оно сразу же поняло, что недостающим элементом теории является тьмечь: энергия логики, носитель Мороза. Можно было намекнуть Иертхему или самому доктору Вольфке об открытиях Теслы — и это наверняка гарантировало бы мне должность у Круппа. Но не успело даже скривить губ при этой мысли: ведь это была бы роль промышленного шпиона и вообще — предателя. Ничего удивительного, что Никола забаррикадировался в Императорской Обсерватории, и скорее уж получит приглашение от каких-нибудь шарлатанов или какого-то Братства апокалипсиса, чем от черно-физиков зимназовых

концернов. Не существует науки, которая абсолютно не была бы связана с политикой или экономикой, даже высшая математика влияет на лицо мира, на ход Истории. Выходит, есть уравнения левые и правые, имеются они прогрессивные и консервативные, существуют такие оттепельнические и ледняцкие. За Теслой стоял Царь-Бог, самовластно требующий изгнания лютов из своих владений; за черно-физиками же стояла сила денег, возросшая на эксплуатации Льда.

И снова я-оноочутилось на полдороги между Льдом и Оттепелью, то есть, между молотом и наковальней Истории.

Так что о Тесле не промолвило ни слова. Даст Бог, они вообще не пронюхают об этом знакомстве.

А опыт, открывающий основы контр-термодинамики, выглядел следующим образом: в сосуд с кровью лютов погружали до половины, дном вверх, сосуд, вертикальное сечение которого напоминало греческую «омегу», то есть, со суженной шейкой. Уровни гелия в первом и втором сосудах в начале опыта были одинаковыми. В гелии, внутри меньшего сосуда, находился нагреватель. Так вот, после включения нагревателя, уровень гелия в этом втором сосуде поднимался: вместо того, чтобы испаряться в газовую форму, который бы выталкивал жидкость вниз, сжиженного гелия делалось больше. Кровь лютов при нагреве снижала собственную температуру.

Опыты же, над которыми Вольфке ломал голову сегодня и над отрицательными результатами которых сожалел, в свою очередь, касались сверхпроводимости зимназа. В условиях Лета феномен сверхпроводимости наблюдали исключительно при нижайших температурах; тем временем, некоторые зимназовые холода показывали нулевое электрическое сопротивление и выше нуля по Цельсию. Это открывало дорогу к совершенно новым технологиям, начиная от не имеющих трения магнитных подшипников и сверхточных гироскопов. Но все это были патенты явно военного значения.

Иертхейм и Вольфке жаловались на необходимость отсылать частые и очень подробные отчеты в Берлин; оттуда же приходили планы целых серий экспериментов, которые необходимо было провести в Холодном Николаевске. — Пускай посадят сюда дрессированных обезьян! — бурчал доктор Вольфке за обедом, так же поглощаемом в мастерской, в спешке и бардаке. Мечислав Вольфке с молодости был увлечен концепцией межпланетных перелетов, и сам он, скорее всего, посвятил бы время концепциям чисто инженерного применения зимназа или, хотя бы, проектам крупных батарей постоянного тока. От точно такого же порядка страдали и учение Белков-Жильцева, которых подгоняли академики из томского Технологического Института. Миф о бесплодности умственной работы в Стране Лютов был более распространенным, чем казалось Николе Тесле.

После полудня я-онопомогало Бусичкину и Иертхему каталогизировать зимназовые образцы, которые после долгосрочного разморозивания возвращались в Лабораторию в Башне для совершения подробных замеров их физикохимических свойств и для просвечивания в рентгеновских лучах.

Чингиз Щекельников не спускал глаз с зимовников. Во время очередного перерыва он зашел и мрачно известил:

— Не нравится мне все это, господин Ге. Почему они не бастуют?

— Так ведь и бастует даже не большинство.

— Эти работают даже с охоткой. Остерегайся работника, что не ленится. Скор к работе — будут хлопоты.

Вотвам мудрости российского народа.

Я-оностаралось показать собственную пригодность. По собственной инициативе взялось

за упорядочивание бумаг, заваливших столы и полки. Правда, это было задание, сравнимое с подвигами Геракла. Вольфке, заглянув в комнату, не сказал ничего, лишь впоследствии спросил, хорошо ли мне известен немецкий язык — вся документация на фирме велась именно на нем. Ответило, что я родился и учился в Пруссии.

После четырех вечера на Производство прибыл усатый жандарм с указанием заканчивать на сегодня все необязательные работы в *холадницах*; гражданские должны были возвращаться в Башни. Казалось, что Вольфке устроит скандал в отношении этих «необязательных работ»; нет, только махнул рукой и затрубил в свой платок.

Лаборатория Круппа размещалась в Башне Пятого Часа на седьмом этаже, который представлял собой нечто вроде бесформенной мансарды под остроконечными чердаками, обложенной панелями из легкого зимназа и перемороженного стекла. Зал занимал весь этаж и был завален не меньше мастерской на Производстве. Расставленные то тут, то там металлические шкафы разделяли пространство. Лестничная клетка вела еще выше, на крышу — каждый день, за час до рассвета и за час перед закатом туда взбирались ледоколы, чтобы сбивать свежие наросты мерзлоты и сбрасывать снег. У основания Башен, между опорами тогда зажигали красные предупредительные огни. Когда *я-оно* въезжало наверх с Бусичкиным и Щекельниковым, с тяжелыми чемоданами образцов металлов, мужики уже готовили огневые корзины. Из самой Лаборатории их огни, конечно же, видны не были. Но через несколько минут, едва успело раздеться и отогреть руки у печки, по лестнице промаршировало четверо зимовников в подбитыми гвоздями сапожищах; они вошли на крышу и раздались глухие звуки: бум-бум-бух. Электрические лампы мигали, то делаясь светлее, то практически погасая — но это не от стука, в Стране Лютов так всегда. *Я-оно* присматривалось к *mijnheer* Иертхейму, который, несмотря на грохот, весело спорил с подающей чай женщиной, сейчас поливающей рахитичные растения в горшках на подоконниках. Щекельников, которого доктор Вольфке попросил уйти, прежде чем спуститься в холл с лифтами, еще успел провозгласить достойное Кассандры предсказание о голландце: Добра желает, ха, ежели кто чужому так добра желает, то наверняка нож в кармане таскает! Пока Иертхейм не отправился в свой угол за шкафами, *я-оно* попыталось взглянуть в уродливого инженера глазами пана Белицкого, глазами пана Мышливского. Что это за человек? Какова правда об этом человеке? Свет мерцал, мерцал и потьвет вокруг Иертхейма, он поворачивал свое уродливое лицо в тень и в свет, один раз такой, и вот уже иной, из правой памяти: крепкое пожатие его руки; из левой памяти: ядовитая подозрительность; почувствовало себя совершенно заблудившимся, как в отношении очередного анонимного товарища по транссибирскому путешествию. Расчесывало ладонь, хотя та совершенно не свербела.

К вечеру метель явно утихла, а поскольку солнце еще не опустилось, с высоты Часовой Башни открывался замечательный вид на большую часть Холодного Николаевска и первые халупы Иннокентьевского Два. *Я-оно* выглядывало через панорамное окно Лаборатории, нацеленное на Дырявый Дворец, на северо-запад. Когда белизна инея перетекала на геометрические формы *холадниц*, а на поля снега и льда стекали коричневая и черная краски от машин, дымов, складов — тогда рождалась картинка словно с соборного витража, освещенная вспышками, источник которых располагался где-то за пределами рамы, огонь — под красками, свет — под землей. Заводские трубы, терриконы породы, поднебесные вагоны, процессии рабочих, железнодорожные склады, могучие подъемные краны, телеги с углем с оленьими упряжками, столбы, путевые переходы, лампы и фонари, заводские крыши, их ворота, строящиеся производства, фабрики в пусковой фазе, заводы работающие —

лучистые, светлые, яркие, святые, святые, святые.

Замешательства вокруг железнодорожных путей с этого расстояния оставались практически незаметными. Один раз, в отливе красок на стекле, заметило голубые ряды пехоты с берданками в руках, прячущиеся за звездчатой спиной люта. Бастующие наверняка пожелали заблокировать Мармеладницу, а вот этого терпеть было уже нельзя. В фальшивоправдивой памяти мигнул цусимский рассказ капитана Насбольдта. Здесь, в самом сердце Зимы, каковы имеются шансы у спонтанного бунта против государства в войне математических необходимостей?

Я-онозакурило папиросу. Доктор Вольфке, остановившись ненадолго рядом, вытирал нос. Протяжно завывли три или четыре сирены. Людские муравьишки крутились на снегу между монументами мороза и еще большими промышленными памятниками.

— Я тоже иногда вот так размышляю, — глядя вниз, сказал Вольфке («Я тоэ инохда вот тах 'ажмыфляю»).

— Десять лет.

— Да. Какой же мир ледовых технологий увидят наши внуки?

Страхнуло пепел, почесало ладонь.

— Вся Земля подо Льдом.

— Ай, так вы тоже ставите на Оттепель?

— Не понял?

— У всех здешних поляков в этом плане самые смешанные чувства. — Он протер мираже-стекло платком, глянул в отражение внутренностей Лаборатории с измененными цветами. — Пан Хенрык сказал мне о вашем отце. Прошу прощения, даже не было времени поздороваться.

Я-онораздраженно махнуло рукой, оставляя в воздухе дымный восклицательный знак.

— Туг политическое дело, меня задержало Министерство Зимы. Потому-то так вам и надоедаю. И еще одно могу пообещать: пока Сын Мороза будет у вас работать, Круппу всегда будет хватать зимовников для работы в *холадницах*.

На станции Мармеладницы блеснуло несколько огоньков. Никакой звук оттуда до Башни не дошел, да и эти отблески мелькнули без особого следа. Глядело рассеянно, стряхивая пепел в горсть, покрасневшую следами от ногтей.

Доктор Вольфке что-то побурчал и протянул руку.

— Так что же, приветствую в Кривофизической Лаборатории Круппа.

— Шестьдесят?

— Пятьдесят.

— Пятьдесят пять?

— Пятьдесят. А там посмотрим.

— Здесь все неприлично дорого.

— Пятьдесят рублей, дорогуша, не больше, такова ставка ассистентов, и даже заступничество инженера Иертхейма этого не изменит.

— А что с патентами?

— Вы рассчитываете на изобретения?

— Разные странные вещи ходят в голове.

— Это уже торгуйтесь с директорами.

Я-онопожало его руку.

— Пятьдесят.

— Замерзло.

— Замерзло.

После длительной феерии отблесков, из-за вагонов в направлении Иннокентьевского рванула муравьиная толпа: малюсенькие человечки на снегу, оставляющие за собой капельки багрянца, тут же расплывающиеся на мираже-стекле в очередной витражный цветок. Все это было очень красиво, тем более — в движении, с белоцветными тенями на небоцветной земле, когда темень опускается над Холодным Николаевском, а длинная тень Дырявого Дворца указывает на Седьмой час. Так императорское войско разгоняло протестующих рабочих.

Мароз царствовал трескучий.

О смерти в настоящем времени

Модест Павлович Кужменьцев, зайдя к Белицким на полдник, поделился вестями из правительственных сфер, то есть из коридоров дворца и Цитадели генерал-губернатора. Так вот, дочка графа Шульца-Зимнего, Анна Тимофеевна, обручается с неким Герушиным из старинного помещичьего рода олонекской губернии; по этой okazji во дворце должен состояться большой бал, на который Его Сиятельство созывает все имеющие значение семьи Байкальского Края. Панна Мария и пани Галина при этом известии начали умолять старого адвоката, чтобы тот шепнул, где следует, словечко и доставил им огромное удовольствие, устроив приглашение для Белицких. Адвокат поглаживал себя по седой бороде, угощался обильно подвигаемыми ему лакомствами и довольно урчал, удовлетворенный оказываемым ему вниманием и впечатлением, вызванным такими сведениями. Правда, хозяина дома мало интересовали балы и семейные связи аристократов, он начал выпытывать Кужменьцева о вопросах хозяйственного, государственного уровня, в частности, про репрессивную политику генерал-губернатора: то есть, долго ли тот замыслил удерживать подобный террор? Любые общественные беспокойства плохо отражаются на делах. Посольство Дж. П. Моргана уже покинуло Иркутск, отправившись на Большую Землю Транссибирским Экспрессом. Адвокат сообщил, что у них, якобы, имелись полномочия от Белого Дома, подписанные самим президентом Коксом. Правда, ничего удивительного в том не было, учитывая то, что Казначейство США должно Моргану огромные миллиарды. А вот другое сообщение гораздо больше пришлось пану Войславу по нраву: князь Блуцкий-Осей прекрасно справился в Гонконге с делом мирных переговоров с японцами; настолько хорошо, что, по сути, миссия его уже перестала быть тайной, и теперь уже открыто говорится о договоренностях между Его Императорским Величеством и императором Хирохито, вскоре об этом напишут и правительственные газеты. За успех переговоров пан Белицкий выпил рюмочку мадеры.

Усевшись на шезлонге возле кресла достойного старца (сонная Михася тут же забралась на колени), вполголоса заговорило о продвижениях по известному делу — не слышно ли чего-нибудь нового? возможно, Штаббух получил какие-нибудь новые указания? что с Ормутой? когда и какой чиновник наконец-то поставит печать, и отдадут ли паспорт? что говорили на совете Сибирхожето про идею Шульца провести диалог с лютами? да и что вообще говорят?

Гаспадин Кужменьцев глубоко вздохнул, даже светени заискрились в его бороде и усах.

— Это ведь дело политическое, и никакими иными средствами его не решить, исключительно политическими. Правильно? Так что, здесь никак не помогут юридические штучки, процедурные хитрости, знакомства с чиновниками, взятки и услуги. Тут должно быть принято политическое решение, в отношении вас, Отца Мороза, Льда и Истории. Пока они не решат, для чего вас использовать и вообще, для чего вы пригодны, то есть, на чем

сами вы стоите — до тех пор вас, Венедикт Филиппович, никуда не пустят, даже если бы завтра с утра паровоз пошел на Кежму.

— Но как только я открыто за чем-нибудь выступлю, тут же врагов себе наделаю. Ведь нет же такой возможности, чтобы выступить за что-то или кого-то, и вместе с тем, не против кого-то иного.

— Ох, иллюзии юношеские! — добродушно захохотал старик. — Неужто вы до сих пор питаете надежды, что по жизни пройдете как приятель всем и вся, никого врагом своим не делая? Прекрасно.

— Сейчас, по крайней мере, меня видят полезным и те, и другие. Но если я выскажусь хоть словом за Оттепель — ледняки всех собак на меня спустят; за Лед выступлю — оттепельники затравят.

— Не знавал я ни одного достойного уважения человека, у которого не было бы смертельных врагов. — Старый адвокат сделал глоток кофе с молоком, причмокнул, оттер ус. — Вы хотите отца ото Льда выволить, так? Хотите сами из Иркутска вырваться, так? Тогда вам следует замерзнуть в той или иной политической конструкции; и кто-нибудь — с той или иной стороны — высказавшись за вас с силой и уверенностью, переломит этот пат.

— А если я не могу так замерзнуть? Если все эти ваши идеи мне чужды и неприятны?

Модест Павлович развел руками.

— Ба! *Ваш отец, ваша жизнь; руки свободные.*

Михася уже хорошенько заснула; я-оноосторожно отнесло ее в кроватку, позвало Машу. Мысль, что следует встать на одной из сторон, высказаться за такую-то и такую-то Историю — ведь Зейцов не ошибался, в окончательном расчете деяний и результатов это будет выбор Истории — мысль эта не была бы столь неприятной, если бы не осознание того, что здесь, подо Льдом, нельзя замерзнуть во лжи. Почесывая ладони и предплечья, ходило по комнате, пока не наступила ночь, да и долго после того; паркет поскрипывал под ногами в тихом жилище. Если замерзнуть оттепельником — так будешь оттепельником. Если ледняком — так и будешь ледняком. Если пилсудчиком — тогда пилсудчиком. Если буржуем — так буржуем. Если социалистом — так и останешься социалистом. А уж если циничной, безидейной шестеркой — тогда уже, вправду, и ни у кого не будет никаких сомнений: шестеркой! Конец насосу Котарбиньского, конец с утренним откачиванием тьмечи, после которого в голове кружит миллион живописных увлеченностей, и все такое по-волшебному изменчивое, открытое, возможное и бесконечное — недовершенное — теплое — детское...

В Лаборатории Кривофизики Круппа с самого утра царил огромный замешательство, а источником всего шума и кутерьмы был немой Бусичкин. Едва лишь я-оноуселось за столом у окна (сквозь чистое мираже-стекло вливалось раннее солнце), едва почистило перо, прибежал господин Бусичкин, панически размахивая руками и хватаясь за галстук, словно в хаотических попытках задушить самого себя. По традиции, еще до рассвета я-онозашло в «Новую Аркадию», откачало тьмечь, так что язык во рту сделался деревянным, а пальцы посинели, так что сразу не могло и понять, что имеет в виду Бусичкин: десяток страшных и странных фантазий тут же пришло в голову при виде возбуждения химика-лилипута. Доктор Вольфке еще не появился, инженер Иертхейм, скорее всего, сидел на Производстве, остальные сотрудники куда-то попрятались. Стол прогибался под стопами неупорядоченных отчетов по тысячам опытов, проводимых Лабораторией Кривофизики *Friedrich Krupp Frierteisen AG* или же копий статей, публикуемых конкурентными лабораториями; основанное при участии Круппа *Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft furschwarze Physik* ^[281] уже несколько месяцев требовало от доктора Вольфке полного отчета, и эта вот неблагодарная работа пала на плечи

его нового ассистента. Оторвало покрытый кляксами кусок от листа черновика указанного отчета и подсунуло его Бусичкину. ПОМОГИТЕ, написал тот, У МЕНЯ ЗАМЕРЗ ОГОРОД.

Как оказалось, тот проводил исследовательский проект на пограничье черной физики и черной биологии, а именно: в больших кюветах, наполненных тунгетитовой почвой, он разводил различные виды трав, цветов и овощей. Кюветы, чтобы не занимать места в Лаборатории, он держал высоко на железных шкафах; часть кювет была плотно закрыта от солнечных лучей, другая часть размещалась поближе к окнам. Но все растения, наверняка, требовали соответствующего полива и тепла. Тем временем, пройдя сегодня на седьмой этаж Башни, еще до появления бригады ледоколов, Бусичкин застал зал Лаборатории, охваченный морозом, с покрытыми инеем окнами, давно потухшими печами. Он сразу же развел в них огонь, натопил, после чего поспешил спасать свои «плантации». Нужно было осторожно снимать тяжелые горшки; Бусичкин склонялся над каждым, совал термометр в почву возле корней растений, клал пробы под микроскоп, чуть ли не оттаивал промерзшие листочки и стебельки собственным дыханием.

— Авария? — спросило у него *я-оно*. «СТОРОЖ КРЕТИН ГОЛОВУ СВОЮ ЗАБЫЛ!!!» Если бы Щекельников захотел заняться честным трудом, перед ним открывался шанс, наверняка на такую должность особых квалификаций и не требовалось. Еще и в люди выйдет! Но потом подумало, ведь это же старый лютовчик; каким замерз, таким уже и замерз — со всей своей подозрительностью, с мрачной гримасой на квадратной роже, со своим ножиком.

Но, поскольку свежий теслектрический поток все еще бушевал в голове, на этом одном кривые, незавершенные замыслы еще не кончились.

— Быть может, вы уже развели какие-нибудь съедобные растения, господин Бусичкин?

Тот указал на кювету с растением женьшень. «КИТАЙСКИЕ ДОКТОРА ЧЕРНЫМ КОРНЕМ ЖЕНЬШЕНЯ, ЯКОБЫ, ЛЕЧАТ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕДОВЫЕ БОЛЯЧКИ». Это какие же? Передвигая керамические горшки, тут же родило две новые вариации: раз, нельзя ли таким методом добыть лекарство от Белой Заразы, и за сколько тайна медикамента пошла бы на харбинском рынке; два, ведь китайцы точно таким же способом разводят свой черный опиум, о котором на обеде у семейства Белицких Пьер Шоча чудеса рассказывал. Может ли, действительно, быть он простой смесью, то есть, молотым тунгетитом, добавленным в обычный маковый концентрированный сок. Не должны ли они поначалу вырастить на ледовой почве мак, а только потом собирать из их головок черный сок? *Я-оно* запачкало рукав чесучового пиджака; стирая пятно смоченным слюной пальцем, словно от трения янтаря выискрило третью идею: а вдруг вся эта Белая Зараза, с которой пришлось сражаться на Тихоокеанском Флоте доктору Конешину, не является ничем иным, как обычной микробной болезнью, разносимой напитанными тунгетитом, на тунгетите выросшими, микробами? Нашелся ли уже какой-нибудь Пастер, который бы изолировал и под микроскопом осмотрел ледовые бактерии? Быть может, все хлопоты с лечением Белой Заразы берутся оттуда, что ее бациллы не размножаются, не травят и не умирают, как бациллы Лета, но управляют ими биология и медицина Зимы, то есть, наивысшего холода и единоправды, наименьшей энтропии — возможно, все эти моряки и обитатели Владивостока больны порядком?

Бусичкин не успокоился до полудня; пришел Вольфке и Иертхейм, вернулись их ассистенты-исследователи с сумками тунгетита для новых экспериментов, получение которого было подтверждено главным бухгалтером (Вольфке закрыл тунгетит в гигантском сейфе, стоявшем за его письменным столом), появилась с охапками карт госпожа Пфетцер — а Бусичкин все шлепал от одного человека к другому, заламывал руки, вращал глазами, без слов требовал людской справедливости, то есть, немедленно выгнать сторожа и нанять

совестливого работника для надзора Лаборатории днем и ночью.

Во время обеденного перерыва, прихлебывая из глиняного горшочка горячий бульон, который разносила занимающаяся еще и чаем девушка, я-оно забралось в лабиринты Криофизической Лаборатории, чтобы ознакомиться с другими выдающимися трудами доктора Вольфке и компании. Проходя под графиками работы *холадниц* рядом с печкой, оглядевшись предварительно по сторонам, левой рукой цапнуло одно из недоразвитых растений Бусичкина, картофельный росток, закопанный вместе с клубнем. Сунуло его в карман костюма, спрятавшись за шкафами, завернуло картофелину в носовой платок. Никто ничего не видел, потому что и не глядел.

Инженер Иертхейм — рожа, хоть святых выноси — подремывал, вытянувшись на лабораторном столе, между какой-то весьма сложной аппаратурой, по-видимому, служащей для электрических измерений, поскольку была оснащена циферблатами, а к тому же гудящей низко и тихо, так что волосы на затылке становились дыбом. В путанице кабелей, подключенные так и сяк, лежали провода, слитки, кружки и кольца из тунгетита и зимназовых холодов. Брошенное сокровище, состояние на помойке. Завернуло в эту сторону и принесло Иертхейму бульону. Разбуженный, тот лениво поблагодарил.

Присело на табурете рядом.

— Есть одна мысль, — произнесло я-оно.

Голландец зевнул.

— Мои поздравления.

— Погодите. У меня идея: мы заработаем громадные деньги на тунгетите.

— Ага. Это значит — кто?

— Могу я рассчитывать на слово чести? Слушайте. Ведь могу и ошибаться. — Хлебнуло бульончику. Сунуло руку за платком, чтобы вытереть усы, но попалась краденая картофелина, потому лишь нервно почесалось. — Слушайте-ка. Сороки собирают тунгетит, до которого могут добраться, а добраться они могут лишь до того, что лежит перед смертельными для человека изотермами, потому и такой убийственный интерес и убийственные цены, и погоня за всякой мелочью. А ведь целые горы тунгетита лежат в самом эпицентре Льда, куда не ступала нога человека — разве не так?

— Где трахнуло, там и лежит. — *Mijnheer* Иертхейм машинально взял в руки тунгетитовый молоточек и легенько стукнул им по термометрической наковаленке; стрелки аппаратуры дернулись. — Какой-то швед — чернофизик недавно писал в «*Studien über Thermometrie*» [\[282\]](#) о такой вот гипотезе: будто бы вся Зима и Лёд взяли оттуда, что космическая масса тунгетита, каким-то образом напитанная солнечным гелием, грохнула в Сибирь. Представляете себе, с какой энергией был весь этот удар. Ну а тунгетит, как и всякий тунгетит, всю ее конвертировал в Мороз. *Вот вам и Зима, вот и люты.*

— Послушайте! Дело в том, что до девяноста процентов запасов тунгетита человек доступа не имеет. Разве что...

— Разве что?

— Вот именно. Одно из двух: либо мы привьем зимовникам какое-нибудь черно-химическое противоядие для еще большей стойкости к холоду, либо — Оттепель.

Голландец стукнул молоточком по обнаженной кости на виске.

— Оттепель! Что вы такое говорите!

— Ну подумайте! Когда льды сойдут, и наступит Лето — ведь эти минералы не испарятся же с поверхности Земли! Останутся там, где и упали. Лютов для замораживания зимназа уже не будет, но тунгетита будет — валом. — Махнуло горшочком под подбородком. — И кто первым во время Оттепели наложит на него лапу, тот и станет царем

Сибирхожето!

Иертхейм был явно смущен.

— Если вы тут оцениваете сырье по рыночной цене, тогда вы правы. Но это та же замена, как если бы спросить у инженера, хотел бы он получить золотую россыпь вместо технологии производства стали. Что это за сделка, я вас спрашиваю! И с чего это вообще подобная мысль пришла вам в голову? — Он подмигнул. — Что, хотите пойти и господина Филиппа агитировать за Оттепель, то есть — за смерть лютов?

Я-ононачало отмахиваться.

— Нет, нет! — Прикусило себя в язык. Ведь про арсенал Теслы проговориться нельзя. — Вы знаете, что *Император*...

— *Император!* — фыркнул *mijnheer* Иертхейм. — Вы что, и вправду считаете, будто бы здесь позволят на какие-либо действия, направленные против Льда и уничтожения зимназовой промышленности; если вы так считаете — то вы дитя. — Он поглядел на балаган на столе, наклонился, глянул под столешницей, покосился и в мусорную корзину. — Где-то здесь была у меня газета... Никола Тесла, великий изобретатель, прибыл недавно в Иркутск. Что? Не слышали? А знаете, почему его до сих пор не прогнали? Там была еще и многое объясняющая фотография. Чародей! Повелитель молний! Старец, живущий давней славой и обманывающий глупых российских чиновников, чтобы те оплатили наделанные им в Америке долги. Здесь, в Холодном Николаевске, мало кто не считает его театральным шарлатаном.

Тут вспомнился инженер Решке из Северной Мамонтовой Компании, но снова ничего не ответило.

— Оттепель! — совсем уже проснулся Иертхейм. — Ха! Вы тоже этого наслушались? Император злится на Зиму, и Зима уходит! — Он снова фыркнул и опять постучал себя молоточком под глазом. — Выбейте это из своей головы.

— Ну тогда, в связи с этим, нужны какие-то более устойчивые к морозу зимовники...

— Поглядите, — перебил тот. — Вон там, к примеру: холодильник. — Он указал на продолговатый стальной сундук, весь разболтанный, судя по виду проводов и валов, заполнявших половину его объема. — Мы подводим электрический ток, двигатель крутится, механическое трение зимназовых холодов вызывает понижение температуры внутри. В стенки вставляем мираже-стекольные вакуумные изоляторы, и удерживаем мороз неделями, годами. Начинали мы с тунгетитовых колец, но постепенно применяем все более дешевые холода. Вы имеете понятие, какое состояние заработает на этом Крупп, когда мы построим прототип в цену, которую смогут себе позволить наши добрые обыватели?

...Или вон то. — Он ударил молот очком по невидимой струне, растянутой между двумя зажимами; только в вибрации та выпустила тонкую радугу, и глаз ухватил образ натянутой нити. — Инейциновое волокно. Тоже уже запатентованное налево и направо. Из него будут изготавливать легенькие аэропланы. Бронированные рубашки и костюмы, на них будет подвешиваться архитектура нового Вавилона. Господа из *Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft* уже прислали нам подробные планы новых городов, новых машин, новых поднебесных железных дорог. А чего не прислали — мы можем догадываться. Все те суда и пушки, для которых *Император* заказывал здесь зимназо, через пару лет можно будет сдавать на хранение в чулан.

...Зайдите как-нибудь к доктору, быть может он покажет вам свою игрушку: ледовизор. — Иертхейм плоско сложил ладони. — Две пластины мираже-стекла, в нижнюю вплавлена зимназовая сетка, верхняя прозрачная. Между ними взвесь с тунгетитовым порошком. Вы же сами видите, как на мираже-стекле переливаются цветные картинки. В ледовизоре они так же будут меняться и укладываться в соответствии с прилагаемым

напряжением. Но это, если ему удастся. — *Mijnheer* Иертхейм схватил горочек, выдул остатки бульона. — Говорит, что ему нужно выехать. Только Крупп его не отпустит.

— Хмм, я расспрашивал, как оно здесь с идеями сотрудников, и...

Уродливый голландец по-дружески похлопал меня по плечу.

— Не бойтесь, молодой человек, я ничего никому не скажу.

А собственно, почему не скажет? Чингиз Щекельников был прав, что-то тут не сходится, математика характера оставляет в уравнениях Иертхейма большое неизвестное, либо же их правая сторона просто не равна левой стороне.

— Вы не останетесь вечером подольше? Я все обдумаю, и мы еще раз этот вопрос оговорим. Что-то мне кажется, какую-то копейку на этом заработать можно.

Mijnheer Иертхейм приглашающе махнул рукой.

Вернулось к отчетам для *Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft*. Лед-каптошкуукрадкой переложило в карман шубы. Посматривало и прислушивалось к господину Бусичкину, не заметит ли тот кражи. После полудня появился доктор Вольфке и очень вежливо отругал немного: основная работа Бусичкина заключается не в этом, не за тунгетитовые огороды Вольфке вызывают на ковер к директорам. В основном, Бусичкин отвечал за исследования над криоуглеродом. Ледовый уголь, родом из месторождений, перемороженных лютами (и добываемый, в основном, на черемховских шахтах), характеризуется тем, что, брошенный в огонь — в мгновение ока гасит его и, в сопровождении взрыва тьвета, сгорает при чудовищно низких температурах. Первая загадка, перед которой стоит черная химия, касается молекулярной структуры криоуглерода и других ледовых, зимназовых материалов. Ведь, одно дело — это холод угольного зимназа, к примеру, протянутая сквозь *холодницувысокоуглеродистая* сталь, и другое дело — холод чистого зимназа, Fe/gl, с криоуглеродом, C/gl [\[283\]](#). В Томске, Санкт-Петербурге и Берлине уже расписали «Черные Менделеевские законы» ледовой химии, которые, правда, ждут своего подтверждения или опровержения. Происходит ли ледовая трансмутация именно на молекулярном уровне? Остается ли один атом криоуглерода именно криоуглеродом? То есть, является ли это свойством всякого отдельно взятого атома — как электромагнитный заряд, масса или валентность? Существует ли определенное свойство материи на этом наиболее фундаментальном плане, связанное с ее корпускулярно-волновым характером, с энергией и состоянием упорядоченности, которое проявляется только лишь после того, когда мы всмотримся в материю, измененную только для этого единственного свойства: мы не знали, что живем в Лете, пока не наступила Зима. Если бы это было правдой, то существовала бы не только иная биология гелия, но и другая биология ледового углерода: органическая химия, построенная на связях C/gl — ледовые углероды, жиры и белки — ледовые растения и животные — ледовые люди. Брал ли Бусичкин у зимовников кровь? Сжигал ли ее в спектро스코пе? Исследовал ли в химических реакциях? Я-оноустыдилось теперь энтузиазма, проявленного перед Иертхеймом. Ничего удивительного, что его все эти замыслы никак не тронули: они здесь наверняка годами копаются в кишках зимовников и придумывают, как бы сделать человека более устойчивым к морозу. Записало на обрывке листка: *Номер 5: Дорога Жадности — отправился в Мороз за тунгетитом?* Ведь отец держался с зимовниками, с мартыновцами; все это подтверждают. Он работал у Горчиньского, потом у Круппа, он знал цену выигрыша в гонке. В тысяча девятьсот одиннадцатом году его роту забрали для одной из первых экспедиций в Лёд; комиссар Прейсс говорил, что большинство из них умерло — видимо, зашли так далеко, как ни один из сорок после них, изотермы ведь перемещаются, Лёд напирает. Что они тогда увидели? Что обнаружили? Добрались ли они до места Удара? Кто еще выжил из той экспедиции? Нужно достать документы из Министерства Зимы. Ибо, возможно, самая простая Дорога — это истинная Дорога; пошел в Мороз, потому

что его искусили горы тунгетита; ему нечего было терять, а вот получить он мог — все.

Я-оноосталось хорошенько в ночь — крышелазы погрохотали и пошли, наступили сумерки, в отдаленных углах Лаборатории погасили лампы, послали господину Щекельникову словечко, чтобы не ждал, но тот заупрямился, что будет ожидать — осталось, пока не вышли все, кроме Иертхейма. Спрятало бумаги и приборы под столешницу. С некоторым весельем поглядело на цвет пальцев, черно-синих от чернил. Нужно будет достать конторские нарукавники, жалко пиджака. *Mijnheer* Иертхейм выплыл из лабиринта шкафов уже одетым, с малахаем, в очках и старомодной кирее [\[284\]](#). Замахало ему, схватилося за шубу. Спускаясь к лифтам, замотало шарф, руки сунуло в рукавицы. Господин Щекельников проснулся, поднялся на ноги. Кабина лифта находилась как раз внизу; встало у окна за дверью, дохнуло на снежно цветное стекло. Лунные радуги вырастали от крыш Дырявого Дворца; Холодный Николаевск плыл внизу в звездных озерах. Уродливый инженер встал рядом, достал из-за пазухи бутылку, сделал приличный глоток. Глянуло над мираже-очками. Показал: молоко. Покачало головой.

— Ну, и как там запал молодого миллионера? — откашлявшись, захрипел голландец по-немецки. — Не остыл пока?

— У вас перед ним имеется некий долг благодарности, — произнесло я-оночерез шарф.

— Что? Нет!

Но он прекрасно понимал, о ком речь.

Может, это Лёд, а может...

— Вы узнали меня сразу же. То есть, вы узнали его. Я не просил какой-либо помощи, не просил никакого заступничества у доктора Вольфке.

Тот хрипло рассмеялся.

— У меня доброе сердце!

— Вы много размышляли об Измаиле. — Подъехала кабина лифта. Господин Щекельников рванул одну дверь, другую. Вступило в мороз, железяки грохотали при каждом шаге. Вошел голландец, закрыл кабину, перебросил рукоятку. Поехали. — Я научился... — пришлось повысить голос, чтобы перекричать ритмичный грохот. — Это две стороны одной и той же монеты: стыд и презрение, благодарность и ненависть. — Отвернуло взгляд на переливающуюся в темных цветах панораму промышленного города. — Эти токи тянутся в нас через границы добра и зла: самые возвышенные намерения порождают грязные подлости, самые черные желания толкают на акты ангельского милосердия.

— Теперь вы станете выступать против морали; это сейчас весьма модно в Европе, в Лете.

— Мораль принадлежит межчеловеческому языку, построенному на словах, поступках, движениях материи; в то время, как наши самые глубинные чувства и мотивы не могут быть описаны даже нами самими.

Кабина лифта ударилась в землю. Щекельников снова вышел первым. Я-оношло к станции Мармеладницы по дорожке из неровно уложенных досок. Дорожка была настолько узкой, что на ней, плечом к плечу, помещалось только два пешехода; когда кто-то шел напротив, нужно было останавливаться или сходить вправо. Перрон Мармеладницы, естественно, виден не был — нужно было ориентироваться по Часовым Башням. Тогда еще топографии Холодного Николаевска так хорошо не знало. Разгляделось по небу. Свет горел в Башне Тиссена, работали люди Победоносцева из Надзора в Башне Полуденного Часа.

Сдержало шаг, чтобы не оставлять голландца сзади.

— Вы говорили, что с ним было невозможно жить, что все его ненавидели — вы тоже?

Инженер что-то долго пережевывал под шарфом, под черно-цветными очками.

— Как легко вы судите о тех делах!

— Потому что научился отличать правду слов от правды реальности, о которой рассказывают. — На ходу поискало под шубой портсигар, тот был пуст. — То, что мы говорим, то, что можно высказать, является определенным знаком правды, но правдой никогда не будет.

— Никогда?

— Никогда.

Иертхейм выпускал через шарф облака плотного тьмечного пара.

— Я умираю.

—...

— Меня пожирает рак, господин Бенедикт. Говорят, что подо Льдом болезни приостанавливаются. Но никто и никогда не вылечил здесь болезни, приобретенной ранее. Я думал ехать в тот санаторий на севере... Быть может, еще и поеду. Не говорю, чтобы вы мне не сочувствовали. Мне хочется, чтобы вы увидели проблему в том же самом масштабе, что и я. Жизненные события и дела мы измеряем самыми страшными трагедиями, которыми напятнала нас судьба. Дети беззаботны, для них наибольшее горе, это сломавшаяся игрушка — ничего удивительного, что они проливают слезы над разлитым супом: ведь суп для них, это половина игрушки. Но когда человек почувствует в собственном нутре коготь Смерти — как измерить смерть какими-либо денежными проблемами? какими поражениями собственных амбиций? Каким числом неприятностей по работе? со сколькими порушенными Любвями можно сравнить собственную порушенную жизнь? Все это банальности, банальности, *jongeheer* [\[285\]](#).

Уселось в директорский вагон. Иертхейм, зевнув так, что шарф съехал с подбородка, развалился на противоположной лавке. Выглядывая через грязное окно, он набивал трубку.

— Так что, жалко прошлого, жалко того, что не совершено. — Он закурил. — Жалеешь об утраченном приятеле.

— Приятеле? Но ведь вы же его совсем не знали?

— Я и не говорю, будто бы знал. Встретить приятеля на целом свете, господин Бенедикт, еще труднее, чем найти хорошую жену.

— Так ведь вы его даже и не любили! Если я хорошо понимаю ваши слова — кем для вас является Измаил — тот самый Измаил, к которому испытываешь инстинктивную неприязнь, который отталкивает, как неправильно сориентированный магнит. Но не приятель!

Тут уже даже другие пассажиры обратили внимание, строго глянул над газетой пейсатый еврей, наморщил брови чиновник в мундире. *Mijnheer* Иертхейм приложил к губам искалеченный палец.

Паровоз засвистел сигнал к отъезду.

— Неужто вы никогда не встречали человека, которого ненавидишь с первого взгляда? — тихо спросил голландец. — Он еще ничего не успел вам сделать, вы еще не успели столкнуться ни словом, ни делом, но уже, вы уже уверены, что будете грызться по любому поводу, словно бешеные псы.

— Мхмм, это правда, случается...

— Он твой неприятель еще до того, как осуществится какой-либо акт враждебности. Ба, твоим неприятелем он был уже тогда, прежде чем ты впервые увидел его лично, до того, как услышал о нем. И это ни в коей мере враждебность в плане убеждений, национальности, религии — но именно в отношении конкретного лица, исключительно в отношении лица. Вы понимаете? — Он выпустил клуб табачного дыма. — Это уже опережает действия, опережает свершившееся. У каждого человека имеются сотни врагов, которых он никогда не встречал, и

которые никак не узнают о нем. И у каждого человека имеются сотни друзей, с жизнью которых судьба его никогда не столкнет. То, что мы иногда их встречаем, то, что случай — словно из той серии бросков монетой — толкает нас поближе к ним, это вопрос особенный. Впоследствии мы можем поступить так или иначе, поддержать знакомство или от него отказаться, реализовать дружбу или отрицать ее — только это никак не изменит того факта, что человек встретил приятеля. Даже если не сказал ему ни одного доброго слова. Даже если выдал его в руки палачей.

...Вы спросите, зачем...

— Нет, не спрошу.

— Тогда была у меня собачья смена, нужно было зайти в Цех около двух ночи, чтобы калибровать образцы в зависимости от того, как перемещался лют. Так вот, захожу и вижу через окно свет в мастерской. Кто там сидит в такую пору? Прислушиваюсь, похоже на польский язык. Заглядываю: господин Филипп Герославский и какие-то подозрительные типы: рожи заросшие, тряпки бродяжьи; я не успел еще удивиться, как один и другой уже за пазухи лезут, оружие вытаскивают. Я удрал. А через неделю или две снова вижу Филиппа Герославского ночью у Мастерской. А что ему там делать, спрашиваю себя, что делает в Криофизической Мастерской геолог? И вспоминается сторож Федойчук, бедняга; трудно не вспомнить. Ну я пошел, доложил.

...На следующий день, с утра, слышу, что господин Филипп на работе уже не появился. Его должны были уволить — но известие разошлось еще и потому, что туда, в старую контору Горчиньского, прибыли жандармы с людьми из охранного отделения, с бумагами на Филиппа Герославского.

...Я понятия не имел, что он был ссыльным, *гасударственным преступником*, не знал.

— Когда это случилось?

— Где-то весной тысяча девятьсот девятнадцатого. — Он пыхнул своей трубочкой. — В марте, в апреле?...

— А где размещалась та контора Горчиньского?

— Хмм, адреса не помню. Это важно?

— Может, там чего от фатера осталось.

Голландец кивнул.

— Завтра дам вам адрес и напишу рекомендательное письмо, если понадобится.

Выйдя на перроне в Иркутске, протянул трехпалую ладонь, вытащив ее из рукавицы. Пожало ее без колебаний, то есть, без какой-либо мысли; пожало, потому что именно так замерзли по обеим сторонам уравнения характера.

На следующий день освободилось с работы пораньше; имелась договоренность с паном Поченгло на давно откладываемую беседу. Он пригласил к себе, домой, у него имелась квартира в Театральном Закоулке, неподалеку от резиденции генерал-майора Кулига. На лестнице разминулось с заседателем и надзирателем в форменных шинелях. Господин Щекельников провел их взглядом, словно заряженной двустволкой. — Сами идут, не арестовали, — сообщил он.

— Выходит: оставили в покое.

— Вы осторожнее с таким!

— Он человек богатый и с положением в обществе.

На эти слова Щекельников лишь пару раз перекрестился.

Старенький лакей провел в кабинет. Пан Порфирий был в атласной светло-желтой жилетке, как раз застегиваемой на свежей сорочке; камердинер завязывал ему галстук и

вставлял в манжеты тунгетитовые запонки — действовал он медленно и неуклюже, поскольку пан директор все время вырывался, над столом склонялся, за ручку хватался, бумаги и газеты перебирал, официальные документы к свету подносил и проклятия им в лицо бело-чернильное метал, словно Гамлет, над могилой разверстой к черепу обращающийся. Войдя, стащив шапку и мираже-очки, пана Поченгло застало именно в такой вот позе, с многостраничным документом, отмеченным могучими печатями, косящегося из грубо вытесанных глазниц на согнувшегося под боком слугу.

— Да когда же тыставишь!

— Йешлибы гошподин не девгавшая! — вторую запонку слуга держал в зубах.

— Куда пальцами лезешь! А, пан Герославский! Над нами словно какое проклятие нависло: нужно срочно мчаться в Цитадель, кланяться честной компании и бумажники чиновникам набивать.

— Десять минут?

— Десять минут, десять минут. — Поченгло глянул на часы. — *Пашол!* — Он хлопнул бумагами по спине слуги и отослал его за двери. — Ну, давай. Панна Елена?

— Не панна Елена... — Обернулось, выглядывая, где бы присесть, но в кабинете не было никакого подходящего предмета мебели. А хозяин стоял. Так что, разговаривало стоя, в шубе, с покрытой снегом шапкой в одной руке и очками в другой. — Только не отказывайте, пока не выслушаете. У вас есть люди в Америке. Есть люди у Гарримана; должны иметься. У вас должен быть договор с Гарриманом, вам тоже крайне важно присоединить Сибирь к Америке посредством Кругосветной Железной Дороги. Но это уже дело революционное, без Оттепели вы кончите как и все *абластники* до того; Шульц уже прикрутил гайки. Потому мне думается, что у вас имеются и аварийные стратегии: бегство на восток через Тихий океан. Имеются условленные люди, тут и там, имеется транспорт, имеются планы. Мне так кажется. В противном случае... по расчетам бы не выходило. Так что... так что...

— Так?

— Деньги? Я не могу предложить вам суммы, которая бы значила для вас многое. У вас нет в отношении меня каких-либо обязательств...

Пан Поченгло бросил бумаги на стол, подскочил к двери, дернул за ручку, выглянул в коридор. Никого.

— Выйдем вместе, — сухо сказал он.

Поченгло надел сюртук, уже на пороге лакей подал ему шубу и соболью ушанку. На лестнице Порфирий обмотался белым шарфом, расшитым прихотливыми инеевыми узорами. Щекельникова пустило вперед. Пан Поченгло остановился в подворотне, защищавшей от ветра и снега; олени у приготовленных саней позванивали колокольчиками, мерцали фонари. Туман заглушал хруст шагов прохожих.

— Вы и ваш фатер, так?

— Две особы.

— Но он, как понимаю, будет человеком разумным.

— *Значит*, размороженным.

— Размороженным, — Поченгло протяжно причмокнул, светени блеснули под бровями. — Размороженный.

— Сядет на корабль, среди людей. В противном смысле — это вообще не имело бы смысла. Отмороженный, пан Порфирий.

— Документы?

— Документов нет. Фальшивые, если можете.

— Слишком много вы просите.

— Знаю. И...

— Панна Елена...

— Здесь торг не за панну Елену, — рывкнуло неожиданно. Натянуло шапку и очки, махнуло Щекельникову. — Назовите цену.

— Хорошо, раз уж мы должны идти ради вас на такой политический риск... — Он стукнул тросточкой по льду. — Цена тоже политическая. Впрочем, вы эту цену знаете. По-моему, я уже высказывался о ней в Экспрессе. Во всяком случае, разговаривали об этом у Вителла.

*Я-оно*глухо кашлянуло.

— Не знаю, послушает ли он меня. Не знаю, послушают ли его люты. Вообще, услышат ли его, размороженного. Как это вообще можно провести: пускай с ними переговоры, потом вырывать его из Льда? Отец Мороз или никакой Отец Мороз. И тем более, я не знаю, слушает ли История лютых. А даже если и слушает. История — она же идет даже медленнее ледовых масс. Пройдут годы, самое малое — месяцы, пока не окажется, что я справился с задачей. А в порту ждать мы не можем.

— Снимите очки. Просто дайте слово.

*Я-оно*подняло мираже-очки на лоб.

— Слово Бенедикта Герославского: ваша История за безопасное бегство с отцом.

Тот снова стукнул зимназовым наконечником трости в лед.

— Замерзло.

Поченгло повернулся, вскочил в сани, свистнул вознице, тот щелкнул бичом, упряжка оленей зазвенела, захрустела, потянула сани и расплылась в тумане.

Спешно идя по адресу, указанному инженером Иертхеймом (морозы усиливались с каждым днем), в ритме громкой одышки, *я-оно*прокручивало в голове только одну мысль: было ли все это обманом.

Стало ясно, что *я-оно*обманывает здесь всех, с самого начала, несмотря на все заветы о чистой правде и самых откровенных намерениях. И дело не в том, что *я-оно*намеревается нарушить слово, данное пану Порфирию — ведь нет же. Но, возможно, именно сейчас такое намерение и появится; быть может, сейчас же все и изменится — одна правда вместо другой правды — и со столь же чистым сердцем *я-оно*запланирует какую-нибудь громадную ложь.

Замерзло — но отмерзает всякое утро под насосом Котарбиньского у Теслы. Дало слово и, возможно, сдержит его — но, может, и нет. Возможно, нет. В Лете не заметило бы в этом какого-либо мошенничества, ибо там ни о ком невозможно сказать единоправды наверняка, и всякий обитатель Лета тоже хорошо об этом знает. Но здесь — люди глядят и видят: лютовчик. Глядят и видят: ага, такой это человек! Раз «С», выходит, и «D», следовательно — «E», выходит — «F». $2 + 2 = 4$.

Нет обмана в любом совершенном деянии; обман таится в возможности. Даже если до конца будет держаться той же самой правды — все равно, совершило обман, ведь могло ее и не придерживаться, могло ведь ее и отрицать. И далее может. Машины доктора Теслы ждут.

Щекельников непрерывно оглядывался за спину, как будто бы и вправду мог что-то увидеть в этой сметанной мгле. *Я-оно*подгоняло его жестом, не теряя дыхания на окрики. Дыхательные пути замерзали, мороз напирал сквозь шарф в полуоткрытый рот. Жидкоцветные образы перебалтывали формы тумана и массивов зданий, огни из высоких окон и фонарей; легко затеряться в подобном городе, только ведь никто из лютовчиков не теряется. Приостанавливалось, терпеливо дожидалось Щекельникова. Пожалело о собственной скупости: следовало бы нанять сани. Прохожие перемещались характерной полутрусцой, колышась на почти что выпрямленных ногах, ставя короткие шаги. Иногда

вначале были слышны их хрустящие шаги, ломающие комья фирна и льда, прежде чем из радужных клубов появлялся многоцветный контур человека.

Старые конторы Горчиньского размещались в здании прогимназии, в квартале к югу от поворота Ангары, ближе к Знаменскому кварталу. Солидная, каменная прогимназия пережила великий Пожар; разве что положили новую крышу. Низкая архитектура еще доледовых времен привела к тому, что за это не самое паршивое расположение Горчиньский платил практически символическую аренду. Он искал свою копейку, где только мог. Сейчас два самых нижних этажа, скорее всего, никто не арендовал — когда спросило у сторожа, дедулю, промерзшего со всех возможных сторон, с багровыми шрамами на белых шрамах, тот лишь пожал плечами. Подумало, что тот, вдобавок ко всему, еще и немой; но господин Щекельников буркнул деду что-то на ухо, и тот пригласил к печи в комнате первого этажа, отвернул тряпки со лба, показывая теперь нечто больше, чем покрытые шрамами щеки, а конкретно — один слепой глаз, примерзший веком к гнойному струпу, и ухо, словно кусок старой тряпки, опавший на седую щетину. Господин Щекельников угостил дедка махоркой; вот тебе и самое лучшее рекомендательное письмо. Дед отблагодарил, доставая из-за лежанки на печи бутылочку самогонки. *Я-оно* показало Чингизу жестом, чтобы тот угощался. Выпили разок и другой. Дед раскрыл беззубые десна и повел жалостливый, российский рассказ о богатстве и упадке золотого хозяина, Августа Раймундовича Горчиньского с Большой Земли. За забитыми досками окнами выл ветер от Ангары и Ушаковки. *Светени* крутились во рту старца словно светлячки в гнилом дупле. Спросило его, остался ли тут кто-нибудь из старых сотрудников Горчиньского. Да где там! Всех сдуло! Спросило его, помнит ли он, а где люди Горчиньского бумажные дела вели. Почему же не помнить! А как же, помнит! Спросило его, помнит ли он одного геолога, инженера Герославского, выглядевшего так-то и так-то. Ну да, был тут такой. А покажете, где он *работав*? Осталось ли хоть что-то после Горчиньского с Рудами? Вот этого я не знаю, отвечает на это дедок, они сидели на самом верху, где таперича какие-то канцелярии да конторы аршин по аршину нанимаются. Ежели чего и осталось, то наверняка снесли ниже. Блеснуло серебряной рублевкой. Сторож выковырял из-под тулупа пук ключей. Вы, господа, возьмите *лампочки*, там везде темно, холодно и страшно. Щекельников зажег две старые керосиновые лампы с ручками сверху; желтый, восковой свет расползся по заваленной всякой рухлядью сторожке. Темно, холодно, страшно, — тянул свою запевку-страшилку вызывающий ужас дедуля, — слышите, ваши благородия, слышите? Наставьте уши! (Блрумм, блрумм, блрумм, блрумм). Никак дальше не уходят, все время рядом! Семнадцать раз уже с тех пор морозник через здание прогимназии проходил. Ночью, как положу голову на печи, слышу их по тому, как дрожит кафедра: топот диких мамонтов под подвалами.

Я-оно вскарабкалось на второй этаж. Сторож открыл двери в коридор. Повсюду лежала снежная мерзлота и темный лед. Искореженная, побитая мебель; двери, выпихнутые из деформированных коробок, пошедший волнами и разбитый снизу паркет, словно после несущей кирпичи волны; на всем этом — предметы помельче, примерзшие в странных конфигурациях — на что падал дрожащий, керосиновый свет, то оживало в тоннеле оставшейся после люта мешанины, будто бы в кишках соплицова из рассказа пана Корчиньского, которое поглотило и переварило во льду тысячи предметов людского труда, плодов человеческой жизни. Коридор был низкий, узкий, мерзлота наслаивалась тут годами, нарастала — словно соляные натеки. Зацепило рукавом о выкрученную сосулю — вылезшую из стены когтистую ящериную лапу. Приходилось опираться об эти стены, сапоги скользили, ноги съезжали с кривизны, что-то ломалось и трескало под ними с глухим уханием — ледовые кости. Дедуля указывал дорогу. На вмерзшей в потолок тройной вешалке висели

замерзшие крестом конторские халаты. Опухший каменным снегом конторский стол выполз на порог кабинета и здесь издох. Проколотый сталагмитами ковер собрался сам в себе и выстрелил волнистым горбом к обледеневшей в гранит ручке двери; не достал, лед сломал ему язык. Два канцелярских шкафа свалились одновременно, заблевав друг друга томами актов, которые так и замерзли между ними двойной струей: снизу черная кожа тяжелых оправ, сверху пена обнажившихся страниц. Стоячие часы с циферблатом в виде зодиакального круга завалились в щель в стене, выступали только Телец, Овен и Рыбы, стрелка указывала на выбитое окно, за которым туман радужной мглы медленно накутывался на древко мираже-стекольного фонаря. Сторож открыл очередную дверь. В складе без окон на конце коридора замерзли геометрические пирамиды пачек, перевязанных зеленым шпагатом. Каждая пачка — это полпуда сплавленных морозом бумажищ. Дедуля подсветил, соскреб иней с одной, другой, третьей картонной обложки; заметило *печать*с кириллицей — «*Руды Горчиньского*».

Я-оно взялось за освобождение бумаг. Отломанную ножку канделябра господин Щекельников приспособил в качестве временного лома, которым разбивал архивное месторождение. *Я-оно* перебирало в темпе шесть пачек за четверть часа. Сторож притащил угольную корзину, над которым освобождало ото льда наиболее обещающие дела. Листки разлетались пластинами недопеченного теста; толстые перчатки не позволяли проводить наиболее тонкие операции, а если снять их — пальцы быстро теряли чувствительность от прикосновения ледяных бумаг. Дедуля услужливо просвечивал, заглядывая при этом через плечо. Так считывало бухгалтерские мемуары умершего предприятия.

В первый раз на фамилию «Герославский» напало в геологическом отчете, датированном июлем тысяча девятьсот восемнадцатого года. Это была копия ответа на какой-то меморандум, направленный исполнительным органам общества инженером Ф. Герославским. Ответ на него пришел отрицательный. Отложило бумагу, чтобы та снова замерзла, с датой и подписью сверху. Вскоре после того, Щекельников выдолбал папку оригинальных документов сорочьего отделения «Руд». Оттаивали документы в обратной последовательности дат; годы и месяцы разлезались под перчаткой в теплую, бесформенную кашу. Тысяча девятьсот восемнадцатый, май: инженер Герославский возвратился из геологической экспедиции в Николаевский Завод нижнеудинского уезда иркутского губернаторства; минералогические таблицы заполнены процентными сопоставлениями сидерита (содержание руды более тридцати процентов, подчеркнуто рукой инженера Герославского), он пишет о природных силикатах, окисных рудах, сернистых соединениях, порфиритовых траппах. Следующий рапорт: о вероятности нахождения золота. Кварц, кальцит, сидерит, пирит, сернистая обманка. Экспедиции вокруг Байкала. Потом снова ничего: толстенные тома бесплодной бухгалтерии и договоров на поставки. Каким-то чудом сюда запутался даже гражданский иск по делу «*устрашения туземной рабочей силы*» (имелся в виду шаманский террор на Дорогах Мамонтов).

Около трех часов дня господин Щекельников выкопал папку с внутренней перепиской между начальником Геологического отдела «Руд», неким Калоусеком, и генеральным директором, Горчиньским. Верхние и нижние фрагменты страниц обледенели до конца, распадаясь после размораживания в иней-грязь, так что невозможно было прочесть ни даты, ни подписи на этих письмах. Иногда появлялись сомнения, то ли и дальше пишет этот Калоусек, то ли цитирует фатера, а может — это вообще написано самим фатером. Совершенно не помнило отцовского почерка. Впрочем, содержание третьего письма заморозило мысли — с головой в туче сажки поспешно читало оттаивающие рукописи, а после прочтения каждая вторая расплывалась в грязную жижу и стекала в огонь.

Калоусек, или отец, писал о проектах добычи из ненарушенных залежей тунгетита, расположенных в районах глубинной Зимы, благодаря привлечению к работе зимовников, *напитанных морозом*. Инженер (Герославский?) предлагал провести эксперименты на добровольцах, *мотивированных религиозными верованиями*, и эти эксперименты должны были сделать их нечувствительными к морозу, позволяя организовывать несколькодневные вылазки за Последнюю Изотерму. Отклеило один листок от другого; на обороте текст был не читабельным. Следующая страница содержала сделанный от руки эскиз устройства, похожего на шприц, соединенного с клистирным поршнем. Ниже была изображена анатомическая схема кровообращения руки или ноги, либо вообще — пищеварительной системы — безрезультатно пыталось призвать в память аналогичные гравюры из книжек Зыги — схема была снабжена легендой, упоминающей, среди всего прочего, *tunges-cinum*, *морозную жилу*, *ледовод*. Кожа горела под шарфом, в ускоренном дыхании с трудом удерживалось от кашля. С помощью обугленной щепки отделяло одну страницу от другой. (Блрумм, блрумм, блрумм, блрумм). Генеральный директор Горчиньский: нынешняя ситуация фирмы не позволяет включаться в столь дорогостоящие и требующие много времени предприятия. Хотя мы высоко ценим намерения и идеи наших сотрудников, и так далее, и так далее. Вернулось к предыдущей гравюре — сохранить ее любой ценой! Та уже распадалась на волокна, полоски, размякшие хлопья, чернила исчезали словно растапливаемый снег. Бросило страницу на лед, подальше от огня. Напрасно: что прочитано, что увидено, что пережито — не существует, не имеет права существовать иначе, как только в памяти. Не будет никаких материальных доказательств, все прошлое — это царство вероятности, Лед не достаёт за пределы «здесь и сейчас». Быть может, это все писал отец, а может — и нет; возможно — существовал, возможно — и нет.

Блрумм, блрумм, хруп-круп, Щекельников отбивал, страшненький дедуля присвечивал: Калоусек или не Калоусек просил получить доступ к орографическим ^[286] разработкам Кароля Богдановича, хранящихся в архивах Сибирхожето — ответа нет. Инженер Ф.Г. посвятил шесть рабочих дней на инспекцию не действующей канализационной системы Иркутска. Вот докладная об утверждении проекта гидрографической экспедиции в северную зону байкальского водораздела. Тут ответ на письмо, которого в папке нет: в связи с уже решенной продажей предприятия и присоединения его к концерну Круппа, все фонды, предназначенные на метеорологические и геологические исследования под руководством инженера Герославского замораживаются. «Метеорологические»? Калоусек, обязательно следует найти этого Калоусека, поговорить с ним. Смета, подписанная — ух ты, сохранилась подпись, на лед ее! — Филиппом Герославским, резкой, идущей наискось арабеской. Список включает: шесть оленьих упряжек, провиант для людей и животных, вознаграждение для туземцев, в том числе — ставки для тунгусских следопытов и проводников по Дорогам Мамонтов, а еще очень дорогостоящее буровое оборудование, трубные буры, несколько десятков аршин специального зимназа, эбонитовые термометры в металлических корпусах, длиной в семь аршин; термометры Савинова, динамит (два ящика), оборудование для золотоискателей и сорок, три изоляционные юрты, дюжина бутылей с керосином... Вся смета была перечеркнута, что было подтверждено неким «Х.К.». Калоусек? Быть может, в следующем документе...

Перемещение какого-то темного тела замутило тени в глубине коридора, и между скульптур темного льда появился силуэт — я-оно схватилось, упуская папку в жар — это полный усач в расстегнутой шубе, постукивающий тростью по сторонам, сунул изумленное лицо в круг желтого света. — Что это тут? Бродяги какие-то или воры, подумал. Господа, да Бог ты мой...! — Уже, уже закрываю, — поспешил с заверениями дедок. — Сколько там

еще? — спросило Щекельникова. Тот указал импровизированным ломом: не менее десяти связок. Пошлю его завтра, чтобы вынес в целости, не размораживая; возможно, там найдется еще что-нибудь про судьбу отца в «Рудах Горчиньского». Вторую рублевочку в руку старика, не станет спорить. Сунуло те несколько спасенных от тепла листков в картонную папку, спустилось с добычей под мышкой по темной лестнице на улицу, нафаршированную радужно-цветным туманом, ноги сами поспешили в ритме разгоряченных мыслей; чуть ли не бежало, с головой, по-бычьей выставленной против всего мира, с пальцами, сжатыми в меховые кулаки...

Человек выскочил из этой мглы словно дух утопленника болотной трясины, сразу же протягивая грязную руку и тараща ничем не прикрытые глаза с багрового лица, а краски кожи перетекали с его шкуры на бродяжки лохмотья, а краски одежды перетекали в окружающие испарения, краски же испарений стекали из тумана ему на кожу: дух, упырь, холодное привидение. Схватил за локоть и выплеснул (а говорил по-польски):

— Он — демон Льда! Беги! Отца вашего пожрал! Польшу пожрет! Не верь Старику! Не...

Бабах, туман вмазал ему по шее кривой газовой трубой, и привидение свалилось на землю, то есть — на лед, не закончив своего предостережения. Я-оноотскочило под стену, толстые, клубневидные рукавицы снова не могли поспеть с расстегиванием шубы, чтобы добраться до свертка с Гроссмейстером под нею — пока дух второй, со своей газовой трубой из мглы выступающий, материализуется окончательно и обретет краски материи, этой твердой материей не разобьет голову. Он: мираже-стекольно-вязаная маска под медвежьей шапкой, шинель с отворотами, войлочные сапожищи, кожей выше колен обмотанные; здоровенный мужик, тьветистым дыханием сквозь маску плюющийся, за ним светень сильная на радужном тумане.

Сделал шаг, другой — бежать, а ноги и не убегают, стрелять — Гроссмейстер в тряпках запутался; сделал третий шаг, и тут лапища квадратная мигнула где-то на высоте уха незнакомца, и залился мужик кровью из под подбородка, словно подсвинок резаный; и свалился он на землю, то есть — на лед, словно тот же подсвинок, только уже зарезанный. Бах, стукнула чугунная труба. Господин Щекельников стряхнул штыком, лезвие замерцало, словно крыло бабочки.

— Под фонарем полежит, от черта не сбежит. А уважаемый господин пущай берет жопу в руки; я же еще должен клоуна прибрать, пока не примерз.

— Но!..

— Давай, давай!

— А тот, другой?

— А чего ему, дышит. Или добить?

— Кто он вообще такой?!

— А то господин благодетель их не знает? Я же говорил, что следят. Ну, давай уже, иди. Вон там подождешь — видишь огни? Трактир какой-то или кабак. Сидеть над водкой, с людских глаз не сходить. Как только справлюсь, приду. Ну!

Мелкой рысцой побежало к синецветным окошкам пивной. Только отряхиваясь от снега в сенях заметило отсутствие папки с документами из архивов «Руд Горчиньского»: упустило где-то возле трупа. Возвращаться за ней — да где там! Село возле печки в самом дальнем углу, глотнуло одну — другую рюмку, и только тогда рука перестала дрожать, стиснутая на шейке графинчика с николаевкой. Господин Щекельников был прав, это успокаивает: людской говор и та особая духота российских пивнушек, впечатление тесноты и близости ближнего, даже если помещение полупустое, и двери настежь открыты. А тут нагретая внутренность останется плотно замкнутой в связи с морозом и метелью снаружи, только

сквозь маленькие окошки в невысоких стенах видна снежная мгла. Потолок повис низко, ниже даже, чем азиатское небо. Человек приклеивается к человеку.

С усилием отвернуло мысли от нападения. Третья рюмка растопила лед в костях. У-ух! Развалившись на лавке, прикрыло глаза. Выходит — выходит — выходит, и вправду шествует по отцовым Дорогам Мамонтов. Даже страх, как близко за ним. Еще несколько месяцев у Круппа, и наверняка до последних мелочей расписало бы идентичные проекты добычи тунгетита из сердца Зимы. Одно лишь преимущество следует из обмана: отец не располагал насосом Котарбиньского, нелегко было ему сойти на менее очевидные тропы. Ему приходилось доходить до всего с трудом, поэтапно, одна догадка за другой, один эксперимент за другим, по узкой дорожке логических неизбежностей. Действительно ли он колол зимовников какой-то черной химией? Начал ли подобные исследования какой-нибудь из зимназовых концернов? Как это узнать? Ведь это было бы их величайшим секретом.

...Подойдем тогда с другой стороны. В чем делос метеорологией? Геология, гидрография, метеорология. Возможно, здесь нечто *a propos* [\[287\]](#)байкальской гипотезы: мертвые, сплывающие под лед Байкала, стекающий тунгетит — но как он сплывает, раз все здесь замерзло? Хмм, а все ли действительно замерзло? Что там говорил профессор Юркат о сложностях с пробиванием колодцев в вечной мерзлоте...? А исследования Бусичкина — поразмыслим — если тунгетит и вправду является элементом, то он не теряет тунгетитовых свойств после сжигания, окисления, растворения, синтеза или какой-либо химической обработки его соединений — в самом конце всегда это будет тот же самый атом тунгетита. Точно так же может выглядеть дело и со всякими зимназовыми молекулами. Возьмем те громадные таежные пожары, те потопаы огня и дыма, идущие тысячами верст по Сибири — ведь видело же такую стену стихии. Правда, еще за границами Края Лютов. Но ведь все это кружит, заворачивает, не уходит в космос; метеорология, гидрология и геология образуют замкнутый круговорот. Разве после Столкновения там не горели леса? А Великий Пожар Иркутска? Впрочем, сейчас все это, видимо, происходит даже в большем масштабе. Вспомнились промышленные дымы над Холодным Николаевском. И *Черное Сияние* — *Черное Сияние*, тоже, по-видимому, подчиняющееся законам атмосферной механики. В германских чернофизических журналах имеются гипотезы: о тьвете, возбуждаемом электромагнитным излучением или электрическими разрядами в летучих соединениях тунгетита, убегающего в небо над Краем Лютов. *Канешна*, не зная работ доктора Теслы, им не ведомо, что таким образом пробуждается не только тьвет. Потом простые люди прячутся за мираже-стеклами, щекельниковы плюют через плечо, а ксендз Рузга осуждает с амвона сатанинские наваждения. Ведь как жить изо дня в день в этих мощных све-тенях, под диким тьветом, бьющим с небосклона с силой бури, как жить в обстановке безостановочного гадательного сеанса? А тут еще вдобавок — люди зажигают тьвечки, жуют тунгетитовый табак, глотают черно-аптечные порошки, вдыхают черный опиум; они живут среди зимназа, на зимназе, в зимназе. Все это входит в их организмы; а они этого не осознают, не думают об этом, но он ведь входит. Канализация! Я-оноусмехнулось про себя. Вот что он имел в виду! Ведь остатки выделяются, и все это, вместе с другими нечистотами, стекает в землю, и входит в сеть водных стоков — если те пока что не замерзли. Людские сборища — это натуральные коллекторы тунгетита. Вспомнился сон, порожденный шаманским дымом: Холодное железо стекает черными реками в Подземный Мир.

...Но ведь Дороги Филиппа Герославского ведут еще дальше. Здесь я-онообманывает с помощью насоса Котарбиньского, но отец обладал существенным перевесом, следующим из участия в той экспедиции, которая подошла так близко к месту Столкновения, как никакая другая впоследствии. Базовые вещи он брал в качестве основы, ему не нужно было

догадываться, не нужно было выдвигать гипотез. Через десять лет его амнистируют с приказом поселения в Сибири. Домой он не пишет. Живет у дружка-сапожника в ледяной дыре. Нанимается на работу в зимназовую компанию. У него рождается внебрачное дитя. Он братается с мартыновцами, зимовниками из *холодниц*. Входит в договоренности с пилсудчиками — или это пилсудчики ведут с ним какие-то переговоры. Планирует геологические исследования стоков тунгетита, чернобиологические эксперименты на людях. Но. У него умирает новорожденная дочка. Иертхейм насылает на него охранку. И отец бежит. Куда? Сразу же на север? Через несколько месяцев здесь уже ходят рассказы о Батюшке Морозе. Якобы, тот ведет целые деревни на самозаморожения. Годами паломничает по странам Льда, все время возвращаясь на Подкаменную Тунгуску, как это следует из рапортов Министерства Зимы. Разговаривает с лютами.

...Но! Но! Если он и вправду разговаривает с лютами — если его кто-то к этому склонил — отчаявшегося, отказавшегося от мира после второй смерти Эмильки, затравленного новой полицейской облавой, под страхом возврата на каторгу — кто-то: Мартын, мартыновцы, Пилсудский, пэпээсовцы, «старые» или «молодые» — чтобы он вступил на Дороги Мамонтов, обратился к лютам дать такую-то и такую-то Историю — если... то почему же История не изменилась? Прошло пять лет. Лед, как шел по миру, так и шествует. Почитатели Мартына все так же страдают от гнета, как страдали от него раньше. Польши все так же на горизонте не видать. Царь крепко сидит в седле. Ба, да сейчас у него все идет даже лучше: мир с Японией освободит его армию, позволит Струве подкрепить экономику более дорогостоящими реформами. Так что же? Отцовский план не сработал? Люты его не слушают? У них самих имеются какие-то другие планы? Или это отец, после нисхождения в Подземный Мир поменял свое мнение?

...Не по той ли причине варшавские пэпээсовцы шлют ему зашифрованные письма через его сомневающегося сына?

— Он это, он!

Я-оно вздрогнуло, неожиданно разбуженное. Кто же это подсел к столу, кто наклоняется над столешницей и зияет горячим, водочным дыханием прямо в лицо? Единственный и неповторимый Филимон Романович Зейцов!

— Сижу, гляжу и думаю себе: он, не он, он, не он — так нет же, он, он! Вот только эта борода, и что же это с волосами наделали, а тень мрачная, ледовая над вами; нужно было убедиться. А ведь оно же даже не время черных зорь!

— Оставьте меня в покое, Зейцов, — вздохнуло *я-оно*. — У меня нет настроения.

Но тот уже приклеился, все протесты напрасны.

— Заботы в водке утопить, зачем человек в кабак заходит, именно затем; в землях счастья и благоденствия подобные заведения пусты; а в Краю Лютов, где самый большой пьяница до конца забыться не может и себя отрицать полностью не способен, зачем же пить — ради безучастия, от печалей, от болезненного отчаяния, и затем еще, может, чтобы братьев во грехе менее отвратительными в глазах собственных на время пьянки сделать; поскольку и сами себе более тогда нравимся — ах, какие забавные! какие умные! красавцы какие? Кто устоит — а никто не устоит. Ах, вода сатанинская! Вода лжи! Огонь в кишках против морозу! Только башка замороженная не забывает, не забывает!

И, икнув, он налил себе полный стакан, а после того, как залил водку в горлянку, словно лимонад какой, тут же заказал новую бутылку.

— Ну все уже, Филимон Романович, все, чего это вы снова забыть не можете? Не ожидал вас снова увидеть, вы же должны были вывезти отсюда этого учителя вашего, Ачухова, не так ли?

— Сергей Андреевич — ну! — Зейцов схватился со стула. — Так, вижу ведь, перст Божий в этом — вы должны со мной пойти!

— Что?

— Я рассказывал ему о вас, про Отца Мороза, он допытывался. Познакомлю вас — поскорей! Времени нет! Разве не говорил вам? Он умирает!

— Он там умирает, а вы тут глаза заливаете?

— Червяк, червь ничтожный, знаю. Пошли скорее!

И начал дергать за плечо, под локоть хватать и тянуть, графинчик из пальцев вырывая — пока на спину его не упала тяжкая, геометрическая лапища, и присел Зейцов, словно пес отруганный.

— Ну, хорошо разве, приебываться к культурно выпивающему человеку?

Я-онотолько махнуло.

— Оставьте. Старый знакомый.

Господин Щекельников ударил папахой по боку.

— Глядите-ка! Знакомый! — Теперь уже он схватил, потянул. *Я-оно* отступило за печь. Зейцов выставил голову из-за кафельных плиток. Щекельников наклонился к уху. — Что это еще за случаи-ебучие сегодня вечером! *Гаспадин* точно уверен, что того с улицы вообще не знает?

— А я знаю!? Рожа под маской, слова не произнес, а если судить только по сложению, то...

— Да не тот! — прошипел Чингиз. — Тот живой!

— А что?

— Знал, что ему грозит! Хмм! — Щекельников почесал горло. — Чего-то там еще плел, пока я его не погнал.

— Вы с ним разговаривали?

— Хмм. Что перся на Цветистую. *Ребята* его погнали. Что посылал вам письма. Получали?

Я-оно скорчило неуверенную мину.

— Кое-чего было, глупости разные.

— И еще, что иначе не мог, потому что уже несколько недель за вами лазит то один, то другой японец.

— Выходит, тот убитый...

— Ну да, именно. Это какие-то ваши польские разборки, так?

Щекельников водил взглядом по потолку. Приглядывалось к нему исподлобья. Единственное подозрение, перед которым не спасется мастер подозрительности: перед самим собой. Ведь Чингизу Щекельникову платит Войслав Белицкий; вся его верность исключительно в отношении Войслава Белицкого. Верность! Лояльность! Это правда, что в Байкальском Краю жизнь человеческая очень дешевая, а ведь к тому же, Чингиз варвар по крови и по жизненному опыту — но ведь не ради той пары рублей вознаграждения рискует он головой, убивая на улице, прикрытый лишь туманом? Что такое связывает его с Белицким? Какие точно получил он указания? Сколько он знает? Вспомнилась беседа с паном Войславом о Пилсудском и его террористах. Пан Войслав, возможно, человек и хороший, но и у хороших людей имеются свои интересы. Кто его знает, какой секретный план задумал польский буржуй в своей сердечности...

— Хмм, потому что буквально на момент господин Ге с глаз исчез, а тот уже собрался достать вас в тумане. Еще до того, как заметил японец.

— Как мне кажется, это фракционная борьба в Польской Социалистической Партии.

Политика, господин Щекельников.

Ибо здесь, в Сибири, правят японцы Пилсудского. И так все это себе представляют: кто обладает доступом к Филиппу Герославскому, тот обладает доступом к Истории. А Юзеф Пилсудский... Отца вам пожрал! Польшу пожрет! Не верь Старику! НЕ ВЕРЬ СТАРИКУ — КУРЬЕР ПРИБУДЕТ — БУДЬ ЗДОРОВ. Не дойдет письмо. Не доберется посланец. Быть может, доберется сын. ПАРТИЯ ПРИКАЗЫВАЕТ ВРЕМЯ КОМПЕНСАЦИИ ТАК РОССИЯ ПОДО ЛЬДОМ — ВСЕ СРЕДСТВА ТАК — ВНИМАНИЕ МОЛОДЫЕ И ОТТЕПЕЛЬНИКИ ПРОТИВ ЗИМЫ. Если редактор Вулька не ошибается, это зашифрованное письмо написано пэпээсовцами из фракции «стариков», склоняющихся к концепции Пилсудского, что нельзя разгораживать Россию, но не уверенных в самом Пилсудском, явно ему не доверяющих. Они опасаются с его стороны — чего? Действительно ли Пилсудский — ледняк? Он послал людей, чтобы те следили за Сыном Мороза, проверяли, не является ли тот агентом охраны, не провокатор ли какой-нибудь, но явно для того, чтобы отсечь пэпээсовцев из Королевства и «молодых». Знает ли он, что уже и «старики» ему не верят? Если бы он узнал содержание письма, направленного отцу... Ба, если бы только подозревал, что я-онополучило такое письмо для передачи...! У него имеются свои собственные планы относительно Истории. В конце концов — разве это не Пилсудский выслал отца на Дороги Мамонтов? *Он демон Льда. Беги!*

Откашлялось, выплевывая из горла вкус водки, схаркивая из мыслей алкогольные испарения. Предостережение было получено уже раньше; в «Варшавской Гостинице», во время Черного Сияния, от того поляка со Спиртовых Складов. Пилсудский вздыхает над Байкальским Краем словно тень невидимого упыря, еще один громадный силуэт, вытьмеченный на небе. *Придет за вами. Я-оно*вздригнуло.

— Ну, так как оно будет, господин размышляющий?

— С чем?

— С ним.

Оглянулось на нетерпеливо вертящегося Зейцова.

— Такой уж день, господин Щекельников. Выразим почтение у смертного ложа.

Сергей Андреевич Ачухов умирал очень решительно, конкретно, умирал с жестокой уверенностью смерти — никто не мог питать каких-либо сомнений в том, что Ачухов умирал, тем более — он сам. Поскольку он отрекся от земной Церкви, а земная Церковь отреклась от него, никакой поп не бодрствовал в этот час возле него, не было свечей, освященных масел и молитв за душу умирающего. Скромное помещение на первом этаже заполнял запах керосина и медикаментов. Из печки ужасно коптило; хозяйка, практически слепая, согнутая наполовину бабуля крутилась возле нее, грохоча железками и что-то бормоча на странном языке, то ли ругательства, то ли молитвы, не поймешь. Кровать Ачухова, втиснутая между печью и окном, была как раз настолько широкой, чтобы рядом оставалось место для стула. Туда поставили два, один за другим, и на них сидели теперь, болезненно выпрямившиеся, с подтянутыми ногами, с ладонями, сложенными на стиснутых коленях, два господина в черных костюмах, с потасканными, морщинистыми лицами, с обвисшими губами и опухшими тазами. Зейцов сказал, что это были братья — толстовцы, приехавшие из Томска; один записывал в блокнотике слова умирающего Ачухова, второй только курил папиросу за папиросой. Они тоже пытались склонить Ачухова выехать, только Сергей Андреевич оставался непреклонным. Утратив и эту надежду, Зейцов, не имея уже сил быть свидетелем умирания своего второго отца, пошел по иркутским пивным. Действительно, почему Ачухов отказался от предложения выезда из Края Лютов, раз появилась такая,

совершенно законная возможность? Может, он имел что-то против Филимона Романовича за то, что тот пал пред «императором тела»? Хотел ли он умереть? Ясно не отвечал. Жестокий, душащий кашель, рвущий грудь, каждую минуту прерывал монологи Ачухова; тот больше шептал и хрипел, чем говорил. Толстовцы, такие же официальные, словно чиновники Зимы, склонялись над ним, вылавливая слова и дыхания, предшествующие словам; Ачухов вздымал над периной костистую, широкую, мужицкую ладонь — те хватались за нее, сжимали, укладывали ее назад; больной срывался с подушек, подталкиваемый то ли кашлем, то ли изреченной истиной — братья укладывали его назад; когда просил воды — воду подавали. Затем вновь он только молчал; молчал и умирал. Черно-седая борода, слепившаяся отдельными прядями, собирала капли слюны и кровавой слизи. На грубо вырезанном, почти мужицком лице блестели жирные бусины пота. Подойдешь поближе, и запахи химии, керосина и чего-то горелого перебьет смрад болезни и старости, телесной нечистоты.

Сейчас, перед смертью, разум его был ясен; старик глядел, все понимая. Тем не менее, бывали у него длительные периоды, дни и даже недели, когда невозможно было различить бреда от осмысленной речи. Поначалу Зейцов сам все записывал; затем стал пропускать вещи сомнительного содержания; в конце концов — вообще перестал что-либо фиксировать. Косясь на кровать, освещенную мираже-стекольным отблеском, сейчас он шепотом передавал самые безумные бредни Сергея Андреевича Ачухова.

Якобы, когда за окном тьветило *Черное Сияние*, явился ему на небе над городом черный ангел — крылья из вороновых перьев, одеяние угольное, волосы цыганские, лицо тьмечью набежавшее — с ониксовым мечом в руке, в потьвете сильном, и извещил, что Иркутск будет уничтожен. Гнев Божий, сообщил ангел, обращен на города, на грехе основанные, на грехе растущие и грех почитающие — а нет большей вины в глазах Единственного, нежели узурпация человека в отношении Творца. Яхве — Бог Ревнивый и Мстительный, я же — Его десница стиснутая, сказал ангел. Человек не может знать правды — только Бог знает правду; человек лишь верит. Человек не способен творить Историю — Бог творит Историю; человек ее только переживает. Человек не способен сознательно действовать супротив Божьих замыслов — может, конечно, но тогда грешит, грешит, грешит!

Учитель призывал к ложу и своих покойных родственников, — шептал Зейцов, — призывал родственников и живых, но отсутствующих; что самое паршивое, те по зову умирающего прибывали, во всяком случае, Ачухов вел себя так, словно те прибыли: беседовал с ними, улыбался им, молча выслушивал их слова, гладил по головкам деток невидимых и пожимал руки друзей молодости. А потом снова скручивало его в приступах кашля или удушья, от которых попеременно делался он синим и красным, и от недостатка сил западал в сон, едва-едва отделенный от смерти. Никто не осмеливался его будить — пока не пробуждался сам, через пару десятков минут, через час или сутки, и вновь отзывался к гостям своим, видимым или невидимым, языком трезвым или явно лунатическим, а то и на такой их смеси, что человек и не знал, то ли мозговую горячку через уста его слышит, то ли мудрости священные; льдом, льдом бы его обложить, быть может, правда и замерзнет.

— ...которые судят, будто бы подобным образом с Богом общаются. Хррркррр! Но, друзья, спрашиваю вас, неужто Бог не знал, что лежит в сердце человечьем, пока человек Ему того в молитве, вслух или в мыслях своих не выскажет? Не таков это разговор! Кхрррххрр! Не таков!

...Так что не в том сила и смысл молитвы. С Богом мы разговариваем не словами и пением, не ритуальными жестами всяческими, ибо то все орудия Лжи — кххррккхррр — говорю вам, орудия Лжи! Нет, друзья мои, с Богом мы разговариваем только лишь через Правду, то есть, через то, чего солгать невозможно: через нас самих, то есть, посредством

жизни нашей и смерти нашей. Единственная то человека с Богом беседа: что человек таков, каков он есть, что жил — как жил, что поступал так, кхрркрр, как поступал. И точно так же Бог обращается к нам, ибо не голосами самозванцев, Его авторитет себе приписывающих, среди которых человек откровенный не в силах Правду рассудить — но через деяние Свое, то есть, посредством Творения, голосом света, голосом реальности, которая является Истины первой и последней инстанцией. Потому, кхррр, и запомните это себе хорошенько, потому чистойшей молитвой Бога является Истина науки, то есть — язык мира материального, который поддерживает в бытии жизнь человеческую.

...А что же с миром духа, спросите. В том, как кажется мне, суть молитвы. Хрркхррр. Ведь есть молитвы для терпения, молитвы для отваги, молитвы для сердечного покоя, для силы прощения, стойкости к страданиям, стойкости против несправедливости и неправды. Только грешит суеверием и верой в глупую магию тот, кто глядит на нее, словно на ведьминские заклятия: произнесу или продумаю слова предписанные, паду на колени или поцелую идола золотого — и Бог одарит меня милостью, которую выпрашиваю. Как же можно торговлей и фокусничаньем дух свой марать! Крррххррр! Ложь то! Ложь! Кхрррххрр!

...Так как же мы молимся? А поразмыслите, братья мои, разве не проводим мы в жизни будничной различных молитв тела? Чтобы набрать энергии и пробудить члены свои, выполняем движения быстрые, сильные, кровь в мышцах разгоняя. Чтобы удержать химию гнева, стискиваем зубы и кулаки, закусываем губы. Чтобы вернуть равновесие страсти и разума, сдерживаем дыхание, замедляем удары сердца. Удивляют ли кого те или иные, хррр, гимнастические ритуалы, проводимые атлетами? Дивит ли нас солдатская муштра? Или тренировки боксеров, борцов?

...Такова в отношении их разница, что молитв духа не видно, и один человек научить им другого человека не в состоянии. Зато истинных людей молитвы узнать несложно — кхрррххрр! — точно так же, как легко узнаете вы опытных силачей и гимнастов. Атлет тела правит своим телом и накапливает его силу; атлет духа управляет собственными чувствами, страхом и желаниями, управляет сердцем своим и мыслями, и тренирует их силы. Человек сильного тела менее боится за свое тело, кххрр, потому он более спокоен и честен в ситуациях, требующих отваги. Человек сильного духа не лжет, даже если это приводит на него преследования в свете материи, ибо никакое давление материи не изменит его Правды.

...Но остерегайтесь, дорогие мои, ибо точно так же существуют и молитвы гадкие: призывающие к зависти, бешенству, к черным желаниям, к ненависти. Кхррркххрр! Как часто мы проговариваем их, совершенно не понимая, что творим! Повторяя в ожесточении мысль гневную, проклятия ближнему словно литанию нашептывая, запинаясь в мечтаниях злых, видя сны об унижении иных людей, учась радоваться их несчастьям, учась радоваться их поражениям. Кхрррххрр! Хор! Мы и не ведаем, что молимся, а ведь молимся — а о чем молимся; кому молимся — Сатане молимся, Сатане, Сатане! Кхрррррррр!

Обессиленный, упал он на подушки и явно потерял сознание. Господин в костюме протянул руку, чтобы проверить, дышит ли еще Сергей Андреевич. Тот дышал. Хозяйка загремела кочергой — все вздрогнули, словно освободившись от шаманских чар. Я-оноотступило в прихожую.

Зейцов тем временем заварил кофе, правда, совершенно гадкого, пахнущего словно подмокшая онуча; впихивал собравшимся чашки насильно, один Щекельников не дался. Чингиз глядел с порога на лежавшего на смертном ложе Сергея Андреевича Ачухова и, о чудо, никаких обвинительных комментариев либо мужицких *пагаварок*не провозглашал. Только что он зарезал человека; вначале пошел помыть руки, а теперь, наполовину скрытый за дверью, следил за Ачуховым со спокойной увлеченностью.

— И сколько это уже длится?

Зейцов шепотом рассказывал про долгие месяцы умирания в муках. Прежде чем Филимон Романович прибыл сюда с царской грамотой и родительскими деньгами, Ачухов гнезвился в какой-то населенной вшами и тараканами избе, в убежище для пострадавших от Льда, отгоняя от себя врачей, которых насылали друзья, лишь молясь долгими часами.

— А это правда, что говорят? — обратился Щекельников, когда Зейцов на момент отошел. — Будто бы они от этого наслаждение особое переживают?

— Вы про религиозный экстаз спрашиваете?

Разбойник покачал головой с отвращением.

— Даже в разврате следует знать умеренность.

Хихикание *я-оно* заглотнуло вместе с гадким кофе. Откуда берется такое, что человек, охотнее всего, наглым смехом встречает подобные сцены смертельных трагедий? Ачухов умирает — смешно? Нет. И все же, во всей этой ситуации есть нечто такое, что единственным здравым ответом, похоже, должен быть взрыв грубоватого смеха. Есть ли еще какой народ, у которого в обычае на похоронах рассказывать анекдоты?

А может, всему виной теслектрические токи в голове...?

Ночь уже наступила, любопытство успокоено, пора возвращаться домой. На сегодня смертей уже хватит.

— Господин Щекельников, тогда вот, на улице, на снегу, не заметили, может, папки...

Подскочил Зейцов, вырвал чашку из руки.

— Проснулся!

Господа толстовцы, поддавшись просьбам Филимона Романовича, освободили стулья. С трудом сдерживая глупую усмешку и нервные движения, *я-оно* присело на том, что стоял дальше всего от изголовья кровати.

Сергей Андреевич внимательно поглядывал из-под тяжелых век.

Поискало взглядом Зейцова — тот сбежал.

Откашлялось.

— Простите...

Тот поднял руку с постели.

— Что вы здесь делаете?

— Ах... Господин Зейцов меня...

— Я вас знаю.

— Нет, нет. Бенедикт Герославский. Господин Зейцов говорил...

— Я вас видел, — прохрипел умирающий медленно, с мучительным размышлением после каждого слога. — Помню лица, помню людей.

Неужто, у него окончательно смешались реальность с призраками?

— Память, — буркнуло, — это орудие Сатаны.

— Ага! — показал он в улыбке остатки зубов. — Очень хорошо. Приблизься-ка, сынок. Они не услышат.

— Мне и самому может казаться, будто бы помню различные вещи. Какой смысл спрашивать об истинности того, что не существует?

— Прошлое не существует? Ай, выходит, по правде я и не умираю! Хррр! — смеялся тот. — Филимон хорошо вас описал.

— Да?

— Как я могу умереть — без прошлого? Как могу я стать спасенным — без прошлого? Как вы можете жить — без прошлого?

Я-оно сорвалось с места. Только старик вдруг проявил совершенно юношескую энергию,

схватил за рукав, удержал. Да станет ли я-онодраться с человеком, уже стоящим над гробовой доской? Снова уселось.

— Меня Зейцов уже убалтывал, — прошипело. — Он думает, что вы меня убедите? Как будто — если умирающий попросит, так на все соглашусь? Ловушка такая, так? Так он это себе обмыслил! Шантаж! Да плевать мне на вашу Историю с Царством Божьим впридачу!

Тот же веселился еще больше.

— Хррр. Ибо вы, хррр, не верите в Историю, хррр, вообще. А ведь — разве того не видите? — если нет Истории, так нет и Бога. Христианство — это Правда об Истории. Отними у христианства Историю — что останется? Ничего! Ничто! Крррр! Не существует Бога Лета — там есть лишь домыслы, школы спекуляций, парламенты божков и дискуссионные кружки пророков. Истинное спасение возможно только подо Льдом; истинное христианство — только подо Льдом; истинные добро и зло — подо Льдом.

...Ведь если Истории нет — нет и человека! Хрррр. Если не можешь сказать правды о прошлом, то какую истину выскажешь о любом поступке своем? Всякий поступок, всяческий выбор рождается из прошлого в будущее. В жизни на мгновение, на мерцание свечки растянутой — не сотворишь ни добра, ни зла. Лишь тот, кто существует в Истории, может обладать вольной волей. Как осудить убийцу, раз убийство забыто, убийство, что минуло и не длится на глазах твоих — оно ведь уже не настоящее, не конкретное убийство? Раз нет Истории, так нет и человека — имеется лишь преходящее мгновение химических молекул, хррр, и образ материи, схваченный в настоящем.

— Не отрицаю.

— Не отрицаете.

— Выдам вам тайну, — хихикнуло стыдливо, при этом склонилось над Сергеем Андреевичем Ачуховым, так что в ноздри ударил смрад болезни и старости, и потного, нечистого тела. Княгиня Блуцкая, по крайней мере, пользовалась благовониями. Открыло широко рот. — Я не существую.

— Ох! — опечалился тот.

— Так, так, — покачало головой с ребяческим довольством, словно радуясь хитрой шалости, устроенной взрослому.

(Может, это вина теслектрического тока в голове, а может — водки в жилах).

— Насколько же вы должны быть несчастливы... — Ачухов стиснул пальцы. — Разве слышал кто о более глубоком отчаянии? Можно ли найти большую темноту в душе и более тяжкое святотатство? Сын мой! Даже самоубийца, пропащая душа, преступлением подобным Творца почитает: уничтожая Его творение, падает пред ним на колени и признает малость свою по отношению к Тому, Который Есть. Самоубийцам плевать на жизнь, ибо столь важны им они сами. Но вам, кхррр, вам плевать на самого себя! Не было еще нигилиста столь абсолютного. Хрррр!

Он поперхнулся кровавой слюной. Подало ему платок. Левая рука умирающего тряслась так сильно, что тот не мог ею вытереть себе рот. Помогло ему.

— Хррр, хрррр, думаете, будто вас попрошу замолвить словечко у Отца Мороза, да еще и клятву дам. Хрррр. Нет. — Он замахал платком, чтобы еще более приблизиться. — Люди считают, будто бы перед смертью софия и гнозис какие-то высшие на человека нисходят, а ведь по сути, трудно тогда мысли собрать даже по простейшей проблеме, так все болит. Хе-хе. Так вот вам моя глупая мудрость: Идите и допьяну напейтесь. Идите и побезумствуйте с приятелями. Заберитесь в горах на самую высокую вершину. Идите в тайгу по охотиться, встаньте против дикого зверя. Найдите себе девушку, мягкую сердцем и телом, роскошную. По какому-нибудь политическому вопросу выступите против всех. Наедайтесь до обжорства.

Всегда дарите себе минутку, чтобы глянуть в звездное небо, на снег, что искрится на ветке, чтобы погладить собаку, ребенка к себе прижать. Все, что заработаете, тратьте на материальные вещи будничного употребления: одежду наилучшую, из самой приятной на ощупь ткани; на самые приятные для глаза вещи, радующие пальцы мелочи. Если должны выбрать одно из двух блюд — выбирайте то, которого еще не пробовали. Должны выбрать один из двух городов — выбирайте тот, в котором еще не бывали. Если надо выбирать жизнь — выбирайте ту, которую еще не прожили.

— И это должна быть молитва существования? Это же молитва для тела!

Тот полностью выбился из сил.

— Кххррркхррррр. Все равно, сделаете так, как запомнили.

Теперь пришло время более тяжкого бреда, когда боль сделалась для Сергея Андреевича невыносимой, и он уже не мог контролировать телесные рефлексy, в том числе — и издаваемые звуки. А поскольку гадкий кофе Зейцова не помог (водка разогрела, водка в голове все перемешала, теперь же водка усыпляла), клевало носом в углу, опирая висок о поцарапанную стенку. Пока новый визг, крик, сплетенный с кашлем и кровавым хрипом, из полусна не вырывал, и тогда протирало глаза на сцену умирания, которой никогда на полотнах, воспевающих мученичество святого, не увековечат. Ачухов, мужчина в прошлом могучий, высушенный теперь в грубо костный скелет, бросался на загаженной постели, плюясь кровью, слизью и всяческой гадостью. Хозяйка грубо крутила его в кровати, заматывала в одеяла, пытаясь обездвижить, когда тот пытался вырваться и рвать все и вся вокруг. Ему подавали воду, какие-то лекарства, он захлебывался.

Зейцов исчез на мгновение и вернулся с бутылкой «Поклевской». Он пил из нее, совершенно с этим не кроясь. Ему требовалось с три мощных глотка, чтобы вообще войти и глянуть на Сергея Андреевича в подобном состоянии. Тут же глаза у бывшего каторжника набегали слезами, руки его тряслись, из горла исходил жалостливый стон. Он плакался над учителем, над миром, над самим собой.

— И что мне теперь, эх, Боже, на что мне теперь жить, дураку, раз и так только несчастья да еще большую боль приношу; спасти крестьян темных — не спасу, Россию спасти — тоже никак, хотя бы одного хорошего человека спасти желал — нет, нет, всегда все наоборот. На что миру такой вот Зейцов Филимон Романович, разве что на посмешище.

— Разве нет у вас какой-нибудь приличной работы?

— Работы!? Да разве я когда за свои пил?

— Как протрезвеете, зайдите к Круппу в Часовых Башнях, их Лаборатория ищет добросовестного сторожа — ведь вы же человек образованный, покажете себя хорошо, так возьмут и после каторги.

— Да что мне работа, когда отец умирает! Боже! — И цап за бутылку.

Щекельников пару раз показал от двери: пошли уже отсюда. Покачало головой отрицательно. Нужно высидеть до конца. Зейцов прав, долго это уже не протянется, Ачухов умрет еще этой ночью, замерзло.

Тот же тем временем хрипел непонятные признания, гневно обращался, непонятно с чем, к видимым и невидимым людям; обращал невидящие глаза к стенке, на потолок, к окну, вел с ними разговоры о делах минувших, грехах давних, людях из прошлого — истинного или выдуманного, как узнать; он умирал в огне, в горячке, следовательно — в неуверенности. Он звал мать. Звал братьев. Звал каких-то женщин, Зейцову неизвестных. Призывал Бога. Те прибывали или нет; выводы можно было сделать лишь по упорству, с которым Ачухов повторял зовы. Весь дом уже пропитался смрадом мочи, кала и старой крови.

Звал он и Бенедикта Герославского — попеременно с Филиппом Герославским. Им, в

свою очередь, рассказывал про какой-то Черный Лабиринт под небом Черного Сияния, на поле черного льда. Свет, хрипел он, уже не подчиняется здесь законам света, и глаз видит вещи, которые не видны, то есть, Истину, охваченную в материи. Истина, хрипел он, имеет форму совершенного шара, и к ней можно прикоснуться. Лабиринт на равнине уничтожения предназначен для того, чтобы погубить тех, что не замечают Правды. Шестеро пошло, хрипел, никто не возвратился. Люты, хрипел, люты плыли, словно река. Солнце восходило черное, будто уголь, и мы прятались под железом от живых светеней. Ледовые скульптуры рассказывали нам истории того мира: кто увидел себя, тот проваливался под землю. Нам не нужно было есть, не нужно было пить, не обязательно было дышать; умереть было никак невозможно. Мамонты, хрипел, мамонты, мамонты, мамонты указывают дорогу.

На рассвете случился кризис. Он ненадолго заснул. Господа-толстовцы вложили ему в руки Евангелие. Когда Ачухов очнулся, то притянул книгу к себе, но вовсе не с намерением набожного поцелуя, а только закрылся ею, словно ребенок, лупая из-за обложки набежавшим кровью глазом. Смерть была уже рядом — Ачухов был способен издавать из себя лишь мальчишеский шепот. Кто? Кто? Что? Чего хочет? Где? Что? Что? Распаленный, он растворялся в вопросах, все более простых, коротких, все более общих, бесцельных, словно химическое соединение, что распадается до элементов. Что? Что? Что? Он выпутался из постели и одеял, голая нога, с черными жилками тьмечи, покрытая пятнами обморожений и Бог знает каких болячек, ритмично била в спинку кровати, и та тряслась и подпрыгивала. По причине аффекта, Сергей Андреевич уже не был в состоянии перевести дух; вместе с последними словами он выхаркивал из легких остатки воздуха и крови.

Не слышите? Не чувствуете, как трясется земля? Мамонты, мамонты пришли за мной! Про-про-проваливаюсь!.. Провалился.

Господа перекрестили его, замкнули ему веки. Хозяйка подбросила дров в печку. Я-оно встало. Филимон Романович Зейцов, пьяный как свинья, валялся на коленях у кровати и громко плакал, прижав щеку к ладони покойного. Подошло, в последний раз глянуло на Сергея Ачухова. Ни за что не узнало бы его, настолько черты лица изменились, когда душа покинула тело. Оперлось о высокую спинку кровати, как в голове все закрутилось. Чувствовало, что обязательно следует сказать нечто возвышенное, высказать слова, обладающие большим весом, и вместе с тем, имело полную уверенность, не затуманенную спиртным, что обязательно выскажет здесь какую-то шутовскую глупость, которой будет стыдиться месяцами и годами, если не до конца жизни. Пошатываясь, словно одурманенное этой смертью и этим смрадом — можно ли втянуть смерть в легкие, словно опиумные испарения? — открыло рот и...

Господин Щекельников вывел на улицу. Я-оно протрезвело от мороза, утренней ясности и городской жизни. Солнце только-только восходило из-за основания башни Сибирхожето. Поискала на чистом небе крыш и башен губернаторской Цитадели, с ее тьветистыми часами. Светень на мраке показывала восемь. Нужно ехать в Холодный Николаевск, на работу. Только господин Щекельников махнул в противоположную от Мармеладницы сторону, на купола Собора Христа Спасителя.

Чингиз купил тьвечку и сразу же исчез в нефе. Остановилось ненадолго в притворе. Шаги квадратного амбала звучали кратким эхо в, судя по всему, пустом храме. И за кого же это пришел он помолиться: за пилсудчика, которого зарезал ночью, или же за Сергея Андреевича Ачухова? На сей раз из-за стиснутых зубов вырвался гортанный смешок. Водя рукавицей по стене, с головой, подавшейся вперед, словно против метели, посеменило в глубину громадной церкви, на восток, то есть — в светлую темень. Весь неф, до самого иконостаса, был попеременно заполнен потоками тьвета и света. Дело в том, что не только

купола, оплаченные иркутскими холодопромышленниками, но и большая часть украшений и снаряжения внутри была выполнена из драгоценного тунгетита, из многоцветных зимназовых холодов в золотых инкрустациях. Тьвет многочисленных тьвечек, падая на тунгетит, отражался огненным сиянием — тот затекал в сферы замрака, где растворялся, словно молоко в чернилах — другой свет, чистый солнечный блеск, бил сквозь окна — но и для тьвета здесь были открыты окна, ведущие прямиком в черные адские провалы: зеркала, симметрично развешенные между иконами. Тьвет тьвечек отражался в них в ту и иную сторону — тот, кто проходил по громадному пустому пространству от притвора к аналою, тот вытьвечивал вокруг чудовищные светени, от пола до высоченного свода, во все стороны церкви, на тысячи икон и бесчисленные лица Бога и святых, в них увековеченных.

Сошло, как можно скорее, в сторону, пристроилось на лавке под стеной. Кислый, гадкий вкус накапливался во рту, и не было чем его промыть, вся слюна, похоже, высохла. Отовсюду глядели темные глаза небесных обитателей, широко раскрытые в выражении печального изумления. Христос Вседержитель с главного яруса иконостаса протягивал благословляющую руку со скрещенными пальцами в жесте, который то ли удерживал, то ли приглашал смотрящего, трудно сказать с такого расстояния. Архиепископская икона Спасителя в деисусовом ряду — Бог на зимназовом троне, с царями, чудищами и лютами у ног — и Спас Нерукотворный внизу были выполнены в тунгетитовой технике, с покрытием из пухового золота. Точечные зеркала направляли на них под острым углом ливни тьвета, из которых Спаситель возникал в поражающем огне тунгетитового антимоорока, в облаке зимназовых радуг, очерченный золотой линией, в ореолах божественной белизны. Трудно добиться более понятной символики световой архитектуры. Я-оноспрятало лицо в ладонях.

Прав ли был Ачухов? Или это всего лишь отчаяние? Прикусило язык. Но ведь Сергей Андреевич глядел с иной стороны: нельзя верить в существование Бога, не веруя одновременно в существование человека. Бытие и История — История, то есть правда о Бытии в прошлом — являются фундаментом всяческой религии и морали. А если глянуть поближе, то и основой характера человека. Разум способен предложить миллионы аргументов за небытие, но именно то, что не ходишь по улице, оскорбляя, дерясь, стреляя в кого попало — показывает, что одного разума здесь недостаточно. Всякое высказанное слово, всяческий жест, гримаса на физиономии и привычное поведение — они доказывают могущество Истории.

Но даже если бы этого и всем сердцем желало — как можно из простого постановления начать существовать? Как можно самовольно перейти из небытия в бытие?

Это уже прерогатива божественная, а не человеческая: божества призываются к существованию, люди же создаются.

Задание несравненно более легкое: поверить в собственное существование. Но как тут приказать себе верить? Точно так же, как вера в существование Бога, вера в существование человека либо спонтанна, либо ее нет вообще. Найдется ли кто-нибудь такой, кто бы выслушал теологические аргументы и — ну да, вы меня убедили, хочу уверовать, щелк пальцами, *et voila* — уверовал? Ведь это же абсурд!

Раскашлялось, прикрываясь рукавом. Холодная горечь закупоривала гортань. Изображения Бога и святых глядели сквозь завесы тьвета и света. Кто-то прошел вдалеке, возле клиросов, светени взорвались на люстрах, на мгновение интерьер Собора Христа Спасителя заполнился новой архитектурой контр-темноты, образ Тайной Вечери над царскими вратами иконостаса засиял пух-золотом и литургическими цветами: багрянцем, синевой, зеленью, желтизной. Повернуло голову, оперлось о прохладную стену. Верят не потому, что кто-то их убедил, но поскольку именно так они замерзли. Никто в Краю Льда не

утратил веры, но никто и новой веры не обрел. Единственное, на что можно рассчитывать, это насос Котарбиньского да на счастливый бросок монетой. А монументальные святыни — это словно твердая форма, замерзающая в воду. Ой, не надо было заходить в церковь, видел ли кто в Иркутске православного, зашедшего в костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии? И ведь не гонят их огнем и палками — только никто даже не приближается, пораженный очевидностью Правды и Лжи. Правильно говорили проводники Транссиба: в странах Льда не может быть двух равно истинных вер. Истинно православие — это не римский католицизм; истинный католицизм — не православие. Достаточно наслушалось здесь от русских, да и от нерусских: Поляк — а-а, значит еретик! У них не возникает ни малейших сомнений в отношении истины об истории христового наследия. История сама указывает эту правду: Первый Рим пал, ибо свернул в католическую ересь; Второй Рим, то есть Константинополь, точно так же: пал через несколько лет после присоединения к латинской ереси. Остался Третий Рим — Москва. Линия наследования четкая и выразительная: Киевская Русь принимает крещение от Византии; София Палеолог, племянница последнего владыки Византии, выходит замуж за Иоанна III Грозного [\[288\]](#), привозя при том в Москву сокровища христианской Софии — огромную константинопольскую библиотеку [\[289\]](#); Россия перенимает от Константинополя герб с двуглавым орлом; города средневековой Руси возникают в соответствии с архитектурным образцом Константинополя, который, в свою очередь, был возведен по заказу императора Константина как отражение Первого Города, Иерусалима. Отрицать нельзя — вот оно, истинное христианство. Здесь не склоняют насильем отречься от ереси, ибо знают, что это невозможно — ты замерз еретиком — но вместе с тем не сомневаются, что проклятый в своей заядлости и вместе со всеми священниками, епископами, соборами и богатствами Фальшивого Рима ты прямо ступаешь дорогой осуждения, с каждым шагом удаляясь от света единоистины Божьей, в тьвет, в жаркую тьму, воняющую железом, под черное Солнце Подземного Мира...

Я-онона мгновение очнулось, но тут же голова снова упала на грудь. Обогревают ли Собор? Тьветистый пар медленно исходит из уст, словно кровь, которую пускают из жилы. Танцующие светени поочередно высвечивают фрески на противоположной стене. Кишки выворачиваются, организм бунтует. Может это водка, а затем нездоровый кофе, принятые на практически пустой желудок, или это смрад смерти, запавший глубоко в легкие, или это аллергия самой Правды на Ложь, Лжи на Правду — вспомнилось животное отвращение Горубского к Козельцову и Козельцова к Горубскому — не нужно, не нужно было заходить в церковь! *Я-оно* перегибается пополам и блюет на каменный пол Собора. Светени останавливаются на иконах, святые глядят в изумлении, и глядит потрясенный дьякон, остановившись на полушаге. Стоящее на коленях, *я- оно* оттирает рот шарфом; дрожащей рукой инстинктивно натягивает на глаза мираже-очки. Чернота и белизна, золото и серебро, тень и свет взаимно перетекают одно в другое, изображения святых вдруг заваливаются в глубокие контрасты, в колодцы перспективы, а дьякон расплывается в иконную фигуру, глаза его делаются огромными, черные брови растягиваются, нос худеет, лицо вытягивается и набухает светло-желтой краской, риза на тулупе сияет пух-золотом. *Я-оно*, извиняясь, улыбается ему, а Стыд — ни в чем не подводящий приятель, уже разогревает внутренности, грудь и щеки. В Лете можно было бы укрыться под радужной неопределенностью и даже забыть о самой проблеме, но во Льду — во Льду прекрасно понимает, какой Бог глядит сверху на человека. Нет верующих — есть только знающие Правду и те, кто ее еще не познал. Дьякон подходит, наклоняется, подает лучащуюся руку с неестественно длинными, тонкими пальцами. *Я-оно* слабо отталкивает ее и, пошатываясь, идя под стеночкой, выскакивает из

церкви на улицу. Кто во Лъду отступает от истинной веры, тот делает это по причине ясного предпочтения Лжи; сомневающих, блуждающих нет. Кто творит зло, тот явно противостоит Богу. А кто во Лъду умирает, тот умирает на самом деле.

О черной физике, о Царствии Небытия, о прекрасном искусстве прощаний и правоты авторитетов

24 октября вновь запустили Холодную Железную Дорогу. У отстроенного моста, как сообщали газеты, выставили усиленный армейский пост; ожидалось и последующие акции со стороны японцев Пилсудского. Было утверждено официальное продление действия военного налога, зато несколько успокоилась ситуация на рынке зимназа и тунгетита, а генерал-губернатор чуточку попустил узду: было выпущено большинство мартыновцев, в тюрьмах, в основном, остались лишь предводители забастовок и мятежей; цензура разрешила «Сибирскому Вестнику» поместить статьи об этом, а делегация промышленников-абластниковнанесла визит в Цитадели. Пан Поченгло в ее состав не вошел. После того пан Поченгло вновь ездил по делам по всей Сибири, при okazji, наверняка, развозя тайную корреспонденцию участников движения за независимость и уговаривая соратников по заговору. Он прислал свою визитку с фамилией и владивостокским адресом, по которому должны были бы обратиться беглецы с целью безопасной переправы через Тихий океан; здесь же был и адрес харбинского фактора, на случай непредвиденных обстоятельств по дороге. Два комплекта фальшивых документов будут доставлены перед выездом из Иркутска.

По привычке нормального обывателя Империи, я-оноучилось замечать червячные движения Истории, читая между строк прошедших цензуру статей: *Как докладывают из Енисейска, там убили некоего мужчину, который в таможенном управлении украл большое число патронов. В связи с этим убийством, полиция раскрыла широко разветвленный заговор членов тайного клуба. В помещении данного клуба было найдено большое количество масок, ритуальных орудий, патронов, кинжалов и другого оружия. Арестовано большое число лиц. Из них некоторые дали весьма важные показания.*

Тем временем, однако, несмотря на нормальное железнодорожное сообщение с Кежмой, из Министерства Зимы не поступало ни единого сигнала о решении по делу. Ни люди генерал-губернатора, ни Шембуха, ни Ормуты, ни даже тот чиновник-блондин, никто от них не появился с новым указанием, никто не пытал и про отца; по-видимому, Батюшкой Морозом они совершенно не интересовались. А ведь я-онознало, что это неправда. Во время следующего визита в их представительстве — обещало про себя — нужно потребовать конкретных действий. Нужно отыскать худого типа с черными зубами. Необходимо выпытать про те первые экспедиции в Зиму, про участие отца, про Ачухова. Ведь наверняка же сохранился список участников, какие-то отчеты, донесения; имперская бюрократия не позволила бы пропасть делу без целого шкафа с бумагами и бумаг про бумаги. Наверняка, что-то есть у них и про Отца Мороза. Их тех карт и копий, сунутых блондином, ничего полезного извлечь невозможно. За Кежмой — это уже Смертельная Изотерма — туда ли отправился отец? — но ведь вначале удавалось зайти дальше, должны быть какие-то сороки, которые это дело помнят. Вот только, как таковых найти? Ведь в том-то их работа и заключается, что они не сидят в Иркутске, а месяцами шастают по Сибири лютов. Но, возможно, сейчас посидят в городе чуточку подольше.

Дело в том, что наступили морозы байкальской зимы; морозы, а вместе с ними

кисельные туманы-мглы: при минус пятидесяти, минус шестидесяти градусах Цельсия, влага воздуха оседала густой взвесью, которую можно было резать ножом. Господин Щекельников вышел до рассвета и показал, как ее режут: ножом вниз, ножом вбок, лезвием, которое держал плоско, чтобы обрисовать линию пошире — и вот так вычертил в стоячей мгле квадрат со стороной в метр. Фигура висела в воздухе неподвижно. Мороз нарастал, и казалось, могущество Мороза столь велико, что начинает доставать даже прошлое: оглянулось через плечо и видело в этой мгле туннель, пробитый движением тела, форму этого тела пяти-, десяти-, двадцати шагов назад, оставленную для постоянного обозрения — замороженное прошлое. Люди, животные, сани, все движущееся — отражалось в стоячем тумане последовательностями дыр, словно материальных теней несуществующего. Можно было собственными глазами осмотреть и ощупать бытие минутной, пятнадцатиминутной, часовой давности (если ветер от Ангары был слабым). Минус пятьдесят, минус шестьдесят.

Кому по делам выходить не надо было, сидели дома, у печек. А те гудели, словно испорченные самовары. Пар сжижался каплями на оконных мираже-стеклах, из этой влаги вытекали многоцветные фонтаны; мираже-стекло никогда не зарастало инеем. За окнами крыши домов и спины лютов проплывали над медленно стекающими струями небоцветной мглы. А тут — возле керосиновой лампы и чашки с самым лучшим чаем, в плюшевом, нагретом четверть-мраке — *я-оно* писало письма в Польшу.

Так, в первую очередь Зыгмунту, с переводом на тридцать рублей. Сильно ли достают кредиторы? Застряло в этой Сибири. Потом Альфреду. Застряло в этой Сибири, огромное спасибо за рекомендации пану Белицкому, уж он точно нижеподписавшемуся жизнь спас. Теоретические работы лежат втуне, зато здесь практикуется логическая инженерия, о которой тебе и не снилось. Как там диссертация в Львовском? Появилось ли что-то любопытное в логической математике, к примеру, теории Котарбиньского? Пришли новые статейки, с которыми можно было бы не согласиться, пока мозги тут полностью не засохнут.

Так же написало Болеку, напоминая о себе после многих лет. Что у него там? Здоров ли? Сколько это уже костелов построил? Женился, может? Ответ пусть пишет на этот иркутский адрес. Работа имеется, сделалось порядочным гражданином, вернет ему все займы, вот первый взнос. А может судьба еще так человеком покрутит, что и на американский континент попадет — так что пусть вышлет надежный контакт, адрес, по которому его можно будет найти в течение года-двух. Любящий брат, Бенедикт.

После наступления темноты, после рюмочки вишневки, а потом — после второй и третьей, пришла пора для письма панне Юлии. Что нового — а ничего нового, разве что теперь *я-оно* деньгами зарабатывает. Ха, панна и не думала, будто бы Бенедикт Герославский когда-нибудь честным трудом займется — это как же путешествия в экзотические края человека меняют! (Плюс, насос Котарбиньского, естественно). Но, каких бы странных, внешних причин здесь не искать, каких бы оправданий не изобретать, не скажет ведь панна, что и это тоже неправда о Бенедикте Герославском. Потому-то, в Варшаве — вшивая дыра у Бернатовой, репетиторство и случайные заработки, выпрашивание денег у евреев, карты, это можно было предвидеть — но не должность, не нормальное, банальное будущее? Или эта неопределенность времени незрелости, та неустойчивость характера в Лете является математически, биологически неизбежной — словно этап куколки в жизни насекомых? Или все пошло бы иначе, если бы, именно, не панна — если бы не случайное, теплое прикосновение панны руки — если бы не жаркие обещания — великие планы — все эти не состоявшиеся и непроверенные виды на будущее — все это вина панны Юлии! Именно ее в том вина, и панна об этом знает! Поскольку доверилось тогда тому, что не существует!

Письма, письма, письма, с формальными поздравлениями, с шикарнейшей завитушкой

подписи, на веленовой бумаге, в конверте, густо обклеенном марками — это тоже один из небольших ритуалов мещанства, равно как и тихий полдник с домашними, как воскресный обед, как серьезная правительственная газета за завтраком или вечерний кофе в клубе для джентльменов, где, как, к примеру, у Вителла, свободно обсуждаются дела и любовные истории, политика и война.

Купило часы Филиппа на серебряной цепочке, с выгравированным гербом Иркутска на крышке, весьма приятно лежащие в руке. Когда теперь встало перед зеркалом в расстегнутом сюртуке, с блестящей дужкой цепочки, свисающей у бока жилетки, под синим английским галстуком — совершенно не думало, кого теперь увидят незнакомые люди; не размышляло над тем, соответствует ли общей картинке та или иная деталь, и что все это может означать в их глазах, и не будет ли все это ложью; не думало об этом даже под потьветом в зеркале поблескивающим, после недавнего откачивания тьмечи.

Вот уже несколько недель с Теслой не виделось; зато регулярно пользовалось насосом Котарбиньского в его апартаментах в «Новой Аркадии» по дороге на Мармеладницу, но Теслы к тому времени в гостинице уже не было. *Mademoiselle* Филиппов говорила, что Никола практически не покидает Обсерваторию, там ночует, там даже ест. Снова он перестал спать, разговаривает сам с собой на многих языках, ходит в легкой горячке, пропускает себе через голову килотемни тьмечи и киловольты электрического тока.

Он прислал письмо.

Дорогой Б. Г.,

полагаю, что Вы не посетили меня еще в новой лаборатории только по причине избытка работы. (Выходит, и Вы тоже работаете сейчас над черной физикой!) Не поменялись ли Ваши планы по ТОМУ вопросу? Думаю, что я уже гораздо ближе к решению нашей проблемы; так что прошу никаких решений не принимать, вначале переговорим. Приглашаю!

Преданный Приятель,

TGI

«TGI» означало — «Tesla the Great Inventor» [\[290\]](#).

Доктор Тесла устроился на первом этаже Физической Обсерватории Императорской Академии Наук, в ее складских помещениях, на тылах. Зимназовые кабели толщиной в руку, в волоконной изоляции тянулись по коридорам и лестницам, подвешенные под потолком, в выбитых в стенах нишах — и вели в подвалы, к колодезной раскопке, где Никола «подключился» к Дорогам Мамонтов. Он — то есть, его машины. Правда, особой разницы это не представляло.

Гигантская тунгетитовая катушка — тор, обмотанный сотнями аршин тунгетитового провода — занимала всю ширину склада. Ее передвинули в самый конец длинного помещения, поскольку, когда катушка работала, никто безопасно не мог пройти рядом с ней. Зимназовые конденсаторы и мегатокопроводы были расставлены по порядку до самого входа. Токопроводы Никола применял в контролируемых резонансах для измерения пассивного и реактивного сопротивления, а так же индуктивной мощности теслектрической катушки, равно как и для определения их чернофизических соответствий; но самыми эффектными были эксперименты, в которых катушка представляла собой тьмеченосную систему, подключенную к самой Земле, то есть, к Дорогам Мамонтов.

— Я вломлюсь к ним! — кричал Тесла и — шинель, перчатки, защитные очки, соболиная шапка — дергал за переключатель машины, а работники-зимовники с азиатскими лицами и толстым слоем отъеченной ауры закрывали глаза и как можно скорее бежали из лаборатории. — Я найду эту частоты, чтоб меня молния ударила!

Лютый мороз бил от катушки, и матовый иней покрывал ее витки и корпус: это сжижался и замерзал воздух. Тьвет истекал от машины плотными волнами, за самым малым предметом отбрасывая светени настолько интенсивные, что без мираже-стекольных очков человек не мог глянуть на них даже краем глаза... Низкий, злобный звук — протяжное урчание, от которого волосы становились дыбом, и сводило кожу — выходил за пределы здания и далеко на улицу. («Голос Байкала» печатал письма с жалобами жителей окружающих домов).

А потом начинались теслектрические разряды. Черные молнии, в пучках по несколько десятков, по сотне, миллиону, выстреливали из катушки, и словно голодные пиявки цеплялись то к тому, то к другому предмету, извиваясь, множась и делясь, ломаясь и выпрямляясь, после чего неожиданно перескакивали в совершенно иное место. При этом раздавался ужасный треск, и холодный вихрь перемещался по лаборатории. Некоторые угольные молнии доставали до противоположной стены склада, то есть, на добрых сорок аршин. Так что человеку здесь никак не удавалось укрыться. Теслу при этом молнии били уже не раз. Но он не обращал на это внимания.

— Я даже холода не чувствую, — говорил он. — Человек, стоящий на земле, не обладает сопротивлением для тьмечи.

В боковом складе, двери рядом, он устроил себе уголок для работы, заключавшейся, скорее, в теории, чем в практике; на третьем этаже у него имелась комната, приспособленная под спальню, только он ею почти что не пользовался. Здесь, внизу, сразу же над подвалами и Дорогами Мамонтов, он держал в клетках мышей и крыс, которых накачивал тьмечью или же откачивал ее из них. Светловолосый русский парень, с лицом изрытым оспинами, вел документацию экспериментов: Саша Павлич, биолог, рекомендованный профессором Юркатом, который перед тем занимался феноменом усыпленной жизни в мерзлоте.

Комната была подключена к отоплению. Сбросив шинель, Никола поспешил записать новые результаты; письменного стола у него не было, для своих потребностей он занял большую часть лабораторного стола, придвинутого здесь к стенке под полками с самыми разнообразными устройствами и их деталями. Я-онозаметило там же подручный насос Котарбиньского, приводимый в движение рукояткой, но еще и дырявый чайник. В корзине за столом торчали термометрические трости и стержни с ломаными зимназовыми антеннами — тьмечеметры, как узнало впоследствии.

Саша как раз кормил тихо попискивающих мышей. К каждой клетке был подведен зимназовый кабель, провод тесной петелькой охватывал одну из конечностей грызуна. В открытых коробках на клетках лежала рассортированная по вертикали документация: Партия Первой Недели, Партия Второй Недели, Партия Третьей Недели et cetera. Прилагаемые фотографии представляли собой черно-белые тельца животных, замороженных до каменного состояния — и внутренности грызунов после посмертного вскрытия. Павлич затушевал и подписывал зоны, идентифицированные как центры заболеваний.

Тесла подошел поближе, заглянул через плечо, в чем помогал ему рост.

— Ага, пока что одни только мыши и крысы.

— Их убил теслектрический ток?

— Well, как и во всем, имеются границы величины тьмечи, которую организм может принять без ущерба для себя. Или же, которую без ущерба для здоровья можно откачать. Накачанную тьмечью крысу убивает побочный эффект переполнения организма тьмечью:

мороз. Крысу с откачанной тьмечью — хмм, здесь причина лежит глубже. Вот эти пятна, — Тесла указал пальцем в белой материи, — это центры неожиданно растущей опухоли.

Я-оноперепугалось.

— Насос Котарбиньского вызывает рак?!

— Ну, ну, никаких причин беспокоиться нет. Все это мы измеряем уже с достаточной точностью: живой организм подобной величины вмещает около семисот скотосов [291]. Во всяком случае, после откачки семи сотен, производительность насоса резко снижается. Можно предполагать, что теслектрическая емкость человека в несколько десятков раз выше. Тот насос, которым вы пользуетесь у меня в гостинице, не выкачивает напряжения выше одной десятой нокты [292] — так сколько часов вы должны были бы откачивать себя? А эффекты с появлением опухолей мы отметили только после полной откачки тьмечи из организма.

Никола Тесла отчаянно пытаться охватить феномены черной физики в количественных зависимостях, описать ее математическими уравнениями. Доски, развешенные здесь на стенах, заполненные плотными строками расчетов, столбиками цифр, неуклюжими схемами — очень напоминали мне такие же письменные доски из криофизической лаборатории предприятия Круппа. Большую часть вычислений Тесла проводил про себя, так же в голове он конструировал свои машины; на досках калякали, в основном, Павлич и еще один помощник серба, некий Феликс Яго, подосланный ему по указанию Личной Императорской Канцелярии из Петербургского Института: уже пожилой, благочинно выглядящий инженер с моноклем и галстуком-бабочкой, пересчитывающий сейчас в резиновых перчатках черные кристаллы и упаковывающий их в мираже-стекольные банки, закрываемые затем пробками с печатями Императорской Академии Наук.

Я-оно считало с таблицы символы черной физики Теслы. За единицу заряда тьмечи он принял 1 скотос, σ , определяемый как теслектрическая емкость одного грамма гигроскопического хлористого цинка, $ZnCl_2$. Тьмечь (W), протекающая за время t , характеризуется интенсивностью (I_W), измеряемой в ноктах, n . $I_W = \Delta W / \Delta t$. Давление тьмечи, называемое также теслектрическим напряжением (U_W), измеряется в темнях, ф. «Сила», с которой теслектрический поток заполняет носитель, зависит от интенсивности потока, а так же от теслектрической поглощающей способности носителя — которая различается для различных материалов и структур. Никола разговорился у таблицы, заполненной несколькими параллельными системами уравнений, различных для каждого представленных сверху тел: шара, куба, практически двухмерного листа материала, длинного цилиндра. Он всматривался в эти уравнения, словно желая прожечь таблицу взглядом глубоко посаженных глаз, сейчас очень темных, словно напитанных тьмечью; белая прядка упала на острую скульную кость, а он этого даже не замечал.

— Явно существует некая «структурная постоянная», Q , которая не следует из химического состава объекта, но исключительно из его строения, из пространственной формы и происходящих в нем тепловых процессов, и от этой постоянной зависит тьмечная емкость предмета, его поглощающая способность и, по-видимому, даже темп, с которым он генерирует тьмечь. Ибо — так, так, пан Бенедикт — всяческое тело постоянно и постепенно накапливает в себе тьмечь даже при полной теслектрической изоляции, исходя лишь из самого факта своего существования. Причем — а мы измеряем все это по возможности точно — не тратя какой-либо энергии.

— Вы же не говорите о *perpetuum mobile*?

Тесла скривился.

— Уже неоднократно меня обвиняли в научной наивности. Вечный двигатель, ха! Я уже запатентовал несколько таких версий диска Фарадея. Представьте себе однополюсную электромагнитную динамо-машину, где ток индуцируется магнитным полем Земли. Если взять соответственно крупный диск, или же соответственно быстро вращающийся, или выполненный из материала с тысячекратно большей проводимостью...

— Электрические сверхпроводники?

— Да. Тогда мы имели бы самоподдерживающуюся динамо-машину: генераторы, черпающие энергию планеты. Или космическую энергию: возьмите два подобных диска, один на земле, другой, подвешенный над нею, выставленный на воздействие космических лучей, и подключите их с двух сторон к конденсатору. Или же, возьмите кабели настолько длинные, что один конец будет заземлен, а второй выброшен в космическое пространство. Имеются здесь какие-нибудь волшебные машины, нарушающие законы физики? Да нет же, это просто бестопливные двигатели, энергию они берут в другом месте.

...Но здесь мы имеем дело с совершенно иным механизмом. На сколько миллиардов скотосов мы должны оценить заряд тьмечи Земли? Структурная постоянная указывает нам наиболее эффективные тьмеченосные конструкции.

Я-оноподумало о криофизической «температуре упорядочивания» и мере энтропии. Подпорядочил ли Никола в измерениях этой постоянной отдельным предметам некую объективную меру порядка, шкалу единоправды? Существует ли геометрия и стереометрия более и менее «правдивые»? Какое равнотемпературное тело представляет собой больший порядок: шар или куб?

А человек. Насколько близок к Правде *Homo sapiens*?

Тьмечь самостоятельно протекает вдоль линии теслектрического напряжения, но из человека просто так она не вытечет, хотя, с другой стороны, он весьма открыт для накачки тьмечью из воздуха, из земли, из воды.

Точно то же происходит и со льдом — с помощью профессора Юрката Тесла выделил уже более сотни видов льда, каждый из которых в теслектрическом потоке ведет по-разному.

— Подозреваю, что это имеет нечто общее с его молекулярным строением — с тем, как молекулы воды собрались во время кристаллизации. Зимовники сидят там, в колодце, и перебивают зимназовые иглы из одной в другую ледовую жилу, — Тесла вытащил зубчатыми щипцами пробку и налил в стакан минеральной воды. Бутылки с этой водой ему привозили из «Новой Аркадии». — Дошло до того, что при постоянном давлении на токопроводах, я могу по звуку работающих машин узнать цвет и степень загрязнения льда, к которому подключился.

— То есть, вы откачиваете тьмечь из Дорог Мамонтов?

Тот сделал глоток воды.

— Ну, качаю, только здесь дело совершенно в другом. Токопроводы превращают тьмечь в электрический ток, так что в этом плане я самодостаточен. Но ведь не думаете же вы принимать эту установку в качестве оружия против лютов?

— Когда вы говорили о целостных решениях, я сделал такой вывод...

— Океан вычерпать ложкой! Дорогой мой!

— Как же тогда?

Какое-то время он прислушивался к отзвуку отдаленного барабана глашатаев, какая-то ассоциация вдруг отвернула его мысли от беседы; пришлось подождать добрую минуту, лишь после того серб замигал и, как будто ничего не произошло, продолжил.

— Идея родилась у меня еще в девяностых годах прошлого века. Конечно, господин Бенедикт, вы правы, тогда я ничего не знал про теслектричество и про Лед; никто этого не

мог знать. Я работал над системой общемирового беспроводного телеграфа. Как оно пошло с Маркони, дело другое; моя же идея — как бы это вам более доступно... Представьте себе резиновый пузырь, наполненный водой до границы прочности материала. В пузыре имеется отверстие с трубкой и поршнем — нажмешь на поршень, вода втискивается в пузырь, тот расширяется. Установите в различных местах побольше таких поршней — они станут подниматься и опадать в ритме движений вашего поршня. А теперь замените пузырь на Землю, потоки воды — на земные токи, а поршни — на приемно-передающие станции. Волны переносят информацию, но волны переносят еще и энергию, о чем до сих пор мало кто думает. Представьте себе снова, что в этой воде вы осуществляете взрыв — волна проходит через пузырь — вы вычисляете ее частоту и качаете поршень в соответствии с нею, все время увеличивая амплитуду — через какое-то время пузырь должен лопнуть. Точно так же лопнет и земля.

— Вы хотите уничтожить планету? — рассмеялось *я-оно*. — Да, мы избавимся от лютов, это правда, только не думаю, чтобы царь имел в виду нечто подобное.

Тесла неспешно крутил стакан в пальцах, засмотревшись на перетекающую воду в нем.

— Как-то вечером, вместе со знакомым из моей лаборатории на Хьюстон Стрит, неподалеку от Уолл Стрит, я попал в подвалы одного из небоскребов. Там шел какой-то ремонт, дом был пустой, безлюдный. Механический генератор колебаний был у меня с собой, в чемоданчике. — Второй рукой он показал, насколько небольшим тот был. — Я плотно подсоединил его к одной из стальных опор здания. Частоту колебаний генератора подстроил так, что опора вошла в резонанс. Через несколько минут весь дом трясся, словно в малярии; другие небоскребы по соседству тоже тряслись; и вообще, округа выглядела, словно во время землетрясения. В подвале клубилась пыль, мы уже слышали пожарные сирены — тогда я схватил молоток и разбил генератор. Мы спаслись в самый последний момент. Да. С помощью такого минигенератора я разрушил бы Бруклинский мост меньше, чем за час.

...Земля вибрирует с частотой в один час и сорок девять минут. Представим, что я взрываю тонну динамита точно в эти интервалы, всякий раз усиливая возвратную волну. В конечном время Земля должна распасться, вы же не сомневаетесь в этом, господин Бенедикт.

— Но ведь вы же не хотите, чтобы Земля треснула, — сказала *я-оно*, уже без смеха.

— *Of that you can be sure* [\[293\]](#). — Тесла провел белой ладонью по цыганскому носу, светень засветила ему в темный глаз. — Но для теслектрического тока в Дорогах Мамонтов тоже существует своя резонансная частота. Должна существовать.

— Откуда такая уверенность?

— А вы забыли, с чего все это началось? Со столкновения, с удара!

Я-оно налило себе воды в другой стакан.

— И как раз это вы испробуете на тунгетитовой обмотке?

— Тогда я построю тьметовой молот, который разобьет любой Лед. По крайней же мере... — Он вздохнул и присел на краю массивного лабораторного стола. — В последний раз я спал и... Не надо так удивляться, сплю я, сплю.

— И вам снилось...

— Да. Что в один прекрасный день именно таким способом я низвергну весь Город Льда. Не надо пренебрегать предчувствиями будущего! У меня всегда был талант к ясновидению, как-то раз я спас человека от смерти в железнодорожной катастрофе, благодаря такому вот откровению. — Он задумался. — Смерть своей матери — ее я тоже вначале увидел на небе.

— Все здесь предостерегают перед ловушками онейромантии. Вы же видели сонных рабов?

— *Excusez-moi* [\[294\]](#).

Тесла направился к шкафчику в углу, вынул бутылочку, высыпал что-то себе на перчатку — будет запивать таблетки. Я-оно обернулось. Саша Павлич, сидящий над микроскопом, с любопытством поглядывал с другого конца комнаты. Подмигнуло ему. Саша покраснел и сгорбился над окуляром.

Я-оно прошло вдоль стоящих под стенами столов. По сравнению с балаганом Лаборатории Круппа здесь царил практически идеальный порядок. А ведь это был первый этаж, над Дорогами Мамонтов. Может быть, им везло, и люты пока что обходили их стороной. Или же все это рука *mademoiselle* Кристины. Прошло мимо тунгетитового зеркала с выжженным узором, похожим на пентаграмму, машинально качнуло чашки аптекарских весов, щелкнуло раз-другой выключателем мраколампы под красным абажуром (на мгновение склад затонул в грязной синеве, словно залитый морской волной), заглянуло вовнутрь зеркального шара...

— Ни к чему не прикасайтесь! — перепугано воскликнул Тесла.

Отступило на шаг.

Серб подбежал, что-то отключил у основания стойки с шаром. К ней подходило несколько довольно толстых кабелей в противотъмечевой изоляции. От шара горизонтально отходил длинный стержень из мираже-стекла с подмонтированными оптическими устройствами. Внизу лежало несколько измерительных приборов с круглыми циферблатами.

— Теслектрическая бомба, или что?

— Уфф. *Je vous demande pardon* ^[295]. — Он оглянулся на инженера Яго и понизил голос. — Не бомба; собственно говоря — тьветовая лампа, но... Он приблизился еще плотнее, поза предполагала стыдливую доверительность. — Где-то лет тридцать назад я сконструировал первые генераторы Луча Смерти, *Death Ray Devices*. Те лампы в долю секунды могли уничтожать цирконий и алмаз. Вот, поглядите, строение такого светового ружья чрезвычайно простое: сфера выложена изнутри отражающим материалом, все это немного похоже на лейденскую банку, и кусочек отполированного угля, циркония или рубина, подключенный к источнику энергии. Свет отражается внутри, лавинно концентрируясь на камне. Пуфф, и он испаряется. Либо же, используя цинковые плиты, мы выпускаем этот концентрированный импульс света наружу — что за оружие! Если бы у меня имелись средства, чтобы разработать его в соответственно большем масштабе — кто бы еще вел войны, когда действующий быстрее взгляда луч с расстояния в сотни миль испепелял бы целые армии?

...К сожалению, никто изобретением не интересовался. Но здесь у меня имеется возможность испытать в действии тьветовую версию Луча Смерти. В качестве концентрирующего камня я применяю криоуголь или же чистый тунгетит. Получаемый тьветовой луч бьет настолько низкой температурой, что мне не удалось ее толком замерить.

Я-оно присматривалось к шару со стеклянным клювом, сильно почесывая при том верх ладони.

— Морозит, но не уничтожает?

— Еще не знаю, для чего это может пригодиться на практике — у меня нет особого времени для подобных экспериментов. Я рассчитывал сконцентрироваться на катушке «Т» и резонансе тьмечи в Дорогах Мамонтов — он, как я уже говорил, должен представлять собой главный предмет исследований; здесь же, на дворе создаю сейчас прототип тунгетитора — а тут оказывается, что вновь моей работе мешают какие-то политические козни. Якобы, местный губернатор, как его там...

— Шульц.

— Вполне возможно. Этот Шульц шлет в Петербург пасквилы, будто бы я трачу государственное имущество на частные исследования, Победоносцев сует мне палки в

колеса при любой возможности; нам все сложнее доставать чистый тунгетит, а на один только стержень тунгетитора мне нужно его шестьдесят пудов — словом, мне нужно устроить какой-нибудь показ, чтобы успокоить царя. — Незаметным движением головы Тесла указал на инженера Яго. Отсюда и Боевой Насос и все его подручные варианты — видите ли, друг мой, я думаю о вас — и я убедил их, будто бы это такие ружья для борьбы с лютами, и что мне нужно испробовать их действие на организмах в Морозе. *Quid pro quo* ^[296], я не представляю себе, как бы могли подобным образом прогнать лютов и заставить Лед отступить — в самом лучшем случае, люты снова вернутся на Дороги Мамонтов — и что тогда? Будут пробивать колодец за колодцем, строить Боевые Насосы каждую версту? А Лед останется, как и был. Нет, нет, *mon ami*, с ними следует расправиться у самого источника, *so to speak* ^[297].

...Но, чтобы мне дали на это время и свободу действий, я должен устроить для них эффектное представление. Вот как выглядит жизнь изобретателя и инноватора: никто его идей хорошо не понимает, ведь если бы понимали, сами бы все это гораздо быстрее изобрели; так что истинный новатор должен привлекать союзников харизмой, завоевывать их верой, основанной на его прошлых успехах или — или именно так: обманом, хитростью, блестящим блефом. И за все эти годы я научился этому.

Выловив их длинной рукой из за стола, Тесла показал схемы и эскизы этого Боевого Насоса, вычерченные на листах картона. Вся конструкция действительно выглядела импозантно — пририсованный внизу для целей сравнения человек выглядел словно муравей. Вспомнились иллюстрации к «Войне миров» Уэллса: машины выше домов, опирающиеся на тонких, паучьих треногах. На эскизе не хватало только люта, плавающего под ударом Насоса.

— А вот и польза от данной принудительной работы: чернобиологические исследования. — Никола махнул в стороны клеток с крысами и мышами. — Ведь наиболее легкая из сложностей заключается, понятно, в том, что — кого я тут могу размораживать насосом тьмечи? — ледовые трубы, замороженных животных, в лучшем случае, зимовников-каторжников — но никого и ничего близкого к тому состоянию, в котором находится *le Père du Gel*. Теперь скажем, что я дам вам такой переносной насос, на тех несчастных испытанный, вы же, применяя его на отце в наилучшей вере, вызовете его смерть, ну, не знаю, он способен вызвать какой-нибудь тепловой или тьмечевый шок, а то и привести к какому-то иному непредсказуемому эффекту. — Тесла вернулся к себе в угол и подлил себе воды. — Вот ведь в чем вопрос: что нужно сделать, чтобы обрести уверенность?

— Если подумать... Следовало бы для экспериментов завести какого-то другого Отца Мороза.

— *That's right* ^[298] — Тесла поднял стакан с водой, словно провозглашал тост. — Так что вначале следовало бы научиться людей замораживать, и только потом безопасно размораживать.

Отвело взгляд.

— Вы спрашиваете меня, как мой фатер стал тем... тем...

— Вы не знаете.

— Я прослеживаю его именно до того места на Дорогах Мамонтов. — Глянуло на клетки с крысами, замерзающими после полной накачки тьмечью, иней покрыл их шерстку, слюна на мордочках превращалась в лед. — Могу я поговорить с профессором Юркатом?

— Он на неделю-две выехал в Томский Университет.

— Эх. — Почесало запястье. Сюда пришло прямиком из «Новой Аркадии», еще чувствовало теслектрический ток — всасывание тьмечи в организм — очень четко, словно перемещение этой прохладной воды через гортань. Или это всего лишь самовнушение после

слов Теслы. — И когда вы собираетесь начать эксперименты на людях? Вам уже предоставили этих осужденных?

— Вообще-то, мне бы хотелось побольше знать, прежде чем начать рисковать человеческими жизнями. Потому-то я и говорю вам: пока что прошу вас отступить от мысли про спасательные экспедиции и тайные размораживания отца где-то за Полярным кругом. Если мне повезет, царь Николай получит то, чего хотел, и Лед исчезнет с лица Земли вообще — быстрее, чем кто-либо предполагал.

— *Значит*, вы прогоните Зиму, перебьете лютов.

— Идея именно такова.

— Но откуда уверенность, будто бы подобную Оттепель переживет и *le Père du Gel*?

Никола Тесла смешался, развел руками, опустил голову на белую манишку, сгорбился, поправил платок под подбородком, буркнул что-то под нос на неизвестном языке, снова разложил длинные руки. Только в такие моменты становилось видно, насколько он уже стар, насколько устал: морщины, круги под глазами, ни в коем случае не вызванные потьветом, кожа тонкая, туго натянутая на острых костях. Как правило, этого не замечало: Тесла безоговорочно управлял собственным телом, накрученный на вечную неуспокоенность разум не позволял ему отдохнуть, остановиться, износиться.

— Ваш отец исключителен среди людей, — сказал он, — и цена как раз в этом: страх, сконфуженность и неуверенность. — Он отставил стакан. — Не хотите, чтобы я дал вам мазь для рук?

В представительстве Министерства Зимы следовало появиться только через пять часов, а панна Елена уезжала вечером; так что вначале отправилось в Польскую Библиотеку.

На листке, вложенном в бумажник, были выписаны вопросы, которые необходимо было исследовать. Последний, девятый, касался Аэростатного Немого, на которого пани Гвуждж навела с точностью до месяца. Библиотекарь, перемещающийся с помощью трости господин с бельмом на левом глазу, подтвердил, что да, у них имеются годовые подшивки всех периодических изданий Байкальского Края, в том числе, и ежедневной иркутской прессы. Я-онопопросило подшивки за 1919 год. Библиотекарь завел в склад на тылах помещения и указал тростью сундуки, обитые жестью. Уважаемый господин сам видит, что тут происходит.

Польская Библиотека, несмотря на какой-то там по очереди щедрый взнос Клуба Сломанной Копейки, никак не могла выйти из состояния перманентной катастрофы: с регулярностью, достойной еврейского ростовщика или китайского проклятия, она падала жертвой лютов, перемораживавшихся через ее склады и читальные залы. Не помогали переезды во все более дорогие, все дальше отстоящие от Дорог Мамонтов помещения; не помогали четвертые-пятые этажи и посты в подвалах. Уже пятый раз в течение трех лет нужно было в спешке эвакуировать все фонды. Теперь уже не старались даже найти новый дом — когда ледовик пошел дальше, очистили и осушили помещения, вновь распаковавшись на предыдущем месте. Правда, большая часть мебели годилась только на дрова; новую еще не закупили, книжное собрание представляло собой кучу ящиков и связок, создавая в пустых помещениях лабиринты, похожие на те, что образовались из шкафов и полок в Лабораториях Крупна. Человек перемещался по библиотеке словно червяк в кишках спящего чудовища. Ежесекундно — нередко, под самыми ногами — раздавался треск и грохот, от которого волосы становились дыбом: это выпрямлялись паркетины, выпученные прохождением ледового творения. Серая штукатурка отпадала от потолка пластами.

Найдя подшивки, собранные в громадные книжищи весом в полпуда, перетащило их на

стол у окна в главном зале, неподалеку от стола библиотекаря. Старик подsunул журнал записей. В ящичек для пожертвований сунуло трешку.

Уселось за столом и открыло книгу.

История начинается в 1882 году, когда инженер Соломон Август Андрэ принял участие в первой научной экспедиции на Шпицберген. Именно тогда его захватила идея добыть Северный Полус с помощью аэростата, то есть, в корзине наполненного водородом шара. Соломон Андре работал в шведском патентном бюро, он был членом городского совета Стокгольма и пропагандистом идеи эмансипации женщин в результате промышленного прогресса; в науке же он блеснул публикациями, касающимися — да, да — явлений теплопроводности. В 1896 году он сконструировал аэростат «Орел», истинное чудо тогдашней техники; для своего предприятия он добился патроната Шведской Академии Наук, дотаций из королевской казны и пожертвований от Альфреда Нобеля. 11 июля 1897 года «Орел» с господами Андрэ, Фразнкелем и Стриндбергом в корзине, стартовал с Шпицбергена. В корзине находились клетки с почтовыми голубями, с помощью которых Андрэ намеревался пересылать сообщения о ходе экспедиции. Последнее известие с «Орла», полученное на Шпицбергене, было датировано 13 июля, время: 12:30. *«На борту все в порядке. Это третий рапорт, высланный голубем. Андрэ.»*

...Поиски аэростата и экипажа продолжаются до настоящего времени. Шведы не щадят ни денег, ни сил. Долгие годы операцией руководил брат Соломона, Эрнест Андрэ. В феврале 1900 года мир обошли первые слухи об обнаружении оболочки «Орла» в Сибири. Свою помощь предложил князь Кропоткин, проживавший тогда в Англии, член Британского Королевского Географического Общества. Он даже составил карту с обозначением места катастрофы у источников притока Енисея. Охотники, золотоискатели и тунгусы годами сносили различные металлические, деревянные и полотняные останки, требуя обещанной награды. Эрнест Андре телеграфным путем дисквалифицировал очередные находки. Потом, после пришествия Льда, телеграфное сообщение сделалось невозможным. По Сибири кружили очередные слухи, легенды, мифы — все более и более фантастические. Среди тунгусов ходил рассказ о посадке «летающей лодки» на горе Того Мар. В 1918 году Того Мар, вместе с Якутском, Албанскими горами, Джугджуром и побережьем Охотского моря давно уже была подо Льдом. И вот тогда золотоискатели, нанятые Лензолотом, встретили над Олекмой, у подножия Становых Гор, человека, которого пресса впоследствии окрестила Аэростатным Немым.

...Он не говорил, это во-первых. У него была физиономия европейца, что толком стало очевидным лишь тогда, когда с него сбрили многолетнюю бороду. Он был уже очень старым и потасканным; у него не хватало всех пальцев на ногах, ушей, многих пальцев на руках, не было ни единого зуба, мороз забрал и левый глаз. Обнаружили его без одежды и какого-либо багажа, кроме нескольких плохо сшитых звериных шкур. Отсюда же взялась гипотеза, будто бы несколько лет он жил среди туземцев. На русский язык не реагировал и, казалось, вообще не понимал, что ему говорят, что пытаются сообщить жестами и минами — а вот такое в Краю Лютов было уже весьма странным. Каторжников уже несколько лет не клеймили, как делалось раньше — буквами «КАТ» на лице и руках — так что поначалу люди из Лензолота не исключали, будто бы это какой-то узник-беглец, но нет. Тогда вспомнили про «Орла». Послали за шведом-геологом, который работал где-то на Лене. Тем временем, Немого держали в избе на небольшом пакгаузе лагеря над Олекмой. Неизвестного обследовал врач и подтвердил, что это совершеннейший зимовник, необычайно стойкий к морозу: некоторые части его тела совершенно не чувствовали прикосновений, настолько заморожен был в нем метаболизм. Тем не менее, старец двигался, дышал, ел, испражнялся, сердце у него билось

(хотя и очень медленно). Послали следопытов, чтобы те пошли по его следам назад — следы через десяток с лишним верст кончились.

...В этом пакгаузе его держали неделю без одного дня; на седьмое утро в средину вошел человек с завтраком, и оказалось, что Аэростатного Немого уже и нет. Он не выходил — окна были зарешечены, даже просто хорошенько забитые, а двери на наружном засове с замком. Пол из лиственницы в пакгаузе был порушен, доски разбиты, выломаны, только Немой никак не мог подобным образом подкопаться под пакгаузом, земля промерзла в камень. Мысль, якобы это лют вышел с Дороги Мамонтов и похитил человека, даже не рассматривалась: за ночь ледовик не успел бы выморозиться и заморозиться заново; не говоря уже о том, что все в лагере отметили бы резкое снижение температуры, а половина вещей, хранящихся в пакгаузе растрескалась бы или иным, заметным способом пострадала. Тщательно обыскали вторую, складскую часть пакгауза, в которую Немой мог свободно пройти. Никаких следов от него тоже не было обнаружено, была отмечена лишь та особенность, что полностью разрушены были некоторые ящики с запасами — в статье из «Иркутских Новостей» журналист проводил фантастические спекуляции, связанные с тем фактом, что это были ящики, обитые зимназом, хорошенько запаянные, а ведь у Немого не было никаких инструментов, чтобы резать зимназовые листы. Он что, силой воли их порвал?

...«Новости» поместили единственную фотографию, сделанную с Немого; у кого-то в лагере над Олекмой был старенький аппарат, используемый для геологической документации. На фотографии — нечеткой, крупнозернистой, но напечатанной, по крайней мере, на половине полосы — двое мужчин в тулупах с капюшонами и в мираже-стекольных очках придерживало с боков за локти довольно низкого, высохшего в скелет, практически голого человека. Что было довольно сложно подтвердить со всей уверенностью, равно как и сказать нечто конкретное о внешности этого несчастного: мужчины стояли на фоне белых ледовых склонов и заснеженной тайги, но на месте Аэростатного Немого на этой старой фотографии зияла черная дыра, там находилось пятно плотного отъвета, а вместо черт лица Немого, вместо глаз, волос — в темноте отблескивало всего лишь несколько черточек светени, словно созвездия на ночном небе.

...История эта добралась на байкальские берега весной 1919 года, статьи были написаны на основании сообщений из вторых, а то и третьих рук. Под самой обширной, помещенной в «Новостях» статьей подписался некий «АГГ». Инициалы записало.

Снова глянуло в перечень вопросов. Не на все можно было найти ответы в книжках, но — к примеру, чего, собственно, отец искал в орографических работах Богдановича? В архивах, выбитых господином Щекельниковым из ледового плена в конторе Горчиньского, не обнаружило никаких конкретных данных, которые могли бы помочь, из чего можно было бы рассчитать отцовские Дороги Мамонтов. До сих пор понятия не имело, что ему стукнуло в голову, чтобы выбраться в одинокое паломничество в Зиму — и куда, собственно, он отправился — и посредством какой черnofизической методики он заморозился в *Батюшку Мороза*.

Из сундуков научного отдела библиотекарь, уже более желающий помочь, притащил с десяток различных томов. Как довольно быстро догадалось, карты Дорог Мамонтов, составленные Сибирхожето, и вообще вся геология Сибири, в большей степени основывались на открытиях и трудах троих поляков: Александра Чекановского, Яна Черского и Кароля Богдановича. Чекановский (политический ссыльный) составил самую старую геологическую карту иркутского генерал-губернаторства, с особым учетом Прибайкальского Края; перед тем все работы основывались на таких древних и неточных картографиях, как записки Даниэля Готлиба Мессершмидта из экспедиции, высланной еще Петром Великим в

1723 году. И вот здесь первое изумление: карта Чекановского, вместе со всеми ее копиями, обработками и *et cetera*, была опечатана царской цензурой. Чекановский вел расследования над Тунгуской, Чукаланом. Его палеонтологические заметки включают первые исследования ископаемых мамонтов. В Усть-Белой на Ангаре он открыл гигантский подземный музей флоры и фауны юрского периода. В 1875 году за эту сделанную теперь тайной карту он получил золотую медаль на географической выставке в Париже, и Российское Географическое Общество добилося для него амнистии и завершения ссылки. Не прошло и года, как Чекановский по неизвестным причинам покончил с собой.

...У него был ученик, Ян Черский (тоже политический ссыльный, только моложе). Черский с самого начала специализировался в байкальской геологии. В Болонье ему признали награду за карту озера и окружающих его гор. Проверило: она была опечатана Раппацким и Победоносцевым, все экземпляры исключены из публичного оборота. В чем тут дело?! Подавило ругательство. Черский проживал в Иркутске. От имени Сибирского отделения Российского Географического Общества он вел исследования на Нижней Тунгуске. Он заходил и дальше — на основании его карт Индигирки и Колымы были открыты крупные месторождения угля, цинка, золота. Он же коллекционировал минералы и ископаемую фауну. Искало упоминаний о мамонтах. В долине Катунги он раскопал останки доисторических людей. В Петербургской Академии Наук несколько лет он вел работы по остеологии [\[299\]](#) млекопитающих четвертичного периода на основании коллекции из десятков тысяч костей, выкопанных в Сибири. Умер он в 1892 году, в ходе одной из экспедиций.

...Кароль Богданович был геологом по образованию, а не по ссыльной необходимости. Во время строительства Транссибирской Железной Дороги, он руководил одной из исследовательских партий, разыскивающих на трассе полезные ископаемые. В 1893–1894 годах он впервые работал на Байкале. Наверняка он составил какие-то карты; и наверняка в его распоряжении были карты Чекановского и Черского. Доступные в Библиотеке «Материалы по геологии и полезным ископаемым Иркутской губернии» их не включали. Спрошенный об этом библиотекарь разъяснил, что новейшие научные работы по данному вопросу, равно как и большая часть возобновлений старших публикаций по Сибири — это существенно подчищенные издания, старательно прочесанные людьми Раппацкого, а частенько — и самим Победоносцевым, от каких-либо сведений и знаний, способных навести читателя на коммерческие тайны Сибирхожето. Я-онотолько покачало головой. С одной стороны — ведь не ходят они по частным домам, не цензурируют собраний всякого человека, интересующегося геологией Сибири. С другой стороны — это все учреждения, и к их действиям редко когда можно применить мерки обычной логики, чиновник выполняет распоряжения начальства не потому, что видит в них смысл, но поскольку это инструкции сверху. Адвокат Кужменьцев наверняка выразил бы это более четко: не пытайтесь, молодой человек, догадываться о причинах решений царских учреждений, от этого только ума можно лишиться. Я-оночесало кожу. Всегда имеются какие-то причины!

...Известие о приходе Льда застаёт Богдановича на Кавказе, во время поисков месторождений нефти. Прибыв на Байкал, он приступает к систематическим работам. Иркутск только-только пережил пожар, Зиму Лютов. С севера с сенсационными сообщениями возвращаются первые экспедиции, высланные к месту Столкновения. Богданович всегда находился в хороших отношениях с сибирскими народностями, в свое время писал знаменитые письма в защиту чукчей. А тут появляется еще и Александр Черский, сын Яна, ученик Бенедикта Дыбовского. Черский-младший и Богданович сотрудничают с 1911 по 1917 год, во всяком случае, именно тогда в их библиографиях появляются статьи, подписанные ними обоими. В 1914 году они публикуют» О холод-железной руде и возможности

нахождения ледовых руд на Дорогах Мамонтов». Скорее всего, это первый раз, когда в научной работе появляются «Дорого Мамонтов»; более ранних цитат не обнаружило. Нигде это не говорится прямо, но похоже, именно Богданович был открывателем Дорог. Александр Черский практически в то же самое время издает «Бурятские Дневники». В собраниях Польской Библиотеки их нет. Догадывалось, как в какой-то морозный день 13 года произошла важная своими последствиями встреча Черского, Богдановича и бурятского шамана. Вполне возможно, идея родилась после чтения работ Черского-старшего о выкапываемых в Сибири мамонтах.

...Богданович и Черский печатаются все меньше, начиная с 1917 года, Богданович полностью замолкает — а ведь он все так же интенсивно работает, о чем можно прочитать в тогдашней иркутской прессе. Среди всего прочего, он отправляется к Последней Изотерме. Финансирует его Восточно-Сибирское Отделение Императорского Российского Географического Общества, то есть, *de facto*, Сибирхожето. Он погибает в Баргузинских Горах, в неудачной попытке взорвать соплицово с помощью взрывчатки в августе 1922 года. Официальное следствие заканчивается быстро: несчастный случай, но по тону тогдашних статей можно сделать вывод о сопровождающих следствие спорных версиях.

...В январе 1923 года издается приказ о поимке Александра Ивановича Черского. Перечень обвинений включает не слишком конкретно определенные политические преступления, кражу коммерческих секретов (Сибирхожето) и принадлежность к запрещенной государством религиозной секте.

...В феврале 1923 года начинается вторая забастовка шаманов. Война на Дорогах Мамонтов усиливается. Засеки трупных мачт вокруг Города Льда становятся плотнее. А вскоре после того — вскоре после того Его Императорское Величество заключает контракт с Николой Теслой.

Я-онопотянулось на неудобном, сколиозно искривленном стуле. Под ногами стрельнул паркет. Не следует питать надежд, будто бы из этих обрывков Истории удастся прочитать какую-либо правду о прошлом. Понятное дело, что здесь ведутся политические и коммерческие сражения на самых высших уровнях, совершенно независимо от перипетий Филиппа Герославского. Мыслью вернулось к беседе со светловолосым чиновником Министерства Зимы. Нужно найти его и выпытать — чего, собственно, он ожидал от Сына Мороза? Ничего удивительного, что он передал ту копию принадлежащей Сибирхожето *Карты Льда* такой тайне, раз сами они цензурируют даже частичные карты, уже прошедшие цензуру. А может, это не они? Может, это совершенно другая фракция? А может, именно только частичные, специальные карты — возможно, угроза исходит только из них? В конце концов, все зимназовые общества работают на собственных картах; ни Раппацкий, ни Победоносцев не могут наложить лапы на их архивы, концерны разместили свои собрания в Берлине, в Кенигсберге, в Вене, в Нью-Йорке, нанимают собственных геологов — как, к примеру, Филиппа Герославского.

Еще раз глянуло на хронологию начинаний Черского-младшего и Богдановича. Предполагая, что кто-то, находящийся на самом верху, желал от них избавиться... До каких же опасных знаний они дошли? Отец разыскивал карты Богдановича уже в 1918 году. Он догадался раньше, чем они сами? Ведь потом Черский и Богданович наверняка узнали про Батюшку Мороза. В 1921, 1922 году... Должны же были они, в конце концов, сложить два и два. Если...

Библиотекарь подал платок. Поблагодарило и перевязало левую ладонь, стерло капли крови со стола и кровь с ногтей правой руки. Тот укоризненно погрозил пальцем. Лишь бы не оставить пятен на книжках.

Если — если эта трансформация человека в лед-человека не является единичным, неповторимым чудом, которое случилось только с Филиппом Герославским (а разум не дает разрешения на чудеса), то должен существовать общий рецепт, определяющий условия, на которых и другие люди способны спуститься на Дороги Мамонтов.

Гипотеза: Богданович и Черский узнали этот рецепт.

Кому более важно удержать его в тайне?

Хммм, из игроков наивысшего класса мы можем выбирать, по сути, только из пяти человек: генерал-губернатор Шульц-Зимний и Александр Александрович Победоносцев здесь, в Иркутске; а еще — царь, Распутин и Раппацкий на Большой Земле. Но Шульц желает как раз воспользоваться Отцом Морозом для переговоров с лютами. Шульца из этого числа следует вычеркнуть. Царь не стал бы прибегать к подобным, тайным методам. Война с лютами — да, но вот убивать геологов и осуществлять цензуру карт? Раппацкий — о его мотивах известно мало чего. Распутин — что же, Распутин — это сумасшедший, но можно рискнуть утверждением, что он первый стал бы пропагандировать идею подобных самозамораживаний, и повел бы мартыновскую братию по пути Батюшки Мороза. Остается Победоносцев. У него имеются мотивы, имеются возможности, и он находится на месте. Сидит на вершине своей башни над Иркутском в облаке тьвета и без каких-либо угрызений уничтожает все, что угрожает его Царству Льда...

Где находится Александр Черский? Прячется где-то перед охранкой, наверняка уже где-то на другом конце света. А сотрудники Богдановича и Черского? Они? Буряты? Неужто Победоносцев в состоянии провести цензуру всей сибирской этнографии?

После расспросов библиотекарь нашел несколько ценных старых изданий, среди всего прочего, *edition princeps* ^[300] «Дневника московского пленения, городов и мест» Адама Каменского, первого, как он сам утверждал, польского описания Сибири. Взятый в российский плен в середине XVII века, Каменский был сослан в Якутию, где ознакомился с верованиями и обычаями сибирских народов. Несколько позднее появились записки Сенницкого, Ляха и Пиотровского. О бурятах и тунгусах пишет Юзеф Кобылецкий в «Сообщениях о Сибири и путешествиях по ней, проведенных в 1831, 1832, 1833, 1834 годах» (все это ссыльные). Имеется, естественно, Мориц Август Женевский с «Историей путешествий и особенных событий», а вдобавок — пожалуйста, «Анхелли» Словацкого. Похоже, половина работ о землях и народах Сибири вышла из-под пера поляков. Единственный имеющийся словарь якутского языка и культуры составил Эдуард Пекарский, очередной ссыльный. Последний том этого словаря, с указанием: «Санкт-Петербург, 1921», содержит обширный раздел, посвященный *тунгетитовой войне, проводимой якутами с бурятами на Дорогах Мамонтов*. На предпоследней странице книги, правда, заметило огромную печать цензурного управления Министерства Зимы. Проверило нумерацию страниц: не хватало восемнадцати листов. И тут вырезали! Причем, из книжки, уже напечатанной, изданной, проданной!

Библиотекарь посоветовал больше внимания уделить этнографическим романам Сорошевского, в беллетристике можно протащить больше правды, искусство цензурирования выдумки — то есть, лжи — слишком тонко для чиновничьих умов.

Вацлав Сорошевский с успехом начал карьеру этнографа («Двенадцать лет в краю якутов» получила золотую медаль Российского Географического Общества), чтобы затем все глубже войти в сферу литературы. Где, собственно, он тоже прекрасно справлялся. Его предпоследний роман, названный «Абаас мне сказал», описывал перипетии молодого польского ссыльного, который, обогатившись на торговле собольими шкурками, основывает вместе с охотником якутских кровей компанию, скупающую меха от туземцев по более высоким ценам, позволяющим несчастным местным жителям, по крайней мере, выйти из

крайней нужды и построить нечто более солидное, чем войлочные юрты. Побочный эффект этого предприятия заключается в том, что — микроэкономика на практике — охотники отворачиваются от конкурентов, и наш герой богатеет еще сильнее, завоевывая при том огромное уважение среди местных. Когда же Лед бьет на Подкаменной Тунгуске, когда огонь уничтожает Иркутск, и когда начинается горячка тунгетита и зимназа, наш герой-добродетель очутился в самой выгодной позиции, чтобы учредить громадный сорочий синдикат и выкачивать миллионы рублей от Сибирхожето. Но таким образом он быстро попадает в самое пекло войны, которую ведут шаманы бурятов, тунгусов и якутов за господство на Дорогах Мамонтов. Поначалу у него отбирают сны: его дух во время отдыха похищают и подвергают различным пыткам. Герой обращается за помощью к своему подельнику, который приводит старого якутского шамана, однорукого карлика с мечтой отомстить американским стальным промышленникам и прусским оружейным концернам. Этот же *черт-волшебник* поясняет нашему герою суть войны. Дело в том, что в человеке имеются две души: душа «кут», связанная с материальным миром, и душа «сур», связывающая тело с тем, что нематериально. В свою очередь, душа «кут» состоит из «ийе кут», вбитой в тело словно сучок в доску, «буор кут», кружащей вокруг тела будто пес на привязи, и «салгын кут», которая как раз во время сна выходит из тела и...

Только через какое-то время заметило, что кто-то привстал у стола и заглядывает через плечо в книгу. Глянуло вверх. Какой-то здоровяк с волосами цвета как у Иертхейма, то есть, морковно-рыжими. Под мышкой он держал брошюрку «*Об азиатском происхождении российского деспотизма*» Маркса.

— Хороший?

— Простите?

— Хороший, спрашиваю? Роман Серошевского.

— Хммм, вы понимаете, я в нем, скорее, ищу точные данные, а не литературные достоинства...

— Так ведь читаете! — фыркнул тот. — Так как, хороший или нет?!

Узнало его: господин Левера, «наш местный графоман», несчастная жертва таланта Серошевского.

— Очень хорошая книга, — сказала *я-оно*, собирая свои заметки. — У человека талант от Бога.

Тот покачал головой.

— Я тоже так думаю. — Он протянул лапу-лопату. — Теодор Левера. — Поднялось, пожало ему руку. — И какие сведения вы ищете?

Общими словами рассказало про заинтересованность ролью туземных верований в истории польских исследований геологии Сибири, а так же о случае Аэростатного Немого, который, в качестве самой по себе увлекательной загадки, мог заинтересовать всякого. Тем временем, расписалось у библиотекаря за взятые на дом книги, заплатило залог. При этом спросило у него адрес редакции «Иркутских Новостей».

— Я покажу вам, — предложил Левера.

Господин Щекельников сунул обвязанную шпагатом пачку книг под мышку и злобно зыркнул на писателя, что был выше его на полголовы. — Что опять? — буркнуло ему во время спуска по лестнице. — Слишком много рыжих возле вас крутится. — А что вы имеете против рыжеволосых? — Их никто не любит, по причине такой ненависти вырастают слишком крутые сволочи. — А я же начал опасаться, что у вас и вправду какой-то повод имеется, чтобы подозревать господина Леверу! — Нож я ведь не вынимал.

На санях он сел рядом с кучером. Когда Теодор Левера садился сзади, с левой стороны,

Щекельников пару раз глянул на него через плечо.

Возница стрельнул бичом, лошади потащили сани в туман; упряжка оставляла за собой туннель, выбитый в радужно-цветной взвеси. Зимназовые крепления и перемороженные материалы, видимые на более высоких этажах, разбрасывали вокруг себя волокнистые ореолы, летучие послевидения светов, расщепленных на цвета и степени яркости — и то, еще до того, как надело мираже-стекольные очки. Выглядело это так, словно бы над Голодом Лда снова просыпалось Черное Сияние, хотя никакого действия тьвета на пополуденном небе я-ононе замечало.

— И где же эта редакция?

— А вот, сюда по улице, пару кварталов...

— Благодарю вас.

— А пожалуйста, все равно я должен был к ним на неделе заскочить, выдавить давнюю оплату за статьи. — Левера поплотнее запахнулся в беличьи шкурки и глянул над мираже-очками. — Вы простите, я, конечно же, вас знаю, то есть, слышал, видел...

— У Виттеля.

— Ну да. Я такие вещи запоминаю, коллекционирую: лица, имена, слухи.

— Вы знали моего отца?

— Нет, не имел удовольствия. Не вращался в тех кругах. Знал бы, если бы... Он никогда не появлялся в кафе, салонах, в клубах.

— А про Александра Черского — про него вы слышали? Куда он мог сейчас надеваться? Левера наморщил брови.

— Из того, что я слышал — слышал, будто бы вы работаете у Круппа. Но Черскому это не помогло. Тогда он стал работать у Тиссена, а через полгода — *преступник*.

— Министерство Зимы...

— Вы простите, но я и в самом деле не знаю кто, зачем, как и почему — но слежу за иркутской сценой уже больше добрых десятка лет и, по-видимому, определенные вещи способен предвидеть, глядя на саму форму процесса, даже не зная внутренних связей; точно так же, вы глядите сверху на пары, кружащие в танце по паркету и по его движению способны легко сказать, что это за танец, даже если совершенно не видите шагов каждой отдельной ноги, ба, даже не слыша музыки.

— Вы хотите сказать, меня хотят втянуть в какую-нибудь политическую провокацию?

Левера жестом головы указал на квадратную спину Чингиза Щекельникова.

— А он кто? Явно, громоотвод. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Уж лучше примите к сердцу такой вот совет: сделайте, как можно быстрее, то, что должны сделать, и сойдите с их глаз, пока они не увидят в вас следующего Черского. Приехали сюда с фатером увидеться, так! Вот и все!

Я-оноразозлилось. Сколько можно человека пугать? Действительно ли все здесь именно такую правду о Бенедикте Герославском видят: жертва отцовской судьбы?

— И это вы советуете по доброте душевной, не рассчитывая совершенно на благодарность Сына Мороза, как все остальные, так? — ядовито заметило я-оно. — Будто бы торги какие-то магические с лютами заключу, а при этом, вспомнив доброжелательного графомана, так поверну Историю, чтобы нового Сенкевича из Теодора Леверы сотворить, а?

Последние слова вытолкнуло в мороз и в туман и сразу же перепугалось, что теперь-то уже он наверняка взорвется; он и взорвался — смехом.

— Несчастный королевич! Никто не видит маленького Бенедикта, все видят лишь сына великого отца. — Писатель даже вывернулся из-под шкур и лапой в перчатке хлопнул по спине, ухохатываясь; я-оно схватилось за поручень, чтобы не полететь вперед. Левера

фыркнул тьветистым паром, туманоцветная белизна стекла на его шубу, а чернота меха подошла к глазам. — Как кто дружески настроен, так сразу же, бедняжка, подозреваешь интересы, скрытые в дружбе с Сыном Мороза; ежели кто враг — то враг по причине отца. — Он продолжал хохотать. — Может, уже ходил по забегаловкам, переодетый, *incognito*, с девушками под выдуманном именем знакомясь? А? Или еще до такого не дошло, а? Бедненький ты!

Он поправил шарф на лице, скрестил длинные руки на закрытой мехом груди.

— Впрочем — один только человек способен устоять перед фаустовым искушением: истинный художник. Творец!

Ого, подумало я-оно, зачем польстило графоману. Сейчас вот как надуется, вздымется, наполнится пророческой серьезностью и начнет буровить душещипательные банальности.

— Ибо, вот подумайте, — продолжал господин Левера, — ну чего такого способен ему предложить дьявол?

— Ну, как раз успех, — буркнуло раздраженно, — удачливость, славу.

— Но что удача и слава имеют здесь общего с успехом? Разве в том дело, чтобы болваны возносили автора под небеса, а меценаты обсыпали его золотом за произведение, которое, как он сам лучше всех видит, никакой ценности не представляет? Ну да, такой успех дьявол способен продать творцу — вот только, какой творец отдаст свою душу за что-то такое, о чем сам будет знать, что это Ложь, дешевая подделка истинного успеха?

— Хмм, тогда пускай хвалят за произведение действительно великое — разве дьявол не способен продать чего-то такого?

— Может. Но чем это будет отличаться от обычного плагиата? Автор возьмет кредиты за великолепия, не им созданное, разве только с той гарантией, что никто из смертных про такой обман не узнает. Сам же он все равно — творец — или, говоря точно, не творец — ведь он будет знать, что творец шедевра — не он. Так что же он купил? Вновь лишь обменял нематериальную душу на материальные ценности, обычные, и на тот гаденький привкус во рту: осознание Фальши.

— А разве не способен дьявол сделать так, чтобы человек сам написал тот истинный шедевр?

— Это что же должно означать — что должен сделать сатана? Зачаровать писателя, чтобы с его пера стекали слова, а он о них бы не знал?

— Нет. Просто...

— Ну?

— Сделать так, чтобы в нем по-настоящему — по-настоящему был тот шедевр.

— *Значит*, превратить человека, который не был способен его написать, в человека, который на это способен — заменить ему жизнь, память, опыт, характер — так? Вы думаете, будто бы кто-то попросит дьявола помощи в подобном самоубийстве: забери-ка этого вот несчастного, что стоит перед тобой, вместе с его душой, а на его место поставь иного, разве что с тем же лицом да именем — кто? Разве что только идиот.

— А что, вот так сразу нужно всего человека менять?

— А как же иначе? Если бы искусство было осколком случайности... так нет же, это плод порядка! Когда я пишу то, а не иное предложение, то не потому, что как раз у меня над головой муха пролетела, или я в носу поковырялся, но потому что оно следует из всех предшествующих предложений, а все они разом — из моих мыслей, им предшествующих, а те мысли — из всей моей жизни, которая к подобным мыслям привела. Всякое истинное произведение искусства является образом Истории — истории его творца, истории мира, который его породил. Подо Льдом нет художников-мазил, которых, как я слышал, на западе

Европы полно, по картинам которых невозможно узнать, то ли разумный человек сознательно их написал, то ли полуслепой безумец, который впервые в жизни дорвался до кистей и красок. Нет здесь блаблаистов, абсурдистов и виршеплетов-задолбцов и балетмейстеров, Дионисом очарованных. Нет!

Редакция «Иркутских Новостей» пульсировала жизнью. Сегодняшний номер уже был отправлен в печать, но это ненамного уменьшило суету и говор, царящие в комнатах и коридорах. Перепачканные тушью и чернилами редакторы, наборщики с краской на руках и одежде, курьеры с охапками гранок и свеженапечатанных газет, посыльные в тулупах и шапках-мираже-очках, в которых очки были непосредственно вшиты в толстую маску, заслонявшую лицо, даже в помещениях редакции их не снимающие, в настоящее время выбегающие снова на мороз; кроме того, какие-то женщины, их гоняющие, еще швейцар или привратник над головами оружий — могло показаться, что по тесным коридорам «Новостей» перекатываются истинные толпы. Подобный темп работы и скорость того пульса, с которым вибрирует жизнь между людьми, помнило по конторе *Friedrich Krupp Frierteisen AG*. Стучали пишущие машинки, хлопали двери, шелестели бумаги. Становилась понятной необходимость привлечения на работу огромной массы подростков в качестве курьеров, в связи с бесполезностью в Краю Лютов телеграфа, телефона и радио. Тем не менее, в эту пору в редакции встретилось с такой их концентрацией, что прохождение от лестницы на другой конец этажа, к комнатам старших редакторов, заняло бы с четверть часа и стоило бы несколько мелких контузий — если бы не могучие тела господ Леверы и Щекельникова, пробивающих дорогу. Одного недоростка, разогнавшегося с машинописью в руке, когда тот наскочил на писателя, великан цапнул за воротник и, подняв в воздух, переставил на аршин в бок и за себя; а там схватил дергающегося мальчонку господин Щекельников и тоже переместил грубо на расстояние вытянутой руки. Таким вот образом перемещалось через расположения иркутской прессы.

Господин Левера отлучился, чтобы устроить собственные дела. Я-оно постучало в двери кабинета редактора Григория Григорьевича Авксентьева, которого рыжий литератор идентифицировал в качестве «АГГ», подписавшегося под статьей об Аэростатном Немом. Постучало раз, другой и третий: безрезультатно. В принципе, так могло бы стучать и до Страшного Суда: с этой стороны редакционный шум, а в середине — сунуло голову — пять мужиков режутся в карты на заваленном бумагами письменном столе, в тучах табачного дыма, сидя на пачках старых газет, солидарно попивая винцо из бутылки, и тут же гудит пара потасканных самоваров, пуская пар под запотевшее окошко, а красный попугай дерет горло в проволочной клетке под потолком. Показалось, будто бы Левера что-то напугал; подумало, что попало в комнату фирменных бездельников. Но, слово за словом — присаживайтесь, двери закройте, раздевайтесь и присаживайтесь, добрый человек — и оказалось, что это издатель, старший редактор, два начальника отделов и этот вот, лысый как колено, Григорий Григорьевич Авксентьев, золотое перо по сенсациям и скандалам, они после сдачи номера в печать предаются не слишком изысканным развлечениям. А газета — завтрашняя газета делается сама. Да что бы мы были за главные редакторы, если бы вообще на работу должны были приходить, чтобы газета в срок на печать пошла! Вот только, прежде всего — кто вас сюда впустил, а? — А так, прошел. — Для разугреву глотнете? — Благослови вас Господь, господа журналисты. — Ну, Миша, раздавай. А вам — как вас зовут? — для лучшего разогрева партия зимухи ну никак не помешает. Так как? — А почему вход? — А по рубчику.

— А давайте!

Играло. Поначалу и вправду шли ставки по рубчику, но уже в третьей партии в банке

было пятнадцать рублей, и даже рука холодная была, как следует, без единой красной, огненной карточки — захпало почти сорок рублей. Редакторы вопить начали. — Ага, вон оно птичка какая! Общипать нас пришел! — Признайтесь-ка, это Вейхермайер его наслал. — А мы так опростоволосились. — Да что вы! — ужаснулось *я-оно*. — Вовсе даже неправда, совершенно случайно. Потому что ищу здесь Григория Григорьевича — (тем временем, тасовало карты для следующей раздачи) — по делу одной его старой статьи.

— Да что вы говорите! — Статья! Статья! — отозвался попугай. Авксентьев угостил папиросой. За время от торговли до проверки он припомнил всю аферу с Аэростатным Немым и что о нем писал пять с половиной лет назад. Глотнул винца, запил чаем, сунул в рот еловую конфетку. Ну да, говорили и писали об этом, неделю или две больша-ая сенсация была, потом, естественно, кое-чего другое на ее место пришло — только чего собственно *гаспадину*знать собрался? Что, снова тот дикарь нашелся? Или шведы какие только сейчас за ним приехали? Тут было бы смысл чего-нибудь накалякать! — Да нет, ничего подобного. Одна лишь мелочь из той статьи, может помните: чего такого было в тех ящиках, которые Немой в том пакгаузе над Олекмой попортил, и из которого чудесным образом сбежал? — Один Господь то знает, никак ни я! Но не будете ли вы так добры проверить это в каких-то своих старинных заметках, в тогдашних материалах, ведь должно же было быть там больше записано, не все ведь на полосы идет. — Гр-ранки! — орала птица. — Гррранки! — Авксентьев только задумчиво посасывал конфету. — Ну что вам такого, пару шагов сделать, — настаивало *я-оно*, —сами же видите, целое состояние проигрываю вам. — Он пошел.

Играло. Карта приходила то получше, то похуже. Сняло шубу, расстегнуло сюртук, послабило воротничок и галстук. Один редактор выскочил на мгновение, чтобы занять наличности. Посчитало украдкой, а сколько *живых денег*сталося: тридцать рублей и мелочь, но это с учетом того, что было в игре, потому что в бумажнике один одинокий червонец. Хлопнуло его на столешницу — какой смысл одну бумажку в бумажнике держать? Пришла рука холодная, пришла рука горячая, снова холодная, спустилось до двадцати пяти. — Форрртуна! — скрежетал попугай. — Форррртуна! — Вернулся Григорий Григорьевич, показал листок с собственноручными записями: в распоротых ящиках находились запасы тьвечек. — Но каких: на тунгетите или ледовом угле? — Знаю только то, что стоит здесь, вот. — *Спасибо*. —И неудобно же отказаться прямо сейчас и удрать, весьма неудобно выглядело бы, Авксентьев так старался помочь — нужно играть. Играло. Уже не поднимало глаз на редакторов, взгляд нацелен только на карты. Господин издатель начал бучу, будто бы мои карты краплены кровью; натянуло на расчесанную руку перчатку. Откуда-то появилась новая колода. От последующей раздачи достались одни фигуры Лета; рука тут же бросила на кучку два рубля. — Пррравда! Пррравда! — Вздогнуло. Часы — зыркнуло на них — сколько дадут за такие новенькие, посеребренные *часы* —глянуло, который час. Теслектрический ток шел под кожей ревущей струей — одно даже прикосновение к холодному металлу выворачивает мысли, ломает все ассоциации. В Министерстве Зимы ждут, на столе остатки сбережений, нужно объявить «пас», сказать, что уже поздно и выйти, это настолько очевидно, настолько разумно и правильно — *я-оно*уже видит, слышит, как в ответ они бормочут слова прощания... — Господа, прошу прощения, засиделся, а тут еще дела. — Подхватило последние деньги, шубу, шарф, шапку и выскочило в коридор.

Господин Щекельников читал свежие «Новости» только-только из типографии. — Пишут тут, что католикам святая исповедь помогает с кишками. Что скажете на это, господин Ге? — А я и не знал, что вы читать умеете. — Кто слишком много читает, по-дурачки людям верить начинает, может, замечали? — А где господин Левера? — Побил какого-то бухгалтера пишущей машинкой, и его спустили с лестницы. Идем? — Идем,

идем. — Вздохнуло свободнее. — Все эти бумагомаракки, господин Щекельников, одна сплошная банда кровопийц. — Вы говорите!

В здании Таможенной Палаты снова День Энтропии, поскольку издавна уже заказанные бригады каменщиков наконец-то принялись спасать домину, будут новые опоры под потолки класть, стены выпрямлять и штукатурку освежать. По этой причине части чиновников пришлось покинуть свои кабинеты. Но — дело оказалось хуже: когда боковыми дверями быстренько пробежало мимо шембуховского Михаила, чтобы найти того худого блондинчика в его кабинете, оказалось, что это вообще ничейный кабинет. А кто им все это время пользовался? Ну, видите, наверное, тогда ремонт в другом месте шел, и оттуда сюда кто-то перебрался на неделю-две. Так, может, хоть скажете, кто это был такой — и описало, как можно лучше, вплоть до наполеоновского локона на лбу. И чиновник, должно быть, не последний! Спрошенный конторщик поднял глаза к потолку, скривился, почесал себя под подбородком, дернул за ус... После откачки тьмечи, я-онотолько после добрых нескольких минут подобного театра поняло совершенно очевидные интенции и вынуло бумажник. Чиновник перестал изображать полную потерю памяти лишь тогда, когда увидел рублей где-то шесть. — Если меня не обманывает память, — запел он, — это комиссар Урьяш. — И где я его могу найти? — А об этом спрашивайте уже в администрации.

Отправилось в Администрацию. Пять рублей. — Комиссар Франц Маркович Урьяш? Правильно. Вот у нас тут бумаги подшиты: в первую неделю октября вернулся на должность в Канцелярии Генерал-Губернаторства. — И где мне его там искать? — В Цитадели, ваша милость, в Цитадели. — А гляньте-ка в бумаги, может у вас там имеется его иркутский адрес. — Хотите узнать приватный адрес высокопоставленного губернаторского чиновника? — приподнял бровь канцелярист. — Сколько? — со вздохом спросило я-оно. Тот показал. Пришлось спасовать, в противном случае не осталось бы денег даже на проезды Мармеладницей на работу.

Потащилось назад в секретариат Шамбуха, обходя кучи мусора на полу и тучи штукатурки, летящие из разбиваемых стен. Никто здесь посетителю за бесплатно ни в чем не поможет, такова культура государства и человека, и это видно даже в столь мелких делах, впрочем, а в каких надо? — простолюдин с небольшими средствами только с ними дело и имеет, не с государственными же вопросами, не с проблемами войны и престола. Именно по этому мы и измеряем, и отличаем Государство от Государства: по mine человека на входе в учреждение, по изгибу спины и наклону шеи, по напряженности взглядов между просителем и бюрократом.

Уселось под криво висящим портретом министра Раппацкого.

— А может вы мне подпишете, и я пойду, а? — обратилось к Михаилу.

Татарин возмутился.

— Порядок должен быть! Ожидайте!

— Тогда скажите хотя бы, не слышали ли вы, хоть что-то в моем деле сдвинулось? А? Долго еще комиссар Шембух собирается держать меня тут на привязи?

Секретарь скорчил изумленную мину.

— Да откуда же мне знать, что там начальство думает, или даже не думает! — Через какое-то время он смиловивился. — А вы хорошенько ходите со своим вопросом? Где уже были?

Я-ононе слишком-то хорошо знало, а где следовало быть. У графа Шульца? У Победоносцева? Спросило про Губернаторскую Канцелярию. О, это учреждение важнее, не просто контора — *Главное Управление Восточной Сибири* охватывало своей властью

енисейскую губернию, якутскую и забайкальскую области; сейчас она работает под вывеской Канцелярии Иркутского Генерал-Губернаторства, но уважение не меньшее.

— Говорят, что все от политического решения зависит, — сказала я-оно. — Выходит, выше головы Шембуха.

— Так чего вы тогда вообще хотите? — изумился татарин, даже глазки его округлились. — Будет слово сверху, и печать приставят. Нет тут слов — ждите.

Что ж поделать, ожидало. Зашел проситель, второй, третий, четвертый; одного Шембух даже принял. В коридоре каменщики били стенку, этот неритмичный стук иногда даже заглушал довольно близкие барабаны глашатаев. Заметило одного люта на улице ниже, за зданием Восточно-Сибирского Отделения Императорского Российского Географического Общества.

Эти вечные ремонты, подпорки, клинья, поспешно устанавливаемые колонны, непрерывное состояние наполовину-переезда... Как будто бы выталкиваемая Льдом энтропия находила выход исключительно на уровне бюрократического бардака. А может, так оно и идет, от атомных структур и ввысь: скорее замерзает груда металла, чем человек, человек скорее, чем Государство.

И что с того, раз и так человек никак не способен мериться с державным могуществом? Чем дольше сидело здесь, тем сильнее чувствовало себя мелочевкой, забытой в конторской бездне, несчастным червяком под подошвой Молоха. Со временем даже пугливый Михаил с физиономией добродушного старичка начинал казаться воплощением зла. А если бы это было учреждение Лета, во всей полноте своего чиновничьего потенциала, не разболтанное ледовой угрозой! Так что там, в предбаннике кабинета Шембуха выродился новый ужасающий образ: системы кишок Империи, ее самых жизненных внутренностей, в которых пищеварительные соки и пережеванная пища, и сама горячая кровь путешествуют от одного города к другому, от губернаторства — к губернаторству, от власти — к власти — система опутывает Азию от Владивостока до Урала, и Европу вместе с Варшавой — конторы, канцелярии, бухгалтерии, представительства и департаменты, отделы и комиссариаты, реестры и архивы, управления и учреждения — это ее органы; бумаги, печать, чиновник входят в министерскую жилу в Иркутске, а выходят — в Санкт-Петербурге; входят в Санкт-Петербурге — а выходят в Одессе — и все это кружит, переваривается, управляет.

Неужто и вправду, как того желают доктор Конешин и пан Поченгло, человек до конца времен зависит от Государства? Неужто нет спасения? О, *если бы могли существовать невинные порядки и правление сомнений?* Неужто HerrБлютфилд был таким глупым утопистом? Какая свобода может существовать между анархией без будущего и приемной комиссара Шембуха?

Сунуло руки в карманы пальто, чтобы сдержать нездоровые инстинкты. На потолке над письменным столом Михаила начинается резкая черта, длинная трещина, идущая наискось по всему секретариату. Нужно сбежать мыслями из театра ужаса. Самый верный путь: запрячь ум логической задачей.

Трещина, итак, трещина... Хмм, а каким, собственно, образом лют перемораживается сквозь стену? Как твердое тело проходит сквозь твердое тело так, что все здания продолжают стоять, что тротуары, из-под которых появились ледовики, не распадаются в гравий и песок? Ведь лют не напирает ледовой массой словно тараном — тогда он превращал бы на своем пути все в развалины. Он перемораживается. Ба, а принадлежит ли вообще этот ледовый панцирь «телу» люта?

...Кровь лютов протекает сквозь все, в близкой к абсолютному нулю температуре перемещаясь таинственными способами гелия сквозь землю, камень и стену, словно вода

сквозь сито, только делает это вопреки притяжению, вопреки бело-физическим законам — молекулярная материя, оживленная Морозом. А кроме гелия — что еще? Ну да, градиент температур. Его тоже не остановишь никаким материальным барьером. Выходит, что лед, это всего лишь последствие входа люта в земную среду, чуждую его физиологии: вокруг люта сжижается и замерзает воздух.

...Как это осуществляется: протекают струйки гелия, перемещается Мороз, ледовая масса прирастает с одной стороны, тает и испаряется с другой. Разве не такую модель строят физики *Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft für schwarze Physik* на основании исследований доктора Вольфке и его людей? Ведь уже вписывало в рапорты резюме десятков опытов, которые должны были поддержать или опровергнуть подобные гипотезы. Будто бы мы не видим лютов как таковых — мы видим их исключительно «плененных» в формах, навязанных различиями в среде.

...А эти трещины, натеки, щели, отклонения от вертикали, а иногда — абсолютные развалины, как в Дырявом Дворце — все это результаты многократных перемораживаний лютов с «загрязнениями», замкнутыми в их льде: зернами песка, камешками, жилами ледовых субстанций с более высокой температурой плавления и даже с фрагментами раскрошенных гробов, как рассказывал господин Гаврон. Они остаются в стенах и на потолках словно чаинки на ситечке. Отсюда можно сделать вывод, что лют, только что выморозившийся из-под земли, представляет большую опасность для человеческой архитектуры, чем лют, спускающийся по сосулькам с поднебесных высот; люты более легки при сухой погоде, чем во время осадков; они более чисты в деревнях, чем в промышленных городах.

...А раз уже, перемораживаясь, они оставляют следы в материи, то по этим следам на микроскопическом уровне можно точно установить всю его подземную трассу. Если бы располагало соответствующим оборудованием и средствами для столь крупных геологических работ, таким образом можно было бы составить полнейшую карту Дорог Мамонтов...

Треснула дверь, гневно вскрикнул чиновник, очнулось.

— Но он, вообще, хоть знает, что я здесь сижу и жду?

— Знает, знает, нет такой возможности, чтобы не знал.

— Мне приходится освобождаться с работы, чтобы понапрасну сидеть у него под дверью часами, деньги теряя, или вы мне их вернете, а?

— Не говорите о деньгах, это я вам по-хорошему советую, о деньгах не говорите.

Открыло крышку часов.

— У меня договоренность, не могу я так, до темноты...

— Присутственные часы! — поднял палец Михаил. — Учреждение это вам не бордель, клиент — не хозяин!

Время было около четырех.

— Дайте, хотя бы, бумагу, ручку и чернила.

Подложило на коленях твердую картонку. Михаил вновь склонился над своей работой. Чиновник-червяк, клиент-червяк, все живущие в одной туше, одну тушу питающие.

Рабочие били стену так, что даже портрет Его Императорского Величества Николая Второго Александровича подсакивал на стене. Над Собором Христа Спасителя за окном висело светящееся облако, туманная шапка на тунгетитовых куполах, сейчас туманно-цветных. Видимо, что-то грозное бормотало себе под нос, какие-то непристойности, что Михаил даже раз и два покосился над своей чернильницей и печатью. Г *осударство и не государство! Власть и не власть! Свобода и не свобода!*

Черт подери, как все это разрешить? Как рассечь сатанинский узел?

Поправив повязку на ладони, макнуло стальное перышко в чернильницу.

Аполитея, или рассуждения о Государстве Небытия

Каким образом то, что не существует, может управлять тем, что существует?

Задаю себе этот вопрос, предмет правления, облеченного в материю, поглощенный видимым, материальным Государством, существующим посредством сотен тысяч функционеров.

Чем же является Государство? Государство является структурой власти народов, посредством которой одни люди управляют другими людьми. Причем, правящих немного, а управляемых — множество, так что в образном представлении структура имеет форму пирамиды или перевернутого дерева..

Эта структура всегда выглядит одинаково, возьмем ли мы монархию, отвечающую только пред Богом, как Российская Империя, или всеобщую демократию, как Соединенные Штаты Америки. Всегда в этой структуре мы находимся зависимыми от воли лица, расположенного в этой структуре выше, за исключением того случая, когда вы сами являетесь императором или президентом.

Дело в том, что государство уже по своему определению представляет собой систему затруднений, неволи и подчинения одного человека другому. А если кто-то скажет, что различия здесь определяются один раз в несколько лет объявляемой при демократии волей избирателей, то отвечу на это, что для структуры это никакой разницы не представляет: дело не в том, кто правит, но то, что правит.

Польское государство не существует уже полтора века — три других государства связали нас в собственных структурах власти. Мало того, что мы терпим давление, так это еще и давление со стороны иной культуры, чуждой нам духовно и морально. Говорят, будто бы мы утратили Государство именно по причине склочничества и анархических обычаев давней шляхты. Лично я предпочитаю видеть в том, скорее, проявление той польской черты, которую считаю даже положительной: проявления стремлений именно к освобождению человека от Государства. Воистину, сложно указать народ, столь охваченный подобной идеей.

Как же можно освободиться от Государства? Дверей к этому не открывает ни демократия (о чем было сказано выше), ни анархия. Почему же не анархия, ведь Михаил Александрович Бакунин выдвигает весьма подобные постулаты. Да по той причине, что не достаточно выписать славную утопию, нужно ее еще в реальной жизни запустить и защитить. В том, каким он есть, мире, общество, лишенное прав собственности на землю, на которой могло бы спокойно жить, и не имеющее армии, сильного настолько, чтобы защититься на этой земле от соседей, тут же падет под напором соседских армий вместе со всеми своими анархическими идеями, причем, оно силой будет внедрено в структуры тех чужих Государств. Потому-то решения не приносят и всяческие социализмы, несмотря на то, что хорошо в намерениях конструкции великого социалистического Государства описанное — ведь такое Государство невозможно даже в идеальной марксистской форме, пока на земле останется хотя бы одно не социалистическое Государство, против которого группы личностей абсолютно свободных, освобожденных от гнета и фальши, должны будут, желая того или не желая, заново организовываться в классы, слои и касты.

Вот в чем задача: как защитить людей и землю перед Государствами, самому

Государства не творя?

Роль государственных структур и исполнителей власти должно было бы выполнять здесь Не-Государство, Несуществующее Государство. Без чиновников, комиссаров, сборщиков налогов, полицмейстеров и министров, без советников и судей. Решения всего общества, политические выборы, хозяйственные реформы, внутренние законы здесь принимались бы не потому, что их навязало то или иное правительство, так или иначе выбранное, сильное тем или иным принуждением — но потому что они не могли бы быть не принятыми. В царстве природы нет Государства: гусеница превращается в бабочку не потому, что король или парламент насекомых ратифицировал ее преобразование, но поскольку оно является решением естественным, необходимым и единственно возможным.

По мере того, как весь мир покрывается Льдом, закрывается щель между тем, что возможно, и тем, что необходимо. Чем сильнее и больше Мороз, тем меньшей становится роль чиновников и всяческих исполнителей власти. В конце концов, сам царь в Зимнем Дворце поймет, что стал совершенно лишним, ибо уже не издает никаких приказов, которых мог бы не издать, и ни по какому из вопросов нет свободы выбора между двумя возможностями: одна всегда хорошая, правильная, а вторая — всегда плохая, и он видит заранее определенное добро и зло, тем самым, приказывая лишь то, что является необходимым (даже если от всей души жаждет этой необходимости). Правит не царь — правит понятие, не существующее в материи; необходимость, неизбежность, следовательно — Правда.

Государство исчезает перед лицом необходимости, Государство является земным заместителем единоправды, и оно не имеет причин бытия во Льду.

Будущим сего мира является аполитея, в которой человек не зависит от воли другого человека, но уже непосредственно от Истории, и то, что не существует, правит существующим.

Пятьдесят три минуты пятого. Сложило рукопись в восьмушку и спрятало ее в кармане сюртука. Схватив со стола Михаила бумагу, подготовленную под печать, продлевающую право пребывания в иркутском генерал-губернаторстве, постучало в двери кабинета комиссара, причем, вошло сразу же, не ожидая разрешения.

— Чего?! — рявкнул Шембух.

— Того! — замахало бумагой.

— Ерославский! Вон!

— Приложить печать!

— Ерославский!!! Пашол!!!

— Печать!

— Ладно! И вон, вон, вон!!!

Отступило в секретариат, вежливо прикрыло за собой дверь.

— Слышал?

Михаил осторожно приложил огромную печать, подтвердил подписью.

— Бог вас накажет, — шепнул он, чуть ли не со слезами в глазах.

Сбегая по лестнице представительства Зимы и Таможенной Палаты, разминаясь с дюжинами таких же спешащих на выход чиновников, практически затерявшись в толпе служивых, про себя признало правоту Михаила: это было нечто вроде святотатства.

Поезд панны Елены Микляновичуны отходил с Вокзала Муравьева ровно в шесть.

Жандармы, в сопровождении казаков, проверяли билеты, не впуская на перрон никого, кроме самих отправляющихся; так что копеечные перронные билеты никого не волновали. И вообще, *я-оно*отметило намного больше людей с оружием, чем помнило по предыдущим посещениям Вокзала. Из помещения перед кассами, рядом с грубо намалеванным изображением мамонта, время от времени выскакивал осеняющий себя крестом несчастный; ежеминутно жандармы затаскивали туда очередную жертву, сдирая с не по дороге шарф и мираже-стекла. Расставившиеся под противоположной стенкой продавцы иркутских особых товаров и сувениров приглядывались ко всему этому с мрачными минами, призывая людей с меньшим, чем обыкновенно, рвением. Неужто Шульц задумал какую-то новую репрессию? Или полиция получила данные про японцев или там коммунистов-ленинцев, либо про каких-то других террористов? Господин Щекельников, посвистывая под носом, откровенно пялился на радужную архитектуру крыши. А, все суета...

Поскольку на перрон, тем более — в вагон, прощавшиеся с панной Еленой войти не могли, все задержались в большом зале. Когда *я-оно*подошло, панна Микляновичувна как раз обменивалась тихими словами, стоя наедине с паном Поченгло. *Mademoiselle* Филипов, не слишком-то прилично опершись о стенку под мамонтом, присматривалась к ним с неприступной миной; она сняла мираже-стекляные очки, машинально игралась ними, поэтому видело ее глаза и наморщенный лобик. Дыхание *девушки*исходило через шарф маленькими облачками.

Поспешно поздоровалось.

— Уфф, уже боялся, что не успею, чертова бюрократия, *pardon pour le mot* [\[301\]](#). Никола не пришел? Видимо, забыл. А где пани Урсула?

— Сидит с вещами в купе. Вы с ней в последнее время говорили?

— Ммм, как-то не припомню...

— С Еленой!

— Но в чем тут дело?

Mademoiselle Кристина глянула очень внимательно, долго удерживая взгляд серьезный, неподвижный, не мигая; так умеют глядеть дети, а еще молодые женщины в том состоянии изумления-пугливости-разочарования, когда глаза их делаются большими и круглыми, и губка дрожит, и быстро пульсирует жилка на шее.

— Да как ж можно так играть чьим-то сердцем! — выбросила она из себя. — Одни чудища тут собрались. Один другого стоит!

— Да что...

— Что?! Ведь — зачем она вообще туда едет? Смертельно больная! А вы!.. — Лишь вздохнула тяжело и снова надела мираже-очки. — Это вы так подговорились, что ли?

— Кристинка, да Боже ж ты мой, о чем это ты...

— Лучше со мной и не спорьте! — топнула та. — Елена мне рассказывала, как вы ею между собой распорядились — словно... пакетом акций!

— Так ведь... Пан Порфирий... Разве она...

*Я-оно*ничего не понимало.

Mademoiselle Филипов схватила за плечо и притянула к себе, под стену с мамонтом, приподнимаясь на цепочки, своей меховой шапкой сталкиваясь с моей.

— Сейчас я похищу господина Поченгло, дам вам время, вы с ней поговорите.

На размышления она не оставила ни секунды, сразу же подскочила к парочке, взяла Поченгло под локоть и отбуксировала того, беспомощно оглядывающегося, к раскладкам инородческих товаров. Панна Елена провела их изумленным взглядом — она тоже сняла очки.

Сняло и свои. Поклонилось.

— Пан Бенедикт!

— Панна Елена!

Та же самая улыбка, эту улыбку знавало еще по Транссибирскому Экспрессу.

Девушка покачала головой, сплела руки под грудью.

— И что теперь?

— Так. — Поправило перчатки. — Теперь уже и вправду конец нашего путешествия.

Она позволяла молчанию протекать в несколько секундных каплях.

— Он беспокоится обо мне, — произнесла Елена после долгого молчания. — Напрасно.

— Ммм, все-таки, опасность возможна. А вдруг Пилсудскому снова взбредет в голову взорвать Зимнюю Северную?

— Не станет же он взрывать поезд с невинными гражданскими.

— Правда, подо Льдом меньше шансов на случайность, полностью извращающую стратегические планы, — буркнуло *я-оно*. — Но как вспомню, сколько раз в Транссибирском Экспрессе я избегал смерти буквально на волосок, мельчайший случай, стечение обстоятельств, секунда туда, секунда сюда — и я бы не жил. Вы, впрочем, тоже.

Елена вернулась взглядом от пана Поченгло и *mademoiselle* Филипов.

— Так вы это именно так помните? — удивилась она. — Как случайности?

— А вы — как?

Она замялась.

— Ну, ведь вы сами говорили, что никакой правды о прошлом не существует...

Я-оно подняло бровь.

— Говорил?

— Вы говорили?

— Разве мы вообще ехали вместе Транссибирским Экспрессом?

Легкая, насмешливая улыбка задрожала на губах панны Елены.

— Ехали?

— И было покушение с бомбой?

— Было?

— И были убийства, и следствие, и тайные агенты, и битва под лютом...

— Были?

— Откуда это я панну знаю?

— Откуда вы меня знаете?

Вздыхнуло.

— Понимаете, ведь если мы согласуем те воспоминания, они так уже и замерзнут.

— Так что будет лучше не согласовывать. — В испарении дыхания она высвободила длинную тень. — Не говорите мне того, что помните. — Елена шельмовски подмигнула. — Пускай так оно и останется — растопленное, наполовину правдивое. Хорошо?

Только тогда поняло. Даже не эта тень и не ответ, пляшущий за панной Еленой подсказали — но блеск в ее глазах, и поднятая выше голова, задорная поза *девушки*, как в тот самый момент, в воспоминании-иконе, когда она протянула выпрямленную руку и, наполовину повернувшись к темноте за окном *отделения*, приказала погасить свет, мошенница-убийца.

— Вы были в «Аркадии», чтобы откачать тьмечь.

Елена не ответила.

— Вот почему Кристина так нервничает! — Неуверенно засмеялось. — Тоже мне, трагедию делает!

— Я хотела попробовать в последний раз. — Опустила глаза. — Прежде, чем замерзну

навсегда.

— Действительно, нужно было сказать мне. Или доктору Тесле, наверняка ведь не пожалел бы для вас какого-нибудь маленького ручного насоса, тетя ничего бы и не знала.

— Таак.

Что-то здесь не сходится, скрытый параметр искажает уравнение, правая сторона характера не суммируется с левой...

И снова, откровение приходит не вовремя: не как завершение логических размышлений, но через неожиданную ассоциацию со словами *mijnheer* Иертхейма. Говорят, что подо Льдом останавливаются и болезни. Только никто еще не излечил болезни, приобретенной ранее. Я сам думал ехать в тот санаторий, на севере...

— Это значит... — запнулось я-оно, ударенное этим знанием, словно шальной пулей. — Панна Елена — я, конечно же — о, Господи, ведь я не то имел в виду — неужто Кристина считает, будто бы вы хотите покончить с собой?!

Та пожала плечами.

— Ведь это же малые порции, не так ли? Человек сразу же опять замерзает. Насколько болезнь может продвинуться, на день, на два?

Стукнуло себя кулаком по лбу.

— Дурак, дурак, дурак! Совершенно не подумал! Вы должны мне поверить!

— Но... пан Бенедикт, да не о чем и говорить.

Заткнулось словом.

Панна Елена вздохнула глубже, поправила шаль на шубе из беличьего меха.

— И что вы теперь сделаете?

— Вы же знаете, — мрачно ответило я-оно. — Отца нужно спасать.

— А что вы сделаете со своей жизнью?

— Да кто же может самого себя запланировать?!

— Но — если бы не это дело с вашим фатером, что бы вы делали?

— Ба! Наверняка бы снова вымаливал у варшавских евреев еще один рубль.

Елена покачала головой.

— Так нельзя, пан Бенедикт, нет, нет, нет.

— Так не каждый же у нас Невозможная Фелитка Каучук! — делано засмеялось я-оно. — Что же... Все это и так одна большая временка. Угол мне предоставил добрый человек, хотя, тоже видно, на благодарность Сына Мороза рассчитывающий. Работу нашел, словно рубль на улице нашел. Жду политического решения, каждый день может поступить приказ, туда или сюда. Даже вы... — Тут я-оноразозлилось. — Все ведь не так, что вот подумаю: хочу того-то и того-то — и весь мир раскрывается передо мною, словно яйцо на тарелочке! Я пытаюсь — пытаюсь держаться правды — но...

Совершенно не осознавало, что размахивает руками, пока Елена не схватила одну и не задержала ее в воздухе.

— Оставьте наконец эти машины доктора Теслы, — произнесла она тихо и решительно.

Чувствовало пламень стыда, перетекающий с груди на шею и лицо, отвело глаза.

Девушка подошла на четверть шага ближе.

— Когда мы снова увидимся? — шептала. — Наверное, уже никогда. Это прощание, пан Бенедикт, настоящее прощание. Не «до свидания, до завтра», но — последние слова, последний образ, последнее прикосновение. — Она сжала пальцы еще сильнее. — Понимаете? Такую вот Елену Микляновичувну вы оставите в себе до конца дней своих, кххк, и с таким вот Бенедиктом Герославским до смерти останусь я. Все, что когда-либо мы могли себе сказать, все, что могли бы один для другого сделать, все не свершившееся будущее —

сведено к этому моменту, к этим нескольким минутам. Для вас — я уеду, и как будто умру, даже если и не умру; конец, закрыто, случилось и пропало в прошлом, не существует, не вернется — следовательно — вы это видите? — нет уже ни малейшего повода для стыда. Это прощание, перед чем здесь стыдиться у конца времен? Никаких последствий не будет. И все можно.

— Все можно.

— Да.

Неуклюже сбросило рукавицу со второй руки. Мороз впился в кожу. Подняло ладонь к лицу панны Елены. Прежде, чем пальцы успели сложиться в каком-либо жесте, Елена уже повернулась, склонила головку и легенько втиснулась в эту открытую, холодную ладонь — щечка открытая, уже замороженная алым румянцем, и влажная от ее дыхания шаль.

Елена отпустила мою руку. Взгляда не отводило, но стереометрия души сама уже подгоняла мгновение к единоправде; ни глядя, ни мигая, отвело голову в сторону, укладывая ее на худеньких, ужасно холодных пальчиках панны Елены. Та сунула большой палец под шарф, провела вдоль уса, нажала на губы, раскрыло зубы, так она добралась до языка, дыхания, слюны, до источника тепла в тьветистых выдохах, исходящих из тела. Повторило ее движение — девушка открыла рот, ухватила холодный большой палец зубками.

И теперь — в путах симметричной стереометрии влюбленных — вошло с Еленой в некий вид резонанса, туго настроенного на взглядах, телах, дыханиях, на тепле и тьмечи, протекающими между телами. Вокзал Муравьева, пассажиры, лоточники, носильщики, жандармы и казаки — все, исключенное из этого резонанса, выпало за границы сознания — все это были вещи и движения настолько отдаленные и абсолютно лишённые значения, как и перемещения созвездий на небе.

Ибо тут — один пульс отвечал на другой пульс, глаз — на глаз, подкожный нерв — на нерв, светень — на светень, невысказанная мысль — на мысль, язык — на язык, тепло — на тепло. И действительно, казалось, что именно таким вот образом — то есть, без слов — я-онорассказывает девушке все вещи, о которых невозможно рассказать, и именно таким вот образом — в этом резонансе молчания — девушка, выкачавшая из себя тьмечь, высказывает в условиях Льда все, что не высказали все возможные и не свершившиеся Елены Микляновичувны, и все их страхи, стыдливости и желания — наполовину правдивые, наполовину нет — и все вероятные, и такие же бесконечные варианты их прошлого, среди которых находится и детство болезненной Еленки из хорошего дома, и мошенническая молодость наглой дочки дубильщика, и миллион других историй, столь же хорошо соответствующих единоправде настоящего момента; все возможные, но пока что еще неправдивые варианты будущего, среди которых находится и такой, в котором панна Елена быстро умирает от возобновившейся чахотки, но и такой, в котором она выходит замуж за Порфирия Поченгло, и такой, в котором Елену осуждают на смерть за чудовищное убийство, а еще такой, в котором...

— ...попрощаться!

Лопнуло.

Стиснув веки, развернулось на месте и решительным шагом отошло от панны Елены, не слыша криков Поченгло, не оглядываясь, пока не вышло на ступени перед вокзалом; лишь тогда выпустило сдерживаемое дыхание. Конец, распрощалось, закрыто. Замерзло. Слизало с большого пальца кровь, в последний раз испытывая вкус Елены. Натянуло рукавицы, надело мираже-очки. На площади и в вылетах улиц стоял грязноцветный туман, словно меловые утесы, в которых проезжающие упряжки выбивают темные штольни с очертаниями оленей и саней. Радуги мираже-стекольных фонарей блевотиной стекали на фасады более высоких

домов. Болезненно-облачное небо сгустилось над Городом Льда в похлебку цвета грязи. На ее фоне темнота вокруг подобной скелету башни Сибирхожето нарастала словно язва, гнездо гнили. Красноцветные сосульки свисали с трупов на высоченных мачтах. На термометрических часах стрелки остановились на минус сорока восьми градусах Цельсия, на хронометре рядом — на без десяти шесть. Нужно садиться, уезжать. Замерзло, замерзло, замерзло.

— Кличьте сани, господин Щекельников.

— Может, подождете ту, вторую синичку.

— Кличьте, кххррр, сани!

Он похлопал по спине.

— Одну полюбил, господин Ге, спасения уже нет: полюбите другую. Оно как с водкой. Или с мокрой работой. Первый разок, и пропало: остается дыра в сердце. — И в доказательство грохнул лапищей квадратной в грудь. — И выходит, господин Ге, выходит, голод.

Кашлянуло со смешком.

— У вас жена есть?

Тот покачал башкой-кирпичиной.

— Жена — не жена, женщина она. Мужик без бабы быстро дуреет. А баба без мужика — дьявольская тоска.

Видать, даже Чингиза Щекельникова не обошла необходимость в любви Края Лютов. Страшно даже подумать, по каким ухабам мечется характер такого вот Щекельникова в Лете.

Пан Порфирий, кивнув издалека, уехал на своих санях. Немым жестом пригласило *mademoiselle* Филипов. Вообще-то, «Новая Аркадия» совсем в стороне от Цветистой, с другой стороны, если ехать на другой конец города — то один черт.

Какое-то мгновение считало, что Кристина, все еще обиженная, откажет; но нет.

— Неразумно все это было с моей стороны, — сказала я-оно, как только сани тронулись. — Признаю вашу правоту. Не нужно было мне.

Она не ответила. И невозможно было прочесть выражение на ее лице — под огромной шапкой, под мираже-очками, обернутом шалью.

— Но ведь вы могли мне сказать, когда я заходил утром в гостиницу...

— Я уже и не знаю, что о вас думать. Казалось, что госпожа Елена для вас что-то значит!

— Сам не знаю, кххрр, что о себе думать.

— Уууу, шут — не мужчина.

Глядело прямо перед собой, на туманоцветные спины возницы и Щекельникова.

— Вы так думаете. Вы так видите. *D'accord* [\[302\]](#) .

Кристина шмыгнула носиком.

— А пожалуйста, обижайтесь, пожалуйста! Все это только чертям на радость! — Она задрожала. — Проклятый город, проклятые люты, мороз проклятый! Кххкххх!

Протянуло руку, чтобы ее обнять, но она ее отбросила.

— Должно быть, вам сейчас тяжело, тем более — сейчас; честное слово, буду вас проводывать, не так, на минутку, ради насоса, но когда только...

— Да я уже спать из-за этого не могу! Вот увидите, его, в конце концов, убьют!

— Что?

— Думаете, они поддались, раз мы уже в Иркутске? В прошлом месяце две, а в этом — уже три попытки были. Состоялся даже ночной визит террориста из Боевой Организации эсеров, который, кхк, помощь нам предлагал от имени бердяевцев из его партии; вот это было ужасно.

— Но... Никола мне ничего не говорил!

— Так он ничего и не знает! — взорвалась Кристина. — И так оно должно и остаться, понимаете? Степан все устраивает с охраной и казаками. Оно даже лучше, что Никола нас не высовывает из Лаборатории. Он света не видит за своим Боевым Насосом и, кххххх, большим тунгетитором. С ним вечно так.

— Но — кто?

— В основном, мартыновцы, какие-то засланные крестьяне. Губернатор их арестовал, тогда как-то все успокоилось, а сейчас — по-новой. Степан говорит: любительщина. Но вот неделю назад схватили уже студентов из какой-то имперской партии, студентов с бомбой, кххх, которая могла взорвать всю Обсерваторию. Когда же Никола выступит с тем показом — даже думать боюсь. Уже предпочла бы, чтобы они поверили, будто и правда, кххх, что все это шарлатанство и способ вытянуть деньги для покрытия его долгов, чтобы потом его бесславно прогнали. Ведь если все эти зимназовые миллионеры, а то и Победоносцев или сам Шульц — господин Бенедикт, если после этой демонстрации они поверят, что Никола и вправду способен для царя прогнать лютов с его земель... кххх...

Кристина дышала тяжело, отъвет тенью ложился на шаль. В очках девушки калейдоскопом переливались все краски тумана. Что, расплакалась?

— Быть может, если бы я с ним поговорил... Чтобы все это разыграть как-то поосторожнее... — Говоря по правде, понятия не имело, как. — Быть может, имеет смысл обратиться напрямую к царю, чтобы усилить охрану... — Но, чтобы царь поверил, что есть смысл вообще что-то охранять, поначалу Тесла должен провести тот убийственный для лютов спектакль. И так плохо, а так — еще хуже. — Почему вы не рассказываете ему обо всех тех опасностях?

— А зачем? Какой смысл? Тогда он лишь больше станет беспокоиться, и работа будет идти медленнее, только больше нервов потратит — а ведь Никола уже не мальчик, господин Бенедикт — намерений же его это никак не изменит. Раз уж он связался с этой «черной физикой», кхк, так уже — уже и «замерзло», как говорят здесь. Можете даже и не хлопотать, никто его не убедит, если сам великий Никола Тесла чего себе надумал. — *Mademoiselle* Кристина повернула голову и, вытащив руку в перчатке из муфты, обвинительно направила ее ко мне. — Вот вы! Вы точно так же! Разве приняли вы от кого-нибудь добрый совет лишь потому, что верите советчику? А не по причине собственных умственных расчетов? *Well?* [\[303\]](#)

— Кхррхр. Вы так говорите, будто бы это было нечто хорошее. Значит, такая легковёрность...

— Легковёрность? Легковёрность? — Она прижала ручку к шубе на груди. — У вас вообще, хоть какие-нибудь друзья есть? А если в семье — ну да, отец, мать — кххр — ну как так можно жить — не имея никаких авторитетов?

Лишь пожало плечами, что, наверняка, не слишком было видно под толстой шубой.

— А какой человек вообще ищет авторитетов? А? Какому это человеку вообще в жизни нужен авторитет?

— Ну... когда он не знает, как поступить — и было бы лучше, когда бы сослался на кого-нибудь более умного.

— А тот более умный стал более умным не путем руководства собственным умом, но тоже полагаясь на умы других людей? Мххмм? И по чему человек узнает, кто обрел мудрость, если у него самого ее не имеется?

— Нужно довериться мнению большинства, кххх, ведь есть же люди, признанные в качестве авторитета большинством.

— Есть, но опять же: как отличить авторитет истинный от фальшивого, то есть, настоящую мудрость от представления о ней? Если ты на это способен — тогда зачем тебе еще и авторитеты?

Mademoiselle Кристина тихо раскашлялась. Она долго поправляла мираже-очки, плотно прикрывая перчаткой все лицо. В редком приливе уверенности единоправды прозрело мысли собеседницы: сейчас она, вне всяких сомнений, вернулась к тому разговору в Экспрессе, остановившемся посреди тайги, к допросу, касающемуся стыду веры, которому нехотя подвергло госпожу Филиппов вместе с Еленой. Неужто она и далее считает, что над ней смеются? Считает это плохим, негодует?

— Разве нет таких дел, в которых разум оказывается беспомощным? — произнесла, наконец, Кристина, едва слышимо над звоном колокольцев и скрежетом льда под полозьями. — Вопросы, касающиеся добра и зла, этики? Ведь это никак не рассчитаешь.

— Наверняка.

— Так что же? Не имея возможности справиться силой собственного разума, поддаешься в этих вопросах и становишься — кем? Нигилистом? Аморальным животным?

— Но ведь теперь вы уже говорите о чистой вере, о религии!

— Выходит, вы все-таки не верите в Бога!

В перспективе Амурской улицы, над окрашенными в цвет ночи завалами мглы, сияли бело-огненные купола Собора Христа Спасителя. Быстро отвело от них взгляд, словно по причине животного инстинкта, как отдергивают руку от пламени. *Как можно пятнать свою душу подобной ложью и фокусничеством! Ложь это! Ложь!*

— В Бога — верю. Зато не слишком верю в то, что люди говорят о Боге.

О братстве борьбы с Апокалипсисом

На упряжке в восемь оленей, в высоких зимназовых санях, перемещающихся на паучьих полозьях, в черной шубе и собольей шапке, в закрывающих глаза и половину лица мираже-очках, в которых небо и снег, и солнце, и всяческая краска радуги переливаются, в мерцающем потьвете, оставляющем за собой смолистые повиды, с белой рукой на зажиме аккумулятора тьмечи, в облаке угольного пара — Никола Тесла едет по скованной льдом Ангаре к месту лютоубийства, к порогу трехэтажной теслектрической машины.

Я-оно стояло над правым берегом Ангары, на площади под памятником императору Александру III, где проходил приречный бульвар, когда-то предлагавший замечательный вид на Конный Остров, самую широкую Ангару, на мосты и на левобережный Иркутск; сегодня же ветер с метелью позволяли видеть не дальше того люта, что вымораживался из острова на лед, и за конструкцию, выше самого ледовика, возведенную над ним на самом конце мыса. Тесла выбрал именно этого люта и именно это место, во-первых, потому, что, хотя и расположенное чуть ли не в самом центре города, оно было безопасно удалено от домов и улиц, а во-вторых, что все это давало возможность зевакам наблюдать за ходом эксперимента, а ведь именно в этом был и смысл.

На площади с памятником, несмотря на мороз и поземку, собралась приличных размеров толпа. С помощью господина Щекельникова *я-оно* протиснулось в самый перед, на край обледеневшего обрыва. У некоторых зрителей имелись подозрительные трубы и театральные бинокли; *я-оно* об этом как-то не подумало. Зато все были в громадных миражестекольных очках, либо прилегавших к лицу, как у изобретателя-сербца, либо закрывавших своими плоскими стеклами глаза и половину лица. Когда Тесла ехал через Ангару на своих санях, словно взятых их восточной зимней сказки, сотня зеркальных, радужно-цветных

калейдоскопов поворотилось к нему, прослеживая каждое движение и мельчайшие жесты. Ведь перед тем Тесла вообще не показывался; сегодня же он вступал на публичную сцену Иркутска, это был его дебют в Городе Льда. Сверкали магниевые вспышки расставленных на возвышениях фотографических аппаратов репортеров байкальской прессы. Дамы в мехах, пелеринах, под заснеженными *капюшонами*, выглядывали из саней, остановившихся вдоль улицы. Мужчины поднимали себе на плечи малышей, плотно закутанных в грязные полушубки; ребятня глядела на происходящее сквозь меньшие, детские мираже-стекла. На трескучем морозе сильно много не разговаривали и не сплетничали, зато можно было слышать то характерное шуршание дыханий, шевелений, вздохов, проходящих волнами через толпу. Над людским скопищем вздымались тьветистые облачки пара. Было воскресенье, 9 ноября, утреннее время после того, как закончились службы в церквях. Доктор Тесла начинал Войну с Зимой.

В первую очередь, еще перед тем, как сойти с саней, он стиснул зажим батареи. Должно быть, он сильно откачал тьмечь, никогда еще ранее *я-он* не видел подобного эффекта — поднимаясь, серб не отпустил руку, и тьмечь ринула в него в неожиданном разряде; чистый ток прошел от руки к туловищу, к голове и всем конечностям, разлился по черной шубе, на которой каждый волосок встал дыбом, словно иголка, и выстрелил теслектрической микромолнией: Никола Тесла сходил с саней словно живой, дымящийся факел тьвета, на каждом шагу вспыхивая яркими светениями. Во второй его руке была тросточка из специального сплава зимназа, увенчанная тунгетитовым навершием 24-каратной пробы. Сейчас этот шарик светил ярче куполов Собора Христа Спасителя, а из зимназа непрерывно исходили семицветные, пульсирующие радуги. Олени из упряжки переполошились и рванули подальше от странного человека. Ежесекундные черные молнии проскакивали от него в сторону саней, возницы, животных, в сторону Боевого Насоса, самого люта. Серб в высокой собольей шапке шел, выпрямившись, широко шагая, не опираясь на трость, держа ее, скорее, словно булаву. Белизна и чернота перетекали вокруг него на мираже-стеклах, словно пузыри подводных газов. Снег принял цвет Теслы, лед принял цвет Теслы, даже лют принял цвет Теслы.

...Изобретатель вступил на лестничку Боевого Насоса. Светени заплясали искрами на его зимназовых элементах — миллионы искр.

Никола поднял руку, взмахнул тросточкой. Толпа в ответ кричала «браво!». Магниевые вспышки слепили.

— Ебал меня хер...! — вздохнул господин Щекельников, из чего можно было сделать вывод, что он потрясен.

На открытой платформе сверху Боевого Насоса находился железный стул перед пультом, на котором торчали дюжина рычажков и регуляторов. Тесла сел на стул и тронул первый рычаг. До памятника Александра III дошло тарахтение нефтяного двигателя; изнутри Насоса начал исходить черный дым, тут же выдуваемый ангарским ветром.

Тесла потянул за второй рычаг. На спину люта упала зимназовая балка, законченная массивным когтем-ломом, который вонзился в ледовика на добрую половину аршина. Вдоль балки, словно жилы на анатомической модели, вились толстые кабели в тьмечевой изоляции.

Тесла потянул третью рукоятку. Раздался визг, словно из радиоприемника, не настроенного на нужную частоту, только раз в десять резче, и настолько громкий, что люди в едином порыве прижали руки к ушам и склонили головы. Постепенно визг затих — Насос работал в ровном ритме — Никола управлял боевой операцией, держа пальцы на передачах — небольшие теслектрические разряды прыгали по Насосу, по человеку и люту — затем все они застыли на месте, только плотная темень, словно от криоугольной печи, вибрировала по

сторонам. Упадет или не упадет, сломит его или не сломит, отморозится лют или не отморозится — люди стояли и глядели, сжимая кулаки и закусывая губы, словно на борцов, окаменевших в неподвижном и смертельном захвате, все напряжение собралось в этой неподвижности и ожидании: первого знака, сигнала слабости, первой крови...

— Но вы прекрасно знаете.

— Ммм?

— Я бы не заговорил с вами, если бы не был полностью уверен. — Невысокий поляк, даже не повернул головы, тоже уставившись на Насос, Теслу и люта. Он стоял тут же, рядом, *я-оно*прекрасно слышало слова, высказанные вполголоса, с сильным акцентом восточных окраин Польши. Малахай, мираже-стекла и шарф плотно закрывающие лицо, можно было только догадываться про обильную щетину и выдающийся нос. — Пан передаст ему, что когда дойдет до проблемы жизни и смерти, мы всегда предоставим ему возможность безопасного бегства из Империи. И его *красавице*, американке. И вам тоже, пан Герославский.

— Кххрр. И в чем же здесь торг?

— Что пан Тесла уже не станет пытаться состязаться со Льдом на землях самой России, то есть, за Днепром. К западу от Днепра — пожалуйста. Да и здесь, в Сибири, сколько угодно. Но не в старой, европейской России. И еще, что он не сдаст свои арсеналы никому другому, пока что еще не время. Впрочем, вы знаете лучше.

— Думаете, он перепугается?

— Самому царю следовало бы сюда спуститься, чтобы своим присутствием защищать его. Впрочем, даже и его присутствие не остановило бы Сибирхожето. Там, в санях, за памятником — видишь, пан? — если не ошибаюсь, сам Ангел Победоносцева приехать сюда побеспокоился. После сегодняшнего показа — даже пускай пан Тесла и самый неустрашимый сумасшедший, ничего; достаточно, что его испугаются те. Как появится возможность, пан пускай поговорит, наставит его на ум. А после того, знак в окне, что на реку выходит, пан даст: после заката поставит зажженную лампу, в полночь заменив ее на тьвечку. На следующий день к вам обратится человек. Машины и документация должны быть уничтожены. Повторите.

— До Днепра, не далее, уничтожить машины и заметки, лампа в окне, выходящем на Ангару до полуночи, начиная с полуночи — тьвечка.

— Хорошо. Если достанут его раньше, сами все уничтожат. Ежели чего... Вас, возможно, подозревать не станут.

— Почему же не станут? Он — мой приятель.

— Слышали мы, слышали. Но ведь вы теперь — ледняк-доктринер, разве не так? Надоело вам противодержавное царство, а? Что же, тоже какая-то дорога. В благородных сердцах несчастье и унижение страны бывает источником патриотизма; в несчастье выковываются характеры. В этом заключается особенное свойство московской неволи: мало просто нагайкой ударить, им нужно, чтобы побитый еще и поцеловал орудие пытки; мало повалить противника, нужно еще поверженному пощечину дать. А если кто пощечину покорно принимает, тот воистину не достоин лучшей судьбы. За эту струнку потяни, сынок; увидят правду, как она замерзла.

— Погодите? Ведь мой интерес не в бегстве заключается — я же к отцу — погодите! — ведь это же вы на Дорогу Мамонтов его выслали — дайте мне только...

Но тот уже скользнул в толпу, растворился среди людей, напрасно *я-оно*крутилось и оглядывалось, незнакомец был ниже на полголовы, исчез без следа.

Ругнулось про себя. Действительно ли они так уже боялись агентов охраны? Действительно ли те безуданно следят за мной? Чингиз в последнее время ни о чем

подобном не упоминал, но — кто его толком знает, увидел кого или не увидел; сейчас тоже, в течение всей беседы он и не пошевелился.

— Видали его, господин Щекельников?

— Друг ваш какой-то? Пошли-ка лучше отсюда, пан Ге, в толкучке любой может пером пихнуть, и никак не убережешься. Ааах ты, засранец, по ногам топтаться, хрен недоваренный! — и сцепился с каким-то наглым жуликом.

Закусило губу. Должны были следить, должны, нет иного объяснения, смерть здоровилы с газовой трубой их явно не заставила прекратить попытки. *Я-оно* не могло удержаться от того, чтобы не оглядываться по сторонам, назад, над головами, на дома и окна. Но в мираже-стекольных окнах разве что только кисель туманноцветный увидишь.

Вы теперь — ледняк-доктринер, разве не так? Ну, слава Богу, все же — нет. Сегодня, несмотря на воскресенье, опять, как и всякий день, зашло в «Новую Аркадию» откачать тьмечь, наново наплывающую в мозг.

Но ведь именно на такую реакцию и рассчитывало, отдавая *Аполитею* для печати редактору Вулькевичу.

Нельзя сказать, чтобы текст его очаровал. Прочитал, скорчил изумленную мину, затем — кислую, потом — развеселившуюся. Налил себе наперсток настойки на травах, глотнул, зашевелил усиками.

— И пан желает, чтобы этот вот метафизический манифест — что?

— Чтобы напечатали здесь же в «Свободном поляке».

— Еще и «здесь же»! — раздраженно забурчал старый редактор.

— Так точно. А самое главное — вот видите, на последней странице, внизу?

— «Бенедикт Филиппович Герославский». Прямо так, с *отчеством*? Вот это да! — Только теперь до пана Вульки-Вулькевича все дошло. — Я же не запущу под вашей собственной фамилией! Вы не знаете, что все это идет в охранку и в Третье Отделение? Все конторы политических полиций Империи тщательно изучают наши газетки!

— Именно такова моя идея и была.

— Идея у него! — Вулька-Вулькевич закурил толстую папиросу, свернутую вручную из маньчжурского табака. — Вроде бы, ничего конкретного вы здесь и не пишете... Но эта дурацкая бравура, пан напрашивается на неприятности! Придут к вам, спросят, каким образом ваша статья очутилась в противоправительственной печати — что тогда скажете? — Он сделал глубокую затяжку. — Откажетесь от всего?

— Нет. Вас я не выдам, если это вас заботит. Если бы у охраны был приказ к вам прицепиться, уже давно бы прицепилась, ведь все вас хорошо знают. — Дернуло себя за бороду, пытаясь высказать Вульке-Вулькевичу истину, которая пока что не замерзла. — Видите ли, я должен, как можно скорее, наделать себе политических врагов.

Тот, молча, докурил свою папиросу — что заняло добрых несколько минут, но как замолчал, так уже и не отозвался; только корчил многозначительные мины: перепуганные, беспомощные, грозные, и даже — гневные.

Но ведь, напечатал, и вот, пожалуйста, приходят японцы, такую, а не иную видят правду, теперь уже наверняка *я-оно* получит вызов в Министерство Внутренних Дел, или же их чиновники сами домой побеспокоятся...

Толпа громко ахнула, зашипел магний. Никто не аплодировал — все в толстых рукавицах — вместо этого начали громко топать. *Я-оно* вернулось взглядом к люту, пришипленному когтем Боевого Насоса. Доктор Тесла стоял на платформе, левая, белая ладонь на рычажке, правая, белая ладонь поднята со светящейся тростью, меховая шапка дымится отъветом — а лют перед ним потеет молочно-цветной кровью. По льду, по сосулькам, по морозным

струнам, по монументальным сталагмитам — медленно текли туманные ручьи, быть может, жидкости, а может — уже сжиженного газа. *Я-оно* догадалось, что это из ледовика выходит гелий. — Во, кровянка хуева, — удовлетворительно констатировал это господин Щекельников. Толпа снова орала «браво». Человек победил чудовище. (Человек, а конкретно, человеческие машины).

Но какой же черно-химический процесс произошел внутри люта? Что изменилось после откачки теслектрического тока?

В Обсерватории, уже после возвращения с Ангары, Тесла объявил собственную на эту тему теорию (поскольку, естественно, теория у него имелась):

— Так вот, *messieurs*, существуют такие состояния Мороза, для поддержания которых необходима не только низкая температура, но и высокий заряд тьмечи.

Я-оно даже довольно неплохо знало, что это за состояния. В очередной раз прикусило себя в язык. Говорить или не говорить Николе про криофизические исследования доктора Вольфке и других ученых из Холодного Николаевска? В конце концов, большинство подобных открытий было опубликовано в различных научных изданиях. Тесла наверняка следит за подобными исследованиями, он способен сделать выводы и самостоятельно...

Но, пока *я-оно* решилось, Тесла ушел к тунгетитору.

Что тоже было к лучшему, потому что в лаборатории остался один Саша Павлич.

Я-оно поздоровалось с ним.

— А инженера Яго нет?

— Доктор Тесла приставил его к тунгетитору, сегодня с утра генеральные испытания, слышите? Этот грохот.

— Ну да, и вправду. А профессор Юркат?

— Сейчас спустится. Вы чего-то от него хотите?

— По правде... — *Я-оно* сунуло руку во внутренний карман пиджака, вынуло яйцеобразный сверток. Саша вопросительно глянул. Развернуло платок, показывая подгнившую картофелину. Показало на клетки с крысами и мышами. — У меня к вам просьба, говоря точнее, идея для эксперимента. Не могли бы вы выделить несколько экземпляров и каким-то образом скормить им вот это? И только лишь потом откачивать из них тьмечь. Мне бы хотелось сравнить результаты.

Павлич надел очки (что сделало его старше на добрый десяток лет), склонился над картошкой.

— Что это такое?

— Картофелина.

— Я вижу.

— Картофелина, но и не картофелина. То есть, чернобиологический вид.

— Ага!

— Но, — приложило *я-оно* палец к губам, — только тихо — ша, я не могу признаться, откуда ее взял. Для меня важно, чтобы...

Павлич взял картофелину лабораторными щипцами.

— Что в ней? Тунгетит?

— Мне так кажется. Она выросла на тунгетитовой почве. Похоже, что само присутствие этого элемента в земле каким-то образом изменяет строение растения.

Ассистент Теслы положил картошку на металлический поднос.

— Вы разрешите, я отрежу образец и погляжу на него под микроскопом.

— Лишь бы для крыс хватило.

— Ну, конечно же, этого будет слишком мало, чтобы регулярно кормить несколько штук. — Саша присел на высоком табурете, задумчиво протер очки. — А знаете, Венедикт Филиппович, а ведь подобные случаи уже были.

— Какие?

— Отравления тунгетитом. У людей. Мой знакомый, работающий в больнице Святой Троицы, говорил мне о серийных отравлениях, причем, вовсе даже не в Холодном Николаевске. Потом, кажется, оказалось, что это федоровцы.

— Мать божья, снова какая-то секта...?

— Нет, нет. Ну, разве что если религию наукой заменим — тогда, секта. Хmmm. По-моему, они от этого умерли. — Он помассировал шею. — Я к нему зайду сегодня, узнаю подробности, может, скажет чего-нибудь полезного. — Он глянул на часы. — Видимо, кто-то должен был задержать профессора, из-за этой демонстрации на острове с самого утра ходят тут всякие... Простите.

Он вышел.

Я-оноприсело за столом, неподалеку от прототипа Черной Лампы Луча Смерти. Устройство сейчас было размонтировано, гладкая внутренность открытой сферы отражала свет, словно отполированный алмаз. Снова засвербели руки, засвербело под черепом. Ругнувшись, взяло замшевые перчатки, купленные вчера у Раппопорта, где зашло и в Дом Моды к пани Гвужджь, чтобы выпытать про дальнейшие подробности секретной отцовской жизни. Но после того, как перчатки были надеты, свербение вовсе не прекратилось. Я-ононачало игратья банкой с барашковыми гайками. Животные в клетках нервно попискивали. И действительно, можно было слышать мерный грохот, от которого на жидкости в мензурках образовывались круги, звенело стекло и металл. Открыло часы. ЛубуМММ! — двадцать семь секунд — лубуМММ — двадцать семь секунд — лубуМММ! Никола Тесла пробуждает волны на Дорогах Мамонтов. Интересно, пойдут ли шаманы жаловаться к Победоносцеву. Я-онозахихикало. Банка выпала из руки, гайки рассыпались по полу. Наклонилось, чтобы их собрать — и замерло так, с расставленными пальцами, в странной, сгорбившейся позе. Что там говорили про гадания в Стране Лютов? Про карточные игры? Никто и никогда не выбросил здесь пяти шестерок, не получил на руки покер. Гайки лежали в ровненьких колонках, выстроившихся будто под линейечку.

Вытащило из портмоне полтинник и начало бросать его на столешницу неуклюжими, скованными перчаткой пальцами. Двуглавый орел, орел, орел, ОООООООО, после восьмого орла снова пошли решки, но — но! ЛубуМММ! Быстро собрало гайки. Восемь орлов подряд — это не регулярность, это флуктуация хаоса, пик волны энтропии. Кожа на руках палила, словно облитая кислотой.

Появился Саша Павлич с профессором Юркатом, сразу же за ними вошел инженер Яго. Попросило профессора отойти в сторону.

— У меня есть вопрос. Помните, господин профессор, что вы говорили мне в подвале? О водных стоках подо льдом и про вечную мерзлоту?

— И что я такого говорил?

— Проблема следующая. Реки замерзли, правда? Замерзли до самого дна. Во всяком случае, большинство. Здесь, в байкальском водоразделе. Я прав? И уж наверняка замерзла до дна единственная река, из Байкала вытекающая: Ангара. Но господин профессор утверждает, что вечная мерзлота обладает постоянной температурой, те самые минус четыре градуса Цельсия, и, независимо от изотермы на поверхности, в земле, под давлением иногда случаются такие течения, что, если неосторожно копать колодец, то в мгновении ока человека может залить, и он замерзнет в чистом льде — так?

Климент Руфинович заморгал, тьмечь залегла в морщинках кожи.

— Нуууу, более менее...

— Следовательно, если бы я где-то обнаружил актуальную гидрографическую карту Байкальского Края, то увидел бы тысячу живых подземных стоков, подводящих воду к озеру. Я прав?

— Тысячу? Гидрографические карты...

— Я знаю. Но — ведь именно так это должно выглядеть, правда? Так может, господин профессор решит для меня вот какой парадокс: куда, черт побери, идет из Байкала весь этот сток мерзлоты, если не в Ангару?

Старичок даже засопел.

— Значит, вы полагаете, будто бы, будто — как же? — что не стекает?

— Значит, полагаю, что гидрологией мерзлоты в условиях Льда управляют иные законы, и эти карты никак не были бы связаны с гидрографией Лета. Я полагаю, что, раз лед на озере не поднимается, и железная дорога на нем функционирует, поезда ездят, как ездили, то, по крайней мере, такое же количество воды уходит из Байкала по подземным рекам.

— Но ведь это же не имеет смысла! — Седенький профессор поправил на носу толстые линзы, сделал глубокий вздох, откашлялся. — Прежде всего, батенька, подземная гидрология территорий Льда крайне убога. Здесь, даже перед Зимой Лютов, во времена обычных зим, мерзлота скрепляет грунтовые воды. Почитайте Миддендорффа. Если бы вы увидели тайгу летом, те тысячи верст подмокшей почвы, трясины, торфяники, болота — вы бы таких вещей не говорили. Енисей, Лена, Обь или даже Юкон с другой стороны Берингова пролива — это гигантские поверхностные реки, шириной в несколько верст. А ведь, если считать по осадкам, у нас здесь чуть ли не пустынный климат. Тем временем, тайга зеленая, мокрая, распространенная на половину континента. Почему? А потому, что в непромерзшую землю идет семьдесят-восемьдесят процентов осадков, а у нас наоборот: девяносто процентов уходит в открытые реки, вода по мерзлоте, словно по водосточным трубам под слоем почвы. Вы понимаете? Этой воды не остается для того, чтобы выстроить порядочную сеть подземных стоков. Кроме того, Байкал располагается среди пород с очень низкой пропускной способностью, с низкой капиллярностью и пористостью. Вам не кажется, что под таким давлением он не стек бы под землю еще раньше?

— А господин профессор знает, как меняется структура породы после прохождения люта? После многократного прохождения? Структура породы и этих мерзлотных грунтов, в обычное время воду не пропускающих? Вы видели, как валятся мраморные здания, подурачки выстроенные на Дорогах Мамонтов?

Седой криогеолог раздраженно замахал руками.

— Дороги Мамонтов! Так нельзя. Сначала исследуйте проблему до самой глубины, потом только рассказывайте нам свои теории! Вы что тут выдумываете? Будто бы подземные путешествия лютов каким-то образом размягчают породу и промерзшую почву, в связи с чем, в направлении Дорог рождается совершенно новая гидрография Сибири? И уж наверняка, если идти от Байкала вверх, напротив стоков всего водораздела? Ха!

Я-онокивало, тем не менее, все еще видя проблему совершенно по-другому. По Дорогам Мамонтов течет тунгетитовая вода, поднятая со дна священного озера, где спят мертвые. И, поскольку естественным направлением напора жидкости и льда является верх, эти стоки, в конце концов, выходят на поверхность. Есть здесь, возможно, какие-нибудь горячие источники, серные термы, послевулканические котловины, отдающие геологическое тепло? Я-онослышало о такой лечебнице на заливе Хакасы; должны быть и другие, подобные места. Оазисы черной флоры и фауны, где не одна картофелина, но вся растительность вырастает на

тунгетитовой почве, втягивая в ткани тунгетитовые соки, а животные это едят, принимают в собственную кровь, и раз путник какой, счастливый-несчастный, туда забредет...

— Что вы знаете про лед, молодой человек? — ораторствовал профессор в злобном возбуждении. — Что знаете вы о воде? Ведь это все великие тайны науки! Под Оймяконом, например, имеется такое чудо: минус десять по Цельсию, и река замерзает; но когда мороз спускается до минус пятидесяти — хлюп-хлюп, лед растаял, речка течет гладенько, словно под июльским солнышком. Вот это объясните, а потом только за гидрологию лютов беритесь!..

На Цветистую семнадцать я-онозаехало еще перед тем, как семейство Белицких вернулись из церкви. Слуга вручил письмо, доставленное в мое отсутствие специальным человеком. Тут же злое предчувствие овладело воображением. С ногой, еще плененной в деревянном захвате, наполовину разбувших, разорвало конверт. Словно тьмечная молния в позвоночник ударила. Это было приглашение на второе (то есть, пятнадцатое) ноября во дворец генерал-губернатора Тимофея Макаровича, графа Шульц-Зимнего на торжество обручения его дочери, Анны, с господином Павлом Несторовичем Герушиным. Направленное с собственноручной подписью графа в адрес *monsieur* Бенедикта Филипповича Герославского *et invite, pas de cadeaux, R.S.V.P* ^[304]. Нет, этого как раз никак не ожидало!

С порога комнаты повернулось и вновь позвало слугу. А этот посланец не принес ли письмо и для семейства Белицких? Слуга подтвердил. Во всяком случае, приличия будут соблюдены, они могут считать, что это и вправду адвокат Кужменьцев приглашения выпросил. Тут же село писать благодарность с подтверждением прибытия. Как раз отправляло курьера, как появились Белицкие. Сразу же объявило им неожиданность. Пан Войслав прочитал и показал приглашение жене. Женщины начали радостно пищать и обцеловывать всех, кто только им попадался. Радость передалась детям, которые, еще не сняв шубок, разбежались по всему дому, так что Маше и кухаркам пришлось гоняться за ними, чтобы те не разносили снег и грязь по начищенному паркету. Тем не менее, и пяти минут не прошло, а настроение изменилось совершенно, и дамы ручки начали заламывать и печальные глазки к пану Войславу вздыхать. Да кто же такое видывал, всего лишь за неделю предупредили, нет времени как следует подготовиться, в чем же мы в губернаторском дворце покажемся! Платья, новые платья, как можно скорее заказать у китайских портных для подгонки, в самом срочном порядке! Пан Войслав забурчал себе что-то в бороду и театральным жестом схватился пальцами с бриллиантом за карман. Приглашение было на пана Войслава с женой и на панну Марту. Обанкрочусь, бормотал он, как Бог мил, непристойная эта мода до суммы доведет! (Тем временем, Пётрусь залез ему на спину и дергал за уши). Женщины уже и не слушали, занятые обдумыванием потрясающих туалетов. Ба, даже несчастному Войславу новый фрак запланировали. Ведь по-другому и нельзя! А пан Бенедикт — пану Бенедикту тоже ведь не во что одеться, с удовлетворением констатировали обе. Завтра вечером на примерку, оба! И без дискуссий! Хозяин дома взял Петра-Павла под мышку и ретировался к себе в кабинет. Я-ононаблюдало за этими семейными сценами с сидящим на коленях котом, тот с удовольствием вылизывал новые, пахнущие кожей перчатки. Никому и в голову не пришло спросить себя, зачем Модест Петрович в последний момент должен дописывать в список приглашенных еще и гостя семейства Белицких. Им это как-то и не мешало, они не видели этого странным — для них все соответствовало — уравнения суммировались. Я-оноприслушивалось с меланхолической улыбкой.

— И пан Бенедикт должен ее как можно скорее в известность поставить, — вспомнилось тут панне Марте.

— Кого?

— А с кем он идти собирается. С той таинственной девушкой, с которой он видится...

— Она уехала.

— Ах! С кем же тогда?

Я-оно поднялось до рассвета, выехало в темную, беззвездную ночь, пробиваясь двойной упряжкой сквозь туман, сгустившийся в известковую взвесь, а мороз безумствовал такой, что и шарф, и подбородок, и кожа, и дыхание смерзались вместе, время от времени нужно было бить себя по губам. Мираже-стекольные фонари светили зеленым светом, спины лютов истекали красками лета. Барабаны глашатаев грохотали над Городом Льда.

Апартаменты Николы Теслы открыло его запасным ключом, зажгло свет. «Новая Аркадия» тоже еще спала. Намеревалось вначале зайти в кабинет изобретателя, откачать тьмечь, но тут услышало за дверью, соединяющей номера, движение и французские слова, произносимые веселым голосом. Приостановилось. Почему бы и нет? Ведь это же доставит ей удовольствие. Да и обещало ей. Энергично постучало, раз, другой.

Открыла mademoiselle Филипов, уже в утренней юбке из легкого *crepe de Chine* [\[305\]](#), в длинной до колен безрукавке на плиссированной шемизетке [\[306\]](#), с заплетенными пшенично-золотыми косами, с чашкой в руке. Возле стола, накрытого к завтраку, сидел старый Степан. С ним поздоровалось через двери, без слов.

— Панна Кристина, разрешите вас на минутку?

Та переступила порог, прикрыла двери. Левой рукой стряхнула с шубы снег. Я-оно сняло шапку и очки. Теплый воздух распирает горло, раскашлялось, высморкало нос. Кристина ждала, отпивая кофе, поглядывая с любопытством из-под ресниц.

— В ножки панне Крысе падаю, прямо в ножки. Кхрр... Вы, наверное, слышали про обручение дочери Его Светлости? И вам было бы неплохо отвлечься от всех этих беспокойств, от Степанов и казаков с полицмейстерами; вы же так любите танцевать, я же помню. Так что, — махнуло шапкой перед коленями, — если Никола ничего не будет иметь против, хотел бы вас попросить... А?

Кристина сладко улыбнулась, даже ямочки на пухлых щечках появились.

— Оооо, с удовольствием! Если только господин Бенедикт поклянется, что никогда больше уже не станет пользоваться тем черным теслектричеством.

Я-оно неуверенно засмеялось.

— Но, говоря серьезно...

— Да или нет? — И Кристина взялась за дверную ручку.

— Но...

— Да или нет?

Беспомощно огляделось по сторонам.

— Только вчера тьмечь откачивал, как же можно настоящую клятву давать, когда...

— Да или нет.

— Мне нужно напиться тьмечью, чтобы с уверенностью уже! Впрочем — заклинать будущее...!

— *Oh, well, that's a pity. So, toss a coin. Pile or face?* [\[307\]](#)

— Зачем вы это делаете, — разозлилось я-оно.

Та все еще улыбалась из-под прижатой к губам чашки.

— Что я такого делаю? Ведь нет же приказа, что вы обязаны показаться у губернатора именно со мной. Так в чем проблема? Как господин Бенедикт решит, так и поступит.

— Но...

— Но господин Бенедикт уже начинает понимать, что не может поступить в соответствии с собственным решением.

*Я-оно*скривилось.

— Есть... есть привычки хорошие. Вещи, поступки, ассоциации, которым мы согласились отдаться в неволю. Вы ведь это понимаете, вы ведь — не Елена. — Тут уже *я-оно* глядело куда-то в сторону и над девушкой, на потолочную лепнину, на люстру. — Вы понимаете необходимость... стыда.

— А ля, ля, ля!.. — затрепетала Кристина ручкой. — Так вы можете говорить именно с Еленой, я же — девочка глупенькая, мне нужно все по-простому. Да или нет.

Пожало плечами, хлопнуло шапкой по бедру.

— Да.

— *Bien* [\[308\]](#). Когда же это обручение?

— Пятнадцатого, в субботу.

Хрусь! разбилась выпущенная чашка.

— И вы говорите только сейчас?!

В Лаборатории Криофизики Круппа доктор Вольфке принимал гостей: металлургов из промышленного отдела концерна; они дискутировали над спектрографическими снимками и образцами различных зимназовых холодов. *Я-оно* сидело над бумагами, прислушиваясь к их беседе, изредка поднимая голову. Чтобы писать, пришлось снять перчатки, каждое прикосновение вызывало свербез. Сегодня еще ничего, размышляло *я-оно*, но вот завтра, послезавтра, через неделю — ведь замерзну, раньше или позднее, замерзну. Уже начинало планировать, как бы тут обойти слово, данное *mademoiselle* Филипов. Тьмечь кусала нёбо. Вокруг Дырявого Дворца нарастал тунгетитоцветный туман, с высоты мансарды Часовой Башни Холодный Николаевск выглядел, словно кальдера мороз-вулкана, неспешно исходящего черным паром белой магмы.

Когда Вольфке с металлургами отошел на другой конец Лаборатории, чтобы зажечь рентгеновскую лампу, подошло — вроде бы по дороге к шкафу с документацией о предыдущих испытаниях — к столу, на котором металлурги разложили свои необработанные образцы. Сунуло в карман несколько плиток, обозначенных как стандартные холода с пониженным содержанием углерода (томская единица, двойка, четверка), а еще сравнительные образцы неохлажденной руды. Никто не глядел. При первой же возможности переложило их в шубу.

Меньше сложностей было с получением результатов исследований этих холодов, описания молекулярной структуры и таблиц сверхпроводимости. Просто-напросто, переписало всю информацию на отдельных листах, которые затем спрятало вместе с образцами. Забавно: поскольку не для конкурентов Круппа воровало его собственность, но с видами исключительно собственной прибыли, так что ни в коей степени вором себя не чувствовало; дело было каким-то чистеньким, оправданным; инстинкт обогащения, о котором говорил пан Белицкий, подталкивал к следующим необходимым действиям. Животное охотится, человек обогащается. Разве Крупп здесь в чем-то обеднел? Вскоре все эти данные станут общественным достоянием. Разве вытаскивало деньги у него из кармана? Нет; эти брусочки практически ничего не стоят. Деньги только еще будут сделаны. Так разве это кража? Когда делишь сведения пополам, то не получаешь две половинки информации, но две, одинаково хорошие информации. Вот она, новая математика хозяйствования знаниями! В соединении с тем инстинктом обогащения, если он будет запущен во всех людях, разве не приведет это к миру всеобщего благоденствия и богатства, в соответствии с принципами

библейского буржуизма пана Войслава? Я-оноуже видело такую неизбежность столь же четко, что и неумолимую очевидность скорого воплощения аполитеи.

Причем, даже выигрывая в зимуху сотни рублей, не чувствовало такого возбуждения, как сейчас, занимаясь чернофизической наукой налево. Детская радость! Теперь чуточку лучше понимало Николу Теслу. Все великие открыватели и изобретатели страдают определенным врожденным инфантилизмом. Они буквально «молятся» на него, как сказал бы Ачухов. С трудом сдерживалось, чтобы не ослабиться мираже-стекольному отражению, не потерять довольно руками. (Тьмечь бы стрельнула под кожей небольшими молниями тени).

Но вот чтобы добыть очередные чернобиологические растения для скармливания крысам Павлича, в план следовало включить Зейцова, поскольку было невозможным забраться на шкафы и выковырять из кювет тунгетитовые овощи, когда люди еще работали в Лаборатории. Вышло перед Иертхемом, чтобы не возбуждать подозрений, и переждало в коридоре этажом ниже, пока Чингиз не даст знать, что вышел и голландец; после этого вернулось и постучало условным способом. Зейцов впустил. Не говоря ни слова, поспешило к кюветам, чтобы успеть до прибытия бригады чистильщиков льда, запаковало в мешочек под шубу восемь уже прилично выросших растений, по одному из каждой кюветы, старательно засыпая оставшиеся дыры. В конце концов, Бусичкин заметит, но, с Божьей помощью, к тому времени уже будет поздно проводить какие-либо расследования. Тихонько выскользнуло из Лаборатории, еще успев приказать Зейцову хорошенько натопить печи. Тот понуро покачал головой.

Ну да, без всякого сомнения, это была кража — но ведь не для выгоды проведенная, но ради погони по Дорогам Мамонтов за замороженным отцом.

Спиртовые Склады Хрущиньского и Сыновей на Туманном проспекте закрывали двери уже после наступления темноты. Заехало туда санями, нанатыми у вокзала Мармеладницы, и послало Щекельникова, чтобы тот выпытал, на месте ли господин Исидор Хрущиньский; сейчас его не было, но он должен был появиться после семи, чтобы завершить какие-то бухгалтерские дела. Записалось к нему на прием через Чингиза и направилось в Обсерваторию Теслы. Светени в тумане складывались в замечательные арабески, пробитый санями в тумане туннель тонул в багровых, кроваво-красных опенках. Хлопнуло себя по губам и оглянулось на Собор Христа Спасителя. — А не кажется ли вам, господин Щекельников, что *Черное Сияние*долго уже висит над городом, но какое-то невидимое, не слишком тьветом напитанное? — Думаете? — Тот махнул рукой. — Снова их работенка, нехристей проклятых, чтобы их всех на колья посадить. — Кого? — Ну, тех колдунов-инородцев, кого же еще? — Кххррр. Да разве они как-то на Сияние влияют? — Это как посмотреть, влияют, не влияют. Только оно бы никак не повредило.

Спеша через фойе под фреской лета, открыло часы-луковицу; если держать их в тепле тела, то шли они даже хорошо. Портной должен был подойти на Цветистую к девяти вечера, поскольку пан Войслав раньше освободиться не мог; так что время имелось.

У основания лестницы и перед входом во внутренние коридоры Обсерватории толпился с десятков мужчин, часть из них с характерными саквояжами для фотоаппаратов; среди них заметило и Авксентьева. Два могучих казака не давало им пройти дальше. Прошмыгнуло мимо них, так что журналисты не успели сориентироваться. Быть может, Григорий Григорьевич тоже не успел узнать. Тесла любил помариновать их с пару часиков, после чего выступить с каким-нибудь фантастическим заявлением для прессы. Понесли кони, подумало я-оно,вынимая из-за пазухи мешочек с чернобиологическими растениями. Никто уже этой залетной тройкой не управляет, и наверняка уже не Никола, и не Кристина, как бы она себе не

представляла. Но, быть может, именно ей следовало бы изложить предложения японцев; быть может, и вправду дойдет до того, что речь пойдет только уже о спасении жизни изобретателя и *mademoiselle* Филипов. Кто знает, не спасет ли это жизни и отцу, раз Никола должен был еще этой зимой запустить тот свой Молот Тьмечи, чтобы разбить Лед на Дорогах Мамонтов. Из двух зол, сохранение Льда в Сибири и Оттепель в Европе кажется наиболее безопасным сценарием. Значит, правильно предсказало письмо: ОТТЕПЕЛЬ ДО ДНЕПРА — ПЕТЕРБУРГ МОСКВА КИЕВ КРЫМ НЕТ — ЯПОНИЯ ДА — РОССИЯ ПОДО ЛЬДОМ. ЗАЩИЩАЙ ЛЮТОВ! Правда, пану Поченгло поклялось в чем-то совершенно противоположном...

Саша Павлич вместе с инженером Яго и еще одни ассистентом Теслы сражался с огромным тунгетитовым зеркалом. Вынув лист чистого тунгетита, изобретатель намеревался бомбардировать его пучками концентрированного света, изучая затем отраженный свет или изменения в самом зеркале; повторяя затем те же самые эксперименты и с тьветом.

— Он половину дня накачивался и откачивался, — сказал Саша, отдышавшись, — и сразу же ему захотелось исследовать свойства тьвета. Говорит о Максвелле, Эйнштейне, каком-то Планке и Боре, сам с собой разговаривает о лучах отрицательной вероятности, и все это переплетается цитатами из Гете. Уф! Вы же лучше его знаете, правда, *гаспадин Герославский*? Что это может означать?

— Новые эксперименты для себя придумал; это давняя его болезнь, что перескакивает вот так, от одной идее к другой. Особенно сейчас, откачав тьмечь, он легко делается рассеянным.

— Нет, нет. — Павлич глянул искоса на инженера Яго и показал на угол за клетками с крысами. Прошло туда, по дороге снимая шапку и шубу. — Венедикт Филиппович, сегодня с утра, девяти еще не было, прибыл сюда к нам, в лабораторию, высокий чиновник Канцелярии Генерал-Губернатора, по личному поручению графа Шульца, с военной свитой, с казаками; потом выпытывали нас, каждого по отдельности...

— Тот чиновник... Телом худой? Волосы светлые? Зубы гнилые?

— Да... ну да.

— Как фамилия? Не Урьяш?

— Вы его знаете?

— Ну, он мне не представился. — Подало Павличу мешочек; тот заглянул в него, спрятал под стол. Сняло мираже-очки; контуры и окраска людей и предметов замерзли на своих местах. — И чего он от вас хотел?

— Долго разговаривал с Теслой, вышел во двор, чтобы осмотреть прототип тунгетитора.

*Я-оно*прислушалось: Молот Тьмечи молчал.

— И?

— И сообщил, что организует нам здесь жилые помещения, то есть — здесь, в Обсерватории; что губернатор берет все здание в управление в силу какого-то там чрезвычайного права; и что будет лучше, чтобы мы не выходили наружу без человека из охраны. И еще, что губернатор и сам Государь Император весьма интересуются нашей работой.

— Ммм.

— А уже после обеда...

— Да?

Саша прикусил ноготь.

— Ходили вокруг с тунгетитовыми факелами, в тьвете, и делали отметки в земле вокруг

Обсерватории. С ними был один слепой, один безрукий, один хромой, еще один — железом пробитый. Били в барабаны, словно люта на привязи тащили.

— Будут здесь трупные мачты ставить.

— А в чем дело, Венедикт Филиппович?

— Это ради вашей же охраны.

— Но перед кем?

Неужто он и вправду настолько наивен? Глянуло ему в глазенки ясные, под бровки — словно пучки жесткой травы. Саша не мигал, глядел откровенно. Сколько же это ему может быть лет — меньше тридцати, молодой — и все равно, в возрасте. Почему же глядит, словно на человека, по рождению его высшего, как на данного ему небесами опекуна? Откуда вообще такое скорое доверие, откуда этот тон понимания? Словно бы знал человека издавна. И с экспериментом на крысах быстро согласился помочь, ни о чем не спрашивая.

Может, и вправду ты имеешь на свете друзей, прежде чем их вообще встретишь, прежде чем о них вообще услышишь?

— А как вы вообще сюда попали?

— Меня попросил профессор; семья у меня здесь, на Байкале, так что я часто езжу из Томска, а в университете преподавать должен буду лишь с весеннего семестра...

Бедняжка, оторванный от своих книг с научными абстракциями, но тут же брошенный под удары сибирской политики — не удивительно, что ему сложно чего-нибудь в ней понять.

И тут же подумало о себе. А некий Бенедикт Герославский, чуть ли не силой оттянутый от логических абстракций в Варшаве, о чем он имел понятие, когда садился в Транссибирский Экспресс?

И сразу же почувствовало откровенное сочувствие к доброму, но перепуганному до границ воображения парню.

— Они, желая добра, вам говорили: никуда не выходить. В городе вам уже не будет безопасно, ни для кого, кто близок к доктору Тесле.

— Но вы же выходите.

— А вы видели того костолома, с которым хожу? То-то и оно.

— Но — как же так? По какой причине? Кто все это?...

— А вы над чем здесь работаете? Над тем, чтобы уничтожить Лед. И что, думаете, будто бы все силы Байкальского Края от радости подпрыгнут, когда их денежная фабрика в один прекрасный день — растает?

Саша даже рот раскрыл.

— Императору воспротивятся?!

Я-оно презрительно махнуло рукой.

— Императору в этом году привидится так, в будущем — как-то иначе, или же интересы Распутина за это время как-то поменяются, кто его знать может, логикой тут и не пахнет. Но если люты сдохнут, то все — птичка убита, золотых яичек нести уже не будет, аминь.

— Это означает, — прикусил Саша второй палец, — что после вчерашних испытаний Боевого Насоса цены на зимназо должны были резко вверх пойти. — Он оглянулся на стол Теслы. — И, кто первый об открытии доктора узнает, тот капитал на харбинской бирже тут же собьет.

Ай, маладца! Все-таки, при более близком знакомстве Саша начинал нравиться все больше. Интересно, а не пользуется ли он сам насосом Котарбиньского? *Я-оно* не замечало в нем сильного отъмечения, характерного для лютовчиков. Книжная моль, ха...!

— Собьет, собьет, а как же. Разве что! — подняло палец.

— Разве что... — наморщил Саша брови. — Разве что... — Третий ноготь Саши стал

жертвой зубов. — Разве что он вовремя откроет технологию ледовых трансмутаций!

Я-онохлопнуло его по плечу.

— Какая жалость, что вы биолог, в промышленности и коммерции перед вами открылось бы большое будущее.

Саша улыбнулся; его лицо залил румянец, который еще сильнее выделил оспинки на его лице.

— Да меня со школы еще мало чего интересует, кроме живой природы, так уже со мной замерзло.

Погоди, браток, встретимся после Оттепели.

— Ну ладно, время не ждет, мне нужно...

— Ах! Венедикт Филиппович, я тут порасспрашивал про те отравления тунгетитом.

— И что?

— Я же хорошо помнил, что то были федоровцы. И явным это сделалось, когда за лечение их заплатил господин Фишенштайн. Он здесь, среди федоровцев, фигура крупная, во всяком случае — их главный спонсор.

— Откуда вы это знаете?

— Разве я не говорил, над чем работаю в университете? Над жизнью в вечной мерзлоте, над оживлением растений и мелких животных, извлеченных из льда. Федоровцы давно уже к нам приходят; иногда оплачивают расходы на оборудование и командировки, потом публикуют у себя результаты наших исследований, но каким-то странным образом искаженные. Они издают свои брошюры, те валяются здесь в каждой книжной лавке, в каждом кафе, может, вы и сами видели, их можно взять даром. Господин Фишенштайн — человек богатый.

— Ну а с этими отравленными — что дальше? Фишенштайн заплатил, они выздоровели — или как?

Саша отрицательно покачал головой.

— Родион говорит, что умерли все. В больнице до последнего старались, только ничего сделать было нельзя. Никто из них вообще в себя не пришел. А это же дюжина мужиков была, и все в одну неделю; дюжина, а то и больше. Трагедия! *Congelationes, thromboangiitis obliterans, embolia et collapsus*.

— *Il semble etonnant* ^[309], только что все это означает? Обморожения и коллапс, так?

— Гипотермия, большие проблемы с кровообращением, что-то вроде *morbus Burgeri* ^[310], только очень ускоренная, образуются тромбы, тело умирает, холодное, словно камень.

— Все, говорите. Ну, этого мы никак знать не можем.

— Так я же говорю вам, что Родион...

— Логика, господин Павлич! Отступая от результатов к причинам, невозможно увидеть все причины, которые могли привести и к совершенно иным результатам. Зачем нам возить в больницу тех, которые все это пережили без вреда для здоровья? — Я-ононадело очки и шапку. — Фишенштайн, так. И повсюду лежат, можно брать даром, так? Ладно, кормите их регулярно и накачивайте теслектричеством, пока не замерзнут. Или — не замерзнут. Ну, пака!

Вышло задними дверями, в складской закоулок. Щекельников побежал искать сани.

Господин Исидор Хрущиньский после приветствия приглядывался долго, и вложив мираже-стекольный монокль в глаз, и без него, пока не подумало — раз, что в его лице с очередным мясником души встретилось, что высверливает из нее резким взглядом всю единоправду о человеке; два, что Хрущиньский каким-то образом разбирается в откачке тьмечи, ведь не у всех обитателей Страны Лютов она накапливается по естественным

причинам, но и от механического откачивания, противного природе; три, что какой-то мелкий эффект Черного Сияния тут действует, заманивая пана Исидора злыми симметриями светеней.

Одно правда: *я-оно* все еще было под воздействием откачки, поскольку все остальные домыслы оказались неверными.

— Вы уж простите, что глазами вас так сверлю, — сказал хозяин, усевшись, — но сегодня вы еще сильнее его напоминаете. Когда я его в последний раз видел, он тоже густую бороду носил. И стригся всегда чуть ли не налысо. И еще, когда вы так вот стоите — вы присаживайтесь, присаживайтесь! — он на всех свысока глядел, стоял ли, сидел ли, лежал ли, все равно — свысока. Выпьете капельку?

В комнате на задах Складов — обустроенной даже прилично, с обитыми кожей стульями, с керосиновыми лампами под золочеными абажурчиками, с не сильно даже гадким пейзажиком — три из четырех стен были застроены стеллажами для бутылок со спиртным. «Хрущиньский и Сыновья» не имели дело с напитками наилучшего вкуса и наивысших цен, но здесь, наряду с самыми паршивыми водками и ординарными винами, очутились бутылки с весьма даже благородными этикетками. Пан Исидор налил по рюмочке абсента.

Я-оно попробовало кончиком языка, подсладив и сильно разведя водой. *На всех глядел свысока* — разве панна Елена не упоминала чувства превосходства? Только, Боже — какого же превосходства?! Как *я-оно* могло глядеть на людей сверху, если в их силах было одним лишь взглядом разжечь багровый стыд, и стыдом этим испепелить душу? Никак невозможно согласовать подобные уравнения характера!

Я-оно отодвинуло рюмку.

— А какой, собственно, природы было ваше знакомство? — спросило напрямик. — Вы упоминали про долг благодарности...

— Какой природы. — Хрущиньский выпрямился за столом, провел ладонью с пятнами после обморожений по пятнистому жилету, по гладко бритому подбородку, вынул из глазницы монокль, постучал им по очищенному от бумаг столу. — Мой старший, Радослав... Видишь ли, пан, эта вывеска, «Сыновья» — это заклинание, я заговариваю будущее. Ян, ну да, но Радослав — ему было семнадцать лет, когда в тысяча девятьсот пятнадцатом он получил десять лет за участие в заговоре против правительства. Ваш отец... Если бы не ваш отец, Радослав на каторге не пережил бы и года. Он попал к нему в роту, пан Филипп взял его себе под крыло, духом поддерживал, научил жизни каторжной. — Хрущиньский поднял голову. — Так что, можете представить, когда он появился в Иркутске, я хотел его отблагодарить.

— А он ничего не взял.

— Не взял, — пан Исидор сухо усмехнулся. — Мне показалось, он меня еще и выругает. — Хозяин вздохнул. — Так что, когда я увидел вас под Черным Сиянием... Сын за сына, разве не такова справедливость божья?

— Вы остерегали меня перед Пилсудским.

Хрущиньский залпом допил остаток неразведенного абсента.

— *Это демон Льда!* — хрипло прошептал он. — Бегите от него!

— Вы с ним знакомы?

— А вы как думаете, по причине кого Радослав жизнь себе сломал? Вот тут, — он махнул в сторону стеллажей с бутылками, — здесь они встречались, здесь по ночам операции свои оговаривали, политику делали. И потом пан Филипп...

— Что?

Хрущиньский стиснул кулак.

— Потому что заловил и его! Проклятый товарищ Виктор! Он притягивает их как магнит — подойдешь поближе и уже не отлипнешь. Замерзло! И где теперь пан Филипп? Сибирский лед!

— Выходит, если я вас правильно понимаю — у вас точные сведения, что это Пилсудский послал отца на Дороги Мамонтов?

Хрущиньский вздохнул, скрестил руки на груди.

— Ясное дело, при том меня не было, — сказал он, уже спокойнее. — Но у меня есть глаза и уши, свой ум имеется. Я знаю, что за день перед тем, как прийти ко мне, пан Филипп разговаривал с ним где-то у себя, в Холодном Николаевске. И сразу же после того полиция начала ходить за ним по Иркутску. Сюда забегают он уже вечером, шарфом обвязанный, так что лица под мираже-стеклами не видать, и кладет деньги за пять бутылок сажаевки. А утром он уже явно в дороге был — только его и видели.

— Сажаевки?

— На дорогу. — Пан Исидор указал на бутылки, уложенные высокой стопкой слева. — Десять рублей тридцать копеек, дорогое пойло, это правда, могло быть что-то и подешевле.

Я-оноподнялось, сняло со стеллажа плоскую бутылку. На наклейке была нарисована панорама Иркутска с башней Сибирхожето посередине; ее корона темноты распространялась в виде черных букв названия напитка:

САЖА

байкальская настойка

Снимая бутылку с высоты, я-оно встряхнуло ее. В прозрачной жидкости, скорее всего, чистой водке, плавали хлопья черного снега, угольные снежинки-сажинки.

— И люди это пьют? Разве им не вредит?

— Водка всегда вредит, если пить неумеренно, пан Герославский.

— А это в ней — тунгетит?

— Потому и такая дорогая. Пьют и с золотом, и с перемолотыми костями, пак почему бы не пить с тунгетитом? В черноаптечных сиропах встречаются куски и побольше.

Я-оноеще раз взболтнуло бутылку сажаевки. Черные частицы медленно закружились.

— Я понимаю, почему вы с таким сожалением относитесь к Пилсудскому...

— Сожалением?!

— Нууу, демон Льда?

— Пан считает, будто бы он от всего сердца желает Оттепели? Ха! Он обманул самых разных людей политическими соображениями в посланиях, письмах издавна [\[311\]](#), высылаемых с безопасного расстояния в Лето, так что никто уже не может усомниться в характере автора. Только я вижу его как на ладони: это чисто ледняцкая душа; он должен растопить Польшу, чтобы вернуть ей независимость, но как только страна попадет по его командование, он сам всю ее под собственным единовластием быстро заморозит! — И вновь пан Хрущиньский стиснул кулак. — Не раз и не два встречался я с ним лицом к лицу и узнал правду об этом человеке. Здесь они появляются чаще, чем у нас, есть нечто такое в русской земле, что человеку легче оторваться от фальши и ненадежности материального мира, и схватиться сразу же за идею, за Правду, схватить Бога за бороду. А уж как только кто услышал глас Божий, то хотя бы и свинопасом был, тут же без стыда встанет пред толпою и объявит

себя царем правомочным, императора-помазанника с проклятиями именуя узурпатором — и толпа довольно часто ему верит.

— А почему бы и не верить? — буркнуло *я-оно*, косясь на сажаевку. — Правда — она правдой и будет, кто бы ее не коснулся. Если Господь к человеку обратится и прикажет даже сына своего убить, то человек не спрашивает, разрешено ли подобное Богу, а только за нож хватается. — Отложило настойку. — Кажется мне, пан Исидор, что правы те геологи, что обнаруживают древнюю историю Дорог Мамонтов в наиболее давних месторождениях мерзлоты. В России всегда было... холоднее, если вы меня понимаете; россияне всегда жили ближе к Правде. Отсюда и столько самозванцев, юродивых, пророков, столько сект жестоких, такая заядлость на пути к небесам. В Лете все это размывается, неопределенность складывается с неопределенностью, мы чаще рассуждаем, судя по кажущимся признакам материи. Но здесь...

— Здесь народ ледняцкий, так пан говорит.

Я-оно уселось, вытащило папиросы, предложило хозяину, закурило. Пан Хрущиньский поблагодарил, только подлил себе абсента. Глянуло на часы.

— У вас имеется с ними какая-то связь?

Тот наморщил брови.

— Пан думает переговорить с японцами?

— Откуда вы можете знать, чего от меня хочет Пилсудский?

Купец открытой ладонью стукнул по столу.

— Только ради Бога, не вступайте с ними ни в какие переговоры!

— Пан Исидор... — *я-оно* смягчило тон до мягкого убеждения. — Мне нужно найти отца. Если это и вправду Пилсудский отправил его в Лед... кого мне еще спрашивать, как не его?

Хрущиньский отвел взгляд. Дрожащая тень от керосиновой лампы, смешавшись с лютовчиковским отъездом, заливала благородный профиль торговца спиртным волной то в одну, то в другую сторону; один раз он казался рассерженным, через секунду — опечаленным.

— Поговаривают... Все пошло не так, как ему хотелось. Тут громыхнула весть, что в Иркутск прибыл Сын Мороза, и сразу же потом — будто бы Зюк специально приехал из Харбина. Наверняка он хочет встретиться с вами. — После того он что-то долго пережевывал в молчании. И наконец: — Так мне послать слово?

Медленно затушивая папиросу в пепельнице, кивнуло.

Поднявшись и готовясь прощаться, вынуло бумажник.

— Десять рублей и тридцать копеек.

Пан Хрущиньский скорчил обиженную мину и решительным движением сунул две бутылки сажаевки, отталкивая руку с деньгами.

Я-оно отступило на шаг, вновь отсчитало надлежащую сумму, даже мелочь, и положило деньги на стеллаже.

— Значит, так, — заурчал пан Исидор. — Значит, так.

На Туманном Проспекте еще была открыта книжная лавка и антиквариат, затянуло туда, спешно пробежавшись через улицу трусцой, только у них никаких федоровских брошюр не было. Когда уже возвращалось на Цветистую, в миражестекольных радугах заметило вывеску еврейской продовольственной лавочки: остановило сани. Ветхозаветный продавец указал на стопку возле сладостей. Там лежало три номера журнальчика, названного «Воскрешение». На обложке последнего номера была помещена гравюра, представляющая собой сцену, взятую, по-видимому, из фантазий Жюль Верна: какие-то гигантские машины железными руками опускались в глубины льда, поднимая под свет прожекторов людские останки, десятки,

сотни трупов. Брошюры, как сообщалось под самым титулом, издавало Иркутское Братство Борьбы с Апокалипсисом. Я- оновзяло по одному экземпляру, при оказии приобретя коробку бумажных папиросных гильз с тунгетитовым фильтром.

На Цветистой китайский мастер иглы и ножниц уже взял в оборот пана Белицкого, из дальних комнат доносились рычания и басовые замечания хозяина и щебет китайца. Пани Галина и панна Марта разложили в салоне образцы дорогих материй; тут же они заставили выразить мнение относительно той или иной расцветки, того или иного фасона из журнала. Едва-едва удалось сбежать в спальню, раздеться и спрятать бумаги с таблицами результатов зимназовых экспериментов, металлические плитки, две бутылки сажаявки и федоровские брошюрки.

В то время, как пожилой китаец размахивал метром вокруг тела и твердыми пальцами колол под сорочку, пан Войслав, придя в себя после собственных мучений, закурил трубку и, ни с того, ни с сего, ляпнул:

— А вот Модест Петрович говорит, будто бы приглашение для вас — это делишки Победоносцева.

— Победоносцева? А мне казалось, будто бы они на ножах. Это зачем же Шульцу приглашать кого-то на обручение дочки ради удовольствия собственного врага?

— Ааа, тоже мне, врага; у обоих ледняцкие интересы. — Пан Белицкий усмехнулся в облаке табачного дыма, затем махнул рукой с трубкой и бриллиантом, и — фокус-покус — улыбка исчезла. — Модест Павлович говорит, что вы теперь у нас политический игрок, будто бы фигура самая противоречивая и радикал. Это кого же я пригред у себя?

— Сына Мороза, разве не знали?

Прозвучало это резче, чем я-ононамеревалось. Так ведь он же шутил. (Шутил?) Эх, как бы сейчас пригодился крепкий зарядец замораживающей тьмечи... Ладони под перчатками ужасно горели, но портной как раз приказал поднять руки, так что стояло, словно дурак, и даже невозможно было ответить Белицкому понимающей улыбкой. И это ведь только второй день — но если и вправду так замерзнуть...

Под конец выругало китайца и закрылось у себя в комнате. За окнами только монументальная темень, и в темноте — разрисованный радугами фонарей туман, а вот здесь — человек и его мысли. Та самая пора, когда всякая мелочь пробуждает иррациональное раздражение, окружающий мир прохаживается по чувствам костяной скребницей, трудно найти занятие для тела и ума, поднимаешь и опускаешь предметы, даже не глянув на них, вот и трешья об стены, о мебель, словно проснувшийся кот, топчешься в замкнутом пространстве. Та пора дня, даже ночи, когда усталость еще не принуждает ко сну, но делать уже ничего и не нужно, не нужно даже притворяться, будто что-то делаешь, после извлечения из людской среды. Нет ничего обязательного; все возможно. Что начать, что такого сделать? Ладони сжимаются и разжимаются, расцарапало бы все тело, донага. Мужик в таком состоянии ужирается допьяна или бабу колотит или совершает какие-нибудь громадные, жизненные глупости. Женщины занимаются домашней уборкой (или тихонько выпивают). Я-оноспрятало сажаявку высоко в комоде. Поставив лампу на шкафчик у кровати и завалившись на постель, открыло «Воскрешение». Толпы воскресших маршировали через Фабрику Бессмертия, по аллее под фантастическими машинами, за трон-пультом которых восседала высокая фигура, на этой серо-белой гравюре, в керосиновом свете — весьма даже похожая на доктора Теслу. Главным редактором «Воскрешения» был Эдмунд Геронтьевич Хавров. На каждой странице в упырно-пасторальных букетиках в нижней части листа из черепов вырастали цветочки. *Воскреснем! Воскресим!* Н-да, самое чтиво на сон грядущий.

Этого Николая Федорова охватила идея, но не так, как идея охватывает западного

человека: когда он эту идею присвоит и рванет делать дело со всей силой, после чего либо достигнет намеренной цели (с большим шумом), либо понесет поражение (с таким же шумом), после чего вернется к нормальной жизни. Идея Федорова пришла к нему так же, как приходят все российские идеи: потихоньку, шепотком, из глубин черепа, вначале обращаясь к душе, только потом — к разуму, но с такой силой, с такой уверенностью правоты и истины, так что Федорову уже не было возможности вернуться к жизни, поскольку идея тут же закрыла собой всяческую жизнь, весь мир, всю Историю, и мелкого Федорова вместе с ними. Как и самые давние авторы летописей, хроникеры туманной древности Руси, что совместными усилиями до смертного своего часа творили в обособлении величайшие произведения, так и Федоров, поглощенный идеей, вовсе не собирался объявляться перед людьми; если что при жизни и опубликовал, то все под псевдонимом. Он не существовал в отрыве от идеи; это идея провозглашала себя через него. Жил он в аскезе, практически словно монах, то есть, в одиночестве, в бедности, среди книг. Незаконнорожденный сын князя Гагарина, по семнадцатирублевому жалованию — чиновник самого нижнего класса, всю жизнь он провел в библиотеке Румянцевского музея и в московском архиве Министерства Иностранных Дел. А прожил он семьдесят четыре года — и за это время прочитал все доступные ему в библиотеках книги (идея росла) и покрыл словами десятки тысяч страниц, излагая на них подробности своего Проекта. Только уже после смерти автора Проектом восхищались Соловьев, Толстой, Достоевский, величайшие умы России. Дело в том, что Николай Федоров запланировал инженерию бессмертия, его идеей была победа над смертью — но не только над смертью будущей, но и любой смертью, что когда-либо в безднах Истории произошла. Федоров составил подробный рецепт для воскрешения всего человечества, начиная с Адама и Евы.

...Основывался же он на геологии и гидрогеологии. Энергия, черпаемая из воздушных течений и передаваемая в различные слои Земли будет вызывать в них регулярные сотрясения, заменяющие нынешние разрушительные землетрясения, которые, все же, обеспечивают протекание вод, накапливающих частицы праха умерших. Наука, занимающаяся бесконечно малыми молекулярными движениями, которые могут быть замечены лишь обостренным слухом сынов человеческих, снабженных наиболее тонкими органами зрения и слуха, не станет разыскивать драгоценных камней или частиц благородных металлов, поскольку искателями будут не гуманисты, которым все, что есть родительского, отцовского, чуждо, но совершеннолетние сыновья; они будут разыскивать молекулы, складывающиеся в существа, которые отдали им собственную жизнь. Воды, выносящие из внутренностей Земли прах умерших, станут послушны коллективной воле сыновей и дочерей человеческих, и они начнут реагировать под влиянием световых лучей, которые уже не будут слепыми, словно тепловые лучи; не будут они и холодно-нечувствительными; химические лучи обретут способность выбирать, то есть, под их влиянием родственные элементы станут соединяться, а чуждые — отделяться. Подробность технологических проектов тем большая, чем дальше в технологии будущего заглядывают Федоров и его последователи. Поскольку существует граница восприятия человеческих чувств, операциями на молекулах отцов будут заниматься уже не непосредственно сыновья, но микроскопические машины, построенные сыновьями, и даже машины, построенные машинами, которые, в свою очередь, построены машинами, построенными сыновьями. Дело в том, что это внутреннее строение частичек, берущихся из праха умерших, доступна лишь невидимым для наших глаз микроскопическим организмам, да и то, при условии, чтобы те были снабжены такими микроскопами, которые бы расширяли поле их видения также далеко, как наши микроскопы расширяют поле нашего видения. И вот «Воскрешение» помещает статью об этих автоматических червяках, иллюстрированную

набросками микромашин, настолько малых, что видимых исключительно уже для иных миниатюрных машин. Червяки Федорова имеют форму геометрических фигур с дюжинами малюсеньких ручек-прутиков; они немного напоминают гравюры микробов из атласов Зыги, немного же — автоматы, управляемые радиом, описанные в отброшенных Военно-Морскими Силами США патентах доктора Теслы.

...Охваченный идеей Федоров обсуждает различные проблемы, стоящие на пути ко всеобщему воскрешению. Я- оноулеглось поудобнее под лампой, все это было увлекательным, какими частенько бывают на первый взгляд чужие наваждения. Как найти все частицы, когда-то входящие в состав тел предков? Ведь они же были распылены в пространстве Солнечной Системы, и — быть может — в иных мирах. Следовательно, проблема воскрешения имеет теллуру-солярный [\[312\]](#) характер или даже теллуру-космический. И от внимания Федорова не уходит монументальная математика Проекта: если в одном моменте Истории мы соберем всех людей, которые когда-либо жили, даже не принимая во внимание будущие поколения, то мы никак не разместим их на одной Земле. Потому логической последовательностью Проекта Всеобщего Воскрешения является необходимость выхода за пределы Земли, овладения космическими безднами и открытия иных небесных тел. Обязанность воскрешения требует подобного открытия, ибо, без овладения небесными пространствами невозможно совместное сосуществование поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения невозможно и полное овладение небесного пространства. Но ведь это же очевидно! Вся вселенная станет объединением бесчисленных миров безграничных небесных пространств, объединением, свершенным тысячами тысяч воскрешенных поколений, поглощенных Землей в течение бесчисленных веков. Необходимо эмигрировать за пределы Земли, колонизировать небесные тела, брать во владение и подчинять себе звездные системы, галактики.

...Откуда же энергия для всего этого, какая технология позволит это? В предпоследнем номере «Воскрешения», на третьей же странице была помещена копия той старой фотографии, на которой Никола Тесла сидит под гигантскими молниями электрических разрядов. Ибо, исходным пунктом для технологии Воскрешения будет, по словам Федорова, громоотвод, поднятый в воздух с помощью аэростата, получающий грозовую энергию не только лишь, понятное дело, для поддержания людьми собственной жизни, но для возвращения жизни тем, которые ее утратили, но это всего лишь ничтожное начало регуляции сил природы. «Регуляция» — это слово-ключ; «регуляция», «порядок», «власть над материей». Вся жизнь вселенной представляет собой непрерывную грозу и бурю с различной степенью напряжения, поскольку сила, действующая во вселенной, еще не является силой, поддающейся регуляции. Исследовать природу — означает отыскивать способы разряжать электрическую энергию и преобразовывать ее из разрушительной, в энергию возрождающую, воскрешающую. Объединившись в управлении метеорологическим процессом, в котором концентрируется солнечная энергия, сыновья человеческие обретут способность преобразования извлекаемых из глубинных слоев Земли частиц праха предков не для пропитания потомков, но в тела тех, кому те принадлежали. И, в конце концов, сама Земля станет машиной, послушной в руках воскресителей. Исследования над электричеством, и, одновременно, над всей природой, лишь тогда будут высажены на твердой основе, когда мы сможем вводить Землю, как единое тело, в различные степени возбуждения и отмечать влияние, вызываемое ею, на иные миры. Единство метеорологического и космического процессов создает основание для расширения регуляции на всю Солнечную систему и другие планетарные системы с целью их возрождения и разумного овладения. Регуляция охватит все время — ибо, не только людей, живущих совместно в данное время, следовательно, подлежащих такой власти, но и всю Историю и

людей, которые с нею ушли — а так же все пространство — не только Землю, но весь космос. *Совокупность оживленных воскрешенными поколениями миров, остающихся в тесном, братском союзе, сама сделается инструментом воскрешения собственных предков.*

...Дальше. Я-оноподкрутило фитиль. Дальше, дальше. Раз человечество овладеет силами и способностями, позволяющими ему реализовывать подобные предприятия, это уже не будет человечество в нашем сегодняшнем, вида и человечности, понимании. Невозможно быть одновременно и зрелым мужем, и ребенком; невозможно быть ангелом и вести жизнь бродяги. *Возвращение жизни умершим создаст бессмертные существа, неуничтожимые, поскольку воспроизведение жизни из лишеного жизни существа лишь тогда станет не только возможностью (так было всегда), но и доказанной реальностью.* Воскресители и воскрешенные направят свои усилия к иным идеалам. Человек боится смерти и делает все, лишь бы остаться при жизни — но к чему стремится уже бессмертное существо? Не только функции всех органов, но и морфология должна стать продуктом знания и воздействия, труда. *Необходимо сделать так, чтобы микроскопы, микрофоны, спектроскопы и тому подобные инструменты сделались естественным, но и осознанным способом собственностью каждого человека, то есть, чтобы всякий имел возможность воспроизведения себя из наиболее элементарных субстанций, получая таким образом возможность пребывания повсюду.* Следовательно, это уже будет панкосмическая цивилизация бывших людей, которые существуют не благодаря телу, но вне тела, поскольку они могут менять его по своему желанию, перестраивать, отнимать и прибавлять: вот это — здесь, а это — там. Окончательно будет стерта грань между материей тела и материей не-тела: всякая частица сможет быть употребленной автоматическими червяками для воспроизведения тела или же его сотворения. *Задание людского рода состоит в преобразовании всего, что бессознательно, что образуется само из себя, что было рождено — в сознательное, светлое, реальное, распространенное и обычное, личное воскрешение.* Понимаемое в самом буквальном смысле воскрешение тел именно потому столь важно, что, в конце концов, позволит вырваться из неволи того, что телесно, к тому, что духовно. *Только лишь благодаря регуляции материи, также и дух обретет полную победу над телом.*

...Ибо, мотивом и смыслом всего Проекта и содержанием идеи, поглотившей Федорова, является Истина христианской религии, Слово Божье. *Христос является Воскресителем, и Христианство, как истинная религия, является воскрешением.* Библейские предсказания из Апокалипсиса не представляют собой и не могут представлять безусловного описания будущего. Ведь таким образом они отбирали бы у человека надежды и вольную волю. Вместо того, это план, представленный человечеству для реализации. Всех, кто к ним не присоединяются, федоровцы презрительно называют «пассивными христианами», «клиентами [\[313\]](#) религии», «ленивыми Лазарями [\[314\]](#)». Одни лишь федоровцы — это «активные христиане». Они не ожидают безвольно воскрешения тел — они трудятся, чтобы это воскрешение наступило. Сражаясь против Апокалипсиса, они исполняют божий замысел Истории. Как можно полнее, они берут пример с Христа: будут воскрешать, как воскрешал Он. *Ибо, see мы воистину воскреснем, но не все будем измененными. Очень скоро, в мгновение ока, по звуку труб Страшного Суда (ибо вострубят они), и умершие восстанут без изменений, мы же будем изменены. Так, братья мои милые, будьте же правыми и несокрушимыми, обилуя всегда работой Господней, зная, что труд ваш для Господа не напрасен.*

...Религия непосредственно связывается с наукой, наука является орудием религии. Ничего удивительного, что сторонники Федорова ездят по университетам, исследовательским институтам и отсыпаят деньги на те или иные исследования. Особое впечатление произвели на них случаи «самодельного» воскрешения животных, извлеченных

из вечной мерзлоты. Лёд, лёд — уже какое-то начало. Сам Хавров пишет в брошюре об экспериментах со смертельно больными добровольцами, которых кладут в ледяные ямы и вынимают оттуда через несколько десятков часов, когда те уже успевали замерзнуть в камень — встанут или не встанут? А, может, не встали они только лишь потому, что, несмотря ни на что, болезнь победила их окончательно? (Интересно, понимают ли федоровцы, что своеобразно повторяют тем самым мартыновские ритуалы?) Лёд, лёд — чем ниже температура, тем более полное замораживание. Они даже продумывали какие-то эксперименты с лютами. Гальванизировали замерзших зимовников. Господа в толстых шубах, с обнаженными головами и серьезными лицами над патриаршескими бородами фотографировались рядом с открытыми могилами, выбитыми во льду, между ними стоял опиравшийся на доску застывший словно сосулька труп, тоже лютовчик, следовательно, сильно затмеченный. *Идеальное сохранение тела является первым шагом на дороге к воскрешению этих тел.* Я-онопогасило лампу, нажало на веки подушечками больших пальцев. Но разве не так звучит термодинамическое уравнение Нернста? Для температуры, стремящейся к абсолютному нулю, энтропия так же стремится к нулю. Но вдруг теслектрический ток и вправду достигает ниже известных температурных измерений... Сняло перчатки; покалывание перешло с ладони на щеки, лоб. Действительно ли нуль лорда Кельвина — это точка, в которой все процессы энтропии меняют знак? И с другой стороны этого нуля, в Царстве Темноты, откуда приходят только люты, там смешанное будет упорядочиваться, испорченное — исправляться, забытое — вспоминаться, подделанное — сделается правдивым, а умершие — они воскреснут?

Вытянуло в окно на золотистую Ангару, огнецветную от ламп саней, что по ней ездят, и цвета эти в мираже-стекле соединились в форме замерзшей реки; а снег — в небо; а небо — в крыши, а крыши... Снова протерло глаза. Полтора дня без откачивания тьмечи, и уже уверенность в единоистине начинает въедаться в мысли. Ибо чувствовало в идее Федорова ту истинность, следующую из самой ее тотальности, из всеохватывающего поглощения. Что же станет через неделю, месяц? Так еще и в мартыновца обратишься...! Тихонько рассмеялось. Прах отцов. Труп, из могилы извлеченный; достойнейшие федоровцы вместе с ним. Возвратилось к брошюрам, вновь зажгло лампу. Нашло адрес редакции и в то же самое время местоположения Иркутского Братства Борьбы с Апокалипсисом. Улица Главная, 72; четвертый этаж. Ну, расположение и вправду представительское. Переписало адрес, положило в бумажник.

Редакция «Воскресения»могла себе позволить располагаться в таком шикарном месте, поскольку, как я-оносамо увидело, заехав туда на следующий день после работы, в том же доме размещались конторы фишенштайновского общества «Импорт-Экспорт» и «Нового Зимнего Банка» (в котором Фишенштайн имел большинство акций). Впрочем, на втором этаже здесь размещались конторы байкальского отделения Страхового Общества Ллойда. Фишенштайн был заядлым конкурентом пана Белицкого, и Войслав часто о нем вспоминал (в особенности же, когда вбил себе в голову, что из бедного математика ни с того, ни с сего родится, словно бабочка из куколки, великий предприниматель):

— Фишенштайн — еврей, но еврей странный. Первое, что он не держится с евреями — держится с христианами, все его сообщники и совладельцы люди крещеные. Второе, необыкновенно он щедрый: это в скольких же бесприбыльных проектах топил он деньги! И это же я не говорю о какой-то богоугодной филантропии. Третье, ученый в Писании, значит, обладает огромным уважением среди раввинов, главный основатель иркутского бет-хамидраша [\[315\]](#). И чем больше он от них отодвигается, тем сильнее они его ценят. Вот и рассудите такой парадокс.

Видимо, нужна большая тонкость в расчетах и прокурорский, разбесовский глаз, чтобы решить уравнение Фишенштайна. Любопытство, какую такую идею видит набожный еврей в идее Федорова. А может он сознательно живет во лжи? Чисто ради каприза он не финансировал бы Братство Борьбы с Апокалипсисом столь щедро. Другое дело, что он мог себе это позволить: по Иркутску ходили слухи о фальшивой скромности Фишенштайн, якобы, он сумел накопить пять состояний, которые затем разместил за пределами Сибири, в швейцарских да итальянских банках, в германских шахтах, в недвижимости (якобы, он был хозяином целого квартала доходных домов в Нью-Йорке). Что же, каждый богач ходит среди людей в ореоле лжи о богатстве раз в десять больше, особенно те, что из моисеевого племени.

На Главной стоял лют, пришлось заехать и зайти с тылу. Сразу же подумало, что здание вообще никак не используется; на крыше тоже расположился ледовик. Лишь потом, со второго раза, в затьвете вечерних теней, отметило единоправду формы: это вовсе и не был ледовик, а только его архитектурное изображение, то есть, маскарадная скульптура, закрепленная на вершине крыши.

Двери редакции «Воскрешения» *я-оно* застало закрытой. Из комнаты рядом как раз выходил человек с охапкой ржавых железок; остановился, глянул, загрохотал и спросил:

— Господа в Братство?

Слово за слово, стало ясным, что он тоже федоровец, Арский Яков Юстинович, к вашим услугам. В редакции никого уже не будет, но вот Эдмунта Геронтиевича наверняка можно застать в фирме, где он занимает ответственную должность заместителя директора — воон туда, налево от лестницы. Если дело, конечно, достаточно важное.

Как и можно было предвидеть, заместитель директора Хавров и не думал встречаться в столь позднее время с заранее не договоренным посетителем. Тогда быстро начеркало пару предложений на листочке и переслало ему через клерка. Хавров — лютчик, лысеющий очкарик, не очень-то импонирующего роста, зато в двубортном костюме из наилучшей английской шерсти — появился буквально через минуту.

— Так это правда? — тихо спросил он, подняв записку в руке. — Что вы можете привести нам сюда доктора Теслу?

— Могу вас с ним познакомить и гарантировать, что он выслушает вас с величайшим вниманием, это так. — Сняв мираже-очки, протянуло руку. — Бенедикт Филиппович Герославский.

Тот тут же пожал ее. Никаких ассоциаций у него не возникло; *я-оно* это четко видело, мысли и взгляд собеседника блуждали где-то в иных местах.

— Вы говорите, будто бы можете. И что бы вы за это хотели — что? Нашу благодарность, пересчитанную в рубли?

— Знаете что, я вас оставляю с этим предложением, вы поспите, разузнаете что и чего, а потом поговорим.

Я-оно направилось к выходу.

Через мгновение господин Хавров выскочил в коридор.

— Погодите! Минуточку! Как вы — извиняюсь — сказали? Герославский?

Помня методику доктора Мышливского из Клуба Сломанной Копейки, отрицать ничего не стало, стало лишь молча, целясь в него резким, гневным взглядом и повторяя про себя, словно заклинание: мороз, мороз, мороз, мороз. Что, видимо, подействовало, либо сам Эдмунд Геронтиевич уже принял решение самостоятельно, поскольку, больше уже не колеблясь, что-то крикнул на прощание клеркам и повел в ту комнату, из которого Арский выносил ломаное железо. Только там вовсе не был какой-то ремесленный склад, но клубное

помещение, замечательно меблированный и устроенный зал, с живописными картинками и электрическими лампами, с печью Дауэрбрандта в углу и высокими окнами, застекленными обычными стеклами. Те дрожали в ритм барабанов глашатаев. Я-оноповесило шубу и опустилось в удобное кресло. Господин Хавров позвал прислугу. На столе стояла посуда после обильного полдника, пепельницы и чашки. Паркет у печи мокро блестел.

— Говоря по правде, мы давно уже думали постучаться к вам, — просопел Хавров. — А тут, вижу, Магомет, гора, гвы, гвы. — Он смеялся так, словно лаяла комнатная собачонка. — Вы знаете, *гаспадин* Ярославский, я послал доктору приглашение, судя, что он слышал о нас; не знаю только...

— Не слышал. А из подобного приглашения самые разные вещи можно вычитать, страшные и ужасные.

— Ну да. Мы тут советовались по данному вопросу. Стоит ли против интересов наших выдающихся членов...

— Господин Фишенштайн из тех, что станут защищать лютов собственной грудью, так?

— Было решено, что уж если доктор Тесла сам по себе знает, то придет. Не пришел. — Прислужник, убрав балаган со стола, поставил самовар; Хавров пересел поближе к чайной машине, начал переставлять чашки, засыпать сушеный чай, перебирать кусочки сахара. Сибирские церемонии заварки чая частенько заполняли коммерческие встречи, пан Белицкий утверждал, что больше сделок заключил за чайным столом, чем с водкой. Эдмунд Геронтиевич налил по первой чашке. — Прошу. Вы, конечно же, понимаете, насколько важно для нас сотрудничество с доктором, раз уж так удачно сложилось, что он приехал в наш город. Его показ на реке, расплавившийся лют — и то черное электричество, которым он люта обработал — никто ни о чем ином и не говорит. Николай Федоров, если вы знаете его работы, он предвидел, что...

— Вы хотели бы использовать теслектричество для опытов по воскрешению людей. Хавров опустил глаза, хлебнул горячего чаю; слегка покраснел, то ли от чая, а может — может и чуточку стыдась Сына Мороза.

— Вы же можете нам и не верить, — произнес он. — Я лишь прошу дать возможность проверки гипотезы. Это так немного, если приравнять просьбу к окончательной цели: вернуть к жизни каждого человека. Год, столетие, тысяча лет блужданий, поражений и насмешек — какое значение это имеет? В сравнении. — Он отхлебнул еще чаю. — Когда на другой чашке весов. В качестве альтернативы. Если. Фффф. *Еще?*

Действуя в соответствии с принципами сибирского вежливого поведения, перевернуло опустевшую китайскую чашку вверх дном, сверху положило кусочек сахара.

— Прошу прощения, если я дал повод для подобного впечатления. Я вовсе не смеюсь над вами. Кто знает, возможно, вы и правы, высматривая решение в теслектричестве. Поговорите с доктором, вы сами увидите, что его ум открыт.

Уборщик вытирал лужу под печкой, я-онопождало, пока он не выйдет с тряпкой..

Ум Николы, наверняка, открыт, он ведь и сам считает, что был возвращен к жизни, благодаря откачке тьмечи; если в подходящий момент заразить его идеей Федорова, то, как минимум, неделю он будет размышлять только лишь об этом. Неделю, возможно, месяц, а то и два, если удача улыбнется, и Хавров *et consortes* окажутся достаточно проворными. А это должно будет в значительной степени задержать строительство байкальского Молота Тьмечи и те опасные эксперименты с резонансом волн на Дорогах Мамонтов.

Хавров снова предложить подлить; я-оновновь отказало.

— Мне хотелось бы попросить услугу за услугу.

— Слушаю.

— Быть может, это господин Фишенштайн, скорее, захочет помочь мне.

— Если речь идет о финансовых...

— Нет, нет. Речь идет о некоторых опытах, которые, как мне кажется, вы уже проводили.

Не знаю, кто конкретно, но мне известно, что господин Фишенштайн заплатил за врачебную опеку над людьми, которые в этом эксперименте принимали участие.

— Ага.

Эдмунд Геронтиевич выпрямился, поправил очки, ответ забулькал вокруг его шеи, охваченной жестким воротничком.

— Я вполне понимаю, что это не были, да и не могли быть, предприятия вполне законные; вы до их пор обязаны сохранять определенную тайну, господин Фишенштайн мог бы быть впутан в весьма неприятную аферу; человек с его положением не позволяет подобных компрометаций. Вы же читателей «Воскрешения» информируете не обо всем. Труп из мерзлоты вытащить, смертельно больных по их просьбе в лед уложить, собак гальванизировать — это еще как-то пройдет. Но вот увенчанное смертями массовое отравление тунгетитом?

— *Еще?*

— *Спасибо.*

Тот налил.

— Вы подождите минутку, пойду спрошу.

— Вы там распорядитесь дать чего-нибудь горячего моему человеку.

— *Канешна.*

Он пошел спросить, только продолжалось это дольше минутки, и когда вновь появился, то появился не сам, и даже порог салона Братства переступил не первым, но Авраам Фишенштайн собственной монументальной особой, подпирающийся тяжелой дубиной, под бурной седой гривой и с гипнотическим мираже-стекольно-тунгетитовым глазом, отбрасывающим радужные отблески из под насупленной брови. *Я-оноуважительно* поднялось с места. Вошедший слегка кивнул. Слуга подвинул ему кресло. Еврей подвернул полы атласного халата, сгорбился, левой рукой прижал бороду, правой закорился толстенной тростью о стол, и после того уселся; *я-оноприсело* напротив.

Глянуло вопросительно на Хаврова. Тот никакого знака не подал.

— Господин Фишенштайн...

— Погоди, — низким голосом прогудел миллионер, — погоди.

Что же это он, так устал, что теперь несколько минут должен молча отдыхать? Он же не был таким уже и старым. Не запыхался. Сидел и глядел здоровым глазом, мертвый глаз отбрасывал в салон калейдоскопические огоньки. Подумало, что, когда на небе Черные Зори, эта его тунгетитовая зеница светится словно серебряный фонарик из-под поднятой веки, а если глаз веком прикрыт, тогда розовым пятном. А может и нет, быть может, достаточно плотью ее от тьвета прикрыть, как на сеансе княгини Блуцкой в вагоне Транссиба прикрыло Гроссмейстера. И на что же это еврей глядит своим судейским, жреческим взором, потягивая себя за пейсы? На Сына Мороза, ясное дело, на салонное развлечение.

— *Гаспадин* Фишенштайн, туг дело такое, как вам господин Хавров уже наверняка рассказал: для вашего Братства имеется okazия получить доктора Теслу, для меня же — научную информацию про ваши эксперименты. И вот вопрос к вам — про тот случай, в ходе которого несколько мужиков от тунгетитового отравления умерло в больнице Святой Троицы.

Авраам Фишенштайн стукнул дубьем.

— Погоди, погоди. — Он кивнул Хаврову; тот склонился, шепча что-то на ухо.

Фишенштайн слушал, пережевывая невысказанные слова. Заскочил обеспокоенный конторщик с бумагой в руке, с карандашом за ухом; Хавров злобно рывкнул. Господин Фишенштайн поднял палец. Эдмунд Геронтиевич вышел; конторщик вышел, уборщик вышел. Брлуммм, блруммм — били бурятские бубны. Еврей откашлялся, вздохнул.

— Как-то пришел молодой человек к мудрецу, — завел он басом. — Ребе, спрашивает тот, двух девушек люблю, какую из них взять мне в жены? А которая из них тебя любит, спрашивает ребе. Эта говорит, что любит, и другая говорит, что любит, отвечает молодой человек, но откуда же мне знать, любит ли на самом деле. А которая из них лучше куховарничает, спрашивает ребе. Одна — ужасно, отвечает молодой человек, а вторая — паршиво, но обе выучится клянутся, но откуда же мне знать, выучатся ли. А которая из них верная и послушная, спрашивает ребе. Вай, ребе, сейчас-то каждая в огонь прыгнет и света белого кроме меня не видит, а вот через десять, двадцать лет — откуда мне знать! Ребе покачал головой и сказал: Бери в жены наиболее некрасивую. Но почему же некрасивую, дивится молодой человек. А на основании справедливого счастья, поясняет мудрец: одну ты и так оттолкнуть обязан, а та, что красивее, легче найдет себе другого мужа. Тот не понял.

— И я не понимаю.

— А вот подумайте, уважаемый, каким прекрасным был бы мир, если бы все люди действовали по этому принципу! — вздохнул Фишенштайн. — Как замечательно велись бы дела! Как все мы к богатству прямым путем доходили бы!

— Ах! Честное слово даю, господин Белицкий с моим тут посещением ничего общего не имеет, и вообще он не посвящает меня в свои коммерческие планы; я ему ни кум, ни сообщник.

— Вы так говорите.

— Говорю.

Еврей захлопал ресницами. Замерцали радуги.

— А несчастный Фишенштайн обязан поверить вам, что Белицкому и в голову не придет неудобного ему еврея в следствие впутать, о чем тут же раз голосят газеты всей империи в таком вот тоне: чудовищное убийство христиан; евреи, что Христа распяли, православный народ убивают, потравили мужиков наших добрых на Байкале, и скоро уже в городе травить и поджигать начнут, упаси Боже.

— Господи-Иисусе, да нет же; Белицкий — не такой человек, да и я сам словечка никому не пискну, крестом святым могу поклясться!

— Поклянетесь? — Фишенштайн поднял руку над головой. — Уже поклялись. Замерзло! — Он опустил руку, стукнул своей тростью. — Это правда, сын Батюшки Мороза к Аврааму Фишенштайну пришел. — Он улыбнулся. — Ну, и на что вам знать те вещи, про которые спрашиваете?

— Я разыскиваю отца, господин Фишенштайн, я должен открыть, как он спустился на Дороги Мамонтов. Эти ваши добровольцы — ведь вы же взяли только добровольцев, полагаю — в какой форме они принимали тунгетит? Какими порциями? С пищей принимали? Им в жилы вводили? При какой температуре? Были ли это зимовники? Выжил ли кто? Как проходила болезнь?

— К сожалению, все кончилось полным поражением. Таак. — Он начал качаться в кресле вперед и назад. — Эдмунд Геронтиевич покажет вам заметки. Тут вам следует знать, что подобные попытки я запретил — пока я здесь деньги зарабатываю, все вначале будет испытываться на животных.

— А Федоров вообще пишет про животных? Что-то я не вспоминаю про них на Страшном Суде у святого Иоанна.

Туг Авраам Фишенштайн опять замолчал. Отвернул радужный взгляд. Блруммм, блруммм, просчитало с дюжину ударов глашатаевских, прежде чем еврей снова заговорил; но и тогда он говорил не для того, чтобы ответить и привлечь внимание другого человека — сучковатые пальцы были стиснуты на трости, глаза прикрыты веками, неглубокое дыхание терялось в бороде — говорил он в сторону.

— Был раньше один такой сумасшедший в Иркутске, Пегнар, Алексей Пегнар, родом из Европы не от нашего и не от русского отца. Что он делал? Он людей четвертовал. Не очень скоро это стало явным, но как только стало, собрался народ под тюрьмой, и ничего власти поделать не смогли, разорвали Пегнара прямо на улице. Вот как Пегнар кончился, что нет и могилы, и прах его скоро не сойдется под землей.

...Пегнар хаживал на север, к самому белому океану, в земли низкого Солнца. Дело известное, как пойдешь один в те земли, умом пострадаешь всякую ночь бессонную — кто ж там с ума не сходил, вай, старые капитаны с ума сходили, что по Кругу до Архангельска на торговых судах идут, и купцы серьезные, что там говорить про заблудившихся охотников. Пегнара метель остановила, дурак, бросил он животных, бросил запас. Но не умер — ага, потом, уже в Иркутске одной женщине признался: нашел там во льду, под снегом других несчастных, какую-то палатку или юрту засыпанную, замороженную, с людьми внутри. Так и пропитался, то есть, ледовые трупы харчуя, вон оно как.

...Потом, когда спасли его, вернулся он на Байкал, где безумие уже сильнее в голову ему постукивать начало. В сарае над озером держал он замороженные людские конечности, и тела четвертованные, и головы на льду. Иногда он их съедал с аппетитом, любуясь закатом чудным, а иногда использовал по-другому: изготавливая ледовых големов, то есть, складывая новых людей, франкенштейновских. Бродягу одинокого, каторжника беглого, беднягу безымянного, а то и инородцев бесчисленных и кто там ему еще подвернулся в безлюдье, в Приморских горах — четвертовал, раскладывал, а потом складывал до кучи; но уже по-другому. Вай, Боже, чего там судейские потом у него не обнаружили: замороженные жертвы с четырьмя, с шестью руками, или там два людских туловища вместе, с головой на конце и тремя парами ног на плечах да на тазовых костях прикрепленными; или цельные цепи из конечностей на суставах, или ожерелья из шейных позвонков, а то и детские трупики на ногах здоровенных мужиков, или там женские прелести меж лап бурятских, отвратных сунутые. Вона какие создания богохульные делал для себя Алексей Пегнар.

...Когда же его на следствии спросили, ответил он, что жизнь им новую таким вот образом давал, ибо сам он — Художник Силы, Инженер Тела, Открыватель Белых Гармоний. И тут же ему что-то в голове стукнуло, и он тут же обратное говорит: будто бы это не он, будто и сам он вовсе не Алексей Пегнар. Это ничего, что все его распознали — он не Пегнар. Кто же, затем? Он — создание пегнаровское, новое, с головой самого Пегнара другими мастерами тел замороженных на шею насаженной, но не урожденный Пегнар, не Пегнар! И когда толпа вот так порвала на части, вскоре легенда по Иркутску пошла: распался, потому что недостаточно сильно замороженным был; вот такая байка.

...А те добровольцы-зимовники, что к нам пришли, когда господин Хавров объявление выставил — то были и самые неподдельные мартыновцы, были сонные рабы, которым во сне уже приснилось, будто в ходе христианского причастия они ели и пили тунгетит, но была парочка из Детей Пегнара, зимовники, бело-сине-багровые от давних и свежих обморожений, отупевшие от Черных Зорь, клянущиеся всеми христовыми святостями, что они не люди, от женщин рожденные, но старые пегнаровы склеенные куклы, только нынче трупными докторам заново оживленные и с тайными императорскими приказами в ночь высланные — и в доказательство показывающие шрамы от обморожений на соединениях конечностей

представляющие, во весь голос молящие, чтобы им дали тунгетит, чтобы спасти таким образом от смерти, то есть — от распада, ибо лишь одна только более сильная заморозка обеспечит им выживание в их новой форме, форме големов. И вот приняли они тунгетит и замерзли во веки веков. Мы ждали сорок дней, а потом еще сорок по моему настоянию — но ни один из них к жизни не вернулся, нет.

...А сегодня я так вот рассуждаю: а что мы лучшего по сравнению с Алексеем Пегнаром сделали, а? Господин Хавров страшно злился, только и я заупрямился, чтобы везти их к врачам. Раз все будут воскрешены, означает ли это, будто они вообще не умерли? Тогда, как могут они быть воскрешены, раз вообще не умирали? Врачи говорят о людях, которых возвратили к жизни после получасовой ледовой смерти, когда даже сердце останавливалось. О скольких подобных утопленниках, вытащенных из проруби, которые поначалу ни пульса, ни дыхания, ни тепла человеческого не проявляли, о скольких подобных воскрешениях мы слышали? Полчаса — или половину дня — или даже половину месяца? Смерть это — или нет?

...Животные — животным уже Яхве дал подобное бессмертие. Видел я жучков и мушек гнуса сибирского, извлеченных изо льда, что был старше мамонтов, которым тысячи и тысячи лет, как они из влаги отрясаются, от обморожения, крылышки чистят — и взлетают к Солнцу нашего времени. Где-то между червяком и человеком, тут прячется тайна смерти и воскрешения. Со стороны человека или со стороны животного, так или иначе, но мы доберемся до нее, должны добратся.

Он вздохнул, вновь покачался вперед-назад, поднялся.

Я-оно провело его к двери.

— Так вы ничего не имеете против доктора Теслы.

— А почему бы я должен был что-то иметь?

— То, что он работает на Оттепель, и вам это может стоить всего состояния.

— Лишь бы Проекту Воскрешения помог, нам помог; впрочем, пускай работает над чем желает, какое до того дело одураченному еврею?

Я-он никак не могло разрешить этого уравниения, единоправда Авраама Фишенштайна оставалась закрытой; «Б» не следовало из «А», и два плюс два не равнялось четырем.

Господин Хавров, должно быть, отметил подобную сконфуженность; он заверил, что все записи по проведению фатального эксперимента будут доставлены как можно скорее. Задумчиво покачало головой.

— А его глаз, — спросило, уже надевая шубу, вы мне простите, если...

— Глаз? Он потерял его в Зиму Лютов, ему его выжгло в иркутском пожаре.

— А!

Не на следующий день, и даже не через день, а только в пятницу, вечером, а точнее — ночью с пятницы на субботу, в канун губернаторского бала, тогда только наконец все так организовалось, чтобы можно было безопасно добраться до могил зимовников, отравленных федоровским тунгетитом. Господин Щекельников созвал еще трех громил, пригодных к лопате и лому; мартыновский могильщик Ерофей пообещал, что на кладбище никого не будет. А мороз вообще молочный стоял; плотный туман блокировал улицы и площади Иркутска; стены воздушной влаги со всех сторон замыкали туннель, пробиваемый санями, что мчались во мраке через Город Льда; на этих стенках размазывались цвета фонарей, те же, в свою очередь, перетекали в очках на землю, на небо, на спину возницы и на силуэты плечистых мужиков, закутанных в шкуры под шкурами поддетые, под шубами и тулупами, делая их похожими, скорее, на каких-то чудищ из бурятских сказок. Блруммм, блруммм, бой

барабанов неся далеко; извозчик управлял упряжкой на слух. На Иерусалимском Холме были похоронены семеро из девятнадцати добровольцев, принявших участие в эксперименте; часть умерла еще до того, как их довезли до больницы. Въезжая на кладбище, выбилось над поверхностью туманного моря — в мираже-стекла ударили наземные созвездия холодных огней; керосиновое пламя, разожженное на могилах федоровцев. Вышло на снег; твердый фирн скрипел под сапогами; господин Щекельников подгонял работников; это был единственный голос, выделявшийся над треском мерзлоты. Снег не падал, ветер можно было выдержать. Несмотря на толстый шарф, холодное дыхание вонзалось в горло ледяным стилетом; потому дышало краем рта, завернув язык на зубы. Яков Юстинович Арский махал от первой могилы, где Ерофей уже гасил костер, разрывая растопленную почву ударами лома. Арский должен был проследить, чтобы федоровцев вновь захоронили без ущерба их посмертному достоинству. Только я-оноподозревало, что он здесь очутился, в основном, по причине возбужденного в Эдмунде Геронтиевиче Хаврове любопытства; не выдало ему, чего такого надеялось здесь открыть, так что он подозревал все, что угодно. Арский разок попробовал отозваться, заговорить над могилой — подавился на морозе и несколько минут боролся с конвульсивным кашлем. Господин Щекельников забрал одного из рабочих и отправился раскапывать следующую могилу. *Luna crescens* ^[316], гораздо светлее, чем в Европе, висел над самым западным горизонтом, за Триумфальной Аркой, за городом и Ангарой, золотя обледенелые крыши и спины лютов, торчащие над ванильным желе тумана. Ломы ударили в дерево; здесь гробы укладывали совсем неглубоко. Амбалы вонзили лопаты между досками, поддели крышку, господин Арский склонился над ямой с лампой в вытянутой руке, из могилы плеснули чернильные тени. Труп лежал в гробу словно живой, то есть, замерзший сразу же после смерти, без малейших признаков гниения, в костюме, покрытом инеем и с большим латинским крестом в белых пальцах; ну, этого как раз ожидать и следовало, здесь доисторических воинов выкапывают еще с мамонтовым мясом в зубах. Показало жестом: закопать обратно. Прошло ко второй могиле. Вонь керосина лезла в ноздри. Господин Щекельников, опираясь о вырванный из земли крест, курил папиросу, с каждым дымком открывая и закрывая рожу щетинистой шкурой. Семеро приняло тунгетит в порошке, в черноаптечной тинктуре, отмеренном по половине фунта, что является весьма дорогостоящей порцией (и это на несколько порядков больше того, что кладут в сажаевку или вдыхают из тьвечек). Запили водкой и отправились спать. Семеро приняло тунгетит, испеченный с хлебом, нарезая себе ломти, чтобы набить брюхо; их этих семи двое больше всего мучилось, наверняка, те, что в неравном разделе меньше всего тунгетита получили. Пятеро приняли ингаляцию тунгетита, что горел в кадилъницах целую ночь; это были те, что умерли первыми, задохнувшись, выплевывая черную кровь. Ерофей отбил крышку второго гроба. Федоровец — труп — спит, словно живой. Засыпать обратно! Переходило так от одного костра к другому. Федоровцы не пробовали принявших тунгетит бедняг обрабатывать теслектричеством, накачивать тьмечью — но ведь при том ни Аэростатный Немой, и Алистер Кроули, ни отец не знали принципов черного электричества доктора Теслы, не имели доступа к его машинам. Лопата — гроб — труп — засыпать. И снова поворачивая монету другой поверхностью — ведь белое электричество тоже проявляло себя в природе, прежде чем мистер Фарадей первым построил динамо-машины и электродвигатели. И есть немногочисленные люди — как тот Август Фонделя из-под Житомира — рожденные с бело-или чернофизическими свойствами, сдвинутые на самые концы шкалы, как и во всей природе нормальным является то, что в любом распределении посреди шкалы накапливается большинство: достаточно мало имеется карликов и великанов, намного больше людей ни слишком высоких, ни слишком низких; крайне мало абсолютных кретинов и несомненных

гениев, гораздо больше серых людишек, предназначенных для того, чтобы прожить банальной жизнью. Не так, как Кроули. Не так, как отец. Лопата — гроб — труп — засыпать. Но здорово было бы, чтобы монетка еще раз блеснула Луне: как это должно было бы отразиться в мелочах? Лют — это перемороженный гелий, самовольно перетекающий сквозь наименьшие щелки, по линиям стока и вверх. Но человек? Человек — человек представляет собой мясо, кости, постоянное тело, он не перетечет сквозь глину и песок на Дороги Мамонтов — здесь мы имеем конкретный организм, животный, и рядом — геологические формации. Не может такого быть! Какая физика, какая биология позволит такое? Логика, логика в этом нет! Лопата — гроб — труп... Нет трупа. Яков Устинович чуть не свалился в могилу, склонившись за фонарем. Господин Щекельников подцепил крышку и вскрыл гроб, и тот оказался пустым. Арский подал фонарь Чингизу, тот подсветил ниже. Остался только перемороженный мусор: земля, щепки, лохмотья черной ткани. Крышка гроба без повреждений, а вот дна просто нет. Господин Щекельников закурил папиросу, амбалы выдыхали затветью, лунный свет разливался по кладбищу, снегу, туману и всему Городу Льда. Я-оноподняло крест, прочитало имя федоровца: Иван Тихонович Копыткин. Умер и недавно сошел на Дороги Мамонтов.

О Дочке Зимы и девочках прекрасных, о войне духа с материей и тяжелой любви к телу

— Шестой день.

— Что это вы там бормочете?

— Замерзну.

— В танце быстро разогреетесь.

— Вот тут уж извиняюсь перед панной: танцор из меня никакой.

— *Sans blague* ^[317], вы же танцевали с Еленой в Экспрессе.

— А, тогда у меня была больная нога.

Mademoiselle Филипов надула губки, неодобрительно глядя из под снежно-светлых ресниц.

— Господин Бенедикт ведь пообещал, что больше не станет валять дурака!

— Я и не валяю, — поклялось я-оно, прижав руку в белой перчатке к белой же манишке фрака. — Я никогда и не валяю.

Девушка пырнула в грудь сложенным веером, словно стилетом.

— Ну зачем вы со мной так поступаете? Не можете, хотя бы сегодня — как нормальный человек? Сами меня попросили, а теперь...

Галантно поцеловало ее ручку в кружевах.

— Да чтоб меня молнией ударило и в уголь спалило, если незамедлительно дюжина кавалеров к вам не подойдет!

Кристина огляделась по хрустальной галерее.

— Так ведь я же никого не знаю... — неуверенно пролепетала она.

Но и вправду, Кристина Филипов смотрелась великолепно — с золотистыми, высоко поднятыми волосами, охваченными легкой, серебряной диадемой, с высоко поднятым бюстом под открытыми плечами, с сильно затянутым лифом, как это замерзло в моде девятнадцатого века здесь, подо льдом, плотно стянутая в талии бальным платьем из шелка самого благородного шелеста. Зарозовевшаяся, под *rouge* ^[318] бального *maquillage* ^[319], более всего она походила на пухленького подростка, не до конца еще расцветшего в женщину —

дебютантка на первом своем балу.

Из-за галереи на паркет холла, бального зала и открытых комнат выплывали очередные пары; *mademoiselle* Филипов выглядывала, чтобы присмотреться к ним с высоты; фоном была заснеженная тайга в лунном сиянии. Дворец генерал-губернатора располагался в тридцати верстах от Иркутска, в губернском имении, на сотнях паутинных зимназовых перекладаинах — подвешенный в небе между тучами и звездами, где никакие люты не могли достать графа и его гостей. Сюда въезжали по серпантину пандуса длиной в половину версты, с таким незаметным уклоном, чтобы олени без труда могли затянуть сани по льду. По большей части дворец был выстроен из чистого мираже-стекла — стеклянными были пол и стены, по крайней мере, первого этажа. Когда внутри зажигали все лампы и свечи, как сейчас, могло показаться, что ночная тайга до самого горизонта мерцает радужными и калейдоскопическими отблесками.

— А вон то — там не княжна Татьяна? А граф Шульц — вы узнаете графа Шульца, господин Бенедикт? — шептала *mademoiselle* Кристина, незаметно показывая из-за веера на ту или иную особу. — А господин Победоносцев, похоже, и не появится? Но вчера в гостинице я слышала, будто бы в Иркутск специально прибыл генерал Мерзов со свитой. *Il'y a du monde ici!* [\[320\]](#)

— По крайней мере, Сибирь.

Возможно, по причине шестидневного поста — очередная уверенность единоправды блеснула в голове: резкая, ослепляющая.

— Вы никогда еще не были на балу. В нью-йоркском обществе вы вращались... в качестве кого?

Девушка вновь вспыхнула.

— Ах, так вы тоже шли на пари, или я не права? В поезде, как все. «Его дочка, внучка или любовница?» — Кристина вздохнула так глубоко, что грудь чуть не выскочила из декольте. — Хорошо, я скажу вам, где тут правда...

Я-оно как можно скорее охватило ее вокруг талии, под которой девушка была защищена китовым усом кринолина, повернуло, кладя белый палец ей на губах, тем самым закрывая ей ротик, Та сделала большие глаза.

— Тссс! — зашипело. — Ничего вы мне не расскажете! Ничего подобного! Не хочу знать. Неужто я не мог расспросить самого Николу? Но нет! Буду защищаться до последней капли тьмечи! О женщине — ничего конкретного, вы понимаете?

— Н-но, но... — заикнулась Кристина, — почему же, нет?

— Доктор Конешин был прав, это мужской недуг.

— Что вы говорите?

— Правду. — *Я-оно* отступило от балюстрады. — Пошли, пора представить вас обществу.

— И вы станете меня представлять? — она вновь выдула губки, инстинктивно поправляя бальные перчатки и складки платья, сзади сходящиеся под скромный турнюр.

Подало ей руку.

— Для этого события я даже напечатал для себя визитки. Ну нет, не я сам. Панна считает, что я не изучил предварительно их обычаев?

— Жаль только, что по академическим учебникам нельзя научиться танцевать, — вздохнула девушка, спускаясь по спирали лестницы на мираже-стекольный пол, то есть, на небо над тайгой.

— Если бы подобным вещам можно было выучиться по книгам, мы были бы только тем, что прочитали, панна Кристина, и осталась бы небольшая разница между письменной инструкцией к человеку и человеком живым. Разрешите представить: господин адвокат

Модест Павлович Кужменьцев, приятель двора; мадемуазель Кристина Филипов.

Девушка искусно присела в книксене. Старик во фраке, поддерживаемый лакеем в ливрее дома Шульцев, оставил поцелуй на ручке.

— Прелестная, прелестная, — забормотал он из глубин бороды. — Воистину, Венедикт Филиппович, вы несправедливы, дайте-ка поглядеть на эту улыбку, дитя мое, ах, еще немножко тепла на старые кости...!

Девушка зарумянилась словно розочка, что лишь прибавило ей очарования.

Адвокат махнул тростью смуглому офицеру в парадном гвардейском мундире, который как раз кланялся у двери двум салонным злюкам, выступающим в свертхтяжелом весе, и которые совершенно заблокировали дорогу остальным гостям.

— Мне тут показалось, что никто лучше, как наш Аника-воин после английских школ — ну, иди же сюда, наказание божье, снова его увели — поручик Андрей Авивович Ростоцкий из Преображенского полка — *mademoiselle* Филипов, прямиком из Америки через Европу к нам прибывшая, по приглашению Его Императорского величества, так? — но это все уже, дитя мое, ты сам ему расскажешь — позаботься о девушке, Андрюша — потому что я попрошу *гаспадина* Ерославского в сторонку, уфф, погоди, погоди...

Он достойно отбыл в комнату рядом, ассистируемый уже двумя лакеями. Я-онобросило многозначительный взгляд — заметила ли? Девушка уже кокетливо поглядывала на поручика Ростоцкого, при этом чудно краснея, а тот, пристойное животное, бородка-испанка и беленькие зубы, очаровывал ее английскими комплиментами, скорее всего, совершенно откровенными.

Модест Павлович устроился на оттоманке, обложенной подушками, под коллекцией волчьих голов, подвешенной здесь на мираже-стекольной стенке; сразу же за ней проплывал новый поток гостей, черные фраки, белые манишки, двухцветные мундиры, все это пестрит орденскими звездами и лентами, дамские туалеты тоже цветастые — золото, бриллианты, золото, бриллианты: наивысшая аристократия и буржуазия царской Сибири.

Адвокат застучал тростью по полу — далеко под его ногами, над зимнецветным лесом, ветер взбивал из снежной пыли гоголь-моголь; один оборот спиральной метели на пару верст.

— На галерее были?

— Там его нет.

— Тогда ожидайте у лестницы. Это ведь именно такой человек...

— Хмм?

— Встанет в тени, будет присматриваться сверху. На галерее или за колоннадой, опять же, сможете увидеть его, когда он пойдет через холл.

— А Ангел?

— Ангел еще не пришел, мне должны шепнуть, когда появится. А может и вообще не появится; Победоносцев прислал свои поздравления вместе с извинениями.

— Тогда зачем им я?

— Пфффх, тысячи поводов, в большинстве для вас трагичные. Ежели что, не дай Боже, — старик перекрестился, раз, два, три, под конец целуя перстень, — у вас есть кто-нибудь, кто бы вам прикрыл спину?

— Здесь? На балу у губернатора?

— А знаете, сколько здесь оттепельников, приехавших специально по приглашению графа Шульца? Не вспоминая тех же придворных, которым досадил Распутин.

— Здесь меня никто не знает.

— Это вам так кажется, а? — проворчал старик и сунул в нос понюшку табаку. — Ладно, фрак на вас еще как-то лежит, но ведь можно было и постричься по-человечески!

Прошлось перчаткой по гладкому черепу.

— Как раз постригся.

— Так и бороду нужно было сбрить! А то выглядите, как... как...

— Как?

— Отшельник какой-то из скита во дворец силой приведенный! — Модест Павлович чихнул, засопел, его гневный запал куда-то испарился. — А может оно и лучше, ведь люди чего-то ожидают от крови Батюшки Мороза, ведь так? Об одном лишь не забывайте: господина Белицкого во всем этом и на крошку нет.

*Я-оно*стукнуло себя кулаком в грудь.

— А если что, — сказало по-немецки, — имеется мощный револьвер.

Кужменьцев прикрыл глаза рукой.

— Господи, кого же это я в салоны впустил...

Вместо того, чтобы стоять на страже у лестницы, *я-оно*вновь поднялось на галерею и там присело в самом дальнем, укрытом в тени углу — который получился в стеклянном дворце губернатора только лишь на этаже, где полы и часть стен были выложены уже обычным кирпичом, ведь слишком неприлично было бы делать дом прозрачным на всех его уровнях и во всех сечениях.

Как оно обычно бывает на подобных приемах — во всяком случае, *я-оно*считало, будто бы это является нормой — гораздо больше интересных вещей происходило вокруг главной притягательной точки вечера, чем в центре всеобщего внимания, то есть, в громадном мираже-стекольном танцевальном зале, образцом для которого, похоже, была Зеркальная Галерея Людовика XVI, под тунгетитовыми люстрами, которые от тьвета прикрытых колпачками тьвечек бросали огненные отблески. Там, в пятидесяти аршинах дальше, на другой стороне галереи, готовились музыканты, побрякивающие и позванивающие настраиваемыми инструментами; здесь же, со стороны входа, сходились и расходились под галереей — в шесть коридоров и в дюжине стеклянных салончиков — родственники, знакомые, друзья и враги, любовники и *hommes d'affaires* ^[321], русские и поляки, русские и немцы, русские и французы, русские и подданные императора Австро-Венгрии, русские и те высоко рожденные, которые до конца уже не приписывались к какой-либо национальности или подданству: говорящие на языках салонов и лояльные в отношении домов, которым плевать было на границы, политики и религии. Князь Василий Орлов с княжнами, великий князь Дмитрий Павлович, *Prinz* Григорий из ольденбургского дома с княжной; великий князь Николай, дядя царя, изгнанный Распутиным из Европы; генерал Мерзов с супругой... Дамы отдавали пелерины *sortie de bai* ^[322], получали разукрашенные бальные блокнотики, чтобы записывать в них очередность приглашенных на танец; господа ласкали белые галстуки под горлом... Граф Шульц-Зимний в парадном мундире — должно быть, именно он — приветствовал важных гостей, стоя в сужении холла, на дне громадного снежного водоворота.

Присматриваясь к ним, к их отражениям и призматическим воплощениям, переливающимся из роскоши в роскошь в мираже-стекольных стенах и колоннах, внезапно ощутило странное чувство оторванности: Бог стиснул кулак и отодвинул дворец Шульца на половину способности разобраться подальше. *Я-оно*глядело вовнутрь террариума. Или же изнутри замкнутого террариума — на них, живущих на свободе. Ведь это же два совершенно разьединенных, в самом буквальном, библейском смысле, мира; между ними поверхность небьющегося стекла. Что бедный математик-репетитор, сын польского ссыльного делает на балу у генерал-губернатора Шульца-Зимнего? Вывезти якута из тайги к петербургскому двору, и пускай попытается найти себя в столь чуждой для него стихии! И что же — смеяться над

всем этим? или, скорее, пугливо дрожать? Самое паршивое, кожа на руках уже совершенно не горела.

По галерее прошли две пары, пробежал обеспокоенный камердинер; девушка, развевающая карминовыми лентами; пробежала собачка и служанка, догоняющая собачку своей хозяйки; кто-то вошел и спустился; кто-то вошел и, смеясь, замахал над перилами; кто-то вошел и закурил сигару.

Под тунгетитовыми люстрами объявляли выступление Евгения Виттинга и Фрица Фогельстрема, весьма знаменитых теноров.

— *Quel dommage* [\[323\]](#) .

— *Pardon?* — тот оглянулся, отняв сигару ото рта.

— *La Pere du Gel n'a pu venir.* [\[324\]](#) — Поднялось и подошло. — Представляете себе, — одним жестом охватило весь стеклянный дворец, — такая вот *tableau* [\[325\]](#), замороженная навечно в чистейшем льду: все ваши богатства, все ваши надутые мины, спесивые ордена, переевшиеся сладостями дамы. Капля Истории, История в замерзшей капле.

— Господин Герославский глотнул вина политики, — произнес Франц Маркович Урьяш и угостил сигарой, извлеченной жестом фокусника из-под фрака. — И теперь у него язык заплетается от пьяных аллюзий.

— Зачем вы дали мне те секретные карты и отчеты Министерства Зимы?

— Ну, как же? Чтобы вы могли обнаружить отца.

— Ага. — Закурило. — Обнаружить отца. И тогда — что?

Тот поправил светловолосую прядку на лбу, по бледному лицу проплыла светень.

— Капля Истории, говорите. — Он провел сигарой над радужной картиной, словно художник, снимающий мерку. — Видите вон там князя Фольша? Как раз присосался к Его Превосходительству. Когда-то у князя было имение в пятнадцать тысяч душ и миллион дохода ежегодно. А теперь нищенствует при дворах и домах родичей.

— В немилость попал?

— Немилость? — фыркнул Урьяш. — Лед пришел, вот что. Князь вложил громаднейшие средства в предприятия, которые сразу же после введения зимназовых технологий оказались никому не нужными и совершенно обанкротились.

— Ага. Так он оттепельник.

Урьяш надел очки на нос, глянул с близкого расстояния с клиническим изумлением.

— Вы лучше присядьте, Венедикт Филиппович, а то сказанное будет для вас слишком большим шоком. Эти люди; большинство из них — ладно, буду откровенным: почти все эти люди, за исключением, возможно, некоторых чиновников, вознесенных на свои посты собственными амбициями, как Тимофей Макарович, у всех этих людей нет достойных внимания политических взглядов, потому что они обычные глупцы. Знаю, что эта болезнь совершенно чужда вашему опыту, и вам сложно проникнуться эмпатией, но попытайтесь: они глупы, один от другого ничем не отличаясь, словно сибирский валенок. «Ледняки!» «Оттепельники!» Это означало бы, что в своих пустых головах они что-то скомбинировали ради собственной пользы: что для них будет выгодна та или иная политика, История, текущая в ту или иную сторону. Но послушайте хотя бы минутку их банальные разговоры, идиотские дискуссии, ведущиеся с громадной серьезностью. Да ребенок, играющийся куклой, больше понимает в человеческой анатомии, чем они в делах мира, располагающегося за пределами их салонов. Скучающие дамы встречаются, чтобы пережить нечто возбуждающее на спиритических вечеринках и теософских лекциях, и так они, чисто из моды, господин Герославский, чисто из моды, попадают в распутинские крут, и вот я слышу, что у нас в России имеются некие «придворные мартиновцы». Ха! Или, один помещик с

другим, упившиеся вдрободан, танцую с медведем, подбивая друг друга на еще большие безумия: ага, а не пойти ли нам в политику — а какая сейчас мода политическая? Демократы? Народники? Социалисты? Либералы? Ледняки? Оттепельники? Ну, за что хвататься! *Et voila!* Так в России было всегда, и так и будет, раз уж так замерзло. Ибо, тем сильнее, когда приезжают сюда, под Лед — какая правда о них, — тут он начал тыкать сигарой в одну или другую фигуры, — глупец! дурак! идиот!

Спустило по языку длинную дымную струю.

— Что случилось? — спросило вполголоса.

Тот открыл было рот, но в последнее мгновение сдержался. Только усмехнулся и спрятал пенсне.

— Идите, пожалуйста, за мной. Шагах в десяти, чтобы не возбуждать сплетен. Что ж, Венедикт Филиппович, попробуем помочь вашему несчастью.

Он спокойно сошел с галереи и свернул в левый коридор. Пошло за ним ровным шагом, сигара помогала сохранить внешний вид безразличия. Что же произошло, размышляло *я-оно*, не спуская глаз со спины худого мужчины, ну так, случилось то, что вновь какой-то глупый приказ, совершенно нелогичный пал на Шульца и его людей и перевернул их политические планы, спутал их ряды, уничтожил уже наготовленные стратегии. Погруженный во фрустрацию Франц Маркович теперь плюется горечью на Санкт-Петербург и все петербургское. D следует из C, которое, в свою очередь, следует из B. И где теперь в этой мозаике крупной имперской политики очутится Отец Мороз...?

Урьяш указал на вход в угловое помещение, непрозрачное, то есть, со стенами, отделявшими его от остальной части дворца, возведенными из кирпича или дерева. Вошло в середину; Урьяш попросил ждать его терпеливо, отступил с порога и закрыл за собой дверь. Внешние стены и пол, не прикрытый каким-либо ковром, открывали панораму ночной тайги, освещенной месяцем в первой четверти, громадные пространства разноцветного льда и снега. Открыло часы. Без семи минут девять. В глубине дворца раздались первые такты музыки. Поискала пепельницы. В витринах и на внутренних стенах этого личного кабинета была представлена богатая коллекция мамонтовой кости и чернородков. *Mijnheer* Иертхейм как-то показывал один: конгломерат тунгетита, собранный сороками с поверхности земли, ранний отпрыск от основной массы, упавшей над Подкаменной Тунгуской. Это была наиболее ценная форма тунгетита, поскольку его ценность не определялась исключительно по весу, но прежде всего — по форме и составу. Чернородки, походящие на фигурки людей и животных бурятские шаманы считали самыми сильными талисманами. Существовали полиминеральные *холодовники* тунгетита, прошедшего жилами в кварц, в гранит, кривые холодовники песчаника и тому подобные. Стоимость коллекции графа Шульца должна была превосходить сотню тысяч рублей. *Я-оно* любовалось экспонатами, медленно прохаживаясь вдоль шкафов и застекленных стеллажей. Некоторые из чернородков производили огромное впечатление; трудно было устоять перед мыслью, что они не были каким-то чудом отлиты каким-то инородческим художником из тунгетита — то в виде беременной женщины, то мамонта, то стоящего на коленях человека или вот, человека с оленьими рогами... Вспомнились слепленные-замороженные «Франкенштейны» безумного Пегнара. Вздрыгнуло.

Затем уселось в кресле, стоящем в углу, то есть, в воздухе над пропастью. Невольно скрестило руки на груди, инстинктивно защищая тело от мороза. Ну хорошо, допустим, что план удастся, и губернатор предоставит свою защиту, даст благословение и бумагу на путешествие к сердцу Зимы с проводниками и шаманами, и что даже удастся контрабандно провезти и на месте применить насос Котарбиньского, который тем временем Тесла настроит на людей, и что отец, отмороженный подобным образом, не умрет, и, скажем, все сложится

удачно — но как потом смыться с фатером от внимания всей честной компании, как не столкнуться на ледяных просторах Сибири с государственными следопытами, как безопасно пробраться затем в Харбин или же на корабль во Владивостоке? Даже если бы и удалось договориться с японцами, все это приведет лишь к тому, что вместе с отцом попаду я в руки к Пилсудскому, а не в руки генерал-губернатора. Один Господь знает, что хуже.

Так или иначе, пускай даже это и должно было означать явную неволю, следовало быстро решать, пока Никола не перешел к испытаниям Большого Молота Тъмечи на Байкале — ибо тогда все уже будет одной громадной лотереей: выплюнутый где-нибудь в пустыне, словно тот же Аэростатный Немой, даже если отец и переживет саму Оттепель, если тот резонанс тъмечи не разорвет его на части, как предсказывает всему Льду со свойственной ему самоуверенностью Никола...

Схватилось с места, подбежало к двери, рвануло за ручку. Закрыто. Взвыло по-звериному.

И как можно быть таким идиотом! То, что хотелось сдержать слово, данное панне Филиппов — и вот, пожалуйста, ум замерз в ледышку, хоть молотком его бей, даже половину мыслишки свежей не отскочит!

Закрыто, закрыто, а ведь это единственная дверь, хорошенько Урьяш комнату выбрал, сквозь стены никто ничего не увидит, а окон, ясное дело, губернаторский дворец не имеет, впрочем, какая тут от окон польза, под ними же пропасть. Пнуло плевательницу, та звякнула, ударившись в мираже-стекло; пнуло ножку дивана — взвыло от боли.

Закрыл, побежал сообщить Шульцу, подождут, пока бал закончится, тогда пришлют костоломов своих, а то и жандармов, вызванных под любым предлогом; на том все дело и завершится. Ругаясь про себя без складу и ладу, вырвало из-за пояса Гроссмейстера, развернуло тряпки. Черный револьвер играл холодными радугами в белой ладони.

Закусило зубы на сигаре. Итак, с самого начала это было ошибкой, не следовало сюда приходить. И случилось — ну да, случилось то, что теперь уже Шульцу Отец Мороз не нужен, по-видимому, такие пришли приказы, что ему теперь не помогут никакие переговоры с лютами; ба, само присутствие Сына Мороза для губернатора является компрометацией, адвокат Кужменьцев что-то предчувствовал, ведь приглашение поступило в результате махинаций Победоносцева, что-то здесь с самого начала не сходилось, только ведь как человек поспеет за оборотами шестерен Державы, как сможет предугадать мысли царя-Бога — никогда их не предугадает. Проверило тунгетитовый патрон в барабане, оттянуло курок скорпиона. Выстрелить в мираже-стекло пола? (Далеко внизу, над чашей вращалась спираль снежного тумана.) В самом лучшем случае, *я-ононе* выпадет, сразу же ломая себе шею — за то, с полной уверенностью, через пару минут замерзнет. Выстрелить в двери? А вдруг Урьяш поставил кого-то за ними? Тогда, может, в стенку. Глянуло на шкафы с экспонатами, и вот тут некая идея начала выклеиваться под черепом.

Рамы, проволочные стойки и подсвечники были из зимназа, холода с высоким содержанием углерода. *Я-оноу*ложило их вдоль внутренней стенки, в самом дальнем от двери месте, сдвинув другую мебель в сторону. Всовывало проволоку под настенные панели, забивало свечные канделябры в стену, стуча по холодному металлу рукояткой Гроссмейстера. Ведь если заморозить стену, это никак не поможет; стену необходимо взорвать, а это может сделать лишь мороз, на вещество напирющий, то есть, в форме льда. Чернородки послужат основной контртепловой массой. С другой стороны, если тепло удара превращается в контртепловом материале в мороз, то как поведет себя такой материал под ударом мороза? Отдаст тепло? Ведь тунгетит светится под воздействием тьвета. Только как все это пересчитать, в каком масштабе — такую вот антитепловую волну? Проходя через тунгетит, волна изменяла бы атомы попеременно: холоднее — теплее — холоднее — теплее —

холоднее... Не это ли взорвало люта? Но ведь тунгетит никогда не нагревается, тем более — на морозе. Быть может, существуют такие особые зимназовые холода, например, вот этот, никелевый, примененный в конструкции Гроссмейстера — он обязан подавить тунгетитовый холод в конструкции бойка и ствола... Попыталось воспроизвести из памяти-непамяти подробности событий на станции Зима, модель всего того морозного взрыва. Куда ударила пуля, как мороз вошел в зимназовые рельсы... И что писал доктор Вольфке в своих заключениях по опытам, проведенным в *холоднице* мастерской. Воздух сжижается и превращается в твердое тело... Тунгетитовый молоточек инженера Иертхейма, стучащий по термометрическим наковаленкам... Тепловая сверхпроводимость... Собрало чернородки в одну черную пирамиду, зимназовые опоры отходили от нее по стенке запутанными лабиринтами, словно электрическая схема, смонтированная из деталей, выкованных в стиле барокко. Отойдя в противоположный угол, за оттоманку, прицелилось из Гроссмейстера. Вся установка, если глядеть одним глазом вдоль ящера-ствола и рога-мушки, припоминала небольшой алтарь какого-то языческого культа — а, может, местные дикари и устраивали себе подобные...

Дверь открылась, и вошла самая красивая *девушка*, которую видело в своей жизни.

Я-оно замерло, инстинктивно направив оружие на нее. Ее беленькое платье, окруженное у корсета облаками голубого тюля, обхоложенное пух-золотом, висело над снежной пропастью словно ангельское облачко с религиозной картинки. Девушка сделала шажок, и все банты, кружева и нижние юбки зашелестели, словно подул ветерок. Затем второй и третий шажок — *я-оно* стояло, как вкопанное — она же, вместо того, чтобы удирать, подошла и коснулась ствола Гроссмейстера вытянутым пальчиком. Серебристо-жемчужное кольцо мерцало на ее алебастровой груди с каждым ускоренным дыханием.

Вынуло изо рта закусанную сигару, выдохнуло табачное облако.

Красавица засмеялась, словно покатились жемчужинки.

— *Que c'est beau!* [\[326\]](#)

В каштановые волосы, распущенные по-крестьянски, был вставлен цветок неизвестного вида, фиолетово-пурпурный. Захоложенные в мираже-стекольных сережках бриллиантовые звездочки поблескивали попеременно с колье. *Я-оно* подавило защитный инстинкт: поднять руку, закрыть глаза.

А на пороге новый ералаш: Урьяш с покрытым орденами господином, с двумя лакеями и еще какими-то людьми сзади. Девушка вострепелась, словно встревоженная птичка, развернулась на месте, помчалась к двери, добежала до важного лица, которое только теперь узнало. — *Oh, para..!* — и, обняв того за шею, начала что-то нашептывать ему на ухо.

Как можно скорее спрятали Гроссмейстера под фрак и белую, пикейную жилетку.

В конце концов, Франц Маркович вытолкнул лишнюю компанию в коридор, остался один только генерал-губернатор Шульц-Зимний и его лакеи, как можно скорее пододвигающие ему кресло, устраивающие возле него курильницы, подставляющие под вытянутую руку столик с хрустальной и мираже-стекольной посудой, наливающие напитки быстрее, чем хозяин пошевелит пальцем. Тяжело вздохнув, граф устроился в готическом кресле, скрестил в щиколотках вытянутые ноги, лакей тут же подставил под них ампирную скамеечку.

После этого Шульц разрешающе кивнул, и *я-оно* уселось на стуле, уже подготовленном лакеем на приличествующем расстоянии. Другой лакей вырвал из руки сигару. Сидело прямо, словно аршин проглотив, со сложенными коленями и руками на них. Плохо спрятанный Гроссмейстер давил в почку.

В соответствии с математикой характера Края Правды (Белицкий, а значит, и Кужменьцев, а значит — и Шульц), генерал-губернатор иркутского губернаторства был

человеком успешным, то есть, некто, по сути своей выделяющийся в высших сферах Российской Империи, ибо не на высотах рожденный (с которых, самое большее, можно было лишь упасть), но самостоятельно карабкающийся вверх; не привыкший к успехам в обществе, но успехи претворяющий; не жаждущий этих успехов, но желающий чего-то такого, на что может претендовать только лишь благодаря успехам. Родом он был из обедневшего помещичьего рода, кресло губернатора получил на вершине военной и министерской карьеры. Только иркутское генерал-губернаторство после Зимы Лютов не выглядело приятной наградой для придворного фаворита, скорее — опасным вызовом и полем тяжкого труда, в противном случае, лицо покроя Тимофея Макаровича Шульца его бы и не получило.

Граф поднял ладонь, в которую ему тут же вложили платок; он откашлялся в него, повернув голову в сторону благовоний. Седящая борода была подстрижена по шведской моде, разве что только с буйными, такими же сидящими бакенбардами. Он сильно лысел, огни керосиновых ламп отражались на высоком лбу. На его груди сиял орден Святого Андрея Первозванного, подвешенный на тяжелой трехчленной цепи, с ало-синими, серебристо-голубыми, багряно-золотыми медальонами, с фигурой апостола, распятого на кресте святого Андрея, что была наложена на золотом двуглавом орле в тунгетитовой оправе. Орла на восьмиконечной звезде ордена окружала надпись: «*За веру и верность*».

Граф помигал, глянул на Луну, глянул на обледеневшую тайну под ногами, глянул на «выставку» из тунгетита и чернородков и вновь опустил веки.

— А вы, случаем, не какой-то там мартыновский фанатик?

— Нет, Ваше Сиятельство.

— И слава Богу. — Он еще раз откашлялся и отбросил платок лакею. — Вы уж простите мою дочку, услышала про Сына Мороза и, что поделать, женского любопытства не сдержать. Что ни говори, еще ребенок. Но вы, — туг он глянул умными глазами, — как вас там, Венедикт Филиппович, так?

— Так, Ваше Сиятельство.

— Вы производите впечатление конкретного человека. Франц Маркович говорит, будто бы вы математик. Что, признаю, еще не является гарантией большой практичности в жизненных делах. Читал я вашу, хmmm, «*Аполитею*»...

— Ваше Сиятельство читает подобные газетенки?

— А где еще можно прочесть что-нибудь интересное? Ведь не в прессе же, благословенной нашими правоверными чиновниками. Там никогда не пройдет ничего, что могло бы возмутить умы добрых россиян. Если желаешь знать, что там ворочается в глубинах русской души, читай нелегальщину на папиросной бумажке. Ее для меня собирают каждую неделю, весьма поучительное чтение.

...Выходит, так, — втянул он дым кадильниц в легкие, — выходит, вы считаете, будто бы наш Наимилостивейший Император и премьер, и все министры, и все учреждения, и я, к этому же примеру — будто бы Лед всех нас сделает излишними?

— Да.

Тот хитро усмехнулся.

— Ваше Сиятельство само видит, — наступало *я-оно*, — что и Г осударь Императоруверен в том, пускай из снов и предчувствий, а не из знания; и потому так защищается, потому желает войны с лютами.

— Александр Александрович считает, что вы ледняк.

— Победоносцев?

— Но при втором прочтении я все же заметил, что вы написали тот текст таким образом,

чтобы никак нельзя было утверждать: действительно ли хотели бы вы такого Царства Небытия?

— Прошу прощения, но что, собственно...

Тот вздрогнул, в глазу блеснула первая искра раздражения.

— Возможно, я и отдам вас охранке, — ответил граф, — а может, отошлю к родителю с амнистией, но, с какой бы пользой не решил вас употребить, вначале нужно ведь узнать инструмент, который держу в руках, правда?

Я-оноскривилось.

— Узнать человека...

— Сказали чего-то? — рявкнул тот.

— Я не ледняк, — произнесло резко, глядя ему прямо в глаза. — Но я и не оттепельник.

— Но верите в Историю подо Льдом. Так кто же вы тогда?

Кто? Закрыло на мгновение глаза от люстр и хрусталей, от чужого взгляда. Шестой день Мороза. Кто?

— Я... математик. Математик Истории, *le Mathématicien de l'Histoire*.

Граф Шульц-Зимний соединил ладони кончиками пальцев, оперев подбородок на больших пальцах. Сейчас он глядел из-под бровей, из-под высокого лба.

Слуги удалились из поля зрения. Если не считать дымов из каминов, ничто не заслоняло сибирского горизонта, чистого, покрытого звездами неба и снежных вихрей под ним, крутящихся в неспешных, радужно-цветных протуберанцах. Готическое кресло, скамеечка под ногами, твердый стул, камины — *я-оно* висело здесь, над Краем Лютов, словно слова, произнесенные в абсолютной тишине.

— Три месяца, — сказал губернатор, — Успеете ли вы договориться с ним за три месяца?

— Если его найду.

— Господин Урьяш дал вам все карты и указания.

— Это уже не актуально, Ваше Сиятельство, так Дорог Мамонтов Батюшки Мороза вычислить нельзя.

— Почему же так?

— Их больше, чем он один. Самое малое, их трое, возможно — четверо.

— Отцов Морозов? — отшатнулся граф.

— Людей, которые во плоти сошли на Дороги Мамонтов. — *Я-оно* выпрямляло пальцы при отсчете [\[327\]](#). — Аэростатный Немой. Некий Иван Тихонович Копыткин, бедный зимовник из секты мартиновцев-католиков. Филипп Филиппович Герославский. Возможно, Алистер Кроули. Это черnofизический процесс, а не божественное чудо.

— Так, говорите, вам не удастся.

— Этого я не сказал. Ваше Сиятельство, что случилось с Каролом Богдановичем и Александром Черским?

Тот наморщил брови.

— С кем?

— Геологами, первыми описавшими Дороги Мамонтов.

— Это дело мне не известно. Спрашивайте у Франца Марковича.

— У меня такое подозрение... Ваше Сиятельство, простите, я буду говорить откровенно.

— Ты будешь говорить откровенно, даже если будешь говорить ложь.

Я-оно облегченно рассмеялось.

— Это правда! Даже, когда говорю ложь; в особенности — ложь. Но тут... Ваше Сиятельство не посвящает мне своего ценного времени на балу по случаю обручения дочери ради каприза господина Урьяша — но поскольку вас к тому принудила политическая

необходимость. Ваше Сиятельство видит, что мне не нужны грязные деньги от Раппацкого; мне важен только отец. Вашему Сиятельству нужно время, и мне важно то же самое время. Три месяца, так. Догадываюсь, что имеется какой-то ультиматум из Петербурга, возможно, это работа *агентов* Моргана. Причины в данный момент значения не имеют. Ведь надо мной тоже висит меч. Ваше Сиятельство ведь знает про императорский контракт доктора Теслы.

Тот кивнул.

— Доктор Тесла — мой друг, — продолжало *я-оно*, не меняя тональности и не отводя глаз, что было сейчас крайне трудно, — но доктор Тесла предсказывает тотальную Оттепель и смерть Льда, и я верю, что ему это может удастся, потому что он такой человек, который сделал карьеру, достигая умом вещей, которые до него все признали невозможными. Ничто и никто его не удержит, я же не думаю, будто бы Ваше Сиятельство...

— Можете больше не говорить, приказ *Его Императорского Величества*. Здесь у доктора волос не упадет с головы.

— В тот-то и оно. Так вот, здесь очень четкая, математическая зависимость. Я ведь тоже не позволю сделать ему ничего плохого — и, вместе с тем...

— Вы должны спасать отца, так.

— И какой здесь для меня единственный способ? Императорское слово. Он отзовет Теслу, он запретит Оттепель и всяческую подобную направленную против Льда инженерию, и тогда же он оставит Вашему Сиятельству край в покое. Но, перед тем, как люты должны будут отступить в соответствии с политическим договором, нужно будет разделить Историю на куски. У вас осталось три месяца; у меня — время до Оттепели. Видите, мы имеем в виду то же самое, мы оба выгадываем на достижении одной и той же цели.

Губернатор медленно дышал сладким благовонием, склонившись в кресле набок; ордена на мундире поехали в сторону.

— Что я вижу — вижу, что вы чистосердечно лжете, — сказал он и резко поднял руку, как только *я-оно* открыло рот, чтобы протестовать. — Имел я дело с урожденными поляками: жулики величайшие — но открытость, до мозга костей, потому что всегда остается эта ваша гордость, эта глупая дерзость, от которой не можете избавиться даже перед лицом смертельной угрозы, так что в Лете любой мужик, что способен перед клиентом раболепствовать, легко вас вокруг пальца обводит. За то в Зиме — если бы мог, то все должности в Цитадели отдал бы полякам. «Аполитея», как же! — Он выпрямился в кресле. — Такой вот уговор у нас, под мое слово, будет: до конца января месяца тысяча девятьсот двадцать пятого года вы доставите доказательство договоренности с лютами; на это сейчас вы получите все официальные разрешения, людей из благовещенского полка, деньги на необходимые расходы, понятное дело — в разумных пределах, и временное приостановление всех приговоров по вашему отцу. Если в результате *Г осударь Император* позволит себя убедить, буду вам благодарен. Если нет... что же, тогда дело и так очутится за пределами моей власти.

— Доказательство, доказательство, — повторяло под носом. — Какое доказательство удовлетворит *Его Императорское Величество*? Так быстро Лед не отступит.

— Вы уверены?

— Я работаю у криофизиков Круппа, и знаю, какие скорости возможны в Морозе. Ваше Сиятельство, представьте Историю в виде горного ледника, сходящего по склону в долину.

Граф отпихнул табуреточку.

— Выходит — все напрасно, *c'est la fin* [\[328\]](#).

— Погодите! — В бессмысленном рефлексе, ведь кожа уже не свербела, начало расчесывать ладони через перчатки. — Какие доказательства сильнее всего держатся в Зиме?

Что здесь поддействует, скорее логикой, чем свидетельством чувств?

— Говорите яснее!

— *Ваше Сиятельство* ведь почитывает Цицерона? В Древнем Риме приговор в процессе часто предreshался так называемым «доказательством по характеру», то есть, свидетельством честности обвиняемого, которое давалось другими благородными римлянами — пускай даже сотня материальных, вещественных доказательств свидетельствовала против него. Ведь что важнее, что ближе к Правде? Нож и тело, или же дух и идея?

— Ах! — Граф Шульц-Зимний протянул руку, откашлялся в поданный ему платочек, после чего отбросил его за спину; юркий слуга схватил его в воздухе. — Понимаю. Правильно, правильно, именно так и следует сделать. Некто, кого *Милостивый Государь* уже одарил доверием... — Он снова задумчиво сложил ладони под подбородком. — Оно так хорошо складывается, что сейчас, на балу — вы останетесь, потом я еще пошлю за вами — наверняка найду кого-нибудь такого. Здесь есть два великих князя, но они... Хммм.

— Тем временем, еще один вопрос требует договоренности. — Смочило губы языком. — Содержание той договоренности с лютами. Ваше Сиятельство, обладаю ли я здесь свободой?...

— Вы же знаете, хотя бы от доктора Теслы, что удовлетворит Императора: освобождение из под Льда европейской России, в особенности, городов. Санкт-Петербург без лютов — одно это даст нам год, два.

— Мне известен, кхм, этот комплекс *Его Императорского Величества*, слышал, слышал. — Взглядом убежало к лунноцветным снежным вихрям. — Только ведь это вопрос не только температуры...

— Вы хотите спросить, верю ли я в теорию Николая Бердяева? Так вот — не верю. Можете себе заниматься математикой Истории, но Лед необходимо выставить так, чтобы и Императора успокоить, но и иркутской промышленности не повредить.

Я-оно закусил язык. Хотя это и сложно понять подо Льдом, но, чем больше здесь недосказано, тем лучше. Зачем вообще будировать эту проблему? Не спросишь ведь у генерал-губернатора Российской Империи: в не продаст ли он, *например*, Сыну Мороза свободную Польшу взамен гарантий зимназовых богатств?

— Мы еще не выяснили, — сказал граф, поднявшись из кресла над тайгой, с трона Сибири, — как вы собираетесь найти отца, раз не по вычислениям Дорог Мамонтов?

Я-оно тоже поднялось.

— Кароль Богданович и Ян Черский, они наверняка знали эту тайну. Цензурой закрыты геологические карты, научные труды и описание верований инородцев. На всем этом печать Министерства Зимы, но еще и Сибирхожето.

Граф разложил руки.

— Я не властен над Раппацким и Победоносцевым. С Александром Александровичем вы должны это дело решить сами. Думаете нанять их шаманов? Чтобы те прослеживали Батюшку Мороза по Дорогам?

— Возможен и другой метод: как только соображу в черно физических подробностях, как сходят на эти Дороги, пошлю туда следопыта... — постепенно замолкло, заметив, что граф Шульц какое-то время внимательно приглядывается к алтарю из чернородков в углу кабинета.

— Это ведь вы сделали.

Смешалось.

— Господин Урьяш приказал ожидать и...

Граф прищурил левый глаз.

— Красиво.

Он спросил у лакея время, подставил ухо, улавливая звуки музыки, доходящие из глубин дворца, поправил манжеты и ордена.

— Попрошу у вас об одной услуге, — произнес он, уже поворачивая к двери. — Моя Аннушка пожелала один танец, понимаете, на глазах у всего общества, уже вписала Сына Мороза в свой бальный блокнот.

— А-а, н-но... Я же не умею...!

— Ну-ну, — засмеялся генерал-губернатор, выходя, ему предшествовали слуги, другие слуги, с кадильницами находились в арьергарде, — не бойтесь, молодой человек, Анна, конечно, бывает энергичной, более, чем это девушке приличествует, но ничего плохого вам не сделает, хе-хе.

Последний лакей сунул мне в руку погасшую сигару.

Все вышли.

На сей раз двери остались открытыми настежь. За порогом на страже никто не стоял. Людские голоса и музыка плыли по хрустальным коридорам дворца, словно звук, выпираемый органными трубами.

Поправляя сунутый за пояс неудобный сверток с Гроссмейстером, обдумывало такую морозящую кровь в жилах мысль: если бы не сердитое желание *mademoiselle* Филиппов, если бы не этот шестидневный пост, кто знает, в какой кавардак страшных фантазий удалось бы себя завести — растопленный, трясущийся, словно тот Бенедикт Герославский из Транссибирского Экспресса, не выстрелило бы в панике в первого же человека, кто стал бы в двери.

Как можно скорее вышло из комнаты.

Herr Биттан фон Азенхофф стоял в кучке спорящих у кресла адвоката Кужменьцева, ежесекундно склоняясь к старику с ироническим выражением на лице и теле. Пьер Иванович Шоча над спинкой кресла дружески переругивался с попом и дамой в китайском парике, что, возможно, и было известной и принятой модой в Новом Свете и Европе за пределами Льда, но здесь подобная *coiffure* [\[329\]](#) вызывала впечатление несоответствующей, если не вульгарной. Поняв, что не удастся просто-напросто подойти и переговорить с Модестом Павловичем, привстало в небрежной позе под стеклянной стеной, на расстоянии тихого голоса (здесь сигара снова помогала).

— Так вот же — нет, так вот же — наоборот, совершенно не так! — парировал поп, дергая высокого служаку за пуговицу на гусарском мундире. — Не мог тебе такого Мерзов сделать, с каких это пор кавалерия самостоятельно идет на штурм укреплений? Неделью шли из Шантуна под обстрелом японцев, так еще и заставить их кровью истечь, идя вслепую в горы Зибо? Где карта, кто забрал карту?

— Супруга забрала господина полковника танцевать, — зевнул *monsieur* Шоча.

— Так вот, все делается так, как сделал господин генерал! — убеждал гусара священник, его собеседник лишь накручивал за ухо длинный, напoмаженный ус и закусывал губы, а поп, сгорбившись, елозил пальцем по широкой груди военного, вычерчивая таким образом тактические планы Похайской Кампании Мерзова. — Сначала гонишь кавалерией, потом подтягиваешь пехоту и инженеров, формируя фронт, выталкивая неприятеля на все более худшие и худшие позиции, пока ему не придется отступить, и вот ты завоевал земли; в этом военное искусство и заключается!

— Это как же батюшка разбирается в военных тонкостях...! — защебетала дама.

— Тезис господина капитана, — заявил фон Азенхофф, угощая Кужменьцева чертовым

нюхательным табаком, — насколько я понял, совершенно иной. Он совершенно не отрицает тактической нацеленности начинаний генерала. Но вот стратегия, сильно связанная с политикой — это уже дело совершенно другое. *N'est ce pas?* [\[330\]](#)

— Даже если бы Мерзов истек кровью в два раза сильнее, пускай даже всю армию в своем триумфе перебил, — забурчал капитан, — но при том уничтожая сухопутные силы Хирохито, но не позволяя им отступить в порядках, так то снова нет четкой победы, одни только договоры, перемирия, мирные и всякие другие договоры, что чернилами за столом достигнутые — следовательно, не правду на бумаге отражающие, а только пытаюсь навязать всему миру эту бумажную фальшь.

— Они же сражались не под Льдом, — буркнул Модест Павлович и чихнул.

— Будьте здоровы, — поспешила сказать дама.

Фон Азенхофф лишь покачал головой, жалея старого юриста.

— А вы снова свое начинаете. Сколько же можно! Не могу себе представить, чтобы подобными мистическими глупостями позволили дурачить головы немцы или англичане *Hochgeboren* [\[331\]](#). Или даже французы. Кто-нибудь, когда-нибудь видел Историю? Кто ее измерил, общупал, взвесил?

— *Monsieur* Биттан не станет же отрицать, что люты помешали мировому порядку, — включился бледный вьюнош, с уцепившейся за его плечо скучающей девушкой.

— А если и стану отрицать, — взвился Азенхофф, — то как вы узнаете, что я ошибаюсь, а?

— По Дорогам Мамонтов...

— А разве кто-нибудь Дороги Мамонтов видел?

— Никто ведь не видел и правды, справедливости, народа и любви, — погрозил пальцем священник.

— *Bien entendu!* [\[332\]](#)

— Никто не видел скорости, времени и цвета. Никто не видел мысли.

— Ну почему же, — удивилась дама. — Я вижу цвет. — Вот, *par exemple* [\[333\]](#), платье у меня лавандовое.

— Вы не видите лавандового цвета, — авторитетно заявил батюшка. — Вы видите, будто бы ваше платье — лавандовое.

Дама не поняла. Она скорчила кислую мину, потом заигрывающее усмехнулась, но когда и это никакого впечатления не произвело, подняла глаза горе.

— Поставщица чая моей сестры, — начала она, словно только что перебили именно этот сюжет, — по матери китаянка, они ходят в эти свои кумирни и повторяют услышанные там старинные верования, взятые от разных монгольских и индийских волшебников и лам. Что вы скажете, *messieurs*, что у них издавна говорят о таких «энергетических жилах», опутавших земной шар от одного святого места до другого, и вот по этим-то жилам перетекают людские души; и вообще, по такой вот географии они мир делят и делили, еще до того, как кто-нибудь хотя бы словечко про Дороги Мамонтов произнес — ха, что вы на это скажете?

Я-оноподумало об одном из бесчисленных проектов доктора Теслы, идее промышленного использования энергии тьмечи, текущей по Дорогам Мамонтов. Быть может, следует подсунуть ему эту мифологическую тему? Он ведь и сам признавался, что ему не чужды спиритические или эзотерические опыты. Несколько дней его заняли бы поиски карт, связанных со здешними религиями, и обдумывание строительства теслектрической силовой станции в священном месте ламаизма или индуизма.

— Что бы там не говорить, — вмешался Пьер Шоча, — но есть какая-то притягательная

сила в Дорогах Мамонтов. Хотя, никто их и не видел, — тут иронично поклонился фон Азенхоффу.. — Мои знакомые, предпочитающие более рафинированные удовольствия...

— Опиумисты, — театральным шепотом сообщила дама гусару.

— Мои знакомые, — продолжил Шоча, — попробовали печально знаменитый черный наркотик, и раз, и другой...

— Вы рассказывали, что такие пропадают бесследно, — напомнил ему фон Азенхофф.

— Так вот, говорят, что одного такого, что попробовал недавно черный маковый сок, слуги обнаружили только после целого дня поисков, в неглиже, обессиленного, на земле, в нескольких кварталах от дома. А ведь он предупредил их, чтобы глаз с него не спускали. Наверняка блуждал там, словно сонный раб, бедняжка.

— Так разве мало чего удивительного люди в состоянии одурения вытворяют? — вздохнул священник. — Вместо того, чтобы Богу, сатанинской химии душу отдать предпочитают.

— Так что я хотел сказать: где его нашли — как раз на Дороге Мамонтов. Лежал, примороженный, кожа с ног и рук содрана, совершенно в бессознательном состоянии.

— Та, может, он, вдобавок, там еще и с лютом столкнулся.

— Ну, такого бы он не пережил.

— Господин полковник, — капитан подкрутил ус, взял даму под руку, — как-то раз имел такое вот столкновение с лютами...

Он продолжил рассказ, петушиным шагом и с выпяченной грудью ведя расфуфыренную даму; компания отправилась за ними, по направлению к главному вестибюлю и бальной зале, один только Азенхофф пристроился на софе под портретом мрачного предка Шульцев, чтобы задумчиво нюхать кружевной дамский платочек.

Подошло к креслу Кужменьцева, лакей подал огонь, пыхнуло табачным дымом. Адвокат вопросительно поднял бровь. Склонившись к его уху, передало ему содержание беседы с генерал-губернатором.

— Значит, вы достигли, чего намеревались, разве не так?

— Я не понимаю, что происходит, Модест Павлович. Тут вы должны меня поддержать своими знаниями и интуицией.

— Хммм? — глянул тот из под седой гривы.

— Не такими ведь были их планы. Когда меня господин Урьяш в Министерстве Зимы по следу Отца Мороза пускал, они совершенно иначе все это планировали, к иным целям, иными тропами стремясь. А теперь — Урьяш ядом горючим плюющийся, и граф, повторяющий: «три месяца». Три месяца!

— Выходит — поменялось. Что в этом странного? Вам следует отделить политику от математики. Ведь мир не вокруг вас вращается, ни ради вашего добра, ни ради зла. Разумом не всегда проникнешь причины всех событий, что тебя касаются. Даже большинства из них. От этого только замешательство в мыслях можно получить: весь мир себе в голову запихнуть, чтобы там его самостоятельно на части разобрать, словно швейцарский хронометр, и, назад сложив, глядеть, почему его шестеренки крутятся именно так, как крутятся, почему он тикает. Вы разве не того хотели, нет?

— Я думал, что, по крайней мере, здесь, в Краю Льда...

— Что? Все познаете? — издевательски фыркнул старик.

Я-оноотрицательно покачало головой.

— Тесла с успехом провел демонстрацию Боевого Насоса. К Императору отправилась делегация Пирпонта Моргана, настраивающая его против Российско-Американской Компании Кругосветной Железной Дороги и против Шульца. Шульц давит теперь

репрессиями. Подписан мир с Японией. Он не желал этого показать, но — три месяца! Модест Павлович, может ли император снять графа Шульца с иркутского генерал-губернаторства?

Адвокат беспокойно заерзал в своем кресле. К нему подскочил лакей. Кужменьцев оттолкнул его тростью.

— Император может все, — раздраженно буркнул он. Император — это император. Так?

— Да. Так.

— Не считаете же вы, будто подобный ультиматум, даже если Его Величество Николай Александрович и вправду его выставил, будет открыт публике. Когда придет письмо, отзывающее Тимофея Макаровича с поста, оно придет в последний момент, и граф уйдет с почетом, с похвалами, наверняка, с каким-то новым орденом. — Старик открыл табакерку, подsunул, чтобы угостить, отрицательно покачало головой. — Слишком много вы себе воображаете. Остыньте, Венедикт Филиппович.

— Но разве не в этом заключается дар познания? — рассеянно произнесло *я-оно*. — В уверенности одной-единственной правды среди всех возможных правд?

— Да бросьте вы наконец свою проклятую математику!

— *Г аспадин Ярославский?*

Я-оно обернулось.

— Анна Тимофеевна просит ваше благородие в бальную залу, — произнес камердинер, не отрывая взгляда от ледяной, окрашенной Луной тайги.

— Ну, ну, ну, — засопел Кужменьцев и мощно чихнул.

Биттан фон Азенхофф глядел над прижатым к губам батистом, не слишком элегантно вытянувшись под мрачным портретом. *Я-онот* только хлопало глазами. Камердинер ожидал в четверть-поклоне. Выхода не было, отправилось станцевать с дочкой генерал-губернатора.

Сотни людей в гигантской зале, огни, играющие радугами на телах, тканях, драгоценностях, вместо стен — звездный горизонт ночной Сибири; вместо пола — заснеженная земля Сибири, воздух, мерцающий тысячекратными отблесками красоты; а она, посреди всего этого — самая красивая, красавица в лилейно-золотистой белой кипени среди других красавиц *en grandes toilettes* [\[334\]](#), глядящие огромными глазами, не дыша, в неожиданной тишине — когда подошло, поклонилось и попросило *mademoiselle* Шульц на танец.

Все громко вздохнули. Она же присела в книксене, принимая поданную руку, перчатка к перчатке. Захлопали веера. Музыканты издали первые такты мелодии, только *я-оно* понятия не имело, что это за танец, как под него двигаться. Вывело графинюшку на средину неба. Шелест платья с его нижними юбками, кружевами, взбитыми в весеннее облачко — кружил голову. Все глядели. Пот тек ручейком по голому черепу, посреди лба и вдоль носа. Девушка одарила жадной, капризной улыбкой. Сглотнуло слюну. Все смотрели.

— *La Fils du Gel* [\[335\]](#), — шепнула она.

— *La Fille de l'Hiver* [\[336\]](#).

Начался танец — танцевало.

— А вы вообще даже и не холодный.

— Вам, мадемуазель, так лишь кажется. Я уже вас заморозил.

— Что?

— Сказки, *mademoiselle*, сказки; не надо в них верить.

— Похищаете людей в Лед, направляете их на Дороги Мамонтов, на лютах ездите.

— Когда пробьет полночь, вы проснетесь, вмерзшая в байкальскую льдину.

— Вы шутите!

— Вот, станцевали с Сыном Мороза, и все пропало.

Танцевало.

— Вы же ничего не сделаете плохого папе?

— Я? Господину графу?

— Не делайте ему ничего плохого, я вас прошу.

— Да что вы! Револьвер был не для него. У меня есть враги.

— Ах! Но ведь не папа!

— Ваш папа ко мне весьма даже милостив.

Танцевало.

— Почему вы закрываете глаза?

— Оказывается, я боюсь высоты.

— Тогда, зачем глядеть вниз?

— Чтобы не оттоптать ваши ножки.

— Так с закрытыми глазами — оно ведь даже труднее.

— Что я могу сказать, у меня все в голове кружится, когда с вами танцую.

— Какой вы забавный!

Танцевало.

— Ведь вы уже обручились, правда?

— Это так, папа наговорился, обцеловали нас тетушки, кузины, вы бы видели...! Вы не видели?

— И ваш жених не будет на меня злиться?

— Будет!

— Ой! Мне нужно бежать?

— Вы не убежите.

— Нет?

— Нет.

— Откуда вы знаете подобные вещи?

— Вы злитесь на Аннушку?

— А вы любите играть в бильярд людскими характерами, так? Воистину, Дочка Зимы!

— Вы сердитесь...

— Ведь вы же не знаете другого мира, других людей! Магнит к магниту, вода на огонь, холерик на сангвиника, страх на страх, гордыня на зависть...

— А Павел Нестерович на Сына Мороза...

— Да, погляжу, вы развлекаетесь жестоко!

— Но вы же ничего плохого Павлику не сделаете, я вас прошу.

— Все на нас глядят. Это вы заранее всем раззвонили!

— *Com me vous l'avez dit vous-meme, monseur: le Fils du Gel et la Filie de l'Hiver...*

— *Excusez-moi.* [\[337\]](#)

Я-оновырвалось. Пролавировав между танцующими, прошло за колоннаду и в боковую комнату, где плюхнулось на табурет. Мышцы ног все еще дрожали. Услужливый лакей пододвинул поднос. Заглотнуло целый стакан какого-то жгучего напитка, даже не отмечая его вкуса. Музыка все так же плыла, похоже — камаринская, танец длился, ведь видело танцующих сквозь мираже-стекольные стены, растекающихся по ним ручьями цветов, казалось, лишь по случайности заключенных в очертания дам и господ; точно так же прекрасно видело приближавшийся вдоль стены в каскаде калейдоскопических реконфигураций абрис разгневанной девушки — панны Анны — очертание приблизилось — нет, не панна Анна — вошла, щелкнула веером, прикусила губу. Она, похоже, желала подойти поближе, но что-то в последний момент ее удержало, словно ударилась в очередную

стеклянную стену.

— *It just eludes me how could you possibly* [338] ... —только и вскрикнула она еле слышно, но с отчаянием. Под ней вздымался ледовый вихрь, фронтом в несколько верст поднимающий радужно-цветные туманы из замороженного леса. — Великий Сын Мороза, — презрительно фыркнула она.

— На меня показывали пальцами, так?

Mademoiselle Филипов весьма грубо выругалась по-английски, закружилась в шелесте шелка и вернулась в приглядывающемся ко всему через стену смуглому Андрюше, покрытому аксельбантами поручику. Она тут же подала ему ладонь в приглашающем жесте, и они смешались с танцующими.

Ледяной ветер ломал промерзшие деревья. Луна играла рефlekсами на сталагмитовых спинах лютов. Ночь губернаторского бала только начиналась.

Когда танцевало с Еленой... Уже теперь воспоминание о танцах в Транссибирском Экспрессе казалось более близким, живым и каким-то более... правдивым. *Я-он*оне было в состоянии пробудить какого-либо ясного образа от танца, прерванного только что — как будто бы на самом деле танцевал кто-то другой, словно танцевало не это тело; нет, это прошлое никак не желало замерзнуть.

На табурет рядом свалился толстяк во фраке, обтягивающем его словно рыбий пузырь. Мужичье лицо с тысячью морщин и дюжиной пятен после отморожений постоянно дергалось между одной миной и другой, как будто бы физиономией этого человека заведовало несколько ссорящихся между собой обитателей раздутой туши, только ни один из них не мог одержать постоянного перевеса в мимической войне.

— Петрухов Иван, — представился он с явной уверенностью, что сама фамилия уже все объясняет; при том сразу же протянул лапу в знак приветствия. — Ну и крутнули вы куколку шульцеву, хе-хе! И так ее прочь бросили — румянцем горит, прямо гарью пахнет, хе-хе-хе!

Он выгнул резиновое лицо в выражении издевки-радости-перепуга-изумления.

— Чего вы хотите, Петрухов?

— Чего хочу? А ничего не хочу. Пришел друга поддержать. — Тут он хлопнул себя по бедру, фарширующему гладкую штанину. — Мы, люди льда, Петрухов и Ерославский, мы должны стеречься их, не лететь в их сладкий мед, как мухи на липучку, на тех девашек-блестяшек, на красоток конфетных...

— «Мы»?

Петрухов снова стукнул себя по бедру.

— Я и вы, ну, сами гляньте, два чужака, а как на нас глядят, когда считают, будто мы не видим...

— Вы ошибаетесь, Петрухов, нас ничего не объединяет, мы ни в чем с вами не похожи.

— Разве нет? — Физиономия его затрепетала, выбирая между умильной, печальной, рассерженной и безразличной минами. — Думаете, что допустили бы вас в салоны свои хрустальные, если бы случай не принудил, и вот теперь затыкают носы, глаза отводят и притворяются, будто бы не видят, как хамы, хе-хе, говорю, их доченек сахарных облизывают? Этими руками, — стиснул он мохнатые лапища, покрытые шрамами, — этими руками — все! То, что потащилось на версту подальше в убийственный мороз, и тунгетятину величиной с сарай насорочило — случай! Только таким способом, только так войти: по случайности. Но сорока при миллионах для них та же самая сорока. — Он стукнул кулачищем по груди, на которой не было ни единого ордена. — Замерзло! Хам в салонах! Хе-хе-хе!

Не говоря ни слова, поднялось, воспользовавшись причиной, когда за стеной появилось семейство Белицких. Музыка утихла, раздались аплодисменты, усилился шум бесед, парочки

калейдоскопом перекатились между миражестекольных колоннад.

Пан Войслав оттирал свой широкий лоб от обильно катящегося пота.

— Уфф, убьюсь, точно смерть пришла, я ведь не вьюнош какой, как пан Бенедикт, мое сердце, смилуйтесь...

— А я не знала, что из вас такой танцор залихватский! — от всего сердца восхищалась тем временем пани Галина. — А пан так отказывался!

Чмокнуло ее в ручку.

— Так, может, это вы мне поясните: как такое возможно, ведь я совсем танцевать и не умею?

— Да что вы все время упираетесь, что не умеете, раз умеете?

Правда или ложь? Покачало головой, закусывая ус и, наверняка, изображая наиболее тупое выражение на лице. Прошлое не существует, все воспоминания, что не клеятся к настоящему, по определению должны быть фальшивыми, так что, если сейчас танцует...

Но, разве, по сути своей, не касается это почти всех людей? Ибо, раз это невозможно выразить в языке второго рода — навечно остается замкнутым в частной тайне сердца. Наружу же протекают тонкие дистилляты испытаний, неверные описания предчувствий, неясных впечатлений.

И что-то здесь не сходится. Что не до конца мы являемся теми, кем себя помним. Что живет в нас некто иной, чужой, с чужим опытом и памятью. И в те короткие мгновения, когда именно он берет верх и перехватывает власть над телом, открывается более глубинная правда. Нам известно, что мы увидим за следующим холмом, хотя никогда в этом краю не были. После целой жизни, проведенной за столом мелкого чиновника, в момент резкой неожиданности хватаемся за ружье — а ведь никогда в руках ружья и не держали — и делаем из него выстрел в десятку. Нас сажают в высшем обществе, пропитанном чужеземными манерами, о которых понятия не имеем да и иметь не можем, и все же — вилочка в одной руке, нож в другой, милая беседа за столом, и слово, и жесты, и *savoir vivre* [\[339\]](#), и оказывается, что вращаемся в этом обществе лучше, чем его завсегдатаи. Учил нас кто-то? Кто-то подсказал? Мы сами знаем это — откуда? Добродушные отцы, кроткие мужья — но мы поднимаем руку на ребенка, на женщину в жесте, естественном для закоренелого разбойника. Танцуем, хотя танцевать не умеем.

Что-то здесь не сходится. Жизнь не соответствует жизни, прошлое — настоящему.

Но как передать это впечатление в межчеловеческом языке?

Прошлое не существует.

— Может, у него врожденный талант. — Пан Войслав спрятал платок, погасил усмешку, подмигнул заговорщически. — Позволь-ка, сердце мое, на моментик, уфф, на словечко с паном Бенедиктом.

Отошло за колонну.

— Собирайся, пан, и прыгай в сани! — с места начал командовать Белицкий. — Да что это пану в голову стукнуло, так публично устыжать ее! Все знают, что-то готовится, какие-то офицерики уже жениха Шульцевны подстрекают. Словно еще и подстрекать нужно! Не стой же дураком, пан, не проси несчастий на глупую башку.

— Не могу. Не могу, пан Войслав, я уже договорился с Шульцем, он даст мне бумаги на отца, на меня, все договорено, как раз ожидаю...

— Да как-нибудь еще договоритесь потом! Потом, не сейчас! Сами подумайте, что вы там договоритесь с Шульцем, если его будущий зять сейчас вам кости пересчитает или, что еще хуже, вы хоть пальцем пошевелите против его зятяка дорогого! Так что, ноги в руки и пошел...

Стиснуло зубы.

— Я не сбегу.

— Господи Иисусе, кровью плачущий! И что с того, что вас Сыном Мороза тут назвали

— сегодня такая, а через неделю иная салонная игрушка — пан же и сам в эти басни сибирские не верит...

Он замолк, переведя взгляд на перетекающие по мираже-стеклам отражения.

— Поздно.

Я-оно оглянулось. Небольшая группа элегантных кавалеров, наполовину гражданские и наполовину военные, приближалась быстрым шагом, впереди багровый, словно свекла, молодой человек, несколько долговязый, во фраке, перечеркнутом лентой ордена невысокого класса, с моноклем, бешено зажимаемым в глазнице, что придавало ему вид недоделанного денди.

— Это он? — спросило под носом.

— Павел Несторович Герушин.

— Отойдите.

Белицкий отшатнулся, гневно замахал руками, блеснул бриллиантом — тем не менее, после недолгих сомнений отступил за колонну, к нервно обмахивающейся веером жене. Из комнаты рядом вышел Петрухов, встал под стеной со стаканом в руке, с набожно-радостно-почтенно-злой миной, ожидающий пикантного зрелища. На противоположной стене краем глаза уловило лилейно-цветный виражный контур *mademoiselle* Шульц: она издали приглядывалась к запущенному ею в ход карамболу, с той же самой жадной улыбкой, столь же ангельски прекрасная. А из-за других стен, сквозь весь губернаторский дворец наверняка глядит вся элита Сибири: дамы, господа, графы, князья, генералы, миллионеры и миллиардеры.

Господин Герушин остановился, сложил руки за спиной, закачался на пятках, громко откашлялся.

— Я требую... — голос его заверещал, и Павел Несторович еще сильнее покраснел; затем еще раз откашлялся. — Требую! Требую, чтобы вы немедленно извинились перед Анной Тимофеевной и... И покинули... Чтобы... — Он откашлялся в третий раз. — И вон отсюда!

Я-оно ничего в ответ не произнесло.

Товарищи Павла Несторовича гневно нашептывали ему что-то у него за спиной. Юноша поправил монокль, зашаркал ногами.

— Да по морде его, сволочь! — крикнул какой-то офицер.

Герушин стиснул кулаки, сделал шаг вперед...

Я-оно усмехнулось.

Тот отскочил.

Петрухов загоготал, словно в кабаке находился, стакан вылетел у него из руки; сорока схватился за брюхо и, наполовину сползая по стене, зашелся в хохоте.

— Ну просто шик! — запищал он. — Ой, не могу! Нашла себе дева рыцаря! Держите меня! Моська сейчас станет хватать за ноги Сына Мороза! Гав-гав!

Герушин налился кровью, его монокль выпал из глазницы, бедняга затрясся, словно в приступе страшной лихорадки. Дюжина его радужных отражений также запунцовела, только еще ярче. Дворец горел всеми оттенками стыда.

Холоднее, холоднее, совсем холодно, Мороз. Подскочило к Петрухову, схватило его за лацканы фрака, затрясло, так что мужик совсем уже потерял равновесие и, мотая руками, словно лопатами, упал на пол, то есть — на лунноцветный Фронт ледовых вихрей.

— Хамье в высшее общество пускать! — рычало *я-оно*. — Что хам видит, что хам думает,

тем и плюет!

Подскочил и Павел Несторович, потянул пытающегося подняться Петрухова за воротник. Сорока вновь потерял равновесие и упал на все четыре точки, мотая башкой в ту и иную сторону, мотая фалдами фрака, вывалив, словно собака, язык; гримасы на роже менялись ежесекундно, он расклеился окончательно.

Герушин вставил окуляр в выпученный глаз, наклонился, прицелился и пнул Ивана в выпяченный зад — причем, приложил солидно, толстяк поехал по мираже-стеклу, словно по льду, пузом и манишкой вытирая пол до блеска, не переставая при том, словно мельница, размахивать руками, и чем дальше он скользил по направлению к бальной зале, тем громче выл и пищал; вдруг он зацепился обо что-то коленкой и начал кружиться; потерял туфлю, потерял платок, наконец, бухнулся головой о цветочный вазон и застыл.

Отражения громкого смеха перекатывались по дворцу, все глядели и все смеялись — а Павел Несторович Герушин громче всех, с прекрасно слышимым облегчением, даже руки сложив, словно собрался молиться. Его товарищи сгрудились вокруг него, хлопая его по спине и обмениваясь вульгарными смешками на различных языках; *я-оно* тоже почувствовало на лопатках несколько похлопываний. Удерживая безразличное, сухое выражение на лице, не спеша отступило за стену, в комнаты. Развеселившиеся кавалеры расходились в группках. Лилейная фигура Анны Тимофеевны исчезла из светящихся витражей.

Белицкие глядели озабоченно, но и со странной робостью.

— Уфф, пан Бенедикт, ну и нервы у вас, уж я-то думал, что у меня сердце выскочит, нужно чего-нибудь выпить. Но как оно все удачно сложилось, чудо, чудо, что вы так вывернулись...

— Не чудо, — возразило на это *я-оно*, — и не удача, а всего лишь математика, пан Войслав, холодная математика. — Немного кружилась голова, мягкий трепет расходился по мышцам, оперлось о дверную коробку. Отовсюду толпились цветастые, радужные изображения сына Мороза. Воистину, велика и непонятна сила зеркал. — Но в одном вы правы: выпить просто необходимо.

Огляделось за лакеем с напитками. Но вместо лакея в поле зрения появился Франц Маркович Урьяш. Представило его пану Войславу; Урьяш что-то буркнул под нос и указал на коридор, ведущий к непрозрачным комнатам. Извинилось перед Белицкими.

— Его Сиятельство сами просили меня, — начало примирительным тоном, поравнявшись с блондином, который и не оглянулся, чтобы проверить, успевают ли за ним.

— Их салонные забавы, — буркнул тот, — еще одна глупость!

Остановившись перед приоткрытой дверью, он, все же, дал последний совет:

— Но сейчас — входите и проявляете себя самым благоразумным человеком во всем мире.

— Что же, как замерзло, так и замерзло.

— Тогда бы так и торчали у Шамбуха в приемной!

Вошло. Подвешенные на небе над Сибирью, генерал-губернатор Шульц-Зимний и князь Блуцкий-Осей отвернулись при отзвуке шагов.

— Позвольте, Ваше Высочество, вот этот человек...

— Мы знакомы, — процедил князь, жабьим движением губ поправив положение искусственной челюсти.

Поклонилось — князю, но вместе с тем и княгине, которую заметило подремывающей в кресле.

— Поздравляю Ваше Высочество с подписанием мирного трактата.

Граф быстро почувствовал, как замерзает ситуация.

— Господин Ерославский служит нам исключительно посредником, — заверил он. — Похоже, Ваше Высочество ни в каких обстоятельствах не был знаком с его отцом?

— Нет.

— Я имел удовольствие удовольствие ехать с Его Высочеством в Транссибирском Экспрессе, — сообщило я-оно.

— Да из-за вас поезд чуть на воздух не взлетел, — буркнул князь Блуцкий.

— Что вы говорите! Ведь все же было совершенно не так!

Если бы взгляд обладал физической энергией, под взглядом графа половина дворца наверняка бы была в развалинах.

— Как я говорил, — рывкнул он, — поскольку, что не подлежит никаким сомнениям, свидетельства Венедикта Филипповича никак нельзя посчитать удовлетворительным для Вашего Высочества, и очевидным является и то, что его Княжеское Высочество, не станет бегать за Батюшкой Морозом по таежным тропам, свидетельство представит особа, которую Его Высочество найдет совершенно достойной доверия. Князь согласился оставаться у меня в гостях до вашего возвращения; он услышит отчет из уст собственного человека и сообщит все лично Государю. Ибо князь пользуется полнейшим доверием Его Императорского Величества Николая Александровича. Понимаете, Венедикт Филиппович?

— Замечательно, Ваше Сиятельство.

— *Sacre nom de Dieu* ^[340], — гневно вспыхнул князь Блуцкий, раздраженно махнул рукой, после чего, не сказав ни слова, вышел, живо перебирая короткими своими ножками.

Граф превратил в развалины вторую часть дворца, засопел и поспешил за князем. Лакеи сгрудились за ним в двери. В комнате остался лишь сладкий запах благовоний.

Выпустило воздух. Похоже, все пошло неплохо. Учитывая все обстоятельства... Хммм... Похоже, для графа это тоже важно. Получил ли он от царя ультиматум, грозящий отставкой, или нет? Мираже-стекло было на ощупь очень холодным, рука в перчатке не протопила никакого следа. Дохнуло на стенку. Полумесяц зашелся туманом тьветистого дыхания. Пан Войслав наверняка прав, что нужно было здесь сыграть, уже сыграло, нечего больше их здесь дразнить, тем более, после этого фатального танца с дочкой Шульца. Танец... Оперлось лбом о мороз-стекло.

Правда или фальшь? Прошное не существует, все воспоминания, что не клеятся к настоящему, должны быть фальшивыми по определению, так что, если сейчас танцует... С другой стороны: ведь замерзло же. (Замерзает).

Ритмичный, настырный стук вонзился в мысли. Это княгиня Блуцкая била палкой по полу.

Может, лакея зовет или призывает призрак Дусина; все слуги помчались за графом. Осторожно подошло. Она подняла руку, извлекая ее из-под черных кружев; полвека назад наверняка они стоили несколько деревень. Поцеловало сморщенную кожу. От княгини несло травами и старостью даже сильнее, чем помнило (или же помнило слабее, чем она воняла на самом деле).

— *Гаспадин Герославский*, —заскрежетала она, как будто бы чем-то развеселившись.

— Да, я, Ваше Высочество, я, я, тот самый.

— Иди-ка сюда, бродяга.

Склонилось еще ниже, как тогда, в поезде, в вечернем вагоне.

Княгиня дышала теплой телесной гнилью.

— Что с тобой случилось?

— Этот шрам...

— А, шрам... — Княгиня выпрямила указательный палец и уколола ногтем в манишку

фрака. — С тобой что случилось? Я же еще не слепая, кххрр.

— А что должно было стать? Выжил здесь как-то, хотя меня мартыновцы, ваши или распутинские, живым в мерзлоте хотели закопать.

Старуха цапнула за подбородок, зашипело от боли; вырвалось, отступило на шаг.

— Ведьма! — ругнулось негромко.

— Дурак!

— Леднячка проклятая!

— Сопляк наглый!

Рассмеялось вместе с княгиней.

Та сунула руку в древний ридикюль, выкопала оттуда платок, вытерла обвислые губы, на которых собиралась липкая слюна. Присматривалось с трудом скрываемым отвращением.

— Но вот Пелки я Вашему Высочеству не прощу!

— Какого-такого еще Пелки?

— Ну, эти ваши мартыновские розыгрыши...

Старуха взмахнула платком.

— Фи! Замерзло.

— Выходит, Ваше Высочество в эти игры уже не играет? И как там сны в Краю Лютов? Под Черным Сиянием? А? Князь хороший договор подписал, Ваше Высочество его уже не ломает.

— А ты этому и рад, а?

Пожало плечами.

Она захихикала в платок.

— И вот скажи, сынок, разве я не была в отношении тебя права? Плохо ты мне приснился? А?

Я-ононе могло скрыть недоумения.

— Так ведь я же не исполнил ни одного из замыслов Вашего Высочества!

— Разве нет?

— Ба, даже жизнь спас доктору Тесле — или забыли? — который теперь Лед станет ломать.

Старуха покачивала головой, явно довольная собой.

— А оно ничего, кхрхр, ничего. — Быстро глянула над платком. — А, может, дорогуша, ты уже встречался здесь с уважаемым Александром Александровичем Победоносцевым? Или с его людьми?

— Нет?

— Кхрхрм, хррмм.

Пятнистая ладонь дрожала на рукояти трости, вторую она прижимала к губам, над которыми тоже до конца не было у нее власти, тело предавало ее на всех фронтах, ото всюду из него било во все органы чувств старческим отвратительным естеством. Отступило еще на один шаг, чтобы убраться из этого смрада. Но сама княгиня Блуцкая-Осей, а точнее, существо, проживающее в этом вонючем мешке из кожи и костей — ей ничто уже не мешало злобно радоваться, она замерзла с гримасой злобного удовлетворения, искажающего душу.

Сбежало от нее, прочь, прочь из этой комнаты. Неясный страх бился в ритме спешных шагов возвращающимися волнами. Чему это она так обрадовалась? Что, кого увидела? Ледняка, готового защищать Лёд и лютов? Так ведь это же неправда! Неправда!

Пани Галина сидела под папоротниками в компании молоденькой госпожи Юше, туалет из шифона с *paillettes* ^[341] и туалет из тафты с жемчугом. Отдыхая, попивая фруктовое вино из серебряных стаканчиков, они сплетничали о знакомых, что танцевали за прозрачной стеной.

Извинилось, чмокнуло на прощание обрамленную кружевами ручку пани Белицкой.
— Прошу прощения, будет разумнее, если остаток вечера я пропущу... Пан Войслав...
Пани Галина не выпустила руку.

— А панна, с которой вы пришли? — шепнула она, тактично отвернувшись от госпожи Юше.

— Вы знакомы с *mademoiselle* Филипов, правда? Если вы ее встретите, то попрошу...

— Не верю. Вы этого не сделаете, не такой вы человек...

— Какой? В чем снова дело? *Mademoiselle* Филипов, наверняка, танцует и веселится больше всех нас, Модест Павлович нашел ей дамского угодника в мундире, она протанцует целую ночь...

— Забрать девушку на большой бал, быть может, самый большой, из тех, на которых она когда-либо в жизни своей была...

— Это правда. Она не...

— Забрать, — пани Галина возвысила голос, впервые видело тихую, как правило, супругу пана Войслава в состоянии подобного возмущения, — чтобы при первой же okazji сунуть ее в объятия незнакомца — да кто же так делает? Только человек, полностью лишенный чувства или совершенно не обращающий внимания на чужие чувства, толстокожее чудище.

— Да что вы! Ведь я здесь не забавы ради, другие дела необходимо устроить, и *mademoiselle* Филипов о том заранее знала.

— Да о чем вы вообще говорите? Все это не имеет значения! Нельзя так относиться к женщинам, тем более, в этом возрасте незрелой деликатности....

— Нет, нет, нет, пани все это неверно представляет. Между мной и панной Кристиной нет каких-либо романтических тонов, подобная мысль вообще...

— Пан Бенедикт! О, Господи! Да какое все это имеет значение? Вы привезли юную девушку на бал! Если вы этого не понимаете, тогда, хотя бы, вычислите. Ну?!

Глянуло искоса на госпожу Юше, которая подслушивала, уже совершенно с этим не скрываясь. Отвело глаза.

— Возможно... и правда... некая неуместность...

— Идите к ней!

Ба, но как найти одну-единственную девушку на громадном губернаторском балу? Среди танцующих ее не выследило. На призматических мираже-стеклах мерцали сотни текуче-цветных фигур, каждая вторая из них могла быть Кристиной Филипов. Необходимо внимательно приглядываться, высматривать лица, различать просвеченный образ от двойного, тройного, учетверенного отражения. Вошло на галерею, надеясь в душе, что с высоты, при замечательном виде на всю залу, скорее найдет девушку. Черта с два! Заметило зато, как то одна, то другая парочка ускользает за колоннады и, вроде бы, случайным шагом, полностью исчезает с мираже-стекольных панелей, прячась в частных, непрозрачных комнатах. Вон оно как! Ну, ладно!

Но не станешь же совать нос в каждую комнату во дворце, сколько тут этажей открыто для гостей, два, три? Как пить дать, снова влезу в очередную неприятность, обладая к этому несомненным талантом. Закурило папиросу в тени галереи. Перехватив слугу — узнав его разве что по черному галстуку-бабочке и по золотым пуговицам — попросило его принести бокал сухого вина; может, удастся смыть из горла запах-вкус отвратительной телесной дряхлости. Внизу случился перерыв в музыке: парящий тьмечью расходившийся, покрытый плотной чешуей орденов адмирал хлопал в ладони и притопывал, призывая гостей к полонезу — на это поднялись из-под зеркал и более достойные возрастом дамы — молодые мужчины в ливреях стали разбрасывать с высоких балконов дождь золотого конфетти —

ряды пар вступили на заледеневшую тайгу, в соответствии с потоком лунно-цветного вихря. Лакей принес вино. Махнув у него перед глазами банкнотой, полицейскими словами описало мадемуазель Филипов и гвардейского поручика. Не успел полонез закончиться, как служащий вернулся; жестом головы попросил идти за собой.

Это была одна из курительных, так называемая Китайская Комната, как шепнул служащий, когда вручило ему деньги перед закрытой дверью. Стены, хотя и из миражестекла, изнутри были плотно завешены шелками, заставлены ширмами, что обеспечивало помещению приватность. Постучать? Недолго думая, затянувшись табачным дымом, нажало на дверную ручку и заглянуло вовнутрь. Гвардейский поручик и госпожа Филипов, спутавшись взаимно в объятиях, даже не обратили внимание на нашествие непрошенного гостя. На секунду замерло на пороге. Полулежа на шезлонге, обитом бархатом, под бумажным лампионом, отбрасывающим зеленые тени, на фоне сибирского пейзажа, пара любовников предается грешным наслаждениям — ни единого звука из их уст, поскольку уста соединены — ни единого движения их тел, ибо тела сплетены — замерзли. Ее ножка во французской туфельке с золотым бантиком, ее икра в жемчужно-светлом чулочке, икра и коленка, и даже небольшой фрагментик бедра, поскольку девушка непристойно подняла ножку, выпростав ее из-под нижних юбок, оборок, кружев, чтобы зацепить и поближе притянуть кавалера в белом мундире. Его рука грубо засунутая в *decolte* девушки, всю ее грудь под корсетом охватывающая, сжимающая, мнущая, комкающая — словно шмат мяса — а ведь это мясо и есть — тело на теле. Ее *maquillage* размазанный, и влажный, алый на щеке от губ идущий — влага под губами, влага на шее — слюна — ее — его — смешанные выделения тела. Мышцы его ног и ягодицы, напряженные под мундирными брюками. Ее пальцы, стиснутые на его плече. Его жила — жирная, толстая, набежавшая кровью — пульсирующая у него под ухом. Багровая шея. Покрытое волосами запястье. Обнаженные плечи, втиснутые в спинку шезлонга. Слюна. Язык. Рука. Икра. Шея. Ягодица. Грудь. Мясо. Мясо. Прогнившее, бледно-зеленое мясо.

Сбежало, теряя по дороге папиросу. Вновь выскочило на галерею. С противоположной стороны шел господин Герушин в компании мертвенно напудренной матроны, по-видимому, госпожи губернаторши; отошло к балкону с музыкантами. С обеих сторон по его флангам стояли натуральной величины статуи из какого-то редкого, сильно охлажденного минерала, который в комнатной температуре тьветисто парил и потел черной влагой. Скрылось за этими статуями, присело на холодном постаменте. Статуи представляли собой необычно верные копии греческих или римских изображений — российский, эклектичный *art nouveau*, застывший подо Льдом и обращенный к полюсу классицизма. Всякая мышца и сухожилие в этих статуях были переданы с анатомической точностью: обнаженный пастух заслонял глаза перед обнаженной лучницей; жирная тень от них коптела под самый потолок. Одного лишь Приапа не хватает. Отвернуло взгляд. Вот Афродиту, как раз, придели: на ее плечах свисал мундир. Над звуками музыки, здесь крайне громкой, услышало еще более громкие *разговорчики* собравшихся на балюстраде мужчин, в основном, молодых кавалеров. Они обменивались впечатлениями на тему девушек, высматриваемых с высоты на стеклянном паркете сибирской ночи.

— ...в пять лошадей.

— Погодите, погодите, а вон та кобыла в розах?

— Фекла Петровна? Даже врагу не пожелаю.

— А вот Милушин, пропустив пол-литра, заявил, что приударит за дочками Рептова.

— За обеими сразу? Ну-ну.

— За той, которая его с места не погонит.

— Амбициозный человек. Я бы и сам... А, коровушки гладкие!

— С этими сливочными сисечками...

— Ой, а попочкой как крутит!

— ...на отчаянных вокруг княжны! Затопчут, затолкут твари.

— А для Его Сиятельства опять же неприятности: как красавица его глазками светит, как улыбочки ловит, бюст выпирает.

— Было бы еще чего выпирать!

— Не то что наша Аграфена после двух мужей, а?

— Э, про Агафью ни единого плохого слова!

— Ага, как вдох делает, все свечи кланяются.

— Тогда еще скажи про другие ветры, исходящих из нее через другой конец.

— В прошлом году, в салоне у Хейесов...

— А! А старшая Курогина?

— Господин Петр требует огромную потребность каяться. Господин Петр много нагрешил с женщинами.

— Покаяние, хмм. Двести тысяч рублей плюс доля с заводов Курогина, когда старик копыта откинет.

— Ага, zenки кривые, да и зубы кривые — зато прямая дорога к состоянию.

— И к тому же, паскуда, обладает тем достоинством, что дура страшнейшая, посмотри на ее мать; Курогин ни единой девочки не пропустил, из курогинских незаконнорожденных целый эскадрон можно выставить, а у той кобылы хотя бы тень подозрения возникла.

— Эх, чувствую, дорогие мои, что я влюбился, это вы мне женский идеал нашли!

— А полковничиха Мерушкина? Похоже, еще свеженькая...

— Ба, так уже дважды заложённая! Вы только на ее платье гляньте.

— Вот это замечательная рецептура: считать ее по весу пух-золота на...

— Прочь отсюда!

— Чего?

В первого в бешенстве бросило мундирным верхом, стянутым с Афродиты.

— Вон с глаз моих! — рявкнуло, чувствуя, как внутри вздымается злобная горячка, багряный огонь, жгущий точно так же, как и Стыд, хотя и полная противоположность Стыду. — Животные! В дерьме вам валяться, а не среди людей жить!

— Да что это вы...

Музыканты ударили в смычки; пришлось еще сильнее поднять голос, сжимая кулаки.

— К живодерам! — орало *я-оно*, уже совершенно себя не сдерживая. — Мясо! Мясо! Мясо!

Те глядели, как на сумасшедшего. То один, то другой что-то бормотал под нос, опускал глаза. Пристойный юноша в кадетском мундире пихнул соседей локтем, те начали отступать к боковой галерее, кто-то налетел на статую копьеносца, образовалось замешательство; после этого все повернулись и поспешно ретировались, последний через плечо бросил вульгарное слово.

Сила стекла столь же быстро, как и налилась в жилы; *я-оно* беспомощно оперлось о перила. Ниже, в зале, танцевали трепака, зрители хлопали в ладоши. Под ухом гремели трубы и барабан. Нужно бежать отсюда, бежать! Закрыло таза, только это не помогло; еще ярче на века вырисовывались участники бала, а в первую очередь — *mademoiselle* Филипов. Ведь там все так же продолжается мясной базар, выставка отвращения, волны повторяемых под музыку движений: рука, нога, рука, нога, и так — до могилы, а после того — черви.

— Именно потому и не бываю.

Он встал рядом, выйдя из-за греческих голышей. Грудь его украшал всего один орден,

впрочем, *я-ононе* узнало вида и класса знака отличия. Мужчина был худощавым, держался он официально, чуть ли не отклоняясь назад, высоко подняв голову; *я-онотоже* выпрямилось, тот был выше на несколько вершков. Очень бледное лицо, гладко выбритое, практически свободное от светеней, на губах — мягкая улыбка. Православный тунгетитовый крест, подвешенный на шее, буквально резал глаза на белоснежной манишке.

— Зель Аркадий Иполлитович, — поклонился он.

— Бенедикт Герославский. — Тут же вспомнило про визитные карточки, нашло визитницу, вручило карточку Зелю. Тот даже не глянул.

— Знаю. — Плавным, балетным движением руки с визиткой он обвел зал внизу. — Его сын.

— Ну да. — Теперь пламя сменило направление, теперь оно палило вовнутрь; возвращался Стыд. Укусило себя в щеку, лишь бы не улыбнуться, не соорудить собачью, умильную, извиняющуюся мину. — Боюсь, снова сцену устроил. Вообще-то... Не такой я человек, не так замерз. Надеюсь на это.

— Не такой человек, чтобы грех вслух грехом назвать, а добродетель — добродетелью? — Мужчина спрятал визитку, указал налево; пошло вперед, Аркадий Иполлитович отодвинулся, чтобы не сталкиваться между статуями. — Что-то у меня в ушах звенит. — Вернулось в тень галереи; Зель остановил лакея, попросил стакан воды. — Именно потому и не бываю; отираешься о людей, и это на тебя садится, словно иней, загрязненный заводскими дымами, будто уличная пыль, словно жирная грязь. — Отпивая мелкими глотками воду, он заглянул в комнату рядом. Упившиеся мужчины метали рюмки в камин на противоположной стене. — Я говорю не о телесной грязи, вы же понимаете меня, Венедикт Филиппович.

— Да.

— Чистота, труднее всего сохранить чистоту. Если бы мы жили в мире, в котором было бы возможно общение только душ... — Он вздохнул. Голос у него тоже был мягкий, текущий неспешными волнами, вверх и вниз; была в нем мелодия, ритм. — Какой идеал выше? Человек минус тело.

— Федорова читали?

— Чистота, брат мой, чистота. Вижу, вы то же самое отвращение испытываете, то же самое стеснение, бремя.

— Я...

— Так уж Бог устроил, что в этот мир мы приходим в мешке дерьма, дерьмом окрещенные, дерьмо потребляющие; в дерьме ходим, дерьмом нам чувства затыкают; дерьмо отдаем другим в знак любви; дерьмо — наше счастье, дерьмо — наслаждение. — Он склонился с озабоченным выражением на лице. — Но нам необходимо хотя бы пытаться очиститься! Невозможно из тела выйти — но можно...

От рывка *я-оночуть* не упало, оперлось о призму-стенку. Кто это? *Herr*Биттан фон Азенхофф нагло пер к лестнице, издевательским взглядом прокалывая Аркадия Иполлитовича, который только приглядывался к этой сцене с печальным, ласковым выражением лица.

— Я забираю вас! — решительным тоном заявил фон Азенхофф.

— Да чего вы хотите, скажите на милость...

— Александр Александрович приветствует вас с надеждой, — говорил господин Зель. — Могу вам признаться, что Александр Александрович читал вашу *Аполитеюс* большим вниманием, большие слова высказывал.

— Кто это такой? — спросило на выдохе, вырываясь наконец из железных рук пруссака.

— Ангел Победоносцева. Так что, есть тут у вас еще какие дела? Потому что, думается мне, для одного вечера вы туг и так уже достаточно навывтворяли.

— Да что вы вообще себе позволяете?

Тот оскалил зубы.

— Спасая вас, молодой человек. — Он щелкнул пальцами слугам, чтобы те принесли верхнюю одежду. — Еще немного, и он усадил бы вас на белого коня.

— Что?!

Фейерверки выстреливали на небе над хрустальным дворцом, когда двигалось по серпантину-склону в лунную тайгу, гремющую метелью: первые сани, вторые сани, третьи сани, компания веселая, перекрикивающаяся; четвертые сани — в четвертых санях сидело под медвежьей шкурой, с Биттаном фон Азенхоффом и тем могучим капитаном гусар. После первой серии фейерверков, из-под дворца пальнули искусственными огнями, только теперь уже напакованные криоугольными зарядами, так что те взорвались громадными цветами тьвета; и вот они уже, пройдя сквозь зимнахово-мираже-стекольную конструкцию дворца, разделились на тысячу и одну реку цвета и светеней. Я-ононаходилось на нижней петле пандуса, губернаторский дворец маячил на звездном небе слева, так что не нужно было выкручиваться назад, что было, говоря по правде, практически невозможным, раз тебя закутали плотно в меха, шкуры, пледы, шали и одеяла из десятков беличьих, заячьих, соболиных шкурок. В зависимости от угла зрения и расстояния, с которого прокалывали дворец ффиртверками [\[342\]](#), на небе по-своему рисовались коллажи света и тьвета, морские звезды, пожирающие свет, и морские звезды — свет сеющие, и одни переливались в иные, а вторые зарастали собой первые, и все они, в конце концов, спадали на обледеневшую тайгу дождиком искр и не-искр. Совершенно одуревшие олени крутили головами, громко звенели их богато украшенные колокольцы. Сибирь попеременно то гасла, то высвечивалась из глубокой ночи, словно пейзаж из Божьего сна, на который Он то глядит сквозь пальцы, то заслоняет перед Собственным взглядом и существованием.

— Ловит вас, я же видел, — хрипел существующий-несуществующий фон Азенхофф сквозь кашне и мороз. — Кто только готов обрезать якорь тела, хрррр, отречься телесных грехов.

— Так что же, к самоубийству склоняет?

— Нет! Самоубийство — грех! Это человек от Селиванова, от хлыстов и скопцов прошлого века. Хрррр. Подо Льдом к ним вернулась уверенность веры, снова режут.

— Победоносцев...

— Его... а кто его знает. Но вот Зель, хрррр, хрррр — вроде бы, почему его Ангелом зовут? — Пруссак ладонью в рукавице рубанул туда-сюда сквозь облако тьветистого пара, рраз-ддва, как ножом. — Аскаплениесделало из него ангела!

— Вы хотите сказать, хрррр, что он евнух?

— Отбеленный! Обрезанный под царской печатью. — Рраз-ддва, снова рубанул он рукой. — Яйца и хрен, всё. Женщинам груди тоже выжигают, до кости.

— Так вы думали, — я-онозахлебнулось морозом, — что я согласился бы, чтобы мне...

— Ба! Ты сам бы это себе сделал.

— Кххрр!

— В том-то и оно — нужно мне вам противоядие дать, пока так не замерзнете. — Фон Азенхофф выплыл из очередного облака мрака, на лице ироничная, ехидная гримаса. — В этом месяце будет мой добрый поступок.

Гусар загоготал басом.

Въехало на лед реки, Ангары или какого-то иного ее ответвления. После пары поворотов

дворец и весь его свет-тьвет, фейерверки-фритверки, радуги и затмения — скрылись за ледовыми обрывами, за рядами замороженных деревьев, прикрытых тулупами искристого снега. По руслу реки — по зимнику — можно было ехать быстрее, это был основной тракт, по дороге на бал *я-онотже* воспользовалось скованной льдом Ангарой. Возница стрельнул кнутом, пьяный буржуй из первых саней метнул в луну бутылку, кто-то из вторых саней, в свою очередь, хотел бросить бутылку в первого, но тут вмешался ветер, бутылка попала в оленя, упряжка рванула в один бок, затем — в другой, начался дикий слалом на белой глади; мужчины выли на луну, словно волки, быстро охрипнув, единственная девица, похищенная компанией с бала, пищала сопрано, первый буржуй поднялся из-под шкур и выгнулся за спинку саней, достав заднюю лампу и заменив ее на большой прожектор с криоугольным фитилем; и тут же первая и вторая упряжки въехали в смесь теней и светеней, из-за чего у животных спутались направления, и санный поезд раздробился на пять частей; вместо оленей по черно-белизне бежали искалеченные негативы оленей; вместо деревьев в тайге поднялись уродливые железные сорняки; лед превратился в раскаленную тьму, в поток угольной лавы; люди-тени, продырявленные светениями словно прожженные плоские фигурки, вырезанные из бумаги, гнулись на ветру, разбиваясь в порыве на конфетти снега-сажи; небо посветлело, Луна потемнела, ночь вывернулась наизнанку. Гей-гуляй, гууууляй, гуляааай!!! Адский санный поезд мчался сквозь Край Тьмы.

Так *я-оно* попало в Кошачий Двор.

Дом стоял под возвышенностью, то есть, он был хорошо защищен от ангарских ветров, а поскольку и от Дорог Мамонтов было далековато, то возможными опасностями, исходящими от земли, здесь тоже особо не беспокоились. Как сама возвышенность расширялась на сто-сто двадцать аршин вогнутым серпом, так и ряд застроек под нею, с трехэтажным домом посередине. Сани сразу же заезжали в настезь раскрытую, по-праздничному освещенную каретную. На подъезде, на последнем повороте от реки, стояли закутавшиеся в тулупы мужики, словно какие-то обезьяноподобные создания, направляя гостей к дому факелами. Очень многие сани прибыли сюда перед нами, возможно — с бала у генерал-губернатора, но, скорее, прямоком из Иркутска. Медведь на цепи ходил кругами за каретной, поднимаясь на задние лапы, как только новая упряжка со звоном колокольчиков выпадала из чащобы; его морда кривилась в неодобрительном выражении.

Сани не могли заехать все одновременно; образовалась очередь. Гусар поднялся с сидения, звал кого-то на веранде. *Я-оно* слышало музыку, доносящуюся из подворья. Лаяла разбуженная псарня. Из пристройки на задах в клубах пара вывалились визжащие и пищащие фигуры, они начали гоняться друг за другом и кататься в снегу, мужчины и женщины, голенькие, как их Господь Бог сотворил; *я-оно* отвело глаза. На поляне за поленицей двое господ в дорогих шубах, сжимающие в левых руках пузатые бутылки, правыми целялись в тайгу, грохотали выстрелы из длинноствольных револьверов — во что они палили? По-видимому, в сосульки.

Вышло из саней, господин фон Азенхофф повел через веранду к главным дверям, освещенным лампами и факелами. В узких окнах перемещались силуэты веселых, танцующих гостей; дикая музыка, ни в чем не похожая на степенные мелодии из хрустального дворца, рвалась в лес сквозь стены из толстенных бревен.

Танцуют... Не думает ли *Herr* Битан вновь уговаривать танцевать? Развязало шарф, сбilo снег с шапки, сбросило рукавицы. Правда или фальшь? Прошлого не существует, все воспоминания, не соответствующие настоящему... С третьей стороны: после стольких откаток, после стольких бросков монетой...

— Марушка! — загудел под ухом глубокий бас капитана, и сам он раскрыл объятия.

Прямо в них влетела лучащаяся весельем девушка в платье с непристойным декольте, размахивающая бутылкой шампанского. Парни в расшитых рубашках помогали гостям раздеваться, им подавали чашки горячего чая, стаканы рома и водки. Лишь только высморкалось, почувствовало сладкий, цветочный запах, вписанный в окружающий воздух.

О штанину потерлась рыжая кошка; отодвинуло ее сапогом.

— Что это за место? — спросило у фон Азенхоффа, который как раз отдавал приказы старшему мужику.

— Ооо, *Кашачий Двор*, мое убежище от городских забот. Чувствуйте себя приглашенным в качестве моего особенного, специального гостя.

Гусар залпом выпил бокал шампанского, подкрутил покрытый инеем ус, схватил красавицу, одарил жарким поцелуем, облапал за попку, за грудь, после чего громко рассмеялся.

— Дом утех, дорогой мой господин Мороз, самый лучший *bordello*к востоку от Урала!

По-видимому, фон Азенхофф заметил ничего не понимающую мину, потому что без дальнейших церемоний схватил за фрак и потащил в глубину сеней, к людям. С его второго бока тут же появилась женщина в красном платье, с губами и ресницами, покрытыми пух-золотом, образчик чисто российской красоты, с длинной, пшенично-золотой косой, переброшенной через плечо. Она чмокнула Биттана в щеку.

— Вам следует выучить одно, — говорил прусский аристократ, крича над окружающим шумом. — Раз человек — это животное, то и женщина — тоже животное, действующее исключительно по животным потребностям, зато прекраснейшее животное. Катя, займись-ка Сынулей Мороза.

— *Ce serait un grand plaisir pour moi* [\[343\]](#).

Вспомнились варшавские проститутки, их кислые поцелуи, скрываемые зажиманцы-обниманцы, в тених сырых съемных квартир или кабаков, эти бледные девицы, вечно недомытые, от которых даже в ходе грязного дела руки сами убегали, в инстинкте эстетического отвращения и вполне разумной нелюбви к бациллам, мандавошкам, вшам, наверняка сожительствующим на девице; то были даже если и не уличные проститутки, то знакомые по району или большому дому, дочери прачек, дочки модисток, дочки скупщиков краденого или мелких воров, редко-редко когда доченька пана адвоката или доктора, с которыми познакомился благодаря репетиторству или через дружка-студента — правда, с которыми, если не считать поцелуя или там объятия в уголке, дальше никогда не заходило. Тело имело доступ только лишь к грязным удовольствиям, чем сильнее грязнящих, тем более доступным. И тогда закрывало глаза, отворачивало голову, пыталось отогнать из ноздрей отвратительные запахи — лишь бы животное успело сделать свое: овладев телом, воспользоваться им и затем освободиться от животного желания. Чтобы сразу же после того забыть, забыть, забыть.

А тут вспомнило. Стыд ударил между глаз шестифунтовым молотом.

*Я-оно*отступило к дверям, подняв руки в знак того, чтобы никто не приближался.

— Мне все это прекрасно известно! Животное, так! Не следует меня убеждать в посещении гнезда разврата. От всей души благодарю за ваше гостеприимство, фон Азенхофф.

— Утром поблагодаришь. — Кивнув Кате, он что-то прошептал ей на ухо. — Не думаешь же, что я так легко позволю сдать тебя господину Безхуеву. Или пешком домой добираться желаешь? Потому что саней не дам. Ладно, ладно, без трагедий.

Катя, явно старшая среди всех девиц Кошачьего Двора, присматривалась с понимающей улыбкой, немного печальной, немного ироничной, немного нетерпеливой. Схватив за ухо какую-то служанку, она прошипела той какое-то указание. После этого откинула косу и

указала на узкий коридор, идущий куда-то в бок под лестницей.

Выругав про себя фон Азенхоффа и собственную рассеянность, ошеломление, благодаря которым позволило вывезти себя безвольно, словно дитя, хочешь — не хочешь, пошло за красавицей.

— Биттан говорит, будто бы вы желаете очищения, — говорила та, открывая очередные двери, а голос у нее был низкий, приятный, ближе к мелодичному шепоту, так что невольно человек подставлял ухо и наклонялся к карминово-золотистой Кате. — Он говорит, будто бы это все юношеский *Weltschmerz* [\[344\]](#). Трав против этого у нас нет, но и банька тоже хороша. Прошу.

Большой дом соединялся с небольшим зданием, в котором размещалась баня. Уже в предбаннике царили сырость и жара; Катя остановилась у порога, подгоняя идти быстрее. Шлепая босыми ногами по залитому водой полу, подскочила банщица: крепкая, румяная крестьянка, в совершенно промокшей рубашонке и юбке. Катя прищелкнула язычком и, отступив, закрыла двери. Сделалось еще жарче. Фрак, жилетка, сорочка, вся дорогая одежда — сейчас же все промокнет до нитки. Банщица ухватила за пуговицы, за запонки. Оттолкнуло ее, более грубо, чем намеревалось. — Сам! — Повернувшись к женщине спиной, поспешно разделось, заматывая Гроссмейстера в брюки, после чего перешло в помещение с тазиками, ведрами, текучей горячей и холодной водой, чтобы обмыться перед тем, как войти в парную. Здесь застало забывшуюся в амурных играх парочку: девицу, без какого-либо смысла закутавшуюся в промокшую и ставшую совершенно прозрачной ткань, и розового словно поросенок толстячка, гонявшегося за девицей с пучком березовых веток в руке. Толстяк был совершенно голым, девица — полуголой, их не закрывал пар, да они и сами не скрывали собственной наготы; с веселым смехом они помчались в белые клубы: шлеп, шлеп, шлеп. Стиснув зубы, обмылось, как можно скорее. Что за варварские обычаи, что за бесстыдство, воистину, приличествующие только дому с блядами!

А в той парной, громадной, выстроенной на камнях и больше целого этажа в высоту, человек мог и заблудиться, настолько воздух был пропитан здесь паром, а кроме того — температура и влага, и та липкая банная духота сразу же творили что-то странное с головой, что уже после пары шагов шло сквозь синие клубы словно сквозь бесконечные туманы внеземной страны: в глазах все крутится, мир, наблюдаемый зрением, все время обманывает. Нужно сесть, опустить веки, ровно и спокойно подышать. В этом и заключается величайшее достоинство этой бани: тысячи вещей можно увидеть в этом пару, но никто не увидит тебя, скрытого, смазанного.

Уже через минуту-две я-онопочувствовало, как грязный и тяжелый пот выходит из тела всеми порами. Это чувство было столь выразительным, столь физически ощутимым, то есть, не возбуждавшим каких-либо сомнений в организме, не порожденным умственными миражами, что тут же появился образ жирных червей, похожих на дождевых или угрей, сложенных из всяческих внутренних нечистот, как они выталкиваются сквозь мельчайшие отверстия кожи, как вытекают из них длинными каплями-соплями, оставляя мясной сосуд более легким, мягким, белым, чистым. Пускай даже и не полностью очищенный, но после посещения бани человек себя чистым чувствует. Я-онослышало ритмичное бичевание других парящихся. А это бьет в голову. Поискала рукой наощупь, хлестнуло в лицо водой из ведерка. Выходит — выходит — выходит, Ангел Победоносцева, это скопец обрезанный. Только фон Азенхофф ошибается, считая, будто бы видит в этом очередном сибирском безумии, в этом, вроде бы, обязательном и безошибочном пути к российскому спасению — будто бы видит в этом нечто от Правды. Но ведь это же чистое безумие! Как он вообще мог предполагать подобное?

Вытерло воду и пот со лба, с глаз. В тумане мелькали неясные формы. Неужто здесь зажигали миражестекольные лампы? Тени голых людей — красивых и уродливых — перемещались в пару; пар приделывал им слоновьи хоботы, бычьи рога, конские члены, лягушачьи лапы, ангельские крылья. Вновь стиснуло веки. А все из-за шестидневного поста. *Я-онозамерзает*. Бросало монетой и так, и сяк, но, под конец, Бенедикт Герославский, видимо, возвращается к Бенедикту Герославскому. Ведь с чего же начался граф Гиеро-Саксонский и все очередные, сопутствующие фальшивки? С дорогих костюмов, с чистой сорочки, пахучего одеколona, с драгоценного перстня и бриллиантина на волосах, из миазмов шикарной жизни. Варшава, доходный дом Бернатовой, обосранный сортир, вся та вонючая, вшивая, достойная лишь рвоты жизнь — шарах, лезвие гильотины отрубило ту правду. Прошлого не существует. Имеется лишь нынешний миг. И, пожалуйста! *Я-онотанцевало!*

Но, тем не менее — все это ложь. *Я-онозамерзает* в самом центре Зимы, ведь это уже не транссибирская поездка, это Город Льда, тьмечь напирает; уже нельзя жить любыми противоречиями. Шарах! Гильотина рубит до конца, всякая вещь принадлежит либо левой стороне, либо стороне правой. Тело либо дух! Преходящая жизнь или надвременное бытие. Господин Блютфельд или доктор Конешин. Лето или Зима. Человек либо Бог. Гнилой, вонючий труп, разлагающийся на жаре, под миллионом мух — либо математика. Тирания людской случайности — либо аполитея. Животное — либо...

Вылило на себя остатки воды. Вот только какой здесь интерес у Биттана фон Азенхоффа, чтобы Сын Мороза не позволил себя сделать подобным ангелам? Нет Щекельникова, чтобы тот брал на себя бремя подозрений, необходимо травиться самому. А вот это с каждым разом все сложнее; все чаще, поначалу действуешь, прежде чем представишь с дюжину возможностей измены и лжи, и стыда. *Подозрительный вы человек, господин Бенедикт*. По сравнению, именно такое впечатление и создавалось — потому что они ведь не подозревают. Подозрительность — это состояние неуверенности — а они уже прикоснулись к единоправде, тьмечь течет у них в жилах, замораживает мозги. Парадоксально, потому-то Чингиз Щекельников и представляет собой идеальный щит: он заранее знает, что всякий человек ему враг, и что этот всякий желает ему наихудшего. Вот с кем бы сейчас поговорить: с одноглазым Ефремом, последователем святого Мартына.

Последний червяк выполз из тела, вышло из парной, пошатываясь и ведя по стенке легкой, бумажной рукой; снова обмылось, на сей раз ледяной водой; банщица принесла водку и кимоно; оделось в мягкий, удивительно гладкий шелк, одним глотком приняло стакан водки; вошло в прохладный, прозрачный, пропитанный благовониями воздух Кошачьего Двора. Ангел ступал по персидским коврам.

Вокруг животные предавались животным похотям. Не все попрятались по отдельным комнатам, за закрытые двери. За длинным столом, заваленным пирогами и мясом, мужчины, размалеванные жиром и вином, запихивались очередными лакомствами, перебрасывая еду через стол кусками и горстями, дорогие фрукты, привезенные из теплых краев, раздавливая в декольте девиц, выливая им прямо в горло напитки различного цвета, что покрывали пятнами их изысканные платья. Коты прохаживались между серебряной посудой. Банкир и советник, один в очках, другой в парике, а помимо того — совершенно голые, вылизывали икру из закоулков обильного тела уже спящей девки — багровые и сопящие, словно катили сизифов камень; девица похрипывала, они же высверливали носами и языками в ее складках, щелях и впадинах, темной волосней заросших, залитых потом, зачерненных драгоценной икрой. Коты приглядывались к ним из-под портрета царицы Екатерины. В комнате, устроенной по-турецки, на полу, заваленном сотней подушек, гусарский капитан объезжал выпяченный зад Марушки; ее голова и плечи были полностью втиснуты, затоплены во все

эти подушки, так что все, что выставало на мерцающий свечной свет — это спина в веснушках, худые, дрожащие бедра и задница, от ударов ухарского вояки уже *красная*, в которую вояка-ухарь совал Марушке в ритме, замечательно натренированном к галопу и рыси; при том выпирая торс вперед, хлопая обвислыми, сморщенными ягодицами и идиотски при этом подфукивая, так что мотались усы. Коты бродили среди подушек. Гладколицый вьюнош, едва-едва гимназического возраста, лишенный где-то по дороге порток, улегся с *красавицей*, в свою очередь, обнаженной от пояса вверх — его ноги на этажерке, голова на шезлонге, рука в ночном горшке с блевотиной, вторая — под юбкой у девицы, ее голова втиснута ему под пазуху, и спят оба в этой невозможной позиции, обмазанные телесными выделениями, блестящими словно слизь. А коты их слизывали.

Herr Биттана фон Азенхоффа и его Катю *я-оно* обнаружило в угловом салончике первого этажа. Из патефона неслись звуки «*Vesti la Giubba*». ^[345] Катя, подвернув ножки на плюшевой оттоманке рядом с элегантным пруссаком, что-то щебетала тому на ухо. Фон Азенхофф курил длинную, цветную трубку, с чубуком из кирпично-красного коралла, глядя из-под опущенных век через окно напротив на обледеневшую тайгу, на белоцветную метель, бушующую над нею, на половинку Луны, подобную луже синих чернил, и на выступающий из-за дерева хребет люта лунного цвета. Пахло араком ^[346].

Я-оно остановилось у порога, крепко вбивая голые стопы в ковер — ибо, как еще ангел жаркий, изощедший потом, должен закрепиться на земле, сопротивляясь внутренней дрожи, отвращению и священному гневу?

Господин Биттан прижал палец к губам. Трубкой он выполнил приглашающий жест, уже сонный, неспешный. Помявшись немного, уселось в кресле между окнами, тщательно подворачивая длинные полы кимоно под ноги, руки сложив на груди. Катя даже не глянула; такая пальчик в рюмке с араком, она затем проводила им по губам фон Азенхоффа, когда тот вынимал мундштук изо рта.

Под оттоманкой зевал кот.

Пластинка закончилась, Биттан выгнулся назад, протянул чубук и остановил им устройство.

— Катя, — промяукал он, — наш гость одинок.

Та протянула руку к звонку.

— Нет! — воскликнуло *я-оно*. — Подожду до утра и уеду вместе с первым же, возвращающимся в Иркутск.

— Нехорошо, нехорошо, — урчал пожилой дворянин. — Такая неблагодарность, такое презрение.

— Презрение! — фыркнуло *я-оно*.

— Ну конечно же. Когда вы едите — прикрываете рот, отворачиваете голову. Когда пьянствуете — то в одиночестве, правда?

— Приличия, они требуют...

— Приличия! — отшатнулся немец. — Вот оно как вы себе лжете? Или это вас научили, выдрессировали?

— Нет, — ответило тише. — Иначе просто не могу.

— Могу поспорить, что это вы сами выбрали, и наверняка, даже вопреки собственному семейству — эту вашу математику, логику. Так?

— Другого себя и не помню. — *Я-оно* выпрямилось в кресле. — А память, что память? Это вовсе не означает, будто...

— А из любви — что вы когда-нибудь публично сотворили низкое, животное, под воздействием любовного желания?

— Сейчас он чистый, — мягко сказала Катя и покрепче прижалась к фон Азенхоффу.

— Такая у вас любовь...! — с издевкой засмеялось я-оно. — Уж лучше скажите, чего вы от меня хотели, что затащили в этот лупанар [\[347\]](#).

Тот пожал плечами, пыхнул дымом.

— Ничего.

И сразу же отметило эту правду его характера. Он, возможно, единственный среди них всех, ничего от Сына Мороза не желает, нет у него каких-либо планов, опасений и надежд, с ним связанных — дело в том, что ему глубоко плевать на Историю, плевать на государства, религии, национальности; Биттана фон Азенхоффа ни в малейшей степени не волнуют ни прошлое, ни будущее: настолько он сконцентрирован на себе самом и на удовольствии, переживаемом в данный момент. Его абсолютный эгоцентризм гарантирует сатанинскую незаинтересованность. Ведь и святой не творит добро потому, что для него это выгодно, ни дьявол не творит зло в соответствии с какой-то хладнокровной стратегией — они делают то, что делают, поскольку в данный момент для них это наиболее приятно.

— *Mauvais sang ne saurait mentir* [\[348\]](#) — буркнуло я-онои вздрогнуло, когда от окна повеяло холодом. — Вас это развлекает, вы неволите людей, давая им роскошь, тем самым надевая ошейник на животных, что существуют в людях.

Катя подлила араку. Фон Азенхофф медленно слизывал спиртное с кончиков ее пальцев.

— Что меня развлекает... — вздохнул он, устраиваясь поудобнее на оттоманке. — По крайней мере, вы не плюете в меня латинской моралью. Но у русских имеется более предметное отношение к телу. С одной стороны — Селиванов, с другой стороны — Данило Филиппович; а вера одна и та же. Вот только с тем, что сразу же все это идет в ужасные экстремумы: либо абсолютная правда, либо ложь конца света, и ничего посередине; режут и выжигают из себя пол и телесные желания, либо же устраивают постоянные оргии целых общин. Сложнее всего, — он провел ладонью перед лицом, — удержаться где-то посередине. А вы — вы быстро соскальзываете. Впрочем — вы математик.

Я-оновыпустило иголки.

— И что с того, что математик? От чисел никто еще яиц с хером сам себе не отрезал!

Немец снова скривился, выдул клуб дыма.

— Скууучно, — протянул он, — он начинает быть нууудным. Катя, что мы сделаем с *monsieur* Морозиком, ммм?

— Вы желали поиграться со мной, бросить среди животных и глядеть, как из Сына Мороза вылезает чудовище!

— Он теперь чистый, — повторила Катя, почему-то на ее лице поселилась печаль, обрамленная золотом и светенью.

Господин фон Азенхофф, переложив трубку в левую руку, правой рукой обнял красавицу сзади и впустил ладонь в декольте розово-красного платья, чтобы сразу же затем, мягким, сонным движением извлечь оттуда на керосиново-лунный свет белую грудь, охватить ее колыбелью старческих пальцев и перебрать ими сосок, такой же розово-красный, как и платье.

— Забава, забава, забава, — напевал он, — но какое тут удовольствие для кого-нибудь, кто все удовольствия давно уже купил? Съешь на тысячу пирожных больше? Выпьешь ведром шампанского больше? Накопишь в закромах больше золота и бриллиантов? Выстроишь хрустальные дворцы, чтобы другие завидовали явно — и из этого поймешь удовлетворение? В первый, второй раз — возможно. Но когда уже обогатишься так, что никто с этим богатством тебе не сможет угрожать, когда уже все завидуют — что тогда? Конкуренты, которых следует победить — уже побеждены. Враги, которых нужно унижить —

унижены. А последующий миллион или два миллиона — какая тут разница? Все удовольствия, которые ты способен купить — поскольку можешь их купить, уже не радуют.

...В ту галантерейную лавочку я зашел, расставшись с продажной дамой на пороге «Аркадии»; дрожек брать не стал, а тут дождь, я побыстрее под маркизу, зазвенел звонок, какой-то покупатель как раз выходил — и я вошел. Лавочка маленькая, уютная, а за стойкой миленькая девочка, еще цыпленочек, только-только с детством попрощавшаяся — заметила пальто, сюртук, перстни, глазки у нее расширились, дыхание затаила. Я улыбнулся, поклонился. Она в ответ присела в книксене, возвращая улыбку, беленькие зубки показывая. Дождь хлестал как из ведра, что мне еще было делать, заговорил с девицей, пошутил, подмигнул. Фа-фа-ля-ля, а девушка, оказывается, не только улыбаться может, весьма приятная неожиданность: решительная, с задором, рассказывает про слепую бабку, что всех сожителей способна поцарапать; про дядюшку с тяжелой подагрой, который как-то от боли настолько взбесился, что пытался ногу себе отрубить; а это их семейная лавочка, она после обеда здесь продавщицей. Не успел я и оглянуться, а дождь уже и перестал, полчаса, а то и больше прошло в приятной беседе.

...Через неделю или две, в такой день, когда я уж слишком устал после долгих банковских переговоров, проезжая в тех сторонах, заметил вывеску галантереи, и тут же появилась идея, как можно поправить себе настроение. Вошел. За стойкой та же девочка. Вы что-то пришли купить? И глазки ее уже смеются. Входили и выходили какие-то покупатели, а мы все продолжали перешучиваться. На выходе бросаю на стойку двадцатипятирублевый билет. Это за что же, морщит бровки девушка. А за время, мне посвященное, отвечаю с порога, и меня уже нет. При последующем визите дамочка желает мне возратить эти рубли, в карман сует — уворачиваюсь со смехом, добавляю еще столько же. И так между нами игра такая возникает: я даю после беседы, она возражает, а чем больше она возражает, тем сильнее я деньги отталкиваю. В этом игра и заключается — ведь, по правде, у девушки и в голове нет такого, чтобы возвращать мне рубли. Я выхожу и плачу; а все остальное — только шарм и флирт.

...Весна чудная установилась, а может мадемуазель пораньше лавочку закроет, все равно покупателей нет, а так славно сейчас по городу прогуляться. Так не могу, герр Биттан, дядюшка на меня полагается. Вытаскиваю радужную бумажку ^[349]. Для дядюшки сплошная выгода; заплачу, заплачу хотя бы за четверть часика. Оба смеемся. А весенний Иркутск и вправду прелестен.

...С тех пор я уже всегда платил заранее — перед беседой, перед прогулкой, перед затраченным временем. Элементом игры здесь является и величина суммы. Если вытаску номинал поменьше, дамочка разыграет разочарованность и личико опечалит: это с чего же снижение такое? Так что дорога лишь одна: вверх, больше, выше. Беседы подольше, прогулки подлиннее, ведущие в более богатые районы, там уже я кланяюсь и приподнимаю шляпу, но и дама, под ручку взятая, тоже бывает представлена. В театр, прошу вас, вечером все идем в театр! На что она отводит меня чем быстрее и шепчет, что не может — но почему же — а не в чем в обществе показаться. В связи с чем покупаю девушке вечернее платье. Она еще спрашивает о цене и кислую рожицу строит; но уже в пятый, седьмой, двенадцатый раз — туфельки, бижутерия, вуали, перчатки, изысканные туалеты целиком — теперь глядит уже только на их красоту. Я же покупаю исключительно красивые вещи, самые красивые!

...За прогулку, за обед, за ужин, за театр — когда девушка меня целует, плачу и за поцелуй; когда идеей какой-нибудь застает меня врасплох, плачу и за подобные изобретения. Плачу, — но вместе с тем и покупаю — и, следовательно, требую, выбираю, оцениваю; не посредством того, что склоняю к тому, но ведь и не бывает покупок без подобных условий,

как нет света без цвета, звука без тона. Прически, одежды должны мне нравиться, именно такая, а не другая линия юбки, такой, а не иной корсет. Само поведение девушки — она ведь проиграла бы, если бы с этим не справилась — голову повыше, улыбайся, перед тем присядь в книксене, этого проигнорируй, вон с тем потанцуй, а с тем поговори. А уже потом: получишь полета рублей, если с господином прокурором пофлиртуешь; сотку — если женушку вице-директора до ревнивого бешенства доведешь; сотка, а то и больше, если дряхлому старикану коленку на мгновение покажешь, так что у того и речь отнимет.

Двести — если в течение всего вечера будешь такой-то и такой женщиной. Красивой! Прекрасной! Четыреста, если в течение всей ночи.

...Ибо в том и дело, *monsieur* Герославский, что если бы тогда я вошел и сказал невинной девушке из лавочки с лентами: «Заплачу тебе состояние, если блядью моею на ночь станешь» — она бы только по морде бы мне дала и за городовым побежала. А туг вся забава и удовольствие заключается в том, чтобы купить такую вещь, которую купить невозможно.

— Так вы ее попросту соблазнили.

— Катя, разве я тебя соблазнял?

Катя подала ему на пальчике капельку арака.

— Вы меня купили, *Herr* Биттан.

Проглотив злое слово, заново пригляделось к Кате, уже повнимательнее. Пудра и золотой *maquillage* прикрывали уже не такие уже и мелкие морщины. Это была зрелая женщина, ей следовало бы иметь детей, семью и будущее в этой семье. Эта ее печаль в светлых глазах — нет, это не было мимолетной миной; такова правда о Кате, девочке с ленточками.

— Когда же все это происходило? Весной, вы сказали. Еще перед Зимой Лютов, так?

— За год перед тем. — Азенхофф поцеловал Катю в запястье. — Купил я ее, и так оно и замерзло.

Они образовывали воистину впечатляющую пару — точно так же, как бывает впечатляющим человек со смертельной опухолью или ребенок с двумя головами. *Я* оноотряхнулось от мыслей.

— Забава! — простонало хрипло, заслоняя глаза. — Вы и дальше желаете игратья мною. Почему вы не взяли себе в кровать какую угодно подфонарную путану, вместо того, чтобы растлевать невинную девочку? Это уже не животная похоть, это банальная подлость!

Фон Азенхофф разочарованно зачмокал. Выплюнув длинную дымовую змею, он ущипнул Катю в бледное мясо груди; та в ответ вонзила ему ноготь в подбородок. Пруссак усмехнулся.

— Именно те, что не знают и не ценят удовольствий тела, наибольший фетиш именно из тела и делают, — сказал он, отложив трубку на стоящий рядом столик. — А ведь тело, хотя и дает возможность удовольствию, само по себе удовольствий не дает. Если бы это были грехи чисто телесные, как вы это в своем юношеском идеализме представляете, грехи, от которых спасут острый нож и раскаленное железо — тогда воистину правы были бы козоебы и последователи Онана, что достаточно всего лишь соответствующий нерв хорошенько возбудить и — *вот, все*. А ведь это не так! Что составляет разницу: не тело, но то осознание в тебе, кто сквозь глаза того тела на тебя глядит. Откуда ведь наивысшее возбуждение и из чего *la puissance d'Eros* ^[350] по причине встречи с духом, телом правящим. Потому-то и не распалит во мне огня блядь, пускай даже самая красивая, самая молодая, со скульптурными округлостями и устами словно мед, если за ее глазами я вижу всего лишь глупую девку, оторванную от коров, которая не способна осознать собственные поступки, да и высказаться о них не способную. Зато, когда я встречаю женщину сильного духа, с пробужденным интеллектом, разгоняющим в одну секунду тысячи фантазий, равную мне широтой мыслей и

желаний... Monsieur Герославский, иногда не обязательно даже сближения тел, будет достаточно, что гляну ей в глаза. Чем больше осознание *presence d'Eros* ^[351] за женскими глазами, тем больше удовольствия от ее тела.

...Так что, как сами видите, — смеялся он, — я наибольший сторонник эмансипации женщин!

Фон Азенхофф прижал к себе Катю и что-то нашептал ей на ушко. Женщина отставила рюмку с араком и сползла с оттоманки на ковер, показывая босые стопы из под карминового платья. Она не застегнула корсета, не подтянула бретелек. Опустившись на четвереньки, она подняла золотой взгляд из серьезных, абсолютно не мигающих, раскрытых словно в каком-то гипнозе глаз — так что было совершенно невозможно собственного взгляда, зацепившегося на ней, оторвать и отвернуться самому. Длинная ее коса упала на плечо, волочась по ковру, когда Катя медленным, кошачьим движением переползала через комнату. Платье ее шелестело, кот урчал.

— Вы не найдете в моем Дворе девушки, которая не умела бы читать и писать, вести на различных языках бесед об искусстве и политике, — продолжал говорить Биттан фон Азенхофф. — Не найдете вы здесь и девушку, совершенно лишенной собственных сумасбродных настроений, не способную выцарапать тебе глаза в момент гнева, а себе — в отчаянии — порезать вен. Если бы не Катя, я бы никогда не справился с этим домом гетер. За то...

Добравшись до кресла, Катя забралась выше, потянула полы кимоно, золотые губы влажно блестели; она провела холодными пальцами вдоль икры, бедра...

Я-оносхватилось, выбежало в коридор, в сени и к двери, под которыми дремал мужик в бараньем тулупчике; опрокинуло мужика, выбежало на крыльцо, и с крыльца на снег и мороз. Ледяной воздух ударил в кожу и влился в легкие словно жаркая жидкость, едкая кислота. Подавившись кашлем, упало на колени.

Снег, девственный, белый снег, зеркальная, искрящаяся гладь — лед, лед, чистейший — собрало горстями верхнюю мерзлоту, втерло в распаленное лицо, в грудь. Ветер сотрясал покрытыми сосульками деревьями, на горизонте Луна бросала рефлексy на туше люта, тени и огни из окон высшего этажа Подворья мигали на инее, там люди развлекались, пили, чужеложествовали, танцевали... Ело снег, пило мороз. Правда или фальшь? Правда или фальшь? Прошлого не существует, все воспоминания... А с четвертой стороны: палец, палец пана Коржиньского!

Почувствовало шубу на плечах — фон Азенхофф закутывал в меха, тянул назад в теплый дом. *Я-оно* вздрогнуло, на момент вырвалось — но уже не было в состоянии вырваться из его стальных объятий. Лед таял во рту.

— Возьмите себе самую чистую, самую белую, самую невинную, — шептал пруссак, и его дыхание благоухало табаком и араком. — Нет у меня для вас девочки, нет у меня для вас ангела. Зато имеются красивые зверьки, жадные до удовольствий — и все то, что имеется у них за глазами.

О Царствии Тьмы

Зимназовый лифт, грохоча, едет в адскую темень, что висит в небе над Иркутском.

— Не смотрите на него, — говорит Ангел Победоносцева. — Вы ничего не увидите, но, все равно, не смотрите.

— Так потому он живет в темноте?

— Потому и живет.

Башня Сибирхожето изнутри кажется намного меньшей; не столько низкой, сколько узкой. Этажи, которые мелькают в скрежещущем грохоте — пятьдесят второй, пятьдесят третий, пятьдесят четвертый, где размещаются конторы *Товарищества* — по площади не превышают и половины Лаборатории Круппа в Часовой Башне. Апартаменты Александра Александровича Победоносцева — это шестьдесят девятый и семидесятый этажи, но над ними еще располагается решетчатая надстройка подъемного крана с вторым венцом мракосветных прожекторов и мачтами Магнитно-Метеорологической Обсерватории (Сибирхожето спонсирует исследования Черного Сияния). Вблизи же башня Сибирхожето при всем при том вызывает впечатление еще более топорной, банально спроектированной, сварганенной с фантазией кузнеца: заклепки величиной с конскую голову, гигантские решетки, профили, прутья и листы, зимназо на зимназе — нет хотя бы четверти той архитектурной легкости и subtilности, которые мы видим в башнях Холодного Николаевска и более новых конструкциях с применением технологий Льда, спроектированных господином Рубецким.

На высоте пятидесятого этажа проехало мимо телескопических установок, подзорные трубы на зимназовых стрелах и консолях, выступающих за пределы башни. Отсюда полицейские геологи прослеживают наземные перемещения лютов, чтобы консультироваться с бурятскими шаманами по поводу официальных ледовых прогнозов, которые затем размещаются в бюллетенях, публикуемых *Сибирским Холод-Железопромышленным Товариществом*.

А выше пятидесятого этажа сумерки нарастают уже с каждым аршином подъема к небу... *Я-оно* погружается в тени, вступает в ночь. А в это же самое время в Городе Льда утреннее Солнце извлекает из снежной белизны тысячи солнышек-зайчиков, а текущий по улицам туман — по улицам, словно капиллярным линиям большого пальца, сунутого в Ангару — сочно пропитан радугами.

До шестьдесят шестого этажа *я-оно* молчит. На шестьдесят седьмом не выдерживает и спрашивает вполголоса:

— Он тоже отделился от тела?

— Нет.

— Ага. А мне казалось, что это по той же причине...

— Нет.

Тьвет попеременно со светениями заливает кабину лифта, невозможно прочитать выражение на гладком лице Ангела.

Лифт въезжает на шестьдесят девятый этаж. Кабина останавливается, двери открываются, господин Зель выходит первым.

Передняя и весь этот этаж, поскольку лишены окон, тонут в фарфоровом блеске светени от глубинного мрака за стенами. *Я-оно* проходит через небольшую прихожую, где монголоидный слуга в темной ливрее берет шубы и шапки, шарфы и рукавицы (вся личная обслуга председателя Сибирхожето состоит из обрусевших бурятов). Зель ведет к лестнице. Пол из зимназовых плит покрывают звериные шкуры, *я-оно* ступает неуверенно, западая и спотыкаясь на неровностях.

В узкой комнате без какой-либо мебели два сильноруких бурята в гимнастерках с эмблемой Сибирхожето сдвигают от стены бархатный занавес. Эта стена — по сути своей — представляет одно громадное мираже-стекольное окно, похожее на панорамные окна Часовых Башен. Один из мрак-прожекторов был специально направлен вовнутрь помещения; его тут же заливает черная пена тьвета.

— Идите.

— Куда?

— Идите, идите.

Это их очередное средство предосторожности. Когда *я-оно*проходит через комнату, на противоположной стене танцует светень идущего силуэта: уродливая мазня негатива темноты, перетекающая на краях в ту или иную сторону. Буряты с пристальным вниманием всматриваются в нее.

— Стой!

Один хватает за правую, другой за левую руку, суют лапы в карманы, за воротник, под пиджак, под жилет, вытаскивают неуклюжий пакет. Обнажив Гроссмейстера, они, ослепнув, отпрыгивают. Ангел Победоносцева кричит, на фоне окна мелькают световые пятна, светени нерегулярно скачут по стенам. Револьвер пылает.

*Я-оно*задвигает занавес. Возвращается монохроматическая освещенность, *Гроссмейстер*гаснет.

Зель приглядывается с весьма мрачной миной на лице.

— Так вы нас обманули.

— Забыл. Я всегда с ним хожу. — *Я-оно*раскладывает руки. — У меня тоже имеются враги, уже только лишь потому, что существую, вы же это прекрасно знаете.

Зель отпихивает Гроссмейстера под ноги готовых прыгнуть бурятов.

— Он желает говорить с вами наедине, но и без оружия вы являетесь для него точно такой же угрозой.

— Для Александра Александровича я никакой угрозы не представляю.

Ангел стискивает бескровные губы, сплетает длинные руки за спиной, склоняет голову.

— Я знаю, кого увидел на балу у губернатора, и знаю, кого вижу сейчас. Но этот револьвер...

— О, Господи, ну забыл, я совершенно не думал, что вы меня станете обыскивать!

— Вот именно. И зачем он сделан из тунгетита?

— Не из тунгетита. Это такой никелевый холод с высокой противотермической проводимостью — чтобы стрелка мороз не убил на месте. Потому что пули — пули из тунгетита.

— Пули. — Ангел оглядывается на бурята, который, взяв двумя пальцами Гроссмейстера за ствол-ящерицу, поднял его к глазам. — Да, это оружие Сына Мороза. — *Господин*Зель болезненно выпрямляется (как это у него не трескается выгнутый назад позвоночник?), откашливается и на мгновение прикрывает глаза. — Прошу подождать, — бросает он и быстро поднимается в темень семидесятого этажа.

*Я-оно*остается с двумя бурятами, один из них все еще держит в вытянутой руке Гроссмейстера — словно дохлую змею. На щекастых лицах инородцев не выражается каких-либо эмоций, которые способен прочесть белый человек. Заговорить с ними, объясниться, может быть, подойти, сделать дружественный жест? Математика характера, алгоритмика расы не оставляют каких-либо сомнений: все это напрасно, эта система выстроена на других аксиомах, человека посредством нее не просчитаешь. *Я-оно*стоит в неподвижности, со столь же пустым выражением на лице. Слышен лишь отдаленный грохот подъемного крана и визг трущихся один о другой элементов металлической конструкции башни.

Ангел спускается с высоты, делает приглашающий жест рукой. *Я-оно*входит в апартаменты Победоносцева.

Все стены выполнены из мираже-стекла, отовсюду льется резкий тьвет. Аркадия Иполлитовича и заполняющую апартаменты мебель *я-оно*видит лишь по их обрывочным светениям. Но имеются здесь и такие предметы, ни формы, ни предназначения которых пока

что не способно вычислить — вешалки с дюжиной крючков? проволочные стеллажи? вращающиеся клетки?

Несимметричное скрещение потолочных балок делит этаж на неравные четвертушки; Зель отводит занавес и отодвигает его в сторону. Его светень на потолке вытягивает кустоподобные конечности, вспухает коровьей мордой, из которой тут же появляются электрические щупальца.

— Не гляди, — шепчет.

— Этот свет...

— Он.

Александр Александрович Победоносцев, которого собственными глазами не видел никто из жителей Иркутска, председатель совета директоров Сибирхожето и фактический повелитель Города Льда пылает холодным огнем на возвышенной площадке между зеркалами тьмы, заливаемый тьветом от окружающих башню криоугольных прожекторов — очертание негатива этой черноты, гештальт [\[352\]](#)ледового жара — только это и видно от Александра Александровича. Я-оноприкрывает глаза предплечьем и так приближается к площадке.

— Можете надеть очки, — слева и справа разносится металлический голос, я-оноовздрагивает, крутя головой во все стороны, делаясь слепым, когда попадает из столба света в темноту — все бесполезно. Нервно вытаскивает мираже-очки, надевает их на нос. Те растворяют сконцентрированную светень в радугу и мягко переливающиеся калейдоскопические образы, в которых совершенно уже невозможно распознать лиц или же форм внутри силуэтов.

«Зашифровался», думает я-оно, остановившись перед площадкой. Здесь пахнет механической смазкой, а еще — озоном. Это металлический призыв — патефонные трубы, усилители, смонтированные по бокам, из них исходят слова Победоносцева. Кто глядит, человека не увидит — только древо светени; кто слушает, человека не услышит, только затертую пластинку. Остается лишь содержание его слов, а этого крайне мало. Зашифровался, он, первый лютовчик, лучше всего знающий принцип Края Лютов; именно так скрывается он перед математикой характера, чтобы никто не смог его решить. Потому-то, несмотря на многие годы подо Льдом, для всех он остается в буквальном смысле нерешаемым. Не отсюда ли его могущество?

— Венедикт Филиппович Герославский, — звучит отовсюду, и на сей раз я-оноудерживается от того, чтобы разглядывать по сторонам.

— Александр Александрович Победоносцев.

Что-то скрежещет в динамиках: кхррр, тртррр, кррккк — это смех Победоносцева.

— Вы пришли ко мне с револьвером. Ах, ах. Убить меня хотите.

— Зачем? Зачем мне вас убивать?

Кхррр, тртррр, кррккк.

— Повода нет, потому и не убьете.

— У меня нет повода.

— За вашего приятеля, Николая Милютиновича Теслу.

— Выходит, вы и вправду на его жизнь покушаетесь.

— Правда.

— Платите за его голову.

— Правда.

— Желали убить его еще по дороге в Сибирь.

— Правда.

Правда, правда, правда; тьмечь вымораживает все сомнения, кристалл правды разрастается, словно ледовая структура под микроскопом.

— Вы провели про письмо императора генерал-губернатору и послали словечко леднякам-придворным, они же собственного агента за доктором Теслой направили, ради смерти, ради уничтожения его машин. И у вас есть люди и в Третьем Отделении? Откуда вам стало известно, что первый агент спалился?

— Ах, но ведь на самом деле у вас нет повода, вы сами выдали себя в Аполитее, вы ведь тоже не желаете машинной Оттепели Теслы. Если он вам друг...

— На жизнь и на смерть.

— Тогда спасите его, прогоните прочь.

— Мой отец...

— Ваш отец! — гудит из стальных труб, а железяки на возвышенной площадке грохочут, пищат, трещат. — Забудьте о нем! Расскажите мне о Государств Небытия, о Царствии Льда!

На мгновение я-оностаскивает очки, растирает основание носа. Глаза режет. Если глянуть в сторону от огня, вытьвечиваемого зеркалами из Победоносцева, через широкое окно у него за спиной я-оновидит замечательную панораму Иркутска, метрополию семицветной белизны с ватными хлопьями кисельных туманов, украшенную морскими звездами лютов, с тысячами лент дымов из труб, с тысячами цехинов мираже-стекольных ламп. Правда, правда — когда он не принимает гостей, а ведь принимает он их крайне редко, отсюда осматривает свой город, днем и ночью, всегда глядящий из мрака, оглядывает город, считает лютов, рассчитывает прибыли, плетет планы с дальним прицелом.

— А что, собственно, вы поняли из Аполитеи? — говорит я-оновоплоголоса и на мгновение само поражается этому наглому выпадку. Момент проходит. — Все те, что верят в Историю, замороженную подо Льдом, то ли ледняки, то ли оттепельники, всегда строят на этом вот какую картину: История шла, как ей идти следует, а тут вдруг трахнуло-бабахнуло, заморозило, и теперь подо Льдом мы видим искривление Истории вместо Истории правильной. Одним это нравится, другим нет, но диагноз одинаковый. Замерзло! Но я здесь уже пару месяцев живу, но, по крайней мере, в том Морозу не поддался, что обладаю храбростью делать из этой реальности оригинальные выводы. Лед все замораживает в единоправде, Лед приводит всякую вещь, всяческое явление к ее конечному виду или же к собственному его отрицанию, но по форме идентичному ему, точно так же, как негатив изображения очертаниями своими совпадает с позитивом. Край Лютов — это Край Правды. Следовательно, вместе с ударом мороза в тысячу девятьсот восьмом здесь никакой катастрофы не произошло, равно как и деформации Истории — История подо Льдом именно такова, какой должна быть. Бердяев правильно вычитал из материи движение идеи, только исходил он из ложных предпосылок, видя Бога за каждым историческим фактом, слыша глас небес в обращении эпох. Ибо, это и вправду сложно в голове выставить, трудно оторвать мысль от того, что мы принимали за очевидность — это сложнее всего. Ведь мы с беспамятных времен жили как раз в Истории случая, незавершенности, неуверенности и полуправд. Что бы там себе германские философы не выдумывали, это были всего лишь приближения к правде, грубоватые домыслы и насильное запихивание кривой Истории в геометрические формы. Но только здесь, подо Льдом, можно будет определить ее точными законами, с математической четкостью выводить зависимости эпох и последствия укладов, переводить одну идею из другой. Зима ничего не искривила; Зима лишь проявляет единоправду Истории. Без Льда нет Истории, а без Истории нет Бога и нет человека — ибо за пределами Льда не существует прошлого. Правление Не-Государства, которым вы, Александр Александрович, столь заинтересовались, возможно только подо Льдом. А в Лете — в Лете

правит человек, то есть — случайность, полуправда-полуложь, миллиард несвершенных возможностей. Особенно здесь, в России, где всегда было холоднее, и где всегда инстинктивно высматривали земного наместника Истории; здесь управляет ночной каприз самодержца, который сам для себя является меркой всяческой Правды.

Трещит, клекочет, стучит скрытый в жару светеней механизм трона-ложа Победоносцева, когда единоначальник Сибирхожето выглядывает со своей платформы над зеркалами; хоть и немного, но выходя из тьмечевого фокуса.

— Ах, ах! Выходит, правильно Его Величество делает, высылая доктора Теслу на эту войну с лютами.

Наверняка, была в этом ирония, но стальные тубы стирают нюансы тона голоса.

Я-оно складывает руки за спиной, опирает ногу на краю платформы.

— Но вы будете бороться против него, вы будете сражаться за Царствие Льда.

Очень долго лишь стальное молчание исходит из окружающих раструбов. Зимназовая башня дрожит и трещит под ногами, свищет ветер за мираже-стекольными стенами.

— Когда *Черное Сияние* вытьевечивается на небе, — очень медленно начинает Победоносцев, — мне кажется, что уже не от прожекторов меня тьма охватывает, что *Altra Aurora* протекает чернильными волнами через верх башни, я чувствую его на коже, на языке, в жилах; засыпаю и просыпаюсь в них. Во снах, от которых доктора прописывают китайские зелья, во снах и в гипнотических светениях города внизу, словно в раскладе костей, выброшенных рукой шамана — я вижу будущее Сибири, будущее мира, который воплотится, благодаря мне. Так познаются вещи, которых нельзя познать, вот какая у меня гадательная машина для чтения скрытого знания: Город Льда и Тумана.

...А думали ли вы когда-нибудь, как станет выглядеть мир, когда Лед, в конце концов, покроет его от полюса до полюса, все континенты, все страны и все народы? Ледняки и оттепельники, Бердяевы и неверующие, мартыновцы и православные христиане рассказывают друг другу различные сказки-предсказания. А я — знаю, я — вижу. Не будет войны с лютами. Я вижу, как человек с лютами сосуществует. Люты под землей и на поверхности, а люди — над ними, в радужных метрополиях, в городах, вознесшихся в небо на зимназовых сваях, в Альгамбрах, висящих над вечными снегами. *Черное Сияние* растьевечивает небосклон на всякой географической широте, изо дня в день, из ночи в ночь. Нет никаких дорог в Царствии Темноты кроме Дорог Мамонтов, по которым путешествуют люты. Люди же путешествуют по поднебесным железным дорогам, растянутым на хрустальных струнах; либо на аэростатах из еще более легких перемороженных материалов. Новые ледовые технологии открыли для нас небо, провели к звездам. Никто не голодает, никто не страдает понапрасну, исчезли болезни Лета. В мираже-стекольных теплицах мы выращиваем под тьветом виды злаков и плодов, устойчивых ко всяческим болезням. И всегда нам хватает тепла и электрического тока.

...Ах, думаете, мне не известно, что совершает доктор Тесла в своей Обсерватории? Он черпает энергию прямоком из Дорог Мамонтов. Нам станут не нужными гидроэлектростанции — ведь все реки замерзнут; не нужно нам будет сжигать ни нефти, ни угля — весь уголь превратится в криоуголь, а нефть, нефть замерзнет. Мы же станем выкачивать энергию непосредственно из земли, с Дорог Мамонтов. Планета станет нашей электростанцией, и всякий человек извлечет из Льда любую энергию.

...А теперь, ах, ах, я прочитал вашу *Аполитею* и увидел духовные фундаменты этого Царствия Темноты. Ибо, воистину, это будет единое Царствие, единый межчеловеческий организм: Держава Порядка и Справедливости, под санкцией Правды, столь же твердой и очевидной, как правила арифметики. И нет в нем никаких бунтарей, ибо кто же бунтует

против физики и химии, таблицы умножения и гравитации? Нет в нем никаких переворотов во имя религии или же идеологии, поскольку нет споров, какая из вер и идей правдива. Одна правда, единоправда. Правит История.

Я-онооткашлялось.

— Это... импонирует.

— Это неизбежно! — гудит Победоносцев из стальных труб.

— Ну, разве что придет Оттепель...

— Теперь вы понимаете, почему необходимо оторвать Теслу от Льда. Тем или иным образом.

— Я уже говорил вам, — рычит *я-оно*. — Никола мой друг.

Непонятно когда и как, *я-оно* подняло на платформу левую ногу и стоит уже на расстоянии трех вытянутых рук от председателя Сибирхожето, спрятанного в коконе светени, за зеркалами тьмы. Резкий свист и скрежет невидимых механизмов опережает реконфигурацию света и тени — вся установка отъезжает к окну, и снопы тьвета, гутый, словно смола мрак бьет прямо в лицо, проникает через уже закрытые веки; *я-оно* чувствует его липкое касание кожей.

Я-оноотступает, спускается с платформы.

— И будьте уверены, я расскажу ему обо всем!

Кхррр, тртррр, кррккк.

— Ах, расскажите, расскажите! Вы услышали от меня, он услышит от вас — увидит правду и необходимость — и уедет.

Так вот он как это все себе обдумал. Вот только, свидетельствовало ли *я-оно* здесь исключительно правду? Мрак слепит, звуковые трубы оглушают.

— Ах, и вы сами будьте осторожны, — продолжает трещать Победоносцев. — Мне хотелось бы видеть вас рядом с собой в день основания Царствия, ибо редкое это счастье, встретить брата по идее. Вы же, тем временем, общаетесь с Шульцем, с мартыновцами, в Зиму, на север за отцом идти задумали... как будто бы не понимали, что после Аполитеи оттепельники тем более воплощение Мороза в вас видят: уже не только сына Батюшки Мороза, но и первого идеолога Льда. И они обязательно вынюхают, что вы со мной разговаривали.

— К отцу, — повторяет *я-оно*, педалируя, опустив глаза, — к отцу я обязан пойти.

— Да что отец? Ледяная фигура. Ни вы ему не поможете, ни он вам.

Я-оноотрицательно качает головой.

— Хотите мне помочь? Пожалуйста. Что случилось с Каролом Богдановичем и Александром Черским? Зачем вы подвергаете цензуре геологические карты и работы о туземцах?

— Ах! Ах! О тайнах Общества расспрашиваете!

— Существует метод, имеется рецепт. Кто ходит с мамонтами? Только ведь вы запретили, стерли, баррикадируете такие знания. И это не случайность. Если открыть простым людям врата к Дорогам Мамонтов — тогда они вырвут у вас геологические секреты, и вы потеряете миллионы, миллионы!

— Да что вы за человек? — скрипит Александр Александрович. — Я вам руку дружбы протягиваю, Царствие Темноты пред вами открываю, а вы набычились, да с обвинениями, да с ядом!..

— Вы мне поможете или нет?

Снова длительная нота металлической тишины.

— Что я могу вам сказать, упрямый юноша... В тысяча девятьсот шестнадцатом в

министерстве я пробил указ против подделывания сибирской географии. Вам не ведомо, что инородческие шаманы обладают силой искривлять пейзаж, затуманивать расстояния, изгибать на земле и небе прямые линии? Нет правды о Сибири в картографии, осуществляемой с помощью туземцев, на землях туземцев, над Дорогами Мамонтов, по которым кружат души их колдунов. Видели ли вы старинные карты Сибири, времен Ермака? А уж с тех пор, как между ними война пошла — фальшь на фальши! Чем дальше к Лету, тем хуже. Неоднократно возвращались геолога Общества из дальних походов, в которых ни одна гора не стояла на своем месте, ни единая река не текла так, как следует.

...Проект премьера Струве по изменению горнодобывающего права должен хоть отчасти предотвратить подобные обманы. Сибирь обязана быть обсчитана! До версты, до пуда богатств подземных! И тогда закончится геологическое пиратство! Ведь я же прекрасно вижу, что хаос этот на руку мелким зимназовым фирмам, бесчестным конкурентам, берущим фальшивые патенты первенства в Губернском Управлении Государственного Имущества. Карта Гроховского — ах, вы же слышали о ней — как только за водкой сделаются более откровенными, тут же Гроховский им на ум приходит: мифическая картография единоправды. Власть над миром лежит в руках геологического землемера!

— А вы не пробовали своих людей послать на Дороги?

— Ах! Не делайте этого!

— Ага! Значит, пробовали! — восклицает я-оно. — Алистер Кроули! Его с вами разговоры — могила-соплицово — или это вообще не соплицово?

— Не делайте этого! Не удастся...

— Чего? Чего не удастся? — Чуть ли не заново я-оно вступает на возвышенность, наощупь водя ногой вперед. — Он жив? Не жив?

— Идите уже. Буду вас ждать, вы не подвели *Аполитею*, буду ждать вас в Царствии — но теперь уже идите.

Неужто в его голосе слышна усталость? Не слышна, по трубам идет волна звука, обитого грубым листовым металлом.

— Если бы вы могли, то забили бы Дороги Мамонтов собственными агентами, — шепчет я-оно под нос. — Чего же такого нужно, чтобы спуститься на Дороги, чего не в состоянии купить все Сибирхожето?

— Идите! Идите! Идите!

Я-оно отступает, сняв очки, растирая глаза в темноте. Голос Александра Александровича Победоносцева слабеет. А может, он и вправду устал... Эта его смена настроений, этот его неуместный смех... Почему он скрывается в светениях, в тьветовой аппаратуре — быть может, права сплетня и *Herr* Биттан: начальник Сибирхожето болен, смертельно болен, и это уже последняя фаза какой-то страшной болезни, он даже не способен перемещаться самостоятельно, не может встать, разве что вместе со своим ложем-троном, говорит шепотом посредством труб-усилителей и теряет силы уже через полчаса беседы. Говорят, что подо Льдом прекращают развиваться и болезни. Только никогда еще здесь никто не излечился от ранее приобретенной болезни. Не может он выздороветь, да и наверняка бы и так не мог — но пока живет подо Льдом, до тех пор не умрет, раз уж замерз, а точнее — раз замерзло его тело. Чахотка, новообразование — с какими еще болезнями связан этот эффект? Ибо, наверняка, не со всеми, ведь люди же здесь умирают; умер Ачухов, умерла Эмилька... Как узнать, какая болезнь от Лжи зависит, а какая рассказывает о человеке Правду? Нет сомнений, старость и все связанные с ней болезни принадлежат естественному порядку вещей.

Что же, неужто именно таково решение уравнения Александра Александровича

Победоносцева? И он будет сражаться за Царствие Тьмы по причине слабости собственного тела? Неужто и вправду материя управляет духом?

Я-оно приостанавливается за перегородкой, ударенное горькой мыслью. Ведь если, когда уже хорошенько замерзнет, какую единоправду увидит в воспоминаниях прошлого? Разве все это, вместе с Аполитеей и самыми глубинными нынешними убеждениями, с политической ситуацией в Иркутске и здешними отношениями и деловыми связями — не является математическим развитием тех варшавских пополуденных часов, когда два министерских чиновника разбудили человека в холод, без спроса забираясь в его комнату и чуть ли не в постель, погружая его в грязь, смрад и убожество своей чиновничьей властью, черными своими котелками и белыми твердыми воротничками, вгоняя в жаркий Стыд прямиком из спокойного сна? И что — именно из этого станет строить Победоносцев свое Царствие Тьмы?...

Ну ладно, а как еще рождаются в человеке политические взгляды? Не высасывает же он их с молоком матери, не обучается им, как обучается алгебре или географии. Но он воспринимает их — как гастрономический вкус, привязанности в вопросах искусства и любовь к определенному сорту женщин, то есть, отчасти, из условий рождения и воспитания, но отчасти — и не является ли это более главным? — из собственного жизненного опыта. Разве не замечало отражения той самой правды в несчастном Зейцове? Он стал социалистом, анархистом, но вместе с тем — радикальным христианином, поскольку услышал отцовский позор и увидел крестьянскую бедность. А из каких жизненных случаев рождаются демократы? Из каких — монархисты? Из каких — пилсудчики? Когда можно будет со стопроцентной уверенностью вычислить, тогда политика сведется к классу банальных предпочтений: вот эти предпочитают сигары, а вон те — трубочный табак.

Хорошо говорил Победоносцев: под властью Не-Государства, под непосредственным управлением Истории никакой спор по какому-либо существенному политическому вопросу просто не будет возможен. Зато появятся партии почитателей той или иной эстетики, сторонники мясной и вегетарианской кухни, парламентские фракции любителей прекрасного пола и гурманов педерастии. Дебаты будут вестись относительно оттенков, причесок и рифм. Канцлером же станет красавчик с хорошим портным.

Только лишь в кабине лифта господин Зель вернул Гроссмейстера.

— *Спасибо.*

— Приказ был. — Ангел встал в противоположном углу зимназовой коробки, повернувшись лицом наружу, так что в середине оставалось еще с добрый аршин свободного пространства; и даже когда уже выехало из поднебесной тьмы, Ангел Победоносцева был всего лишь тенью худощавого, нездорово выгнутого силуэта. — Мы падаем. Все лепте, легче. Обожаю этот момент.

— Еще меньше тела.

— Да. Если же вы...

— Давайте забудем об этом.

— Вы будете пытаться забыть, но не забудете. Тело гнетет. Тело жмет.

— Давайте забудем об этом; в субботу, на балу я просто разнервничался.

— Господь призовет тебя.

Тормозящая кабина затряслась.

— Молитесь о том, чтобы не дожить до Оттепели, — сказала *я-оно*, прикуривая папиросу.

Мороз над Иркутском укладывался горизонтальными воланами белизны; спускалось из озера смолы в молочное море. Сунуло Гроссмейстера под шубу. Теперь уже размышляло о

чем-то другом: после бала прошло два дня, слово, данное *mademoiselle* Филипов, уже не действует — так почему бы не пойти и не откачаться? И не в «Новой Аркадии», а в Обсерватории Теслы. Почему бы и нет? После работы.

А после работы, прямо на вокзале Мармеладницы, прицепился редактор Вулька-Вулькевич. Должно быть, он выжидал здесь, таился — выскочил из толпы закутанных, лишенных лиц фигур, окутанных паром; еще одно людское подобие в рваном отъвете, и, не успело еще узнать пана Ежа, тот уже висел на плече, кудахтал под шапку. Успело лишь удержать от удара лапу Щекельникова. Но редактор Вулькевич даже не обратил на это внимания.

— Пан Бенедикт! Да что же вы натворили! Мне же голову оторвут! Спасайте меня!

Зашло в первый же попавшийся кабак. Развязав шарф, сняв очки, отморозило горло горячим чаем. Редактор взял свой чай, не снимая перчаток, но даже не поднес его ко рту.

— Спасайте меня! — рванул он собственный голос, чтобы перебить пьяный гомон. — У меня конфисковали машины. Отказали в помещении. Приходят какие-то страшные полицейские типы, охранка — не охранка, иркутскую охранку я же знаю...

— *Значит*, это по моей причине?

— А по чьей же еще! Все из-за *Аполитеи* чертовой! Господи Иисусе в небесах! Да я самые жесткие памфлеты против царя печатал, и таких бурь не было!

Он трясся от гнева — вот только против кого направленного? Поглядывал то туда, то сюда, бросая головой по сторонам, адамово яблоко ходило у него под подбородком словно поршень лабораторного насоса; он сжимал пальцы на стакане, выливая из него чай. Господин Щекельников, греющийся собственным питьем, криво ухмыльнулся над редакторским плечом: вот вам очередная иллюстрация грязных поговорок Чингиза, Сердящийся Трус. Правда? Правда.

— А не странно, что только сейчас? — буркнуло *я-оно*.

— Тут явно кто-то наверху у них вашу статью прочитал. Не нужно, не нужно было мне ее печатать! — Он грохнул стаканом по столу, весь оставшийся чай выплеснулся. — А вы меня уговорили...!

— Ну, прошу прощения, честное слово, но я вас не выдавал, впрочем, никто даже и не спрашивал...

— Гады! Даже рублика на чай не взяли, а все официально, да еще и повестку к прокурору подписать пришлось. Если все это по-скорому не остановить, меня арестуют, процесс раскрутят, на старости лет пойду в тюрьму.

— За *Аполитею*? Эээ...

— Понятное дело, что нет! В бумаги впишут что-нибудь другое! Что, не знаете, как такое делается? Ведь у меня нет разрешения на издание «Вольного поляка»! Да и откуда мне его иметь? Вся штука была законной только потому, что многие годы Шульц терпел здесь всяческие национальные движения, кружки распространения той или иной культуры, мещанские общества, *абластнически* партии. Только лишь в последнее время — эта волна арестов — у меня уже сердце в пятках! — Он глотнул, раз, другой. — А теперь и вправду за мной пришли. Видишь, Боже, а не гремишь!

— Я и не думал, что все это к таким результатам приведет. — Задумчиво потерло верхом ладони подбородок. — И даже предположить не могу, чья могла бы это быть работа, ни Шульц, ни Победоносцев...

— Спасайте меня! Выпишите мне рекомендательное письмо генерал-губернатору, подобные вещи только на самом верху решить можно, причем, по-быстрому, по-быстрому...

— Да как я мог бы рекомендовать кого-то генерал-губернатору...! — засмеялось *я-оно*.

— Не издевайтесь надо мной! — рассердился Вулька-Вулькевич. — Ведь Шульц к вам прислушивается.

— Откуда подобные глупости?

— Половина города знает, что вы с ним долго на балу беседовали, а потом еще и с князем Блуцким. Так что не стройте из себя невинную овечку, господин Мороз и Царствие Льда!

Все это слушало с неприятным ощущением *deja vu*. Неужто возврат к графу Гиеро-Саксонскому? Вся разница в том, что сейчас я-оноуже замерзает; теперь это правда. Хлебнуло чаю.

— Успокойтесь. Я напишу это письмо. — Вытащило визитницу. — Хотя, буду весьма удивлен, если это поможет.

— Попрошу на предъявителя.

— Чего?

— Ну не такой уже я наивный, меня же не допустят, но у меня есть более представительные знакомые.

Со вздохом сняло колпачок с ручки.

— Ну, ладно, это же меня мучают угрызения совести, ладно уже, напишу, что «по делу, не терпящему отлагательства». Но, быть может, вы и для меня кое-что сделаете. Да нет, нет, ничего такого; мне бы попросту хотелось побольше узнать про Абрама Фишенштайна, в частности, о его прошлом, что это за человек — нужно побольше данных.

Пан Еж замигал над своими мираже-стеклами.

— Так вы, все-таки, решили делать деньги.

— Что? Нет. Тут дело другое: Фишенштайн дает деньги Братству Борьбы с Апокалипсисом, и мне нужно...

— Ага, так вы и с федоровцами теперь дела имеете, а?

С федоровцем встретилось у Теслы. В Физическую Обсерваторию Императорской Академии Наук заехало, заскочив поначалу на Цветистую за лабораторными образцами металлов и за бутылкой сажаевки. Над темным облаком, скрывающим здания Обсерватории, в вечернее небо выпирались мачты со свежими трупами, даже сосульки под ними еще не успели нарости; светени, растянувшиеся от покойников, определяли на небе вершины пентаграммы. Казаки впустили, в ведущем от складов коридоре разминулось с инженером Яго; тот сделал вид, будто не видит. Лабораторию застало совершенно обезлюдевшей. Лучшей оказии не было и смысла ожидать. Быстро сбросив шубу и шапку, вытащило из-за других прототипов и экспериментальных установок тьветовую бомбу Теслы, к счастью, собранную в единое целое. В фокусе лампы заменило криоуголь на чистый тунгетит. Проверило кабеля. Приборы показывали нужное напряжение. Поднесло к выходному клюву отражательной сферы пластинку тунгетита. Пробный выстрел породил на ней точечное сияние, более яркое, чем огни собора Христа Спасителя. Вынуло блокнот. Гипотезу записало еще в то время, когда по причине недобора тьмечи в голове бродило с пяток теорий одновременно; теперь же она не звучала столь убедительно. Посчитало: двадцать выстрелов в образец, чтобы охватить площадь чуть побольше булавочной головки, а образцов восемь: не охлажденные руды, сталь с высоким содержанием углерода, низкокачественное зимназо. Если поспешить, где-то четверть часа. Отметило час и минуту на тот случай, если бы эффект должен был затухать по времени. Начало с необлагороженного зимназа. Пшшшик, пшшшик, посвистывала Машина Луча Смерти. В момент выстрела на мираже-стеклах разливалась радуга из всех существующих и не существующих цветов. Но воздух, по-видимому,

несколько рассеивал луч, потому что бледным огнем вспыхивали и хлопья тунгетита в водке. Поставило бутылку с сажаевкой на столе рядом.

Все так же до конца не было уверенности, что с нею сделать. Идея была такая: залиться тунгетитовой водкой и, вместо того, чтобы снова откачивать тьмечь, наоборот, накачаться ею по самое не могу, сколько выдержит тело. Быть может, утренний визит у Победоносцева дал духу последнее предупреждение, так что под конец *я-оно*открыто признало: ну как легче найти отца на Дорогах Мамонтов, если самому на них не спустившись? Идея, которую подкинуло при уходе графу Шульцу, чтобы отделаться от него, давно уже сверлила голову, она была уж слишком очевидной. То, что людям Победоносцева не удалось, еще ничего не означало: в начальных фазах всякой науки действуешь, в основном, вслепую, на сотни поражений приходится один успех; так было с паровыми двигателями и с двигателями внутреннего сгорания, с авиацией, с электромагнетизмом — точно так же и с черной физикой. С другой стороны, точного рецепта не знало, о некоторых вещах только догадывалось, пока же что желало лишь исследовать реакции организма. Скажем так: пол-литра и две тысячи скотосов.

Но, может, умнее и безопаснее было бы вначале испытать это на ком-то другом. Интересно, как там справляются с Морозом крысы Саши Павлича, которых он подкармливал картошкой Бусичкина. Грызуны в клетках под дальней стенкой выглядели здоровыми, только ведь не скажешь, какая это партия, те, взятые для эксперимента, могли все до единой сдохнуть.

Так или иначе, но на вычисление маршрута отца на Дорогах нечего и рассчитывать. Нужно хвататься за непосредственные следствия, основанные на материи, а не на математике. Идея выслать за Отцом Морозом душу «*салгын кут*» не была самой безумной. Другую надежду связывало с запрещенной гидрографией Байкала, господин Урьяш обещал в течение недели достать старые карты Кароля Богдановича. А еще отчеты первых царских экспедиций в Зиму, в том числе — той роковой экспедиции, в которой принимали участие Филипп Герославский и Сергей Ачухов.

Проблема в том, что все это вместе мало приближало к решению другой проблемы, гораздо более существенной, а именно: как безопасно разморозить отца, когда *я-оно*его уже найдет. Здесь уже нет обходных методов, полусредства, полудомыслы только увеличивают угрозу. Нужно или полностью ознакомиться со всем чернофизическим процессом, позволяющим человеку сойти на Дороги Мамонтов, или иметь в своем распоряжении для испытаний вживую, как минимум, одного такого *абаасовца*. Тем временем, найти Аэростатного Немого, Копыткина или Кроули столь же сложно, как и отца. Но и нажираться сажаевкой для этой цели особого смысла нет: заабасовать необходимо кого-то, на ком можно свободно проводить любые опыты.

А времени все меньше. Завтра князь Блуцкий-Осей должен представить своего полномочного человека; Франц Маркович приходил со сметой экспедиции и доверенным следопытом-инородцем; завтра уже необходимо было реализовывать конкретный план. А плана все так же не было. Холодный расчет подсказывал, что самое время отбросить всяческие расчеты и попробовать наиболее отчаянные методы.

При виде водки Саша тут же вынул две мензурки.

— Нет, нет, — замахало руками *я-оно*, — это научные пособия.

— А, «научные пособия»! Вы собираетесь вечером наукой заняться? Может, в компании?

— Что, одиночество душу скребет?

Тот опустил за свой стол, повесив нос на квинту.

— Эх, Венедикт Филиппович, да чего мне глаза вам замазывать — словно в тюремной

крепости здесь живем.

— А где Никола?

— Этот ваш Хавров половину дня ему занял, сейчас они вместе отправились во двор, к тунгетитору. Слышите? В стуке перерыв. Зачем вы вообще знакомили его с федоровцами, совсем они его опутали, сейчас здесь все заброшено.

Похлопало биолога с покрытым оспинами лицом по плечу.

— Это у него пройдет, всегда подобные увлечения у него проходили, раньше или позже. — Закурило папиросу, перед тем угостив и Сашу, тот поблагодарил. — А то, что в крепости, пока что, поверьте мне, это наилучший выход. Победоносцев загнул пароль [\[353\]](#) на доктора.

Павлич поднял голову, глаза у него заискрились, светень появилась на щеках.

— Именно! *Mademoiselle* Филипов принесла нам сюда весть, будто вы разговаривали с губернатором и с секретарем Александра Александровича.

— Ах, ну да, *mademoiselle* Филипов...

— Ну, именно, именно! — Саша затянулся, так что на коже вспыхнул кирпичный румянец. — Как там на балу было, расскажите!

— А что, она вам не рассказала, как Сын Мороза над дочкой генерал-губернатора глумился? — Вздохнуло через дым. — Бал как бал, ярмарка тщеславия, тела, украшенные цветами и кружевами, благовониями окропленные, чтобы поменьше выглядели как тела и менее, чем тела, воняли. Что там с нашими крысами?

Саша захлопал глазами.

— Крысы. — Он достал тетрадку из ящика. — Ну что же, плохая весть такая, что все замерзли до костяного состояния. Как вы просили, я закапывал их в клетках в подвале у колодца. До сих пор никаких чрезвычайных эффектов отмечено не было. Можете сами проверить, я провел туда кабель от измерителя тьмечи.

— Но, могу поспорить, имеется и добрая весть.

— Да. В контрольных парах не все экземпляры замерзали после прохождения одного и того же периода времени, несмотря на равные порции теслектричества и равных порций тунгетитового корма.

— Хmmm. Но это продолжалось дольше, чем для крыс, живущих на обычном корме?

— Да, явно. Вот, пожалуйста, до ста двадцати процентов.

Просмотрело числовые данные.

— Вариации не превышают суток.

— И все таки.

— Правда. — Страхнуло пепел в кювету, подняло взгляд на давным-давно закопченный потолок. — Выводы. Вопреки первоначальным предположениям доктора Теслы, любой материальный объект, во всяком случае — оживленные предметы — обладают определенной тьмечевой емкостью. Если мы закачаем в организм теслектрический ток выше этой емкости, снижение температуры, в конце концов, вызовет остановку жизненных процессов.

— Ну, это, более или менее, уже было известно.

— Далее. Накачивание тунгетита теслектричеством вызывает переход энергии тьмечи в кинетическую энергию, посредственно — и в тепловую. Ведь именно на этом принципе работают двигатели Теслы, благодаря которым у нас здесь имеется электрический ток и свет, — махнуло папиросой, — и все это, из энергии, извлекаемой из Дорог Мамонтов.

— Следовательно, организм, нафаршированный тунгетитом, — подхватил Саша Павлич, щуря глаза и плюясь дымом изо рта, — при накачивании теслектричеством, дольше останется выше точки замерзания, поскольку в тунгетите происходят процессы, частично

нивелирующие влияние Мороза.

— Именно так. — Задержало ладонь, трущуюся о ткань жилета. Ах, как бы сейчасгодились хотя бы пять минут под насосом Котарбиньского...! — И вот подумайте: организмы, полностью основанные на черной биологии, имели бы бесконечно большую тьмечевую емкость: сами их жизненные процессы происходили бы по причине преобразования теслектрического тока в движение, тепло, клеточную химию.

ЛубуМММ! — задрожало здание — лубуМММ! — нутряной грохот, раздражающий внутреннюю часть ушей — лубуМММ!

— С другой стороны, — размышлял вслух Саша, — всякая эндотермическая реакция вызывала бы снижение температуры организма.

— Так они замерзли бы или нет?

— И все таки-жили бы!

— Замерзшие.

— Возможно. Нет. Как-то иначе.

Саша снял пенсне, помассировал нос. Сейчас он глядел с откровенным любопытством и столь же откровенным сочувствием.

— Вы думаете, что он именно так и живет?

— Да, Саша, думаю, что он живет. Я очень долго над этим размышлял. И раз уже даже крысы...

Никола Тесла и Эдмунд Геронтьевич Шавров вбежали в лабораторию, оба осыпанные снегом, от обоих бил тьветистый пар, оба сбивали мерзлоту с башмаков. Павлич схватился с места: — Господа, не надо пачкать! Не надо пачкать! — Но те и не оглянулись. Шавров, разогнавшись в причудливых па, уже сменив мираже-стекла на очки с толстыми линзами, увидел бутылку сажаевки и, радостно потеряв руки, взялся выбивать пробку. Прежде чем успело подскочить, запротестовать, тот хорошенько потянул из горла. Глубоко вздохнул, лысина покраснела от удовольствия. — Уфф, сразу мороз с человека сходит.

— Так это же сажа, Эдмунд Геронтьевич, глядите, что пьете.

— И что? Вам налить?

Из своего угла появился Тесла со стаканами и бутылкой «Чивас Регал». Все пропало.

— Инженер Яго доложил об уходе, — сообщил серб, переставляя посуду на лабораторном столе. — Корабль наш.

— Что празднуем? — вздохнуло я-оно.

Господин Хавров, в данный момент мало похожий на директора, весь лучась улыбками, подпрыгивая в конвульсиях сердечной благожелательности, подскочил и пожал правую руку.

— Великий триумф против Апокалипсиса, господин Ерославский!

— Чего?

Тот зафыркал спиртным дыханием.

— Не притворяйтесь! Доктор Тесла рассказал мне о том, как вы его оживили.

ЛабуМММ!

Саша вытаращил глаза, очки чуть не упали с его носа.

Я-онораздраженно скривилось.

— То было в Лете, в Лете! Тоже мне, воскрешение...

Никола Тесла выпил стакан до дна, выпрямился, поднял руку — и то уже была высота чуть ли не под потолок — и замерз в позе громовержца, пиджак черного костюма задрался, галстук съехал набок, птичий череп склонился над целью, седая прядь, перечеркнула глубокую глазницу — ожидая знака — лубуМММ! — мгновение — и после того изо всей силы грохнул стаканом об пол.

Тот раскололся на тысячи мелких осколков, остановившихся на полу в виде правильного ромба, бриллиантовой мандалы.

— Молот Тъмечи! — воскликнул Тесла. — Кто обретет это знание, выкует с его помощью на волнах тъмечи чудеса и воскрешения, и какие угодно арабески энтропии!

И после этого началась пьянка.

Имея под рукой сколько угодно стеклянных емкостей и посчитав все это анти-энтропийной забавой — и Хавров, и молодой Павлич — начали бить их с целью получения наилучшего художественного эффекта, и вся штука заключалась в том, чтобы поймать соответствующий момент между ударами Молота, то есть, точку, когда волна, проходящая в теслектрическом поле Дорог Мамонтов, с высокой амплитуды сходила в локальный минимум, в противоэнтропийный экстремум. И родилась симфония звона стекла и не совсем осознанных криков; каденция же ее происходила следующим образом: Молот — бряцание стекла — возглас радости или разочарования. Саша настолько разохотился, что схватил свои мензурки в обе руки и грохнул их — из чего родилась картина двукрылого ангела.

— Вам следует как можно скорее бежать, — шепнуло я-онодоктору Тесле.

— Ммм?

— Я разговаривал с Победоносцевым. Человек уже наполовину с ума сошел, он станет защищать свое царство любой ценой, даже если придется открыто встать против царя, даже если ему нужно будет вырезать всех ваших казаков. Здесь небезопасно, спасайте жизнь. Могу организовать вам бегство, скажите только слово.

— То есть, мало того, что мне пришлось бы не выполнить контракт с императором, так еще и поддаться Льду и отдать черную физику в чужие руки?

— Раз вы не цените свою жизнь, подумайте хотя бы о Кристине!

— Если бы она меня слушала...!

— Да, Господи, это же не шутки! Тот агент в Транссибирском Экспрессе, подставленный вместо *monsieur* Верусса — это уже были делишки Победоносцева.

— Ну вот, а я разве не говорил! — обрадовался серб и, не говоря ни слова, поднял стакан в тосте.

— У вас сильно изменилось настроение, — произнесло я-оно, не скрывая неодобрения. — В последнее время вы часто накачиваетесь? — Мельком глянуло на отъезд ученого, но здесь, в этом свете, тот не казался чем-то отличающимся от обычного (то есть, необычного) отъезда Теслы.

— Мне это не надо. Пейте, не надо телиться! — и сунул в ладонь стакан с виски.

— Если бы Кристина это видела... Что это на вас napало?

— Эксперимент провожу!

— Эксперимент?

— А вам не говорили, что в Зиме невозможно прилично упиться? Даже перед пришествием Льда — у русских всегда были головы покрепче, здесь всегда нужно было больше спиртного. Только Молот бьет в обе стороны! Пейте!

Саша Павлич подлил себе сажаевки.

— Наукой мы занимаемся! — хихикал он.

ЛубуМММ!!!

— Вот, сами поглядите. — Тесла подошел к черному листу, горизонтально положенному под лампами. На матовую гладь высыпали коричневый песок и белую крупу. Тесла ударил по листу, крупинки перемешались. Серб подождал, снова ударил — песчинки и крупинки разошлись на две трети, расходясь направо и налево практически по вертикали.

В листовом материале я-оно распознало тунгетитовое зеркало.

— Так вы и опыты относительно природы тьвета забросили?

— Тьвет, тьвет, тьвет... — Белыми ладонями Тесла исполнил сложный жест, наверняка обязанный передать такую же сложность идеи. — И как тут строить гипотезы на гипотезах? Ведь мы не все знаем и о самом свете.

Сделав еще глоток и присев на высоком табурете неподалеку от Тьветовой Лампы (перед тем отставив ее на место), изобретатель начал путаное изложение собственных теорий о природе тьвета. В первую очередь, он вытащил на свет божий своего любимого Иоганна Вольфганга фон Гёте. Литературный гений объявил революционную оптическую теорию в насчитывающей полторы тысячи страниц работе *Zur Farbenlehre* ^[354], опубликованной в 1810 году; писатель посвятил этой теории годы экспериментов с призмами и считал ее главной работой собственной жизни. В соответствии с Ньютоном и другими классиками оптики, темнота это всего лишь отсутствие света; фон Гёте считал же, что свет и тьма подобны противоположным полюсам магнита, и одно влияет на силу другого, цвета же не заключены в белом свете (который можно «расщепить» с помощью призмы в спектр), но образуются на пограничных линиях между темнотой и светом. Желтый и красный, когда свет проходит над темнотой, а синий и фиолетовый — когда темнота проходит над светом. Темнота — то есть то, что сейчас мы называем тьветом — непосредственно воздействует на свет. На закате Солнца встань на чистом фоне перед зажженной свечой, говорит Иоганн Вольфганг, и осмотри собственную тень: ты увидишь глубокий синий цвет. Свет не обязан иметь волновой природы, чтобы человек видел цвета, спектры и радуги; и мы же это видим.

...Иные конструкции Тесла вознес на более молодых теориях. Если мы возьмем ту безумную гипотезу, будто бы свет в Лете является одновременно и частицей, *Lichtquant* ^[355] Эйнштейна, и волной, волной бытия, то есть приливом и отливом вероятности существования частицы света — тогда тьвет был бы аналогичным физическим проявлением несуществования, то есть ударом частиц «отрицательной вероятности» света; поток тьвета был бы потоком небытия света. Я- оновстало в позу святого Фомы. Означает ли это, будто бы существуют какие-то «молекулы небытия»? Но как может существовать небытие? Бытие — это то, что существует; небытие — это то, что не существует. Но точно так же, заметил Никола, можно задать вопрос и для случая интерференции света: как то, что существует не до конца, в дробной форме, всего лишь как вероятность — как нечто подобное влияет на видимые, материальные проявления бытия? Следовательно, тьвет, выпирающий свет, никакого нового эффекта из себя не представляет. Отрицательная вероятность нивелирует вероятность положительную.

...Хорошо, а чем в таком случае являются светени? Тут уже Тесла размахался своими длинными руками словно ветряная мельница; призванные вслух светени обильно выступили на его костюме, тьмечь грязнила морщинистую кожу. Все разложения спектра светени и опыты с пленочными экранами, говорил он, показывают, что, в принципе, это опять же обычный свет. По-видимому, проходя сквозь постоянную материю — сквозь то, что существует в абсолютном смысле — тьвет вновь подвергается перевороту в собственных вероятностях. Ну а в материи, через которую проходит тьвет, происходит ли какая-то перемена в ней? Если да — то на субмолекулярном уровне или вообще на уровне энергии тьмечи, поскольку здесь ничего конкретного Тесле установить не удалось. Не определил он и зависимости длины волны света/светени от длины волны тьвета — ведь они могут быть вовсе и не волнами.

— Но ведь свет распространяется и в частотах, невидимых для человеческого глаза. Значит, раз это частоты...

— Инфракрасные лучи, — проблеял серб.

— К примеру. А как тогда с тьветом?

Никола вновь замахал руками, что поначалу я-оноприняло за очередное мимическое бляение, но это он как раз желал показать на себе: светени, отьветления.

— Человек теплый, — произнес он и замолчал на какое-то мгновение, вслушиваясь в работу собственного организма; успокоившись тем, что в середине все действует как следует, он подлил в механизм топлива из C_2H_5OH и продолжил: — Человек теплый, он светится по причине этого тепла, только мы этого не видим. А вот человек с нарушенным балансом тьмечи, он же, лютовчик, нуу, что излучает он? Поиграйтесь призмами, и увидите, как свет, проходя сквозь иную среду, меняет свой характер. Все может быть и так, мой мальчик, что исходящее из внутренностей материи подобное излучение, даже если поначалу оно имело характер тьвета, превращается в светень на верхних тканях. Только из внутренних тканей тьвет может быть освобожден без нарушений. Вот откуда, если не ошибаюсь, у обитателей Края Лютов и наблюдаются подобные оптические феномены.

— А Черное Сияние? А то, что светени постоянно взбалтываются, перемешиваются, делаются похожими на заливное? А все эти гадания по ним? Читал ли доктор то, что я принес ему от Круппа, те берлинские теории? Поскольку я уверен, тут имеется какая-то связь с состоянием разума человека, подверженного воздействию тьвета.

— Ба! Но, возможно, сама эта гипотеза Борна и Ди Велоче о волне Дебройля как о скачках вероятности существования, она сама ведь может быть неверной! Как в Зиме, так и в Лете!

— О какой еще «отрицательной вероятности» вы тут говорите? Математика четко определяет вероятность: от единицы, то есть, события или свершившегося, или же столь же возможного, до нуля, то есть — до события без какого-либо шанса произойти. И какой же это шанс мог бы быть меньшим, чем нуль? Значит, что? Данная вещь не только ни в коем случае не произойдет, но в добавок и... Ну, что еще? Можно ли «не быть» и «еще более не быть»? Неужто не-существование можно как-то поделить? Боже мой, Никола!

— Пей, пей!

ЛубуМММ!

Господин Хавров скинул пиджак и жилетку, ослабил галстук, засучил рукава; за пьянку он берется как за тяжкий физический труд, словно за работу в каменоломнях. Саша тоже уже сбросил лабораторный халат. Похоже, в лаборатории было спрятано немало спиртного, потому что, ни с того, ни с сего, вдруг появились две пузатые бутылки сибирского ханшина. Я-оноприглядывалось ко всему этому с нескрываемым изумлением. Наверняка, я-онобыло еще слишком трезвым, наверняка, Молот Тьмечи бил по голове еще слишком недолго — но, видимое изнутри, все это слишком было похоже на массовую одержимость; злой дух в них вступил и теперь вот управляет телами и мыслями. Шарах-тарарах, будут ужираться до последнего. И что за удивительнейший транс! В Варшаве пило совершенно иначе: от рюмочки до рюмочки, четверть часика — и по-новой, один приятель поднимал тост за другого, да с закусочной, да с разговорами; и тогда напивалось как-то незаметно. А здесь: пьют, чтобы пить. Ведь призыв Хаврова — это пустой повод, в качестве знака могло послужить все что угодно. Павлича еще как-то понять могло, с его состоянием духа — закрытый здесь словно в тюрьме, перепуганный, отчужденный, оставленный сам себе на долгие вечера и ночи — для него любой способ забыться хорош. Но доктор Тесла? Закинув худющую ногу на ногу, сгорбившись по-птичьему на табурете, он заливает в себя шотландский виски, добродушно поглядывая на вице-директора и биолога, когда те строят дурацкие рожи мышам и крысам.

В мастерскую вошел старый Степан и тут же полетел вверх тормашками на коврике из

стеклянных осколков. Я-онохотало вместе с другими. Охранник неуклюже поднимался на ноги, пискливо ругаясь. Как все хохотали, точно так же теперь все бросились ему помогать, отряхивать от осколков, к столу проводить, один и другой стакан в руки совать. Эдмунд Геронтьевич, уже хорошенько подшофе, вытащил из-за шкафа метлу и, весьма этим развеселенный, заметал блестящие россыпи; а при этом он начал еще и петь (оперный баритон), и при том так растягивал мелодию, чтобы согласовать такты с ударами Молота Тьмечи. Подстроив шаг и замах, он убрал весь пол в течение шести ударов.

Саша тем временем, порозовев от сердечности, так что любовь к ближнему вытекала из всех оспинок и прыщей на лице, разлив остатки сажаявки по мерным колбам и сунув всем в руки, взволнованно исповедовался на ухо Теслы, дергая его при том за полы пиджака и самому себе стуча в грудь худеньким кулачком. Я-ононе слышало, что он там рассказывал.

Хавров приблизился, вальсируя, стиснув метлу в объятиях; колбу он опорожнил в один глоток, теперь слизывал тунгетит с губ.

— И что, Венедикт Филиппович, чего доброго принесли вам кладбищенские забавы?

— А что, Арский вам не рассказывал?

— Рассказывал, рассказывал. — Эдмунд Геронтьевич положил подбородок на палке метлы, подмигнул. — Дорогу разыскиваете за Отцом Морозом, а? — Кончиком языка он подцепил последнюю черную пластинку. — Тунгетита наелся да и под землю вмерз, так?

Шотландский виски обжег гортань, откашлялось.

— Наелся, напился, натьмечился.

— И что? Теперь, — Хавров замахал руками в каком-то пародийном подобии кроля, не поднимая подбородка от метлы, — теперь плавает себе под землей, гы-гы.

— В том-то вся и боль, дорогой мой сударь, потому что живой человек, понятное дело, по Дорогам Мамонтов ходить не может.

— О! Не может?

— А как? Человек — он ведь тебе не червяк дождевой.

— Ясно.

— Но вот это как раз вас утешит. — Ударило пинком в метлу, Хавров полетел вперед, поддержало его за плечо. — Как он путешествует по Дорогам Мамонтов, раз не живой человек? А вот так: умирает и воскресает.

Развеселившийся федоровец хлопнул себя руками по бедрам.

— Умирает и воскресает!

— Слышишь? — ЛубуМММ!!! — Вот, что протекает по Дорогам. — Я-онопоставило стакан посредине засыпанного песком и крупной черной зеркала. — Восстанавливает перемешанное, слаживает разбитое, освежает сгнившее, склеивает разорванное, мертвое оживляет. — Вновь склонилось к Хаврову, тот слушал теперь с раскрытым ртом; схватило его за щеки, поцеловало по выпуклому лобику. — Но он не перемерзает по Дорогам плотным телом, дышащим в своей замороженности. Нет, нет! Он плывет, как гелий — перетекает — напирает, словно мерзлота — волоконец, косточка, комок крови, ниточка кожи — а когда волна уходит, складывается назад в целое, словно пегнаров голем. — Я-онорассмеялось. — Под землей, на земле. Мой отец! — Теперь я-оносмеялось все громче. — На волне тьмечи, при температуре ниже абсолютного нуля — жив ли он или не жив... Еще больше существует! В сотню раз сильнее! Существует, несмотря ни на что!

— И тот мартыновец, — подсказал пьяно возбужденный Хавров, — тот...

— Копыткин.

— Ну да, Копыткин!

— Вы его помните? Что это был за человек?

— Иван Тихонович Копыткин, хам невыносимый, грубиян и дикарь.

— Но что его от других добровольцев отличало? Арский ведь вам рассказывал, перекопали все их могилы — один Копыткин сошел в мерзлоту.

— Ой, не так уж хорошо я всех их и знал. Что его отличало? — еще больший хам и неотесанный болван.

Я-оно отпустило Хаврова.

— Скорее уж крысы мне расскажут, — буркнуло про себя.

Тот выпрямился, поднял указательный палец.

— Крысы — оно животные умные!

— И чего же такого вам скажут крысы? — спросил Тесла, с заядлой педантичностью выравнивая манжеты и перчатки.

— Почему одни замерзают раньше других, — поспешил с объяснениями Саша, и по причине отсутствия стула свалился на столе рядом с Машиной Луча Смерти.

Бросило стаканом в стену. Тот отбился, словно от резины, и целехоньким вернулся прямо в ладонь.

— Бог создал людей неравными! — воскликнуло *я-оно*. — Одни состояния пропивают, другие утюги, словно магнитом, на груди удерживают! Господин доктор измерит структурную постоянную души! Кто больше тьмечи выдержит, в себе поместит, кто существует более остальных!

— Крыса-Геркулес! — прошептал Саша. — Мышь единоправды!

— Кгмм, мгmmm, хркхмм, — долгое время подкашливал Тесла, наконец выпил водки, и речь к нему вернулась. — Вы говорите, *top atі*, будто бы для этого нет никакого физического, химического, биологического рецепта, потому что, помимо всего, необходимо замерзнуть — душой?

— Характером.

Господин Хавров наморщился, словно в страшном умственном усилии, и мозг при этом сделался настолько тяжелым и потянул в сторону, что вице-директору вновь пришлось опереться на метле, наполовину сложившись, будто перочинный ножик.

— Так вы хотите человеческий характер, описанный цифрами, еще и в физические уравнения поместить! — выдавил он из себя наконец.

— И что в этом странного?

— Да как же! Физика, математика, естественные науки, занимающиеся измеряемыми величинами — они ведь человеком не занимаются. Самое большее, его телом, но никак не человеком! Нет, нет, нет! Относительно человека у вас есть литература, поэзия, психология, философия и религия; относительно человека имеются слова, а не числа!

— И что же это за новейшая догматика! Причем, из чьих уст — сторонника Федорова!

— Догматика? Ах, да вы, — тут он начал плевать из-за своей метлы слогами, — да вы детерминист, ламетрист [\[356\]](#), часовщик души!

— *Au contraire* [\[357\]](#). Действительно ли все о мире, помимо человека, можно рассказать с помощью простой ньютоновско-часовщицкой механики? Если уважаемый господин директор читал что-нибудь о работах Планка, Эйнштейна и Гросса [\[358\]](#), тогда он знает — что нет. Тем не менее, это не исключает море... моке... мокле... молекулярной физики из сфер чисел, равно как и не исключает ее из сферы поэзии и литературы. Но почему нельзя и человеческую душу трактовать в том же ключе? А? Вот увидите, когда-нибудь еще появятся математики души, наряду с электричеством мозга и воздействиями, для нас пока что неизмеримыми, описывающие характер человека в систематике, достойной Менделеева. -*Я-оно* передохнуло. — А может, и не увидите. Если еще доживем. — Подлило себе виски. — Или,

если мы будем воскрешены.

Доктор Тесла бил едва слышимые, хлопчатобумажные аплодисменты.

— *Well said, Benedictus* [\[359\]](#).

— Временами, — призналось ему над тунгетитовым зеркалом, — иногда мне кажется, будто я могу высказать то, чего высказать невозможно. — С печальной серьезностью покачало головой. — И тогда говорю наибольшие глупости. О, и какие глупости! Шедевры дурачества! Образцы кретинизма! Абсолютнейшую чушь, гениальнейшую дурь!

ЛубуМММ!

Тремя бутылками позднее Степан, заползя под опутанные кабелями стеллажи, перекусил какие-то провода, и его так шарахнуло током и теслектричеством, что от его обледеневшего носка летели бело-черные искры, когда вытягивало его из-под железяк. Едва вытащило пожилого охранника, туда заполз полуголый директор Хавров, гонясь за мышью, которой он не успел исповедаться в своей директорской жизни; весь в соплях, он звал ее басом — та, перепуганная, убегала. Грызуны разбежались по всей лаборатории, под столы, на столы, в аппаратуру. Саша поначалу гонялся за ними, теперь же залез на стальной шкаф и оттуда метал по комнате гайками и мотками проводов, едва кто-то из зверушек показывал нос или хвост; Павлич то попадал, то нет, в зависимости от ударов Молота. Спокойнее всего упился доктор Тесла, который попросту заснул, плюхнувшись лицом в тунгетитовое зеркало, так что к нему приклеились темные и светлые крошки, одни на правую щеку, другие — на левую, что и могло что-то означать, но и не должно было. Тьметистое дыхание исходило из его полуоткрытых губ, туманя поверхность.

Вытащив Степана, я-онотуже рвануло пучок проводов, после чего, усевшись поудобнее на полу, подвесив на шее тьмечеметрическую трость, взялось за свежую бутылку ханшина, закусывая то электрическим, то теслектрическим током из голых проводов. Молот бил сквозь виски, навывлет. Попеременно закрывало глаза, захватывая образы, выжигаемые вместе с очередными глотками: черные, белые, черные, белые. Водка с тьмечью на вкус была лучше; от обычного тока зубы покрывались лимонным сахаром. Бах, болт отскочил и ударил в пятку. Сложило ладони. Кустики угольно-черного инея порастали пальцы, доходя до бледно-розовых ногтей. Сжимало и разжимало кулаки, колючие энергии через жилы и нервы въедались в поверхность рук и в сердце, целясь в голову. Шарах! На лету схватило отскочившую гайку и метнуло ее в Павлина. Биолог свалился со шкафа, задавив насмерть мышь и крысу, после чего начал кататься по заваленному всякой дрянью полу, размахивая руками. Спрятало бутылку за спину. — Последняя! — застонал Саша. Поднесло руки к глазам, из-под кожи выступила бледно-розовая мозаика, отпечатки в виде шахматной доски. Прикрыло левый глаз. Саша схватил за руку.

— Мрррозный! — зашипел он.

— *Пусти!*

Биолог махнул рукой, из рукава рубашки вылетел мышиный трупик.

— Тоже замерззла, ббедддняжка.

— А вот это хорошо.

— Что?

— Этим глазом, — ткнуло себя в веко, — я вижу только тени, а вот этим — только свет.

— А мменння, менння каким видддите?

— Бу-гу-бля и блв-гу-гу-бу, — спорил рядом Степан с носком, натянув его себе на руку; носок отвечал утиным кряканьем.

— Пятьдесят на пятьдесят, — буркнуло я-оно, хорошенько глотнув из горла, закусывая скотосовым кабелем. Челюсть занемела.

Саша только хлопал глазами.

— За мамммонтами, мамонннтами желаете...

— Кддды он идддеть? Кдддды? Крарртты!

— Заморозиться! — От возбуждения Саша откусил мышиный хвост. — Не позввволляю! Ззапрещщаю!!

— Столько ллллет! И прямо изземмли? Выллазззят!

— Нет-нет-нет!

— Бе-бе-бе!

Нет, ну почему все они несут какую-то тарабарщину? — подумало я-онои глотнуло посильнее, чтобы подремонтировать голосовые связки.

— Ежели живут, — произнесло, четко выговаривая слова, — ежели не живут, или чего там абаасы делают — но тунгетиту нажраться должны — разве не так? — Обняло Сашу за шею, — Но потом же высрут, выссут, оно с потом выйдет, с дыханием... Аарростатттный же оттаял. Или нет?

Ничего не понимая, Саша серьезно качал головой, мышиный трупик качался маятником под шеей.

— Выходит... выходит... выходит... — почесало себя кабелем по темечку. — Что же хотело сказать... Саша, Саша!

Тот выплюнул дохлую мышь.

— Тунгетит жрать. Замерзать. — Он с трудом поднялся на ноги, схватил за тьмечеметрическую трость, потянул. Мираже-стекольный сосуд упал, и осколки выстроились в геометрически точный витраж. — Вставай! Вставай, говорю!

Я-оно встало. Саша упал. Подняло Сашу. Через шаг свалилось само. Затем Саша помог подняться и сам шлепнулся на четвереньки. Обвязало ему шею проводом и рвануло в вертикальное положение. Тот схватился за кабель, в полуаршине над светлыми волосами, и таким образом удержался на ногах. Тем временем, я-оно опустилось на пол, за бутылью. Только ее уже схватил директор Хавров, он лил водку в рот схваченного грызуна, тем самым грозя смертью от утопления. Под коленями у него стреляли снопы электрических искр. Душащий зажим заставил плясать перед глазами черные, квадратные звезды — это Саша Павлич тянул за трость. Правой рукой хватаясь за провод, петлей захвативший шею, левой он тащил меня. Так вышло в коридор. ЛубуМММ!

Блуждало по пустым ночным закоулкам Обсерватории, стучась о стены и ящики с каким-то оборудованием. Саша вел, таща за провод-удавку, то туда, то сюда. Я-оно споткнулось, налетев на ноги казака, спящего на табурете за порогом. Саша вернулся. Он начал очень громко считать двери, в чем быстро его поправило, потому что биолог вечно сбивался между тройкой и четверкой, между шестеркой и семеркой. И вдруг он остановился, навалившись на железные двери с зарешеченным окошком.

— Вот тебе! — харкнул Саша и так придавил тростью к этой двери, что я-оно хорошенько приложилось подбородком в заклепки и ржавые пятна.

— Вот, держи! Из них кого-нибудь выбери и замерзай!

— Кто...

— Император приказал! Каторжники, добровольцы! Гы! — Саша икнул и подвесился повыше, поднявшись на цыпочки.

Глянуло на них глазом темноты, глянуло глазом света. Сбитые в кучу, худые и обессиленные, придавленные к земле, даже сейчас они инстинктивно гнут спины и исподлобья, снизу глядят вверх; а на кого черно-белый взор я-оно обратит, тот зенки опускает и умильно, по-собачьему, беззубо скалится.

— Дерьмо это, а не абаасы, — сплюнуло.

— А?

— Все подошли бы.

— Так кого тогда...

ЛубуМММ!

— Измаила! — рывкнуло и вырвалось из трости, чтобы грохнуться на колени и заблевать брючины болтающегося в половине аршина над полом Саши Павлина. Углесветная тьмечь текла вместе с желудочными соками. — Измаила, — стонало я-оно, вытирая рот.

Заснуло там же, в мастерской Теслы в Обсерватории, под корпусом малой теслектрической машины, закутавшись в чужую шубу, сжимая под мышкой тьмечеизмерительную трость (синяки останутся!). Молот Тьвета, Молот Тьмечи бил по снам, разбивая их один за другим. Но вот что было необычным: что вообще хоть что-то из этих снов запомнило, что они прорвались на эту сторону яви — что нечасто случалось, даже здесь, в Краю Лютов. Только Молот глубоко забил их в душу. ЛубуМММ! Каторжники, закрытые в складском помещении, наскоро в тюрьму переделанном, грызться начали и сжирать друг друга, звериные, отвратительные отзвуки чего исходили наружу. Я отодвинул висящего перед дверью Павлина, только мало было поднять засов — нужен был еще и ключ к замку. Я побежал к караульному казаку. Тот не мог понять, что я ему говорю: вместо слов из рта извергался поток криоугля. Солдатик передернул затвор, выстрелил раз, другой: голова, грудь. Из дыр вырвалось огненное сияние. Затыкая их ладонями, я вернулся под камеру. Саша висел уже аршинах в трех над потолком, продолжая подтягиваться вверх. Я глянул через решетку. В середине остался всего один каторжник, который загрыз, разорвал на куски своих сокамерников. Поначалу я не распознал жабье-паучьего силуэта, присевшего на куче оборванных конечностей, черепов и туловищ. Тогда я отвел руку ото лба. Циклопий луч осветил камеру. Каторжник подскочил, затрепетал семью конечностями и повернул к двери, все так же плоско прижимаясь к полу. На пегнаровом слепке частей тел, происходящих чуть ли не от дюжины человек, на шее, еще не достаточно хорошо к ним примороженной, болталась голова Сергея Андреевича Ачухова. — Нет человека! — хрипел он, а над этой головой кружила корона теслектрических молний. — Нет Истории, нет человека! Отчаяние, отчаяние, отчаяние! Даже самоубийца! Упейтесь! Нет человека! — Но тут другая часть голема подняла собственный бунт: лапа, примороженная к левой лопатке, достала до шеи и сорвала оттуда голову Ачухова, нашарила в куче новую башку и насадила ее на освободившееся место. Эта голова была вся в крови и продавленная у виска, но я сразу же узнал круглое лицо *Herr*Блютфельда. — ...плохая, Зима плохая, злая, Зима злая, плохая, плохая, Зима злая... — бормотал немец. — История плохая, История плохая, неправильная... — Криво напыленная, башка Блютфельда тоже быстро упала и откатилась в темноту. Союз передних конечностей вновь насадил на троне шеи голову Ачухова. — Нет Истории, нет человека! — завыл он по-новой и бешено захлопал глазищами. — Мамонты, мамонты! Про-ва-ва-валиваюсь. — После чего и вправду провалился, когда трупы, камни и земля расступились перед всеми его ногами-руками, которых становилось все больше и больше (коалиции конечностей множились новыми и новыми запчастями, выкапываемыми из побоища). Я навалился на двери, пытаюсь заглянуть в открывающиеся прямо в *тюрьме*Дороги Мамонтов. Мерзлота лопалась под аккомпанемент грохота и треска, сравнимых с пушечными залпами. Я заткнул уши, но тут ударил Молот. ЛубуМММ! Молот... Молот, нужно его остановить, пока не будет слишком поздно! Прототип — не прототип, нельзя ему разрешить пробуждать на Дорогах подобные волны! Я выбежал на двор Обсерватории. Зимназовая машина, похожая на колодезный журавль, била в землю тунгетитовым ломом, выполненным в виде бюста

Николая II Александровича. Выстроившись кругом, перед ней стояли на коленях люты. На спине самого крупного ледовика сидел в охляпку Никола Тесла и из размаха длинных рук бил черными молниями — бил в тот самый кратер, который царь-молот пробил к Дорогам Мамонтов. Оттуда изрыгался тьвет, в котором лишь время от времени пробивалась корявая светень, открывающая очертания человеческого силуэта с вытянутой в жесте просьбы рукой, профиль страдальца. Я бросился в эту темноту, ведомый светом из сердца и головы, но уже через несколько шагов почувствовал мороз, застывающий вокруг студенистыми волнами, въедающийся в тело, связующий его со временем лютов. Шаг, еще шаг — а проходили десятки минут, часы. Люты проворачивались на своих паучьих сталагмитах, склоняя ко мне блестящие тьмой медузы льда, вытягивали ко мне сосули, набежавшие тьмечью. Император глупо скалился из Молота, светясь, словно комета, спадающая по дуге и гаснущая на пути к звездам. Что-то летело с высоты в эту тьметистую кипень; не звезды, а серые дробинки, замораживаемые на лету громами доктора Теслы. Медленно, медленно, очень медленно я повернул глаза вверх вместе со световыми копьями, бьющими из них. Это Саша Павлич — Саша подтянулся на своей висельной проволоке уже над трупными мачтами; теперь он маячил на черном небе, слегка колыхаясь под Луной в первой четверти, а из его левого рукава сыпались крысы и мыши. Крысы и мыши, подумал я, пускай отец хоть ими подкрепится: теплая кровь, теплое мясо, живая плоть. ЛубуМММ! Мамонты, мамонты идут за мной, лубуМММ, земля трясется, когда они маршируют по ней.

Но, не успев спуститься в Царствие Тьмы, как появился господин Щекельников, разбил Молот на кусочки, нассал в кратер тьвета, заплевал лютов и отвез меня на Цветистую. Где спало уже без снов, чтобы на утро проснуться с чудовищным — мамонтовым — похмельем.

О наслаждении отраженных искушений

«Иркутские Новости» доносят, что новая аберрация коснулась сонных рабов; редакция рекомендует семьям держать несчастных под ключом, а то и связывать на ночь — ибо их тянет в город, даже в самый страшный мороз, и при том они совершенно не обращают внимания на свое здоровье. После расспросов, они рассказывают о каком-то приятеле, которому нужна помощь, или тому подобные глупости. Газета об этом уже не пишет, но ведь я-онознало, куда их тянет явь, которая представляет собой сон, в свою очередь сделавшийся явью. А направляются они в Обсерваторию Теслы, издалека заметные светениями; вежливо просят казаков, чтобы те их пропустили; и вовсе не сопротивляются, когда казаки их вяжут и передают жандармам. Степан рассказывал, что с тех пор, как Никола запустил прототип Молота, больше двух сотен их прибрело в Обсерваторию: нищие и банкиры, цирюльники с извозчиками, господа офицеры и бедняки, девочки-подростки и седые матроны, русские и немцы, поляки и китайцы, даже один поп с попадьею. Все они — невольники необходимости, подданные единоправды. Я-оноподумало, что, по крайней мере, такова польза от длительного выкачивания тьмечи: ничего не снится. Что означает, до настоящего времени.

В пансионате на ул. Петропавловской вчера вечером перерезал себе горло бритвой 40-летний заводской мастер Аполлоний Чвибут. Господин Чвибут недавно прибыл в наш город из Львова, и он весьма жаловался на сны во время Черного сияния. Полиция обратится за рекомендациями к бурятским колдунам из метрополии.

«Русские Ведомости», газета московских либералов, пишет больше о европейской политике. Гонконгский мир в России приняли, без малого, как триумф царя. Октябристы-

ледняки Яркова, Мержинского и даже старого Гучкова, а так же кадеты-милюковцы, не говоря уже о правых лоялистах и переубежденных трудовиках, все они единодушно выступили в Думе с верноподданическим поздравительным постановлением. В Государственный Совет, как верно предусматривал Мишка Фидельберг, тут же вернулось дело земств западных губерний и давно уже придерживаемой второй налоговой реформы по проекту Столыпина. Неужели Лед трескался? Но ведь Япония и британский Гонконг все еще принадлежат доминиону Лета. И если импульс приходит оттуда... Потерло виски, в которые до сих пор продолжал бить Молот Тьмечи. Можно ли так рассечь Историю, что половина мира стоит, а вторая половина — несмотря ни на что свободно движется вперед? Ведь заморозить часть человека — весь человек умрет. Тем не менее, обязательными остаются принципы причины и следствия. Логика преломляется на границе Лета и Зимы, словно свет, преломляющийся на границе различных сред, но ведь лучи каким-то образом через границу проходят. Ба, «Русские Ведомости» в редакционной комментарии тоже склоняются к оптимистическому тону. Наконец-то мир! Война год за годом пожирала столько денег, что мы так и не почувствовали процветания, возбужденного зимназовым бумом; теперь же, и уж наверняка — после пуска Аляскинской Линии, Российская Империя войдет в Золотую Эру (если только ею мудро управлять).

Лежа на кровати потянулось за «Иллюстрированным Еженедельником», сложенным на ночной тумбочке вместе с другими свежими изданиями, вчера или позавчера привезенными из Королевства с последним Транссибирским Экспрессом. В «Еженедельнике» две полосы занимало воззвание Варшавского Общества Любителей Животных. Многолетняя Зима привела не только к гибели городских грызунов и прогнала из Варшавы птиц, но и вообще лишила город и его обитателей контакта с животными, если не считать лошадей, к которым уже относятся, скорее, как к биологическим машинам. Мало того, что погибли уличные собаки и подвальные коты — люди, любящие удобства эгоисты, перестали держать дома животных, особенно собаки в содержании сделались особенно обременительными. Общество взывает к жителям с тем, чтобы вновь вернуть к домашним очагам «наших маленьких друзей» и для этого привезло из деревни сотни замечательных котят и щенят, которых можно за символическую оплату приобрести в штаб-квартире Общества. В особой же степени, семьи имеющие детей, должны обеспечить им возможность ежедневного общения с живыми собаками и кошками. Раз уж XX век должен стать эрой машин и обезличенного прагматизма денег и техники, раз уже, кроме того, мы живем в метрополии, отрезанной от природы, прикрытой льдом — то позаботимся, по крайней мере, о том, чтобы не подавить в себе тех чувств, что рождаются в человеке при близком общении с малой, беспомощной жизнью. Людская натура не меняется столь же быстро, как цивилизация (если вообще меняется). Наши отцы, деды, прадеды — так тренировались в нежности и любви, так воспитывались в готовности к взрослым чувствам и зрелой чувствительности, так учились ценить всякую капельку Жизни: путем прикосновения к теплой шерсти верного пса, из радости расшалившихся, чудесных в своей неуклюжести котят, из дрожи ноздрей жеребца, из трепета сердечка взятого в руки птенца. Человек, воспитываемый в окружении льда, кирпича и гимназа никогда не откроет собственной души до конца. Между этим и последующим поколением будет утрачена способность испытывать определенные эмоции; чувство эмпатии будет притуплено. И уже другие люди — ледовые — положат нас в могилу. У них будут свои романтические переживания, свои страсти, свои маленькие чувства — только уже прогнившие, залежавшиеся, бледные. Наших стихотворений, наших драм, наших жизней — до конца они не поймут; мы будем казаться им сверхвозбудимыми истериками, иррациональными трусами. Духовные слепота и глухота овладеют человечеством.

Варшавяне, разводите собак и котов!

Старик Григорий принес кружку огуречного рассола — лекарство от похмелья, а когда выходил, не закрыл за собой двери; сквозь щель протиснулся котяра Белицких. Он тут же улегся в ногах кровати, потягивался и, слегка изумленный, широко зевал. Подагру такое котище из человека, конечно же, вытянет, но вот похмельное состояние...? Часы в салоне пробили половину десятого. В башке грохотал молот. Глотнуло рассолу, один привкус заменил другой. Хорошо еще, что взяло свободный день по причине встречи с князем и его человеком, во всяком случае, *я-оно*не станет посмешищем у Круппа, показываясь в подобном состоянии. Собрало газеты, подтянулось на подушках. Кот решительно промаршировал по перине, затем сначала попытался залезть на голову (отпихнуло его, простонав), а затем сунул свою голову мне под шею и окутал ее в виде живого мехового воротника. Когда же силой оторвало его, тот, разозлившись, царапнул когтем по щеке. Да к чертовой матери все Общества любителей животных! «Душу открывать», как же, как же! Бестия, шипя и показывая клыки, кружила у кровати. *Я-оно*поднялось, выгнало кота из комнаты, закрыло двери.

Затем потащилось открыть шторы. Белизна хлестнула по глазам. За окнами кружили радужные туманы — жестокая метель мучила город с самого рассвета. Сплюнув в цветочный горшок, на мгновение прижало лоб к холодному мираже-стеклу. Нужно как-то проснуться из этого грохота, выйти из отупения, сонной муки, вымыть горечь изо рта. Сегодня ведь столько всего может решиться... И вовсе нет уверенности в том, а нужен ли сейчас Лед. Как же тосковало по тому чувству легкости, растянутости в тысячекратных возможностях, по тому ветру в голове: мысль такая, мысль эдакая, и они проскакивают без малейших усилий, напирают дюжинами, тащат за собой в дикую скачку над полями воображения... И еще так не хватает сопровождающей все это, возбуждающей уверенности: сколько всего еще возможно, практически любая возможность открыта; стопроцентной уверенности нет, тем не менее, все как-то и возможно. Так что — откачать тьмечь? Откачать Мороз? *Я-оно*качало черепом по холодной плоскости мираже-стекла. А почему бы и нет? Что мешает? (Кроме осознанной воли). Все равно, ведь вскоре нужно будет взять у Николы насос, чтобы отморозить отца; так что можно будет избавляться от тьмечи в любой удобный момент. Тем временем, замерзало все больше. И ведь точно так же все это проходило во время болезни после прибытия в Иркутск. И чем кончилось? При первой же возможности дорвалось до насоса Котарбиньского. Вот только разница в том, что тогда замерзало по принуждению, сейчас же — по собственному выбору. Только такая разница — даже такая! Отняло голову от окна, в метели и снежных потоках показался Конный Остров, темные туши ледовиков, бледные огни саней на Ангаре. Вокруг трупных мачт заверюха ходила плотными спиралями. Поначалу попыталось захватить отражение лица в стекле, но быстро отвело взгляд; это тоже было проклятием Лета: власть зеркал. Зато на оконной глади осталось красное пятнышко: остаток ранки под глазом, память старых шрамов. Растерло его в косую полосу. Метель порозовела, кровь залила Город Льда.

Медленно одевшись, проковыляв в уборную и назад, уселось в столовой за поздний завтрак. Лишь бы чего-нибудь теплого... А тут: овсянка — сплошная кислота; кофе — такая же кислота; яичница — еще большая кислота... гадость.

И так вот печалилось над творожной запеканкой, когда вошла панна Марта.

— Что, невкусно? — сладким голосом спросила она.

Скорчило еще более кислую мину.

— Панна Марта, дорогая, — захрипело *я-оно*, — да я и амброзии сейчас глотнуть не смог бы.

— Так вам и надо! — она сложила руки на груди. — Кто шастает по ночам по каким-то грязным малинам, до смерти пьяный возвращается ни свет ни заря, да еще и в рабочий день, за то и страдает!

— По малинам...! — вздохнуло я-оно, но без малейшего желания ссориться. На пороге появился котяра; следило за ним мрачным взглядом. Вздохнув еще раз, полило запеканку медом с травками. — Слава богу, хоть дети по голове не прыгают.

— Они с Машей и матерью в церкви, что-то там благотворительное... Ага, пан Бенедикт, вы ведь запретили будить вас, со страшными угрозами...

— Так?

— Так, так. Потому мы вас и не будили. Одна дама рано утром желала с вами видеться. Полька, сказала, что на работу спешит, так что...

— И вы с ней разговаривали? Она представилась?

— Гвужджь.

— Гвужджь?

— Гвужджь.

Облизало пальцы от клейкой сладости, вкус кружил во рту, выпрямилось над столом.

— И зачем она пришла?

— Не знаю, этого она не сказала. — Панна Марта присела напротив, заглянула в глаза. — Ой, и правда, плохонько вы выглядите. Да еще и поранились?

— Нет, это всего лишь...

— Так это спиртиком надо. Сейчас, сейчас.

— И чего эта чертова котяра от меня хочет! — буркнуло я-оно, отталкивая животное ногой под столом.

— Мешки под глазами темные, глаза не смотрят, и тени, как под Черными Зорями... — не без удовлетворенности говорила панна Марта, идя за медикаментами.

— Это все оптические иллюзии, сплошные иллюзии.

Так, но какие же кабели грызло под водку? Сколько это густого теслектричества вошло в тело? И что еще делало ночью в Обсерватории Теслы, когда в голове водочные черти так плясали, что в памяти осталась сплошная чушь? Невольно коснулось пальцем в меду самого центра на лбу.

Затем кот вылизал палец.

В Цитадели — которую еще называли Ящиком по причине топорной архитектуры, словно сундук вычертили — похоже, объявили тревогу, во всяком случае, судя по перемещениям, общему возбуждению и количеству вооруженных солдат, из губернаторских покоев должен быть отдан какой-то серьезный приказ. Господин Щекельников, конечно же, заявил, что все это ему не нравится, потом уже ничего не говорил, поскольку назначенный во внутреннее караульное помещение солдат услышал его ругань и не спускал с него глаз; впрочем, Чингиза задержали уже на первом этаже. Я-оно подумало, что ежели еще вытащат его четвертьаршинный ножик, а к нему самому хорошенько прицепятся, квадратный амбал долгонько может не увидеть солнца в губернаторской крепости. На сей раз предусмотрительно не взяло с собой Гроссмейстера — правда, предусмотрительность эта оказалась излишней.

Я-оно провели к северо-западной башне Ящика и приказали ожидать в прихожей залы. Ежесекундно туда пробегал хлопотливый слуга или какой-нибудь чиновник; от них отвернулось спиной. Из узкого окна открывался вид на Мост Мелехова и Глазково, вплоть до выхода Троицкой на Анггару, где в Зиму Лютов навечно замерз понтонный мост имени

цесаревича Николая Александровича. Метель дула как раз от Байкала, следовательно, не прямо в стекла, но все равно слышало ее вой, и достаточно было поднести руку к раме, чтобы почувствовать на коже укусы бешеного мороза. Должно быть, градусов пятьдесят ниже нуля, а на ветру — еще холоднее. Спешащая к Цитадели пехотная колонна преодолевала подъем уже бегом, лишь бы побыстрее скрыться внутри: белые горбыли, не люди. Иркутские казармы находились за городом, подальше от Дорог Мамонтов; в Цитадели же постоянно размещалось не более половины полка. Тем временем, здесь собралось столько военных, как будто бы генерал-губернатор готовился отражать какой-то штурм. Вспомнились виданные уже с неделю, а то и месяц отряды тех или иных видов войск, марширующие через Иркутск; *солдаты* в увольнительных; пан Войслав тоже частенько упоминал о запозданиях на линии Транссиба, вызванных эшелонами Министерства Войны — людей собирали с растопленного японского фронта, перебрасывали на Большую Землю, но, видимо, укрепляли и гарнизон Города Льда. Японский Легион Юзефа Пилсудского неплохо задел всех за живое. Невольно усмехнулось под нос, пригладило сюртук. Отряд вбежал в ворота, которые тут же захлопнулись. Поверх стонущей ноты вихря сквозь окна пробивался еще и медленный пульс метели — эхо глашатаевых бубнов? — Молот Тьмечи?...

— Ваше благородие.

Молоденький унтер-офицер провел в залу, где у громадного камина с бушующим так, что ой-ой-ой, огнем, генерал-губернатор проводил совет со своими штабными офицерами и чиновниками; почти все были в *мундирах*, некоторые — при оружии. На столе за камином, между карт и документов, были небрежно оставлены тарелки с холодными закусками и пустые бокалы. В длинной стене справа в залу открывалось с полдюжины дверей — ежеминутно кто-то через них входил и выходил, курьеры и ординарцы с сообщениями и приказами. Высоко под потолком висел огромный портрет царя Николая II в тунгетитовой, слегка поблескивающей раме с черным двуглавым орлом.

За каминным экраном, в кресле, обложенном мохнатыми шкурами, отдыхал князь Блуцкий-Осей. Он читал газету, по-птичьи щуря глаза за овальными стеклами.

Отполированный пол резко отражал звук каждого шага. Невольно ускорило, ставя ноги тверже, в ровном ритме. Унтер шел впереди. Несколько господ в мундирах повернулось, не прерывая дискуссии. Лица разогретые, вспотевшие, усища и бакенбарды насторожены, ордена, погоны, аксельбанты...

Никогда еще *я-оно* так сильно не чувствовало себя поляком.

— А-а, наш Венедикт Филиппович, *молодец*!

Гусарский капитан отошел от стола, раскрывая широкие объятия, развевая ментиком. *Я-оно* вежливо поклонилось ему, но это его не остановило: по-медвежьи облапал, стиснул, просопел в ухо какие-то непристойности — ага, видно, что еще не пришли в себя после нашей ночи! Это ж не каждый способен всю ночь ебаться! так ведь и Лидия, ведь чудо, а не девочка, а? Тшшш, шшш, нужно! Обязательно! Следует!

— Так вы и с капитаном Фреттом знакомы, — кисло заметил князь со своего кресла, с гневным шелестом складывая газету.

— Ваше Высочество!

— Ха-ха, знакомы, знакомы! — Гусар, по-видимому, был в самом прекрасном настроении из всех собравшихся; румянец и порозовевший нос указывали на то, что он либо только что вернулся с мороза, либо, несмотря на дообеденное время, уже успел пропустить пару-тройку стаканчиков.

— Капитан, — продолжил князь, совершенно не говоря громче, так что пришлось подойти к нему и к камину; жаркая волна ударила в правое ухо, *я-оно* почувствовало, словно в

него хлестнули кипятком. — Капитан, хотя я и могу согласиться, будто это может и не слишком заметно...

— Ваше Высочество весьма милостивы! — смеялся усатый вояка.

— Капитан пользуется моим бесконечным доверием. Капитан... — тут князь Блуцкий прикрыл глаза, сдержал дыхание, пошевелил челюстью туда-сюда, и только после этого продолжил: — ...человек чести и служака. Вы понимаете?

— Да.

Тут он кивнул скрюченным артритом пальцем. В чем же заключается их странная власть, так что наименьший жест они тысячекратно множат в его значениях, так что можно читать их полностью, как живые светени — дрожание губ, незавершенное моргание, дыхание, вот, палец? *Я-оно* приблизилось. Показалось, будто бы князь желает что-то сказать, приватно, шепотом, как было в обычае у его супруги; но он только прищурил глаза, приглядываясь из-за выпуклых стекол, в которых металось отражение высоких языков пламени. Наглядевшись, он раздраженно махнул.

— Поляк, не поляк — замерзло.

Я-оно отступило.

Тем временем, среди чиновников вспыхнула ссора, они начали перекрикивать друг друга через стол, бросаться бумагами, включился и седой полковник, кто-то зацепил и сбил на пол поднос с графином, тот с грохотом раскололся.

— *Измена!* — хрипел полный чиновник в мундире Министерства Зимы. — *Измена, предательство!*

Его вывели из залы.

Князь поднялся на нот, подошел к графу Шульцу, начал в чем-то убеждать, размахивать перед носом генерал-губернатора тем своим кривым пальцем. *Я-оно* насторожило уши.

— ...императорского милосердия. Вам следует научиться дипломатии, мой граф, искусству вести переговоры и беседы. Насилием еще ничего в мире не было решено.

Граф поглядел на него словно на сумасшедшего, но весьма быстро покрыл отразившуюся на лице не слишком-то лестную мысль нейтральным выражением вежливого внимания; его отъмет не изменился ни на йоту.

— Ваше Высочество, должно быть, ошибается. Все, что в мировой истории было сделано, решено, решалось с помощью огня, меча и пороха. Дипломатия приходит на помощь, когда не хватает силы; тогда она дает время, но проблем не решает. Если бы мы могли спихнуть японцев в океан, Вашему Высочеству не пришлось бы ехать договариваться с ними.

...Только хватит уже об этом. Вы же прекрасно знаете, что я подобные мысли ни у кого терпеть не намерен. — Он обернулся, на момент прижал платок к губам, нашел взглядом полковника. — А завтра с утра буду председательствовать в суде, сейчас же: прочь его, в тюрьму.

У полковника кровь отхлынула от пухлого лица, он зашатался, как бы наощупь прогнулся, чтобы опереться о стол; напрасно, уже чужие руки давали ему опору, чужие руки отстегивали ему саблю, чужие руки силой вытаскивали из залы.

— Так как же!.. Ваше Сиятельство! — стонал он. — Ведь я только! Только Вашему Сиятельству!..

— Прочь!

Отразившись от сердца, кровь ударила тому в голову. Распаленный, вишнево-сливовый на блестящей от пота роже, полковник собрал все силы, вырвался из десятка рук, помчал вокруг стола — кто-то подставил ногу, офицер рухнул на пол, оставляя на зеркальной глади

пятно слюны, царапая ее орденами, скрежеща — но и тогда не остановился: побежал к генерал-губернатору на четвереньках.

...Схватил его под колени, приклеился к ним седой башкой.

— Так я же... пес верный! Что только Ваше Сиятельство скажет! Умоляю!

Граф Шульц-Зимний отпихнул его с отвращением.

— Ну... прочь уже!

Полковника выволокли, словно собаку.

Князь Блуцкий-Осей приглядывался ко всему происходящему сквозь маленькие стекла очков с холодным вниманием, словно к новому способу натирки полов.

— Что происходит? — вполголоса спросило у капитана Фретта.

— А вы как думаете, зачем меня Его Княжеское Высочество при себе держит?

Даже не обменялось взглядами,хватило тона голоса,тьмечь слилась стьмечью.

— Потому что вы человек чести и посвятили себя службе, — буркнуло без тени иронии.

Капитан отвернул воротник мундира.

— Про наши приключения в Гонконге слыхали? Меня из полка на эту дипломатическую миссию вырвали и к князю прикомандировали. Вот тут меч самурая и остановился.

Через какие-то из дверей справа в зал быстрым шагом вошел господин Урьяш, дальше расспросить капитана не успело. Франц Маркович, даже не поздоровавшись, запыхавшись, светлые волосы не причесаны, бросил на карты папку, затем начал выкладывать из нее документы, словно карты для пасьянса.

— Здесь вот свидетельство благонадежности, здесь паспорт, оформленный на три месяца, это вот бумаги на отца, вот тут — постановление о прекращении уголовных дел, здесь ваши полномочия по отношению к военным властям в иркутском генерал-губернаторстве, а это кредитное письмо в Первый Байкальский Банк. На все вещи, за которые заплатите казенными деньгами, составите отчет.

— Составлю.

— Хорошо. Подпишите тут. И вот тут. Отлично. С графом говорили?

— Нет.

— Пойдемте.

Граф стоял у окна, читая врученное ему только что письмо, вдыхая дым из тут же установленной курильницы. Господин Урьяш начал шептать ему на ухо; граф склонил голову, радужный свет метели блеснул на его лысине; так они шептались какое-то время, наконец Шульц-Зимний глянул над плечом Франца Марковича. *Я-оно*поклонилось.

— Может быть и так, — буркнул генерал-губернатор, — может и так. Что скажете?

— А о чем Ваше Сиятельство спросит? — стрельнуло, не отводя взгляда.

— *Вот же, поляк бесстыдный*, — усмехнулся граф.

— Его Сиятельство желает знать, как быстро вы сможете справиться со своим заданием, — сказал Урьяш.

— Договор был, что до конца января, и...

— Знаю, — отрубил граф. — Теперь я спрашиваю о вашей чистосердечной оценке. Как скоро. Только без дерзости. Ну?!

В обрамлении снежной бури его неподвижный отъмет итьмечь в морщинках кожи стали еще более выразительными. Подумалось, что если бы сейчас сделать с него фотографию, то на ней не осталось бы ни единого серого оттенка, ни единого внутреннего признака, всего лишь чернильная дыра в окошке белизны. Какова правда о графе Шульце-Зимнем? А вот такая.

— Не могу сказать, — ответило. — Не раньше, чем через три недели. Я уже говорил

Вашему Сиятельству, мне только нужно найти следопыта, который безопасно сошел бы на Дороги Мамонтов и...

— Три недели, — вздохнул губернатор; момент, и он уже потерял интерес. — А ведь еще нужно вернуться... *Mais bon* ^[360]. — Он возвратился к чтению письма.

Франц Маркович не был доволен ходом беседы. Сжав губы, он упаковывал свои бумаги в папку, раздраженно дергая ремешки.

Схватило его за руку.

— Договор был, что до конца января!

— Пускай *господинне* боится. *Его Сиятельствослово* сдержит. Жаль только... Эх. Так вам нужны следопыты, так? Тогда, прошу. — Не оглядываясь, он направился к двери, чуть не столкнувшись на пороге с двумя офицерами, у которых на бровях и усах еще не растаял снег.

Спешно собрало документы, сунуло их под сюртук. Капитан Фретт с противоположной стороны стола поднял бокал в тосте. — В следующий раз выпьем с вашим отцом! — Вежливо кивнуло ему.

Господин Урьяш сбежал на четыре этажа вниз и свернул в сторону от прихожей перед внутренним двором. Здесь открывалось и закрывалось множество дверей, ведущих если не во двор, так в коридоры или переходы, к этому внутреннему двору ведущие — температура спустилась значительно ниже нуля, *я-оно*выдыхало тьметные облачка и заглатывало ледяную слюну; стены из перемороженного гранита жирно парили. Следовало бы вернуться за верхней, меховой одеждой, оставленной на первом этаже, вместе со Щекельниковым. Только блондинчик-гнилозуб, сам в одном только мундире, спешил на своих длинных ногах, словно его кнутом подгоняли; охранники без слова открывали двери. В одном лишь случае пришлось отступить к стене, когда отделение стрелков — закутанных в полковые шубы, с плотно обвязанными головами, словно процессия прокаженных паломников и с маршевыми ранцами за спинами — пробежало трусцой к конюшням и каретным помещениям Цитадели. Вновь отозвался инстинкт сына покоренного народа: приклеиться к камням, с безразличной миной пялиться в мертвую природу; может и не заметят, может — и не схватят, не бросят в подвал, поляка одинокого в самом сердце царской крепости — иррациональный инстинкт, но сколь же близкий правде сердца.

За каретной находились какие-то помещения для извозчиков, похоже, давно уже не используемые, сейчас возле ведер с горящим углем там расположились туземные охотники и шаманы. Причем, это не была единая группа, а две — поменьше и побольше, и сразу заметило, насколько сильная враждебность их разделяет, то есть, объединяет. *Я-оно*встало у первого угольного ведра, обогрело руки. Франц Маркович обратился к трем фигурам в толстых тулупах, что грызли вяленое сало или какой-то иной грязноватый жир; на что остальные, собравшиеся под противоположной стеной, насторожились и делано отвернулись, натягивая поглубже грубые капюшоны, прячась под шкурами.

Урьяш тут же поднял одного из троицы и подошел вместе с ним к огню. Инородец явно хромал. Среди шкур и складок ткани видны были только темные глазки в затмеченных складках кожи и несколько пучков черных волос, связанных выгоревшими ленточками.

Он поклонился, правда, не открывая головы.

— *Горбун ни?* —прохрипел он (это, или нечто подобное).

Урьяш начал что-то ему объяснять на ломанном тунгусском.

— *Сами, Хута Уу-нин*, —пробормотал дикарь сквозь тряпки; огоньки иронии блеснули в угольно-черных радужках, или это только показалось — именно так пересчитало невозможный для пересчета знак из алгоритмики другой расы.

— Это Тигрий Этматов из Второго Чарабуского Рода, из нерчинского улуса, —

представил его Франц Маркович. — Верхне-Амурская Золотопромышленная Компания нанимала охотников из его улуса, когда наконец-то полакомилась на тунгетит и зимназо и выслала своих геологов на запад. Теперь Чарабусами пользуемся мы.

— Шаман, — заявило *я-оно*.

— Ваш следопыт по Дорогам Мамонтов.

Задрожало от холода.

Тигрий выколдовал из-под тулупа небольшую баклажку, стряхнул на четыре стороны света по капельке для духов этой страны.

— *Аракы умынанныы?*

— Выпейте, Венедикт Филиппович, — посоветовал Урьяш. — Все эти зимние инородцы — пьяницы ужасные, до смерти упиваются, целыми семьями, заснут все, огонь в юрте погаснет, так и замерзают; но тут, не выпьешь с ними — не поверят.

Прижало баклажку к губам. Это был какой-то ужасный самогон с резким, травяным запахом. Скривилось, как следует. Тигрий захихикал. Отдав баклажку, склонилось к шаману.

— По-русски говоришь? По русски — понял?

— *Ахыым сэра луча тураннан оочем сэра.*

— Его братья немного говорят. Впрочем, там, подо Льдом, как-нибудь договоритесь. — Франц Маркович потер руки. — Короче, он вас поведет. Можете поспрашивать у наших геологов, у Тигрия нух имеется.

— Я не совсем то имел в виду, когда говорил о том, чтобы послать следопыта на Дороги Мамонтов... И почему тунгус?

— Вы же отправитесь на север, к Тунгуске, разве не так? Так это уже не земли наших бурят. Хотите стрелять при первой же встрече на дороге? Для вас и так двойная выгода, тунгусы сейчас к полякам хорошо относятся; польские инженеры на тунгусах женились, опять же, охотничьи кооперативы...

— Но вы же сами говорили, что эти их религии... Что для бурят — люты упали из Верхнего Мира; а вот для тунгусов, тунгусы видят в них абаасов, злых духов преисподней — разве не так?

— В том-то и оно, — господин Урьяш приблизился конфиденциально и снизил голос, как будто Тигрий Этматов мог его понять, — мне нужно было найти тунгусов, как бы это сказать, склоняющихся к противоположному полюсу собственной веры.

— *Значит, таких тунгусских сатанистов...?*

Франц Маркович переступил с ноги на ногу, озабоченно глянул.

— А смотрите так, словно привидение увидели. — Он зыркнул на шамана, затем обратно. — Что, знакомы с Тигрием?

— Нет, нет. — *Я-оно* откашлялось, вкус сдобренного травами самогона вмерзал в язык. — Старинный сон, иллюзия... — Как-то нерешительно засмеялось. Нагретой ладонью стерло кровь со вскрытых котом старых ран, вырисованных листьями железного дерева на щеке. — Это всего лишь прошлое приклеилось к нынешнему моменту: еще одно исполнившееся предсказание для малышей. Сон туман — один Бог не обман.

Сон, прошлое, белое небытие. Снег залеплял очки, втискивался в глаза — город, небо, сани, господин Щекельников и возница, все это стиралось из существования. Над Иркутском безумствовала *настоящая* пурга, ничего удивительного, что даже туземцы прятались в Ящике. Шум вихря заглушал все иные звуки — других звуков просто не существовало. И из красок — иных, кроме белой. Даже огни фонарей и ламп на упряжках с трудом пробивались — ни в коей степени не цветом, но еще более интенсивной белизной. Бог перелистывал книгу

мира назад, к началам еще до времен сотворения, к ее первым, чистым страницам. Размышляло, упаковавшись в глубокие меха: а если не удастся? если его никак не найдет? Ведь не удастся же. Не удастся.

Сойдя с Мармеладницы в Холодном Николаевске, вновь застегивая шубу под мелким навесом, инстинктивно стало нащупывать тяжесть Гроссмейстера за ремнем. Но ведь револьвер остался на Цветистой. Это тут же напомнило про образцы металла, обстрелянного Тьметной Бомбой — лежат там, вместе со вчерашней одеждой, если только слуги не забрали ее в стирку. Вернуться в Иркутск? Нужно проверить, ничего ли не поменялось в дежурствах; если сегодня у инженера Иертхейма ночная смена, возможно, с ним удастся поменяться. Хммм.

Вчерашнюю тропу от станции к Башне Пятого Часа ночью перегородил лют, нужно было обходить; господин Щекельников шел, задрав голову, из глубин зашнурованного капюшона высматривая переносимые по воздуху грузы. Потому-то он и не заметил жандармов, идущих гуськом от Дырявого Дворца. Столкнулся с первым, только потом отступил в бок. Жандармы тащили между собой какого-то несчастного со связанными руками. И было их восемь, целое отделение.

В Лаборатории, несмотря на ранее время, уже горели все источники света. Снег залепил мираже-стекольные панели; доктор Вольфке и его группа работали здесь словно в батискафе, погруженном в молочный океан. Печи громко шумели, пофыркивал самовар, женщина разносила ароматный кипяток; едва лишь я-онопереступило порог, все еще стряхивая с себя наледь, она уже поспешила с чашкой чаю.

— Спасибо. А скажите мне, где сегодня инженер Иертхейм...

— Господин Бенедикт! — раздался голос доктора Вольфке из-за металлических шкафов. — Что-то мы редко видимся!..

Я-оносняло лишь шапку.

— Прошу прощения, пан доктор, но, хрррр, уже предупреждал вчера, что по казенному делу обязан...

— А воть вам казенное дело! — фыркнул Вольфке, смягчая по-своему согласные и хлопнул на стол бумагой с печатями.

Отставило чашку, поднесло повестку к глазам. Это был вызов в иркутское отделение Министерства Зимы, выставленный на Бенедикта Филипповича Герославского, на сегодня, снабженный всеми правовыми заклинаниями, с угрозой штрафа и ареста включительно, подписанный уполномоченным комиссаром Иваном Драгутиновичем Шембухом.

— Пришли сюда, — рассказывал доктор Вольфке, вытирая платком румяное лицо, — вас искали, чуть обыск не устроили, вы себе представляете?

— Жандармы? Забрали кого-нибудь с собой?

— Этого нам только не хватало! — Вольфке сложил платок, дернул себя за усики. — А что, думаете, еще за кем-то ходят?

— Нет, не знаю, нет.

— Это по уголовному делу?

— К сожалению, пан Мечислав, политика. — Спрятало повестку к бумагам Урьяша. — Я-то думал, хрррр, будто бы уже все устроил, а тут на тебе — нечто подобное... — Хлопнуло шапкой об стол.

Доктор Вольфке склонился над столом, заваленным книгами, заметками и листами с расчетами.

— Если через Круппа чем-то помочь можно, — озабоченно произнес он, — вы не колеблясь, я с директором Грживачевским...

— Большое спасибо. Но, боюсь, тут беспокойства совершенно иного рода. Такие вещи даже над головой Круппа решаются.

— Начинается все со статей в подпольных газетках, а заканчивается в холодном подвале, — по-настоящему обеспокоенный, вздохнул Вольфке. — Поначалу я и не надеялся, будто бы вы нам особо пригодитесь, но теперь же меня страх берет, что без вас мы снова утонем во всей этой немецкой бюрократии. Не так оно и просто, найти человека, который и природу научной работы понимает, сам с цифрами на ты, так еще и способен письменно, на языке фирмы и государства выражаться, опять же — земляка, порученного братьями, достойными наивысшего доверия.

— Так я же предупреждал, что только на какое-то время. Так или иначе, через пару недель должен буду попрощаться.

— Посреди зимы желаете за отцом к Последней Изотерме идти?

— Вы знаете...?

Вольфке заморгал, скрывая сочувствие и, нуда, не слишком благородную жалость.

— Все знают.

Тьмечь и тьмечь и тьмечь, мало очевидного можно замаскировать здесь между правдой и фальшью. Все знают. Я-онопокачало головой.

— Вы подумайте, — произнес доктор, вновь усаживаясь на стул. — Ведь еще ничего не предрешено. Какое иное будущее перед вами? Помните, о чем мы говорили в первый день? — Он глянул в окно и тут же отвернулся от всеохватывающей белизны. — Мир завтрашнего дня принадлежит ледовым технологиям. Пока что все это может выглядеть несколько кустарно, но ведь мы оба прекрасно знаем, что нет на земле наилучшего места для молодых, горячих умов. Ну, может быть, в Томске, где и Мороз поменьше. Впрочем, вы сами понимаете: если вы сейчас серьезно свяжете судьбу с *Friedrich Krupp Frierteisen*, то сделаете самую умную вещь в жизни. А мне нужны люди, которым бы я мог здесь доверять. Подумайте хорошенько.

И самое паршивое, что он был прав, и что я-оновидело это правильно-достаточное будущее столь же четко. О подобных жизненных «случайностях», лишь с перспективы десятилетий, воспринимаемых как жизненную неизбежность, рассказывают на старости состоявшиеся люди: что привело к тому, что они выбрали аккурат такой путь в карьере, что подкинуло ему идею выгодного предприятия, как встретили своих сообщников, что внушило им направление исследований, которые привели к открытию, о котором будут помнить последующие поколения — всегда это некие «скачки в сторону» от первоначальной дороги, временные остановки на пути к цели, которые, по странному стечению обстоятельств, затягиваются на месяцы, года, на целую жизнь; и о первоначальной цели уже и не помнишь. И я-оновидело это: работу в разрастающемся молохе Круппа, карьерный рост и повышения, и как верх над *le Mathématicien de l'Histoire* ^[361] берет *homme d'affaires* ^[362], человек денежный, присутствие которого предчувствовало уже на встрече Клуба Сломанной Копейки, но это предчувствие быстро переходит в холодную единоправду, и такая жизнь с тех пор уже единственно возможна: *Herr Wekfuhrer, Herr Direktor* ^[363], совладелец концерна, а под конец — бородатый буржуй, в теле, в дорогом костюме, с моноклем в глазу, с котелком в руке, с головой, высоко поднятой над жестким накрахмаленным воротничком, именно так фотографируется он перед фронтоном собственного дома-дворца или на крыше поднятой в воздух иркутской виллы, патриарх сибирского рода: Бенедикт Герославский, кармический брат Густава Круппа фон Болен унд Гальбах.

Сделало глоток воздуха, и какая-то электрическая свежесть плеснула в легкие.

— Нет.

Вольфке разочарованно махнул рукой.

— Езжайте уже к ним.

— Вернусь, как только справлюсь с этим делом. — Надело мираже-очки. — Ага, кто сегодня в ночную в Мастерской? Пан Генрих?

— Да.

Вышло, посвистывая (пока кашель опять не перехватил горло).

Итак, назад в Иркутск, в Таможенную Палату. В Мармеладнице господин Щекельников посоветовал залепить лицо бинтом или каким-нибудь пластырем: после входа в жару домашних печей, рана, по-видимому, размерзается, и кровь стекает ручейком к подбородку. — Ну и что, не истеку же кровью. — Не следует идти с властями говорить, уже жертвой одевшись! — Не понял? — Если кого раз ударили, то всякий ударит; один раз выебали, становись раком. — Стащив рукавицу, провело смоченным слюной пальцем по следам старых ран. Неужто, как? Чиновник, бестия хищная, почувствует кровь и тут же вонзит в человека свои клыки параграфов?

Комиссар Шембух приветствовал в собственном кабинете совершенно по-шембуховски, то есть — рыком, от которого у секретаря-татарина слезки на глаза выступили, и бедняга тут же шмыгнул за двери.

— В измену! — и вправду рычал Иван Драгутинович, только-только отвернувшись от печи. — Против Господина Милостивейшего, так?! Так?! — бах, бах, лупил он кулаком в такт по широкой столешнице, так что чернильницы и стаканы для ручек с карандашами подскакивали. — Вот, благодарность падали, вот, честь польская, вонючая, тьфу, сыночек-выпердок из говна отцовского!

— От фатера то моего отцепитесь!

— О! — Шембух разыграл нечеловеческое изумление. — Еще и лает, *собака'*.

*Я-оно*переставило стул поближе к столу, уселось, закурило. Верхом ладони вытерло щеку. Второй рукой вытащило бумаги от Урьяша, нашло нужный документ и помахало им издалика комиссару.

— А не ваша власть уже, *гаспадин* Шембух. Если хотите, подавайте апелляцию генерал-губернатору. Даже паспорт можете не возвращать. В следующий раз я сюда ни ногой. А если вновь пошлете ко мне на работу ваших хамов в мундирах, адвокат Кужменьцев начнет посылать формальные жалобы на вас лично, и тогда до конца жизни не очиститесь.

Шембух грохнулся на седалище. Он ослабил воротник, рванул один, другой, третий ящик, найдя, глотнул свои капли, отдышался.

— Только вчера в салоны втиснулся, а сегодня уже связями своими пугает, — буркнул комиссар вполголоса, сверля убийственным взглядом. — Шульц...! Да Шульц помнит о вас столько, сколько ему секретари в данный момент скажут. Кто вы такой для Шульца? Что вы там себе напридумывали? Да здесь политическая игра между самыми высшими фигурами.

— А я знаю.

— Знаете? Покажите-ка эти ваши бумаги!

*Я-оно*спрятало их под сюртук.

— Пришлите мне письмо, адвокат Кужменьцев вам ответит.

— Да не заговаривайте мне зубы своим Кужменьцевым; когда с вами покончим, никакой адвокат не захочет посещать вас в камере!

Поднялось с места.

— Только время на вас трачу. Раз уже проиграли стычку чиновническую, слейте желчь — можете попробовать на своем секретаре. Прощайте.

— Сесть! — раздался рык.

Уселось.

— Чтобы вообще вернуться в Европу живым и не совсем поседевшим, — сладко усмехнулся комиссар, растягивая при том свою бульдожью морду в чуждой ей гримасе, — сделаете так. Сложите у нас все полученные вами документы с губернаторской печатью. В присутствии полковника Гейста и советника фон Эка дадите полнейшие письменные признания обо всех ваших преступных сговорах с изменником Шульцем, расскажете о вашей роли в его направленном против царя плане, то есть, каким образом вы согласились договориться с лютами через Отца Мороза о предоставлении ему Сибирского Царства. Понял?

Я-онопялилось на Шембуха в немом изумлении.

— А если нет, — усмехнулся тот, — а если нет, то, раз-два, и сами в тюрьме окажетесь под смертными обвинениями, и никакой Шульц-Зимний вам не поможет.

Поднесло папиросу ко рту.

— Это что, шантаж?

— А вам как кажется?

— Это — шантаж! — подтвердило с нескрываемой радостью, а Его Благородие Иван Драгутинович Шембух заморгал в неожиданном конфузе, глядя как на сумасшедшего, даже его отымет несколько побледнел.

Шантаж! Какое облегчение! Да почти захотело схватить комиссара за его обвисшие брыли и расцеловать из чистой благодарности — только лишь за то, что он открывает такие возможности. Шантаж! Шантаж в Краю Льда, по-ледовому чистый и ясный: смертельная угроза за очевидную ложь. Боже ж ты мой, истинный шантаж, словно из драмы, словно из женского романчика.

В последний раз пыхнуло табачным дымом, после чего щелкнуло окурочек в сторону Шембуха.

— Значит, тюрьма мне. Да Бог с вами, Иван Драгутинович.

И даже дверью не хлопнуло, уходя.

— Хорошо все пошло? — допытывался господин Щекельников.

— Хmmm?

— Что такие веселые?

— Пообещал мне смертный приговор. Самое малое, пожизненное заключение.

Чингиз остановился на мраморной лестничной клетке между этажами. Опершись квадратной спиной о стенку возле парящей скульптуры, он начал хохотать, хватаясь за живот.

— Чего? — буркнуло я-оно, все еще оскаленное, кончиком языка подхватив с усов капельку крови. — Ну, чего?

— Не-не-ничего, господин Ге, — просопел тот. — Тот револьвер с вами?

— Сейчас заберу. Пошли, а то день уже кончается.

Поехало на Цветистую за Гроссмейстером и образцами металлов. Затем, опять на Мармеладнице — в Холодный Николаевск, в Лабораторию Круппа. *Mijnheer* Иертхейма за столом еще не застало; зимназовые механизмы и тунгетитовые электросхемы, кружева иней-циновых проводов, тоньше солнечного луча, и мираже-стекольные лампы накаливания — все это валялось там в обычном беспорядке; на прошлой неделе состоялась очередная эвакуация из Производства (люты почти полностью вморозился в цех), и энтропия в Башне еще не снизилась до обычного состояния. Калякало за своим столиком казенные отчеты, возле белого, заснеженного окна, под керосиновой лампой, под мерцающими электрическими

лампочками, под звуки фыркающего самовара, жестяного грохота какой-то новой аппаратуры, как раз испытываемой доктором Вольфке и под обязательный свист ветра; калякало пером с не до конца приятным сознанием того, что это ведь один из последних подобных дней, что интерлюдия неумолимо заканчивается. Иркутск, Николаевск, Крупп — это был определенный этап в жизни, наверняка, нужный. Но вот теперь пришло время отсюда отмерзать.

Инженер Иертхейм появился только после трех, под мышкой он тащил металлический ящик; какое-то время раскутывался, стряхивал снег и грелся у печи. Я-оновынуло из секретного местечка бутылочку рома, капнуло в чай. Голландец поблагодарил. Он едва удерживал чашку в ладони, в которой не хватало нескольких пальцев — сейчас застывшей, непослушной. Ящик он оставил за порогом.

— А то еще растает. Нужно немедленно разложить по резервуарам.

— И что у вас там?

— Лёд. — Иертхейм выпил чай; подлило ему в чашку чистого рома. — *Dank u* [\[364\]](#) .Я тут подумал, что можно проверить то, что вы говорили о вторичном гидрологическом обороте тунгетитовых соединений.

— Вы порасспрашивали о тех людях?

— Это тоже. Уффф. Сейчас. Помогите мне.

Перенесло ящик между шкафами и стеллажами к рабочему месту инженера. Тот сбросил с себя шубу и малахай, распутал шарфы, после чего решительным жестом расчистил часть столешницы. Затем взял на время у Бусичкина дюжину глубоких подносов. Теперь он выкладывал на них из ящика куски льда, сосульки и снежную мерзлоту фирна. Один фрагмент был совершенно черным. Я-онопровело пальцем по неровной, похожей на щебень массе.

— Это от сажи, кххrrrrr, из дымовых труб. Это я влез на крышу своего дома. Надо договориться с бригадой ледорубов, чтобы отломили кусок и здесь.

Очевидность.

— Вы их растопите, испарите воду, осадок сожжете в спектрографе, замерите химические пропорции и содержание тунгетита...

— Погодите, чтобы я только не ошибся, откуда какой лед родом... — У него это было и записано, только вот листок размок, голландец кривился и морщил нос, пытаясь прочитать описания форм льда, и некрасивая физиономия в этих гримасах принимала черты благородной правильности: содержание не скрывается в случайной уродливости тела, всяческая суть порождается духом, что командует телом.

— Так что же вы узнали пан Генрих?

— Хммм? Ага, так вот, тот самый Калоусек, о котором вы меня спрашивали... погодите, это я тоже записал — Хило Калоусек, работал у старика Горчиньского до самого конца, это сходится, господин Филипп был у него в подчинении, между ними была какая-то публичная ссора, вот только подробностей я не выяснил, ваш отец, как сами знаете, очень часто вызывал споры, ссоры и даже кулачные расправы, потому люди помнят событие не само по себе, но отражения предыдущих событий, точно так же, как во вкусе тысячной папиросы ты чувствуешь уже только отдаленное эхо предыдущих табачных удовольствий; и, похоже, для господина Филиппа это тоже было вредной привычкой. Поставьте-ка вот это на шкафах. И еще эти два. — Иертхейм отдышался и, вспомнив о вкусе табака, достал трубку и кисет. — Ага, и после закрытия «Руд Горчиньского» Калоусек и вправду не нашел работы у Круппа...

— Я ведь говорил, что проверял у нас в бумагах.

— ...но из Иркутска не выехал. Вчера в клубе я встретил господина Макаρχука, что младшим совладельцем в юридической канцелярии, и тут я вспомнил о завещаниях...

— Да не начинайте же вы опять, перед вами еще долгая жизнь.

Иертхейм закурил, выдул дым, отмахнул его от лица.

— Что там передо мной, дело другое. Во всяком случае, Макаrchук говорит, что выполняет завещание одного живого покойника, и что наверняка охранка вновь будет им клиентов пугать. Какого такого «живого покойника», допытываюсь, на что Макаrchук говорит что-то про геолога, которого разыскивает полиция, на что я тут же думаю о вашем отце и сразу же начинаю расспрашивать Макаrchука.

— Так говорите же.

Mijnheer Иертхейм усмехнулся в рыжую свою щетину.

— Оказывается, Хило Калоусек оставил здесь семью. Кажется, сестру и племянницу. Макаrchук, в качестве исполнителя завещания Калоусека, прослеживает за рентой, выплачиваемой им страховой компанией. Дело в том, что компания получает анонимки, а в последнее время, неофициально, еще и доносы из Третьего Отделения, будто бы Калоусек свою смерть в северной экспедиции симулировал, чтобы сбежать от следствия, и вот тут слушайте, по делу «польских геологов, разыскиваемых посредством публикаций о розыске за преступления против государства».

Я-оно схватило с места.

— Имена он называл?

Для большего эффекта *mijnheer* Иертхейм вначале выпустил носом дым.

— Александр Иванович Черский.

Я-оно рассмеялось.

— Таки моя правота! Ключ к Дорогам Мамонтов лежит в секретной гидрографии Байкала! То, что вытекает сюда, куда-то на поверхность, из тунгетитовых вод и из второго атмосферного обращения, возможно, уже химически измененное, возможно, уже биологически связанное — они узнали тайну — Богданович, Черский, мой отец, наверняка и Кроули, и Калоусек — рецепт, шаманский метод, или только картографию — географические координаты Черного Оазиса! Думаете, нечто подобное и вправду существует? — Схватило голландца за руку. — Вы должны меня познакомить, с этой его сестрой. У нее наверняка имеется какой-то способ связаться с Калоусеком! Тот же приведет меня к Черскому, и, раз я буду располагать картами Кароля Богдановича и картами от губернатора...

— Не так сильно! — смеялся Иертхейм. — Я же никуда не убегаю!

— А вот у меня времени все меньше. Пан Генрих, через неделю-две мне придется выезжать из Иркутска. Шульц дает оборудование, деньги, людей — а теперь еще появляется и реальный шанс, нечто конкретное, что можно будет взять и...

— Так вы, все-таки, уезжаете.

Отпустило его.

— Да.

Иертхейм покачал головой, левой рукой машинально дергая туда-сюда стрелку прибора.

— Я стараюсь вам помочь, господин Бенедикт, — сказал он, отведя взгляд, — а ведь...

— Думаете о том, что я скажу ему о вас.

— Нет. То есть... не это самое главное. — Какое-то время он задумчиво посасывал трубку. Ответ делался плотнее. — Как тот князь выторговал мир с японцами, так и вы должны выторговать мир с лютыми, правда? Территориальный договор: отступит Лед или нет. Но, до того, как вы выедете... Понимаете, ведь если Оттепель и вправду, то я...

Очевидность.

Я-оно огляделось по заваленному четверть- и полупродуктами ледовых технологий столу инженера Иертхейма, по разобранным механизмам и покрывающим стены и шкафы эскизам и

сечениях различных устройств, таблицам физико-химических свойств, фотографиям гнезд лютов и соплицовых, микрофотографиям зимназовых холодов. Вытащило из-под электрического аккумулятора покрытый пятнами листок бумаги, послунило карандаш. Инженер присматривался через плечо к рисуемой схеме.

— Динамо-машина, — заявил он.

— Только вот сюда вставляем тунгетит. Внимательно проследите за тем, как делается обмотка.

Тот заморгал.

— По-понимаю.

Вручило голландцу листок.

— Никому этого не показывайте. Соберите такой генератор, но только для личного пользования. Заряжайтесь морозом из этой динамо-машины утром и вечером. Пределы узнаете сами, вы утратите чувствительность.

— А в Лете это действует?

— Да.

Иертхейм спрягал листок в карман.

— Не беспокойтесь, не объявлю этого, я же ведь знаю, что вы с самого начала размышляли над изобретениями...

— Собственно говоря... — Но уже удержалось, чтобы отрицать — и сам этот отказ от исправления фальше-правды почувствовало словно излияние кислотной изжоги, возвращение самого жесточайшего похмелья. Быстро сделало глубокий вздох. — Пан Генрих, у меня к вам вот такая просьба — сегодня ведь вы в собачью смену, так я хотел с вами поменяться, скажем, за счет следующей ночки. Вы не согласитесь?

Тот разложил руки.

— С превеликим удовольствием! В таком случае, еще сегодня вечером попробую поговорить с Макаrchуком.

Филимон Романович Зейцов появился как раз с группой крышелазов. Уже длительное время я-оновидело его исключительно трезвым. (В голове ворочалась мысль: это следует принимать за добрый или за недобрый знак?). Тот обрадовался, увидав, что я-онозаменяет сегодня голландца.

В кожаной сумке, вместе с краюхой, толсто смазанной смальцем с луком, сейчас он приносил на ночную смену уже не бутылку «Госпожи Поклевской», а толстенные томища. Стыдливо показал, как только последний ассистент доктора Вольфке покинул седьмой этаж: антология новой метафизической поэзии, какие-то религиозные произведения, а вдобавок «О похвальном труде» христианских, настроенных против Струве марксистов. Даже страшно подумать, какой новый Зейцов после смерти Ачухова вырастет на этих духовных удобрениях.

— Только бы вы вновь не взялись за агитацию, — остерегло его. — Аккурат, самое неподходящее время.

— Слышал я, слышал: запирают, выпускают, снова под замок сажают. Эх, Зима...

Буран гремел и стонал за окнами Башни будто сотня треснувших иерихонских труб, под ногами чувствовало вибрацию, идущую сквозь всю зимназовую конструкцию, самое начало резонанса. Тесла наверняка сразу бы посчитал частоты — подумало — посчитал и карманным аппаратиком разбил на кусочки и Башню, и Дырявый Дворец, и всю воздушную рельсовую сеть Холодного Николаевска. Прижало лоб к оконному стеклу, заслоняя глаза от керосиново-электрического блеска — но даже огни других Башен сложно увидеть в этой арктической пурге, в зимних сумерках. Открыло часы. Пару раз нужно пройти в Цех у Дворца, а то и три

раза, если Вольфке с утра припоздает, идя сквозь заносы. Бух-бу-бу-бух, стучали над головой крыше ледолазы-ледобои.

Подождало, пока те не спустятся, и вынуло сумку с образцами металлов, обработанных Лучом Смерти.

— Слушайте, Зейцов, эти книги наверняка скучноватые, не случилось вам здесь иногда заснуть?

— Нет, нет, это совершенно...

— Что? Часика на четыре, да, до полуночи? Думаю, что успею.

Зейцов почесал спутанную бороду.

— Но, если меня спросят, я врать не стану.

— Если спросят, то тут и говорить нечего. Вот только не отвечайте, когда не спрашивают, ведь это для меня сделать вы можете, а?

Это было жестоко — а как еще мог он сорваться с крючка благодарности, благодарности хотя бы за эту работу, не говоря уже о прощенном покушении на жизнь в Транссибирском Экспрессе? Зейцов был словно червяк на крючке.

Тот опустил глаза, но и это не помогло, с крючка не освободился; прижал к худой груди открытую книжку, покачал головой.

— Но вы же ничего не украдете? Что вы вообще задумали?

— Сфотографирую несколько железок в рентгеновских лучах. — Загрохотало сумкой. — Аппарат в другом углу стоит, даже не услышите.

Правда, не подумало про экспонированные фотопластинки, что с ними, а точнее — с их отсутствием, как замаскировать недостачу. Правда, в этом балагане после скорого переезда из Цеха имеет право потеряться даже пара десятков пластинок. Опять же, можно еще больше затруднить доктору Вольфке подсчеты, перенеся сюда все фотопластинки из холодильниц... Направляясь для калибровки установленных там для ледовых опытов машин, забрало пук ключей от всех помещений.

Была уже самая середина ночи в совершенно зимней ауре, пурга валила из темноты в темноту, вихрь сек всякий неосторожно открытый фрагмент кожи; шло практически на ощупь, ступая вдоль досок, уложенных в мерзлоте, по азимуту Дырявого Дворца и Второй холодильницы Круппа; сонный господин Щекельников шел шаг в шаг. Мираже-стекольные очки были совершеннейшей необходимостью еще и для защиты глаз от ветра-бритвы. Снежинки и целые замороженные комья пролетали будто пятнышки на подсвеченной китайской бумаге театра теней — лишь глянув над очками, отметило, что же это за яркие отблески в чернилах ночи: не сам снег, но его свечение. Неужто над Иркутском вновь встало *Черное Сияние*?

Холодницы работали в три смены, круглые сутки, вот и сейчас в Холодном Николаевске работало тысячи людей, но точно так же можно было маршировать и через снежные поля Антарктиды: ни единой живой души в радиусе взора, значит — во всем мире, доступном чувствам, то есть, на расстоянии вытянутой руки. А даже если бы кто-то на тропинке и встретился — человекообразное чучело, в шкуры и меха от ног до головы закутанное, снегом облепленное, неспособное слова даже самого тихого из себя извлечь — нет, нет здесь людей.

Лют в прилегающем к холодильнице помещении мерз в форме развернутого в сторону земли языка, что научилось распознавать как достаточно верное предсказание (подтверждаемое и статистикой) схождения ледовика под уровень почвы. Пока же что он висел на сотне черных струн, примороженных к потолку и стене, сквозь которую он все еще перемораживал свою подобную медузе тушу. Зажгло прожекторы у входа, снопы электрического света разлили пятна жидкой ртути на спине и ногах-сталагмитах морозника. Из-за него, из дыры доходил обычный шум работающей холодильницы и соответствующих машин. Дышало в рукавицу в

этом рабочем ритме, выбирая из связки ключек мастерской. Что заняло, похоже, минуту и оказалось совершенно ненужным, поскольку двери вовсе и не были закрытыми.

Снова кто-то забыл, подумало, направляясь трусцой к печи (выполняя приказ натопить вечером). И в этот самый миг господин Щекельников свистнул из рукава ножом и свалился сугробом в угол за печкой.

Прозвучал визг зарезаемого поросенка, подскочило, чтобы лампу зажечь, зажгло... Господин Щекельников предплечьем пригвоздил к стенке синего *мужика* в рваной рубахе, второй рукой готовясь пробить его своим штыком четверть-аршинной длины — у мужика глаза уже из орбит наверх полезли, все еще обращенные на нож и на квадратную башку Щекельникова под капюшоном и папай; так вот получилось это величественное косоглазие, достойное кисти Эль Греко.

— Отпустите его, я этого человека знаю, это, кхррр, один из наших зимовников.

— А если по знакомству вас прирежет, то меньшая болячка? Чего он тут прятался!?

— Отпустите его!

И правда, то был рабочий из дневной смены, видело его в бригаде того седобородого старца, который в могильной яме на Иерусалимском Холме живьем похоронить меня желал. Мужик тоже лицо узнал, как только развернуло шарфы. Он тут же начал стонать что-то нескладное про великие несчастья, судьбине тяжелой и небесной каре, так что понять его никак было невозможно — ну совершенно, как будто бы тот подглядел обычаи польского крестьянства и театрально подражал им; но, видать, мужики повсюду одинаковые. Чингизу снова пришлось нож ему под нос подсунуть, чтобы мартыновец духом собрался и, слово за словом, хоть что-то разумное сказал.

А идея у него была такая, чтобы Сын Мороза как можно скорее из Николаевска и Иркутска бежал, поскольку Казенные Люди за ним ходят и про него расспрашивают; сам мартыновец то же самое как раз делать намеревается, как только рассветет, пробраться к линии Транссиба и бежать куда-нибудь в Сибирь под новым именем. Но что его так напугало? (Если не считать Чингизова ножа сейчас). Дело в том, что на вечерней поверке прибыли жандармы громадной стаей и давай пытать про дела мартыновские, про Отца Мороза, про Сына Мороза, про какие-то изменные политические заговоры — о которых мужик этого малейшего понятия не имел — и когда старик-бригадир отказался признаваться, жестоко его побили; когда же при виде такого бесчинства всех других зимовников гнев охватил, и бросились они с кулаками на жандармов, те их так палками просветили, что один из зимовников на месте Богу душу отдал, а двух в *бальницу* увезти нужно было. Неслыханные дела! — нервничал мужик. Даже когда пару недель назад их в тюрьму вязали, так ведь и не убивали на месте. Ой, гнев смертельный в господских сердцах на мартыновцев, и на Сына Мороза, видимо, тоже — так что пусть бежит, бежит, бежит!

— Господин комиссар Шембух словечко шепнул полковнику Гейсту, — буркнуло брюзгливо в бороду.

Но Щекельников, похоже, обеспокоился. Прогнав зимовника пинками, он, в задумчивости, долго чистил нож о рукав.

— Могучих ты себе врагов наделал, господин Ге.

— Что же, таково и было намерение. Но у меня еще более могучий союзник имеется. Завтра скажу словечко кому следует.

Чингиз продолжал качать головой.

— Но ведь они знали, что вы о том узнаете.

— В том-то и дело: напугать меня хотели.

— Но почему не пришли на Цветистую?

— Потому что тогда я бы их по судам затаскал, кххрр, а тут могут бедняг дергать, сколько пожелают.

Щекельников спрятал нож.

— Приговор вам грозит: повешение, господин Ге.

— А, пустые слова. Вы всегда самое худшее...

— Будешь Щекельникова слушать, внуков дождешься.

Похоже, что у Зейцова были в Башне припрятаны запасы высокоградусного питья, потому что, во второй раз вернувшись из Цеха, застало его упившимся в дымину, уткнувшимся лицом в книжку с трансцедентными стихами, распространявшим спиртную ауру. Хитрая зараза, перед тем, как водочную колыбельную себе пропел, бутылку он спрятал. В течение всего пути Мармеладницей и санями через Иркутск, настолько пургой забеленного, что даже солнца восходящего не было видно, я-онотряслось от холода и чуть ли зубами не стучало, мечтая о стаканчике рома или сливовицы.

Только Господь Бог спиртного поскупился. Вбежало на второй этаж, стряхнуло на пороге снег, еще в шубе и шапке, с сумкой на плече, а тут уже панна Марта зовет и ведет из кухни Леокадию Гвужджь. — Пан Бенедикт, гостя к вам. — И что было делать, пригласило в салон, служанка принесла кофе и свежеиспеченного хлеба с медом.

— Мхммм, вы извините, — бормотало с полным ртом, набросившись на этот перед-завтрак, — я тут едва на ногах держусь после ночи...

— Охранка у меня была, — бросила пани Гвужджь, дождавшись ухода служанки.

Вздохнуло сочувственно.

— Знаю, знаю, пани Леокадия, я наступил тут нескольким особам на мозоль, оно пройдет, но еще пару дней...

Та стукнула раскрытой ладонью по столешнице, а ладони у нее были что у рабочего с холодницы, вся посуда подскочила, упала крышечка с сахарницы, зазвенела керосиновая лампа.

— Пан Бенедикт! Я не предупреждать вас пришла! Вы и так сумасшедший, притом, страшно упрямый в своих сумасбродствах, чем мало в чем от отца своего отличающийся, вижу это теперь; но я хочу, чтобы вы их от меня совсем отвели! Они же семью мою пугают! Людей! А вчера еще хуже — пришли к Раппопорту, начальство терроризировали — и я работу потеряла!

Запило теплый хлеб горячим кофе, волны благословенного тепла расходились изнутри организма, ведя за собой лень и естественную сонливость, сползло по стулу с миной, не слишком свидетельствующей об уме.

— Так что я могу — извиниться, ну, извиняюсь — так или иначе, все равно, вскоре уезжаю, так что оно само...

Женщина склонилась через стол.

— Да что вы им наговорили! Ведь те, что с охранкой ходят...

— Ммхмм?

— Бумаги мне показали! — Гвужджь сжала кулаки. — Выкапывать их хотят.

— Не понял.

— Эмильку, сестру вашу! — прошипела та. — Могилу хотят раскопать, гробик достать, вскрыть... Только через мой труп! — Она снова стукнула кулаком по столу.

Я-онопротрезвело.

— Погодите... эксгумировать Эмильку — погодите! — они так вам говорили? ... Так ведь... как же я не подумал! — кровь от крови, кость от кости Батюшки Мороза — и кто-то из Братства Борьбы с Апокалипсисом должен был проговориться — кому: Шембуху?

Победоносцеву? Пани Леокадия! — схватило ее за этот сжатый кулак. — Вспомните, прошу! Они как-то представлялись? Говорили, чья это воля? Чьей фамилией грозили? Ну да... ну... естественно! Но дитя малое, младенец — могло ли? — не могло — какая там структурная постоянная у подобного абааса...?

Пани Гвужджь глянула с ужасом, и на какой-то момент появилось впечатление, будто сейчас она взорвется в ничем не сдерживаемом гневе, даже руки отвело, от стола отодвинулось — раскрошит сервиз, разобьет лампу, мебель перебьет — только момент прошел, и весь пар из пани Леокадии вышел всего лишь в виде глухого смешка.

Женщина разочарованно махнула рукой.

— Люди не для жизни...

— Ну, я крайне перед вами...

Вошел Белицкий. Женщина поднялась, присела в книксене, тот поцеловал поданную руку, начались вежливые, светские разговорники; отключило уши. Так кто же здесь воспользовался охранкой? (Вечером нужно будет заехать к Модесту Павловичу, попросить совета). У кого здесь имеется такая власть и амбиции, направленные именно в этом направлении? Шембух? Ясно, что дело связывается с шантажом комиссара Министерства Зимы, только ведь Шембух — фигура ничтожная; он может договориться с полковником Гейстом пообедать в «Аркадии», но своим словом охранку на ноги не поставит. Кто же тогда? У кого здесь имеется столько смелости, чтобы противостоять генерал-губернатору? Только Победоносцев. Я-оноскривилось, ошибка в уравнениях, снова что-то здесь не сходится. Победоносцев после той встречи в башне Сибирхожето, скорее, окружил бы идеолога Державы Льда собственной опекой, а не...

— Пан Бенедикт?

— Да, да.

Прощалось с пани Гвужджь. Пан Войслав еще задержался в прихожей, завязывая на шее белый фуляр. Из глубин квартиры доносились сонные детские голоса, читавшие утренние молитвы, в кухне на низу ритмично стучал пестик; рассвет наступил уже час назад, только залепленные снегом окна с таким же успехом могли бы быть закрыты ставнями, повсюду горели лампы; дедок-угольщик ходил от печи к печи, гремя ведром и кочергой. В конце концов, пан Войслав засунул фуляр в жилетку, повернул бриллиант на пальце, задумчиво похлопал себя по глобусу брюха.

— У вас не найдется для меня сегодня времени? После работы. Хммм? Нужно будет сесть и оговорить разные вещи.

— Что, например?

— Страшно мне неприятно, дорогой мой, вы даже и не представляете, насколько сильно... но, видимо, придется попросить найти себе какой-то собственный угол. Понятное дело, всегда с радостью примем в гости! Со всем сердцем! Но...

— Вас, случаем, полиция по моему делу не посетила?

— Что? Нет! Видите ли, пан Бенедикт, одно дело помочь земляку, даже в самой страшной уголовной беде, и другое дело — принимать у себя делового человека с теми или иными политическими взглядами. Ведь все знают, что вы у меня живете.

Пана Войслава я-онопонимало превосходно. Его замешательство было самым откровенным, его стыд был откровенным, но откровенной была и решительность просьбы. Таким вот был человеком, Войслав Белицкий, что даже разоряя конкурента до последнего, подписывая последний, убийственный контракт, он мог меланхолично вздыхать и про здоровье обанкротившегося спросить озабоченно.

— Во всяком случае, вы же меня серьезно за ледняка не принимаете.

— Ледняка? — засмеялся тот. — Пан Бенедикт редко в зеркало на себя глядит! Совершенно в иных масштабах вас здесь в городе видят.

— И как же? Ну-ка, скажите! Я же себя изнутри никак не осмотрю.

Пан Войслав поднял брови.

— А то, что пан у нас *абластник*, и заговоры устраивает против священной императорской особы.

— Чего?!

Тот смеялся еще громче, развеселившись на все сто.

— А что? Неправда? — Он вынул платок, вытер слезы, трубно высморкался. — Это же как быстро после губернаторского бала дела меняются! Чуть ли не малая Оттепель в воздухе. (Боже нас всех упаси!) В Харбине цены на зимназо и тунгетит на тридцать процентов вверх пошли. На тридцать процентов! Быть может, пан и об этом кое-что знает, гы? — Белицкий приятельски хлопнул по плечу, подмигнул. — Это, случаем, не пана делишки? — И он рассмеялся в третий раз.

Только правда была такой — *я-оно* это четко видело — что пан Войслав Белицкий эти слова за шутку совсем даже и не считает.

О планах великих, то есть, о власти человека над прошлым и будущим

Никола Тесла поправил снежно-белые манжеты, натянул перчатки поплотнее, с таинственной миной оглянулся через правое плечо, через левое плечо, после чего жестом престижиджитатора извлек из фрачного кармана черный камешек и положил его на столе. Это был тунгетитовый револьверный патрон. Взяло его двумя пальцами. П.Р.М. 48. Тесла исполнил следующий жест — второй патрон стукнул по лабораторному столу. П.Р.М. 41.

— А-га! — Довольный собой, он набежал тьмечью на лице. — Поздравляю с днем рождения. — Серб подмигнул. — Я тут попросил Степана хорошенько.

— Я...

— Разве нет?

— Да и вправду. Откуда вы знаете?

— Кристина мне сказала.

Откашлялось.

— Ну, действительно...

— И сколько же это вам стукнуло?

Посчитало про себя, отнимая одну дату от другой, как всегда, изумившись простому результату.

— Двадцать четыре.

— *A, un Enfant du Siècle* ^[365] — усмехнулся Тесла.

Стиснуло патроны в ладони.

— Но что вас навело на такую мысль...

— Да как же, вы ведь сами просили о них.

— Просил?

— Позавчера ночью — не помните? Это уже когда мы поломали вешалки. Будто бы вам нужно — как же? — ага, «на всякий случай». Но я слышал страх! — Тесла поднял белый палец. — Я слышал страх!

Он говорил правду. Ничего подобного *я-оно* не помнило, ведь тогда Никола быстро заснул с головой на тунгетитовом зеркале, как же могло его тогда еще о чем-то просить? Но сейчас он говорил правду.

Так, но ведь тогда непрерывно бил Молот Тьмечи, разбивая на клочки всяческое прошедшее мгновение, еже до того, как то хорошенько замерзло. Выходит — я-онопросило Николу Теслу дать патроны к Гроссмейстеру — правда или фальшь?

— *Merci, merci beaucoup, mais* ^[366] ...хмм, думаете, что мне они понадобятся?

— Вы же не избавились от револьвера.

— Нет. — Быстро глянув на двери (мастерская была пустая, все ожидали генерал-губернатора в главном вестибюле, под глобусом и фреской с летним пейзажем), быстро вынуло из-за пояса сверток и извлекло оружие. Гроссмейстер отбрасывал матовые радуги. Разломило его и подуло в пустые гнезда барабана. — Те агенты охраны, которым вы дали ледовое оружие... — Вставило патроны в цветочные бутоны. — На людей, особенно, в Экспрессе, он же ведь не был особенно пригодным. Вы что, и вправду опасались того, будто бы люты сами предпримут какие-то защитные действия против арсенала Лета?

— А вы так считаете, будто бы они и не способны мыслить или обороняться?

— Не будем шутики шутить. Ведь не для того же вы заказали эти револьверы.

— Потому что это была экспериментальная серия, еще до насосов Котарбиньского, даже перед идеей тунгетитора. И то, что при том вышло оружие против людей, более мощное, чем обычное...

— Тунгетитовая пуля бьет в лед — и что? Еще больше льда. Почему же, аккурат, против лютов...

— И все же, одного вы подстрелили.

Кончиком пальца коснулось вставленного в револьвер патрона.

— Доктор Вольфке пока что этого не исследовал.

— Чего?

— Поведения высокоэнергетического тунгетита в жидком гелии, в крови лютов. Точно так же, как существуют зимназовые холода с полной противотепловой симметрией — вот здесь, замок, барабан, ствол — так и соединения тунгетита... Я прав? Ниже нуля по Кельвину... Быть может, именно таков был ваш план уничтожения Дорог Мамонтов?

Снова сощелкнуло Гроссмейстера в единое целое. Инстинктивно подняло его на высоту глаз, глянуло вдоль змеиного дула. Рог указывал в самый центр таблицы геометрических свойств льда.

— Кстати, дорогой доктор, вы, наконец, измерили эти структурные постоянные? А то я бы и забыл.

Тесла забурчал что-то под нос на иностранном языке.

— *Pardon?*

— Известно, что люди различаются! — заворчал он. — Если измерить электрическое сопротивление тела одного и другого человека, то с относительно чувствительной аппаратурой всегда получишь разные результаты. А вот характер? Как измерить у человека характер?

— Но вы же понимаете, что я должен иметь эти данные до того, как отправлюсь за отцом. — Спрятало Гроссмейстера. — Проеду по льду тысячи верст с насосом Котарбиньского, а на месте окажется, что отец быстрее накапливает в себе тьмечь, чем насос успевает откачивать — и что тогда? Что самое паршивое, если правдой является то, что абаасы там могут расти и созревать, сходя для этого, к примеру, ребенком на Дороги Мамонтов, тогда и постоянная теслектрической емкости от характера...

— Насос! — схватился с места Тесла.

Очевидность прошла по тьмечи невидимой молнией.

— Он у вас имеется?

— Вчера...

— Где?

— А пожалуйста.

Он вытянул из под стола в своем углу под черными досками деревянный ящик, заполненный сверху всяким электрическим хламом, проводами, лампами, перегоревшими катушками, отодвинул все в сторону, показывая металлический тулуп керосиновой печи.

— Внутри?

— Под баком.

— Кабеля...

— На катушках.

— Как только разогреется...

— Я пробовал.

— Ах! Гениально! Никто и не заметит, температура в плюсе.

— И не рукояткой, а...

— Паром.

— Или же из аккумулятора тьмечи. Смотрите.

Топот множества ног известил о прибытии важных посетителей. Тесла пинком задвинул ящик под стол, поднялся во всю высоту, вновь поправил манжеты. Вернулась мысль, что, может быть, было бы лучше незаметно выскользнуть и не афишировать перед графом Шульцем-Зимним знакомство с доктором Теслой, который, что бы там граф официально не утверждал, остается для него занозой; не колоть его еще и этим в глаза но, прежде чем успело подействовать по данной мысли, двери открылись и вступил инженер Яго, мрачный, словно градовая туча, за ним — пожилой охранник Степан и целая куча сотрудников Обсерватории, чиновников, казаков и инородцев в своих грязных шурах, в центре же всей этой группы шествовал Франц Маркович Урьяш, вовсе даже не в парадном мундире.

— Дела государственной важности, — шепнул Саша Павлич доктору Тесле. — Граф занят.

Серб начал расстегивать фрак.

— Я тоже занят! — гневно рявкнул он.

Комиссар Урьяш заметил серба над седой головой разговарившегося директора Обсерватории.

— А, наш чародей! — воскликнул он и вырвался из нахальной свиты. Сиясь вызвать на лице искусственную улыбку — фальшивую улыбку — он настолько энергично потряс правую руку изобретателя, что бедный Тесла оказался прижатым к столу. — Мои буряты спрашивают, почему это ваш бубен сегодня не бьет, — наполовину серьезно, наполовину шутя, обратился к Тесле Франц Маркович.

— Выключил, — буркнул тот.

— Но ведь исследований не забросили? Губернатор исключительно заинтересован в их прогрессе.

Фальшь в голосе, фальшь на лице, фальшь в позе.

С другой же стороны, правда была такая, что в последние дни Тесла чуть ли не полностью отдался исследованиям безумных идей федоровцев (по ночам он воскрешал мышей под Молотом Тьмечи; Саша клялся, что всего на несколько секунд, в экстремуме неэнтропийной волны, к грызунам возвращались признаки жизни), и никакого прогресса у него попросту не было.

— Мы крайне рады заинтересованностью Его Сиятельства, — поклонился инженер Яго.

Господин Урьяш окинул его на сей раз уже серьезным взглядом.

— Тааак... — вздохнул он. — Не сомневаюсь. — Экономным жестом он отогнал выглядывающего из-под локтя директора. — Господин Герославский, на пару слов.

Он отошел в угол, положил ладони на горячие плитки печи.

— Собственно говоря, у меня тоже к вам дело, — отозвалось *я-оно*.

— О?

После того кратко, по-солдатски *я-оно* рассказало ему о всех случаях с жандармерией в Холодном Николаевске, и об охране, пугающей знакомых отца.

Нельзя сказать, чтобы его это сильно удивило.

— Идиоты, все они идиоты, — бормотал чиновник, оперев выступающий из-под светлых волос лоб об печку. — Вы же сами это видите, обязаны видеть. — После этих слов пристально глянул. — Как бы не выпали кости, будете выполнять договор с Его Сиятельством!

— Но скажите ясно, господин Урьяш! — Раздраженно пальнуло *я-оно*, поскольку не могло понять, почему столь сложно приходится считать правду — как будто бы кто-то специально затянул мысли вуалью полуфальши.

— Оттепель в Европе. Зима в Сибири. Вы дали слово!

— Слово, — медленно повторило *я-оно*.

— Не забывайте: только Шульц при власти способен обеспечить безопасность вам и вашему фатеру. Тигрий Этматов и его люди верны мне — будут верны и вам. Понимаете? Его Сиятельство, возможно, и не верит в замороженную Историю, но я...

— Но — что происходит? Кто полицию насылает на мое окружение? — Подошло еще ближе. — Победоносцев? — шепнуло на выдохе.

— Идиот, идиот, идиот, — тихо повторял печке господин Урьяш. — Если бы не необходимость, император не поставил на генерал-губернаторстве такого человека, как Шульц, то есть, оборотистого, амбициозного, самостоятельно мыслящего — со своим характером! — Нездоровый румянец уже обжег его щеки, чиновник наконец-то отклеился от печи. — Ведь именно в этом сильнее всего проявляется принцип правления в государстве самодержца: тот остается в безопасности при данной ему сверху власти, кто дурак, господин Герославский, кто идиот, поскольку тогда он представляет меньшую угрозу автарху. Который и сам живет в постоянном страхе, — прошептал он, — перед всяким, кому вынужден был уступить хотя бы частицу своей абсолютной власти.

И почти что не удивили эти противодержавные слова из уст чиновника Канцелярии Генерал-Губернатора. Несмотря ни на что, гораздо больше единоправды можно было потмечи узнать, чем слышало ее в словах — на языке второго рода — выплюнутых в материальный мир.

— Так что, сами видите, — с ноткой сарказма отметило вполголоса, — выходом является только власть Истории. Не какого-либо человека и не людских общностей. -*Я-оно* поднялось и бросило кочергу: та громко стукнула о печную дверцу. — Разве существует несправедливая гравитация? Имеются ли подлые астрономии? Бесчестные математические дисциплины?

— Да, я знаю, Александр Александрович направил губернатору обширное письмо... Но в данный момент, — Франц Маркович оглянулся на Теслу, — в данный момент другие дела требуют внимания. — Он прочистил нос, что прозвучало так, будто вздохнула лошадь. — Он послушает, если вы его попросите?

— О чем?

— А как вы думаете, зачем я сюда побеспокоился приехать? Жизнь ему спасать.

— Выходит, Его сиятельство уже не ручается перед императором за безопасность

доктора Теслы?

Господин Урьяш только фыркнул.

— Что же, необходимо попробовать, хотя бы ради того, чтобы успокоить совесть. Вы часто у него бываете?

Подумало о насосе Котарбиньского, скрытом в керосиновой печке. Разве так не будет легче? (Наконец-то оригинальная мысль в замороженной башке!)

— Скажите своим тунгусам и кому следует в Ящике, чтобы упряжки и все оборудование собрали здесь, в Обсерватории.

— Не хотите показываться в Цитадели?

— А те карты, которые обещали...

— Да, да, помню: день или два — если бы вы только знали, сколько дел на голове!

— Это очень важно, иначе я не смогу вычислить, где отец...

— Да, да, да! — рявкнул Урьяш. — Мне тоже не улыбается война и раскол! — Он выдохнул. — Простите. Значит, не слушает вас, а? Уважаемый доктор Тесла, вы не позволите!..

Поехало на работу. Было уже около двух часов дня, но метель все так же бесилась, замыкая человека в круговерти белой взвеси диаметром в пару шагов, так что и вправду не могло понять, что мог иметь в виду Чингиз Щекельников, когда указал на перроне Мармеладницы: — Следит за вами! — Только лишь в лифте Часовой Башни попыталось у него выпытать, но, естественно, никакого конкретного описания тот дать не сумел. Быть может, на это ему указала летучая игра светеней, победная символика необходимости — ведь залепленные мерзлым снегом окна уже все жемчужно светились, даже от стен исходило легкое сияние, чего ранее никогда не замечало. Над Краем Лютов должно было стоять громадное и черное-пречерное Сияние.

Потому инженер Иертхейм даже внутри Лаборатории не снимал мираже-стекольных очков. Выражения его глаз прочитывать было невозможно, потому-то взгляды шли как-то криво, когда, призвав из-за шкафов, он очень серьезно произнес:

— Ангелы заботятся о вас, господин Бенедикт.

— Разве?

Тот сунул в ладонь свернутую бумажку.

— Завтра, в восемь вечера. Она помнит Филиппа Герославского, брат, должно быть, рассказывал ей о своей работе. Она поговорит с вами.

Прочитало адрес. Пересечение Амурской, неподалеку от Цветистой.

— Благодарю вас.

Тот культиками пальцев почесал шрамы на лице.

— Сплетни вы уже слышали?

— Которые?

— О том, что писали в газетах, что вытворяют сонные рабы. Якобы, они направляются к Транссибу. Словно крысы. Ходят слухи о войне, только не с Японией.

— Это все из-за Сияния, пан Генрих, вы же сами говорили: под Сиянием оно всегда так.

— В конторах у Круппа, — обрубком пальца указал голландец на пол, — с самого утра паника, *Herr Direktor* приказал скупать сырье по любой цене.

— Хmmm, в Цитадели тоже беспокойно. — Закурило, задумалось. — И как считаете вы?

— Победоносцев сильно разругался с Шульцем?

— Хmmm, нет, не то.

— Китайцы?

— Я тоже читал о новых восстаниях против манчжуров. Только Народная Партия, самое большее, по брыкается на юге, за пределами Льда. Лед, пан Генрих, Лед держит, что может измениться здесь?

Вышло еще до семи, чтобы успеть зайти к Раппопорту. Леокадия Гвуждж там уже не работала, но, так или иначе, нужно было купить одежду (на пару размеров побольше, на морозе и сырости она сядет) и все снаряжение для путешествия в самое сердце Зимы. Упаковалось со всем этим в сани, со свертками, сумками, и с самой несподручной покупкой — с сибирскими лыжами (то есть, с лыжами, обитыми оленьей шкурой, с волосом, специально уложенным в направлении езды, что с профессиональным восхищением расхваливал продавец).

На Цветистую заехало уже после наступления темноты, даже радуги мираже-стекольных фонарей не могли пробить снежной заслоны, на улицах Города Льда бушевала арктическая темень, о которой читало лишь у путешественников по северным краям; белая темень, к тому же размазанная на стеклах и заправленная странными цветами. Но человек ведь привыкает, человек перестает обращать внимание. Форма, движение — это да. Все остальное теряет свое значение. Видишь не то, что видишь, но лишь то, что мозг расшифрует из неожиданных каракуль, рисуемых на сетчатке глаза.

Круговерть — морской вал — пуховая туча — цветная тень — пятиногий, трехрукий силуэт — пегнаров монстр с гривой из сосул — человек, скачущий на сани — парнишка в легкой куртке, со снегом в черных волосах, со льдом в бровях и на ресницах — кто — он — Мефодий Карпович Пелка, живой.

— Г аспадинГерославский! Ваше благородие арестовывать идут...

Только это и успел крикнуть, прежде чем Щекельников замкнул его в захвате и потащил с саней. Оба свалились в сугроб. Я-оно схватилось с места, отбрасывая лыжи и заячий полог, пакеты поменьше полетели прямо на улицу. Они качались где-то в снегу, нечеткие формы, медведь и обезьяна. Позвало, раз, другой. В подворотне дома Белицких блеснул огонь. Это костоломы с дубинами спешат на помощь. Ведь забьют же Пелку. Выскочило в рычащую пургу.

Ветер не мог так быстро занести их глубокие следы, потопталось по ним — вот здесь Чингиз вдавил Пелку на аршин в сугроб, туда волок за конечность, здесь Пелка еще отбивался, взбивая мерзлый снег во все стороны, а вот тут — тут господин Щекельников душит худощавого мартыновца, прибив его к стене предплечьем, прижав его под самой шеей. И сейчас-сейчас пришпилит штыком, как того рабочего с холодницы хотел пробить; такой вот обычай у Щекельникова.

Дернуло Чингиза за руку — тот и не пошевелился.

— В дом! — заорало ему на ухо, стащив шерстяной шарф с лица.

— Во!

Щекельников показал на землю под ногами Пелки. Там лежал мясницкий нож с карикатурно широким лезвием, словно из детских картинок про разбойников-людоедов.

— В дом! — повторило еще раз.

Господин Щекельников пожал плечами — результатом чего стало то, что освобожденный Пелка отлип от стены, отчаянно кашляя и в панике хватаясь за шею.

Тут прибыли охранники с дубинами и лампами. Приказало им собрать товар с саней. После чего, схватив Пелку за шиворот драной куртейки, потащило за собой в сени и на второй этаж. Господин Щекельников спешил сзади, с миной разочарованного гурмана, крутя в своей лапе страшный нож Пелки.

Запихнуло трясущегося мартыновца в комнатку возле кухни, одни двери ее тут же замыкая изнутри, под другими выставив Чингиза с приказом никого не впускать. Сбросило шубу, шапку, рукавицы, шарфы, подстежки, верхние свитеры, сняло очки, стащило валенки; подойдя к печи, плоско уложило ладони на гладких и горячих плитках — первое, что делает сибиряк, вернувшись с улицы, словно приветственное рукопожатие с домом.

Разве что ты зимовник-мартыновец и инстинктивно забирающийся в самый дальний от печи угол (кашляя и хрипя, разбрызгивая капли воды, стаявшей с волос и летней одежды).

Прочистив нос, подтолкнуло Пелке стул. Тот уселся неуклюже, неудобно, словно школяр, приведенный к директору, на самом краешке, держа ноги вместе, не зная, что делать с руками (скрестил их на груди, сунул под мышки, сложил на коленях, сунул в карманы).

Только сейчас заметило грязный бинт, выглядывающий из-под левого рукава; повязка была видна и в разорванном шве на плече.

— Вы ранены?

— Руку тогда сломал. — Он откашлялся. — Вашему благородию нужно...

— Когда? Ах. — Поскольку мираже-стекла сняло, уже не было защиты перед светениями, образывающимися на стенах и на черно-белом окне за телом Пелки; отъмет Мефодия Карповича резал глаза: да и да, нет и нет. — Это когда вы выскочили с поезда, так. Так с кем же это вы разговаривали той ночью?

Парень открыл рот, закрыл, снова открыл.

— Его уже нет в живых, так что вашему благородию скажу. Господин советник Дусин пришел меня предупредить, говорил, чтобы я убегал, поскольку Ее Княжеское Высочество от челяди узнала про меня, сейчас людей пошлет. Ну я и выскочил.

— Княгиня Блуцкая и мне тогда спасала жизнь, так почему ей было бы нужно... Ах, ну да, она же мартыновка — все по мартыновской вере пошло!

— Община Ее Высочества и моя община в Москве в большой неприязни живут, кровь между нами. Правда между нами. — Он опустил голову. — Распутин самолично задушил батюшку нашего. Только, ваше благородие, не время сейчас...

— Погоди. Сначала все это должно замерзнуть! Почему Дусин — доверенное лицо княжны, то есть, наверняка мартыновец тоже — но...

— Господин Дусин был человеком, верным их Высочествам, но брат нам. Он еще обещал, что вам тоже поможет — что, не помог?

Замерзло.

— Ладно. — Прочистило нос еще раз. — Так за что это меня вроде бы должны арестовать?

— За убийство губернатора Шульца.

Носовой платок полетел на пол. Упало на табуретку у печки.

— Не врите...

Пелка нервно перекрестился, поцеловал ладанку.

— Спасением души клянусь!

— Откуда у вас такие сведения?

Тот прикусил губу.

— А вы меня не выдадите?

— Не выдам, Пелка, не беспокойтесь.

— Ну... Тогда так. Как только я приехал за вашим благородием, это уже добрый месяц тому, то куда мне было деваться? К братьям моим, к приятелям приятелей обратился. Какое-то время еще лечился, но сразу же слово отправил, что ежели что вашего благородия касаться будет — а ведь каждый, идущий путем Мартына, про Сына Мороза слышал — эта вест

должна до меня дойти, а я уже подавлял всяческие опасные замыслы разгоряченных голов, чтобы в покое ваше благородие оставили. И вот так именно сегодня новость страшная пришла от брата нашего, который, только умоляю ваше благородие, чтобы никому — который слугой в доме полковника Гейста, и говорит он, ой, что он говорит: было покушение кровавое на Его Сиятельство, графа Шульца-Зимнего, первое же обвинение по которому и верную-быструю смерть выписали уже на Венедикта Филипповича Герославского. А раз господина пока что в кандалы не заковали, то наверняка лишь затем, что готовятся к крупной жандармской акции по всему Иркутску. И что может вам жизнь спасти — только бегство!

Вытерло лоб и только теперь заметило пот на коже выступивший. Отодвинулось от печки.

— И когда это покушение состоялось?

— Да вот, пока пробежать успели туда-сюда с тревогой — это сколько? Час где-то?

— Сиди тут.

Вышло в салон. Крикнув, чтобы принесли бумагу и ручку, быстро написало несколько слов уважаемому Модесту Павловичу Кужменьцеву и послало слугу верхом, рублевку в карман ему сунувши, чтобы сломя голову сквозь пургу поскакал.

Панна Марта допытывалась, что происходит — господин Щекельников все так же стоял в коридоре перед дверью, разве что нож кошмарный за пазуху спрятал. С извинениями расцеловавши ручки панне, попросило, чтобы та постучала, как только пан Войслав с работы вернется, схватило с кухни горячего шоколаду и вернулось к Пелке.

Тот шоколаду не хотел; налило в одну чашку. Парень сидел с синим лицом, прижатым к холодному стеклу; правым глазом, черным, в белую тьму всматриваясь, левым по комнате высматривая, что в результате давало совершенно рыбье косоглазие.

Подуло на шоколад.

— Так кто вы вообще такой, Пелка? — спросило тихо. — Зачем вы за мной через полсвета ездите, людей ради меня убиваете, собственную шею подставляете?

Тот еще шире вылупил влажный глаз.

— Да как же! Ваше благородие! Как это, зачем!

— Вера сердечная, это понимаю, но...

— Вера! — выдохнул тот и раскашлялся, долго еще массируя горло, прижатое лапой Щекельникова.

Стараясь отмерять каждую мысль и жест в соответствии с внутренним тактом, чтобы любой чуждый ритм не мог, навязавшись телу, навязать свою волю и духу, глотало шоколад мелкими глотками, отсчитывая по простым числам, то есть, на один, два, три, пять и семь. При этом не отрывало взгляда от Мефодия. Барин и батрак, городской и уличный бродяга, поляк и русский.

— И все же, по правде, что вам нужно? — продолжило неспешную беседу. — Значит, мартыновцам? Чего вы хотите? Чего ожидаете?

Удивление и решимость переливались на лице Пелки.

— А вы, католики — что вам нужно? Чего вы хотите? Чего ожидаете?

— Выходит, не вера, хорошо. Что же?

Тот смешался, отвел взгляд; но точно так же он мог пытаться сорваться с зимназовой привязи.

— У господ вечно оно так... — буркнул парень.

— Как, Мефодий, как?

— Вечно такие бабские разговоры у вас. — Он потрянул башкой. — Ну, и почему ваше

благородие не бежит?! Ведь арестуют вас!

Вытерло ус от шоколада.

— Сам ты *молодец*, не баба, но ведь можешь сказать, что в душе твоей играет; это дело мужское, Мефодий, не про мелкие чувства болтать, но заглянуть в самого себя и ясно назвать тот дух, что мужчину к величайшим подвигам ведет. И ты, Мефодий, правильно отмечаешь, у господ подобное умение глаза и слова, души и разума чаще встречается; а мужик, даже когда соседа зарубит, то никак судье вслух не способен объяснить: отчего, зачем, ради чего все это сотворил. Тем более, не выскажет он, почему всю жизнь на пашне провел, как его отец и отец его отца; нет в его жизни никаких «почему» и «зачем». Вот так, замерзло. — Языком распределило сладкий шоколад по нёбу; его вкус и гладкая, маслянистая плотность отпечатались на языке, так что высказывалось уже в тоне и ритме воистину шоколадном, то есть, плавно, мягко, низко, сладко. — За то вот господа... Как ты считаешь, Мефодий, о чем говорит все искусство, которым в городах и имениях восхищаются, все эти театральные и книжные рассказы?

— Как баб скорее к греху подтолкнуть и в голове им замутить, — буркнул тот.

— Это тоже. Только я же спрашиваю, не зачем — о чем, про что? Так вот, о том как раз: что человек делает нечто великое — благородный поступок, подлое деяние, неожиданное действие — что-то другое, такое, которое, вроде бы, не от него пришло, и каковы последствия этих поступков он переживает, как он пытается самому себе и другим рассказать, почему так сделал, что сделал; и обычно случается — ни на каком людском языке он этого высказать не может — так именно для того искусство, пьеса и служит, она рассказывает.

— Я такого не знаю, — сказал Пелка. — Я не начитанный.

— Но мы же на земле Льда, здесь даже мужик, который за всю жизнь в чистое зеркало не глянул, способен все на паре пальцев вычислить. — Отставило чашку. — А вот скажи-ка Мефодий: за кого ты так сильно стыдишься?

Тот прижал висок к стеклу, стиснул веки.

— За *родителей* своих, за них.

— Кто они?

— Кто? — выдохнул тот. — С мамонтами уже ходят.

— Но стыд тянет.

— Тянет стыд, барин, тянет, ой как тянет.

— За что?

— За подлость, вредность нелюдскую, за сердца черные и жизнь мою, так стыдно пред Богом и людьми, так... — Пелка чуть ли не задохнулся. Приложил кулак к груди, склонил голову. — Тянет, давит, так рвет когтями огненными, что временами и дышать не способно.

— Знаю, Пелка, знаю. Но и то знаю, что мы не живем грехами родителей своих. Если бы все по ним наследовали с печатью греха первородного, то через несколько поколений на земле было бы царствие сатаны: всякое дитя к грехам прошлого прибавляло бы собственные грехи. Но ведь все наоборот, Пелка, не так все!

— Так оно же из-за меня, ради меня и за меня! — завыл Мефодий. — Из-за того, что живу!

— Что ж ты такого наделал?

— Я... Пять лет тому назад, пять лет был я подростком, что по снегу с собаками гонял, наказание божье для матери с отцом, по лесам шатался, харч воровал, от работы отлынивал. Жили мы в Мрачнетове, деревне такой под лесом, что была поставлена по декрету канцлера Столыпина, еще перед лютыми; отсюда, может, верст сто.

— И была Зима.

— Была Зима, и зимой это случилось, и я, дурак, пошел с ребятами в лес западни ставить, хотели шкурки продать, пару рублей заработать; а один парнишка бутыль сивухи взял, и еще кто-то... Упились все, на это уже никакой памяти нет, но упились и свалились спать там на ночь, а тут морозы пришли под сорок, ну мы в камень и... Говорят, будто я не жил.

— И что случилось?

— Да, ночью в Мрачнетово пришел Батюшка Мороз.

— Уже знали его?

— Нет. Только тут, ваше благородие, такое дело, что перед тем за неделю исправник прибыл в деревню и у старосты прибил *анавещение* такое про Батюшку Мороза с обещанием сотни рублей золотом тому, кто властям его сдаст. С большой фотографией.

— Ах!

— Сто рублей золотом для мужика! А он прибыл в самый трескучий мороз, то есть, в морозе, по морозу, на морозе. Голый был совсем, так сквозь метель и шел. Старик Госев его и спрашивает, зачем, мол, прибыл. Отец Мороз отвечает, что идет за черным Солнцем и чтоб больных ему давали, лечить станет, что можно еще излечить, болезнь вымораживать.

— Это он говорил?

— Говорил. Тогда еще. Да.

— В тысяча девятьсот девятнадцатом?

— Да. Только следует вам знать, что тогда он еще не во всем был Отец Мороз, как сегодня мне ведомо; и не помню даже, чтоб его тогда так называли. А что мне люди рассказали: что ходил, что садился, и по-живому говорил, что даже водку пил — только все как-то медленно и странными движениями, и что скрипел, и что снег и лед из него сыпался, и вообще — холодным был он сильно, коснуться невозможно, в избе не выдержать, сосульки до земли.

— И что? Говори, Мефодий.

Тот провел щекой по мираже-стеклу, словно кот, ласкающийся к... к морозу.

— И тут мать прибегает в отчаянии: спасай дитя мое! Померзли ребятишки насмерть! И в ноги ему падает, холодно, а и сама бы потащила. И куда собаки охотничьи повели — пошел он.

— И что?

— И живу, как видите.

— Что же он сделал?

— А кто ж его знает? Четверо нас было, упившихся-замерзших; одного тронули, отбивать от земли стали, так у него рука обледеневшая отвалилась, тело раскололось — так и оставили и за попом послали. А бабы уже Батюшку Мороза привели. А мы лежали там под деревьями, на мерзлоте голой... поначалу долго он с нами чего-то делал, в крови колупался, говорят, в сердца сосульки алые нам вымораживал... а потом взял и сошел с нами на Дороги Мамонтов.

...Три дня родители ждали, на образа молились; на четвертое утро вышел он из земли со мной и Петей. Вроде при всем сознании были; не помню. Только знаете, барин, живые, живые и здоровые. Одно только до смерти осталось: мороз в костях. Значит только, у Пети всего на пару дней, потому что заморозка не отпустила его, хоть тот льдом и камнями блевал, и черные сгустки из тела себе вынимал, и в огонь ложился; а вот я...

— Так ты, Пелка, по Дорогам Мамонтов ходил.

— Не знаю. Говорят, будто ходил. Наверняка ходил. Не помню.

— Не помнишь, только — замерзло.

— Ну да. Ага, а потом оно так: наутро сотские с десятниками, да исправников целая куча

в Мрачнетово съехались и обстреливать Батюшку Мороза издалека стали, икак он, пулями побитый, они словно глину крушили, в землю бросался, в Дороги Мамонтов стекая, но опять же, медленно так, в морозе, на что его штыками, да дубьем, да косами, железяками всяческими били и секли, и коней на него напускали, и цепями рвали, Боже ж ты мой, и булыжники на него скидывали, и он так через всю деревню, и на целину, и в лес, и как-то так в землю занырнул, весь побитый.

...После чего заплатили моим отцу и матери сто рублей золотом.

— Ах!

Мефодий терся лицом по стеклу уже чуть ли не в каком-то трансе, стуча себе в грудь кулаком.

— А я живу! Я живу! Сто рублей за то, что спасителя выдали! *Упаси Господь!*

— Так ведь он тоже выжил, Отец Мороз, он жив.

Пелка стиснул синие губы.

— Прошел, может, месяц — но меня там уже не было, отослали меня *родителик* деду и бабке под Вышний Волочок — месяц, как я уехал, да и исправники давно уже отбыли, никто ничего ночью не видел, как он стал вымораживаться от колодца, к утру уже почти на ногах стоял, только на сей раз с ним нельзя было заговорить, и сам он уже не говорил людскими словами; и знаю я лишь то, что те, что с самого утра в сани уселись и из Мрачнетова убрались, те жизнь и сохранили; потому что когда уже туда жандармы прибыли через несколько дней, одну лишь мерзлоту застали — лед, лед, один лед, избы раскрыты, кривые, заснеженные, утварь вся в сосульках, скот в камень, и ни единой живой души, ни единого тела теплого. Только крест громадный из сосновых стволов замороженных посреди деревни стоит.

— Забрал их.

— Сами пошли.

— Всю деревню.

— И справедливо ведь, ваше благородие, справедливо — за зло, что на добро сотворено было.

— А ты...

— Я вашему благородию... я, ваше благородие... я...

— Другой еще бы мстил.

Пелка без памяти бил себя в худую грудь.

— Меня — меня тянет, меня печет, меня сжигает. Хотя бы словечко одно. Но от кого? От него? Ну, даже если бы и так — то ли он меня, то ли я его — что здесь прощать! Ваше благородие это понять может? Я не понимаю! — Он схватился за голову. — Ничего не понимаю! Совсем!

— Здесь нет никакого прощения, Пелка. Имеется один только стыд.

Замерзло.

Но не могло не возвращаться все время к горькой мысли: что же это за измаилово проклятие — сто рублей, тысяча, проданный мужичьем, которому он только добро принес, проданный родным сыном, выданный товарищем по работе, «истинным другом» — да что же это за проклятие измаилово! — разве в том лежит принцип «структурной постоянной характера», что людей, хочешь — не хочешь, друг против друга обращает, злость, гнев и отвращение в них пробуждает, к явному предательству в конце концов по причине какого-то таинственного магнетизма сердца приводя? *То будет дикарь: руки его против всех, и руки всех — против него: и против братьев всех разобьет он свои шатры.* Измаил, человек Правды, человек-абаас, живая теслектрическая динамо-машина, божественный аккумулятор тьмечи.

Людьми с такими характерами можно восхищаться, даже любить всей душой, вот только жить с ними невозможно. Сложно даже сказать, где для них судьба хуже: в Лете, где они способны метаться только лишь между разными видами полулжи, или же здесь, в Зиме, в краю абсолюта. Так или иначе, не для жизни предназначены такие люди, не для жизни...

— *Пасматри, Мефодя...*

— Ваше благородие должно меня послушать, бежать нужно, не медля...

— Ну...

Кто-то постучал.

Вышло в коридор.

Слуга снимал с Белицкого шубу и шарфы. Пан Войслав стащил очки, поднял поцеловать Михасю, которая, уже готовясь ко сну, все-таки притопала к папочке, таща за собой тряпичного медвежонка по имени Пан Чепчей.

— Пан Бенедикт... — начал было хозяин над головкой дочки, пищащей ему в бороду, какой он холодный.

— Вы не позволите на пару слов, именно сейчас, это очень срочно.

Пан Войслав отдал Михасю бонне.

— Я как раз хотел вас... — просопел он. — Потому что перед самым выходом из фирмы дошли до нас странные слухи, а ведь вы сегодня как раз в правительственных сферах вращались, не так ли?

— У меня здесь человек, который рассказывает, будто бы час или два назад был убит Шульц-Зимний. И, обратите внимание, он говорит правду.

Пан Войслав застыл на месте. Лед в его раскидистой бороде еще не успел растаять и теперь искрился на фоне отьмета, серебром украшая молчание Белицкого.

— С другой стороны, — продолжило *я-оно*, — мне известно, что там, по дороге кто-то запустил ложь, поскольку человек этот говорит, в правде своей, и о том, будто бы, представляете, что за это убийство хотят арестовать меня; я же сегодня к Цитадели даже и не приближался, только-только от Круппа возвратился.

— Да что вы такое говорите! — выдавил из себя Белицкий.

— Именно, а вашего дома...

— Погодите! Нужно сначала все это проверить! Модест Павлович...

— Я уже написал ему. Правда Кужменьцева — это уже почти что правда Шульца.

Присев на табурете, пан Войслав в задумчивости стаскивал обувь.

— А эти все слухи, — спросило, — они какого рода?

— А, совершенно иные. Будто бы из Зимнего пришла срочная отставка графу Шульцу, и что князь Блуцкий-Осей имперскими полками должен навести здесь новый порядок.

— Вот это да!

— *Черное Сияние*, пан Бенедикт, все мы понемногу сонные рабы, принимающие признак правды за саму правду, предсказание за свершившуюся неизбежность. — Он наконец-то стащил второй сапог. — Сейчас пошлю Трифона, незачем поспешно паниковать. Есть у вас какие-нибудь предметы, в отношении которых охранка могла бы дело пришить?

— Нет... нету.

— А этот ваш человек?

— Хммм, правильно.

Вернулось к Пелке. Поблагодарило его, разумно не суя ему денег, не предлагая никакого иного вознаграждения. Тот кивал головой, но все время глядел куда-то в сторону, все еще связанный памятью стыда (которая сама стыдом палит).

— Теперь тебе уже пора идти, Мефодий, так ты лучше мне поможешь.

— Но вы же убежите! Бегите!

— Со всей уверенностью не собираюсь я идти на расстрел за преступление, в котором не виноват.

Вывело его из комнатки. Господин Щекельников глянул с подозрением. Одна его рука все еще была спрятана, явно сжимая рукоять штыка. Показало, чтобы он вернул зимовнику мясницкое орудие.

— Зачем тебе был этот ножик? — спросило у Пелки на пороге.

— А разве мог я знать, успею ли? А вдруг бы ваше благородие уже забирали...

— И ты собирался броситься с ним на жандармов?

— Что первое под руку попало...

— Ага, так вот выскочил, помчался — выходит, это не ты сегодня за мной следил.

— Я? Нет, ваше благородие, я — нет.

Оказавшись за порогом, он еще раз передумал и попытался повернуть, вновь охваченный неожиданным беспокойством: — Не отступлю, пока ваше благородие в безопасности не уйдет! — так что пришлось его провести по лестнице до ворот, и с помощью костоломов-охранников с ветром на Цветистую выпустить; метель тут же захватила и проглотила его.

Часы в доме пробили половину девятого. Съело горячий ужин с густым журеком и луковым хлебом с хрустящей корочкой. Пани Белицкая вышивала на пальцах возле огня, ежесекундно лупая над тканью ведьмовским глазом: половина ее сморщенной физиономии освещалась огнем, другая половина скрывалась в тени и затьмете. Кот-царапка грелся у ее ног.

— Но ведь молодой человек нашего Войслава ни в какую гадкую компанию не затащил? — сладеньким голосом поскрипывала бабка.

— Нет, *проше пани*.

— И ни в какие политические мятежи?

— Нет, *проше пани*.

— У Войславика такое доброе сердце.

— Очень доброе.

Никак не могло понять, каким образом старуха представила себе такую правду, будто бы *я-оно*сией притянуло пана Войслава к чему-то, что противоречило его убеждениям, ба, благополучию всего семейства. Для этого следовало быть месмеристом мирового покроя! (Или Алистером Кроули).

Без пяти девять постучал курьер к Белицкому с бумагой от человека из его фирмы. На Вокзал Муравьева, якобы, прибыл эшелон, заполненный военными, якобы, отозванными с японского фронта полками; тут же солдат высаживали и формировали в отряды, всего три громадные роты. Белицкий ответил приказом собрать дополнительных людей для охраны складов.

*Я-оно*сидело в салоне при огне керосиновых ламп, печи и камина, пытаясь вклеиться в беседу, которая, сама по себе всякий раз распадалась; атмосфера нервного ожидания передалась всем присутствующим. С Белицким сидели здесь и пани Галина, и панна Марта; здесь билось сердце дома. Слуги все время подносили кофе и сладости (которые поглощал один пан Войслав, за то полными горстями).

Где-то к половине десятого на Цветистую прибыл адвокат Кужменьцев. Пыхтящий, заснеженный, багровый от мороза, черный от тьмечи, ведомый доверенным помощником под руку — вначале ему пришлось хорошенько в кресле устроиться и глотнуть пару рюмочек сливовицы, прежде чем вернуться к полному сознанию и обрести голос — а за это время у всех присутствующих нервы до крайности натянулись.

— Ххрххммм! Так. Уффф! Не мне, старику, ночью по морозу безбожному сломя голову ездить. Еще немного, и совсем бы меня из Ящика не выпустили...

— Из Цитадели едете?

— Ну да, видите ли, Венедикт Филиппович, скорее я страшную весть, от вас полученную, прочитал, чем начальник канцелярии бургомистра, который ко мне на маджонг...

— Да что же там произошло?! Скажите наконец!

— Так я же и говорю! Разве нет? Говорю! — Сказав это, он вновь засопел, и только третья *рюмочка* вернула ему голос. — Бррр! Славьте Господа, ибо не ведаете ни времени, ни места! В собственном кабинете, над губернаторскими бумагами, его собственным ножом для разрезания писем, сегодня вечером был зарезан несчастный Тимофей Макарович Шульц!

Женщины вскрикнули, перекрестились. У старика Григория поднос выпал из рук — женщины вскрикнули во второй раз. Проснувшийся кот, грохоча металлом и пронзительно мяукая, чмыхнул по этому подносу в сторону.

Пан Белицкий закурил трубку.

— Что бы они все сдохли.

Старуху Белицкую чуть удар не хватил.

— Мамаша пусть спать отправляется, — бросил пан Войслав, даже не глянув в ее сторону. Подвинув табурет к креслу адвоката, он склонил свою тушу к достойному старцу, насколько позволяла собственная фигура, не менее монументальная. — И кто же его *убил*?

— А, мерзавцы какие-то гадкие, охрана тут же их схватила, двое их было, якобы, анархисты какие-то или нигилисты, а может и коммунисты, только ничего точного пока что не ведомо. Сейчас же все собрались у ложа умирающего, его личный врач и целая армия более-менее значительных врачей, военных и гражданских, имеются даже китайские и бурятские знахари. А по коридорам солдатики под ружьем шастают, как с цепи сорвались, пока ночь пройдет, точно постреляют друг друга, в горячке этой на любую тень-светень прыгая, не так ли? Ведь постреляют же.

— Но скажите, Модест Павлович, как это случилось? — упрямо допытывалось *я-оно*. — Какой-то заговор был? Пошли ли какие-нибудь приказы про аресты? Потому что именно такие слухи до нас доходят. И про ту отставку от императора, которая на стол Шульца попасть была должна.

Кужменьцев погладил седую бороду, моргнул кровавым глазом.

— Да, правду говорите. Имеется приказ императорский, про который я от таких людей слышал, как будто своими глазами его видел. Приказ «предпринять все необходимые действия с целью подавления мятежа Шульца».

— Какого-такого мятежа?! — отшатнулся Белицкий.

— Князь Блуцкий-Осей никогда бы не согласился со скрытным убийством... — буркнуло себе под нос. — Но вот Гейст и Шембух, все те люди из охраны и чиновники, Зиму ненавидящие...

— Вы думаете, будто бы те самые террористы были посланы против генерал-губернатора охраной?

— Модест Павлович, своими словами скажите правду про графа Шульца — что он за человек: поддался бы он покорно, если бы был уверен в несправедливости и черных замыслах, что за отставкой стоят? Модест Павлович! *Черное Сияние* над нами! Неужто для графа Шульца иная очевидность?

Адвокат поднес корявую руку к виску.

— Это человек сильный, благородный.

— Вот видите! Гораздо легче и безопаснее отправить в отставку покойника. В особенности же здесь, в Сибири, за десять тысяч верст от императорского дворца.

— Никогда он не противился Его Величеству...

— Но способно ли Его Величество подобное опасение отогнать?

Адвокат Кужменьцев лишь тупо качал головой.

Пан Белицкий указал трубкой в сторону стола.

— Послушайте, — шепнул он, — если это провокация охранного отделения, то и вправду может быть что-то и на поляков. Один Господь знает, на кого указал полковник Гейст.

— Так мне собираться?

— Понимаете, только на первые несколько дней, пока все не успокоится; а потом Модест Павлович направит письма, выяснит все по официальной линии — ведь сейчас, любая стычка с солдатами, так и пулю в лоб схлопотать можно. Зачем фортуна дразнить?

— Похоже, вы не слишком четко все это видите, — прошипело я-онорезче, чем собиралось. — Шульц было моим защитником, это Шульц дал мне и моему отцу свободные паспорта, это он думал мною с лютами воспользоваться; Богом клянусь, это он меня вообще сюда направил! После смерти Шульца я всего лишь падаль меж волками.

— Так вы считаете, что отсюда и та сплетня про приказ об аресте...?

Вошел слуга.

— Господин директор Поченгло к пану Герославскому.

Белицкий вопросительно пыхнул из своей трубочки. Только развело руки: неожиданность.

Порфирий Поченгло не желал заходить в салон. Он всего лишь переступил порог на втором этаже. Не снял ни шапки, ни мираже-стекольных очков, разве что расстегнул шубу и стащил с рук рукавицы и нервно бил этими рукавицами по ладони.

Быстро пожав руку, прямо с порога плюнул кровью:

— Губернатора зарезали.

— Знаем.

— Знаете? — Директор вздохнул. — Ага, знаете. Потому что, видите ли, пришел приказ об отставке...

— Знаем.

В очках Поченгло всколыхнулись масляные калейдоскопы.

— Пан Бенедикт, а вот скажите нам, не ваша ли это работа.

— Что?

— Слава Богу! — Только теперь стащил он очки, слегка улыбнулся. Под ястребиными бровями каплями жидкого серебра поблескивали светени. Лицо его, снова небритое, было покрыто какими-то струпьями, коростой, словно он только что прибыл из какой-то самой морозной сибирской глуши. — Я приехал вас предупредить, но, раз вы уже знаете... Вы уже упаковались? Могу забрать вас своими санями. Правда, та дорога, через Харбин, в данный момент, скорее всего, невозможна, да и Транссибом тоже, станут проверять каждого по отдельности, но как-то...

— Так на меня уже имеется ордер?

— Господи Божке мой, пан Бенедикт, они же по вашей рекомендации туда вошли!

— Что?

— По вашей визитной карточке, с вашими собственноручными рекомендациями губернатору Шульцу!

Я-онооперлось о стенку. Мамонты пробежали галопом под фундаментами дома, все

затряслось, секунда, две, я- ононе могло прийти в себя; Поченгло позвал слуг, уселось на принесенном стуле.

— Шембух, — шепнуло, когда кровь вернулась в голову.

— *Pardon?*

— Шембух, Гейст. И неужто вся эта иркутская шелупонь осмелилась против генерал-губернатора...

Пан Поченгло явно смутился.

— Ну, дорогой мой пан Бенедикт, по правде все выглядит не так.

Сфокусировало взгляд на его обмороженном, покрытом отъметом лице, на его глазах, отражающих странное впечатление стыда-радости.

— Но ведь он еще дышит, так? — спросило тихо.

Тот утвердительно качнул головой.

— Три раны, множество крови, все молятся, даст Бог — выживет.

— Вы тоже — молитесь; вы, *областники*, сторонники отделения, молитесь крепче всего.

Поченгло отвел глаза к лампе, переступил с ноги на ногу, сбивая мерзлый снег с сапог.

— Да что же это такое, — глухо воскликнуло *я-оно*, — что всегда прибегаете со стыдом своим, с угрызениями совести и желанием сатисфакции — *post factum*, когда все злое сделали до конца! Вот тогда — друзья-приятели! Вот тогда — хоть к ране приложи! Только вначале — эту рану вы собственной рукой нанесете.

— Вы же знаете, что договор между нами с моей стороны был самым откровенным: вы договариваетесь относительно Оттепели с лютами, как и было говорено — здесь Лето, в Европе — Зима, я же вас безопасно переправляю в Америку.

— Откровенным и душевным. Но с самого начала, с того заседания Клуба Сломанной Копейки, а то и еще раньше, еще во время своих сибирских вояжей вы точно так же, от души, работали ради триумфа областнической идеи, только совершенно иным путем. Заговоры, так! Заговоры, словно швейцарские часы — в один только момент времени и в единственном месте на Земле, где заговоры возможны по-настоящему: здесь, подо Льдом! И не следует кивать, — нацелило в директора пальцем, — я вижу!

Я-оно начало считать.

— Успех мирного договора князя Блуцкого. А затем! Конец морской блокады. А затем! Возобновление торговли Сибири с Америкой; воскрешение Российско-Американской Компании, возврат к строительству Туннеля на Аляску. А затем! Резкое падение цен стали на биржах с другого берега Тихого океана. А затем! Паника в голове Дж. П. Моргана и безжалостные приказы его агентам в Москве и Петербурге, миллионы на взятки. А затем! А затем! Расчет Порфирия Поченгло и его *областников*:вовсе даже не торпедировать миссию Моргана — но помочь ему, именно помочь, как только можно, в деле очернения генерал-губернатора перед царем.

...Математика характера! Алгоритмика Истории! Уголовное преступление Льда! Столь же надежное, как дважды два — четыре, как дедуктивный вывод Шерлока Холмса! Вы лично знакомы с графом Шульцем, вам знакома единоправда графа. Что сделает Шульц, без каких-либо оснований обвиненный царем в измене и сброшенный со своего сибирского трона, изгнанный из царства зимназа?

— Ну, тут бабка надвое ворожила, — буркнул директор.

— Выходит, столкновение. Но довольно легко вычисляемое в обоих вариантах. Такой это человек! Загнанный под стенку, ввергнутый в ложь, в несправедливость — поддастся ли он? Или же, все-таки объявит независимость Сибири? И тогда областники на коне!

...Вы не подумали лишь о том, что царь тоже прикроется. Шембух, ха! Шембух, Гейст,

как же! Это не против них шла игра, а против самого царя! Его приказы здесь Министерство Зимы и Третье Отделение ввели в ледовый заговор, именно он меня макнул рожей в политику. — Я-ономрачно оскалилось. — В каких-то иркутских интригах между одним и другим чиновником еще можно было рассчитывать на какого-то человека — вот только что я могу против Императора Всероссийского.

Пан Поченгло поглядел с превосходством.

— Вы столько раз говорили об Истории. И вот сейчас вас разогнавшаяся История пнула под зад. Больно? Не может не болеть. Все остальное растворится в иллюзорном тумане — она одна останется жесткой реальностью. Так что не стоните, как тогда, в поезде. Вы коснулись обнаженной материи Исторического Процесса!

— А я вас человеком с характером считал!

Тот иронически фыркнул.

— Вы переоцениваете степень моего плутовства. Не существует какого-либо подобного заговора, такой клеветнической интриги, посредством которой здесь, подо Льдом, можно было бы сделать, что граф Шульц обманет самого себя, то есть, станет кем-то, кем не является. Не могу я Правду как угодно фабриковать, по капризу собственному творить Правду из Неправды. Если бы дело это противоречило форме души графа, князь Блуцкий-Осей первым бы увидел это и сказал царю, что Правда такова, что в характере губернатора Шульца-Зимнего нет измены, что верность его сильнее амбиций, и что он никогда Сибирь у Его Величества не заберет. И на этом бы все и закончилось, и сам Шульц об этом тоже прекрасно знал. Тем временем, что он делал? Сотнями сажал под замок вольнодумцев за любую тень подозрений в поддержке отделения, казакам приказал в народ стрелять, при всякой оказии клялся в верноподданстве Петербургу, и собственных людей, не слишком самодержцу приятных, в тюрьмы сажал.

Вспомнилась сцена в Цитадели, когда Шульц опустил перед князем того полковника со слишком откровенным языком опустил. Воистину, Математика Характера — ибо чем отличалась эта последующая игра от розыгрыша Иваном Петруховым на балу в губернаторском дворце?

В Царстве Идей математик будет самым практичным из всех людей.

— Членов Клуба я бы обманывать не стал, — продолжал пан Порфирий. — Мысль пришла уже потом, после визита американцев у Шульца, на который он отреагировал теми неожиданными арестами... И ведь мне пришлось уйти с глаз, чтобы тут же не предать себя. Что было можно, устраивали на бумаге, посредством писем, посторонних курьеров.

— Но когда вы договаривались со мной — ведь тогда, да — с той полицией — ведь это уже по петербургским приказам, не так ли? Что вы тогда сделали? — признались в участии в областническом заговоре под тайным управлением генерал-губернатора? Вы лгали, должны были лгать!

— Так я ведь и вправду рассчитывал на ваш договор с лютами! И до сих пор на него рассчитываю. Без Оттепели в Сибири... кто знает, как далеко вообще удастся протолкнуть независимость. Видите ли, вся идея основана на том, что импульс приходит не ото Льда, потому что из Льда никакой новый, революционный импульс вообще не может поступить — но из-за дальних пределов, из Америки, с нью-йоркских бирж, от Моргана и японского императора... Столкновение, говорите, карамболь. Так. Один шар бьет в другой — на этом полушарии, на другом полушарии, стук-стук-стук, и не видно самой руки игрока в бильярд, только неожиданное, всеохватное движение. Так творят Историю.

...Если бы хотя бы на год, на пару лет Лед попустил настолько, чтобы одна перемена от другой и третьей успела подальше отбиться, пока не замерзнет заново!

— Забудьте про Оттепель! — мрачно засмеялось *я-оно*. — Никаких переговоров не будет. Буду рад, если сам с жизнью уйду. Все пошло псу под хвост. Вот что осталось от великих планов! Вот что пришло с заговоров! Тьфу!

— Вы уверены, что...

— А как еще!

— Может, если бы...

— Вот такая Оттепель! — Округлая светень блеснула на стене за директором Поченгло, и *я-оно* чуть не упало со стула. — Ах! Боже! Трифон! — позвало.

Появился Трифон.

— Ваше благородие желает...?

— Одевайся и, одна нога здесь — другая там, мчи в Физическую Обсерваторию Императорской Академии Наук, к доктору Тесле. Сообщи ему, что генерал-губернатор начинает бунт против Императора, и что доктор Тесла должен незамедлительно бежать, пока Шульц, окровавленный, без духа лежит. Что это говорит господин Герославский. *Понял?*

— Понял, ваше благородие, понял.

— Только, чтобы никто другой вас не подслушал!

Пан Порфирий закурил папироску.

— Вы опасаетесь, что он, все-таки, может выжить, — горько сказал он сам себе. — Вы молитесь за поражение свободной Сибири. А ведь теперь одни только Соединенные Штаты Сибири способны спасти вас от петли! Не забыли? Как только Шульц умрет, царские чиновники вас, соучастника в его убийстве, посадят, уж наш Николай Александрович за этим проследит.

— Если Шульц умрет, то это еще полбеды: временное, военное правительство попадет в руки князя Блуцкого, то есть, снова в руки царя, и тогда доктор Тесла, тем более, получит государственное вспомоществование, и тогда, возможно, вы даже дождетесь Оттепели, пробужденной машинами Теслы...

— И что мне с нее тогда...! — отшатнулся тот.

— Но если Шульц выживет и власть сохранит, то что первое сделает он, явно встав против Его Величества Николая Александровича? Каково то дело, одно единственное, которое, несмотря на гнев императора, способно купить ему и Победоносцева, и все силы Края Лютов?

...Защита зимназовых богатств перед войной, которую объявил лютам безумный царь!

— Ему придется понять, что в замороженной Истории подобную революционную перемену он никак не защитит. — Поченгло прищелкнул языком, выдул дым. Переложенные в левую руку перчатки высвечивались на настенных панелях изображением солнечного паука, запутавшегося в дюжине толстых конечностей. — Отрыв Сибири от Российской Империи без Оттепели...

— Пан Порфирий, граф Шульц-Зимний не верит в Математику Истории.

Тот закусил губу со струпьями.

— Вы должны, вы обязаны переговорить с отцом!

В Царстве Идей математик будет самым практичным из всех людей — тем временем пока не История, не аполитея правит Сибирью, Россией и миром. Наилучшие планы, наиболее глубоко продуманные, уголовные шахматные партии и математические заговоры — не срабатывают, поскольку не до конца правда была отделена от лжи, не одни только Измаилы живут здесь, и, что бы ты ни делал, всегда ворвется откуда-то зародыш энтропии. Материя еще не замерзла.

— Эх, *черт подери*, бежать — не бежать, имеется ли вообще смысл...

Поченгло схватил за плечо.

— Пан Бенедикт, нельзя так! Возьмите себя в руки. Знаю, все выглядит так, будто бы небо вам на голову обрушилось, но ведь это еще не конец. Разве не бывали вы в худших переделках? А когда из Транссиба вас в лес выкинули? А? Поддались вы тогда? Нельзя же так!

Он вручил папиросу, уже подкуренную. Взяло ее трясущейся рукой.

— Ведь если даже здесь невозможно опереться на разуме, на логических посылках... — затянулось *я-оно*, — то что остается? Ворожить по светениям, по инею? Встать под Черным Сиянием словно сонный раб?

— Я заберу вас, — еще раз заявил Поченгло. — Мне и так нужно уходить из города. Сейчас я собираю людей, переждем. В фирме я уже рассчитался. Ну, пошевелите костями! Я вообще мог сюда не приходить; оцените, что сам я как-то свою вину чувствую, хотя у меня и не было никаких гадких намерений. Но дольше торчать здесь не стану. Ну! Удобств не обещаю — но, по крайней мере вы будете в безопасности!

В безопасности!

Я-оно отбросило руку Поченгло.

— Отстаньте вы от меня!

Оскорбленный, тот замахал рукавицами в дыму.

— Да что на вас снова napало? Что это вы такой колючий сделались? Настоящий мраморный ёж!

Щелчком отправило недокуренную папиросу ему в шубу. Поченгло инстинктивно отодвинулся.

— Даже если я и попал в западню, так почему мне следует за бесценок свободу отдавать? — Поднялось. *Я-оно* все не было выше Поченгло, но, по крайней мере, выломалось из позы беспомощности и угнетенности. Директор сделал очередной шаг назад. — Приятель, значит! — рыкнуло с ядовитым презрением. — Доверенное лицо! Рука помощи!

Областник выпучил глаза.

— Да что вас за дьявол опутал!

— Идите, бегите уже, празднуйте свое Свободославие!

Тот захлопал глазами, плотный отъмет выступил на лице. Несколько пройдя в себя, он провел рукой перед лицом, как бы желая отодрать от горла липкую тьмечь.

— Понял. — Выходит, он все просчитал. — Вы никогда мне не простите, что выпустили ее из рук.

Пробило десять часов. Пошло в спальню, затянуло шторы и на подоконнике окна, выходящего на Ангару, между тканью и мираже-стеклом, поставило зажженную керосиновую лампу. Все остальные лампы в комнате погасило. Метель, похоже, теряла силу, на реке можно было заметить больше санных огней-светлячков, ночное небо поблескивало более чистыми оттенками черного цвета.

Темный силуэт пробрался по комнате, сунулся между ступней — кот. Подняло его, вернулось в салон. Кот клеился к сорочке, терся головой о манишку. Что это на него napало? Уложило домашнего любимца у камина, возле тихо похрапывающей старухи Белицкой. Но он тут же потащился под стол, выписывая восьмерки вокруг его ножек, и вскарабкался на колени, едва уселось в кресле под часами.

Прогнал его только Мацусь, да и то, чтобы самому занять место кота — зевающий, сонный, потягивающийся и вертящийся — но нет, нет, в кроватку он не пойдет. Все дети проснулись, возможно, от возбужденных голосов взрослых, или от общего шума и гама

постоянного движения, или, может, менее очевидным способом им передалось напряжение, уже пропитавшее весь дом, та атмосфера ожидания неизбежного, громадного и пугающего известия. Панна Марта, спешно закутавшись в платки и шали, побежала к соседям — старому чиновничьему семейству через пару домов по улице; вернулась с известиями о столь же неясных беспокойствах. Там пересматривали старые бумаги в секретерах и прятали золото. Я-ононику не сообщило о новости, принесенной директором Поченгло, про то рекомендательное письмо на эшафот. Тем временем прибыл господин Юше с другими неприятными слухами; еврейские банкиры, похоже семьи и богатства свои ночью собирали и, скорее всего, собирались как можно скорее бежать из Иркутска. Пан Войслав, нацепив на нос серебряное пенсне, писал за столом одно письмо за другим, высылая их в разные концы города с различными, даже наиболее молодыми, работниками. Слуги шмыгали по салону туда-сюда с чаем, кофе, с наливкой, с печеньем или вечерним бутербродом для гостя. Андрей Юше маршировал по трескучему паркету, размахивая длинными руками. Что же оно будет? Да что же оно будет! Может, и умнее было бы сбежать на какое-то время, спрятать еврейскую свою рожу от властей. Вы как думаете, господин Белицкий, вы сами остаетесь? Пан Войслав писал письма, свернувшаяся у него на коленях Михася дышала из-под его руки на покрываемые чернилами бумаги, подсовывая чистые листочки, весьма гордая своим временным постом младшего канцеляриста. Теперь Юше пристал к Модесту Павловичу. А вы, господин наш мудрый, что вы скажете? Чего вы ожидаете? Где вообще вам следует сидеть в такую ночь, не здесь же? Адвокат Кужменьцев забурчал в бороду, поглядывая на господина Юше из-под густых бровей. Именно здесь, ответил, я ожидаю, то ли генерал-губернатор Богу душу отдаст, то ли при жизни и власти останется.

Очнулась старуха Белицкая; завернув на пораженном артрите пальце нитку-мулине словно четки, начала она читать прямо в огонь тревожную молитву. — *Omnes spes et consolationem meam, omnes angustias et micenas meas* ^[367] ... — Над головой тикали большие часы, в мыслях сталкивались цифры. Сидело молча, поглаживая Мацуся по всклокоченным волосикам и наслаждаясь этой горько-соленой сатисфакцией — словно благородным осознанием свершенной измены — что, вот же, я-оносовершенно не боится, не дрожит при каждом скрипе дверей и топоте ног слуг, не ожидает в напряжении нашествия жандармов. Придут, так придут; не придут, значит, не придут. Снова — это был один из таких моментов — подумало о панне Юлии. Панна Юлия, отец — в памяти ни одного из этих персонажей не могло представить дрожащим в тревоге пред неясным будущим. Поражение — значит, поражение; что же, случилось, теперь идем на каторгу или выскакиваем в окно. То, чего не существует — прошлое; будущее — не имеет над ними никакой власти. Никто их не устыдит. Не то, чтобы были они неустрашимыми — но чего бояться прежде всего? Разве что, себя самих. И отец, и панна Юлия строили великие планы — независимой Польши, комфортной жизни — которые, не по их вине, не исполнились. (А чья вообще была вина?) Часы пробили одиннадцать раз. В полночь нужно будет заменить лампу на тьвечку. Быть может, японцы и увидят знак, быть может, им удастся организовать побег. А может, и нет.

— Леволюция будет? — допытывается Мацусь, свернувшись клубком. (Леволюция снится ему каким-то пегнаровым драконом, пожирающим людей, рубли и игрушки, и порождающим только сонных рабов). Сегодня придет? Нет, революция не придет. Это уже другая сказка, королевская. Сказку, сказку, пускай дядя расскажет сказку! — тут же требует малыш. Вот я- онои рассказывает сказку — о старом короле, который, схваченный врагами, обратился к чародейскому, запретному знанию и сбежал от земных преследователей в подземные страны, в Перевернутый Мир, где черное Солнце с ломаными лучами морозит железные пастбища, по которым галопом проносятся мамонты, а духи питаются тенями

жизни, пока не соберут из них достаточно силы, чтобы пробиться в верхний мир, к сыновьям и дочерям Тела. Король, сойдя к мамонтам, сам отдал свое тело земле. Десятки чародеев и великих государей пытались: не прошли; но король — это, что ни говори, всегда король. Только с каждым днем было ему под черным Солнцем все холоднее и холоднее, и он все сильнее замерзал на лугах ржавого металла, выросла у него борода из сосулек, кровь в холодный камень обернулась, волосы инеем покрылись, кожа словно зеркало сделалась. Когда он пытался вернуться из тьвета на свет Божий, только лишь ледником громадным, таким же неуклюжим и медлительным на поверхность земли всплывал — люди вокруг него мерцали словно развеселившиеся светлячки-червячки, шмыг-шмыг, и уже нет их; а если королю удавалось кого-то из них коснуться, тот сейчас же гас и, замороженный, умирал; когда же король пытался к кому-нибудь обратиться, заговорить — то извлекал из себя только вой сибирской пурги; когда же решил отомстить своим давним неприятелям, то ему даже мстить не захотелось, таким холодным он сделался. Что же делать ему, с мамонтами мерзнуть до скончания веков? Ага, забыл тебе сказать, имелся у короля храбрый сын — который был еще маленьким, чтобы вначале отцу помочь, когда поймали его враги, но теперь он прибыл на зов отцовский и... — И как же королевич его спасет? Сам спустится в Подземный Мир? Он ведь тоже замерзнет. Подойдет к ледяному отцу — так даже коснуться его не сможет, чудовищный мороз на месте его убьет, превратив в лед молодое тело. Как же королевичу вытащить короля из страны мамонтов?

— Он отдаст сокровище, — решительно заявил Мацусь.

— Сокровище?

— Нужно что-нибудь за что-нибудь отдать. Тогда чары волшебников отпускают.

— Так нету же никакого волшебника, который короля заколдовал. Король сам сошел в Лед.

— Тогда, должно быть, он купил секрет у волшебника! — стоит на своем мальчик.

— Нет, нет, король сам таким уродился.

— А он ничего не потерял? Колечка золотого, волшебного меча... о, крестика? Должен был потерять!

— погоди, погоди, Мацусь. Он вообще без ничего пошел, совсем голенький.

— Голенький? — захихикал мальчонка и повернулся на коленях. — Король голенький?

— Нуда.

— Тогда, может... может, чего-то ему дать нужно? Чего у него нет. Чего у короля больше всего нет?

— Лжи.

Полчаса до полуночи, мертвецы разминают кости, за окном тишина, зато трещит весь разогревшийся дом на Цветистой, когда *mademoiselle* Филипов мчит по лестницам, коридорам и комнатам словно торнадо, парящее тьметистым дыханием, разбрасывая по сторонам черные снежинки. Пани Галинка лишь на мгновение сумела ее задержать, *mademoiselle* Филипов лишь шапку да калейдоскопические очки сбросила да выдохнула на ходу пару слов объяснения. Маленький Петр-Павел, надежно спрятанный за материнской юбкой, провел разгоряченную американскую *девушку* своими громадными глазами.

Поднялось, ссаживая Мацуся с колен. Кристина послала мальчику бледную улыбку, но не теряла ни секунды на вежливости да приветствия, сразу же бросила по-французски:

— Четыре часа ночи, под памятником царю Александру, пакуйте вещи!

— Кто?

— Тунгусы на ваших упряжках.

— Был господин Урьяш от губернатора?

— Нет.

Белицкие, и господин Юше, и даже старый Кужменьцев внимательно прислушивались. Попросило *mademoiselle* Филиппов пройти ко мне в комнату. Двери прикрыло, ногой отгоняя кота. Зажгло только одну лампу на стойке; светени на стенах побледнели и сползли на предметы мебели и в щели пола.

— А вы? Панна Кристина, губернатор, выступивший против царя, в первую очередь избавится от доктора Теслы; вы же сидите там под охраной его казаков. От Победоносцева он вас там защищал? Нет, для себя стерег! Один приказ из Цитадели, и *finito* [\[368\]](#). Бегите! Транссиб закрыт, но тунгусы должны быть мне верны, и...

Девушка сняла перчатки, энергично сбросила шубу на кресло. Морозный румянец разрисовал ей щеки, на толстой косе искрились хрустальные снежинки. Она сжимала губки.

— Так что же такое я про вас слышу, господин Бенедикт, будто вы в заговоре на жизнь губернатора участвуете?

— Откуда вы такие слухи...

— Только что к нам заскочил господин Порфирий. Никола, несмотря на ваше предостережение, естественно, бежать и не думал, и когда к нам заскочил директор Поченгло... Но каков же нахал! В свою очередь, а что это вы ему такого наговорили обо мне? Мне казалось, что он нас силой собрался похитить, уже не директор — а прямо дикий какой-то. Мужчины!.. — фыркнула она, не совсем убедительно, и замахала ручкой, к груди поднятой, чтобы через силу пойти против потока мыслей. — Но — но, что это вам в голову стукнуло!

— Но ведь все это не так...

— А что, может снова, как в Транссибирском Экспрессе, чужая рука укутала вас в ложь, а вы и не заметили как — и так же здорово та на вас лежит, что всех вокруг в обман и вводит?

— Нет — подобное было невозможным, не в Краю Лютов. — Нет, панна Кристина. Не знаю, чего вам там наговорил пан Порфирий, но, видите ли, в одном вы точно не правы: здесь правду создают. — Недавние покупки от Раппопорта лежали у комода. Вытащило кожаные саквояжи и войлочные вьюки, начало собираться. Для начала, все содержимое шкафа вывалило на кровать. В полумраке зимней ночи, под бледными светениями и робким керосиновым светом, за затянутыми от пурги шторами — *я-оно* отделяло одни материальные вещи от других, словно одну жизнь от другой. — Не все, панна Кристина, что будет когда-то правдой, было правдой когда-то, ранее; не всякое мнение, которое сегодня истинно, было таким вчера, или же то мнение, что было вчера правдивым, было таким же и когда-то. Имеются такие мнения, которые делаются правдами в определенный момент; имеются мнения, которые делают правдами, истинность которых создают. Я... замерзал. Замерз. И лишь сейчас — возможно, последним, но так оно и бывает, ведь существуют и необычные, исключительные люди Льда, которыми не управляют зеркала — и только сейчас я убеждаюсь, во что замерз, в кого.

— В кого же?

Я-оно меланхолично усмехнулось, уже без какого-либо напряжения, без нервов и страха.

— Вы же и сами видите.

Перешло на другую сторону кровати, куда слуги уложили разношенные, пропитанные жиром сапоги, и девушка быстро отступила.

— Выходит, — наморщила она носик, — это все-таки правда.

— А является ли правдой то, будто бы граф Шульц встал против царя, чтобы выкроить для себя Сибирскую Державу? Мы не знаем. Ошибается ли царь, карая его за измену? Нет! Ведь граф Шульц — это такой человек. Все, что случилось или не случилось — чем все это

является по отношению к правде идей, правде духа? То, что все планы рухнули, что я не найду отца и не поторгуюсь с лютами — какое это имеет значение? Я замерз Сыном Мороза. Одиннадцать дней с тех пор, как я последний раз откачивал тьмечь. Я играю Историей. Составляю Алгоритмику Исторических Процессов. Высчитываю против царя. Вот какова правда, *mademoiselle*.

Кристина устроилась в моем кресле, проваливаясь в криво разложенной шубе, маленькая девочка в объятиях мохнатого зверя. Вернулось воспоминание — из-за пределов Льда, следовательно, воспоминание о ни правдивом, ни лживом прошлом — о первом с ней разговоре, о встрече на уральском склоне, под небом Европы и Азии, о ее разоружающей заботе о докторе Тесле. Как замерзла Кристина Филиппов в Краю Лютов? Розоволикий ангел стыда — замерзнет ли когда-нибудь? Если бы я-ононе бросило ее на губернаторском балу...

— Я должен перед вами извиниться.

Девушка подняла головку.

— За что?

— За все мое поведение. На балу и...

— Но ведь на самом деле...

— Мне не хотелось бы, чтобы вы запомнили меня таким...

— Кем?

— Высокомерным типом. — Опустившись рядом с ней на колени, чмокнуло в холодное запястье. — *Je suis désolé, pardonnez-moi, je vous en prie* [\[369\]](#).

— Вы и вправду уже больше не откачивались.

Один взгляд и другой, образовывалась симметрия пагубной интимности; но взгляд не отвело.

— Нет. Более того, панна Кристина, я и не хочу больше откачиваться.

Девушка усмехнулась; но в улыбке была фальшь, потому она ее убрала с лица.

— Скажите мне, только от всего сердца: почему вы отпустили Еленку?

— Да как же я мог не отпустить ее в санаторий?

Кристина надула губки.

— Вы же понимаете, что я имею в виду.

— Да. — Вздохнуло. — Я не могу вам ответить.

— Вы не желаете!

Сжало ее ладонь.

— Нет, панна Кристина, вообще-то хочу, желаю. Но... Это лишь здесь, лютовчикам, людям Зимы, только лишь им и Измаилам дана эта уверенность, эта геометрическая последовательность формы души. Ведь я же тогда систематически откачивал тьмечь, был ребенком огня. А мы, люди Лета. Мы, да что мы... Дым, мотылек, радуга. — Пыхнуло из надутых щек, махнуло рукой сквозь выдох. — Делаем что-то или не делаем, а потом всю оставшуюся жизнь ломаем голову, ну почему поступили именно так.

...Отпускаю ее, не знаю, зачем; не отпускаю ее, не знаю, зачем; отпускаю или не отпускаю, точно так же, без причины, которую мог бы вам высказать. Убегаю из Иркутска, не знаю, зачем; не убегаю, тоже не знаю, зачем; убегаю или не убегаю, объяснить не могу. Ищу отца, зачем, высказать не могу; не ищу отца, зачем, почему, не выскажу; ищу или не ищу — одинаковая тайна. Сотворю что-то плохое, злое, не найду в себе аргумента ни за, ни против; сделаю нечто плохое или хорошее, точно так же, без какой-либо причины, которую можно выразить аргументом за или против.

— Какое великолепное оправдание всяческих недостойных поступков!

— Я и не оправдываюсь. Беру ответственность.

— Ответственность? Какую еще ответственность! Ведь вы же считаете, будто бы и не существуете!

— В том-то и оно. — Снова махнуло рукой.

Кристина в возмущении вырвала руку. Вернулось к сборам. Девушка сидела, не до конца завернувшись в темную шубу, прикрытая полутенью-полусветенью, растирая так и не разогревшиеся ручки. Кот, несмотря ни на что, влез в комнату; потерялся о ножки гостыи и тут же вскочил на кровать. Хлопнуло его свернутыми рубашками. Тот выпустил когти.

— Не понимаю, как вы так можете... — продолжала Кристина, обращаясь в воздух. — Не существуете — а ведь и дальше, как остальные, работаете, разговариваете, среди людей живете...

— Вы не понимаете, Кристина... ведь я жил, я-оножило так с самого рождения. И что изменилось? Только и того, что появилась дополнительная точка зрения, — указало на заднюю часть шеи, — точка на сзади головы, откуда все это видно в правде, то есть, во всем не-существовании.

— Не верю. Это какое-то безумие.

— Наоборот: как раз это и есть выход из безумия. Все мы в Лете поддаемся этому миру, тому обману языка, обычаев, межчеловеческих договоренностей: будто бы мы существуем. Правда ясна для нас с самого начала — с самого рождения: мы не скажем «я», пока мать, нянька, наша семья нас не заставят. А потом уже одна лож наслаивается на другую, одни привычки подкрепляют другие привычки, пока мы совсем не забываем, что возможен и другой язык, не подвешенный на межчеловеческих обманах, не вынутый из кривых зеркальных отражений — язык правды, язык того, что предваряет «я» и слова, этим «я» высказываемые. Нам и в голову не придет задать себе вопрос...! Двигается рука, поднимает предмет, — подняло пачку книг, обвязанных шпагатом, — и говорим: «я поднял». И так оно и идет — мы наблюдаем за телом в серебряных отражениях, в зеркалах чужих глаз, рассказываем о себе их языками, которые ведь тоже родом из внешнего мира, запикиваем себе чувства и мысли материей — и так оно нарастает — «я», «я», «я».

— Но ведь теперь вы говорите, будто бы вообще никто не существует.

— Возможно, имеются такие люди... которые думают, будто бы существуют, и существуют на самом деле. Те, что замерзли во всей собственной единоправде. Кристаллизовавшаяся живая правда. Возможно. Но мы — то, что язык воспринимает под словом «мы» — уже так нажрались материей, что окончательным доказательством существования принимаем связь того, что мыслит, с тем, что ощущает тело.

...Быть может, панна Кристина слышала про хирургические эксперименты, в ходе которых доктора рассекают мозг сумасшедшего надвое? Мой приятель, который на врача учится, рассказывал мне о подобных попытках. Р-раз, и вместо одного — уже двое сумасшедших. Вот какова непоколебимая основа всякой истины, что ее разрезает любой скальпель! Пытаешься понять «безумие», мое? А теперь проведите обратный *gedanken experiment* [\[370\]](#) : антиразрез. Один безумец — и ноль безумцев.

— Вы забираете с собой эти книжки?

— То, чего еще не прочитал. А что мне еще останется делать в изгнании?

— Изгнании?

— Милая моя Кристинка, позволь мне хотя бы попробовать! — воскликнуло вполголоса. — С господином Щекельниковым, с людьми из Обсерватории, со Степаном, с помощью тунгусов — как-нибудь устроим. Самое большее, дадим ему по голове и вытащим бессознательного — зато вы спасете жизни!

— Не надо, — тихо ответила она. — Вы же знаете... это же такой человек...

Я-онотихонько рассмеялось.

— Так. — Внимательно глянуло на нее. — Как вы считаете, удастся ли вообще покинуть город?

— Фаталист?

— Нет, просто до сих пор все планы... Хорошо, скажем, тунгусы укроют меня в каком-то никому не ведомом стойбище — на месяц? два? За это время в Иркутске все может повернуться как туда, так и назад, и навыворот. За пределами Края Лютов я бы попытался воспользоваться беспроводным телеграфом, но здесь... — Высыпало на одеяло варшавские вещи, математические черновики, оригинал зашифрованного письма от пилсудчиков, незаконченное письмо панне Юлии, карточную колоду Фредерика Вельца...

Выпрямилось.

— Когда вы выходили — Молот бил?

Кристина открыла рот и проглотила очевидность; в глазах поплыла тьмечь.

— Да.

Быстро перетасовало карты и, продолжая тасовать, начало выкладывать их на кровать рядами.

— Хорошо. Я запишу вам процедуру для доктора. Не знаю, какой у этого радиус действия по Дорогам Мамонтов, но, пока будет такая возможность, пускай бьет.

Усевшись за столом, быстро написало несколько предложений на латыни. *Mademoiselle* заботливо спрятала листок. Она морщила брови, приглядываясь, как я-онособирает карты с кровати.

— Это шутка? Вы смеетесь.

— *Oh, c'est rien* [\[371\]](#). Подарок от приятеля, которого уже нет. — Пожало плечами. — Фокусы разума, панна Кристина, я ведь рассказывал вам, как обманывает нас память исполнившихся гороскопов. Прочитаешь тысячу, но запомнишь тот один, который сбылся. — Тряхнуло коробочкой с колодой Пятника. — Предсказание! — фыркнуло с сарказмом. — Дар судьбы!

Танец, пули для Гроссмейстера, карты из рук вдовы Вельц — они притягивают внимание, поскольку можно легко указать на противоречия прошлого и будущего, все в единой памяти; но сколько же подобных мелочей (а может, и не мелочей, но совершенно даже ключевых событий), будучи порождены за пределами замороженной Истории, выдают себя за Правду совершенно незаметно? За пределами Зимы, за границами Льда — Варшава? Вилькувка? Отец, мать? Бронек, Эмилька, панна Юлия? Было? Не было? *Так или иначе, это все ложь.*

Счастливы те, что были рождены на земле лютов! Они не обязаны помнить, не должны знать правды — они сами правда. Говорится: «замерзло». Но кто это говорит? Урожденные лютовичики не будут знать такого *изречения*. Самое большее: «растаяло, растопилось».

Пробила полночь. Подумало о лампе и темечке — стоит ли? Что-то мелькнуло в щели двери — это Мацусь подглядывал, приклеившись носиком к дверной коробке. Погрозило ему пальцем. Топ-топ-топ, убежал.

Зажгло тьвечку, поставило ее на подоконник вместо лампы; после того, как задвинуло шторы, в комнате сделалось светлее.

Mademoiselle Кристина мгновенно поняла и эту очевидность.

— Кто снова?

— Японцы Пилсудского. У меня был с ним договор, что вывезут вас безопасно. Разве я не говорил вам?

— Вы и вправду вмерзли во все это с сапогами.

— Ба! Но если бы они все-таки...

— Я так не могу, господин Бенедикт, это вы у нас математик. — Она продела руки в рукава шубы, поднялась. — Мне нужно возвращаться к Николе. Вы тут, случаем, не выдумаете ничего глупого, как только уйду?

Показало на вещи.

— Замерзло. Четыре часа, под памятником императору Александру.

— Хорошо. А то мне уже казалось, будто вы совсем не собираетесь спасаться, — вздохнула девушка.

После чего случились три коротких шага и быстрый поцелуй в заросшую щеку.

— И за что же это было? — удивилось.

— Мой подарок! На день рождения! Господина Бенедикта! — восклицала она от порога и из-за порога, уже закрученная в торнадо черного меха и светлой косы, сбегая спешно тем же самым путем через комнаты, коридоры, лестницу, сквозь трещащий дом.

Слуга снес багаж в сени. (Всего получилось шесть вьюков и чемодан — похоже, я-оно успело обрасти здесь мещанским имуществом). Господин Щекельников уже спал; разбудили его дуболомы-охранники. Тот вышел мрачный, словно палач с похмелья. Попросив его отойти в сторонку, рассказало ему простыми словами, что оно и как.

— Значит, господин уважаемый генерал-губернатора заколоть приказал.

Не подтвердило. Не стало отрицать.

— Ага. — Он покачал головой. — Ну да. Ну так.

Точно так же он мог ударить себя кулачищем в медвежью грудь и зарычать: «Замерзло!». Так что вовсе и не нужно черных зорь на небе, не нужно густой тьмечи между одним и другим человеком; тем более, не нужно всего этого рядить в неуклюжие слова второго рода, подыскивать метафоры, приближения. Глядишь и знаешь. В этот момент впервые понимало всю единоправду без закрученных операций в Математике Характера, одним лишь животным инстинктом — чувством правды — которым с такой легкостью пользуются здесь люди покроя доктора Мышливского или одноглазого Ерофея. Ничего удивительного, что на вопросы, в отчаянии выкрикиваемые над пустой могилой, мартыновец отвечал лишь молчанием и символичным жестом. Да и что тут можно объяснить? Что один человек считает, будто бы правда такая, а другой — совершенно иная? Из всего этого дитя Лета поймет лишь вот что: а, различие мнений. А ведь — и это очевидно — правда одна, твердая будто алмаз, надежная как... как дважды два — четыре.

Это только насос Котарбиньского все перемешивал, выворачивал, затемнял, придавал лжи.

— Император, — сказало.

— Император. Ну, хорошая история. — Щекельников глянул своим ящеринным глазом. — Уж я говорил, пора вам, господин Ге.

— Пора.

— Так как?

— Четыре часа, бульвар над Ангарой.

Чингиз протянул свою квадратную лапищу, я-онокрепко пожало ее.

— Ну, нечего тут больше черта искушать.

Отправился запрягать сани.

Знало: Чингиз Щекельников.

Возвратилось наверх попрощаться с Белицкими. Господин Юше тем временем выпросился в другой дом, в другой компании паниковать; снова выбежала и панна Марта. Петрусь заснул в объятиях пана Войслава, перевесившись на могучей руке и вцепившись пальчиками в отцовскую бороду. Белицкий поднялся на прощание, не будя мальчика,

приклеившегося ему к груди; не говоря ни слова подал руку. Петрусь пошевелился во сне, когда я-онопожало руку хозяину дома; пошевелился, что-то простонал и сунул палец в ротик. Мацусь и Михася присматривались из-под стола, через крупные кружева скатерти.

Пани Галина принесла из кухни горячие пирожки, завернутые в льняную салфетку. Тихо поблагодарило, поцеловало руку, припорошенную мукой. Она импульсивно притянула в сердечное объятие, склоненную голову прижимая к своей груди. Нежность вступила в горло, раздражая гортань и увлажняя глаза. В голове блеснуло незамороженное прошлое: княгиня Блуцкая в Транссибирском Экспрессе, та же растроганность.

— За отцом отправляетесь? — шепнула пани Белицкая. — А почему бы вам не отправиться на поиски матери?

— Простите. — Откашлялось. — Не следовало мне и детей, и вас опасностям подвергать. Я понимаю... не в такую семью, не в такой дом... Слишком добры вы были ко мне. Никогда еще лучшего мне... только...

— Да, да, да.

Знало: пани Галина Белицкая.

Она благословила, вычерчивая крест на лбу и груди. С теплым пакетиком под мышкой быстро обернулось к двери. Старик Григорий подал шубу, шапку, шали. Топ-топ-топ за спиной. Глянуло сквозь мираже-стекла. Мацусь и Михася стояли на пороге, глазки кругленькие, ротик подковкой.

— Дядя вернется, — сказала, натягивая рукавицы. — Вернется, вернется.

Только они были детьми Зимы, урожденными лютовчиками. Отвернулись от лжи и со слезами убежали.

Господин Щекельников погасил лампы на санях. Метель уже совершенно прекратилась. Даже ветер умчался куда-то с иркутских улиц, так что теперь громадные сугробы и пандусы обледеневшего снега высотой в два этажа предстали теперь под радужным сиянием мираже-стекольных фонарей неподвижными монументами, валами бурного океана, остановленными в середине конвульсий; и даже цвета были соответственными, то есть, морскими, зеленовато-синеватыми, вот каким был этот ночной пейзаж Города Льда под обвалами свежего снега. Неподвижным, да, и еще тихим, невозможно, нечеловечески тихим был город, когда ехало через него в санях, запряженных тройкой, с господином Щекельниковым на облучке, с практически обнаженным Гроссмейстером в кармане шубы, рукавицей сжимаемым. Я-онооглянулось в зеленоватую перспективу Цветистой, порисованную геометрическими светениями от домов. Ни единой души, никакого шевеления.

— Куда? — спросило у спины Чингиза, и слово под звездным небом прозвучало громко, словно плач в церкви. — Сразу к памятнику?

— Три часа, господин Ге, где-то переждать надо.

— В такую пору? Где?

— Там, куда никто вас искать не станет, в малине старых убийц.

Подвальный кабак закоперщиков размещался сразу же по второй, уйской стороне Ангары, хотя, говоря по правде, вовсе и не было уверенности в том, был ли это уже противоположный берег, либо все еще сама замороженная река, в которой, прямо во льду, под угольными складами вырубили невысокие подвалы, где беспризорные бродяги и бандиты самого подлого пошиба просиживали все ночи над самой паршивой и самой дешевой водкой. Туда следовало спуститься по кривым, пробитым в мерзлоте ступеням. Стены светились бледно-перламутровым светом; *Черное Сияние* вырисовывало в них и на потолке гипнотические фигуры, неспешно переваливающиеся во льду словно черно-белые тюлени, моржи, киты. Не раз случалось, что какой-нибудь упившийся до положения риз бандюга

видал в этом месте выход мамонтов и в сонном трансе бросался на них, стуча в стены лавкой и бутылью, мордой собственной и кулаком, тыча в них ножом или даже паля из револьвера. Лед примерзал, замерзал и отмерзал. Вот здесь, показал господин Щекельников, красная метка от рожи Шведа-Злоеда, вот тут — пуля Ивана Григорьевича Куга, званого Пиздобитом, потому что нападал он на уличных девок, забирая у них все, до белишка, чтобы собрать себе на билет в Золотую Калифорнию; а вот — шмат шкуры со щеки, упокой его Господи, Липки от Банки; а вот здесь — мой зуб. После чего Чингиз отвернул губу и продемонстрировал один из живописных щербин в зубном ряду. Понимание и признание выразило урчанием. Щекельников заказал водки. Содержатель малины поднялся из своей берлоги, отворил броневой *лареци* достал бутыль наполовину замороженного самогона. За поясом казацкой шинели хозяина висел топорик, где-то с пол-аршина длиной.

— Двери часто замерзают, — пояснил Щекельников и вырвал пробку щербатыми зубами.

Осторожно глотнуло. Расстегнув шубу, глянуло на часы. Семнадцать минут второго. О чем можно два с половиной часа болтать с отпетым преступником в забегаловке для воров и убийц?

В воздухе здесь висел смрадный пар, мгла, выделяемая сырыми стенами и грязными, немытыми телами. Дышало через шарф-маску. Только очки сняло. В тумане и в жемчужных стенах проплывали невыразительные, тенистые формы.

— Того японца, что вы зарезали тогда, под конторой Горчиньского...

— Да?

— Я все размышлял, зачем вы это сделали. — Засмеялось глухо в бороду и шаль. — Разве для того Белицкий вас нанял, ради того заплатил?

— А вы того не понимали?

— Нет, — покачало головой, — не видел и не понимал.

Чингиз выпил стакан до дна.

— И как это вас раньше волки не сожрали, прошу прощения такую жертву собственной наивности....

— Вы меня пожалели.

— Как старик молодого пожалеет, так молодой старика не простит. Вон, тот самый Липко взял как-то с мороза полудикаря голодающего, в хату привел, еды не скупился, по городу водил. Все видели, все знали, только не Липко; говорили ему: да брось ты инородца проклятого, он же и в глаза не криво глянуть не способен. Только Липко упрямый был. Так дикарь его как-то ночью его и пришил, и в тайгу, на голодовку снова ушел.

— *Такой характер.*

— Ага, *такой характер.*

Очередной стаканчик.

— А вы, господин Ге, пример другой.

— Слушаю?

Чингиз сгорбился над неровной столешницей, подмигнул конфиденциально, словно договариваясь на скрытное убийство.

— А вы — благородный сукин сын, вот!

— Поясните.

— Слушай сюда, кто пережил, тот по божескому провидению умнее, чем все те сукины сыны, что по могилам теперь лежат! — Щекельников выдохнул тьмечью. — И правда такова: что один хуй, что другой — все одинаковы.

...Хаживал я по полночным тропам под флагом Сибирхожето и не Сибирхожето, под камандирамиразными, и как-то поздней весной попался мне один такой вьюнош, только-

только после школ *европейских*, желторотик совсем, бедняга, геодезистом главным нам назначенный. Ну, пошли мы с господином геодезистом. И оказалось тут, что у мальчонки кровь таки благородная. Все над ним посмеивались, ведь никакого понимания в самых простых, сибирских вещах он не имел, так что никто его особо и не праздновал; он даже посрать подальше уходил, стыдился сильно. Нелюдим, опять же, был страшный, потому что заика был, и целыми днями — ни слова, разве что пару цифр каких процедит. Ага, направились мы под Якутск, двое бедняг несчастных с нами уже было, сильно помороженных, половину оленей волки уже пожрали; там мы должны были встретиться с основной экспедицией компании. Так вот, обоз, и правда, имеется, стоит, разграбленный полностью, и люди пострелянные на снегу валяются, присыпанные уже, тоже надгрызенные. Какие-то бродяги напали, видно, раньше. А до Якутска еще верст двести с лишком, а у нас: спирту всего ничего, жратвы тоже на доньшке, животные чуть недохнут, и новая пурга готовится. *Руководитель* наш главный, как увидал, в чем дело, сплюнул; только мы его и видели, а с ним три самых лучших оленя. Ого, думаю себе, хана господину Щекельникову. А тут наш малец-геодезист вытаскивает наган, в младшего *руководителя* целит и говорит так: он меня в город повезет, одну упряжку возьмем, вы же последнего, самого слабого оленя зарежьте и устройтесь здесь со всем оборудованием, метель переждать, я же вас найду и помощь приведу. Взял и поехал. А через неделю вернулся с запасами и спас всех нас.

— Ну и?

Господин Щекельников глянул симметрично.

— А ничего. Что один хуй, что другой — все одинаковы.

— Хффхх! Сказки про героев сибирских, чтоб настроение поднять!

Тот покачал пальцем в рукавице. *Я-оно* оскалилось из-за шарфа.

— Это ж какой почет для малины бродяг старых и преступников, — сказал Чингиз, — потому что бывали тут шулера, бандиты, скупщики краденого, даже мятежники, только никогда еще не пил тут убийца генерал-губернатора и личный неприятель Царя-Батюшки!

Так или иначе, не совершившееся более правдиво, чем совершенное. Не важно, что удалось тебе в порядке материи переменить — рука, нога, рука, нога, рука, нога и так до могилы — важно, каким ты человеком замерз. В чем больше открываешься: в правде материи или ее фальши, что отражает правду духа?

Подняло стакан.

— За наших врагов!

— За врагов! Чтоб черт им жопы салом мазал!

После чего грохнуло стаканом в стену. Осколки вгрызлись в мерзлоту. Лед заплавит их, войдут они в черно-белый фон, на память о вечном. Во, здесь вот: водка Сына Мороза.

Под памятником Александру III тунгусы появились задолго до условленного времени; когда подъехало туда без четверти четыре, они уже ожидали при низких, длинных, тяжело нагруженных санях, запряженных в четверку оленей. Сани, с их широкими, гибкими полозьями и прижатым к земле центром тяжести, предназначены были не для мостовых Иркутска, а для забайкальского бездорожья. Из спешного чириканья Тигрия Этматова и двух его родичей поняло только то, что из Обсерватории выехали они не без хлопот, по-видимому, дракой закончившихся. С кем они там стычку имели — с Теслой? с казаками Шульца? с царским войском, уже насланным князем Блуцким? Светени высвечивали длинные и резкие формы; царь Александр на памятнике стоял в солдатской позе, в мундире и при шпаге, над массивным резным изображением двухглавого орла, хищно выгнувшимся к находящимся снизу жертвам. Этматов подпрыгивал на месте, сильно возбужденный. Подняло голову, но

самого лица статуи увидеть не смогло.

Тем временем туман залил город, словно бельмо — старческий глаз. Мороз стоял сороковиковый, то есть, значительно ниже сорока градусов, скорее даже, к минус семидесяти в это время ночи. У тунгусов, закутавшимся в шкуры и меха с тряпками до щелки, предназначенной для глаз, быстро померзли гортани, так что после кашля и хрипа они поскорее перешли в состояние чуткого молчания. Животные парили угловатыми облаками тени. Снег под ногами трещал словно битое стекло, то есть, очень громко в этой пустынной, белорадужноцветной бесконечности. Туман — густевшая, сметаннокисельная мгла — плотно заклеил площади, бульвары, проспекты вплоть до крыш самых высоких домов. Даже спины люта, вымерзшегося неподалеку, по направлению к Конному Острову, не было видно. Явно попрятались в тепло и буряты-глашатаи, поскольку пульс их шаманских бубнов не нарушал тишины. Сквозь туман просачивались лишь калейдоскопические разливы красок от мираже-стекольных фонарей — и угольно-черные симфонии из небесных органов Черного Сияния.

Показало жестами, что вначале следовало бы выехать за город, и только после того заняться перегрузкой и разделом багажа. — *На?* — харкнул Тигрий и расхрипелся не на шутку; хрипя, он размахивал короткими руками во все стороны света, разбрасывая трепещущие тени в монументальной светени Александра III. Поняло, что тот спрашивает, в какую сторону из города выезжать следует. Встало на саних за господином Щекельниковым, разглядываясь по ночной белизне. По правде говоря... Говоря по правде...

Мгла удержала их звуки, пока те не выехали на саму площадь, но потом сразу же их все освободила: копыта на снегу, треск упряжи, щелчки ружей, хриплое дыхание животных и короткие военные команды. Господин Щекельников, не раздумывая, хлестнул коренника, сани дернули, полетело в багажи. Выкарабкавшись из мягких выюков, увидало над задней спинкой саней появляющиеся из радужной мглы силуэты полдюжины всадников, словно духи, выплевываемые из бездны. Те же самые краски проплывали и по туману, и по снегу, и по лошадям с солдатами — вот только значительно скорее стекали в них же и вытекали из их конкретных очертаний. Только не было это и каким-то скорым, рваным, военным движением; все перемещалось в каком-то замедлении, сгущении, как... как... словно тени мамонтов в стенках подречной малины иркутских убийц. Возможно, и не следовало было пить водку с Чингизом... Судорожно держалось за трясущиеся сани, сам господин Щекельников обкладывал лошадей кнутом. Туманноцветные гусары шли в ночной тиши полушагом, впереди высокий офицер с мерцающей обнаженной саблей. Узнало его, несмотря на плотно обвязанное шарфом лицо, так что даже кончик усов не выступал; узнало его по тени и светени, такова была очевидность.

Два всадника отделились, двигаясь за санями тунгусов, которые тем временем свернули с Главной на Урицкого. *Солдаты* кричали туземцам, чтобы те остановились; их голоса быстро поглотила мгла. Капитан Фретт не кричал. Радужные силуэты гусар с каждой секундой делались все громадней. Один из них рванул коня, встал в стремях — фонарь окрасил толстое, неуклюжее пугало, со стволом, торчащим от башки, больше похожее на пегнарова голема — затаило дыхание, только выстрел не прозвучал. Всадник убрал карабин, зато обнажил саблю. Все они обнажили сабли — байкальские, ледовые гусары идут в атаку, рубя и давя копытами коней, когда мороз блокирует замки огнестрельного оружия. Господин Щекельников хлестнул кнутом. Но ведь это ничего не даст, мигом догонят. Стреляют — *значит* хотят убить на месте. Капитан Фретт получил от князя приказ, как от самого святого государя, выполнит до последней запятой; а какую правду князь Блуцкий-Осей познал о Бенедикте Герославском, прекрасно известно. А — значит В, С — значит и D. Подскочило к Чингису, указало налево — тот свернул с бульвара в восточный проезд. Сразу же за углом

выбросилось из саней в сугроб.

Не поднималось, не бежало — нет времени. Как упало в глубокий снег, так и лежало; снег тут же накрыл с головой. Поскольку я-онобыло плотно завернуто в шубу и шали, то даже не чувствовало никакого особого холода. Словно сквозь воск и пух слышало тяжкий четвертной галоп — шесть вдохов-выдохов, и он впитался в туман. Посчитало еще два десятка вдохов-выдохов и начало выкапываться из сугроба.

Поднявшись на ноги, сразу же отступило под стену дома. Лишь тогда поняло, что бегство не увенчается успехом — что нет никакой возможности запутать погоню на улицах Города Льда — поскольку увидало прошлое, то есть — небытие. В калейдоскопической, сливочной, сильно перемороженной мгле всяческое движение, всякий перемещаемый предмет оставлял за собой выбитые туннели «не-тумана», пустоты во мгле, резкие, словно вырезанные ножом коридоры, сложенные из всех бывших существований предмета. Отступая от сугроба к стене, потянуло за собой полосу «небытия» высотой и шириной с человека: четко существующее очертание не-существования. Махнуло рукой. Это движение зависло в тумане, и висит, и висеть будет — пока не вернется с Байкала в Иркутск ветер, то есть, наверняка, до самого рассвета.

Как же убежать, когда прошлое тянется за тобой негативом каждого прошедшего мгновения? От гусаров тоже остались громадные пассажи «не-тумана», пробитые посреди улицы, поворачивающие за угол в сторону бульвара над рекой.

Я-онотак и вошло в «не-лошади» и рысцой побежало в них назад, к памятнику Александру III.

Но уже через несколько шагов пришлось притормозить до ковыляющего прогулочного шага — любой чуть более быстрый вдох рвал горло и легкие в клочья. Мороза не победишь; в Краю Лютов легко узнать температуру по тому, как люди ходят (да и вообще, ходят ли) по улицам. Исключены всяческие энергичные движения, заставляющие тело двигаться неожиданно и резко; сама уже одежда — толстая, многослойная, сковывающая члены — делает невозможным свободный шаг. Человек переваливается с ноги на ногу словно готовая лопнуть набитая тряпками кукла, словно пугало. Ну, и как тут убежать!

Оперлось о цоколь памятника. Здесь «небытие», пробивающее настоящее, было запутано сильнее всего. «Не-сани», «не-лошади», «не-люди» расходились на четыре стороны прошлого: замерзшее мгновение. Дыша медленно и мерно, вытащило Гроссмейстера, сняло последнюю тряпку с револьвера — ящера. Тот загорелся под Черным Сиянием отблеском святых образов. Пыталось выхватить ухом звук колокольцев, топот копыт по стеклу, людские голоса. Ничего. Хррр-кххрр, ххрр-кхрр, хрр-кхрр — одно только дыхание. Крепко стиснуло покрытые инеем веки. Да откуда же они тут взялись, Господи Иисусе?! Когда выезжало с Цветистой, мгла еще не заклеила улиц, не мог же Фретт направиться за «небытием» саней Щекельникова. Когда Фретта в город наслали? — час тому назад, два? Означает ли это, что Шульц в конце концов отдал Богу душу? Наверняка капитан получил от князя конкретный приказ: убить как можно скорее — это замерзло. Тот взял людей, поехал... На глазах Белицких убивать не стал бы, вывез бы за город. А вот могли слышать Кужменьцев или Белицкие слова Кристины — когда та сообщала место и время встречи? Нет, нет, они не выдали — это тоже замерзло. Что же тогда сделал Фретт? Три места, где можно найти Бенедикта Герославского: Цветистая семнадцать; Физическая Обсерватория Императорской Академии Наук; Лаборатория Криофизики Круппа в Холодном Николаевске. Что он сделал — да, отправился в Обсерваторию. Впустили ли его казаки генерал-губернатора? Ведь Тесла тоже бы не предал. Но — инженер Яго! D, следовательно — E, следовательно и F. И потом достаточно было ехать за не-существующими санями тунгусов. А ведь они что-то предчувствовали — *Черное*

Сияниена небе — увидели эту опасность. Я-оновидело его в светени царя Александра. Ибо, откуда Фретту было знать, до каких пор ожидать, а когда атаковать из тумана? Я-оновыдало себя каким-то неосторожным звуком? небурятским окриком? Нет, Фретт тоже увидел. Эта уверенность единоправды, эта необходимость словно логическое, гипнотическое принуждение под Черным Сиянием, та самая очевидность умственного озарения, которое уже испытало на станции Старая Зима... Четкие очертания мамонтов от угольного солнца проплывают в радужно-цветном киселе «небытия». Замерзло.

Тштртук-тлук, копыта на обледеневшем фирне. Я-оноспряталось за цоколь памятника. Из тумана вышел оседланный конь без всадника, с куском плаща, запутавшимся в стремени, с волокущимися по земле поводьями. Прихрамывая, он свернул в улицу Главную и расплылся в черных радугах. Тштртук-тлук.

Думать, думать! (Ну и мороз в башке). Думать, размышлять, черт побери! (Ага, и тут же паника!). Думать! — где тут спасение? Подняло голову. Ни Луны, вырезанной в форме серпа, ни звезд, одна только многоцветная мгла и колоннады тьвета на небе. Царствие Тьмы распространяется над Городом Льда. Александр Александрович Победоносцев на/в своем гидравлическом троне на вершине башни Сибирхожето, читающий с высоты картографические предсказания по туманоцветным формам под Черным Сиянием...

Хрркхрр! Только он!

Так, но куда же теперь? Правда, умнее всего отправиться с самого начала в «не-бытии» гусаров, в дыру, пробитую в настоящем прошедшими, следовательно, не-существующими всадниками — как тот конь без седока — вверх по Главной. Выкарабкалось из-за памятника и помаршировало по твердой снежной корке, которая лопалась под сапогами с грохотом ярмарочных шутих. Шло, склонив голову, в замахе поворачивая плечами, не сильно сгибая ноги в коленях. Тлупп-тррлуп, тлупп-тррлуп. Гроссмейстер сиял в рукавице.

Иркутск стоял тихо-тихо, словно сон об Иркутске. Тени-кошмары домов проплывали слева и справа. В тумане перспектива теряется быстро: казалось, будто бы дома возносятся на добрые несколько десятков аршин дальше, громадные, больше всего того, что выстроил человек. Во мгле, при голоде чувств, всяческое возбуждение быстро вырастает до границ тревоги. Я-онокрутится во все стороны и на каждом шагу подскакивает не по причине заячьего сердца и девичьих нервишек, но потому что даже самое наименьшее движение, самый тихий звук сильно впиваются в мозги. Любая тень, любое мерцание фонаря, любой треск нарастающего льда... Шло через Иркутск ночных туманов словно сквозь шаманский дым, в котором проплывали жирные абаасы.

Тень спереди — мамонт — дракон — новая пегнарова bestия — я-оноотпрыгнуло из коридора не-мглы. Это конь без всадника, тот самый конь с тряпкой в стремени — сейчас возвращался по тропе собственного не-бытия. Облегченно вздохнуло. Шаль от влажного дыхания уже примерзала к усам и бороде, так что невозможно было ее поправить, не срывая при этом щетины с кожи.

Дальше, дальше за не-гусарами. Мороз вгрызался в унты и под обмотки из заячьих шкурок. Нет смысла ускорять шаг, нужно держать темп. Тлупп-трлупп. Подумало о беге в одиночку через ночной Екатеринбург. Подумало о господине Щекельникове и о тунгусах — что там с ними? Подумало о панне Елене; улыбка заставила скривиться от боли под обледеневшей тканью. Стилеты сосулек кололи легкие. Туннель не-мглы сворачивал направо, к теням зданий. В молочноцветной взвеси появилось чудное свечение уличного фонаря. Не-гусары проходят тут у самой стеночки; сделало шаг и увидело в радужном сиянии паучий панцирь люта, выросшего посреди улицы. Вертикальные волны мороза встали между ним и стеной. Час? Два? Хватило. Здесь не пройти, нужно другим путем, по другой улице... И тут

поняло, что никаким образом пешком не доберется на этом морозе до башни Сибирхожето. Вздохнуло с облегчением во второй раз. Иней вралст между зубов.

Лют морозился по сталагмитам и черным струнам, растянутым сетью высотой до второго этажа. Окна были темными. Бубны глашатаев не били. Двери в домах по обеим сторонам улицы наверняка хорошенько запечатаны (в городах Зимы существовала преступная специальность зимовников-грабителей). В последний раз глянуло на морозника. Тот шел либо из-под земли, либо вмерзал в землю — половина массы, левая, северная, лежала непосредственно на обледеневшей брусчатке. Зато здесь, над «не-гусарами», гляций расплескался короной из тысяч тонких и тончайших сосулук-игл, рвущихся вверх, во мглу, в небо, и к фасадам домов, и к фонарю (еще работающему). Калейдоскопы холодных красок проворачивались на бесформенной туше, переливаясь по выпуклостям, словно это не обманчивый рефлекс, но и вправду какая-то ледовая краска вместе с гелиевой кровью перемещалась в этом кристаллическом организме — не-организме.

Предостерегла светень, из-за спины распростершая крылья на массив морозника, игра отблесков на первоначальной краске. *Я-оно* обернулось, для этой цели поворачиваясь наполовину всем телом. Тот уже атаковал с поднятой сабелькой — клинок был миражестекольным, семирадужным — отклоненный из-за конской головы для чистого, гладкого удара, с лицом открытым, с шарфом черным, на воротнике развевающимся, с подмороженным усом, подсунутым под покрытые белизной очки, с устами раскрытыми, из которых исходит жирное облако тьвета. На щеке у него была открытая, кровоточащая рана. Кармин той крови стекал каплями ему на шинель — серая бронза которой стекла в конскую шерсть — чернота которой стекла на лед — белизна которого взорвалась в туман — синевато-зеленые оттенки которого всосало ослепительное сияние Гроссмейстера, когда подняло его вытянутой рукой, целясь в самый центр широкой груди капитана Фретта.

Тот рванул поводья, метнулся в седле влево. Конь послушно свернул, но, видимо, споткнулся или поскользнулся на покрытой свежим инеем лапе-корневище-жиле люта, потому что тут же под животным подломились передние ноги, и оно полетело, со всего разгона — дикий клубок животного и человека — в тротуарный сугроб, чудом не столкнувшись с фонарем. Болезненное ржание лошади пробило туман. На месте падения поднялась туча коричнево-цветного снега; *я-оно* стояло и глядело на эту тучу, словно малое дитя — увлеченно, зачарованно. Прошло несколько долгих вдохов-выдохов, пока туча не начала опадать; казалось, будто бы исходящий от люта мороз вымораживает хлопья еще в воздухе.

После очередного вдоха-выдоха из облака вышел спешившийся капитан Фретт, уже без шапки и очков, зато с той же самой саблей — радужной косой в руке. Чернота стекала по нему там, где его облепил кристаллический снег. Ус торчал кроваво-цветной щеткой-сосулькой, той же кровью парящий.

Приятель, которому благодарен жизнью — так замерзло; и неприятель, который пришел ту же жизнь отобрать — так замерзло — ну что еще можно сказать о подобных ситуациях? И тут, и тут не осталось места для каких-либо слов в языке второго рода; нет места даже для стыда. Остаются только необходимости, одни лишь очевидности.

Капитан Фретт моргнул, сплюнул тьметистым снегом, от груди завертел мельницей блестящим клинком и вбежал под светень гляция. *Я-оно* выстрелило ему в живот. Лед разорвал гусара на клочки.

Я-оно упало на твердую корку мерзлого снега, поехало по хрустальной мостовой. Слишком близко! Занавески нечеловеческого мороза замкнулись сверху. Ночь сморщилась и выгнулась, словно глядело на нее сквозь выпуклое стекло. Что-то паршивое случилось и со

слухом: треск и тишина, но не сколько тишина — как отсутствие звуков, но тишина — как отсутствие чувствительного к звукам органа. Что-то не то случилось со всеми нитями, соединявшими тело с душой: они либо лопнули, либо запутались так, что к душе по ним не доходило совершенно ничего или почти что ничего. Валялось на спине на иркутской улице, но не чувствовало под спиной даже касания одежды, даже того, что там находится «низ», а вот тут, перед тазами, «верх». Не чувствовало движения снаружи, не чувствовало движения изнутри. Не чувствовало дыхания. Не чувствовало уходящего времени. Ночь прокатывалась волной в замкнутой петле: мгновение, еще мгновение и еще мгновение.

Встать. Откуда-то пришел этот импульс. Тело начало исполнять жесты соломенного чучела. Отметило бьющий из зажатой в кулак правой ладони свет. Гроссмейстер. Не чувствовало ни той руки, впрочем, и второй руки тоже.

В этой цветастой мгле полностью утратило чувство направления. Встало, обернулось, чтобы шагком за шагом продвинуться дальше, и только сейчас заметило блестящую черным тушу люта — сосулька, сталагмит, струна, жила, медуза, пузо — увидало его близко, на расстоянии вытянутой руки, в половине аршина. Занавески мороза трепетали словно мотыльки.

Этот белый пот, стекающий по боку ледовика — это сжиженный воздух.

Эта тень, под его шкурой — это гелий, самостоятельно движущийся при температуре, в которой ничто уже не движется.

Этот лед — это осуществленная Правда, материя, сведенная ниже нуля Кельвина.

Выпрямило руку. Достаточно поднести ладонь к сосуле.

Вспомнило о пальце пана Коржиньского.

Подумало о пальце, о зашифрованном письме из другого прошлого, о всех тех танцах, которых не могло знать и уметь, о воскрешении Николы Теслы, о других не до конца замерзших прошлогох. Есть вещи, которые делают истинными, правдивость которых создают.

Подумало, ведь и так же не живу: никакой организм Лета не может стоять под лютом и выжить.

Ночь морщилась и гнулась.

Черное Сияние высвечивало из люта светени — огромные, прекрасные, завораживающие.

Я-оно прижалось к люту.

...Пробитый во все стороны выплеском хирургических сосулек, капитан Фретт висел над улицей, замороженный в дюжине крупных и сотне мелких фрагментов. Этот выплеск еще держал его в целости, пускай и неверной анатомически, все же позволяющей увидеть в обледеневших кусках мяса человеческое тело. *Я-оно* прошло между бедром с кишками и головой с фрагментом позвоночника, под полуаркой согнутой руки, все еще держащей мираже-стекольную саблю. Гроссмейстер выбил на клинке миллион ослепительных радуг.

Подходя, они прикрывали от них глаза. Оба где-то потеряли свои очки. Почему они спешили? Их лошадей увидало на самой границе мглы, во мгле, тревожно отступающих в более плотную мглу. Гусар пониже, с кровавым пятном на плече, сделал пару шагов и отскочил, как ошпаренный, дыша темнотой. Гусар повыше, с карабином, подышав в затвор винтовки, приготовился стрелять; ни черта, не сработает винтовочка. Он тоже отбежал на десяток аршин, подальше в туман.

Но ведь грохот Гроссмейстера, так или иначе, вскоре привлечет и остальных, нужно...

Что? Потрясло головой. Что же планировало — что же? Отдаться под опеку Победоносцева?

Я-оно вышло из светени капитана Фретта, и первый удар боли пронзил руку до самой

шеи; едва устояло.

По-видимому, *я-оно* должно было пошатнуться — гусар пониже, что с саблей, тараща глаза по-птичьи, собрался, чтобы подскочить и пронзить саблей. В формах его светени от Черного Сияния видело всю необходимость очередных движений *салдата*, последствия логических неизбежностей. Как во сне — словно сонный раб — замедленный среди замедлившихся — отступило в сторону. Гусар ударил саблей в воздух.

Он вскрикнул и удрал.

Теперь уже осталась только мгла и то, что во мгле.

Подходили к самой границе райского света фонаря: мамонты, абаасы, големы Пегнара. *Я-оно* наблюдало за разноцветными конвульсиями ночи. Хотя бы который, в конце концов, выступил вперед и ясно показал свое нечеловеческое лицо. Пускай бы выпрыгнул и потащил во мглу, в дым. Как призвать их вернее всего? Какую возложить жертву?

Я-оно терпеливо ожидало прибытия *рукавадителя* в Подземный Мир. Ожидало, пока хватило сил, то есть — Мороза, то есть — как долго? Сонное мгновение, минуту, две, четверть часа, час, до конца ночи? Стоя, будто замороженный, посреди улицы Главной, тунгетитовый факел в руке, светени на белых туманах. Вымороженный разум не поддается переменам, точно так же, как невозможно что-либо выбить в алмазе, невозможно отпечатать какую-либо информацию в совершенно упорядоченном кристалле. Одно мгновение сливается с другим, время принимает форму колеса, язык перестает служить для передачи сложных мыслей. Хррр-кхр, хррр-кхр, хррр-кхр...

Когда же подъехали на санях, *я-оно* лежало на мостовой в добрых двух десятках аршин от люта и Фретта, трясаясь в смертельных конвульсиях, согнутый вдвое, с коленями, бьющими в грудь, с клацающими зубами, с руками, бьющими беспомощно по снегу. Воздух никак не хотел войти в замороженную трахею. *Я-оно* даже не могло издать страдальческого стона.

Подняли, уложили в санях рядом с окровавленным господином Щекельниковым, быстро завернули в заячьи и оленьи шкуры, силой раскрыли челюсти и влили в горло теплое травяное питье. Завязали всего в шкуры, словно младенца. В узкой щелке подпрыгивали звездное небо и радужная мгла. *Я-оно* потеряло сознание, затем в сознание вернулось; и снова, и опять. Сани двигались все быстрее, слышало свист льда под полозьями и окрики возниц — польский язык, звучащий по-польски. Один раз над щелью мелькнуло заросшее лицо, явило щербатую усмешку. *Я-оно* попыталось искривить лицо в ответ, но лишь укусило себя в щеку и язык. Дрожь напоминала, скорее, приступ эпилепсии; огненная кислота проплывала по жилам; палачи сдирали кожу с мышц, разрывали тело на кусочки, разбивали кости и вливали в них вместо костного мозга жидкий свинец. Хотелось сказать усмехающемуся бородачу, что *я-оно* все понимает — лампа, а в полночь — тьвечка; Пилсудский тоже желает выиграть собственную Историю на смерти генерал-губернатора — но возница быстро сунул в открытый рот кусок животного жира, так что *я-оно* ничего и не сказало. На небе *Черное Сияние* заслоняло и открывало байкальские созвездия. *Я-оно* не видело никаких крыш, фонарей, радуг от мираже-стекольных ламп. Только одну, затем вторую трупную мачту. Расслабившиеся уже японцы громко смеялись своим непристойным солдатским шуткам. Слезы боли стыли в глазах. Все, абсолютно все пошло не по плану. *Я-оно* не найдет отца, не разморозит отца, не направит Истории; панну Елену отдало ни за что, совершенно ни за что. Пережевывая жесткую солонину, замороженное *я-оно* покидало Город Льда.

Он раскладывал пасьянс.

— Я так для себя положил — если этот пасьянс сойдется, то стану диктатором Польши

[372]

Я-оноуселось на лавке у стены, с другой стороны стола, завернулось в оленью шкуру. Громадная печь по-султански размахнулась на четверть помещения и хорошенько нагрела дом; только мороз еще сильно в костях сидит. На той же печи свои собственные кости грел громадный волкодав не слишком чистых кровей, практически не открывающий уже глаз; что на них из окружающего мира возьмет, настолько и присутствует в этом мире. Когда я-онопроходило от двери из кухни, где за творожными шанежками сидят пан Кшиштоф и еще один японец, пес поднял голову и медленно поворачивал ее по указаниям носа, глаза ему уже не служили. Уселось, завернулось в шкуру, вынуло табак и папиросную бумажку, свернуло самокрутку. Утреннее солнце падает из-за плеча, глаз щурить не надо. Глаза под седыми, сросшимися, кустистыми бровями щурил он — тот, кто раскладывал пасьянс.

Ибо за окном светлой горницы — на левом крыле, над плечом — там поля ослепительного снега, там гладь с синевой, словно с акварельной миниатюры, а дальше — кедровый бор, высокий, густой, не до конца затянутый одеялом кристаллического пуха, так что сначала видишь черноту затененных стволов, и только потом — плоскогорье ледовых крон. По-видимому, по нему можно даже пройти, зверьки туда-сюда шмыгают, белки, даже соболя; я-онозаметило их не раз и не два по пути из Иркутска, на фоне неба. И так оно и идет — белизна, чернота, белизна — ввысь, чуть ли не до Солнца, по всем склонам крутых гор, увенчанных на юге высокими шпилями. В окошко видна группа из трех вершин — там сидит пост японцев, следящих за округой в бинокли, передающая световыми отблесками предупреждения, когда появляется чужой путник. По ночам они жгут огни на вершинах. Цепочка секретов протянулась на добрые пару десятков верст. Тунка — это естественная крепость. Одна головоломная тропа на восток, одна — на запад. По-иному и не доберешься: горы, горы, заснеженные, замороженные леса, а в них одни лишь тайные охотничьи тропы. Укрытие для настроенных против государства боевиков, о котором можно только мечтать.

Вчера вышло на прогулку в компании пана Кшиштофа, которого тут называют «Адин» — «Единицей». В Японском Легионе он вовсе не занимал первой позиции, прозвище взялось от свернутой шеи. То есть, он ее почти что свернул, и таким уже и остался: подломанным, скошенным, вниз и в сторону, к плечу искривленным, так что в профиль, по очертаниям, и уж наверняка в светени под Черным Сиянием пан Кшиштоф вырисовывался (по природе своей рослый и словно береза стройный) образом цифры один: вот тут узкий, прямой корпус, а вот тут — шея и голова острым углом к земле направленные. Так он и ходил, в землю нацеленный, на квинту от ключицы спущенный. Я-оноспросило его, что, собственно, приключилось с ним — в какой-такой аванюре получил он военную контузию? Адинтолько меланхолично вздохнул, рассказ о всей своей жизни вмещаая в этом единственном вздохе. Так узнаешь людей без опасности словесной фальши. Сделало полный вдох в столь же откровенном ответе, и потьвет окрасил пар на покрытых инеем губах.

Я-онодышало сибирским воздухом, дышало морозом открытой Азии, дышало глубоко, словно на отдыхе, докторами предписанном в высокогорном курорте. Другой была здесь жизнь, другим были свет, небо, цвета, совершенно иначе скользило время по ледовой лазури.

Правильно говорил редактор Вулькевич: там, в Иркутске, живешь по минутной стрелке часов, в страстном каком-то напряжении — любое прошедшее мгновение — мгновение пропавшее — можно жить больше, можно быстрее, нужно быстрее! Заработать? Заработать, сделать! То-се, что угодно — лишь бы вырваться из бездеятельности, лишь бы приписать один успех к другому. Бездеятельность — это страшнейший грех. В городе, тем более, в таком городе — человек является тем, что он сделал. Дворяне сбегают в деревню не потому, что здесь у них имения и крестьянские души под феодальным правлением, но потому что здесь ты являешься чем-то большим. Что бы там сделал или не сделал князь-барин, князем-барином быть не перестанет. А вот город, город промышленный, коммерческий, банковский — он стихия для Шульцев этого мира.

— Есть у вас известия о губернаторе? Как там со властью в Иркутске, поменялась?

— Ничего нового не приходило, пан Бенедикт, — ответил Адин. — Мы последними из города приехали, а потом — ничего, тишина.

Тишина над полями, тишина над лесами. Раз нет звука, чтобы отмеривать секунды и минуты, то этих уходящих секунд и минут даже не жалко. В городе уже бы нетерпение страшное захватило человека, уже бы он был пришпорен к какой-нибудь мысли, действию, жестокой какой-то необходимости. А тут — вышло в поля, прошло по свежей белизне между домами, западая по колени в рыхлом снегу, оставляя в нем счетверенную, правильную тропу; побродило на морозном, хрустальном воздухе... А зачем? А затем: чтобы ходить, чтобы просто дышать. Который час? А не глядишь на часы. Какой сегодня день? Понедельник или вторник, двадцать четвертое или двадцать пятое ноября. Или двадцать шестое... Где-то так. Около того. Приблизительно.

Как только покинуло поселение, выйдя из границы домов и скелетов старых юрт, вскарабкалось на первый холм под лесом, чтобы здесь приостановиться с открытым перед глазами видом, освещенным ярким солнцем. Опершись на посохе, подняло мираже-стекла. Раз, два, три, шесть, дюжина и еще пара дымов — вот из скольких труб зачерненный знак для небес. Перед пришествием Льда Тунка насчитывала добрых сотню семейств, не учитывая проезжающих бурят; сейчас, видимо, здесь больше японцев Пилсудского расположилось, чем старых поселенцев. Были здесь две церкви, деревянная и каменная, были товарные склады для бурятских и монгольских степняков... А теперь только снег, лед и мерзлота. И чем пропитаться этим людям? Когда-то жили они рыболовством и охотой, разводили скот, хайныков, харлыков ^[373] и овец. Только не выпасешь скотину на льду. Земледелие в Зиме тоже исчезает. Пан Кшиштоф, трубку закуривши, на посохе тоже опершись, рассказывал, что по всему Байкальскому Краю выглядит это одинаково. Он показывал под свет мороза-солнца, где улусы с бурятскими юртами стояли, рассказывал о жизни Лета, про тогдашние обычаи. Частенько заходил он тогда в бурятский тал, в талы наиболее древнего языческого рода, где угощали сливочным саламаком и тарасуном, который тали из коровьего и кобыльего молока, очень кислым на вкус, но в голову бьющим так, что ого-го... А кто остался теперь? Недобитки какие-то, поглядите сами, пан Бенедикт, ведь та же судьба по всем деревням и местностям сибирским, то ли старым, туземным, то ли в поселениях восемнадцатого века, то ли в новейших, по закону столыпинскому бедняками из-за Урала населенным. Что когда-то представляло громадный и основной промысел Сибири — природа, пан Бенедикт, природа, плоды тайги, плоды земли, дары вод; сейчас этим никто выжить не способен. Сибирь стоит на тяжелой промышленности, на зимназе и тунгетите. Народ из провинций Края Лютов стекается в города, больше — в Иркутск. Провиант привозят длинными составами, в другую сторону сокровища Холодного Николаевска вывозя. Перевернулось все, с ног на голову встало. (Именно так говорит пан Единица, с лица, на грудь спущенного, глазами мягкими,

влажными поглядывая). Перевернулась История, и следовало бы ее обратно, на старые фундаменты установить.

— Не верьте тому, что вам товарищ Виктор наговорил, — ответило ему на это. — Ни у кого нет такой волшебной власти над Историей.

— Выходит, неправда то, что у Шульца-Зимнего вы хороший договор про Оттепель заключили?

«Договор про Оттепель заключил!» Вздохнуло. Кшиштоф покачал свешенной головой. *Вот и весь рассказ.*

Тишина над полями, тишина над лесами. К примеру, не слышно птиц. Все улетели? Погибли от непрерывного мороза? Я-оно вступило в просеку, идущую от переправы через Иркут. Река Иркут впадает в Ангару у самого Иркутска, и первые несколько верст от города японцы ехали как раз по широкой реке (перед Годом Лютов она тоже замерзала, по меньшей мере, месяцев на семь, превращаясь в удобный зимник). Там была у них заранее, по-военному подготовленная застава, запасные лошади и олени, там же подождали остальную часть отряда. Но потом ехало целый день и следующий по лесам, по тесным аллеям между деревьями, что с таким же успехом можно было кружить по замкнутой петле — а может, и кружило — вокруг была одна тайга, тайга, тайга: белая, замороженная тишина.

Кедр, лиственница, пихта, сосна, береза — обледеневшие, заснеженные, покрытые сосульками; вроде бы и лес, но лес такой, словно на четверть уже перетащенный в пейзаж мира лютов. Не хватало не одних только птиц, вокруг не было вообще никакого движения. Деревья не шевелятся, не колышут ветвями, не склоняют крон. Сквозь тайгу идешь, словно по кружевной формации геологических образований. Это тоже природа — но та, что более всего отдалена от человека, менее всего жизнью обозначенная. Приостановилось, оглянулось на последовательность следов ног и посохов, словно бледные буквы выписанные на чистеньком листе после ночного снегопада. Тунка и ее дымы уже исчезли за массивом бора. Тишина, тишина, неподвижность, белизна, мороз. Отвернуло шаль с бороды, набрало воздух в грудь, как набирают воду из проруби в ведро — и выплеснуло в тайгу вспененный голос. Адин слушал протяжный крик, оперев подбородок на тулупе, с прощающей миной. Вернулось слабое эхо. Откашлялось, вытерло рот рукавицей. Наверняка, все кричат.

Вообще-то говоря, за все те месяцы в Иркутске Сибири вообще не испытало, не почувствовало, что я-оноживет в Сибири — город есть город, Зима есть Зима — только лишь теперь, вставши, словно одинокая песчинка на широком пространстве тайги, хотя и замкнутом со всех сторон горами, все равно — безграничной в своем азиатском размахе, под еще более широким небом, под гладкой, монгольской рожей этого неба, к земле приклеенной, под косящим Солнцем... Сибирь. Только сейчас. Сколько всего слов произнесло Адину после того, как покинул дом? Три дюжины, самое большее.

В сердце закололо первое предчувствие боли той «душной сибирской болезни», о которой пытался рассказать в Экспрессе Филимон Романович Зейцов — о том, как встретились они с Сергеем Андреевичем Ачуховым, как распознали друг друга без слова, как объяснились вне языка второго рода... Здесь, под азиатскими горами, в до-человеческой природе. В тишине. Ведь, обычно, человек выскажет слово, и уже половина внимания от человека уходит — от того, кем он на самом деле является — переключаясь на истинное или фальшивое значение слова. Трудолюбивым болтунам удастся вообще стереть какой-либо смысл в потоке слов, изливаемых минута за минутой. Но вот попробуй отречься от бытия в этой тишине белого океана тайги, попытайся *выгавариться* до нуля под мамонтовым небом...! Шло с паном Кшиштофом в товарищеском молчании.

Старая изба среди леса, наверняка, первоначально, укрытие контрабандистов,

перевозящих за Байкал кровавое золото, скрывалась за вековыми кедрами в сотне шагов от просеки. Тунгусам был дан приказ не высовывать носа, чтобы не попасться на глаза бурятам из Тунки; обязательно ведь случится ненужный, кровавый скандал. По другой стороне от Иркутка — японцы показали еще по пути из города — стоят здесь курганы с останками героев какой-то давней монголо-российско-бурятской войны. А не ведут ли Дороги Мамонтов через Тунку? Легионеры только пожимали плечами, качали головами. Ночью, при свете жировой свечки, в ритме хорошо заведенного часового механизма, *я-оно* выкладывало на неструганной столешнице древние пророческие пасьянсы — безрезультатно.

Сани стояли за избой, оленей спрятали под временный навес. На лавке, на веранде, со своей квадратной рожей, лежащей на покрытой льдом балясине, на мягком морозце сидел господин Щекельников. Подсело рядом. *Адин* пошел заглянуть к инородцам. Господин Щекельников поднял веко, поправил повязку, поправил шаль, опустил веко. По дороге от Тунки *я-оно* вспотело, запыхтело, горло резало; вот только когда присело, чтобы передохнуть, усталость полностью овладела телом. Слабость после обморожения до самого конца из организма не вышла. Так что сидело, согнувшись до колен и медленно дыша. Господин Щекельников поднял лицо к небу, обернулся на сидении, словно овощ на грядке, к солнцу стремящийся. Откашлявшись, вернулось к более спокойному ритму дыхания. Белый, морозный свет прокалывал веки. На сосульках мерцали хрустальные радуги. Какое-то бледное облачко вклеилось под небосклон — показало на это облачко вытянутой рукой Чингизу. Тот в ответ показал на обледеневшие древесные кроны — шмыг-шмыг, черно-белый меховой клубок мелькнул среди веток, исхудавший горноста́й, по-видимому, последний. Вновь надвинуло мираже-стекла на глаза, сияние развернулось на весь свет, но уже смягченное, надтопленное. Дышало все медленнее, мороз ласкал щеки еловыми веточками. Спать совершенно не хотелось — зато западало в тот всеохватный покой, в котором (как во сне) слова совершенно излишни, слова только мешают. За *Адином* вышел Тигрий Этматов, в глиняном горшочке он наготовил новую порцию мази из кедровой смолы. Спрятало мазь под шубу. Тигрий удовлетворенно прищелкнул языком, поковылял вокруг лавки и упал с другой стороны, страшно довольный собой, что было видно на его круглом лице. Господин Щекельников мрачно зыркнул на него; шаман радостно оскалился. *Я-оно* оперлось об угловую стенку. Мороз. Мороз. Чистый свет. Это останется уже навсегда, даже не вспоминаемое, даже забытое, не загрязненное словами, ба, тогда даже более сильное: знамение люта. Память о прикосновении Льда. Само *я-оно* не могло его коснуться, ведь это искаженное прошлое, переломанное на границе фокуса Правды — словно переломанный, лишенный окраски на краю призмы солнечный луч. (Палец пана Коржиньского). *Я-оно* никак не могло прикоснуться к люту; и ничто уже не вырвет из сердца этого воспоминания. Правда или ложь, свершившееся или несовершенное — значения не имеет. *В воспоминании нет разницы между миром и представлением о мире.* Мороз, мороз сидит в костях. На мираже-стекольных очках нарастало пятно ледового Солнца. Белый свет мороза просверливал веки. Тишина. Тайга. Сибирь.

На обратном пути пан Кшиштоф все-таки один раз заговорил — *я-оно* как раз вскарабкалось на возвышенность с видом на Тунку, зимние тени начали выползать из-за домов, деревьев и сугробов; вся деревня плавала в масляно-черных разливах, и сейчас по ним брела группка охотников с заброшенными за спины ружьями, возвращавшихся с охоты с пустыми руками; *Адин* указал на них палкой, а конкретнее — на одного низкорослого типа из них.

— Как с вами поговорит, — сказал он, голову от груди отклеивши, со слезами тьмечи в глазах, — как чего удумает, то и узнаете.

— Узнаю?

— Будет ли Оттепель после этой Зимы. Он чувствует это, словно собака кровь зверя раненного, носом, нервами.

— То есть, слабость Истории?

— Ба! — захихикал. — Старик зубы на ней съел.

Тем не менее, со вчерашнего дня так никто и не прибыл со свежими вестями из Иркутска. Люди все время ожидали; об этом знало из подслушанных разговоров, а так же из их замечаний, совершенно явных, громких, когда пан Кшиштоф с другим японцем пришли из той избы возле церкви, в эту, низкую: что ожидают они возвращения последнего отряда, который должен доложить о военных, выходящих из Ящика. Дело в том, что Старик объявил им про какую-то новую операцию. Взрыв очередного моста? Взрыв очередного состава? Если только История хорошенько с ветром обернется. Если сойдется пасьянс.

Закурило папиросу. Сидящий напротив мужчина задумчиво положил карту, почесал густую бороду. Запакованный в два толстых свитера, он казался более плотным и широким в плечах, хотя по сути был не крупным. Сейчас он щурил перед солнцем свои пепельно-серые глаза. По-видимому, ему следовало бы носить очки. Он провел картой по крупному носу, буркнул что-то про себя. Тогда, на показе Боевого Насоса, не узнало его, несмотря на кресовый, восточно-польский акцент и четкие слова. Я-оносплюнуло дым. В соответствии с розыскными документами — на конце правого уха имелась бородавка. Откровенно приглядывалось к нему.

Тогда глянул и он, в характерном для себя выражении концентрации-зло сти.

— Я положил, что если этот пасьянс сойдется, то буду диктатором Польши.

Я-онознало: Юзеф Пилсудский.

Страхнуло пепел в костяное блюдо. На стене с окошком, на короткой полочке с книгами стояли часы в фарфоре, удивительная хрупкая игрушечка в этой топорной избе из грубо вытесанных бревен в далеком сибирском уголке. Часы были неисправны, во всяком случае, они остановились на двадцати минутах восьмого. Над их круглым циферблатом, словно в геральдическом венце, была помещена в фарфор оправленная фотография: портрет женщины изумительной красоты. Наверняка это была его жена, Мария, знаменитая виленская красавица, убитая казаками во время революционных выступлений в Году Лютов.

Пилсудский пригладил усы, долил себе чаю в фаянсовую кружку.

— Быть может, вы уже заметили, — сказал он, из-под грозовых бровей пронзая всевидящим взглядом, — что все то, что называют интуицией, подсознательным мышлением, мелькает и исчезает при работе интеллекта. Люди хватаются за различные штучки, чтобы интуицию освободить — одни молятся или медитируют, в пупок собственный пялятся, считают отдельные четки, другие же погружаются в определенный ритм повторяющихся действий, слов, в конце концов, мыслей. Это позволяет огородить сознание и выдвинуть интуицию на авансцену. Но мой разум живет слишком быстро, огненно, чтобы его утомили подобные методики. Для этого я раскладываю пасьянс, принуждаю себя решать его сложности. И, нередко, встаю с уже бессознательно решенной проблемой. Неоднократно я брался за действия, перед которыми многие отступили бы, среди прочего и потому, что заранее был уверен или почти уверен в успехе.

Он нападал на поезда, банки, тюрьмы, царские учреждения, по этой и по другой стороне Урала. Сам убегал из тюрем; поднимал бунты среди заключенных — во время первой ссылки устроил бунт как раз в иркутской тюрьме, дело закончилось кровью, срок ему увеличили. Он стрелял царских чиновников, военных и придворных деятелей, на войне и в городах, руками

своих людей и лично — из короткоствольного браунинга. Ездил он по свету, за Польшу агитируя, собирая на польское дело фонды, во имя Польши заключая союзы — Вена, Париж, Цюрих, Берлин, Лондон, Америка, Япония, Китай. Он создавал и терял тайные, партизанские армии, творил их заново, чуть ли не открыто, в особенности — здесь, в Сибири, после второй, третьей ссылки (с которых, естественно, бежал). Он поднимал на воздух правительственные здания, казармы, мосты, даже одну плотину. От врагов и конкурентов избавлялся с одинаковой непреклонностью, по-видимому, не до конца их различая. Уже с десятков раз охранка и казаки наваливались на него — уходил без потерь. В Харбине агенты императора Хирохито держали его на мушке — вывернулся, дав честное слово.

— *Сонные рабы* тоже легко добывают такую внеразумную уверенность будущего, — отозвалось *я-оно* сквозь дым.

— Возможно, вы когда-нибудь слышали про инженера Оссовецкого. Сам я давно уже был уверен в силе мысли, освобожденной от времени и пространства. Пан Стефан показал мне...

Он положил карту и тут поднял глаза. *Я-оно* оглянулось через плечо, посмотрело сквозь окошко прямоком в ослепительную белизну. Но это не снег бил солнечным цветом в глаза.

— *Адин!* — позвал Пилсудский.

Пан Кшиштоф всунул в комнату опущенную голову. Старик указал ему на южные отсветы. *Адин* поспешил наружу, сразу же созывая людей. Не спросило. Пилсудский сделал глоток чаю, вытер усы, бороду.

— Ваш приятель, доктор Тесла...

— Остался.

— Неподалеку от Байкала есть такое местечко, о котором среди бурят ходят слухи, будто там, даже в самые страшные морозы, цветет холодная, медлительная, мрачная жизнь, будто бы там абаасы похищают людей и зверей в Подземное Царство, превращая их в мамонтов, а кто...

— Я знаю, что таковое имеется. Догадался. То есть... вычислил. — *Я-оно* затынулось праздничным дымом. — Отец услышал о нем от вас. Для начала у него было только пара бутылок сажаевки, так что ничего бы...

— Он сам того хотел! — Пилсудский в гневе хлопнул картой. — Сам пошел!

Я-оно тихо засмеялось.

— Знаю. Он, никто другой, он сам.

— Я дам вам карту...

— Погодите. — Подняло руку с папиросой, оленья шкура сдвинулась с плеч. — Я вовсе не спешу в Лед. Это самоубийственное предприятие.

Тот наморщил брови.

— Как для кого. Ведь это вы разыскивали меня через Хрущиньского, это вы желали со много говорить, пан Герославский. Так что же, теперь вы уже не этого желаете? Отца найти?

— Отца разморозить, отца спасти... А зачем вам такой размороженный Герославский, который не разговаривает с лютами?

Сидящий напротив человек скривился.

— Что-то вы совершенно мне не доверяете... Разве я хоть в чем-то вам вред причинил?

И тогда вынуло из-за пазухи кожуха потасканный листок, в восьмушку сложенный. Медленно развернуло его на столе. Пилсудский глядел, ничего не понимая.

— Что это еще за математика?

— Не математика, а только зашифрованное письмо от варшавских пэпээсовцев Филиппу Герославскому, которое я должен был, несмотря на вашу плотную охрану, передать ему.

— И чего такого там пишут?

— Весна Народов — да. Оттепель до Днепра. Петербург, Москва, Киев, Крым — нет. Япония — да. Партия приказывает: время компенсаций — да; Россия подо Льдом. Все средства — да. Внимание: «молодые» и оттепельники против Зимы. Защищай лютов. Не верь Старику. Прибудет курьер. Будь здоров.

— Ага.

— Так что, думаю, — медленно продолжало *я-оно*, — что отец не до конца с вашей политикой должен был соглашаться. По-видимому, прежде чем сойти на Дороги Мамонтов, он написал старым товарищам. Они договорились, как переписываться, каким пользоваться шифром. Может, он как раз предостерегал их перед Юзефом Пилсудским? Ведь он отправился к лютам, после чего прошел год, другой, третий, четвертый — и что? Вы все так же перестреливаетесь с казаками в сибирской глуши, а Польши как не было, так и нет.

— Так легко Историю не повернешь.

— Но ведь Лед, Лед сначала должен был сойти! А тут, ничего — Зима еще сильнее. Разве что вы не верите Бердяеву — но тогда зачем вообще стараться об оттепели? Разве что лишь ради упадка зимназовой промышленности? А?

— Что-то слаба у меня голова для метафизики, впрочем, логические абстракции Маркса тоже как-то моему мозгу не соответствуют. Прежде всего, я выступаю за практику, молодой мой математик, и даже если всех бердяевских теорий за правду не принимаю, то ведь вижу — именно потому, что гляжу с точки зрения практики — что в ней что-то имеется. История идет иначе, чем все ожидали. — Он развернулся на стуле, указал картой (дамой пик) на полку с книгами. — Поглядите-ка там, автор Зеештерн. Ну, берите, берите, поглядите сами.

Поднялось, сняло книгу. 1906: *Der Zusammenbruch der alten Welt* [\[374\]](#), перепечатка с лейпцигского издания 1907 года, авторства некоего Фердинанда Граутхоффа, в *editio princeps* [\[375\]](#) прячущегося под *nom de plume* [\[376\]](#) «Зеештерн». Пролистало введение. Книга явно предсказывала войну Британской Империи с Германией, спровоцированную каким-то смешным инцидентом в колонии на Самоа, в результате которого Королевский Флот атакует Куксхавен, тем самым разжигая гигантский европейский конфликт.

— Видите ли, когда я жил там, в Европе, — тоном застольной болтовни рассказывал Старик, — меня поразило, в скольких романах, причем, популярных, грошовых, публикуемых в журналах, в скольких повестях описывалось тогда — да и за несколько лет перед тем — такое будущее, на которое мы все более всего рассчитывали: с громадной войной между великими державами, из которого нарождается шанс для свободной Польши. Потом я даже пробовал такие романы коллекционировать — правда, в подобной, как у меня, жизни имущество слабо удерживается, книжка туда, книжка сюда... А было такого десятки, если не сотни названий. В немецкой, английской, даже во французской литературе. Романы Куртиса, Ле Куэ, Коула, Оппенхайма, Эйзенхарта, Нойманна, Хейнрички, Мюнха, Трейси, Бляйбтруа. В основном — о вторжении Германии в Великобританию, а так же о различных войнах империи Гогенцоллернов. Была и такая книжонка, в которой на помощь британцам приходят японцы. А вот эта — загляните в самый конец, ознакомьтесь с финалом военной истории.

Я-оно нашло закладку между зачитанными страницами и фрагмент окончания, подчеркнутый карандашом.

Судьбы мира уже не лежат в руках двух морских держав германской расы — Великобритании и Германии — но на суше они перешли в руки России, а на море — Соединенных Штатов Америки. Санкт-Петербург и Вашингтон заняли теперь место Берлина и Лондона.

— Великая Война висит, висела над головами, и перед Годом Лютов люди в Европе это

чувствовали, в воздухе некая пороховая гарь. И некоторые признавали это даже вслух; и под этой сознательной мыслью каждый обладал уверенностью: нервный, боевой дух вздымается, армия готовится к жестоким сражениям, строятся суда, покупаются пушки, молодежь ногами перебирает, *девушки* офицеров к алтарю тащат, а дипломаты сами в шпионов превращаются. Динамит подложен, бикфордов шнур протянут, не хватало только спички — и так оно и замерзло.

— Но ведь вы, похоже, не из той партии, что считает, будто это История творит людей, а не люди Историю.

— Поглядите-ка в... ой, нет, ее здесь нет. «О *цивилизациях Зимы*» Феликса Конечного. Что является предметом Истории — цивилизация, говорит Конечный, то есть, такое тесное сопряжение культуры, права, морали, религии, исключительное для данных народов, их методика организации совместной жизни.

— Это не обязательно должно быть Государством.

— И не обязано. Возьмите, к примеру, еврейскую цивилизацию, самую древнюю живую цивилизацию в мире. Быть может, по-настоящему бессмертную! В этом-то и разница по сравнению с индивидуальными организмами, в том числе — и человеческими, в категориях которых любят заявлять всякие Шпенглеры: будто бы нарождается, подрастает, расцветает, затем заболевает и умирает всякий организм Истории. Но вот Конечный говорит: законы Истории отличны от законов природы и всяческих других известных человеку систем.

— Они требуют собственной, отдельной науки. Вы это хотите сказать? Собственной, точной алгоритмики, основанной на совершенно новых принципах.

— Да. Потому цивилизация может быть бессмертной. Даже полностью раздавленная, она способна возродиться, отстроиться в видимых, материальных моментах. Каким образом? А таким, что цивилизация — это не земля и города, не замки и фабрики, не армии и популяции, пускай даже и миллионные — но прежде всего и в первую очередь: здоровый, связный союз морали, веры, права и обычаев.

— Место зарождения идей.

— Да! Из этого вырастает все! В том числе — народ как народ, ибо, чем же является народ без истинной идеи народа? А кто строит на лжи и фальши, всегда будет слабее того, кто строит на правде. Точно так же и вождь, который опирается в сражении на лживых сообщениях, который лживыми рапортами руководствуется, идет напрямик к поражению — и точно также, народ, выводящий идеи свои из лжи, направляется к неизбежному краху и распаду.

— В Зиме, следовательно...

— В Зиме цивилизация не погибнет.

— Но переменится ли она в Зиме? Выздоровеет ли? Избавится ли от душащего объятия других замороженных цивилизаций?

— Именно потому, пан Бенедикт, и нужна нам Оттепель в Королевстве и Литве, в Галиции, да и во всей Австро-Венгрии, до Днепра на востоке — но не далее, не в самой России; ей шанс на оздоровление, на осовременивание дать нельзя.

Поставило книжку на место, заново разместились на лавке, опять вытащило папиросную бумажку для новой порции табака. Белый, ледовый свет бил из-за головы; Пилсудский сидел в нем, четко очерченный линиями тела, вырезанный из фона контрастами морозного сияния. Слово одноцветное изображение с витража, когда он замер вот так, задумавшись, с очередной картой в руке — замороженным.

И вот тут увидало его, именно как стеклянный витраж, то есть — насквозь.

Каким образом освободить землю Польши от всех захватов? Одной Оттепели

недостаточно, тут, как раз, нужна громадная, всеевропейская война — или всеобщая Революция, шагающая по свету в соответствии с планами Бронштейна-Троцкого. Пилсудский продавал японцам идеи того, как разбить размороженную Империю Романовых на национальные кусочки, из которых образовались бы независимые страны, но и последующие державы, не угрожающие Японии, например, Федеративная Жечпосполита Польша, не очень-то отличающаяся от Польши Ягеллонов [\[377\]](#). Другие концепции включали присоединение Конгрессового Королевства [\[378\]](#) к империи Габсбургом, но на равных правах, чтобы появилось новое образование: Австро-Венгро-Польша. Все зависело от того, насколько сильно удастся разжать челюсти Истории; иными словами: на сколько поддастся Лёд.

...Пэ-Пэ-Эс именно на этом и раскололась: одни, прежде всего, выступали за Революцию, то есть, за размораживание всей Российской Империи; другие — за национально-освободительную борьбу, то есть — за размораживание Польши и Литвы. В соответствии с тем, что говорил редактор Вулькевич, и что говорят здесь японцы, Пилсудский убедил старую Партию и свою Революционную Фракцию в том, что именно Россия подо Льдом, скованная всяческими византизмами и архаизмами самодержавия, не разогнавшаяся в XX век, связанная в вечном предреволюционном напряжении, только лишь такая Россия способна гарантировать размороженной Польше шанс на справедливый рост до ее естественной государственной мощи и на ее естественное место в Европе. Что является логичным продолжением спора Пилсудского с покойным Романом Дмовским [\[379\]](#): на какой-токой падали должна набраться Польша державных сил — ведь не на Германии с Австрией, а только лишь на слабости замороженного Востока. Правда, быть может, Зюк остается свято уверенным, будто бы Россия, выпущенная из-под Льда, никак не пойдет путем пролетарской революции, как верят «молодые», и отсюда данный спор.

...Но даже старая Пэ-Пэ-Эс, которая соглашается с подобными идеями, не доверяет Пилсудскому! *Не верь Старику!* В чем же конкретно должен не верить ему Отец Мороз?

Но теперь я-онознало: Юзеф Пилсудский. Прав был Изидор Хрущиньский — он увидел ту же самую его единоправду.

— На самом деле, вы — ледняк!

Тот положил карту.

— Хммм?

— По сердцу, от души — ледняк! Зачем вам Лед в России — только лишь для того, чтобы заново облечь им Польшу, как только она возникнет в подходящей для вас форме! — *Я-онозакурило* новую самокрутку. — Дайте-ка угадаю: Государство! Могучая держава, о-о, безотказная диктатура, независимая страна под вашей абсолютной властью! Это уже началось, — махнуло рукой в дыму, — вы уже армию под себя строите, замораживаете людей в иерархиях, я же вижу; самого себя не обманешь; это правда о Юзефе Пилсудском. — ...А вот польская традиция...

Тот взорвался.

— Традиция-говниция! — фыркнул он, плюясь слюной на стол и пасьянс. — Никогда вы не убедите меня в такой глупости, будто бы Польша лишь тогда Польшей может быть, покуда склоничество, склонность к дразгам и своекорыстию, к давнему своеволию терпеть станет!

Он поднялся, прошелся от стены к стене, потом от стены к печи, громко стуча подкованными сапогами по полу, даже *собака* проснулась и подняла седую голову, правда, не открывая глаз; она обеспокоенно вынюхивала Пилсудского.

— Как нам сопротивляться российской Державе? — спросил он, бросив краткий взгляд в окно. — На чем опереться? На спонтанных, романтических порывах, горячем хаосе,

революционном буряне? Нет! Достаточно всего подобного уже было! Пока боевик не будет полагаться на приказах командира как на словах Единого Бога, ни единого шанса против Российской Империи у нас не будет.

— Следовательно, армия.

— Армия! Заплесневелым гражданским тьюфякам может казаться, будто бы так называемые террористы, боевики, бомбы бросающие и взрывающие Державу поработителя, являются силой хаоса, экстремистами Лета — нет ничего более ошибочного! Вы послушайте их хорошенько: за исключением откровенных бакунинцев, все они выступают за Лёд, ба, за Державу еще более холодную — только, чтобы это была их Держава, выстроенная в соответствии с их мечтаниями. Это не мой принцип — это принцип любой революции. А то, что я взрываю мосты? Взрываю, чтобы иметь возможность строить!

— Но что же это за выбор: Держава или Держава?

— Да, знаю, поляки не верят никакой бюрократии, и они всегда склонны к самостоятельным, анархическим действиям. Мы самый штатский народ на свете! Да еще и кичимся этим отрицанием государства, этой культурой отсутствия державности!

В кухне раздался быстрый топот; Старик подошел к двери, обменялся с кем-то парой слов, отступил, но, отступив, тут же вернулся и выплюнул через порог приказ. Люди с топотом вышли.

Потом они мелькнули в окне, на снегу, когда бежали через Тунку; один, другой, третий, с винтовками на спинах, пышущие черным паром.

Я-ононасмешливо фыркнуло.

— На самом деле, словно вашей главной целью было бы так поставить людей под собой, чтобы посланные в бой они без раздумий выполняли всякий приказ начальства, словно тот от самого Господа Бога исходит. Как с кем тут поговорю, ответ одинаковый: «будет так, как Старик говорит», «что Старик скажет, так оно будет и лучше», «слушай Старика». Даже песни: старые, народные, религиозные под Юзефа Пилсудского переделывают! Вот он — идеал Государства! Вот оно — мечтание диктатора: послушание Авраама.

Пилсудский закрыл дверь.

— А вот скажите мне, мой юный математик: неужто солдат не всем приказам должен подчиняться?

— Наверняка, есть и такие, которых не стоит выполнять, независимо от обстоятельств.

— Убивать невинных.

— Убивать невинных, так, — ответило *я-оно* осторожно, вдохнув свежего дыму.

— Ну а кто это может решить? Кто обладает знаниями, подходящими для разрешения вопросов о правомочности войны и применяемых на ней методов? — Пилсудский остановился у печи, погладил собаку, псина облизала ему руку с пробуждающим жалость энтузиазмом. — Сами же видите, в какие мы живем времена: одинарных и двойных агентов, шпииков охранки, заговорщиков, провокаторов и тайных договоров, идущих через континенты, языки и цивилизации. Вот поглядите, от чего сейчас зависит независимость Польши. Кто способен охватить все это одной мыслью, одним предложением? Вот вы, юный Герославский, способны вычислить Польшу?

— Хмм. Возможно... Нет, не смогу.

— Сегодня солдат, который желает принимать самостоятельные решения на поле битвы — а полем битвы, как сами видите, является весь мир — решать, что соответствует добру, а что — злу, такой солдат становится для армии и командира обузой. Сейчас уже нельзя вести войн по законам Лета, то есть, по решению и пониманию шляхетского ополчения. Генералы, объясняющие правоту и необходимость всякого шага, обязательно проиграют уверенным в

механической эффективности генералам Льда. Явные и всеми понимаемые стратегии обязательно проиграют стратегиям тайным, двуличным, с которыми ознакомлены только командующие. И это, если не учитывать самых очевидных различий: что командир потому и командир, что видит он дальше, лучше, резче, чем всякий подчиненный солдатик. Много бы навоевал Бонапарте, если бы выполнял только те действия, с которыми его рядовые согласились в стратегическом и моральном плане! Законы величия отличаются от законов малого.

— Итак, вы ведете своих стрелцов путем террора: посредством слова вождя.

— Этого я тоже не хотел бы, — вздохнул тот. — Я бы предпочел Историю конечную, идеальную.

— Без вождей, — подкололо *я-оно*.

— А вы думаете, будто бы я это для себя, для частного желания? Значит, вся эта власть — является целью? А сами что написали в своей «*Аполитее*»? Если бы я желал только лишь дрожи от переполняющей мощи и абсолютного самовластия, то держался бы Лета. — Он вернулся к столу, взял из колоды новую карту, оглядел пасьянс. — Вождю свойственен не математический расчет собственных сил и сил противника, но риск. Вождь обязан подсчитывать и пребывать там, где расчет уже начинает терять надежность, где имеется только вероятность. В Лете! А подо Льдом — что остается? Математика, пан Герославский.

Пилсудский положил карту — и, вдруг подняв глаза, снова нахмурился, набежал тьмечью, окаменел.

— Но именно это полякам и нужно! — Он сжал кулак. — Льда! Льда! — Грохнул кулаком по массивной столешнице. — Любимый аргумент поляков: эмоции! Любимейшее состояние поляков: нерешительность! Только лишь замороженные в своем могущественном, конечном Государстве, вымороженные от всех тех бунтарских проявлений сарматскости, парламентарной болтовни, массы возможностей вольного выбора, салонной анархии, тех королевских *лишьбыкакостии лишьбымыслия*, крысиного разделения по псевдопартиям — только сжатые Льдом, придавленные необходимостью — только тогда способны они создать великую Польшу!

— Польша победит, поскольку не будет мочь не победить.

— Да! Именно так!

Демон Льда!

Я-оно схватило с лавки, лишь бы вырваться из-под этой тиранической стереометрии.

— И потому вам не верят! Потому высылают предостережения Отцу Морозу!

И тут же *я-оно* перевело дыхание. Взяв в руку костяную пепельницу, сбрасывало в нее пепел ритмичными ударами пальца. Найти внутренний ритм — он всегда приносит покой и отрывает от навязываемых снаружи фиксаций.

— Если бы еще все считали, будто бы что-то способны сделать в этом замысле реального... — буркнуло под нос. — Но, чтобы вы там себе не надумали, собственноручно Льда на карте Европы вы не передвинете. Правда, если именно с таким приказом послали моего фатера на переговоры с лютами... Если кто в ПэПэЭс верит Бердяеву, тот прав в своем испуге.

Сжимая пальцы на пепельнице и самокрутке, сознательным усилием воли и тела подняло глаза от горящего конца папиросы на Юзефа Пилсудского. Тот глядел прямо, разве что слегка сгорбившись, ввинчиваясь в глубины души в поисках зарева наименьшего проявления стыда.

— Слишком долго живете вы в русской земле, — сказала *я-оно*, постукивая самокруткой по краю блюда. — Слишком глубоко все это вошло в вас, за пределами Льда людей нельзя так воспринимать, от подобного отравления единоправдой нарождаются только сектанты-

скопцы да цари-самозванцы.

— И от кого я эти разглагольствования слышу! Что вы там сами в «*Аполитее*» написали! Держава Льда! Государство Небытия! — Он погрозил пальцем, словно добрый дедушка разозорничавшемуся внуку. — Знаю я вас, интеллигентов. На бумаге вы способны доказать преимущества всякой тоталитарной системы, и чем более тоталитарной — с тем большим наслаждением, наиболее поэтическим, набожным слогом; гегели, Марксы, бердяевы, так что иные прогрессивные души в тепленьких салонах всего света воскликнут от изумления, дамочки ручками всплеснут и в ваши объятия падут, студентки с румянцем восхищения по кафешкам читать станут... Но когда приходит кто-то, чтобы реализовать этот совершенный проект, прекрасно описанный в книжке — сразу же из пана интеллигента вся кровь уходит, и закрывает гений глазки: ах, невинная жертва, ах, ах, трупик, покойничек — как же он нехорошо пахнет! Какой он гадкий! Заберите его от меня!

*Я-оно*стукнуло пепельницей о подоконник.

— Ничего вы не поняли! Весь смысл аполитеи заключается в том, чтобы не разрешить одному человеку обладать властью над другим человеком, всю необходимость передавая исключительно Истории — но не для того, чтобы творить непобедимых диктаторов, замороженных в своей диктатуре! Аполитея — это как раз и есть свобода от таких Демонов Правды, как вы! — В этом месте нацелило в Пилсудского палец, палец против пальца. — От диктаторов, царей, министров, чиновников! В ней нет уже места вольным решениям правительственных советников — имеются лишь ясные и очевидные исторические необходимости!

— Не понял? — Пилсудский иронично усмехнулся из глубин своей густой бороды. — Правит История — но кто управляет Историей, пан Герославский? Кто управляет Историей? — Он обошел стол, заходя от печи, приблизившись на четыре, на три, на два шага. — Вы проклинаете людское правления, человеческие диктатуры и империи — но ведь царь, даже самый могущественный, с миллионом чиновников, миллионами шпииков и агентов, с целым арсеналом чрезвычайных указов, кем он является по сравнению с правлением Истории? Беспомощное дитя! Чуть ли не анархист! А попробуй воспротивиться Истории, попытайся сунуть взятку логической необходимости, уприси математику, устраши идею...!

...Именно так! Так вот, тот человек, который возьмет власть над этим аппаратом управления исторического процесса — такой человек — диктатура, более жестокой невозможно представить — царство, больше которого невозможно и представить — окончательная автаркия — самодержавие, равное божественному — такой человек — такой человек...

Непонятно когда, но *я-оно*начало отступать перед Стариком, сбрасывая с лавки шкуры, упустив самокрутку, в конце концов, вжимаясь спиной в стену — а он подступал дальше, целясь пальцем в грудь — его палец победил.

— Герославский! — гремел Пилсудский. — Герославский! Затем я послал вас, за тем вас посылаю, — он стиснул костлявые пальцы в кулак, — чтобы вы схватили Историю за жопу!

Холодно, холодно, еще холоднее.

— А скольких вы послали после отца?! — Подскочило к столу, одним широким махом смело весь пасьянс, карты зашелестели, словно стайка перепуганных воробьев, даже *сабакана* печи морду подняла. — Где вы найдете такого Измаила, как мой фатер? Тот, кто обладает истинным характером, тот вас как раз слепо и не послушается! Абааса вы не зачаруете! Для вас, для Победоносцева, для царя на Дороги кто-то сойти еще и может — эти не спустятся!

Тот улыбнулся, теперь уже ангельски спокойный.

— Именно потому, — сказал, — я так и обрадовался, когда прочитал вашу *Аполитею*. — Он вытянул открытую руку. — Вот вы ссоритесь, но с кем ссоритесь — с самим собой, не со мной, ведь уже прекрасно знаете о себе правду. Мне не нужно вас ни в чем убеждать. Вы же сами мечтаете о Льеде! Правда? Правда. Замерзло. Сейчас же только пойдите к пану Филиппу, покажитесь ему, поговорите душевно, как сын с отцом, как Мороз с Морозом. Ну. — Он сделал еще один энергичный шаг с вытянутой рукой. — Я же вижу, что вы за человек.

Холодно, холодно, еще холоднее. Княгиня Блуцкая, она видела первая. Тряхнуло головой. Что такого случилось той ночью на иркутской улице? Ведь так, на самом деле, люта не коснулось — даже если *я-оно* помнит, будто бы люта коснулось. Из другого, другого прошлого родом.

Старик глядел.

Облизало губы.

— Они должны выслать курьера...

— Не беспокойтесь, до места он не доберется.

Замигало, в глаза кольнула резкая, кристальная белизна, бьющая из окна за спиной Старика.

— Польша подо Льдом, — шепнуло *я-оно*.

— А остальную часть мира можете оставить для себя.

И так вот — над Историей — пожало холодной рукой ледяную правую руку Юзефа Пилсудского.

Выехало часом позже, вступая в гонку с южным Солнцем и казаками. *Адини* Чечеркевич (кривоногий товарищ *Адина*) вели вверх, по покрытым лесом склонам, поначалу до еще глубже забравшейся в горы деревни Шимки, где, как они заверили, живой души за много лет не увидишь, ведь всех землепашцев Зима давным-давно выгнала — а из Шимок по крутому спуску напрямик на губернский тракт, по которому можно быстро перескочить Байкал, чтобы, в конце концов, полностью оторваться от любой погони в Приморских Горах. Японцам, оставшимся со Стариком в Тунках, будет легче вырваться и распылиться по тайге, они ведь не обременены багажом, оборудованием, запасами. Ехало двумя упряжками: тунгусские проводники на своих низко сидящих санях, затем упряжка в четыре оленя с санями японцев, приспособленными к бездорожью и ледяным полям Сибири. На эти, последние, перегрузило багаж из саней Щекельникова, а так же ящик с печкой Теслы, вместе со спрятанным там насосом Котарбиньского и мотками зимназовых кабелей. *Адинс* Чечеркевичем взяли верховых оленей и вырвались на полверсты вперед, проверяя возможность проезда после ночных осадков. Чем выше в горы и глубже в тайгу, тем мороз становился, как бы, тяжелее, злее. Снег трещит под полозьями саней, словно перетираемая лоза. Никто ничего не говорит, все лишь тенисто дышат, даже тунгусы. Господин Щекельников, один раз отвернувшись от поводыев, просопел сквозь тряпки хриплым полусшепотом: — Узнали бы меня. Наверняка схватили того урода, которому жизнь его из чертовой рожи вырвал, он и проговорился. И меня зарезали бы, господин Ге. — Больше же никто ничего не говорил, так что раздающиеся из долины случайные выстрелы слышно было очень четко, когда они неслись протяжным эхо над белым пейзажем. *Я-оно* насчитало восемнадцать выстрелов. Тропа приблизилась к краю обрыва, между вершинами редко растущих здесь пихт и кедров можно было взглянуть напрямик в котловину Тунки. Казаки разъехались среди изб, проверяя следы, ведущие в лес. Раздался очередной выстрел — они спрятались за возможные укрытия. В таком снегу только слепой не прочтает следа, оставленного двумя упряжками с санями, и потому Пилсудский пообещал отстать этот отряд или, по крайней мере, задержать их настолько, чтобы *я-оно* успело съехать на губернский

тракт. Но более всего жалело, что нельзя было подождать доклада тех японцев, выслеженных казаками, так что до сих пор непонятно, какова ситуация в Иркутске, кто же там держит власть, на какой бок перевернулась История, и какие, собственно, приказы направили сюда военных. Похлопало по шубе: снизу пятникова колода Фредерика Вельца. Тесла — живой? не живой? (Нужно как можно скорее сойти на Дороги Мамонтов!) А под картами, в том же кармане — нарисованный от руки Пилсудским эскиз с указаниями, как добраться до Черного Оазиса, могилы, открытой прямоком в Подземный Мир. Секретная гидрография Байкала подскажет вам, пан Герославский, как спуститься к абаасам. И что? — тут же нужно упиться, нажраться тунгетита и молиться, чтобы удачно замерзнуть? Нет, нет, нет! *Я-онотуда* не поедет! Казаки высыпали из-за церкви, отдали согласный залп, помчались в сторону леса. Встало в санях и махнуло Тигрию, чтобы тот ускорил. В Черный Оазис *я-ононе* поедет — куда же затем? Господин Щекельников свистнул кнутом, олени дернули под гору, прыгнуло в снег, чтобы разгрузить сани. Над головой склонялись кедры в сосульках. Упряжка тунгусов исчезала за поворотом. Из долины раздался одинокий выстрел и смертный вскрик. Неоткуда ждать спасения, некуда бежать, нигде нет безопасного пристанища. Снег, тайга, горы, затерявшийся в Сибири человек. Бежало рысцой рядом с санями, даже не слишком кашляя на морозе. При том чувствовало мороз и в костях, гладкое, ледовое движение по внутренним изгибам тела. Мазь помогла не до конца. Бежало в молчании, в тьметистом пару, подсчитывая про себя все совершенные ошибки, и так вот, с каждой учтенной глупостью, запомненное прошлое замерзало в запутанной форме — тонкой, барочной арабеской инея вокруг совершенно уже замороженного Бенедикта Герославского. Ведь неопровержимая правда, ось и стержень всяческой правды — это нынешнее мгновение, этот обледеневший склон, эта заснеженная тайга и эхо отдаленной стрельбы, это чистое, ясное небо, зимнее Солнце, горы под Солнцем, и этот безумный поход в слепой погони за Отцом Морозом: исходящие паром олени, перегруженные сани, Тигрий Этматов и его почитатели абаасов, *Адини* и еще один кривой японец, а еще господин Щекельников (и его ножики).

О кости яма у му кон

— *Эмукол эта!*

— *Апатка.*

— *Или мат!*

Тунгусы что-то высмотрели на Байкале. Вышло из палатки на мороз, посильнее перехватывая доху поясом, обвязывая лицо шкурами. Восьмое утро безумной сибериады — неужто погоня до сих пор шла по следу? *Адинс* Чечеркевичем клялись, что любой следопыт неоднократно потеряется на льду Байкала, в метели, в бешеных вихрях. *Я-оно*сползло по покрытому ледовой скорлупой обрыву на самый край провала, что открывался над верхушками деревьев на гладкую бесконечность Священного Моря. Тигрий Этматов и его двоюродный брат сидели на корточках в снегу, засмотревшись в белизну, переливавшуюся с земли в небо и обратно.

— *Ру, ру, ру,* — урчал шаман.

*Я-оно*сняло мираже-стекла, образ лед-озера тут же замерз. На юго-восточном горизонте, куда пялились инородцы, висела темная запятая, маленькое пятнышко, словно старая царапина на фреске. Как раз сейчас был один из тех немногочисленных моментов, когда байкальские ветры отступают в горы, и снежные занавеси не скрывают лица Священного Моря. Если бы *я-оно*находилось чуть повыше, то наверняка увидало даже саму Зимнюю Железную Дорогу, возможно, даже какой-нибудь товарный склад под черными клубами

дыма, ползущими по льду. Хмм, но, может, никаких складов и не увидало бы — поддерживают ли Иркутск и Холодный Николаевск контакты с остальной Сибирью?

— *Сматри, сматри!* — размахивал руками родич Тигрия.

Напрягло взгляд. Неужто эта черточка на горизонте и вправду движется?

— *Сыргё?* — спросило я-оно. — *Лю-ча?* — Так по-тунгусски назывались «сани» и «русский».

Шаман провел горизонтально открытую ладонь перед грудью, что было знаком отрицания.

— Кто же это? Казаки?

Родич зачирикал с Этматовым, снова они уставились в горизонт. На обрыве в парящем отымете появились господин Щекельников и Чечеркевич.

— Поехали, пан Ге? За четверть часика свернемся.

— Погодите, *ребята* высмотрели кого-то за нами.

Чечеркевич поспешил к тунгусам, размахивая руками и ногами, сунул голову между Тигрием и родичем; сам Чечеркевич неплохо болтал по-туземному, видимо потому Пилсудский и послал его вместе с *Адином*.

Чингиз закурил папиросу.

— Говорил же я: на след попадут, все равно что в задницу залезут, вырвать можно только с кровью.

— *Адин* голову на отсечение давал, что от казаков мы оторвались.

Чечеркевич выпрямился, замахал руками, подскочил, откатил шарф с лица.

— Говорят, что это не казаки.

— И слава Богу! — вздохнуло я-оно.

— Говорят, что это другая погоня.

— Выходят, нас, нас гонят? — отшатнулось я-оно.

— Тигрий хочет подскочить к ним по Дорогам Мамонтов.

— Сначала доберемся до Дороги в Срединном Мире. Вечером пускай покамлают.

Господин Щекельников пыхнул люциферовым дымом.

— Раз уж собирается вторая гонка через холодную Зиму, то не на пустой желудок. Так вы уже обдумали дело, пан Ге?

— Это что, тот горный хутор?

— Половина золотников и сорок, идущих на Лену, покупает запасы у Луция. Тридцать верст не самой тяжелой дороги, на месте будем еще до полудня.

— Это же слухи пойдут. *Тише едешь, дальше будешь.*

— *А голодный едешь, скорее падешь.* Мы и сами кое-чего разузнаем, быть может, есть какие новости из города. Вы что, и вправду думаете, будто бы вся Сибирь за нами выглядывает?

— Ну, кто-то же за нами ехал. Да и сейчас — сами видите.

— За поляками-террористами. А с нашими запасами и кормом оленьим на две недели — навряд ли до Кежмы доберемся.

— А зачем мне на Кежму ехать?

Тот сунул папиросу в отверстие между тряпками, пыхнул черным дымом.

— А куда мы направляемся, пан Ге? Знаю, что сейчас на Дороги Мамонтов, но вот — куда?

Оглянулось на белый Байкал и отдаленную запятую на этой белизне.

— Мы бежим, Чингиз, убегаем.

И такова была правда: неустанная гонка, длаящаяся от Тунки, задерживалась по

необходимости выборанаправления и объявления рациональной цели этого похода. Но уже вчера, когда встали здесь лагерем, сойдя со снежно-бурного Байкала, сложно было отговариваться на вопросы пилсудчиков и Щекельникова; сегодня, хочешь — не хочешь, нужно было принимать решение. Так что — Черный Оазис? Оазис и ледовая смерть? Не дождетесь! Но как тогда вообще приблизиться к отцу? В первую же более-менее спокойную ночь в слабом свете от керосиновой печки рассчитало на карте Пилсудского расположение Оазиса по отношению к отмеченным встречам с Батюшкой Морозом. Если Пилсудский не ошибался, профильтрованный подледным Байкалом тунгетит выходит из земли по гидрологическим трактам, пробитыми лютами по Дорогам Мамонтов, к северо-востоку от Байкала, сразу же за Байкальскими горами, верстах в ста от того места, где семнадцатого и девятнадцатого апреля этого года инженер Ди Пьетро встретил отца (если только не другого абаасовца), перемораживающегося по тропкам камня и глины. Это была последняя встреча, описанная в бумагах Франца Марковича Урьяша. Тут появлялись мысли: тот абаасовец, увиденный итальянским инженером — он направлялся в Оазис или из него? Какова скорость людского метаболизма на Дорогах Мамонтов? Замороженные, перемещаемые токами гелия сквозь геологические формации — теряют ли они полностью находящийся в организмах тунгетит, что обязаны его через какое-то время пополнять? Ведь это же вообще не организмы! Ведь это же не жизнь! Или же итальянский инженер видел там кого-то совершенно нового, не фатера, не Кроули, не Немого, не Копыткина, а кого-то из недавнего, апрельского заморозения? А уже на следующий день другой вопрос постучал в мозги: а что, собственно, Ди Пьетро со своей компанией там поделявал? Какие-такие замеры в Становых Горах он проводил по заказу собственной фирмы или Сибирхожето? В бумагах Урьяша о таких вещах нет ни слова. Наверняка, именно здесь начинается сфера знаний, которую цензурирует Сибирхожето. Неужто зимназовые концерны не догадываются о богатствах, накопившихся в Байкале? (Не говоря уже о загадке того странного тунгетита, что уходит из Байкала). Могло поспорить, что именно таковой была причина секретности черной гидрографии Края Лютов. И уж раз, выкачивая тьмечь насосом Котарбиньского, дошло до идеи Черного Оазиса за пару недель, всего лишь после одной поездки на Ольхон, то инженеры Сибирхожето, даже самые ярые лютовчики, должны были напасть на нее за все эти годы. Почему погиб Кароль Богданович? Где произошел с ним тот «несчастный случай», не в Байкальских ли горах? И что услышал от шаманов Черский, что сразу же после того царь объявил его *государственным преступником* назначил награду за его голову. Нужно было бы выпытать у Пилсудского, а не помогли ли сбегать Черскому именно японцы. Если правильно помнило даты... Он писал про бурятов уже лет десять назад, мог познакомиться с Пилсудским от самого бегства Старика с третьей ссылки, ведь Стрельцы Пилсудского сражаются здесь, в Японском Легионе, большую часть второй русско-японской войны; следовательно: Черский рассказал Пилсудскому — Пилсудский рассказал отцу — отец сошел на Дороги Мамонтов. Могло ведь так быть, могло; весьма гладко все это подмерзает к настоящему времени.

...Вот какие сны о прошлом видело ночами наяву, закопанное под вонючими шкурами, в духоте войлочной юрты, вслушиваясь в хриплые дыхания Адина, Чечеркевича и Щекельникова. Несмотря на усталость, иногда долго не удавалось заснуть. Пробовало раскладывать колоду Вельца, выцарапывая ногтем нолики и нолики — до сих пор все расклады выходили нормально: даже если Тесла и бил Молотом Тьвета по договоренности, слишком слабо расходилась от прототипа волна тьмечи, чтобы можно было легко считывать ее вдалеке от Дорог Мамонтов. А на сами Дороги Мамонтов сходить не было времени — поскольку я-оноубегало.

Пан Кшиштоф принес подзорную трубу, приложил инструмент к глазу, откинувшись особым макаром, чтобы башку на сломанной шее довести хоть до какой-то вертикали, и так осматривал Байкал.

— И что скажете? — спросило *я-оно*.

— Пешком идут.

— Пешком?

— И, похоже, без саней. Но именно в эту сторону, пан Бенедикт.

Выдохнуло черным.

— Ну, не повезло нам. Господин Щекельников — к Луцию!

Чингиз свистнул тунгусов. Через несколько минут остатки лагеря были свернуты и упакованы на сани. Надело на унты чапаки из костей и шкур, чтобы не проваливаться в сугробы, когда нужно будет соскочить с саней и идти рядом с ними; для обычных лыж местность была слишком неровная. Сами тунгусы перемещались по снегу на так называемых «полозьях», очень легких дощечках длиной с аршин, шириной в три вершка — но для них требовалось большое умение и тренировка.

Перед отъездом оглянулось, не осталось ли чего крупного на месте ночлега, только туземцы с японцами убрали все, даже кучу веток, которые подкладывали под палатку каждый вечер. Впрочем, очень скоро упадет снег, который скроет отпечатки на мерзлоте.

— *Ила?* — допытывался шаман.

— Пуций. — Показало на господина Щекельникова. — А потом на Дороги Мамонтов. *Понял?*

— *Мамантав, мамантав,* — бормотал в свои шкуры Этматов, шаркая своими полозьями, словно у него чесалось в паху.

Крикнуло Чингизу, тот щелкнул бичом, сани тронулись.

Быть может, и вправду тогда, на улице, в последний иркутский день, случилось нечто большее. Ведь если бы японцы или тунгусы видели ту правду о Сыне Мороза, которую *я-оно* помнило, ни дня не стали бы шататься по сибирскому бездорожью. На мгновение стащило обе пары рукавиц, двухпалых и пятипалых, достало компас, часы, карту и блокнот, после чего записало (какая быстро, по половине слова между подскоками саней) время и направление движения, а также упоминание о предполагаемой погоне. Без знающих край проводников, навигация здесь была практически невозможной: компас врет по причине магнитных отклонений на полтора десятка градусов; Солнце перемещается по небу градусов на тридцать ниже линии восток-запад; правда, до конца на проводников полагаться тоже нельзя. Каждый день *я-оно* тщательно записывало заметки. На рассвете на термометре считало минус сорок семь градусов по Цельсию — пальцы должны были быстро онеметь, потерять чувствительность, кожа должна была побелеть словно молоко. Но так все быстро это не шло. Тунгусские мази не помогали, поскольку явно им нечему было помогать. Процесс этот был чисто биологическим, подобным тому, через который прошел маленький Пелка.

С другой стороны, теперь догадывалось и об эффекте пальца пана Корчиньского. *Я-оно* коснулось правды, и правда замерзла — но чуточку иная, по сравнению с предыдущими лживыми представлениями, соответствующая чуточку иным прошлостностям и будущностям. *Я-оно* не помнило перемены и не помнило того, предыдущего Бенедикта Герославского, да и как? — правда одна, единоправда — а здесь самое сердце Зимы, не украинские степи Лета. Так что, самое большее, можно делать какие-то выводы по тончайшим несоответствиям, противоречиям с выводами, делаемыми о прошлом на основе того, что не соответствует воспоминаниям. Которые, собственно, точно так же принадлежат вновь замерзшей нынешней реальности, как и тело, более устойчивое к морозу. Ведь *я-*

онопомнит, как дрожало от любого прохладного дуновения еще во время поездки на Транссибирском Экспрессе — а если бы здесь сейчас появился какой-нибудь попутчик из вагона люкс, рассказал бы он ту же самую историю о графе Гиеро-Саксонском, об екатеринбургском морозе, о том, как я-оновыпало из поезда, и про катастрофу на станции Старая Зима? Прошлого не существует.

Так что, в действительности я-оносовершенно не изменилось. Перемена возможна лишь в Истории, а нет Истории за пределами Льда — и нет Бенедикта Герославского до Мороза.

Неоднократно размышляло, что, тем не менее, это можно натренировать. Даже если алетеичная емкость является постоянным свойством, с которым человек попросту рождается — то, даже несмотря на неподходящие физиологические предрасположенности, в жизни многого можно достичь путем усиленных тренировок, из самого упрямства, повторяемого опыта. Пускай, не сколь сильно замерзнешь, то, по крайней мере — кем замерзнешь. Разве не об этом говорил Ачухов в своем последнем поучении о молитве.

Вопрос: как же тогда тренироваться. Сидя боком на нагруженных санях, движущихся сейчас по гладкому склону, без особой уверенности пыталось сложить в кучу варшавские и предваршавские воспоминания; намного легче удавалось призвать те, что касались Транссиба. Как же тренироваться — ну да, имеются схоластические методики: выбери себе тезис и защищай его в компании до последнего. Безразлично какой: тот, иной, противоположный и какой-то еще — чем их больше, тем лучше, чем сильнее они различаются, тем лучше. Ибо только таким образом вырабатываешь и распознаешь в себе откровенные убеждения в вопросах добра и зла, религии и политики, людей и мира: только сталкиваясь с чужими убеждениями. Потому-то христиане, воспитанные среди христиан, такие тусклые, приторные и невыразительные в собственной вере; да, да — расплывчатые, растаявшие.

Наверняка имеются и более грубые методы, заключающиеся в непосредственной ломке стыда. Но здесь импульс должен поступить снаружи — ибо кто же является управляющим собственного стыда? Разве что только панна Елена. Всосало через тряпку в рот мороз, режущий будто алмазная пыль. Панна Елена! Вот загадка: девушка, размазанная по стольким возможностям, что сама на себя глядит словно на какую-нибудь детскую фантазию, рассказик, представленный наполовину серьезно в ходе флирта — и при том, правдивую, о, насколько же правдивую, до головной боли, до сердечной боли правдивую. Воистину, *phénomène de la nature* [\[380\]](#) ..!Воплощенная ложь! То ли и вправду такой уродилась — то ли такой сама сделалась, то есть, рассказала о себе с самого начала до конца в облики Фелитки Каучук?

Но какое же свидетельство можно выставить мужчине, который в подобную женщину западает и подобную женственность разыскивает?

— А вот скажите-ка, пан Бенедикт, — спрашивает пан Кшиштоф, хлопнувшись на сани с другой стороны, — успеем ли мы так, чтобы возвратиться к Рождеству?

— Как Господь даст, как Господь.

И это было самой откровенной истиной, поскольку, и вправду, лишь в милости небес уже высматривало спасения. Отвело мираже-стекла от Адина, чтобы не дать ему возможности для дальнейших расспросов. Тянувшаяся от самой Тунки погоня очевидным образом представляла отговорку: вот, убегаем. Но ведь все они — тунгусы, японцы, Щекельников — тащились зимой через Сибирь лишь затем, чтобы помочь Сыну Мороза встретиться с Отцом Морозом, устроить разговоры с лютами; обеспечить переговоры, касающиеся Истории. Так что, раньше или позднее, придется встать перед ними и сказать четко: Отца Мороза мы не найдем, мир не спасем, и вообще ничего не сделаем в ходе этой дурацкой сибериады.

Тем временем подгоняло Тигрия, чтобы тот провел к Дорогам Мамонтов — ибо это было единственным шансом: получить знак от Теслы, что дела в Иркутске сложились удачно, и что можно безопасно возвращаться.

Но не скрывают ли секреты сами товарищи по сибериаде? У Адинаи Чечеркевича имеются свои приказы от Старика, которых они никак не выдадут; наверняка тот приказал им проследить за соответственным ходом переговоров с Отцом Морозом, цензурировать договоры, ведущие к тем Историям, которые не подходят Пилсудскому.

Или даже тунгусы — в то, что Урьяш нашел подобных оригиналов на месте, при случае, трудно было поверить. Среди книг, захваченных из Иркутска, которые теперь читало в палатке во время метели и пурги, были две, посвященные инородцам (правда, в основном, о бурятах). Так вот, уже в XVIII веке в Сибирь сильно проник тибетский буддизм. Нутуги и толбоны, и даже целые улусы-иргены принимали эту веру, строились монастыри и буддийские святилища, и в этих дацанах духовной опекой над туземцами занимались ламы, постепенно выпирающие шаманов. У бурят деление проходило по линии Байкала: те, что были с земель к западу от Священного моря остались при шаманской вере, и если их и обращали, то в православие, под патронатом Российской Церкви; именно из них Сибирхожето вербовало своих агентов и солдат Подземного Мира. Но и тунгусов тоже каким-то образом должны были охватить родовым управлением проекта Михаила Сперанского. Так сколько же осталось до нынешнего времени шаманов древнего обряда? И сколько из них столь странно обратилось в веру своей к абаасам?

Я-онозаговорило об этом с Тигрием перед спуском в котловину, за которой стоял каменный форт Луция. Снег на затененном склоне был твердый, обледенелый, очень скользкий. Оленей перепрягли, тунгусы вначале должны были спускать свои более легкие сани, помогало им с палками-тормозами.

— А вот скажите мне, Тигрий, как оно случилось, ведь нет же на свете людей, которые сами перед собой признают, что от всего сердца ради зла работают.

— Он?

— Да, вы не похожи на бурят, вы считаете лютов сатанинскими абаасами, злыми духами Подземного Мира, уффф, и все же, и все же — пан Чечеркевич, вы же глядите, куда лапами размахиваете! — и все-таки каким-то образом их почитаете, защищаете их, и теперь помогаете мне защитить их от императорского гнева. Так как же оно так? И ведь не скажете же, будто бы у вас смешались стороны света, верх и низ, небо и преисподняя, добро и зло.

...Можно ли откровенно верить в явную фальшь? А?

Шаман заковылял вокруг саней, зачирикал по-своему, качая плотно обмотанной головой, затем приблизился к Чечеркевичу и что-то долго стал ему рассказывать. Я-онопоняло лишь слова «Ун-Илю», то есть «Лед», и «хакин» — «желудок» и «бёом» — «теснота».

— Он говорит, что оно и хорошо, что люты Землю заморозят, — сообщил Чечеркевич, выбивая свободной рукой на шкуре какой-то плясовой ритм. — Говорит, что люди плохие и заслужили Лёд. Что следует разбудить Дракона, он всех пожрет, и только потом, в брюхе Дракона, Повелителя Льда, там исполнится власть, он, пан Бенедикт, переварит всякого в красивого, послушного мамонта.

— В брюхе Дракона, — буркнуло я-оно, сдерживая сани на склоне, — стиснутые, словно селедки в консервной банке.

— *Лот айят уйдени!* — с энтузиазмом говорил шаман, на каждом шагу вонзая деревянные полозья в темный лед. Они и вправду частенько казались детьми, легко переходящие в состояния счастья и опечаленности, легко к людям привязывающиеся и на людей обижающиеся. В этом шаман ничем не отличался от своих родичей.

Два двоюродных брата Тигрия Этматова (правда, временами они называли себя его братьями, шуринами или какими-то другими родственниками-свойственниками с сложных тунгусских клановых семействах) на лицо и фигуру были очень похожими — одинаковые туловища-бочонки на коротких ногах, одинаковые округлые лица и узенькие, монгольские глазки под черными, прямыми волосами — а уж закутавшись в шкуры и меха, которыми достаточно свободно обменивались в палатке, они делались практически неразличимыми. Спасение усмотрело в то, что хромоногий Этматов четко оставался в состоянии презрения и страшного гнева по отношению одного из родичей, так что достаточно легко можно было указать на родича хорошего и родича плохого.

Правда, через несколько дней с изумлением заметило, что уже иной из родичей является предметом его злости, другому оказывает он милости.

Но замороженной правдой оставалось то, что при Тигрие был родич хороший и родич злой; только эта функция симпатий и антипатий шамана действовала с переменными параметрами.

— Это хорошие, уффф, хорошие поганцы, — сопел Чечеркевич. — Да, грязные и вонючие, но добросердечные. Не то, что якуты проклятые. Там одни только хитрожопые воры, им бы только глаза замылить. Да и подлецы они по природе своей: вы только представьте, сын отца живьем в землю закапывает, такое вот у них на старость с родителем прощание из любви. Кххрр! Как будто бы смерти просто так нет, только в земле...

— Держите-ка эту палку покрепче.

— Ну и водку все инородцы жрут, только вот якуты — это уже пьяницы урожденные, если встретишь трезвого, в газету писать можно. И когда...

— Держи!

Но тут Чечеркевичу обязательно понадобилось почесать голову под шапкой; палка, тормозящая сани на льду, вырвалась у него из руки, и сани всем весом рухнули вниз по склону. Бросилось с жердью под полозья. — Чуок, чуок! — кричали сзади оленям двоюродные братья Тигрия. С саней упал плохо подвязанный мешок, покатился в котловину, десять, двадцать, тридцать аршин, набирая скорость...

— Ну, беги за ним теперь! — рывкнуло на Чечеркевича.

Чечеркевич был человеком расклеенным, то есть, все в нем ходило на подвязках и слюнях, едва-едва, да еще с пьяным поддувом: если шаг, то танцевальное па, Антонов огонь; если движение головой, то голова чуть ли не отваливается; ежели какое-то более сложное действие, то со столькими ненужными, чрезмерными жестами, что глядящий совершенно терялся в этом разболтанном хаосе и терял понятие, а что, собственно, Чечеркевич делает, есть ли хоть какой-то смысл в его работе. Даже на отдыхе его пальцы постоянно подскакивали, веки мигали, колени тряслись, мимика выбулькивала на поверхности физиономии секундными извержениями неясных гримас. В этом он был весьма похож на Ивана Петрухова, то есть на воспоминание об Иване Петрухове с губернаторского бала. Та и отъмет очерчивал его подобным ореолом: мягким, медузообразным.

У я-оноимелись определенные подозрения, только ведь здесь их проверить невозможно. Точно так же, как существуют люди с высокой теслектрической структурной постоянной, выбивающиеся за пределы нормы людской емкости Правды и Фальши (отец и другие абаасовцы), в соответствии со всеми законами статистики должны существовать аналогичные *phenomenes de la nature*, рожденные на другом конце алетеической шкалы. Не живые загадки типа панны Мукляновичувны — но истинные дети Лета, люди, которые никогда до конца не замерзнут в данной форме характера, никогда нельзя будет сказать о них в категориях двухзначной логики, что они такие-то или такие-то. И, конечно же, наверняка

скажешь именно вот это: что они раздерганные, неконкретные, что они расклеенные.

Чем же они отличаются в свете? Действительно ли они так стремятся в энтропию, случайность? Чечеркевич, казалось, ничем особенным не выделялся. Я-онообменялось с ним несколькими предложениями на стоянках и по утрам (поскольку, вечерами, в палатках все были настолько уставшими, что быстро засыпали, едва глотнув чего-нибудь горячего). Быть может, в том-то все и дело — ибо что может быть противоположностью исключительному, необычному? Чечеркевич, Чечеркевич, угрызение совести и рубец на памяти. Когда на него глядишь сейчас... разве не так лютовчики глядели на графа Гиеро-Саксонского в Транссибирском Экспрессе? Здесь это, возможно, видно более выразительно, поскольку в контрасте. А то, что в конце концов замерзло в Краю Лютов — так что с того? Еще перед случаем с лютом у я-онопоявилась сильная убежденность, что, по крайней мере, не родилось алетеичной противоположностью Петрухова; что в тех эскизах Теслы я-ононаходится ближе как раз к Чечеркевичам, чем к Измаилам. Вот вам и вся структурная постоянная Бенедикта Герославского. В Черном Оазисе его ждет верная смерть, так что незачем туда и ехать...

Солнце искрилось на ледовых горных вершинах, гладкая, резко очерченная тень перемещалась по склонам от горных гребней и стекала черной глазурью по белой глазури же снега. Зато в очках с мираже-стеклами граница света и мрака размывалась, как будто кто-то разжег огонь под сковородой Байкальского Края; достаточно было наклонить голову, позволить краскам перелиться (а ведь остались, собственно, только две), и в этом пейзаже холодных гор уже невозможно было провести различия между небом, горными склонами, тучами, ледником, темной долиной. Все они были всего лишь кривыми пятнами яркого света, которые можно было заменить в любой момент. Через подобную Сибирь ехало словно через эскиз углем, выполненный на картоне, совершенный сильной рукой в неистовом порыве: извилины, рывки линий, дуги на половину горизонта, перечеркивающие бесконечность ломаные геометрические формы. А между ними и на их фоне — малюсенькие человеческие фигурки, переданные тоже весьма поспешно и без особой тонкости: без лиц, без пальцев, без каких-либо особенностей, топорные, големоватые, бредущие в клубах пара.

Хутор-форт Николая Пантелеймоновича Луция уселся на перевале над глубокой котловиной, с открытым с востока видом на громадную часть белого Байкала, на длинный отрезок Зимней железной дороги. Это место не было первой железнодорожной станцией Луция. Вначале он работал костровым на Круго-Байкальской дороге, в нескольких десятках верст к югу от Порты Байкал. Когда та линия еще оставалась действующей, Луций отвечал за поддержание там стрелочных переводов и колеи в эксплуатационном состоянии, то есть, следил, чтобы те не замерзали. Транссиб и Восточно-Китайская дороги были построены на материалах Лета, и только с недавнего времени рельсы начали заменять на зимназовые; а раньше нужно было нанимать людей следить, чтобы механизмы действовали, несмотря на самые страшные морозы. Чаще всего на рельсах разводили костры. Но даже и после перехода на зимназо проблемы до конца не исчезли. Это правда, что зимназо от мороза не растрескается, не смерзнется в камень, устройства, выполненные из зимназа не испортятся, зато ледовая заросль обездвижит любую стрелку, опять же, люты-ледовики весьма полюбили железнодорожные пути. А на Байкале со всем этим проблема была двойная — только идиот-самоубийца разожжет костер на рельсах, положенных на озерном льду — отсюда и не слишком выгодное во всех иных отношениях скопление всех разъездных веток Зимней железной дороги на станции Ольхон. Николай Пантелеймонович, после закрытия Круго-Байкальской дороги вначале перебрался именно на Ольхон, где — как гласили сибирские слухи — пробовал торговать в составах опиумными порошками, искусно пряча свой наркотический товар от исправников прямо во льду озера; таково было начало состояния

Луция. А потом на Зимней случился один и другой несчастный случай, и по приказу генерал-губернатора Шульца на высотах Приморских Гор начали строить железнодорожные заставы. Принимая во внимание байкальские ветра и метели, обычно скрывающие плоскость озера, сообщение было основано на световых и тьветовых сигналах: патрули устанавливали возле «съеденных льдом» фрагментов рельсов тьветовые (днем) и световые (ночью) прожекторы, предупреждая ближайшую станцию-заставу, которая повторяла тревогу по линии высокогорных застав, так что через пару минут он доходил до Порты Байкал, Култука и станции Ольхон, где останавливал подверженные риску аварии составы. Правда, это не был канал с большой пропускной информационной способностью, так что *я-оно* сомневалось в том, получил ли Луций какие-либо известия с противоположного конца, то есть, из самого Иркутска.

Хутор-форт, по большей мере, был выстроен круго-байкальским методом, что означает, с обильным применением взрывчатых материалов в скале. Продырявленную гранитную стену затем залатали-заложили, пробивая то тут, то там, окна и двери, а главный и единственный вход на уровне земли был фортифицирован палисадом, который охватывал еще и хозяйственные постройки. Луций, купец второй российской гильдии, хорошо стерег то, что заработал за два десятка лет левых делишек; впрочем, здесь же он держал склады различного товара, по жидовским ценам продаваемых нуждавшимся в нем путешественникам, развозимых по сорочьим и геологическим лагерям половины западного Прибайкалья. Но даже вблизи, с расстояния в несколько десятков шагов сложно было распознать торговую факторию под снежно-ледовой скатертью — разве что из самых верхних отверстий в скале вздымались дымовые столбы, выдающие теплую жизнь внутри.

Навстречу нам вышли два дуболома с волкодавами. *Я-оно* подъехало под палисад. Здесь имелся преysкурант на все, в том числе, даже на впуск животных в нагретое укрытие. Ранее договорилось с *Адиноми* Щекельниковым, что стоянка, по возможности, будет краткой. Втроем с ними вошло в середину, не отвязывая тряпок с лица, не снимая мираже-стекольных очков; уговорилось, что они тоже лиц не откроют. Рубли уже были отсчитаны, платить должен был *Адин*. Разговаривало исключительно по-русски.

В середине, в главных сенях, у огня стояло четверо мужиков, в том числе какой-то военный в унтер-офицерском мундире. Повсюду шастали собаки, малые и крупные, рожденные от волков и обычных псов, с упряжью и просто так; воняло прогоркшим жиром и мочой. Господин Щекельников дышал полной грудью. *Хорошо в краю родном, пахнет сеном и гамном!* Пан Кшиштоф отправился отбирать товары. Николай Пантелеймонович Луций, мужичонка мелкий и косоглазый, сидел в прилегающей к сеням комнате за столом, накрытом белой скатертью, и читал газету; босые нот он выложил на лавку, старушка в черном платье и плотно прилегавшем к голове чепце лечила их какими-то мазями, от которых все помещение и даже сени провонялись пробирающим нос запахом, перебивая даже резкую струю аммиака. *Я-оно*чихнуло в шарф. Господин Щекельников вопросительно кивнул. Указало ему на газету. Тот пошел спросить.

Это было ошибкой. Ну о чем же *я-оно*думало, с таким деликатным делом, заключавшемся в слове, а не в ноже, посылая Чингиза Щекельникова! Как раз успело повернуть голову на жалкий визг щенка — это недоросль в расшитой рубашке, судя по физиономии: сын Луция, в углу возле ведущей вверх лестницы, до крови, до переламываемых костей пинал ногами маленькую псинку — только-только повернуло голову, как вдруг с противоположной стороны дошел другой стон и грохот. Оглянулось в ту сторону. Сбив со стола самовар и отбросив в сторону бабку, господин Щекельников разложил Николая Пантелеймоновича на столе и как раз собирался его душить. Господин Луций брыкался

босыми ногами и дергался в скатерти, словно запутавшийся в саване Лазарь — что, естественно, никак не трогало склонявшегося над ним квадратного разбойника... Громко призвав Адина, бросилось к Чингизу, с ругательствами пытаясь оттащить бандюгу. В конце концов, тот засопел и отпустил свою жертву. Луций поднялся на четвереньки и что-то завизжал сдавленным писком. Сбившиеся в проходе из сеней люди только тупо пялились. Луций, наверняка, взывал к кровавой мести, но Щекельников, видно, раздавил ему гортань, так что слов Николая Пантелеймоновича понять было невозможно. Тем не менее, намерения и смысл остальные поймут очень скоро. Вытащило бумажник с остатками рублей, замахало банкнотами. Прибежал пан Кшиштоф. — Плати и сматываемся! — прошипело ему. После чего, заслоняясь телом и деньгами, выпихало Чингиза из помещения станции и за пределы палисада, к саням. Закричало тунгусам, чтобы те, как можно быстрее, побежали за товарами. Пан Чечеркевич убалтывал волкодавов, одна из собак уже успела его укусить (шуба защитила руку). Подогнало его, чтобы он развернул сани для скорого бегства. Чингиза потащило к другой стороне упряжки, пряча его из вида с хутора за оленями. — Да что же это на вас напало! Вам следовало только узнать у него про вести из города! — На что пан Щекельников сунул бесформенную рукавицу за пазуху и вытащил оттуда клуб мятой газеты. Я-онорасправило страницы на колене. — Это еще за октябрь! — и выбросило «Вестник» в снег. — Но зачем же вы его, на милость божью, душили?! — Чингиз махнул рукой. — Кривое слово мне сказал.

В конце концов, станцию Луция мы покинули целыми, забрав, правда, не все запасы, а за купленные здорово переплатив; на прощание амбалы Луция отдали из окошек залп из ружей, ужасно всех напугав.

...Значительно позднее поняло, что скандал завершился бескровно исключительно благодаря присутствию того военного, наверняка назначенного сюда на случай террористических акций.

Весь день на каждой стоянке мучило Чингиза упреками и вопросами, зачем же это он такую глупость совершил, и в чем там на самом деле было. Быть может, они были знакомы с Луцием по каким-то давним преступным делишкам? Лишь на закате, когда эмоции ушли, и можно было вновь рассмотреть случившееся хладнокровно, то есть, в правде, я-оноотказалось от горячечных умствований и положило на холодный инстинкт лютовчика. Чингиз занимался установкой палатки, злой и обиженный, уже ничего не говоря, ожидая лишь причины, чтобы разрядить на ком-нибудь собственный гнев. Он не лгал, ничего не скрывал. Он и вправду бросился душить чужого ему человека — в самый момент тяжелых обстоятельств, окруженный превосходящими силами неприятеля, что угрожало гибелью ему самому и товарищам — только лишь потому, что хозяин сказал ему кривое слово. Вот вам и весь Чингиз Щекельников. Но разве не знало этого? Что он из тех, что посреди улицы без малейших колебаний способен горло другому перерезать? Что он из тех, которые добровольно отправляется на самые самоубийственные предприятия? Какой еще человек будет забавляться тем, что нянчить Сына Мороза и на острие ножа сойтись со всеми силами Сибири?

И это тоже Математика Льда. Нельзя взять черта в друзья, а потом удивляться, что он деток развратил, женщине в голове замутил, котят для собственного развлечения придушил, а потом еще и наделал кучу в часовне.

— Пан Щекельников?

— Чего?

— А чего же он щенка так избивал?

— Хмм?

— Ну, мальчишка Луция до смерти ведь собаку замордовал.

— У каждого на этом свете должен быть кто-то, кто страх смертный перед ним испытывает, и над кем можно сколько угодно издеваться.

И все-таки это был некий вид слепоты: невозможность заметить единоправды характера. И здесь не имелась в виду сноровка доктора Мышливского или прокурора Разбесова, но обычное людское знакомство со слабостями, иррациональным поведением, безумием. Уже в Транссибирском Экспрессе я-оноборолось с этим различными способами — нужно было въехать в Зиму, чтобы рассчитать простую модель капитана Привеженского; нужно было несколько обедов в доме Белицких, чтобы вообще внедриться в подобный ход мыслей.

Но в чем конкретно заключается это свойство Края Лютов — то есть, черта среды, столь сильно пропитанной тьмечью — что вещи, раз уже охваченные мыслью и языком, легче проявляются здесь в собственной единоправде, в том числе и людские характеры? Ведь это не было свойством ума, ибо человек не приобретал новых свойств к познанию, здесь всякий не становился каким-то великим мудрецом и знатоком душевных тайн. Опять же, не было никаких гарантий, что гораздо чаще на перекрестках неведения мы свернем в сторону правды, а не обмана. Тогда, откуда же появлялась та резкость взгляда у людей, пропитанных тьмечью?

Похоже, что ночью начнется метель, что в эту пору на Байкале было частым явлением, и японцы посоветовали переночевать в одной палатке, разбивая ее в виде широкой юрты, а на жердях второй палатки поставить укрытие для животных. Собак тунгусы взяли бы в середину, но собак из Тунки не взяли; олени оставались снаружи, только с колотушками на шеях, чтобы далеко не ушли. Разожгло печку, приоткрывая заслонку для освещения. Ящик со второй печкой, работавшей на керосине, той, что переделал Тесла, находился где-то среди багажа, разложенного кольцом под стенами палатки. Меха не снимало; юрта более-менее нагревается лишь тесно набитыми человеческими телами. По инородческому обычаю тогда следует раздеться донага и броситься кучей под шкуры — но японцы этого обычая не практиковали, считая весьма негигиеничным.

— *Зманда тыкюлпен*, — заявил плохой двоюродный брат, последним прячась в палатку и зашнуровывая выход. Пан Кшиштоф поставил на печку чайник, разбил мороженую рыбу, тяжелой пилой распилил хлеб. Тигрий Этматов развел собственный огонь, усевшись под противоположной стеной: перед собой он положил глиняную миску, вымостил растительную растопку, подсыпая туда какой-то мусор, порошки и травы, поплевав туда же, вынув что-то из волос, подкладывая все это в смесь, после чего зажег ее. По юрте разошелся неприятный запах, все христиане, как один, ругнулись, подшмыгивая текущими носами.

Тигрий захихикал, весело зачирикал и, протянув руку за спину, извлек из-под мешков длинную костяную палку и бубен, обтянутый окрашенной кожей.

— Он говорит, что мы встали над тропой мамонтов, — сообщил пан Чечеркевич, сбросив малахай и завернувшись в свободную кухлянку, так что из нее выглядывала только его голова и ладонь, когда совал себе в бороду металлическую фляжку со спиртом; в его обычае еженощно было так согреться до полного опьянения, по другому в пути спать он просто не мог.

Напрасно было выяснять, потому ли Чечеркевич такой несобранный-расклеившийся человек, поскольку от постоянного пьянства надолго сжился с мягкими недомоганиями горячечных состояний — или потому обойтись без фляжки не может, что именно таким: расслабленным человеком, размазней он и является. Очередность событий значения тут не имеет, существует лишь правда, замороженная в Настоящем и Сейчас.

— Но вот торговля зимназовая не остановилась, — сообщил Адин, заварив кирпичного

чаю.

— Что, разговаривали с кем-то у Луция?

— Так, парочкой слов обменялся, пока скандал не случился. Спрашивал про цены, были ли какие-нибудь свежие подвозы из города, ведь оно все дорожает, если там война на всю катушку; но услышал лишь то, что зимназо и тунгетит стоят на своем.

— Тогда это означало бы, что Блуцкий-Осей крепко захватил власть для царя над Иркутском и Николаевском.

— Уж лучше помолитесь, чтобы Пуций не послал за нами своих могильщиков.

— И куда завтра, господин Ге? — захрипел Чингиз.

— Сейчас. — Подняло руку, приказывая сохранять молчание, и вынуло из дорожного мешка колоду пятниковых карт. Все знали, что произойдет далее; уже не раз я-онопробовало раскладывать эти шифровальные пасьянсы.

Пан Кшиштоф, меланхолично вздохнув, свесил голову еще ниже и лил кипяток, поднимая чайник выше глаз. Пар затуманил внутреннее пространство палатки.

— Какой ширины эта тропа? — спросило у Тигрия.

— *Сотья биракан.*

— Говорит, что узкая, как поток.

— Хммм.

— Что, господин Ге, не записано это на ваших секретных картах? Там, там или еще там, в стольких там верстах. А?

К счастью, Тигрий начал стучать в бубен. Поначалу он сидел, уставившись в свой огонь, тиская над ним кусок мяса, странно дрожа телом и лицом, по-детски икая и покашливая; затем крупные капли пота выступили на его щеках, веки опали, после чего его охватила болезненная дрожь — дрожь, то пришли духи-проводники, «восьминогие стражи двенадцати улусов». После этого он схватился за бубен.

Господин Щекельников пережевывал строганину, скребя обледеневшую рыбу от хвоста к голове своим ножом-штыком. Я-оновынуло блокнот и карандаш, положило рядом раскрытые часы, перетасовало карты. Чингиз поглядывал на все это исподлобья, с выражением мрачной подозрительности на своем топорно вырезанном лице — но в этом ничего необычного не было. Лютовчик никогда не должен удивляться тому, что человек именно таков, каков он есть. Следовало предусмотреть, как Щекельников на Луция и Луций на Щекельникова может отреагировать, и то, без каких-либо подсчетов, без всей Математики Льда, по одному только «взгляду», что могут сделать даже самые недалекие лютовчики.

Поначалу приписывало феномену психологические основания, вообще физиологические («звериный инстинкт правды»), высматривая его причины в долгосрочном влиянии тьмечи на электрическую деятельность мозга и в тому подобных механизмах — будто бы все живущие подо Льдом проявляют тенденцию к столь резким, уверенным разделам по категориям и совершенно сектантский фанатизм в самых мелких, будничных делах. Теперь же, после нескольких месяцев, проведенных здесь, я-оносудило, что явление, скорее, имеет гораздо более общего с тем, как в условиях Зимы в двухзначной логике возрастает сила правила исключенного среднего. Дело в том, что в Лете не имеют силы аристотелевские законы, будто бы два противоречащих высказывания не могут быть вместе лживыми, ни что если одно противоречащее высказывание является лживым, то второе обязано быть истинным. В Лете можно сказать: «У всякого хорошего черта есть хвост» и «У некоторых хороших чертей хвоста нет», и среди этих двух противоречий не найдешь какой-либо истины. Но подо Льдом все «хорошие черти» и подобные им по определению фальшивые создания выпадают из языка, выпадают из логики. Остается лишь то, что правило

исключенного среднего заранее заморозилось в резком «либо-либо». Потому-то, точно так, как не встретишь в Краю Лютов доброго или хорошего черта, точно по тем же причинам — не узнаешь здесь Тимофея Шульца с заячьим сердцем, ни милосердного, доверчивого Чингиза Щекельникова. Лютовчик глядит, и лютовчик знает: да-да, нет-нет.

Логика Льда — замораживающее разум напряжение теслектрического поля — делает невозможной мысль о предмете, человеке, идее, характере, не помещающемся целостностью очертаний в единоправде или же ее негативе.

Такой вот Чечеркевич — сейчас строящий своему отражению в полированной фляжке нервные шутовские гримасы — в Лете некто подобный совершенно не выделялся бы позой или поведением, не привлекал чьего-либо внимания. Но здесь, подо Льдом, никто не в состоянии видеть его иначе, по-другому о нем думать, иные слова к нему приложить и другим в своих воспоминаниях его заморозить. Как и всякий субъект мнения, остающийся под властью принципа непротиворечивости...

Пам-плам! Пам-плаг! И — *а млуки дуки мулуки! улуууки мулуки!* — причитает пускающий слюну тунгус, раскачиваясь над вонючим дымом, и для разнообразия ежеминутно издавая из себя пронзительные животные звуки. Я-оноволожило две дюжины карт, записало порядок расклада — точка или тире, единица или ноль в соответствии с мерой его невероятности — и, собрав карты назад, перетасовывало их с колодой, пока секундная стрелка на серебряных часах не отсчитывала очередные двадцать секунд; после этого вновь выкладывало последовательность и ставило знак. Пам-плам! Пам-плаг! Хороший и плохой двоюродные братья, выхлестав чайный кипяток и распустив на языке рыбу, закопались в шкуры; теперь в ответ на ритмические удары и причитания шамана, они извлекались на поверхность, словно поднимающиеся из под земли мамонты, медленно, мучительно, застывая в полусне на долгие мгновения. Этматов не глядел, его узенькие глазки были закрыты, сжаты, даже когда он раскрывал их, забрасывая голову назад и пуская слюну изо рта, то лишь вращал белками, ничего не видя и не замечая. Шрамы, сшитые геометрическими стежками на щеках, рябиново побагровели, словно их припек мороз. Пан Кшиштоф кашлял, обмахиваясь заячьим носком — шаманский огонь задымил уже всю юрту. Я-онодышало через рот, не поднимая глаз от карт, замыкая разум перед гипнотизирующей мелодией кампания. Ноль, единица, ноль, ноль. Волна по Дорогам Мамонтов, в соответствии с предписаниями, должна идти с частотой трех ударов в минуту, и это означает, что даже очень короткое сообщение требует около четверти часа для пересылки; более краткие периоды волны слишком затрудняли бы считывание, пики слишком бы сокращались. Мы договаривались, что сообщения не будут превышать тридцати знаков. Поэтому прием занимал около часа: ритм волны чувствовалось после пары десятков перетасовок, конец последовательности распознавало по повторам, а второе считывание было нужным для контроля ошибок. Потому-то, записав таким образом около сотни нулей и единиц, извлеченных из расклада карт, дописывало под ней, тоже выраженный азбукой Морзе пароль из единиц и нулей, приписанный *mademoiselle* Филипов и доктору Тесле: 10110110111011110111111001001, или же AUFERSTEHUNG [\[381\]](#) — чтобы потом расшифровать оригинальное содержание с помощью обратных операций математической логики. Которые Джордж Буль изложил в своем труде «*An Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities*» [\[382\]](#), где, чтобы сформулировать законы логики Аристотеля в алгебраические формулы, он избрал два числовых презентанта: 0 означающий Ничто и Никогда, поскольку $0 \times u = 0$ для любого u , и 1 означающую Вселенную и Вечность, ибо $1 \times u = u$ для любого u . И вот на таких символах Лжи и Правды проводят простые расчеты, например тех, которые альтернативно исключают друг друга, которые два нуля или две единицы всегда превращают в ноль, а единицу и ноль — в единицу. Ведь если

теслектрические волны на Дорогах Мамонтов способен считать каждый, следовало ожидать того, что, раньше или позднее, кто-то реализует идею зарегистрировать такие флуктуации — и задумается об этом именно потому, что теслектрическая волна проходит по Дорогам Мамонтов, и каждые двадцать секунд самые удивительные комбинации идей пробивают искру во всяком мозгу. Для этого и шифр.

Тигрий замолк, улетев (а может, просто от усталости). А я-оновошло в ритм перетасовывания и выкладывания карт, ненамного отличающийся от ритма бубна и стонов шамана: дело было в том, чтобы в повторяемых последовательностях движений отключить дух от тела — тело делает свое, а дух путешествует свободно. Шум метели нарастал, пошатывались стенки палатки. В настоящей юрте для выходящего дыма оставили бы отверстие; но зима в Краю Льда была слишком сильной, чтобы по собственной воле предоставлять морозу хотя бы наименьший доступ. Дым из печки выводила наружу уплотненная труба, но вот дым от шаманского костерка и туманный пар человеческого дыхания — они накапливались внутри, отуманивая, усыпляя, облегчая гипнотический ступор. Единица, единица, единица.

Тигрий пробудился, вернувшись из путешествия по Дорогам Мамонтов, ударил в бубен: всего раз, но сильно, на что хороший и плохой двоюродные братья заколбасились под шкурами. Пан Чечеркевич дернулся, словно ему кнутом досталось, тоже выбитый из каких-то пьяных сновидений. Он выматюгал тунгуса. Тигрий Этматов спрятал палку, выпил из кружки травяной чай и оскалил зубы, освещая вспотевшее лицо широкой усмешкой. После этого начал что-то взволнованно пояснять, похлопывая себя по бедрам.

— Говорит, что за нами черти идут...

Я-оноподняло руку, приказывая молчать, не отводя глаз от часов. И быстро: карта, карта, карта, половина карточной колоды в удивительном порядке холодных и горячих мастей — и очередная единица, записанная в блокноте.

Наконец все сообщение закольцевало два раза. Случились три ошибки, то есть, несоответствия считывания волны или ее отсутствия — там придется принять параллельные версии дешифровки. Послюнило карандаш. Самое начало... Начала нет. Дело в том, что мы забыли определить знак «стоп»; впрочем он, раз исключенный из шифра, для всякого казался бы подозрительным. Оставалось пробовать поочередно тридцать перемещений — пока не появится смысл.

Быстро прокручивало в голове последовательности из нулей и единиц, словно восковые цилиндры, записанные музыкантами правды и лжи.

01011101000101011011000111001000
1011011011101111011111100100110
1110101111110101100111011101110

... —.— ••• ••— •—• —• •—• • —

SCHULZ LEBT.

Шульц жив. Не возвращайся. Царь вокруг. Тесла работает под арестом. Ждем. Сообщение шло кольцеобразно, без начала, поэтому контекст и акценты можно было перемещать в нем как угодно. Ждем. Шульц жив. Не возвращайся. Царь вокруг. Тесла работает под арестом. Или же: Царь вокруг. Тесла работает под арестом. Ждем. Шульц жив. Не возвращайся.

Шульц жив. Значит, он жив и при власти, в противном случае правление императора не

остановилось бы на горизонте, а князь Блуцкий взял бы в свои руки от имени Его Величества Николая Александровича Иркутск, Холодный Николаевск и весь Край Лютов. Тем временем, Шульц-Зимний сидит со своими отрядами в Ящике, а торговля зимназом прекрасно продолжается по линии Транссибирской Железнодорожной Магистральной, и наверняка дипломатические письма проходят от Байкала к Невскому заливу и обратно. Шульц, пока не оправился до конца от чуть ли не смертельной раны, прежде всего он будет хлопотать о расположении к нему самому сибирской промышленности и следить за срочными поставками имперских войск на остывшем японском фронте: в этом заключается золотая пайца бывшего генерал-губернатора, нынешнего сибирского самодержца, кто контролирует Транссиб, тот держит нож на горле Владивостока и всей восточной Азии; потому-то Санкт-Петербург не отсечет Шульца от Европы, блокируя Транссиб где-то перед иркутской губернией. Это тесный клинч, в котором никто из борцов не способен рвануть сильнее, чтобы другой тут же не ответил сокращением собственных мышц.

(Политика Льда). Ибо Японская Империя, естественно, тоже желает выиграть новую для себя ситуацию, и увидав подобный шанс, сразу же забудет о всяческих мирных договорах и торжественных присягах. Теперь Шульц должен стеречь Транссиб словно родовое сокровище. И по той же самой причине Юзеф Пилсудский со своими стрельцами из Японского Легиона любой ценой станет пытаться взорвать железную дорогу. Наверняка, придя в себя, Шульц первым или вторым приказом послал казаков для охраны Транссиба и ликвидации японцев.

...Ждем. Они ждут. Чего ждут? Тесла работает, это ясно само по себе: в противном случае, сообщение вообще бы не пошло по Дорогам Мамонтов. (Сообщение говорит о Тесле в третьем лице — кто его редактировал, *mademoiselle* Филипов?) Раньше или позже, Шульц все же избавится от изобретателя-серба. Спрятало карты, упаковало на место блокнот и колоду. Чай остыл. Граф держит Николу в качестве очередного козыря в торгах с царем (сколько *Его Императорское Величество* даст за то, чтобы оставить в живых Доктора Лета с его убийственными для лютов знаниями в голове?) и с местной оппозицией (ибо, пока Тесла жив, магнаты Сибирхожето не могут жить в безопасности от Оттепели. Но выторгует ли граф подобным образом нечто постоянное? Независимую державу...? Пережидая, шантажируя, играя на заморозку *status quo*. С другой же стороны, ради силовой реакции Николай II должен был бы решиться на отсылку армии на байкальскую войну... С Японией на шее? Он этого не сделает. Все-таки, очень сложно поверить в какую-либо значительную политическую перемену подо Льдом.

...Но ведь урвать подобным методом собственный доминион легче всего именно в подобной феодальной стране, основанной на принципе самодержавия, где нет никаких санкций кроме санкций именно самой власти, никакой иной санкции, легитимизирующей правление того или иного автократа. Ибо его выбирает ни народ или народные представители, здесь повелитель не зависит от права (наоборот: право зависит от него, его воля является правом), и вообще, мера правоты власти, отличная от этой, не существует: именно он держит власть, следовательно, такова была Божья воля. Самозванец, которому повезло — это помазанник Божий. Право, компромисс и договор между людьми не имеют силы там, где все постоянно высматривают знака Правды.

...И царь прекрасно это понимает — отсюда его вечная недоверчивость и террор по отношению к подданным, страх перед талантливыми министрами, генералами, чиновниками. Разве не об этом говорил Франц Маркович на губернаторском балу? *Я-онов*грызлось в сырую рыбу, которая уже хорошенько опаяла, по причине чего ложилась на язык ослизлым, полудохлым червяком. Принцип Правды организывает российскую жизнь во всех сферах,

от обычая до высокой политики.

...Потому-то и нельзя сказать, что даже после окончательной победы Шульца что-либо здесь переменится. Пан Поченгло перехитрил здесь самого себя. Никакая заря свободы над Краем Лютов не встанет. Жили в иркутском генерал-губернаторстве, где граф Шульц-Зимний держал всех за задницу от имени Его Императорского Величества Николая Второго Александровича — теперь станут жить в так или иначе названном иркутском государстве, где граф Шульц-Зимний держит всех за задницу во имя графа Шульца-Зимнего. Действительно ли *абластник* считали, будто бы разморозят здесь Историю посредством хитрого карамболя, запущенного из-за пределов Льда? Ничего не изменится. Один символ будет заменен другим символом, но на самой сути уравнения это никак не отразится. Всегда будет двоюродный брат хороший и двоюродный брат плохой.

...Пережевывало гадкую рыбу. Ничего не изменится, и Шульц не станет стремиться к перемене. Даже если бы *я-оноч*его-нибудь для него у лютов выторговало...

— Невозможно их убить. Они уже не живут. Они питаются смертью.

— Что?

Тигрий Этматов уселся на бубне, чтобы подчеркнуть вес своих слов.

— *Йоко-Аваахе, ниу-ун.*

— Говорит, что, уаах, — Чечеркевич широко зевнул, — что это якуты-авахиты, шестеро чертей.

Сделало глоток, запило жирной жидкостью.

— Спроси его, знает ли он, кто их выслал. Царь? То есть, охранка, князь Блуцкий? Или Шульц?

— Он не знает.

— Хмм, при такой метели мы от них и так оторвемся.

— Он говорит, что те идут не по следам в Срединном Море. Их ведет, уаах, якутский шаман. — Чечеркевич сделал очередной глоток из фляжки и вытянулся под шкурами полулежа, зацепив при этом локтем похрапывающего господина Щекельникова, на что тот развернулся во сне и стукнул кулаком Чечеркевича по шее. — Уфф. Говорит, что нужно, хмм, отдаться под опеку. Спрашивает, чего вы там наворожили.

Уже раньше пыталось объяснять, что это никакая не ворожейная магия, проводимая наподобие их шаманских предсказаний на вареных и жженных костях — все напрасно.

— Это наука, понимаете? — на-у-ка; а не какие-то там чары и суеверия.

— Он говорит, мmmm, говорит, что это высшие духи выбирают шамана, а не сам шаман выбирает.

После чего, размягченный удачным внетелесным полетом, Тигрий Этматов ударился в откровения — в тесной, задымленной палатке, в наполненной сажей полутьме и жирной сырости, в то время как снаружи воет метель и трещит мороз.

— Шаман с самого начала, с детских лет отличается от других, и всякий день страдает от такого отличия; он иначе видит мир, иначе видит самого себя.

— *Айя!*

— У шамана слишком много костей, на одну кость больше, чем нужно.

— Что?

— *Яма у му кон!*

— Сто и одна. Эта сто первая кость, ага, понял — эта кость, всегда это какой-то дефект, увечье. Либо же шаман в детстве переживает смертельную болезнь, в результате чего на всю жизнь остается искалеченным, обезображенным. Или даже умирает, а духи его оживляют в соответственном, древнем ритуале: только теперь он сложен в кучу не из того же самого

материала. Или... Или у него что-то там ломается в середине. Во всяком случае, сто первая кость отличает его от всех людей и обездоливает его в будничной жизни.

— К примеру, одна нога короче.

— *Айя!*

— Далее, шаман всегда видит, как невидимое отклеивается от видимого. Хмм, сейчас...

— Дух от материи, — произнесло *я-оно*, перемалывая деснами последний кусок рыбы, совершенно уже лишенный вкуса.

Чечеркевич с Этматовым зачирикали, помогая себе руками.

— Дух от материи, — промычал наконец японец. — Этот мир, — обвел он рукой палатку, — гнетет их, мучит. — Он был им, ага, навязан, их осудили на него; это он является причиной болезни духа.

— *Айя!*

— И они это непрерывно чувствуют. И пытаются вырваться, освободиться.

— Третьей душой, — буркнуло себе под нос, — в Верхний Мир.

— Шаман, — продолжал пан Чечеркевич, сам уже впадая в поучительно-болтливый тон, — живет под властью невидимых принуждений. Он говорит: под властью духов. Что шаман делает, это не шаман делает, а делается это посредством шамана. Да?

— *Айя!* — хлопнул в ладоши Тигрий и быстрым жестом представил над догорающим в миске огнем: тасование и раздачу карт. И при этом широко усмехнулся.

Неужто он все так же считает, будто бы *я-оно* проводило здесь карточный ритуал из какой-то шаманской магии? Что тоже взлетало на Дороги Мамонтов, только вместо бубна и дыма — помогая себе в этом колодой, часами и блокнотом?

— Скажи ему, что я математик, а не шаман, — буркнуло в ответ. В нервном порыве начало разыскивать табак и папиросную бумагу. Рука вернулась к кружке, судорожно стиснула ее. — Костей у меня имеется, сколько следует; родился я без какого-либо увечья. Вот пускай он подумает над тем, куда тут без опаски отправиться, на какие более широкие Дороги Мамонтов, при считывании были ошибки, пару раз пришлось угадывать волну.

— Он говорит, что подойдем от Мурины Оноцкой на Лене, на тройную развилку Дорог. И он говорит, что там вы его наверняка и встретите.

— Чего?

— *Угавют-Ую-Нин!*

Вот это было уже слишком.

— Я понятия не имею, где разыскивать Отца Мороза! — Метнуло кружкой в стенку, та отскочила от жерди. — Вы понимаете, Тигрий? Все эти карты, все эти расчеты, секретные вычисления, следствия о черном прошлом отца, договоры с политическими чертями — все это не стоит и копейки! Я ничего не выяснил! Бегу по Сибири, потому что за мной гонятся, но вот куда — куда — а никуда! И вот узнаю, что пока что даже в Иркутск не могу вернуться. А тут еще Шульц или царская охранка шлет за мной туземных следопытов, каких-то пожирателей трупов, как сами говорите — ну что?! — заорало на Чечеркевича, который уже не переводил Этматову, а только пялился на этот непристойный взрыв с дурацкой, перепуганной миной. — Ну что?! Не могу я больше правду от вас скрывать. Нет никакого плана! Разве что кто добровольно согласен в ледовую могилу, пожалуйста, можем пройти к источникам байкальского тунгетита — кто тут доброволец?

— Да успокойтесь вы, — шепнул из-под одеяла *Адин*.

— Он говорит... говорит, что...

— Может заткнешься наконец! — рывнуло на шамана, закутываясь в шубу и укладываясь боком ко сну.

— Он говорит, что вы сильно перемудрили.

— Пфффх!

— Сильно, сильно перемудрили. — Японец заглотнул дым и раскашлялся; шаман ждал. —

Но почему вы не подумали о том, что, прежде всего, это родитель желает найти хута, то есть, сына своего?

...И он говорит, что...

Тут вновь заговорил небольшой бубен искалеченного тунгуса; пан Чечеркевич взялся переводить слова пения:

— Не затем ли вы отправились из города в Зиму широкую? Не затем ли просили вести себя к самым широким Дорогам? Половина сердца в огне, половина сердца во льду; вы идете к нему так, чтобы не дойти, ищете, чтобы не найти. Только ведь как отец, с абаасами ходящий, может остаться слепым к черному сиянию сына? Как он не может выйти к нему, когда хута поспешил к нему с раскрытыми объятиями? Его псы, его волки и медведи — это он о духах говорит — проведут его к тебе через Подземный Мир. Достаточно выйти на полпути, протянуть руки, открыть юрту. И позвать, как сын отца. На мамонтовых раздорожьях. Как же отец может не прийти к сыну? Как может он не прийти? Даже если бы держал на плечах весь Ун-Илю. Придет.

О множестве темни [\[383\]](#)

Тьмечеметр имеет форму трости, законченной крючковатым маятником. Способ применения похож на способ применения вращательного термометра: нужно встать на свободной площадке и закрутить маятник. Трость толстая, с зимназовым «наростом» под крюком — там размещается небольшой теслектрический генератор с заранее известной производительностью и строением, гарантирующим стандартную структурную постоянную, Q . Тьмечеметр измеряет давление теслектрического тока, U_w , выделяемого по крюку в воздух. Поскольку удельные поглощающие способности Q_1 и Q_2 (то есть, постоянная для воздуха) нам известна, раз мы знаем емкость генератора и само давление — то легко вычислить и последний элемент уравнения: напряжение окружающего теслектрического поля. Чем ниже давление на тьмечеметре, тем меньшей будет разность потенциалов. На внутреннем дворе Физической Обсерватории Императорской Академии Наук в день спокойного неба, Тесла считывал с делений, вычерченных на трости, сто двадцать с половиной темней. В связи с этим, он приписывал губернскому городу Иркутску изоалетею в девять десятитысячных нокты. Направляясь на север, к месту Столкновения, следовало ожидать систематического прироста Мороза. В день после спуска с гор, на широте пятьдесят четвертой параллели, я-оновытащило тьмечеметр из-под печки Теслы и на рассвете, перед тем, как свернуть лагерь, закрутило *устройством* над головой, исходя черным паром под молочно-белое Солнце. (Тунгусы схватились за свои железные амулеты). После этого записало результат считывания, одним росчерком карандаша замораживая календарь.

7 декабря 1924 года, 116 темней.

Тунгусы принимали все эти действия за какое-то колдовское суеверие, и этому нечего было удивляться, но заметило и господина Щекельникова, как тот украдкой крестится. А японцы, вроде бы и образованные европейцы, люди опытные в вопросах Льда, тоже во время замера тьмечи старались очутиться где-нибудь с другой стороны лагеря, за животными, за палатками, обернувшись спиной. Когда же пробовало у них выпытать, поначалу веселыми

словами, те отделялись пустыми словами.

Интересно, насколько странно пересекаются здесь тропы науки и суеверий! Все веселье ушло, когда дошло, что распутать их никак не удастся: это паломничество велось к Батюшке Морозу, сошедшему на Дороги Мамонтов и везущему Историю в упряжке лютых. Как окончательно переложить на язык науки подобную сказку? Это невозможно и, говоря по правде, даже и не следует пытаться. Ведь именно потому и идут они послушно и не подняли бунта, когда стало ясно, что до сих пор *я-оно* вело их вслепую, неразумно — именно потому, что ими руководит не разум, не рациональный расчет. *Я-оно* замерзло Сыном Мороза, и вот вам последствия этого.

И вот потому уже не только карты вечером, но и тьмечемтр поутру — ритуалы математического шамана. До сих пор с товарищами по путешествию много не разговаривало, чтобы не выдать себя с отсутствием плана; теперь же не разговаривало вообще — потому что не о чем было говорить: вместо того, чтобы срастись под Морозом с языком первого рода, языки второго рода треснули по всей своей длине. Все они были чужими людьми. Глядело на них на стоянках и во время езды с тихим изумлением — словно сквозь перевернутую подзорную трубу, отодвигающую образ предмета в бесконечную отдаленность. Они вымывались из собственных очертаний на мираже-стеклах, так что если долгое время не шевелило головой, те успевали расплавиться в лужу бесформенной белизны, разлиться по снежной равнине и по широкому горизонту: и даже следа не оставалось. Впрочем, а что может спастись в этой белой бездне? Пропадали целые народы и географии.

Ведь все они были чужими людьми. Тунгусы — дело понятное, инородцы. Но ведь и пилсудчики — меланхолический пан Кшиштоф вместе с разболтанным Чечеркевичем — если бы их встретить в каком-то из иркутских салонов, не стоили бы даже краткого слова, взгляд соскользнул бы с их лиц после первой же секунды, после самого слабого прикосновения гештальта их единоправды. И господин Щекельников, который, пока смертельная необходимость не потребовала иного, оставался всего лишь грубо очерченным эскизом квадратной фигуры; тем вечером в подледной забегаловке обменялось с ним большим количеством предложений, чем за все предыдущие месяцы. Все они были чужими людьми, и они останутся чужими, даже если бы прожило с ними в тесной палатке долгий сибирский год. Они чужие не потому, что их не знаешь, но по причине совершенно чуждой геометрии их характеров.

Теперь лучше понимало инженера Иертхейма. Противоположностью приятеля является не враг, но особа, которую даже не замечаешь, которая тут же выпадает из взгляда и памяти. И что с того, что проведешь с таким вот Чечеркевичем сотню долгих вечеров, раз вас объединяют только банальные слова о погоде, оленях, чае и отмороженных пальцах? А даже если и удастся узнать его поглубже — узнанное не возбудит более жарких эмоций, стечет без следа.

И вот теперь оценило всю необыкновенность панны Елены. Случившееся в Транссибирском Экспрессе — из того, что помнило о случившемся там — это замыкание симметричных характеров, встреча приятеля с приятелем, одного друга с другим. Прежде чем панну Мукляновичувну узнало, прежде чем впервые увидало ее в вечернем полунеглиже в коридоре вагона-люкс, ба, еще до того, как уселось в тот вагон — *я-оно* уже было ее приятелем. Ее последующие слова, высказанные и не высказанные, ее обманы и правды, ее жесты и отказы от них, несмотря даже на то, что осуществленные в самой глубине Лета — они не имели да и не могли иметь какое-либо значение. Холодная Математика Характера все заранее предопределила. Елена понимала все это лучше, чем кто-либо еще. *Встреча человека с человеком никогда не скучна: нечто правдивое прикасается к чему-то правдивому.*

И обмануло бы себя, утверждая, будто бы теперь, в Морозе, не думает все настырнее о черноволосой девушке. Она возвращалась по утрам; приходила непрошеной вечерами; во время езды и марша через тайгу, высвечивалась из снега, слепящего на мираже-стеклах, достаточно было всего лишь прищурить глаза. Загадка, феномен, истинная ложь, *женщина*. А прежде всего: фантом прошлого. Ведь она же не существовала. То, что существовало, это теплый умственный мираж в форме болезненно худенькой девушки, свободно перелетающий от одного воспоминания к другому. Приятно было забыться после наступления темноты, в коконе заячьих шкурок, прижавшись к печке, в тошнотворном отблеске — тень туда, тень обратно, и вот уже кошмар *красавицы* склоняется над тобой. Раскрыть глаза пошире, протянуть ей руку... Спало. Она же гладила по щеке прохладной рукой. Иногда, поздно ночью, между похрапываниями господина Щекельникова слышало ее тихий, чахоточный кашель. Не висело на небе *Черное Сияние*, не снились более глубокие сны. Панна Мукляновичувна существовала настолько, если о ней, аккуратно, думало. То есть — все настырнее.

Еще в горах появилось опасение, что это легко способно переродиться в очередную вредную привычку. Ведь с кем можно здесь словом перемолвиться — с *Адином*, *Щекельниковым*? (Все это ведь были чужие люди). Вот и начнешь болтать с неосуществимыми мечтами из памяти. Неужто близилось одиночество? *Я-оно* не знало одиночества в течение всех тех варшавских лет, проведенных над уравнениями и теориями, не познало его в отчаянной растерянности поездки в Транссибе, не чувствовало себя одиноким даже после прибытия в Иркутск, такого ощущения просто не помнило. Одиночество отравило душу сейчас: в тесной, душной близости чужих людей.

По причине животной, панической реакции — вновь сбежало в чтение. В тех книгах, взятых из Польской Библиотеки, земляки (путешественники и этнографы) описывали тайные обычаи различных сибирских народов; крохи не захваченного цензурой знания можно было извлечь из романов Серошевского. После того, что Тигрий наплел про особенности шаманизма, особо выискивало фрагменты, касающиеся именно его. В повторяемых из вторых рук обширных цитатах у поляков сохранились и российские труды, такие как «*Эволюция черной веры у якутов*» некоего Трощанского Н.Ф., полностью запрещенная цензурой Сибирхожето. Под кистью свисавших с лиственниц сосулек, под ледовым навесом во время стоянки в овраге, у огня, пляшущего на смолистых щепках — считывало эти знания с холодной бумаги, трещащей в рукавицах, словно громадный пласт инея.

В сообщениях расспрашиваемых шаманов всегда появлялись ощущения разрывности: всегда в их жизни имелся такой момент, когда прошлое полностью отрывалось от будущего, а после того, как их, шаманов, вновь слепили, сшили назад — они уже не совсем друг другу соответствовали. Этот диссонанс, этот изъян внутреннего расщепления (словно дефект, скрытый в неупорядоченной структуре металла), та память о незавершенном замерзании — именно они делали человека шаманом. Как правило, это была смерть. Кандидат в шаманы умирал — поваленный тяжелой малярийной болезнью, съеденный духами, брошенный в прорубь, напоенный ядовитым отваром — причем, в мир он возвращался уже измененным, то есть — шаманом. В точке дискретности, где переламывалась его история, именно там цвели новые воспоминания шаманов: будто бы «взаправду» они родились в каком-то ином месте, от других родителей, в другом улусе, под другой звездой; что носили они иное имя; что все их шаманские знания ничем новым, приобретенным не являются, но принадлежали им с самого начала, они обладали ими с самого начала, живя в качестве шаманов (чего кроме них никто и не помнит); что в «действительности» гораздо больше времени, чем между живыми, проводили они с духами в Верхнем и Нижнем Мире. Через момент дискретности, как

правило, их проводил животный духовный проводник — медведь или громадная, железная птица. Речь шла о земле, железе и льде. Речь шла о боли: четвертовании, соскребывании мяса с костей, извлечении внутренних органов и замене их новыми, каменными и железными, впуске новой крови; и все это было ужасно больно. (Разрыв памяти сопровождался памятью о разрыве).

Вечером седьмого декабря, в лагере, неподалеку от наполовину замороженного в камень люта, *я-оно* подсунуло под нос Тигрию физическую карту округ, от Приморских Гор до Куды, попросив указать, где находится та самая, конкретная развилка Дорог Мамонтов. Этматов долго раздумывал над картой, покачиваясь вперед-назад на пятках, так что показалось, будто бы он запал в транс; в конце концов, он ткнул пальцем в какую-то точку. *Я-оно* наклонилось, просвечивая себе лампой.

— Так мы же сейчас именно здесь и стоим.

— Завтра, — запинаясь, произнес тот. — Не-да-ле-ко.

— На туземцы слова только детям доверять, влез язычник среди панов, христиан выебаны, — бурчал господин Щекельников, развешивая на жердях вонючие носки.

И хороший, и плохой двоюродные братья согласно захихикали.

8 декабря 1924 года, 110 темней

На Дорогах Мамонтов стоял замерзший труп лошади и наполовину сгоревшие останки европейских саней. Лошадь держалась на трех ногах — одну, похоже, отгрызли волки, пока она до конца не замерзла и не покрылась ледовым панцирем.

Я-оно долгое время присматривалось к этому памятнику, пока японцы с тунгусами разбивали палатки и перетаскивали багаж.

— Здесь? Ты уверен?

— *Да. Здесь,* — подтвердил Тигрий и топнул лыжей по ледовой корке. — *До-ро-ги Ма-мон-тов,* — прищелкнул он языком, после чего развел руки, как будто показывая размер пойманной рыбы.

Округа — если не считать трупа и погорелища — ничем особенным не отличалась. С севера и северо-востока наступал хвойный, лиственнично-сосновый лес, сильно покрытый льдом; к югу открывалась белая равнина. Восточный горизонт заслоняла волнистая линия Приморских Гор.

— Как долго... прежде, чем придет?

Шаман энергично замахал руками. (Вспомнило, как на поляне при Транссибе срывал с лица паутины тьмечи — но кто? не он же ведь). Замахал, завел глаза, поцарапал свои шрамы, дернул укороченной ногой, ритуальным жестом показал на север и на землю. Поняло, что сейчас он спустится за отцом на Дороги.

Отстегнув лыжи, обошло по кругу плененные во льду сани. Слегка перевалившиеся набок, с врезавшимися под поверхность почвы полозьями, с выпяченным к Солнцу, угольно обгоревшим задом, те представляли собой картину жалких развалин; множество таких придорожных жертв видело у самых рогаток Варшавы, на границе Лета и Зимы. Откуда же взялись здесь эти — посреди Оноцкой возвышенности, как раз на развилке Дорог Мамонтов? Лошадь стояла, подкинув голову, словно собираясь панически заржать, все еще в хомуте с вожжами. Все это выглядело чуть ли не так, будто бы лед сковал ее посреди движения; словно она не успела от льда убежать. Почти приклеивая нос к молочному-белому кристаллу, заглянуло вовнутрь саней. Там на сидениях лежали какие-то бесформенные свертки, удлинённые по форме, заслоненные грязными пятнами во льду. Останки незадачливых путников? Загадка была настолько сложной, что по следам сохранившейся во льду материи

невозможно было сделать вывод о времени: когда конкретно встретило несчастье эту упряжку? Месяц назад? Год? Десять лет? Дышло было переломано, сиденье возницы треснуло. И откуда эти следы гари сзади? Что их убило — огонь или мороз? Горели, гоня через Сибирь, и все же — что здесь приключилось?

Господин Щекельников с топором на плече направился нарубить дров (Вначале необходимо разжечь костер, чтобы хоть как-то затронуть окаменевший ствол). Если придется ждать здесь долго — возможно, было бы разумнее устроиться в какой-нибудь избе? Или, хотя бы, поставить юрты на ящичных лесах, как того требовал обычай? Укрылось в палатке, вытащило карты и отчет Министерства Зимы. Еще на Цветистой вычисляло скорость Отца Мороза на Дорогах Мамонтов. 390 метров в час, восемь и три четверти версты в сутки, но предполагая, что он не спит, не устает, не останавливается (что не живет). Только все это и так зависит, где застанет его призыв Тигрия Этматова (если вообще застанет). Ведь как раз сейчас он может находиться под Норильском или за Якутском. Быстро посчитало в уме. Принимая за место старта точку Столкновения, то есть, более-менее, геометрический центр его путешествий, записанных Урьяшем, получило расстояние в 860 верст. Когда же в таком случае он прибудет? Не раньше, чем через сто дней (если не живет).

...Но он может, аккурат, находиться дальше, может находиться ближе, но подобный расчет кажется наиболее вероятным. Сто дней, три с половиной месяца, до конца марта. Запасов, согласно последних оценок пана Кшиштофа, хватит на четыре недели. Мха и сушеных ростков для оленей — на дольше, если только их не принуждать к ежедневным усилиям. Но что потом? Ладно, олени хоть что-то способны выкопать из-под снега [\[384\]](#). Можно охотиться. Правда, невелики шансы на то, будто бы что-то живое на этой ледовой равнине приблизится на расстояние выстрела. Конечно, в какой-нибудь Богом забытой станции или фактории на остатки рублей можно подкупить еды и керосину. Правда, не пуская на сей раз Чингиза среди людей, не рискуя раскрыть Сына Мороза. Но не будет ли большей опасностью выслать для этой цели одних японцев с *деньгами*? А что, если там, в фактории, уже поджидают с царским приказом на арест? Ведь если бы даже граф Шульц и остался верен договору, это ведь уже не его земля, не его *власть* —но Николая Романова.

...Похоже, что-то успело перемениться. Широкая развилка Дорог, волна должна идти мощная — вытащило колоду, открыло крышку часов. Чечеркевич соскребал грибок с обмороженных, покрытых пятнами ступней. *Я-оно*отвернулось к стенке, разложило первую последовательность. Ноль.

Через час уже было понятно, что ничего не изменилось. *Не возвращайся. Царь вокруг. Тесла работает под арестом. Ждем. Шульц жив.* По-видимому, это самое известие шло с самого начала. Наверняка, для этой цели Тесла приспособил к прототипу Молота Тъмечи какой-нибудь автомат. Доктора и *mademoiselle* Филипов уже могли арестовать и вывезти из Обсерватории, их могли даже убить — а Молот продолжает долбить записанную в теслектрическом поле механическую последовательность. До тех пор, пока не придут казаки и не разобьют *устройства*. Пам-плам! Пам-плаг!

Я-оновскинуло голову. Это Тигрий в своей стоящей рядом палатке барабанит в свой бубен и хрипит сквозь зубы словно резаное живьем животное. Спрятало бумаги, обвязало блокнот резинкой и клеенкой, вышло на южное, снежнобелое солнце (отраженный луч ударил в глаз, не защищенный мираже-стеклами). На северном горизонте, в стороне Льда, от самого Сердца Зимы — нарастал вал чернильно-черных туч. Наверняка, новая метель. А может и стороной пройдет, здесь ветер совсем умер. Но, возможно, это никакой даже не естественный метеорологический феномен — возможно, если подойдешь достаточно близко, то и невооруженным глазом увидишь на небе отражение таинственных процессов,

происходящих в Царстве Зимы, за Последней Изотермой, куда еще не ступала нога человека, и где горят лишь зарницы тьмечи между завалами тунгетита — в Черном Лабиринте, под небом Черного Сияния, на полях черного льда — на родине живого гелия — где можно коснуться материальной Правды — где люты текут, словно река — и где нельзя, невозможно умереть...

Пам-плаг! Потрясло головой. Здесь, над широкими Дорогами Мамонтов, когда по ним проходит теслектрическая волна, растянутая между экстремумами энтропии — любое сумасшествие способно неожиданно в голову вскочить, наиболее банальная мысль выкручивается из самых неправдоподобных ассоциаций. Чтобы тут же вернуться к старому порядку существительного, прилагательного и глагола.

Какие же миражи и порожденные зельями сны высекает в подобном месте тунгусский лже-шаман? Вошло в его палатку. В воздухе висел черный смрад. Раскашлялось. Шкура на входе упала, и сделалось совершенно темно. Случился момент паники, когда, сделав шаг вперед, споткнулось на чем-то, это нечто неожиданно зашевелилось, подбило ноги — то ли добрый, то ли злой кузен, отупленный ритуалом камлания, молча ползущий по юрте. Упало, ругаясь про себя. Пам-плам! *Дунда же-лее! Дуунда!* Этматов выл, словно его живьем палили. *Я-оно* массировало голову в месте удара (кружили багровые пятна, единственный источник света). — Тихо! — заорало *я-оно*, разозлившись, водя рукой по стенке юрты, разыскивая выход. Хоть немножечко света сюда впустить, немножечко воздуха... В конце концов, я отвернул шкуру и на четвереньках выволокался наружу. В неприкрытые глаза пальнул черный луч. В железном саду, между ржавыми яблонями и шлаковыми грушами, стояла деревянная караульня под гербом Романовых, шлагбаум отделял одну половину посадки от другой. Я поднялся, отряхнул белый костюм, подошел, постучал. На дневной тьвет появился Господин в Котелке, совершенно уже продырявленном и вывернутом наизнанку. Он ничего не сказал, только подкрутил половину уса, глянул на манжету, всю записанную молочными заметками, и вытянул руку. Поначалу я растерянно захлопал ресницами — чего это он хочет? А потом вспомнил. Вынул визитницу, нашел карточку Господина в Котелке, положил ему ее на ладонь. Тот сунул себе в пустую глазницу мираже-стекольный монокль и поднес билет. Повернул, глянул на обратную сторону: там было написано: *Бенедикт Герославский*. Он довольно кивнул и пнул каменную стрелку, поднимая тем самым шлагбаум с двуглавым орлом. Я перешел на другую сторону сада. Птичьи скелеты наяривали с ветвей частушечные мелодии. Черное Солнце с угловатыми лучами припекало здесь сильнее, мороз засвистал в костях. Тут я увидел, что истекаю кровью: оставляя на земле лужи блестящей мази. Я приостановился, и это оказалось трагической ошибкой, земля здесь была слишком мягкая, слишком голодная, напустившаяся, она заглотила мои ступни, так что я не мог сделать и шагу, потом заглотила по колени, по пах, я пытался упираться руками — проглотила и руки, оставалось лишь кричать, я и кричал: она заглотила рот, глаза, всю голову, всего меня. А потом земля начала меня переваривать, причем, начала не с ног, а с внутренностей, куда достала силой раскрытый рот и разодранный анус. Земля, глина, щебень, камни — все это вливалось в меня в попытке невыносимой медлительности, то есть, грамм в год, килограмм в столетие, пока наконец — нафаршированный, переваренный — я так распух на многие версты, настолько разошелся по швам в почве железного сада, что одной ладонью касался горы на востоке, а другой — западного вулкана; одну ступню мочил в лавовом озере, вторую — в водопое мамонтов. И вот так между ними существовал я, втиснутый в камень, пока не почувствовал не собственное движение в геологических массах; мурашки пробежали по позвоночнику, то есть — люты. Магматическая мысль ударила в формации мозга. Я начал отворачиваться под континентальной плитой. И вот тогда-то из преисподней, из-за спины — он положил руку на

моем плече.

9 декабря 1924 года, 109 темней

Господин Щекельников страдал от хандры. Господин Щекельников постоянно находится в ипохондрическом настроении (в этом-то и прелесть его, щекельниковская), но на этот раз его взяло так сильно, что он вообще не мог вытерпеть присутствия другого человека; накачанный мазутной ненавистью, при любом слове, любом жесте, громком дыхании — тут же скакал несчастному к горлу с жадой убийства в глазах. Две недели тесного присутствия с ближними... Каковой может быть противоположность одиночества для подобного подозрительного и злобного типа, людей презиращего? Он взял топор, махорки, половину фляги спирту и сбежал в стеклянистую белизну, едва лишь поднялось Солнце.

Замерило напряжение теслектрического поля (со вчерашнего дня отклонение самое минимальное) и уже собралось было вернуться к чтению сибирских книг, как от оленей дорогу заступили японцы.

— Пан Бенедикт... — заговорил робко *Адин*, покорно опустив башку.

— А?

— Нужно нам дату выбрать.

— Ага, ага, дату! — запрыгал вокруг Чечеркевич, выдувая смолистую тень из ноздрей, из ушей и из-под шапки.

— Так идем в палатку!

— Здесь, здесь, — стоял на своем пан Кшиштоф.

— Но почему именно на морозе. Палатка же пустая.

— Потому что на морозе вы быстро скажете: так или так.

Ага, явно приказ Пилсудского.

— Да что вам, дорогие мои, таким прекрасным утром душу гнобит?

— Вы будете ожидать здесь отца, ведь правда, пан Бенедикт? Но вы не знаете, когда отец прибудет? Вы не можете сказать дату?

Я-оно задумчиво оперлось на трости тьмечеметра.

— Ну, Тигрий заявляет, будто бы фатер услышал зов, и он уже в пути. Вот только расстояния в Подземном Мире никак не соответствуют нашим расстояниям. Это совсем другая география. И время другое, по-другому идущее. Я тут посчитал кое-что, и вышло у меня, что лучше всего положиться где-то на март. Только и майские даты, или даже июньские, не исключены. Потому я и думал о том, чтобы возвести здесь какое-нибудь укрытие посущественнее...

— Март! Май! — всплеснул руками *Адин*. — Пан Бенедикт, ведь договор был не такой! Мы идем, находим, все устраиваем...

— Что, Старик приказал вам обернуться, пока он на новое, разбойное выступление не отправится?

— Да почему же вы так плохо про Зюка говорите? — опечалился пан Кшиштоф. — Или он чего плохого вам сделал? Разве не спас он вас от тюрьмы да смерти?

Я-оно лишь махнуло тьмечеметром.

— Это правда, только, какое теперь это имеет значение... — Подумало о прощальном рукопожатии с Юзефом Пилсудским, о том дурацком договоре, заключенном с ним, и на мгновение вновь усомнилось: и вправду ли так замерзло в собственной форме Бенедикта Герославского, либо же проклятый Пилсудский смог очаровать человека своим грубым шармом? — хотите возвращаться? Возвращайтесь!

Те глянули друг на друга, белизна отразилась от белизны в широких мираже-стеклах.

— А не могли бы вы, пан Бенедикт, какого-нибудь письма ему написать?

— Это, чтобы на вас не сердился, что не смогли меня уследить?

— Ладно, остаемся до Трех Королей [\[385\]](#); сообщим вам места и имена, чтобы вы смогли возвратиться сами. А потом...

— А потом уже все равно? Чего он такого напланировал, что вас так в бой и несет? А?

— Как будто бы Старик исповедуется кому в планах своих...! — тяжело вздохнул Адин.

— Хмм. А я говорил вам, что Шульц жив, что Иркутск в его руках.

— Говорили. Из карт это следует. Вот только...

— ...да что это вы вытворяете, Господи, в задницу вас что-то укусило?!

Чечеркевич метался рядом на снегу, размахивая руками и давясь панической икотой. В конце концов я-онопоняло, что в его подскоках имелось конкретное намерение: пилсудчик показывал в точку за палатками, на восток — вот только руки его метались на половину дуги от этой точки во всякую сторону.

Глянуло над очками. Господин Щекельников мчался назад, через снег, громадными скачками, топор отбрасывал огненные рефлексy на его плече. Рука сама потянулась за Гроссмейстером. С ума сошел! Шарики за ролики закатились на белой равнине, всех поприбивает! Тот вскочил в пространство между палатками, метнул топор в лед, длинную руку сунул в отверстие под шкурами и вытащил двухстволку в меховом футляре. Сейчас всех перестреляет!

— Едут к нам, господин Ге, — просопел Чингиз. — Готовьтесь, и не торчите тут, как хуй на параде!

Адин вытащил откуда-то подозрную трубу, осмотрел восточный горизонт.

— То ли три, то ли четыре человека, седловые олени и сани.

Позвало тунгусов. Тут случился момент абсолютного хаоса, когда все хватались за оружие, вырывали один у другого подозрную трубу, на трех языках выкрикивали ругательства и вопросы, не зная, то ли сворачивать лагерь и грузить сани (не успеем), то ли наскоро укрепляться к встрече врага (а как?). Хотя об этом и не говорили, слова Этматова о идущей от Байкала погоне крепко сидели в головах. В конце концов, вытащило Гроссмейстера, револьвер в форме василиска радужно заблестел.

— Пан Чечеркевич! — крикнуло я-оно. — Берите оленей и уходите в лес! — Если животных застрелят, людей добивать уже нет смысла. Зато мечущегося от истерии до геройства Чечеркевича иметь на линии огня не хотелось.

Схватило подозрную трубу из рук пробежавшего плохого кузена. И правда, четверо человек на оленях. Но ведь те, на Байкале — Тигрий говорил, будто бы пешком шли.

— Не стрелять, пока не скомандую! — приказало. — Да опусти ружье, черт подери.

А потом оказалось, что всему виной врожденная подозрительность Чингиза Щекельникова, который в любом человеке, встреченном на сибирском тракте, сразу же видит разбойника или царского шпика, и тут же хватается за нож или двухстволку, поскольку такой его рефлекс, всегда и повсюду.

Тем временем, оказалось, что это были две сороки (один русский и один француз) с проводником и прибывшимся к ним в горах попом, возвращающиеся в Иркутск со Становых Гор через Байкал. Они увидели дым на белом горизонте и свернули сюда, чтобы обменяться запасами.

— Возможно, спиртику лишнего имеете, — просил Виталий Усканский. — Или там мяса.

Приняло их в тепле палатки, они разделись, согрелись возле печки. У попа половина пальцев была отморожена, на лице страшные раны и струпья; остальные были немногим лучше. По дорожному обычаю, на стоянке они осматривали друг друга, высматривая белые

пятна. И спросило бы их поподробнее, откуда они точно идут, под какой изотермой сорочили, если бы на тракте это не было страшным оскорблением и причиной справедливой обиды.

— Но почему вы не поехали по Зимней железной дороге со станции Ольхон?

— Закрыта станция, военными окружена. В каждого стреляют, не спрашивая. Вы не в курсе, в чем там дело?

— Генерал-губернатор с императором повздорил. А чьи были *солдаты* на станции — Шульца или Его Императорского Величества?

— А мы знаем?!

— Тогда на станции какой-нибудь по дороге нужно было скупиться.

— Мы именно так и собирались, — покачал головой Усканский. — Специально пошли на хутор к Луцию. Только Господь отвернул глаз. Нет уже хутора Луция...

— Да что вы говорите! Мы же только-только...!

— Сплошная могила, — сказал поп, нервно попивая жирный кофе.

— Мы думали, станция заброшена, будто бы их армия прогнала или чего еще. Но ворота распахнуты, на дворе собачьи трупы обледенелые; идем дальше, один труп, другой, убиты люди. — Сорока перекрестился. — И бабы, и ребятишки, все там.

— Только на убийц не подобно, — на ломаном русском включился француз. — Словно... словно... чудища нечеловеческие. Он показал, поднимая сухарь ко рту и резко в него вгрызаясь. — Разорванные, раздавленные, изнутри выеденные.

— Изнутри выеденные?!

Что-то он не то ляпнул. Но нет, смысл был очевиден. Сказал бы что другого — пот таким давлением тьмечи точно так же приняло бы его слова за очевидность.

— Трупоеды, — буркнул Щекельников и начал полировать свой штык.

Тигрий Этматов почесал свои шрамы, вытащил из-под куртки железные медальоны, затрещал костяными фигурками, перемещая в пальцах изображения животных, словно бусины четок.

— *Ру, ру, ру.*

— Ну, мы чем скорее и убежали, — закончил свой рассказ Усканский.

— И потом не сильно давали животным отдохнуть.

— Нет.

— Хмм.

Перед красным закатом — в сибирский по полуденный час — вышло из юрты выкурить папиросу. Чтобы сбежать от одиночества, вначале нужно сбежать от людей.

Сразу же почувствовало мороз, словно хирургический укол прямоком в легкие. Несмотря на это, еще сильнее затянулось дымом и ледяным воздухом; в этом было какое-то странное, непристойное удовольствие, как будто бы постепенно делалось зависимым от температурных страданий: человек чувствует себя более живым под иглами сороковиковых морозов, чем в душной, нагретой, вонючей юрте. Солнце заходило над снежно-белой Азией в абсолютной тишине, даже ветер не аккомпанировал. Трршк, трршшкк — трескалась мерзлота под торбасами [\[386\]](#). Присело на обледененных полозьях наполовину перевернувшихся саней. Тени трех палаток, растянутые в сторону востока траурными полотнищами, почти касались друг друга. (Сороки переночуют в собственном шатре). Во двор вышло без мираже-стекол, с ничем не защищенным зрением. Олени, даже уже и вычесанные на ночь гребнем, сияли алмазными одеяниями: каждый волосок шерсти быстро обрастал ледяными кристаллами. Первые звезды начинали проникать с высоты прямо в зрачки. *Я-онозамигало*, и иней на ресницах начал щекотать веки.

Трупоеды. Языческая сказка. Усканский на оленях, якуты пешком — нужно было их как-то незаметно опередить где-то между фортом Луция и Оноцкой... Нет, сказки! Кашлянуло дымом сквозь зубы. Но если и вправду погоня идет от Байкала — то несчастье ожидает того, кто беззаботно не обращает внимание на всяческую осторожность и военную подготовку. Хоть бы какая-то охотничья изба из толстенных стволов, ладно, полуземлянка, если только удастся хоть как-то разогреть землю... Ведь если бы и вправду это царские следопыты неожиданно прибыли, а не четверо нуждающихся помощи путников, долго перед ними не устояли. Ба, вообще ничего бы не удалось: Чечеркевич расчечеркевичеванный, заламывающий руками *Адин*, паникующие тунгусы, Щекельников, без раздумья палящий из двухстволки — сплошной бардак. А место такое, какое есть: здесь ни укрыться (разве что в лес уйти), ни серьезного укрепления поставить. Если свалится на шею целый отряд с исправником, то и думать не надо — хана. А вот пять-шесть туземных авантюристов...? И необходимо удерживаться так долго, насколько это возможно. Абаас на Дорогах Мамонтов не спешит. Остается лишь ждать и надеяться.

...То есть, то же самое, что и с самого начала. Поправив тряпку на лице, осмотрело пейзаж, словно черно-бело-красную фреску, низкую и широкую, будто бы снятую со стены Физической Обсерватории Императорской Академии Наук. Весьма сложно не чувствовать себя здесь затерянным. Но нет, это не затерянность, а скорее: жгучее чувство заброшенности — огонь, свет, люди, все деликатесы и приманки теплого мира — все это было покинуто, перечеркнуто, заброшено. Сибирь: холодная, тихая, осматриваемая с ледового утеса — вот что остается, если вычесть из жизни все ее возможные потенции. Панна Елена — вычтена. Карьера у Круппа — отброшена. Безопасная, семейная, уютная жизнь — заменена абсурдом блуждания по снежному бездорожью со смертным приговором над головой. Научные амбиции — слиты в клоаку. И так далее, и так далее — эту литанию можно тянуть до бесконечности. И если бы хоть можно было сказать, что за этим решением стоял какой-то расчет, что верх взяли те или иные моральные аргументы, результаты раздумий...! Да ничего подобного. Я-оновоспоминает прошлое, подклеенное в памяти к нынешнему настоящему — и образ, словно след Зеи на песке, то есть, зигзаг за зигзагом. Что ни план, то пошедший псу под хвост; что ни надежда — то разбитая на мелкие осколки; что ни шанс на нормальность — то переломанный через колено. И что же это за странное сумасшествие, что за порок! (Я-оноживет себе).

...И что в конце концов остается: Сибирь.

Бросило окурок в сани. Огонек скатился по кристальной глади и погас в темноте. Поднялось, уколотое неясным подозрением. Конь, дышло, сани, лед — что-то тут скрежещет в очевидных ассоциациях. Может, это вечерние тени, а может... Случаем, сани не сместились немного? Не сделал ли закованный во льду конь полшага на своих трех ногах?

Отступило на пять, на десять аршин, глянуло против последних лучей Солнца. Ледовая скульптура на фоне Сибири. Ничего не шевелится, куда не бросишь взгляд. Тишина, мертвенность, мороз. Я-онозатряслось под шубой. *Даже если бы нес на спине весь Ун-Илю. Придет.*

Ночь залила Азию.

10 декабря 1924 года, 101 темня.

Не возвращайся. Царь вокруг. Тесла работает под арестом. Ждем. Шульц жив. Не возвращайся. Царь вокруг.

Первыми подняли шум тунгусы, *манумунанумамунунани аккулукаи*, крики на мерзлоте и удары по замороженным стенам палатки. Я-онопросыпалось, словно сквозь глину, словно

сквозь мед, с трудом стремясь к сознанию. Дело в том, что очень сильный мороз не отрезвляет электрическим разрядом — скорее, усыпляет; от подобного в сибирских путешествиях предостерегают особенно усиленно: чтобы при усталости люди не заснули в метели, не ложились в снегу «на минутку», чтобы только передохнуть. Потом не поднимутся. Открыло покрытые инеем глаза — подняло онемевшую руку — туманное дыхание повисло в трещащем воздухе. Все поверхности в юрте были покрыты белым налетом. Огонь в печурке едва тлел. Захрипело на господина Щекельникова. Неспешно закутавшись в два малахая, тот вылез наружу. (Мороз ударил из отверстия словно дымное облако). Наставило уши.

— Поднимай жопы! — заорал Чингиз. — Ледовик идет!

...А до зари еще целый час. Вышло с горящей лучиной. Француз-сорока присвечивал светенью от тьвечки, замкнутой в горсти рукавицы. Из ночного мрака выныривали мерцающие очертания округлых форм высотой в пять-шесть аршин, высящихся над людьми и палатками. Этматов танцевал на снегу, пятна отбрасываемых шаманом теней скакали по зеркальным массивам. Лед, лед вырос из-под земли. Засеменило поближе — это не лют — удалось подойти на прикосновение, под самый ледовый навес. Мороз здесь бил бронебойный, но мгновение удалось устоять, удерживая дыхание. Заглянуло вглубь. Лучина в руке зашипела и погасла. Тем не менее, увидало внутри те темные скульптуры, замороженные клубы дыма: лошадь и сани во льду. А этот навес над головой — это была гигантская лошадиная морда. Обошло формацию вокруг. Девяносто шесть шагов. Соплицово, как Господь Бог приказал.

...В лучах восходящего Солнца оно проявлялось во всей своей арктической красе; валы мерзлоты, гребни сосулек, аллеи молочных сталагмитов, хрустальные балки, прозрачные и окрашенные блоки, вплавившиеся друг в друга пьяными рядами. Солнечные лучи разбивалось в призмах соплицова на тысячи радуг. Шаман метался в них, исходя пеной изо рта. Обошло его на безопасном расстоянии, не имея возможности оторвать глаз от ледового массива, от плененной в нем тайны. Раз за разом подходило и заглядывало в солнечные зеркала. Сердце билось словно в сумасшедшей гонке. Во рту — сухая ледышка языка. В глазах — радужные искры, словно зеркальные, режущие до слез обломки. В легких — сухая поземка. В голове — единственная паническая мысль: он? он? он? Не он. Подходило и заглядывало. Из лагеря кричали — не обращало внимания. Сороки свернулись и поехали в свою сторону — едва это отметило. В солнечных лучах посыпал снег — пускай сыплет. Подходило и заглядывало. Он? Он? Он? Не он. Нет его. В соплицово имелись проломы, тенистые разломы, накачанные зоревыми феериями, словно аллеи, ведущие посреди ледника, о которых рассказывал пан Корчиньский. Но как войти, если едва хватает силы на один вздох? Вступить в самое сердце соплицова и там вонзить в грудь стальной воздух... нож, сунутый под ребра, кажется не таким страшным. Тем не менее, при каждом подходе был краткий момент — сразу же перед тем, как удержало ноги от единственного, последующего шага — когда всяческий страх и разум заслоняло воспоминание последней иркутской ночи, воспоминание, подобное отражению, рефлексу чужого сна: черное, лоснящееся брюхо ледовика — рука, протянутая в сторону Льда — Правда, прижимаемая к живому телу. Что уж тут несчастное соплицово! Люта пережило! И все же, при каждом подходе — останавливалось на границе. Взгляд проникал на несколько аршин, а дальше запутывался в ледовой грязи, в кефирной взвеси, в ярких калейдоскопах. Лошадь и сани еще можно было распознать в нечетких пятнах, только центр соплицова находился где-то в ином месте. Заглядывало напрасно. Он? Не он. Мог ли он прибыть так быстро? Никак ведь не мог. Страх и надежда помutilи рассудок. Эта ведь развилка Дорог Мамонтов, так чего странного, что здесь вымораживаются соплицова? Наоборот, именно этого и следовало ожидать. Лошадь и сани — следовало ожидать. А Отец

Мороз, когда придёт, если придёт... Сердце билось, будто при дикой скачке.

Нужно было перенести лагерь за пределы наибольшего мороза. Я-оноприняло решение ставить избу под лесом, по простейшей методе, в лапу, из неошкуранных стволов, без фундамента, который здесь, в замерзшую до гранитной крепости землю и невозможно было устроить. Впрочем, именно так столетиями на скованной мерзлотой земле и строят, то есть, ставя избы-коробки на ледовых поверхностях, которые, когда приходят времена потеплее, размягчаются в непостоянную массу, а затем избы кривятся, коробятся, после чего целые кварталы деревянных избушек проваливаются под землю. О чем тут же господин Щекельников высказался в тоне мрачного предсказания, ссылаясь на свои частые поездки в Якутск, когда в годы, еще перед Зимой, пострадали многие дома. Только нам изба должна была служить, самое большее, пару месяцев, и никакая оттепель ей угрожать никак не станет. Но пан Щекельников на это хрипел и бурчал, что, скорее, Батюшка Мороз сюда придёт, чем все успеют нарубить обледеневших деревьев и на таком морозе с работой управиться. И он показал, как топор отбивается от перемороженного ствола: как от зимназа.

Тем не менее, я-онозагнало на работы и японцев с тунгусами — кроме Тигрия, который за целый день ни разу в себя не пришел, а только непрерывно проводил свои шаманские ритуалы под соплицовым, пребывая одной душой на этом, а другой — на том свете.

Шесть здоровых мужиков, в дюжину рук — до заката успели свалить всего лишь две листовницы и начать толстую пихту. При этом плохой кузен успел спалить себе рукавицы, а Чечеркевич чуть не отрубил себе ступни. Необходимость обжигать стволы перед тем, как их срубить, вызывала больше всего трудностей — ибо, естественно, вначале таял лед и снег, лежащий вокруг дерева, так что лесоруб по пояс западал под валящимся ему на голову чудищем с ледовыми иглами, в холодной грязи, в кусающем, липком дыму. При этом было невозможно управляться топором с мираже-стеклами на глазах. А без них, проведя целый день, от рассвета до заката под открытым небом, страдало от боли ослепленных глаз, а также от легкого гипноза мрачных мыслей.

Последним спрятавшись в перенесенную палатку, застало пана Чечеркевича, свернувшегося в клубок под стенкой, надувшегося, истекающего сильным отъветом, но в первый раз в чем-то напоминавшем людскую неподвижность.

— Чечеркевич, несчастье вы наше, что это с вами?

— Слушаю, как у меня волосы в ушах растут.

— Это он в соплицово заглянул, — продал Адин. — А ведь говорили умные ксендзы: не подходить, не глядеть, ничему не верить.

Я-оноустроилось на лежанке, отложило тьмечеметр. Пан Кшиштоф приглядывался, как составляло ежедневную заметку. Но вначале долгое время отогревало пальцы дыханием и прикладывало ладони к печке.

— И как?

— Упало на восемь темней. Неожиданный скачок напряжения тьмечи. Хмм, — глянуло на Чечеркевича, — быть может, в этом тоже что-то есть. Вылазит соплицово, вот и теслектричество скачет. Иначе, с чего бы его так взяло...

— Я про вас спрашиваю. — Адин понизил и голос, и голову. — Утром вы выглядели так, словно горячка вас злая охватила. Словно бесы вас опутали.

Послюнив карандаш, я-оновыписывало каллиграфические знаки.

— Тигрий правильно говорил, — продолжал японец конфиденциальным полусшепотом. — Вы просто не ожидали. Вроде бы и по-иному говорили, но по правде не верили, будто бы подобная возможность вообще имеется.

— Ах, по правде... — неодобрительно буркнуло я-оно.

— Что вы его найдете. Что он вас найдет.

Захлопнуло тетрадь.

— Итак, вы узнали мою сердечную тайну! Я выбрасываю громадные деньги, политические приговоры на себя навлекаяю, жизнь на кон ставлю, в ледовую пустынь отправляюсь, дурак дураком — только на самом деле, да что там? на самом-то деле вовсе и не желаю отца спасти! — выплевывало я-онов багровом гневом.

— Ну, ну, ну, — успокаивал Адин, — не злитесь. Все мы здесь немного стукнутые. Я же вижу, что вы человек добрый, хороший.

— Значит, видите! — передразнивало я-оно. — Хороший!

Тот печально усмехнулся, тьмечь пятнала синие губы.

— Если бы у меня такой отец был... я тоже больше всего опасался бы своего отражения в его глазах.

Глянуло на него пустым взглядом.

Все это были чужие люди.

11 декабря 1924 года, 96 темней.

Царь вокруг. Князь в Александровске. Атака. Шульц и Победоносцев. Тесла болен. Поченгло в розыске. Не возвращайся. Царь вокруг. Князь в Александровске. Атака.

Ночью приснилось, как ночью они поднялись и убили. Зачем им вообще убивать? Во сне подобного вопроса вообще не возникло. Вот так, поднялись, окружили лежанку, задавили насмерть. Глядело на это сверху, из-под вершины палатки, как душат *сальгын кут*. Чингиз Щекельников, Адин, Чечеркевич. И никакого изумления. Утром глядело на них исподлобья, поджав губы. Господин Щекельников первым вышел на порубку; разложив карты и проведя замеры, присоединилось к ним на опушке леса. Чистое ледовое солнце играло алмазами на находящемся в четверти версты соплицове.

— И какое число скажете, пан Ге? — харкнул Чингиз, отбросив пилу.

— Думаете, будто бы поднялось? — и оглянулось на радужный ледовый городок. — Показания идут на Мороз, на усиление. Либо и вправду *Черное Сияние* над нами, либо мамонты под нами, или же...

— Что?

Я-оно поправило рукавицы.

— И это начинает меня...

Из-за пихт появился старый, наполовину согнутый инородец.

Господин Щекельников размахнулся и метнул в него топор. Тот вонзился в старика по самую рукоятку. Несчастный даже не пискнул; кувыркнулся и упал, топором в небо.

— Да что же это вы, Христом клянусь, вытво...

— Не понравился он мне, — буркнул Чингиз.

Вот так, не понравился! Не понравился! Не знало, то ли дубьем ему по голове стукнуть, то ли за Гроссмейстера хвататься. Такой ведь убийца закоренелый...

Из тайги вышло пятеро очередных полуголых дикарей, все в тряпье, обвешанные железными талисманами. В руках у них были охотничьи копыя и берданки. Второй слева нес на широких плечах колышущуюся головку черноглазого Мефодия Пелки. Тьмечь от них была жирными клубами ночи.

Господин Щекельников глянул, харкнул, сплюнул, трахнул кулаком в грудь и распрямил квадратные плечи.

— У меня нож.

Нож у него имелся.

О трупоедах

Расстреляв и заколов насмерть господина Щекельникова, они направились к лагерю.

Осталось их только трое. Забрали ружья у авахитов, порезанных Чингизом, и теперь заряжали их на ходу, ступая неспешно, тем же самым степенным шагом тысячекилометрового пути.

Тем временем *я-оно*сподвиглось расстегнуть шубу, вынуть и развернуть из тряпок Гроссмейстера, сбросить бесформенную рукавицу, оттянуть курок, прицелиться...

Выстрелить.

И попало в цель с хладнокровной точностью. Авахит замерз, разорванный на части, а точнее, захваченный в капкан ледовой елки: рука на одной ветви, голова на другой, нога над головой. Второй, зацепленный фалангой мороза, упал в глубокий снег и так и обледенел: пятками к солнцу.

Стискивая зубы, подняло левую, живую руку и вновь оттянуло скорпиона. Лишенная чувствительности правая рука воле не подчинялась; опустившись на колени,хватило рукоять-змею в обеих ладонях. Пегнаровец с головой Пелки шагал вперед, с поднятым копьем. Выстрелило ему в грудь. Багровая сосулька пронзила его словно ангельский дротик; сталагмит толщиной в пушечный ствол разорвал якута из середины.

*Я-оно*поднялось на ноги. Прибежали японцы. Вокруг, на мозаичных трупах высилась роща ледовой шрапнели, деревья, деревья ледяных игл, бритв и клякс.

— Пан Бенедикт, что случи...

— Кто это такие!?

— Чингиз мертв, — сказала *я-оно*и смолисто откашлялось. Из ящеричного ствола Гроссмейстера лилась густая тьмечь. Спрятало его за пояс, под расстегнутую шубу.

Чечеркевич вырвал штуцер из футляра.

— Где? Кто? Где? Что? Что? Чего?

Удержало его за плечо. Тот на мгновение замерз.

— Это те, с Байкала, те самые дьяволы или черти Этматова. Кто-то выслал за мной пегнаровых големов. Наверняка — царская охранка. Нужно было здесь установить трупные мачты. Где наши тунгусы?

— Скачут вокруг соплицове, — сообщил *Мин*, после чего упал в белый снег с выбитым из черепа мозгом.

Чечеркевич завопил и выстрелил вслепую.

Из-за ледовой рощи, хромая, вышел авахит с дырой от топора в груди. Неуклюжими пальцами он вставлял новый патрон в берданку.

В сугробе тоже что-то шевелилось: оттуда выкапывался тот якут, что вмерз пятками кверху.

Голова якута, насаженная на шпиль дерева-взрыва, открыла глаза под слоем инея и начала ритмично прищелкивать языком.

А вот старик-якут, тот что хромал — никак не мог справиться с патроном, потому что у него на руке было восемь пальцев, каждый с отдельного трупа.

— Их не убить, — сказала *я-оно*пилсудчикам. — Это дело для шамана.

Но Чечеркевич расклеился окончательно, то есть, сошел с ума. Выпучив глаза на неживой пандемониум, он бросил штуцер на снег и помчался в лагерь, к оленям.

Старый якут поднес берданку, прицелился, нажал на курок. Та не выстрелила. Мороз.

(Или Молот Тьмечи). Провернуло про себя витраж логических вариантов словно оконное стекло, покрашенное арабесками инея. Олени — на оленях можно быстро сбежать от пешей погони — но насколько далеко? Ведь не успеем же свернуть лагерь, забрать запасы. Догонят. А Этматов — если его убьют, тогда уже не останется ни малейшего шанса.

Обернулось и побежало к соплицову.

Бежало сквозь глубокий снег, словно брело в зыбучих песках, от одной статичной позы — к другой. Через плечо не оглядывалось, пуля могла ударить в спину в любую секунду, это было пари со Смертью. Один шаг, и еще один, и снова шаг, и все так же живой, все так же белая тишина, и один лишь скрип мерзлоты, и черное, хриплое дыхание.

Грохнуло. Застыло с согнутой ногой. Над белым полем прокатился смертельный визг пана Чечеркевича. *Я-оно* опустило ногу.

Шаг, и шаг, и шаг, и не оглядывалось через плечо.

Тунгусы слышали стрельбу, из-за соплицова выскочили силуэты в шкурах, тут же спрятались обратно. Позвало их: раз и другой. Без ответа.

Грохнуло. Пуля просвистела около шапки.

Шаг, и шаг, и шаг.

Радуги соплицова охватили мотыльковыми крыльями, шелковые краски стерли с глаз слезы усилий.

Подскочило к первому ледовому блоку и рухнуло на колени за его защитой, с трудом дыша и кашляя.

Сибирская байка. Вытерло с бороды сосульки слюны. Сибирская байка, големы, якуты-авахиты, шаманы, бессмертные трупоеды — все байка, страшная и глупая сказка. (А те призывали со стороны тайги звериными песнями). *Я-оно* поднялось. В соплицове отразился черный силуэт с цветочным вулканом, извергающимся из живота. Инстинктивно положило голую ладонь на револьвере. Байка.

— Тигрий! — звало *я-оно*, обходя угол массива. — *Йокоо-Аеаахе! Иии мат! Бактуранегин!*

Тигрий Этматов опустил костяное лезвие во второй раз и перерезал горло хорошему двоюродному брату. Радостно оскалившись сквозь пену, замерзшую на губах, он потрянул головой, вывернул глаза и поковылял в глубину соплицова. Молочные занавеси мороза завернулись за ним гробовым саваном.

Не спеша подошло к алым мандалам, расплескавшимся здесь на вытоптанном снегу. Кровавые рисунки окружали небольшие фигурки тунгусов, плотно закутанные в шкуры и меха; оба лежали в одинаково симметричных позах, один с головой, направленной ко входу в соплицово, другой же — наоборот. Трупы еще парили. Из хорошего кузена еще стекала кровь, еще дрожали его конечности. Когда его резали, он даже не пискнул.

Этматов брал их с собой только лишь затем, чтобы те истекли кровью в нужный момент, у врат Льда.

Он пришел к Урьяшу на сибериаду с этим единственным замыслом: что Сыном Мороза откроет себе двери к абаасам.

Ибо с самого начала было сказано: поклоняются тому, что сами в четкой правде видят наибольшим злом; что мечтают о вечной неволе в брюхе Дракона.

С самого начала было показано: все эти вроде бы обращенные в христианство тунгусы — это черти; приятель-разбойник — это убийца, а вот это — это сама смерть.

И ведь *я-оно* знало об этом. Никто не лгал, не обманывал, даже возможности такой не было. Правда сделалась чистой и очевидной. И *я-оно* видело это.

Тем не менее, *я-оно* до сих пор не могло пробить барьера между знанием и поступком; язык первого рода не удалось переложить на межчеловеческую речь; есть вещи, понятия,

которые можно знать, но которые нельзя облечь словами и оценить. И вот теперь я-оноторчит над карминовой мерзлотой, исходя графитовым паром и бледными светениями, изумленное в страшном отчаянии — *сопляк*, дурак, дитя.

Кршкып, трштыпп, маршируют пегнаровы големы, покачиваются на снегу слепленные-смороженные тела, размахивая непропорциональными конечностями. Старый якут вновь целится из покрытой инеем берданки.

Щелк. Не выстрелила.

Хладнокровно перекрестившись, вбежало в соплицово.

Узенький проход между стенками солнечного сияния ежесекундно сворачивал резкими зигзагами, по мере того, как сложился в случайных трещинах ледовый лабиринт. Уже через три поворота полностью потеряло ориентацию в сторонах света и месторасположении входной стенки.

В мороз-радугах маячили призрачные формы, тени в туманном камне. Где-то тут вороной конь тащил сожженные сани с геологически-вечной скоростью. Весь в крови, бежал тунгусский шаман. Маршировали авахиты. Где-то здесь по Дорогам Мамонтов текла концентрированная Правда.

Я-оноизо всех сдерживало воздух в легких, но в конце концов и не заметило, как плотина прорвалась, пока вовнутрь не вошло первое и второе дыхание Льда. Приостановилось в тройной развилке ледника и только теперь заметило, что Мороз в груди ходит туда-сюда словно арктический водопад. Прижало холодную ладонь к холодной шубе. Движение руки оставило в воздухе послевидение небытия — тумана не было, но в этом призматическом блеске, вырывавшемся из миллионов бриллиантовых граней, прошлое оставалось на виду чуточку дольше, а будущее перемещалось в ярких, красочных калейдоскопах. Мороз бил в голову словно пьянящее вино, и тут же подумало о балу на сибирском небе, в хрустальном дворце генерал-губернатора Шульца-Зимнего; за стеклянными столбами пробежала ошеломительная красавица, Дочка Зимы. Я-онопоклонилось и...

— Пан Геееее...!

Где-то рядом башка Щекельникова примороженная к пегнаровому, слепленному из разных частей чудищу, воем воет своей последней жертве по причине кровожадной тоски. Маршируют авахиты.

Через лабиринт бежало вслепую, панически, куда глаза глядят.

И чуть не наскочило на них с разбега; они шествовали длинным строем, впереди — тот широкоплечий, с головой Пелки. Он метнул копье, что я-оноувидало на льду мгновением раньше — отскочило.

Мгновение, доля секунды, черное дыхание на языке, хрустально-прозрачная мысль в черепушке. Что делать?

Гроссмейстер в руке. Выстрелить в големов? Не поможет — мороз это их жизнь. Выстрелить в лед, заблокировать проход? Все равно ведь найдут дорогу, обойдут.

И остались всего две пули.

Молот Теслы бьет три раза в минуту — всего лишь несколько секунд на пике волны.

Ну а какой другой выход?

Я-оноотступило под сталагмит и, направив Гроссмейстера вертикально вниз, выстрелило между ступней.

Мороз...

...до последнего зарисовал окошко, ведущее во двор-колодец: завитушки и кружевные вышивки, геометрические графы и пятна — словно сфотографированные в инее солнечные отблески. Я подкрутил фитиль керосиновой лампы, в комнате сделалось светлее. В дымовой

трубе выл ветер. Я отложил незаконченное письмо панне Юлии, раскрыл трактат «О правде» Альфреда Тайтельбаума. Кто-то постучал в двери. Я инстинктивно схватился за бумажник — заплатил ли Зыга Бернатовой за этот месяц? Наморщил лоб в пустом усилии. А какой у нас сейчас месяц? Взгляд в окно: стекло заросло инеем, а за окном — естественно — зима.

Постучали снова.

— Прошу!

Она вошла и тут же закрыла за собой дверь. С пальто с широким соболиным воротником сыпались каскады мелкого снега. Я встал: она же вынула из муфточки крепкую, мальчишескую ручку; я поцеловал холодную ладонь. На каждом пальце можно было видеть узкое колечко из блестящего зимназа, украшенное тунгетитовыми инкрустациями.

— Они уже были? — спросила она, охватывая все помещение быстрым взглядом. Девичье лицо покрывал морозный румянец, волосы золотой пшеницей стекали из-под кокетливой шапочки.

— Кто?

— Чиновники Зимы, господа в котелках.

— Не...

— Пошли!

Для протестов она не оставила ни малейшей щелочки. Девушка направилась к двери; вначале осторожно выглянула, а потом, уже не ожидая ни мгновения, потянула в коридор и побежала к лестнице, резко стуча каблуками. У первой ступеньки я замялся. Тогда она снова повернулась, чуть не сбивая меня с ног; мы закрутились в карусели соболей, снега, мороза и терпкого запаха девушки. Тут она что-то прошипела сквозь синие губы. Я глянул вниз над кривыми перилами. Громадные тараканьи тени вздымались по стенкам лестничной клетки. Высунувшись дальше, я перехватил образ квадратного силуэта в черной шубе, в выпуклом котелке. Их было двое, вела Бернатова. Грюк-стук, ноги они ставили с силой копра для забивки свай, дом уже чуть ли не трясся под ногами чиновников.

Мы побежали к угловой лестнице. Девушка каким-то образом знала эти полутемные внутренности, всю вонючую анатомию доходного дома, скрюченного от архитектурного артрита. Она вела уверенно, перепрыгивая через две ступеньки, вытирая пальто покрытые инеем кирпичи. Так мы спустились на один этаж, на второй, на третий и четвертый, и только теперь до меня дошло, что мы уже не в Варшаве, выстроенной людскими руками. В подземном проходе над стоками, замерзшими в черный щебень, блестели сталактиты испражнений и конденсированные натеки фосфоресцирующей грязи. Из скрученных в невозможные узлы труб бил черно-белый пар. На кирпичах величиной в королевские сундуки зеленым грибком светились выцарапанные знаки предчеловеческого алфавита. Под ногами, в ледовом навозе и свернувшейся в навоз-фарфор пене нечистот я видел следы ступней, лап и совершенно чуждых земным млекопитающим членов. На высоте четырех метров из-за кирпичей выступала наполовину затопленная в камень головка младенца.

Девушка перескочила каменный поток и указала в низкую темень, между надкусанными временем фундаментами, похожими на пилястры древней гробницы. Я осторожно приблизился. Оттуда пахло гнилью и запахом ржавчины. Девушка энергично подтолкнула меня. Наполовину согнувшись, я сделал шаг. Темень отекала нас полосами холодного масла. Мы шли вниз, потом вверх, и снова вниз, после чего и эти направления смешались. На нас сыпались ледяные щепки, неустанная морось перетравленных земель и удаляемых ею мелких частиц, в том числе и предметов человеческого происхождения: пуговиц, шпилек, билетов, огрызков, зубов, монет, клочьев волос, окурков, цепочек с крестиками, камешков замерзшей

слизи, осколков фаянса, перстней с печатками, колокольчиков, брошек, зубочисток, фаланг пальцев, стеклянных глаз, резинок, спичек, гребешков, табакерок, конфет, ногтей, ложечек, стальных перьев, колечек, ключей, четок, солдатских медальонов, искусственных челюстей, гвоздей, рваных фотографий, клочков любовных писем — всего того, что от человека можно найти в сточных канавах, на пригородных свалках, под бордюрами тротуаров, в старых колодцах и на берегах рек. Все это с трудом протискивалось сквозь сито земли и спадало сюда, сконцентрировавшись на выходе в могучий поток. Время от времени этот ливень переставал или же еще более нарастал — после резкого сотрясения, глухого грома, перекатывающегося по подземельям. Тогда девушка хватала меня за руку, заставляя переждать сейсмические пертурбации. Воспользовавшись мгновением неподвижности, я больно выкрутил шею и глянул вверх. На небе черной глины высвечивались созвездия уличных шагов, бледным светом горели туманности кладбищенских могил, геологические фронты базальтовых туч определяли векторы зачатия и смерти. Ломаная погремушка ударила меня по носу, и я опустил голову.

— Мы на Дорогах Мамонтов. Пошли.

Мы вышли в соборной крипте, к мертвым монархам. На катафалках были вырезаны в камне фигуры мужчин, вытянувшихся в посмертных позах, наполовину затопленные в породу. Мне показалось, будто бы я узнаю холодные черты того или иного человека, и что даже вижу семейное подобие между ними. Те отвечали мне слепыми, гладкими взглядами; всего лишь то один, то другой подмигнул, гранитным языком провел по спекшимся губам, пошевелил усами из-под плесени. Но они не пошевелились, когда мы пробежали к двери, ведущей на поверхность.

Девушка бессильно схватилась за замочную петлю; двери были закрыты. Я сунул пальцы под ее шапочку, волосы высыпались на соболей и ей на плечи. Вскрыв замок выгнутой шпилькой, я бросил металл на пол. Тот звякнул и замолк. Все возвращается в землю.

В боковом нефе горбатый церковный служка очищал серебряные вотивные [387]приношения, собранные перед фигурой Девы Марии. Привстав на колено и перекрестившись, я уселся на передней лавке перед главным алтарем, покрытым темной тканью, под громадным крестом, на котором Господь Иисус истекает кровью: их сердца, головы, ладони и ступни.

Девушка остановилась рядом, оглянулась и развернулась; ей было спешно.

— Нам нельзя задерживаться! Нельзя задерживаться!

Я прижал палец к губам, прося ее помолчать. Крест стоял над алтарем под углом, тело Спасителя нависало над ним, выгнувшись дугой. Капли крови величиной с воробья ударились в ткань, блестящую от пламени свечей: плюх, плюх, слышно было по всему храму; видимо, Он пошевелился на своем кресте. Появилась монашка, забрала наполненную чашу, поставила на алтаре пустую.

Запах старого ладана доводил до тошноты, запах курений и крови, похожий на запах старого железа. Меня буквально переломило пополам, я спрятал голову между коленями, дыша открытым ртом.

Девушка склонилась надо мной, охватила рукой и прикрыла своим мантием, собственными духами перекрыв церковные яды. При этом она стиснула мне виски сильными пальцами.

— Вспомни и забудь, — шепнула она мне на ухо. — Я снимаю с тебя твою клятву! Я сняла с тебя присягу! Ты не присягал! Оттаяло — замерзло.

Прикосновение зимназа принесло отрезвление. Я выпрямился.

— Я... не присягал...?

— Пошли.

Мы вышли в ночь. Варшава спала под снегом и лютами. Вокруг высоких уличных фонарей набухали ореолы пушистого сияния; добрые духи качались там на нитях бабьей зимы. Тени казаков маячили в белизне и темноте заснеженных, затуманенных улиц, всегда на отдалении в один квартал. Стук копыт по льду неся по аллеям и закоулкам. На крышах домов, прикрытых на время сна сливочными перинами, улыбался одноглазый Месяц.

Девушка выбирала закоулки — проулки, узкие переходы, темные дворы, тропы воров и шпииков. Так мы подошли к черному ходу двухэтажного каменного дома, дверь которого открылась нам без стука и без ключа. Неустанно подгоняя меня, девушка поднялась на второй этаж. Я тоже делал шаги с исключительной деликатностью, опасаясь хотя бы одного предательского звука. В этом доме спали люди.

Наверху она втолкнула меня в боковую комнатку и сама отступила в коридор.

В самый последний момент я схватил ее за рукав.

— Да кто...

— Чшшшш! Сейчас придет.

А на улице уже начался шум, нам было слышно ржание лошадей, гневные окрики полицейских.

— Кто ты такая?

Девушка переступила порог и поцеловала меня в лоб. Лед взорвался под черепной костью, так что я даже упал на детскую кроватку.

— Эмилия.

— Но я бы узнал тебя!

— Мы никогда не виделись, — сказала она и умчалась, захлопнув двери.

В этой темноте что-то дышало, что-то шевелилось. Я замер, прислушиваясь. Русские ругательства заполнили дом, крики и топот солдатских сапог, высокие голоса женщин и треск разбиваемого дерева. Кто-то бежал по коридору второго этажа. Я отодвинулся под стену. Тут дверь открылась, и в комнату вскочил...

...ясный, теплый отблеск, щекочущий веки и щеки. Я-онозамигало; иней растрескался. Закашлялось; упали сосульки. Впустило воздух в легкие; отпустил ледяной панцирь. Я-онокрикнуло и выпало на снег.

Все болело. Перекатилось на спину. Со стены соплицова глядело зеркальное лицо, искаженное гримасой страдания — разве что размером с аршин. Стоял вечер, и весь лед горел розовой, вишневой краской, концентрируя в себе лучи заходящего солнца, будто линза. Уселось. Все болело, только боль эта была словно после страшного усилия, после долгого бега, а не как после пытки, страшно уничтожающей тело. Так вот как становятся зимовниками, подумало. Поднялось и пинком разбило сосульку, в которой висел Гроссмейстер. Ударом о колено сбilo мерзлоту из внутреннего механизма револьвера. Переломило ящера: всего один патрон в цветочном бутоне. Разгляделось за смороженными големами.

И только теперь отметило больше фактов, не соответствующих последним воспоминаниям. Замерзшая лошадь и наполовину сожженные сани находились слева, в паре десятков шагов от внешней стенки соплицова. Само оно успело передвинуться на добрые тридцать аршин. Прикрыв глаза от солнечного ливня, глянуло в сторону стоянки. Несколько палок и обрывок войлочного навеса, печально развивающийся над свежими сугробами, хоругвь скорби. От оленей ни следа.

В бессмысленном рефлексe вырвало из-под шубы, куртки и свитера часы. Они, естественно, стояли, совершенно замерзнув. Потрясло головой, боксер, которого Господь Бог угостил правым боковым ударом.

На вечернем небе висят одинокие полосы желейных облаков.

На оноцкой пустоши не движется ничего живого.

Мертвая тишина выжимает из мороза отдельные трески и шорохи сползающего снега.

От горизонта до горизонта — никакого признака людского царствия.

Далеко-далеко на юго-западе — одинокая скорлупа высокого люта.

Из-за Приморских Гор стекает ночь.

Выходит, прошел день, а то и месяц, или даже год или тысяча лет, и, тем временем, людской род исчез с поверхности планеты. Тем временем, когда в Зиме, подо Льдом ничего не проходит, и ничего нового не приходит. Имеется то, что есть. Здесь замерзает История, но что же это за История, когда день не отличается от дня, и все существует в ничем не нарушаемом порядке? Правда одна, и Правда не изменяется, поскольку всякая перемена означала бы превращение в Ложь. Не обнаружило во льду пальца, вопреки памяти откусанного — я-оносамо является этим пальцем. А все, что за пределами нынешнего мгновения — не существует.

Волоча ногами, направились к лагерю. То туг, то там из-под снега выступали остатки снаряжения, обледеневшие формы багажей, поломанные жерди, полозья перевернувшихся саней. Нашло зимназовый прут от котелка тунгусов и тяжелое, крепкое полено. С их помощью разворошило сугроб на том месте, где стояла палатка японцев. Выкопало печку, обледеневший слепок оленьих шкур, сдавленную жестяную коробку с медикаментами и керосином, несколько замороженных книжек и охотничий мешок *Адина*. Обошло всю стоянку. Там, где отмечало неестественную неровность, пихало прутком. Так, среди всего прочего, обнаружило заднюю ногу оленя, а так же замерзшую со стиснутым кулаком руку Чечеркевича.

Солнце заходило; вернулось к печке. Если бы только удалось... Что? Даже если печка и не совсем испортилась, даже если я-ононайдет для нее достаточно дров... Быть может, переживет одну, другую ночь — а что дальше? Ноги, в конце концов, подкосились, сползло под траурный флаг войлока. Нет оленей, невозможно вернуться к людям, к жизни. Быть может, удастся выкопать какие-то остатки, запасы, сохранившиеся во льду. Потом останутся трупы оленей. Затем — та лошадь. Потом — Чечеркевич. Но когда закончатся трупы...?

Пощупало под шубой, еще твердой, обледеневшей. Портсигар, спички — все в инее, мокрое, впрочем, руки трясутся, пальцы не желают слушаться. Несколько минут в тупом изумлении пялилось на голую, синюю ладонь. Куда подевались рукавицы? Зимовники ведь тоже не всякую температуру выдерживают. Выходит, замерзну. Папиросы высыпались на снег. Ха, теперь-то Эмилия не придет, не поможет...! Злобная тряска нарождалась в глубине груди; закуталось в шубу, прижало колени под подбородок. Закусило губу. Это зверь пытается выбраться. Не позволить ему выйти! Кристаллики слез кололи в глаза. Не позволить себе это дикое, истеричное отчаяние! В присутствии другого человека здесь на помощь пришел бы надежный Стыд; а без людей необходимо спастись как-то иначе. Начало считать бьющий в висках пульс. Отвело взгляд ввысь, в небо Азии, на первые звезды — знакомы ли эти созвездия? способно ли их назвать? Останавливало взгляд на прелестных рефlekсах, цветущих в соплицове. Пыталось в этом слабеньком свете прочесть слова и предложения из выкопанных из-под снега книжек. И так вот, еще не распознав оторвавшейся от соплицова ледовой фигуры отца, трясущейся рукой подняло ближайшую книгу, замороженными своими страницами открытую в небо.

В тот же самый день, перед восходом солнца, Анхелли сидел на куске льда, в пустынном месте, и увидал приближавшихся к нему двух юношей.

По легкому ветру, исходившему от них, он почувствовал, что были они от Бога, и ждал он, что они вествовать ему будут, ожидая — что смерть.

Когда же приветствовали они его как земные люди, сказал он: Я узнал вас, не кройтесь, вы Ангелы. Приходите ли вы утешить меня? Или же спорить с печалью, которой обучился я в одиночестве молчания?

И сказали ему юноши: Вот пришли мы сообщить, что сегодняшнее солнце еще встанет, а завтрашнее над землей уже не покажется.

Мы пришли вествовать тебе холодную темень и еще большее несчастье, которое когда-либо знали люди: одиночество в темноте.

Мы пришли сообщить тебе, что братья твои вымерли, поедая трупы и взбесившись от крови человеческой: а ты же — последний [\[388\]](#) .

«А исключительным предметом всякого деяния является то, что может быть и может не быть, не является ни необходимым, ни невозможным то, что лежит в сфере двухсторонней возможности; это сфера действия, сфера поступка; сфера действительности не является сферой действия, действие заканчивается там, где начинается правда; правда заканчивается там, где начинается действие. Всеведущее существо ничего не могло бы сотворить — всемогущее существо — ничего не могло бы знать».

О холоднейшем на свете отце

13 декабря 1924 года — пускай будет этот день.

Замерзло.

Плечи отца — крылья сталактитов. Ноги отца — ледниковые колонны. Грудь отца — ледовый панцирь. Естество отцовское — темный, сосульный рог. Голова отца — тысячепудовый взрыв кристалльных терниев, раскалывающий половину неба. Указательный палец его — стеклянная рапира, пронзающая земной шар. Его открытый, глядящий глаз — жемчужина ангельской синевы.

— Папа?

Тот и не вздрогнет.

*Я-оно*подходит. Он и не глянет.

*Я-оно*протягивает руку. От него несет холодом.

*Я-оно*боится прикоснуться к нему, ведь это смертельный лед.

Садится в снегу, у отцовских ног.

Отец стоит молча, монументальная ледовая фигура.

Распростершись из-под земли в крыле сахарной мерзлоты на добрые пять аршин, он заслоняет последние багровые радуги соплицова, отбрасывая длинную, глубокую тень; *я-оно*сидит в этой тени, задирая голову, опирающуюся на коленях, словно маленький ребенок.

Он смотрит сверху, с высоты, на которой висит, вмерзший в блоки ледовой скульптуры, волшебством соплицова увеличенный всеми формами тела.

— Папа?

Даже и не вздрогнет. Воздух сжижается на его массиве белыми слезами.

*Я-оно*сидит покорно и неподвижно. Минута, две, три — слишком медленно, чтобы заметить живое движение, но, в конце концов, обернуло же взгляд ледяного отца. Глядит — значит, видит.

*Я-оно*поднимается. Снимает шапку. Оттирает лицо и бороду от инея.

— Это я, Бенедикт.

Тот не слышит, естественно, а как может услышать? Только, наверняка ведь сразу узнал сына — да и как бы мог не узнать?

*Я-оно*стоит молча. Невозможно подойти, нельзя коснуться, нет возможности ни услышать, ни быть услышанным.

Тишина над Азией, лишь темнота трещит на снегу, разрастаясь по направлениям нитей паутины.

*Я-оно*дрожит.

Сейчас наступит абсолютная ночь, погаснет соплицово, погаснут ледники отца.

Он глядит сверху и молчит, словно лют.

*Я-оно*идет в засыпанный снегом лагерь, выкапывает из охотничьего мешка керосиновую зажигалку, вытаскивает из печки бутыл с керосином. Собирает несколько выкопанных щепок и зимназовый прут, после чего отправляется к лесу, на место вырубки. Здесь все покрыто снегом и ледовой коркой. *Я-оно*пихает прут в поисках топора Щекельникова. Безрезультатно, невозможно угадать, куда отбросил его якут. *Я-оно*собирает несколько старых обломанных веток, какие-то заиндедевевшие кусты. Все это сносит к отцу. Тем временем, тот переместился на половину аршина в волне Мороза, чуть ниже склонил к земле

тяжкую голову: громадное Солнце, окруженное короной ледовых сабель и шпилек длиной в пару аршин. Глядит из-под опущенных век с ресницами-бритвами.

Я-онозажигает два костра, под правой и левой отцовской рукой. Языки пламени даже не достигают его, дым вертится возле, как будто отталкиваемый потоками холодного воздуха. Сумерки уже абсолютные, и единственный отсвет на стеклянных поверхностях отца — если не считать отдаленных звезд — свет этих двух скромных костерков. Он придает отцу подобие жизни: пляшущие языки пламени и тени, перетекающие одна в другую краски.

А за пределами — мертвый фон ночной Сибири.

— Папа!

Глядит.

Я-онодрожит. Вновь вытаскивает портсигар, прикуривает бесформенную папиросу от вынутой из костра щепки. Табак страшно горчит. С сине-багровой ладонью, трясущейся возле рта, я-онообходит отца по кругу. В конце концов, останавливается за пределами костров и отцовского взгляда. Звезда отцовской головы поворачивается слишком медленно, чтобы прочесть намерение взгляда. Это язык камня — он может лишь привалить гранитной массой, если только человек вовремя не отскочит.

Папироса сгорает до мундштука. Подбросив дров в костры, я-оно вновь садится на льду, запахиивается в шубу, натягивает малахай на уши, окутывается тряпками. В темноте трещит мерзлота. Отец согнул большой палец на левой руке, хрустальный меч нацелен прямоком в небо. Я-онопытается пошевелить пальцами ног в обледенелых торбасах, но замечает, что вообще этих пальцев не чувствует. Понимает, что, скорее всего, этой ночи не переживет. Неконтролируемая дрожь — это уже гипотермия. Саша Павлич при различных оказиях рассказывал. Именно так приходит сибирская смерть: поначалу кусающий холод и непослушание мышц, подгибающиеся ноги, слишком слабые руки, потом затерянность и странная пугливость, затем все более сильная дрожь, в которой трясутся и стучат зубы, а голова дергается как у эпилептика, затем чувство затерянности во времени и чудовищная боль, а потом боль уходит, дрожь прекращается, и человек постепенно стынет, теряя чувствительность и сознание, постепенно уподобляясь трупу — пока не уподобится полностью, замерзнув полностью. Все происходит в течение нескольких часов. Этой ночи пережить не удастся.

Хочется плакать. И не хочется плакать.

Отец глядит. (Терновая звезда повернулась).

Тишина. Сибирь. Лед.

Мороз взрезает легкие и уничтожает тело.

Конец.

И я-онопочти что видит, как к этому неизбежному мгновению, единственному обязательному мигу постепенно примерзает все прошлое, которое запомнилось. Под взглядом отца застывает правда. Вот оно — благословение *Батюшки Мороза*. Чем больше холода под кожей, чем медленнее кружит кровь, тем сильнее уверенность будто бы никакая иная встреча сына с наихолоднейшим отцом и не была бы возможна — только такая: на безлюдной пустоши, в месте, отрезанном от всяких иных мест, во времени, отрезанном от всяких иных времен, на последнем маленьком островке в океане несуществования. Тем сильнее очевидность — все это многомесячное путешествие к родителю было ничем иным, как математической редукцией до единоправды Бенедикта Герославского: поначалу, в Транссибирском Экспрессе, я-оноотсекло всех фальшивых Бенедиктов Герославских, все те обманы, которыми жило в Лете, как живут с разгона в теплых иллюзиях люди, которые сами не знают, кто они такие — дети, рожденные не от Измайловой крови; затем, в Иркутске,

отсекло все надежды на будущее Бенедикта Герославского, всех иных возможных Бенедиктом Герославских, которые легко нашли бы свое счастье в выпирании, отрицании измаилового наследия — ведь именно так жило, почти уже было ними, чуть ли не замерзло; и затем, наконец, потом-теперь, на операционном столе Сибири отрубило все остальное: людей, мир, Историю, Стыд, прошлое и будущее, даже уверенность в самой жизни и все виды на жизнь дальнейшую. Осталась обнаженная, холодная единоправда, преподнесенная на белом листе Льда: несколько цифр, буквально несколько букв.

Только так Отец Мороз может встретиться с Сыном Морозом.

Несколько цифр, несколько букв... Я-оноускаивает с места, подбегает к костру, вынимает из огня длинную, черную щепку. Входит с ней на плац белого снега прямо под миллионнопудовый взгляд отца. Руки трясутся, кровь из растрескавшихся губ замерзает на тряпье и бороде, кожа под обледеневшей одеждой отрывается клочьями при каждом движении.

И, тем не менее, я-онозамирает с беспомощно опущенной рукой, уже встав на месте первого слова — ибо, какое это слово? что здесь можно сказать? Между отцом и сыном, подо Льдом, то есть, в абсолютной правде — ну что тут можно сказать? На языке первого рода — что здесь еще осталось сказать? Отец — это отец, сын — это сын; что еще есть между ними?

Что еще можно сказать, когда уже можно сказать все?

Я-онооглядывается через плечо на увеличенное в пламенеющем льду лицо отца, на сморщенные под снегом брови, стиснутые челюсти, на поднятый подбородок, на стальной гвоздь зрачка. Мечи, окружающие его голову, рассекают азиатские созвездия.

Черной гарью я-онорисует на снегу огромные буквы:

ПРОСТИ

Отец глядит.

Геологические мысли сжижаются во льду. Горы мерзлоты напирают одна на другую. Тьмечь переливается в свет. Пламенные отблески перемещаются по аршинным иглам. Отец Мороз пошевелил пальцем.

Рапира-сталактит промерзает сквозь землю, оставляя за собой на поверхности мерзлоты швы разбитых сосулек.

П, затем Р, потом С словно половинка яичной скорлупы, затем Т, сложенное из двух ударов...

Это длится долгие минуты, и минуты.

ПРСТМНЕМЫ [\[390\]](#)

Я-онопереходит на чистый снег, на шаг дальше.

ПОЧЕМУ

Отец глядит.

ЯЯЯЯЯЯ [\[391\]](#)

Я-онопрерывает этот тянущийся в бесконечность узор мерзлоты.

ТЫ ЖИВЕШЬ

На это он не отвечает; молчит, то есть, замерзает в неподвижности.

Судороги рвут руки. Взяв щепку двумя руками, я-оновыписывает толстыми буквами:

ВЕРНИСЬ

Отец глядит.

Неспешно появляются сосульки букв.

СМНННИЗНЕТЛЖИНЕ [\[392\]](#)

ЛЕОКАДИЯ БОЛЕКЯ

ЛЖИНЕ [\[393\]](#)

Лги-ему! Я-оноотбрасывает щепку прочь, уходит в темноту, шатаясь, словно пьяный. Плакать нельзя, замерзают веки. Я-ононовья хватается за папиросу — слишком трудное предприятие; одна, другая, третья просыпаются сквозь деревянные, лишенные чувствительности пальцы. Стоит обернувшись спиной к огню и отцу, потому что это весь мир — дальше только черная бесконечность Зимы. Все обрезано, отрублено, отхвачено от той единственной холодной неизбежности. Я-онопытается призвать образ панны Елены, только это, скорее, словно извлечение трупа из-под льда: застывшая форма, более похожая на каменную статую, чем на живого человека. Нет, образ не существует.

Я-оноразворачивается на месте, хватается за щепку.

ПОЛЬША ЛЕД ПИЛСУДСКИЙ ЛЮТЫ ГОВОРИ

Только напрасно я-оноожидает ответа в знаках земли. Вместо этого — замечает через четверть часа — отец опускает открытую в молочной глыбе ладонь, сгибает каменное предплечье, вытянутое книзу. Тьмечь этой ночи протекает густыми волнами, я-онопонимает родителя уже на половине жеста: это приглашение, он вытянул руку, приглашая.

Именно за этим он и пришел.

Весь свет пляшет перед глазами. Я-оноделает шаг назад и падает навзничь. Беспомощно поднимается, конечности не желают слушаться, сгибаясь в самые неподходящие моменты, голова дергается в стороны словно на разболтанной марионетке; я-онослышит странный, нечеловеческий хрип, исходящий из-за стучащих зубов. Я-оносворачивает к костру, вновь падает. Отец глядит с высоты, одна ладонь-валун раскрыта, вторая, иглистая, колет землю семиаршинной колючкой — судья-пантократор [\[394\]](#).

ЛЖИНЕ

Лги-ему. Лги-ему! Я-онобьет себя кулаком в висок, чтобы выбить самого себя из сонного отупения. (А может, это пик волны на Дорогах Мамонтов). Поднявшись на четвереньки, я-онопрактически втискивает рожу в костер. Пламя ползет по коже, теплый кошачий язык. Чего у короля больше всего нет? [\[395\]](#)

Подпираясь руками на льду, по-обезьяньи согнувшись, я-онотащится к засыпанному снегом лагерю. Войлочная хоругвь отмечает место. Обломанной жердью и плоским, лопатообразным куском льда выкапывает из-под сугробов промерзшие в камень шкуры и меха, глыбы обледеневших багажей. Пытается просвечивать зажигалкой; та выскальзывает из пальцев. Пытается угадать: ну какой же из этих затвердевших снежных комьев — этот? тот? или тот? Вон тот. С громадным трудом разбивает угловатую скорлупу, теряя на это чуть ли не последние запасы сил и тепла — чтобы под конец открыть под низом обледеневшую пачку кирпичного чаю вместе с мешочками с солью.

Приходит момент надлома. Я-онобезвольно падает под хоругвью с пустым сердцем и пустыми мыслями. Тишина, темнота, мороз, и ладно, заснуть, прекрасно. Снежные крошки стекают на лицо. Инстинктивно смахивает их — уже не чувствуя ни пальцев, ни носа, ни щек, ни лба. Даже перестало так сильно дрожать. Прекрасно, замечательно, лучше и не надо.

Нет. Я-оноподползает к следующему валуну. Сбивает с него мерзлоту змееобразной рукоятью Гроссмейстера. Колющий хрип, проходящий через горло, определяет темп ударов. Появляется верх сундука. Ножом, извлеченным из охотничьего заплечного мешка, я-оноперерезает ремни, поддевает крышку. Та отскакивает со звоном бьющегося стекла. В середине — печка доктора Теслы.

Перекаывая ее по снегу и льду, я-оновозвращается к отцу. Костры уже почти погасли; подбрасывает остатки дров. Поставив печку как можно ближе к огню, открывает верхнюю часть конструкции, сует беспомощную руку под пустой керосиновый бак. Там имеется

зимназовый штифт, если его оттянуть, скрытый насос Котарбиньского повернется на петлях. Тем не менее, никак не удастся почувствовать пальцами этот штифт; пальцы принадлежат уже мертвецу. Я-онопытается заглянуть в средину сквозь щель в кожухе устройства. Пытается выбить этот блядский штифт прутом. Пытается вырвать бак. Ничего не выходит. В совершеннейшем отчаянии, на грани истерики, я-онопихает прутом в печку вслепую, дергая его туда-сюда, через костер и под нот отца, и назад. При этом вопя бессмысленные ругательства, смеется и хрипит, стонет и непрерывно болтает всякую чушь.

Отец глядит сверху холодным взглядом, в каменном молчании.

После очередного пинка печка распадается. Долгое время я-оностоит в тупом изумлении, пьяно шатаясь. После чего подскакивает к насосу, подтягивает пытаемый механизм к огню, оглядывает его со всех сторон с маниакальной лаской, извлекает катушку зимназового кабеля, сует один его контакт в отверстие, щелк, кабель подключен; я-оночуть ли не хлопает от радости, проверяет приемник с кристальной батареей тьмечи, черный словно уголь, и с другим аккумулятором — этот белый словно снег; разматывает кабель на всю длину и на пробу поворачивает регулятор мощности насоса, вrrrr, в середине заработало динамо протока — так! так! так! Сразу же выключив его, я-онохватается за вторую концевку кабеля и, подпираясь прутом, подходит к отцу. Совершенно не глядя в сторону высокого навеса его лица, бросает ему кабель на ноги. Кабель сползает по гладкому льду. Бросает кабель во второй раз. То же самое. Лишенная изоляции концевка, голый зимназовый провод имеет всего лишь вершка три в длину; выпрямив его на пруте, осторожно кладет его на ледовом языке, покрывающем ступню отца. Возвращается к насосу, поворачивает регулятор. Вrrrrr, но очевидным образом ничего не происходит, насос слишком слабый, чтобы высосать тьмечь через лед; впрочем, ток раскладывается теперь на всю формацию и наверняка сходит на сами Дороги Мамонтов. Я-оностоит с опущенными, словно маятники, руками, памятник умственного безволия, апофеоз кретинизма. Падает снег. Отец глядит. Собрать в кучу хотя бы одну оригинальную мысль — невозможно; все замерзло, напроць, и башка, и ум, и душа. С оглушительным треском сталкивающихся ледников к застывшему Сейчас примерзает все окаменевшее прошлое, то есть — История. Ибо память, только в ней еще что-то шевелится, червяки в могиле. Так что же — так как же — как там Тесла это делал? Вспоминается сцена с Конского острова на Ангаре, показ Боевого Насоса: тяжелая лапа машины, законченная зимназовым шипом, глубоко вонзившаяся в люта...

Я-онообматывает обнаженный провод вокруг прута; прут служил для того, чтобы его вонзали в землю, он закончен длинным острием. С другой катушки разматывает свободный кабель, и его обнаженную концевку зацепляет к регулятору мощности насоса. Просыпая из совсем уже потерявшей чувствительность ладони дымящийся пепел на снег, выжидает подходящего момента.

Шатаясь из стороны в сторону, падая раз, второй и третий, я-оноподбегает к отцу, протягивая по хрустальной белизне две черные змеи. Нужны силы, нужен разбег, останавливаться нельзя. (Он глядит). Забегает ему на ступни, вскакивает на гребни коленей, бросается на склоны бедер. Подняв в замахе ничего не чувствующую руку, только теперь поднимает взгляд.

Плечи отца — крылья сталактитов. Ноги отца — ледниковые колонны. Грудь отца — ледовый панцирь. Естество отцовское — темный, сосульный рог. Голова отца — тысячепудовый взрыв кристальных терниев, раскалывающий половину неба. Указательный палец его — стеклянная рапира, пронзающая земной шар. Его открытый, глядящий глаз — жемчужина ангельской синевы. Сердце его — окаменевшая Правда.

Сквозь лед и тьмечь, изо всех сил, что еще остались от собственной жизни — я-

оно вонзает острие. Второй рукой тут же дергает за второй провод, запуская насос: электрический ток выстреливает по проводу тихой молнией тени. И одну лишь эту боль оно чувствует в трупной деснице, когда с размаху попадает в холодные отцовские объятия.

О Лье

Которые тут же смыкаются в геологическом давлении,
раздавливая тело и ломая кости, и замыкая в
математической ловушке отца и сына
не для жизни не к жизни не к
движению слову мысли
они тоже замерза
ют пока все не
останав
влива
ет

ся
и толь
ко через
мгновение
почти горячая кровь
начинает расталкивать
тело, которого я не чувствую иначе,
чем в страдании, то есть, в борьбе за выживание,
в борьбе за появление тела, за появление меня, в борьбе за меня, за меня самого,
существующего, пускай даже и в самом низшем, наиболее подлом состоянии, с устами,
наполненными грязью, погруженного в трясины, подверженного каменованию [\[396\]](#),
похороненного, но, тем не менее, но, именно потому, но, по причине того — сражающегося
за то, чтобы выбраться к жизни, на поверхность, к воздуху и солнцу, к небу и людям, так я
вырываюсь из мрака, вслепую тянусь вопреки силе притяжения, пока в ноздри не влетает
первое дуновение теплого ветерка, а в глаза — еще заклеенные грязью — не вливается
высвеченный на слезе образ зеленого утра, под бело-облачной синевой, в шуме деревьев и
пении трав, под крестом парящего ястреба — весной.

О том, чего нельзя знать

Я вышел на свет среди трупов. Растепленная Сибирь истекала плодовыми водами с севера, с юга, с востока и с запада. Степь и тайга, горы и возвышенности, долины и низины — все стояло в болотной жиже. Я вылез из грязи; начало, оно всегда такое: жизнь выходит из навоза и глины.

Во рту у меня были камни, и песок в ушах; в ладонях моих было железо. Ржавчина вросла мне в кожу, теперь она отпадала пластами и сыпалась красной пылью, когда я делал первые шаги; ржавчина, или, возможно, какие-то другие кровавые выделения земли. Вокруг меня из

почвы выступали кости и целые конечности: руки, ноги. В мутной луже плавал человеческий глаз. Птица выклевывала из молоденькой травы людские пальцы. Я отогнал ее железом. Та вспорхнула с гниющего черепа. Я поднял эту голову, схватив за прядь темных волос. Отец глянул пустыми глазницами, оскалился в беззубой улыбке.

Такова была моя первая громко высказанная мысль, таким был первый, вполне осознанный поступок: похоронить отца. Я нашел сухое место и выкопал яму. Затем отправился собрать тело.

Найдя третью руку (и все были правыми) и четвертую ступню, до меня дошло, что из Сибири невозможно извлечь только смерть моего отца. Все умирает, и все рождается; земля переваривала останки якутов, тунгусов, наверняка здесь в грязи валяется и что-то от господина Щекельникова с японцами, а то и от более давних сибиряков. Линия зеленой тайги на северо-востоке соответствовала памяти времени зимы: я вышел неподалеку от места, где выморозилось соплицово. Здесь отца больше всего — голова, рука, кость — но ведь наши тела по большей части анонимны. Кто способен узнать свой собственный позвоночник и таз, кто признается во владении одной из десятка представленных ему щиколоток, даже если они чистые и не до конца прошившие; кто укажет соответствующие большие пальцы рук в связках по дюжине; ба, а кто представит полицейское описание собственного сердца? Все это ведь тайны. Мы не знаем самих себя в самом буквальном смысле, то есть, анатомическом, материальном, мясницком. Действительно, нам остается лишь рассчитывать на федоровцев будущих столетий и на их *автоматических* червяков, ведь если бы пришлось, сами бы спартачили воскрешение тел, как и все остальное.

Я собирал тело из грязи, сам от грязи черный; были только грязь и смрад, гной и глина, так что то, расклеившееся на куски тело в теплом прикосновении не казалось мне ни сколько более отвратительным. Говоря по правде, ничто из вещей, подлежащих прикосновению, моего отвращения не пробуждало. Даже мелкие, бешено атакующие, лезущие в нос, в глаза, в рот мушки — столетиями прокливаемый сибирский гнус — даже они виделись мне довольно симпатичными, исходя из самого факта своего существования: они есть, и прекрасно. Потом дошло, что в течение нескольких первых часов после выхода в свет, я находился в какой-то анестезирующей эйфории, если только изумление, настолько сильное, что практически оглушающее, можно называть эйфорией.

И только исполнив все повинности в отношении чужих тел (место захоронения я отметил кучей камней, намереваясь впоследствии поставить там крест), я обратил внимание на собственное тело. Обмывшись в болотистом озерце неподалеку, сцарапав глинистые наросты и свежие струпья под ними, выковыряв землю и растительную гниль из волос и бороды, я заметил, наконец, вещи, которые должны были затронуть меня самого в первую очередь. С ходьбой у меня было неважно — ну, конечно, на правой ноге, через бедро, конечно, чуть ли не до самой пятки, имелась длинная рана. Она выглядела сросшейся, но вот сама нога действовала не ахти хорошо, ступая криво, треща в суставах, сгибаясь слишком резко; она выглядела похудевшей, и вообще, по сравнению с левой представлялась паршивенько. Ступни ступали криво, потому что на них совершенно не было пальцев, те были отморожены. Впрочем, на ладонях тоже не хватало нескольких (одного пальца на левой, двух — на правой; слава Богу, большие пальцы оставались на месте). Неприятности были и с левым тазом: то, что я принимал за спекшуюся грязь, по сути своей представляло собой грубое сращение вдавленной кости черепа, опухоли и загноившегося века; левым глазом я не видел ничего, и, говоря по правде, не был уверен, имеется ли там, под низом, глазное яблоко, либо то была какая-то распухшая внутренняя гангрена. Еще я утратил левое ухо (но им слышал). Пригодилось бы зеркало, потому что в мутных лужах всякое отражение

пугало чудовищной карикатурностью. Я видел, что крупные участки кожи — на руках, на бедрах, на груди — странным образом изменили цвет, скорее всего, от практически смертельных обморожений, так что я выглядел словно живая карта стран болот, торфа и вересковых пустошей. Некоторые из этих фрагментов были нечувствительными к прикосновениям. Под кожей перемещались твердые шишки, подобные камушкам или панцирным насекомым. Я ощупал языком внутреннюю часть ротовой полости: количество зубов слева отличалась от количества справа, верхнее от нижнего. Когда же я замахал руками, что-то скрежетнуло под шеей и заболело в спине — так я узнал, что одна лопатка располагается ниже другой, и рука не опускается туда, куда должна опускаться. Когда же я наклонился к земле, тень заходящего солнца указала на земле профиль небольшого горба.

Но я жил. Жил. Жил!

Я стал высматривать, в соответствии с таежной опушкой, место нашего лагеря. Понятное дело, ничего существенного над травами не поднималось. Подпираясь какой-то железкой (по-моему, это была какая-то деталь не до конца сгоревших саней), я прошелся по равнине. Над зеленью пролетало и жужжало множество насекомых, встречались и крупные бабочки тигровой раскраски. На сваленной елке столбиком стоял маленький бурундук, грея шубку под весенним солнцем, щуря угольные глазки и разевая маленькую пасть. Я свистнул. Тот лишь повернул головку. Когда же ушла Зима? Какой на дворе год?

Я нашел остатки палаточных жердей, копался в земле, колот железным прутком. Мне попалась прогнившая древесина и зимназовые листы, они как раз сохранились превосходно. Из завала я выволок несколько истлевших тряпок и два бесформенных куска кож. Через час-полтора я открыл свалку между камнями, куда с талой водой явно стекла большая часть вещей из палатки пилсудчиков, потому что там, из клейкой почвы вырвал куски войлока, два целых ящика, проржавевшую двухстволку, клуб гнилой меховой одежды, жалкие останки печки и несколько фунтов иной дряни, перемешанной с гравием и глиной.

В одном из ящиков хранился провиант, но вода проникла вовнутрь, полностью уничтожая продукты. Мне попались консервы с витаминизированными фруктами фирмы Mielke&Sohn. Банка вызвала приличное впечатление; когда ее трясли, она казалась солидной. Я распорол ее на камне с помощью какой-то железки. Показались мумифицированные трупики плодов, напоминающие, скорее, грецкие орехи.

Во втором ящике были мои вещи, что, возможно, я бы и посчитал исключительно счастливым стечением обстоятельств, если бы не тот факт, что вода прошла и через них. Ткани и бумага, попавшие в болотистую жижу, распадались при легчайшем касании. Сохранился один лишь пакет, плотно завернутый в клеенку и резину, то есть, мой блокнот с ежедневными показаниями. Я развернул упаковку, неожиданно развеселенный этой находкой.

Бумага пожелтела, покрылась плесенью, буквы выцвели. Я осторожно перелистывал страницы. Последняя заметка: *11 декабря 1924 года, 96 темней. Царь вокруг. Князь в Александровске. Атака.* И так далее. Я смеялся, качая головой над блокнотом. Под низом, связанные аптекарской резинкой, лежали карты Пятника. Я вынул их, неспешно перетасовал. Фигуры королей и дам открывали бледные лица, фон карт со временем сделался похожим на старую слоновую кость и покрылся сетью мелких трещинок, словно старческими морщинками. Тем не менее, карты все еще могут заблестеть в солнечном свете, пустить лучистый рефлекс, от которого прищуриваешь глаза. Я поднял взгляд. Солнце еще не достигло зенита, полдень еще не наступил. Смогу ли я без часов в течение получаса выдержать 20-секундный ритм?

И вообще, продолжает ли бить прототип тесловского Молота Тъмечи в иркутской Физической Обсерватории?

Палочкой на земле я отмечал: ноль, ноль, ноль, единица, ноль — и Auferstehung [\[397\]](#).

Шульц продал Теслу. Беги. Поченгло спасает. Договор с Победоносцевым. Союз ледняков. Зима держит.

Только в этом зашифрованном сообщении было много ошибок, много знаков пришлось угадывать. Впрочем, помехи нарастали в ритме около тринадцати волн, то есть, более четырех минут, что очень четко вышло при контрольном повторе. Я задумался, опершись подбородком на железяку, глядя на покрытый знаками болотистый участок почвы.

Зима держит, как же, как же! То есть, сообщение явно не актуальное. Возможно ли, что волна ходит по Дорогам годами после выключения Молота? (А какой у нас теперь год?) Шифрограммы наверняка отсылала *mademoiselle* Кристина, никто ей в этом, скорее всего, не помогал, а если она и спрашивала у Николы, он ведь тоже не слишком ориентируется в приземленных, политических вопросах. То есть, эту шифротелеграмму следует читать, делая поправку на их невежество и наивность. Но ведь Зиму с Летом даже они спутать не смогут.

Но, имеется ведь и такая возможность, что сообщение вообще лживое.

Беги. Если бы они знали про авахитов... А откуда им было знать? Впрочем, я и не думал, чтобы за миссией этих бессмертных слепленных из кусков существ стояли какие-то политические расчеты — скорее всего, их бы потали за Пилсудским, Поченгло или другими *абластниками*, анархистами, сибирскими революционерами. Для кого тут наибольшей угрозой представлялась иллюзорная власть Сына Мороза над Историей? Это был только вопрос веры, а не политического рассудка. Такой приказ мог отдать охранке царь, измученный новыми кошмарами Зимнего Дворца... Или — Распутин.

Так или иначе, теперь все это не имеет ни малейшего значения — ибо уже нет Сына Мороза, и нет Истории. Оттаяло, отмерзло.

И я стер с земли записи нулей с единицами.

Среди железок, извлеченных со свалки, было много проволоки, из которой можно было сделать силки; из теории я знал, как они должны действовать, а раз показалось мелкое лесное зверье, стоило бы поохотиться хотя бы таким образом, вполне возможно, что до вечера и удастся добыть мяса. Выискивая провода, кабели и стальные пластины, я обнаружил несколько согнутую тьмечеметрическую трость. На пробу оперся на ней — выдержала. Я вытер ее травой и тряпками, покопался в песке и глине. Когда же закрутил маятником, в середине заурчала небольшая теслектрическая динамка. Зимназо не ржавеет.

314 темней.

Нет никаких сомнений: Лето.

Я отправился в тайгу. Здесь нет какой-либо регулярности, свойственной европейским лесам: ствол, просвет, ствол и так далее; ничего подобного. Пьяная тайга, то есть, растущая на вечной мерзлоте, после таяния представляет собой естественный беспорядок: деревья и вправду шатаются словно пьяные; они укореняются на мерзлоте настолько мелко, что любой ветерок их клонит и валит. Потому так много здесь сваленных деревьев и растущих несмотря на кажущийся повал: один пьяница, вскарабкавшийся на другого, тем не менее, такой же живой, крепкий, раскидистый.

Я обнаружил какие-то незрелые ягоды на колючих кустах и обожрался ими как дурак, считая, будто бы это какая-то безвредная разновидность сибирской облепихи, о которой нам рассказывал доктор Конешин. Дело в том, что я вдруг почувствовал голод, словно бы во мне включилось какое-то совершенно новое внутреннее чувство: тело обратилось ко мне напрямую на собственном органическом диалекте. Есть! Кушать! Жрать!

Понятное дело, я тут же все вырвал. Из рта вырвались наружу ягоды, желудочная желчь, песок, земля и мелкие камни.

После чего я снова объелся облепихой.

Сразу после заката я вернулся туда же, чтобы проверить проволочные силки — что, опять же, не было разумным, потому что в темноте я большую часть из них просто не нашел. Впрочем, что-то живое попало только в одни из них: похожий на крысу грызун, немногим крупнее бурундука. К тому же, возвращаясь через темный лес, я запутался в зарослях ивы и черемухи и наступил на ветку или острый корень, пробив ступню. Хромал я теперь уже сильно.

Расстелив на поломанных жердях остатки шкур и войлока, следующую половину ночи я провел под этой временной защитой от ветра, пытаюсь развести огонь самым примитивным способом, то есть, без спичек или зажигалки: то стуча камнем по кремню, то потирая один кусок дерева о другой. При этом приходила мысль: а не слопать ли эту лесную крысу сырой.

Когда, в конце концов, я добыл огонь и устроил из разбитого пня костерок, чтобы поддерживать огонь в течение всей ночи, я зажарил грызуна, наскоро его освежевав, на куске зимназового листа, и сожрал его немедленно, еще горячего, выплевывая мелкие косточки. А затем перепачканными в крови, земле и золе пальцами вытаскивал из зубов его шерсть.

Потом, наевшись, я лег пузом к звездам. Жесткое мясо впилося во внутренности тяжелым кулаком, расталкивая их. Пару раз я срыгнул. В невидимых органах что-то булькало и урчало, накручивались часы гниения и пружины энтропии. Я положил руку на пупок. На мировой оси надо мной кружились светлые тропы жизни обитателей Верхнего Мира, сквозь черный небосклон прогорала ангельская кровь. Я похлопал по мягкой земле. Обнаружил тьмечеметр и блокнот, облегченно вздохнул.

Я перелистывал желтые страницы при бледном свете ленивых язычков пламени, пятная бумагу липкой грязью. Перед первыми записками времен сибериады были еще примечания к работам о математической логике и комментарии к Котарбиньскому и Тайтельбауму — о них я забыл совершенно. Еще раньше — какие-то варшавские заметки... Все это я перелистывал безразлично, скользя глазами по выцветшим буквам. Зевнул; выпали какие-то отдельные бумажки. Я поднес их к свету. Незаконченное письмо панне Юлии.

Хотелось смеяться. Я громко икнул; отозвалась сова. Какая из этих страниц первая... Мой Боже, да сколько же я их за все эти месяцы накропал! Добрую дюжину, а то и больше. Самое длинное в мире письмо. А началось — я перечитал самое начало — началось с того, что возвратившись к себе после последнего визита в доме панны Юлии, где наорал на нее перед лицом ее фатера и высказал вслух всю ее змеиную хитрость, вернувшись, уже через несколько мгновений начал от всего сердца об этом жалеть и биться с угрызениями совести, дергаясь в путах Стыда. Там была какая-то бутылка водки на жженном сахаре, неосторожно забытая Зыгой... Письмо я начал с горячей просьбы о прощении. Да *пожелает ли меня панна еще хоть раз увидеть?* Только на большее сил уже не хватило; голова упала на стол, усталость и спиртное взяли верх. Утром еще дописал предложение или два, после чего вышел в город. И там услышал, что панна Юлия бросилась из окна второго этажа, не слишком высоко, но при этом переломала себе позвонки, и теперь лежит в больнице Младенца Иисуса без чувств и сознания, скорее всего, парализованная до конца жизни, ни мертвая, ни живая. Об этом второй и третий абзацы письма. *Панна не имеет права меня оставить так, перед лицом людей и Бога!* Я хохотал во весь голос. Сердечные страдания бедного студентика! Да как я мог вообще все это писать на полном серьезе? *Молюсь за выздоровление панны, все изменится, даже панна сама обо всем забудет.* Все это обращалось к жалостливой лжи и иллюзиям, поскольку девушка в сознание не приходила, я же на бумаге изливался в очередных серьезных чувствах, исповедался на межчеловеческом языке в самых глубинных секретах, строил совершенно уж фантастические планы и мечтания, полностью оторванные от мира и правды... Все потому,

что прекрасно знал — это письмо я никогда не отправлю. Никто его никогда не прочтет. Я писал панне Юлии — которой не существовало, не существовало, не существовало.

Я бросил записную книжку и все бумаги в огонь. Пламя выстрелило под звезды Азии веселыми искрами.

Укладывая ко сну кривые кости, я вытянулся на земле; над Сибирью широко разлилась кровь ангелов. Знание заканчивается там, где начинается действие. Таков уж под Солнцем и Луной правит порядок, о котором нее способен высказаться язык первого рода. Действие, то есть, перемена, является сутью Лжи; неподвижность, то есть, неизменность — это суть Правды. Тот, кто бы действительно познал всю правду о себе, тем самым вступил бы в царство идей, вечно существующих общих мест, силлогизмов, конъюнкций и голых чисел.

Под самый конец отец был близок к этому — под конец, когда он уже сбежал от жизни. Но пока обращался в мире материи, пока действовал — на самом ли деле беспокоился математикой собственного характера? Размышлял ли он об этом хотя бы мимолетно? Никакой вид стыда не имел к нему доступа.

Его познали через его поступки. Его познали через тело.

Кто желает обрести знание о самом себе, желает смерти.

Тот же, кто желает обрести знание о мире — тот жаждет жизни.

Я заснул и спал здоровым сном, пока меня не разбудили трели птиц и прикосновение весеннего солнца. Я встал, собрал все то, что еще могло пригодиться, и отправился в мир.

О необязательном

Я шел на север, северо-восток, к Приморским и Байкальским Горам, к Лене. Солнце и яркие звезды вели меня через сошедшую с ума географию, через пейзажи великой сибирской оттепели.

Я видел целые долины и речные русла, заваленные скопищем грязи, деревьев, камней; видел горы с оборванными склонами; склоны, целыми гектарами сбитыми в складки, словно морщины на ковре; видел обнаженные внутренности этих геологических организмов, с их внутренними жилами, каменными костями, жирком песков, мускулами глины — впервые за миллионы лет открытые солнечному свету.

Видел, как после весенних дождей по равнине мчатся волны потопа, как скромные речушки, бедненькие горные ручьи за половину дня вздуваются на добрых три аршина, несясь потоком по новым руслам или без какого-либо русла, болотистым фронтом растекаясь по траве, холмам, рощам.

Я видел, как после подобного ливня с земель старых пожаров сходит Черная Вода, накопившаяся под опаявшим льдом гарь после страшных сибирских огневищ, превращающих в обугленную пустыню громадные территории тайги, из которых можно было бы выкроить пяток европейских княжеств. Черная Вода обладает густотой токаря и цветом жидкой тьмечи, она поглощает всяческий свет, а отдает лишь бесцветный мрак.

Видел леса двухаршинных стволов, срезанных точнехонько над человеческой головой, словно какой-то великан прошелся с серпом по тайге, выкашивая с замаха целые версты чащобы на высоте второго этажа.

Я видел Шатры Земли: возвышенности шириной в пару десятков аршин, высотой в три, вовнутрь которыхходишь через щели, словно резаные раны в зеленом боку; а в середине: холодная темень и серые слои не растаявшего льда над головой. Я спал в таких «шатрах». Их довольно много, особенно тут, вокруг Байкала: росли они долгими годами, постепенно выползая наверх, выталкиваемые снизу льдом, то есть, водой, превратившейся в лед под

давлением, а так же воздухом, заключенным в инклюзивных пузырях. Затем лед с воздухом уходили, и оставался лишь пустой изнутри Шатер Земли.

Видел кратеры посредине тайги, как будто бы кто-то бомбы там с дирижабля сбрасывал: огромные ямы с разбросанными вокруг деревьями и разбрызганной землей.

Я видел целые поля аласов: впадин глубиной в несколько аршин, иногда маркирующих равнину неправильными сборищами на долгие версты, иногда же сгруппированных всего лишь по дюжине-две: ямка, ямка, ямка, ямка, словно следы после прохода Мамонта Мамонтов, отпечатки его ног.

Видел выплунутые из льда, из земли и принесенные с водой останки животных, белые и желтые кости, конские седла, доски и целые фрагменты деревянных домов, инструменты людского ремесла, шкуры и тряпье, а так же людские голые и одетые трупы — разбросанные после неожиданного разлива посреди равнины, словно игрушки, выпавшие из дырявого кармана Господа Бога. Так я добыл себе портки на полторы штанины и рваную шляпу: со свеженького, всего-ничего подгнившего трупа. В кармане штанов нашелся испорченный компас и *печатьчиновника Харбинской таможенной палаты, датированная 1812 годом.*

Видел я молнии весенних бурь, разрывающие темно-синее небо угловатыми когтями от горизонта до горизонта, и так четверть часа за четвертью, час за часом, я шел под покровом молний.

На восьмой день, когда я четверо суток не ел ничего, кроме зелени и грибов сомнительной съедобности, не пил ничего кроме мутной дождевой воды, от которой желудок стискивало болезненными судорогами — начал я терять сознание. Начал я изнемогать, падая на месте, за что заплатил громадной шишкой и разорванной на лбу кожей.

С подобным головокружением я шел медленнее, тяжело опираясь на тьмечеметре; отдыхать приходилось подольше. Вновь я упал, и снова, и снова, подвернул запястье.

Безграничная Сибирь расстилалась передо мной зелеными равнинами, болотами, блестящими миллионами небоцветных луж; живой, елово-лиственничной тайгой, с белыми просветами берез, с более темными островками ольх и кедров. Горы приблизились, охватили горизонт мускулистой рукой. Но нигде я не замечал признака человека. И все чаще находил на меня тот библейский страх: что и вправду я остался последним из рода Сета. Что остальные люди умерли — *поедая трупы и взбесившись от крови человеческой*, а меня ожидает то же самое... Особенно часто такое случалось по ночам, беззащитный, одинокий, в темноте. Руки дрожат, и сердце бьется быстро-быстро, без какого-либо ритма, под самой кожей.

На девятый день я рвал кровью. Но я шел, качаясь из стороны в сторону. За день я проходил не более пятнадцати верст. А потом территория сделалась еще более подмокшей, я застревал в грязи на каждом шагу.

На десятый день я потерял сознание во время дождя и упал в густую грязь, чудом не утонув в ней. Открылась рана на правой ступне — приходилось ступать на пальцы, которых у меня не было. Меня начали посещать галлюцинации, про которые я знал, что это галлюцинации.

А потом слабость в ногах и головокружения усилились настолько, что быстрее и безопаснее мне было ползти на руках и коленях. Так я прополз целый день и половину следующего. Теперь меня посещали галлюцинации, которые уже было невозможно отличить от реальности.

Я полз: аршин за аршином, от одной возвышенности до другой — хорошо еще, что местность была гористой и заслоненной тайгой, благодаря чему я мог обещать себе спасение за каждой ближайшей вершиной, а потом за следующей, и следующей, и следующей. Вода текла внизу между ними, достаточно было опустить голову и глотнуть ледянистую жижу.

После этого меня рвало грязью и кровью.

Я выполз на холм над факторией, и там меня и нашли.

Поскольку при мне была печать имперского чиновника, и поскольку здесь снова царило Лето, меня взяли к себе, перевязали, накормили, позволили заснуть под крышей. Когда я уже более-менее пришел в себя и поблагодарил за то, что мне спасли жизнь, они уже не могли меня выкинуть за порог.

Их было здесь четыре мужика, в этой купеческой фактории, поставленной ради заработка от старателей, *золотничкови* сорок, работающих в бассейне Лены. Один из них выехал из фактории в Качуг за новостями и приказами от фирмы, а еще за свежим товаром, привозимым туда по реке; осталось трое. Один направился в лагерь добытчиков, куда-то в сторону старого Верхоленска, за золотом и тунгетитом, но до сих пор не возвратился; осталось двое. На ночь они баррикадировались в этой скрытой под холмом избе из толстых кедровых стволов, нередко часами бодрствуя возле окон-бойниц с карабинами в руке, с погашенными лампами. Утром, младший, Алеша, брал собак и выходил осмотреться, не возвращаются ли товарищи, а при случае подстрелить куропатку или рябчика, если добрый Бог подведет птицу под прицел. Старший, Гаврила, садился у радиоприемника, и с помощью ненадежного лампового аппарата марки Гроппа пытался выловить Иркутск, Харбин, Томск, Новосибирск, Якутск или Владивосток, откуда, время от времени, в эфир выходили короткие передачи. Этот приемник они привезли сюда прошлым летом, когда лед начал отступать. Наступила Оттепель, и с тех пор, как *Черное Сияние* надолго сошло с неба, электромагнитные волны путешествовали через бывший Край Лютов по законам той же самой физики, что правила и остальным человеческим миром. То, что аппарат ломался, и мало из него было слышно понятных слов, это уже дело другое. Заглушив динамик до шепота, Гаврила включал радио и ночью — он любил сидеть так, с ухом у самой коробки аппарата, иногда ловил при этом музыку Запада, то есть, американские мелодии и песни, излучаемые в эфир передатчиками Королевского Военно-морского Флота в Гонконге и приносимые сюда ночной порой волшебными приливами невидимых волн. Чаше же всего приплывали шумы, смешанные с другими шумами, странные стонущие серенады, меняющие тон, ритм и высоту, как только человек приближался или удалялся от приемника, наклонял или отклонял корпус, шевелил головой или рукой. Это была магическая деятельность. Так мы слушали радио целыми часами. Где-то там, в темноте, в высотах, в космических безднах волны накладывались на волны — и нарождалось рычание шепотом, мяукающие скрежеты. Зимназовую антенну факторы укрыли в ветвях березы, растущей на крыше избы. Алеша спал на посту у окна, с карабином Маузера под рукой, в то время, как тихие нотки регтаймов или диксиленда сочились в сибирскую ночь.

На дворе стоял апрель 1930 года, и на Тихом Океане продолжалась Великая Война Четырех Флотов, армии же Николая II Александровича шли через европейскую Россию, огнем и железом выпаливая Революцию. Все военные договоры, заключенные державами, утратили силу, а так же все те дипломатические пакты правящих домов, сцеплявшие Европу и ее колонии сетью искусственных зависимостей, придуманных еще Бисмарком. В Азии же китайский император вырезал миллионы собственных взбунтовавшихся крестьян; японский император, окончательно захватив Корею, сражался с американцами за Чукотку. Сибирью не управлял никто.

По ночам они были более разговорчивыми, то есть, бывал Гаврила, потому что Алеша, по обычаю робких крестьян, супился и бормотал в присутствии чужого человека, с большим трудом отвечая, да и то, односложно. Зато Гаврила наверняка радовался возможности поболтать с новым собеседником. До него не сразу дошло, что я родом с Большой Земли;

поначалу его обманула та печать; затем глядел по потьмету и принимал меня за урожденного лютовчика; в конце концов — за сороку, давно уже занимающегося тунгетитом. Стояло Лето, так что все это необходимо было отрубить быстро и решительно: Бенедикт Герославский, сказал я, прищиплив его самым честным циклопическим взглядом, Бенедикт Герославский, за которым высланы объявления о розыске, а то и смертные приговоры от царского имени.

Поверил, не поверил — когда в первую ночь я присел к нему возле поющего и тихонько визжащего радиоприемника, то, угостив меня неплохим даже табаком, он тут же перешел именно к тунгетитовым делам. Говорил о том, что они и сами не знают, что делать, и что ожидают приказов от фирмы, как слов Спасителя, ведь если бы пришел к ним какой сорока запоздалый с мешком тунгетита, так что? — скупать? по сколько рубчиков за фунт? а чернородки? Здесь не знали, имеется ли какой-то на них спрос. В прошлом году промышленность Льда пала, и с тех пор они новых ценников не получали. Спрашиваю, а слышали ли они, чтобы в Сибири вообще кто-то скупал тунгетит. Ой, плохое время для всякой торговли, *гаспадин Ерославский*, —пожилой фактор пыхает из трубочки, покручивая настройку радио. Сначала люты пошли к черту, и зимназа у нас нет, большие деньги из Сибири уходят. А потом уже к черту пошли правительство и законы, так что уже не может человек выйти на тракт с добром на продажу или там с деньгами, на продаже заработанными, потому что раз-два и облупит его та или иная партия бродяг, революционеров, мартыновцев, тех или иных народников, а то и просто разбойников. Впрочем, люди и сами к каким-либо интересам в такие шаткие времена охоту потеряли. Кому не горит, носа наружу не высунет. А тунгетит, как раз, и так теперь сложнее высорочить, тем более — чернородки, когда лед растаял, сошли снега, прошла вода, так что все уходит в грязь, в землю.

...Говорит, что промышленность Лед умерла — а не слышал ли, случаем, что там случилось в Иркутске и в Зимнем Николаевске? В приемнике шушукает нью-орлеанский оркестр, а в тайге ухают совы, когда Гаврила рассказывает про судьбы мира, подслушанные здесь, в сибирской глуши. Нет Зимнего Николаевска, *господин Ерославский*. Кто управляет Иркутском? А кто ж его может знать! А ходят ли все так же поезда по Транссибирской дороге? Если только та или иная армия не подорвала ее. А губернатор Шульц-Зимний? Не он, случаем, у власти? Ну да, нашего владыку Шульца, тьфу его, черти взяли еще во время первых выступлений, то есть, в феврале прошлого года, в день Последнего Сияния, как там, в Иркутске, резать друг друга начали — так и всякий слух о нем пропал, прибили, видно, где-то втихаря; насамодержжствовал четыре годика — и *хватит*. А доктор Тесла? Фактор морщит медвежьи брови. Кто такой, почему не знаю? А князь Блуцкий-Осей? Тот лишь отрицательно качает головой в табачном дыму. А Пилсудский? Кто таков, снова? Знаменитый польский террорист. А-а, все они, террористы, вылезли теперь наверх и с собственными армиями открыто ходят, как поселок в тайге или там тракт значительный, то все под разными флагами: Армия Красная, Армия Зеленая, Полки польские, полки германские, боевики-анархисты, боевики-лоялисты, команды бедноты в новой мартыновской горячке, и даже вооруженные отряды *китайцеви* одичавшие сотни бурятских казаков под атаманами-самозванцами.

Я слушал все это без какого-либо удивления, чувствуя холодную оторванность от мира и от Истории. Когда-то меня бы все это страшно волновало, хотелось бы узнать всякую мелочь, а теперь — спрашиваю, словно про здоровье никому не нужных родственников на седьмом киселе. В конце концов, а чего другого мог я ожидать? Точно так же, как и через сибирскую природу, точно так же Оттепель идет и через Историю. Опаяло, отмерзло.

А из Европы, допытываюсь я лениво, промолчав две джазовые серенады, затягиваясь при том толстенной папиросой — а из Европы не слышали чего? *Из Польши, например?* Тот понуро молчит. Здесь разбойники, ворчит, но на Большой Земле — война. А я слышу в этом

откровенную печаль, сердечную печаль у сибиряка, закопавшегося в глубинной чащобе — при известии о страшных опустошениях, грозящих Европе. Никогда он не был за Уралом, да и гораздо больше азиатской крови в Гавриле течет, тем не менее, печалится, словно при известии о несчастье, поразившем родителей его хорошего приятеля. Удивительным образом, это меня тронуло — что все это больше трогает его, чем меня, именно это меня и тронуло и поразило. Я дружески похлопал его по плечу, чтобы утешить. Тот сжался, отвечая из-под бровей умильной, собачьей улыбкой. Это я был здесь европейцем.

Поднявшись на ноги, немного набравшись сил, я начал отправляться с Алешей на недалекие охотничьи вылазки. Мне одолжили оружие — легкую, но прицельную двухстволку; само собой понималось, что господин с Большой Земли набил на охоте руку. Я сразу же заявил своим хозяевам, что это неправда, что никакого особого опыта обращения с оружием у меня нет, что к добыче никогда не подходил. Поверили? Стояло Лето.

Алеша знал здесь каждую яму, каждый холмик, он вырос здесь; теперь же, когда те открылись из подо льда, он узнавал их заново. Зверей было еще немного, они начали возвращаться лишь с прошлогодними разливами, прежде всего — птицы. Он показывал мне ключи, растянувшиеся по небу в высоком лете из дальних краев, словно ребенок восхищенный волшебной игрушкой; это отражалось в его глазах, только в этих случаях радостных и без страха открытых людям. Тем не менее, он не знал ни единого из этих видов, не мог их назвать, не умел описать, потому что никогда в жизни их не видел. Каждый день он выходил открывать новый, экзотический мир, словно путешественник, которого высадили на берег фантастического континента. Разница заключалась лишь в том, что переместился не он, а природа — новый мир каждое утро взрывался у него под ногами. Так что случалось, это я открывал ему названия и рассказывал мифологию животных (вот это глухарь, который нередко спаривается с тетеревом, из чего получаются бесплодные двух-видовые метисы; а вот это изюбрь, которого еще называют маралом, сибирский олень, который совершенно исчез во времена Льда, так что даже граф Шульц отчаялся поохотиться на него), ведь я был из их мира. Я был европейцем, стояло Лето, и все это была правда, размазанная наравне с ложью.

Шло время; до меня дошло, что я совершенно не отсчитываю этого уходящего времени. Вошел в рутину. Гаврила с Алешей меня не прогоняют; можно лазить по горам и лесам, учиться стрелять в белок, греть кости на солнышке и слушать ночной джаз из трещащего приемника. Никто меня не найдет. Впрочем, никто меня и не ищет. Я разлегся в сочной траве на солнечном склоне над ручьем, положив руки под голову, глядел на пышные, словно аэростаты облака, прогуливающиеся над тайгой, одно, другое, третье... и целый поход из семи облачков, связанных длинной цепочкой, а вот два кругленьких аэростатика, и вот аэростат лопнувший, растянувшийся на половину небосклона... Собака Алеши улеглась рядом, вывалила язык, тяжело дыша, счастливая от усталости после гонок с молодым охотником. Над лугом клубились синие мушки. Я махнул рукой перед лицом. Движение было медленным, бесцельным — то ли чтобы отогнать гнус, то ли прикрыть глаза от солнца, то ли для того, чтобы подозвать пса... Заснуть? Не заснуть? Спуститься выкупаться в этом холодном ручье? Или снова вскарабкаться вместе с Алешей на гору? Или отправиться за лосями? А может, вообще уйти отсюда, из Сибири? Или вообще ничего не делать? Облака накрывали меня мягкими тенями. Плескала вода.

Наступила Оттепель, и никакой необходимости уже не было. Никакое внутреннее или внешнее принуждение не придавало мне конкретного будущего. Мне не нужно работать, чтобы выплачивать долги, для мира я и так мертв; можно вообще в старый мир не возвращаться. Нет у меня обязательств по отношению к семье, нет обязательств или

провинностей в отношении людей или государства — нет у меня семьи, нет государства. Ничто мне не грозит, если сделаю или не сделаю то или иное. До сих пор я всегда был в заморожен в очевидность: варшавские долги, приказ и угрозы Министерства Зимы, отец. Я-оножило. А теперь — все необязательно, даже сама жизнь. Собака вытянулась у меня на груди; я дунул ей в нос. Она только широко облизалась. Нас накрыло очередное облако. Запах теплой травы и сырого леса рвал ноздри. Я подумал: вот она, нулевая точка, это начало системы координат.

Ибо, начинается все с вещи вроде бы простой и очевидной, тем не менее, как немного людей доходит до нее. (Живется). Так вот, направду следует — до глубины души, не в порядке умственных аргументов, но простого, мужицкого знания, записанного в мышцах и костях — следует осознать себе не необходимость всякого нашего поступка и отказа от него, необязательность всякого дня, прожитого так, не иначе. (Живется). То, что встаешь, чтобы успеть в контору на восемь часов — это необязательно. То, что живешь в городе, среди людей — это необязательно. То, что работаешь ради денег, а деньги тратишь — это необязательно. То, что женишься, растишь детей — это необязательно. То, что поступаешь в соответствии с законами и обычаями, соблюдаешь правила общежития — необязательно. То, что ходишь на двух ногах — необязательно. То, что живешь — (живется) — необязательно.

Увидеть это сразу, во всей очевидности, сразу же приложенное ко всякой вещи: может быть так, может быть иначе, и ни один из способов не является более правдивым по сравнению с другим.

Увидеть и принять это в качестве наипервейшего принципа: необязательность.

Я сжал пальцы на шее собаки, стиснул сильнее, когда она начала метаться и царапать меня когтями. Отчаянный писк не мог выйти из ее пасти, когда она задыхалась в последнем вздохе.

Задушить собаку — а *почему*? Позволить жить этому созданию — с чего бы? Сделать что-то или не сделать — по какой причине? Сдохнет или не сдохнет — без разницы. Поступишь так или иначе — выйдет одно и то же. *Все дароги аткрыты*, ни одна из вещей не является более очевидной по сравнению с другой. Жизнь пса, человеческая жизнь, собственная жизнь — это все то же самое, что кручение букв неизвестного алфавита, словно созвездия на небе, словно форма облака над головой; все пустое и совершенно необязательное.

Я могу сделать все, я не должен ничего делать.

И тогда я подумал про уральского волка и про панну Елену, протягивающую к чудищу обнаженную ручку.

Я отбросил собаку прочь, поднялся и, так как стоял, ничего более с собой не забирая, не возвращаясь в факторию, не оглядываясь назад и не отвечая на крики Алеши — отправился на Кежму.

До Кежмы было добрых полтысячи верст. Я надумал, что по крайней мере до Усть-Кута поплыву по Лене, а затем воспользуюсь Зимней железной дорогой. Только все это Второе Бродяжничество пошло совершенно по-другому. Спускающаяся с Байкальских Гор Лена не поддерживает судоходства и при самой лучшей погоде. Перед Годом Лютов в летние месяцы по ней плыли на север огромные транспорты стволов — но теперь, во-первых, никто не работал на вырубке и никто древесины не скупал; а во-вторых, до сих пор еще случались истинные потопа, в которых Лена откашливала накопленную за долгую зиму слизь: грязно-коричневые разливы густой взвеси грязи, холодной ледниковой воды и миллионов пудов захваченной этим ледовым срывом земли и растительности. С высоты приречных гор я дважды имел возможность наблюдать прохождение такой волны, зрелище было словно со

страниц Книги Бытия, невольно я останавливался, присаживался, затыкая уши перед драконьим рыком освобожденной из-под оков Льда природы. Лена протекает здесь в очень глубоком русле, местами — между скал, выстреливающих к небу чуть ли не на половину версты, а то вновь попускает пояс и непристойно раскорячивается вширь, отражая низкую синь гладким зеркалом: вот тебе небо на небе, а вот — небо на земле. А потом скалы вновь захлопываются на ней; там вода ревет сильнее всего. Каменные плиты уложены, впрочем, столь регулярно в геологических террасах, словно в лабораторных сечениях земной коры, так что неоднократно, вопреки рассудку, я думал об этой природе как о человеческом творении: кто-то все это спроектировал, кто-то пробил дорогу потоку, кому-то понравились цвета лесного пейзажа, выгнувшегося над рекой, и резкие тени, вытянувшиеся на реке вечером от хирургически вырезанных скал — вот он задумал для себя картину и осуществил ее. Неоднократно я засыпал там, над Леной, у догорающего костра, с воображением, заполненным геологическими формами, погружаясь в медлительные сны о земле, камне и холодных потоках, путешествующих во тьме под гефестовым давлением.

В более спокойных притоках Лены я ловил рыбу, выбив с помощью камня и тьмечеметра крючок из проволоки, выковырянной из сорочьего сита. После разливов речной слизи я находил на берегу различные инструменты, выплюнутые из земли вместе с различным мусором. Эту рыбу я ел из проржавевшей миски для промывки породы какого-то золотоискателя. Кроме того, у меня была алюминиевая фляжка для воды. Как-то ночью к моему костру и рыбе подсел другой сибирский путешественник, идущий по течению Лены. Он представился именем Ян; сообщил, что родился в Праге подданным Франца Иосифа, в Сибирь отправился на должность управляющего шахты, теперь же нет ни должности, ни шахты, а сам он идет за шествием безумных мартыновцев, которые увели с собой его жену и ребенка — тут он вытаскивает огромный револьвер, целится в мне в грудь и требует, чтобы я поклялся, что не принадлежу никакой мартыновской вере. Мне сразу же вспомнился Транссибирский Экспресс. Я закрутил тьмечеметром: 313 темней, Лето. Видимо, он отметил мой черный отъмет, вот почему вел себя так. Я наложил ему оставшейся рыбы и рассказал историю Сына Мороза; ночи хватило. Он не выстрелил. Утром мы спустились к Качугу.

Порт и город удерживали люди некоего Фашуйкина, который, как мы слышали, когда-то был унтер-офицером надзирателей каторжных рот, которые посылались на вырубку тайги. После Последнего Сияния он каким-то образом созвал охранников вместе с заключенными и бродягами, и вот так, собравшись с силой, они захватили контроль над всем речным сплавом. Тем не менее, то же самое безголовие и беззаконие, которые давали им возможность подобного самоуправления, вызвало, что в российской Азии практически полностью прекратилась всяческая торговля, и Фашуйкину, вместо того, чтобы легко и беззаботно набивать кошелю, приходилось много трудиться, чтобы удержать город под властью, а людей защитить и пропитать. Мы спустились туда через два дня после прохождения того паломничества сектантов, за которым шел Ян. Разыгрались кровавые столкновения, мартыновцы желали вскрыть городские склады; добровольная милиция Фашуйкина не позволяла им в этом, она била через реку, отстреливалась из окон домов, часть из которых сгорела. Фашуйкин, дородный мужчина в военной фуражке и при нагайке, ходил по улицам со своими приближенными бродягами, во все совал нос, покрикивал на вооруженных людей, подгонял тех, кто убирал тела, склонялся над бабами с детьми, которые ежесекундно заступали ему дорогу с какими-то жалостливыми просьбами; под конец они целовали ему руки и, похлипывая, позволяли себя оттащить мрачным разбойникам, тем не менее, утешенные. Мы были свидетелями подобной сцены на берегу. Гляди внимательнее, сказал я Яну, так рождаются Соединенные Штаты Сибири. Тот на меня глянул как-то странно и указал

на контору у склада (не затронутого огнем). Я прищурил глаз. Там висел плакат, издавелеа довольно похожий на антияпонские плакаты времен войны. Подошел. Кто-то ободрал нижнюю часть, пуля пробила надпись на самом верху — но то, что осталось, было самым главным. Это было воззвание к народу Сибири, в стиле газетных историй в картинках, провозглашаемое здоровенным лесорубом с не слишком славянскими чертами лица. Лесоруб с плаката извещал, что эти земли и их богатства находятся во владении уже не Императора Всероссийского, но народа Сибири — поскольку 17 октября 1929 года в Томске были учреждены *Соединенные Штаты Сибири*, отдающие сибирякам демократичную над ними же власть. Томское Воззвание подписали различные политические комитеты, в том числе *Новые Народники* и эсеры-вешатели Савинкова, но первым в этом списке было *Всеобщее Областничество*, представляемое Поченгло П.Д. Ниже, под левой рукой лесоруба, размещалась речь о планируемых действиях Временного Правительства СШС; именно этот фрагмент отсутствовал. Я спросил у Яна, слышал ли он что-либо об этом правительстве. Кто у них канцлер? Не какой-то поляк, случаем? Только Ян к этому державному проекту особенного уважения не испытывал. Все это салонные забавы политиканов, буркнул он, присматриваясь к трупам, вылавливаемым из реки сплавщиками-инородцами. И чего это им захотелось всю эту пропаганду рассылать — сколько тут людей читать могут, а? После чего он направился к могилам на южной окраине, чтобы там поискать свою женщину и ребенка.

В Качуге мы провели три дня, ожидая оказии, чтобы отправиться на лодке вниз по реке. Ян отказался от этой идеи первым, предпочтя идти за мартыновцами пешком. Подобных бродяг здесь были сотни, все одинаково без денег, христарадничая у людей какую-нибудь горячую еду и крышу над головой. Деньги, впрочем, особо здесь и не помогли бы: как я быстро заметил, царский рубль вскоре после Оттепели пожрала инфляция, не лучше выглядели и другие европейские валюты; ценность удерживал только американский доллар, золото и алмазы. Фашуйкин платил за уборку улиц и поддержание порядка картошкой, репой и луком, а так же долговыми расписками его Деревообрабатывающего Синдиката. Поработав пару дней на трупах, я, по крайней мере, потом досыта наелся. Расписки служили лишь для подтирки задницы.

Ян потерял терпение и отправился на север по лесозаводскому тракту. Я догнал его впоследствии, уже в группе нескольких осужденных, которые выскользнули от власти Фашуйкина и, пользуясь неожиданным освобождением по причине Оттепели, пытались возвратиться домой, в Европу. Гораздо больше было таких вроде бы беглецов, у которых кандалы сами спали с ног, когда ушел Лед, и когда пали оковы Государства. Часть направлялась на юг, в Иркутск, рассчитывая на поездку Транссибом или морем через Владивосток, а то и вообще — намереваясь пройти через Монголию и Харбин, чтобы заработать на Китайской Революции. Другие, как те же приятели Яна, сразу же шли на Красноярск. Еще другие — таких было меньше всего — не сильно имея к чему возвращаться или совершенно не ориентируясь в мире, рассчитывали, что умнее всего будет поймать фортуна, оставаясь под крылом Фашуйкина и компании.

От компании бывших каторжников одна польза была несомненной: они не погибнут с голоду в зеленой тайге, не погибнет с голоду и человек при них. Впрочем, они напали по дороге на всадника в мундире, отобрав у него карабин с патронами, а потом им удалось подстрелить упитанного олененка. Что снова-таки стало причиной расставания с Яном, поскольку он не желать терять еще день на разделку животного и приготовление мяса для длительного пути.

С чехом я столкнулся через несколько десятков верст далее, уже неподалеку от Усть-Кута.

Все страшно удивились, увидав там, на холмах над Леной, лагерь какой-то вооруженной силы. Поначалу нам показалось, что это царские казаки, потом — что одичавшая сотня; затем, когда издали насчитали больше европейских лиц — что это банда, организованная бывшими каторжниками, типа фашуйкинской. Они поставили палисад, надлежащим образом окопались, у них были часовые с биноклями и, по крайней мере, два тяжелых пулемета системы Хирама Максима, что высмотрел молодой осужденный, обладавший свежим опытом императорской армии. Кроме того, там выставили мачту радиоантенны. Они не носили каких-либо мундиров, что, однако, никак не уменьшало страхов бывших каторжников, они предпочли отступить в тайгу и обойти лагерь издалека. Я же обратил внимание на свежую грязь, лежащую повсюду на берегах Лены, и на блестящую на солнце обшивку речного судна, вырастающего задом кверху из этого болота. Раскинув руки, с широкой улыбкой на лице, медленно и мерно ступая, я вышел из леса к лагерю.

Меня не пристрелили. Сюда, к ним сходилось много бродяг; в такие времена человек, прежде всего, ищет безопасности, желая отдаться под чью-либо власть. В середине я не сделал и десятка шагов, как ко мне подскочил Ян, отрывая от саперных работ, на которые загоняли всех бродяг. Появился начальник караула, не понимающий русского языка; я разговаривал с ним по-французски, и, похоже, это перевесило. Над главной палаткой лагеря развеялся флаг, который я не узнал бы даже вблизи — а потому, что это не были цвета какого-либо государства или правящего дома, а добывающей компании *Societe Miniere de la Siberie* [398], под контрольным пакетом компании «Емрайн-СПР». Эдуар Луи Жозеф Эмпайн в компании с другими крупными европейскими и американскими фирмами, которые при правлении Столыпина и во времена зимназового бума вошли в Сибирь с крупными инвестициями, организовал экспедицию с целью выволить из размороженной Сибири сотрудников всех этих фирм вместе с семьями. В Усть-Куте располагались солеварни с миллионными доходами, а так же главные склады тунгетита к северу от Качуга, сюда шли все транспорты из сорочиск под Последней Изотермой; затем — по Зимней железной дороге, через Байкал, Ольхон, в Иркутск. Этим спасательным отрядом командовал загорелый бур, полковник ван дер Хек, людей он имел еще из египетских экспедиций барона Эмпайна, а так же из Макао, проверенных солдат, многие из которых существовали на французских паспортах — я узнал, что, в отличие от Великобритании, Франция после Оттепели удержала союз с Российской Империей, уж слишком крупными были инвестиции французских капиталистов в русские земли. План ван дер Хека предусматривал эвакуацию по Лене, Енисею и Оби в северные порты, построенные еще во времена Зимы для потребностей ледовых перевозок. На каждой из этих рек они имели суда и радиосвязь между ними. Иностранцы из Усть-Кута вышли в соответствии с приказом, собрались с семьями и имуществом здесь, к югу от города, а потом случились два непредвиденных события: первое, на них наскочила бродячая армия мартыновцев; и второе, Лена выкашляла новую порцию слизи, затопив судно ван дер Хека. В результате, экспедиция Эмпайна торчала в этом временном форте, ожидая нового транспортного средства и отпугивая банды бродяг.

Ян, который на своих истерико-фаталистических качелях как раз достиг фазы неудержимой болтливости, за полминуты успел рассказать начальнику охраны все мое жизнеописание. Тот же, услышав, что я поляк, математик и сотрудник концерна Круппа, провел меня к полковнику. Начальник вполне приятно поговорил со мной за стаканчиком джина, спросил о том и о сем, после чего извинился. Не нужно было быть пропитанным тьмечью гением, чтобы не смараковать, что он отправился спросить по радио, имеется ли вообще в берлинских реестрах *Friedrich Krupp AG* сотрудник с фамилией Герославский. Все это протянулось до темноты и заняло добрую часть ночи, когда связь делалась получше,

прежде чем вопрос и ответ прошли по волнам эфира и по телеграфному кабелю через половину света туда и обратно, к этому времени над Сибирью уже успело вспыхнуть кольцо Большой Медведицы, а желтый лампийон Луны успел протащиться половину пути до Китая. Полковник ван дер Хек пришел ко мне перед рассветом, когда я приглядывался с площадки палисада к плавающей на волнах Лены Луне. В речной блевотине собрались и тела из Качуга, Месяц поигрывал то одним, то другим трупом с ленивым любопытством, те же — раздутые, разбухшие — неуклюже переворачивались. Бур угостил меня сигарой из стального этюи. — Выходит, германская бюрократия действует. Они, Николай с Вильгельмом, случаем, не находятся сейчас на противоположных сторонах фронта? — В Германии рабочая революция, так что они сами не знают, по какой стороне находятся, — ответил ван дер Хек. — *Alors*, деловые люди всегда будут по одной стороне. Войны и всяческая политика, что они значат для денег? Все протечет и так, дорогу найдет; *Societe Miniere de la Sibirie* ведет крупные дела и с Круппом. Проверили, обнаружили двух Герославских. Мне приказали удостовериться, что это не старший. Барон Эмпайн вылеживается под пальмами в Гелиополисе, так что в этом деле я подчиняюсь Круппу. — Моего отца уже нет в живых. — Мы молча выкурили по сигаре, слушая медленное дыхание тайги. Бур приглядывался ко мне краем глаза, слегка улыбаясь, когда я перехватывал его взгляд. — Вы не возвращаетесь в Европу, — заявил он под конец. — Нет. — Куда же? — За Кежму. — По Холодной Дороге далеко не заедете, сама линия, похоже, исправлена, но сразу же за Усть-Кутом составы перехватывает Церковь Святого Мартына. Мы можем высадить вас в Киренске. Оттуда вы направитесь на запад, в сторону Подкаменной Тунгуски. — Благодарю вас. — И можете не беспокоиться, Круппу я ничего не выдам. — Только лишь когда он ушел, до меня дошло, что ван дер Хек считает, будто бы я, воспользовавшись Оттепелью, направляюсь теперь к Последней Изотерме, к месту Столкновения. Эта мысль тут же подошла в голове с дюжину иных мыслей о просроченных, растаявших планах и надеждах. Ведь, а вдруг и удастся заморозить кое-что назад...? На палисаде я сидел до рассвета, неспешно смакуя одну необязательность за другой, разделяя их на небе кончиком языка, словно одну облатку от другой.

До Кежмы я добрался к началу мая, не без приключений и сложностей — большинство постоянных мостов было сорвано, сезонных мостов после Оттепели вообще никто не ставил, впрочем, все уже так привыкли путешествовать по зимникам, что вздувшиеся весенние реки оказались практически непреодолимыми, из-за любого ручья приходилось обходить множество верст. Другое затруднение бралось оттуда, что, хочешь не хочешь, но я вновь шел по следу той мартиновской армии крестьян. Мне-то казалось, что я разошелся с нею еще над Леной, но нет: как сказал полковник ван дер Хек, за Усть-Кутом они контролировали всю Холодную Железную дорогу. Приближаясь к Кежме, я встречал все больше мартиновцев, идущих небольшими группами — сюда они собирались со всей Сибири, будто животные, каким-то непонятным инстинктом сгоняемые в единую орду. В конце концов, я и не должен был скрываться от них, ибо они четко видели, что и я — направляющийся в ту же сторону — их брат по вере. Я не отрицал; этого хватало. Стояло Лето.

Как тогда, у ночного костра на тракте выяснилось: шли они, поскольку на могиле Святого Самозаморозившегося должен был состояться великий сбор всех холодных отцов, и даже самого Распутина, изгнанного прочь из Царского Села и Европы, совместный сход Распутинской Церкви и всех ее отщепенческих сект, мартиновских еретиков; туда все шли в согласии, то есть, не убивая один другого по пути. (Стояло Лето). Невинно заговорив о том, о сем, я узнал следующее, что могилы святого Мартына по правде говоря и нет, поскольку

никто не знает, что с Мартыном случилось (все верят, будто бы он живьем сошел в Лед), а символической его могилой считают старую пустынь Мартына, по царскому приказу разнесенную казаками по бревнышку. При этих словах по коже пошли мурашки, потому что я вспомнил, где конкретно эта пустынь располагалась.

Я решил любой ценой добыть верховую лошадь. В Кежме, теперь наполовину сожженной, да и перед тем местечке небольшом и мало презентабельном, клубилась толпа паломников, приправленная приличной порцией людской пены, принесенной сюда ветрами Истории. В соответствии с картами ван дер Хека и указаниями, полученными от жителей Кежмы, меня ожидал не менее, чем недельный марш. Толпа выступала следующим утром, а первые паломники наверняка уже были на месте. Вечером, с церковной колокольни, я осмотрелся по округе. Костры мерцали от одного горизонта до другого, те, что подальше, светили гуще, чем звезды на небе. Здесь собралось несколько десятков тысяч человек. Как пропитать такую армию? Как поддержать в ней порядок? Сама сердечная вера не поможет. (Тем более, что стояло Лето). Отцы-мартыновцы пытались ввести хоть какой-то порядок, делили силой собираемую по пути еду, назначали стражников... Но только в движении, только пока она стремится к четко установленной цели, подобная людская масса позволяет себя контролировать.

На колокольню я забрался, чтобы проследить за перемещениями этих стражников: у них имелись лошади. Помимо того, у них имелось огнестрельное оружие. Я вспомнил, как бывшие каторжники сбили с седла всадника в лесной засаде. Подобную штуку можно было провести и в одиночку, я запланировал все до мелочей. Притаился за первым же поворотом лесной дороги на Кежму, которую верховые мартыновские стражники выбирали чаще всего. Подобрал крепкую, удобно лежащую в руке дубину и нашел дерево, склонившееся над трактом. Я забрался на ветку и ждал, скрывшись в ночной темноте, в ночном лесном шуме. План у меня был простой и логичный. Раз, два, три.

Только ничто в соответствии с планом не пошло. (Стояло Лето). Правда, дубиной я по всаднику попал, но тот, вместо того, чтобы слететь с седла, инстинктивно схватился за ту же дубину и потянул меня вместе с ней, и мы свергнулись на землю клубком: я, мартыновец, лошадь, дубина и тяжелая ветка. Мартыновец сломал шею, я выбил себе парочку зубов, а конь повредил ногу. Только лишь я успел прийти в себя после такой разбойничьей катастрофы, как на дороге со стороны Кежмы появился очередной всадник. Я упал на пронзительно визжащую лошадь и начал еще громче звать помощи во имя Мартына. Верховой приблизился, остановился. Я вырвал из-под седла карабин и выстрелил ему в шею. Так я добыл себе лошадь, два ствола и провианту на неделю.

К Молочному Перевалу я добрался на третий день, поздним пополуднем. На горных лугах уже собралась немалая толпа. Место, где находилась пустынь Мартына, было окружено временным каменным кругом, возле него под оружием стояли казаки-мартыновцы. Я повел взглядом вверх, над редкой тайгой, по холмам и угловатым кручам. Черные развалины санатория профессора Крыспина маячили на небе над лугами и лесами: гнилой зуб на профиле щербатого склона. Один взгляд и я уже знал: я опоздал на месяцы, на годы.

Я сидел в седле, усталый, все во мне болело после форсированной скачки; и долгие минуты я только пялился на эту мрачную картину, высвеченную на синеве. Она же сама постепенно темнела, словно здоровая кожа, затягиваемая фиолетовым синяком. Кровавое солнце лило на все вишневый блеск. Сибирский ветер холодными пальцами копался у меня в бороде, в длинных волосах. Я же только глядел. В конце концов, что-то ударило меня в груди, под самой грудиной — словно каменный нарост оторвался от сердца — и я отвел взгляд, оторвался мыслью; сошел с лошади, упал на траву и заснул.

Так нашли меня люди из гвардии Распутина. Эти спонтанно сформировавшиеся преторианцы Григория Ефимовича состояли исключительно из давших ему клятву зимовников; сейчас в нее собирали таковых из стражников ледового стада из опасения перед непредвиденными опасностями, который всегда порождается громадным собранием людей, созванных религиозной страстью, тем более, когда предмет такого собрания является спор по важнейшим вопросам. Здесь должна была состояться теологическая битва. А поскольку я выглядел так, как выглядел, опять же, прибыл на лошади стражника, с его снаряжением — то и попал к преторианцам Святого Грешника. У меня не было ни сил, ни желания все это отрицать. (Лето). Распутинцы разложили свои палатки к востоку от пустыни, над стекавшим с ледника ручьем. Зимовники обмывались в его морозом ломающем кости потоке, это было что-то вроде ритуального омовения, как я понял по недвусмысленным взглядам, когда бросил свои вещи под палаткой. Так что следовало тоже пойти и обмыться в жидком морозе. Вода — от солнца, как раз зарезаемого на небосклоне — обрела цвет свиной крови. Я стащил с себя одежду. Чуть ниже, на лугах, разложились сотни мужчин, женщин и детей. Никто не глядел. У купающегося рядом распутинца тоже были отморожены пальцы на ногах, кожа на груди пошла страшными пятнами, монгольская физиономия была покрыта множеством шрамов; точно так же, как и я, он не мог до конца выпрямить искривленных костей. Мы обменялись приветствием во имя Холодного Бога. Он заметил, что мой взгляд все время цепляется за черные развалины на высоте. — Там был научный курорт для богатых европейцев, — сообщил он. — Приезжали замораживаться ради здоровья тел, совершенно не обращая внимания на здоровье души. Один святой пустынный им мешал! — Тогда я спросил, какое отношение имел санаторий к пустыни Мартына. А то, что профессор Крыспин пожаловался имперской власти, будто бы здесь постоянно подозрительные типы шатаются, нехорошее впечатление у лечащихся вызывая, ну тогда власти и сравнивали пустынь с землей. На что, в праведном гневе, как только пришла Оттепель и пала в Сибири Держава, Наихолоднейший Распутин приказал сжечь здание на перевале. И пошли верующие люди ночью прошлого года, вломились в дом богатств западных, подложили огонь. Санаторские слуги их прогнали, только пожар уже бурей шел, сгорели все неверные и паписты-грешники. Оставшиеся там еще пару недель сидели, напрасно высылая за помощью к исправникам; наконец попытались пробиться по дороге на Кежму, только братья всех выловили. И заплатили они жизнью за наглую свою безбожность. *ХолоденБог!*

Ледяная вода успокаивала болящее тело, я бы погрузился в нее полностью, если бы мог, расположившись на отдых на дне под морозным течением, открыв единственный глаз на пурпурные облака и зелень низких гор, и так, охотнее всего, и замерз бы. Всякая очередная необязательность мучила меня все сильнее. За ужином ко мне обратился то один, то другой мартыновец — я же вел беседы в молчании. Двигался я медленно, на долгие мгновения застывая в позах забытья. Измученный, усталый, все проигравший — вот тогда я замерз бы охотнее всего.

Меня приняли как брата.

После многих недель дороги и постоянных нервов на пути, сейчас я подолгу спал днем, укладываясь ко сну и сразу же после наступления сумерек. Вся энергия из меня ушла. Поскольку не было ничего необходимого, возможным было все. Более всего я желал замерзнуть; а так — считал облака, валяясь в траве. По-видимому, и в такой душевной манере я не сильно выделялся среди распутинских зимовников, потому что никто не делал замечаний, ни в чем не упрекал — а может, я попросту пропускал их мимо ушей, не обращая внимания — а может, прогонял настырных уже первым взглядом. Вместе с другими я спускался вниз, к паломникам, когда следовало вернуть порядок. Мужики проявляли к

зимовникам уважение, как правило, хватало пары злых слов; пару раз пришлось угостить спорщиков тьмечеметрической тростью. Казалось, что каждый день на луга прибывало по несколько тысяч мартыновцев. Для меня было очевидным, что подобное сборище, раньше или позднее, взорвется паникой, истерией либо иной жаркой массовой эмоцией — тем более, что все они уже были до конца накачаны религиозными распрями, тем более, что всем им грозили неизбежные голод и нужда. Часть из них — это были аскеты, питающиеся чуть ли не одной водой и корешками; другая часть — какие-то мартыновские фракции хлыстов или богомоллов: они проводили публичные акты покаяния, под аккомпанемент воя баб и плача детей бичевали себя до крови, резали «терновыми поясами», давили себя цепями. При этом, почти каждая группа вела с собой собственного холодного отца, «святого старца» — чаще всего, их легко было узнать, потому что это были самые вонючие, законсервировавшиеся в грязи типы. Движения у таких были нервные, взгляд воспаленный, на вопросы они отвечали библейскими загадками и последующими вопросами, лишенными четкой связи с предыдущими. Но практически каждый из них смог выразить какое-нибудь особенное пожелание: к примеру, чтобы к югу от его постели не лежало никакой женщины, либо, чтобы ему во время сна читали псалмы (в противном случае, он тут же просыпался, опасаясь, что в его сон Сатана влезет), опять же, чтобы ему немедленно представили величайшего из собравшихся грешника (добровольно вызвался семидесятилетний бухгалтер из Нижнеудинска). Большинство из них требовало льда. Только, естественно, ни у кого под рукой не было ни кусочка мерзлоты.

Все это мне страшно претило. Чтобы не общаться с людьми, я добровольно пошел в группу, ответственную за подготовку укрытия для Распутина. Однокомнатную избушку мы поставили шагах в сорока от круга пустыни. В самом круге, на развалинах святого места, якобы, должны были вести совет старейшины собрания.

Избушку мы поставили; плотник-зимовник еще остался, чтобы сбить для ледового монаха мебель: стул, стол, лавку. Распутин должен был прибыть через день-два. Я же, чтобы никого не видеть до конца дня, выбрался в лес. То, что началось как бегство от толпы, быстро превратилось в прогулку через солнечную зелень, пахнущую здоровой влагой, в лечебных тенях, словно мотыльки массирующих воспаленные виски. Я шел словно бы в лесах под Вилькувкой, в имениях дедовых; беззаботное, неразумное дитя, губка для красок и звуков цветущей материи... Ах, как же хочется помнить подобное детство. Пели птицы. Теплая паутина приклеилась к щеке. Я напился воды, собравшейся на замшелом камне. В сапоги мне залезли мурашки. В голове у меня шумел лес.

В чаще я вступил на песчаную крутую дорогу, которая завела меня на Молочный Перевал, к санаторию профессора Крыспина.

Молочный Перевал — ибо, когда Зима царила в Сибири, и люты хаживали людскими тропами, эта горная цепь, пускай и невысокая, представляла собой границу и барьер для климатических течений: с северной стороны, где склоны были не столь крутыми, открывалась высокогорная равнина, сходящая уже без каких-либо естественных помех до самого места Столкновения, к Самой Нижней Изотерме; и разности температур, давлений, влажности, механизм вихрей или же градиент иных черно-физических сил вызывали то, что вздымались тогда до самого перевала, а иногда даже переливались через него на южную сторону, как рассказывали до сих пор охваченные ужасом мартыновцы — туманы, обладающие плотностью и консистенцией молока, длительное прикосновение которых способно было разбивать самые твердые металлы Лета. Из принадлежавшей панне Елене рекламной брошюры санатория я помнил даже одну нечеткую фотографию: горный двор над молочно-белыми безднами. Профессор Крыспин сообщал о температурах, достигающих

ниже минус ста градусов по Цельсию. Скорее всего, и по этой причине жил здесь годами в своей норе из камня, деревянных колод и льда Мартын: чтобы иметь возможность свободно входить в Мороз и выходить из него. Мартын был здесь еще до Крыспина; вполне возможно, что именно газетный слух про особенные привычки пустынного и подарила идею профессору. Он пробовал лечить холодом еще ранее, развивая теорию барона Лоррея, хирурга в наполеоновской московской кампании, который на тысячах случаев обморожений организмов солдат, отметил удивительнейшие добродетельные эффекты мороза. Но с приходом Льда криотерапия получила совершенно новые возможности и эффективность.

В развалины я вошел через главные ворота, они остались неповрежденными. Сквозь останки громадного вестибюля санатория можно было пройти прямо на задний двор; все здесь погорело и завалилось в одну кучу мусора, все два этажа вместе с крышей; я ступал по завалам, и по их толщине можно было сделать вывод об архитектурных планах здания. Оставалась стоять западная стенка и наблюдательная башенка восточного крыла — отсюда и похожесть на два черных клыка, торчащих по бокам беззубой, если не считать их, челюсти.

С северного двора можно было затем выйти через калитку слева, либо же на нижний склон. Над склоном, под кирпичным навесом, украшенным изображениями больших и малых волн, скрывался странный зимназовый механизм. Я постучал по нему своей верной тростью. Тот отозвался словно треснувший колокол: рлооммм! спугивая с развалин пару птиц. Я оглядел устройство со всех сторон. Похоже, это была лебедка — только какие канаты наматывала она на внутренний барабан? какой привод его вращал? Рукавом рубашки я стер грязь с зимназа. Прочитав надпись на фирменной отливке, я громко фыркнул. Лебедка была изготовлена в Холодном Николаевске компанией *Friedrich Krupp Frierteisen AG*, из первого патентованного выхолода бронзового зимназа в Дырявом Дворце.

Я подошел к краю обрыва над склоном, присел на ограде. Желто-зеленая панорама способна была вызвать головокружение, точно так же, как гипнотически действует первый вид открытого моря, массивными кулачищами бьющего из бесконечности в берег, на котором стоишь ты, маленький человечек перед лицом чудовища. Здесь же передо мной открывалась бесконечность океана Сибири. Небо, перемазанное бежевой и бордовой помадой, втискивало распухшую морду в миску травянистых полей, темных болот и сочной тайги. Между верхним и нижним мирами, на расстоянии вытянутого языка солнца, кружили растянувшиеся длинными созвездиями птицы. Я оперся на трости и глубоко в легкие втянул воздух новой Азии. Запах и вкус сырой почвы вновь попал мне на язык, застыл клеем в лобных пазухах. Все рождается из земли, ничего удивительного, что это возвращается ко мне. Так мне тогда казалось, стояло Лето. Трость показывала 310 темней.

Там я сидел, наверное, час или два. С южных лугов доносилось эхо безумных воплей толп мартыновцев; у меня не было никакой охоты возвращаться туда. Опустив взгляд на склон подо мною, я заметил темную нить, вьющуюся сквозь зелень. Это был зимназовый канат, явно выпущенный из механизма лебедки; на его конце, в доброй четверти версты далее, маячил похожий на коробку предмет. Я догадался, что это было нечто вроде повозки — саней? шикарной кабинки? — в которой профессор Крыспин спускал пациентов в Мороз, дозируя для них из своего наблюдательного кабинета точно рассчитанные удары лечебного холода. Поначалу меня несколько сбilo с толку то, что на склоне я не увидел никаких рельсов или более-менее прямой дорожки; одни только овраги, громадные камни и заросли. Но тут же я представил себе санаторий, работающий в условиях Зимы: здесь имеется толстая скорлупа льда, посаженная на полозьях кабинка спускается и поднимается без труда.

Со двора я вышел через боковую калитку. Два шага, и остановился — это было кладбище. Ну, понятно, чудесное лечение профессора Крыспина останавливало не все

болезни, и не всех из тех, кто болезням поддавался, за большие деньги транспортировали на кладбища в их родной земле. Надгробия, выполненные по единому образцу, стояли ровными рядами. (Предусмотрительный профессор наверняка заказал приличную партию с оптовой скидкой). Но теперь, после Оттепели, могилы запали, вогнулись в себя, словно засасываемые изнутри; а несколько других — наоборот: распухло, выползло наружу. В силу этого и каменные надгробные плиты не удержали вертикали. Пьяная тайга, пьяные кладбища; люди, словно пьяные... Все здесь размягчается, расклеивается, плавится.

Чуть дальше, за линиями склонившихся в приседе каменных плит, на угорье, уже растянута в горную кручу, находилась другая часть *кладбища*. Это я открыл, наступив на укрывшиеся в сорняках куски дерева. Развернул их тростью. Крест. И таких вот топорных крестов, латинских и православных, было здесь дюжины две. Их сбили наскоро, в спешке хороня жертв пожара в размерзшейся земле. Слишком мелко забитые, после полной Оттепели все кресты рухнули навзничь, так что довольно быстро их укрыла свежая зелень.

Помню, что, несмотря на черную меланхолию, я улыбнулся. Ведомый предчувствием будущего, столь же надежным, что и память вещей минувших — словно заново проигрывая воспоминание прогулки по Иерусалимскому Холму рядом с Леокадией Гвужджь — я ступал через сорняки, терпеливо и методично исследуя землю, словно хороший садовник: глазом, ногой и тростью. На крестах были криво выцарапаны фамилии, без даты смерти, довольно часто — и без имен. Я переворачивал доски надписями к солнцу; иногда с них нужно было опереть глину, мох и грибок. Я делал это медленно, спокойно, с терпеливостью археолога. Уверенность была столь велика.

Е. Муκлянова

Одна из самых дальних, сразу же у обрыва. Присыпанная каменной крошкой, узкая могила, выкопанная неровно по сравнению с другими, на склоне и в искривлении, наполовину запавшая. Неожиданно меня растрогала эта бедная могилка в абсурдной ассоциации — у нее было такое худенькое, болезненное тельце, косточки худенькой ручки едва удерживались под бледной кожей... И червяки раздели ее.

Я вновь вбил крест в землю, прочитал *Вечную память* спустился к живым.

Прибыл Распутин, отсюда шум, гам и вопли. На закате холодные отцы провозгласят свои речи — но уже между верующими случались стычки и яростные ссоры; собравшиеся уже оплевывали один другого, обкладывали палками и проклятиями. Встав над ручьем зимовников, с высоты по спазмам и завихрениям толпы мог я читать прохождение мистических течений и силу отдельных ересей. Здесь должна была состояться теологическая битва. До меня не доходило, в сколь громадной степени мартиновская вера полагалась на старинных послераскольных схизмах, сколь многое черпала она из старообрядческих традиций: в российской земле, в российском народе был ужасный голод абсолютной правды, который, тем или иным образом, должен быть успокоен.

Я видел, что с западной стороны, под пихтами, мартиновцы филипповского и денисовского толка уже сцепились с ервитами, признающими Государство Льда. Безженные федосеевцы колотят любушкинцев и свободно-любящих акулиновцев. Молокане и коммунисты совместно становятся против единосуществующих палиботов, по-латыни солипсистами называемых, разделяющих совместный сон. Иеговисты выталкивают церковных роялистов. Зато распутинцы держатся крепко, у самого круга Мартына.

Стояло Лето — так и что с того? Многие века здесь, в России резали, палили, закапывали

живьем, калечили и убивали под тремя сотнями темней. В особенности городская, желторотая молодежь и седоволосые старцы обоего полу — они чувствуют прикосновение Правды глубже всего, справедливый, вздымающий кровь гнев вскипает при одной только мысли, что рядом с ними живут люди, перечасящие Правде, гласящие Не-Правду, свидетельствующие против Правды. В истинной вере двух правд быть не может. Правду можно лишь верно повторять; а ложь узнать по тому, что ложь меняется, что ее всегда больше, чем одна. Вот они и окидывали друг друга грязью и экскрементами, натравливали одни на других собак и детей, бросали камни и оплевывали жаркой слюной — а ведь еще даже не начались речи, еще не появился Распутин.

Григорий Ефимович сидел в своей избушке, отдыхая после форсированной поездки. Я подставил ухо во время ужина (скромная вечеря из даров леса и просвирки). В соответствии с наименее популярной и тише всего повторяемой зимовниками сплетне, которую, тем не менее, лично я считал наиболее близкой к правде, Николай II прогнал Распутина и выдал против него приговор после вызванной гемофилией неожиданной смерти цесаревича Алексея, когда в Царском Селе, в страшную ночь заклинаний и способных совершить чудо церемоний Распутин в пьяном угаре убил подругу императрицы, Анну Вырубову. Не свидетельствовал в его пользу и тот факт, что Григорий Ефимович вслух жалел об уходе лютов, а ведь именно этому император был чрезмерно рад; ни дело громадной взятки, принятой ледовым монахом от британцев по вопросу Босфорского Договора — по причине которого сейчас война через Европу шествует, когда, под конец, Россия, Германия и Великобритания подрались за Черное море и Турцию. Распутин был урожденным сибиряком, родом он был из села Покровское Тобольском губернии, и, воспользовавшись дружбой другого придворного мошенника, доктора тибетской медицины, Бадмаева, урожденного бурята, спасся из затруднительной ситуации бравурным бегством за Урал. Здесь должен был он собрать «люд Божий» и с этой новой силой возвратиться на Большую Землю, в Санкт-Петербург, когда военный конфликт в достаточной степени подкосит Империю и *Его Императорское Величество*. Во всяком случае, вот этот последний слух зимовники повторяли открыто.

Тем временем, под Молочным Перевалом случилось первое убийство: мартыновец-оттепельник в полемическом запале, в ходе представляемого им доказательства о сатанинской природе Бога Творца, задушил мартыновца-богомольца. Нас тут же призвали на место преступления, чтобы мы охладили эмоции толпы и не допустили до того, чтобы разгорелось теологическое насилие. Именно там, когда я бил зимназовой тростью по головам и вздытым рукам, когда орал просьбы успокоиться во имя святого Мартына, меня и высмотрел Ян из Праги.

Я видел, что он меня узнал. Он дал мне знак: я не ответил. Он протолкался к первому ряду, под самое дерево, где лежал труп (убийцу уже оттащили в круг Мартына). — Бенедикт! — кричал он, размахивая руками, еще больше уподобившись остальным. — Бенедикт! Герославский! — Наконец он пропихался настолько близко, что вопил мне чуть ли не на ухо. — Да чего? — рявкнул я в ответ. — Ты должен мне помочь! Тебя послушает! — Что? Кто? — Оказалось, что несчастный Ян все-таки нашел свою жену с ребенком. Вся проблема заключалась в том, что жена тем временем распробовала Правду и не желала уходить с Яном. — Этот старый свинопас ее заколдовал! — заламывал руки чех. — Надя глядит в него теперь как в икону, греет его по ночам, ноги ему целует, воду ему в ладонях своих ко рту подносит! — Да что я могу? Успокойся, парень!

Мне удалось его отпихнуть, вырваться из его объятий. Я закричал зимовникам, что не следует ожидать распоряжений, нужно как можно скорее убираться отсюда с мертвецом. Все

мы отступили за ручей, вынося останки на плечах.

И самое время. Солнце спряталось за склоном горы, возле развалин пустыни уже собрались холодные отцы. Я хотел спрятаться куда-нибудь подальше от толпы, только старшина гвардии заявил, будто «возбуждаю послушание» и что «видна на мне тень Льда», и поставил меня у самого входа в круг, вместе с тремя другими зимовниками, более похожими на медведей. Вручили мне старенькую *винтовку* и приказали держать людей на расстоянии в семь шагов. Я спросил, сколько все это хозяйство может продлиться. Старший лишь пожал плечами. — Сегодня только первый день, — сказал он. Я подумал, что одна хотя бы необходимость сделалась ясной: нужно убираться отсюда, пока жив.

Солнце зашло полностью, кто-то трижды выстрелил в воздух, и на камни надо мной взошел голый словно Смерть старец, холодный отец мартыновцев-постников. И так начался правдобой.

Говорили, пока не охрипли, не упали, потеряв равновесие в проповедческой горячке, либо их не стянули силой или забросали камнями. А поскольку всякая одна Правда была отвратительной ересью для детей дюжины иных Правд, я был уверен, что камни с какой-то из сторон, раньше или позднее, обязательно полетят. Разница состоит лишь в том, успеет ли выступающий почувствовать заранее этот момент, либо он настолько заслушается собственными словами, что полностью потеряет связь со всем Божьим светом. Вот этих последних нам следовало спасать — мы, стражники отдавали залпы над головами толпы, люди в круге стаскивали пророка на землю; сами же спасаемые громко возмущались тем, что их спасали. После этого мы перезаряжали оружие, готовясь к новому Откровению; толпа немного приближалась; на камни вступал очередной мартыновец-лютовчик, накачанный тьмечью по самое никуда.

И так вот шла эта ночь.

После первого старца, быстро заброшенного камнями, над морем человеческим встал дьякон, как оказалось, с посланием от архимандрита — этого стащили на землю, едва успел развернуть и сунуть себе к глазам *бумагу*. И теперь на валун-амвон влез юродивый дурачок, божий простак, не способный двух предложений толком связать. Вот его слушали с волнением и мистической горячкой в глазах, и до самого конца длительного мычания никто не поднял оскорбленного крика, не вырвался вперед, чтобы прибить святого придурка.

После чего слово взял бывший соловецкий монах. И он вовсе не перечил юродивому, ибо невозможно разумно перечить мнению, лишенному смысла — вместо этого, он с места заявил: все несчастья по причине неверно прочитанной математики Апокалипсиса! Как вычислили святые отцы из Константинополя, мир был создан Богом для жизни в течение семи тысяч лет, согласно Господнего счета тысячелетнего дня — «ибо тысяча лет пред глазами Твоими, словно день вчерашний, прошедший» — что ясно описал народу русскому Абрам из Смоленска, а как известно нам из первой летописи, крещение Руси произошло в 6496 году от Сотворения, так что мир обязательно закончиться должен был с 1491 годом императорского календаря — но не закончился! Не завершился! Как возможно такое, спрашиваю вас, братья! Да, учимся мы видения истины от Николая Бердяева. Так что же более доверия достойно: священная математика или свидетельство прогнившей материи? Так что, одно из двух: либо мы уже не живем, и мир наш не существует, либо, по правде История не дошла еще до 1491 года после рождения Христа. И вот тут видим мы задание Льда, и вот чем являются люты: ангелами, Богом посланными, чтобы заморозить нас в прогрессе деяний, пока не исполнится все ради Повторного Пришествия. Почему ведь сильнее всего обледенели крупные европейские города, почему именно на людских жилищах наиболее страшная Зима легла? Ибо там идет История! И так морозили нас веками, ничего не

осознающих, и продолжают морозить далее, то слабее, то сильнее, так что одни поколения заменяют другие поколения, и мы не намного ближе становимся Царствию Божьему — и такова Правда.

После него выступил мартыновец, ледняк и богомильский ортодокс, и заявил, что нет, что все вовсе даже наоборот, что Лед был знаком уничтожения Злого Создания, по собственным словам святого Мартына: яко же мир тела появился из воли и творения Бога-Сатаниила, а человек договором является уродливым между Сатаниилом, который и слепил для него животное жилище из мяса, костей и крови, и Богом-Отцом, который вдохнул в него жизнь, а потом выслал в этот мир зла Христа-Логоса. А чем же был Лед, как не Логосом, в материю запекшимся, налагающим божественный лад и порядок на беспорядок, грех и несправедливость Земли Сатанаила? Триумф Льда, то есть — полнейшее уничтожение старого мира, он открыл бы первые врата к трону Христову — и не в 1491 году, как угодно отсчитываемом, но здесь и сейчас, на наших глазах, в виде лютов и льда видели мы Начало Конца, да, в Логосе хладном прибыл к нам повторно Господь — и такова есть Правда.

После него выступил мартыновец-лабушковец, выводящий веру свою от хлыстов, и заявил, что нет, это вовсе не был Христос — а только ловушка на Христов, то есть, на людей. Ибо Бог постоянно воплощается в людей, не один только раз в Иисуса, но Духом Святым он непрерывно протекает через нас, а знаком совершенства души является полное воплощение — как в случае Данилы Филипповича, живьем на небо вознесенного; Ивана Суслова, трижды распятого и тоже в небеса взятого, и всех Христов после них: Прокопия Лупкина, Федора Савицкого или же Аввакума Копылова, у которого в обычае было вести беседы с Богом Всемогущим с глазу на глаз. Замороженный во льду человек существует, не умирает, но и не живет, что означает — он не грешит, извлеченный из времени, из Истории, а так же извлеченный из зла, такой человек — это сосуд совершенный для Духа Святого но и защелка-ловушка на Христа. В мире Льда окончательно остановилось бы движение материи — перемещался один бы только Святой Дух, дующий через людей, словно сквозь органные трубы, наигрывающий на них прекрасные мелодии во славу Всевышнего. И то, что пришла Оттепель, нарушая этот замечательный план — это знак, что плохих людей вели мы на самозаморозения, плохие, треснувшие сосуды сходили в Лед — наша ошибка была в том, что мы предлагали Голубю грязные души; и только лишь путем умерщвления, путем очищения, отказа от плоти призвать мы можем морозников назад — и такова есть Правда!

За ним речь держал мартыновец-илларионовец, и воззвал тот, что нет, что все совершенно не так: сосуды были слишком даже совершенными! Добродетельные перевесили над грешниками! Был спасен Содом, благодаря праведникам!

Точно так же, как и в 1492 году Бог решил отвести предсказанные приговоры и отсрочить Конец Света и Страшный Суд, убежденный сердечной верой *русскиххристиан*. Лед продолжал бы продвигаться, пока достаточное число Праведных, то есть, мартыновцев чистого духа не сошло на Дороги Мамонтов — и Господь увидел силу веры народа российского и отвел белое уничтожение — и в этом есть Правда.

Затем выступил святой старец из Отвращенных Братьев и резко возразил предшественнику, вознося искривленные артритом кулаки и потрясая бородой. Неужто все позабыли Пророчества святого Мартына? Неужто всем так в головах смешалось, что не способны они отличить деяний Бога Истинного от деяний Зло-Бога Творца? Ибо, чьи слова описывают нам Конец Света? Ведь должен был быть огонь, огонь, который сожжет все: моря и земли, камни и воздух — а был только лед; лед, что все замораживал. Должно было быть проявление небесных сил, крылатых армий, сходящих с высот во славе Господней, при звуках труб архангелов Михаила и Гавриила — а было проявление сил подземных, лютов

черной мамонтовой крови, вымораживающихся из преисподней, в тишине смертельной. Должно было произойти воскрешение мужей справедливых — а было лишь справедливых мужей самозаморозение. Так какой же это Конец Света? Отвращение Конца! Апокалипсис, поставленный с ног на голову! Анти-Суд и Анти-Откровение, еще одно деяние Анти-Бога и возврат Анти-Христа — вот чем был Лед — и такова есть Правда!

Этот упал сам, поскользнувшись, когда слишком уж замашисто развернулся в ораторском запале. Как раз тогда зимовники из-за камней сообщили мне переместить пост. Я глянул в сторону ручья, откуда двинулись огни. Ибо люди увидели, как в круг направился Распутин, и толпа рванулась вперед.

Не было никакой возможности их сдержать, хотя мы и строили страшные рожи, выкрикивали угрозы и били по ногам; вновь дали залп над головами. Все напрасно. Свободного места осталось перед нами, разве чтобы тяжелым ружьем замахнуться. Да и того не было — выскочив из свалки, ко мне припал Ян, и я не успел его остановить.

— Ты вырвешь ее от него, оружием! Он отпустит ее! Должен отпустить!

— Ты с ума сошел!

— Иначе я выдам тебя! Расскажу, кто ты на самом деле!

— Как же, поверят они тебе! — фыркнул я и сбежал за камни, лишь бы убраться с его глаз. Так, нужно смываться, и как можно быстрее.

Распутин, окруженный кордоном давших ему клятву зимовников, прошел между валунов с высоко поднятой головой; длинная борода и грива седых волос серебрились в свете костров и факелов. Был он в черной монашеской рясе, с деревянным крестом на груди. Остальных холодных отцов он приветствовал троекратными поцелуями, что всякий раз пробуждало энтузиазм в толпе; некоторые же помимо того целовали ему руку, на что он отвечал, так же опускаясь на колени и целуя руки. Увидав такое, собравшиеся мартиновцы от волнения громадного чуть ли не разрыдались.

Ладони у Распутина были огромные, тяжелые, с длинными, мясистыми пальцами; я сам видел вблизи, как благословляет он собрание, вступив на камни; голая его рука четко выделялась на фоне темноты.

Начал он тихо; все тут же замолкли.

Влажными, глубоко посаженными в лице глазками оценивал он народ словно очередного, отчаявшегося просителя на частной аудиенции, который пришел к Божьему Человеку за чудом и обращением в истинную веру.

— Братья мои! Сестры мои! Дети мои грешные!

...Покинул нас! Ушел! Почему же! Мудрец скажет так, мудрец скажет иначе — но нет, нет Льда! Откройся же правда предо мною! Придите, слова нужные!

...К Тебе, Господи, взывать стану, Боже мой, не молчи предо мною: ибо, если бы не молчал ты предо мною, не стал я подобным тем, что в яму спускаются. Не тяни меня вместе с грешниками, и с творящими неправедность не сбрасывай меня в бездну! Дай им по деяниям их и по злости вымыслов их. Ибо не поняли они дел Господних и деяний рук Его: испортишь их, но не подвигнешь их.

...Благословен Господь! Ибо выслушал глас просьбы моей! Господь помощник мой и защитник мой!

...Дети мои грешные! Читайте из псалмов, что выслушал я в правде на святой горе Афон: лишь бы не пасть вместе с творящими бесправие! Лишь бы не уподобиться тому, что злое, по причине незнания и замешательства!

...Соберите мысль всяческую, черную, желудочную, и попытайтесь представить себе образ Антихриста, что возбуждает страх наибольший. Ибо, что же это такое? Кем будет он?

...Будет ли это тот, кто творит только лишь зло? Ааа, так, вижу, руки складываете — но подумайте только! Узрите очертания четкие! Разве такова правда? И задрожите в тревоге своей! Антихрист не несет правды, никакой правды он не несет!

...Глядите: то будет чудище, одновременно способное и на величайшее добро и на величайшее зло! Ибо не чистое зло, которое так же является правдой неизменной и ПОРЯДКОМ, и путем явного отрицания гласит нам Бога столь же громко, что и хоры ангельские — но ПОМЕШАТЕЛЬСТВОМ добра и зла, правды и лжи. НЕОТЛИЧИМОСТЬ добра от зла, правды ото лжи, небес от преисподней — вот страх и ужас величайшие! вот ужас над ужасами!

...Ибо Антихрист — это дьявол, ангел и бес, свет и тьма, заря и звезда обманная, лев и агнец, царь и мучитель, фальшивый пророк и архипастырь, добродетель и преследователь, тот, кто очищает и загрязняет, пристань и пучина, бог для безбожных, враг для христиан, пастырь для любящих мир и преследователь для Бога любящих!

...И вот без Льда как раз живем мы тут в Вечном Расколе, в Вечной Смуте, то есть — в замешательстве всего со всем, в пестроте, что сплетает недостойность с набожностью — так что не отличишь! — проклятие с благословением, мученичество с добродетелью, милосердие с его отсутствием, ласку с изуверством, непорядок с пристойностью — так что не отличить! — трезвость с вредительством, смертное с вечным, волка с агнцем, древо благословенное с проклятым, троеперстное с двуперстным, церковь с костелом — и не отличить никак! — папешников с попами, западных с восточными, ляхов с иподьяконами, поляков с православными, святые реликвии с трупами еретическими, иконы святых с противными Богу картинами — и не отличить! и не различить! и не разобрать!

...Лед же возвращал нам порядок мира добра и зла. Ни сам он — Лед, ни те же люты, не были ни Антихристом, ни Богом истинным. Но только лишь благодаря Леду могут Они вообще существовать для познания людского! В противном случае, Христа невозможно отличить от Антихриста, Бога — от Не-Бога; а правд, сами ведь слышали, правд у нас тысячи, настолько же отличных одна от другой, как и одинаково правдивых.

...Лед, царствие лютов, Зима — она лишь является миром одной правды и другой правды, добра и зла! А вон то, то, все то, что за Льда пределами — это наше страшное безграничье СМУТЫ и РАЗБРОДА. В котором пока что мы жить обязаны, молясь всякий день о скорейшем возврате Льда. Что и вам рекомендую, дети мои грешные, с благословением Господним, идите и любите, ибо, хоть разум и солжет, хоть сердце и солжет, это меньший грех во лжи ради любви, так что спите в Господе Боге, аминь.

После того я надолго задумался, невольно тронутый словами Распутина. Люди начали расходиться; святой распутник вернулся к себе в избушку, ведомый под руки в плотной группе приближенных — я же сел на траву под кругом, закрыл глаз. Из Разброта, из Смуты... против Порядка... Ибо все оно размерзлось, и тут же все утонули в чистилище Котарбиньского, между правдой и ложью; все размерзлось, и нет Истории. А повелитель предсказанного Победоносцевым Царствия Тьмы — он ведь удерживал бы зейцовскую стрелку-перевод: в какую сторону ее повернет, такими и станут добро и зло, такова Правда и Необходимость. Он встал бы против Пестроты, он бы рассек мир на Ноль и Единицу... Человек, который захватил бы власть над аппаратом управления событиями — царство, по сравнению с которым невозможно представить большего — самодержавие, равное божественному — такой человек... такой человек... Вполне возможно, что я там немного и вздремнул. Потому что не слышал, как за мной пришли — только когда кто-то потрянул мною, я поднял веко, а они уже стояли надо мной, мрачные стражи зимовники с дубинами и карабинами в руках.

Мою винтовочку у меня тут же вырвали. Поставили меня на ноги. Два слова: Поляк! Еретик! Если бы меня сразу же повели в чащобу, повесили бы где-нибудь скрытно, лишь бы не на глазах мартиновского стада, я наверняка бы не успел собраться для необходимости более энергичного сопротивления, сражения. Да хотя бы вслух возразил...! Стояло Лето, их правда никак не удержалась бы в качестве единственной. Только я даже рта не открыл. Позволил им дергать себя и тормозить, тянуть и подталкивать; благодаря трости, по крайней мере, не упал.

Но меня повели не в лес, а за ручей, к избушке Распутина. Отец европейских зимовников, из тех, что прибыли с Григорием Ефимовичем, хотел меня еще на пороге свалить на колени и рубашку сорвать, ремень из порток вырвать, трость отобрать, наверняка и поколотить у входа *на всякий случай*— только Распутин удержал его одним медвежьим рыком. В избу я вошел на собственных ногах.

Три свечки с фитилями, увядшими в вопросительные знаки, горели на столе, сбитом из неровных досок.

— Закройте-ка, — сказал старый святой распутник.

Я потянул двери на себя, задвинул засов. Щелистые ставни тоже были закрыты, чтобы обеспечить божьему человеку такую-сякую личную жизнь. Свет от трех языков пламени вымыл из его удлинённой, лошадиной физиономии сотни теней, вытекающих теперь по руслам глубоких морщин. Он сидел на низкой кровати, явно уже желал отойти ко сну; но все так же оставался в монашеском трауре, и только это вот лицо — слишком крупное — и эти вот ладони — слишком крупные — выделялись из восковой четверть-темноты. На столике под стеной одиноко стояла бутылка — с водой? самогонкой? Еще с пробкой.

— Садись, сын мой, присаживайся.

Я осторожно присел на хромом табурете.

Вновь подняв глаз на Распутина — я и он на одном уровне, я и он в одной клетке — я увидел, как затягивается между нами тесная стереометрия исповеди, просьбы, проклятия, прощения, преступления.

Возможно, затем был мрак, чернота и свечи, и во мраке пара его глаз — словно маслянистые жемчужины — чтобы схватить собеседника и не отпустить. Тут же вспомнились все рассказы про гипнотические силы Распутина, про неожиданные выздоровления после его прикосновения, про неестественный холод или жар, охватывающих людей под его влиянием; про испытывающих к нему дружеские и даже любовные чувства после первой же встречи петербургских дам, придворных, епископов, генералов; самой царицы и царя. Аристократки бросались к его ногам, на четвереньках за ним ползли, подкачивая юбки, публично предлагая себя его желаниям; агенты охраны и высылаемые против него шпионы предавались под его приказы...

— Был у меня такой револьвер, — сказал я, — оружие такое, Льдом стреляющее, то есть, после удара пули Лед взрывающее... Как-то раз выстрелил я в люта. И что случилось? Лют разбился, ему оторвало ногу. Как такое возможно, расспрашивал я себя. Почему же удар льда в лед не должно было еще большего льда принести? Мороз плюс мороз огня ведь не даст. Не так ли?

...Но сегодня я выслушал вашу речь про Разброд и Перемешанность и понял этот закон черной физики: жизнь — это Неупорядоченность, Беспорядочность. Всяческая материя существует настолько, насколько она загрязняет идеальный Порядок. Я. Вы. Этот вот стол. Вон те деревья. Камни. Животные, люди, вся природа, космос над нами. В том числе — и люты.

...Охлаждение до абсолютного Порядка, ноля, единицы, ноля, единицы, ноля, единицы,

до чистейшего Да и Нет — стирает из бытия. У меня был револьвер, который стрелял Правдой.

...Ибо в ледовой вселенной-кристалле не существует ничего и ничего не изменяется, то есть, нет даже времени. У ее начал было слово, и слово то, поскольку отличное от холодного Порядка, слово то было Ложью, и так родилась материя, и жизнь, и человек: из Фальши, из Перемешанности. Это же говорил Мартын: мир создал Бог-Лжец, мы существуем в силу Лжи — и такова есть Правда.

Распутин медленно перекрестился: раз, второй и третий.

— Вы — *Ерославский*, поляк, Отец Мороз.

— От его крови, да.

Он отвел голову, глядя с тяжелым вниманием — и взгляд его не должен был скакать влево и вправо, поскольку был нацелен в один зрачок — затем схватился за крест на груди, и мне уже казалось, что сейчас возьмется за какие-нибудь экзорцизмы или пушечные проклятия, но пружина в Распутине внезапно раскрутилась в другую сторону, и мужик расклеился в широкую, умильную улыбку, он тряхнул гривой волос, словно растерявшийся пес; сидя, он согнулся наполовину и оставил липкий поцелуй на тыльной стороне моей искалеченной руки.

— Я грешник, я грешник, я грешник, в пыли пресмыкающийся!

О, сколь очевидны подобные неожиданные перемены для того, кто сам занимался Математикой Характера!

Посему, вместо того, чтобы поднять его, вместе с вежливыми отрицаниями:

— Моли прощения! — рявкнул я.

Тот лишь хлопнул глазами из-под всклоченной седины, сам теперь захваченный невидимыми клещами.

— Нет мне прощения! — заныл он, перебивая ставку, при этом еще сильнее слюнявя мне руку. — Нет, никак нет! От людей — никак, возможно, от Наивысшего прощение будет — но здесь, в этом болоте навоза и греха... Только вот, человек точно так же погруженный в нем, обнять меня и простить может. — Тут он снова мигнул. — Ты, ты, господин! — Он упал на колени, чуть ли не стаскивая меня с собой в порыве дородной туши. — Невинного убил.

— Так.

— Грешным наслаждениям тела предавался.

— Так.

— Лгал.

— Так.

— Воровал.

— Так.

— На родителя руку поднял, словом его оскорбил.

— Так.

— В милосердии Божьем усомнился.

— Так.

— От Бога отказался, ругал Его.

— Нет.

— Иди сюда! — Он втянул меня в мужицкие, несмотря на возраст сильные объятия. — Ты прекрасно знаешь, какую новость я с самого начала несу: спасение через грехи. — Он поднял к потолку огромную свою ладонь. — Господь видит, что нет такого греха, который ты свершил, в котором не был бы виновен и я, Господь свидетель. И потому! — рявкнул он, схватываясь на ноги. — И потому, собственно! Что в грехе! Что от греха! Что через грех! —

Он разгонялся все сильнее, с каждым словом его перевес нарастал, он глядел сверху, сверху кричал. — Потому! Потому-то Бог мне...

— Ты зачем меня убить приказал?

Это вырвало ему дух из груди. Распутин свалился на кровать, затрещали доски.

— Что?...

— Братьев-мартыновцев через весь край на меня насылал. Или тебе кто сказал, будто я оттепельник?

Он засопел.

— А разве не так? Сам говорил: Лед — враг всяческого существования.

— Так ведь я и не говорил, будто бы существовать — это такая уж великолепная вещь.

Тут он растерялся. Но быстро покрыл это гримасой умственного усилия.

— Так кто же вы такой? Чего хотите?

Тут заколебался уже я. Тут он меня имел.

И словно старый охотничий пес, ведомый многолетним опытом, инстинктом, выработанным до машинной безупречности, Распутин тут же кинулся вперед и вонзил свои клыки до самых корней.

— А, *Ерославский*? Чего он ищет? Зачем приполз к народу мартыновскому? Зачем он верующим притворяется? Чего хочет? А? Чего хочет?

Чего я хочу! Можно было соврать, и, возможно, это даже и сошло бы за правду, только я торчал в той же самой ловушке, потому ответил просто:

— Ничего.

— Ха! *Ничего*! Думает, на дурака попал! Да какому...

Замолчал. Вонзил в меня острые глазки.

Затем прибавил один характер к другому, и до него дошло.

— Ничего. Ну да, Оттепель, необходимо собраться, замкнуться, заново замерзнуть; так, набожный человек всегда может опереться на Боге, но вот безбожнику, но вот сомневающемуся — как ему найти твердую почву в этом болоте? А? — И уже сомкнул челюсти: — Дай руку! На мне обопрись! Я стану твоим неколебимым камнем!

И, показалось, что подрос он от теней и светеней в плечах, в ширине бледного лица, в длине рук своих — разлезся своей гипнотической личностью на всю темень, так что не было четкой границы между черными одеждами и мраком, бегущим от пламени свечей. Распутин, Распутина, Распутину, о Распутине — я склонял взгляд к нему, мысль давила.

— Нет, — прошептал я.

— Так кто же? — тихо, мягко, с чуть ли не женской лаской спросил он. — Так что же? Засосет тебя, сын мой, ты же видел, как засасывает болото. Разве я не знаю? — ведь и меня засасывало. Лошадей крал, за девками бегал, в водке топился — так почему же нет, а? Почему нет? Нажраться, допьяна напиться, натрахаться — все.

— Тело не может быть целью тела.

— Ну так и что? Кто, тогда? Что сделаешь? Куда пойдешь? Куда голову уложишь, под каким алтарем мечту найдешь? В чьем ломбарде жизнь свою оценишь? Кто даст тебе правду для жизни?

Он дожимал меня безжалостно — что мне еще оставалось, кроме лжи? А из упрямого молчания он без труда меня бы выковырял, раньше или позднее.

— Я, — ответил ему я, вырывая глаз из его взгляда.

— Ты?

— Я!

— Вы?

— Я!!! — рывкнул я в ответ, и меня пронзила ледяная дрожь, ибо вдруг почувствовал, что нет в этом лжи, что под рукой у меня сила, равная единоправде Распутина.

И я вернулся к нему взглядом. Тот скрежетнул зубами. Я же оттер холодную слюну с ладони.

— Я.

Он мотнул головой. Ох, не пойдет с Распутиным так легко. Столько же, сколько и маслянистых теней от желтых свечных языков, вылазит ему на морду ползучих светеней; тьмечь в пьяных мешках висит у него под глазами; на холодном выдохе лютовчическая аура вокруг него вздымается. Ясное дело, сам он не называет этого такими словами — но именно отсюда его необыкновенная власть над людьми, и Распутин прекрасно знаком с Алгоритмикой Характера, ибо сам под прикосновением Льда так долго жил.

— Безумие, — прошипел он, съезживаясь как-то странно в себя и протягивая ко мне только одну руку, — сумасшествие, неизбежное помешательство чувств и мыслей вас ожидает. Придет. Уже пришло! Я изгонял подобных демонов, сражался с дьяволами, самому Люциферу в глаза плевал, Христос-Спаситель стоял у десницы моей, дыхание его сладкое на моей щеке было, он обнимал меня ласково и на ухо шептал: Давай, Гриша, давай! Не слушай, что говорят, не гляди, что смеются и пальцы вытягивают, глаза презрительно отворачивают. Это ничего! Не ведом тебе стыд! Что такое взгляды людские! Я стою рядом с тобой! Сила наивысшая!

...И когда тебе, господин лях, Бог напрямую любовно шепчет, чтобы ты ни на что внимания не обращал, а только делал все по божественному указанию — ты уже не считаешься по мере церковных грехов, не с высоты улицы глядишь.

...Все, что самое худшее ты обо мне слышал — все, все правда. Только Бог рядом со мной стоял! Понимаешь?

— Что Бог говорит, то и хорошее, ибо Бог это сказал.

— Так! Так! Так! — Распутин переместился по кровати собачьим движением, опираясь на руках и рожу вперед выдвигая, чуть ли не язык не высовывая. — Упиваться до последнего и блевоты — грех! Только Господь говорит мне: Я стою рядом с тобой! Делай, что разрешаю! И вижу я тогда, что даже нажраться — дело вовсе даже и хорошее.

...Девочек чистых невинности лишать, замужних женщин в измену супружескую втягивать, днями и ночами предаваться разврату — грех! Но Господь говорит: Я стою при тебе! И вижу тогда, что и это — добродетель.

...Имею Правду! — залаял он. — Правда со мной, так что не страшны мне приговоры людские! И для них ясно, что Правда, что Бог...

— Пока не пришла Оттепель.

Он завыл, застонал, дернул себя за бороду, стукнул кулаком по темечку.

— Ну и чего это папочке Николаю вздумалось лютов прогонять! А теперь сынок его умер, кровью изойдя. Империя в огне стоит, а хуже всего, хуже всего, что... *Гаспадин Ерославский!* Что убережет вас? Вы ведь тоже слушались Его приказов, ведя людей в Лед, на смерть целые деревушки и села обрекая — и знали ведь: так хорошо, именно так Господу нравится. Как же убережетесь, оставленные сами себе — «я!», «я!» — когда даже в глазе Господнем усомниться придется?

...Безумие! — Он грохнул седой башкой в стену. — Безумие!

— Нет тут оберега, нет защиты, — пожал я плечами. — Все мы так живем, с тех пор, как были изгнаны из рая. А в безумие впадают, чаще всего, те, которые хоть ненадолго испробовали плода Правды.

— Если Лед не вернется... Безумие!

— Существует одна такая машина...

Распутин подозрительно глянул.

— Машина?

— Изобретение такое, на тунгетите и зимназе. Что можно самому Морозом накачаться.

Тот медленно заморгал. Вновь стратегия оборачивалась против него: только лишь спросит про насос, и я буду его иметь в тесном уравнении, с одним возможным решением.

Он уселся, выпрямил спину, пригладил бороду. Левая свечка погасла — Распутин зажег ее от соседней.

Долгое время он собирался с мыслями, бурча что-то себе под нос.

— А не боишься? — произнес он наконец, просчитав одно и другое. — Что прикажу тебя кнутом запороть. Шкуру содрать. Лошадьми разорвать! — Он вновь разогнался. — Вот скажу, что предал ты Мартына, и живьем же тебя съедят. Так что, не боишься?

— В том имении, на перевале, — указал я тростью на северную стенку, — там была лечебница Мороза, ты приказал ее сжечь.

— Ну?

— Половину сердца моего сжег.

Тот передвинулся вперед, возбужденно склонился.

— Красавицакакая-то?

— Неважно.

— Женушка, а? — Он облизался. — Детки, может?

— Неважно.

Распутин потер мясистые ладони.

— Так, так, я — грешник, убийца и грешник. — Он заговорщически усмехнулся. — Приказал сжечь, правильно, я сжег!

О, вот это был исключительно сильный ход — на сей раз Распутин смог подкипятить меня яркими эмоциями, и я должен был как-то себя выдать с ними, хотя бы напряжением мышц, положением тела, сжатыми губами, потому что дубовый хам оскалился еще шире и даже хлопнул в ладоши от утехи.

— Бедный господин *Ерославский*!

Я поднялся, прошелся вдоль стены, туда и назад, пнул бревно, провел костяшками пальцев по занозам-иголкам, замахнулся тростью... Глянул: 313 темней.

Я прижал зимназовый генератор к виску.

— Я прощаю тебе, — сказал я.

— Чего?

— Прощаю тебе.

Тот отшатнулся.

— Херня все, а не прощаешь!

Я только покачал головой.

— Чертяка тебя ебал, прощателя! — Он раздраженно махнул рукой. — Сейчас мои волки тебя разорвут. — Он повертелся на постели, пересел на стол, повертелся там... Глянул на меня исподлобья. — Как же, простил! — Он просверливал меня своими гипнотичными глазками, только я взгляда не отвел, все сильнее и сильнее прижимая зимназо к шишковатой нарости. — Тьфу! — сплюнул он. — Да сейчас тебя мои волки... Ну, и что? Уууу, еретик римский!

Он был мой, уже не вырвется, в полумраке захлопнулась сетка возможных и необходимых взглядов, словно диаграмма логического квадрата: да-да, нет-нет.

Он еще дергался, но напрасно. Кусал запястье, испытываяще поглядывая на меня. Оттерев кровь черной полкой, схватился за крест и поднял его в мою сторону, словно подавая

для поцелуя или для присяги. Но и с этим всем выдержал только несколько секунд. Опустил руку, свесил голову. Я слышал, как он бормочет под носом самые ужасные ругательства. Зимназо палило меня в лоб, маленькая теслектрическая динамка еще крутилась внутри, я глянул на шкалу: 311 темней.

Тут Распутин начал весело смеяться, хлопая себя по бедрам — но и тут понес поражение: пять выплесков хохота, и истерия превратила его смех в паническое хихикание. Он нацелил в меня указательный палец. — Врет же! Врет! — Я глядел. Он стиснул пальцы в кулак, потому что те начали трястись. Он схватился за столешницу, словно и стол мог начать трястись. Спина Распутина выгнулась в чудовищном напряжении. — *Вретвретвретврет...* — И тут же схватился с места, одним движением поднимая и бросая тяжелый стол.

Я упал на пол. Стол ударился об стену и упал мне на ноги.

— Пошли отсюда! Мое дело! — рычал Распутин, когда обеспокоенные зимовники застучали в двери.

Я выполз из-под досок. Горела только одна из сброшенных свечек, в маленькой избушке от Распутина осталась, в основном, громадная тень, размазавшаяся по стенам, потолку, по мебели.

— Врет! — шипел Распутин. — Ой, врёт!

Он схватил табурет за ножку и направился ко мне, поднимая его словно дубину.

— Ну! И что? Ну! — Он ударил меня справа, ударил слева; я упал и поднялся. Похоже, он сломал мне ребро. — Ну?! Ну?! — рычал он, размахивая массивным табуретом. Черт, он же из меня отбивную сделает! Теперь он грохнул снизу, справа; я не успел заслониться тростью — молния пронзила тело от бедра. Я заорал от боли.

— Ага! — радовался тот. — Вот сейчас прощай!

И давай колотить меня, куда ни попадя, и раз, и раз, и раз — я сбежал за перевернутый стол, забежал за кровать, только он достал меня и там — заслонился сверху, заслонил колени, он разбил мои стиснутые на палке пальцы — я упал, он колотил меня по спине. Так он же позвоночник перебьет, без всякого убьет.

Распутин пинком загнал меня в угол.

— Ну! — хрипел он. — Давай! Прощай меня! И вот это! — он ударил меня по руке, я выпустил зимназовую трость. — И вот это! — тут он трахнул меня по не защищенной голове; кровь залила мне глаз. — И еще вот это мне прости! Ну, давай же, скорее! Ну, прощай же!

Бах, ба-бах, бах. Тело мое состояло из волокон боли; я жил исключительно благодаря этой боли.

— И кто теперь руку тебе подаст?! — Грох! — Кто мир восстановит?! — Бах. — Кто спасет?! — Бах, трах.

Наощупь я нашел трость и слепо размахнулся ею, изо всех сил. Она снова выпала у меня из рук, когда я попал в него. Распутин застонал, что-то тяжело грохнуло об пол. Я вытер глаз. Мой противник поднимался на четвереньки, давясь и кашляя; усевшись, он схватился за шею, прикрытую бородой. Я встал, поднял табурет, для чего понадобились обе руки. Распутин поиндюшачьи багровел, хрюкая что-то непонятное в нос. Я не сомневался, что сейчас он придет в себя, это всего лишь мгновение. Размахнулся табуретом и попал ему прямо в висок. Тот, без чувств, свалился на пол.

Я же сел на кровати. Руки тряслись, я весь трясся. Кровь все так же текла из раны на лбу. Больно было при вдохе, больно при выдохе, больно было при всяком движении. Я схватил бутылку, вырвал зубами пробку. Понюхал. Водка, отдающая железом. Сделал один глоток, другой. Раскашлялся.

Распутин же кашлял на полу. Вытирая доски бородой, он полз ко мне, запутавшись в

черных полах сутаны — кровавая тень среди теней, из нее, словно лишенные панцирей крабы выступали белые ладони. Он хрипел все громче.

— Хгхто...! хгггро... *прасти...*!

Я подошел с табуретом, встал над старцем, нагнувшись, и ударил изо всех сил, ломая ему шею.

— Я! — рывкнул и сплюнул кровь, перемешанную с водкой. — Я!

После этого отбросил табуретку, поднял трость. Нашел две оставшиеся свечи, зажег их и поставил на подоконник. Ощупал голову, высматривая открытые раны. Поломанные пальцы сжимал под мышкой, наслаждаясь в молчании чудесной болью.

— Хрррр. Кхрррр!

Я глянул вниз. Распутин перекатился на спину и теперь дергал крест на груди, пяля слепые глаза на потолок.

Я присел над ним и сунул трость под его седую голову; после этого навалился на тьмечеметр и посчитал до двухсот, душа Распутина и, наверняка, раздавливая его гортань. После этого проверил дыхание — тот не дышал.

Я еле поднялся на ноги, ужасно уставший, все во мне болело. Очередные три глотка спиртовой дряни помогли справиться с дрожью и слабостью, обещавшей быструю потерю чувств: водка щипала язык и небо; холод и жар попеременно заливали руки и ноги, голова кружилась. Я согнулся в поясе, опирая ладони о бедра, глубоко дыша. Теперь мне нужно...

Он поднялся на колени, стуча крестом по стене. Я подбежал, с размаху ударил тростью; голова лопнула словно тыква, я ударил опять, и снова, и снова: кровь залила его седые волосы и черное одеяние, теперь он уже лежал неподвижно, разбросав конечности в стороны, голова свернута, мозги сверху. Я же задержался лишь затем, чтобы блевануть: из меня вылетел ужин зимовников, недозрелые ягоды, грибы и заплесневелая просвира, сверху прибавились желудочные кислоты и водка.

Я стащил рваную, грязную рубашку, более-менее чистым куском ткани вытер лицо и разбитые губы. Глядел на лежавшего в тени под стенкой Распутина, и руки постепенно переставали трястись. Не живет, а может и живет. Стояло Лето, я же знал, какова необходимость — то есть, справедливость — то есть, Правда. Я тихо выругался. Он мертв, но, может, живет. Ведь стояло Лето.

Я разбил бутылку и вырезал сердце Распутина у него из груди.

После того я нашел в задней стене доски, на которые во время строительства нам не хватило гвоздей, подковырнул зимназовой палкой одну, вырвал две снизу и протиснулся наружу. Я уже был среди первых таежных деревьев, когда кто-то заглянул в комнату и известил воплем смерть Григория Ефимовича Распутина. Протяжный стон, чуть ли не животный, пронесся над горными лугами, чтобы под конец взорваться наполненным гневом рычанием. Хаос воцарился над детьми Правды.

Той ночью, под Молочным Перевалом, над не существующей могилой Мартына отдало Богу души более четырехсот почитателей Льда: затоптанных, забитых, задушенных, загрызенных. Довольно скоро эту ночь начали называть Ночью Суда Мартына. Якобы, сам Мартын поднялся с Дорог Мамонтов и покарал узурпатора. Самозванец не перехватил власти: правда была не на его стороне.

Стояло Лето — но именно так все и замерзло.

Об учреждении Первого Акционерного Товарищества Промысла Истории

Лифт не работал; меня потащили по кривым, крутым ступеням. Второй ведомый

вырывался и дергался в стороны, и, похоже даже предпочел бы броситься, сломя голову, с высоты, лишь бы его не вели живьем пред лицо Первого Министра; он шел словно на казнь.

Я осмотрелся с площадки, когда над нами открывались броневые зимназовые двери. Казаки Семенова уже отбыли; всадники исчезали за руинами противоположных Башен. В кратере посредине (единственное, что осталось от Дырявого Дворца — это громадная Дыра) образовалось ледниковое озеро, дети местных жителей пускали на нем лодочки из бумаги и дощечек. Утренняя синева неба отражалась в воде, отражения были способны ослепить. Я замигал, из-под веки вытекла одинокая слеза.

В коридорах Кривой Башни валялся мусор, обломки конторской мебели, кучи макулатуры.словно в уличной сточной канаве, все это слоями валялось под стенками нижней стороны помещений. Наклон составлял градусов двадцать, не больше, что совсем не мешало, если идти под гору или под уклон, а вот поперечные перемещения уже были страшно неудобными. Осужденный споткнулся, раз и другой, упал; его начали тащить за воротник и волосы, на что тот громко, жалостливо разнылся, стуча при этом руками и пятками об стены. И оказалось, что кто-то здесь живет или работает — в комнатах с выбитыми окнами, в залах с оборванными потолками — потому что, каждую секунду, кто-то из них выглядывал в коридор, перепугавшись визгливых криков.

— Зейцов!

Меня пихнули на стенку. Я снова позвал. Как же его по имени? По отчеству? Зейцов, придурок старый!

Бывший ачуховский каторжник отступил, застыл на месте, наморщил брови. Под мышкой он тащил скрипичный футляр, на носу держались очки. Он сильно постарел, сгорбился. И сейчас щурил глаза за линзами, безуспешно пытаясь приспособить голос к физиономии.

— Отпусти, хам! — рывкнул я на *салдата*. — Зейцов, это я, черт подери, не помнишь, как ты меня из Транссиба выбросил?

У того футляр выпал из-под руки и покатился под стену.

— *Гаспадин Ерославский...*?

— Да ты что, трезвый?

— *Гаспадин Ерославский!*

— Скажи, пускай он отпустит меня!

— Боже Всемогущий! Вы живы!

— Ну, давай же, давай.

Амбалы со штатовскими, бело-зелеными фуражками на головах наконец-то отпустили меня, я встал на собственных ногах — ненадолго. Зейцов подскочил ко мне со всего размаху, и я снова впечатался в стенку. Ладно, натура такая почтенная, с одинаковым чувством убивает и радуется. Какое-то время я разрешил обнимать себя.

Отступив на шаг, протерев очки, он глянул — улыбка до ушей. По-моему, это впервые я видел его гладко выбритым, что выставило на свет Божий все безобразия его покрытой шрамами, обожженной морозом физиономии.

— Венедикт Филиппович! Да Бог же ты мой! Что же с вами было! Мы все вас тут уже давно похоронили!

— Ну, тут вы достаточно близко были к правде.

— Да как же вы выглядите! — Он всплеснул руками. — Это эти гады вас так? — Он грозно глянул на штатовских.

— Нет, нет. По дороге всякие приключения были. Сейчас мне необходимо встретиться с премьером, над Леной встретил этот вот отряд под флагом Штатов, только, похоже,

договориться нам полностью не удалось... Ну да ладно, по крайней мере, добрался. Мне сказали, что он сидит здесь.

— Ногу сломал. Но, позвольте. Умойтесь хотя бы, приоденьтесь! Есть у вас во что переодеться? — Он вновь обернул ставшее грозным лицо к штатовским. — Где вещи господина *Ерославского*?

Я только рассмеялся.

— Пускай отдадут трость.

Отдали.

— Вот и все мои вещи. Слушайте, Филимон Романович, вы тут сейчас какая-то значительная фигура?

— Ой, да где там! — И тут же он гневно замахал на штатовских, те удалились, волоча второго пленника, который вспомнил, что он смертельно перепуган и наново начал арию просящего вопля; эхо катилось через пустую Башню. — Так, всякие работы для временной власти... — Зейцов поднял футляр и повел меня по мираже-стекольным ступеням на этаж выше. — Ага, видите, как вы мне ту должность сторожа у Круппа устроили...

— Ну?

— Как Оттепель началась, все отсюда бежали, то есть, промышленники, ученые, чиновники и буржуи, и я видел, изо дня в день, из ночи в ночь, как гаснут вокруг Башни — а куда было бежать мне? Остался сторожить, один как перст, во всей Пятой. Потом уже потеплело полностью, и тут уже, одна за другой, стали валиться сами Башни. У меня прямо сердце разрывалось, господин *Ерославский*, честное слово скажу, смотреть на это не мог. Искал людей у губернатора, просил у Сибирхожето, у городских властей — чтоб как-то организовать, что-то сделать... Но оно уже все размерзлось, с той поры, как растаяло большое соплицово, никакой крепкой власти не было. Ну, мы собрались, с зимовниками, с рабочими *холадниц*, что остались тут, в Иннокентьевском, без работы, даже пара жандармов и инородцы, и взялись спасать Башни. Нашелся один такой инженер, из тиссеновских, кто-то, разбирающийся в ледовых креплениях... Ой, видели бы вы, как пришлось наработаться на опорах: мы и в глубину, и по поверхности, и бетоном; а тут материала перестало хватать, даже столбов, притащенных с тех Башен, что уже рухнули... Это уже под конец, первые шесть сразу завалились, мы еще подергались на Двенадцатой; а под самый конец осталась Седьмая и Первая — на противоположной стороне.

Тем временем, мы прошли в самый конец коридора, по возвышенной, северной стороне Башни. Зейцов извлек из-под златанного жакета связку ключей, открыл двери. Мы вошли в помещение. Когда-то, похоже, это был салон директора крупного ледового предприятия. Среди сдвинутой под южную стену мебели я заметил обитый кожей шезлонг и замечательный библиотечный стеллаж из темного ореха. Книги и фарфор валялись в складках афганского ковра.

Я подошел к широкому окну. Все стекла из него вылетели, между фрамугами колыхались зеленые шторы. Я отвел их в стороны — в развалину салона вторглось солнце.

Меня атаковала пчела; я отогнал ее тростью, маятник раскрутился: 310 темней. Я чихнул и, прикрывая глаз рукой, встал в тени.

— Так ведь Первая тоже рухнула, — указал я на горизонт за Дырой.

— Это уже потом случилось, когда дрались тут с большевиками Центросибири и имперскими. Поначалу туда влезли троцкисты и стреляли во все, что только подходило поближе. *Абластник*ис Савинковым и новонародниками большевиков прогнали; под Александровском была крупная битва с императорскими. После того все они отступили за линию Транссиба, и вот уже где-то с месяц революционный фронт стоит на линии Иркутска

и Ангары. А Башню Первого часа взорвали ленинцы; снайпер-троцкист подстрелил им командира.

Выходит, сейчас Холодный Николаевск удерживают силы Соединенных Штатов Сибири. — Я зевнул. — Так, ногу он сломал, но гостей, наверное, принимает?

— Пойду спросить. Сейчас подошло вам китайца с горячей водой и какой-никакой одеждой. Тут у нас сейчас царство мародеров. А может бы вам еще и побриться, а? Ага, ну и харч найдется. Отдохните, вы же устали. Ну ладно, уже бегу.

И он, действительно, побежал, побрякивая ключами; двери за ним захлопнулись сами. Про скрипку я спросить позабыл.

Невольно усмехаясь под носом, я хлопнулся на шезлонг. *Вот*, пришла Оттепель, и даже в таком Зейцове характер вывернулся настолько, что пьяный марксист-толстовец извлек из себя чуточку предпринимательской энергии. Под теплой лаской солнца я прикрыл глаз. Пчела жужжала над головой.

Пожилой китаец притащил тазик и ведро горячей воды, а так же чьи-то полотенца и туалетные приборы, обозначенные латинскими инициалами «R.Z.W.», а вторым курсом — четыре чемодана, заполненные мужской одеждой не самого худшего качества. Я с увлечением копался в их содержимом, пытаюсь угадать происхождение и тождество владельцев. В одном чемодане нашелся немецкий молитвенник, в другом — *Астрологический консультант делового человека в Азии*, по-французски. Из него следовало, что вплоть до летнего равноденствия года от Рождества Христова 1930, к востоку от Урала не слишком разумным было бы заключение сделок с людьми из под знаков Стрельца, Овна и Козерога. Суеверный предприниматель запасся еще *Купеческим сонником*, *Френологией на работе и в компании Биржевым Таро*. А вот под книгами я обнаружил три очень стильные сорочки серебристо-пепельного цвета.

Я сбросил старую, проеденную грязью, протертую до дыр и вонючую одежду. Поработал мочалкой раз и другой, и как раз собирался взяться за бритву, когда в нижней стене открылась дверь, и вошло двое штатовских. Я обернулся к ним, голый, с намыленной рожей.

— Чего?

Те, устыдившись, отступили.

— Секретарь господина премьера попросил передать... Вы встретитесь с премьером в полдень, на четверть часа.

— Хорошо.

Под стеллажом обнаружились осколки зеркала, я выбрал самый крупный из них. А уже побрившись, пожалел об этом. Щетина, все-таки, до какой-то степени скрывала шрамы, пятна, деформации — теперь все это вылезло на свет божий, как у Зейцова.

Ладно, один черт. Обломок зеркала я выбросил в окно.

Волосами я уже не занимался; вместо того, чтобы отстричь, я связал их у шеи. Нашел нижнее белье и костюм. Все было на меня или чуточку большим или же чуточку тесным. В конце концов, остановился на брюках, которые пришлось крепко стянуть поясом и подвернуть штанины, и на однобортном пиджаке цвета маренго, рукава которого, когда поднял руки, убегали чуть ли не до локтей; одна только астрологическая сорочка была по размеру. Вместо галстука я завязал двойным виндзорским узлом белый платок.

Из старого я оставил себе только сапоги с треснувшими голенищами, которые стащил для себя с трупа над Тунгуской.

После этого вышел, чтобы поискать себе часы. Молодой русский, куривший папиросу у дыры после миражестекольного витража (ветерок здесь шел наверх, через всю Башню), угостил меня табаком и бумажкой. Мы поговорили о немецкой литературе и красоте

сибирской природы. Он пообещал мне прислать разбирающегося человека. Лишь потом я узнал, кто это был, тот разбирающийся в книжках *молодец*: министр безопасности в правительстве *Соединенных Штатов Сибири*. Он расспрашивал меня о моем ответе, не зная, что это такое, сюда он прибыл после западных университетов уже после Оттепели, так что лютовчиков, за исключением премьера, многих и не знал. Я же ему сказал, что уже сам факт того, что он способен замечать тьвет, как-то связывает его с Краем Лютов. Это ему понравилось. Он снова закурил. Ему приносили какие-то бумаги на подпись; он подмахивал их огрызком карандаша на спине *солдатика*, совершенно не читая. Смертные приговоры, подумал я впоследствии и вспомнил вопящего сокамерника. Кто знает, если бы не Зейцов...

Я вернулся к себе в комнату, было еще время поспать. Правда, пчела меня настырно будила — растянувшись на шезлонге, я уплывал и приплывал в теплую явь. Я поднялся, расправил кости, отлил в окно. Дети, пускавшие кораблики на водах ямы, оставшейся от Дырявого Дворца, показывали на меня руками и весело махали, я им достойно отвечал. Над водой клубился гнус, облако маленьких мушек, слепней и другой кусачей гадости. По безоблачной синеве туда-сюда летали дикие птицы.

Я покопался в куче книг возле упавшего стеллажа. Словари, энциклопедии, сопутствующие издания. После этого вернулся к чемоданам с добычей. К Биржевому Таро прилагалась карманная колода Египетского Таро Кроули по сибирскому образцу. Присев на пятках, ритмично считая под нос, я разложил на голом зимназовом полу две сотни гадательных последовательностей. *Поченгло спасает. Договор с Победоносцевым. Союз ледников. Зима держит. Шульц продал Теслу. Беги.* Помехи здесь давали себя знать сильнее, но, поскольку я уже знал содержание этой тьмечеграммы, пропуски и неверные считывания можно было пропустить. Одно было точно: это ни Тесла, ни Кристина — *это уже автоматический Чметный Молот бьет* ^[399].

В дверь постучал штатовский аппаратчик. Мы поднялись на крышу.

У крыши Башни Седьмого Часа никаких окружающих ее защитных оград не было, так что, встав на наклонной плоскости, я инстинктивно подперся зимназовой тростью, чтобы не упасть. Ветер раздул полы пиджака, я застегнул пуговицу. Вычищенная, отполированная до блеска поверхность зимназовых плит блестела под ногами словно ртутное озеро, солнце на каждом шагу отбрасывало свои зайчики во все стороны, ты шел словно внутри громадной электрической лампы. Господин Порфирий Поченгло, Премьер-Министр Временного правительства Соединенных Штатов Сибири, сидел в самом центре, возле крутого столика. Сквозь насаженные на ястребиный нос черные очки он читал бумаги, подаваемые ему из толстой папки секретарем. Нога в толстых лубках лежала на небольшом табурете, обитом выцветшим пурпуром. Стальной свет отекал Поченгло со всех сторон, он был спиралью накаливания этой лампы.

Секретарь наклонился, шепнул ему что-то на ухо. Господин Порфирий поднял голову. Я стоял напротив.

— И кто же это такой? — удивленно фыркнул тот.

Секретарь с аппаратчиком глянули друг на друга с замешательством. Штатовский крепко схватил меня под руку.

Я стукнул тростью в зимназо.

— Я не купил для вас Историю у лютов, — сказал я, — но вижу, вы и сами справились.

Тот сорвал очки.

— Пан Бенедикт?! Это вы?! Это и вправду вы?!

Я подошел, протянул руку.

— Позвольте пожать руку государственного мужа.

Он глянул на мою трехпалую ладонь, на шрамы и увечья. Слегка приподнявшись с кресла, он схватил ее обеими руками, замкнул с сильным, сердечном зажиме.

— Даже и не спрашиваю. Тоже прошли всякое. Присаживайтесь.

Жестом руки он отправил своих людей. Я устроился в плетеном кресле. Серебряные паруса яркого света хлопали по сторонам, на глаз все время набегали слезы — весь окружающий мир растекся в синеву с зеленью и это мерцающее серебро, его было больше всего.

Поченгло тоже какое-то время молчал.

— Выпейте, — произнес он тихо, прозвенев графинчиком и рюмкой. — Наливка из сибирского раkitника, годовая выдержка. Подавляет всяческие боли.

Практически на ощупь я обмочил губы в напитке.

— Я уже второй день ничего не ел.

— Боже мой, Бенедикт Герославский... — Поченгло все еще недоверчиво качал головой. — Жена не поверит, когда ей напишу.

Рюмка выскользнула из моих пальцев. Тррттртрр-уух! — покатила она по крыше и полетела в пропасть.

— Она мертва!

— О чем это вы... Ах, да, панна Елена. Сгорела в этом Санатории Льда, знаю, знаю... — И тут он рассмеялся со странным облегчением. — Моя Кристина, она мне никогда не... А, ну так, вы же ни о чем не слышали, правда? Сколько же это лет — пять, шесть? В возбуждении, столь не соответствующем Порфирию Поченгло, он вытащил из кармана бумажник. — Сейчас вам покажу, Андрюшка, Эндрю, вот... на этом вот фото — ему три месяца.

— Вы женились на Кристине Филипов?...

— Ага, прошу. Фото сделано в прошлом году перед нашим домом на Руа Дос Пескадорес.

На фотографии улыбающаяся Кристина Поченгло, одетая в свободное, светлое платье, с лицом, наполовину скрытым тенью соломенной шляпы, сидит с младенцем у груди на лавке в саду перед виллой. Справа от нее сам господин Порфирий, глядящий в объектив из глубины черных глазниц, со свойственной ему интенсивностью хищной птицы. А за их спинами, посреди снимка, рисуется высокий силуэт Николы Теслы. Уже с седыми волосами и лицом, как будто высушенным, костистым, тем не менее, изобретатель все такой же выпрямленный, в той же самой позе расслабленности-решительности, словно бы его сфотографировали в последний момент, прежде чем он сбежит к своим таинственным занятиям. Тьмечь черной тушью залила складки и морщинки его костюма, он стоит, очерченный ночью. Дом за ними — приличных размеров строение в испанском колониальном стиле, с побеленными стенами и длинными балконами на всех этажах. В тени идущего аркадой патио, двумя рядами для снимка выстроились многочисленные слуги, в ливреях и белых фартуках. Пальмы и фиговые деревья прикрывают подъезд с обеих сторон, цветы гибискуса пьются раскрытыми бокалами-рожицами на женщину с младенцем.

— Поздравляю.

— Растет как на дрожжах, парень будет — что надо. Только-только отняли от груди, а уже такой хулиган! Мне тут пишут, что...

— Да. — Я отдал ему снимок. Не глядя, хлестнул наливки в рюмку. Голова, очень легкая, болталась на шее, словно воздушный шарик, привязанный на длинном шнурке на ветру. Я выпил залпом. Хмм, быть может, это все по причине отовсюду напирającego света. Мы сидели здесь словно слепые ящеры в террариуме солнца. — Вы знаете, вот сейчас, охотнее всего я бы сбросил вас с этой крыши.

Поченгло вновь надел свои черные очечки.

— Не вышло у вас, а? — тихо сказал он. — С отцом...

— Его нет.

— С Еленой...

— Тоже мертва.

— С Историей...

— Еще один труп.

Я откинулся на спинку кресла, широко раскрывая глаз и рот синеве надо мною, ожидая холодной капли этой синевы. Чирикающие радуги массируют мне виски, я слушаю их цветастые смешки и воркование.

Господин Поченгло прекрасно почувствовал мое настроение. Переждал, перелистывая документы. Затем что-то отмечал в блокноте авторучкой, перо приятно шуршало по бумаге.

Я же молчал, вновь спихнутый в депрессию необязательности. Теплый зефир колыбал моей головой, жидкое свечение выступало жемчужинами на коже, щипая, выжигая, кусая... Рас-рас-топленный... Я громко причмокнул.

— Вы их вывезли.

— Кого? А! Той ночью, когда вы бежали из Иркутска — тогда поначалу я ужасно рассорился с Кристиной. — Он вновь рассмеялся. — За Николу она могла себя позволить порезать себя на куски! В конце концов, я вырвал их у Шульца, мы сбежали через Харбин, через Китай. Когда при первых же признаках Оттепели начались те переговоры с британцами в Гонконге, я, естественно, воспользовался случаем и приехал в Макао — а там защелка и захлопнулась, таааак. Там же, на месте, мы и оформили брак, в Игрейя де Саньо Доминго. И не судите, что поспешно, в непристойной горячке — я отправлялся на войну, на вооруженное восстание, которое могло кончиться плохо сотней различных способов. — Тут он вынул портсигар, радуги вспыхнули на гербе Иркутска. Он закурил. — И закончиться все еще может так же паршиво.

...Вот вы сами, пан Бенедикт, поглядите, насколько мы были глупы. Я имею в виду, с панной Еленой. Если бы мне, после наших дурацких договоренностей на Сломанной Копейке она не дала от ворот поворот... Ах, прошу прощения, если вы не желаете... Хммм. — Он выдул дым прямо в солнце. — Вы рассчитывали, я рассчитывал. Стояла Зима, ну да, был Лед, наверняка, иначе быть и не могло. Но... Это огонь! — Он потряс кулаком под самыми темными стеклами. — Это вождение! — Он трахнул этим кулаком по столу так, что зазвенела посуда и подскочили бумаги, упала газета. Я пришил ее тростью, пока ветер не успел стащить ее с крыши. «Новая Сибирская Газета», я и не знал, что после Оттепели у них здесь появилась и пресса.

Я отдал газету Поченгло и возвратился под синеву.

— Это вождение, — повторил тот тише, — простая симметрия эгоистических желаний. Ты не спрашиваешь. Не взвешиваешь шансы. Рассудка вообще не включаешь. Поступил ли я разумно? Да где там! Разумнее всего было бы переждать революцию и только после того вернуться, чтобы объясниться в любви Кристине. А что сделал я? Махнул рукой, пан Бенедикт. Махнул на все это рукой!

— А и вправду, наша ли была глупость, тогда, подо Льдом? — Я водил взглядом по пустому небу. — Глупость и рассудок здесь значения не имели, пан Порфирий. В расчет входило: что правда, а что ложь. То, что люди так влюблялись — это не по причине какого-то там гипнотического влияния Черных Сияний, но по закону двужначной логики. Тому самому, который позволял нам судить с железной уверенностью в соответствии с единоправдой человеческих характеров, а вам — устраивать головомные заговоры в

Истории, лишенной энтропии.

...Ведь в чувстве самым страшным является та неуверенность, та пытка сомнения и разорванность между ДА и НЕТ: любит, не любит, любит, не любит; и даже глубже, в отношении себя самого: люблю ли я или мне только кажется, будто люблю? Но все это проклятие Лета, это — любовь Котарбиньского! В Краю Лютов были всего лишь два полюса в магните души, и про большую часть блужданий и ошибок там нельзя было и подумать, нельзя было заморозить. Единственное, кто-то такой, как я... — Я покачал головой. — Это была не глупость, то был насос тьмечи доктора Теслы.

— Позвольте!.. — фыркнул мой собеседник. — Я понятия не имею, что вы несете!

— Когда в вашем сердце запала печать на Кристину Филипов? Когда убегали от Шульца, подо Льдом, пан Порфирий, подо Льдом.

— Снова вы хотите засушить все дело до смерти своими умствованиями. А ведь тогда вы нам правильно говорили: Что такое любовь? То, что высказать невозможно. У нас имеются лишь люди, которые ведут себя так-то и так-то, так что мы говорим: это от любви. Но до того момента, как лишь строят душераздирающие мины, под Луной шастают и пишут гадкие стишата — это что? Любовь? Ха! Это всего лишь пьеса о любви! Картинка про любовь! Рассказик за любовь! Любовь в кавычках!

— Так кто же она такая? Дочка, внучка Теслы — или его любовница?

— Любовница!? — возмутился тот от всего сердца. — Ну, знаете ли!..

Я начал качаться на кресле, балансируя тростью вперед и назад.

— Хорошо, а Макао? — щелкнул я языком по небу. — Он что-то делает там.

— Тесла? Естественно! Морган Младший договорился с Николаем Александровичем Романовым, Никола выбрал Макао по причине Дорог Мамонтов в Китае, поставил там свой Большой Молот, на Илха де Макау, на холме в самом центре. Морган щедро вошел с капиталом в *Tesla Tungetitum Company*, и Никола взял в аренду у португальцев Форталеза да Гиейя, весь тот старинный комплекс под маяком. Который теперь светит в ритм ударов Молота. Весь Макао живет под Молотом, в городе закрылись все игорные заведения, хирурги отказываются делать там операции, а китайцы сходят с ума с сушеным тысячелистником [\[400\]](#); зато курильни опиума процветают. — Поченгло широко махнул, охватывая рукой с папиросой руины Холодного Николаевска, заросшие свежей зеленью. — Вы не заметили? Лед отпустил! История тронулась с места!

Пуффхх! — сообщил пробитый иглой пузырь в моей груди. Я рассмеялся на долгом выдохе — небу, Солнцу.

— Выходит, это не я убил Зиму!

После чего у меня началась икота: наполовину истерическая, наполовину рожденная в неподдельном веселье, втискивающая все невысказанные слова назад, в горло. Так что какое-то время я только булькал и мычал, словно юродивый.

Пан Порфирий мерил меня черным взглядом — я тут же отвел свой единственный глаз назад, к синеве. Постепенно удалось привести дыхание в порядок. Чертик, освобожденный из пузыря, подсказивал в груди где-то минуту-две; я выдыхал его в долгих выдохах прямым в серебристо-радужное сияние.

Поченгло щелкнул крышкой часов.

— Вы должны будете потом рассказать мне обо всем...

— Ну, хорошо. — Я уселся прямо, вытер слезу с глаза; Поченгло вместе с крышей Кривой Башни на этот момент застыли. — У меня к вам дело.

— Дело?

— Да, дело, — я причмокнул. — План значительных заработков. Очень серьезных денег.

Тот сбил пепел на ветер.

— Пан Бенедикт, сейчас я человек Государства.

— Одно другому не мешает. Ха, самые крупные состояния делаются как раз на Государстве.

— Вы все шуточки шутите! — Поченгло насторожился. — Вы же с самого начала не относились серьезно к *абластническому* делу. Только знайте, для меня эта идея наиглавнейшая: Сибирь свободная, независимая; самоуправляемая сибирская держава, сильная перед остальными мировыми государствами.

— Я знаю это, господин премьер. Только...

— Вы смотрите и видите только дикую страну авантюристов, ссыльных, неграмотных мужиков и суеверных туземцев, тысячи верст холодных пустошей и крупнейшие на Земле чащи, куда не ступала нога человека; а все то, что ее цивилизовало, все это, — он вновь обвел сибирскую панораму, открывающуюся с вершины Часовой Башни, — сами видите, сейчас снова проваливается в грязь, лучшие люди бегут отсюда. Так? Но я гляжу в будущее на сотню лет вперед — и вижу мировую державу. Соединенные Штаты Сибири!

Он затаился табачным дымом, на секунду под смоляными стеклами появились светения, и черный отсвет вышел на удлиненное лицо, успевшее загореть под Солнцем.

— Только ведь вы Государство ненавидите! — прошипел он. — Аполитея — это да, но вот правление людей, правление Лета — это вы вообще запретили бы. И вы еще говорите, будто не являетесь ледняком!

— Потому что им и не являюсь, вовсе нет, пан Порфирий. Ледняки желают заморозить, остановить Историю в уже прекрасно известной форме. Я же как раз...

— Ледняк наихудшего пошиба: живущий ради Льда, а не ради людей! Вам же ведь на все совершенно наплевать! Хорошо, пускай не Сибирь — а про Польшу вы хоть спросили?

Я отшатнулся.

— А что с Польшей?

Поченгло выкинул окурочек в радугу.

— То же самое. То есть — ничего.

Он поправил ногу в лубке, подтянулся на кресле.

— Польши нет, — сказал он, сложив пальцы под подбородком. — Одни только поляки, режущие друг друга под чужими знаменами.

— А Пилсудский? У него ведь был договор...

— Договор! Пилсудский дослужился до генерала у Франца-Фердинанда, сейчас он может драться с царем в открытом поле — но неужели вы думаете, будто бы Австрия отдаст ему хотя бы кусок Польши в собственность, в благодарность за военные услуги? Завоеватели сами должны потерять массу крови, чтобы Легионы Пилсудского или местные отряды польских партий сделались на какое-то время наиболее значительной силой в тех местах. Что, согласитесь, является не самым вероятным поворотом Истории.

...А здесь — пожалуйста, земля и Государство, которые можно взять в руки. Здесь, Герославский, вторая Америка. Более богатая Америка! Более справедливая Америка! *Например*, туземцы — американцы своих вырезали, я же наших беру во власть. Соединенные Штаты Сибири! — Он постучал пальцем по разложенным перед ним бумагам. Свои области будут у бурят, тунгусов, у всех инородцев. Никаких резерваций, только места в сенате. Вы понимаете? — Он скрестил руки на груди. — Я строю здесь Державу, собственными руками строю Историю! А вы ко мне приходите с обещаниями каких-то денег...!

...Впрочем! У меня уже нет времени, Савинкова жду, наказание божье с этими эсерами; снова хотят писать убедительные письма князю Георгию Евгеньевичу, если только он

занимает пост премьер-министра Империи, ведь это тоже крайне быстро меняется; ладно, завтра больше поговорим. — Тут он опомнился. — Ну, прошу прощения, что так...

— Ваше премьерское время на вес золота.

Тот скорчил мину.

— Успокойтесь!

Я улыбнулся.

— Чего же вы стыдитесь. Вы же и вправду премьер.

Мы подали друг другу руки в оглушающем сиянии.

— Что с Белицкими?

— Не знаю, пан Бенедикт, никаких известий не было.

Поднявшись, я пошатнулся; трость снова спасла меня.

— Это вся ваша наливка, на пустой желудок... — буркнул я под нос. Вытер слезу манжетой. — Как вы тут выдерживаете, честное слово, ослепнуть же можно...

Меня провел секретарь, уже ожидавший на лестнице с Борисом Викторовичем Савинковым ^[401]. Опирая пропотевшим платком высокую лысину, знаменитый писатель и террорист глядел на меня с подозрением. Революции, социализмы, анархизмы, национализмы — все это следовало как-то уложить вместе, приспособить в один механизм. Я подумал, что это могло бы стать крючком на Поченгло — возврат Истории. Можно ли было продать идею в подобной упаковке? Я спускался по лестнице, останавливаясь через каждые несколько ступенек. Стояло Лето, здесь были Дороги Мамонтов, а Великий Молот Тъмечи в Макао непрерывно бил.

Молот. Тесле с трудом пришлось искать эту резонансную частоту, тем не менее — все началось с первого удара.

В голове все кружилось. Так, необходимо найти себе хоть какую-то шляпу. Вот так и проявляется солнечный удар. Я приложил холодный тьмечеметр ко лбу.

Уже потом, во время трапезы, устроенной китайцами из различной правительственной добычи (штатовские называли ее «налогом на формирование державы»), прежде чем затянуть зеленые шторы и упасть на шезлонг, чтобы отоспать длительную усталость, Зейцов рассказывал мне то и се про случаи последних лет. Правда, слушал я не слишком внимательно, кружа мыслями вокруг собственных планов, которые намеревался продать Порфирию Поченгло, да и сам Зейцов рассказывал по-зейцовски, на русском запеве, словами, растянутыми словно алкогольный бред... Прошое, а что прошое? — в размороженном состоянии оно тем более не существует. Возможно, было так, может — иначе. Главное, что у тебя под пальцами, в горсти, что под властью тела. Я ел жадно, запихивая в рот пикантное мясо, запеченное в кислом тесте; салаты с холодной рыбой, хлеб, заправленный орехами, и рисовые жаренки, и молодой картофель, окрещенный маслицем — захлебывался, плевался и ел. И, при случае, в пол-уха, потреблял и Историю.

Китайские блюда, по-китайски называемые, китайскими руками приготовленные — ну да, китайцев здесь было множество, потому что за Великой Стеной тоже война и исторический водоворот. Зейцов рассказывал, что Национальная Народная Партия Китая и Профсоюзная Лига уже собрали армию численностью больше миллиона человек, которой командовал «мужицкий генерал» Лао Те, который поклялся лично обезглавить императора Пу И, заодно вырезать все, связанное с ним. Фронт китайской гражданской войны перемещается к северо-западу; в первую очередь Лао Те отсек императора от портов. Впрочем, так все выглядело с самого начала: революционные силы шли с юга, из Лета. Нанкин и Кантон очутились под контролем НПК и китайских троцкистов Чена Ду Сю еще перед Оттепелью. Португальцы подписали договор с НПК и Сун-Ятсеном договор в Макао еще в 1926 году.

Зейцов недвусмысленно заявлял, какой-то договор был подписан между желтокожими оттепельниками доктора Суна, Морганом Младшим и доктором Теслой. Великий Молот Тьмечи начал бить в 1928 году; и тут же начались крестьянские восстания. Летом 1928 года в лабораторию доктора Теслы нанес визит Уинстон Черчилль, военный министр Британской Короны. Параллельно, в Осло велись российско-британские переговоры по вопросу Босфора и Балкан. Царь очутился в ужасно невыгодной ситуации, он не мог повернуться спиной ни к Востоку, ни к Западу. Отделение Шульца и японская угроза связывали ему руки в Азии. В 1929 году Лед отступил в Иркутске, и тут графа Шульца забрали черти; уже не теряя времени, Страна Цветущей Вишни нанесла повторный удар на Корею и восточные порты Российской Империи, вступая в Китай от Владивостока до Ченьчуна и Харбина. В Монголии буддистские святые мужи повели туземцев против китайцев и русских — любых иностранцев. В Нанкине полководец доктора Суна объявил образование Китайской Республики; велись дебаты над конституцией Срединной Империи, первым ее правильным парламентом, над новыми условиями торговли с варварами и размерами пенсии для императора. Николаю Второму пришлось вновь отправить войска из Европы за Урал. Что, в свою очередь, дало европейским державам уж слишком замечательную оказию, чтобы переждать ее в мире, и потому, после краткого ультиматума со стороны Лондона, началась война за Босфор и Дарданеллы.

— Так кто же, в конце концов, сверг графа Зимнего? — спросил я, обжираясь рисом с рыбой. — Уфф, эсеры? Новые народники?

— А-а-а, *гаспадин Ерославский*, после Оттепели мало уже кто знает, что там в Иркутске творилось. Не сильно знают и то, что творится сейчас. Ходят слухи, будто бы Шульц все это заранее предчувствовал, так что отправил свое семейство из Сибири еще до дня Последнего Сияния.

— *Это когда же, значит?*

— В феврале, год тому назад. Сам я там не был, люди рассказывали. Беспорядки начались с несчастного случая на Мармеладнице: растаявшая земля просела под рельсами, и состав с пролетариями разбился в паре верст от Иркутска, после чего пошел слух, будто бы это работа агентов, насланных князем Блуцким, то есть — императором, чтобы зимназовую промышленность поскорее привести к упадку, и тем самым стащить сибирского самозванца с трона. Шульцу это было даже на руку, то есть, поддерживать подобную сплетню в народе. Только головы у мужиков были уже горячие. «Красноярский рабочий» опубликовал свежие снимки Троцкого в Усть-Куте, советы стали грибами появляться по городам и селам... Ну и подрались тут же оттепельники с ледняками, верными императору, а граф глупость утворил, потому что послал на чернь слишком рьяных казачков. А то, что удавалось подо Льдом, Летом не прошло: вместо того, чтобы распылиться, разбежаться по городу, попрятаться по домам в страхе перед властью, все тут же в гневе страшном собрались и пошли на Ящик, ведомые фальшивым Бронштейном. Так и случился конец графу Шульцу, прости ему, Господи, все его грехи бесчисленные.

— Справедливый народный гнев, хммм. Чернь выбирает собственную Бастилию, подгоняемая эстетикой страха. Либо Ящик, либо башня Сибирхожето, хммм.

— Ну да. Всех там в Цитадели по кусочкам разнесли, солдат — не солдат, чиновников — не чиновников. Но вот так, конкретно — кто, где, как, чьими руками? Один Господь ведает. Отсюда в городе все та же бедность и безгололье, ибо, когда наконец пришло лето, то вся гадость повылезала из размороженной земли, трупы, значит, гниль, падаль всяческая, и тут же на Иркутск нашла зараза. И тут же она выбила очередные тысячи народу, а тех, опять же, некому было по-христиански похоронить или хотя бы сжечь, ведь никакое правительство с самой Оттепели не держит ни Сибирь, ни города — так что мор лишь усилился, и умирали

уже следующие, гния по домам и улицам, до тех пор, пока не пришли первые натуральные морозы и на пару месяцев не припечатали эту юдоль болезней и смертей. Только сейчас — *все вновь*. Господин премьер говорит: Город Мух. Нам здесь гнус тоже досаждают, но там... Тиф, холера, желтуха, чума — чего хочешь выбирай. Потому-то штатовские и не спешат брать Иркутск. А то, что в нем до сих пор попеременно толчется пять вооруженных партий, и таких, и сяких, это уже дело другое.

Я мог себе представить эту картину хаоса и полнейшего безвластия, в последнее время насмотрелся на подобные сцены больше, чем даже Зейцов. Очень часто, трудно было даже сказать, какого политического проекта является сторонником та вооруженная куча народу, идущая по Сибири путем разбоя и убийства, устанавливающая по чудом не сгоревшим селам и городишкам свою какую-то кукольную власть. Оттепельники или ледняки, за или против царского самодержавия — ведь даже этого невозможно было установить. В бой они шли с самыми невообразимыми лозунгами: «*За царя и советскую власть!*» Замешательство, смута, пестрота правил неслыханные.

Я спросил у Зейцова про Транссибирскую Железную Дорогу; полковник ван дер Хек упоминал мне про конвои под знаком Красного Креста, организованные различными национальными обществами и вывозящие отсюда детей и женщин. Дошло до меня и то, что японцы, честно выполняя договоренности с Пилсудским, спасли через Владивосток целые польские сиротские дома и приюты. Зейцов, по-видимому, из этого вопроса сделал вывод, будто бы и я сам собираюсь выехать отсюда Транссибом. С печальной миной он известил, что от Иркутска, по крайней мере, до Оби, в паре мест на рельсах стоят военные кордоны; в связи с японским наступлением, постоянного соединения с Владивостоком нет. Весьма нерегулярно составы ходят на Нерчинск и Красноярск, но и тут уверенности никакой, поскольку Победоносцев заминировал дорогу на несколько верст и грозит взорвать дорогу к чертовой матери. Новонародники с троцкистами уже дважды вели сражения за Порт Байкал и за байкальский железнодорожный паром.

— Впрочем, каждый день приходит с десятков совершенно противоречивых слухов. У нас тут имеется работающее радио и телеграфный кабель, открытый в восточную сторону. Позавчера говорили, будто бы Хирохито приказал ударить на Пекин. Вчера — будто бы японцы подписали договор с Сун Ят-Сеном. А завтра, наверняка, узнаем, что китайский император подал в отставку. Или же что Америка сражается с японским флотом за Чукотку. Князь Львов приблизительно каждый второй месяц отправляет императору прошение об отставке. Его Величество, Николай Александрович, иногда принимает ее, иногда — нет, иногда приказывает посадить Георгия Евгеньевича под арест, иногда — засыпает орденами умоляет вернуться на должность. В основном же, даже не известно, кто в Петербурге вообще правит. Да и какая разница? Бардак повсюду. Борис Викторович вчера говорил, что товарищи новый приговор на премьера выписали; только в самой ПэЭсЭр уже то ли семь, то ли восемь расколов, проклинали друг друга полностью, сейчас стреляют депутатов и отщепенцев, едва лишь увидав, ведь всякий может быть террористом-самоубийцей в идейных одеждах — только бумаге еще более-менее можно доверять. Во вторник мы были с правительством Его Императорского Величества в состоянии «мирных переговоров», а в среду — уже рьяные враги Российской Империи. Башка лопается, господин Бенедикт!

Что Истории, что рису я налопался по самые уши.

Около полуночи меня разбудил звук выстрелов. Их было то ли три, то ли четыре; вполне возможно, что тихие я и проспал. Стреляли вдалеке, эхо катилось через Холодный Николаевск. Я встал перед окном, выбитым в ночь, растянул шторы. Горело с пару десятков огней — с высоты я мог вырисовать на темной перспективе эллипс, определявший давний

круг Часовых Башен и полумесяц Иннокентьевского Два. Люди гнездились здесь в развалинах и в том, что осталось от промышленных зданий, в наскоро сколоченных временках и шалашах, поставленных из материалов, оставшихся после разрушенных домов, запавших в потеплевшую землю. Я подставил ухо: кто-то внизу играл на флейте. Плакал ребенок. Стучала пишущая машинка. Заходила в лае собака. Все это ночь умножала раз в пять, подавала на черной подушке тишины, один звук, другой, и еще один — экспонаты для уха. Ветер слизал пот с моей кожи; я и не знал, что так сильно вспотел во сне. Мне же вновь снился подземный кошмар. Раз уж люди сходят с ума, если их живьем закапывают под могильной плитой, что уже говорить о несчастном, на века обездвиженном под континентальной плитой? В голову пришла мысль о папиресе, и вот тут вспыхнула первая молния. Так как же? Меня разбудили винтовочные выстрелы — или этот сухой треск молний? Сто тридцать один, сто тридцать два, сто тридцать три... Над Зимним Николаевском прокатился гром. Подуло электрической сыростью. Я раскрыл рот и глотнул пропитанный летней грозой воздух, терпкий озонный коктейль, *parfum de Tesla* [\[402\]](#). Второй гром — и ливень. Ветер дождю и не требовался, сама Башня подставилась под него, выгнувшись задом. Я стоял там до тех пор, пока гроза не обмыла меня хорошенько. Потом я уселся посреди пустого зимназового пола и просто паялся на струи, разбивающие тени в тенях, по форме брызг догадываясь о фазе Молотов. Воздух еще сильнее остыл. Тогда я растянулся навзничь на прохладном металле. Это было... приятно.

Протяжные громы качали колыбель ночи.

— Льда, — шептал я. — Льда!..

Утром ко мне пришел прыщавый помощник секретаря и сообщил, что у господина премьера не найдется для меня времени перед обедом, и, скорее всего, вплоть до самого вечера; мне следует сидеть и ожидать. Поэтому я вышел в Николаевск.

Солнце вернулось во всей своей царственной славе, в золотых и бело-лазурных одеждах, накрыв Сибирь плащом сияния. Лужи, густо искрящиеся в траве и быстро сохнущей грязи, пускали мне в глаз свои насмешливые зайчики. Я вышел из тени Кривой Башни и только тут вспомнил про шляпу. Ко мне подбежал пес, обнюхал, вывалил язык, дружелюбно задышал. Кто-то призывно свистнул ему из гущи подпорок, веревок, сложных зимназовых лесов и всей той инженерной случайности и временности, с помощью которой Зейцов со товарищи спасли Башню Седьмого Часа от падения в размягченную почву. Теперь здесь гнездились около сотни бездомных — под брезентовыми палатками и неуклюжими конструкциями из металлических листов. Было время кипятить воду в чайниках и мятых самоварах, оттуда доходил запах китайского чая, а вместе с ним — стеклянные побрякивания, тихие молитвы: пожилые армяне славили Господа под воскресшим Солнцем.

Кручеными тропками между конурами и развалинами Холодного Николаевска живо бегали китайцы, продающие и покупающие в меновой торговле всяческий товар, причем, самый крупный оборот они имели от вонючих мазей против гнуса и от гадкой еды; я сам видел, как беззубая бабка за золотую коронку купила половину не слишком даже и упитанной собаки. Вполне возможно, что бедняки из-под Башни опасались, что, сам того не желая, я уведу их обед.

Несколько семейств, устроившихся под развалившейся наполовину стеной производственного цеха, разбила неподалеку небольшой огородик, пытаясь вырастить на нем картошку и капусту. Кто-то постоянно стоял на страже с палкой и ножом. Я обменялся любезностями с фигуристым охранником в сюртуке и очках. Перед Оттепелью он был судебным канцеляристом при Прокуратуре Уголовной Палаты, с годовым жалованием в четыреста восемьдесят рублей. Он тут же пожаловался, что монголы украли у него

последний парик.

На Десятом Часу семейство малороссов держало в клетках три дикие птицы неизвестного вида. Сейчас украинцы перебрасывались руганью и камнями с девицами из Института имени Императрицы Марии, спасшимися из города; якобы, те ночью пытались украсть одну из птиц.

На Одиннадцатом Часу, за давней колодезной *холадницей* Жильцова (от нее осталась лишь наполненная грязью яма), клан исхудавших до смерти тунгусов пас двух своих оленей и около двух десятков лошадей, являющихся собственностью СШС. Временное Правительство платило им за услуги солью и мукой. Вот тут я усомнился в политическом понимании господина Поченгло и его сообщников. Ведь получался очень странный метод установления государственности: половину громадного континента под свою власть берут, да еще и планируют сравниться с мировыми державами — но не признают собственных граждан, кочующих под своими окнами, торгуя с ними, словно сосед с соседом.

На Первом Часу, на куче мусора, оставшегося от Башни, под кривой палаткой и листом мираже-стекла принимал пациентов немецкий врач. Румяная монахиня в черной рясе направляла больных к нему, в тень развалины, по одному человеку за раз. Очередь тянулась чуть ли не до следующей Башни. Большая часть этих людей и вправду походили на жертв заразных болезней, по-видимому, именно по этой причине они и ушли из Иркутска. Поченгло должен ввести здесь карантин, в противном случае, Холодный Николаевск падет жертвой тех же эпидемий, что и губернский город.

Идя вдоль часового круга, я приглядывался к несчастным: никто здесь и не отводил взгляда под любопытствующим взором хищника, никто не горел от стыда. Все эти громко кашляющие и хрипящие люди еще цеплялись за жизнь, гораздо хуже было с теми, кто молчал и не шевелился, которые лежали на солнце с закрытыми глазами, в палящих лучах, закутанные в шубы и малахаи. Самый печальный вид, конечно же, представляли дети: бледные, с блестящими глазами, сотрясаемые горячкой, безразлично пляшущиеся в пространство. Всякий месяц, всякую неделю Оттепели я мог бы пересчитать страданиями и жизнью невинных детей. Нет, *Herr*Блютфельд был не прав: разумно упорядоченный мир будет стремиться к состоянию наименьшего вреда для ближних; против энтропии борется все живое.

Меня заинтересовало, берет ли с них немец какую-либо оплату. Но они приходили с пустыми руками; у них ничего не было. Быть может, Государство начинается именно так: со структур спонтанной помощи. Несколько вьюношей повязало себе на руки белые платки: они разносили воду, следили за очередью, вместе с монашенкой устанавливали иерархию болезней. Доктор, монашка, эти добровольцы — Поченгло как можно скорее должен затянуть их под знамена СШС.

Где-то на последней трети очереди я заметил знакомое лицо, рыжеволосое, в струпьях, которого невозможно было забыть. *Mijnheer*Иертхейм сидел на дырявой бочке; вгрызаясь в чубук треснувшей трубки и отгоняя гнус, он читал статью в наискось разорванном листе газеты. Его бекеша, когда-то белая, сейчас носила на себе следы грязи, травы, гари и бог знает каких еще нечистот.

Я подошел. Газета была напечатана краской настолько паршивого качества, что все до единой буквы размазались в полосы-дуги, уже наполовину стекшие с бумаги. Голландец горбился, щурил глаза.

— И что там, в политике? Китайцы крепко держатся?

Он меня не узнал.

— Лично я ставлю на японцев. Эти, по крайней мере, между собой не собачатся.

— Господин Хенрик, это солнце вас ослепило.

Тот поднялся.

— Погодите-ка... Нет... — Он склонился надо мной, заглянул в лицо. — Юрочкин?

— Какой еще Юрочкин! Это я, Герославский!

Тот отшатнулся, споткнулся о бочку, упал в грязь. Ветер тут же унес газету.

Я подал ему руку.

— Бенедикт, господин инженер, Бенедикт. Ничего не бойтесь.

Мы уселись на той же бочке. Иертхейм вытащил грязный платок, вытер им ладони, высморкался. Я заметил, что его глаза блестят свежей влагой — расчувствовался от самой встречи со знакомым человеком, судьба в последнее время не слишком радовала его. Так же заметил пятна тьмечи под глазами и лютовчический отъвет на волосах и сбитой в колтун бороде, на воротнике и рукавах. На его левом плече засохла кровь.

— Что случилось? Вы ранены?

— Нет, нет. — Он еще раз громко высморкался и спрятал платок. — Убили мою экономку и парня, пришлось бежать из Иркутска.

— Кто?

— А... ленинцы, Центросибирь.

— А какое отношение вы имеете к ленинцам?

— Никакого! А разве нужно что-то иметь? — Он скрежетнул зубами. — Попадешь таким бандитам на глаза, и все пропало.

— Так почему же тогда...? — Я махнул в сторону Первого Часа.

Он вынул трубку изо рта. Пальцы его все так же дрожали.

— Боюсь, что теперь все пойдет лавиной. Как Лед пустит — трах! Распадусь, рассыплюсь, — он отвел глаза, — расклеюсь.

Я схватил его за руку.

— Какой у вас был последний диагноз?

— Ходил в больницу Святой Троицы, в Иркутске. Врач говорил, что болезнь не продвигается. Но, господин Бенедикт, — он притянул меня к себе, быстрым шепотомдохнул прямо в рваное ухо, — только я потерял свое динамо, оно осталось в городской квартире, я не замораживался уже больше недели!

— Так вы построили себе тот ручной теслектрический генератор.

— Ну да! Как вы мне и говорили! И все шло нормально больше года, у меня было столько Зимы, сколько мне было нужно. До тех пор, пока... — Он отпустил меня. — Чувствую, что это уже начинается. — Он положил ладонь на бекеше, сильно стянутой в поясе. — Уже началось.

Я прижал холодную оковку трости к виску. Льда мне, Льда!

— Схватитесь-ка за вот это.

— Чего?

— Держите. А я закручу. Несколько неудобно, но...

Я раскрутил тьмечеметр, так что небольшая динамка в середине разогналась.

Инженер Иертхейм морщил кустистые брови.

— Это, случаем, не...

— Нет, эта штука лишь измеряет разность потенциалов. — Я прочитал показания на шкале. — Пятьдесят шесть темней, хмм. — После этого сам схватился за конец маятника, вновь раскрутил. — Тридцать одна.

— Это не наша мерка.

— Нет, это Николы Теслы. — Я почесал шрамы, оставшиеся после отмороженных пальцев. — Хмм. Что-то мне кажется, что базовую кривую мы не установим. *Извините.*

Я обратился к двум женщинам, стоявшим далее в очереди. Те еще раньше присматривались к нам с любопытством. Для них тьмечеметр дал одинаковые показания: по 301 темни.

— Уровни почти что выровнялись. Полтора года, этого хватило.

— Чертова Оттепель... — из глубины бороды бормотал инженер.

Я поднялся с места.

— Оттепель ничего не меняет, пан Хенрик. Технология остается технологией. Человеку нужен Лед, человек его творит. Пошли.

— Это куда еще?

Я показал тростью на Кривую Башню, в выбитых окнах которой развевались бело-зеленые флаги.

— В настоящее время я проживаю у штатовских. Гость Премьер-Министра. Раньше кто здесь располагался? французские компании? Не верю, чтобы там мы не нашли для вас материала на небольшую тунгетитовую индуктивную катушку. Ну! Выше голову!

— А это безопасно?

— Ну, постарайтесь не попадаться на глаза той банде...

Штатовские, охранявшие лестницу, пропустили нас, не моргнув и глазом; вот на тех, что наверху, пришлось наорать и попугать именем Поченгло. Иертхейма я оставил у себя в комнате, запретив пока что выходить. Схватил первого же попавшегося китайца и послал его за горячей водой и свежей едой; естественно, тот делал вид, будто бы ничего не понимает, как все они после Оттепели — пришлось показывать жестами.

Потом я отправился посорочить по Башне, поочередно заглядывая в, основном, безлюдные помещения, и таким вот образом, тремя этажами ниже, попал в редакцию «Новой Сибирской Газеты». Где господин Ёж Вулька-Вулькевич как раз готовил к печати новый номер. Сгорбившись над квохтающей у него под пальцами пишущей машинкой, он коптел черным табаком и напевал под нос плясовую. Над письменным столом висел оправленный в раму портрет Порфирия Поченгло, стоящего на снегу в военной шинели, с винтовкой в руке.

Редактора я узнал по барсучьему профилю с седыми усиками. С порога я приглядывался к нему несколько минут, пока кто-то не вошел через боковую дверь и не спросил, чего мне здесь надо; туг редактор Вулька-Вулькевич оглянулся через плечо, пыхнул дымом и вернулся к работе. Я, не говоря ни слова, вышел.

После полудня, когда инженер Иертхейм в углу разбирал чемодан лома, который мне удалось набрать, а сам я сидел в окне и жевал махорку, отгоняя несносную мошку, в дверь постучал Зейцов.

— Говорит, будто бы вы знакомы... — начал он, сунув голову вовнутрь. Но туг же его отпихнул и залетел вовнутрь сам редактор Вулькевич. С широко раскрытыми объятиями худых рук, излучающий сплошную сердечность, он побежал вверх по полу, чтобы приветствовать меня, чуть не растянувшись на протянутой Иертхеймом по полу проволоке.

— Ну как же! Пан Бенедикт! Говорите, не узнал! Такое! Как только услышал! Уфф! Вот это неожиданность! Радость какая! Какая радость!

И давай меня обнимать.

Я спокойно отодвинул его.

— Ну, я же говорил им! — продолжил тот, нисколько не смутившись. — Они не желали верить, а я говорил: пан Бенедикт и из этой неприятности выскочит; отца не схватили, сына тоже не схватят. Один только пан Белицкий был таким же оптимистом, что...

— Что с Белицкими?

— А-а, не знаю, я не был в Иркутске с самой Оттепели. Уехал сюда с нашим вождем. —

Он подмигнул мне и указал большим пальцем в потолок. — Великий поляк и сибиряк великий. Пан Ёж, говорит он мне, зачем триумфы, если никто вообще не узнает, что такое вот новое государство в Сибири имеется. Чего нам нужно? А нужна нам газета, газета популярная, с большим тиражом, чтобы попадать к народу. Так как? Ну, я и взялся! Пан Порфирий, — в этом месте редактор старческим кулаком стукнул себя в столь же старческую грудку, — на Вульку-Вулькевича всегда можете рассчитывать!

— Выходит, теперь уже не Пилсудский.

— О Пилсудском тоже речь пойдет, не беспокойтесь. Но этот вот номер...

— И что же это у вас: еженедельная газета? ежедневная?

— А сами вы хотя бы читали? О! Погодите!

И он помчался вниз, к двери.

Я сплюнул в окно, вопросительно глянул на Зейцова. русский только пожал плечами. Я смахнул нескольких мошек с лица, раздавил их на ладони. Филимон вытащил пробку из бутылки с самогоном. Я отрицательно покачал головой. Вернулся Вулькевич и вручил мне несмятый экземпляр «Газеты».

— Вся по-русски, — буркнул я.

— Для сибиряков! Обязана быть по-русски, большинство здесь знает именно русский. *Значит*, большинство-то и не знает, но, понимаете, из тех, грамотных...

Он присел на оконной раме рядом, пытаюсь отдышаться.

Я пролистал номер. Первые четыре полосы заполняли различные возвышенные *абластнически* декларации и политические воззвания, дальше шли сообщения из окружающего мира, в основном, донесения с фронтов войн Востока и Запада, не слишком отличающиеся точностью от переданных Зейцовым слухов, разве что поданные языком, удачно имитирующем чиновничий; а потом уже шла сплошная солянка: сельскохозяйственные советы для «новых поселенцев весны», рецепты из *Сибирского гастрономического альманаха* (черная похлебка на оленьей крови, суп из луковиц саранки, салаты из сорняков, каша с боярышником); китайский гороскоп, карикатура на Николая II, потерявшего на европейском раздорожье с опущенными до щиколоток кальсонами; нечеткая фотография, изображавшая (если верить подписи) Владивостокскую Резню; два стихотворения о сибирской природе и три прозаических фрагмента, в том числе, фрагмент биографии Вацлава Серошевского, написанной Теодором Леверой.

— А что же это с ним случилось? Левера с Серошевским — они же ужасные конкуренты.

— Так то было раньше, пан Бенедикт, то еще перед Оттепелью.

Случилось так, что Серошевский, рьяный пилсудчик, как только Юзеф Пилсудский забрал своих японцев на берега Вислы, сражаться за размороженную Польшу, бросил перо ради винтовки и записался в Легион. И пал в первой же стычке, убитый случайной пулей, оставляя жену-бурятку и детей без мужа-отца. Тем самым, Левера избавился от собственной Немезиды и духа-преследователя сибирской литературы.

И что он тут же сделал? Взялся за написание *агиографии* ^[403] Вацлава Серошевского!

— Похоже, не такими уж врагами они были, — резюмировал всю эту историю пан Ёж.

— Серошевский, скорее всего, Леверу даже не замечал, — буркнул я, — но вот Левера страдал навязчивой манией Вацлава Серошевского. — После этого я прочел несколько абзацев из биографии. — Вы что, не замечаете этого? Образ единоправды, извлеченный изо Льда, — сложил я газету, — размазывается как эта печать.

Вулькевич смутился. Тем не менее, он быстро покрыл это очередным энергичным жестом и возбужденной речью.

— А вот теперь, вот этот вот номер, сами увидите, — вынул он из-под мышки толстую

папку, — будет о нашем господине премьере. Вот! У меня уже имеются интервью с его старыми приятелями, с сотрудниками, имеется его гимназический табель, фотография с конфирмации, правда, не слишком-то... И еще из Metallургического и Горно-обогатительного Общества Коссовского и Буланжера. И с самого начала восстания. И еще раньше, гонконгские...

У него был и тот снимок, который вчера показал мне пан Порфирий, а так же несколько похожих, сделанных в то же самое время и в том же месте. Кристина Поченгло заслонялась от тропического сияния широкополой шляпой; доктор Тесла положил руки в белых перчатках на плечах Кристины и Порфирия, склоняясь к маленькому Андриюше; полосатый кот вскарабкался на лавку и улегся на коленях Кристины, протягивая лапу к ребенку. Прищурился, я изучал фотографию под светом низкого солнца.

— Вы были у них там, в Макао?

— Ха, я сопровождал пана Поченгло во время переговоров в Гонконге, он взял меня...

— Так как же там все произошло, на свадьбе? Ведь должно же было официально извещено, кем для Кристины является Никола Тесла.

— Я и сам этим интересовался. — Пожилой редактор тут же ухватился за тему. — Сплетни я слышал, а как же, но человек Моргана Младшего, хорошенько выпив на приеме, рассказал еще такую вот историю. Или вы ее знаете, пан Бенедикт? В какой-то период времени, в девяностых годах прошлого века, доктор Тесла был главным аттракционом нью-йоркских салонов, и он даже был в приятельских отношениях с высокопоставленными лицами: Теодором Рузвельтом, Марком Твенем, Редьярдом Киплингом, нашим Игнацием Падеревским ^[404], Августом Сен-Годенсом и Джоном Мьюином.

— Это я знаю, он сам мне рассказывал.

— И тогда же Тесла весьма тесно подружился с парой, имеющей большие связи в тамошнем *high society* ^[405], супругами Джонсонами, Робертом и Катрин. Она к тому времени была уже зрелой женщиной с двумя практически взрослыми детьми. Ха, но ирландская кровь играет до самой смерти!

...Их романс продолжался несколько лет, пан Бенедикт. И сам романс был странным, точно такими же странными были в нем любовник с любовницей. Сам он неделями мог не покидать своей лаборатории, питаясь лишь молниями да фантастическими идеями; но при том писал ей длинные письма. Она же сватала его с женщинами из высшего общества, нередко подсовывая других замужних дам. При том, она не слишком скрывала этого от собственного мужа; сам же доктор Тесла оставался с mister Джонсоном в очень хороших отношениях.

Я сплюнул сквозь зубы черной слюной.

— Выходит, Кристина — это дочка Теслы с этой госпожой Джонсон?

— Нет, скорее всего — нет. Миссис Роберт Джонсон все-таки была уже сильно в годах. По словам того моргановского человека, ходил вот еще какой слух: что один из тех романов, инициированных Катриной, принес плоды в виде внебрачного ребенка, и супруга Джонсона, в качестве «черной крестной» *sui generis* ^[406], взяла его под свою опеку, предоставив девочке дом и образование, в то время как сербский изобретатель мотался по свету от одного своего безумного предприятия до другого.

— Но почему «Филипов»?

— Ну, именно так Тесла называл Джонсонов. Взялось это, как будто, из какой-то поэмы о сербском национальном герое. И после того Катрин для Теслы всегда уже была «госпожа Филипов». С этим они тоже особо не скрывались, именно так он представлял ее в обществе. Вы же знаете, наш доктор не способен на какие-либо подобные межчеловеческие интриги,

его голова занята чем-то совершенно иным.

— Значит, все-таки, дочка... Она сама это признала?

— Откуда! Все отрицает! Впрочем, и другие слухи ходят... *Alors, il n'y a que la vérité qui blesse* [407].

Я резко глянул на Вулькевича. Тот отвел глаза.

— *Что ж*, и не удивительно, что невозможно из нее вытянуть единоправды прошлого: она живет рядом с непрерывно бьющим Великим Молотом Тьмечи. — Хмм. Замечательный малыш. Наполовину правдивый, наполовину фальшивый внук Николы Теслы, зачатый и рожденный под этим Молотом, Андрей Поченгло: *L'Enfant de l'Ete* [408]. Странная дрожь прошла по моему искривленному позвоночнику. Я всматривался в то бледное пятнышко детского личика, словно пытался расшифровать лицо моего смертельного врага, генерала вражеской армии.

— Но! — Пан Ёж не позволил излишне разрастись молчанию. — Чуть не забыл! Ведь вы меня просили, когда мы виделись в последний раз...

— Когда мы виделись в последний раз, пан Вулька?

Тот сглотнул слюну, адамово яблоко дернулось по-птичьи — тем не менее, сердечная улыбка не сошла с морщинистого лица.

— Вы же хотели узнать про Фишенштайна, не так ли? Так вот, тут я узнал, к примеру, его семейную историю. Вы знали? Что в ходе иркутского Великого Пожара он потерял всех, абсолютно всех, все свое немалое семейство: они сгорели в том деревянном доме, что завалился одним из первых. Сам Абрам Фишенштайн был тогда на каких-то затянувшихся до самой ночи деловых переговорах; возвращается, а тут тебе дом в огне, и жена, и детки, родственники, братья с сестрами, кузены — все живьем жарятся; якобы, на всю улицу было слышно, как они там кричали. И он кинулся в тот огонь.

— Глаз.

— Так точно, это на него потолок упал, и тогда то ли щепкой, то ли просто огнем ему выжгло глаз, который теперь он тунгетитом закрывает. Вытащили его без сознания; понятное дело, никого он не спас. Как я и говорил, все сгорели.

— В пепел и прах.

— Хмм, ну да.

Я хлопнул себя по щеке, раздавив мошку на коже в кровавое пятно.

— Ну что же, пан редактор, большое вам спасибо. Это и вправду может пригодиться.

Тот расцвел.

— К вашим услугам, к вашим услугам. Рад, если помог в чем-то!

— Только с этим прошу не пересаливать. Никакой благодарностью вы не загоните меня в такой стыд, чтобы я не мог вам прямо в глаза сказать, что вы изменник и продажная гнида охранки.

Вулькевич схватился с места, уронил папку и остальные бумаги, замахал руками, подскочил, оглянулся по комнате, по-петушиному надувши грудь, словно искал у свидетелей поддержки в своей обиде; вместе с тем, он еще наморщил брови и по-боевому выставил вперед подбородок — но затем совершенно сменил стратегию и в мгновение ока принял позу оскорбленного: печальный взгляд из-под опущенной головы, плечи свешенные, боль на губах; руку протянул в немом вопросе. Да как же пан Бенедикт так мог! Какое бесчувствие, какая невежливость, прямо варварство какое-то! Как не стыдно, стыдно, стыдно...

— Что меня заставляло задуматься, — произнес я, не давая себя втянуть в эту жалкую, нищенскую комедию, — это, каким образом вам удавалось всех обманывать подо Льдом, обводить вокруг пальца да еще и замечательно в этой лжи и фальши жить. Поляки допускали

вас на заседания Клуба Сломанной Копейки; доктор Мышливский ни о чем не подозревал. Но потом я обернул причину и следствие: именно потому охранка пришла к вам, что вы были в доверии у серьезных и важных людей. А тот изъян, ту правду о фатальном изъяне вашего характера мы же прекрасно видели: ибо, на что вы так сердились, с чего бралась ваша вечная раздраженность и недовольство людьми? — Я стер кровь со щеки. — Математика Характера, пан Вулька, неумолима: вы соглашаетесь на измену и с тех пор уже являетесь изменником; измена стоит во всех уравнениях. Единственное, что вы можете сделать, это сдвинуть ее к стороне света. У вас громадные претензии, ваши гнев, боль и бешенство к окружающему миру плохо спрятаны, и все потому, что вы предали друзей. И мне плевать на то, какое славное прошлое вы носите в собственной памяти. Вы предали друзей. — Я встал, оттолкнул вытянутую руку. — И такова Правда.

Редактор отшатнулся.

— Да что вы такое...! — Потом замолчал. Лицо залопотало в быстрой смене никак не соответствующих мин, словно у Петрухова или Чечеркевича; на мгновение оно остановилось на выражении чистейшего отчаяния, но потом оно тоже сошло. Редактор простонал нечто непонятное. Отведя глаза к стене, он откашлялся и шепнул: — Но ведь господину Поченгло вы не скажете...

— Предатель.

— Пан Бенедикт, смилуйтесь...

— Изменник.

Тот отступил на шаг.

— Да пожалейте же...

Я сделал шаг к нему.

— Изменник.

— Так что же вам с того теперь, ведь никакой уже охраны... я же ничем не...

— Предатель.

— Это из-за мести, ради грязной мести, так?!

— Изменник.

Еще один шаг назад, и вдруг — неожиданный гнев:

— Да что вы с этой изменой: предатель, предатель...? Где у вас надежные документы? А вы не позволите подобных обвинений... а сами вы, разве, с русскими не переговаривали, денег от них не брали?! А?! Нашелся тут один, судья всеведущий и безгрешный!

— Предатель!

— Нам всем приходилось как-то...

— Изменник.

— Да по какому праву, спрашиваю, по какому праву! Один Господь на небе...

— Изменник.

Еще шаг назад, и теперь уже слезы:

— Уеду, уеду, раз вам так хочется, на что вам страдания старика, мне и так уже немного на этом свете...

— Предатель.

— Это ж такая мелочь была, откуда мне было знать... ну, попросили меня... я же никому не желал...

— Изменник.

— Сами же видите, всю свою жизнь, все то доброе, что для Отчизны сделал, все те годы в подпольных трудах, с риском для жизни, так пускай хотя бы память у людей, пан Бенедикт, дорогой...

— Изменник.

Шаг назад...

...и он полетел в пропасть, ноги его подсекла пустая оконная рама; в самый последний момент он еще пытался схватить шторы, и даже схватил пальцами одну, но та разорвалась, словно папиросная бумага, и полетел, полетел в бездну пан Вулька-Вулькевич, в лопотании мягкой ткани и сиянии пропитанной солнцем зелени. Был — и вот его уже нет. Упал. Я выглянул. Штатовские подходили к труп, поднимая винтовки.

Mijnheer Иертхейм выглянул из соседней рамы. Я еще услышал, как он бурчит что-то под нос об Измаиле. Он вздрогнул, заметив, что я его слышу; уже открывал рот для объяснений, но я прошел мимо, не сказав ни слова.

Я собрал с пола разбросанные редактором бумаги; те разлетелись посреди помещения. Зейцов, отставив бутылку и стакан, подал мне несколько листков и серую брошюру.

— Не нужно было, — шепнул он.

— Да я же его и пальцем не коснулся.

— Пожилой человек. Милости просил...

— Что я поделаю. Такова правда: изменник он был.

Зейцов свесил голову; буркнул что-то непонятное и вышел.

Я вновь уселся в окне, свернул себе толстую папиросу. Те пальцы, которые еще у меня остались, были уверенными, спокойными. Штатовские уже оттянули труп редактора под Башню. Я выдохнул дым на проклятую мошку и комаров. Багряное солнце пряталось за развалинами Башни Девятого Часа. Писклявые призывы китайских торговцев в эту пору разносились исключительно далеко, мир уже растаял в вечернем успокоении. Я оперся затылком о раму. Из масляных красок неба и солнца в меня стекала жирная, плотная меланхолия. Но какой смысл жалеть о том, что правда такова, какова она есть? Какой смысл обдумывать варианты несуществующего прошлого? (Тот, кто желает обрести знания о самом себе, на самом деле желает смерти). От всего этого нужно отряхнуться! Столько же угрызений совести, сколько энтропии.

Я выпрямил искривленный позвоночник, прижал коленом к раме стопку смешанных бумаг Вулькевича. Среди них нашлась и та незаметная брошюра, раза в два меньше форматом. Станислав Бжозовский, *Избранные статьи*. На третьей странице посвящение от руки, датированное 1908 годом: *Для ЕВВ — чтобы никогда не забывал первых клятв*. Я захлебнулся дымом. Вот здорово! Клятва среди изменников! Интересно, какими были их «первые клятвы»? Чем клянутся предатели? — Ложью? Пустым языком Тайтельбаума?

Я пролистал несколько страниц. Будущее марксизма, могущество революционной философии. Но, по крайней мере, Бжозовский, похоже, Историю понимал. *Когда читаешь философических писателей предкантовской эпохи, то ли Декарта, то ли Лейбница, либо мистика Бёме или же Спинозу, изумляет отсутствие исторической атмосферы. Человек сталкивается непосредственно с Богом, природой и т. д, словно мысль развивалась в какой-то внеисторической пустоте. Мир плох или мир хорош. Вопрос стоит только так.*

Тем временем — когда дикий якут умирает с голоду, виновато не только отсутствие рыбы в реке или мороз; виновата та первобытность производства, которая является основой его жизни. Мир для человека всегда является тем, что он с ним сделал, и что сделать пренебрег. Человек творит Историю, а не История человека. Это означает, да: История творит человека, насколько сам человек это позволит, если не распознает ее, Историю, как силу, подчиненную его силе и не воспользуется этим осознанием и властью. В противном случае, как во времена греков, мечтавших о Круге Времени, или Декарта, вычерчивающего абсолютные координаты Вселенной — нам остается, с покорно свешенной головой,

поддаться Истории, которая сама протекает в дикой стихии, да еще и захватывает нас в эту стихию.

А чего же такого мы способны изменить в мире, чтобы аннулировать одни формы Истории и запустить другие? Ну да, научный прогресс, прогресс цивилизации, он меняет все, ибо ни под какими чарами истории не войдут люди, обученные в университетах, едущие через континенты на поездах, всякий день получающие из радио и газет сообщения из десятков различных культур, работающие в электрифицированных заводах и конторах — они никогда не вступят в рабские отношения, как в Египте фараонов, не примут в собственные обычаи племенной жизни дописьменных эпох. *Отношения между человеком и окружающим миром зависят от его собственных физиологических органов и тех искусственных органов, то есть, инструментов, которые он создал. Поскольку в ходе исторического развития человек не обрел новых органов, все его достижения были бы замкнуты в рамках, определяемых его физиологической конституцией, если бы не постоянное, революционизирующее влияние изобретений и технических усовершенствований.* А в конце этого процесса имеется — что? автоматические червяки Николая Федорова? Нельзя прибавить себе новых органов и новых чувств, зато можно прибавить инструменты, эти функции исполняющие.

Ибо в Истории продвигается вперед не голый человек, но человек плюс наука.

Мошка влетела мне прямо в рот; я ее выплюнул. Ха, а ведь тех червяков я бы и вообще не почувствовал, даже если бы они лезли мне в глаз всей своей ордой... Машины, видимые только под микроскопом, механизмы величиной с бациллу. Абрам Фишенштайн, мечтающий о воскрешении близких из праха, разнесенного ветром в воздух, воду и землю, быть может, он и безумец, но именно такие безумцы обуздывают Историю. Ведь воплощение видений Федорова замкнет и великий план марксистов: люди, способные воспроизводиться в любых конфигурациях тела и не-тела, вопреки смерти, вопреки времени и пространству; тем самым они будут иметь полнейшую власть над Историей. «История» попросту станет другим названием для действий человека, свободно, по собственной воле формирующего мир и себя в этом мире. Человек станет жить в Истории, как сейчас живет в Природе. *Необходимо было понять, что даже природу, в которой проживает человек, природу, понимаемую как территория человеческой деятельности, он сам создает, чтобы иметь возможность поставить другой вопрос: а какова цель исторического развития, что человечество должно из себя создать?*

Вновь это «человечество». Я выстрелил окурком в сторону Солнца. Как до Бжозовского не может прийти, что в Лете никогда не будет достигнуто согласие в отношении даже наиболее общих целей и предназначений человечества? Вот привести бы этих всех философов на один и другой правдобой мартиновцев или каких-то других религиозных сектантов, тогда бы они узнали разницу между миром холодных идей и подданной энтропии жаркой материей. *Не мир должен решить, чем должно быть человечество, но само человечество само решает, что оно должно сотворить из себя и из мира.* Ха! Как тут что-либо решить, когда Лед треснул, и вся Правда расплзлась по швам.

Вот подо Льдом — это да. Я опустил веко, вечерний кармин плотно замазал ее на живом глазу. Подо Льдом — это пожалуйста, но, а как, собственно, могло это все выглядеть на практике? Я попытался сложить у себя в голове логический образ, и тут же вернулось воспоминание вещей снов Победоносцева. Кто на самом деле так управлял бы Историей — один человек или какая-то группа экспертов, неважно; так что принимаем, правит один — во всем Царствии Тьмы он устанавливал бы не только принципы власти, принципы права и экономики, но и всяческие моральные, религиозные и даже эстетические очевидности; они точно так же складываются в живую ткань Истории. Одно добро и зло для племени Моисея,

бредущего через пустыню, и совершенно иное — для Всероссийской Империи. Так что же, за это время изменился Бог? Нет. Это люди продвинулись в Истории.

Повелитель Царствия Темноты держал бы в собственной руке ту самую поворотную стрелку Добра и Зла, с помощью которой Зейцов приказывал панне Елене изменять курс Транссибирского Экспресса. Я открыл глаз, закрыл его, открыл глаз — переводная стрелка направо, переводная стрелка направо.

Только на практике, естественно, все не так легко. Ибо, ну как взять власть над идеей? *Человеческий дух навязывает законы миру через кисть руки. Мысль, не остающаяся в какой-либо связи с рукой, является бесплодным миражом.* Это лишь во времена лютов придумывали разные типы (я же иногда верил им), будто бы достаточно будет подчинить своей воле Отца Мороза, пастыря морозников, а уж те заморозят нам Историю в соответствии с указанным рецептом. Но тут пришла Оттепель, и сказка лопнула. *Ибо, пока у нас нет какого-либо непосредственного воздействия идейности на мир, все значение идей будет заключаться на их значении для производительных сил человечества.*

Я потер оставшимися после шрамов спайками по щетине, лезущей из-под кожи, проволочная щетка прошла по мозгу, вытесывая искры. А ведь тут Бжозовский до конца и не прав — ведь именно Оттепель, как раз резкое растворение Истории по бердяевскому правилу — оно ведь было вызвано не иначе, как через непосредственное влияние из мира идей: ведь Никола Тесла не ударил своим Молотом в министерские кабинеты и мировые парламенты, он не в материю бил...

— Есть! — закричал инженер Иертхейм.

— Морозит?

— Погодите, я как раз всунул тунгетит в электромагнитное поле, сейчас увидим. Но крутится гладко, и даже светени на обмотке появились!

Понимаю, что для людей, для которых вся физическая работа заключается только в письме, неприятной и непонятной является мысль, будто красота даже драм Шекспира или произведений Платона не имеет никакого значения по отношению к грубой и слепой материи, и что в результате этого, желательно было бы выявить какую-нибудь таинственную связь между моральными, эстетическими ценностями — и стихией. Но до тех пор, пока единственной подобной связью является послушание, которое способна навязать силам природы человеческая рука, до тех пор всяческие преодоления марксизма будут годиться для той же коллекции, в которой размещаются книги алхимиков и астрологов.

— *Oh, Mijm God, Ijs, Ijs!* — напевал голландец, крутя неуклюжим зимназовым барабаном. Белый иней уже нарастал у него на руке, и смолистый отъвет прыгал по очертаниям приземистой фигуры чернофизика.

Единственной последовательной попыткой преодоления марксизма является магия.

Меня самого словно пронзило холодной молнией — через мозг и позвоночник; я схватился с места, сбрасывая редакторские бумаги, половина из них полетела в окно. Лед! Ведь я же и сам сказал Иертхейму: Оттепель ничего не меняет, технология является технологией. Человеку нужен Лед, и человек творит Лед! Человек творит Лед! Человек творит Историю!

Так вот, собственно говоря, нам известно непосредственное воздействие идей на окружающий мир! В этом, как раз, и заключается связь стихии с моральными, эстетическими ценностями, равно как и со всякими другими: черная физика!

— Вы, случаем, не желаете, господин Бенедикт?

— Нет, мне не нужно. — Я передохнул. — Только вы сами с этим не пересаливайте. И будет лучше, если вы не будете выходить. Мне же пора.

— А если станут спрашивать про журналиста?

— А что тогда? Скажите правду.

Порфирий Поченгло, сидя за столом посреди солнечного зеркала, ужинал в компании бородатого священника; в то же самое время цирюльник-монгол занимался сломанной ногой Премьер-Министра, втирая в нее свежие мази, оборачивая ее свежими бинтами. Я подождал на лестнице, пока не выйдут оба: цирюльник и поп. Солнце тем временем до конца спрятало свою тяжелую башку, на небе оставалась лишь оранжево-пурпурно-золотая грива, разбросанная на половину горизонта. Всяческое движение воздуха полностью замерло, так что гнус безумствовал, кусая все живое и теплокровное. Слуги-китайцы расставили вокруг стола Поченгло шесть курительниц, обильно отрывивающих дым против комарья. Вот только взбесившийся сибирский гнус способен загасить и огонь, засыпая его пеплом собственных тел.

— Чувствую себя, словно на аудиенции у Шульца-Зимнего.

— Присаживайтесь. Вы не голодны?

На столе было теплое молоко, вишневое варенье, в меру мягкий хлеб, а так же несколько мисочек с различными овощными китайскими блюдами.

— Кофе?

— Не откажусь, — подставил я чашку. — Даже и не помню, когда в последний раз пил кофе, ммм...

— Собственно говоря, вы мне ничего и не рассказывали. Так куда же вы подевались на все эти годы?

— Я был на Дорогах Мамонтов.

— Искали отца?

Я втянул в ноздри резкий запах корицы.

— Хмм, нашел, нашел. На Дорогах Мамонтов, господин Порфирий, в Подземном Мире.

Тот даже не сменил выражения на лице.

— И что же с вашим фатером?

— Оттепель.

— Ах, да. Вы уже говорили, что он умер. Мне очень жаль.

Я поднял взгляд.

— Нам не о чем говорить, раз вы принимаете меня за сумасшедшего.

Порфирий рассмеялся. Напряжение лопнуло.

— Ну ладно, ладно, пан Бенедикт! Как в старые времена! Сразу в штыки!

— Или же, если вы не до конца уверены в моей правде. — Я допил кофе, поставил чашку, пустые кисти рук уложил симметрично на столешнице. Теперь я глядел прямо на Поченгло, траектории взглядов словно вычерченные угольником и циркулем. — Говорю ли я правду? Пан Порфирий! Ваше слово. Являюсь ли я правдой?

Багряный свет увязал в густом дыму, мгновение замедлило свой бег. Я ожидал. Мой глаз — его глаза.

— Давай, — прохрипел он.

— Учреждаем компанию зимназовой промышленности. Герославский, Поченгло, и, наверняка, третье лицо, в связи с финансовыми проблемами; об этом чуточку позже.

— Нет уже никакой зимназовой промышленности.

— Тогда, раз мы ее учредим, она станет монопольной.

— Нет уже никакой зимназовой промышленности, нет лютов, нет *холодниц*, нет никакой возможности перемораживать руды. Все кончилось.

— А я начинаю. У меня имеется технология производства зимназа, для нее нужен только

тунгетит и электроэнергия. — Я ударил ладонью по столу. — Пан Порфирий! Являюсь ли я правдой?

Тот игрался своими черными очками.

— Да.

— Тогда учреждаем компанию.

— Почему именно я. Вы же могли пойти к кому-то другому с этим.

— У вас есть люди, имеется военная сила и тунгетитовые залежи на расстоянии вытянутой руки. И это во-первых: вы должны немедленно направить армию Штатов, чтобы та заняла и закрепила за вашей державой территорию за Последней Изотермой. Да, Оттепель наступила, но ведь тунгетит не растаял, не исчез волшебным образом с поверхности земли; самое большее, чуточку погрузился в грязи. Вы помните оценки геологов Сибирхожето? Девяносто процентов запасов тунгетита было для людей недоступно. Но теперь ведь уже нет Последней Изотермы, нет Зимы! А как только секрет моей технологии раскроется, то решающей станет исключительно величина запасов тунгетита. Вы пошлете войска, установите кордоны, за контрабанду — пуля в лоб.

Тот надел темные очки.

— Вы были там.

— Прошел со стороны Кежмы.

— И что вы там видели?

— Горы тунгетита, пан Порфирий, горы.

Горы тунгетита, пейзажи, пропаханные черными ледниками, размноженные звездной дубиной; природу, до конца уничтоженную под нечеловеческим морозом, вначале превращенную в ледовый кристалл, затем распыленную из этого кристалла в серый снег, в песок, мельче самого песка; и эти залежи остались в самом сердце бывшего Края Лютов на абсолютно плоской равнине, очищенной от всяческой жизни — одни только гигантские валуны, все гуще и гуще засаженные странными, фантастическими формами, достигающими самого неба... Возьми этот песок в горсть, подуй сквозь пальцы — останется тунгетитовая пыль. По тунгетиту топчешься, в тени тунгетита спишь, тунгетитом дышишь, Солнце восходит и заходит в ореоле, растянутом на тунгетите... Во время грозы чернильные молнии скачут среди массивов Черного Лабиринта, и Мороз идет волной, словно стеклянная стена... И вот тогда, там — можно коснуться, посмаковать, глотнуть Правду...

Я выпустил воздух из легких.

— И среди прочих, я видел там и других путешественников, — продолжил я свою речь, — быть может, они заплутали туда исключительно из любопытства — а может, это уже были разведчики — Японской Империи? Гарримана? Того генерала с Кавказа, объявившего войну Романову? Тот, кто овладеет теми землями, получит для себя величайшее в мире состояние. Ведь этот политический хаос долго не удержится. Пока есть время, необходимо хватать эту возможность.

— Тааак... — Поченгло дернул головой вправо, влево; пурпурная магма переливалась на стеклах его очков. — До вас, явно, не доходит, к чему вы меня склоняете. Я сам бы повесился за такую измену идеи, за которую под моим командованием погибли сотни хороших людей. Чтобы вот это взять и обогатиться! Выходит, для вас вот такой я человек? — Он наклонился над столом, насколько позволяла ему сломанная нога. — Вот такой человек?

Я же намазывал овощной пастой толстый бутерброд.

— Нет. Вы откровенный государственный, и для вас в этом деле я имею Державу. — Я сделал глоточек кофе. — Для вас, для вас я имею Историю.

— Снова та же самая сказка! После Льда...

— И что с того, что История размерзлась? Что с того, что Лед растаял? Тшшш! — поднял я нож под дым и кровавый свет, — сейчас говорю я! Что с того, что Оттепель? Это ведь и так было стихией — Лед; он упал на нас словно божья кара: мы его и не понимали, и не могли раскрутить его для собственной выгоды. Какая основа в практических методиках была во всех тех размышлениях об управлении Историей человеком? Только лишь мартыновский предрассудок об Отце Морозе! Даже зимназо мы добывали словно охотники с кочевниками, словно воровали добычу у какого-то волшебного чудовища.

— У вас имеется технология.

— Технология у меня имеется; *но, не в этом дело*. Зимназо мы продадим или не продадим, сделаем на нем состояние или не сделаем — *это значит*, сделаем, сделаем, только это мелочи, главная идея не в нем, вы в это товарищество войдете не за тем. — Я проглотил бутерброд, отрезал очередной кусочек хлеба. — Хмм. Ведь я же говорю не просто об еще одной зимназовой компании. Я говорю о первом Товариществе промышленности Истории. Я говорю о производстве Держав и спекуляции курсами Добра и Зла. Я вам рассчитаю и заморожу *Соединенные Штаты Сибири*, перед которыми падут на колени все мировые империи.

...Что с того, что История размерзлась? Что с того, что растаял Лед? Раз у нас имеется тунгетит, и мы знаем механизмы черной физики — подумайте сами. — Я облизал палец от сладкого варенья. — Во-первых, заявляю, мы соберем весь оставшийся тунгетит. Но не за тем, чтобы сразу же выбросить его на рынок, обменять на быстрые деньги. Действительно, немножко предназначим для потребностей технологии производства зимназа. Но прежде всего... Подумайте: Никола Тесла бьет своим Молотом в разрушительном резонансе тьмечи, и таким образом он разбил Лед, разбил оковы Истории. Но у нас будет в тысячу, в миллион, в миллиард раз больше тунгетита! Мы будем иметь все, что требуется: тунгетит, энергию и знания, то есть — карты Дорог Мамонтов и меня, который ходил по ним в телесном виде, а еще Байкал, являющийся истинным аккумулятором тунгетита; мне же известно и его выход через Дороги. Пан Порфирий! С чего двинулся на всех нас Лед? С какого момента замерзла История? — Я грохнул кулаком по столу, снова упало какое-то блюдо и покатилося в пропасть; но никто из нас не отвел глаз. — С удара! По причине превращения в тунгетитовой массе кинетической и тепловой энергии в теслектричество, от которого геологическими волнами из Сибири на весь земной шар пошла двузначная логика, и тот ее библейский порядок, вымораживающий энтропию до состояния Льда. И все законы материи, пропитанной тьмечью, стали ближе законам идей, в том числе, и законы, управляющие человеком, управляющие Историей. Только это вовсе не было каким-то божественным чудом: возьмите каратовый тунгетитовый молоточек, ударьте — тоже почувствуете Мороз. Так чего нам нужно? Относительно крупная масса тунгетита, энергия для преобразования в чистую тьмечь и научные знания, как все это выполнить. А потом, когда на Дорогах Мамонтов у нас будет расставлена целая система таких Гроссмолотов, достаточно будет рассчитать необходимые последовательности ударов: здесь Льда побольше, там поменьше; здесь Историю попустить, там — придержать... Петербург — Москва — Киев — Крым — Оттепель до Днепра — Япония — Весна Народов — Россия подо Льдом. Исторический процесс покатится по законам холоднойшей механики идей, от Правды до Правды.

— И кто все это вычислит? Кто? Вы?

— Разве я не говорил, что являюсь Математиком Истории? — Я оттер губы платком. — *Соединенные Штаты Сибири* станут самой могущественной, самой богатой, самой спокойной державой на Земле.

— Да не надо мне уж прямо так...

— Вы не поняли. Это не политическое обещание, не пустая похвальба. Штаты Сибири победят, поскольку не смогут не победить. Такова будет историческая необходимость. Кто способен победить закон природы? Кто воспротивится притяжению? Точно так же мы могли бы бунтовать против тирании закона Пифагора или единовластия алгебры.

Поченгло блеснул своим портсигаром; я поблагодарил, закурил.

— А вы станете следить за курсом Льда, — Порфирий ритмично стучал портсигаром по крышке стола. — Вы станете вычерчивать Историю мира.

Я выдохнул, прибавив один дым к другому. Солнце зашло, кровь залила Сибирь, на зимназовой крыше Кривой Башни погасли световые симфонии, мы сидели в густеющих тенях.

— *Je suis le Mathématicien de l'Histoire* [\[409\]](#), — повторил я.

Поченгло тоже закурил. Видно ли ему было хоть что-то в своих очках? Почему-то он не хотел их снять.

— Аполитея, — буркнул он.

— Ммм?

— Вы это уже тогда запланировали?

— А как я мог запланировать?

— Не знаю. С Теслой? — Он стучал портсигаром все быстрее. — Если бы он вначале Лда не разбил, никто бы не мог добраться до того тунгетита.

— Это вы у нас специалист по крупным заговорам, не я.

— Тааак, значит, вы только вычисляете Историю мира, — неодобрительно бросил премьер; он глубоко затянулся дымом. — Могущество Державы ценой отказа от Державы.

— Но ведь вы не Пилсудский, у вас в перспективе счастье людей тысяч национальностей. А что такое Государство? — топорное орудие Истории, раньше или позднее, человек и так бы от него отказался.

— Я думаю. — Тук, тук, тук, тук. — Ведь это вы хотите руководить всем товариществом, правда?

— Пятьдесят процентов плюс один голос. За это вы будете премьером, президентом, кем только...

— Раз вы так обсчитаете. — Тук, тук, тук, тук. — Я даю землю и людей, чтобы захватить тунгетит. Вы даете знания, согласен, это вещь ключевая. Если...

— Как вы стоите в плане финансов?

— Я или мое Государство?

Я махнул папиросой по линии разрушенных Башен.

— Мы опустились здесь до товарного обмена, рубль пал, никакой экономики не существует, нет какого-либо коммерческого движения, направленного за пределы Штатов. Нам необходимо подкрепление в крепкой валюте. Когда уже пойдет производство зимназа, мы сможем финансировать строительство сети Гроссмолотов из прибылей, но чтобы просто сдвинуться с места, нам необходим внешний капитал. Время, пан Порфирий, имеет огромное значение. Не будем себя обманывать: если я не установлю Историю подо Льдом, в стихии Лета вы никак не защитите свои Штаты от Российской Империи и Японии. Какую армию вы выставите против полчищ Хирохито? Сборные полки этих голодных бродяг? Я должен нас заморозить до того, как старые державы вцепятся нам в горло. Необходимо как можно скорее собрать машины, материалы, способных инженеров. Капитал нам необходим сразу же.

— Тогда для начала выбросим немного чистого тунгетита на американский рынок.

— Нет, нет, нет! Нам нельзя этого делать! Вы обязаны глядеть на десять, на двадцать ходов вперед. Ведь как только я произведу на свет собственный Лед, в столицах других

держав заметят, что происходит, и они предпримут защитные меры.

— Они поставят свои Молоты и Гроссмолоты.

— Не иначе.

Поченгло неуверенно рассмеялся.

— Вы говорите об историсофической войне, о каких-то глобальных битвах философов идей, Математиков Истории.

— На Молоты Тьвета мне плевать, любой физик с генератором способен выставить волны в противофазе. Но вот Гроссмолоты России, Японии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Франции или Австро-Венгрии — вот они способны намешать в уравнениях. Если соотношение мощности будет девять к одному в мою пользу, тогда мне удастся справиться без *проблемы*, впрочем, наверняка они какой-то совместной стратегии и не примут. Но, чем больше тунгетита за пределами нашего контроля, тем Алгоритмика Исторического Развития более сложная. Можете быть уверены, через несколько лет они соберут в свои арсеналы весь тунгетит со свободного рынка и частных рук. Царь, наверняка, его попросту национализует. Нет, мы не продадим ни грамма!

— Какой же тогда выход? Ввести в компанию кого-то еще? — Он скривился. — Но кому мы могли бы довериться настолько, чтобы допустить к глубинным секретам фирмы с гарантией, что он не предаст их из чувства верности своему государству, нации, семейству? Ведь речь идет о промышленной компании, *de facto* владеющей всей страной, да, если бы только страной...

— Ничего нового под Солнцем, Восточно-Индийская Компания два столетия управляла половиной Азии. А человек, пожалуйста: Абрам Фишенштайн. Мне только нужно узнать, жив ли он вообще.

— Жив. — Поченгло стряхнул пепел в пустую чашку. — В Иркутске сидит.

— Не сбежал? И, наверняка не обанкротился в вызванном Оттепелью крахе?

— Фишенштайн? В первую очередь должна была бы обанкротиться Швейцария. Нет, у Фишенштайна договор с Победоносцевым и Центросибирью; похоже, он даже зарабатывает на Оттепели: за копейки выкупает земли для каких-то дутых фирм, зарегистрированных в Гонконге, Макао или даже Нью-Йорке. — Пан Поченгло втянул в легкие дым из остатка папиросы и злорадно усмехнулся. — Я планировал забрать у него все одним своим декретом, Соединенные Штаты Сибири не подписывали никаких межгосударственных договоров.

— Этот анекдот вы ему расскажете в годовщину учреждения нашего акционерного общества. Контакты с Иркутском у вас имеются? Нужно послать за Фишенштайном.

— Но почему именно он, пан Бенедикт?

— Потому что он тоже вступит в товарищество ради идеи.

— Сибирской державы? Власти над Историей? Сомневаюсь.

— Ради идеи победы над Апокалипсисом, ради идеи всеобщего воскрешения. — Я вытянулся на кресле, кривые кости никак не желали становиться на место. — Авраам Фишенштайн является ярым федоровцем, он сделает все, чтобы способствовать прогрессу в науке воскрешения.

Поченгло изобразил вопросительный жест.

— А какое отношение имеем к Федорову мы?

— Во-первых, из прибылей мы выделим серьезный процент на исследования технологий воскрешения. Но, прежде всего, во-вторых: я таким образом рассчитаю Историю, чтобы идеи Николая Федорова сбылись как можно скорее. Фишенштайн получит гарантии того, что — может, и не при его жизни, но — все его близкие восстанут из мертвых в телесном облике. Это значит: наверняка при его жизни, ибо, естественно, он ведь тоже восстанет из мертвых. И

приветствует их в своем доме — живых и бессмертных.

Пан Порфирий направил ко мне затемненные стекла своих очков, надолго замер в исполнении порядка Солнца и гномона, звезды и секстанта. Над Холодным Николаевском тем временем поднялся вечерний ветерок, дым из стальных курильниц лег в сторону, проплывая над столом, между нами; но это были единственные помехи.

— И он примет от вас подобную гарантию.

Я выпрямился.

— Пан Порфирий! Являюсь ли я правдой?

Тот выбросил окурок, снял очки. Глаза у него покраснели, скорее всего, от этого дыма.

— Как раз это меня больше всего тревогой и наполняет, — шепнул он, — что все эти вещи у вас определены абсолютной правдой.

Я протянул ему руку.

— Компания.

Тот поправил негнущуюся ногу, склонился вперед, пожал мою искаленную ладонь.

— Компания.

Я ударил себя кулаком в грудь.

— Замерзло!

Он только перекрестился.

— Хорошо. — Я подлил себе и одним глотком выпил остатки холодного кофе. — У меня уже имеется человек на должность, инженер Хенрик Иертхейм, он работал со мной у Круппа, лучше ознакомленного с черной физикой не найти.

Поченгло безразлично махнул рукой.

— Ваше дело, кого вы возьмете на работу. Понимаю, вы знаете, что делаете.

— Когда вы уже пошлете людей в Иркутск за Фишенштайном, пусть поищут других специалистов зимназовой промышленности. Впрочем, сейчас я составлю список. Когда они выступают?

Он вынул часы.

— Самое раннее, без четверти двенадцать ночи. Отряд на Подкаменную Тунгуску отправится завтра, мне нужно собрать людей, большая их часть располагается по берегам рек и вдоль Транссиба.

— Зейцов вам для чего-нибудь нужен? Я возьму его себе в качестве подручного.

Пан Порфирий вновь махнул в знак разрешения.

— Еще нам следует подумать над юридической формулой, — продолжил я. — Экономический кодекс Сибири только ждет своего написания, тем временем, наше дело необходимо заморозить на бумаге. *Это значит*, после того, как уже договоримся с Фишенштайном. Есть у вас шустрые законники?

— А вы уверены, что не планировали это заранее?

— Хмм? А что такое нашли вы в своей памяти?

— Ну, к примеру, Юнала Тайиба Фессара. Ведь в отношении вас он был абсолютно прав. Вы тогда все отрицали. А на чем все остановилось?

— Тогда все было обманом, там, в Транссибирском Экспрессе, в Лете — то все было ложью.

— Или с Белицким, на лестнице после ухода из Клуба Сломанной Копейки. Ведь вы же капиталист, пан Бенедикт, предприниматель по духу и крови.

— Все обман и ложь.

— Но вы как раз превратили их в правду. — Он усмехнулся, несколько издевательски, несколько снисходительно. — Никаких планов, как же. И в будущее нет веры. Как вы там

говорили? Будущего не существует.

— Будущего не существует, — неспешно повторил я. — Я могу сделать из него все, что только пожелаю. — Пальцы сжались. — Все мои планы, предшествующие Оттепели, размерзлись и превратились в грязь. Потом я вылепил себе новые мечты. Но если вы воображаете некий заговор в стиле Макиавелли... Я всего лишь отделяю правду от лжи.

Поченгло закашлялся, выплевывая дым.

— Знаю, я читал вашу «Аполитею». Это не план в понимании моих хромающих заговоров... Скорее, как будто бы со всех сторон, спереди, сзади, с боков...

— Из будущего и прошлого...

— Они прикладывались к вам...

— Примерзали.

— Люди, события, необходимости.

— Иней на оконном стекле.

— Что?

— Слово иней на оконном стекле.

— Да. — Поченгло сглотнул слюну. — Какие-то вещи помню, какие-то — досказываю. Вот вы говорите: Авраам Фишенштайн — для того, чтобы получить учредительный капитал от человека, которого мы купим вместе с душой за федоровскую идею воскрешения всех и вся. А я говорю: История, подстроенная под Федорова — все затем, чтобы вы могли воскресить своего фатера. И о панне Елене тоже говорю. — Он оперся костяшками пальцев на столе, нацелил в меня свой ястребиный нос и глубокие, темные глаза. — А вот теперь скажите: а я являюсь правдой?

Не выпрямляющимся пальцем я указал на трубку, лежащую по правой руке Поченгло, за кофейником и сахарницей.

— Что это у вас?

Тот вздрогнул.

— А, это мне Никола подарил. Чтобы я знал, когда будет самое время начать восстание.

— Поглядите в него.

Тот прижал цилиндр к глазу, глянул, пожал плечами.

— Лето.

Я поднялся с места.

— Когда интерферрограф вновь покажет только два огонька, вот тогда спросите у меня о моих планах на сколь угодно отдаленное будущее, а я вам отвечу. Спокойной ночи, компаньон.

Как только я поднялся с места, к Поченгло туг же приблизились секретарь и слуга-китаец. Пан Порфирий сидел, не двигаясь, а они прыгали вокруг него. Дымы обрамляли эту картину, звезды прикрыли ее сверху, снизу же размещалось зеркальное отражение ночи. Поченгло сидел, наполовину повернувшись в сторону Холодного Николаевска, не очень надежно оперев локоть среди предметов сервиза, вторая рука свесилась; пиджак пошел некрасивыми складками на спине и шее, белая сорочка наполовину расстегнута; глинистые тени залепили ему глазницы. Я подумал: подавленный человек.

Но эта мысль тут же улетела в сторону. Я сбежал по лестнице, перескакивая по две ступени. И без того сердце билось в ускоренном ритме. Я выиграл! Удалось! Замерзло, как мне хотелось!

Первого же встреченного штатовского мальчика послал за Зейцовым. На куске чистого листка взятым у Иертхейма карандашом я написал, кого должны искать в Иркутске люди Поченгло. У меня не было ни лампы, ни свечи; я сел в оконной раме и писал при свете звезд.

Гнус и голоса беженцев, кочующих по городским пожарищам, наплывали ко мне с волнами теплого воздуха. Один раз я поднял голову, глянул на панораму огней Иннокентьевского под яркими созвездиями. Здесь будет наша столица, сказал я про себя, новый город, уже не под царским именем. Здесь разместится штаб-квартира Товарищества Промысла Истории. Ведь Дороги Мамонтов не поменяли свои направления в земной коре. Вновь вздымнутся здесь высокие башни; ведь черная физика не изменится, те же самые уравнения определяют нам безопасную высоту. Вот только город этот с самого начала будет возведен по архитектурным законам Царствия Тьмы, на перемороженной материи. *Например*, мы вообще не станем тянуть железных дорог по поверхности земли и подвергаться несчастным случаям как на Зимней или Кругобайкальской железной дороге — мы протянем воздушные рельсы, подвешенные на зимназовых струнах. А отсюда, из моего кабинета...

Появился Зейцов. *Mijnheer* Иертхейм, накачавшись тьмечью, заснул в нижнем углу, завернувшись в бекешу и ковер; я прижал палец к губам, приказывая русскому не шуметь. Тот вручил мне полтора десятка конвертов и шепнул, что это почта, направленная на Круппа и пришедшая мне еще перед Оттепелью — Зейцов все это скрупулезно выискивал до самого конца, из завалившейся Башни вытащил несколько ящиков с книгами и документами фирмы; сейчас же ему вспомнилось, что там были и письма. Я сердечно поблагодарил его. После этого я дал ему список; тот пробежал по нему взглядом, щуря глаза. Тут же пообещал принести мне керосиновую лампу. Затем прочитал список еще раз. Я взял его под руку и сообщил, что учреждаю фирму вместе с премьером Поченгло — не хотел бы он работать на меня? И вот тут он меня изумил, поскольку я был уверен, что тот станет от всей души радоваться — он же замялся, прикусил губу и вывернулся еще до того, как я смог замкнуть его в дружескую доверительность. Что же, Лето, подумал я, это уже совершенно не тот человек. Но тут Зейцов передумал, сказал, что с огромной охотой, поклонился и вышел.

Я разорвал первый конверт. Пятилетней давности вызов в прокуратуру. Правильно, ведь, благодаря чертову Вульке, я принял участие в покушении на жизнь генерал-губернатора. Под властью Империи Романовых меня разыскивают как *государственного преступника* с гарантированным смертным приговором. Похоже, до конца жизни мне не удастся пересечь границ Соединенных Штатов Сибири. Разве что Поченгло предоставит мне дипломатический статус...

Таких чиновничьих писем было с полдюжины; я их все выбросил. Затем вскрыл конверт со штампом почты Британской Короны. Письмо без обратного адреса прибыло на байкальские берега через Гонконг и Владивосток. Я подался поближе с ярким звездам Азии.

29 октября 1928 года

Fortaleza da Guia,

Cidade do Santo Nome de Deus de Macau

Мистер Бенедикт, мой дорогой,

неблагодарность хуже воровства, а время — это дикая стихия; пишу, чтобы заключить перемирие с охваченной гневом совестью. Вчера я зашел к старому китайцу, который прочитал предсказания Книги. Когда же в последний раз спал, мне снилось то же самое. Вижу это в море и тучах, в лабораторных светениях: что среди живых Вас нет. Только я не могу согласиться с очередной обидой. Ни Вы меня не простите, ни разрешения не дадите. Но написать я обязан.

Я вовсе даже не бездушный человек, занимающийся только лишь числами и

машинами, каким меня частенько называет Кристина, да и Вы сами, думаю, могли сохранить подобную картину в сердце. Ведь мы по-разному смотрим на других, совершенно иначе — на себя. Заметив в чужом теле, под чужим именем поступки, слова, чувства, в которых сами не менее виновны, мы нередко выдаем совершенно противоположное мнение: и вовсе даже не по причине некоей ярого лицемерия, но в откровенной уверенности в собственной правоте. Не говорю, что на моем месте вы поступили точно так же (хотя, действительно — Вы поступили бы так же). Я вспоминаю об этом лишь затем, чтобы Вы теперь четко увидели, каковы причины моих поступков. Это письмо — не объяснение, это всего лишь инструкция, ведущая к объяснению: поглядите в самого себя, и Вы поймете. Если бы мы поменялись душами — разве кто-то заметил бы разницу?

Только лишь спустя годы мы узнаем, с чем мы повстречались в молодости. У меня был брат, во стократ более способный, чем я, он умер еще подростком, когда неудачно упал с лошади. Я неоднократно задумывался над тем, мог бы я с той же страстью заняться иной карьерой, направленной, к примеру, на семейную жизнь и межчеловеческое счастье, на воспитание детей и любовь к женщине. Но то, что нас выделяет — меня, Вас и других, нам подобных — это определенная чувствительность к Правде, причем, к ее высшему проявлению, не порожденной исследованиями духовного нутра, ни исследованиями общественной жизни — мы с вами не поэты, судьи, политики, врачи — но самым глубинным порядком действительности — мы математики, физики, химики, открыватели загадок бытия и изобретатели методик использования чудесной натуры окружающего мира. Можно ли повернуться спиной к такой Правде? Кто из зрячих по собственной воле выцарапает себе глаза, раз уж пришлось жить среди миллионов слепых? Это о нас писал Платон. Его тени — это светени, его свет — это тьвет.

Богу понравилось проводить на свете эксперимент под названием «Никола Тесла»; только этот эксперимент близится к концу. Тело дрожит сильнее всего, когда собирается гроза, и в атмосферных глубинах нарастает гром; ибо удар молнии — это бесконечно краткий финал. До сих пор я был уверен в том, что молния только ударит, что надлежущая кульминация еще передо мной — теперь же я уже вижу форму этой молнии и слышу предварительное дыхание грома, от которого задрожит земля. Многих из моих предыдущих предприятий мне не разрешили довести до конца, на пути становились люди или обстоятельства; многое я и сам забросил в погоне за более великолепными вызовами; те же, которые удались, те, по большей части, тщательно забыты или приписаны другим. Но вот в этом я не проиграю: это я разобью Лёд.

Я почувствую это в сердце с первым же ударом машины: вполне возможно, что таким образом я убиваю и Вашего отца. Но Вы бы сделали тоже самое. И скажите: почему? Слушаю Вас.

Полная Луна глядит сквозь пальмы и решетку в старинной стене, сияя с запада, из созвездия Овна. Португальцы поставили для меня охранников. Внизу, в порту, меня ожидает катер Royal Navy. Люди царя ведут переговоры с людьми лорда Керзона. Джей-Пи Морган под конец удавился собственной жадностью и отдал Богу душу; теперь сын его, получив себе все состояния, исправляет грехи отца, но, прежде всего, учитывая интересы сталелитейных концернов. Пишу это письмо Вам, поскольку завтра, на рассвете я должен поплыть к ним и сказать «да». Вы этого не прочтете, но написать и отослать это письмо я обязан, пока не нарушил данное слово. С самого начала на вас был тот же самый знак гневного отчаяния, как у моего племянника,

который настоял на том, чтобы стать боксером; я был против, но он не послушался. И погиб на ринге.

Молюсь за то, чтобы Господь хотя бы после смерти соединил и помирил Вас с Вашим Отцом.

Никола

А не стоит ли написать ему ответ? От Порфирия Тесла и так узнает, что я жив, но было бы приличнее отослать какое-нибудь доброе словечко. Но тут же я подумал о собственной фирме. Ведь эта технология производства зимназа будет ведь использовать изобретение Николы Теслы. Понятное дело, Соединенные Штаты Сибири и не обязаны уважать чужие патенты. Тем не менее...

Я разорвал следующий конверт. Бронек писал из Перу. Мое письмо он получил, но ответил на него, явно, лишь тогда, когда ему в руки попала какая-то газетенка, в которой я упоминался в качестве разыскиваемого властями Империи политического преступника. Письмо от брата представляло собой странную смесь заново проявленной заботы, горьких упреков и политической ругани. Как мог я быть таким глупым? Отцу этим я никак не помогу, устраивая кровавые покушения на царских сановников! Все-таки он ожидал, что письмо пройдет через руки агентов Третьего Отделения. Под конец он упоминал о своем семейном счастье (Бронек взял себе жену из католического семейства немецких купцов, столетие назад осевших в Перу; сейчас же он преподает принципы современной архитектуры в Universidad Nacional de San Augustin de Arequipa, в Белом Городе у подножия Белого Вулкана) и протягивал руку в робком приглашении. *Если бы тебя когда-то ветры Фортуны занесли в эти края...*

Не стоит ли ответить? А, скорее уже прочитает в газетах.

Последний конверт был самым крупным, его неоднократно сгибали, ломали, свертывали, настолько неудобными были размеры. Этот я спрятал в самом низу стопки, потому что сразу же заметил на нем имя Елены Мукляновичуны. Тем временем, китаец принес керосиновую лампу с абажуром. Я поставил ее на полу, привязав шпагатом к окну. Уселся рядом, скрестив ноги, и вскрыл конверт.

Письма в середине не было, только с десятков плотных листов с карандашными набросками Еленки. В основном, ледовые пейзажи, видимые с высоты Молочного Перевала. Я распознал северный и южный склоны; ручей и развалины пустыни Мартына оставались, понятное дело, невидимыми подо льдом и снегом. Сквозь замерзшую тайгу под окнами прохаживались люты. Один рисунок представлял собой здание санатория под пуховыми шапками снега и коронами сосулек; в окнах тени людских силуэтов. На другом рисунке какая-то непонятная, квадратная фигура шла напрямик, через сугробы, к линии замороженной тайги; метель секла через эскиз косыми штрихами. (Все это было смятым, поморщенным, выцветшим). Следующий лист: черная коробочка в облаках. Еще один: дамы и господа в вечерних костюмах, сидящие за длинным столом с понурыми, мертвыми минами. Еще один: замороженный мужчина. Следующий: пустое черное окно. Далее: лицо в раме.

Я придвинул лампу поближе. Это была панна Елена, она сделала собственный автопортрет по отражению в высоком, овальном зеркале. Черные волосы, свободно отпущенные на плечи, худенькое лицо, глаза болезненно крупные, беспокойно выразительные под бровями, словно подкрашенными углем — эти брови и были нарисованы жирными ударами угля. На шее была все та же бархатка с рубином. Слева повис бесформенный силуэт — фрагмент чьей-то фигуры? предмета мебели? тени в зеркале? Как будто бы кто-то

подглядывал Елене через плечо, кто-то другой, третий — Елена, рисующая рядом с Еленой, отраженной в зеркале — все-таки, художники, как правило, не передают себя такими, какими видят себя, то есть, рисующими картину, на которой рисуют картину, на которой рисуют... Следовательно, это был авто-автопортрет; автопортрет в кавычках; образ правды в версии Тайтельбаума. Панна Мукляновичувна глядела прямо в трюмо, правую руку она протянула за пределы листа в загадочном жесте — указующем? призывающем? отталкивающим? Сама она в ту сторону и не глядела. Что это должно было значить? Я повернул рисунок так и смял, положил на полу, поглядел сверху. Все-таки, рисовать она умела! Быть может, слишком экспрессивно, штрихи слишком быстрые и резкие — она не стирала неправильных линий, поправляя их очередными десятками, сотнями спешных штришков — но ей удавалось ухватить образ и настроение образа. Я почесал слепой свой глаз. Эта отброшенная в сторону рука, поза, взгляд и кадрирование... И я вспомнил. Погаси. И движение плеча в полумрачном *отделении* Транссибирского Экспресса. Елена Мукляновичувна более правдивая, чем Елена Мукляновичувна — это она.

С кем вступала она в дуэль правды и лжи в Санатории Льда? Чью кровь смаковала на теплом язычке? Перед кем раскрывалась, прежде чем замерзнуть навеки?

Смазанное, согнутое, поблекшее. Прошлого не существует — зато у меня имеется этот рисунок, материальный предмет, присутствующий в настоящем моменте. Я откашлялся. Она вовсе не усмехалась, губы сжаты, носик чуточку вздернут. Блузка с кружевами на высоком корсете... еще что-то на краю. Не кружево. Смазанное, поблекшее. Я угадывал, буква за буквой. Подпись? Нет.

La Menzogna

— *La Menzogna* ^[411], произнес я вслух, и инженер Иертхейм перевернулся во сне на другой бок. Под Башней лаяла собака, материли друг друга русские. В пламени лампы затрепал гнус. — *La Menzogna*.

Словно вода, словно волна, словно пена.

Посланные в Иркутск штатовские возвратились на третий день, после полудня. Авраама Фишенштайна с собой они не привезли. Еврей сидел, забаррикадировавшись с вооруженными людьми под городом; если бы господин премьер дал приказ брать банкира силой, пришлось бы устроить серьезную перестрелку. В какой-то степени было понятно, что он и не горел идеей покинуть безопасное убежище на непонятное предложение от политической силы, враждебной той, что удерживала сейчас власть в Иркутске. Мы договорились, что я напишу Фишенштайну письмо с более подробными предложениями, хотя, естественно, не раскрывающими каких-либо секретов товарищества. Штатовские привезли с собой доверенного человека Фишенштайна, который потом и доставит ему послание.

Кроме того, они нашли двух мастеров с холодниц и одного клерка, который перед Оттепелью работал здесь, в Холодном Николаевске, в конторе Белков-Жильцева; все трое без колебаний приняли предложение работы. Время у нас как раз было такое, когда безработными были, собственно говоря, все. Достаточно пообещать защиту, крышу над головой и горячую еду; деньги — это уже излишество.

И еще штатовские нашли Сашу Павлина.

Как только я увидал его имя, подчеркнутым в списке, то сразу же попросил привести его к себе.

Он вошел, слегка горбясь, робко щуря глазами за стеклами пенсне (я стоял перед окном, в полном солнце). Он похудел с времен лаборатории Теслы, окончательно потеряв юношескую мягкость. Щетина цвета светлого пепла скрывала поклеванное оспой лицо, что тоже было парню лишь на пользу. А если не считать этого — тот же самый Павлин.

Меня он, естественно, не узнал.

— Саша, доктор крысинный, это я, Бенедикт!

Тот, шаркая ногами, приблизился, снял пенсне, захлопал тазами, надел пенсне.

Я перешел в тень, раскрыл объятия.

— Я!

Только теперь рожа его посветлела.

— Живой!

— Ну да, живой!

И он упал мне на грудь.

Но тут же ему понадобилось проверить, хорошо ли видит — отступил на шаг, вытаращил глаза.

— Живой!

— Живой.

— Живой!

— Живой!

И так далее, мы перебрасывались словами и смехом, накручивая друг друга, что под конец просто перебило дух.

— Уфф, не верю.

— Да я это, я, я.

— А как постучали к нам эти, с винтовками, да начали выпытывать, кто работал в Обсерватории, я и подумал: ну все, конец пришел жизни, пуля в лоб.

— Ты уж извини, я в такой спешке все написал. Но ведь силой, похоже, не брали?

— Когда приходит такая банда с оружием, то человек и не ждет, чтобы ему напрямую угрожали, сам идет, никто не подгоняет. Ты же знаешь, как оно теперь? Правит тот, у кого наган в руке.

— Да, закона нет.

— Нет настоящей власти. — Он еще раз протер *pince-nez*. — Так выходит, я сейчас работаю — где же? У тебя тут какие-то дела со штатовскими?

— Ну, разве что у тебя намерения иные. погоди, я все расскажу. Я тут кое-что припрятал.

Зейцов, местный король революционных грабителей, успел к этому времени достать несколько предметов мебели в стиле бидермейер [\[412\]](#), на первый взгляд даже целых: небольшой письменный стол; стулья, ножки которых были подклеены каучуком; канцелярский шкаф, который мы поставили за стеллажом, сцепив их друг с другом у косо́й стенки, а еще легкий столик. Я пришнуровал его возле окна, справа; теперь кушал с видом на солнечные развалины растаявшей промышленности. Кроме того, Зейцов охапками сносил ко мне документы, оставшиеся от зимназовых компаний; их у меня были полные полки, а еще — шесть ящиков для пересмотра; сырые бумаги кучами лежали на письменном и обеденном столах.

Я смел все на пол.

— А пожалуйста, бутылочка.

— За чудесное воскрешение!

— Ой, чтоб ты знал!

— Нормально пошла!

— Ухх! И, уфф, за успех моего Товарищества!

— Что, за большими деньгами погнался?

Я поднял стакан к кривому потолку.

— Деньги, дорогой мой Саша, нужны затем, чтобы не нужно было деньги зарабатывать. Мы сели в окне, нацеленном прямо в небо.

— А в Иркутске за буханку хлеба отдают родовые драгоценности, — вздохнул Павлич.

— Не беспокойся, рядом со мной ты еще поправишься.

— Но для чего, собственно, мог бы я пригодиться?

— А для того, в чем лучше всего разбираешься: для вопросов жизни, из льда воскрешаемой. У меня ты будешь, обрати внимание, директором Отдела Борьбы с Апокалипсисом. — Я подлил, себе и ему. — Ты реализуешь проект Николая Федорова по воскрешению человечества. По крайней мере, начнешь его реализацию. Ну?

Саша крепче схватился за оконную раму.

— Господи милостивый, да что за безумное предприятие ты здесь открываешь?!

Я рассказал ему.

За следующей бутылкой (казацкая кукурузная самогонка, отдающая гарью), когда он упустил в пропасть оба своих сапога и спрятал пенсне, вечно съезжающее с потного носа, Саша растрогался и начал вслух жалеть меня — да что же со мною приключилось, какие страшные несчастья я пережил, перестрадав душой и телом, что выгляжу так, будто меня на колесе ломали и еле-еле вытащили из-под косы самой Смерти, и что мрачность судейская висит надо мной крылом вороновым — что прошло, не вернется: молодость, наивность, невинная спешка — бедненький ты, Венедикт, ой бедненький!

Чтобы перебить его плачи, достаточно было рассказать ему о встрече с отцом.

— Так ты телом сошел на Дороги Мамонтов! — Он даже подскочил на месте. — И как там? А? Чего, в конце, видел? — Саша срыгнул и схватился за живот. — Ну, и какое оно вообще впечатление?

— Не раз мне казалось, будто бы схожу я на Дороги, так. — Я откинулся на спинку стула и переложил ноги. — Только, только вот кажется, что на самом деле спустился всего лишь раз.

— И?

— Никаких «и». Человек на Дорогах Мамонтов жить не может.

Саша скорчил кислую мину.

Я беспомощно замахал руками.

— Как описать окончательную истину; порядок, выше которого не может существовать ничего более совершенного? Скажешь пару слов — и уже нарушишь его, ведь второе слово отличается от первого, и вот, наступила перемена, следовательно — отступление от Истины!

...А в мире лютов — не здесь, на Земле, где даже люты подвергаются частичной Оттепели, где они перемещаются, меняются, объединяются и делятся; но во Льду ниже нуля по Кельвину — там никакое изменение Истины, Правды невозможно. Возможно неизменное существование только чистых идей.

— Это как?

Я выпрямил указательный палец. Саша уставился на него, наморщив пшеничные брови. Молчание удлинялось. Я не шевелился. Потом набрал воздуха.

— Вот это, — сказал я.

— Что?

Я опять молчал. Палец. Неподвижность. Монотонность зеркальной симметрии.

Похоже, Саша понял.

— Лёд, — икнул он. — Л-л-лёд.

Я поднял пустую бутылку к солнцу, сияние расплескалось на толстом стекле. Я приставил эту подзорную трубу к глазу. Можно, можно напиться допьяна и светом.

— Холод, Саша, вползет в тебя словно опиумная горячка. Как рассказывал мне Пьер Шоча — это правда, никогда не забудешь, не перестанешь тосковать. Только я говорю о настоящем холоде, о том прикосновении лютов, которым профессор Крыспин лечил больных, а мартыновцы испытывали общение с Богом. Почему зимовники сознательно выставляют себя на мороз? А? Ведь это же больно, всякому больно. Но вместе с тем, притягивает со страшной силой — из костей, из кишок, из-под сердца — животным инстинктом, желанием, вписанным в саму природу реальности, словно голод или телесное стремление — в сторону Льда. Это первейший человеческий тропизм [\[413\]](#), Саша.

— Мороз?

— Порядок. Совершенный лад. Правда!

Я бросил бутылкой в Солнце. Та очертила короткую дугу и рухнула вниз, не зацепив нижнего края Кривой Башни. Мы не услышали даже звука разбитого стекла, только ругательства перепуганных *салдат*.

— Словно звери, — простонал я. — Мы не понимаем, до нас даже не доходит — а мы льнем к нему, он притягивает нас, неустанно манит. Лёд! Лёд! Везде, повсюду, под любой формой и любым именем, в каждом вопросе и в каждом масштабе: в изобразительных искусствах, в архитектуре, в музыке, но так же и в политике, в религии, в законодательных, духовных и доктринальных кодексах — ибо только тот становится хорошим математиком, кто видит в уравнениях красоту и порядок еще до того, как заметит Правду. Ведь это одни и те же вещи, Саша, одни и те же. И твоя работа тоже: ибо, чего желал Николай Федоров? Развернуть на сто восемьдесят градусов законы разложения; отвести назад то замешательство, то забытие материи, которое мы называем смертью.

Павлич залихватски отдал салют.

— Виват Братству Борьбы с Энтропией!

Я слез с окна за следующей бутылкой.

— Ты, может, перекусил бы чего-нибудь?

Саша глянул на свой живот.

— Не откажемся, не откажемся.

— Сейчас позову китайцев.

За жесткой и невкусной уткой с рисом и свежей зеленью я выдал подробности встречи с фатером. Чего никому не рассказывал, выдал Саше Павлину. Хотя, вроде, и не обязан был. Но потекло — словно из пробитой артерии, предложение за предложением, в густой, застывающей на месте откровенности.

Линии взглядов вибрировали над наклоненной столешницей; русский убегал и несмело возвращался; я же нагло все пихал ему нагло в глаза, пускай же скажет так или так, я сразу бы узнал, что Правда.

— Хммм, — он долго пережевывал мясо и жесткую мысль, — гммм, но, в конце концов — ведь тебе удалось, разве нет? То есть, разморозить его.

— Не знаю. — Я копался косточкой между расползшимися во рту зубами. — Мне очень трудно отказаться от мысли, что отец обо всем знал. Точно так же, как он знал, где выйти мне навстречу, он ориентировался в иркутской политике, в планах императора и Теслы. Он это понимал. — Я сплюнул в платок. — Люты... не знаю, можно ли вообще сказать, что они что-либо чувствуют, что способны к пониманию. Погляди: если бы вначале из него не откачали тьмечь, возможно, отец вообще не допустил бы Оттепели, соответствующим образом

перемещая Лед и Историю. Если он и вправду обладал над морозниками властью убеждения, силы или научной манипуляции.

...А потом я снова думаю, что этот насос Котарбиньского, сунутый в самый последний момент Николой в дорожную печурку, не мог ведь так эффективно выкачать тьмечь из Отца Мороза: это было устройство, рассчитанное на людей, а не на могучих абаасовцев. Мммм?

— Но — ты же пробил ему сердце.

Я захихикал.

— Он, наверняка, и не почувствовал.

Саша поднял ко мне печальные глаза. Я пожал плечами.

Он отодвинул тарелку, взял графинчик с наливкой, понюхал. Я угостил его табаком, мы свернули по папиросе. Я покачивался на задних ножках стула.

— И я вот думаю... Там, тогда, подо Льдом, в соответствии с Математикой Характера... Это должно было пойти именно так. Он обязан был знать.

Мы молча курили.

Саша помочился в ночной горшок, вновь уселся в окне. Я же вытянулся вниз, на шезлонге, перевесив нот через спинку. Растянутые через комнату нити взглядов висели между нами тонкие и слабенькие, словно летние паутинки.

В комнату заглянул курьер, спросил про письмо Фишенштайну; я приказал ему подойти после заката.

Саша наблюдал сверху крутившихся по городу беженцев людских мурашек. При этом он мотал босыми ногами, и вдруг вспомнил про Чингиза Щекельникова.

— Лишь бы не подкараулил Святого Петра в каком-нибудь темном переулочке. — Павлич улыбнулся своим мальчишески-меланхоличным образом. — Те пару раз, что я его видел, мне всегда было страшно, что я его чем-то обидел, и что он сейчас бросится на меня со своими кулачищами.

— Он был плохим человеком.

— Но вот то, что его вот так зарубили...

— А что сделает даже самый большой забияка против тех, что никак умереть не желают?

Саша фыркнул, покачал головой.

— Големы? Сложенные в кучу трупы?

Я надел на лицо серьезное выражение.

— Это некий вид черно-биологической инженерии, как мне кажется, некая игра с энтропией. — Я выдул дым в потолок. — Ты помнишь, как мы по пьянке били стекло под Малым Молотом Тьвета? Или у тебя все то замерзло как-то по-другому? Ммм? Ну, а история с воскрешением Теслы? Прежде, чем стать предметом научного изучения, подобные вещи всегда являются содержанием всяческих суеверий и предрассудков. Ведь на Дорогах Мамонтов имелся свой ритм, свои приливы и гармония, еще до того, как доктор Тесла их посчитал, прежде чем в первый раз ударил в этот ритм своим Молотом. Так что удивительного в том, что неожиданно встретивший подобные «чудеса» человек простого ума просто сходит с него? «Инженер Тела», ха!

...Вот подумай — как вообще абаасовцы перемещались по Дорогам Мамонтов? Какая жизнь возможна для человеческого организма там, в камне, во льду? Я уже говорил тебе: никакая. Он тогда не живет. Перетекает с кровью лютот. Тесла с самого начала был прав: все является вопросом резонанса, сложения частот. Ведь перемена обязана прийти снаружи: никто и никогда еще самовольно из небытия не вышел. Волны, приливы и отливы, Саша, частоты. Тршш-чтр-шшш... Приложишь ухо — нет, какой-то особый стетоскоп — даже нет,

радиоприемник. Подключишь радиоприемник к Дорогам Мамонтов — и услышишь ту невообразимо запутанную симфонию деликатных перешептываний теслектричества, как и ночью, по сибирскому радио слышишь легчайшие трески атмосферы с другой половины земного шара — тршш-чтр-шшш... И каждый такой черный шепот — это промораживающийся в токах живого гелия лют; а каждый треск — это существующий-несуществующий абаасовец, отражаемый по Дорогам от энтропии до не-энтропии и обратно.

...Понимаешь теперь, почему шаманы бьют в бубны? Почему они все время бьют, бьют, колотят в те свои бубны?

...Да, Саша, все мы — волны на поверхности океана, орнамент инея на стекле. Существует ли кто-то, или ему только кажется, что существует... Во Льду он является неуничтожимым, вечно существующим — как число, математическое утверждение или силлогизм. Но живет ли число? Меняется ли оно всякую секунду? А всякая жизнь это: изменение, отрицание самой себя из предыдущего мгновения, то есть — Ложь. Поверь мне: человек на Дорогах Мамонтов не живет. К жизни возвращается лишь потом. Он складывается в кучу, словно разбитое стекло. — Я отрыгнул. — И, наверняка, обломки при этом перемешиваются.

— Так ты тоже перемешался?

Сашу это ужасно рассмешило. Он долгое время подсмеивался; потом это проходило, но всякий раз, когда глядел на меня сверху, попадал в состояние хихикающего веселья.

Я хлопнул в ладони.

— Ну все, все уже.

Саша взял себя в руки.

— Есть гораздо более простое объяснение, — сказал он, впадая в серьезный тон, надевая на лицо неприступную мину господина биолога, — и оно таково, что вместо правды ты помнишь свои бредни, родившиеся по причине гипотермии, голода, отчаяния. Обмороженные люди, вытянутые из льда после длительного времени, оттянутые от порога ледяной смерти — рассказывают различные мистические истории. Ведь там, на иркутской улице — на самом деле люта ты ведь не коснулся; наверняка бы умер. А то, что помнишь всяческие чудеса... Подобных сообщений я читал много. И вовсе даже не от мартыновцев; гораздо более ранних. К тому же ты сам рассказывал, что тунгусы во время путешествия травили вас своими сонными дымами. Выходит — как ты это сам говоришь? — именно такое прошлое для тебя замерзло.

Я крутанул над окном рукой с папиросой; дым свернулся красивым серпантинном.

— Я только спал.

Мы молчали. Паутинки бабьего лета легких, ненадежных взглядов висели над нами в вечернем свете. Откормленный в залитом кратере гнус уже поднялся в эту пору, безумствуя в поисках теплого пропитания. Саша энергично отгонял его; я ежесекундно давил насекомых на коже. Человек привыкает к запаху собственной крови, к этим прогнившим духам жизни.

— Да! Ты же совершенно не говорил, как там у тебя. Ты же, вроде, должен был возвратиться в Томск?

— Ой, после отделения Шульца-Зимнего все это оборвалось. Томск и Томский Университет были в руках царя, граница проходила по линии Оби. А тут еще профессор Юркат встал на сторону графа... После побега доктора Теслы Шульц закрыл нас на два месяца в Ящике.

— Из-за того, что вы, вроде, помогали Поченгло?

— Ну, в тюрьму он нас не бросил. Закрыл нас в комнатах восточного крыла. А может

даже и не он, а тот его комиссар по срочным поручениям, как там его...

— Урьяш. Но в Обсерватории вы ведь были под арестом, не так ли?

— Тут дело пошло так. — Саша повернулся в мою сторону, склонился к нижней части помещения. — Как только ты сбежал из-под следствия, князь Блуцкий из Иркутска уехал. Мы слышали, будто бы он собирает царские войска в Александровске. Шли, якобы, какие-то секретные переговоры через Победоносцева: князь, граф, Император, Сибирхожето. В тьвете под Обсерваторией была даже какая-то перестрелка, казаки генерал-губернатора нас защитили, а шла на нас тогда целая армия бродяг. Все ужасно перепугались. И тут однажды ночью появляется господин Поченгло, переодетый исправником, с губернаторским пропуском в руках, и говорит, что у графа на столе лежит готовый приказ об изгнании доктора Теслы. Только, понимаешь, о таком изгнании, чтобы потом никто и никогда его уже не нашел.

— Ясно, это было только вопросом времени. Сибирхожето наверняка поставило условием: никакой Оттепели или даже шантажа Оттепелью.

— Князь Блуцкий должен был с казаками атаковать Иркутск; господин Поченгло говорил, что именно после Теслы каждый день по городу шли слухи о скором штурме. И вдруг все повернулось на сто восемьдесят градусов: Никола сбежал, а Победоносцев выступил в открытом союзе с графом в плане отделения; они подписали гарантии экстерриториальности Транссиба, холодопромышленники направили мирную петицию к Его Сиятельству с десятиллионной контрибуцией, а князь Блуцкий отступил к Оби. — Саша замахал руками, прогоняя мошку; правда, это мог быть и его жест полной дезориентации. — Ты хоть что-нибудь из всего этого понимаешь?

— История, дорогуша, История. Если бы Лед все еще держался, я бы рассчитал тебе то и другое — но сейчас, после Оттепели, ежечасно рождается семь версий для каждого факта, ни одна из них правдивая, ни одна из них ложная.

— Это кто там?

— Ммм?

Повернувшись в оконной раме, Саша указывал папиросой на западную стену. В строгой оправе от сертификата на разрешение добычи, выставленного Горным Управлением уже не существующей акционерной компании, я повесил там черно-белый автопортрет панны Елены.

— Ну да, ты ведь ее не знал.

— А-а, сердечная боль!

Но и тут никакой стыд меня не коснулся.

— Да. — Я сбил пепел на зимназо. — Плохо замороженное воспоминание. — Закрыв лицо ладонью, я глянул на картинку через дыру отсутствующего пальца. — Хотя бы даже ради одного этого стоило бы побороться за Лед.

— Ради чего?

— Ради той логической уверенности чувств. Это было перед глазами с самого начала, ведь это одна из основ Математики Характера, быть может, даже самая главная.

Саша пошлепал к стенке, длинной своей тенью вытирая ящики и предметы мебели; там прижал нос к картинке, что-то замычал с папиросой во рту.

— Что?

— Так это рисунок, сделанный из воображения? — Павлич провел ногтем по переломам картона.

— Почему?

— Такая живая девушка не существует, *n'est ce pas* [\[414\]](#) ?

Я же, тем временем, вытянулся на шезлонге, чтобы подремать.

— Какая разница, Саша, и так у нас Оттепель... Взять нас двоих — вот подумай... Ведь мы же друг друга хорошо и не знаем, так... Ведь, пока с человеком вообще встретишься... Подо Льдом... Друг, враг, любовь, ненависть — еще перед тем, как подобную особу увидел, до того, как она начала существовать для твоих чувств... Уже Правда! Так какая разница...? Все это математика...

И я заснул.

Официальная учредительная встреча Товарищества Промысла Истории Герославский, Поченгло и Фишенштайн состоялась через шесть дней, ровно в полдень, на солнечном зеркале крыши Кривой Башни.

Пан Порфирий вознес первый тост — не в качестве мажоритарного пайщика (это я был мажоритарным акционером), но в качестве Премьер-Министра Соединенных Штатов Сибири. Для этой okazji он встал на обе ноги, левой рукой опираясь на трость. Он говорил о светлом будущем СШС, о могуществе, следующем из исключительных природных богатств Сибири, о праве народов Сибири пользоваться данными им Богом преимуществами, в любом виде и в каждой сфере. На дворе двадцатый век, говорил он, Великобритания и Германия черпают свои силы не из эксплуатации крестьянина, но из труда собственных предпринимателей, из богатства своих национальных концернов. И вот Премьер-Министр дает пример и творит основы для экономики Сибирских Штатов, учреждая Товарищество Промысла Истории ГПФ!

Аплодисменты. Поднялся и я. Солнце резко сияло под грозовыми тучами. Я поднял наполненный светом бокал.

— Поскольку успех нашего *Товарищества* будет неразрывно связан с политическим успехом сибирского государственного проекта — только так! *Товариществе* не выживет без Штатов, равно как Штаты не выживут без *Товарищества*! Празднуя одно, мы празднуем и другое! Мы будем производить зимназо для продажи всем, но Историю не продадим никому! Вот тот национальный промысел, которого мы никому не отдадим: отдавая Историю, мы отдали бы нашу независимость, ибо, кто из соседей, какая иная держава позволит нам утвердиться на картах мира? Из всех ценных богатств это регламентировано более всего: История.

...Но ведь, дорогие мои, раз существуют объективные механизмы Истории и законы, управляющие исторической последовательностью, такие же надежные и вычисляемые, как законы химии, физики и биологии, а эти мы уже можем использовать ради наших целей и выгод, так что человек управляет Природой, а не Природа человеком — раз подобные законы Истории существуют, это уже только вопрос времени, что человек подчинит себе Историю и обдумает технологии управления прогрессом ради собственной пользы и удобства.

...Кто первым основал производство двигателей внутреннего сгорания? Кто первым запустил фабрику электрических устройств? Кто заработал состояния на современной химии и машинном ткачестве? Кто черпал наибольшие богатства из зимназовых технологий? Все это ничто по сравнению с неизбежным успехом первого *Таварищества* Промысла Истории!

Аплодисменты, топот, новые аплодисменты.

Ради большей помпезности я еще привел слова маркиза де Кондорсе из XVIII-векового *Эскиза образа прогресса людского духа через историю*: как «общественная математика» приведет к тому, что «истины моральных и политических наук станут столь же надежными, как и те, что образуют систему наук естественных», *et cetera, et cetera*. Молодой журналист из «Новой Сибирской Газеты», вспотевший и ослепленный, тщательно записывал за мной. Господин премьер желал выступить с открытым забралом; пожалуйста, вот оно для него.

Хотя в течение двух дней наших трехсторонних переговоров я и пытался отвести его от этого намерения, Поченгло стоял на своем несокрушимо: либо мы выступаем перед всем миром открыто, как с обычным чистым предприятием, либо он не даст ни единого солдата для помощи Товариществу. Я сказал ему тогда, что он торгует угрызениями совести, что выставляет на ненужный риск, как Товарищество, так и собственную Державу. Тем не менее, пан Порфирий остался стоять на своем.

Если бы точно так же он стоял на своем в собственно переговорах, наверняка мне пришлось бы остановиться на тридцати-сорока процентах. Но под конец до меня дошло, что он и не желал брать во владение контрольный пакет ГПФ.

Пана Поченгло я решил следующим образом:

Государство для себя можно выбрать, можно построить из ничего, можно выстрадать мукой столетий, но если кто-то покупает его у Истории бескровно, безболезненно, путем переговоров за столом и холодных расчетов — тот не является владельцем такого Государства, но всего лишь временным наемным сотрудником. То, что было подарено, может быть и отобрано. А даже если Государства отобрать никто уже не может — в народе ведь останется память о милостивом суверене, который это Государство им подарил; в течение поколений у них за спиной будет стоять дух самодержца, по милости которого они живут тем временем в этой, вроде бы, независимости — царь разрешил им поиграться в Государство.

Решив это уравнение, я без слова подписал документ, в силу которого принимал во владение 50001 из 100000 именных акций Товарищества Промысла Истории Герославский, Поченгло и Фишенштайн, с учредительным капиталом, но минированным в британских фунтах стерлингов в соответствии с честными договоренностями пайщиков. Я знал: как только заморозу Историю, Поченгло, не колеблясь, прикажет меня убить. Тем не менее, под гримасой покрытого шрамами уродливого лица я скрывал кривую усмешку. Потому что знал и то: как только я заморозу Историю, никто меня уже не убьет. О цареубийстве можно рассуждать исключительно в определенных культурах и определенных исторических формациях. Дело ведь не в том, чтобы разыграть на улицах кровавый театр — повесить, расстрелять, сжечь, обезглавить на гильотине — но чтобы довести народ до такого состояния духа, при котором эта драма исполнится естественно, сама по себе, без малейшего налета театральщины. А вот это уже не вопрос веревки, гильотины, костра или расстрельного взвода — но управляющей эпохой идеи. Которую не создаст никакое политическое убийство; которая является первоначальной по отношению к убийству и которая рождается из того, что невидимо, что можно формировать только под Гроссмолотами.

...Я выиграю, поскольку не смогу проиграть.

В течение всех переговоров Фишенштайн отзывался реже всего. Когда я стучал по столу тростью и орал во все горло: — Пятьдесят один! Мне! При мне! Мое! Я! Я! — еврей лишь поглаживал свою седую бороду и прослеживал своим тунгетитовым глазом, как скользят сахарные облачка по небосклону. Оживился он, когда мы оговаривали вопрос привлечения доктора Теслы. Ведь я признал откровенно, что мое открытие стало возможным только лишь потому, что я занимал исключительное положение между чернофизиками Холодного Николаевска и лабораторией Теслы, что был ознакомлен с теориями и той, и другой стороны, что проводил опыты на запатентованном оборудовании серба. Фишенштайн требовал допустить Теслу к прибылям. Кроме того, для него весьма важным было участие изобретателя в работах против Апокалипсиса. Дело в том, что Никола проводил эксперименты по воскрешению и в Макао, под Большим Молотом. Директор Хавров, который сбежал вместе с началом Оттепели и теперь путешествовал по странам Востока,

сообщал, будто бы британские газеты в Гонконге писали про особенную «трупную чуму», донимающую Макао. В свою очередь, пан Порфирий, по причине Кристины, не желал сказать слова против Теслы. Но перевесил именно Молот: Тесла оставался связанным контрактом на уничтожение Льда, а ГПФ в первую очередь должно возвести Молоты, нивелирующие возбужденные сербом разрушительные резонансы теслектрического поля — трудно приглашать человека в проект, обращающий в прах величайший триумф его жизни. Я и сам испытывал определенные угрызения совести. Здоровую конкуренцию и технологическую гонку Никола наверняка поймет, но вот кражу идей...? Я готов был перед всем миром высказать старцу надлежащее почтение; что же касается финансовой компенсации — мы можем, например, выкупить патенты на не требующие топлива двигатели Теслы, электрическая сверхпроводимость зимназа создаст в этом плане новые промышленные возможности. Мы приобретем права на них за счет процента прибыли для Теслы, но даже и при этом еще заработаем. Авраам Фишенштайн кивал головой. Как только он обеспечил реализацию федоровского плана всеобщего воскрешения, то уже не рисковал резкими торгами по какому-либо иному делу.

Сейчас он тоже не спешил провозглашать тосты. Когда же собравшиеся аплодисментами заставили его выйти из-за стола, он тяжело поднялся, буркнул с сильным акцентом несколько оптимистических слов, после чего вновь упал в кресло. И уже не поднимался с него до самого завершения празднования на крыше — исключая одного-единственного момента, когда однорукий бродяга, найденный покойным Вулькой-Вулькевичем в качестве фотографа «Газеты» взялся выставлять всех для памятной фотографии. Зейцов держал экран, заслоняющий от ветра и солнца. Мы встали для такого случая втроем у верхнего края крыши, фотограф-калека дирижировал нами, согнувшись за своим аппаратом: чуточку влево, немножко вправо, и улыбнулись, улыбнулись, господа!

Тогда мне казалось, что среди хозяев Товарищества я единственный радовался его рождению.

Следующие несколько часов пан Порфирий провел в оживленных дискуссиях с новонародниками; на приеме присутствовали посланцы от ленинцев и троцкистов; кто-то был с сообщениями из Харбина (разошлась сплетня, будто бы император Пу И желает воспользоваться Транссибом для тактической переброски армии за пределы фронта мятежников). Под вечер инженер Иертхейм появился с человеком, которого представил в качестве бывшего управляющего Дырявого Дворца; голландец обнаружил его у дороги на Уголье, продающего пузыри с питьевой водой. Управляющий, в прошлом известный металлург, стоял передо мной в вонючих лохмотьях, трясущимися пальцами сжимая шапку, изнуренный бедностью и несчастьями словно старик цыган, сотня морщин перемещалось по его лицу при одной пугливой мысли. Я сказал, что, конечно же, мы примем его; пускай кто-нибудь принесет мыло и одежду. Тогда я еще сидел за столом с Фишенштайном — схватил первый попавшийся лаковый поднос с китайскими лакомствами и вручил бедняге. У того глаза заслезились, он невольно пустил слюну; вид был не самый приятный. Я глянул на него с ласковой улыбкой. Тот поклонился. Уходил он уже более выпрямленный, более легкий, без Стыда на плечах.

— Искусство раздачи милостыни, — сказал я Фишенштайну, — заключается в способности к абсолютному эгоцентризму. Ну почему вы сидите такой мрачный, словно весь дух из вас вышел?

Тот тяжело вздохнул, сгорбил могучие плечи под блестящим, праздничным халатом, прищурил веки на фоне черноты и белизны.

— Что вы, могучий вы наш господин Герославский, я радуюсь, радуюсь, вот только при

том мучает меня глупая мысль: вот ты, Фишенштайн, радуешься, а вот если бы ты не был Фишенштайном, а другим евреем, таким же набожным и в Писании начитанном, радовался бы тогда, а? И тогда уже радуюсь меньше, ибо то, что радует одного Фишенштайна, то радует одного только Фишенштайна, но вот что радовало бы всякого еврея на Земле, ба, да что я говорю! Что радовало бы всякого человека — вот такая вещь наверняка бы радовала и Господа. Сделаешь что-либо против ближнего, его не обрадуешь — не обрадуешь и Господа. Но чтобы сделать такую вещь, чтобы была приятной всякому, рожденному от мужчины и женщины... Вот вы когда-нибудь сделали что-нибудь такое? А?

— Наше Товарищество Промысла Истории, — произнес я, машинально крутя тростью, — я от всего сердца верю, что оно принесет добро для всего человечества. Это значит, История мною рассчитанная, будет Историей цивилизованной, одаренной милостью, комфортной и ласковой. Ибо, до сих пор мы жили в дикости, Фишенштайн, в дикости.

Еврей качал массивной головой, драгоценный артефакт мрака поблескивал из-под гривы седых волос, достойной Исаяи и Моисея.

— Ой, видите ли, господин Герославский, всякая мудрость от Бога происходит. Но вот знания — они уже не все от Него. Дерево познания добра и зла, с которого ели Родители, не потому Бог объявил опасным, что из его плодов исходила ложь, но потому, что они давали правду. Человек идет к мудрости, что всегда оказывается здоровым для его души, но вот человек, идущий к знанию — он ведь не знает, куда направляется, в небо или преисподнюю. Всякое подобное деяние, изменяющее картину мира и человека в мире, толкающее его к новому познанию — страшный азарт для души. Так мудрым ли было бы для набожного еврея посвящать жизнь, чтобы сорвать очередной плод с дерева познания? Нет, — не мудрым. Не мудрым.

...А ведь мир меняется и без нас, и вопреки нам; человек меняется так или иначе; мы и сами, живя в мире и среди людей, меняемся. Тридцать лет назад — кто и когда думал о каких-то ледовых металлах, кто проектировал машины из зимназа, кому могли присниться люты, тунгетиты и тьветы? На Земле Льда будут жить наши внуки. Мы сами живем иначе, чем наши деды. Можем ли мы выступить против Истории, как деяния Сатаны, и отказаться от всего, что родилось из опасных знаний? Скорее всего, наиболее далеки от ошибки те пастушки, что проводят всю жизнь на чистых и зеленых лугах среди овец, где из поколения в поколение не меняется ничего, даже покрой одежды.

...Но История обходит их стороной; История реализуется за их плечами. Кто из мартыновцев был прав: те, которые считали, будто бы лишь под правдой Льда История катится по Божьей мысли, либо же те, которые говорили, будто бы Лёд остановил Историю в ее естественном бегу? Ибо сейчас думаю я в глупости своей, что Истории вообще уже нет. Что это конец ее, что она уже сорвалась, разбилась и расколотилась. Не придет Мессия к избранному народу, равно как и не поднимутся умершие в порядке вашего Откровения. Последние времена уже были — сейчас мы имеем то, что приходит после конца времен, это значит, не управление Историей через Бога, но управление Историей человеком. Теперь Историю творим мы. Товарищество Промысла Истории, акционерное общество Герославский, Поченгло и Фишенштайн! А раз сорвем и этот плод знания, то среди живых встанут все умершие — но не затем, чтобы исполнить федоровское видение христовцев, но именно затем, что человеку так захотелось. Будет ли это мудро? Будет ли это хорошо? Это будет возможным — следовательно, необходимым, господин Герославский. — Он хлебнул холодного чаю. — И вы мне это вычислите.

— Я вам это вычислю.

Начал моросить дождь, и все перебрались вниз, вовнутрь Башни. В моей комнате Саша

Павлич завел скрипучий патефон (очередная добыча Зейцова). У нас имелись пластинки с немецкими ариями и военными маршами, и только одна с русскими песнями; вот эта играла по кругу. Когда я спустился туда, какие-то люди уже танцевали при свете керосиновой лампы и свечей, расставленных на косо стоящей мебели. Я узнал одного из наших мастеров с *холодницы*; женщины — это были добровольно работающие в правительстве СШС или же жены штатовских. Поначалу мне хотелось всех их выгнать, но настроение было хорошим, так что только махнул рукой. В комнате рядом играли в карты. Я заглянул туда с рюмкой в руке; и сразу же вышел. Дождь сделался сильнее и гуще, так что когда я удалился в другой конец коридора, стальной стук капель, бьющих в Башню, практически заглушал плясовую мелодию. Молодецв распахнутом мундире зажимался в тени с грудастой *девушкой*с монгольскими чертами лица, они громко сопели. Партия ударных дождя заглушила и мои шаги, меня они не слышали. Я стоял и приглядывался к парочке, цедя терпкое спиртное. Гений ночи губернаторского бала присел мне на плече, взболтал изображение в глазу: тело плюс тело плюс тело плюс тело... *usque ad nauseam*. ^[415]Пухлая ручка копалась в его расстегнутых штанах. Я загрохотал тьмечеизмерителем по стенке и накричал на них, что, мол, они устраивают тут непристойное зрелище. Те покраснели от стыда и смылись.

Я вернулся к себе. Мастер куда-то исчез, появились новые гуляющие души; этих я уже никого не знал. Я отставил пустую рюмку на ящик с геологическими картами, трость забросил под шезлонг. Ведь ждет работа, нужно просмотреть кучу бумаг, необходимо принять множество решений, надо занять Черный Оазис, требуется определить границы кордона вокруг Последней Изотермы, следует подтянуть транспорт к основным залежам тунгетита, советники Поченгло уже спорят между собой: то ли проложить железную дорогу, то ли положиться на водные пути, а тут еще будут хлопоты с перевозкой трансмутационных машин, промышленных Бомб Тьвета и громадных теслектрических индукторов для Гроссмолотов. Через Владивосток и по Транссибу до Байкала? Имелось и другое предложение: поскольку у господина Поченгло имелись такие хорошие договоренности с Гарриманом, лучше всего было закупить тяжелое оборудование посредством его агентов в Америке, посредством тамошних банков Фишенштайна, и сразу доставить через Чукотку, по Алякскому Туннелю. Так было бы быстрее всего и безопаснее, но это при условии, что успокоится военная метель, и Гарриман, наконец-то, откроет Туннель для эксплуатации, а кроме того — будет построена Северная Линия из Николаевска Амурского. Причем, я должен был все это разыграть таким образом, чтобы до самого конца из спецификаций на заказы никто с уверенностью не мог вычислить сути «теплого» охлаждающего процесса.

...И все это было нестойким, недомороженным, расписанным гипотетическими предложениями и радужными возможностями. Каждый вариант требовал тщательно обдуманного плана; бумаги множились сами по себе; ничего удивительного, что чиновники и конторщики в Лете цветут и пахнут. Ящики карт, ящики бумаг, каллиграфически исписанных бледными чернилами... Тем временем, голова гудела, штатовские же безумствовали под визгливую музыку.

Руки у меня были пустые. Я закрыл глаз. Песня началась по-новой. Кто-то зацепил меня. Пахло свежей, отрезвляющей сыростью. Я подошел к окну, в вечерний полумрак. Танцуя на скошенном полу, все, естественно, спускаются к низу; зато здесь оставалось свободное пространство. Дождь быстро промочил мне пиджак и сорочку. Я провел ладонью по лицу. Вода окончательно смыла с меня возбуждение и все хорошее настроение.

Вернулся Павлич.

— Тебе нужно было устанавливать эту воющую машинку исключительно у меня? — раздраженно буркнул я.

— *A mademoiselle* Филипов говорила, будто ты обожаешь танцы.

— Необходимо наконец-то направить по данному вопросу официальное *dementi* [\[416\]](#).

Павлич держал в руках изящный сундучок, инкрустированный цветными камушками. Он подмигнул мне и приоткрыл крышку. Ящик был заполнен чернородками.

— Откуда...?

— Слово вырвалось в свет еще позавчера. Китайцы внизу выкупают у людей тунгетит. Эта вот коллекция пошла за две курицы и десять фунтов риса.

— И ты ее купил...?

— Жена китайца захворала малярией, он разыскивал хинин, и ему известно, что у нас здесь врач, приставленный к господину премьеру. Последние империалы предлагал, уже не по пятнадцать рублей, они теперь уже на вес золота. Да и сам сундучок, ты погляди: корнелиан, нефрит, топаз. Династия Сун [\[417\]](#)! Это сколько уже, тысяча лет! Якобы, из добычи лорда Элгина времен второй опиумной войны, из пекинских садов Совершенного Сияния. О! Теперь самая пора для подобных okazji; если у кого имеется какое-то добро на продажу, если у кого имеется хотя бы видимость власти, за копейки можно получить истинные богатства. Оттепель! Все в движении!

— Но... малярия! Нужно что-то сделать с тем болотом на месте Дырявого Дворца.

Саша встал рядом.

— Это ты здесь его выбросил, хмм? — Он сделал вид, будто выглядывает в пропасть. — Бррр.

— И кто тебе подобные глупости...?

— Парень один из «Газеты». А потом они еще пошли к Поченгло жаловаться. И знаешь, что он им ответил?

— Что?

— Что тебе осудят, как только появятся суды и будут написаны законы.

— О, на это он надеется, тут я поверю. — Я подставил голову под текущие капли дождя, те вонзались в мою грубо зарубцевавшуюся кожу. — Не при подобных мелких случаях, но ты наверняка слышал, как о публичной фигуре говорят; «История его осудит». Что это означает? Что осудят не люди. Что имеется некая мера событий, применяемая в столь крупном масштабе, что ее невозможно использовать в перспективе, меньшей чем столетие; и что события эти, приложенные к данной мерке, дают оценку столь очевидную, что такие или обратные предубеждения оценщиков уже не имеют веса — мера ведет к единоправде с железной логикой. Но — необходимо обождать, чтобы увидеть. Для операций в масштабе лет, недель, дней — просто нет точного мысленного аппарата. Никто еще не написал учебника Математики Истории. Споры идут даже по поводу аксиом. История осудит — но не сейчас, не завтра, не в этом году; в Лете все это замерзает так меееедленно. Мы, Саша, жили в мутной стихии, мы жили между несуществующим прошлым и несуществующим будущим, на зыбучих песках полуправд Котарбиньского. Пошли, почувствуй этот дождь. Ну здесь и душно!

Пошатываясь, среди танцующими пробился инженер Иертхейм. Под мышкой у него была конторская папка. Он встал так, чтобы дождь на него не падал и замахал нам этой папкой.

— Что там?

— Историческая картина! — Голландец огляделся по помещению в мерцающем свете, по стенам, разрисованным скачущими тенями. — Куда бы его... — Он подошел к автопортрету Елены, пощупал рамку. — В Святой Троице такая же уколы делает... — Он вынул из папки крупную фотографию, примерил ее к стене. — Так. Так. Мхम्म.

— Покажите-ка.

Мы заглянули ему через плечо. На памятном фото были изображены трое учредителей Товарищества: господин Порфирий Поченгло в светлом, элегантном костюме, с штатовской ленточкой в лацкане, склонившийся к объективу, он жестко опирался на трость, и от этого усилия его лицо казалось ожесточившимся; Абрам Фишенштайн под гривой седых волос, с бородой, словно белый пластрон, расстеленный на груди, навывлет пробитый холодной пустотой на месте тунгетитового глаза; я же стоял посредине, самый низкий среди них: тьветовое пятно в форме человека, руки и ноги более-менее в серых тонах, но лицо — уже сплошной уголь. За нами висело тучевое небо, под ним азиатский горизонт, невыразительные развалины промышленного города.

В правом нижнем углу фотография была отмечена эмблемой Товарищества: инициалы ГПФ в завитушках. Секретари Поченгло уже наверняка обдумывают печати, визитные карты и фирменные бланки.

— Не хватает лишь даты, — сказал я.

— Двадцать восьмое июня одна тысяча девятьсот тридцатого года, Холодный Николаевск. Учреждение первого Товарищества Промысла Истории. Бенедикт Герославский, Порфирий Поченгло, Авраам Фишенштайн. Я тут у вас инструменты не оставлял?... Погодите, подвешу на проволоке. Мхммм.

— Зейцов сейчас найдет какую-нибудь старую картину, поменяем.

Саша покачал головой.

— Зейцов на сегодня уже ужрался. Я видел его с футляром этажом ниже.

— Он и вправду учится играть на скрипке?

— Где там. В одной половине у него целая батарея различных водочек, в другой половине — душещипательные лирические сочинения. Я застал его так, позавчера. Сидит себе на солнышке, открывает футляр, вынимает книжку и бутылочку, и фьюууу — полетел! — Саша надул щеки. — Артист!

Я скривился.

— Ведь запилят пластинку.

— Сейчас, сейчас, все устроим.

Он отправился разбираться с патефоном. Я же сел в окне. Если бы не дождь, можно было бы закурить папиросу; я предпочитал мокнуть, поскольку это было намного приятнее. Пластинка остановилась, танцующие подняли громкий вопль; Павлич запустил увертюру с барабанами и трубами, на что все в знак протеста засвистели и затопали ногами; он остановил и эту музыку. Тогда зазвучали покрикивания и молитвенные просьбы. Кто-то вытащил наган и наставил его на Сашу, другое схватили рьяного любителя музыки за пояс и вытащили в коридор, сразу же сделалось свободнее, светлее. Я увидел, что на моем шезлонге спит толстый бурят в штатовской фуражке, в офицерских, покрытых грязью сапогах. Оставалось только вздохнуть. Mijnheer Иертхейм, покачиваясь на широко расставленных ногах, словно старый шкипер в порту, со спрятанным в бороду ртом, заполненным шпильками и проволокой, примерял памятную фотографию рядом с рисунком панны Мукляновичувны. Полуголый казак, с вытатуированным на груди молотом и плугом на красном кресте с тремя перекладами ^[418], вытащил губную гармошку и врезал казачка. В нижней двери, уменьшенной и выгнутой в каком-то абсурдном трюке перспективы, замаячил Зейцов. Я замахал ему. Филимон Романович, склоненный в марше под гору, пер словно бы против ужасного урагана, он приближался ко мне в виде очередных высвечиваний из-под теней и среди танцующих: пятнадцать, десять, пять шагов от меня — фигурка в искривленном ящичке расхлябанной мозаики света и темноты. Чем выше в болезненную геометрию, тем медленнее и с большим трудом он пер; но головы не поднимал, согнувшись

в поясе. Под самый конец ему пришлось собрать все силы, практически выскакивая из полуприседа, по-обезьяньему вытянув вперед руки...

Сундучок ударил его по ребрам, Зейцов упал под окно, схватился, нож упал ему под ноги.

Подбежал Саша, наступил Зейцову на руку. Чуть не подавившийся шпильками голландец схватил бывшего каторжника за ноги.

Зейцов вырывался и плевался во все стороны. Треснувшие очки сползли у него с носа. Он был пьян, но в случае Зейцова это, как раз, было отягощающим обстоятельством. Вывернувшись по-змеиному, он освободил левую руку и указал на меня трясущимся пальцем.

— Он! Он!

Павлич вопросительно глянул.

Я пожал плечами.

— Это у него бывает. — Я поднял нож, провел большим пальцем по лезвию. Острое, словно бритва. — Время от времени, вскипает в нем кровь, и бросается на меня Филимон с убийственным замыслом; но потом в ноги падает, сердце рвет, прощения просит. — Я позвал штатовских, которые прекратили танцевать, изумленные последующим театром безумного насилия. — Закройте его где-нибудь, пускай придет в себя.

Дергающегося Зейцова поволокли в нижнюю часть коробки пьяных линий.

— Он! — хрипел Филимон. — Он!

Пока не исчез вместе с тащившими его людьми в нижнем кривоугольнике.

Я подал сундучок Саше.

— *Спасибо.*

— Мпфх хмых? — спросил *mijnheer* Иертхейм.

— А кто его знает. Может, про изменника-редактора. — Я постучал рукояткой ножа по подбородку. — Так куда вы его, в конце концов... — Глянул на рисунок Елены. *La Menzogna*. Как это Зейцову удалось захватить меня врасплох, что до самого последнего мгновения я не видел в нем убийцы? *La Menzogna*.

— Выплюньте! — нацелил я нож в голландца.

Тот выплюнул.

— Где вы ее видели? — рывкнул я. — В больнице под патронатом Святой Троицы? Только гляньте! Ну!

Быстро протрезвевший, чернофизик осмотрел автопортрет панны Елены.

— Ну... может и похожая. — Он захлопал глазами, пригляделся поближе. — Нет. Ясно, не она. Разве что волосы эти. И, может, глаза... Не она, господин Бенедикт.

Я вонзил нож в библиотечный стеллаж.

— Завтра с утра я еду в Иркутск.

Павлич отшатнулся.

— Не сходи с ума. Несчастья ищешь? Он же ведь сказал, что не она!

— И что с того?

В отчаянии Саша стукнул лбом по китайскому памятнику старины.

— Так ты же сам говорил, что ее нет в живых!

— В живых нет, но, может, и живет.

— Ты был на ее могиле!

— А ты что, не видишь. — Замашистым движением руки я охватил вечерний пейзаж Холодного Николаевска под дождем. — У нас Оттепель!

— Что ты такое...

— У нас Оттепель! — Взглядом я вернулся к выцветшему эскизу. Панна Елена указывала

рукой, вытянутой куда-то за пределы видимого на что-то, чего не существовало. На ее губах не было улыбки, какой-либо иронии. *La Menzogna*. Ложь, которая более правдива, чем правда. — Стоит Оттепель. Она мертва — но, возможно, живет. Может, она и жива.

Mijnheer Иертхейм выпутал из бороды последнюю проволоку.

— Это не она.

— Неважно.

— С ума сошел, — ойкнул Павлич.

Я отвернулся к окну.

— Забери граммофон, пускай уже уходят.

Я высунулся под дождь, ставший более холодным. Прав ли Поченгло? Неужто я все это как-то подмораживаю к себе? Я же не планировал. А то, что планировал, то не удалось, превратилось в посмешище для слишком умных господ. Прошое не существует, будущее не существует. Но ведь иней на оконном стекле тоже ничего не планирует, нет в ледовом кристалле никакой мысли, организующей окружающую структуру. Но, тем не менее, она укладывается вокруг него в соответствии с заранее заданной необходимостью — словно тот же, направленный против энтропии порядок молекул переохлажденного металла. Отец, мартыновцы, Тесла, черная физика, Крупп, новая зимназовая технология. Пилсудский, Дороги Мамонтов. Федоровцы, Фишенштайн. Хроническая бедность, наглые чиновники, Транссибирский Экспресс, Министерство Зимы, Царствие Тьмы, аполитея, Распутин, Товарищество Промысла Истории. Отец оттаявший, отец воскресший. Панна Елена. И даже такие мелочи, как карты Века или умение в бальных танцах. Правда или фальшь? Правда или фальшь?

Я смысл все это с себя.

Перед рассветом, уже одевшись в дорогу, я зашел к Зейцову. Его закрыли внизу, на первом этаже, в угловой комнатухе без окна (чтобы не мог выпрыгнуть). Перед дверью дремал штатовский с берданкой на изгибе локтя. Я приказал ему открыть дверь и принести лампу.

Бывший каторжник просыпался медленно, придавленный каменной тяжестью похмелья. В конце концов, он уселся на голом полу, в нижнем углу, подтянув колени под подбородок, охватив ноги руками. Я присел напротив, возле верхней стенки. Достаточно было немного помолчать, он сам вошел в покаянное настроение.

Зейцов стукнул затылком в дерево: раз, другой.

— *Пашол!* — простонал он. — *Не сматреть! Не сматреть!*

— *Ну, што.*

— Тьфу! Сатана!

Я медленно перекрестился.

— Филимон Романович, что с вами?

— Нет у вас Бога в сердце!

Я прижал тьмечеизмеритель к виску.

— У меня Бог в уме.

— Сатана!

— Или я тебе чем навредил? Когда? В чем?

Тот закрыл глаза руками, возможно, ослепленный после темной ночи.

— Тем, что я вас тогда в поезде не убил...! — стонал он. — Что жить вам позволил...!

Ага! Покаянные угрызения были у него не по причине попытки убийства, но — из-за того, что та не удалась.

Я тяжело вздохнул.

— По-видимому, это из-за Оттепели. Мы же уже проходили все это в Лете.

— Так ведь тогда я и не знал, что вы и вправду будете делать Историю! — глянул Зейцов из-под рукава. — Что постройте себе для того машины, что целую науку выстройте, что самого себя посадите у руля истории и станете ее по собственным замыслам вычислять: это вот необходимо, это вот невозможно — и будет таким! это вот добро, это вот зло — и таким будет! это вот прекрасно, а это гадко — и таким будет! вот это — спасение, а это вот — проклятие — и так оно и разделится! вот небо, вот преисподняя — и так и пойдут слепые массы! Для России и мира остального — аполитея; людям — судьба сонных рабов! И никакого бегства! Даже мысли о бегстве! Даже не будет, в кого бомбами бросать — раз ты вычислишь свои ИСТОРИЧЕСКИЕ НЕОБХОДИМОСТИ! — Он снова закрыл глаза. — Ужас, ужас! Идеальный тиран человечества! Механик сатанократии!

Я повторил ему то, о чем спрашивал он сам, перед тем, как выбросить меня из Экспресса в Азию.

— А не забыл ты свои марксистские догмы? Ведь верил же в них. Впрочем, Бердяев тоже верил. Человек, раньше или позднее, станет хозяином Истории.

— Может, и станет — но ведь что делаете вы, Венедикт Филиппович — вы обрекаете на вечное проклятие все человечество! История — это единственный способ общения Бога с человеком, но после того уже не Бог станет обращаться к нам через столетия и посредством людских деяний, но — варшавский математик! — Вновь он начал биться лбом о стену. — Варшавский математик! — бабах! — больной идеалист! — трах! — Венедикт Ерославский!

— Сам ты неизлечимый идеалист, — буркнул я.

— Я? Я верю в идею для народа, из любви к людям — из той страдальческой, сумасшедшей любви к человеку! А вы, вы верите в идею ради идеи, из любви к идеям, вы уже живете среди идей! И таковой будет ваша История, таковой будет ваша аполитея: Лёд! Лёд! Рай для бухгалтеров и бездушных рабов!

Я заставил себя отстраниться от неприязненных эмоций и обдумать слова Зейцова исключительно умом. (И тут же подумал: а ведь, как раз, взбеситься следовало! Слишком поздно).

Ведь в чем ачуховец может быть прав... Ведь в его словах звучала некая очевидная правда. Все те студенты, изо дня в день живущие среди книжек, поскольку среди людей жить они не способны; живущие среди слов, чисел и идей, ибо среди теплых тел нет для них жизни, ибо среди теплых тел они находят лишь предмет отвращения и озверения — в отличие от идеального представления о телах... Мыслители, изобретатели, искатели Истины всех эпох, все те Николы Теслы, которые никогда не женились и, скорее, заметят красоту математически описываемой машины, чем незрелую, незаконченную прелесть панны Филипов — все те, что своими откровенными страстями толкают мир вперед — которые формируют картину мира будущего... О чем их сны, о чем они мечтают? Чего они желают в электростанциях своих механически заводных сердец? Льда! Льда! Они мечтают о мире и человеке подо Льдом, об Истории подо Льдом! Вот тогда они и вправду будут самыми практичными, самыми жизненными из всех людей — когда язык первого рода совпадет с языком второго рода — когда уже не останется ни малейшей разницы между реальностью идей и реальностью материи.

Подо Льдом не будет возможна какая-либо изобретательность, какая-либо оригинальность — но подо Льдом она и не будет нужна, поскольку правда мысли будет соответствовать непосредственной правде опыта, и операции с идеями, рассказывающими о мире, сведутся к простым операциям на счетах. По сути своей, абаки [\[419\]](#) идей, идеемеры — они, наверняка, появятся первыми [\[420\]](#). В Царствии Темноты философ станет математиком, а

математик — громовладным генералом. Стереометрия взглядов сделается понятным для всех языком, а язык Тайтельбаума, единственный из всех в такое время возможный — орудием абсолютной Правды.

— Правда, Зейцов, — сказал я вслух. — Это будет мир осуществившейся Правды. Разве не была она не мила Богу?

— Если бы Бог имел в виду только правду, он создал бы себе вместо людей логарифмические линейки!

И плюнул в меня грязной слизью.

Я поднялся, взял лампу. Зейцов все так же бился головой об стену. Бум, бум, бум.

— Так почему же ты не пришел, не сказал? — тихо спросил я. Сейчас между нами встала та тишина, что нужна для исповедника и грешника. Бывший каторжник сжался у моих ног. — Почему ты не признался в том, что лежит у тебя на душе? Неужто, и вправду, ты уже видишь меня подобным тираном, что один только стилет до меня дойти способен, только лишь холодный клинок способен я почувствовать в сердце? Мы ведь знаем один другого.

— Я знал вас, так. Тогда, подо Льдом. Но сейчас. Когда вы возвратились сюда через годы. Что там я знаю. *Гаспадин председатель Ерославский!* — скрежетнул он порченными зубами. — Как оно получается, что с пустыми карманами приходите, а они дают вам миллионы, первое кресло в предприятии, громадном будто страна какая; что на слово покупают от вас секретные технологии, опять же, на одном вашем слове о будущей Истории, вами же вычисленной, на одном этом слове всю свою политику строят. Как это так! Вы написали ту *Аполитею*, хорошо. Стоите в черном сиянии, да, уже в Экспрессе были словно лютовщик. Только разве это хоть что-нибудь поясняет? Как это так, Венедикт Филиппович! — Он поглядел на меня диким взглядом. — Ха, вы даже и себе вопроса такого не задали, такова для вас очевидность. И в зеркало не глянули. Отуманили их с ходу. Как и все те, что были перед вами: наши русские самозванцы, пророки земли, юродивые, как Мартын, как ваш Пилсудский, как Распутин — как Распутин — Распутин! — Тут Зейцов снова начал плевать. — Вы ослепили их своей черной Правдой! Мне это ведомо, еще от марксовой братии, сам Троцкий — кто он такой? Проклятый Математик Истории!

Я вышел. Штатовский, зевая, закрыл темную камеру на ключ.

Но из нее неслось, когда я удалялся вверх по коридору: ритмичный грохот и осуждающий визг сломленной и удрученной души.

— Математик! Боже мой, и как я не прибил гада...! Математик! Знал же! — выл Зейцов из глубины искривленного стального колодца. — Математик! Математик! Матемаааатиинииик...!

О коллективной душе и диктатуре милосердия

Дождь размыл картину города, краски и формы разливались у меня на зрачке совершенно как в мираже-стеклах. В левобережный Иркутск мы въехали со стороны кварталов бедноты, через Кайю, Иркут и Кайскую гору; в северные кварталы Уйской слободы. Дождь лил практически целый день, без перерыва, лошади скользили в грязи. Город Тигра и Соболя расплылся в дожде, сделавшись размягченным, неконкретным. Первыми свалились трупные мачты, я не увидел ни единой на Московском Тракте, на городских рогатках, ни потом, в Уйской. На лютном морозе, по крайней мере, виды были ясными, резкими, открытыми до самого горизонта в хрустально прозрачном воздухе; с приходом Оттепели Господь Бог провел по оконному стеклу грязной тряпкой.

Штатовские выбрали левый берег, потому что в течение последних нескольких недель он не сильно интересовал основные политические силы, удерживающие Иркутск под

революционным террором. В бедняцких поселениях северной Уйской слободы — а здесь я видел лишь ряды хибар и низких шалашей, запавших в мокрую землю, уже затянутых краской земли — народилась партия Крестьянской Взаимопомощи, но она не претендовала на государственную власть и не совалась в кровавые драчки с троцкистами, ленинцами, монархистами и национал-демократами; для нее главным было лишь прокормить иркутскую бедноту, которая на три четверти состояла из бедняков, недавно оторванных от земли. У штатовских Поченгло с крестьянами имелся какой-то договор: нас останавливали на дожде пару раз и сразу же отпускали, обменявшись несколькими предложениями. Слова впитались в дождь, этих спешных переговоров с мужиками, вооруженными дубьем и цепями, я не слышал. Через город мы ехали словно наполовину материальные духи сквозь подводный пейзаж; избы, мазанки и доходные дома проплывали слева и справа — окрашенные в цвет дождя, земли, неровные, расплзшиеся, размытые. В мире без прямых линий Правда ускользает от взгляда, человек гладит и не слишком-то знает, что он видит, даже когда видит.

Остановились мы на угольном складе, в квартале от Кештыньского Проспекта. Двое штатовских пошло проверить мост. В городе стоял один только Мост Шелехова; все более старые, слабые конструкции были уничтожены льдинами в начале половодий, понтонный мост сплыл до самого Ледовитого океана. Иногда по Шелехова удавалось пройти свободно, иногда же революционеры с восточного берега стреляли без предупреждения; в другое время в качестве пропуска достаточно было чего-нибудь пожертвовать натурой. Штатовские ушли, вернуться они должны были через час. Мы расседлали и вытерли лошадей. Я выпил теплого спирту, закурил папиросу... а потом мне уже нечего было делать, и я вышел пройтись. Человек возвращается в город спустя много лет, а город переместился во времени, человек переместился во времени, необходимо заново пройти пешком всю карту морщин и шрамов. Где-то здесь, возле Кештыньского, находилась «Чертова Рука»...

Фонари не горели, я заметил это только сейчас. Чуть ли не наскочил на такой зимназовый столб. Я поднял голову. Фонарь, ну да, а что еще! Невольно я глянул на Старый Иркутск, на хмурое небо — висит ли там тьветовое облако, скрывающее за собой вершину башни Сибирхожето? Только дождь закрыл ее намного плотнее, я вообще не увидел ни башни, ни куполов Собора Христа Спасителя, совершенно ничего от правобережного Иркутска. Город растекся комплексом свинцовых, синецетвных пятен, словно посмертные кровоизлияния на трупной коже — как на земле, так и на небе.

В какой-то момент я, видимо, свернул не туда — сунулся в какой-то закоулок, до второго этажа заваленный уже гниющим мусором. Повернул обратно. В последний момент ухватил в куче отходов очертания человека: туда выбрасывали и людские отходы. Сколько же это умерло в Иркутске от заразных болезней, сколько — от голода? Я отступил назад, заслоняя рот рукавом дождевика. Словно в зимнем тумане, также и сейчас, за занавесками дождя, по иркутским улицам украдкой пробирались люди, практически не видя один другого. Я попытался вглядываться в их лица, уже не закрытые ведь миражестекольными очками и шарфами. Отощавшие, с нездоровой кожей, с темными мешками под тазами, и не от тьмечи, но от длящегося месяцами недоедания... Покуда Иркутск экспортировал на весь мир зимназовые богатства, он мог себе позволить привозить в Зиму всякое продовольствие; теперь же порядок и равновесие сломались, не за что покупать пшеницу и рис, некому и покупать, да и вообще, вся идея купеческой деятельности на время революции была отложена в сторону. Сибирское сельское хозяйство толком еще не пробудилось; это же нужно опять выгнать крестьян из городов на землю, в хозяйства, назначенные государством в собственность, в степь и в тайгу, поделенные на дармовые участки. Контролирующие Иркутск партии уже успели издать несколько декретов по Земельной Реформе — каждый из

которых пугал ужасными карами, ежели кто послушается указа не по этой мысли; так что сложно удивляться отсутствию энтузиазма у мужиков. Понятное дело, раз Лёд снова скует Сибирь, придется, скорее всего, довериться земледелию Царствия Темноты, тем самым поднебесным фермам, работающим на тунгетитовой почве, под мощным тьветом...

В «Чертовой Руке» было многолюдней, чем я запомнил. А может, это, просто, такие времена, что все целыми днями просиживают здесь, в нижнем зале, не зная, что делать в городе, погруженном в хаосе и оупляющей нищете. Меня заинтересовало, как хозяин рассчитывается с собственными клиентами — в какой валюте? по каким ценам? находит ли он вообще для них пищу? Повесив промоченное пальто у двери, и поставив там же трость, я присел на свободном месте под окном. Табачный дым заполнял помещение теплым туманом, этому же способствовал и пар из тихонько посвистывающих самоваров. Чай, он был для каждого. Под портретом Алистера Кроули господа европейской внешности делили на носовом платке с вышитой гербовой монограммой засохшую в камень порцию желтого сыра; в качестве мерки им служили зубочистки. Сибиряк (то есть, наполовину азиат) в толстом, топорного покроя костюме из шетландской шерсти, сидящий за столиком, на котором когда-то стояли шахматы с незавершенной партией Кроули и отца Платона, чистил и смазывал разобранную по частям *винтовку* Мосина. Рядом, у холодной печи, подремывающий старик мочил ноги в жестяном тазу. Едва я присел, ко мне подошел армянин с глазами ребенка и спросил, не прибыл ли я Транссибом. Я удивился. Неужели Транссиб все еще ездит? Армянин был мелким купцом по «случайному товару», теперь безработным. Пуска Транссиба здесь ожидали, словно Божьего знака. Всякий состав из Владивостока давал повод для праздника. За сибиряком с винтовкой Мосина-Натана стоял радиоприемник; посетители заведения и знакомые из округи собирались здесь в часы харбинских и обских передач послушать вестей из света; ночью перехватывали радиоволны из Гонконга и более дальних мест. Я спросил про новости из Европы. Армянин мог сообщить лишь то, что Франц-Фердинанд подписал с Николаем II Александровичем какое-то «краковское перемирие» ради специального союза, направленного против революции. Похоже, горел Львов. Лето в Европе было исключительно сухим и жарким.

Громадный китаец разносил чай в филигранных чашечках. У меня не было даже бумажника, не говоря уже о «честных *деньгах*». Я развел руками и сказал, что заплатить не могу. Тот покачал лысой головой и поставил передо мной чашку с горячим напитком. Я поблагодарил. Понятное дело, ни сахара, ни меда, ни соли, ни молока со сметаной не было. В чай макали заплесневевшие лимонные и апельсиновые корки. Зубы, сказал армянин и оскалил щербатый рот. Зубы выпадают. Тут с улицы заскочил парящий дождем жандарм в неполном, покрытом грязью мундире. Господа, воскликнул он, и гомон в заведении затих, господа, новая революция идет! После того вытащил из-за пазухи смятый лист бумаги и расправил у себя на груди. Я глянул: «Новая Сибирская Газета». Там была напечатана та самая фотография с праздника, к счастью, настолько паршивого качества, что на ней вместо трех мужчин могли бы изображаться три елки. Жандарм прочитал вслух пропагандистскую статью из органа прессы СШС. Не успел он закончить, как в зале «Чертовой Руки» разгорелась жаркая дискуссия. «Товарищество Промысла Истории»! А что это, черт подери, значит! Но вот у армянина при этом разгорелись глаза. Зимназо желают производить! Ай-ай-ай, это же новый рынок для тунгетита будет! Но тут же, то один, то другой, правильно отметили, что для этого Поченгло, в первую очередь, нуждается в контроле над Транссибирской Линией. А для этого он должен как можно скорее вступить в Иркутск и договориться с Победоносцевым и Центросибирью. Снова начнутся бои за город! Все перекрестились, дружно произнесли «Боже упаси», сплюнули. На это очнулся дедуля с ногами в воде. Поченгло, прохрипел он,

Поченгло, Фишенштайн, Герославский. Вы поглядите, двое — это *паляки*, а третий — тоже как бы *паляк*, потому что еврей! Так что же это за заговор против России, против императора...! Выгнать эту заразу прочь из Империи! Сибиряк погладил его массивной лапой по головке — да успокойтесь, отец, нету уже Империи.

Пробили часы. Я извинился, поднялся с места, мне уже пора. Армянин приглядывался ко мне, когда я надевал плащ — а не мог он меня узнать? Не мог. Подняв воротник, я вышел на дождь, грязь похотливо всосала сапоги. Где тут Кештыньский проспект, где Ангара, куда идти к штатовским... Я огляделся. Отсутствие прямых линий — только это нечто большее, чем обман глаз в мороси, эти дома и вправду изогнулись, искривились, разлезлись и схлопнулись. Вон, кабак по другой стороне: он с левой стороны уже до половину окна в землю запал, еще чуть-чуть, и эркер-балкончик в улицу упрется. Оглянулся на «Чертову Руку», а не опала ли в грунт каким-нибудь крылом и гостиница. Армянин стоял перед входом с зонтиком над головой, настырно пялясь на меня. Я отдал ему салют тьмечеметром, приложив его к виску. Тот смешался. *Извините, гаспадин, какое...* Я только пожал плечами. Мы, случаем, не встречались? Купец осторожно приблизился. Я вовсе не думаю, будто бы вы Транссибом приехали, признался он, перешептывая сильный дождь. Уж я к вам пригляделся... Вы человек еще Черного Сияния, я узнал. Я буркнул в ответ нечто необязательное. Армянин еще больше приблизился, пряча меня под зонтик. Тут он уже вчитывался в мое лицо, словно в зашифрованную книгу. А вы не знаете про такую сплетню? — спросил он у меня сквозь дождь. Сейчас столько сплетен ходит, сколько новых, с Оттепели! А некоторые из них правдивые, некоторые — явно лживые, некоторые же — и то, и другое. Якобы, когда предсказания благоприятствуют, он спускается в город и путешествует, сам-один, среди людей, никем не распознанный, чужой, подсаживаясь на моментик то тут, то там, подслушивая-прислушиваясь, заговаривая откровенно, набирая в рот городские вкус и дух. Никто не назовет его собственным именем — никто ведь его под этим именем в глаза не видел. Он это или не он? Он? Он? Не он. Победоносцев!

Не сказав ни слова, я ушел. Затем, по дороге, я приостанавливался на поворотах, раз и другой, чтобы проверить, не идет ли за мной армянин; но нет. Штатовские ожидали с человеком в каучуковой накидке. Мост Шелехова находится под контролем стволов банды Рептия, этот вот человек переправит вас через Ангару, идите. Мы ждем здесь два дня до полуночи, как было уже говорено; потом уже идите на пятую милю Мармеладницы или оставьте сообщение на складе Перевина. Я поблагодарил, попрощался. Человек в накидке поначалу представился как Лев, а потом — как Павел, как бы позабыв, что имя уже назвал. Наверняка, оба имени были фальшивыми. По дороге он описал мне политическую карту города: новая фракция эсеров заключила союз с национал-демократами, и вчера они заняли Вокзал Муравьева и привокзальные склады; *Центральный Исполнительный Комитет Советов Сибири* занял монастырь семнадцатого века в Знаменском, выдав монашенок на забаву толпе *бродяг*, завербованных под красное знамя; троцкисты захватили городскую канализацию. Была перестрелка за водопровод, монархисты нападают на водовозов.

Если бы это был какой-нибудь европейский город, город в стране среди иных городов, укрепленный в тесноте карты! Сколько бы могли они перепихиваться? Пару недель? Система внешних сил передавила бы вопрос в ту или иную сторону, ситуация в стране и ситуация соседствующих государств вынудила бы победу тех или иных сил. Но Иркутск, но подобная сибирская метрополия, одиноко подвешенная в середине азиатской бесконечности на тонюсенькой ниточке Транссиба — я это прекрасно понимал — здесь у нас мир, оторванный от остального мира; проходят месяцы или года, пока необходимость с востока или запада перевесит чашки исторических весов. Пока же все возвращается в неконкретности, наполовину

победах и наполовину поражениях; вот, такая это недоделанная Революция, История по Котарбиньскому.

Мы спустились на берег Ангары у старого железнодорожного моста, перед тем, как река сворачивала к востоку. Сквозь колышущиеся на ветру занавеси дождя я с трудом мог распознать очертания правобережного Иркутска. Город — всего лишь его тенистое очертание — воспоминание о городе. Речное течение было, на удивление, спокойным, волны были не выше половины аршина. Вода в Ангаре цветом напоминала старую грязь. Два помощника Льва-Павла вытащили лодку на каменистую отмель, вчетвером мы вытолкали ее в воду. Ежели чего, выдыхал мне Лев-Павел, когда мы уселись за весла, ежели чего, говорите, что ходили туда по лекарства. Как это — ежели чего? Неужто в глазах революционных партий это какое-то преступление: переплыть на другой берег? Хуже, просопел тот. Измена!

Размягченный профиль Старого Иркутска медленно вырисовывался на загрязненном небе. К берегу мы прибились под самой смотровой террасой на бульваре. Три раза световой сигнал каждый четный час, сказал Лев-Павел и налег на весла сразу же, как я выскочил на берег. Чумазные мальчишки приглядывались ко мне сверху сквозь балюстраду. Я скорчил им страшную мину. Их серьезные мордашки даже не дрогнули; широко раскрытые глазки даже не мигнули.

Я выбрался на улицу, погружаясь при этом в грязь по колена. Вдалеке, на южном конце бульвара, на мостовой лежал сброшенный и наполовину перебитый памятник царю Александру III; на пустом постаменте торчали куски каменных императорских ног. По центру бульвара высилась громадная куча мебели, предметов домашнего обихода, поломанных саней, книжек и бумаг россыпью; на самом верху, словно вишенки на торте, алели изуродованные тела голых мужчин. А на судейском кресле, выставленном посреди пустынного пространства, под зонтом сидел молодой человек лет, возможно, шестнадцати и читал книжку; на коленях его лежали две винтовки, стволом к прикладу. Я, как можно скорее, свернул в первый же перекресток.

Фонари не горели — на них горело нечто иное, пока дождь не погасил пламя. Иркутск поддерживал традиции трупных мачт; революционеры вешали на фонарях облитых керосином буржуев и бросали в них факела; остались куклы угольной гари, кроме общего очертания человеческой фигуры, больше ничего узнать невозможно. Никто из немногочисленных прохожих не поднимал головы, чтобы глянуть на них — в этом заключалась разница с трупными мачтами бурятских шаманов, на которые с отвращением, да, с отвращением, но все пялились, словно на туристическую достопримечательность. Но теперь иркутские обыватели ходили, уставившись себе под нот, перепуганные самой возможностью установить контакт с другим человеком. Насколько могли, они стирались из существования. Не гляжу, не вижу, меня не увидят, на меня не глянут. Приклеенные к стенке, прошмыгивающие как можно подальше от мостовой, с повисшими руками и свешенными на грудь головами. Они размывались в дожде, не издав ни звука, даже их шагов не было слышать. Никто не разговаривал.

На перекрестке с Главной я заметил на фонарях несколько светлых силуэтов: их повесили уже в дождь. Я узнал мужчину в зеленой жилетке, болтавшегося под окнами бывшего Окружного Суда: бургомистр Шостакевич. Выходит, его все-таки нашли! Поченгло считал, будто бы Болеслав Шостакевич сбежал в Харбин с началом Оттепели — по-видимому, несмотря ни на что, он предпочитал остаться в своем городе, на радость или на горе. Выходит, на горе, на беду.

Но не могут ведь все эти повешенные быть давними политиками или предпринимателями, вытасченными из укрытий. Даже когда я глядел вдоль заслоненной

дождем улицы, видел с дюжину затянутых на фонари трупов. За целый год безвластия иркутские бунтовщики успели бы перевешать всех из своих черных списков. Так кого же вешают и сжигают сейчас, раз не осталось классовых врагов, религиозных богохульников и слуг бывшей власти?

Ну да, а вешать, видимо, обязаны. По чему выбравшийся из Льда человек узнает в материи перемещения фронтов идей? Это какая партия контролирует на этой неделе северные кварталы Старого Иркутска за Главной? Такова вот новая война на Дорогах Мамонтов: не инородческие племена, но политические течения, и не ради того, чтобы отогнать враждебных духов, но ради того, чтобы гнобить чужие исторические проекты — вот ради чего они ставят трупные мачты над иркутскими улицами. Один раз верх берет мир тела, другой раз — мир духа. Но война та же самая.

Парню, повешенному на следующем перекрестке, к ступне привязали табличку, сообщающую, что, по приговору Рабочего Совета он был осужден за «частный хлеб»; по чему я узнал, что нахожусь на территории ленинцев. От штатовских я как раз узнал, что, в связи с царящим в Прибайкалье голодом, Центросибирь постановила, что законным является исключительно то продовольствие, которое было официально разделено и выделено; все продовольствие из других источников должно быть отдано Комитету, наказанием же за приватное потребление является смерть. Питание является публичной деятельностью, оно разрешено исключительно под строгим контролем народной власти, «общее питание» [\[421\]](#). Подозрительны любые неожиданные движения челюсти и сглатывание украдкой. Опорожняющиеся в ночное время подлежат неожиданным физиологическим проверкам. Имеется план взвешивания каждого жителя Иркутска и постоянного подсчета всяческой органической массы, остающейся под управлением Центросибири. Марксистские счетоводы уже пошли в бой со своими счетами на Материю.

Здания, соседствующие с Больницей имени [\[422\]](#) Святой Троицы, в большинстве своем, наполовину запали в себя, словно на них наступили с неба; одно из них представляло собой картину полнейшей разрухи, с черным от гари фасадом и выбитыми окнами. Пожар лизнул и саму больницу, оставляя тигриные полосы на каменном теле, между слезящимися окнами из мираже-стекла или молочно-белого стекла.

Едва я только вошел в вестибюль *бальницы* и обрел равновесие на ее наклонном, пошедшем волнами полу — протяжный грохот прокатился по округе, и земля затряслась. Вьюноши с повязками Центросибири на руках, что охраняли центральные двери, выбежали на улицу, чтобы сразу же вернуться с сообщением, что завалилась половина Собора Христа Спасителя. То один, то другой из присутствовавших инстинктивно перекрестился. Прибежал толстенький комиссар, на котором не было сухой нитки, и забрал с собой этих молодых солдат революции, как и всякого иного ленинца, которого он знал в лицо: необходимо как можно скорее организовать охрану, прежде чем люди бросятся разворовывать тунгетит с разбитого купола. *Значит*, и в Иркутске тунгетит снова в цене. Я подумал, что это добрый знак, История укладывается на своем ложе.

И на этом мой оптимизм погас. На лестнице меня остановил какой-то коротышка с целыми тремя повязками ленинцев на забинтованной руке, которому осточертело плевать в заржавевшее ведро, когда же я отказался дать ему папиросу, он начал грозно посапывать и бормотать политические угрозы. Откуда подобная реакция? Панна Елена опять сказала бы, что я повел себя высокомерно, даже не осознавая этого высокомерия. Я просчитал все это про себя. Затем спросил у ленинца, как долго тот здесь, в Святой Троице пребывает. Парнишка похвастался, что его прострелили в целых трех местах. И показал: рука, плечо, бок над бедром. Я расстегнул *пальто* и вытащил из-под свитера обвязанную брезентом

черепашковую папку. Вот, поглядите, а не видели ли вы здесь, в больнице, такую вот *девушку*? Помогает раненым вместо сестер милосердия. Ленинец впилился в автопортрет Елены, неожиданно взволнованный и по-русски сочувствующий. Ах, любимую разыскиваете! Я покачал головой, избегая языка второго рода. Тот очень внимательно приглядывался к рисунку; под конец заявил, что такой девушки не видел.

Но! Да не печальтесь, *товарищ*, понапрасну, мог видеть, мог и не видеть, мог позабыть — хотя такой красавицы наверняка бы в памяти не пропустил. Ну, тогда нужно спросить у ответственного лица. *Пошли, пошли*, проверим у старшей сестры, она ведь всех добровольных помощниц в больнице должна знать.

И мы отправились на поиски сестры; раненый коммунист получил новое боевое задание и бросился в дело с революционным задором. Вначале мы пошли на третий этаж, где обычно и располагалась старшая сестра; там нас отослали в хирургию. В хирургии царил больший, чем обыкновенно, хаос (как быстро заверил меня ленинец, сам слегка ошеломленный). Мало того, что никто ничего не знал; к тому же все были слишком загнаны, чтобы понять, а чего они не знают. Милиция Комитета как раз начала свозить жертв из Собора; повсюду была грязь, кровь и физиологические выделения цвета той же грязи. Дело в том, что Собор не рухнул в строгом порядке развалившегося карточного домика. Фундаменты в размороженном и вымытом грунте запали с одной стороны, и в эту же сторону «съехала» часть монументального святилища, завалив обломками добрую половину квартала. На повозках, на лошадях и на тачках, на руках оставшихся в живых соседей, наконец — в Святую Троицу добирались раненные, умирающие и уже мертвые, которых только доктор мог объявить мертвыми, чтобы семья поверила. Но и тогда верила не сразу: не жили, но, может, и жили. Я кружил в этой буре крика, плача и человеческих трагедий с рисунком панны Мукляновичуны в руке, как очередной родственник жертвы трагедии, оглушенный неожиданным несчастьем и в слепой надежде сжимающий святую икону. Я пытался расспрашивать врачей, сестер. Даже если те и отвечали, то рассеянно и в явной спешке. (Никто из них Елены не распознал).

Под вечер все немного успокоилось. *Товарищ камунист* появился, чтобы угостить меня махоркой и предложить новый замечательный план. Ведь кто, кроме старшей сестры должен обязательно знать каждого работающего в больнице человека? Ну да, специальный комиссар, присланный в больницу Комитетом, подписывающий пропуска от имени Комитета! А я знаю Василия Петровича еще со времен, когда трудился официантом — заверил меня мой ленинец — сейчас мы это дело решим.

Отправились мы к комиссару Центросибири. Василий Петрович раненого камрада и вправду узнал, но не горел желанием вспоминать давние с ним связи. Спрошенный, а не выставлял ли он пропуск такой-то и такой *девушке*, на имя Елены Муклянович или какое-то другое, он сразу же начал допытываться, прищурив набежавшие кровью глазки: а кто такая? а кто этот спрашивающий? а *из-за чего тревога такая?* а чей тут политический интерес? а красавица эта — почему на картинке так по-буржуйски одета? Полька, а? Полька? И тут я совершил абсолютную глупость, потому что открыл Василию Петровичу свое настоящее имя и истинные обстоятельства дела. Но ведь стояло Лето, а сам комиссар по рождению не был слишком догадливым — не сопоставил, не узнал, никакая светень не очертила ему очевидности. Под конец Василий честно изучил автопортрет панны Елены и заявил, что такая вот или хотя бы похожая гражданка никогда *бумаги* от него не получала.

Я поблагодарил, вышел в коридор. Нет в живых. Сплюнул в плевательницу остатки махорки. Маленький ленинец еще пытался меня утешать. Я уселся на табурете под бело-слепым окном, распрямил сколиозную спину. В *бальнице* воняло кислой химией и застаревшей

кровью. В воздухе висела плесенная сырость. За окном дождь барабанил все громче. Опершись на подоконник, я почувствовал как холод продувает сквозь щели в стене, и меня тянуло к этому холоду. По стенкам змеились щели, в них скалились бурые десны кирпичей и зубы измельченного раствора. Весь Иркутск валится.

И что теперь, спрашивает сочувствующий коммунист, может, пойдете проверить у ее родных? Я пожимаю плечами. Нет у нее здесь родных. Подождем старшую медсестру. А что, Василий нам правды не сказал? Да... сказал, не сказал, имеется сейчас хоть какая правда...? Сплеываю практически всухую. Мальчик-ленинец видит, что дело сильно кислое, и давай выдумывать самые фантастические утешения. А может, этот ваш приятель спутал ее с какой-то больной! А может, она вовсе и не работала тут добровольно, чтобы ее в реестры вписывали, а только раз или два помогла по доброте душевной, проводывая кого-то, а он тут ее и заметил и такое вот себе надумал. Может, она чем больна? Ну, вот видите! А может, и кого знакомого тут навещала. Быть может, все это происходило еще при сдвинутом фронте, когда Святую Троицу удерживали троцкисты или бомбисты-эсеры, после того часть персонала ушла, опасаясь обвинений в измене, оно и так здесь почти все добровольцы — ведь кто им платит хоть какой-нибудь оклад? разве зарабатывают они на лечении больных? Нет! Вот она, заря коммунизма: бескорыстная помощь чужому, нуждающемуся человеку. А тот, кто желает наживаться на страдающих да умирающих, тот правильно бежит от народной справедливости! Так вот сбежал старый ординатор Кессельман, который меня по началу еще тут в кучу складывал, так сбежал известный хирург Бусанский, доктора Варами, Конешин, Алхолц-Штрайер, сам директор Путашкевич, якобы, опустошив перед тем всю больничную кассу; вооо, для таких людей — сразу же веревка и фонарь...

Конешин! Так значит, здесь работал доктор Конешин? И что с ним потом случилось? Ленинец схватился с места и тут же выдал: Конешин ушел с националистами, задержался в давней Городской больнице. Но на что вам тот доктор? Что, уже не *девушку* разыскиваете?

Я выбежал на улицу, спешно спрятав рисунок. Лило, как из ведра. Я направился на восток, собираясь свернуть в первый же южный перекресток. Но там я услышал выстрелы; пробежали какие-то люди, прячась за заломами стен и углами. После катастрофы с Собором ночь собиралась сделаться беспокойной; троцкисты захотят воспользоваться случаем. И я пошел окружным путем, через Большую и Ивановскую. В разграбленном пассаже Второва притаилась группа вооруженных людей на лошадях, с винтовками под накидками, только и ожидающая знака на приступ. Я не знал, то ли это еще ленинцы, то ли форпост каких-то других «творцов истории». Было слишком темно, и даже без бьющего в лицо дождя высмотреть можно было лишь анонимные силуэты, тени на тенях.

И вот так, улица за улицей. Кто-то за кем-то гонится, кто-то в кого-то стреляет, кто-то кого-то зовет сквозь непогоду... Лубум, лубум, лубум! В тучах над Иркутском блеснула молния, и я увидел, что стою перед зданием Физической Обсерватории Императорской Академии Наук. За мной, в городе, революционеры с энтузиазмом стреляли друг в друга, вопили раненые, плакал ребенок, панически ржал конь. Лубум — шла через землю вибрация от ударов Молота Тьмечи. Я вошел вовнутрь.

Главный вестибюль Обсерватории раскололся на две части; вся западная сторона лежала в развалинах. Я ступал по мусору, подпираясь тростью. В полумраке сложно понять, что и где... Зажег спичку. С облупленного фрагмента фрески на меня глянул олененок, отражающийся в зеленом озерце. Лубум! Почему же никто не отключил прототип доктора Теслы? Это же он бьет так целые годы с момента его бегства. Неужели побоялись адской машины? Из банального суеверия? Саша не упоминал, что здесь творилось потом, сюда после падения Цитадели он уже не возвращался. А ведь в одной только аппаратуре здесь

заключены пуды тунгетита!

Я не входил в мрачные коридоры, в двери — в немой истерии — искривленные в треснувших стенах. Темнота и тишина; заброшенное святилище науки. По углам мусорят духи теслектричества и остаточные изображения люттов. Слышен один только дождь, текущий плотными струйками. Что-то шмыгнуло во тьме, зашелестело, запищало. Очередной спички я не зажигал. Кот? Мышь? Крыса? Или здесь живут какие-то *брадзяги*, или люди спрятались от уличных сражений.

Я вскарабкался на завал высотой до половины груди и спрыгнул на другую сторону. Выход на внутренний двор блокировала громадная куча мелкого мусора, крепко склеенная грязью и обломками. Под притолокой пришлось бы протискиваться, проползая на четвереньках. Вернулся к повороту, вошел в боковой зал; если память замерзла правильно, это было помещение за складом Теслы, в котором он испытывал свою черную катушку — в длинной стене здесь должны были размещаться два окна, выходящие во двор. Я стучал по стене тростью, отсчитывая шаги от угла. Наконец, рама, но вот оконных стекол нет: просаживающееся здание выдавило мираже-стекла из косяков. Нажал — ставня слетела с петель. Лубум! Я выглянул во внутренний двор. Шшшшшшшшш.

Вспыхнула молния. Я ничего не увидел. Лубум! Вторая молния. И тут замерцала сотня маленьких глазок, уставившихся прямо на меня. Инстинктивно подавшись назад, я чуть не упал. Крысы стояли, застыв в неподвижности под проливным дождем, замершие, словно на выжженной молнией фотографии: все стоящие на задних лапках, все с мордами, повернутыми в одну сторону. Лубум! Зато двигалась кувалда Молота Тьмечи, и с его ударом по животным прошла волна-дрожь, словно бы кто-то смял и рванул этот снимок. Сердце подскочило прямо к горлу. А ведь что, собственно, произошло потом с грызунами, используемыми Сашей Павличем для теслектрических опытов? Здесь, в Обсерватории, все осталось так, как и в день бегства Николы Теслы. Действовал прототип Молота, подключенный зимназовыми кабелями к токоприемникам, выкачивающим теслектрическую энергию с Дорог Мамонтов. Животных, скорее всего, никто из клеток не выпустил, они оставались закрытыми. Но — действовал прототип Молота. Хватило одного пика теслектрической волны... Лубум!

Сейчас на этих кабелях висели гирлянды всякого мусора, связки странным образом скрученных проводов с запутавшимися в них талисманами людской цивилизации: карандашами, пишущими ручками, монетами, ключами, отвертками, гребешками, зубочистками, пакетиками, моноклями, пружинами и сотни других мелочей.

Я медленно отступал от окна, боясь сорвать ту удивительную связь, удерживающую крыс в стадном ступоре. В конце концов, ее разрубила стена. Тогда я повернулся и побежал к выходу, спотыкаясь на крупных кусках мусора и сбивая себе голени.

Судя по отзвукам выстрелов, заглушаемым дождем, уличные бои переместились к востоку, к Северному Вокзалу. Я перебежал на южную сторону Главной. Где-то через две сотни шагов я прошел мимо остатков баррикады, перегораживавшей мостовую и тротуары. На мостовой рядом валялись мертвая лошадь и мертвая собака, что походило на композицию, достойную Гойи. Я засмотрелся на нее. Пуля взвизгнула рядом, отразившись рикошетом от булыжника. Я бросился в арку проезда. Оказалось, что во дворе-колодце прячется пара эсеров, один под сорочкой истекал кровью, другой — с тремя револьверами за поясом, причем, барабаны во всех трех были пусты. Эсеры показали мне проход в задней калитке, ведущей в западный проулок и посоветовали держаться ангарской стороны. Кто это стреляет, спросил я у них. Те не знали. А почему в окнах нигде нет света? Люди боятся, прячутся за тьвечками. Вы выглядывайте пятна тьвета, там идет бой.

Я выбежал на западную сторону. Тут понял, что по дороге к Городской Больнице придется сделать широкую дугу через половину Иркутска. На угловом каменном доме в неоготическом стиле заметил вывеску «Нового Ралмейера» (витрины самого магазина были забиты досками), и тут до меня дошло, что я нахожусь где-то рядом с Конным Островом, и что справа от меня идут Заморская и Цветистая.

Цветистая, долгими своими фрагментами, выглядела совершенно обезлюдевшей. Нехорошее предчувствие появилось еще за несколько домов, когда в понурой оправе дождя я видел лишь сожженные коробки домов; похоже, начиная с одиннадцатого номера, вся прилегающая к реке сторона выглядела именно так. Застройки, выходящие на берег Ангары, сразу же после Оттепели послужили военными укреплениями во время первых, самых страшных боев за контроль над Иркутском.

Дом семейства Белицких исторгал из пустых глазниц чернильную темень. Правда, фасад стоял неповрежденным. Половинка ворот болталась на одной петле, жалобно визжа на ветру. По треснувшей лестнице я поднялся на второй этаж. Весьма неприятно было накладывать на картину уничтожений воспоминания о светлых, теплых днях, проведенных в семействе Белицких. Направо кухня, комнаты для слуг — я вошел. Полы сорваны, паркет обуглен, печь разбита. В двери слева замаячило белое пятно — это какой-то гриб уже успел вырасти в постоянной сырости, разрастаясь по развалинам лентами лишаяев. Тростью перевернул доски и стоящие торчком куски штукатурки. Какие-то птицы свили здесь себе гнезда. Под стенами слой нечистот, воняло экскрементами. Вода протекала сквозь щели и трещины в потолке. Третий этаж. Все разграблено, а чего не смогли вынести — порубили и сожгли. Буфеты в салоне, большие стоячие часы, шкафы из орехового дерева — остались лишь щепки да уголья. Там, где воскресными пополуденными часами я играл на шезлонге с детьми, теперь стоит грязная лужа, а в ней плавает недогрызенный трупик вороны. Под искривившимся окном валяются гильзы. Я поворачивался на месте с одним глазом, глядящим в дождливую ночь, а другим — в несуществующее прошлое. Вот здесь — салон, там — столовая; вон там — кабинет пана Белицкого. Бегали дети, растирая мак, стучал пестик; пахло рисовой кутьей и горьким чаем, били часы, старенькая пани Белицкая бормотала под нос молитву, гудел огонь в печи. Так, нет, так, нет. Сквозняк продувал холодным дождем, сгнившие остатки помещанского уюта похрустывали под сапогами. Там, где пани Белицкая сживала в кресле с пальцами и вязаньем, теперь зияла дыра с рваными краями: в нее съехала вся дымовая труба, когда сдалась несущая стена. Я шел от двери к двери. В спальне Белицких — сожженная рама супружеского ложа. В моей спальне — остатки громадного костра. Покопался тьмечеизмерителем в смеси грязи с пеплом. Чего тут только не жгли, даже фарфор, картины и зеркала бросили в огонь. Концом трости стронул обломанную фигурку индийского слона, та перекатилась через порог и упала в черную дырку. Я понял, чего разыскиваю, подгоняемый нервной меланхолией, и боюсь найти: их останков, каких-то следов страшного конца Белицких, материальных доказательств. Ведь если бы у них было время спокойно выехать, наверняка бы забрали с собой больше вещей. В библиотечной комнате часть книг спаслась от огня; потом они сгнили, заплесневели, распались, выставленные на непогоду и жгучее солнце. Некоторые титульные листы еще можно было прочесть. «*В пустыне и пуще*», «*101 развлечение для компании*», «*Замерзнувший*», «*Самаркандский дневник*». В углу очередной трупик. Я ткнул тростью. Нет, всего лишь плюш и подмокшие тряпки из детского мишки. Кто-то распорол животик Пана Чепчея и так и бросил испорченную игрушку. Что, искали богатства Белицких в медвежонке Михаси? Пан Войслав по-доброму не отдал? Если только его не повесили первого, вместе с самыми значительными иркутскими буржуями сразу же после Оттепели. Я вообще не обратил внимания на то, а висят ли на фонарях по Цветистой

улице какие-нибудь трупы. Подошел к восточному окну.

В самую пору, чтобы подглядеть очередной акт не снижающей скорости революции. Трое вооруженных подростков под угрозой стволов прижало четвертого, наверняка принадлежащего иной политической правде. Происходило это на другой стороне улицы, так что я видел лишь их спины. Трое как раз вязали руки своей жертве. Веревку уже перебросили через перекладину фонаря — техника вешания была четко разработана, на один конец веревки привязывали камень и камень этот перебрасывали через перекладину столба. Жертва была готова; поначалу она еще что-то кричала на троих, но те сунули ей в рот ком грязи.

Теперь петля на шею, пара вешателей хватается за другой конец веревки, по данному знаку сейчас потянут...

Из дождя на них выскочил конный отряд, всего четверо всадников, только и этих хватило с избытком: потоптали копытами того, что держал под прицелом обреченного, застрелили одного вешателя, второго же загнали под стенку. Как быстро на все сто восемьдесят оборачивается Правда в размороженном потоке Истории! Бывшая жертва, освобожденная от пут, теперь схватила этого третьего вешателя и поволокла, дергающегося, под фонарь. Петля уже была готова — свободный конец веревки привязал к седлу один из всадников — теперь оставалось лишь ударить коня шпорами — и тут я высунулся из окна по причине той самой горячки на местах казни, что легко захватывает даже случайного зрителя — плюющийся грязью спасенный уже стянул петлю на шее своего палача...

Подо мной треснула доска, посыпались кирпичи, я свергся этажом ниже.

Когда я уже пришел в себя от шока и поднялся на колени, весь побитый, щупая, не поломаны ли кости, они стояли кружком с нацеленными винтовками. Я поднял руки вверх. Лишь бы встать на ноги, связать взгляд со взглядом, ведь при мне нет никакого оружия или компрометирующих бумаг...

В первую очередь, *на всякий случай*, меня избили до потери сознания.

От этого сильно опух второй глаз, единственный, который до сих пор хоть что-то видел, чего я не чувствовал погруженный в поровну распространившейся боли, и первой мыслью после возврата чувств была такой, что зрение — оно уже никогда не вернется, потому что меня ослепили, потому-то ничего и не вижу. И вот тут меня охватила тревога! Тревога, гнев и какая-та животная жажда мести — связанный словно болонская колбаса, я начал метаться по неровной поверхности, болезненно сталкиваясь с мебелью и стенами, выкрикивая угрозы и проклятия. Пока кто-то не подошел (шаги я слышал) и не стукнул меня по затылку, и я вновь утонул в бессознании.

Потом я уже действовал разумнее. Придя в себя, я лежал тихо и только крутил головой туда-сюда, натыкаясь на доски; таким образом определил особую боль в расквашенном веке и выросший на глазу кровавый пузырь. Удалось проколоть его острой щепкой. Я почувствовал стекающее по лицу тепло. После этого я начал сражение с веком: хотя бы миллиметр, хотя бы узенькая щелка для света — рраз! в зрачок ударил багровый отсвет. Я перевернулся на бок, чтобы из такой позиции червяка, весь залитый кровью, глядеть на свое узилище.

Я находился в длинном помещении с рядом мираже-стекольных окон по другой стене, на которых сейчас перебалтывались лишь отражения внутренних картин; снаружи стояла темная, грозовая ночь, я слышал регулярный стук дождя и урчание далеких громов. Здесь же горели электрические лампы, слабенько, одна из пяти, тем не менее, это было первое электрическое освещение в Иркутске после Оттепели, которое я видел, даже в больнице Святой Троицы обходились без него.

На одном и другом концах помещения вверх и вниз проходили винтовые зимназовые

лестницы, и кто-то непрерывно по ним сбегал и поднимался, в основном, вооруженные мужчины, с черно-красными повязками на рукавах. Я попытался припомнить цветовой код революции, как объясняли его штатовские. Зеленое и белое — это СШС, красное — ленинцы, черное и белое — национал-демократы, а черное с красным — может, это коммунисты Троцкого?

Я не был здесь единственным их пленником. Рядом, справа под стенкой лежали трое несчастных в еще более худшем, по сравнению со мной, состоянии, потому что их руки были связаны за спинами, на головах мешки. Впрочем, где-то через четверть часа пришли громилы с берданками и вытащили тех троих за ноги, наверняка, на спешную казнь. Я задрожал.

А вот слева от меня была клетка для животных, в которой лежал голый труп, чудовищно истерзанный, весь в ранах, струпьях и синяках, с отрубленной левой ступней и оторванными пальцами. *Значит*, как мне поначалу показалось — что это был труп — но в какой-то момент тот зашевелился, повернулся в клетке в мою сторону, подмигнул окровавленным глазом... И меня прямо потрясло от изумления и невольного отвращения, которого я никак не мог пояснить, поскольку отвратительной в этом страшном человеческом остатке была именно жизнь; со смертью я бы еще как-то смирился. Человек в клетке заметил, что я его вижу, так еще и усмехнулся мне беззубо, скаля обезображенные десны. На высоком, выпуклом лбу было четыре шрама, словно от когтей хищника. Прядь седых волос присохла под его разбитым носом. Дыша, он свистел странными дырами на лице. Из уха вытекал бесцветный гной.

— Приветствую в чистилище, — прохрипел он сквозь прутья; затем еще закашлялся, засвистел, потом еще глуповато захихикал, и вот тогда, в кратком проблеске тьмечи, я узнал замученного пытками калеку: Франц Маркович Урьяш.

Мы знакомы по Ящiku, говорю ему, видывал ваше благородие по казенным делам, *что случилось?* А он: хры-хры-хры — это же смех Урьяша, это же он смеется, и вот тогда до меня дошло еще одно: Франц Маркович *сашел с ума*.

Сколько же это держали его в этом чудовищном заточении? Осторожно расспрашивая, словечко за словечком, я добыл эту историю несчастья: схватили его сразу же после Оттепели, но совсем даже не троцкисты, но отряд ледняцких монархистов, которые в то время еще имели какую-то силу в Иркутске; прежде всего, они желали покарать графа Шульца за непростительную измену по отношению к Его Императорскому Величеству, а господин Урьяш попался им как первый пособник генерал-губернатора, от которого они любыми возможными способами вытянут тайну укрытия предателя. Дело в том, что ледняки, не видя собственными глазами графского трупа, не верили сообщениям о его смерти, и решили они до тех пор мучить бедного Франца, пока он им тайну и не выдаст. Вот только Франц никакой тайны и не знал. Графа Шульца-Зимнего не было в живых. Стояла Оттепель, сплетня равнялась слуху и равнялась правде. Он говорил, но убедить их никак не мог. Если бы хоть что-то знал, признался бы в первый же день. А так — его пытали неделями. Именно тогда начал он терять разум. Четкими словами он мне этого не сказал, это естественно, но история была ясной: его мучили не до точки Правды, а до точки полнейшего разморозения. И он сошел с ума. Тогда его продали ленинцам.

Те поначалу думали использовать его для показательного процесса народной справедливости, только быстро поняли, что сделают из процесса лишь посмешище, выставляя на вид и ради примера подобного обвиняемого. Но вот убить его просто так, без какой-либо выгоды и без политического решения — на это они тоже не пошли. Так что держали его в каком-то холодном подвале, кормя каким-то червяками и помоями, пока фронты уличной революции не переместились, и квартал не заняли троцкисты. В их руках господин Урьяш познал новые страдания, ибо среди самих троцкистов не было согласия

относительно из политического пути в Сибири, так что между собой сталкивались и ссорились различные заговорщические и внутриаговорщические группы, каждая из которых ссылалась на учение Льва Давидовича Бронштейна. Так что, когда одни уже тащили господина Урьяша на фонарь, заскакивала другая *каманда* говорила, нет, мы жизнь губернаторского наушника продадим на пользу Революции! Так вот он и попал в эту клетку, словно зверь, словно животное — то ли волкодав, то ли борзой пес — в которой его стиснули, неделями держали на четвереньках. И в это время, троцкисты торговались с Победоносцевым, чтобы тот предоставил им поездом больше, то безопасный переброс из Томска, то за какие-то энергетические концессии. Только Победоносцев, видать, совсем не ценил жизнь Франца Марковича. Господин Урьяш скалился с собачьей гордостью. Никогда он меня не ценил, хры-хры. А сейчас меня здесь на жаркое держат, как голод подступит к горлу Революции, меня и съедят, хры-хры-хры.

И когда я так вот с превращенным в животное губернаторским чиновником обменивался шепотом и безумными смешками, подошел к нам, под стенку, один из троцкистов в кожаной, фасонной куртке, с тремя дырами от пуль на груди, держа над головой керосиновую лампу. Я замолчал, когда заметил движение теней на деревянных поверхностях. Тот остановился, покачался вперед-назад на каблуках казацких сапог с блестящими, высокими голенищами, наклонился, приставил мне к виску мутное стекло горячей лампы. Я дернулся назад. Тот схватил меня за полу пиджака, рывком поднял в сидячее положение и начал обыскивать карманы. Бумажник у меня забрали еще раньше [\[423\]](#). Тем не менее, этот боевик был более скрупулезным. При этом он ежесекундно зыркал мне в глаз; да и я находился под странным впечатлением, будто бы откуда-то этого черноволосого молодого человека, с топорным лицом, замерзшим под сердитыми морщинами, с пышными усами, закрывающими губы, с натруженными, твердыми от мозолей руками знаю. Он? Он? Не он. Он обнаружил у меня завернутую в брезент папку с рисунком панны Елены, забрал, раскрыл, присветил над листом, усмехаясь в цыганскую щетину. Я выкрикнул бессмысленный протест — тот ударил меня наотмашь, даже не сжимая пальцев в кулак. Только кожа под слепым глазом лопнула, словно разрезанная. Когда он уходил, в керосиновом свете я заметил на его безымянном пальце ту яркую звезду: перстень с крупным бриллиантом, сейчас залитым кровью. Который я уже легко узнал по холодной памяти — он? он! — бриллиант Великих Моголов пана Войслава Белицкого.

Задрожал пол, и дрожь прошла по всему зданию, в окнах зазвенели стекла: проехал поезд. Нас держали где-то неподалеку от железной дороги — разве не под контролем троцкистов находится *Иннокентьевский Паселоки* все те рабочие поселения к югу от Вокзала Муравьева? Я лежал, угнетаемый еще более мрачными мыслями. Всех убили, теперь убьют меня. Специалиста по напрасной трате алгоритмически рассчитанных планов! Ведь имел Историю перед собой на столе, так нет же, обязательно следовало в самую глубокую энтропию самому ползть! Струйка тепла ползла улиткой по щеке, ужасно раздражая нервы на коже; я терся лицом о доски. Боль, боль, боль. Урьяш приглядывался ко мне диким взором. Дурак, шипел он, дурак, все они дураки. *Сматри*, как золотом себе в зенки светят, как под хрустальями зевают, *красавицами*, орденами друг перед другом чванятся. Где теперь князя, генералы, адмиралы? Где они? Чистилище!

И вправду, а где они сейчас? Я спросил у особачившегося комиссара про князя Блуцкого. Ведь сначала он стоял с царскими силами в Александровске, а затем, после того странного договора с Победоносцевым и графом Шульцем-Зимним, отступил на Обь. Разве император не отдал ему каких-то приказов после Оттепели? На это Франц Маркович затряс клеткой, стучась в ее прутья в неожиданной истерике. Хры! Хры! Хры! Князь Блуцкий! Князя Блуцкого

его собственная супруга отравить хотела! Таким вот ледняцкий договор с Победоносцевым был, и такова вам сила графа Зимнего на сибирском троне: Лед! Лед! Только все растаяло, треснуло. И теперь меня сожрут. Хры!

Я закрыл глаз. Он уже полностью разморожен, память вытекает из ушей. Могло быть так, могло быть иначе. Пощупал непослушными пальцами узлы — нет, не распутаю. Напряг мышцы. Не разорву. Ежеминутно кто-нибудь проходил, если даже не по самому длинному помещению, так по лестнице, справа или слева; так не сбежать. Если бы хотя бы знать, на что выходят эти высокие окна... Мираже-стекло так легко не разобьется, но, возможно, удастся с разгону выбить окно вместе с рамой и выскочить наружу — только ведь, что если это третий, а то и четвертый высокий этаж, а до земли — целая пропасть? Шею сломаю. А может, и нет. Быть может, на какую-нибудь угольную кучу или на навес, либо на стоящий на боковой ветке вагон выскочу. Я открыл глаз. Резко вскочить, разогнаться, десять шагов, бах, черное окно. Так как? Удастся? не удастся? Выживу? Не выживу? Прыгать? Не прыгать? Прежде, чем придут и потащат на фонарь или, что гораздо хуже, посадят в клетку и доведут до сумасшествия. Я прикусил язык. Правда или фальшь? Правда или фальшь?

Они пришли раньше, чем я во всем этом до конца замерз. Тот, с голландским бриллиантом, и еще пара здоровяков — поставили меня на ноги, разрезали путы. Не говоря ни слова, потянули. Я шел, не упираясь, только косясь из-под напухшего века на ближайшие стекла.

До лестницы мы не дошли. Меня захихнули в какую-то захлавленную конторку, квадратную клетушку с голой лампочкой, истекавшей желтым светом, без единого стула или табурета, зато с тремя столами, заваленными газетами, объявлениями, промокашками, зачитанными книжками. В основной стене окна не было, что я тут же отметил с пассивным отчаянием. Зато там висела огромный плакат, мазня мазней, изображающий мускулистого Рабочего с засученными рукавами, топчущего на мостовой крысу-Монархию, и все это на фоне куполов-близнецов и башни-скелета. Даже шрифт был идентичен агиткам времен войны с Японией. *Абщепародная Ревалюция!* И много серого, символизирующего красный цвет.

Молодец ^[424] с бриллиантом сунул мне в руку тяжелую телефонную трубку, после чего вышел, захлопнув за собой узкую дверь. Я глянул, крайне удивленный. У них здесь имелся телефон! Который, видать, на самом деле работал. Успели после Оттепели протянуть провода — но куда? Не за город же.

Я прижал холодный металл к пульсирующему болью полу-уху.

Иииииuuuuuuuuuu, ви-ииииииии, уииииииии... Лиииии-ии-ииск! Крkkkkk.

По кабелю дул электрический ветер. Я отложил трубку, подкрался к двери — стоят за порогом, разговаривают. Что делать? Ситуация без открытых решений — все переменные замкнуты в квадратных скобках. Необходимо поочередно проверять комбинацию за комбинацией.

Я присел на заваленной бумагами столешнице, та громко затрещала. В телефоне что-то кашлянуло. Я посчитал до десяти и снова поднял трубку.

Кли-иииииууууу! Уууууйзззззз! Крхрр, тртртр, кркккк. Тштк!

Я сглотнул слюну.

— Александр Александрович?

Kpxppppp.

— Венедикт Филиппович.

Уиуиуиинииинииинииинииинии...

О, Льда мне! Я сжал вывихнутые пальцы, сгорбил кривую спину. «С», следовательно «D»,

значит «Е». В Святой Троице я назвался настоящей фамилией. Победоносцев держит нож над Транссибом, наверняка, и над городской электростанцией, кто знает, что еще там он успел обложить динамитом. Разговаривать с ним обязаны все. Шпионы у него имеются там, тут и повсюду; всегда они у него были. И, наверняка, до него первого добралась весть про Товарищество Промысла Истории Герославский, Поченгло и Фишенштайн. Теперь он слышит о Герославском у ленинцев. Слышит о пленнике троцкистов, взятом на Цветистой улице. Приказывает проверить — находят портрет Елены.

Будет торговаться. Чего он хочет? Царствия Тьмы?

Я сплюнул в угол красной мокротой.

— Как сны, Александр Александрович? И что вам Иркутск нагадывает сейчас?

Тот долго молчал.

— Забудьте все, — ответил он наконец. — Ваш Поченгло... Там кто-то еще слушает?

— Нет. Не знаю. Рядом со мной никого нет.

— Я приказал, чтобы наедине... Дам им двадцать четыре часа от Благовещенска до Оби, вас пропустят свободно. А когда уже штатовские займут Иркутск, вы дадите мне свободный проезд под флагом Штатов Сибири.

— Куда?

— Куда угодно.

— Условие. Мы получим карты всех зарядов.

— Сам себя я не взорву.

— Но потом, потом.

— Только на границе.

— На границе. *D'accord* [\[425\]](#). Замерзло.

— Замерзло, дай Боже, чтобы замерзло.

Я перевел дыхание.

— И что, все?

Кхрррр.

— Александр Александрович?

Иииийуууууу, ви-ииииииии, уииииииииииуу...

— Александр Александрович, а что с вашим Царствием Темноты? Уже не желаете быть свидетелем триумфального возвращения Льда? Что с вашими мечтами, великими видениями, о которых вы рассказывали мне как приятель приятелю? Ведь я должен был сесть рядом с вами. Все обернулось с ног на голову. А?

Уиииуиииуииииииииии...

— Александр Александрович! — Нет, что-то здесь не сходится. Понятно, у нас тут Лето, характер человека с абсолютной уверенностью я не посчитаю, тем более, такого, как Победоносцев. Тем не менее... Можно ли ломать алгоритмику души до такой степени? Это ведь не суммируется! Это не вычисляется! — Что там случилось? Скажите. Еще перед Оттепелью. Слышу тут, будто вы уговаривались с княгиней Блуцкой-Осей устроить покушение с ядом на самого князя. Что это за правда?

Крхрррр.

— *Гаспадин Ерославский...*

— Но скажите же, скажите!

— Вы же знаете, что Его Княжеское Высочество был против вас с самого начала. Я слышал, что это дела еще времен поездки Экспрессом. И как только слово пошло...

— Гусар своих на меня натравил.

— И первым крупным раздражением было то, что вы ему его нужного человека тогда

убили. Но княгиня, княгиня и... и я... мы... прежде всего, мы хотели защитить Лед, защитить лютов. И вас, *гаспадин Ерославский*. А князь, то есть, Император...

— Тогда вы погнали на Теслу ту армию бродяг!

— Но поглядите! Разве я был не прав? Да вы благодарить меня должны. А то, что так за громовым доктором убиваетесь — вот это уже вопреки всяческим соображениям, вопреки логике, вы же стоите на противоположных полюсах идеи, он Лед разбивает, а вы изо Льда хотите строить аполитею — по двум сторонам фронта сражаетесь — где тут логика?

— Сколько раз я вам, *гаспадин* Победоносцев говорил? Он мой друг!

— *Les amis de mes amis sont mes ennemis — mais c'est absurde* ^[426]. Боже, ну почему я его раньше убрать не приказал, когда еще мог! А теперь он хвастается во всех газетах мира: «Человек, Который Разбил Лед»! *Quelle bouffon!* ^[427]

— И все-таки, вы были посредником между графом Шульцем и князем Блущким.

— Ах, все это шло не так. Князь уже готовился к генеральному наступлению, мы договорились, что княгиня подаст ему отравленный чай, я выслал господина Зея с молниеносно действующей химией, но его поймали охранники; не знаю, проговорился он или нет, но, наверняка, проговорилась княгиня. Представьте себе чехарду в голове старого князя! Он быстро отправил супругу в какое-то закрытое заведение для нервных больных, а по следу Сына Мороза спустил особых следопытов Гейста, княгиня так наговорила ему про победу Льда и про поляков Герославских...! Только Его Княжеское Высочество уже совершенно утратил сердце к Сибири и военным или политическим проблемам. А после того Тесла сбежал от графа Шульца, и делу пришел конец.

— И тогда вы вступили в открытый союз с графом, и Сибирь объявила независимость..

— А что было делать? Без Льда...

— Вы умираете.

Трубкой я потирал рану на виске. Пухлый Рабочий с плаката глядел на меня ясными глазками, сжимая винтовку пальцами-сосисками, булочное личико свисало над воротником белой рубашки. Дело в том, что все они здесь обязаны были ожидать Революции. Оттепель, самое большее, освободила до сих пор замороженную Историю. Шульц успел вывезти всю свою семью. Победоносцев в тайне заминировал сотни верст железнодорожных путей. И что, и сейчас...

Но, собственно, а зачем председателю совета директоров Сибирхожето минировать Транссиб? Это было бы превосходным аргументом в переговорах графа Шульца-Зимнего с царем, ибо угроза отсечения Петербурга от тихоокеанских портов Империи представляет для Николая наивысшую угрозу — но, тогда, причем тут Победоносцев...?

И, раз только Лед удерживал его при жизни в смертельной во всех других обстоятельствах болезни — как вообще он выжил бы эти год с лишним после Оттепели? Как?

Что он там вытворяет, сидя на вершине башни, посреди города, захваченного боевиками партий, враждебных ему в одинаковой мере, и путем шантажа что-то получая от них день за днем?

Я сжал глаз с синяком. Стою на перроне Старой Зимы, вокруг белым-бело, каждый может быть тем, кем переделал себя из обмана в правду, въезжая из Лета в Край Лютов, я же, прежде всего, обязан делать выводы из того, что не существует — из того, что не существует — не существует — никогда не существовало...

Иииииуууууууу, ви-ииииииииий, уииийуу... Лииии-ииии-иииск!

— Господин граф, почему вы не выкупаете своего верного Франца Марковича?

Крххррр! Крххррр! Крххррр!

— А на что Победоносцеву слуга генерал-губернатора...

— Он здесь адские муки испытывает.

Уииииииииииииии...

— Знаю.

Но не рискует, это уже пробудило бы подозрения. На что Победоносцеву слуга генерал-губернатора?

И ведь вслух не признается. Откуда ему знать, кто слушает?

Ибо, с кем я разговариваю? С электрическим ветром, с волной звука, протискиваемого сквозь кабель, с металлическим визгом, модулируемым на скрытых трубах. Чего я не вижу, чего не ощущаю непосредственно — того нет. Прошое, будущее — пустота. Действительно ли стоял я лицом к лицу с Александром Александровичем Победоносцевым? Действительно ли разговаривал с таким единосуществующим человеком?

Я прижал лоб к прохладному бакелиту. Льда мне! Льда!

Быть может, он и вправду умер сразу же после Оттепели, может, так оно и прошло. Убегая от убийственной черни, куда должен был обратиться Шульц, как не в поднебесное укрытие своего союзника против оттепельников? И вот, каким-то чудом, в ночь революции он добирается до башни Сибирхожето, а там — кто? Труп Победоносцева, замороженный на гидравлическом троне? Могло так быть, могло.

Ведь никто не видел его лица, никто не слышал обнаженного голоса. После смерти его ангела — сколько людей, кроме верных слуг-бурятов, имело к нему свободный доступ? Что может быть проще, как занять место свеженького покойника?

Могло так быть? Нет, по-видимому, нет. Ведь кто-то должен был заговорить через зимназовые тубы, живая рука должна была нажать на скрежещающие рычаги, чтобы вначале отдать приказ и впустить графа на пропитанную тьмечью вершину, пред трон мрака. Шульц пришел, встал, потребовал убежища и... Победоносцев отказал? Пожелал бросить его на растерзание толпам? Они поссорились, граф прорвался через автомат, достал до тела — могло ведь такое быть — протянул руки к телу, и что? убил? Убил. Чтобы затем скрыться под маской Невидимого, под маской имени.

И с тех пор уже не Победоносцев говорит голосом Победоносцева, не Победоносцев правит посредством зимназа Победоносцева. Ведь кто узнает разницу? Лица никто не видел. Никто не рассчитал характера.

Но никто ведь не видел лица Александра Александровича с самого момента его прибытия в Иркутск!

Где задержать подозрение, на чем опереть границу? (Льда мне! Льда!) Когда мы утратим меру правды — что решает? Да что угодно.

Ведь...

— А существовал ли Победоносцев вообще?

— Что?

— Существовал ли. — Я откашлялся. — Такой вот человек: начальник Сибирхожето. Ведь вы, по крайней мере, должны были видеть останки.

— Но ведь...!

— Невозможно было распознать, так.

Я обошел столешницу в направлении стены, насколько позволял шнур аппарата. Воспаленная плоть, избитая со всех сторон, при каждом шаге отзывалась вспышкой боли. Но это и хорошо, это все атрибуты энтропии: невозможно рассчитать — необходимо угадывать. Больше движения, больше боли, больше беспорядка в мозговой материи.

Шульц/Победоносцев раскашлялся.

— Думаете, что...

— Вы ведь заменили его гладко, и никто подмены не заметил, не правда ли? А что, при жизни, собственными глазами вы его видели?

Иииийуууу, виииииий, уииииииийууу...

— Встречались ли когда-нибудь открыто: Победоносцев и граф Шульц. Я про это спрашиваю.

— В Санкт-Петербурге, много лет назад, на обеде у премьера Струве.

— А здесь, в Иркутске!

— Согласно тому, что Распутин и ему подобные болтали при дворе... вера такая, надежда... много людей ездило в Край Лютов со смертельной болезнью. Имеются и неприятности более стыдливые, с которыми поначалу человек от ближних убегает, отодвигается в тень, стирается. Вы же понимаете.

— То же самое было у меня во время поездки на поезде из Лета... — Я ударил ребром ладони по краю столешницы, упали бумаги, зазвенели металлические внутренности телефона. Боль потекла по телу свежей струей. — Мне следовало догадаться! Этот *modus operandi* [\[428\]](#) уж слишком очевиден. Тем более, подо Льдом: что наибольшую правду о тебе выдает, чем ложь, происходящая от тебя самого? Таким образом ты рассказываешь о себе миру. А ведь он мне признался открыто, что послал на Теслу агента, выдающего себя за фламандского журналиста. Такова была правда! Таковы откровенные методы действия Победоносцева! Такая вот самая правдивая ложь.

...Он приехал смертельно больным и быстро умер, а может ему в том как-то еще и помогли. Поскольку он уже скрывался от мира, мир ничего и не узнал. То ли наняли человека, чтобы тот за трубами и пневматикой на вершине башни сидел да их приказы своим зашифрованным голосом передавал? Или сами попеременно эту роль разыгрывали, через день, через неделю?

— Кто?

— *Сибирское Холад-Железапромышленное Товарищество!* Директора из совета! — Я прижал трубку к уху, лоб — к доске, напухший глаз — к холодному гвоздю. Слепец, вбитый лбом в стену, таран умственной глупости против тупости материи. Вот почему ломались дедуктивные размышления, ведущие от агента-убийцы к Победоносцеву: не было никакой единоправды характера, стоящей за подобным приказом. Обсудили это, проголосовали, просчитали, продвинули это из необходимости спасения своих зимназовых состояний, процент к проценту, рубчик к рубчику, пакет акций к пакету акций.

— Городом Льда с самого начала управляли деньги! Им непосредственно правили Лед и зимназо, колебания харбинских курсов и геологические войны на Дорогах Мамонтов! Не какой-либо человек, но Необходимость — не слово царя, которого слушали настолько, насколько были обязаны — и не Александр Александрович Победоносцев. Которого не существовало, не существовало, не существовало!

Ииии-иилллл-иии-ии-ииск...

Крхррр.

— Но... уииии... вы говорите... лииизг!.. об этом.... Царствии Темноты.... иииииии... и ваша дружба в проекте будущего света Льда... кто... ви-ииий... раз не.... изг!.. Так кто? Совет директоров? Они голосовали за те сновидения? Передавали себе акции запланированного приятельства?

Воистину, кто видел сны, кто мечтал? Раз он не существовал — чью правду излагал он в этих обманах? Какую тайну коллективной души раскрыл он в страстной проповеди о Царствии Темноты, читая ее из-за светеней и тьвета, из-за стального грохота — он, всего

лишь образчик инея, разросшийся среди директоров Сибирхожето, он, Человек, Которого Не Было?

О чем мечтает, о чем видит сны Сибирхожето? О чем суть мечтаний биржевых объединений и миллиардных корпораций. Какие ледовые кошмары приводят в движение бюрократические души *акционерных обществ, Societes anonymes и Aktiengesellschaften*?

Тогда, на зимназовой башне — я разговаривал с существом без тела и мозга, и ведь даже не с механическим творением, не с машинным разумом, неким калькулятором Лейбница, работающим на зубчатых колесиках и ременных передачах; свой союз и дружбу предлагал некто другой, нечто совершенно иное... Как мы являемся детьми материи, и отсюда вверх, к мирам идей расцветаем, так оно родилось среди идей и лишь оттуда, робко, тянется к материи. Дитя Истории, с той же естественностью перемещающееся по градиентам исторических потребностей, с которой мы переходим из комнаты в комнату каменного дома.

В качестве герольда и единственного поверенного оно находит себе — кого? Кастрированного Ангела, человека, уже практически отделенного от тела, отклеенного от материи. И в качестве приятеля ищет — кого? Математика, Алгоритмиста Идей, не существующего Бенедикта Герославского.

И, аккурат, выросло на питательной среде денег... Другие вырастут на чистой политике, на войне, еще какие-то — на природоведении. Организмы, построенные на идеях вместо белка. И пока что нет для них названий, нет языка.

— Что же, сейчас мы и так не дойдем здесь до истины. Отмерзло.

Крхр, тртртр, кх-каар! А это уже смех Шульца/Победоносцева.

— Ах, ах, уж я то знаю, как оно на самом деле: граф Шульц мертв, не живет он!

И продолжает смеяться.

Не добраться мне до истины. Быть может, это Шульц лжет Победоносцеву, а может — Победоносцев обманывает Шульца. Может быть так, но может и так. Все и так — и так.

Лето.

Бьюсь лбом в стену. Иииииуууууууууу. Снаружи дождь стучит по металлическим листам, по дереву. Раскрываю глаз. Дрожжевой Революционер напрягает мышцы.

Выдох.

А какое все это имеет значение...? Лишь бы дожидаться Льда. И случится тогда правда и ложь, бытие и небытие, Единица и Ноль.

— Даю вам слово. А теперь скажите им, чтобы меня отпустили.

— ...уиуиии... всегда... вьюииииизззз... слово... изззз!.. Ерославского...

Я положил трубку рядом с аппаратом, постучал в дверь. Бриллиантовый грубиян окинул меня мясницким взглядом и обошел на пороге, не говоря ни слова. Какое-то время слушал воющий на проводе голос. Затем оправился за начальством, оставляя со мной двух других охранников. Я терпеливо ожидал.

Появился пожилой троцкист, явно вырванный ото сна, с мутным поначалу взглядом. Похоже, он не был особо ознакомлен с делом: поначалу заговорил с бриллиантовым, потом долго беседовал с Шульцем/Победоносцевым. Под конец отключился и, махнув рукой, отослал боевиков из конторы. Застегнул помятый пиджак, закурил папиросу... Я мигнул, складывая на зрачке его размытое изображение. Тот приглядывался ко мне, кашляя в ладонь. Тут только начало у меня что-то в глазу и голове замерзать — карты, попугай, АГТ, нет, тот был лыс как колено.

Я откашлялся.

— Вы были редактором «Иркутских Новостей».

Он угостил меня папиросой, подал спичку. Я затянулся дымом. Тот щурил глаза, ослепляемые желтой лампочкой.

— Я обязательно должен задержать вас для торгов с Поченгло, *гаспадин Ерославский*...

— Замечательную торговлю живым товаром ведет сейчас Лев Давидович. Может сразу вывесите меня на фонаре.

— Эх, *паляки*. — Он сбил пепел себе в ладонь. — Не надо мне тут перед глазами именами размахивать, Троцкий не раз ночевал у меня, я включен в Список Четырехсот.

— Заговор элит! — Я улыбнулся набежавшими кровью губами. — Как совершить пролетарскую республику в стране без пролетариата? Ну да, еврейская интеллигенция, что будет лучшим для пролетариата, сама при том пролетариатом не являясь. Откуда она знает? Из исторических калькуляций. Но если кто берется за Математику Истории не в качестве хладнокровного, бесстрастного ученого, сконцентрированного исключительно на числах и внутренней красоте алгоритмики, но как миссионер, сектант, заранее ослепленный своей священной единоправдой, и все воспринимающий только лишь в соответствии с ней, становящийся на правдობой против всему свету — такой никогда хорошего результата не получит. Больно стало тонкокожим студентикам от страданий простого человека, вот и пошли они обращать Россию в новую, Марксову религию. Гуманистические расчеты! — фыркнул я. — Вот теперь и имеете народную справедливость да новый порядок в свете: голод, террор, трупы на улицах и люди в звериных клетках, которых словно зверей держат.

Редактор-троцкист потянулся, пытаюсь стряхнуть из тела и ума усталость, глубокую утомленность.

— Нет у меня на вас нервов... — Он присел на столе, но при этом он глядел снизу вверх; редактор заметил это и встал. — Ведь вы же интеллигентный, образованный человек. Я читал вашу статью, и вам следует знать, что сама идея правильная. В том-то все и дело, чтобы согласовать мир с идеей. Если бы Победоносцев не заминировал Транссиб, если бы большевики не нарушили революционного перемирия, если бы не японские блокады да китайская война, если бы не направленный против Японии Тихоокеанский Пакт самодержца с американцами, если бы не вечные эпидемии в городе... Вот, грязь, мезга, бардак, беспорядок. Это окружающий мир не позволяет нам реализовывать идеи!

— Все потому, что все начали не с того конца: вначале все необходимо отдать под абсолютную власть идеи, и лишь потом браться за инженерию исторического процесса.

— Мы обратимся в ваше Товарищество с первым заказом, — сплюнул кислым сарказмом помятый редактор, и на этом беседа прервалась, потому что вернулся бриллиантовый боевик с моими вещами. Мне отдали пальто, трость, бумажник, черепаховую папку с рисунком панны Елены, даже коробку с отсыревшими папиросными гильзами.

Редактор перехватил мой кривой взгляд, нацеленный на блестящий на руке *молодца* перстень, и вдруг, прямоком из сонливости, из старческой усталости, взорвался косноязычным гневом, изрыгнув на молодого человека такую лавину проклятий, оскорблений, смертельных угроз и матерщины, что व्यюнош тут же застыл перед ним посреди конторского помещения по стойке смирно — *руки на швам, глаза в паталок* — ожидая покорно боярского приговора, вдрызг обруганный. Я вспоминал казенный рык комиссара Шембуха. Хамство подобных барщинных, наполовину рабских отношений долго еще не выйдет из русских людей, независимо от того, куда повернет История. Вот это и есть та мезга с бардаком, что ссорит идейные проекты, когда те строятся на энтропии. Придет сюда Царствие Божье Филимона Романовича Зейцова, и российские ангелы тоже станут бить друг другу морды и оплевывать сыновей блядских в соответствии с небесными рангами, сверху вниз, налившись теплой водкой и докрасна вспотевши под снежно-белыми перьями.

В конце концов, редактор стащил у боевика перстень с пальца и вытолкнул троцкиста из конторы.

— У кого он его украл? — спросил я, застегнув пальто, рукавом кровь с лица стирая, осторожно ощупывая покрытый синяками глаз.

Тот лишь пожал плечами.

— Портные, сапожники, тряпичники, — просопел он, — вот, таково у них понятие народной справедливости: отобрать у богача. И чего удивляться нищей темноте? Ну ладно, идемте, идемте, нам необходимо вас проводить, чтобы Победоносцев не искал потом на нас крючков. Куда это вы шли?

— В Городскую Больницу.

Меня доставили на границу района, удерживаемого национал-демократами, за Байкальскую от старой речной пристани, сразу же к западу от Иннокентьевского. Тем временем, задождило еще сильнее, тучи затянули ночное небо над Иркутском, так что форма города полностью размазалась на тенях, более глубоким, чем тени: сплошное пятно мрака, разлезшаяся мазня; чернота, расплывшаяся в маслянистое ни то — ни се. Только и видел глазом, стиснутым опухолью, заливаемым дождем и розовыми выделениями: как все это плывет, как перетекает из одного очертания в другое, хуже того, распахивая всяческие линии очертания. Мираже-стекольных очков у меня не было — город растворился сам.

Я проковылял через пограничные улицы, прячась под стенами. В башенках и мансардах Городской больницы горел свет, лишь благодаря ему я узнал ее здание. Как после пожара 1879 года, так и после Большого Пожара в 1910 году, в Иркутск вызвали множество молодых архитекторов, увлеченных мировыми модами, чтобы те изменили обличье байкальской метрополии. А с началом эпохи Льда были навязаны дополнительные обстоятельства: зимназовая технология и обеспечение безопасности перед лютами; только реставрация осуществлялась слишком быстро, чтобы эти обстоятельства значительным образом отразились на образе центра. Но вот Городская Больница была отстроена с двухлетним опозданием по причине каких-то скандалов, связанных с растратами; в конце концов, свои средства подбросило Восточно-Сибирское Общество Красного Креста, отдавая лечебницу под управление Собрания Сестер Милосердия. Тем временем, больница получила совершенно новый проект, так что возведенное здание соответствовало более пейзажу Холодного Николаевска: с первым этажом высотой в несколько аршин, на зимназовых опорах, выхоложенных в ажурные формы, со стенками, заключенными в громадные плоскости мираже-стекла, с дюжинами неоготических эркеров и растительными узорами в стиле «арнуво», запущенными в пилястрах и рельефах между окнами.

Огни горели в восточном крыле; только лишь когда я подошел под само здание, увидел, что неосвещенное крыло провалилось в размороженную почву — ненамного, где-то на аршин, но этого хватило, чтобы полностью распороть многоэтажную конструкцию и выломать из рам громадные листы мираже-стекла. Точно так же, как отсекают от организма конечность, охваченную гангреной, так и здесь, от здоровой части больницы отсекли часть отмершую. Жизнь и свет существовали справа от лестниц и лифтов.

Где хаос царил даже больший, чем в Святой Троице. В первую очередь, сразу же после входа в вестибюль, я попал на душераздирающую сцену: две заплаканные дамочки тормозили грязный сверток, их же, в свою очередь, оттаскивали сестрички милосердия; в скандал включились мужчины и даже легкий на подъем вооруженный молодой человек. Я обошел их подальше. Сестричка, заметившая меня у регистратуры, тут же взялась обвязывать чистыми бинтами мою голову, поливая раны раствором перекиси водорода или другим каким средством для убийства бацилл; сестричка, добрая душа, рассказала, что трагедия в

вестибюле случилась по причине крысиной горячки: ребенок умер, и его нужно сжечь, ведь зараза распространяется. Крематорий у них был в темном крыле.

Я достал плотный лист из брезентовой упаковки (тот раз и другой выпал из распухших пальцев). Вот такая молодая женщина, такой вот доктор, по фамилии Конешин — не знает ли их сестра?

— Доктор Конешин оперирует в семерке.

Разумеется, она ошибалась. Под седьмым номером (где было целых три зала: 7А, 7Б и 7В) никакие операции проводиться не могли: эти помещения находились уже за линией разлома, ветер нагонял туда дождь через выбитые окна на оборудование, лежащее кучей под нижними стенами. Пришлось обойти весь операционный этаж. О состоянии всеобщего бардака лучше всего свидетельствовал тот факт, что я ходил здесь свободно, человек с улицы, в пальто, еще истекающем водой — там отрезанная нога, здесь десяток коек с несчастными, стонущими в муках, вот тут куча багровых бинтов на выпотрошенных внутренностях; вот тут — сложные роды; а здесь грудь с ребрами, распахнутые настезь, вон там — очередь оставшихся в живых после ночной перестрелки — и никто на меня даже не поднял удивленного взгляда. Сестрички с полными руками шастали туда и назад, без какого-либо внимания пробегая мимо людей в коридорах. Господа врачи — работавших здесь в эту пору я насчитал четверых, то есть, по-видимому, все, которых удалось собрать, ночь была кровавой, военной — громко требовали те или иные медикаменты, воду, свет, чистые тряпки и кого-нибудь в помощь. Арочные витражи, размещенные над дверями помещений, где доктора работали, представляли евангельские сцены, в основном, излечение больных и изгнание злых духов; Иисус на них всегда был повернут спиной, от других он отличался лишь освещенной фигурой.

Под номером 3В (витраж со стадом свиней, в которых вселились бесы) доктор Конешин, пластающий легкое какому-то толстяку с головой, перевязанной в сплошной шар, громко требовал дренажей и ниток; я нашел их двумя помещениями далее. Сестра, ассистирующая Конешину, поблагодарила меня, не выпуская из вложенных в грудь пациента пальцев пульсирующего сплетения жил. Воняло керосином, кровью и гнилью, прежде всего — керосином: операционный стол со всех сторон был обставлен керосиновыми лампами, коптящими в потолок. — Не заслонять, не заслонять, — забурчал рыжий доктор, перемещая языком по губе короткий окурок, как только я приблизился к столу. Я обошел зал под миражестекольными окнами, погружаясь в кучах заскорузлых бинтов и тряпок, порезанной одежды и вырезанных фрагментов тел. — Господин доктор, — спросил я, опираясь о зимназовое оливковое деревцо, встроенное между высокими окнами, потому что от усталости, боли и постоянного напряжения у меня начала кружиться голова, — господин доктор, где я могу найти госпожу Муклянович? — Не сейчас, — рявкнул тот, — не сейчас! Погодите, она ведь только в дневные часы помогает, адреса я не знаю. Ее смена приходит в семь. Хмм, еще умрет, такой-сякой сын!

Я сел на табурете в углу. Вся горячка из меня сошла, я остыл. Кровь стекла к ногам, к опущенным ладоням. Трость стукнулась о пол. Пришлось прижать голову к стене, в противном случае, она соскочила бы с шеи, скатившись влево или вправо. Повязка на глазу сползала все ниже, так что всю эту сцену, залитую медовым светом ламп — с доктором, поблескивающим очочками в серебряной проволочной оправе, в запятнанном органическими выделениями халате, с белой сестричкой и громадной тушей, разделяваемой на катафалке — я видел на половину, на четверть, на одну восьмую. Доктор действовал внутри дышащего тела движениями кухмейстера, который в стотысячный раз режет морковь и рубит свеклу: раз, два, три, четыре, подрезать, вырвать, передвинуть, сшить. С сестрой он общался без слов,

они совершали над телом ритуал столетней давности, ничего нового между человеком и материей. Но как же он постарел — похудел, иссох, сделался меньше, даже его бакенбарды, когда-то буйные, тоже усохли, теперь левый пересекал широкий, молочно-белый шрам; так доктор Конешин потерял, утратил свою симметрию... Я спустил повязку на глаз.

В себя я пришел уже в бледном свете дождевого рассвета.

Повязку сорвал.

— Который час?

— Четверть седьмого. — Доктор Конешин копался скальпелем в груди толстяка, постепенно освобождал зажимы, вытаскивал дренажи, клещи и щипчики, крючки и захваты, только все он это делал нечетко, нехотя, одной рукой, во второй держа свежую папиросу. — По закону, я должен был бы вас выбросить, но — сукин сын и так сдох. — Он затянулся дымом, откинул голову практически горизонтально и выпустил его под потолок. — Эх, снова молодой! Чуть ли не как в фронтовые дни.

С улицы, приглушенный дождем, донесся отзвук одинокого выстрела.

Доктор захихикал, стряхнул пепел на сердце трупа и поднял на меня чистый, трезвый взгляд — столь трезвым человек может быть только на рассвете после бессонной ночи: нервы наверху, кожа словно пергамент, мозг пульсирует во вскрытом черепе.

— Вы от них, возможно? Чего вы хотите от *mademoiselle* Елены?

— Всего. — Я поднялся, протягивая ему руку над операционным столом. — Бенедикт Герославский.

— Вы? — Он нацелил в меня ланцет, прищурил левый глаз, глянул по линии, направленной над стеклами очков. — Ерославский. Ерославский? Ерославский. А покажите-ка рожу! Мммм. Н-да, неплохо должны были вас обработать.

Он переложил ланцет в другую руку, опер правую о халат и пожал протянутую ладонь.

— Вы же должны были лечить Белую Заразу в тихоокеанских портах, — сказал я.

— Похоже, ее вылечил доктор Тесла. Бум, бум, бум. А я застрял в Иркутске на полпути, пытаюсь возвратиться в Европу Транссибирским Экспрессом; и это не было разумным решением. Мхммм. — Он вновь затянулся папиросой. — Да, я хорошо вас помню. *Franchement* [429], я часто потом размышлял, как пойдет у вас дело с фатером и с Историей. А теперь, пожалуйста, великий Никола Тесла... Мхммм. — Он приглядывался ко мне сквозь дым. — И разве неправда? Все-таки, вы свернули историю, поуправляли Льдом. Не уговаривая лютов посредством отца, как все того ожидали, но раньше, во время поездки Транссибирским Экспрессом. Судьба была нацелена на смерть доктора Теслы и длительное царствование Льда, теперь это ясно видно, а вы, дайте-ка посчитаю, вы упрямо: раз, от покушения изменившего охранника, два, воскресив его из мертвых, три, бомбиста вовремя раскрывая — все время вы спасали Теслу от предназначенной ему судьбы.

— Вам панна Елена рассказала.

— От других тоже слышал. Когда серб объявился в Макао... Мхммм.

Я опустил глаза.

— Да, у меня тоже бывает подобное впечатление. Будто бы все самое главное случилось во время поездки Транссибирским Экспрессом.

Доктор смолчал, пыхая щиплющим глаза дымом.

Я снял пальто, перебросил его через руку. На размытом над городом горизонте, за мираже-стекольным окном, где и так все плавало в дожде, проползали более светлые, более яркие пятнышки. Там, на западе, к югу от Уйской — похоже, горит Глазково. По крайней мере, хоть в этом мокрая непогода сейчас является благословением для Города Оттепели, поскольку она загасит пожары после ночи правдобоев.

Глаз невольно возвращался к внутренностям разрезанного трупа. Слетались первые мухи. В анатомических атласах Зыги все это выглядело совершенно иначе, *duodenum, jejunum, ileum* [\[430\]](#), там это были чуть ли не схемы промышленных машин: вот это такая деталь, то — такая, вон эта — служит для этого, а вон та — прицеплена вот к тому. А здесь: как будто бы кто-то топорно вытесанным черпаком помешал в раскрытом человеке, один бигос, единая коричнево-красно-желто-фиолетовая мешанина с застрявшими в ней кусками мяса потверже. Из праха человек появился, и прах в себе носит.

— Покажите-ка. — Доктор Конешин сделал ко мне шаг от ног покойника, протягивая руку к подбородку, к щеке.

Я отвел его руку.

— Ничего!

— Возможно, удалось бы выпрямить... Это все плохо срослось. Кто вам делал трепанацию?

— Никто.

Он все еще мерил меня скептическим взглядом.

— Вы что, — фыркнул я, — все еще балуетесь френологией?

Тот медленно снял халат.

— Тогда, в поезде, вы казались мне таким...

— Каким?

Доктор бросил халат на автоклав, рукой с папиросой сделал пустой, ничего не значащий жест.

— Никаким.

Я засмеялся.

— Знаю.

Тот подозрительно глянул исподлобья. Весы склонялись в мою сторону, линии сходились к моему глазу, глаз в этот момент удерживал доктора Конешина словно плененное в янтаре насекомое.

Он вздрогнул.

— Что, великой жизненной мудрости набрались?

— Жизненные мудрости я оставляю раввинам и пожилым проституткам. Скажем так, я открыл несколько законов, управляющих Математикой Характера.

— Например?

— Характер человека образуется путем вычитания.

Подозрительность нарастала в нем с каждой секундой. Сейчас он обходил меня по безопасной дуге, шагов на пять, словно матадор быка. Рука с дымящейся папиросой служила мулетой. Синий брюхатый труп служил в качестве защиты.

— *Mademoiselle* Елена показывала, что о вас в последнее время писали. Здесь всякая газета — это нахальная пропаганда, вранье на вранье. Но я помню и директора Поченгло. Сейчас вы вместе творите *абластническую политику*. Мммм?

— Себя я политиком не считаю, если вы спрашиваете об этом. Это уже устаревшее ремесло.

Асимметричный доктор приостановился, поставил ногу на нижней перекладине операционного стола. Из раскрытого толстяка вытекали последние капли жизни. Конешин нагнулся ко мне над ним, пытаясь войти в позу доверительности, несерьезных откровений.

— Так что же будет? — тихо спросил он.

— Что?

— Это вот новое сибирское государство директора Поченгло. Республика? Некий

обрамленный установлениями анархизм? Союз народнических земств? Или, может, коммунизм? А может, Поченгло именует себя самодержцем? Скажите.

— Говоря по правде...

— Что, все еще не знаете?

Рукой с пальто я сделал широкий жест, охватывая им весь растворенный город.

— А как оно должно все это само по себе замерзнуть?

Я поднял тьмечеизмеритель, нервно закрутил им, глянул на шкалу. 366 темней. За мираже-стеклами текла аквамариновая река.

— Начнется, наверняка, с какой-то демократии, — буркнул я. — Хотя бы затем, чтобы оттянуть наших дорогих революционеров от Сен-Симона [\[431\]](#) *et consortes* [\[432\]](#). Реформированные эсеры и сторонники Струве со временем возьмут верх. Голосования, партии, выборы — поначалу замерзнут они; к тому времени утратит привлекательность политический аскетизм Прудона [\[433\]](#), Бакунина [\[434\]](#) и Кропоткина [\[435\]](#). — Я прищелкнул языком. — Демократия, да, демократия.

Асимметричный доктор скривился с отвращением.

— Вы говорите о демократии так, словно это некая идеология, несущая в себе какое-то содержание, цель, идеал; я постоянно слышу это от здешних горячих голов, мечтающих о гильотине для *Батюшки Царя*. А ведь нет ничего более ошибочного! Демократия — это пустая форма, в которой может замерзнуть тысячи различных субстанций, и хороших, и плохих. Точно так же, как нож, — тут он схватил грязный скальпель и сделал несколько фехтовальных приемов над трупом, сам по себе нож ни хорош, ни плох: можете порезать им яблоко, можете оперировать больного, но можете в какой-нибудь кабацкой драке садануть им под сердце и отобрать этим ножом жизнь. Демократия людоедов вынесет в парламенты идею равного распределения трупов. Демократия милосердных проголосует за прощение людоедов. А демократия детей — она выберет то, к чему склонят ее взрослые.

— Но ведь инструмент не до конца остается безразличным в отношении цели. То, что сделаешь ножом, не удастся сделать молотком и *vice versa* [\[436\]](#). Наверняка имеются идеи, которые лучше расцветают в демократии, но есть и такие, которые в ней вянут и усыхают. То же самое относится и к другим системам правления, таким как монархия, самодержавие.

...Видите ли, доктор, самым первым, чему следует обучиться в практическом применении Алгоритмики Истории — это вычитывать идеи из низких материй. Мы уже говорили об этом в Экспрессе с Зейцовым — вы были тогда? — о модах, мелодиях, обычаях, вкусах. Вот что это такое? — Я поднял перед собой окровавленный френч, покрытый грязью и кровью. — Пальто. Но поглядите на его покрой: подлиннее? покороче? какой воротник? как оно будет застегиваться? как пойдут отвороты? как карманы? плечи вшитые или регланом? Полы с разрезом или без него? талию врезать — на сколько? Посчитайте пуговицы.

А теперь, из чего они сделаны: из кости? из рога? из дерева? из металла? И в сколько рядов. Где пояс, где талия, какая пряжка. Какого цвета. Какой материал. И все это не случайные выплески фантазий портного, не вынужденных пользовательской необходимостью, но знаки духа эпохи, то есть: идей, которые управляют людьми в любой сфере жизни. Ведь нет же иной идеи для политики, иной — для музыки, иной — для гастрономического искусства, а еще иной — для архитектурной или галантерейной моды. Идея охватывает абсолютно все. Потому *par exemple* [\[437\]](#) приближение крупной европейской войны можно вычитать за несколько лет до того в популярных, грошовых книжонках, продаваемых сотысячными тиражами. А офицерские шинели, воротнички-*vatermorder*-ы и тесные корсеты — ведь они тоже все отражают единую правду. То, что невидимо,

предшествует тому, что видимо, *monsieur le docteur*. Вначале идея выпирает идею, а лишь потом портной размышляет: «Нет, будет лучше сделать френч почетче, прибавлю хлястик, погончики, кожаный пояс пошире, и он продастся побыстрее». Моя же задача — охватить все это цифрами, конкретными символами, всякую идею, стоящую за портным и царем, разместить в системе Алгоритмики Деяний.

...Да, мой доктор, именно так я и гляжу на демократию. — Тьмечеизмерительной тростью я указал на пальто; жест был театральным, взятым из представления салонного иллюзиониста. — Пальто. Демократия. *Voilà!*

...Могу его надеть, могу снять. Я не политик. Политические практики и политиканы — это переменные в моих уравнениях.

В операционная заглянула медсестра с бумагами в полотняной папке. Доктор Конешин взял у нее больничные документы. Застегнув манжеты сорочки, протерев стекла очков, он быстро выписывал позицию за позицией, бурча что-то под носом.

— Но порядка, но Государства! — внезапно воскликнул он, перепугав сестричку. — Ведь этого одной только демократией вы, господин Ерославский, не обеспечите! Очень скоро вы с директором Поченгло поймете это: люди сами собой управлять не способны. Столько порядка и справедливости, сколько над человеком конкретной власти. — Он отдал документы медсестре. Погасив окурок на зимназовой отливке виноградной лозы, он протер рукавом покрытое паром мираже-стекло. — Особенно сейчас, особенно здесь. С демократии начнете? На свалке закончите.

Он перевел дух, опечалился. Снял очки; теперь глядел на город в волнах мутных красок прищуренными глазами близорукого человека, из-под наморщенных рыжих бровей; суровое, свежее лицо железного обывателя было заклеено выражением болезненной озабоченности. Ах, я и забыл, что для доктора История — это дело личное, что подобные вещи он принимает близко к сердцу; были у доктора с Историей незавершенные счета, глубоко в душу она его укусила.

— Нет, — шепнул он, — не удастся вам. Сколько их здесь после Оттепели в этом плавают? Демократия — это всего лишь чуточку более крепкий котелок. Ничего вы в нем не сварите.

...Вот поглядите! Как все это тает, дегенерирует. Гегель ^[438]ошибался. История движется вниз от того, что является необходимым, твердым, логичным — к тому, что делается неясным, мягким, случайным. От теократии, через абсолютную монархию по божественному установлению, через конституционную монархию, к демократии, наконец: а дальше — дальше уже только коммунизм и нигилизм с анархией. Что четче всего видно здесь, в России, где так долго удержался — замороженный — первый порядок, и вот теперь все резко тает сразу же в эту людскую грязь, в этот — этот — этот вонючий навоз. Вы гляньте за окно. Гляньте!

...Вся эта Оттепель — это стихийное бедствие Истории.

Я встал рядом, в шаге от высокого окна, перед кучей тряпок, от которых несло мертвечиной, опираясь на трости. Пожар в Глазкове пригас, так что никакая живая краска не пробивалась сквозь вертикальные дождевые потоки, льющиеся по мираже-стеклу. Иркутск постепенно стекал в канавы.

— Не бойтесь, доктор. Замерзнет.

— Вы говорите?

— А разве не к этому вы склоняли меня еще в поезде? Исполняются ваши мечты: человек выправляет Историю к идеальному, математическому порядку.

— Вы говорите...

— Настанет аполитея.

— Аполитея?

Доктор Конешин не знал моей статьи. Тогда его не было в Иркутске, сюда он приехал уже после Оттепели. Что говорила ему Елена? Ведь не все же.

Посему, я очертил ему в словах — как мне казалось — сухих и бесстрастных, концепцию правления Истории, Государства Небытия и высочайшего порядка, в котором ни у какого человека нет власти мучить и эксплуатировать другого человека; а так же мою конкретную всего этого реализацию: на технологиях Льда, предлагающей в будущем панкосмическое бессмертие Федорова, все то Царствие Темноты, где люди наконец-то вырвутся из рабства тела, проживая уже среди чистых идей — материя сравняется с духом, язык второго рода с языком первого рода. *Имеется дух, который оживляет: тело ничем не помогает.*

Так что, никакого Государства. Никакой земной власти, никаких царей, никаких чиновников. Никакого физического страдания. Никакой лжи. Никакой несправедливости. Правда, высчитываемая с первого же взгляда. Никакой смерти. Никакой Достоевщины в душе. Любовь надежна как математика, математика надежна как любовь. Льда столько, чтобы еще сохранить жизнь; жизни ровно столько, чтобы наслаждаться небесным порядком Льда.

Я ожидал, что именно Конешин поймет все дело с лету, что он насквозь пробьет бриллиантовую красоту видения — разве не он страстно говорил мне: найти способ для излечения Истории! взять ответственность на себя! рассудить по своему уму! не обращать внимания на искушения, вытекающие из мира чувств, из жизни, которая сейчас такая, а могла быть совершенно иной! взять Историю на себя! — разве не он? Он, он, он! И это он кричал громче всего: История может существовать только лишь подо Льдом! Он, это ведь он призывал к Истории, спроектированной человеком!

А сейчас — молчит, стискивает губы, руки на груди складывает... Не знает, что ответить. Потирает через тонкую сорочку сгорбившиеся плечи. Видно, что дрожит.

— Когда вы все это так рассказываете...

— Что? — тихо рассмеялся я, покрывая этим смехом жгучее разочарование. — Перепугались, доктор?

— Я говорил вам об исправлении, лечении Истории. — Оторвав взгляд от стекающего города, он глянул на меня с близкого расстояния. — Но для этого необходимо иметь душу врача. Не... математика. — Какое-то время он пережевывал какую-то терпкую мысль. — Как это будет выглядеть? Это вы обдумали? Как будут люди жить ежедневно? Ведь кто-то наверняка будет ими управлять? В Экспрессе вы не делились подобными убеждениями.

Я отшатнулся.

— Так вы не помните своей ссоры с *Herr*Блютфельдом? Ведь эта память с вами, не один только я с ней остался, *n'est ce pas* [\[439\]](#) ?

Конешин кивнул.

Я вздохнул с облегчением.

— *Alors* [\[440\]](#), аполитея — это, как раз, единственно возможное решение вашего спора: свобода от тирании человека над человеком, и вместе с тем, говорю, Порядок и Правда, спасающие человечество от нищеты, несправедливости, всех тех ненужных смертей и страданий.

...Ибо вы, доктор, ошибаетесь, в течение столетий История вовсе не теряла силы и единства. Вы здесь, в России, имеете искаженный взгляд на вещи, Мороз вошел вам в кости, повышенное теслектрическое давление сделало вам Правду обыденной. А ведь это идет совершенно наоборот.

...Вот поглядите. Египтянин из под пирамид времен фараонов: он Историю не

чувствовал вообще, он рождался и умирал в одном и том же мире, под одним и тем же государственным строем, с одной и той же религией, под неподвижными звездами.

...Но вот римские жители времен Республики, европейские христиане эпохи Карла Великого ^[441] и Барбароссы ^[442] — они уже чувствовали первые натиски Истории, им История уже являлась помимо воли правителей: например, они обладали тем сознанием, что живут на закате или при зарождении определенной культуры, что одна цивилизация выпирает другую цивилизацию, что кровь вымывает кровь, новые народы занимают место народов старых, один культ убивает другой культ, и молодой бог сбрасывает с небес богов неспособных. А почему именно эти исторические формации уходят в забвение, в чем преимущество их последовательниц? Вот это уже распознать было невозможным; изменения занимали целые поколения; движение Истории можно было почувствовать, но вот описать, измерить его было еще нельзя.

...Но вот пришло время Разума и революций, осуществляемых с осознанием революции, на основании теорий революции — История взяла в пальцы отдельных людей. Уже в течение одной людской жизни можно было увидеть, как мир выходит из личинки — не по тому или другому решению повелителя, не по частному чьему-либо замыслу или капризу природы, но из исторической необходимости.

...Теперь же все это еще более ускорилося, теперь уже о движениях Истории читаешь в газетах. Кто приказал Столыпину заняться сельскохозяйственной реформой, выпуская крестьян за Урал, на свое, запрягая помещиков в новые экономические системы, выдумывать новые методы налогообложения? Ни Царское Село, ни Таврический Дворец не выражали к этому охоты. Только это должно было быть сделано: в противном случае, Россия проиграла бы тем государствам, которые осовременились без промедления. Еще более четко видишь это по изменениям в военном искусстве: разве кто-то приказывал им всем сразу заказывать на верфях дредноуты вместо старых броненосцев? Нет. Но очевидным остается: кто не идет в ногу с Историей, тот проигрывает, а История уже переварит его, так или сяк, надкусанного, пережеванного, перемолотого в фарш. И уж наиболее четко показано это было с появлением ледовых технологий, когда в течение нескольких коротких лет на всех континентах повернулись ветроуказатели науки, хозяйства, прогресса. Могли они не повернуться? Физика является физикой. История является Историей.

...Так что перемножьте все это на десять, на сто, на тысячу, разглядите с увеличением в будничной обывательской жизни. Для чего еще будет нужно кому-либо Государство? Для чего — чиновники? Для чего — политики? История войдет в их функции и костюмы. Налоги — только такие, какими обязаны быть: ни выше, потому что проиграем в торговой конкуренции с теми, у кого налоги ниже, но и не стертые до нуля, ведь без них мы не удержим общественный порядок. Право — строго продиктованное очевидными требованиями эпохи: не станет работать кодекс Хаммурапи ^[443] в Швейцарии двадцатого века, ни *Bill of Rights* ^[444] у голых южных дикарей, что добывают огонь камнем о камень. Быть может, парламенты и останутся в качестве народного развлечения, куда ради своей особенности будут выбираться живописные крикуны, а их псевдополитические представления станут забавлять чернь альковными скандалами, ненавистью одного парламентаря к другому или же патетическими ссорами по поводу цветов национального флага или мелодии гимна, совершенно лишены значения для дел капитала и науки, для счастья обычных жителей. Ибо, приходит время аполитеи.

...Правит История.

Доктор сбежал от меня взглядом. Дрррруммм! На сей раз дрожь прошла по всему зданию, задрожало все: стены, оборудование и медицинские инструменты, даже труп на

столе за нами отрыгнул последние газы. Землетрясение? Они часто случаются над Байкалом, в особенности — с момента Оттепели, как я слышал. Но нет, это, по-видимому, только пускает мерзлота, быстрее всего оттаивающий слой почвы.

— Так как же вы, в свою очередь, желаете управлять Историей? — спросил неровный доктор, вставая на широко расставленных ногах. — Раз уж вся эта аполитея неизбежна и заранее предопределена...

— Ах, доктор, да задайте себе вопрос: в чем причина того, что История проявляет именно такие необходимости? — Я сам покрепче оперся на тьмечеизмерителе. — Вам же известны обычаи природы. Что из гусеницы появляется бабочка, а не из бабочки — гусеница, здесь все решает биология, со свойственными ей правилами и зависимостями. Но какая биология деяний определяет то, что рыцарство, дворянство должно стать куколкой для буржуазии, а не наоборот? что ленные династические владения должны превратиться в национальные государства — а не наоборот? что промышленность уничтожает помещичество — почему, почему не наоборот?

— Так уж устроил Бог...

— Но вы же сами говорили, что Бог ему самому ни для чего не нужен! — торжествующе воскликнул я.

Тот набрал воздуха, но ничего не ответил. Под ногами у него уже не осталось никакой правды, чтобы противостоять на ее основе моей Математике Истории.

Ну почему он противился? Зачем отрицал собственные слова, исходящие из моих уст? Наверняка, он и сам не мог бы сказать, не на языке второго рода.

— И, собственно, Лед показал нам, мой дорогой доктор, — уже спокойно продолжил я, — как можно повлиять и на биологию Деяний. И так, раньше или позднее, и случится, мы будем жить в Истории, спроектированной человеком. Не я, так кто-то другой первым бы подумал об этом. Царствие Темноты ожидает повелителя. Под конец, так или иначе, материя склеится в единое целое с идеями, то есть, с числом, а История сделается нашей естественной средой обитания, нашим воздухом и нашим хлебом, единственным средоточием человеческой жизни.

...*Monsieur le docteur, vous comprenez, vous* ^[445]! Вы помните из притчи Зейцова тот рычаг для перестановки стрелок состава Истории. — Я поднял трость на высоту глаза, качнул ею влево, качнул вправо. То ли Бог запретил убивать, потому что убийство — это плохо, либо же само по себе убийство является плохим, потому что Бог запретил убивать?

Услышав подобное *dictum* ^[446], доктор всполошился не на шутку. Глядя только под ноги, он подошел к умывальнику, налил в него воды, но руки не помыл; обернулся, оперся на фарфоре спиной. Его взгляд кружил по бардаку операционной, старательно обходя меня. В конце концов, он зацепился за голый труп, представленный посреди помещения.

— И как же оно, господин Ерославский? Убивать людей — это плохо?

Я выпутался из валявшихся возле окна тряпок, подошел к столу, врезаясь во взгляд доктора. Вкус — запах смерти, та сладкая гниль для человеческих чувств, не сильно отличаются от гнилостного душка полежавшей дичи, в чем-то приятного, вошли мне в рот, осели в слюне, приклеились к нёбу. Я сглотнул, раз и другой. Кладбищенские тошнотворные ароматы и притягивали меня, и отталкивали. Кто может удержаться от того, чтобы не почесать, расцарапать свежую, воспаленную болью рану? Огромное брюхо покойного, разрезанного рукой Конешина, скалилось влажными внутренностями, и в утреннем свете это походило на раскопанную могилу — там уже даже червяк ползал, то есть, муха. А вот голова покойного была плотно упакована бинтами. Я положил на этой слепом утолщении искаленную ладонь, ласково похлопал по бездушному мясу через чистый саван.

— Снова вы хотите уговорить меня в чем-то? О чем-то просить?

Конешин неуверенно подошел с другой стороны стола, взял своей рукой свесившуюся руку трупа, после чего уложил ее симметрично другой, вдоль бока — все-таки не разрывая связи с умершим.

— О диктатуре милосердия, — шепнул он.

Но при этом он не смог глянуть мне прямо в глаз.

Выходя, я еще остановился на пороге, обернулся под свиньями, нафаршированными бесами.

— И все же, вы столкнулись с Историей, — произнес я сознательно более легким тоном. — Все же, вы коснулись ее тела в движении, почувствовали под пальцами фактуру Деяний. Но вы не об этом мечтали, доктор? Повлиять, хотя бы и в минимальной степени. Так вот, вы повлияли на меня.

Доктор Конешин все так же стоял над не спасенным им пациентом, печальным взглядом оценивая отвратительность материи. Солнце, разведенное дождем и мираже-стеклом, обрисовывало его сзади, поджигая рыжие бакенбарды.

Он застегнул сорочку под самую шею.

— Холодно мне.

Снова достав уже сильно помятый и отсыревший рисунок панны Мукляновичувны, я опять начал обходить больницу, выпрашивая медсестричек и вообще всякого, кто не был похож на пациента. Одни говорили, что *девушкитакой* в глаза не видели, другие: мол, да, была тут такая и умерла, третьи распознавали в ней свою родственницу; только я уже совершенно не был этим тронут. Даже виды палат, наполненных несчастными, умирающими от ран или чумной, оспенной заразы, не могли испортить моего настроения. Утренние часы — в больницах это время громких страданий: просыпаются после ночи те, что ночь пережили, и приветствуют новый день ойками, кашлем, сухими рыданиями, а чаще всего, банальными, механическими, выплевываемыми в бесконечных литаниях ругательствами; а вот женщины вместо этого читали литании молитвенные. Грязная мелодия этих искривленных, хриплых голосов спекается с запахом медицинских химикатов и смрадом человеческих тел, лежащих в поту, моче, кале и крови. Если желаешь померяться с телом — загляни поначалу в больницу.

В палате под витражом, изображающим женщину с глиняными горшочками под семью черными тенями, я услышал знакомый голос, мужской, произносящий немецкие слова, который тут же зазвенел у меня в памяти долгим эхо. Биттан фон Азенхофф! Я остановился, развернулся на месте. Кровать слева, кровать справа, кровать под стеной — он говорит. Я подошел. По телу я его не узнал; голос остался, но вот от плоти фон Азенхоффа осталось всего ничего. Немец сбил в комок одеяло и простынь, пропитавшиеся кровью и гноем, и лежал теперь в рубашке, подвернутой под самую грудь, совершенно голый, если не считать широкой повязки на животе, которую он срывал с себя, только на это у него не хватало сил, исхудавший скелет, обтянутый рыбьим пузырем кожи. На лице прусского аристократа не осталось даже острого носа — нос был перебит, щеки запали, все оно было покрыто неровными кустиками седой, старческой щетины. Столетний дедка, беззубый, дрожащими пальцами — словно когтями — цепляющийся за остатки жизни.

— *Es wurde mirschwarz vor Augen, Katja... wurde mir dunkel...* [\[447\]](#)

Я стоял рядом, так что меня он не видел. Широко раскрытыми глазами он пялился на потрескавшуюся стенку. Вонь от него исходила ужасная. На матрасе под ним было пятно от неотчищенного кала. Гениталии в язвах походили, скорее, на гнездо подземных червей. Из-под повязки вытекала густая коричневая жижа.

Я коснулся его плеча: — *Herr* Битан? — Вот только, слышал ли он меня? Звал свою Катю. По-видимому, уже несколько недель живет он так, в фантомах, совершенно оторванных от реальности.

Но, подняв глаза, я увидел ее, идущую от дверей с тазиком и полотенцем. Женщина уселась на табурете рядом с кроватью, выкрутила полотенце от горячей воды и, подвернув рукава серенького жакетика, начала обмывать старика. На меня и не глянула. Светло-золотые волосы — теперь уже и не золотые, выгоревшие до серого цвета — она подобрала под льняным чепчиком, из которого те убегали непослушными прядками. На лице, отмеченном морщинами от тысяч забот, не осталось и следа девичьей радости, невинной улыбки. В коридоре я прошел бы мимо, принимая ее за уборщицу.

— Что с ним? — тихо спросил я.

— Мужичкиные вилы.

Фон Азенхофф неуклюже размахивал руками, я несколько отодвинулся.

— Я его знал, — сказал я, — уже давно, перед Оттепелью, когда еще... когда в Кошачьем Дворе...

— Не знали вы его, — отрезала женщина.

Немец попал на ее руку, судорожно уцепился в нее.

— *Es dunkelt, meine Katze, es ist so finster* ^[448]...

Женщина осторожно освободилась.

— Его родственники, может, — заговорил я снова, — ведь у него наверняка имеется имение за границей, нельзя его так...

— Он все роздал.

— Что произошло?

— Оттепель.

Я глядел на них несколько минут. Что было в наивысшей степени непристойным, тем не менее, никто из нас стыда не проявлял.

— Вы остались с ним, — буркнул я.

— Он мне заплатил, — ответила женщина безразличным тоном, — что я не покину его самого, в темноте.

— Заплатил? Но ведь — он все роздал.

— Идите, он и так умрет, ничего не получите, идите, идите.

Я подсунул ей рисунок Елены. Катя тянула, после чего мокрой рукой указала на полную медсестру в палате напротив.

— Вот с ней я ее часто видела. Вы ее повесите?

— Что? Нет!

— Ага.

После чего очень нежно она начала обмывать лицо Биттана фон Азенхоффа.

Толстеньякая сестричка сообщила, что Елена Муклянович здесь вовсе даже не работает, сама приходит на какие-то обследования, что у нее хорошие отношения с доктором Конешиним. Но она часто помогает в дневные смены, когда нужна помощь для больных. А придет ли сегодня? Наверняка, нет. А где же она живет? Тут сестричка начала напрягать хрупкую память. Кажется, в пансионате. На улице — Испанской? Итальянской?

Это уже я мог заморозить и сам. Поблагодарил и сбежал по длинной лестнице в дождь.

До Греческого переулочка отсюда было недалеко, и все же, сколько раз прошли по мне попеременно волны электризующей эйфории и черной безнадёги, не пересчитать. С каждым шагом, в утреннем свете, расходящемся радугами в воздушной влаге — вздымала меня радость быстрой встречи с панной Еленой. А через шаг — мрачная туча, под тенью дома,

сгорбившегося над улицей — меня вдавливало в землю, впихивало в грязь, на меня наступал мамонт. Как будто бы и меня, в конце концов, смог растворить этот Город Оттепели, Город Грязи и Гнили. Мне уже хотелось схватить тьмечеизмеритель и измерить температуру своего характера; хотелось даже найти какое-нибудь зеркало и поглядеть в нем на себя чужим взглядом. Немой страх Порфирия Поченгло меня не коснулся, пьяная страсть Зейцова стекла по мне словно этот дождь, но вот тревожное сомнение доктора Конешина — вот это я уже почувствовал, это к сердцу принял. И еще *Herr*Биттан фон Азенхофф, непреклонный рыцарь тела, умирающий этим телом не иначе, чем Сергей Ачухов... *Es ist so finster...* Темнело — светлело — темнело. Кто желает обрести знание о самом себе, тот жаждет смерти — а я направлялся в пансионат Киричкиной, размышляя над тем, а мог бы, все-таки, Филимон Романович высказать обо мне некую неясную правду. Не берутся ли опасения доктора Конешина, несмотря ни на что, из соображений разума, из тех самых соображений, которых невозможно высказать на межчеловеческом языке. И действительно именно это ожидает меня у руля Истории: *холодная темень и еще большее несчастье, которое когда-либо знали люди: одиночество в темноте* [\[449\]](#) .

О нас

Пансионат Киричкиной я застал наполовину сожженной развалиной. Голые кирпичи выглядывали из-под черных фрагментов запекшегося в пламени фасада. По лестничной клетке, расколовшейся на улицу, словно трухлявое дерево, я поднялся на второй этаж. Двери в комнаты, когда-то снимаемые панной Еленой с теткой, выбитые сейчас с петель, печально покачивались на сыром ветру. Я всего лишь заглянул в середину — разграбленная скорлупа мебели, сгнившие птичьи трупы, пепел и грибок — и спустился вниз. Загрохотал гимназической тростью в хозяйские двери. После долгих минут непрерывной барабанной дроби кто-то — мужчина — крикнул сквозь толстые доски, чтобы я шел, куда шел, потому что тут у него два заряженных ружья, да еще и военный пистолет под рукой. Я спросил про панну Муклянович сверху. Тот ответил, что ничего не знает. Тогда спросил про Киричкину. Он ответил, что та погибла в пожаре в день взятия Цитадели.

Дождь все шел и шел. Я спрятался на лестничной площадке под навесом остатка крыши; уселся в углу, закутавшись в пальто. Кап, кап, кап, кап. Ведь не замерзну же.

Меня разбудил стук пробковых каблучков по кирпичу. Я открыл глаз. Она поднималась по лестнице, в одной руке тяжелая сумка, в другой — наполовину закрытый зонтик. Она уже прошла мимо, поднималась выше. Капюшон темной пелерины скрывал профиль ее лица.

Я сорвался с места, поковылял за ней, подпираясь тростью на камнях.

Она услышала меня; на этаже обернулась, отступив под стену. Упустила зонтик, который покатился вниз. Я перехватил его, и тут грохнул выстрел, и пуля просвистела над самым плечом.

Я поднял руки.

— Это я!

Револьвер в мужской замшевой перчатке даже не дрогнул. Не узнала. Сейчас застрелит.

— Панна Елена... *qualsivoglia* [\[450\]](#) .

Узнала. Не узнала. Узнала. Не узнала. Узнала.

Оружие опустила.

Я подошел, отдал ей зонтик. Спрятав свой короткоствольный револьвер, она протянула за зонтиком другую руку, и тут черная молния тьмечи выстрелила в ее сторону от меня по

гимназу трости. Уколотая ледовым теслектричеством, *девушкатихонько* вскрикнула — так вновь узнал я голос панны Елены.

Я сдвинул ее капюшон. Боже мой, как же она отощала, как похудела. Трехпалой ладонью я коснулся ее щеки, поцеловал в мокрый от дождя лоб. Жасмином от нее уже не пахло.

— Еленка.

Она прижалась ко мне. Я поднял сумку. Девушка показала наверх. Мы вскарабкались по узкой лестнице на чердак над сожженным жильем. Сам чердак выглядел не лучше, но по кривым доскам удалось пройти на другую сторону, где в каменной стене были видны двери, укрепленные зимназом, с засовом и висячим замком. Панна Елена вынула ключи.

Здесь у нее были две комнатки под самой крышей, приклеившиеся к стене соседнего, более высокого дома. Меньшая комнатка, где на керосине панна готовила скромную еду, была слепой; окно большего помещения, в котором стояла кровать, буфет и несколько предметов приличной мебели, спасенной из апартаментов Киричкиной, выходило на *Греческий переулок*, и ту самую северную панораму Старого Иркутска, которую я помнил по своим визитам в пансионате много лет назад.

Я снял пальто. Елена посадила меня на стул, сама присела на кровати напротив. Когда я поднял руку, она удержала меня; только присматривалась, минуте, две, слишком долго, чтобы считать, все это растянулось в мгновение, вынутое из времени; она сидела и глядела, водя по мне птичьим взглядом — темные глаза, брови цвета воронова крыла, бледная кожа, бледные губы, язычок с гладеньким кончиком, высунутым между зубками — пока, наконец, сама не протянула руку и, сняв перчатки, начала передвигать костистыми, в камень замерзшими пальчиками, по моим волосам, по моим ранам и шрамам, по слепому глазу и неровным челюстям... Но без стыда, но под взглядом абсолютно бесстыдным и жалости не знающим, ощупывала как калека калеку — слева на ее шее был гадкий шрам после ожога, левое веко слегка дрожало в непрестанном нервном тике, я не помнил такого в давней Елене Мукляновичевне, энтропия вошла и в нее — так что, как калека калеку. Мне хотелось ей сказать, что это всего лишь тела, какая-токая из них между нами правда, панна Елена, ну какая в материи правда — и раскрыл рот, а она уже ожидала, притаившись на подбородке, скользнула пальчиками на язык и прижала под десну и щеку — я укусил — ах, вот теперь она широко улыбнулась — я слизал кровь с ее грязных пальчиков. Елена вздохнула с глубоким облегчением, я видел, как спадает с нее бремя, как уходит напряжение, как закрывается веко.

Растаявшая, спокойная, девушка устроилась на незастеленной кровати, словно дитя в колыбели, в грязной обуви и мокрой одежде, и заснула.

Я бодрствовал, сидя рядом. Накрыл ее пледом. Елена дышала ровно. Завернул ей за ушко волосы, все время спадающие на лицо. Во сне она облизала губы. Я поднялся ненадолго, чтобы зажечь огонь в чугунной печке; тут же вернулся на место. Капли стучали по стеклам и по подоконнику, идущий по чердаку сквозняк стучал досками за дверью — только все это было заглушено, размягчено, все более далекое. Комната понемногу нагревалась. Я заснул. Проснулся. Заснул. Проснулся. Менялись тени на стене и комоде, похоже, прошло несколько часов. Панна Елена спала рядом со мной на расстоянии вытянутой руки. И я вытянул эту руку и легко касался ее через плед — плечо, бедро, колено, шея, сжатый кулачок. Я засыпал, просыпался. Ничто не удерживало моих мыслей при этом безвременном мгновении — у меня имелся громадный кристалл замороженной памяти, который следовало рассмотреть при распахнутом в окне солнце, громадный кристалл событий, людей, мест, слов и деяний, упорядоченных в совершенном порядке, вмерзших в абсолютно уже охлажденную структуру, организованной вокруг моего прошлого, которое я помнил/которое существовало, словно николаевский холод высокой пробы: нуль, единица, нуль, единица, нуль, единица, варшавские

чиновники Министерства Зимы, Транссиб, Елена, Тесла, Зейцов, доктор Конешин, Поченгло, капитан Привеженский, Подземный Мир, Иркутск, люты, граф Шульц, Фишенштайн, Белицкий, Щекельников, тунгусы, Пилсудский, отец, Распутин, снова Иркутск, снова Конешин, снова Елена, снова — нуль, единица, нуль, единица, нуль — я засыпал, просыпался.

Во второй комнатухе я нашел наполненные ведра и бутылки, поставил чайник на керосинку, нашел грубый щелок и умылся, весьма экономно используя воду. Тихонько рыскал по полкам, по баночкам и коробочкам. Было немного муки, смешанной с какими-то опилками, окаменевшая соль, кирпичный чай, горсть сушеных плодов неизвестного растения, прогорклый жир в керамическом горшочке, немного цветков медвежьего чеснока... Сегодня же Елена принесла домой дюжину картофелин, уже пускающих ростки, две луковицы и горшочек плодов черноплодной рябины. Я почистил картошку, неуклюже действуя тяжелым ножом, поставил воду на огонь... Но Елена продолжала спать. Заварил чай. Посолить? Разбитые кристаллики просыпались из дырявой ладони, побежали по столешнице. Сонный, я глядел, как они выкладываются симметричными узорами на желтой клеенке. Я собрал их и рассыпал заново. И еще раз. И снова. Эти Молоты бьют, они бьют непрерывно, и здесь, в Иркутске, маленький прототип своими короткими волнами заглушает даже Большой Молот Теслы. Так что будут случаться моменты энтропического экстремума, такие вот секундные проблески невозможных мыслей, невозможных ассоциаций, невозможных чувств. Противоядие для Льда. Вот если бы удалось... Мысль убежала. Я стоял и ждал, не шевелясь, в той же самой позе, в ту же самую точку на клеенке глядя, те же самые образы в голове прокручивая. Ллбум. Если бы можно было — на троне Царствия Тьмы — обдумывать то, о чем невозможно думать, чувствовать то, что нельзя почувствовать — выйти за пределы себя — быть собой и, вместе с тем, кем-то другим — лгать — врать — обманывать в правде. Ллбум. Я собрал соль до зернышка.

У Елены были красивые, разрисованные на китайский манер чашки из тоненького фарфора. Я вновь уселся возле кровати, дуя на парящий чай. Панна Елена дышала открытым ртом, горячий румянец окрасил ее щеки. Я поправил плед. Дождь несколько утих, и вообще — на старый дом пала тишина, тишина и яркий солнечный свет, бьющий через мираже-стекло радужными снопами. Рука, держащая чашку, двигалась так медленно... Погляди, Альфред: вот это и есть все, что существует на самом деле: здесь, сейчас.

Я засыпал и просыпался.

Она стояла надо мной с ножом в руке, серебристое солнце переливалось по лезвию.

Я ухватил ее в живой глаз. Глядела она совершенно осознанно, в долгой задумчивости. Сколько она так стояла? Верхнюю одежду уже сняла, оставшись в простой белой блузке и шерстяной юбке. Нож дрожал в ее руке. Но стереометрия держала стальными узами. Я не пошевелился, не улыбнулся.

Она возвратилась в кухню, к стоявшей на огне кастрюльке.

Чай совершенно остыл. Я пошел заварить свежего. Панна Мукляновичувна занималась картофельной похлебкой.

Поели мы молча. Двух стульев не было, впоследствии, когда я подошел к окну, Елена уселась у меня на коленях. Дождь наконец-то перестал, над городом взлетели радуги. Стоял теплый, летний полдень. Она игралась моими волосами, связанными на затылке. Я прижал ее ручку к сухим губам. Со стороны Тихвинской площади и банковского квартала раздались выстрелы, по тротуару галопом промчался конь без всадника. Башня Сибирхожето, увенчанная непропорционально громадной булавой тьмы зашаталась, после чего невыносимо долго начала вычерчивать на радужном небе дугу собственной, черной радуги, но до самого конца — то есть, до самой земли — сохраняя геометрическую целостность

конструкции. Грохота мы не слышали. Башня упала на восток, в сторону Московской Триумфальной арки и Иерусалимского холма. Через мгновение завалились дымовые трубы новой юнкерской школы. Весь Иркутск был выстроен на мерзлоте, а ведь та не была естественной для геологии Прибайкалья. По крышам, видимым из окна комнатухи, мы могли указать: вон тот дом кривой, тот — наклонился, этот подмыло, тот — завалившийся. Все сложнее и сложнее найти прямую линию или прямой угол. Мы сидели в тепле, за терпким и соленым чаем, и глядели как рушатся старые символы могущества Мороза.

А после того раздались очередные выстрелы, и от сердца города, столь глубоко раненного упадком Шульца/Победоносцева, к Греческому переулку разлилась чернильная темень. И вправду ли исполнил он угрозы и отдал приказы, после его смерти подрывающие подложенные под рельсами Транссибирской Магистралы мины? Так *или иначе*, сейчас здесь вспыхнет новый правдой. Было еще светло, и обитатели Иркутска защищались, как могли, а уж чего чего, но тьвечек у них имелось предостаточно. Озеро мрака разливалось квартал за кварталом. Панна Елена тоже вынула из шкафа огарок в керамическом подсвечнике, поставила в окне, зажгла. Хлысь, и тьвет упал на нас атласной пелериной, мы съежились под полрой плаща чародея, никто нас теперь не мог увидеть, сами себя мы видели лишь половинками, подсвеченными светениями, пляшущими на стенке справа. И потому, хотя и сидела у меня на коленях, и прижималась к моей груди, я видел всего лишь половинку панны Елены, профиль, извлеченный из небытия; вторая половинка Елены не существовала.

И она, наполовину существующая, видела меня тоже наполовину.

— Один только глаз остался у вас от того молодого человека.

— Невелика цена, панна Елена, невелика. Как подумаю... Вы были на Цветистой? Белицкие, их дети — спаслись? живы?

— Да нет, не знаю.

— Оттепель, да. Ах, с вами-то у меня было то же самое.

— О?

— Я был на вашей могиле у Крыспина. Только лишь потом... Оттепель, Лето, все размерзлось, оттаяло, вы снова чахоточница, зачитавшаяся романами и поездная убийца — а какой еще лучший способ, чтобы пресечь все погони и следствия, чем похоронить там саму себя, под украденным именем? Но здесь вы вновь столкнулись с доктором Конешиним, который знает вас по Экспрессу, как раз болящую девушку, вот имя и пробудилось.

Она провела ногтем по бороздам, впадинам и шрамам на моем лбу.

— А пан Бенедикт какую Елену разыскивал?

Я обнял ее покрепче.

— Поймите меня, — шепнул я. — Мне нужно, чтобы рядом со мной была такая женщина — именно женщина — такая женщина, которая в одно и то же время способна отдать за меня жизнь, равно как и вонзить мне в сердце нож.

— Странно вы говорите. Вы — и «вам нужна такая женщина»?

Я потянул ее во мрак, в сторону небытия.

— При мне, при троне Царствия Темноты, — шепнул я. — Именно такая женщина, Королева Лета: верная подруга и изменница, приятель и враг — не отличить! — мать и детоубийца, щит правды и меч лжи, милостивая госпожа и повелительница уничтожения — не отличить! — наивная любовница и расчетливая старуха, пугливая девонька и образ увертливой мудрости, кровоточащее сердце и камень с Голгофы — женщина и женщина.

Она вырвалась в сторону света.

— Пан Бенедикт даже в любви объясниться не способен!

— Вы же знаете, о чем я говорю, вы показывали доктору Конешину статьи, вам знакомы

мои проекты, вы видите правду о Товариществе Промысла Истории. Ведь это не будет попросту наше частное Сибирхожето. Здесь речь о богатствах материи не идет.

— Знаю. — Елена легко усмехнулась. — Вы не унаследовали этого, от лжи после отца на Сына Мороза ничего не пало. Все это уже из ваших действий, из вашего характера.

— Вот только не увертывайтесь. Все было просчитано. С самого начала — именно так — из ваших поступков, из вашего характера.

— Да что вы говорите?

Я вновь вернул ее на границу тьвета и света.

— Уральский волк.

— Волк! — быстро глянула она. — А вы называли это — как? отвагой? глупой бравурой? Бесстыдством. В противном случае, разве я постучала бы к вам в купе, к чужому мужчине?

— И еще раньше: ведь это же вы вломились, обыскивали мои вещи — или я плохо помню? Но ведь вы тоже помните!

— Так. — Елена обернула взгляд к прошлому, то есть, в небытие. — Я прочитала то ваше длинное письмо к фальшивой любви. Я узнала вас еще до того, как мы встретились.

— Еще перед тем, как встретились... Ну да, все было просчитано: приятель, неприятель, любовь, ненависть. — Я тихонько причмокнул языком. — Но вот чужие письма читать... Что же, быть может, и вправду в Лете по-другому нельзя. Вот только — почему вы вломились именно ко мне? Ведь с самого начала — тогда вы меня вообще не знали. Так зачем?

— Как же, к вам? — смеялась она. — К другим тоже.

— Но — зачем?

— Потому что могла. — Тут она сделалась серьезной. — Понимаете, пан Бенедикт? Вам что, неизвестно, какого лекарства хотела я во Льду? «При троне Царствия Темноты», ну, замечательно — но вы считаете, будто бы в последний момент я тот нож отведу? Это, чтобы вы знали, о чем просите, чтобы потом не удивлялись! Не отведу, не отступлю! В любой момент — в любой — без причины, пан Бенедикт, без причины — потому что могу. Вы об этом просите? Не отведу, не отступлю! Это уже не игра двух незнакомцев в пути, уже не ночь невинных обманов и правд. Раз уж я встану рядом с вами — то будьте уверены: я сделаюсь и той, и другой.

Я инстинктивно искал ее второго глаза, черно-белые наполовину-видения лишь обманывали, я не знал, к какой Елене обращаться: существующей или несуществующей.

Отмерзло, я заколебался.

— Но ведь панна вовсе не является хладнокровным преступником, нельзя настолько сфальшивить себя саму. Этот румянец, этот дрожащий голосок, все те вопросительные взгляды и неуверенность тела.

— Да о чем вы говорите? — отшатнулась та. — Разве зло творить способны лишь небритые грубияны и ядовитые злюки, люди вульгарные, наглые и лишенные деликатности чувств, с нечувствительной душой и безотказным телом? Вы позволили себя обмануть романтической поэзии, слезливым пьесам!

— Но — совершила ли панна в своей жизни нечто по-настоящему плохое?

— Да не имеет никакого значения, что я сделала! — Эта Елена, существующая, была раздражена. — Зачем пан Бенедикт притворяется? Если я и не обокрала, не обманула, не убила, то вовсе не потому, что это плохо — но, поскольку я именно так выбрала, поскольку именно так хотела: не обокрасть, не обмануть, не убить. Только ничего мне не запрещало, ничто вне меня, ничто во мне. Я бы могла. Ни единой мысли больше, ни хоть в чем-то большего усилия, ничего.

...Ведь что вы сами говорили? Какая разница — правда или фальшь? Несовершенное

более правдиво, чем совершенное. Раскольников Достоевского — это кукла для воспитанных детей. Зачем топоры, зачем трупы, зачем необходимость доказывать себя поступками в материи? Вы сами это говорили! То, что невидимо, предшествует тому, что видимо. Поначалу убийство записывается в характере, а потом — может — возможно! — убийство совершается. Ведь и что это меняет: совершу? не совершу? Вот такой я человек.

...Вы понимаете? — Костлявыми пальцами она впилась в мое плечо. — Совершенно одинаково, что до величайшей святости, что до нижайшей подлости. От бесконечности до бесконечности. Ничто не удержит. И не потому, будто мне неизвестно, что такое добро, а что — зло. Я знаю. Но — могу. Могу. МОГУ.

...Такую ли Царицу Лета вы разыскиваете?

Вся жизнь — будто бы то мгновение над ручьем после весеннего разлива с пальцами, стиснутыми на шее пса; вся жизнь — с истекающим кровью ножом в одной руке и любящим сердцем, подаваемым второй рукой; тут правда и тут правда, никакой разницы.

Я захватил панну Елену в крепкое объятие, стиснул изо всех сил. Та какое-то время еще дрожала; затем дрожь прекратилась. Поначалу она дышала быстро; затем дыхание успокоилось. Она водила пальцами туда-сюда; пальцы остановились. Глазное веко дергалось; прекратило. Я перемещал нас поглубже в тьвет. Постепенно, медленно-медленно, она замерзала.

— Пан Бенедикт... — шепнула, только и успела, прежде чем ее перебил приступ кашля.

Я прижал свою голову к ее груди, ухо-полуухо к мягкой, лоснящейся ткани, и лишь потом охватило мной облегчение — когда я услышал нараставший внутри Елены скрип смертельной чахотки.

Модель: панна Елена Мукляновичувна. Девочка из хорошей семьи, любимая доченька достойной мещанской семьи, папаша света Божия кроме нее не видит, мамаша только и ласкает, понятливый и переполненный жизненной энергией бутуз. Но — приходит болезнь. Приходит болезнь, одна, другая, десятая, все долгосрочные, неопределенные, переходящие из простуды в ангину, из ангины — в анемию, из анемии — снова в инфлюэнцу... Болезнь в самой девочке, горячки и слабости — это всего лишь исходящие из тела симптомы. Только вылечишь одни, находятся другие. А семья не щадит рублей, не прекращает усилий, призывает знаменитых докторов, высылает девоньку в клиники и на модные курорты, оплачивает все чудесные лечения, нанимает квалифицированную помощь, чтобы у малышки в доме, в постели имелись наивысшие больничные удобства. Пускай даже и не встает! Пускай не выходит из дому! Не шевелится! И что остается Еленке на эти долгие года? Вид из окна, книжки, рассказывающие выдумки про окружающий мир, да слова посетителей.

...Так начинается навязчивая идея свободы номер раз: чего не может пережить сама, то пережитое вообразит — в одинаковой степени правдивое. Существует граница умственного усилия и обязательств духа, за которой для человеческого характера уже нет разницы между поступком и воображением о поступке. Именно потому Господь Бог запретил прелюбодействовать и о прелюбодеянии мечтать. Сделал, не сделал — грех один для души; так или иначе, но ты уже кто-то иной. И не нужно уже нож в живое сердце вонзать, достаточно искренней возможности, искренне пережитой. И чего только Елена не испытала, лежа неделями, месяцами и годами, замкнутая под герметическим колпаком! Огромное количество случаев всеохватывающей, словно из неприличных романов, любви. Авантюры и скандалы. Супружества, материнства, старости, печали и эйфории. Путешествия. Погони, бегства, преступления, следствия, судебные процессы. Она любила и ненавидела, сражалась и страдала, побеждала и падала бессильной жертвой, лгала, прелюбодействовала, убивала, изменяла. Потому что могла. (А на самом деле, не могла).

...И вот так начинается навязчивая идея свободы номер два: раз уже нет разницы между поступком и воображением о поступке, не осталось уже никакой границы, которую следует пересечь — ведь панна Елена все это уже сделала (хотя и не сделала), ей известны дрожь, чувства и сопровождающие мысли, ей ведомы тропы души. Она их хорошенько протоптала. В первую очередь, из шпильки или из брошки делает себе отмычку и вскрывает замок комнаты, в которой ее пленили ради ее же добра. Свобода! Так это начинается. Может; а потом она тайком выскальзывает на ночные прогулки по тихому дому, рыскает по буфетам и комнатам слуг, пробует запретные лакомства, спиртное и табак. Возможно; а потом уже вламывается в чужие комнаты и тайны, в шкафы, секретеры, письменные столы, читает чужие письма, дневники, высасывая из них жизнь до самой сердцевины. Возможно; а затем приглядывается и днем, укрывшись — за ухаживаниями, обманчиками, романсиками, случаями мелкого благородства. Может; а затем лжет: о том, о сем, о тех, о вещах важных и не слишком, когда только сможет, сколько сможет, до самой границы лжи. Всякая открытая возможность представляет собой искушение свободы, которую невозможно отбросить. И не нужно поводов, аргументов, каких-либо мотивов, ведь они, собственно, несли бы с собой ограничение, новое порабощение; все это лишнее. Панна Елена может. Не совершила, но совершила. Фальшь, гораздо более правдивая, чем сама правда.

Я пихнул Елену в светень, разлившуюся справа от меня электрической лужей; девушка развернулась на моих коленях, высоко подвертывая юбку. Она дышал хрипло, и это дыхание, прилегающее к моему лицу влажной салфеткой, уже четко пахло мокрыми листьями.

— Я немедленно заберу панну в Николаевск, прочь из этого болота Истории. У меня тут есть дело с одним сапожником... Но потом, лишь бы к четному часу...

— И все то вы заранее обсчитали!

— Об Истории? Да.

— Ох. Так может, в этих ваших уравнениях имеется местечко и для Польши?

— Цвета флагов, название валюты, гимны и языки — ведь это в жизни не самое важное, панна Елена, но что же, тот договор с Пилсудским еще имеется... Пускай Старик выиграет себе ту Польшу в бою. Но сейчас это неважно. Сейчас — забираю панну отсюда и...

— А у меня пан Бенедикт не спросит? Согласилась ли я на эти ваши громадные и сумасшедшие проекты? Ничто не...

Одной искалеченной ладонью за шею, возле воспаленного шрама, второй искалеченной ладонью по ноге, до бедра и вверх по дырявому чулку — пока изумленная девушка широко не раскрыла глаза, задержавшись в неопределенности между одной возможностью и другой.

— Не стану я спрашивать, — рявкнул. — Планы в отношении окружающего мира, это нечто иное: прекрасно, что вы их понимаете. Но вот что такое я в отношении панны — это уже дело мое! Еще сильнее я притянул к себе ее склонившуюся надо мной голову, так что уже не одним дыханием, но и обнаженной кожей смешались мы в материи. Елена не сопротивлялась, но я давил так сильно, чтобы у нее уже не было никакой свободы, даже если бы и желала сопротивляться изо всех сил. — Познала ли панна когда-либо такую пожирающую душу страсть — желание, которое поглощает тебя безоговорочно — и не потому, что ты желаешь, но потому что ты желанна?

Снаружи, из-за пределов света и тьветы, из Истории донеслись быстрые выстрелы и перепуганные крики. Ржал мучимый конь. Панна Елена передохнула.

— Тогда вы не были таким... решительным.

— Решительным? Тогда я не существовал!

Елена хотела рассмеяться; раскашлялась.

— Выходит, вы уже не стыдитесь высказать правду вслух! Теперь у вас имеются слова в

пользу не высказываемого!

Я покачал головой.

— Живя в Лете, Еленка, мы никогда не научимся языку идей, и не увидим четко правды о реальности. Зато нам известна истина про наши слова о реальности. — Я откинулся в небытие, чтобы получше увидеть наполовину существующую женщину, глаз в глаз — Когда я говорю, что люблю панну — люблю ли я панну? — но я говорю правду, говоря, что панну люблю.

Тем временем, История подступала к нам все ближе, в темноте на мостовой грохотали сапоги Революции, трескалось под прикладами дерево, разбивалось стекло. Панна Елена вновь затонула под волнующейся поверхностью тьвета.

— Хорошо, я встану рядом с вами в Зиме, откровенной ложью, защищу перед той вашей математикой, чтобы не закончили вы, словно ваш несчастный фатер; да. Но, пан Бенек, но, прежде чем запустите вы свои машины, прежде чем заморозите Историю... Какое спасение для меня? — Елена болезненно кашляла. Все глубже и глубже погружалась она в темное небытие, цепляясь за мой воротник, за рукав, за раны и струпья на мне, стремясь прильнуть жаркой болезнью в холодную тьмечь. — Лёд! — шептала она уже бездыханно. — Лёд! — что теперь Лёд для меня?

— Я.

Май 2005 г. — апрель 2007 г.

Источники цитат, использованных в книге.

Эпиграфы всех частей, а так же некоторые цитаты в тексте взяты из статьи Тадеуша Котарбиньского «Вопросы существования будущего», опубликованной в томе XVI «Философского Обозрения» в 1913 году.

Сюжеты в романе, связанные с Юзефом Пилсудским, основаны на «Дневнике палача» («Рабочий» 1898/29), письме в редакцию журнала «Предраассвет» 1893/5, на выступлении в Познани от 12 октября 1919 года, «Воззвании к рабочим по вопросу памятника Мицкевича в Варшаве» от 16 декабря 1898 года, выступлениях на съездах легионеров в Кракове — 5 августа 1922 г., и во Львове — 5 августа 1923 г.; «Мемориале об организации вербовки в Польские Вооруженные Силы» от 26 декабря 1916 г.; интервью в «Иллюстрированном Еженедельнике» от 6 января 1917 г., на тексте выступления во время возложения праха Юлиуша Словацкого в вавельский пантеон 28 июня 1927 г., на беседе с Артуром Шливиньским («Независимость», 1938 год, том XVIII) и на книгах «Комендант-Воспитатель» Кароля Лиlienфельда-Кржевского, «Юзеф Пилсудский в повседневной жизни» Марии Еханне Велёпольской.

Кроме того, использованы фрагменты стихотворения «Снилась зима» Адама Мицкевича, *Silentium!* Федора Тютчева (в переводе Влодзимежа Слободника) и фрагмент «Анхелли» Юлиуша Словацкого, а так же цитаты из произведений Николая Федорова «Философия общего дела», «Сочинения», «Собрание сочинений в четырех томах» (в переводе Цезария Водзиньского), и цитаты из «О познании антихристовой прелести диакона Федора» (в переводе Эльжбеты Пржибыл). Парафраз стихотворения Сергея Есенина («Снежная равнина, бледный круг Луны...») на основании перевода Збигнева Дмитроцы.

Извлечения из работ Адама Бранда и Эверта Исбранца Идеса представлены, используя «Записки о русском посольстве в Китай (1692–1695)» (в переводе Эдварда Кайданьского).

Цитаты из Станислава Бржозовского были взяты из его эссе «Пути и задания современной философии», написанного в апреле 1906 г., публикуемого в 1906–1907 годах в «Общественном Обзоре».

Все фрагменты из Священного Писания приводятся в переводе ксендза Якуба Вуйка.

Транскрипция тунгусского диалекта основана на стандартах польско-тунгусского словаря, помещенного в «Дневниках сибирских путешествий Казимежа Гроховского» (1910–1914), собранных и обработанных Эдвардом Кайданьским.

Путь к переводу «Льда» начался солнечным осенним днем 2007 года, в районе Кракова с историческим названием Казимеж. Киоск «Руха», вопрос киоскеру, и у меня в руках экземпляр юбилейного номера журнала «*Nowa Fantastyka*», которому исполнилось 25 лет. Именно в этом номере (10(301) — 2007) были помещены фрагменты романа «Лед» (опубликованные в разделе «Польский рассказ»). Произведения Яцека Дукая я очень любил и ценил, уже перевел «Пока ночь», «Ксавраса Выжрына» и отдельные рассказы из сборника «В стране неверных». И вот новая вещь...

Первый фрагмент — ничего, интересно, любопытно... но вот исповедь Филимона Зейцова сбила с ног, окутала той же атмосферой, которая была пережита в «Пока ночь». Сразу же родилось желание: переводить.

На авторском портале Яцека Дукая чуть впоследствии были выставлены первые четыре главы романа (около четверти объема). С них работа над переводом и началась.

Здесь я должен поблагодарить многих людей, без которых этого (равно как и многих других) перевода не было бы: мою Люду, моих девчат, Сережу Тарадейку, Андрея Гриневского, Викторию Вельговольскую, Майкла Шамрая и... и...

Пару слов по поводу сносок и примечаний: автор рассчитывает на читателя образованного, ознакомленного с реалиями жизни в дореволюционной и послереволюционной Польше, знающего языки (во всяком случае, умеющего пользоваться Интернетом и переводчиком Google), имеющего представление о философских, религиозных, культурных и научных течениях той эпохи. Поэтому, Яцек Дукай никаких сносок и ссылок не дает (за исключением перечисления книг, которыми он пользовался при написании романа). Нашему читателю гораздо сложнее, посему я взял на себя смелость снабдить текст примечаниями и дать перевод иноязычных выражений. Относительно русскоязычных выражений и их интерпретации автором, я уже писал в сносках. Хочется лишь отметить, что, несмотря на то, что у Дукая имелись консультанты, они не везде оказались на высоте (это относится как к русскоязычным выражениям, фамилиям, так и к реалиям).

О языке, которым написан роман: сам автор неоднократно отмечал, что стилизовал произведение под литературу конца XIX — самое начало XX века. Как тут переводить? В стиле Элизы Ожешко? Марии Конопницкой? Пшибышевского? Ну а кого из русских писателей взять за образец: Андрея Белого? Федора Сологуба? Некоторые фрагменты видны четко: к примеру, исповедь Зейцова — это Достоевский. Но в целом в одну стилистику роман никак не укладывается.

Теперь относительно направленности романа. На одном из форумов, обсуждающих творчество Яцека Дукая, одна посетительница сообщила, что роман антирусский и антироссийский... В чем-то с ней согласиться можно, но не следует забывать, что слова Бенедикта Герославского, направленные против России, были взяты из книги его отца, произнесены они были в запале, с желанием «расшевелить», «спровоцировать» публику вагона-люкс. Но и «любви к России и русскому народу» — как высказался другой участник этого же форума — искать в романе не следует.

Тогда, в чем же основная идея толстенной книги? Согласен, это не «научная фантастика», хотя в романе присутствуют и гениальный изобретатель, и загадка лютов, и описание удивительных устройств. «Альтернативная история» — согласен, хотя дальнейшего пути опаявшей России, Сибири, всего мира мы не знаем. Все, что нам известно — замыслы Герославского. Сам автор где-то высказал мнение, что его роман написан в жанре «*political*

fiction». Здесь здоровое зерно имеется, поскольку все время в книге различными персонажами решается вопрос: кто управляет обществом, миром; что нужно сделать, чтобы «нагнать» Историю, «порулить» Ею (по словам российского журналиста Михаила Леонтьева, есть у поляков такая неосуществленная мечта о державности, о «Польсце од можа до можа»); правда, может быть, Дукай хотел отвязаться от назойливых журналистов или поместить свое произведение чуточку ближе к «основному течению» литературы, вот и «подбросил» этот термин. Остается решать вам, уважаемые читатели.

Мне ближе другое мнение: автор желал изобразить эпоху перемен, эпоху революционных преобразований, представить то, как сложно жить в подобные времена... нет, не только обывателям. Всем! Недаром у китайцев есть проклятие: «чтоб ты жил во времена перемен!» Эпоху войны, жизни под сапогом захватчика Яцек Дукай превосходно (на мой взгляд) представил в книге «Пока ночь». Теперь же тщательно прописал революционные времена (в которых мы с вами успешно или нет живем), а так же те времена якобы порядка, о которых ностальгируем мы сами или писатели в стиле «России, которую мы потеряли»...

Роман «Лёд» уже успел завоевать все основные польские фантастические награды и даже одну европейскую. Так что вам (в ваш компьютер) попала книга неординарная. И я рад вам ее представить.

Марченко В.Б.

4 сентября 2011 года

notes

Примечания

Автор неоднократно использует в тексте слова на русском языке, но в написании они близки к разговорной простонародной речи, намеренно акающей, иногда передразнивающей (гаспадин, а не господин). Такие слова я буду выделять курсивом — *Примечание переводчика.*

Высокий стоячий воротник на мужской сорочке, в буквальном переводе — отцеубийца (нем).

«По вопросу гипотезы о геометрии покоящейся Земли» (нем.)

Кафе магазина Веделя. В редактировании сцен, связанных с Варшавой, огромную помощь переводчику оказал Андрей Гриневский, за что ему большое спасибо.

Охота — район Варшавы.

Улица в Варшаве.

Стиль мебели, производимой в Гданьске, с массой резных деревянных украшений.

Саская (Саксонская) площадь

Район Варшавы.

Промах ($\phi p.$)

Сливовая водка

Длуга (Длинная) — название улицы.

Встреча (фр.)

Тереспольский вокзал (ныне «Варшава-Восточная»). Его возведение связано со строительством Варшавско-Тереспольской железной дороги, в рамках которого в 1866 году был сдан в эксплуатацию Тереспольский вокзал (называемый еще Брестским) (Dworzec Terespolski (Dworzec Brzeski)), который был расположен приблизительно на полпути между нынешним вокзалом и улицей Тарговой. Этот головной вокзал, в основном, обслуживал поезда в направлении Бреста и Люблина. Единственный из немногочисленных варшавских вокзалов, он избежал крупных разрушений со стороны отступавших в 1915 году российских войск.

Во время перестройки Варшавского железнодорожного узла, начатой в 1919 году, вокзал был перестроен в узловую станцию, и с 1933 года стал элементом варшавской окружной линии.

В первые дни сентября 1939 года вокзал подвергся неоднократным бомбардировкам, многие эвакуирующиеся жители Варшавы были ранены. Помощь им несли варшавские харцерки (участницы движения харцеров — польских скаутов) и ученицы, часть из которых погибла 5 сентября во время очередной бомбардировки. Их памяти посвящен памятный камень, установленный напротив одного из входов в вокзал со стороны улицы Киевской (Кийовскей).

В 1944 году здание вокзала было разрушено. После войны его функции взяли на себя временные объекты, названные «на вырост» «Восточным Вокзалом» (Варшава-Восточная) — Прим. перевод. + Википедия.

За интерес к варшавским реалиям (и требование их разъяснить) приношу благодарность С. Тарадейке.

Związek Walki Czynnej (ZWC) — Союз Действенной Борьбы — польская секретная военная организация, основанная в 1908 году Казимежем Соснковским по инициативе Юзефа Пилсудского. Целью создания организации была подготовка офицерских кадров для будущей войны с Россией — *Информация Википедии*.

Кресы (окраины) — так поляки называют часть Украины, когда-то входившую в состав Польского государства.

Польское название Кенигсберга, нынешнего Калининграда.

В оригинале это покинутое «гнездо» лютов назывался *soplicowo*, с ударением на предпоследний слог. В польской традиции, а точнее, в польской литературе, Соплицово — это название поместья из «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича. В русской литературе, к сожалению, такой ассоциации найти не удалось. Далее, в польском языке слово «*sorel*» означает сосульку. Конечно, можно было бы наше «поместье» назвать «Сосульное», но как-то не по-русски звучит. — *Примеч. перевод.*

Какая-то варшавская баня, на вывеске которой была изображена Мессалина — *Прим. перевод.*

Венская фабрика игральных карт — Ферд(инанд) Пятник и Сыновья *(нем.)*

Свет во тъме (лат.)

Здесь, как мне кажется, все понятно: темный (не черный) свет (smiatlo). Отсюда и «тьвечка» (smieczka) — *Прим. перевод.*

Имеется в виду мэр Варшавы.

Варшавская Электрическая компания (фр.)

Сырье для приготовления национального польского горячего жидкого блюда, *журека*. Жур готовят, заквашивая овсяную муку, горох и другие продукты — *Прим. перевод*.

PPS (Polska Partia Socialistyczna — Польская Социалистическая Партия). Основана в 1892 году. Партия левого, рабочего направления, но нацеленная на обретение Польшей независимости. Одно время среди руководителей ППС был Юзеф Пилсудский. Партия считалась важной политической силой вплоть до 1948 года. После установления ПНР партия действовала подпольно — *Информация Википедии*.

Кузов (автомобиля) (фр.)

Вспыльчивого дурака (нем.)

Цитадель — тюремный замок в Варшаве; Десятка — каземат для приговоренных к смертной казни.

Старьевщик.

Вызов переводчику. В польском языке имеет право на существование безличная форма, в которой «скрытым подлежащим» является это пресловутое «я-оно». Я понимаю, что в русском языке невозможно долго не пользоваться подлежащим, но, уважаемый читатель, если вы встретите такие пассажи (а они будут, и большие), знайте, что в них действует «я-оно» главного героя романа, Бенедикта Герославского.

Акционерных обществ открытого типа (фр.), акционерных обществ (нем.) и компаний с ограниченной ответственностью (*англ.*)

Korab (*Korabczik*, *Korabiow*) — польский дворянский герб, связанный с кличем «Кораб». Был распространен, в основном к калиской, познаньской, серадзкой землях и на Мазовии. Описание герба: в алом поле золотая ладья (корабль) с кирпичной башней с зубцами.

Материалы из Википедии

На польском языке это пишется: Gerosasky, что, согласитесь, очень похоже на «Герославский». Но, в том же польском языке, Sasky — переводится как «Саксонский», поэтому, позвольте, чтобы англичанин перекрутил фамилию главного героя еще сильнее, отчего и произошла вся дальнейшая путаница — *Прим. перевод.*

Польщен (фр.)

Реплика (нем)

«Кто есть Кто» (*англ.*) — известный биографический справочник

Прошу прощения, граф (фр.)

Стиль «модерн», дословно: «новое искусство» (фр.)

Военная Академия Сен-Сир (*фр.*). Вест-Пойнт — военная академия США.

Германская склонность к ссорам (*фр.*)

Времена меняются (фр.)

Мы говорим (фр.)

Это означает, незамужняя женщина, из семейства по фамилии Муклянович (Муклянович). Впоследствии автор дает другую русскую транскрипцию — Муклянова — *Прим. перевод.*

Некое создание истины — (*фр.*)

Родина глупцов — (нем.)

Костюм из двух частей: пиджак и брюки, в отличие от «англезов», в которые входит еще и жилет.

То же выражение на английском языке; но здесь дается английский вариант термина «тьвет» — s(hadow)light.

Высшее общество (англ.)

Почему же, мои предки мне известны (*фр.*)

Черт подери (англ.)

Несчастные сукины дети (*англ.*)

Посплю до обѣда (фр.)

Все, познаваемое мною, это либо истина, либо ложь (*лат.*)

«Великая Логика» (лат.)

Двадцать одно («очко»)

Здесь: наш дворянин (фр.)

Не везет в картах — везет в любви (фр.)

Турецкое ругательство, дословно: да сгорят червивые конские бобы!

Матфей, 5-37

Очаровательно (фр.)

Сорт сладкой водки — *Прим. перевод.*

В наилучшей вере (лат.)

Рудольф Йозеф Лоренц Штайнер (Штейнер) (нем. *Rudolf Joseph Lorenz Steiner*, 21февраля 1861, Кральевица, Венгерское королевство в составе Австрийской империи (сейчас Хорватия) — 30 марта 1925, Дорнах, кантон Золотурн, Швейцария) — австрийский философ-мистик, писатель, эзотерик, создатель духовной науки, известной как антропософия — *Википедия*

Квант света (нем.)

Легкие частицы (нем.)

Мой друг (фр.)

Черт подери! (англ.)

Понимаете (фр.)

Любовница (фр.)

Это так расстраивает. Не могу глядеть, ведь он, на самом деле, самый замечательный на земле человек, но... *(англ.)*

Прошу прощения (фр.)

Наоборот (*φp.*)

Вовсе нет, мадемуазель, вовсе нет (*фр.*)

Шулер, плут (фр.)

Я деловой человек (фр.)

Такое вот дело (*тур.*)

Вечный двигатель (лат.)

Польское звучание имени Урсула — *Прим. перевод.*

Монидло (Monidlo) — тип реалистичной картинки, сделанной по фотографии свадебной пары. Сами по себе картинки представляют собой черно-белую фотографию, с губами, окрашенными в красный цвет, глазами — в синий, и другими ретушированными местами. Очень часто сюда же прибавлялись дорогие на вид костюмы. Впервые появившись в Польше 19 века, монидла были дешевой альтернативой традиционным портретам, столь популярным среди высших общественных слоев. По причине относительно небольшой цены, картинки в этом стиле сделались очень популярными, особенно среди крестьян. После Второй Мировой Войны этот вид изобразительного искусства перестал пользоваться успехом, и теперь слово «монидло» стало синонимом китча. — Взято из «Википедии» — *примечание переводчика.*

Квант света (нем.)

Впервые появляется этот важный для произведения и его фантастического антуража термин. По-польски «ściesz», то есть, по идее, соединение двух слов: «ciemny» — «темноватый, мрачный», но не «черный», «мутный», «ściś» — «мутить»; и «cieś» — «жидкость, жижа, нечто текущее». Была идея, назвать это нечто «тьменергией», но переводчик остановился на «тьмечи» (впрочем, сам автор — уже под конец книги — всего раз дал русскую транскрипцию: «чмет», но она как-то не показалась.) — *Прим. перевод.*

Понятно, игра слов. *Vene* —по-итальянски — означает «хорошо», а «Бенедетто» — из того же языка — «Благословенный», является итальянской версией имени Бенедикт.

Простите мою грубость (англ.)

Читатель прекрасно понимает, что речь идет о латинском алфавите.

Понятно, что текст письма написан по-польски. Вот его перевод: ВЕСНА НАРОДОВ ДА — ОТТЕПЕЛЬ ДО ДНЕПРА — ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КИЕВ, КРЫМ — НЕТ — ЯПОНИЯ ДА — ПАРТИЯ ПРИКАЗЫВАЕТ ВРЕМЯ КОМПЕНСАЦИИ ДА РОССИЯ ПОДО ЛЬДОМ — ВСЕ СРЕДСТВА ДА — ВНИМАНИЕ МОЛОДЫЕ И ОТТЕПЕЛЬНИКИ ПРОТИВ ЗИМЫ — ЗАЩИЩАЙ ЛЮТОВ — НЕ ВЕРЬ СТАРОМУ — КУРЬЕР ПРИБУДЕТ — ЗДРАВСТВУЙ (БУДЬ ЗДОРОВ).

Королевства Польского.

Сердечных связей (фр.)

Иов, 9.22,24.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900), российский философ, социолог и публицист, один из идеологов революционного народничества. Участник освободительного движения 1860-х гг. В 1868-69 опубликовал «Исторические письма», пользовавшиеся большой популярностью среди революционной молодежи. С 1870 в эмиграции. В 1873-76 редактор журнала «Вперед!», в 1883-86 «Вестника «Народной воли». Сторонник субъективного метода в социологии — *Энцикл. Словарь*

Лавель (Lavelle) Луи (1883–1951), французский философ. Сочетал идеи, близкие к философии А. Бергсона, с христианским экзистенциализмом — *Энцикл. Словарь*.

Писарев Дмитрий Иванович (1840-68), русский публицист и литературный критик. С нач. 1860-х гг. ведущий сотрудник журнала «Русское слово». В 1862-66 заключен в Петропавловскую крепость за антиправительственный памфлет. В нач. 1860-х гг. выдвинул идею достижения социализма через индустриальное развитие страны («теория реализма»). Пропагандировал развитие естествознания, которое считал средством просвещения и производительной силой. Высоко оценивал роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», творчество И. С. Тургенева, Л. И. Толстого, Ф. М. Достоевского. С нигилистической позиции отрицал значение творчества А. С. Пушкина для современности. Главные труды: «Очерки из истории труда», «Базаров», «Реалисты», «Разрушение эстетики», «Генрих Гейне». — *Энцicl. Словарь*.

Партия социалистов-революционеров (эсеры).

«Парижский шик», «Венский шик» (*фр.*)

Юбки-штаны (фр.)

Все это так смешно (*фр.*)

Бытие, 22,1–2. Здесь и далее я делаю перевод по тексту, а не по канонической Библии. (Во всех вариантах, которых мне удалось найти в Нете, «земля Видения» названа «землей Мории»).

Бытие, 22-7,8

Бытие, 22-9,10

Бытие, 22,16-18

Не может быть в духовке еще и мельница (*фр.*)

Здесь Зейцов своими словами пересказывает библейскую историю — Бытие, 32,24–26.

Шляпы долой (фр.)

Отделение, купе (фр.)

Простите, мадемуазель, я что-то не совсем понимаю... (фр.)

Что-то неясное: словари и переводчики дают фразу «Аббас пассажир», «Я нахожусь в Аббаса».

Коньяк (фр.)

Хорошо (фр.)

Улица в Варшаве

Варшавский район на левом берегу Вислы. Кстати, по адресу: Окулярник, 2 находится Музей Ф. Шопена — *Прим. перевод.*

Псевдоним, сценическое имя (*фр.*)

Женщины ума (фр.)

Роковые женщины (фр.)

Для светлых волос, кроме хны нужно добавить и басмы, разве не так? Милые читательницы согласятся со мной? А для мужчин ссылка: <http://hair-fashion.ru/okraska-volos-xnoj-i-basmoj.html> — Прим. перевод.

Любовные письма (фр.)

Переворачиваю (фр.)

Здесь — Прошу прощения за грубое слово (*фр.*)

На месте преступления *(лат.)*

Здесь: древнеримская богиня Яро сти

Диатез (лат.). Странно, оччень современный диагноз! — Прим. перевод.

Это ужасно (фр.)

Имеются в виду события 1905 года. Тамка — варшавская улица — *Прим. перевод.*

Что-то ни в каких словарях «гвары» (варшавского жаргона) мне это выражение не встретилось. В прямом, немецком переводе — деятель из кварталов магазинов. — *Прим. перевод.*

Чего хочет женщина, того хочет Бог (*фр.*)

Еще одно доказательство того, что либо Дакая не совсем точно проконсультировали относительно русских фамилий, либо здесь какой-то стеб (в доказательство привожу фрагмент оригинала: sztabskapitanem Dmitrijem Siewastianowiczem Alla) — *Прим. перевод.*

Кинотеатр «Сокол» на Маршалковской улице в Варшаве — *Прим. перевод.*

Прага — район Варшавы, про Тереспольский вокзал см. сноску выше. Мой приятель (С. Тарадейка) заметил, что, мол, выражение «под Тереспольским» какое-то не совсем русское. Но ведь говорим мы «под Москвой», остановите под универмагом». Опять же, кого сейчас изображает панна Елена — малограмотную девчонку, вот и стиль речи «опростился» — *Прим. перевод.*

Зрелищное устройство, изобретенное еще в конце XIX века, в котором после того, как посетитель бросает в приемник мелкую монетку, проворачивается карусель с фотографическими снимками. В фильме «Ва-банк» у Датчанина был именно такой фотопластикон — *Прим. перевод.*

Северное сияние *(лат.)*

Похмелъе (нем.)

Естественно (*фр.*)

Почему? (фр.)

Дословно: Ради Божьей любви. Да ради Бога же *(англ.)*

Имеется в виду работа Теслы в Коллорадо-Спрингс в 1899–1900 гг., где изобретатель исследовал стоячие электромагнитные волны. При проведении эксперимента были зафиксированы грозоподобные разряды, исходящие от металлического шара. Длина некоторых разрядов достигала почти 4,5 метров, а гром был слышен на расстоянии до 24 км. Эксперимент прервался из-за сгоревшего генератора на электростанции в Колорадо Спрингс, который был источником тока для первичной обмотки «усиливающего передатчика». Тесла вынужден был прекратить эксперименты и самостоятельно заниматься ремонтом вышедшего из строя генератора. —<http://ntesla.at.ua/publ/l-l-0-5>

или это моя память насмехается надо мной, так что я могу слышать его еще раз, его манера речи, его манера размышлять (*англ.*)

Купе, отделение (фр.)

Импровизированно (фр.)

Пятьдесят на пятьдесят (англ.)

Лживый сукин сын (англ.)

Простите за слово (фр.)

Отец Мороз *(англ.)*

Имеется в виду восстание 1861 года.

Имеется в виду Королевство Варшавское, часть Польши, доставшаяся России после разборов.

Какие времена, такие и нравы (*фр.*)

Ублюдок — бесчестный (правда, по-турецки последнее слово пишется «şerefsiz») (тур.)

Возблагодарим Аллаха (тур.)

Не так ли (фр.)

«Od morza do morza» (*польск.*) — мечта польских националистов: «Польша от моря до моря».

Имеется в виду Иуда Искарот — *Прим. перевод.*

Методика изгнания дьявола, применяемая в христианской церкви (см. фильм «Экзорцист» — «Изгоняющий дьявола» реж. Фридкина) — *Прим. перевод.*

Ноябрьское (1830 год) национально-освободительное восстание поляков против русского владычества — *Прим. перевод.*

Это моя обязанность, дорогая (фр.)

Спонтанно, не случайно (лат.)

Прошу прощения ,я... *(англ.)*

Да здравствуєт разум (фр.)

Отец Мороз и Сын Мороза (фр.)

Аллюзия к известной древней легенде о царе Крезе, который выбросил золотой перстень в море, а через несколько дней нашел его внутри рыбы, которую ему подали на стол — *Прим перевод.*

...мой добрый ангел... — Я гляжу. — Кто вы? — Сновидение, естественно. Наш летний сон. *(фр.)*

Большое спасибо (фр.)

Об этом и подумать невозможно (фр.)

Разговорился тут (*фр.*)

«Михаил Строгов, или Царский курьер» (*фр.*)

Описание татар братьями-миноритами *(лат.)*

Anno Domini — от Рождества Христова *(лат.)*

Описание путешествия в Китай *(нем.)*

Трехлетнее путешествие в Китай (*голл.*)

Деревня, поставляющая подводы для почтовых и других нужд — *прим. перевод.*

Искал и в Гугле, и в Википедиях — не нашел ничего. *Прим. перевод.*

Здесь игра слов. По-польски слово «Letnicy» можно перевести и как «дачники», и как «летние люди, люди Лета» — *Прим. перевод.*

Здесь, белой горячки (delirium tremens), помешательства.

Одеколон (фр.)

В оригинале: «krysa twoja mat'». Нет, похоже, плохо Дукая консультировали. — *Прим. перевод.*

Шотландскую (нем.)

- Спасибо, огромное спасибо.
- Не за что. Как поживаете?
- Ах, моя нога? Только этого не стоило говорить (*фр.*)

Гражданский чин VII ранга — *Прим. перевод.*

Прошу прощения (фр.)

Падеревский (Paderewski) Игнацы Ян (1860–1941) — польский пианист и композитор. Исполнитель и редактор произведений Ф. Шопена. Автор фортепьянных пьес, оперы «Манру» (1901), симфоний и др.

Здесь: какое бы подобрать слово (англ.)

Друг мой (фр.)

Креп-марикен гораздо плотнее креп-жоржета или крепдешина, но из разряда летних шелковых тканей — *Прим. перевод.*

Декольте (фр.)

Легкий шарфик, кашне (фр.)

Косметика, макияж (фр.)

Мадемуазель, разрешите вас пригласить *(фр.)*

Женщины часто меняются, хотя, кто им верит (*фр.*)

В оригинале: «walc-kulawiak» «Kulawy» по-польски — «хромой» — *Прим. перевод.*

Так вот оно как (*фр.*)

Елена цитирует (с искажениями) стихотворение Адама Мицкевича «Снилась зима» (перевод А. Гелескула). Вот как сам поэт пишет о нем: «В Дрездене, в 1832 г марта 23, видел я сон, темный и для меня непонятный. Проснувшись, записал его стихами. Теперь, в 1840, переписываю для памяти.». — *Прим. перевод.*

Ныне Лиепая.

Не знаю, почему, но автор упорно называет его «Рождественский» — *Прим. перевод.*

Военно-морской флот Великобритании.

Здесь: не в курсе (*фр.*)

Эндемия — постоянное существование на какой-либо территории определенного (чаще всего, инфекционного) заболевания — *Прим. перевод.*

Куда отец, туда и сын (фр.)

О, прошу прощения, не хотел вас оскорбить (фр.)

Пр-шу прощения (фр.)

Грубые ругательства и проклятия (фр.)

Спокойной ночи (*фр.*)

В оригинале: ројebunek.

На нынешней географической карте — просто Канск, крупный транспортный узел на реке Кан. — *Прим. перевод.*

Большое спасибо (фр.)

Свидание (фр.)

Картофельное пюре (фр.)

И так далее (лат.)

Отноительно (фр.)

Вот непонятно, откуда у Дукая взялось это выражение: «мальчик», которое потом часто встречается в романе? Автор стилизует язык романа под конец XIX — начало XX века, но ни у польских, ни у российских авторов этого периода выражение «мальчик» в тех значениях, которые приписывает им Дукай, не встречается. — *Прим. перевод.*

Хорошо (фр.)

Здесь: витрина (*фр.*)

Пенсне (фр.)

Оскорбление Величества (фр.)

Трус никогда не будет добрым другом, а болтуны — плохие исполнители (фр.)

Здесь: взаимодействиям

Фактически.

Тимпан (греч. τυμπανον) — в архитектуре — внутреннее поле фронтона; плоскость между проемом арки и лежащим на ней антаблементом; углубленная часть стены над дверью или окном, обрамленная аркой. В тимпане часто помещают скульптуру, живопись, гербы и т. д. — *Энциклопедический Словарь*

«Ар нуво» (фр. art nouveau — новое искусство) — см. ссылку выше. — *Прим. перевод.*

У православных христиан — глава отдельной, самостоятельной церковной области — *Энцicl. Словарь*.

Здесь игра слов: по польски фамилия ксендза-обличителя означает «розга» (Rozga) —
Прим. перевод.

Имеется в виду территория Царства Польского в составе Россия, имеющая свою собственную конституцию и Конгресс

Из дома, в девичестве

Вацлав Леопольдович Серошевский (Waclaw Sieroszewski, 24.08.1858 — 20.04.1945) — российский, польский этнограф-сибиревед, писатель, публицист, участник польского освободительного движения. В 1933–1939 годах был президентом Польской Академии литературы. Ему уделяется особое внимание, поскольку имя этого писателя не раз будет упомянуто дальше в тексте романа.

Серошевский происходил из мелко дворянской семьи, поместье которой было конфисковано после польского восстания 1863 года. По окончании гимназии занимался слесарной работой в ремесленной школе Варшавско-Венской железной дороги в Варшаве. Участвовал в рабочем движении, в 1879 годах за сопротивление полиции приговорён к восьми годам тюрьмы. Приговор был заменен ссылкой в Якутию, где Серошевский провел 12 лет (1880–1892). Здесь он стал писать рассказы из жизни местных жителей и собирать этнографические материалы.

В 1880 году в Верхоянске Серошевский женился на якутке Анне Слепцовой, у них родилась дочь Мария. В 1886 году Анна умерла. В 1892 году Серошевскому было разрешено свободное передвижение по Сибири. В Иркутске он закончил научный труд на русском языке под названием «Якуты. Опыт этнографического исследования» (т. I, СПб, 1896; польск. изд. «Dwanascie lat w Kraju Jakutow», 1900), который был издан и премирован Географическим обществом. Этот труд является одним из наиболее полных исследований состояния традиционного быта и культуры якутов конца XIX века. В 1895 году Серошевский женился на Стефании Милановской.

В 1898 году Серошевскому было разрешено вернуться на территорию Царства Польского. В конце 1890-х гг. путешествовал по Кавказу. В 1903 году вместе с другим польским этнографом, Брониславом Пилсудским, участвовал в экспедиции Русского географического общества к хоккайдским айнам, прерванной из-за осложнения отношений между Россией и Японией. После прекращения экспедиции побывал в Корее, Китае, на Цейлоне, в Египте и Италии. Материалы, собранные на Дальнем Востоке, легли в основу второго этнографического труда Серошевского «Корея» (польское изд. «Korea: Klucz Dalekiego Wschodu», 1905). Первая новелла «Осенью» написана в 1884.

На польско-русском съезде в Москве 12 апреля 1905 году Серошевский произнёс речь о совместной борьбе, в которой были слова «za nasza wolnosc i wasza (за нашу и вашу свободу)», ставшие своего рода лозунгом для сочувствующих русско-польскому сближению. За статью в «Ежедневном Курьере», требовавшую отражения военного положения в Царстве Польском, амнистии и фактического осуществления свобод манифеста 17 октября, Серошевский был арестован и предан военному суду. Несмотря на энергичный протест «Союза в защиту свободы печати» («Русь» 1906 г., № 21), Серошевский не был освобождён и бежал за границу.

В 1910–1914 годах Серошевские жили в Париже, где были заметными персонами в эмигрантской среде. Вацлав был председателем Польского художественного товарищества, дома у Серошевских бывали Мария Склодовская-Кюри и Владислав Мицкевич.

В 1914 году Серошевский вступил в легионы Пилсудского. В 1918 году был назначен на пост министра информации и пропаганды во Временном правительстве Дашинского. В 1935–1938 годах член сената Польши.

Скончался Серошевский от пневмонии в больнице в городке Пясечно недалеко от Варшавы. Был похоронен в Пя-сечно, в 1949 г. перезахоронен на кладбище Повонзки в

Варшаве.

Камень В. Сорошевского — часть мемориала польских ссыльных — исследователей якутской земли в Якутске.

Успехом пользовались его сибирские рассказы. Такие произведения, как «W ofierze bogom» (В жертву богам), «Risztau» (Риштау, Кавказ, 1899), «Nakresach lasow» (На краю лесов), «W motni» (В западне), «Chailach» (Хайлах), «Kuli» (Кули), «Wsrod ladow» (Среди льдов), «Na dnie niedzy» (Предел скорби), «Ucieczka» (Побег) и многие другие завоевали Сорошевскому многочисленных читателей. Многие из его произведений были переведены на русский язык, некоторые самим автором.

Для произведений Сорошевского характерен идеализм, гуманизм, вера в единство человечества. В его дальневосточных рассказах любовно изображается добродушие, наивность, гостеприимство местных жителей. Одним из критиков было замечено, что «якутский и тунгусский миры у Сорошевского привлекают наше внимание больше тем, чем они похожи на нас, нежели тем, чем от нас разнятся».

По мотивам романа Сорошевского «Предел скорби» поставлен фильм Алексея Балабанова «Река».

Автор перечисляет здесь ряд известных польских и зарубежных авторов, бывших в моде в первые два десятилетия XX века у образованной польской публики. Некоторые позиции здесь явно фиктивные, в частности, связанные со Льдом.

Генрик Сенкевич(1846–1916) — польский писатель, член-корреспондент (1896), почетный академик (1914) Петербургской АН. Исторический роман-трилогия «Огнем и мечом» (1883-84), «Потоп» (1884–1886), «Пан Володыевский» (1887-88); «Камо грядеши» (1894-96), «Крестоносцы» (1897–1900) — отмечены национально-патриотическими настроениями, стилизацией в духе изображаемой эпохи, искусством пластической лепки образов. Психологические романы («Без догмата», 1889-90), новеллы и повести. Нобелевская премия (1905).

Жеромский Стефан(1864–1925) — польский писатель. Роман «Бездомные» (1900) об идейных исканиях интеллигенции; исторические романы «Пепел» (1902-03), «Краса жизни» (1912), посвященные национально-освободительной борьбе поляков в 19 в. В романе «Канун весны» (1924) — острая критика социального уклада польского общества после 1918. Новеллы, драмы.

Карл Май(1842–1912), немецкий писатель. Автор снискавших большую популярность в Европе и Америке, многократно экранизированных «индейских» приключенческих романов о Виннету (т. 1–4, 1893–1910). Автобиографическая книга «Моя жизнь и стремления» (1910).

Домбровская Мария(Dabrowska) (1889–1965) — польская писательница. Демократические взгляды выражены в тетралогии «Ночи и дни» (1932-34); сборник рассказов «Утренняя звезда» (1955) о борьбе с фашизмом и преодолении последствий войны в Польше.

ГОМИНЬДАН (букв. Национальная народная партия) — политическая партия в Китае. Создана в 1912 Сунь Ятсеном. С 1931 Гоминьдан, руководимая Чан Кашли, — правящая партия. После провозглашения КНР (1949) сторонники Гоминьдана переехали на Тайвань, где Гоминьдан является правящей партией.

Чешский Банк

Мое сердце (фр.)

Господина (голланд.)

Перечисляются районы Варшавы — *Прим. перевод.*

Налевки (выше) — район Варшавы; Цитадель — крепость-тюрьма в Варшаве — *Прим. перевод.*

Уменьшительно-ласкательное производное от польского имени Мачей (Мацей) — по-русски: Матвей — *Прим. перевод.*

Так в оригинале — *Прим. перевод.*

Фирн (нем. Firn) — плотный зернистый снег, образующийся на ледниках и снежниках выше снеговой границы вследствие давления вышележащих слоев, поверхностного таяния и вторичного замерзания воды, просочившейся в глубину — *Википедия*

Эпифания — от греческого «богоявление», иногда переводится как «откровение, проявление, явление» — *Прим. перевод.*

Андрогин (из греческого: наполовину мужчина, наполовину женщина), гермафродит (что, в принципе, означает то же самое: Гермес + Афродита), по некоторым мифам: плод от связи этих богов — *Прим. перевод.*

Кулиг — в Польше, поездки в санных упряжках в большой компании на Рождество —
Прим. перевод.

Алетейметры (aletheimetry) — некий придуманный автором измерительный инструмент. В Сети пишут про «алетиометры» — устройства, придуманные Филиппом Пулманом, и которые появляются в в его трилогии «Его темные материалы». Устройство похоже на компас и применяется для ответов на вопросы, которые устройству задают. — *Прим. перевод.*

...такое возможно? Это же ужасная боль.

— Нисколько (*фр.*)

Так вот ($\phi p.$)

Здесь и далее имеется в виду Сун Ятсен, китайский политический деятель, создатель Гоминьдана — *Прим. перевод.*

Кстати.

Польская Социалистическая Партия... См. сноску выше. — *Прим. перевод.*

Валигура — Валигора. Герой как сказок, так и романа из истории Польши Юзефа Игнация Крашевского «Валигура» — могучий, сильный богатырь. — *Прим. перевод.*

Здесь: воротник-накидка.

Обкусывание (буквально: уничтожение) ногтей (*греч.*)

Куда угодно, в любом направлении *(англ.)*

Здесь, картина (фр.)

Примеров.

Мои машины — ваши машины (*англ*)

Магическая заря (*лат.*).

Польский писатель-декадент.

Бульварное кольцо вокруг старинной, исторической части Кракова — место чудесное! На Блонях (по-польски *blonie* — означает «луга») имеется несколько театров — *Прим. перевод.*

Иногда автор использует выражение «зори» (*Czame Zorze*), что ближе к латинскому «аурога», но иногда — «сияние», причем, в русском написании — *Прим. перевод.*

Черт подери (англ.)

Такова жизнь на Дорогах Мамонтов *(фр.)*

В польском (и чешском) языке так образуется фамилия жены: он Вуцба, она — Вуцбова, он Пугачев — она Пугачева — *Прим. перевод.*

Принадлежность к семье Вуцбы. По тем же правилам создается фамилия Елены Мукляновичуны — *Прим. перевод.*

Лимнология — наука о физических, химических, биологических аспектах озёр и пресных водоёмов — *Энцicl. Словарь*.

Страсть взгляда (фр.)

Светлой памяти (swiętej pamięci) (польск.)

Обращение к старшему официанту, метрдотелю (*польск*)

— Персонаж романа Генриха Сенкевича «Огнем и мечом», гигант-литвин с рыцарственным сердцем, сражающийся старинным двуручным мечом, но обладающий очень робким характером. — *Прим. перевод.*

Титулом «пророк» (wieszcz) поляки называют своего великого поэта Адама Мицкевича, здесь, понятно, это определение совершенно ироническое — *Прим. перевод.*

Налогов, которые выплачивали местные жители мехами, в виде охотничьей добычи.

В оригинале: «cezaropapiste» — «имперопаписта». Не совсем понятно, поскольку, Козельцов, судя по всему, был православным — *Прим. перевод.*

О сибирском Кржижановском XVII века сведений найти не удалось. Зато другие лица той же фамилии были ой как крутыми товарищами (см. в Сети, «Википедии») — *Прим. перевод.*

После поиска в Сети нашел наиболее подходящих кандидатов:

Самуэль Лащ, герба «Правдзиць» (1588 — 1649), известный авантюрист и забияка XVII века. Отличился в войнах с турками в 1621 г. (Хочим) и в 1633 г., со шведами (1626), татарами, казаками (1637-38 гг.) и во время восстания Хмельницкого. 236 раз был осужден на изгнание (*banicja*), 37 раз осужден на бесславие (*infamia*). Слухи гласят, что судебными приговорами подшивал свой плащ. Он мог так поступить, поскольку, будучи прекрасным солдатом, долгие годы находился под исключительной юрисдикцией гетмана.

Станислав Стадницкий (убит в 1610 г.), которого называли «Ланцутским Дьяволом», до настоящего времени считается одним из величайших авантюристов в истории Польши; поначалу был заслуженным военным в чине ротмистра, принимал участие в походах Стефана Батория на Гданск и Москву. Оскорбленный тем, что его подвиги не были достаточно оценены, отправился в Венгрию, где в войсках императора Рудольфа II сражался против турок. Вернувшись в Малопольшу (южная часть нынешней Польши), прославился нападениями на шляхетские дворы и городки и их грабежами.

Современный польский писатель Яцек Комуда посвятил Стадницкому один из своих историко-авантюрных романов — «Ланцутский Дьявол» (к сожалению, на русский или украинский языки он переведен не был, равно как и другие его книги, рассказывающие о жизни Речи Посполитой в XVII–XVIII веков, многие из них связаны и с Украиной) — *Прим. перевод.*

Поэма Адама Мицкевича (1834), в которой идеализируются старая шляхта, старые обычаи (и резко критикуется Россия) — *Прим. перевод.*

Сын Мороза, вы рассердились (*фр.*)

Имеются в виду: император России — Николай, император Германии — Вильгельм и император Австро-Венгрии — Франц-Фердинанд — *Прим. перевод.*

Что вы сказали? (фр.)

Благопристойность, внешнее приличие (фр.)

Буржуазия (фр.)

Федор Тютчев. *Silentium!*(1830)

Поехали (фр.)

Любой, любая, всякий (*ит.*)

Контора, представительство (нем.)

«Известия Лейденского Университета» (англ.)

В русском синодальном переводе этот фрагмент звучит так:

И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и назовешь его Измаил, ибо услышал Господь страдание твое; он будет *междулюдьми, какдикий* осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он перед лицом всех братьев своих. (Бытие, 16, 11–12)

Господин (голланд)

Измеряя — знать (голланд.)

Здесь: Научное Общество по изучению черной физики имени кайзера Вильгельма (нем.)

«Исследования в области термометрии» (нем.)

gl — скорее всего, от «glacіous» — ледовый.

Согласно словарю В. Даля: (стар.) верхний кафтан со стоячим воротом; (южн.) широкий чекмень с застежками; (моск.) крытый сукном лисий тулупчик; иногда назывался кирейкой.

Здесь: молодой человек (*голланд.*)

Орография (от греч. *oros* — гора и... *графия*), описание различных элементов рельефа (хребтов, возвышенностей, котловин и т. п.) и их классификация по внешним признакам вне зависимости от происхождения — *Энцикл. Словарь*

По вопросу, «кстати, о»; здесь: связано.

Так у автора; хотя, почитайте хотя бы А. Бушкова, у него тоже имеются ссылки именно на Иоанна III «Грозного» — *Прим. перевод.*

Не отсюда ли, кстати, легенда о библиотеке Иоанна Грозного? — *Прим. перевод.*

Тесла — Великий Изобретатель (англ.)

От греческого слова skotoŷ — «тьма, ослепление».

От греческого nokta — ночь.

В этом можете быть уверены (*англ.*)

Простите (фр.)

Прошу прощения (фр.)

Услуга за услугу (лат.)

Так сказать *(англ.)*

Правильно (англ.)

Остеология (osteologia) — учение о костях. Данный раздел изучает скелет в целом, отдельные кости, костную ткань. Как раздел антропологии, изучает закономерности изменчивости скелета в зависимости от половых, расовых и возрастных особенностей и его морфологию. — *Википедия*

Первое издание

Простите на слове (фр.)

Соответственно (фр.)

Здесь: Ну? *(англ.)*

С гостем, без подарков, просим ответить (фр.)

Крепдешин.

Женская блузка, кофта.

Ах, какая жалость. Что же, бросьте монету. Орел или решка? (*англ. и фр.*)

Хорошо (фр.)

Кажется удивительным (фр.)

Болезнь Бюргера (?)

Не напоминает вам это ленинскую работу под тем же названием? — *Прим. перевод.*

Здесь: связанный с Землей и Солнцем.

Здесь слово «клиент» применяется в смысле «прихлебатель», «нахлебник» — по образцу клиентов богачей Древнего Рима — *Прим. перевод.*

Отсылка к новозаветной легенде о воскрешении Лазаря Иисусом.

«Дом обучения» (евр.)

Здесь: полумесяц (*лат.*)

Здесь: не говорите глупости (фр.)

Здесь: румяна (фр.)

Макияж, грим (*фр.*)

Тут собрался весь свет *(фр.)*

Предприниматели, деловые люди (*фр.*)

Здесь: распорядителям (фр.)

Здесь: Как жаль.

Что, еще не пришел Отец Мороз? (фр.)

Здесь: витрина (*фр.*)

Как красиво! (фр.)

В западных странах (так что, возможно, и в Польше начала века, не следует забывать, что большая часть страны находилась под Пруссией и Австро-Венгрией), при отсчете пальцы не загибают, как у нас, а выпрямляют — *Прим перевод.*

Это конец (фр.)

Прическа (фр.)

Не так ли? (фр.)

Здесь: голубых кровей (нем.)

Разумеется! (фр.)

К примеру (фр.)

Здесь: в замечательных нарядах (*фр.*)

Сын Мороза (*фр.*)

Дочка зимы (фр.)

— Смотрите, как встретились: Сын Мороза и дочка Зимы... — Простите (*фр.*)

Почему вы меня избегаете, как так можно (*англ.*)

Умение держать себя, воспитанность (фр.)

Проклятие (фр.)

Здесь: золотыми блестками (фр.)

Искусственное слово. «Фейерверк» = работа огня, а «firtwerke», по-видимому, «работа льда» (хотя в немецком языке слова «firt» я не нашел, но вот во французском слово «frire» означает «жареный») — *Прим. перевод.*

Для меня — с громадным удовольствием (*иск. фр.*)

Мировая боль, Мировое страдание (нем.)

«*Пора выступать, пора надевать костюм*»— ария Канио из оперы Р. Леонковалло «Паяцы».

Азиатский крепкий алкогольный напиток золотисто-желтого цвета. Спирт получают в результате перегонки перебродившего ржаного сусла и патоки из сахарного тростника (на Яве) или с добавлением сока сахарной пальмы (в Шри-Ланка, Бангладеш, Сиаме и Индии). Также приготавливается из сока пальм, фиников, проса, риса и других растений, содержащих сахар. Выдерживается в дубовых бочках. Крепость — от 32 % до 58 %. — *Википедия*.

Публичный дом в Древнем Риме.

Дурная кровь не может лгать (*фр.*)

Банкноту в сто рублей.

Власть Эроса (*фр.*)

Присутствие Эроса (фр.)

Здесь: Образ, Форма (нем.)

Термин из азартных карточных игр; «загнуть пароль» — отметить карту, на которую сделана ставка. — *Прим. перевод.*

«Учение о цветах» (нем.)

Световой квант, квант света (*нем.*)

От Ламетри — (La Mettrie) Жюльен Офре де (1709–1751) — фр. философ. На философию Л. наложили отпечаток его занятия медициной. И та, и другая должны подчиняться, по Л., природе, видя в ней свой единственный предмет и черпая из нее свой метод. Зависимость от человека (политическое рабство) Л. призывает заменить зависимостью от природы, предполагающей жизнь в согласии с разумом и обуславливающей единство людей. Мораль также зависит от физической организации человека. Индивид подобен машине, и как часы не ответственны за то, спешат они или отстают, так и человек не отвечает за свои действия. Картезианский дуализм души и тела Л. устраняет, полностью редуцируя первую ко второму. Единственная существующая субстанция — материя. Сама по себе она пассивна, но благодаря ощущению она становится активной. Недостаточно, следовательно, считать ее, вслед за Декартом, лишь протяженной. Ощущение — атрибут материи. Движение не придается материи извне. Для материи, начиная с самых элементарных ее уровней, характерна раздражимость. Материя проявляет склонность к самоорганизации. Ее движение упорядочено. Л. выступает против идеи творения материи. Она неуничтожима и вечна. В учении о человеке Л. отвергает традиционное представление о душе и предлагает свой образ человека-машины. Разумная часть души отождествляется Л. с растительной. Тело производит и мысль. Опыт медика подталкивает Л. сделать вывод о принципиальной неавтономности души. Она всецело определяется телесными функциями. Отсюда следует, что между человеком и животными нет существенного различия. И счастье, и удовольствия зависят не от воли, свободу которой Л. отрицает, но от телесной машины. Мораль имеет два источника — природу и общество. Последнее диктует человеку понятия о чести, славе, уважении и др. добродетелях. Они относительны, будучи всецело зависимыми от текущей ситуации в обществе, от его потребностей. Мораль — дочь политики. В то же время выполнение моральных норм обеспечивает социальное равновесие. Освященные социумом нормы — это закон жизни большинства людей. Этическая теория Л. не ставит под сомнение традиционную мораль. Философ не верит в возможность просвещения масс. В этом смысле его моральное учение пессимистично. Но все же подлинная мораль — дитя природы. Ее ориентиры телесно детерминированы. Добро то, что приносит физическое удовлетворение. Зло — то, что вызывает телесное отвращение. Поскольку мы — рабы своего тела, постольку счастье от нас не зависит. Этика Л. в духе стоицизма учит обходиться без счастья, призывает к умеренности, требуя ограничиваться настоящим и не думать о прошлом и будущем, над которыми мы не властны. Идеи Л. оказали известное влияние на П.А. Гольбаха, К.А. Гельвеция, Д. Дидро и др. философов-просветителей. — *Философская Энциклопедия*

Наоборот (*φp.*)

Переводчику не известно, какого Гросса имеет в виду автор, но, возможно, он забежал вперед, и упомянул Дэвида Гросса, нобелевского лауреата, продолжателя теорий Эйнштейна и Планка, автора теории суперструн (род. 1941) — *Прим, перевод.*

Хорошо сказано, Бенедикт *(англ., лат.)*

Ладно (*фр.*)

Математик Истории (фр.)

Деловой человек, бизнесмен (фр.)

Господин мастер, господин директор (*нем.*)

Благодарю (голл.)

Дитя века, ровесник века (фр.)

Спасибо, большое спасибо, ну... (фр.)

Все мои надежды и утешения, все мои тяготы... *(лат.)*

Здесь: Все кончено.

Я сожалею, прости меня, пожалуйста (фр.)

Умственный эксперимент (нем.)

Нисколько (фр.)

Автор в одном из интервью пишет: «Потому-то меня так потрясла та история о Пилсудском: зимой 1909 года Пилсудских в Закопане посетил Жеромский (Стефан Жеромский, известный польский писатель, автор «Пепла» — прим. перев.), и что он видит? «Это была пролетарская нищета. Его я застал раскладывающим пасьянс за столом. (Хозяин) сидел в кальсонах, потому что единственную имеющуюся у него пару брюк он как раз отдал портному, чтобы тот заштопал дыры». Но почему Пилсудский с такой увлеченностью раскладывает тот пасьянс? Об этом он отвечает Жеромскому так: «Я предположил, если этот пасьянс сойдется, то стану диктатором Польши». Жеромский глядел на него, как на сумасшедшего. Проходит пара десятков лет — и вот, пожалуйста! (<http://www.dukaj.pl/JacekDukaj/PolskaZDmgejStronyLustra>)

Возможно, некие виды оленей? — *Прим. перевод.*

«1906: Катастрофа старого мира» *(нем.)*

первом издании (*ит.*)

Псевдоним; кстати, сам псевдоним по-русски означает «Озерная звезда» (*нем.*)

Ягеллоны — (Jagiellonowie), королевская династия в Польше в 1386–1572, Великом княжестве Литовском в 1377–1401, 1440–1572, Венгрии в 1440–1572, 1490–1526, Чехии в 1471–1526. Основатель — Ягайло

Королевство Польское — (Царство Польское), название части Польши, отошедшей к России по решению Венского конгресса 1814-15 г... Статут Польского Королевства определялся конституцией 1815 г... Столица — Варшава. В 1918 г. территория Королевства Польского — основа Польского государства.

Роман Дмовский (польск. *Roman Dmowski*, в русских документах Роман Валентьевич Дмовский; 9 августа 1864, Каменка близ Варшавы — 2 января 1939, с. Дроздове близ Ломжи) — польский политический деятель и публицист.

В студенческие годы участвовал в деятельности подпольной студенческой организации «Союз польской молодёжи, Зет» (*Związek Młodzieży Polskiej «Zet»*). Был организатором студенческой уличной манифестации в сотую годовщину Конституции 3 мая (1891). Был арестован и полгода содержался в варшавской Цитадели, затем выслан в Митаву (ныне Елгава). В 1893 вместе с другими деятелями буржуазно-национального движения организовал «Лигу народов» («Национальная лига», «*Liga Narodowa*» — нелегальная политическая организация, действовавшая во всех частях разделённой между Австрией, Россией и Германией Польши). Из Митавы тайно перебрался во Львов (1895). Возглавил «Лигу народов», преобразованную в 1897 в Национал-демократическую партию. Первоначально Дмовский выдвигал программу консолидации национальных сил, оппозиции русификаторской политике царизма. В 1904 принял участие в Парижской конференции революционных и оппозиционных партий России. По мере развития польского революционного рабочего движения он всё более решительно стал выступать против пролетариата.

В 1905 обосновался в Варшаве. В 1905—1907 призывал к подавлению революции и предлагал сотрудничество с царизмом. Был членом II и III Государственной Думы (1907—1909). Во время Первой мировой войны 1914—1918 выступал на стороне Антанты, возглавлял Польский национальный комитет, созданный 25 ноября 1914 в Петербурге, затем одноимённый комитет (создан в 1917) в Париже.

В 1919 делегат Польши на Парижской мирной конференции. Был политическим противником Юзефа Пилсудского, последовательно выступал за создание мононационального польского государства, депортацию евреев и насильственное ополячивание немцев и украинцев.

Основатель националистической политической группировки «Лагерь великой Польши» (*Oboz Wielkiej Polski*, 1926—1933) — *Энцикл. Словарь*.

Природное явление (фр.)

ВОЗРОЖДЕНИЕ (нем.)

«Исследования законов мышления, на которых основаны математические теории логики и вероятности» (англ.)

Здесь: единица измерения тъмечи (*фант.*)

Просчет автора: что могло вырасти под снегом-льдом за столько лет? — *Прим. перевод.*

Праздник Трех Королей (Поклонения Волхвов) — 6 января по новому стилю — *Прим. перевод.*

Меховые сапоги.

Приношения святому, в знак избавления от какой-либо болезни, дара в качестве просьбы в каком-то предприятии, путешествии, выздоровлении. Такие приношения выполнялись в виде фигурок, изображающих человеческие органы, например, сердца, руки, ноги; или же символов: например, якоря, в знак удачного путешествия — *Прим. перевод.*

Юлиуш Словацкий. Фрагмент из XV главы поэмы «Анхелли», написанной ритмизированной прозой в подражание Данте (1838 год) — *Прим. перевод.*

«Лед» по-тунгусски — *Прим. перевод.*

В оригинале: WBCZJMYWNIEMI — переводчик полагает, что Отец Мороз хотел написать: WyBaCZ — JesteM Y- W-NIK MI (Прости, мы-тут-немые). Но можно понять и так: WyBaCZ-JesteMY-WinNieMI (Прости-мы-виноваты). Сложно сказать, крайне мало материала для догадок. А с Яцеком Дукаем просто так не свяжешься. © — *Прим. перевод.*

На одном из польских форумов отмечено, что это может быть нечто вроде «Не звезды» (jaja = яйца, а на сленге: «не звезды» или «ну и фигня»; слово «яйца» в польском языке носит именно такой характер, но было ли оно таким в конце XIX — начале XX века?). А так даже и не понятно, что хотел сказать отец Бенедикта... — *Прим перевод.*

В оригинале: ZMMSnSTADOLMEKEAMNIE (Со-мной-на-низу-лжи-не???)

А может, ЛЖИВО (KLAMNIE)???

С греческого: Вседержитель.

Лжи? — ссылка на сказку, рассказанную Мацусю Велицкому.

Казнь в библейском Израиле, когда осужденного забрасывают камнями до смерти —
Прим. перевод.

Возрождение (еще: Христово воскрешение из мертвых) (нем.) Если читатель помнит, это пароль для сообщений с Теслой — *Прим. перевод.*

Сибирская Горнодобывающая Компания (фр.)

В первый раз автор дает русскую транскрипцию придуманного им фантастического термина *śmierć* («чмечь») и *światło* («чмятло»). Ясно, чем он руководствовался: похоже, Дукай хотел сделать сокращение для выражения «черная жидкость, черный поток» (*czarna ciecz*) и «темный, черный свет» (*ciemne, czarne światło*). Тем не менее, переводчик оставляет в тексте придуманные им термины: «тьмечь», «тьвет», «тьвечка» и другие производные — *Прим. перевод.*

Тысячелистник (по-польски *krwownik*), растение, используемое в китайской традиции для гаданий. Поподробнее можно узнать из книги «И-Цзинь» (*Книга Перемен*) — Прим. перевод.

Савинков Борис Викторович (1879–1925), российский политический деятель, публицист, писатель (В. Ропшин). В 1903 — сентябре 1917 эсер, один из руководителей «Боевой организации», организатор многих террористических актов. Во Временном правительстве управляющий военным министерством. Руководитель антисоветских заговоров и вооруженных выступлений. Белоэмигрант. Арестован в 1924 при переходе советской границы, осужден. Покончил жизнь самоубийством. Автор «Воспоминаний террориста» (1909), повести «Конь бледный» (1909), романа «То, чего не было» (1912), вскрывающих психологические мотивы политического терроризма; очерков, стихов — *Энцикл. Словарь*.

Благовония Теслы (фр.)

Агиография — жития святых.

Падеревский (Paderewski) Игнацы Ян (1860–1941), польский пианист и композитор. Исполнитель и редактор произведений Ф. Шопена. Фортепьянные пьесы, опера «Майру» (1901), симфонии и др. — *Энцикл. словарь.*

Высшее общество *(англ.)*

Своего рода (*фр.*)

Которых нельзя ни проверить, ни оспорить (фр.)

Ребенок Лета (фр.)

Я — математик Истории (фр.)

Ложь, выдумка (*итал.*)

Бидермейер (нем. Biedermeier, Biedermaier), стилевое направление в немецком и австрийском искусстве ок. 1815-48. В бидермейере отразились представления бюргерской среды. Архитектура и декоративное искусство бидермейера перерабатывали формы ампира в духе интимности и домашнего уюта. Для живописи бидермейера (Г. Ф. Керстинг, Л. Рихтер, К. Шпицвег в Германии, М. Швинд, Ф. Вальдмюллер в Австрии) характерно тонкое, тщательное изображение интерьера, природы, бытовых деталей. — *Энцикл. словарь*

Тропизмы (от греч. *troros* — поворот, направление), ростовые движения органов растений (стебля, корня, листьев), обусловленные направленным действием какого-либо раздражителя — света (фототропизм), силы земного тяготения (геотропизм), температуры (термотропизм), прикосновения (гаптотропизм), воды (гидротропизм), кислорода (аэротропизм) и других химических веществ (хемотропизм). В основе тропизмов лежит неравномерный рост, вызываемый перераспределением в растении фитогормонов. — *Энцикл. словарь*

Не так ли? (фр.)

Вплоть до тошноты (*лат.*)

Опровержение (фр.)

Сун — императорская династия в Китае (960-1279). Пала в результате монгольского завоевания — *Энцикл. Словарь*.

Скорее всего, имеется в виду, так называемый, православный крест, принятый после никонианского раскола: верхняя перекладина поменьше, вторая побольше, а нижняя, третья, может быть наклонной или прямой. Некоторые считают, будто бы наклонная перекладина указывает путь в рай и ад, соответственно. На самом деле, это обозначает перечеркнутый униатский крест (с двумя перекладинами), являющийся как бы объединением католического (латинского) креста и византийского (где поперечина делит вертикальную часть креста строго пополам) — *Прим. перевод.*

Счеты, изобретение которых приписывается древним римлянам — *Прим. перевод.*

Как здесь не вспомнить про ТРИЗ (теорию решений изобретательских задач) — *Прим. перевод.*

Так у Дукая, по-видимому, он имел в виду «общественное питание» — *Прим. перевод.*

Вновь: так у Дукая. Все-таки, переводчику кажется, что автор недостаточно хорошо «выполнил домашнее задание» по ознакомлению с российскими реалиями, хотя, якобы, у него имелись превосходные консультанты. По-польски он написал бы «pod wezwaniem» (под патронатом) или же «Больница при Святой Троице» или просто — «Больница Святой Троицы». — *Прим. перевод.*

Когда? Еще в Холодном Николаевске? Ведь в «Чертовой Руке» у Герославского ни бумажника, ни денег не было — *Прим. перевод.*

Опять же, как и в случае с «мальчиком», ну откуда Дукай вытряхнул это словечко — «молодец» (и пишет его по-русски)? — *Прим. перевод.*

Допустим (фр.)

Друг моего друга на моих врагов — разве не нелепость! (*фр.*)

Каков шут (*фр.*)

Метод действий.

По правде говоря (фр.)

двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка (*лат.*)

Сен-Симон (Saint-Simon) Клод Анри де Рувруа (1760–1825), граф, французский мыслитель, социалист-утопист. Движущими силами исторического развития считал прогресс научных знаний, морали и религии. Основные черты будущей «промышленной системы» Сен-Симона: обязательный труд, единство науки и промышленности, научное планирование хозяйства, распределение по «способностям» и т. д. В будущем обществе, по Сен-Симону, сохраняется частная собственность, а пролетариат и буржуазия образуют единый класс «индустриалов». В сочинении «Новое христианство» (1825) объявлял освобождение рабочего класса целью своих стремлений, но путь решения этой задачи видел в утверждении «новой» религии («все люди — братья») — *Энцикл. Словарь*.

и иже с ним (фр.)

Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809–1865), французский социалист, теоретик анархизма, экономист. Пропагандировал мирное переустройство общества путем реформы кредита и обращения; выдвинул идею учреждения «Народного банка» с целью предоставления дарового кредита для организации эквивалентного обмена продуктов труда мелких производителей. В период Революции 1848 г. Прудон выдвигал проекты экономического сотрудничества классов и анархистскую теорию «ликвидации государства» — *Энцикл. Словарь*.

Бакунин Михаил Александрович (1814-76), российский революционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. В 30-х гг. член кружка Н. С. Станкевича. С 1840 за границей, участник Революции 1848-49 (Париж, Дрезден, Прага). В 1851 выдан австрийскими властями России, заключен в Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепость, с 1857 в сибирской ссылке. В 1861 бежал за границу, сотрудничал с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Организатор тайного революционного общества «Интернациональное братство» (1864–1865) и «Альянса социалистической демократии» (1868). С 1868 член 1-го Интернационала, выступал против К. Маркса и его сторонников, в 1872 исключен решением Гаагского конгресса. Труд Бакунина «Государственность и анархия» (1873) оказал большое влияние на развитие народнического движения в России — *Энцикл. Словарь*.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921), князь, российский революционер, теоретик анархизма, географ и геолог. В 60-х гг. совершил ряд экспедиций по Воет. Сибири. В нач. 70-х гг. обосновал широкое распространение древних материковых льдов в Сев. и Средней Европе. В 1872-74 член кружка «чайковцев», вел революционную пропаганду среди петербургских рабочих. В 1876–1917 в эмиграции, участник анархических организаций, член научных обществ. Автор трудов по этике, социологии, истории Великой французской революции. Воспоминания «Записки революционера» (1-е издание на русском языке, Лондон, 1902) — *Энцicl. Словарь*.

Наоборот.

К примеру.

Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ, создавший на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики. Ее центральное понятие — развитие — есть характеристика деятельности абсолюта (мирового духа), его сверхвременного движения в области чистой мысли в восходящем ряду все более конкретных категорий (бытие, ничто, становление; качество, количество, мера; сущность, явление, действительность, понятие, объект, идея, завершающаяся абсолютной идеей), его перехода в отчужденное состояние инобытия — в природу, его возвращения к себе в человеке в формах психической деятельности индивида (субъективный дух), сверхиндивидуального «объективного духа» (право, мораль и «нравственность» — семья, гражданское общество, государство) и «абсолютного духа» (искусство, религия, философия как формы самосознания духа). Противоречие — внутренний источник развития, описываемого в виде триады. История — «прогресс духа в сознании свободы», последовательно реализуемый через «дух» отдельных народов. Осуществление демократических требований мыслилось Гегелем в виде компромисса с сословным строем, в рамках конституционной монархии. Основные сочинения: «Феноменология духа», 1807; «Наука логики», части 1–3, 1812–16; «Энциклопедия философских наук», 1817; «Основы философии права», 1821; лекции по философии истории, эстетике, философии религии, истории философии (опубликованы посмертно) — *Энцикл. Словарь*.

не так ли (фр.)

Так вот ($\phi p.$)

Карл Великий (лат. Carolus Magnus) (742–814), франкский король с 768, с 800 император; из династии Каролингов. Его завоевания (в 773-74 Лангобардского королевства в Италии, в 772–804 области саксов и др.) привели к образованию обширной империи. Политика Карла Великого (покровительство церкви, судебские и военные реформы и др.) содействовала формированию феодальных отношений в Западной Европе. Империя Карла Великого распалась вскоре после его смерти — *Энцикл. Словарь*.

Фридрих I Барбаросса (Friedric Barbarossa, букв. — краснобородый) (ок. 1125–1190), германский король с 1152, император «Священной Римской империи» с 1155, из династии Штауфенов. Пытался подчинить северо-итальянские города, но потерпел поражение от войск Ломбардской лиги в битве при Леньяно (1176) — *Энцикл. Словарь*.

Хаммурапи, царь Вавилонии в 1792-50 до н. э. Политик и полководец, Хаммурапи подчинил большую часть Месопотамии, Ассирию. Сохранившиеся законы — ценный памятник древневосточного права, отразивший характерные черты рабовладельческого права — *Энцикл. Словарь*.

«Билль о правах» — а) конституционный акт, принятый в Англии в 1689 г.; ограничивал власть короля и гарантировал права парламента б) первые десять поправок к конституции США, принятые в 1791 г. и гарантировавшие основные права граждан — *Википедия*.

Вы же понимаете, господин доктор (*фр.*)

выражение (лат.)

Темно у меня было перед глазами, Катя ... Мне было темно ... (нем.)

Она темнеет, мой котик, все так темно... (нем.)

Юлиуш Словацкий. Фрагмент из XV главы поэмы «Анхелли», написанной ритмизированной прозой в подражание Данте (1838 год) — *Прим. перевод.*

Любая (ит.)

Из книг *(лат)*.Здесь Яцек Дукай использует это выражение в самом дословном значении
— Прим. перевод.